

УЗНИК



ЛУБЯНКИ

тюремные рукописи
Николая Бухарина

предисловие
Сергея Бабурина
введение
Стивена Козна
под редакцией
Геннадия Бордюгова

Фонд имени Николая Бухарина и Анны Лариной-Бухариной
Российский государственный
торгово-экономический университет (РГТЭУ)
Ассоциация исследователей российского общества
(АИРО–XXI)



Серия «АИРО – ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ»

Международный совет научных проектов и издательских программ АИРО

Геннадий БОРДЮГОВ	Руководитель
Андрей МАКАРОВ	генеральный директор
Сергей ЩЕРБИНА	арт-директор
Карл АЙМЕРМАХЕР	Рурский университет в Бохуме
Дмитрий АНДРЕЕВ	Журнал «Политический класс», МГУ им. М. В. Ломоносова
Дитрих БАЙРАУ	Тюбингенский университет
Дьердь БЕБЕШИ	Печский университет
Владимир БЕРЕЛОВИЧ	Высшая школа по социальным наукам, Париж
Бернд БОНВЕЧ	Рурский университет в Бохуме
Ричард БУРГЕР	INTAS, Брюссель
Харуки ВАДА	Фонд японских историков
Людмила ГАТАГОВА	Институт российской истории РАН
Пол ГОБЛ	Фонд Потомак
Габриэла ГОРЦКА	Центр «Восток–Запад» Кассельского университета
Андреа ГРАЦИОЗИ	Университет Неаполя
Никита ДЕДКОВ	Центр развития информационного общества (РИО-Центр)
Ричард ДЭВИС	Бирмингемский университет
Стивен КОЭН	Принстонский, Нью-йоркский университеты
Алан КАСАЕВ	РИА «Новости»
Джон МОРИСОН	Лидский университет
Василий МОЛОДЯКОВ	Университет Такусёку, Токио
Игорь НАРСКИЙ	Южно-Уральский государственный университет
Норман НЕЙМАРК	Стэнфордский университет
Дональд РЕЙЛИ	Университет Северной Каролины на Чепел Хилл
Борис СОКОЛОВ	Российский государственный социальный университет
Такеси ТОМИТА	Сейкей университет, Токио
Татьяна ФИЛИППОВА	Российский исторический журнал «Родина»
Ютта ШЕРРЕР	Высшая школа по социальным наукам, Париж

УЗНИК ЛУБЯНКИ

Тюремные рукописи
Николая Бухарина

Предисловие Сергея Бабурина

Введение Стивена Козна

Под редакцией Геннадия Бордюгова

Москва
«АИРО–XXI»
2008

СЕРИЯ «АИРО – ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ»
ОСНОВАНА В 1994 ГОДУ

Издание осуществлено благодаря поддержке:

Составление, комментарии, указатель имён:

Вступительные статьи к рукописям:

Научно-вспомогательная работа:

Дизайн и вёрстка:
Сергей Щербина

Узник Лубянки. Тюремные рукописи Николая Бухарина. Сб. документов. [Текст]. Предисловие С. Бабурина. Введение Ст. Козна. Под ред. Г. Бордюгова. (Серия «АИРО – Первая публикация»). Изд. 2-е, дополн., измен. и расшир. – М.: АИРО-XXI, 2008. – 1070 с.

ISBN 978-5-91022-074-8

© Фонд им. Н. Бухарина
и А. Лариной-Бухариной, 2008
© РГТЭУ, 2008
© «АИРО-XXI», 2008

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	8
Письмо Николая Ивановича Бухарина Анне Михайловне Лариной	11
О предсмертном письме Николая Ивановича Бухарина	13
ВВЕДЕНИЕ	19
Рукопись первая	
СОЦИАЛИЗМ И ЕГО КУЛЬТУРА	
Вступительная статья	29
К читателю	45
Н. И. Бухарин	
КРИЗИС КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СОЦИАЛИЗМ	
Ч. II. СОЦИАЛИЗМ И ЕГО КУЛЬТУРА	
Глава I. Об исторической точке зрения и исторических критериях оценок	50
Глава II. Материальная база социалистической культуры	61
Глава III. Создание целостного человека	72
Глава IV. Проблема национальных культур и создание целостной социалистической культуры	85
Глава V. Создание целостного человечества	99
Глава VI. Многообразии в капиталистическом обществе и многообразии в обществе социализма	111
Глава VII. Проблема личности и общества	121
Глава VIII. Проблема равенства и иерархия	132
Глава IX Проблема свободы	144
Глава X Проблема прогресса	155
Глава XI О стиле социалистической культуры	166
Глава XII О роли партии и диктатуры пролетариата в культурной революции	176
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	186
Приложение	
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ	
	198
I. Как избавиться от кризисов, войн и эксплуатации	200
II. Проблема демеханизации жизни	202
III. Воспитание нового человека	204
IV. Второе рождение человечества	207
V. Проблема общества и индивида (личности)	210
IV. Проблема свободы	213

VII. Проблема прогресса	216
-------------------------	-----

Рукопись вторая
ФИЛОСОФСКИЕ АРАБЕСКИ

ПРЕДИСЛОВИЕ	220
К ЧИТАТЕЛЮ	239
Н. И. Бухарин	
ФИЛОСОФСКИЕ АРАБЕСКИ	
Предисловие	240
Введение	240
Глава I О реальности внешнего мира и о кознях солипсизма	243
Глава II О приятии и неприятии мира	248
Глава III О вещах в себе и их познаваемости	264
Глава IV О пространстве и времени	264
Глава V Об опосредствованном знании	274
Глава VI Об абстрактном и конкретном	275
Глава VII Об ощущении, представлении, понятии	282
Глава VIII О «живой природе и о художественном отношении к ней	287
Глава IX О рассудочном мышлении, о мышлении диалектическом и непосредственном созерцании	291
Глава X О практике вообще и о практике теории познания	298
Глава XI О практическом, теоретическом, эстетическом отношении к миру в их единстве	307
Глава XII Об исходных позициях материализма и идеализма	312
Глава XIII О гилозоизме и панпсихизме	319
Глава XIV Об индусской мистике в западноевропейской философии	324
Глава XV О так называемой философии тождества	330
Глава XVI О грехах механического материализма	337
Глава XVII Об общих законах и связях бытия	343
Глава XVIII О телеологии	348
Глава XIX О свободе и необходимости	355
Глава XX Об организме	361
Глава XXI О современном естествознании и диалектическом материализме	366

Глава XXII О социологии мышления: о труде и мышлении, как общественно-исторических категориях	371
Глава XXIII О социологии мышления: « о способе производства» и «способе представления»	377
Глава XXIV О так называемом расовом мышлении	385
Глава XXV О социальных позициях, мышлении и «переживании»	391
Глава XXVI Об объекте философии	398
Глава XXVII О субъекте философии	403
Глава XXVIII О взаимодействии между субъектом и объектом	409
Глава XXIX Об обществе, как объекте и субъекте овладения	414
Глава XXX Об истине: о понятии истины и о критерии истинного	420
Глава XXXI Об истине: об абсолютной и относительной истине	425
Глава XXXII О благе	430
Глава XXXIII О диалектическом идеализме гегеля, как системе	438
Глава XXXIV О диалектике Гегеля и диалектике Маркса	450
Глава XXXV О диалектике, как науке, и о диалектике, как искусстве	469
Глава XXXVI О науке и философии	475
Глава XXXVII Об эволюции	480
Глава XXXVIII О теории и истории	486
Глава XXXIX Об общественном идеале	491
Глава XL О Ленине, как философе	498
<i>«Арабески» Николая Ивановича Бухарина в контексте их времени. Б.И.Фрезинский</i>	528

Рукопись третья (незавершённая)
ВРЕМЕНА

ПРЕДИСЛОВИЕ. Голос из бездны	528
Н. И. Бухарин ВРЕМЕНА	542
Н.И. Бухарин Из «Томика стихов»	801

ПРЕДИСЛОВИЕ

Николай Бухарин: ум и талант, страсть и совесть...

...Уверены в своих поступках те, кто умнее и дальновиднее предков. Но чаще уверенность эта – результат самообмана, обречённого порой на немедленное посрамление.

Счастливы те, кто благополучнее предков. Но чаще это не их заслуга, а результат тяжкого труда всё тех же предыдущих поколений.

И, уверен, достойнее те, кто не берётся с максималистским размахом судить прошлое, а принимает его и в радостях былого и в горестях как своё бесценное наследие, как часть своей души, своих ценностей, своего противоречивого знания. И только они, в конечном счёте, приходят к благополучию и счастью.

Голгофа России в XX веке многоимённа, она видится по-разному с разных сторон, охватывает разные десятилетия и долго ещё не станет предметом беспристрастного исторического исследования. Может быть, и никогда им не станет, доколе жив будет хоть один русский человек – таков наш национальный характер. Но постигать самих себя через призму прошлого просто необходимо, особенно когда это касается идеалов отдельных людей и миросозерцания целых народов.

В фигуре Николая Ивановича Бухарина соединились крайности – пристальная вдумчивость образованного русского человека – и яростная страсть неистового интернационалиста, борца за светлое будущее всех людей, оправдывавшего жестокость в борьбе с «родимыми пятнами» царского режима; ниспровергающий устой революционный нигилизм – и человеческая ранимость, даже поэтичность, совестливая интеллигентность, перерастающая то в соглашательский отказ от своих концепций, отвергнутых высшими партийными вождями, то в несгибаемую принципиальность, когда речь заходит о смысле всей его жизни.

На «Азбуке коммунизма» Н. Бухарина выросло поколение героев первых пятилеток, его деятельность в 20-е годы позволила НЭПу стать реальностью, народному хозяйству СССР – преодолеть разруху

гражданской войны, а международному коммунистическому движению – сформироваться в серьезный фактор мировой политики. Образный мыслитель, увлекающийся яркий и ироничный полемист... Он мог предвидеть и даже приближать будущее, но часто оказывался не в состоянии его защитить.

2008 год – это год 120-летия со дня рождения, 70-летия со дня гибели и 20-летия со дня реабилитации Николая Ивановича Бухарина.

50 лет имя Н. И. Бухарина, наряду с именами многих других лидеров и Красного и Белого движения было вычеркнуто из истории, подвергшись первоначально шельмованию, а потом замалчиванию. Его научные труды и публицистика уничтожались физически, в единичных номерах отправляясь в спецхран. Даже после XX партсъезда.

В связи с обсуждением в 1977 году проекта новой Конституции СССР и рождением понятия «общенародное государство» я, тогдашний студент первого курса Омского университета, направил по почте письмо на имя Л. И. Брежнева. Я предлагал сказать обществу правду о Н. И. Бухарине, А. И. Рыкове и других «врагах народа» 20–30-х годов, а если обвинения в их адрес фальсифицированы – реабилитировать их. Советское общество, был я уверен, нуждалось в правде.

Ответ пришел осенью того же года, но не письмом, а в виде черной «Волги», подъехавшей днем к нашему деревянному дому на окраине миллионного Омска и перепугавшей моих родителей. Ввиду моего отсутствия вежливая интеллигентная женщина оставила для меня письменное приглашение явиться в комиссию партийного контроля обкома КПСС. На другой день в назначенное время я не без внутреннего трепета переступил порог здания, на которое привык смотреть издали, с уважением и опаской. Меня принял сам председатель комиссии.

Не буду приводить весь разговор. С первых минут было сказано, что если бы я был членом партии, то со мной говорили бы иначе, но, поскольку я комсомолец, то моему собеседнику поручено мне необходимое объяснить. Председатель комиссии партконтроля отметил, что предложение реабилитировать Бухарина и рассказать о нём с моей стороны неуместно, поскольку в отношении Бухарина и Рыкова всё выяснено на февральско-мартовском Пленуме партии 1937 года, они признаны врагами и исключены из партии. Я возразил, что ставлю вопрос не только о партийной реабилитации, но и о государственной. Может быть, что Бухарин и остальные допустили

нарушение партийных норм того времени, но я предполагаю, что они не совершили уголовных преступлений, а значит, могут быть реабилитированы в судебном порядке. Фраза, которой партийный функционер прекратил дискуссию, запомнилась мне на всю жизнь. Вновь напомнив о решениях Пленума 1937 года, мой собеседник заявил: «Запомни: в партии есть вещи, которые надо брать на веру, и на них строить свои убеждения».

Вопросов у меня больше не было. К собеседнику. К повседневной действительности вопросы были. Через несколько лет, размышляя над ними при написании заявления о вступлении в КПСС, я не стал писать о намерении строить коммунизм, а заявил о своих планах осуществить те чаяния счастья и справедливости, ради которых многие миллионы людей из поколения наших дедов осуществили или поддержали революцию, сделать всё, чтобы на моей Родине торжествовали бы мир и правда.

И всё же тема Бухарина оставалась запретной. В 1984 году, в Ленинграде, я долго ждал после концерта легендарную Наталию Сац, с которой списался ещё из Афганистана, где проходил срочную службу. Ждал ради того, чтобы, провоя в гостиницу, задать вопрос, почему всё же, по её мнению, не реабилитируют Н. Бухарина, ведь она лично хорошо его знала и, как немногие, знает нюансы 1937 года. Наталия Ильинична, возглавившая детский сектор театрально-музыкальной секции Моссовета ещё девчонкой в 1918 году, реально принадлежавшая к руководящей группе творцов и лидеров советского общества 20–30-х годов, мелодично растягивая слова, как только она одна это очень красиво и величаво делала, задумчиво сказала: «Сергей, значит так Партии надо». И – ни слова больше об этом.

Не скрою, я думал, что понадобится целая жизнь, чтобы правда о нашей истории первой половины XX века, об её героях и антигероях восторжествовала.

Жизнь резко изменилась раньше. Начальный этап Перестройки смёл с общественного сознания многие шоры и ложные приоритеты. В 1988 году имя Бухарина было возвращено в отечественную историю, более того, вновь оказалось включённым в мировоззренческие смерчи современности (нигилизм не умер, он и ныне обретает то либеральную, то коммунистическую, то антикоммунистическую форму).

Н. И. Бухарин. Не будем гадать, куда пошло бы развитие СССР, если бы вслед за бухаринским «Обогащайтесь!» в обществе хотя бы и в конце XX века окрепли забота о сельском труженике, личные

ответственность и трудолюбие, сформировались бы частная инициатива и индивидуальное творчество – история не знает сослагательного наклонения. Тем более, что Перестройка переросла в кризис государственности, погибель СССР и советского социализма.

Мы о другом. Мы о справедливости.

Участник всех российских революций начала XX века, член партийного руководства с 1917 по 1937 год, член Политбюро ЦК ВКП(б), член ВЦИК, ЦИК СССР и Президиума Исполкома Коминтерна, академик АН СССР, главный редактор газет «Правда» и «Известия» – все эти и многие другие биографические факты передают лишь внешнюю канву жизни Н.И.Бухарина, подобно тому, как опубликованные при жизни его труды по политэкономии, философии, социологии, вопросам политики и культуры отражают лишь часть его духовного мира. Материалы судебного процесса над ним – симбиоза термидорианского фарса и высокой греческой трагедии, его тюремные рукописи и письма – именно они дают портрету Бухарина глубину и полутона, позволяющие увидеть в нём не догматика большевизма, а талантливого и дальновидного теоретика выстраданных обществом социальных перемен, потерпевшего организационно-политическое поражение, но способного отстаивать свои взгляды и принципы даже при нравственных и физических пытках.

И мы не об оценках. Мы о понимании.

Эта книга посвящена памяти нашего выдающегося соотечественника Николая Ивановича Бухарина, государственного деятеля и мыслителя, революционера и академика, слепца и провидца, эмоциональная страстность которого была соизмерима с его многогранным талантом, а личные ошибки и грехи революционной эпохи во многом искупились его последующей гражданственностью и совестливым мученичеством.

С. Н. Бабурин,
ректор РГТЭУ, профессор,
депутат российского парламента
в 1990–2000, 2003–2007 годах

Письмо
Николая Ивановича Бухарина
Анне Михайловне Лариной

15 января 1938 г.

Милая, дорогая Аннушка, ненаглядная моя!

Я пишу тебе уже накануне процесса и пишу тебе с определенной целью, которую подчеркиваю тремя чертами: что бы ты ни прочтала, что бы ты ни услышала, сколь бы ужасны ни были соответствующие вещи, что бы мне ни говорили, что бы я ни говорил, – переживи ВСЕ мужественно и спокойно. Подготовь домашних. Помогите и им. Я боюсь и за тебя, и за других, но прежде всего за тебя. Ни на что не злобься. Помни о том, что великое дело СССР живет и ЭТО главное, а личные судьбы – преходящи и мизерабельны по сравнению с этим. Тебя ждет огромное испытание. Умоляю тебя, родная моя, прими все меры, натяни все струны души, но не дай им ЛОПНУТЬ. Ни с кем не болтай ни о чем. Мое состояние ты поймешь. Ты – самый близкий, самый родной мне человек. И я тебя прошу всем хорошим, что было между нами, чтоб ты сделала величайшее усилие, величайшим напряжением души помогла себе и домашним ПЕРЕЖИТЬ страшный этап. Мне кажется, что отцу и Наде не следовало бы ЧИТАТЬ ГАЗЕТ за соответствующие дни: пусть на время КАК БЫ ЗАСНУТ. Впрочем, тебе виднее – распорядись, присоветуй сама, под тем углом зрения, чтобы не было неожиданного кошмарного потрясения. Если я об этом прошу, то, поверь, что я выстрадал все, в том числе и эту просьбу, и что все будет, как этого требуют большие и великие интересы. Ты знаешь, чего мне стоит писать тебе такое письмо, но я пишу его в глубокой уверенности, что только так я должен поступить. Это главное, основное, решающее. Сколько говорят эти короткие строки, ты и сама понимаешь. Сделай так, как я прошу, и держи себя в руках: будь КАМЕННОЙ, как статуя.

Я – в огромной тревоге ЗА ТЕБЯ, и, если бы ТЕБЕ разрешили написать или передать мне несколько успокоительных слов по поводу вышесказанного, то ЭТА тяжесть свалилась бы хоть несколько с моей души.

Об этом прошу тебя, друг мой милый, об этом умоляю. Вторая просьба у меня – неумеримо меньшая, но лично для меня очень важная.

Тебе передадут три рукописи:

а) большая философская работа на 310 стр. («Философские арабески»)

в) томик стихов;

с) семь первых глав романа.

Их нужно переписать на машинке, по три экземпляра. Стихи и роман поможет обработать отец (в стихах приложен ПЛАН, там внешне – хаос, но можно разобраться; каждое стихотворение нужно перепечатывать на отдельной страничке).

Самое важное, чтоб не затерялась философская работа, над которой я много работал и в которую много вложил: это – очень ЗРЕЛАЯ вещь, по сравнению с моими прежними писаниями, и в отличие от них, ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ от начала до конца.

Есть ЕЩЕ та книга («Кризис капит. культуры и социализм»), первую половину которой я писал еще дома. Ты ее постарайся ВЫРУЧИТЬ: она не у меня – жаль будет, если пропадет.

Если ты получишь рукописи (много стихов связано с ТОБОЙ и ты по ним почувствуешь, как я к тебя привязан), и если тебе будет разрешено передать мне несколько строк или слов, НЕ ПОЗАБУДЬ УПОМЯНУТЬ И О МОИХ РУКОПИСЯХ.

Распространяться сейчас о своих чувствах неуместно. Но ты и за этими строками увидишь, как безмерно-глубоко я тебя люблю. Помоги мне исполнением первой просьбы в столь для меня тяжкие часы. Во всех случаях и при всех исходах суда я после него тебя увижу и смогу поцеловать твои руки.

До свидания, дорогая. Твой Колька.

P.S. Карточка твоя у меня есть с малышом. Поцелуй Юрку от меня. Хорошо, что он не читает. За дочь очень боюсь. О сыне скажи хоть слово – вероятно, вырос мальчонка, а меня и не знает. Обними его и приласкай.

О предсмертном письме Николая Ивановича Бухарина

Октябрь 1992 г.

Трудно передать мое душевное состояние после того, как я прочитала письмо Николая Ивановича, принесенного мне в больницу «Родина» через 54 года после его написания. То, что для читателя – всего лишь история, для меня вдруг стало сегодняшним днем. В одно мгновение я перенеслась на кровавую землю Большого террора.

Квартира наша была мертва в дни, предшествовавшие аресту, ни одна живая душа не осмеливалась посетить того, кого газеты ежедневно обвиняли в неслыханных преступлениях. Решилась лишь на это Августа Петровна Короткова, работавшая секретарем Н. И. в «Известиях» – пришла проститься и рыдала. Августа Петровна, прозванная Пеночкой, и правда напоминала птичку своей хрупкой фигуркой, жива и сейчас.

Гробовую тишину квартиры нарушали чаще всего фельдъегери, приносившие очередную пачку клеветнических показаний на Бухарина, да еще трижды звонил почтальон: принес письма от Бориса Пастернака и телеграмму от Ромэна Роллана.

В один из дней, незадолго до рокового февральско-мартовского пленума 1937 года (рокового не только для нас, но и для судеб миллионов), мы с Н. И. находились в кабинете. Вдруг вошли трое. Они сообщили «товарищу Бухарину» – так они выразились, – что ему предстоит выселение из Кремля. Н. И. ничего не успел ответить – зазвонил телефон. Говорил Сталин:

– Что там у тебя, Николай? В смысле, как живешь, дорогой?

– Да вот пришли меня из Кремля выселять. Я в Кремле вовсе не заинтересован, прошу только, чтобы было помещение, куда вместились бы моя библиотека.

В ту минуту Н. И. едва ли интересовала его библиотека. Уже было ясно, что предстоит арест, но, видно, Н. И. хотел продолжить разговор со Сталиным, к которому давно уже тщетно стремился.

– А ты пошли их к чертовой матери, – сказал Коба и положил трубку. Пришедшие моментально ушли. Переселять Н. И. из Кремля было действительно бессмысленно, через несколько дней Коба обеспечил его последней квартирой в тюремной камере, а через год и камеры не потребовалось... Но Сталин не мог остановить игру.

Давно уже длилась эта игра, которой Н. И. не понимал. Еще весной 1935 года Н. И. присутствовал на выпускном вечере военных академий. Первый тост, произнесенный Сталиным, был не за военного:

– Выпьем, товарищи, за Николая Ивановича, все мы его знаем и любим, а кто старое помянет, тому и глаз вон.

А ведь «пролетарская секира» была уже и тогда наготове. Сейчас известен найденный в ЦК КПСС «теоретический труд» Ежова «от фракционности к открытой контрреволюции», содержащий основную версию обвинения «правых» – М. П. Томского, Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова. К работе над этой рукописью Ежов приступил в 1935 году. Сталин лично редактировал этот «труд».

Возвращаюсь в кабинет НИ. Мы оказались там не случайно. Н. И. попросил меня помочь разыскать в его письменном столе небольшую записочку, найденную им в конце 1928-го или в начале 1929-го года. После окончания заседания Политбюро Н. И. обнаружил, что выронил из кармана карандашик, которым любил делать записи. Вернулся в комнату заседаний, нагнулся за карандашом и заметил на полу бумажку. Рукой Сталина было написано: «надо уничтожить бухаринских учеников». Коба, видно, уронил на пол эту записку для себя. Н. И. перед обыском решил избавиться от нее, чтобы не быть обвиненным в подделке, в краже – в чем угодно... Эту записку мы нашли, и я уничтожила ее – это был единственный документ, уничтоженный перед обыском. Я была потрясена и спросила Н. И.:

– Следовательно, ты знал, на что способен Сталин?

– Я думал, он решил уничтожить их, как моих единомышленников путем изоляции от меня. Теперь я не исключаю, что он их всех перестреляет.

Трагически закончилась история дружеских отношений, полных любви, преданности и уважения, между Н. И. и его учениками.

«Одна моя ни в чем не повинная голова потянет еще тысячи невинных». Или: «История не стерпит свидетелей грязных дел».

Все сбилось! Он писал это в обращении к «будущему поколению руководителей партии». Над этим теперь кое-кто издевается, а к кому Н. И. в то время мог обращаться?

Письмо Н. И., хотя и носит сугубо личный характер, представляет и исторический интерес. Известный вопрос: почему подсудимые на открытых московских процессах признавали себя виновными в чудовищных преступлениях? И почему в это верили люди, хотя, к примеру, «признания» Бухарина были откровенно формальными? Только малая часть интеллигенции, я уже не говорю о «простом народе», понимала, что процессы сфальсифицированы. Илья Эринбург рассказал мне, что даже Михаил Кольцов предложил ему пойти и посмотреть «на своего друга», выражая презрение к Н. И. А ждала его вскорости та же судьба. Е. А. Гнедин, известный публицист и дипломат (кстати, работавший в начале тридцатых в иностранном отделе «Известий»), тоже не избежавший репрессий, в своей книге писал: «Я заметил, между прочим, что встречающиеся в мемуарах И. Г. Эренбурга упоминания о наивности, казалось бы, трезвомыслящих людей вызывают совершенно напрасное недоверие современных читателей».

Бухарин (и не он один), зная, что подсудимые на предыдущих двух процессах оклеветали его, не мог представить, зачем они оговаривают самих себя, делают признания, влекущие смерть. Не верил тому, что сейчас общеизвестно: на мозг была надета предохранительная рубашка. Такова психология обреченного человека. В противном случае он потерял бы стимул к борьбе.

Когда однажды я спросила Н. И., зачем Зиновьеву нужно было убивать Кирова, он ответил: «А меня и Алексея (Рыкова) они же убивают, Томского уже убили, следовательно, они на все способны».

Так мыслят категорией железной логики, а она никогда не приводит к правильному ответу. Однако мнение Н. И. менялось в течение дня несколько раз. Виноваты были в его глазах и разложившиеся органы НКВД, которые в погоне за орденами и славой используют эту клевету и требуют дальнейшей, виновата была болезненная подозрительность Сталина. Давление самого Сталина на органы НКВД он тоже не исключал, но главными виновниками считал клеветников на процессе, Каменева и Зиновьева. Против них он метал гром и молнии, обзывал их как угодно. В этом он был не одинок. Вот строки из письма М. Томского Сталину, написанного перед самоубийством – 22 августа 1936 г.:

«Я обращаюсь к тебе не только как к руководителю партии, но и как к старому боевому товарищу, и вот моя последняя просьба – не верь наглой клевете Зиновьева, никогда ни в какие блоки я с ним не входил, никаких заговоров против партии я не делал».

«Боевой товарищ» его отблагодарил: арестовал жену, расстрелял двух сыновей. Третий, Юрий Михайлович, тоже репрессированный, после всего пережитого лежит парализованный около десяти лет.

В письме Н. И. пишет: «Помни о том, что великое дело СССР живет, и это главное». Теперь эти строки звучат для меня трагически. Или: «Все будет, как этого требуют большие и великие интересы».

Да, казалось Н. И., что в 1935 году начала меняться общая идеологическая атмосфера. Он надеялся на демократизацию общества в связи с проектом новой конституции, правовая часть которой была написана Бухариным. Н. И. не оглядывался назад, он смотрел вперед. Советский Союз стал оплотом мира перед лицом наступающего фашизма. В середине 1935 года Коминтерн встал, наконец, на позиции, которые Бухарин пытался отстаивать еще в 1929 году: VII Конгресс призвал к единому фронту против фашизма все коммунистические и социалистические партии. Опоздание было непоправимым, фашизм победил в Германии, но надо было остановить наступление фашизма.

Еще в 1923 г., на XII съезде партии Бухарин говорил об опасности гитлеровской организации, возникшей тогда в Баварии. Речь Бухарина на XVIII съезде ВКП (б) в феврале 1934 года, когда он уже не входил в Политбюро и был лишен какой-либо власти, почти вызывающе отличалась от международного раздела доклада Сталина резким указанием на германскую опасность, которую Сталин не хотел воспринимать всерьез. Последний в его жизни доклад, который Н. И. произнес 3 апреля 1936 года в Париже – «Основные проблемы современной культуры», был направлен тоже против фашизма: «Фашизм как теоретически, так и практически довел до крайности антииндивидуалистические тенденции, над всеми институтами он воздвиг всемогущее «тотальное государство», которое деперсонифицирует все, за исключением вождей и сверхвождей... Обезличение массы здесь прямо пропорционально прославлению вождя».

Имя Сталина, конечно, не упоминалось, хотя для современного читателя оно здесь напрашивается не менее, чем имя Гитлера. Может быть, Бухарин говорил эзоповым языком и все-таки подразумевал Кобу? Я, зная характер Н. И., в этом сомневаюсь. Однако Сталин, несомненно, отнес слова Н. И. к себе.

В том докладе много внимания было уделено социалистическому гуманизму. «Социализм, – сказал Н. И., – отвергает эстетическое восхищение злом». Отвергающий эстетическое восхищение злом при

начавшихся массовых террористических оргиях никак не вписывался в то «социалистическое общество», которое возводил Сталин.

Жутко звучат слова последнего письма: «Что бы мне ни говорили, что бы я ни говорил». Они означают, вне всякого сомнения, что он решил сдаться и вести себя на процессе так, как потребуют палачи. Одна из причин этого очевидна: накануне наступления фашизма он не хотел компрометировать Советский Союз разоблачением того, что творилось в ежовых застенках. Но для меня такое объяснение недостаточно. Были еще серьезные обстоятельства, сломившие Н. И.

Мне стало известно, что обвинительное заключение он подписал в начале июня. Во время следствия, уже в тюрьме, пачками продолжали поступать клеветнические показания против него, допросы профессиональных провокаторов, в том числе его бывшего ученика В. Астрова, завербованного ОГПУ еще в конце 20-х годов. Следователь Лев Шейнин угрожал Н. И. преследованиями, которыми подвергнут членов его семьи (а это самая страшная кара) в случае, если он не сдастся. В камеру к Н. И. посадили заместителя начальника управления НКВД по Саратовской области, обязанного запоминать каждое его слово (со мной проделали такое в Новосибирском изоляторе). Наконец, Н. И. допрашивали 12–14 следователей, сменяя друг друга. От депрессии лечили возбуждающими препаратами, а возможно, и подавляющими волю его. В подготовке Н. И. к процессу принимали участие Ежов и Вышинский – от Политбюро его «друг» Ворошилов. Все согласовывалось со Сталиным. Я убеждена, что ему была обещана жизнь, думаю, что, он верил в это. Тем более, на предыдущем процессе не расстреляли ни Сокольников, ни Ра-дека, их оставили жить, как я думаю, в качестве приманки для Бухарина и других. Вскоре они были уничтожены без всякого суда, последним Раковский, в 1941 году.

В 1988 году ко мне приходил бывший сотрудник английского посольства Ф. Рой Маклин, уже глубокий старик. Он пришел поздравить меня с реабилитацией Бухарина. Он сообщил мне, что ежедневно бывал на процессе, что такого обвиняемого, который при формальном признании своей вины в общих словах фактически ничего конкретного не признавал, он видел впервые. Сказал и то, что стенограмма процесса в полной мере не отражает всех схваток с Вышинским.

Слова Бухарина на процессе «Признание обвиняемых – есть средневековый юридический принцип» означали оправдание не только себя самого, но и тех, кто показывал против него. Так что если у Вышинского «что бы мне ни говорили» вышло великолепно, то у Н. И. «что бы я ни говорил» все-таки не состоялось так, как добивались от него организаторы судилища.

В судебном отчете есть бухаринские слова: «Мировая история – есть мировое судилище». Увы, и современная история подтверждает, насколько он был прав. Не вижу надобности опровергать заведомые злобные выдумки, появлявшиеся в разных изданиях, наподобие того, что он был врагом российского крестьянства – он, составивший наиболее сильную оппозицию Сталину в вопросе о коллективизации и раскулачивании и за это именно пострадавший. Но больно ранят замечания вроде бы и частные, и неумышленные, не по злобе, а по неведению, однако досадные тем, что появились в «Известиях», в газете, которая была его последним местом работы и которой он служил так ревностно. Именно такие «опечатки» ярче всего раскрывают всю глубину сегодняшнего исторического нигилизма.

В связи со столетием со дня рождения О. Э. Мандельштама поэт Андрей Вознесенский в январе 1991 года поместил о нем статью. Там есть такие слова: «Бухарин был поклонником Пастернака, полемизировал печатно с Троцким, который был поклонником Есенина. Сталин взял себе Маяковского. И только Мандельштаму не нашлось мецената». Ну как же было при столь резком противопоставлении не заглянуть в воспоминания Н. Я. Мандельштам – жены поэта! «Всеми просветами своей жизни, – пишет Надежда Яковлевна, – Ося обязан Бухарину, книга стихов 28-го никогда не вышла бы без активного участия Николая Ивановича, который привлек на свою сторону и Кирова. Путешествие в Армению, квартира, пайки, договоры на последующие издания... все это дело рук Бухарина...» Я могу добавить, что Н. И. принял меры к освобождению арестованного брата О. Э. – Евгения. Но в 1934 году, когда были написаны роковые стихи о Сталине, Н. И. сам в опале.

В юбилейном номере к 75-летию «Известий» о Н. И. сказано: «Это он подписывал в свет номера с позорными отчетами о позорных процессах...»

Да, в подшивке газеты до 16 января 1937 года идут номера, под которыми подпись главного редактора: Н. Бухарина. Только он номера не подписывал с августа 1936 года. Я знаю это точно, а сейчас имею и документальное свидетельство. Американский историк

Стивен Коэн, биограф Бухарина разыскал недавно в архиве записку Н. И., адресованную в «Известия»: «Тов. Великодворскому для парт. собрания». Бухарин извиняется за то, что не может «присутствовать на собрании, на котором присутствовать был бы обязан, как редактор». Он объясняет причину: «Вчера я послал членам ПБ большое письмо, с фактами, анализом и т. д. В конце я пишу, что ни физически, ни умственно, ни политически я на работу ходить не в состоянии, пока не будет снято с меня обвинение». Дата: 28 августа 1936 года. Тем не менее, несмотря на публикацию в «Известиях» порочащих Бухарина материалов, газету подписывали его именем.

Сейчас у нас смена эпох. Н. И. из сегодняшней дали выглядит инопланетянином. Никому не нужны его призыв к крестьянам: «Обогащайтесь», его слова: «Из кирпичей будущего социализма не построишь», его кооперация по сбыту, по кредиту, по закупкам, его вращение в социализм, его идея комбинации личной, групповой, массовой, общественной, государственной инициативы.

Я не историк, но я и не фонвизинский Митрофанушка, полагавший, что географию изучать незачем. Николай Иванович любил изречение Козьмы Пруткова: «Иные люди подобны колбасам, чем их начиняют, то они и носят в себе». Мало кто заботится о том, чтобы, обращаясь к прошлому, представить реальный образ политического деятеля и той обстановки, которая вынуждала его поступать именно так, а не по-другому. Хотелось бы, чтобы историческую фигуру Бухарина рассматривали только так.

А. М. Ларина-Бухарина

Впервые напечатано в газете «Известия» 1992 от 13 октября

Введение

Неправ был Булгаков – рукописи горят. Примеры тому хорошо известны. У нас есть официальные свидетельства того, что последние произведения Бориса Пильняка, арестованные вместе с ним в 1937 г., «не сохранились» (1). Ряд неопубликованных работ Исаака Бабеля и Николая Вавилова, очевидно, постигла та же участь. Но мы никогда не узнаем, сколько же рукописей, а также бесценных писем, исторических документов, фотографий, кинофильмов и даже живописных работ погибло в кровавые десятилетия сталинского режима, стремившегося уничтожить все, что хоть немного отклонялось от официального курса на фальсификацию всего и вся. Часть из них была элементарно утеряна в круговерти миллионов арестов и конфискаций; от других поспешили избавиться из страха, что придут и найдут; но огромное большинство было уничтожено планомерно. В годы наивысшего террора на Лубянке беспрестанно работали печи и тюремная «закопченная труба... посыпала Москву пеплом сжигаемых рукописей» (2). Кто знает, сколько сотрудников провинциальных лубянок усердно трудилось над сожжением рукописей по всей России и в других советских республиках?

Позже, как известно, органы НКВД-КГБ уничтожили огромное количество документов во время наступления гитлеровских армий на Москву в 1941 г., затем в 1950-е годы, опасаясь хрущевских разоблачений, и, наконец, в 1991 г., после неудавшегося путча против Горбачева (в последнем случае их не сжигали, а рвали в мелкие клочки) (3).

И все же очень многие из запрещенных рукописей и документов сумели пережить долгое царствие сталинского террора. Некоторые были спасены ценой личного мужества, но гораздо большее количество сохранилось благодаря самой машине террора с пометкой «Хранить вечно» в архивах (правильнее было бы сказать – «подвалах») НКВД и Террориста № 1 – Сталина. (Почему вождь и его приспешники хранили такое количество обвинительного материала против себя – вопрос любопытный, но для отдельного исследования).

Три из наиболее значительных рукописей, переживших те годы, публикуются в этих двух томах.

Николай Иванович Бухарин, один из советских «отцов-основателей», которого называли «золотое дитя революции», оказался рядовой жертвой среди миллионов жертв сталинского террора, но судьба его была особой. Как ведущему и наиболее дальновидному из большевистских оппонентов сталинской драконовской политики с самого начала ее становления (еще в 1928 г. он предупреждал, что такая политика подразумевает «военно-феодалную эксплуатацию крестьянства» и «полицейское государство»), Бухарину выпала участь быть главным обвиняемым на самом грандиозном из фальсифицированных судебных процессов 1930-х годов. Он был осужден и казнен в марте 1938 г. как «враг народа», чьи преступления якобы «превосходят самые вероломные и чудовищные преступления, известные в истории человечества». Имя Бухарина и его биография предавались официальной анафеме в течение последующих пятидесяти лет, включая три десятилетия после смерти самого Сталина, вплоть до 1988 г., когда при Горбачеве, наконец, он был оправдан и «полностью реабилитирован»).

Но даже сегодня, поскольку архивы той кровавой эпохи очень фрагментарно и весьма неохотно выдают свои страшные секреты, мы можем лишь приблизиться к ответу на вопрос, что же на самом деле происходило с Бухариным в последний год его жизни. Арестованный 27 февраля 1937 г., он провел последующие двенадцать месяцев в тюрьме на Лубянке – сталинской фабрике ложных признаний, полностью отданный в руки энкавэдэшных «мастеров допроса», которые «готовили» его к процессу. Недавно обнаруженные документы показывают отчаянную, одинокую борьбу 49-летнего Бухарина за спасение своих принципов, сохранив при этом достоинство и здравый смысл, но более того – за спасение своей семьи: молодой жены Анны Михайловны Лариной и сына Юрия, а также 13-летней дочери от предыдущего брака Светланы Гурвич. Это страшная, но во многом и возвышенная история, которую до сих пор никто полностью не рассказал.

Но самое замечательное из открытий есть тот факт, что в условиях непрестанных мучений на Лубянке, пребывая в состоянии «между жизнью и смертью» (5), этот немолодой интеллигент, которого столь часто характеризовали как «мягкого» и «слабого», нашел в себе силы, физические и моральные, написать без малого за год – без пишущей машинки, без необходимых источников, даже без нужного количества бумаги – целых четыре книги: исследование о современной культуре

и цивилизации, философский трактат, том тематической лирики и неоконченный роман о своем собственном детстве в дореволюционной Москве.

Все четыре рукописи были немедленно похоронены в глубочайших («совершенно секретно») тайниках Эпохи Тррора, где они пролежали в абсолютной безвестности почти шестьдесят лет. Бухаринские тюремщики, действуя ли в соответствии с существующими инструкциями или руководствуясь инстинктивным страхом, отправили его сочинения прямоком своему хозяину, в Кремль, где они и исчезли в недрах личного архива Сталина (ныне – часть все еще частично недоступного Президентского архива) (6). Только в 1992 г., по моей инициативе, они были извлечены оттуда. Роман «Времена» был опубликован издательством «Прогресс» в 1994 г. – и теперь включён в это издание. Остальные тюремные рукописи Бухарина полностью, включая сочинения по философии и культуре, а также избранную лирику, впервые публикуются здесь.

Моя роль во всей этой эпопее была двойкой: с одной стороны, я получал, хотя и с большим опозданием, возможность написать продолжение моей биографии Бухарина, вышедшей в Соединенных Штатах в 1973 г. (7), а с другой, я был связан тесными дружескими отношениями с семьей Бухарина, Анной Михайловной и Юрием Николаевичем, с которыми впервые познакомился в Москве в 1975 г. Работая над той своей книгой, я встречал свидетельства того, что Бухарин, возможно, что-то написал в тюрьме (8), но лишь в 1988 г. один из помощников М. С. Горбачева в частной беседе подтвердил факт существования четырех таких рукописей. К тому времени я принял для себя решение собрать материал для нового, дополненного издания моей книги, но без доступа к тюремным творениям Бухарина это решение становилось бессмысленным.

От имени Анны Михайловны, Юрия и от себя лично я начал поиски рукописей. Горбачев отнесся с явным сочувствием к моей просьбе, но сделать тогда ничего не мог, так как был уже втянут в острый конфликт внутри компартии по поводу контроля над «партийными документами». Тем не менее, вплоть до 1991 г. я продолжал оптимистически надеяться, что Горбачев вот-вот подпишет соответствующий указ, который откроет доступ к рукописям. Однако внезапный конец Советского Союза и ликвидация должности самого Горбачева, лишили его власти над Кремлевским президентским Архивом.

В 1992 г. Анна Михайловна, которой в ту пору было уже под восемьдесят и ее здоровье оставляло желать лучшего, и я

предприняли еще одну попытку. Убежденная в том, что семья Бухарина является законным наследником его письменных работ и посему обладает юридическим правом на просмотр всех фондов, имеющих отношение к его делу, Анна Михайловна назначила меня своим доверенным

лицом и в письмах в соответствующие архивы просила, чтобы мне дали полный доступ ко всем материалам, связанным с Бухариным. К нашему удивлению, ответ из бывшего архива НКВД-КГБ был быстрым и положительным, и вскоре я приступил к работе. В то же время было очевидно, что никто из высшего архивного начальства новой, посткоммунистической России, как бы хорошо они ко мне не относились, не мог сам, по собственной воле разрешить мне доступ к материалам Президентского архива, где хранились рукописи Бухарина и многие другие важные документы. Это было подвластно лишь очень влиятельной персоне из окружения Ельцина.

С подсказки одного общего русского друга, я вычислил человека, который мог обладать таким влиянием и желанием помочь нам. В июле 1992 г., во время открытия судебного процесса над КПСС, я буквально припер к стенке буквально припер к стенке Геннадия Бурбулиса, одного из ближайших помощников Ельцина. Не отличающийся сентиментальностью и не замеченный в особой симпатии к большевикам, Геннадий Бурбулис, тем не менее, был явно тронут справедливым желанием Анны Михайловны узнать все о мученической судьбе своего мужа.

Через несколько минут я уже сидел в его правительственном кабинете, пока он говорил по телефону с архивной администрацией, а спустя несколько недель ксерокопии четырех рукописей были у нас в руках (9). Понадобились бездна лет и испытаний, чтобы вдова, сын и дочь Бухарина получили возможность встретиться с ним снова.

Что касается меня, то я, несомненно, испытывал огромное удовлетворение и радость открытия, а как биограф, считавший свою работу законченной двадцать лет назад, – вдвойне. Рукописи давали мне возможность проследить за ходом политического мышления Бухарина после его последних, опубликованных в 1936 г., статей до самой гибели. Ничуть не утрачивая своей важности, эти тюремные писания подтверждали то, что я старался показать в первом издании моей книги: Бухарин не «сломался» за год пребывания на Лубянке, и он на самом деле не «раскаялся» на суде, как принято думать. Наоборот, он в конце концов согласился принять участие в этом чудовищном сталинском спектакле ради спасения собственной семьи, но не только. Он использовал эту возможность, для того, чтобы в

последний раз публично высказать, с помощью эзопова языка и других доступных ему, крайне ограниченных, средств свое мнение по наиболее острым вопросам, включая антисталинизм. Большинство людей так и не сумело понять и, следовательно, оценить мужественное поведение Бухарина на процессе, но нескольким западным обозревателям, присутствовавшим в зале суда, по-видимому, это удалось. Как писали они тогда в своих отчетах и как отметил позже советский судья, пересматривавший через пятьдесят лет дело Бухарина, «он был бойцом до конца – вопреки условиям, в которых оказался» (10).

Последний бой Бухарина против Сталина, представленного в тюрьме и в зале суда легионом грубых охранников и предельно продажных обвинителей, был безмерно сложным и, конечно же, неравным. Кремлевский Великий Инквизитор имел власть даровать жизнь и лишать ее; особенно это касалось семьи Бухарина, но так же, как отмечал с тревогой Бухарин в своих тюремных письмах, – и его последних рукописей. Единственной же «властью» узника Лубянки было извращенное желание Сталина добиться любой ценой его участия в показательном процессе. Даже разрешение писать в камере, которое было необычным и могло исходить только от Сталина, являвшегося, в свою очередь главным и, возможно, единственным бухаринским читателем, было частью этого чудовищно неравного диалога. Эта история тоже должна быть рассказана, но рассказать ее надо, опираясь на всю полноту документального и исторического контекста, а не выдергивая факты, как это делается во многих недавних «архивных сенсациях» (11).

К сожалению, у нас все еще нет многих важных документов. Например, опубликованная в 1938 г. после цензурной правки речь Бухарина на суде содержала намеки на центральные темы его тюремных сочинений. Однако машинописная копия оригинала стенограммы, содержащая собственноручные «исправления» Сталина и его судьи-вешателя Василия Ульриха (12), пока не стала доступной в Президентском Архиве. И в то время как архив бывшего НКВД-КГБ позволил мне читать протоколы фальшивых тюремных показаний, давать которые согласился Бухарин лишь после трехмесячного пребывания на Лубянке, протоколы предыдущих допросов, в которых он заявил о своей невиновности, остаются недоступными в другом закрытом архиве (13).

Другие важные документы, относящиеся к категории загадочно исчезнувших, были в свое время утеряны или сожжены.

К ним относится первый том рукописи Бухарина о культуре, завершённый незадолго до его ареста и конфискованный во время обыска в его кремлевской квартире (14), и потенциально бесценная киноплёнка с записью судебного процесса (возможно, даже со звуком), отснятая операторами НКВД в зале суда. (В самом деле, удивительно, что до сих пор ни один фрагмент из этого фильма или хотя бы единственный снимок лиц обвиняемых на этом самом позорном политическом процессе века не был обнаружен или хотя бы найден! (15)). Точно также публикуемое здесь трогательное и политически разоблачительное письмо Бухарина Анне Михайловне, написанное им в январе 1938 г., накануне суда, и дошедшее до нее 54 года спустя, было далеко не первым, но единственным, которое нам удалось найти. Поэтому для нас поиски продолжаются, даже если надежда и удача изменят нам.

Иные читатели и иные поколения читателей, несомненно, по-разному отреагируют на публикуемые тюремные рукописи. Некоторые будут оценивать их содержание с точки зрения интеллектуального и политического контекста, в котором они были написаны, или как уникальное отражение судьбоносной исторической эпохи и свидетельство одного из ее наиболее выдающихся деятелей. Других, возможно, больше восхитит не содержание рукописей, а те чрезвычайное мужество и решимость, которыми надо было обладать, чтобы написать такое. Они будут внимательно подмечать, что Бухарин мог и что не мог доверить бумаге, прекрасно понимая, что он вынужден формулировать каждую мысль, балансируя, как на лезвии бритвы, между отчаянным желанием сказать что-либо деспоту и потомкам – и отчаянным положением его семьи (16). А некоторые читатели, быть может, попытаются сравнивать эти рукописи с сочинениями других политических узников, сидевших в иные времена в иных местах, хотя почти невозможно представить обстоятельства более ужасные, чем в деле Бухарина.

Будут оценки и менее разумные. В «новой России», как и среди специалистов в моей стране, есть люди, которые решительно отбросят бухаринские тюремные писания – как часть недостойного, забытого и потому неуместного сегодня советского прошлого. Так, в 1993 г. одна модная московская газета заклеила решение одного научного журнала опубликовать несколько разделов бухаринской философской рукописи, как «просто скандал и позор» (17). Подобное отношение есть, без сомнения, продолжение конъюнктурного политического подхода к истории – «политически корректного» в более мягком американском варианте, который периодически трансформирует

вчерашие не критические плюсы в сегодняшние не более разумные минусы (18).

Естественно, если бы эти рукописи были опубликованы в Советской России 20 лет назад, во время великого «бухаринского бума» 1988–1990 гг. или даже в 1991 г., они оказались бы среди наиболее читаемых и почитаемых публикаций своего времени (19). Сегодня же, похоже, никто: ни коммунисты, ни экс-коммунисты, ни либералы, ни националисты, ни власть предержащие и ни оппозиция, – по политическим соображениям или из презрения – не испытывает серьезного интереса к недавней истории собственной страны, включая Бухарина. Чем еще можно объяснить тот факт, что в то время, как издатели бухаринских рукописей, едва смогли найти необходимую сумму для тиража в тысячу экземпляров, сталинистские книги распространяются огромными тиражами?

Но и это пройдет, вместе с распространенным убеждением, что народ может игнорировать или отвергать свою историю. В конце концов, все больше и больше русских захочет понять, что же случилось с их страной в это трагическое двадцатое столетие и были ли тому альтернативы. По мере углубления этого процесса исторического переосмысления трудно будет обойтись без Николая Ивановича Бухарина, чья судьба столь тесно переплелась с тремя главными национальными трагедиями этого века (20). Именно Бухарин до конца противостоял сталинскому бессмысленному разрушению рыночной структуры страны и отечественного слоя мелких производителей (до сих пор не возродившихся по-настоящему); именно его антифашистские предупреждения, даже прозвучавшие из тюремной камеры, создавали альтернативу сталинскому пакту с Гитлером, по вине которого советский народ остался неподготовленным к войне и заплатил за это, может быть, 30 миллионов жизней; и, наконец, именно бухаринский судебный процесс стал символом террора, засасывавшего нацию.

Сегодня лишь несколько тысяч читателей имеют возможность поразмыслить над значением этих рукописей, но со временем их, несомненно, станет больше. И тогда наступит время, когда, вслед за Спинозой, нужно будет не смеяться или плакать, не хвалить или ругать, но – понимать.

*Стивен Коэн,
профессор русистики и русской истории
Нью-Йоркского университета,
почётный профессор Принстонского университета.*

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Цит. по английскому переводу книги Виталия Шенталинского «Воскресшее слово» (*Vitaly Shentalinsky. Arrested Voices. New York, 1996. Chap.7*»), которая готовилась к публикации в 1996 г.

2. Там же, p. 285.

3. По мнению Роя и Жореса Медведевых, сталинские преемники изъяли и, возможно, уничтожили ряд документов, которые обвиняли их в участии в его преступлениях. – См.: Roy and Zhores Medvedev. *The Unknown Stalin. New York, 2004. Chap. 3*). Тем не менее, в их распоряжении оставалось ещё достаточно подобных документов, чтобы использовать их (или грозить использовать) в последующей борьбе за власть, что и сделал, например, Хрущёв в отношении Молотова, Маленкова и Кагановича на пленуме ЦК в 1957 г. и позже, на XXII съезде партии в 1961 г. По поводу документов, обвиняющих самого Хрущёва, см. примеры, приведённые в докладах комиссий Шверника и Яковлева. – См.: Реабилитация: как это было. Т. 2. М., 2003. С. 541–670; Т. 3. М., 2004. С. 142–151.

4. О роли Бухарина в советской истории см.: *Козн Стивен. Бухарин: Политическая биография (1888–1938)*. – Москва, 1988, особенно разделы 9–10. О посмертной реабилитации Бухарина, или его «жизни после смерти» («afterlife»), как я это называю, см. мою книгу «Rethinking the Soviet Experience: Politics and History Since 1917» (New York, 1985), раздел 3, а также в моих предисловиях к американскому изданию воспоминаний вдовы Бухарина-Анны Лариной: «This I Cannot Forget» (New York, 1993), С.11–33 и к тюремному роману Бухарина, озаглавленному в английском переводе «How It All Began» (New York, 1998), p. vii – xxviii.

5. «Болтаюсь между жизнью и смертью», – так писал Бухарин 29 сентября 1937 г. в одном из своих писем Сталину с Лубянки. По крайней мере, четыре из этих писем сохранились в Архиве президента Российской Федерации: Ф.3. Оп.24. Д.301. Л.129–133 и Д.427. Л.1–22 и в фонде Бухарина в РГАСПИ.

6. Уже в 1934 г., а возможно, и раньше Сталин обладал налаженной системой глубокого погребения запретных документов: «Пусть лежит весь этот “материал” глубоко в архиве. И. Сталин. 2/1/34». – Цит. по: Родина. 1992. № 8–9. С.71.

7. *Cohen Stephen F. Bukharin and the Bolshevik Revolution: A Political Biography, 1988–1938*. – New York, 1973. Эта книга, большая часть которой была тайно переведена сыном Бухарина Юрием и покойным Евгением Александровичем Гнединым, была впервые опубликована на русском языке за рубежом в 1980 г., и позднее была издана в Москве (см. примечание 4).

8. См., напр.: *Berger Joseph. Nothing But the Truth*. – New York, 1971. С.110. По словам американского журналиста Луиса Фишера, с которым я познакомился в Принстоне, Анастас Микоян рассказывал ему, что Бухарин «работал» в тюрьме. Микоян вполне мог слышать об этом от Сталина либо он на самом деле знал о существовании рукописей, которые могла обнаружить одна из многочисленных «комиссий по расследованию» второй половины 50-х-начала 60-х годов. На процессе Бухарин многозначительно намекнул, что он «работал» в тюремной камере. Сделал он это, очевидно, не только для того, чтобы поведать о существовании собственноручного литературного наследия или завещания, но и чтобы показать обозревателям, что он находится в здравом уме, и им следует правильно истолковывать все то, что он говорит на этом процессе.

9. Высшее архивное начальство, с которым я встречался, в лице Р. Г. Пихоя и А. В. Короткова, поддержало меня и приветствовало это решение. Особую благодарность я хочу выразить Ю. Г. Мурину, в то время – старшему архивисту Президентского архива, чьи экспертные оценки, знание документов и их истории, а также человеческое сочувствие очень помогли нам.

10. См. интервью М. А. Марова в «Известиях», 7 февраля 1988 г. Позже я лично встречался с Михаилом Алексеевичем, и он заверил меня, что базируется в своей оценке на прочитанных им материалах.

11. Даже один из наиболее благожелательных комментаторов бухаринского дела основывает свои выводы на одном единственном тюремном документе – письме Бухарина Сталину от 10 декабря 1937 г., опубликованном в «Источнике», 1993, № 0. С. 23–25. – См.: Гейфтер Михаил. Апология человека слабого // Российская провинция. 1994. № 5. С. 149–164.

12. Ценный, хотя и неполный анализ архивной стенограммы, касающейся в основном заключительного заявления Бухарина, содержится в статье Ю. Г. Мурина: Как фальсифицировалось “дело Бухарина” // Новая и новейшая история. 1995. № 1. С. 61–70. Мурин дает и архивные координаты документа: Ф. 3. Оп. 24. Д. 393–401.

13. В архиве бывшего НКВД-КГБ хранятся некоторые из бухаринских заявлений, сделанных им в этот период, но не полное собрание протоколов допросов. По словам представителей Президентского архива, там их тоже нет. Известно, что они были обнаружены несколько лет назад в секретных фондах так называемой «комиссии Шверника», созданной Хрущевым в начале 60-х гг. для расследования сталинских преступлений в 30-е годы, результаты которого, однако, были засекречены. У меня есть сведения, подтверждающие существование этих протоколов, но мне до сих пор не удалось не только посмотреть, но даже обнаружить их.

14. Большая часть бухаринского имущества и весь его личный архив, включая письма Ленина, а также десятки картин, написанных им за многие годы, были изъяты из его квартиры и из домов его родственников, впоследствии арестованных, и затем исчезли. Ни один из заинтересованных архивов не признался в существовании упомянутых писем. Известны сведения, хотя и непроверенные, что Сталин приказал уничтожить часть ленинских писем, изъятых у арестованных большевиков – см.: *Шейнис Зиновий*. Провокация века. – М., 1992. С. 184. Что касается судьбы бухаринских картин, то она также остается неясной. Лишь очень малая часть картин, обнаруженных случайно, вернулась к Анне Михайловне и дочери Бухарина Светлане Николаевне; большинство же считается утраченными. Возможно, некоторые из них могли уцелеть в частных коллекциях. Во всяком случае, по непроверенным сведениям, одна была продана в 1990-е годы.

15. Опубликованная в книге Дмитрия Волкогонова «Сталин» (книга I. – М., 1991) фотография имеет подпись «Н. И. Бухарин на процессе, 1938 г.», но она весьма неубедительная и не имеет ссылки на источник. Существует 30-ти минутная хроника о процессе «Приговор суда – приговор народа», которую в укороченном виде крутили в кинотеатрах в 1938 г., но она показывает подсудимых только мельком и со спины. По сведениям Ольги Шатуновской, члена Центральной Контрольной Комиссии ЦК и ведущего следователя Комиссии Шверника в начале 1960-х, Бухарин написал Сталину из тюрьмы 10 писем. См.: Шатуновская Ольга. Об ушедшем веке. La Jolla, CA, 2001. С. 298.

16. Из некоторых тюремных документов явствует, что Бухарина заставили поверить в то, что его жена вместе с малолетним сыном все еще находятся в Москве. На самом деле, к июню 1937 г. Анна Михайловна уже находилась в заключении в ГУЛАГе, где ей предстояло провести целых 20 лет, а Юрий начал свое долгое скитание по детским домам и приютам. Об этой истории см.: *Ларина-Бухарина Анна*. Незабываемое. – М., 1989. Дочь Бухарина Светлана была арестована вместе со своей матерью, Эсфирь Исаевна Гурвич, в 1949 г. О жизни Светланы Николаевны см.: Россия и Европа. № 4. Под ред. А. С. Намазовой. М., 2007. С. 190–296. Первая жена Бухарина, Надежда Михайловна Луккина, инвалид, была арестована в 1937 г., подверглась жестоким пыткам и казнена в 1940 г. См.: Борин Александр. Ритуал // Литературная газета. 1988. 23 ноября.

17. См.: «Толстые журналы» // Сегодня. 1993. 1 июня. Выборочные части рукописи были опубликованы в «Вопросах философии» в 1993, № 6, с интересным и вполне благожелательным предисловием А. П. Огурцова. Некоторые российские историки даже начали сравнивать Бухарина с такими одиозными фигурами, как Ежов и Ягода. – См.,

например, статью Короткова Александра, Степанова Александра, Пихои Рудольфа в «Московских новостях» (1997, 1-8 июня).

18. Исследование этого подхода к истории в период гласности см. в книге Г. А. Бордюгова и В. А. Козлова «История конъюнктура» (М., 1992).

19. О «бухаринском буме» см. там же, разд. 2.

20. Даже антибухарински настроенный националист заключает: «Споры же историков о личности Бухарина и его роли в истории и революции будут продолжаться, пока у людей будет сохраняться живой интерес к прошлому, соединенному с будущим неразрывными связями». – Ю. В. Емельянов. Заметки о Бухарине. М., 1989. С.315.

Рукопись первая

СОЦИАЛИЗМ
И ЕГО КУЛЬТУРА

Март–апрель 1937 года

Вступительная статья

Реализованный коммунизм, сведя к минимуму часы материального труда, уничтожив государство и внешние формы принуждения, приведет к всеобщему царству свободы во всех ее проявлениях.

Н. Бухарин

Опыты осуществления земного рая всегда вели к аду на земле.

Н. Бердяев

Три большие работы Николая Ивановича Бухарина, написанные в тюрьме на Лубянке в ожидании смерти и лишь в девяностые годы XX века обнаруженные в сверхсекретном архиве Сталина, объединяет не только время и место их создания, но и фактическое единство общего замысла. Работа о социализме, которому надлежит спасти от гибели мировую культуру, «Философские арабески» (книга о диалектической природе мироустройства) и, наконец, изданный в 1994 году, незаконченный в связи с расстрелом автора роман «Времена» – это трагический триптих, сложный и неоднозначный в своей объективной и субъективной противоречивости, недосказанности, свободе и несвободе осуществления предсмертного слова.

Когда время жизни, отпущенное палачом, наперед не обозначено, порядок исполнения литературных замыслов, скорей всего, определяется естественной первоочередностью задач. Написанная первой, книга о социализме решала политические, т. е. главные для Бухарина, задачи. «Философские арабески» синтезировали многолетние размышления и имели целью, может быть, не столько даже отвести давно приклеившийся к Бухарину ярлык «недиалектичности», сколько дать импульс, направляющий развитие

марксистской мысли в противовес преждевременному окостенению – задача, которой определено было стать второй по значимости. И третьей – *last but not least*, как говорил в таких случаях Н. И., – и действительно не последней по несомненности достигнутого результата – автобиографическая книга «Времена», сохранившая для нас многокрасочный мир его детства, благодарно хранимый в сердце и в писательской памяти Бухарина и так многое определивший в его личности.

Книгу «Деградация культуры при фашизме» Бухарин начал писать еще до ареста и, по свидетельству А. М. Лариной (Бухариной) (1), не успел ее закончить. Поэтому, когда в тюрьме ему дали возможность писать, он сразу же вернулся к прерванной работе.

Тема кризиса культуры (капиталистической культуры), если пользоваться бухаринской фразеологией, хотя, поскольку кризис выражал угрозу гибели, точнее было бы говорить о мировой культуре, занимала Бухарина давно и основательно. Он был, как кажется, единственным человеком в верхнем эшелоне большевистской иерархии, кто обсуждал ее как жизненно важную. Поездка в Германию в 1922 году позволила Бухарину диагностировать раковые образования фашизма и с несомненной пронизательностью указать вытекающие отсюда опасности для мировой культуры. Выступая перед студентами Петрограда 4 февраля 1923 г., Бухарин говорил: «Что происходит в Германии? Нормальным порядком буржуазия править не в состоянии. Она ищет» какого-нибудь суррогата... Таким средством является нащупывание новой демагогической формы управления, которая проявляется сейчас в так называемом фашистском движении... Та перспектива, которая ставится перед человечеством, это самая грозная перспектива, которую знала когда-либо человеческая история, это то, что буржуазия может – и это сделает, если этому не помешает рабочий класс, – расстрелять остатки своей собственной цивилизации усовершенствованными истребительными орудиями» (2).

В то время Бухарин не говорил о культуре социализма. Поклонник А. А. Богданова, он разделял концепцию пролетарской культуры. Принято считать, что ее главным оппонентом был В. И. Ленин, на дух не переносивший богдановских идей. Однако, Ленин, прежде всего, политик, и он был озабочен преимущественно претензиями Пролеткульта на руководство культурной политикой, а не собственно концепцией пролеткультуры. Серьезные доводы против богдановской концепции «очень продумал и ярко аргументировал» (по

бухаринскому выражению) в 1923 году Л. Д. Троцкий. Разделяя общепринятую у большевиков классическую классовую схему – каждый господствующий класс создает свою культуру, Троцкий, вместе с тем, учитывал временные (даже в масштабе истории) реалии и с характерной непрекаемостью осаживал наивных энтузиастов: «В эпоху диктатуры о создании новой культуры, т. е. о строительстве величайшего исторического масштаба, не приходится говорить; а то, ни с чем прошлым несравнимое, культурное строительство, которое наступит, когда отпадет необходимость в железных тисках диктатуры, не будет уже иметь классового характера. Отсюда надлежит сделать тот общий вывод, что пролетарской культуры не только нет, но и не будет; и жалеть об этом поистине нет основания: пролетариат взял власть именно для того, чтобы навсегда покончить с классовой культурой и проложить пути для культуры человеческой» (3). Продолжая полемику с Бухариным в 1924 г., Троцкий утверждал: «Вы себе представляете дальнейшее развитие культуры слишком планомерно, слишком эволюционно... Нет, развитие пойдет не так. После нынешней передышки... наступит период новых жестоких спазмов гражданской войны... Результатом этого нового, гораздо более мощного периода гражданской войны – при условиях победы – будет полное обеспечение и укрепление социалистической базы нашего хозяйства... И вот на этой-то основе, после зигзагов и потрясений гражданской войны, только и начнется настоящее строительство культуры... Но это уже будет культура социалистическая, построенная целиком на постоянном общении художника и культурно выросших масс» (4).

Ближайшие же годы показали, кто был прав в этом споре («жесточкий спазм гражданской войны» – сталинская коллективизация – сделал вопрос о пролетарской культуре анахронизмом), но к тому времени оба участника спора были повержены и их положение различалось лишь степенью свободы выражения личного мнения.

Что же касается угрозы мировой культуре со стороны фашизма, то этот бухаринский прогноз подтверждался полностью и не без помощи Сталина, распространившего режим личной диктатуры на деятельность Коминтерна и тем способствовавшего внедрению патологической ненависти к социал-демократии в практику этой достаточно влиятельной организации, что стимулировало раскол в антифашистском движении и существенно облегчило победу Гитлера (не так уж важны первопричины – политический просчет или тайная симпатия одного диктатора другому).

Потерпев в 1929 году политическое поражение, оказавшийся слабым против врага, не выбиравшего ни средств, ни способов борьбы, хитрого, маниакально подозрительного, жестокого и коварного, Бухарин не сразу отказался от лобового сопротивления, не сразу понял, что в существующих условиях для него – человека живой мысли и живого действия – остается лишь один путь: признав status quo, искать способы смягчения осуществившегося в стране переустройства. Этого можно было достичь только непременным и публичным признанием полного поражения, переходом под знамена недавних противников, что давало надежду путем методичной и умной агитации привлечь на свою сторону все большее число функционеров и в итоге добиться корректировки курса. Так действовал Бухарин в 1934–36 годах и действовал, казалось, не без успеха.

В этом смысле характерна его скрытая полемика со Сталиным на XVII съезде ВКП (б) (январь 1934 г.) по вопросу о фашистской угрозе. Сталин говорил о ней как бы между прочим, и в голосе, сказавшем: «Конечно, мы далеки от того, чтобы восторгаться фашистским режимом в Германии» (5), чувствовалась успокоительная ирония, да и грядущая война, названная «империалистической», казалась удаленной от советских границ, а заявление «если интересы СССР требуют сближения с теми или иными странами, мы идем на это дело без колебаний» (6) на сегодняшний слух откровенно предвещало пакт Молотова–Риббентропа. Бухарин, получивший слово через два дня после Сталина, и, понятно, назвавший вождя «персональным воплощением ума и воли партии» (7), говорил о фашистской угрозе подробно и пылко, с убедительными цитатами из Гитлера и Розенберга, открыто предостерегая съезд: «Вот с кем мы должны будем, товарищи, иметь дело во всех тех громаднейших исторических битвах, которые история возложила на наши плечи» (8).

С тех пор идея сплочения всех антифашистских сил для ослабления фашистской угрозы и организации международной поддержки СССР определяет всю политическую деятельность Бухарина. Наряду с его публицистическими выступлениями в «Известиях» и всей линией руководимой им после XVII съезда газеты, особенно характерной в этом смысле был бухаринский доклад «Основные проблемы современной культуры» – его последнее публичное выступление перед серьезной разделявшей его тревоги аудиторией. Однако это выступление имело небезынттересную предысторию.

Доклад Н. И. Бухарина «О поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР», сделанный на Первом всесоюзном съезде советских писателей, стал едва ли не главным событием съезда и привлек к имени Бухарина симпатии левых западных писателей (некоторые из них были гостями съезда). Доклад Бухарина и ряд речей на съезде создали тот интеллектуальный фон, на котором стала возможной

организация международного конгресса писателей в защиту культуры. И хотя Бухарин не был включен в состав советской делегации, берусь утверждать, что именно он стоял у истоков идеи проведения этого конгресса. 12 сентября 1934 года Бухарин выступал с докладом о съезде писателей в одесском Доме печати; на том же собрании выступал и друг его юности писатель Илья Эренбург (9). А на следующий день Эренбург отправил из Одессы письмо Сталину с соображениями о необходимости перестройки Международной организации революционных писателей (МОРП), подобно тому, как распущенный РАПП был заменен Союзом советских писателей. Главной целью такой перестройки было названо объединение всех антифашистских сил мировой литературы*. Убежден, что содержание письма Эренбург обсуждал с Бухариным, более того, думаю, что и сама идея письма возникла в ходе их беседы (иначе бы такое письмо Эренбург написал в Москве, а не в Одессе, откуда он отправлялся в Париж). Сталин поддержал письмо Эренбурга (10), и несомненно, что парижский конгресс писателей в защиту культуры, практическими организаторами которого были Илья Эренбург и Андре Мальро, стал реальным осуществлением того плана, что был намечен в Одессе.

Парижский конгресс (он проходил 21–25 июня 1935 года и собрал литераторов из 35 стран) образовал Ассоциацию писателей в защиту культуры, и в ее бюро, как было сказано в резолюции конгресса, вошли писатели различных философских, литературных и политических направлений с тем, чтобы попытаться спасти культуру от войны и фашизма.

Второй международный конгресс писателей происходил в Испании в июле 1937 г. и был идеологически куда более дискуссионнее на парижском конгрессе – роль писателя в обществе, индивид и общество, гуманизм, нация и культура, достоинство мысли и проблемы творчества – были близки Бухарину, однако знакомиться с этой дискуссией ему пришлось по материалам парижского

* Нынешние оценки этой замены, основанные на анализе последующих событий, не отменяют энтузиазма, с которым встретили мастера литературы разгон РАППа.

корреспондента «Известий» Ильи Эренбурга, которые газета регулярно печатала.

Серия известинских статей Бухарина 1934–1935 годов (среди них в интересующем нас плане важны печатавшиеся в нескольких номерах газеты «Кризис капиталистической культуры и проблемы культуры в СССР» (11) и рецензия-памфлет на книгу Н. А. Бердяева «Судьба человека в наше время» (12)) разрабатывала основы концепции, которая концентрированно и без вынужденных ссылок на вождя была оглашена Бухариным в парижском зале Мютюалите 3 апреля 1936 года. Сталин выпустил Бухарина за границу в составе группы для ведения переговоров с меньшевиками о закупке архива Карла Маркса с несомненно провокационной целью (независимо от того, оставался Николай Иванович на Западе или возвращался в Москву, инициатор поездки получал свои дивиденды). Парижский доклад Бухарина, скорей всего, не был заложен в программу поездки, хотя не исключено, что разрешение на него было получено еще в Москве (есть свидетельство, что на доклад Бухарина явился лишь третий секретарь вымуштрованного советского посольства (13), это подтверждает отсутствие у докладчика официального статуса).

Доклад Бухарина был прочитан в пору, когда политическая ситуация в Европе определялась двумя потоками событий – возрастающей наглостью фашистского лагеря (Германия ввела войска в демилитаризованную Рейнскую область на границу с Францией, в Испании вызревал мятеж Франко, Италия, игнорируя мировое сообщество, осуществляла агрессию в Абиссинии) и – в противовес этому – консолидацией левых сил, приведшей вскоре к победе Народного фронта во Франции и по велению испанского правительства. Эта ситуация делала тему доклада, безусловно, актуальной, а выводы привлекательными. Бухарин бичевал милитаризм и фашизм, грозящие гибелью мировой культуре, и развивал свою концепцию социалистического общества, единственно могущего, как утверждалось, разрешить глобальные проблемы человеческого бытия. Привлекая на сторону своей модели социализма влиятельных интеллектуалов Запада, Бухарин пытался тем самым расширить ход резонирующих диктатора голосов, наивно полагая, что конечная цель Сталина все же создание справедливого и счастливого будущего для людей.

Парижский доклад, названный С. Н. Гурвич-Бухариной политическим завещанием отца (14), содержал в сжатой форме многие положения его будущей тюремной работы.

Пачки книг и самих фашистских идеологов, и исследований фашистского движения, которые Бухарин привез в Москву, были использованы им при работе над книгой «Деградация культуры и фашизм». По свидетельству А. М. Лариной (Бухариной) (15), вскоре после ареста Н. И. ей было разрешено доставить эти книги на Лубянку для его работы, причем следователь показал ей заглавный листок рукописи мужа.

Тому, что книга «Деградация культуры и фашизм», являющаяся первой частью работы «Кризис капиталистической культуры и социализм», до сих пор не найдена, можно найти различные и даже взаимоисключающие объяснения. Можно думать, что страницы ее, написанные в тюрьме, были присоединены к рукописи, изъятой при обыске, и их постигла судьба всего вывезенного на Лубянку бухаринского архива. Не менее оправдано и предположение о том, что вся рукопись была передана Сталину, и он увидел в ней не просто аллюзии, а зеркальный портрет созданного им в России полицейского строя, и в гневе уничтожил рукопись. Во всяком случае, в архиве Сталина, где по требованию А. М. Лариной-Бухариной и Стивена Коэна были найдены тюремные рукописи Бухарина, включая написанные в ночную бессонницу стихи, книга «Деградация культуры и фашизм» не обнаружена.

Обилие зарубежных источников, которыми пользовался Бухарин в работе над книгой, несомненно, делало ее текст насыщенным ярким фактическим материалом, а все тезисы убедительно подтвержденными. Общую же канву книги можно с некоторой надеждой на правдоподобие реконструировать по парижскому докладу 1936 года. Очевидно, что существование фашистских режимов рассматривалось в ней как проявление высшей точки общего кризиса капитализма, как отчаянно-волюнтаристский способ решения основных проблем государства и общества, способ, не имеющий шансов на успех. Ибо, как неизменно подчеркивал Бухарин, главная причина кризисов – противоречие между производством и недопотреблением масс – полностью сохраняется при фашизме. Для полноты картины приведем здесь несколько характерных цитат из доклада.

«Фашизм закрепляет классы, эксплуатацию, монополию на образование, камуфлируя подобное закрепление новыми наименованиями. Он пользуется словом “тоталитаризм”, чтобы культивировать дух солдатчины и чтобы забить массы рабочего класса в низшие категории». «Фашизм над всеми институтами воздвиг всемогущее “тотальное государство”, которое

деперсонифицирует все, за исключением вождей и сверхвождей. Обезличение массы прямо пропорционально прославлению Вождя». «Огромное большинство людей превращается в простых исполнителей, связанных дисциплиной, опутавшей все области жизни – производства, повседневного быта, семьи, физиологии, мысли и т. д., дисциплиной, которую государство обеспечивает определенными санкциями. Довлеющие этические нормы – триада: преданность “нации” или “государству”, “верность вождю”, “солдатский дух”». «Фашизм создает систему механизированной жизни милитаризованного толка». «Какие-то уступки, которые делаются массам, сопровождаются подлинным истреблением их авангарда и неслышанным возвеличиванием военных факторов». «Фашизм делает все возможное, чтобы приблизить час военной катастрофы, которая сметет все. Таким образом, ставкой в этой игре является действительно само существование культуры» (16).

Вторая часть книги «Социализм и его культура», адресованная будущему, фактически оказалась написанной для одного читателя (от него и только от него зависело, сохранят или не сохранят жизнь Бухарину и его семье, сохранят или уничтожат его рукописи). Книга, может быть, и помимо воли автора, стала очень длинным письмом, только без обычного обращения «дорогой Коба».

Каковы главные цели этого послания? Дать в развитии картину социализма, достаточно удаленную по времени от политической злобы дня, картину, в которой были бы представлены все грани жизнедеятельности общества экономическая, политическая, идеологическая, культурная. Проанализировать принципиальные проблемы общества и личности, национальных культур, их сближения и взаимного обогащения, проблемы равенства, свободы, прогресса. В итоге построить картину, убедительную и неоспоримую с точки зрения и логики, и классической марксистской теории, неоспоримую настолько, что, сознательно не порывая с марксизмом, ее нельзя было бы отвергнуть ни в одном пункте.

Таким образом, уходя из жизни, Бухарин оставлял в качестве завета свою картину социализма и получал основание надеяться, что в силу ее неоспоримости эта картина повлияет на диктатора и скорректирует его курс.

Выводя разговор о социализме практически за пределы дня сегодняшнего, Бухарин автоматически исключал из обсуждения вопросы, которые могли сразу же погубить рукопись – в его книге нет какой-либо критики существующего положения дел в стране, не

обсуждается проблема опасности перерождения системы (на самом деле, уже происшедшего), не обсуждаются вопросы гарантий развития в правильном с общеконцептуальной точки зрения направлении, не обсуждаются защитные механизмы прав личности и общества.

(Многое роднит написанное в тюрьме Бухариным с «Тюремными тетрадами» Антонио Грамши. Но есть и существенные отличия. Грамши писал не для Муссолини и его сподвижников; он не имел в тюрьме доступа к литературе, а для обмана тюремных цензоров ему приходилось прибегать к прямому камуфляжу, шифровке терминов, имен, лишь бы не потерять права продолжать работу, лишённую на посторонний взгляд политической мотивации, но, тем не менее, выражавшую его подлинные мысли, размышления, тревоги).

Подчеркивая необходимость говорить о социализме в его развитии, уведя предмет обсуждения в пусть и не очень далекую, но перспективу, Бухарин удачно обошел установившуюся к тому времени дозировку цитат из Сталина, хотя не упоминать вовсе этого имени было бы дерзким вызовом. На 238 страницах машинописного текста насчитывается едва ли 20 ссылок на Сталина, и большая их часть имеет формальный характер. Только в 2–3 случаях разговор ведется по существу, причем подчеркивается то, что Бухарин желал бы видеть в Сталине. Например, дважды приведя сталинскую формулу «план – это мы» и заметив, что «мы» – это многомиллионные массы, Бухарин пишет: «Сталинское руководство обнаруживает мастерское применение марксистско-ленинской диалектики, зная всегда меру вещей..., никогда не упуская из виду перспективы развития в целом».

Иногда при этом на страницах книги возникает как бы тень поверженных левых оппозиционеров: «Сталин все руководство политикой сделал таким, что оно соединяет в себе теоретическую прозорливость с величайшей деловитостью и конкретностью, положив конец всякой «литературщине» и безответственной литературной болтовне. Так создался... новый тип руководителей, с качественно новыми свойствами». (Тут нельзя не заметить, что вряд ли Бухарин мог забыть подлинные образы «руководителей нового типа» в их реальном проявлении – например, на апрельском 1929 года пленуме ЦК, где они его все время прерывали хамскими, безграмотными выкриками, одинаково постыдными независимо от дальнейшей судьбы участников шабаша – будь то Каганович, Орджоникидзе или Рудзутак).

Пожалуй, только одно упоминание имени Сталина было стопроцентной уступкой диктатору, алчущему присвоения военных заслуг своего главного и последовательного противника. Но и тут, не забыв, кто был создателем Красной Армии, Бухарин делит чужие лавры между *двумя* вождями, причем еще и не в равной доле: «Ленин, а затем Ленин и Сталин руководили гражданской войной, обнаружив гениальные военные способности».

В целом же Бухарин тщательно избегает обсуждения конкретных сюжетов большевистской истории и, даже подойдя вплотную к вопросу о коллективизации, изъясняется очень аккуратно: «Здесь не место давать конкретную историю развития социалистических производственных отношений и роста социалистического сектора, ставшего теперь, по существу, единственным типом производственных отношений в СССР. С этой точки зрения совершенно исключительное значение имела ликвидация класса кулаков и сплошная коллективизация сельского хозяйства».

Отвлекаясь от кровоточащих страниц реальной истории двух советских десятилетий, Бухарин пишет о том, каким при надлежащей политике станет советский социализм.

Вопрос о том, в каком направлении предстоит развиваться СССР, был в последние годы жизни Николая Ивановича главным предметом его и политических, и научных интересов. Импульсами для раздумий на эту тему служили, наверное, не столько реалии советской действительности, доскональное изучение которых, скорей всего, было не в возможностях Бухарина (не будет преувеличением сказать об определенной изолированности его бытия от многих сторон народной жизни – и это в 1930-е годы относилось едва ли не ко всей советской элите), сколько характерный для него интерес к вопросам марксистской теории и политической стратегии, а также критические труды оппонентов социализма, из которых, судя по частоте упоминаний, Бухарин неизменно выделял работы Н. А. Бердяева.

Полемические стрелы в адрес Бердяева не редкость в статьях и выступлениях Бухарина, начиная с 1925 года. В докладе «Ленинизм и проблемы культурной революции» Бухарин ополчился на бердяевское высказывание (1918 г.) о советской власти как о сатанократии. Доклад этот посвящен был памяти Ленина и потому использование в нем характерных образцов ленинской лексики («распалаясь контрреволюционной злобой, пишет трубадур аристократии господин Бердяев» (17)) выглядит едва ли не органично. Публицистическая книга Бердяева «Философия неравенства (письма к недругам по

социальной философии)», написанная в 1918 году, очень запальчивая, а потому уязвимая и для серьезной критики, была своего рода гимном уничтоженной большевистским переворотом культурной элите, духовной российской аристократии; в ней демонстративно утверждалось, что «свобода есть прежде всего право на неравенство», что «война – одна из благородных, хотя и ужасных форм борьбы», что «собственность по природе своей есть начало духовное», что «для вас культура – лишь средство вашей политики и экономики, лишь орудие благоденствия, лишь культура для народа» (18). Все это дало Бухарину повод заявить, что книга Бердяева «содержала в себе все составные элементы фашистского мировоззрения» (19). Однако, и в этой работе Бердяева не все так элементарно, она и в памяти «победителей», ослепленных открывшимися перед ними космическими масштабами переустройства жизни, могла заронить вопросы, которые рано или поздно потребуют не фельетонных ответов.

Бердяевскую «Судьбу человека в наше время» (Люцерн, 1935) Бухарин подробно проанализировал в статье «Философия культурного филистера». В этой рецензии-памфлете он отметил все сдвиги во взглядах автора на капитализм и порожденные им фашистские режимы и оценил эти сдвиги, как представляющие «выдающийся интерес», как свидетельство «великого смятения» философа и его круга. В то же время Бердяев был яростно обруган за полное отсутствие у него классового анализа исторического процесса («основная ошибка, а с общественной точки зрения и преступление»), за то, что не видит разницы между фашистской казармой и советскими организациями, за идиосинкразию по отношению к массам, наконец, за «великие и смешные потуги» решить глобальные задачи человеческого бытия «на путях христианского самоусовершенствования». При всей резвости публичных высказываний в адрес работ Бердяева, для себя Бухарин, надо полагать, раздумывал над ними серьезно. Разумеется, нетрудно «разбить в прах» позитивную программу Бердяева, в силу своего религиозного характера не выдерживающую критики в рамках марксистской схемы. Куда сложнее обстояло дело с неформальной аргументацией в тех случаях, когда жестокие стрелы бердяевской критики попадали в больные точки большевистской доктрины и практики.

Весь круг вопросов, поднятых еще в «Философии неравенства» – об основах собственности, о государстве, о нации, о войне, о

социализме, о культуре, обсуждение проблем личности и общества, демократии и аристократии, свободы и равенства – совпадает с проблематикой книги «Социализм и его культура», которую в определенном смысле можно рассматривать и как ответ Бердяеву.

Анализируя сегодня бухаринскую аргументацию, не следует забывать, что у него речь идет о капитализме 30-х годов, только что пережившем жесточайший спад, о поре острых социальных конфликтов, поляризации политических сил, когда вызревающее единство левых – альтернатива фашистской угрозе – становилось реальным выходом из ситуации, чреватой катастрофой, укрепляя в то же время (речь идет о 1936 году) массовые симпатии к социализму вообще и к СССР, в частности. Насколько это определялось просоветской пропагандой коминтерновской прессы и фактическим незнанием на Западе подлинных реалий советской жизни, в данном случае было не так уж существенно.

Как развивались события с тех давних пор – известно слишком хорошо. Эволюция капитализма, показавшего способность к самоусовершенствованию (надо думать, не без стимула от существования рядом претенциозного идеологического противника в лице СССР) и умение использовать материальное преуспевание, чтобы вовремя снимать остроту социальных, экологических и прочих проблем, с одной стороны, и стагнация советского социализма с последующим перерождением его в нечто, еще не имеющее адекватных дефиниций, с другой, – все это как бы закрывает вопрос о практической ценности бухаринской картины социализма и придает разговору о ней характер печальных исторических размышлений.

И все же, не только для постсоветского пространства, где будущее цивилизации еще в тумане и где социалистические модели могут вызывать не одни лишь ностальгические грезы, не только для него бухаринская концепция целостного, гармонического, творческого человечества может вызвать встречное движение душ, не говоря уже о гипотетически-сослагательных ситуациях, относящихся к прошлому, когда при ином развороте исторических событий она в достойных руках могла бы... Впрочем, вряд ли стоит продолжать эту тему. Заметим только, что не стоит относиться к бухаринской утопии, как к теоретически бесплодной.

Бухарин посвятил свою книгу судьбам культуры и это дало автору широкий исторический простор. Слово «культура» многозначно. Современный (1992-го года издания) словарь определяет

интересующее нас его значение как «исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни, а также создаваемых ими материальных и духовных ценностей» (20); при этом отмечается, что «различают материальную и духовную культуры», и что «в более узком смысле термин культура относится к сфере духовной жизни людей». Тот же словарь дает тройное определение цивилизации, как 1) «уровня общественного развития, материальной и духовной культуры», 2) «современную мировую культуру», 3) «третью ступень общественного развития, следующую за варварством и дикостью» (это – «в культурно-исторической периодизации, принятой в науке 18–19 вв.») (21).

Эти определения культуры и цивилизации в общем-то тождественны. О разграничениях культуры и цивилизации Бухарин писал подробно в первой части книги, которой мы не располагаем; во второй части он упоминает об этом, полемизируя с противопоставлением материальной и духовной культур. Несомненно, что слово «культура» Бухарин употребляет в значении «цивилизация», а то, что принято называть культурой в обиходе, он именует «духовной культурой». Здесь, возможно, сказалось отталкивание от Бердяева, утверждавшего: «От демократизации культура понижается в своем качестве и в своей ценности... Культура переходит в цивилизацию. Демократизация неизбежно ведет к цивилизации» (22). Цивилизацию Бердяев понимает, как совокупность материальной культуры и того, что ныне принято называть масс-культурой, а собственно культура у него – это высоты, пиковые достижения духовной культуры, всегда элитарной, не демократической.

Книга Бухарина называется «Социализм и его культура», в ней естественно обсуждается и классический круг политических вопросов (государство, общество, личность), и экономическая проблематика социализма (в плане создания материальной базы культуры). Концепция планового хозяйства в 30-е годы даже противникам социалистической доктрины представлялась наименее уязвимой ее частью, как и экономическое учение Маркса представлялось наименее уязвимой частью марксизма. («Социализм может быть оправдан, – снова цитирую Бердяева, – лишь как известная форма организации производства, регуляции стихийных сил. И марксизм ведь оправдывает социализм прежде всего как организацию производства повышенной производительности труда на известной стадии

развития» (23)). Характерно, что даже Бердяев, в 1918 году считавший частную собственность стимулом для одухотворенного отношения к хозяйству, впоследствии пришел к тому, чтобы написать: «Советская конституция 1936 г. создала самое лучшее в мире законодательство о собственности. Личная собственность признается, но в форме, не допускающей эксплуатации» (24). (Н. И. Бухарину, автору ряда статей «сталинской» конституции, увы, не пришлось прочесть этих слов, напечатанных в 1946 году).

Говоря о материальных основах социалистической культуры, Бухарин пронизательно называет те направления науки, которые оказались важнейшими в прикладном плане лишь десятилетия спустя: ядерную энергетику, космические исследования, разработки в области синтеза белков, телевидение и т. д. «Фирма», конкурирующая по части радикальных решений глобальных проблем (фашистские режимы) не могла адресовать всему человечеству столь привлекательных проектов – у нее были иные цели.

По Бухарину, смысл материального производства – создание условий для всестороннего развития личности. В ответ на примитивные обвинения («Ваш потребительский идеал – предельно мещанский идеал») (25), Бухарин выдвинул формулу: социализм = производство + потребление + творчество.

Со времен Великой французской революции классический круг политических проблем включает в себя написанное на ее знаменах: *liberte, egalite, fraternite*; комплекс этих лозунгов оказался неполным, так что идеологическая новизна эпохи определяется фактически лишь новым наполнением этих высоких понятий.

С. Н. Гурвич-Бухарина пишет, что наиболее трудной для Николая Ивановича была проблема свободы (26); видимо, это объективно связано с ментальностью советской массы, для которой (по сей день) проблема равенства куда более значима. Впрочем, Бердяев считал это свойством всякой толпы («Масса всегда имеет пафос равенства, а не свободы» (27)). Бухарин не противопоставлял равенство и свободу, как это делает Бердяев, причем в бухаринской схеме равенство – не уравниловка, это равенство условий для развития. С характерной для него беглостью исторических зарисовок Бухарин дает сечения проблемы: равенство и классы, равенство и нации, равенство и пол, равенство и личность, разъясняя свой взгляд на проблему: не равенство классов, а их преодоление, не равенство наций, а выравнивание условий их развития и т. д. В итоге требование

равенства сводится к требованиям уничтожения эксплуатации, ликвидации классов, условий для полного развития всех.

Отвечая «смертельным врагам СССР», утверждавшим, что страной правит «новый класс», т. е. бюрократия и новая аристократия, Бухарин ограничивается утверждением, что руководящая иерархия в СССР не является замкнутым слоем, что массы по мере роста их культуры постоянно пополняют ряды этой иерархии, поскольку в СССР нет монополии какого-либо слоя на образование, и, стало быть, нет никакой реальной опасности перерождения руководящей иерархии. Между тем, еще в 1923 году, когда автору знаменитой книги «Новый класс» Миловану Джиласу было всего 12 лет, именно Н. И. Бухарин говорил о такой опасности, ибо «никакое пролетарское происхождение не есть гарантия против превращения в новый класс» (28). Впрочем, и тогда Бухарин видел лишь один действенный способ борьбы с таким перерождением – рост культуры трудящихся, способ, не очень оперативный. И 14 лет спустя, находясь в тюрьме, Бухарин стоит на том же – только рост культуры масс обеспечит ликвидацию проблемы иерархий; можно сказать, что это – социологическая причина постоянного внимания Бухарина к проблемам социалистической культуры.

Что же касается «нового класса», то его «незамкнутость» поддерживалась в сталинскую эпоху перманентными чистками, как раз и создающими новые вакансии в «новом классе». Он был динамической в этом смысле кастой, а не статической – ни одному его элементу не гарантировалось длительное существование, и это до некоторой степени ограничивало коррупцию, полную некомпетентность, недееспособность и т. д. Однако, как только со смертью диктатора «новый класс» получил гарантии жизни, он проявил себя во всей красе, гарантировав, в свою очередь, соответствующие темпы стагнации...

Особенно резко Бухарин отвергал утверждение о том, что этим новым классом в СССР является вся ВКП (б), что в стране создана не диктатура пролетариата, а диктатура партии. Бухарин называл эти утверждения «обычной глупостью», адресуя такой ярлык, в частности, «ренегату Андре Жиду» (еще 17 июня 1936 года «Известия» напечатали статью «Привет Андре Жиду!»), и во время пребывания писателя в Москве, Бухарин предпринял попытку поговорить с ним наедине, чего ему не позволили – об этом А. Жид рассказал только в июне 1937 года, когда обреченность Бухарина уже стала очевидной) (29). Между тем, А. Жид в знаменитом

«Возвращении из СССР» заявлял нечто куда более крамольное и куда более верное, он писал отнюдь не о диктатуре ВКП (б): «То, что Сталин всегда прав, означает, что Сталин восторжествовал над всеми. “Диктатура пролетариата” – обещали нам. Далеко от этого. Да, конечно, диктатура. Но диктатура одного человека» (30). Обсуждать этот сюжет в лубянской тюрьме Бухарин себе позволить не мог. Этот вопрос был также недискутабелен для Бухарина, как вопрос о социализме был недискутабелен для масс. Последний тезис Бухарин подтверждал тем, что прочими идеологиями в СССР интересуются от силы несколько сот человек (согласись с этим пленум ЦК – сколько бы сотрудников НКВД осталось без работы).

Беда, однако, была в том, что массы, для которых ключевые вопросы политической и экономической жизни оказывались недискутабельными, действительно заполняли пространства одной шестой суши. А Жид, наблюдавший их короткое время, имел острый глаз: «В СССР решено однажды и навсегда, что по любому вопросу должно быть только одно мнение... Получается, что когда ты говоришь с каким-нибудь русским, ты говоришь словно со всеми сразу... Нас восхищает в СССР стремление к культуре и образованию. Но образование служит только тому, чтобы заставить радоваться существующему порядку» (31).

Советская конституция 1936 года, правая часть которой была написана Бухариным, закрепила существенные демократические права и свободы в качестве всеобщего закона (невыполнявшаяся десятилетиями, она, тем не менее, исполнила роль политического просветителя, недаром в постхрущевскую пору юридически неотразимый лозунг диссидентов призывал власти: «Соблюдайте конституцию!»). Еще в парижском докладе Бухарин заявил о возможности демократического развития СССР, о переходе от диктатуры пролетариата к социалистическому гуманизму. Это была в высшей степени важная концепция, постепенно укоренявшаяся в общественном сознании. (Здесь стоит заметить, что концептуальные разработки официальных партийных идеологов 50–80-х годов во многом лишь расцветивали те соображения о социализме, которые высказал Бухарин в 1934–36 годах, таковы по существу были концепции «общенародного государства», «новой общности – советского народа» и т. д.).

Бухарину принадлежит формулировка глобального критерия разумно организованной социалистической системы: «свобода максимального развития максимального числа людей» (32). Он был

несомненным и подлинным демократом, противником всякой аристократии и элитарности. Еще в детстве убедившись в глубоком несовершенстве человека, уязвленный этим несовершенством, Бухарин фактически исповедовал идеи Жан-Жака Руссо об общественном договоре, о том, что Бердяев жестоко назвал «прекраснодушно-оптимистическим представлением о безгрешности и доброте естественного человека» (33), ибо и в самом деле «нравственный пафос социализма родился из ложного сознания, что социальная неправда, бедность, страдания происходят, главным образом, от злой воли господствующих, имущих классов» (34). В отличие от русских народников, Бухарин не молился на народ, не льстил ему, но был уверен, что, освободив людей от гнета эксплуатации и дав им возможность образования, монотонно повышая культуру масс, можно получить общество совершенных людей.

Утопия «нового человека», которой Бухарин неизменно следовал и которую неизменно проповедовал, пожалуй, ключевая во всей системе его взглядов на социализм. Концепция «нового человека» была необычайно популярна и в СССР, и в кругах левых западных интеллектуалов, среди которых особенно весомо было почитавшееся Бухариным имя Ромена Роллана.

В 1933 году прочитав новый роман Ильи Эренбурга «День второй» Роллан писал его автору: «Это самая прекрасная, самая содержательная, самая свободная из книг, прочитанных мною о новом советском человеке-созидателе. В ней чувствуется редкий ум – живой – который проникает в сущность каждого человека, схватывает разнообразие явлений в жизни людей и затем любит тем, что дал «День творения мира». Я давно ждал эту книгу, надеялся, что она будет... Она рассеет немало недоразумений как у нас, так и у вас» (35). Об этом же в «Известиях» писал Карл Радек, и его мысли, несомненно, разделял Бухарин: «Это не «сладкий» роман. Это роман, правдиво показывающий нашу действительность, не скрывающий тяжелых условий нашей жизни, но одновременно показывающий в образах живых людей, растущих из недр народной массы, куда идет наша жизнь, показывает, что все эти тяжести народная масса несет не зря, что они ведут к построению социализма и что это строительство одновременно творит новое человечество» (36).

В романе «День второй» показано, как в тяжелых, нечеловеческих условиях молодежь строит новокузнецкий металлургический гигант – молодежь, «не испорченная» цивилизацией, но тянущаяся к знаниям, «новое человечество», для которого вопросы социализма

недискутабельны. В этом же романе сын интеллигента, хорошо образованный и совестливый Володя Сафонов, который тоже хочет стать участником строительства новой жизни, чувствует себя среди наивных и невежественных товарищей чужим, он не может разучиться задавать себе вопросы и искать на них ответы, он из тех «нескольких сот», для которых вопросы социализма дискутабельны, и автору романа осталось одно – заставить Володю Сафопова покончить с собой.

Бухарин надеялся, что в условиях социалистического строительства из массы людей, не «испорченных» сомнениями, вопросами и старой культурой, вырастет поколение «новых людей», которые создадут великую культуру социализма. Не приходится сомневаться, что таких «новых людей» было немало, но судьба их трагична – система, породившая их, их же и погубила – в 1937-м, в окопах войны, в послевоенное лихолетье. Последние экземпляры энтузиастов – люди урожая 60-ых годов – сходят со сцены сейчас (Павку Корчагина легко представить в Гулаге, вообразить его сотрудником Центробанка – невозможно).

Была, однако, еще одна разновидность «нового человека», вызванного на исторический просцениум революцией и там утвердившегося. Этого «нового человека» с виртуозным мастерством изобразил в своей прозе 20-ых годов Михаил Зощенко. Конечно, не об этом «новом человеке» мечтал Бухарин, но как раз-таки этот человек, утвердившись в советской действительности, выжил и поныне благоденствует.

Взор Н. И. Бухарина всегда был устремлен вперед, в будущее, которое он пытался творить, отгалкивая прошлое и считая, что марксизм в нем все объяснил. Бердяев в своих попытках понять настоящее пристально смотрел назад и, раздумывая о национальном характере русского народа, понял истоки, а, следовательно, и смысл русского коммунизма. Добытое им понимание задевало Бухарина; он пытался преодолеть его в рамках своей веры – веры в человека и в радость земной жизни. Предложение Бердяевым в качестве альтернативы социализму Царства Божия справедливо не казалось Бухарину решением проблемы для многих миллионов людей. «Достоевский глубоко понимал, – заметил в этом смысле Бердяев, – что социализм есть следствие отрицания бессмертия. И потому в социализме есть жадность смертных, жадность к земной жизни» (37). Место для третьей стороны по этому вопросу отсутствует, потому как в отличие от точного знания, здесь истин много. И даже

потрясающие своим пророчеством, обращенные к большевикам, слова Бердяева – «Новые поколения русских людей вырастут и воспитаются в ненависти и отвращении к вашим идеям и будут проклинать те злодеяния, к которым эти идеи привели. И, вероятно, слишком далеко они зайдут в этом» (38) – являются не последним словом истины.

Не будем хоронить картину социалистического рая – в ней многое и для многих привлекательно. Бердяев говорил о социальных вопросах с известной мерой презрения, считая их не самыми значительными. Он неизменно подчеркивал античные корни мировой культуры, не опускаясь до того банального факта, что античная культура построена на костях рабов. Разумеется, афиняне – аристократы духа, культурно однородная среда (39).

Проблемы разделения труда они не знали. Бухарин надеялся, что в будущем машины заменят тех рабов, и грядущее целостное человечество тоже станет культурно однородным. Та социалистическая культура, о которой он мечтал, ни в чем не должна была уступать античной. Какая алгебра может проверить эту мечту?

Б. Я. Фрезинский

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В беседе с автором настоящей статьи.
2. *Бухарин Н.* Революция и культура. Составление, вступительная статья и комментарии Б. Я. Фрезинского – М., 1993. С.35–36.
3. *Троцкий Л.* Литература и революция. – М., 1991. С.146–147.
4. *Троцкий Л.* Литература и революция, М., 1924. С.212–213.
5. XVII съезд ВКП/б/. Стенографический отчет. – М., 1934. С.13.
6. Там же. С.14.
7. Там же. С.125.
8. Там же. С.129.
9. См. газету «Молода гвардія», Одесса, 14 сентября 1934.
10. См.: Борис Фрезинский. Великая иллюзия – Париж, 1935.// Минувшее. Исторический альманах №24. СПб, 1998. С.175.
11. Известия, 1934, 6, 18, 30 марта
12. Известия, 1935, 8, 10 декабря
13. *Эренбург И.* Люди, годы, жизнь в 3 тт. Т.2. М., 2005. С.201.
14. *Гурвич-Бухарина С. Н.* Доклад Н. И. Бухарина в Париже 3 апреля 1936 как его политическое завещание //Бухарин: человек, политик, ученый. – М., 1990. С.162–174.
15. В беседе с автором статьи.
16. *Бухарин Н.* Революция и культура. – М., 1993. С.288–307.
17. Там же. С.120.
18. *Бердяев Н.* Собр. соч. Т.4. – Paris, 1990. С.426, 517, 552, 556.
19. Известия, 1935, 8 декабря.

20. Современный словарь иностранных слов. – М., 1992. С.325.
21. Там же. С.680
22. Цит. соч. С.556
23. Там же. С.538.
24. Русская идея. Т.2. – М., 1994. С.282.
25. *Бердяев Н.* Собр. соч. Т.4. С.539.
26. Цит. соч. С.173.
27. Цит. соч. С.417.
26. *Бухарин Н.* Революция и культура. С.44.
29. *Жид А.* Возвращение из СССР. – М., 1990. С.139–140.
30. Там же. С.90. Там же. С.79
32. Известия, 1935, 10 декабря.
33. Цит. соч. С.328.
34. Там же. С.480
35. См. «Почта Ильи Эренбурга. “Я слышу все...”». 1916 – 1967. Составление, вступительная статья и комментарии Б.Фрезинского. М., 2006. С.53–54.
36. Известия, 1934, 18 мая.
37. Цит. соч. С.495.
38. Там же. С.280–281.
39. Отсылаю здесь читателей к блестящим книгам Б. Сарнова «Смотрите, кто пришел» и «Пришествие капитана Лебядкина (случай Зоценко)».

К читателю

Рукопись, озаглавленная «Часть II. Социализм и его культура» – хронологически первая из четырех больших работ, созданных Н. И. Бухариным во внутренней тюрьме НКВД на Лубянке в 1937 г. Она является второй половиной труда «Кризис капиталистической культуры и социализм» (1). Первая половина, написанная до ареста и посвященная критике фашизма, была взята при обыске квартиры Николая Ивановича в Кремле; следы ее до сих пор не обнаружены в архивах. Беспокоясь о судьбе этой I-ой части, Н. И. начал тюремную рукопись с краткого ее изложения, во многих главах повторил ее содержание по отдельным вопросам и в Заключении подытожил выводы всей работы – и I-ой, и II-ой части. Кроме того, в главе IV имеется сообщение, что в Первой части было дано опровержение фашистской расовой теории. Можно с уверенностью сказать, что глава XXIV «Философских арабесок» «О так называемом расовом мышлении» является воспроизведением того текста, а также свидетельством тревоги, почти уверенности Н. И., что работа пропадет, и желания сохранить сведения о ней (2).

Арестованный 27 февраля 1937 г., до официального окончания февральско-мартовского пленума ЦК ВКП (б), этого страшного символа политического и нравственного бескультурья, Николай Иванович принялся за работу примерно через две недели и закончил в середине или во всяком случае до 21-го апреля: десять печатных листов текста создано было в течение месяца! «Социализм и его культура» написана на обеих сторонах шестидесяти линованных листов большого формата, очень мелким, но разборчивым почерком, уверенной рукой, почти без правок и помарок, так чисто, что она была вполне готова к набору в типографии. Первая и все нечетные главы написаны на лицевой стороне листов, четные – на оборотной, так что пары глав (1-я, 2-я, 3-я, 4-я и т. д., кончая 11-й и 12-й) составляют как бы нескрепленные тетради. Почему так? Скорее всего, тюремщики сэкономили или делали вид, что экономят бумагу, когда Н. И. закончил первую главу ему, возможно, не дали бумагу для следующей, и он нашел выход, стал писать вторую главу на обороте первой.

Заключение, занимающее неполные два листа, написано на лицевой стороне, без перехода на оборотную.

Разделы рукописи сопровождали документы, подписанные тюремными чинами НКВД, передававшими законченные главы начальству, а оно – следователю Когану: три «Служебные записки» от 26 и 31 марта, от 4 апреля и «Справка» от 7 апреля 1937 г. Они вложены после четвертой, шестой, восьмой и десятой глав и в такой же последовательности даются в настоящей публикации; по датам устанавливаются примерные сроки начала и окончания работы «арестованного Бухарина». По «Записке» от 26 марта видно, что были даны, а «после прочтения» взяты три книги: Стефан Цвейг, А. Лежнев, Миллер (3). «Справка» от 7 апреля 1937 г. отличается от «Служебных записок», имеющих простой штамп «Внутренняя тюрьма ГУГБ НКВД»: это типографский бланк меньшего размера, но под страшным грифом «Внутренняя тюрьма особого назначения НКВД», с другой подписью и без указания на работу; это справка о том, что «Бухарин числится за 4 отдел(ом) ГУГБ» (как и прежде). Значит ли это, что Н. И. перевели в другое помещение на другой режим или сменились лишь канцелярские бланки?

Возможность читать, а тем более писать, означало послабление обычного тюремного режима. В первые дни после ареста Николай Иванович попросил у следователя Когана книги для чтения, и тот предоставил свои собственные – те самые, что названы в «Служебной записке» от 26 марта, и с ними журнал «Литературное наследство». Затем по распоряжению начальника 4-го отдела ГУГБ НКВД Курского Николаю Ивановичу было разрешено «работать в камере над ранее начатой им рукописью и пользоваться в связи с этим книгами». Как гласит архивный документ, жена дважды передала книги из дома – сначала четыре названия, затем – десять. (Эти сведения – из письма следователя Когана на имя заместителя начальника 4-го отдела ГУГБ от 21 апреля 1937 г., хранящегося ныне в Центральном архиве ФСБ РФ; к письму приложены не очень грамотные списки полученных книг).

В предвоенные годы зарубежная интеллигенция – каждый ее представитель – должна была найти ответ на знаменитый вопрос Горького: «С кем вы, мастера культуры?». Могли ли антифашисты по природе и демократы по убеждению поддерживать сталинский режим в СССР? Ответ почти для всех сложился в конце-концов такой: поддерживать страну – для одних социалистическую или потенциально-социалистическую, для других – родину, оказавшуюся

в опасности, для третьих (в том числе и государственных деятелей) – мощную антифашистскую державу, несмотря на ее режим.

Ответ в пользу поддержки СССР сложился на фоне широкого антифашистского движения в Европе и Америке. Во Франции, оказавшейся перед угрозой попасть в окружение фашистских государств, народ сумел отбить попытку путча в Париже 6 февраля 1934 г., после чего левые силы, расколотые со времени образования Коминтерна (1919) и компартии (1920 г.), добились создания антифашистского антивоенного Народного фронта, объединившего социалистов, коммунистов и радикал-социалистов (левое крыло демократической партии радикалов). В таком обновленном виде традиционный для Франции союз левых сил одержал эпохальную победу на парламентских выборах 26 апреля – 3 мая 1936 г.

В Англии в 1935 г. был проведен общественный плебисцит мира, успех которого превзошел все ожидания: 11 млн. англичан одобрили идею созыва международного конгресса за мир и создания Всеобщего объединения за мир (у истоков этого движения стоял консервативный лорд Роберт Сесил). Этапами в Международном антивоенном движении были конгрессы: в Амстердаме (август-сентябрь 1932 г.), на который прибыли делегаты почти из всех европейских стран, из США, Китая и Индии, I Международный конгресс писателей в защиту культуры (июнь 1935 г.), Международный конгресс в Брюсселе (сентябрь 1936 г.), который принял программные принципы, сформулированные лордом Р. Сесилом. Коминтерн отметил положительные стороны конгресса, нарушив на этот раз традицию бескомпромиссного поношения «буржуазного пацифизма» (4).

Перед лицом угрозы фашизма международный коммунизм совершил давно назревший поворот – на этот раз слева направо. VII Конгресс Коминтерна (июль–август 1935 г.), не отменяя официально тактики «класс против класса» (принятой в 1928 г.), запрещавшей коммунистическим партиям вступать в соглашения с социал-демократическими организациями и тем более с буржуазно-демократическими, провозгласил стратегию Народного фронта – единения антифашистских антивоенных сил. Тактика «класс против класса» связывалась с именем Бухарина, и VII Конгресс Коминтерна воспринимался тогда как антибухаринский (5).

Бухарин же был непоколебимым антифашистом с самого начала, он первый в своей партии публично указал на опасность германского фашизма и Гитлера уже в апреле 1923 г. (когда у власти были только итальянские фашисты) (6). Гитлеризм он сразу распознал как источник войны. С этих позиций Н. И. выступал в Париже 3 апреля

1936 г. с большим докладом «Основные проблемы современной культуры» (7).

Парижский доклад представлял собою итог, обобщение двадцатилетних исследований и размышлений, изложенных в многочисленных статьях, брошюрах и выступлениях. Непосредственными предшественниками доклада были статьи в «Известиях»: «Кризис капиталистической культуры и проблемы культуры в СССР» (6, 18, 30 марта 1934 г.), «Второе рождение человечества» (1 мая 1935 г.), «Фашизм и война» (1 августа 1935 г.), «Философия культурного филистера» (8 и 10 декабря 1935 г.).

Замысел и цель новой работы оставалась той же, ради которой Н. И. выступал в Париже. Он сформулировал ее в начале VI главы второй части: дать ответ многочисленным критикам социализма – социализма вообще, как ученья и идеи, и критикам социализма в СССР.

Выбор европейской и американской интеллигенции в пользу поддержки СССР Н. И. считал важнейшим фактором в подготовке победы над фашизмом. Разгром фашизма неизбежен, писал узник Лубянки, и СССР в состоянии одержать победу своими силами, но чтобы прийти к ней в более короткие сроки, нужна всеобщая поддержка со стороны «прогрессивного человечества». В этом – «главное и основное, в этой задаче... должны быть соподчинены все другие задачи... и под этим же углом зрения должны расцениваться любые силы, ибо здесь лежит действительно «ось» всей международной политики»... (Заключение, с. 236). Это уже не старая формула Жюля Гедда «класс против класса».

Тюремный труд о социализме вырос из доклада в Париже (который теперь выглядит скорее как краткий подготовительный вариант) и превзошел его не только размером, но более глубокой разработкой многих проблем, включением новых, стремлением к доказательности, простотой изложения, доступностью литературного языка. В тюремной рукописи, начинающейся с главы о критериях оценок прогрессивности общества, эта разница видна сразу. В Париже были названы два критерия: уровень производительности общественного труда и «широта поля отбора творческих талантов», зависящая от производительности; теперь их три: производительность труда, уровень гуманности общества и нравственная высота человеческой личности. Бухарин, сознавая, что социализм не выдерживал сравнения по этим критериям, утверждал, что советский социализм – полная противоположность фашизму – еще слишком

молод, чтобы полностью соответствовать идеалу, но уже многого добился и проявляет тенденции развития гуманизма, именно социалистического; гуманизма. Итогом этого развития, уже после победы над фашизмом, явится переход к коммунизму и постепенная полная демократизация общества, отказ государства от функции принуждения, подавления и насилия. «Отмирание государства», которое Маркс и Энгельс называли конечной политической целью коммунистов, было по инициативе Бухарина внесено в 1919 г. в новую программу партии и в документы I Конгресса Коминтерна. Идея будущей демократизации общества оставалась для Н. И. близкой и особенно дорогой. Он не мог развивать ее в Парижском докладе, только в двух словах упомянул. Зато в тюремной рукописи она стала центральной темой последней, XII-й, главы, со всем драматизмом невысказанных воспоминаний. По национальному вопросу в СССР Н. И. произнес в Парижском докладе всего две фразы о том, что между нациями складываются на практике плодотворные отношения – зародыш будущих всемирных связей между народами. В «Социализме и его культуре» национальному вопросу отведена целая глава (IV-я), где сформулирована политическая программа из девяти пунктов. Н. И. обратился и к теме о Евразии и «евразийцах» (8). Признавая существование для нашей страны проблемы ее срединного геополитического пространства и считая необходимым ответить на критику со стороны интеллектуалов-эмигрантов, Н. И. искал пути соединения «европеизма» с культурами восточных народов, и в национальном вопросе, как прежде в крестьянском и о темпах индустриализации, создал свою альтернативу, которая явилась частью общей программы – картины гуманного социализма. Важно отметить, что Н. И. подчеркнул свое неприятие «евразийства» по такому вопросу, как форма будущего государственного устройства «Россия-Евразия». Он видел зло «евразийства» в «цезаристско-демократическом» принципе теократической социальной монархии с изуверским антиевропейским началом».

Изучая общественные идеалы Николая Ивановича Бухарина, не позволим себе забыть о нем самом, о его душе. Вот одна, по-видимому, из первых по времени, записей для себя, для памяти; на небольшом листке бумаги, карандашом, крупным почерком, находящаяся в деле «Рукописи Бухарина»:

- а) раздумья в тюрьме. *Societas dolente*
- б) колебания между жизнью и смертью.
- с) в случае смерти с чем помираешь? Во имя чего? Да еще на теперешнем этапе.

d) в случае жизни – чем жить и для чего?

e) все личное отбрасывается

f) и в том и в другом случаях *един вывод*) отзвуки международной борьбы».

Тюремная рукопись Н. И. Бухарина «Часть II. Социализм и его культура» публикуется по авторскому оригиналу, хранящемуся в архиве Политбюро ЦК КПСС, а ныне – в Архиве Президента Российской Федерации. На папке, в которой находится рукопись, надпись: «Особая папка. Центральный Комитет КПСС Политбюро. Ф.3. Оп.24. Д.428: Дело № 9-л (12–6/1). Правотроцкистский блок (Рукописи Бухарина)».

Рукопись публикуется без сокращений; явные ошибки, исправленные составителем, не оговариваются; авторские зачеркивания не воспроизводятся; подчеркивания переданы курсивом.

Составитель выражает искреннюю признательность за помощь в подготовке рукописи к печати научным сотрудникам З. К. Андреевой и Л. Н. Растопчиной.

С. Н. Гурвич-Бухарина

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Название указано в письме к А. М. Лариной от 15.1.1938. Опубликовано Известия. 1992 г. 1, 3. X.

2. Глава, о которой идет речь, опубликована в числе фрагментов из «Философских арабесок» в журнале «Вопросы философии». 1993. № 6. С.60–70.

3. Архив Президента Российской Федерации (АП РФ). Ф.3. Оп.24. Д.428. Л.1–60.

4. *Покровская С. А.* Движение против войны и фашизма во Франции в 1932–1939 гг. – М., 1980. С.139, 146–148. В Амстердамском конгрессе 1932 г. советская делегация не участвовала, т. к. Голландия не выдала виз на въезд в страну. Таков был ответ на внутреннюю политику СССР.

5. См.: *Ватлин А. Ю.* Коминтерн: первые десять лет. – М.: АИРО-XX, 1993. С.31–101.

6. См. выступление Н. И. Бухарина на XII съезде РКП(б) в изд.: Двенадцатый съезд Российской коммунистической партии (большевиков). Бюллетень № 7. – Москва–Кремль, 1923. С.208, 209.

7. См.: *Гурвич-Бухарина С. Н.* Доклад Н. И. Бухарина в Париже 3 апреля 1936 г. как его политическое завещание //Бухарин: человек, политик, ученый. – М., 1990. С.162–174. Доклад был опубликован в 1936 г. в Париже только по-французски в переводе А. Н. Рубакина, под редакцией Андре Мальро. Русский оригинал не известен. В 1988 г. выполнены два варианта обратного перевода с французского издания: С. Н. Гурвич-Бухариной в журнале «Новая и Новейшая история» (№ 5. С.92–110) и С. С. Неретиной в «Вопросах истории естествознания и техники» (№ 4). То же: *Бухарин Н.* Революция и культура. – М.: Фонд им. Бухарина, 1993, С.288–307.

8. О проблеме Евразии и евразийстве см.: Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов. – М., 1992. Отв. ред. Л. В. Пономарева.

Н. И. Бухарин

КРИЗИС КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СОЦИАЛИЗМ

Ч. II. СОЦИАЛИЗМ И ЕГО КУЛЬТУРА

Глава I

Об исторической точке зрения и исторических критериях оценок

В первой части настоящей работы мы рассматривали процесс разложения и распада капиталистического общества, начиная с его материальной базы и кончая высочайшими вершинами его идеологического творчества; мы рассматривали также судорожные попытки капитализма – на *фашистской* основе выйти из кризиса, потрясающего все здание капиталистической культуры. Этот quasi-выход, этот жалкий и кровавый суррогат выхода, его иллюзорность, его обреченность на всемирно-исторический провал, его внутренние противоречия, его глубочайшая фальшь, его позорные обманные маски, его действительная бестиальная сущность – все это прошло перед нашими глазами в своих основных и типических чертах. Но мы лишь бегло касались тех реальных и глубоко жизненных решений всех мучительных проблем современности, которые дает *социализм*. Здесь мы ставим во всем объеме вопрос об *этих* решениях. Их не нужно теперь выдумывать и придумывать. Ибо почти двадцать лет социализм живет реальной жизнью в СССР, как новый порядок вещей, зародившийся в огне великой пролетарской революции, борющейся за свое существование и развитие, одержавший блистательные победы и ставший неоспоримым и решающим фактором в исторической эволюции человеческого

общества. Нужно видеть те *действительные тенденции развития*, которые – здесь уже сознательно и организованно – возникают и растут в новых исторических условиях, принципиально отличных от условий капитализма, совершенно свободных от противоречий последнего, ему глубоко враждебных и ведущих потенциально *все* человечество по совершенно новым историческим путям. *Докапиталистические общества* повторяли, как мы видели, в разных, но схожих вариантах замкнутый цикл развития и гибели, не будучи в состоянии на рабовладельческой основе перейти от зародышей своеобразных торгово-«капиталистических» отношений в новую фазу развития. Идеологическим рефлексом этого и была столь распространенная – от Вавилона до греков и римлян – теория фатального и рокового кругооборота истории, от мифического «золотого века» («*aurea prima sata est aetas*» у *Овидия*) вплоть до печального и губительного конца. Прорыв от феодализма к *капитализму*, наемный труд, машинная техника и т. д., создали новую основу *иного типа* исторического движения, совершенно оригинальную и дотоле невиданную. И *противоречия* этого движения, в противоположность седому историческому прошлому, разрешаются не тем, что история замыкает круг, а тем, что они, эти противоречия, через ожесточенную классовую борьбу, через революцию *пролетариата*, приводят к образованию новой, более высокой по своему типу, общественной формации, к *социализму*.

При этом сам социализм *отнюдь не рождается готовым*, как «абсолютный идеал», как Афродита, пеннорожденная из волны морской. Он сам – развивающаяся исторически величина, зависящая в исходных пунктах своего развития от весьма конкретных исторических условий и внешней и внутренней среды. Он растет. Он борется. Он строится. Он побеждает. Он переходит из одной фазы своего развития в другую, и т. д.

Отсюда вытекает, что нет ничего более глупого и нелепого, как рассматривать реально существующий в СССР социализм с *внеисторической* и *статической* точки зрения, с точки зрения непосредственного прикладывания какого-то абсолютного и замороженного в своей неподвижности критерия, как бы этот неподвижный критерий ни выглядел и как бы он ни назывался.

Уже при самом появлении *научного коммунизма*, как теоретической доктрины, его гениальные основоположники выдвинули, в противоположность социалистам-утопистам,

исторические критерии «идеалов», до конца разрушив внеисторический и фетишистский их абсолютизм, который ведет свое начало от идеалистического и рационалистического взгляда на всю природу общественного развития, а иногда и прямо упирается в «божественный план», в *civitas Dei*, «град божий» блаженного Августина. Правда, даже все эсхатологические и хилиастические построения прошлого, все многообразные учения о «царстве божием» на земле, все учения о «спасении» (так называемые «сотериологии»), имевшиеся и в Европе, и в Азии, и в древние времена, и в Средние века, имели своей основой более или менее значительные социальные движения и в религиозной оболочке отражали классовую и национальную борьбу. Но только злостные сикофанты современной декадентской буржуазии типа *Зомбарта* могут ставить на одну доску эти чаяния древности наряду и совместно с *научной теорией* Маркса. Вавилонские гороскопы и алхимия Средних веков – это все же не современная астрономия и не современная химия. По звездам *гадают* теперь в Европе лишь шарлатаны фашистского толка...

Научный коммунизм до конца взвесил *относительно-исторический* характер идеалов, человеческих типов, культурных ценностей, добродетелей и т. д. Но он в то же время – и этого ни в коем случае нельзя упускать из виду – отнюдь не отказался от критерия *высоты* самих общественных *типов*, полагая, что расширение *возможностей человеческого развития* на основе развития *материальных производительных сил общества* может и должно быть таким критерием. Другими словами, сам принцип исторической относительности не превращается здесь в *абсолют*, перед которым стоят коленопреклоненные его почитатели. Эта *диалектическая* постановка вопроса и является единственно-правильной.

«*Социалистический идеал*», т. е. основные черты социалистического строя был «выведен» Марксом из наблюдения над реальными тенденциями капиталистического развития, куда *включалась* классовая *борьба* пролетариата, с движущей пружиной его специфических классовых *интересов*. Но и здесь Маркс с самого начала понимал социализм отнюдь не как застывший абсолют, не как конечное и неподвижное «идеальное общество», финал истории, за которым кончается всякое движение и наступают времена неизменного и мертвого покоя, царство абсолютной статики. В «Критике Готской программы» *Маркс* дал и гениальный набросок основных черт развития самого социализма, его движения к

коммунизму. Более того. Относительно самого коммунизма он отнюдь не зарекался от дальнейшего развития: можно привести, например, его рассуждения о свободе в III томе «Капитала», где он говорит, что царство истинной свободы лежит по ту сторону материально-производственной необходимости в связи с крайним укорочением рабочего дня. Но он не хотел *пророчествовать*: он только *научно* предсказывал. Данных для дальнейших предсказаний не было и пока их нет. Таким образом, и социализм есть исторически-движущаяся величина, а отнюдь не замерзший и окостенелый «абсолютный идеал».

Но если это справедливо для дальнейших фаз развития социализма, то это в равной мере справедливо и для его начальных фаз. *Весь* процесс есть именно *процесс развития*, развития в *борьбе* разного рода и разных типов. А при рождении социализма, да еще в одной стране, период ожесточённой классовой борьбы, и внутренней, и внешней, занимает долгие годы и даже десятилетия, и на этом пути неизбежны исторические зигзаги, ибо налицо – колоссальнейшее количество могущественных «осложняющих моментов», «возмущающих факторов», отклоняющих развитие от гипотетической «идеальной» траектории.

Развитие социализма принципиально отличается от развития капиталистических отношений. В капиталистическом обществе оно носит стихийный, иррациональный характер. Социализм же *строят*, и чем дальше, тем больше по определенному *плану*, опираясь на возрастающую силу *организации*, находящую свое обобщенное выражение в системе *пролетарской диктатуры*. «План, это – мы», – говорил Сталин, и в этом выражается существеннейшая особенность социализма, принципиально недоступная капиталистическому строю. Но это отнюдь не означает, что в этой формуле скрыт разудалый *чистый волюнтаризм* (1). Наоборот, учет объективных моментов входит важнейшей составной частью в эту формулу, – для этого и нужна *теория*. И сталинское руководство обнаруживает как раз мастерское применение марксистско-ленинской диалектики, зная всегда *меру вещей*, используя до конца конкретную ситуацию и устанавливая *очередность задач*, сменяя вовремя лозунги, переходя вовремя от одних задач и лозунгов к другим, более высоким, и никогда не упуская из виду *перспективы развития в целом*.

Отсюда неизбежно вытекает, для определенных фазисов развития, известная историческая *однобокость* его. Но только парящие в эмпиреях идеалистического абстрактного мышления люди или

филистеры, предполагающие, что великие исторические перевороты производятся на идиллически-гармонической основе, могут видеть в этом аргумент против социализма в СССР. Поистине смешно было бы «требовать» от партии и диктатуры пролетариата в период гражданской войны и интервенции одновременного решения *всех* задач социализма. Наоборот, задача военной победы и лозунг: «*Все для победы!*» были в свое время единственно правильными. Это было – исторически необходимое – ленинское «звено». Критика «военной односторонности» была бы уместна лишь в устах глупца или открытого врага. Но – *mutatis mutandis* (2) – то же нужно сказать и о дальнейших периодах или «фазах» развития, и притом в двояком смысле: и в смысле очередности задач в *пределах* хозяйственной политики, и в смысле очередности их в сфере соотношения между совокупностью *хозяйственных* задач и *других* областей социалистического строительства. Разумеется, эти положения тоже нельзя понимать упрощенно, вульгарно, абсолютно, т. е. анти-диалектически. Речь идет не об абсолютном *зачеркивании* всего остального, всех задач, кроме одной, а о выдвигании на *первый план* известной центральной задачи, о координации и *субординации*, о соподчинении всего остального решению данной центральной проблемы, которая окрашивает собой весь соответствующий период развития.

Таким образом, в развитии социализма, которое не носит стихийного характера, *объективная историческая необходимость* получает свое *непосредственное выражение* в сознательной тактике пролетариата, его партии, его государственной власти.

Чтобы понять исторический «смысл» любой данной фазы развития, необходимо понять ее не только в ее изолированной конкретности, но и в ее *связи* с предыдущим и *последующим*. Только из такого понимания, из такого целостного взгляда на предмет можно извлечь правильные заключения. Между тем многочисленные критики социализма в СССР – заграничные и доморожденные – метали миллионы критических стрел поистине впустую, ибо исходили из совершенно других предпосылок, что имело, разумеется, свои социально-классовые корни.

В области *экономики*, например, с началом НЭПа и ликвидацией военного коммунизма утверждалось, что здесь «не тактика, а эволюция» (проф. *Н. Устрялов*). Центральной задачей было: мир с середняком и прочный союз с ним, увеличение продуктов во что бы то ни стало. Если рассматривать «фазу отступления» только *изолированно*, т. е. не как подготовку для *наступления* (а именно это

последнее входило во всю стратегию и тактику НЭПа, по Ленину), тогда, разумеется, здесь – сдача позиций и возврат к капитализму. Но все враги просчитались. Ибо они рассматривали *однобоко* однобокую фазу развития, *вне* связи с последующим. Или другой пример: *построение тяжелой индустрии*. Сколько было пущено в оборот утверждений, будто эта центральная задача и ее реализация означает уничтожение легкой индустрии и сельского хозяйства. А на деле решение этой задачи означало мощный расцвет легкой индустрии и полную революцию сельского хозяйства на новой механизированной основе, когда классовая борьба в деревне, победа коллективизации и ликвидация кулачества нашли себе гигантскую поддержку в новом техническом базисе. Или смена сталинских лозунгов, *от техники к кадрам, овладевшим техникой*. Разве не говорилось, что большевистский социализм «забыл человека» и фетишизировал машину? И здесь мы наблюдаем то же самое: упор – исторически относительный – на *одну* задачу превращался «критиками» в надисторический абсолют, и позднее их постигало неизбежное горькое разочарование.

Капиталистическое производство определялось Марксом, как производство ради прибыли и как производство для производства. *Социалистическое* хозяйство есть хозяйство для удовлетворения *массовых потребностей*, для производства «зажиточной и культурной жизни». Но оно, да ещё в наших конкретных исторических условиях, при крайне тяжелых и сложных отправных пунктах развития – должно было вырасти, сложиться, укрепиться, пройти ряд *фазисов развития*, прежде чем дойти до той степени высоты, когда оно смогло начать по настоящему выполнять эту свою роль. Это и есть *история*, конкретный *процесс*, а не абстрактная идеальная схема или туманный мираж.

Но то же самое мы должны сказать и выходя за *пределы экономики*. Известна, например, критика социализма, как «идеала брюха». От такой его «критики» не свободны были даже такие светлые умы, как *Генрих Гейне*. Мы не говорим уже о врагах. У нас *Константин Леонтьев* утверждал, что социалистический «работник» имеет своим идеалом «среднего европейца», сытого мещанина и буржуа. *Н. Бердяев* в свое время мотивировал свой переход в лагерь весьма сытых тем обстоятельством, что якобы марксизм и марксистский социализм с его материализмом и т. д. есть *буржуазная* теория, идеология того же пресловутого «брюха». Современные *фашистские* идеологи, выдвигающие лозунг: «пушки вместо масла»,

прикрываются усиленно своим презрением к материальным благам, апеллируя к «духовным ценностям». *Анри Бергсон*, как мы видели, проповедует аскетизм и вегетарианство, как средство избавления от пороков современной цивилизации. И все *хором* ожесточенно нападают на «большевистский социализм» за его якобы «низменную» ориентацию, ставя заботы о материальных потребностях в связь с «грубым материализмом» большевиков и точно забыв о том, что в *тяжелые* для нас времена все эти любители «духовных ценностей» обстреливали нас с *противоположных* позиций. Между тем, если рассуждать по существу, то здесь нет никакой сложной проблемы. *Духовная культура* в *массовом* масштабе не может произрастать на нищете. Чем больше забота о хлебе насущном будет отходить на задний план (ибо эта задача будет решаться, так сказать, автоматически), тем больше будет *свободного времени* для другого, тем ярче, роскошнее, блистательнее будет цвести «*духовная культура*» (3). Совершенно неубедительными и вздорными являются аргументы, указывающие на С.Ш.А.(4), где могучее развитие производительных сил отнюдь не сопровождается соответствующим ростом «духовной культуры». Или указание на «духовность» Средних веков по сравнению с капитализмом. Американский финансовый капитал, это – хищник, который хищнически обесплодил землю, который массу людей превратил в тупые придатки машины и конвейера, понизил сроки жизни работающих людей, оглупил их. Разве что-либо подобное производит социализм, где машина *освобождает* человека, его силы, его время и т. д.? В Средние века *масса* была варварской, а «духовная культура» была церковным блудословием *кучки* монахов, князей и дворян: даже пресловутые «рыцари» были зверинцем пьяных варваров. Только «сытые», не желающие, чтобы *голодные* стали сытыми, занимаются проповедью голода для *масс* во имя якобы «духовных ценностей».

И здесь *действительное развитие социализма* в СССР показало на опыте, как переход к зажиточной жизни сопровождается гигантским *массовым расцветом духовной культуры*. Разумеется, и раньше происходил, на основе новых социальных отношений, этот рост, но великое *ускорение* процесса совпало с переходом к зажиточной жизни.

Но тогда выдвигается новый «аргумент». *Массовость* культуры есть ее экстенсивный рост. А нет – и не может быть – ее *интенсивного* роста, роста в *глубину*: нет еще большевистских Пушкиных, Бетховенов, Гете, Менделеевых и т. д. Но и это – антиисторический

подход: ибо *экстенсивный* рост культуры есть *историческая предпосылка* его громадного *интенсивного* роста. Простая теория вероятностей скажет нам, что при расширении поля отбора, число талантов неизбежно увеличивается. Да и что такое «герои СССР», как не таланты в своей области? Этот процесс начался и растет *неудержимо*.

Когда у нас не было мало-мальски достаточно *вещей*, трудно было выдвигать на первый план заботу о *людях*. В определенные исторические периоды ударение было поэтому на производстве, на технике и т. д. Своеобразный относительно-исторический *технизм* дал повод близоруким критикам возводить и его в над-исторический абсолют: большевики же сменили *икону* на трактор и занялись «религией машин». Но машина у нас, как и всякая вещь, стала орудием *для человека*, и, поскольку она стала функционировать в массовом масштабе, она создала предпосылку для действительной (а не словесно-лозунговой) заботы о человеке. И не случайно, что с такой силой в определенное время выплыл лозунг *социалистического гуманизма*, как практически действенный (а не словесный) лозунг, определяющий действительное направление развития.

Мы здесь не будем множить примеров, тем более, что в последующем изложении целый ряд соответствующих проблем будет освещен систематически. Нам необходимо лишь подчеркнуть, что и по отношению к развитию социализма необходимо подходить *исторически*, а не абстрактно. Вне этого подхода будет все, что угодно, но не действительное познание действительных процессов. А это познание есть необходимое условие для правильной *оценки*.

Возвратимся снова к нашим отправным позициям. Основным фактом современной истории является великий общественный кризис капиталистической системы в целом, всей капиталистической культуры. Абстрактно-теоретически рассуждая, можно предположить различные возможности «движения»: воспроизводство войн на фашистской основе и *регрессивный* тип движения, с упадком производительных сил, феодализацией омертвевших капиталистических отношений и т. д. и, с другой стороны, победу социализма и *прогрессивный* тип развития. Конкретный анализ показывает нам, что неизбежна *победа социализма*, ибо фашизм не разрешает ни одного основного противоречия капиталистического общества, а лишь обостряет их; он сам есть живое воплощение диалектики силы и *бессилия* буржуазии: он сплачивает ее армии и в то же время своими «необычными» методами демонстрирует отчаянно-

критическое положение капитализма; социализм же эти противоречия *разрешает* в действительности. Но можно ли говорить, что он выше в *объективном* смысле? Не есть ли здесь простое *различие* общественных форм, не поддающихся сравнению? Мы уже останавливались на этом вопросе в первой части работы: под большей высотой типа общества мы разумеем большую возможность развития общества, его жизнедеятельности во всех ее проявлениях. Основанием этого является степень производительности общественного труда, причем от суммы прибавочного труда и свободного времени зависит и движение т. н. «духовной культуры». Понятие более «высокого» и менее «высокого» здесь носит объективный смысл с точки зрения самого *общества*: ибо в одном случае основная тенденция есть тенденция гибели, в другом – тенденция роста. Конечно, можно поставить и такой вопрос: почему гибель «хуже» процветания, смерть хуже жизни, аромат тлена хуже аромата цветов. Но ответ на этот вопрос лежит вне пределов логики. Такие критерии *человеческих* оценок *бесчеловечны*, т. е. *жизненно* противоречивы в самом своем существе: они – порождение человеческой *пыли*, отбросов и человеческого общества, свое собственное гниение возводящих в степень методологических принципов.

От кризиса капитализма по *прогрессивному* пути можно двигаться *только к социализму*. Относительно-исторический характер социализма, как особой общественной формации, со *своей* культурой и особым стилем этой культуры, раскрывается именно благодаря своему *историческому «штандарту»*. Всякая сверх- и надисторическая постановка вопроса об «абсолютном идеале» всегда сводилась, и не могла не сводиться, к пустой и абстрактной формуле, лишенной какого бы то ни было конкретного содержания: обычно в этих случаях *различные* эпохи вкладывали в такого рода формулы и *различные* «смыслы». Таковы абстрактные понятия «совершенства», куда, смотря по времени, вкладывались «совершенства» многообразных калибров; таково древне-греческое понятие «прекрасного и добродетельного» человека, которое наполнялось в свое время совершенно определенным содержанием, а во «всеобщем» виде представляет абстрактную формулу; таковы понятия «свободы, равенства и братства», выдвинутые французской революцией, где, например, под равенством фактически разумелось формальное равенство перед законом при кричащем материальном неравенстве в сфере хозяйства (тогда как *социалистическое* понятие равенства означает как раз уничтожение классов и классового общества); таков

«категорический императив» *Канта*, куда можно вкладывать любое содержание, тогда как сам *Кант* вкладывал сюда нормы добродетельного христиански-буржуазного филистера. И т. д.

Чтобы найти и здесь какую-либо твердую почву, необходимо осознавать историческую необходимость и исторический смысл идеалов нашего времени и расценивать их содержание с точки зрения *прогрессивного* общественного развития. Если прогрессивное движение в теперешних условиях возможно *только* как социализм (а это не подлежит никакому сомнению), то социалистический идеал, понимаемый как *развивающаяся* величина, и стоит в порядке дня. Это положение раскрывается во всей своей полноте и во всем своем богатстве, когда мы проследим исторически, какие задачи решает социализм во всех сферах общественной жизнедеятельности, начиная от технико-экономической стороны жизни и кончая мучительными проблемами самой высокой духовной культуры. А в настоящее время этот исторический анализ можно уже производить, опираясь не только на анализ реальных противоречий капитализма и закономерностей его упадочного периода, властно толкающих к социализму, но и на исторический анализ реальных тенденций социалистического развития, что дается богатейшим опытом социалистического строительства в СССР.

Пробежим коротко по соответствующим историческим вехам.

В области *технико-экономической* социализм преодолевает основное противоречие между развитием производительных сил и общественно-экономической формой. Он освобождает производительные силы от капиталистических пут (и от пут мелкособственнической ограниченности). *Техника* получит могучие возможности беспрепятственного развития. Самая важная производительная сила, *трудящийся человек*, становясь Демиургом (5) исторического процесса, раскрывает такие творческие энергии, которые принципиально не могли быть известны ни одной из предыдущих эпох. *Производство* становится производством зажиточной и культурной жизни. *Организация масс* и *плановый характер* производства необычайно повышают его эффективность. Совершенно иное соотношение между *городом* и *деревней*, когда город перестает быть капиталистическим вампиром, а становится помощником деревни, и когда все быстрее уничтожается разница между этими прежними полюсами экономики, необычайно ускоряет весь процесс развития. И т. д. Каждый новый год строительства в СССР обнаруживает благотворное действие этих тенденций

социалистического развития. Какой же другой *экономический* идеал можно противопоставить социализму? Обратный ход к средневековью? К *смерти*?

Эта смерть угрожает в капиталистическом обществе своими перманентными *войнами*, которые фашизм возводит в сверхисторический абсолюте. Социализм их, в конечном счете, ликвидирует. Это вовсе не утопия, а реальная тенденция развития. Это не абстрактный сверхисторический идеал, а неизбежное будущее, имманентное социализму, как и ликвидация *классов* и *классовой борьбы*. Все «пацифизмы» (6) всех времен, от древнего пацифизма космополитов до кантовского «вечного мира» и новейшего либерально-социалистического пацифизма, были утопиями, не опиравшимися ни на какую материальную силу. Здесь же, в социализме, *исторически* заложены эти черты.

Ликвидация *частной собственности* и *всех видов эксплуатации*, быстрое нарастание прибавочного труда, сокращение рабочего дня и т. д. создает впервые в истории базу для массового роста всех видов *богатой духовной культуры*. *Диктатура пролетариата*, развиваясь, как все более и более широкая и всеобъемлющая форма *демократии*, способствует невиданной организации миллионов и все повышающемуся тону их творческой жизни. Капиталистическое противоречие между *машиной*, *вещью*, и *человеком*, ею поработанным, сменяется освободительной ролью машины, как орудия для удовлетворения массовых потребностей, облегчением труда, гарантией творческого досуга. Новейшая техника при уменьшении рабочего дня и при плановом хозяйстве необычайно расширяет весь умственный горизонт трудящихся, а возможность образования и творчества для миллионов, сокращение пропасти между умственным и физическим трудом, создают поистине *новое человечество*. *Женщина*, обрекаемая фашизмом на рабство, прежде отсталые *национальности*, *третируемые* фашизмом, как «неполноценные», втягиваются массами в общий великий культурный оборот. Селекционное поле, *поле отбора* талантов, героических натур, необычайно расширяется. «Элита» героизма, подвига, культуры, науки, хозяйства становится *массовой* и не отчужденной от миллионов, не кастой, а цветением самого народа. *Прогресс* из пустой формулы становится реальностью, ощущаемой миллионами. *Свобода* чувствуется и переживается каждым из работников социалистического общества, как реальная *свобода его собственного развития*, обогащения его жизни, ее все большей

наполненности творчеством, материальным достатком, культурным ростом, расширением умственного горизонта, повышением общественной активности, приобщением ко все большему количеству духовных наслаждений, чувством роста своей мощи и своей личности. *Личность* впервые возникает, как массовое явление, а не как личность рабовладельческой верхушки в ее различных исторических вариантах. Связь *поколений*, на основе новой семьи и полного равноправия женщины, развивается в особой заботе о детях и в уничтожении причин, сокращающих «производство новой жизни». *Рабско-религиозные* формы мировоззрения отпадают, как шелуха с кожи выздоравливающего. *Наука* все больше проникает во все поры общественной жизни, непосредственно – через технику, агротехнику, педагогику и т. д. – объединяясь с практикой в едином деле революционного преобразования мира. Противоречия, вытекающие из конфликта между ростом научных данных и консервативными формами мышления, разрешаются здесь *диалектическим материализмом*. И т. д.

Но на все эти проблемы общество находит свой разумный ответ в процессе развития, т. е. точно также *исторически*. Сама *диктатура пролетариата* диалектически развивается на базе меняющихся классовых отношений и задач, стоящих перед нею: это находит свое выражение в расширении советской демократии и в соответствующих изменениях конституции. Но и любой из коротко перечисленных нами вопросов в действительности разрешается только исторически, и никакой другой возможности быть не может. В самом деле, возьмем самый общий вопрос, вопрос о *производительности общественного труда*. Мы выдвинули его, как критерий сравнения различных общественных типов, формаций, «способов производства». Но можно ли этот критерий прилагать к растущему социализму *плоско*, не исторически, не диалектически? Если бы мы взяли производительность труда у нас в годы гражданской войны и даже восстановительного периода, и даже в более позднее время и сравнили с соответствующими европейско-американскими коэффициентами, то мы получили бы весьма неутешительный ответ. Но этот ответ был бы ложен *по существу*, т. е. исторически, ибо он сравнивал бы несравнимые величины. Историческое *развитие* социализма, при мало-мальски мирных условиях, показало, на какие *темпы роста* способен социализм именно потому, что он – социализм, и теперь нет уже никакого сомнения в том, что по производительности общественного труда мы «догоним и перегоним»

капиталистические страны по всему фронту. Таким образом, самая высота нового общественного типа, начиная с его материальной основы, раскрывается тоже *исторически*, хотя в теории уже заранее дано предвидение этого факта. Возьмем многосторонние проявления *свободы*. Если речь идет о политических свободах и соответствующих правах, то, например, в старой конституции для крестьянства по сравнению с пролетариатом были известные элементы несвободы (и неравенства) – они теперь сняты. Если речь идет о *свободе развития*, реальной и важнейшей свободе, то при остатках нищеты, скудости средств, плохом функционировании школ и т. д., эта свобода была реально ограничена материальными условиями и возможностями. С ростом зажиточной жизни в стране она начинает цвести все более и более. Она *«становится»*, выражаясь гегельянским языком. На этой же основе и на основе процесса преодоления классов возникает бесклассовая *личность*, все более богатая своим духовным содержанием. На базе растущего и исторически повышающегося по своему типу социалистического соревнования происходит отбор талантов и героев, круг которых все более расширяется.

Важнейшим отягчающим развитие социализма условием является существование враждебного *капиталистического окружения* и особенно *фашизма*, ибо фашизм, это бешеная *война* против социализма и «всего прогрессивного человечества». Это *историческое* обстоятельство накладывает особую печать на развитие социализма, вызывая необходимость в строительстве мощных оборонных средств, соответствующей структуре ряда звеньев государственного аппарата, в железной и суровой дисциплине, в соответствующих идеологических моментах.

Агентура классового врага находит в этом окружении своих подлинных хозяев.

Эта историческая полоса должна быть изжита – и может быть изжита – лишь при безусловной победе СССР и социализма вообще. Поэтому на очереди исторического дня стоит не проповедь всеобщей любви, а проповедь пламенного *патриотизма по отношению к СССР*, который является самой могущественной силой всемирного социалистического движения. Выступать с вылазками против «милитаризма» СССР, это значит *разоружать* пролетариат перед лицом до зубов вооруженного *фашизма*. Следовательно, и сумма этих вопросов может быть решена не с точки зрения «вечных» критериев (которые рассыпаются в прах при малейшем к ним критическом

прикосновении), а лишь с точки зрения *исторической* постановки вопроса и *исторической* оценки. Всемерное укрепление *государственной власти* в СССР прямо и непосредственно вытекает отсюда, как повелительная задача дня и как *историческая предпосылка* грядущего «отмирания государства».

Историческая оценка социалистического «идеала», как мы видим, имеет, таким образом, сложный вид. С одной стороны, исторически ставится вопрос о социализме вообще (условно называемом «конечной целью»), как о новой, высшей по сравнению с капитализмом, общественной структуре. С другой стороны, исторически ставится вопрос о *ступенях реализации* социализма, в строгой зависимости от конкретных условий его развития. Это относится и к политике, и к хозяйству, и к военным вопросам, и к духовной культуре во всех ее многообразных проявлениях. Но при этом каждая отдельная ступень развития должна рассматриваться в связи с предыдущим и *последующим*, ибо только тогда становится ясным ее функционально-историческое значение. Именно эта *связь* и делает историю *историей*, единым процессом, а не механической сцепкой различных хронологических кусков.

Развитые выше положения составляют необходимое условие конкретного анализа вопросов социалистической культуры, поскольку в этом анализе мы опираемся на действительный исторический опыт СССР, с его неизмеримо-богатым содержанием.

Глава II

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Предпосылкой и *primum agens* (7) социалистических производственных отношений и социалистической культуры является *диктатура пролетариата*. При диктатуре пролетариата меняется и соотношение между экономикой и политикой, и самый характер, тип, закономерности экономического развития.

Во-первых, государство здесь является *субъектом хозяйства*, правда, и далеко не сразу во всем объеме. Эта его черта развивается и *растет*. Но во всяком случае уже обладание «командными высотами»

экономической жизни изменяет соотношение между экономикой и политикой, ибо здесь решающая часть базиса сливается с надстройкой, политика в значительной мере становится политикой и управлением по хозяйству. *Во-вторых*, с этим связано коренное изменение всего процесса развития. Капитализм, с его «анархией производства», связью через рынок, неорганизованностью «целого», воплощает стихийный, иррациональный, алогический ход развития; закономерности этого развития стоят *над* агентами капиталистического строя, часто обрушиваясь на них со стихийной силой «естественного закона» (например, кризисы, которых никто не хочет, но которые возникают с суровой закономерностью). Общественная стихия противостоит людям, как внешняя, слепая сила, могущественная в своем безличии и независимости от людской воли.

При *социализме* все более исчезает иррациональность общественной стихии. Чем полнее организованный характер хозяйства, чем сильнее его социалистический сектор, чем эффективнее плановое начало, тем быстрее рационально-сознательное строительство вытесняет остатки иррациональной стихии товарного общества и «самотека».

Здесь не место давать конкретную историю развития социалистических производственных отношений и роста социалистического сектора, ставшего теперь, по существу, единственным (а не только решающим) типом производственных отношений в СССР. С этой точки зрения совершенно исключительное значение имела ликвидация класса кулаков и сплошная коллективизация сельского хозяйства. Еще *Маркс* в одном из своих писем говорил, что реформа агрокультуры и уничтожение частно-собственнического свиства на земле должно быть альфой и омегой грядущего переворота, и что иначе окажется прав поп Мальтус. У нас с особой силой сказалось – как это было в свое время понято *Сталиным* – кричащее противоречие между развитием индустрии и малопроизводительным «мелким и мельчайшим» крестьянским хозяйством. Переход к крупному и механизированному сельскому хозяйству стал острейшей исторической необходимостью, сознательно выраженной в политике партии. С решением этой задачи – в обостренной борьбе против кулачества – социализм одержал крупнейшую победу, ибо это было самой трудной и самой тяжелой проблемой всей революции пролетариата.

Но тем самым социалистический *план* стал *универсальным народно-хозяйственным* планом, и иррациональный характер

развития был поражен и убит в самой глубокой своей основе. Совершенно исключительное значение имеет для всего экономического процесса коренное изменение (по сравнению с капитализмом) соотношения *между городом и деревней*. Маркс замечает, что типы этого соотношения знаменуют собой целые эпохи. И здесь перед нами такой небывалый тип новых отношений, основной тенденцией которого является уничтожение этой вековой противоположности.

Экономически капиталистический город был эксплуататором деревни. Деревня для массы середняков, бедноты, батраков была царством нужды, хозяйственной отсталости, технического и всякого иного бескультурья. Целый ряд факторов укрепляли и консервировали этот «идиотизм деревенской жизни». В городе концентрировалась и экономическая мощь, и вся капиталистическая культура. Социализм круто разрывает с этими традициями. Теории многообразных любомудров, которые утверждали, что техническая отсталость сельского хозяйства есть имманентное его свойство, вытекающее из органического характера производственного процесса; т. н. «русская школа» кулацких идеологов во главе с проф. Чаяновым, выводившая ограниченный натуральный «оптимум» размеров сельскохозяйственного предприятия; легион певцов и апологетов китайского трудоинтенсивного ручного мелкого хозяйства; сторонники т. н. закона «убывающего плодородия почвы» и т. д., – все они потерпели жалкий крах перед победоносным вторжением *трактора и комбайна* на поля, где уже уничтожено воспоминание о *меже*, которая играла еще недавно такую крупную роль. Отсталость сельского хозяйства обнаружила себя не как непреодолимая и извечная *природно-биологическая* данность, а как функция капиталистического способа производства, как его *социальная* особенность, которая ликвидируется при *социалистическом* способе производства. Отсюда (техника, агро-и зоотехника, калькуляция, план, массовая организованность, новый тип грамотного и гораздо более культурного работника) – повышение производительности труда. С точки зрения *воспроизводства* и кругооборота между городом и деревней это означает гигантский рост настоящей взаимопомощи между индустрией и сельским хозяйством, которое само (по технике, организации, методам работы, социальным связям и т. д.) все более и более превращается в новую громадную отрасль индустрии. Отсюда – огромный рост социалистического накопления. Таковы реальные тенденции экономического развития,

которые сопровождаются параллельными тенденциями развития культуры.

Рациональное размещение производительных сил, уничтожение непроизводительного потребления исчезнувших паразитических классов, быстрый подъем прежде отсталых национальных окраин, принцип социалистического комбинирования, введение специализированных зон (хлопководческие районы), массовое применение науки, решительная борьба с техническим консерватизмом, – все это в громадной степени повышает эффективность народного хозяйства.

Революционизирование всего народного хозяйства происходит на базе гигантского роста *тяжелой промышленности* вообще и *машиностроения* в частности и в особенности. Рост всей промышленности, рост легкой промышленности, механизация и химизация сельского хозяйства, подъем транспорта, электрификация страны, – все это имеет своей исходной точкой развитие *тяжелой промышленности*. Именно *здесь* лежит ключ к решению революционно – преобразующих задач пролетарской диктатуры.

Но самое важное, что должно быть поставлено во главу угла, это *развитие самого трудящегося человека*. Коренное отличие от капитализма состоит в уничтожении эксплуатации, в том, что «рабочие руки» превратились в *людей*, в коллективного творца и организатора, в людей, работающих на себя, в сознательных производителей своей собственной «судьбы», в действительных кузнецов своего счастья. Отсюда – раскрытие таких энергий, которые немислимы при подневольном положении рабочего класса и эксплуатируемых слоев крестьянства. В этом – основное и решающее. В этом раскрывается, в конце концов, и эмпирически, *на деле*, тот факт, что социализм в состоянии осуществить *более высокую производительность общественного труда*, а, следовательно, и более высокую ступень культурного развития вообще. Характерно, что это принципиально новое положение трудящихся, конечный источник всякого энтузиазма, пафоса, героики, побед, не понято во всем его поистине огромном объеме даже благожелательными исследователями советской жизни. Так, например, супруги *Вебб* в своем труде о «Советском коммунизме», огромном и кропотливом исследовании, *этому* обстоятельству не уделяют особого внимания. А *без* него совершенно невозможно понять той «общей атмосферы», того «социального климата», который составляет дыхание социалистической эпохи в нашей стране.

Историческое развитие и рост социалистического сектора хозяйства и превращение его из сектора в круг, т. е. в единственный по существу дела (если отвлечься от дробы индивидуального хозяйства и кустарей) «способ производства», где «товарооборот» между городом и деревней совершается на основе *государственных* операций и *советской торговли* (т. е. торговли без спекулянтов-посредников), сопровождались громадной перегруппировкой и переделкой *классов*, причем основной тенденцией является здесь тенденция к *стиранию граней* между классами, т. е. тенденция к бесклассовому социалистическому обществу.

Но здесь против СССР выступают его смертельные враги, которые утверждают, что у нас образовался новый правящий *класс*, который является коллективным эксплуататором и держит в своих руках государственную власть. Это – бюрократия и новая аристократия.

Разберем это нападение со стороны контр-революции и теоретически, и в свете действительных фактов и тенденций развития советской жизни.

Сперва несколько слов о теоретических истоках этой премудрости. В первой части нашей работы мы уже упоминали о теории *Вильфредо Парето*, «теории круговращения элиты», по которой общественные перемены сводятся лишь к смене вождей или целых гарнитур вождей, не затрагивая коренных соотношений между классами. Это – теория явно вздорная. Вздорна она потому, что вожди никогда не бывают в классовом обществе *бесклассовыми вождями*, точно так же, как и их партии. Партии суть наиболее сознательные части *класса*, от которого их нельзя оторвать. Вожди суть в новое время вожди *партий*, от которых их тоже нельзя оторвать. Поэтому вожди нового класса не могут иметь *реальной* власти, если не побеждает их (этих вождей) *класс*. Обычная глупость рассуждений на тему о диктатуре партии *над классом* (см., например, ренегатские положения г. *Андре Жида*) заключается, кроме всего прочего, в том, что партия класса в этих положениях неправомерно отрывается от этого класса, тогда как она является его ведущим и руководящим началом.

Но, быть может, произошла общественная трансформация прежней партии в совершенно *новое* социальное образование, в новый класс? Еще до войны профессор *Роберт Михельс*, успевший с тех пор проделать малопочтенную эволюцию через т. н. «революционный синдикализм» к чистейшему фашизму, писал:

В этом пункте опять-таки вполне действительны сомнения, последовательное продумывание которых приводит к полному отрицанию бесклассового государства (общества. – Н.Б.). Управление громадным капиталом (средствами производства – Н.Б.)... передает администраторам, по крайней мере, такую же меру власти, как и владение собственным капиталом, частная собственность.

Таким образом, здесь с самого начала «доказывалась» невозможность социализма, а на его место ставился особый эксплуататорский строй законченного, «идеального» государственного капитализма. В чем же дело?

Дело в том, конституируется ли фактически правящий слой администраторов в особый замкнутый класс, с антагонистическими по отношению к другим (или другому) классу интересами или этот слой является лишь *передовой частью* класса в целом, народа, миллионов трудящихся масс. Михельс выставляет в качестве решающего аргумента за неизбежность векового первого решения вопроса «некомпетентность массы», над которой должны постоянно господствовать «компетентные» администраторы. Но и здесь с классовой точки зрения нужно поставить вопрос таким образом: является ли фактически правящий слой замкнутым *монополистом образования* (каковое есть не что иное, как приобретение этой «компетентности») или же налицо своеобразная квантовая механика образовательного процесса, в конце концов по порциям, преодолевающая «некомпетентность» массы. Совершенно очевидно уже с первого взгляда, что и чисто теоретически Роберт Михельс и К^о стоят на рельсах вечного рабства массы, что отнюдь не вытекает ни из каких обязательных разумных посылок.

Присмотримся теперь к реальным процессам и реальным тенденциям развития в СССР.

Во-первых, жизнь оказывается бесконечно разнообразнее и богаче сухих абстрактных схем. Прежде всего, уже сам вопрос, кто управляет, как выражается Михельс, «громадным капиталом», оказывается гораздо более сложным, чем может вместить его абстрактно-жалкая схема. Средства производства у нас находятся в руках государства и колхозов, подчиняющихся общегосударственному плану. Но само государство наше не есть вещь в себе, государство не стоит, как буржуазное государство, над обществом. Государственность у нас переходит в общественность, и бесконечные организации общественного характера суть в то же

время периферийные органы государства. Поэтому миллионы трудящихся не суть только объекты государственного воздействия: сами – государство. Государство здесь не «я», а «мы», миллионы тружеников города и деревни. Средствами производства управляют в той или иной мере поэтому и общие собрания колхозников, и их правления, и собрания рабочих, и производственные совещания, и директора, и конференции ударников, и съезды стахановцев, и съезды колхозников-ударников, и другие учреждения, формы, типы общественной самодеятельности, в совокупности своей составляющие *советскую демократию*. Разумеется, здесь есть разные *степени* и разные *формы* управления. Разумеется, налицо есть и твердый *костяк аппарата*, непосредственный *хребет* государственного управления, обобщающей все управление и опирающийся на все другие формы деятельности масс. Но что массы уже втянуты в этот процесс, это может отрицать только слепой.

Во-вторых. Замыкается ли слой ударников, стахановцев и т. д. в себе? Какова здесь *основная тенденция* развития? Стоит только поставить этот вопрос, чтобы увидеть характерные особенности развития в этой области. *Мотивами* выдвигания являются здесь разнообразные мотивы: лучший заработок (неограниченная сделщина), повышение роли в производственном процессе, общественное признание всякого рода («дело славы, дело чести, дело доблести и геройства»), сознание общественной пользы и т. д. *Возможности* здесь отнюдь не лимитируются какими-либо особыми физическими свойствами (например, чисто-физической силой), как это показывает изучение стахановского движения. *Динамика* процесса не подлежит никакому сомнению: в него вовлекаются все более *широкие* круги трудящихся и в городе, и в деревне.

Другими словами: процесс повышения техники – производственной культуры и соответствующего роста «рабочей силы», вызревание все более культурного работника, способного на все большую продуктивность, и повышающего соответственно свой уровень жизни, материальный и духовный, не есть однородно и равномерно идущий процесс. *Вся масса* подымается. Но в этом общем подъеме происходит и неравномерный, по *порциям* идущий, но все более *широкий* процесс повышенной квалификации трудящихся. Таким образом, основной тенденцией развития является *не замыкание* слоя и превращение его в «новый класс», а, наоборот, *все более широкий охват* все более *широкой массы трудящихся*.

В-третьих. Замыкается ли в себе слой новой «компетентной» *интеллигенции*? Развитие в СССР выдвинуло, как известно,

громadнейший слой этой интеллигенции из рабочих и колхозников: инженеры, техники, агрономы, исследователи, педагоги, врачи, – это все «новый народ». Отграничен ли он от всей массы? Какова здесь *основная тенденция*? Ответ совершенно недвусмыслен. С каждым годом все большая часть народа проходит через высшие учебные заведения всякого рода. Интеллигентская «элита» становится все более *массовой*, и она связана всеми корнями с массой.

В-четвертых. Замыкается ли слой государственных служащих и членов партии, прежде всего, в себе? Какую политику он непосредственно определяет? И здесь ответ совершенно ясен. Вся история нашего развития говорит не только о *формальном* уничтожении *монополии образования*, но и о фактическом непрерывно растущем потоке формирования все больших и больших масс «образованных» и «компетентных» людей. Политика партии и правительства СССР делает все возможное, чтобы уничтожить, в конце концов, противоположность между *умственным* и *физическим трудом* и в то же время всемерно повышать материальный уровень жизни для миллионов. *Неравенство* в оплатах неравного труда в настоящее время есть *стимулирующее средство* для такого подъема производительных сил, когда удовлетворение каждого по потребностям снимает самый вопрос о равенстве оплат или жизненных уровней.

Таким образом, конкретное рассмотрение проблемы показывает всю клеветническую вздорность и вздорную клевету относительно «нового класса», якобы сформировавшегося, как господствующий над массами класс в СССР. Это есть не что иное, как фашистско-троцкистский навет на великое государство социалистического труда.

Основной процесс в данной области есть процесс формирования бесклассового общества *культурных и творческих работников социализма*.

Теперь уже на опыте доказано, какие исключительные *темпы* развития показывает СССР. Преимущества социалистического хозяйства (новое положение трудящихся, снятие пут с технического развития, крупное хозяйство, новая деревня, другое соотношение между городом и деревней, плановый характер хозяйства, уничтожение паразитического потребления, массовое применение науки и т. д.) приводят: 1) к *повышению жизненного уровня*, 2) к *повышению фонда для культурных надобностей*, 3) к *сокращению рабочего дня*.

Эти, казалось бы, весьма элементарные положения требуют, однако, конкретной расшифровки именно под углом зрения интересующей нас проблемы культуры.

Рост производительных сил и производительности общественного труда приводит к повышению *жизненного уровня*. Это происходит путем *количественного* роста потребления и его многообразного *качественного* роста. Возникают новые потребности и новые отрасли производства. Вырастает эффективный спрос на вещественные предметы культурного обихода в громадном массовом масштабе. При *капитализме* массовые потребности были весьма ограничены и статичны. При *социализме* потребности масс и их рост являются главной движущей пружиной развития: это есть непосредственная цель всего процесса производства. *Капитализм* имел свою «естественную систему потребления», исторически конкретную: это яркое деление на предметы роскоши и средства массового потребления. *Социализм* идет к тому, чтобы и предметы роскоши сделать предметами массового потребления. *Капитализм* концентрировал предметы культурного обихода главным образом в *городе*. *Социализм* быстрее распространяет их и на *деревню*. Но повышение жизненного уровня трудящихся, в свою очередь, повышает производительность общественного труда. И т. д.

Рост производительных сил и производительности общественного труда приводит к *повышению фонда для покрытия культурных надобностей*. Из совокупного общегосударственного бюджета все большие суммы могут быть затрачены на дело образования – в самом широком смысле – здравоохранения, науки, искусства и т. д. В частности, развиваются те отрасли культурного воздействия, которые имеют механизированную базу: книга и газета (машинное печатание), радио, киноустановки и т. д. *Ускорение* культурной революции достигается в известной мере и механизацией этого процесса, обеспечивающей одновременно и его великую народность и массовидность.

Наконец, рост производительных сил и производительности общественного труда приводит у нас к *сокращению рабочего дня*. При капитализме он приводит, как известно, к безработице. В СССР налицо «полное уничтожение (abolition)... безработицы, и “технологической”, и “циклической”», при одновременном сокращении рабочего дня до семи часов. Тенденция к сокращению рабочего дня есть одна из замечательнейших черт социализма, имеющих исключительно определяющее значение именно с точки зрения культуры вообще и «духовной культуры» – в особенности. Так

механизация *производства* приводит к *демеханизации жизни*, ибо дает возможность и отдыха, и творчества в любой области, и общественной деятельности, и глубокого размышления, и образования, и наслаждения искусством.

Но здесь возникает вот какой вопрос. За последнее время в большой моде разграничение между *цивилизацией* и *культурой*, что мы видели и в первой части настоящей работы. Еще на съезде социологов в 1913 г. проф. *Альфред Вебер* писал о *внешней* (материальной) стороне культуры, как о цивилизации. «Но мы теперь чувствуем – продолжал он, – что культура стоит *над* всем этим, что мы под культурным развитием подразумеваем нечто иное... Только тогда, когда... жизнь становится чем-то стоящим над своими необходимостями и полезностями, *только тогда имеется налицо культура*». Примерно тот же мотив распеваётся многочисленными критиками СССР, кои утверждают, будто мы в СССР идем по линии одной «внешней *цивилизации*». Мы должны будем коснуться этого вопроса и в другой связи, здесь же необходимо дать на него ответ, поскольку речь идет специально о *материальной базе культуры*.

На этот вопрос в русской литературе когда-то давал ответ такой ультра-«духовный» мыслитель, как *П. Я. Чаадаев*. Во втором «Философическом письме» он писал: «Мне помнится, вы в былое время с большим удовольствием читали Платона. Вспомните, как заботливо самый идеальный, самый выпрненный из мудрецов древнего мира окружает действующих лиц своих философских драм всеми благами жизни... В... безразличии к жизненным благам, которое иные из нас вменяют себе в заслугу, есть поистине нечто циническое. Одна из главных причин, замедляющих у нас прогресс состоит в отсутствии всякого отражения искусства в нашей домашней жизни».

Нетрудно понять, что с точки зрения *массовой* (не единичного исключения) в троглодитской обстановке невозможна никакая «духовная культура». Эта последняя требует времени, досуга, прежде всего, т. е. предполагает высокую степень производительности общественного труда. Она, далее, несовместима с неразвитыми индивидуумами, не имеющими никаких потребностей, кроме самых примитивных. Расширение потребностей и наполненность чувственно-материальной жизни (условно выражаясь, «культуры вещей») ни капли не противоречит сама по себе «духовной жизни» (условно выражаясь, «культуре идей»). Заключение обратного порядка, делавшиеся на основе анализа Римской Империи, или

современного упадочного капитализма вообще, или «американизма» – в частности, ни в малой степени не убедительны. Ибо здесь огромная «внешняя», вещная культура (alias «цивилизация») покоится на совершенно специфических основаниях: общественная *верхушка* паразитически разлагается на базе рантьерского ожирения или погони за дивидендами, ставшей единственной страстью; в то же время для *массы* огромное большинство вещей, по сути дела, недоступны, а вещи *близкие* (машины) дьявольски господствуют над тружеником, разбивают его, измочаливают, превращают в деталь, элемент «издержек производства», номерной знак. Здесь, следовательно, дело не в том, что «внешняя цивилизация» сама по себе делает невозможной «духовную культуру», а в том, что *капиталистическая* цивилизация, *капиталистическое* применение вещей затаптывает, гнетет и давит миллионы людей.

Социализм развивает и будет развивать «внешнюю цивилизацию» до бесконечности. С точки зрения *потребления* социализм означает – динамически – максимум разнообразия, но для *всех*, а не «двухбюджетного», как при капитализме, где необузданной роскоши паразитарного типа одних соответствует неограниченная нищета и подневольный труд других. *Аскетизм*(8), все равно буддийского или христианского или какого-либо иного толка, принципиально чужд социализму, как и пуританское скупердяйство эпохи капиталистического первоначального накопления. Все виды прямого или косвенного умерщвления плоти идеологически связаны с дуалистическим воззрением на душу и тело, с объявлением «плоти» принципиально греховным началом, с объявлением всего чувственного мира грешной скорлупой космоса, с кошмарно-мрачным давлением религиозных фантазм на души людей. Реабилитация плоти и чувственного мира входила поэтому исстари даже в зародышевые формы социализма, как теории, напр., в системы утопического французского социализма. В своей «Романтической школе» *Генрих Гейне* писал о христианстве:

«Я говорю о той религии, главные догматы которой содержат осуждение всякой плоти, и которая не только предоставляет духу верховную власть над плотью, но даже стремится умертвить ее, чтобы возвеличить дух... я говорю о той религии, которая своим учением о греховности всех земных благ, о собачьей покорности и ангельском терпении стала верной опорой деспотизма. Люди узнали теперь сущность этой религии, они больше не позволяют себя кормить ассигновками на небо, они знают, что в плоти тоже есть хорошее...

Именно потому, что мы теперь вполне понимаем все последствия этого спиритуализма, можно думать, что христианско-католическому миропониманию приходит конец» (9).

Разумеется, эта идеология отнюдь не служила нормой поведения для самих господствующих классов, которые развивали свое потребление и чувственную сторону своего бытия даже в гипертрофированных формах, что в период упадка приводит даже к своеобразной «скуке жизни» (*taedium vitae*). Это явление мы наблюдали и, например, в период упадка Римской Империи. Вот что писал, например, богач-философ *стоического* направления Сенека в своих «письмах к Люцилию»:

Разве у тебя есть что-либо, что может удерживать тебя от смерти? Ты перепробовал все наслаждения, которые заставляют тебя медлить. Ни одно из них не ново для тебя, всем и ты уже пресытился. Ты знаешь вкус вина и вкус меда, так не все ли равно, сто или тысяча бутылок пройдут сквозь твоё горло. Точно так же ты отведал устриц и раков. Благодаря твоей роскоши, на будущие годы для тебя не осталось ничего неизвестного... Сознайся, что ты медлишь со смертью не потому, что тебе жаль курии, форума, или даже природы. Тебе жаль покинуть мясной рынок, на котором ты, однако, уже все перепробовал.

Но не нужно думать, что такие настроения относятся (или могут относиться) лишь к сфере чувственно-материальной культуры. Мы приведем здесь в качестве известной параллели выдержку из «Переписки из двух углов» *М. О. Гершензона*:

В последнее время мне тягостны, как досадное бремя, как слишком тяжелая, слишком душная одежда, ~~вос~~твенные (sic! – *Н. Б.*) достоинства человечества, все накопленное веками и закрепленное богатство достижений, знаний и ценностей... Мне кажется, какое бы счастье кинуться в Лету, чтобы бесследно смылась с души память о всех религиях и философских системах, обо всех знаниях, искусствах поэзии, и выйти на берег нагим, как первый человек(†0).

Таким образом, речь идет вовсе не о якобы существующей и для всех времен обязательной обратной пропорциональности между материально-чувственной и духовной жизнью, между «внешней цивилизацией» и «духовной культурой». Речь идет о том, что в эпохи упадка специфический строй (рабовладельческий у *Сенеки*, капиталистический у Гершензона) приводит к антитворческой,

исключительно-потребительской, немощной идеологии скуки и смерти. Это есть *паразитарное перерождение*, которое является функцией *определенного типа* потребления, а не *роста потребления вообще*.

Социализм есть хозяйство для удовлетворения *массовых потребностей*. Но *тип человека* социалистического общества, как небо от земли, далек от типа выродившегося паразитарного потребителя. Социализм есть *единство* потребления, производства и всякого (интеллектуального и эмоционального) *творчества*. Поэтому аргументы а la Бергсон против развития потребностей просто смешны, и вдвойне смешны, когда они направляются по адресу масс.

Но вернемся снова к вопросу о соотношении между «материальной» и «духовной» культурой. «Нагой человек» Гершензона *«физически»* так же наг, как и *«духовно»*. Лишь в процессе *труда*, добывания вещей, строительства «внешней культуры» он начинает говорить и *мыслить*. Разнообразие и сложность его внешней ориентации в мире *порождают* разнообразие и сложность его «духовных» ориентации. Но общественное разделение труда в классовых обществах порождает такое положение вещей, когда – упрощенно говоря – работающим некогда мыслить, а мыслящие не работают. Работа одних есть основание досуга (и для умственной деятельности, неизбежно при этом односторонней) для других. Очень ярко писал в своих «Лекциях по истории философии» Гегель о Сократе.

Главным его занятием было его философское преподавание или, вернее, его философская жизнь в общении... со всеми и каждым, которая внешне ничем не отличалась от жизни афинян вообще, обыкновенно проводивших большую часть дня на рынке без настоящего дела, в праздности, или бродивших в публичных гимназиях..., или... болтали здесь друг с другом, тот способ бесед был возможен лишь в условиях афинской жизни, где большинство работ... выполнялось раб(ам)...

Разумеется, этот афинский образец не совпадает с временами капитализма, где его ученые серьезно работали. Но и их работа (если отвлечься от пустопорожней философской схоластики и специфических идеологий, а брать, главным образом, естественные науки) имела основой материальный труд рабочих и крестьян. Без *развитой техники* (важнейшая составная часть «внешней цивилизации») невозможна *наука*, с ее мощной экспериментальной техникой. Как могла бы быть возможна современная микро-физика и

микро-механика без развитой и могущественной технической основы? А это есть в высокой степени «духовная» культура.

Но здесь часто делается совершенно определенная *подстановка понятий*. Под «духовной» культурой разумеется либо: 1) идеалистическо-мистическое, абстрактно-спиритуалистическое ее *направление*, т. е. один из *частных* случаев выдается за общее; 2) либо культура, вообще ориентирующаяся, условно говоря, больше на *человека*, чем на *внешний мир*, углубляющая мышление о человеке, а не о космосе; 3) либо смешение первого и второго моментов.

На этом вопросе тоже следует остановиться в связи с анализом материальной базы социалистической культуры.

В самом деле, мы можем, например, сказать, что в Средние века в Европе религия, теология и т. д. играли большую роль, чем во времена капитализма; что в Древнем Египте *теократические* моменты в государстве и во всей совокупной культуре были очень велики; что в *Индии* эта теократия достигла высокой степени развития, и идеология против чувственного мира приобрела особое распространение и т. д. Не нужно, разумеется, преувеличивать и воображать, например, что замечательные создания египетской или индийской архитектуры возникли вне всякого технического мастерства, и что люди питались одной религией. Наоборот, из условий их общественно-материального бытия можно вывести особоспиритуалистический характер идеологии их господствующих классов и соответствующих эпох. Авторитет, ранг, иерархия, страх наказания, категория чудесности и божественности земных владык, за которыми непосредственно стоят грозные небесные боги, это в условиях тех культур было таким же необходимым средством держать в повиновении массы, как в новейшее время иллюзии и обманы, распространяемые через газету путем мощной техники печатания. Нужно ли социализму *это* измерение «духовной культуры»? Разумеется, оно ему глубоко враждебно: религиозно-мистические формы мироощущения и мировоззрения гибнут *раз и навсегда*.

Сложнее обстоит вопрос об ориентации *на человека*, которого капитализм поистине «забыл», ибо создал автоматически действующие и сложнейшие механизмы его систематического ежесекундного порабощения, разложения и обмана. Другие «способы производства» (со «спиритуалистическими» культурами), упражняя жрецов государства на разного рода «духовных науках» (в том числе упражнение воли, внушение и т. д., как это было в Индии), массу

делали объектом религиозного страха и абсолютного невежества, вырабатывая весьма сложную «заботу о человеке» под углом зрения его религиозного устрашения. Комбинация «чудес» и страха есть одна из характернейших черт *этой* ориентации «на человека».

Социалистический способ производства есть полная противоположность *всех* эксплуататорских систем. Он не противопоставляет развитие материальных потребностей развитию потребностей духовных, процесс материального творчества процессу творчества духовного, ориентацию на познание внешнего мира ориентации на познание мира человеческого. Человек, по выражению Маркса, в технике, вопреки библии, удлинит свои естественные органы. В научной технике он удлинит их еще раз и «удлинит» свое собственное сознание, необычайно обогащая его и расширяя познание мира. Развивая свои чувственные потребности, он развивает и свои познавательные потребности, и свое художественно-эстетическое отношение к миру. *Особые свойства* социализма, как такового, делают этот прогресс *безграничным*, ибо капиталистические пути сняты; не могут привести к *паразитизму*, ибо объединяют материальный и умственный труд и определяют творческий характер жизни; *синтезируют* ориентацию на мир с ориентацией на человека, с точки зрения роста жизненного содержания человеческого общества, расцвета всех его возможностей; обеспечивают *смену* решенных задач новыми, еще не решенными; освобождают мышление и сознание вообще от фантазмагорий религиозно-мистического характера; обеспечивают – создавая творческий досуг – *развитие личности* в соответствии с ее конкретно-индивидуальными задатками и склонностями; создают громадную «духовную культуру», но своего, *социалистического* измерения, конкретные особые черты которой подлежат последующему анализу.

Сейчас в СССР мы на опыте социалистического строительства видим, как ускоряются темпы не только технического и экономического, но и *культурного* развития (это теперь факт, никем не оспариваемый); как растет *личность* трудящегося и как она обогащается по своему содержанию; как завоевания «внешней цивилизации» сопровождаются ростом духовной культуры; как забота о вещах служит прямо и непосредственно «заботе о человеке»; как растущая «духовная культура» в то же время умерщвляет религиозно-мистические рудиментарные формы сознания; как расширение потребностей – и материальных, и духовных – *повышает* тонус общественной жизни, а не понижает его; как растут творческие усилия и умирают всякие остатки паразитизма и соответствующей идеологии.

Так великое строительство материальной основы социализма сопровождается строительством новой, социалистической, культуры.

Глава III

СОЗДАНИЕ ЦЕЛОСТНОГО ЧЕЛОВЕКА

Человек, как еще определял его *Аристотель*, есть «общественное животное». *Маркс* развил замечательное учение об «обобществленном человеке» (*vergesellschafteter Mensch*). Но в классовых обществах, и в капиталистическом обществе, как последней исторически форме классового общества, само обобществление человека, его всеобщие-общественные связи в бытии и в сознании, суть глубоко противоречивые явления, где сама связь есть в то же время противоположность. Человек, по сути дела, раздроблен: он раздроблен по линии *классов*, с их антагонистическим общественным бытием, антагонистической ролью в производстве и распределении, антагонистическим бытом, интересами, психологией, всеми формами общественного сознания; он раздроблен разделением труда и в его больших рубриках, и в его производных деталях: в *городах* – урбанистический урод, запертый в каменных мешках, оторванный от природы, неврастенический и истерический, живущий исключительно в искусственной среде; в *деревне* – ограниченный деревенский урод, с его «идиотизмом деревенской жизни»; «*умственный* работник», оторванный от живого соприкосновения с миром материи, вращающийся исключительно в сфере абстракций, для которого эти абстракции (понятия, математические формулы, символы всякого рода) перерастают в истинную субстанцию мира; работник «*физического* труда» лишен возможности заниматься умственным трудом: он экономически эксплуатируется, политически подавляется, культурно находится под прессом, ибо вся монополия образования – у господствующих классов. Но и в пределах этих рубрик *разделение труда* дробит человека дальше: среди работников физического труда процесс специализации приводит к разложению трудовых операций на множество простых актов, тупых в своем однообразии и фиксируемых поточной формой технологического процесса; так рабочий превращается в сверх-детального рабочего, работа которого лишена всякого духовного содержания и которая, с другой стороны, закрепляет и закрепощает рабочего, по правилу, на *всю жизнь*, при длинном рабочем дне, низком жизненном уровне и периодически повторяющейся безработице. Специализация в сферах *умственного* труда породила множество отдельных дробных и дробнейших научных отраслей и отраслей «прикладного» знания

(техника, медицина, педагогика и т. д.), не объединенных ни единством цели, ни единством метода. В *искусстве* эта специализация при крайне суженой сфере опыта и жизни привела к кастрации искусства, к страшному раздроблению и обеднению его внутреннего содержания.

Таким образом, капитализм, объединяя людей единым способом производства, в то же время разбил и растерзал их на части, где целые группы людей превратились в носителей односторонних и частичных функций, персонифицированных в этих людях. Все они – относительные уроды, калеки, однобокие, обездушенные и обесполенные самым ходом капиталистического развития. Вот почему сложная и по своему богатая культура капитализма представляется внешней силой, тяготеющей над большими массами людей: даже в пределах близких к господствующему классу работников умственного труда, благодаря отсутствию *синтетического* начала, инженер часто не понимает философа, поэт или художник представляется сумасшедшим математику и т. д.; неизмеримо больше, разумеется, разрыв между вышеупомянутыми крупными подразделениями общественного труда; а *классы*, эта высшая форма проявления противоречивости капиталистической структуры, имеют осознанную принципиально противоречивую, антагонистическую и взаимно враждебную идеологию по всему фронту.

«...Человек не способен развить гармонию своего существа, он становится лишь отпечатком своего занятия». (Фр. Шиллер: Письма об эстетическом воспитании человека).

В первой части работы мы видели, что *фашизм*, который кричит о «тотальности» (т. е. о целостности) не только не уничтожает этой растерзанности человеческого общественного бытия, этой раздробленности человека, но *закрепляет* и *регламентирует* ее, как «сословия», «корпорации» и т. д., стремясь эти расчлененные *касты*, иерархически расположенные, превратить в *вечную* категорию «нового» рабско-фашистско-капиталистического общества.

Социализм производит здесь полный переворот: он *собирает* человека, создает тип действительно *целостного* человека, с многообразными функциями и со все большей, *исторически* развивающейся (об этом нужно помнить все время) жизненной полнотой и жизненным богатством.

Тенденция к уничтожению классов, к ликвидации противоположности между умственным и физическим трудом,

между городом и деревней, плановое хозяйство и дальнейшая тенденция к уничтожению разделения труда – суть основы для формирования целостного человека. Здесь нужно показать в основных чертах его развитие. Прежде всего, необходимо остановиться на роли *принципа плановости*. Сам социалистический план, как мы уже говорили в предыдущей главе, не возникает в однократном акте: он вырастает по мере роста социалистического хозяйственного сектора, он становится всеобъемлющим, когда сектор превращается в круг. Нужно, следовательно, не упускать из виду, что он – исторически растущая, а не неподвижно-абсолютная величина.

Разберем теперь вопрос о плановом хозяйстве и государственном плане вообще с интересующей нас точки зрения. План есть увязка, *синтез*, многообразных данных из *всех* сфер общественной жизнедеятельности. Уже одна его *экономическая* (вернее *техно-экономическая*) сторона опирается на взвешивание данных всех естественно-научных и технических дисциплин, а также дисциплин общественного порядка: вопрос о размещении производств опирается и на геологию, и на специальные дисциплины, исследующие данный вид сырья или топлива, и на экономико-статистические данные, и на взвешивание этнографическо-национальных моментов, и на анализ вариантов с точки зрения экономики всей страны в различных хронологических разрезах, и на учет военно-стратегических моментов и т. д.; вопрос о выборе новых заводов, новых технологических процессов, новых машин; о выведении новых видов животных или растений, формах и методах сельского хозяйства, типах машин и удобрений, формах оплаты, специализированных районов, квалификации рабочих сил и т. д., – вся эта бесконечно сложная механика опирается на сумму самых многообразных данных самых различных дисциплин. И *план* не есть просто запись этой суммы. Он есть *выработанное целевое единство*, опирающееся на строгий *научный учет*. Он предполагает выработку органически единой системы цифр, оптимальной увязки количественных и качественных показателей, взятых с точки зрения максимального эффекта. Это – не волюнтаристическая игра в цифры, ибо здесь все покоится на учете объективных данных, на науке, на научном предвидении. Но это и не статическое и пассивное созерцание сущего, а, наоборот, концентрированное преодоление сущего, выход за его рамки, достижение *нового*, полагание дальнейших целей, движение вперед.

Итак, *план* есть увязка и *синтез*. Но, поскольку мы говорим не только об *экономическом* плане, но и о плане вообще, то сюда входит

и планирование основ культурного развития – и с точки зрения его *материальной базы*, и с точки зрения *кадров* (вопрос о контингентах учащихся в вузах и втузах, что предполагает взвешивание определенных общественно-необходимых пропорций между различными видами умственного труда, согласно развивающимся потребностям) и с точки зрения *тематического упора* (например, планирование научно-исследовательской тематики, или экспедиционной работы, или геологической, геодезической, метеорологической службы). Другими словами, *социалистический план* в противоположность *капиталистической анархии* (и жалким иллюзорным попыткам утопического «планового капитализма»), динамически определяя взаимосвязанность многосторонних жизнедеятельных функций общества и синтезируя эти функции в одном дифференцированном и многообразном единстве, является *основой* формирования *людей*, которые, работая по плану, должны понимать эту взаимосвязанность, т. е. должны уже тем самым выходить из рамок *односторонности* и *однобокости*.

Но здесь есть еще одна необычайно важная сторона предмета, на которую необходимо обратить сугубое внимание. В *капиталистическом* обществе, по существу говоря, невозможно управление ходом развития. Вскрытие объективных каузальных (причинных) и функциональных его закономерностей еще не дает возможности ими управлять: ибо они стихийны, иррациональны, алогичны; здесь целеполагающими субъектами являются отдельные предприятия или тресты; государственная власть, воплощающая рациональное (с точки зрения буржуазии) начало, не в состоянии охватить (принципиально не в состоянии) всего процесса в целом. Из целеполаганий частичного характера, анархических и противоречивых, рождается результат, объективный смысл которой часто направлен, как мы знаем, против самих целеполагающих субъектов (отдельных лиц, трестов, государства). *Каузальный ряд* (12) *не совпадает с телеологическим* и по содержанию, и по форме, и по времени.

Совсем другое при плановом хозяйстве *социализма*. План, как мы видели, имеет своим отправным пунктом научный учет многообразных данных. То наращение, которое проектируется на будущее (на год, или на пятилетку, или на n единиц времени вообще) тоже самое проектируется не с потолка, а на основании научного расчета возможностей, т. е. научного предвидения. Однако, эти установки имеют сразу *активно-волевой* характер: это не пассивно-

созерцательное отражение сущего, не фотография данного, а *нормы действия*. Другими словами: *каузальный* ряд переводится здесь сразу на язык *телеологии*, активного целеполагания и активного выполнения. Отсюда вытекает следующее: социалистический план есть база для формирования людей, одновременно и *мыслящих*, и *действующих*. Это обстоятельство имеет огромное значение для всего типа социалистической культуры, ибо оно ликвидирует раздвоение на «интеллект» и «волю», на более или менее созерцательно-интеллектуальные функции одних и действенно-волевые других, на Кантов, устанавливающих границы познания и мудрствующих о вещах в себе, к которым они не прикасались, и практических работников, трансформирующих на деле эти «вещи в себе» в промышленности, сельском хозяйстве, экспериментальной науке и т. д. Поэтому при социализме *объект* выступает не только, как объект теоретического познания, но как объект *овладения* (теоретического и практического). Теория неразрывно связана с практикой. Практика является, исходным пунктом теории. Теория, овладевая предметом на основе практики и своей собственной работы, обогащает практику, становящуюся более эффективной. И т. д. Здесь мы, таким образом, можем записать формулу этого взаимодействия-цикла: $P-T-P^1$; $P^1-T^1-P^{11}$; $P^{11}-T^{11}-P^{111}$ и т. д., где символически изображается это нарастание эффективности. Соответственно и *субъект* есть субъект, овладевающий предметом и теоретически и практически, мыслящий о предмете и изменяющий его, интеллектуальный и волевой, наблюдающий и действующий, причем и само теоретическое наблюдение неизбежно теряет свой созерцательно-пассивный характер и осознает свою жизненно-практическую ценность, а с другой стороны, практическое действие теряет свой слепой характер, будучи пронизано теоретическим светом.

Наконец, *социалистический план* предусматривает *досуг* трудящихся и подводит базу под развитие искусства и художественного творчества, отнюдь не замыкая его в узкие рамки. Тем самым дается, если так можно выразиться, социальное пространство для развития *художественно-эстетического* отношения к миру и для роста духовной культуры по всем линиям ее целесообразного и возможного развития.

Вопрос о плане этим определен лишь в самой общей форме. Между тем его значение разворачивается в полной мере лишь тогда, когда вскрывается его *конкретное* наполнение. И здесь нужно иметь в

виду прежде всего то обстоятельство, что общегосударственный план развёрстывается по звеньям и отраслям общественной работы вплоть до основных производственных и культурных единиц: фабрик, шахт, железных дорог, совхозов, колхозов, учебных заведений, научных институтов, лабораторий, театров, музеев и т. д. и т. п. Эта огромная (enormous) калькуляция, которая, по словам Веббов, была бы «вне человеческих способностей в любой другой стране», становится возможной в стране социализма; она становится возможной и потому, что здесь «калькулирует» отнюдь не одна административно-государственная верхушка в узком смысле этого слова: «калькулируют» (т. е. нужно сказать более широко «планируют») – огромные народные массы: колхозники, их общие собрания, правления колхозов, ударники, стахановцы земли, трактористы и комбайнеры, механики, машинно-тракторные станции, рабочие заводов и фабрик, их «знатные люди», мастера, начальники цехов, технические директора и директора, производственные совещания и т. д. и т. п. до бесконечности. Когда Сталин говорит, «план, это – мы», в понятие «мы» входит громадная активная, размышляющая, планирующая, считающая и действующая *многомиллионная масса*. План у нас возможен и реален, и действителен именно потому, что это – не бюрократический, навязанный только сверху, составленный только наверху, подсчет, но что он основан на фактически *всенародном подсчете*, где каждая производственная и культурно-строительная ячейка вносит свою лепту в общее дело.

Но что это означает с точки зрения *переделки людей*? Для ответа на этот вопрос попробуем сравнить теперешние людские типы с прошлыми, начиная с сельского хозяйства, как наиболее отсталой социально-экономической и культурной зоны.

Возьмем, прежде всего, «среднего крестьянина» старого времени. Некий немецкий пастор *A. L. Houet* выпустил в 1920 г. специальную книгу: «К психологии крестьянства», где он воспекает консерватизм, косность, жадность крестьянства и радуется тому, что «число... жизненных проблем, религиозных, моральных, проблем искусства или каких бы то ни было проблем» здесь «вообще очень не велико, что то же самое понимание их передается из поколения в поколение». Если мы возьмем наше дореволюционное – весьма отсталое по сравнению с немецким – крестьянство, то эти черты выступают еще резче. Нужно вскрыть их конкретный вид. В области *техники* – у нас были соха, примитивный плуг, коса. В области *экономики* – хозяйство жалкого и нищенского «двора». В области *культуры* – дикая

безграмотность. Кабак, церковь, кулачные бои («стенки»), варварский мордобой по отношению к женщине на основе «патриархальной семьи» («курица не птица, баба не человек»). Умственный горизонт – не дальше своей «околицы». Ограниченность, узость, консерватизм, безграмотность – таковы основные черты быта, который сломался лишь в силу отчаянной нужды, последствий революционного восстания против помещиков под благотворным влиянием и руководством *пролетариата*. А что же по сравнению с этим, уже исчезнувшим, психологическим типом, представляет современный *колхозник*? В области *техники* он имеет дело с машинами: трактором, комбайном, целым рядом сложных машин всевозможных специализированных типов; с искусственным удобрением; с правилами агро- и зоотехники. Сюда примыкает непосредственно *наука*: «хаты-лаборатории», опытные поля, выставки и т. д. – все это уже вошло в деревенский обиход. В области *экономики* он имеет дело с крупным хозяйством, часто комбинированного типа, с многообразными отношениями к другим колхозам, к району, к городу, к народнохозяйственному целому, к государству и к своей усадьбе. Он должен переводить эти отношения на язык цифр, считать, калькулировать. Он должен принимать участие в составлении *плана*, который включает и учет техники, и данные науки, и опыт предыдущего, и установки общего плана, взаимосвязь и взаимозависимость большого количества факторов. Он должен учитывать и свою собственную работу, вычисляя трудодни, и работу других колхозников, и труд агронома, врача, зоотехника, учителя, механиков, слесарей, электриков. Он приглашает из города лекторов, артистов, художников. Он принимает участие в различных кружках – от политграмоты до литературы, нередко организует художественные мастерские, колхозные театры, библиотеки, лаборатории, опытные станции. Он вырастает в ударника, в стахановца земли, часто теперь получает на специальных курсах добавочное образование. Его дети становятся нередко врачами, техниками, инженерами, агрономами. Его связь с городом неизмеримо возрастает, связь политическая, техническая, экономическая, культурная. Его народное искусство вливается мощной струей в общий поток и испытывает квалифицированное влияние более сложных форм. От былого консерватизма не остается и следа. Материально-техническая основа его общественного бытия необычайно быстро развивается, как огромная революционизирующая сила, как импульс, идущий от

развивающейся тяжелой промышленности, ибо экономическая форма социалистического крупного хозяйства дает просторы для такого быстрого развития. Скрыты все устои прежнего консерватизма, ограниченности, «идиотизма деревенской жизни». Это включение колхозника в общую планово-проводимую работу по строительству социализма приводит, таким образом, к его внутреннему росту по всем направлениям. Разумеется, и здесь нужно подходить к вопросу *исторически*, т. е. рассматривать данные явления *im Werden*, в становлении, в развитии, а не как нечто завершенное и законченное. *Но не подлежит никакому сомнению, что налицо великая тенденция социализма, преодолевающая узость, однобокость, калечение человека.*

Обратимся теперь к городу и, прежде всего, к рабочему классу. *Прежний* тип рабочего в России: при относительно-высокой политической сознательности (обусловленной опытом революционной борьбы) – очень слабая техническая культура и культура вообще; сильное влияние крестьянской психологии (особенно среди текстилей, уральских рабочих, горняков Донбасса и т. д.). В социалистической революции, в великих классовых битвах и в эпоху гигантского строительства рабочий класс превратился в творческого коллективного организатора огромной страны. Здесь не место изображать конкретный ход этой «переделки своей собственной природы», о которой говорил еще *Маркс*, этот гениальнейший провидец коммунизма: достаточно сказать, что и тут речь идет об истории, о движении, а не о завершенном и законченном. В качестве документации можно сослаться хотя бы на коллективный труд авторов-рабочих «Были горы Высокой» (13), который может служить хорошей живой иллюстрацией этой замечательной исторической трансформации. Но посмотрим на то, что есть. В области *политики* рабочий класс передвинул свой передовой отряд к непосредственному управлению совокупным государственным организмом страны: корпус администраторов, красных директоров, инженеров, весь командный состав армии и т. д., это – бывшие рабочие на огромнейший процент. Они, как мы уже излагали, отнюдь не оторваны от всей массы и не замкнуты от нее ни в какой класс, сословие, корпорацию. Они – «плоть от плоти и кость от кости» этой массы. Но и вся масса участвует в управлении, гигантски обогащая свой опыт. Организационные навыки, сноровка, понимание общественных связей возросло в неизмеримой степени. Рабочие стали *«государственными людьми»* (в хорошем, а не дурном смысле этого

слова), первоклассными организаторами, активными, практическими, волевыми и все более культурными. В области *техники* и *технической культуры* мы имеем первый переворот. Через опыт непосредственной работы, через социалистическое соревнование и стахановское движение, через прохождение технического минимума, через многочисленные курсы, лекции, инструктаж, опытную работу, государственные технические экзамены и другие многообразные формы; через практику технического планирования на заводе, изобретательство, производственные совещания, кружки, работу в лабораториях и т. д. и т. п. – рабочие получили совершенно новую техническую квалификацию, овладели новейшей техникой, новыми технологическими процессами, совершенно иными ритмами и темпами трудовых операций. Чтобы не было никаких недомолвок и недоразумений: на *данной* стадии развития мы имеем рост разделения труда и специализации. В связи с новыми машинами, новыми технологическими процессами и новыми методами работы это неизбежно. Но рост специализации проходит сейчас в *таких формах* и в *таких условиях*, что ее специфически-производственная однобокость *перекрывается* другими, чрезвычайно мощными факторами. А именно: *во-первых*, плановый тип хозяйства выводит ориентацию рабочего *далеко за пределы* его «рабочего места», станка, агрегата; рабочий планирует на заводе, во всем народном хозяйстве, во всем государстве, прекрасно понимая, как сказано, многообразные общественные связи, значение экономики, техники, науки и т. д.; *во-вторых*, сокращение рабочего дня дает ему возможность вбирать в себя совершенно несравнимое количественно и качественно с прежними временами богатство впечатлений, знаний, опыта. Сближение с природой, экскурсии, путешествия во время отпусков по стране, физкультура всех видов, спорт; систематическое сближение в разных формах с колхозной и совхозной деревней; массовое развитие авиации и парашютизма на заводах и фабриках; исключительное развитие интереса к литературе, искусству вообще (живописи, театру, музыке, пению; рабочие – авторы книг; заводские и районные картинные выставки; рабочие театры и т. д.); гигантски растущий интерес к науке, в том числе к естественным наукам через технику, – это все факторы и тенденции первоклассного значения. Если простой жизненный опыт рабочих времен гражданской войны и восстановительного периода, когда передовые слои активных пролетариев вдоль и поперек исколесили пространства страны, необычайно раздвинул кругозор и закалил их, то за время

реконструктивного периода произошло столь удивительное наращение культуры, что оно сделало теперешних рабочих СССР совершенно новыми людьми, идущими ко все более высоким задачам и целям: они работают, управляют, действуют, мыслят, художественно – творят.

Опять-таки: филистеры скажут, что высота, интенсивность культуры здесь еще не очень велика. Но мы еще раз подчеркиваем всю необходимость *исторического* подхода. От прошлого сделаны *львиные прыжки*. *Темпы* развития – *исключительно быстрые*. *Ускорение* развития налицо. Разве этого недостаточно, чтобы судить о всем всемирно-историческом значении данного процесса? Разве здесь нельзя нащупать руками сближения между умственным и физическим трудом, что составляет одну из глубочайших проблем прогрессивного общественного развития?

В области *научного труда* точно так же наступают большие перемены. Вместе с плановым хозяйством наука, в лице своих носителей, осознает себя, как одну из необходимых жизнедеятельных функций общества. Вообще говоря, так называемой «чистой науки», т. е. науки «в себе», отъединенной целиком от жизни общества, никогда не было и быть не могло. Эту иллюзию породило лишь гипертрофированное разделение труда, когда научно-исследовательские функции обособились в автономную сферу, внешне вполне независимую от остальной общественной жизни; при этом субъекты науки, ее агенты, могли не сознавать той неизбежной *объективной* связи, которая все же, хотя бы промежуточными звеньями, соединяет науку с практикой материальной жизни. Социализм и плановое социалистическое хозяйство делают эту связь и *максимально-тесной*, и *видимой*. Так наука обретает здесь свое общественное самопознание. Наитеснейшее, осознанное и плановое взаимодействие между наукой и практикой, и притом в массовом, общественном масштабе, повышает эффективность всего творчески-строительного процесса. А с интересующей нас в данном случае точки зрения, т. е. с точки зрения формирования целостного человека, здесь налицо преодоление ограниченности отъединенных от жизни работников умственного труда. Таким образом, тенденция, которая идет снизу, из сферы материального труда, встречается с тенденцией, которая идет сверху, из сферы труда теоретического.

Многочисленные кадры *новой интеллигенции* проходят уже новую высшую школу, где принцип объединения теории и практики является основным методическим принципом образования.

Далее нужно остановиться еще на одном вопросе, а именно, на вопросе о положении *женщины*. Этот вопрос мы должны вкратце рассмотреть с точки зрения формирования целостного человека. Капитализм в значительной мере сохранил (а фашистский капитализм сознательно упрочивает) такое общественное разделение труда, когда на долю женщины приходится функции сексуальные, детородные и кухонные. Втягивание женщин-работниц и служащих в общественный процесс производства обычно сопровождается здесь: 1) более узким, чем у мужчин, участием в общественной жизни, 2) большим распространением проституции, как средства получать добавочный заработок-. Среди высших классов роль женщины тяготеет к роли средства сексуального потребления и, в то же время, предмета роскоши. Социализм коренным образом меняет положение вещей. Разумеется, социализм, вопреки буржуазным карикатурам на него, отнюдь не проповедует уничтожения сексуальных различий и их последствий; но социализм стремится уничтожить то *подлое* разделение труда, которое порабощает женщину и делает ее постельно-кухонной принадлежностью, подобно тому, как капитализм делает рабочего-мужчину (а часто и женщину) придатком к бездушному механизму. Опыт СССР наглядно показывает, что на полях, и на фабриках, и в лабораториях, и на театральном подмостках, и в государственном аппарате, и в героических экспедициях, и в авиации, и в парашютном спорте, – повсюду женщины в массовом масштабе, и среди всех многочисленных народов нашей страны, занимают достойные и почетные места наряду с мужчинами. Героини стахановского труда известны всей стране, как и отважные наши парашютистки и летчицы. А что, казалось бы, является более «мужским» делом, чем авиация и прыганье с парашютом с головокружительных высот? А трактористки и комбайнерши? А лабораторные работницы? А участницы челюскинского похода? Словом, то историческое разделение труда между мужчиной и женщиной, которое женщину-труженицу обрекало на добавочный гнет, до крайности суживало ее умственный горизонт и превращало ее в «бабу, а не человека», у нас исчезает с огромной быстротой, и создается, впервые после эпохи матриархата, *человеческое достоинство и человеческая полноценность женщины*.

Наконец, необходимо сказать несколько слов о нашей *армии*. Казалось бы, именно тут должно быть максимальное сужение жизни. Но дело в том, что социалистический характер армии делает ее совершенно непохожей на армии капитализма и на старую армию

Российской Империи. Эта старая армия покоилась на беспощадной оглуляющей муштре, уничтожающей всякую индивидуальность солдата, на изоляции солдата от населения, на нарочитом сужении умственного горизонта солдата и т. д. Такая методика должна была прикрыть и замазать классовую противоположность между крестьянской в основном солдатской массой и дворянско-помещичьим офицерским корпусом. Ничего подобного нет в Красной Армии, с ее пролетарским командным составом. Армия покоится на *всесторонней* учебе, на всестороннем развитии личности бойца, на теснейшей *связи* с рабочими и колхозниками. При совершенном и мастерском овладении всеми *техническими* средствами военного дела, в армии СССР огромное значение придается *человеку*, его всестороннему культурному развитию, вплоть до художественного развития. Армия наша превращена, таким образом, в огромную школу, прямо противоположную той аракчеевщине, которая характерна в особенности для фашистских режимов, предполагающих отупление, оглупление и обезличение солдата, обязанного лишь слепо выполнять приказы начальства. У нас же дисциплина приобретает сознательный характер, то есть такой характер, за которым стоит понимание всех общественных связей и норм политики, соответствующих *интересам* самой красноармейской массы. Армия наша славится поэтому не только своей техникой, но и своей культурой, своими библиотеками, театрами, выставками, своими прекрасными оркестрами, хорами, своими высоко культурными «домами», своей связью с фабриками и заводами, совхозами и колхозами, культурностью своих бойцов и ростом их личности, ее инициативы, смелости и отваги. Все это принципиально недоступно для капиталистических армий, идеологи которых должны либо стоять на точке зрения *малых*, классово-подобранных, механизированных армий (теория *Фуллера*), либо – при массовых армиях – на точке зрения муштры, *исключающей* рост личности и сознательности солдата.

Следовательно, и в этой сфере социализм идет по новым путям: и здесь налицо формирование все более *целостного и многосторонне развитого человека*.

Итак, *социализм* создает полноценного и всесторонне развитого человека на основе:

- 1) уничтожения классов,

- 2) тенденции к уничтожению противоположности между умственным и физическим трудом,
- 3) тенденции к уничтожению противоположности между городом и деревней;
- 4) планового хозяйства, ведущегося миллионами;
- 5) повышения жизненного уровня масс и роста культуры;
- 6) сокращения рабочего дня;
- 7) последующей тенденции к преодолению разделения труда вообще.

О последнем необходимо сказать несколько слов. Известно, что *Маркс* не раз говорил об уничтожении разделения труда *при коммунизме*. Это, разумеется, отнюдь не означает уничтожения многообразных *отраслей производства*, специализации *машин* и *технологических процессов*. Это означает уничтожение такого порядка отношений *между людьми*, когда определенные группы этих людей обречены чуть ли не всю жизнь заниматься одним и тем же *видом работы*. Сокращение рабочего дня уже *теперь*, как мы это видим у нас, в СССР, дает возможность с *этого* конца преодолевать ограничивающее влияние разделения труда. А необычайно сильная тенденция к *автоматизации* технологических процессов, где специализированные автоматические механизмы предполагают простые функции их регулирования и т. д., делают возможным в дальнейшем и преодоление разделения труда с производственного конца. Общее и политехническое образование будут достаточны для работы в самых различных сферах материального производства, и центр тяжести будет все более переноситься на высокотворческие виды работы по изобретательству, экспериментальной науке и технике и т. д. Но это, в значительной мере, еще «музыка будущего», хотя ее основные мелодии слышны уже и в настоящее время.

Разностороннее развитие, овладение всем культурным наследием, критическая его переработка, быстрое движение *вперед*, а не регресс, не скептицизм, не «Экклезиаст», не «*vanitas vanitatum et omnia vanitas*» («суета сует и всяческая суета»), – таково жизнеутверждающее, творческое, оптимистическое начало социалистической культуры. Она развивается, и будет развиваться дальше в *ином* (антидекадентском) *измерении*. Ибо необычайно остроумно замечает в одном месте *Гегель*: «Считать последним словом мудрости сознание ничтожности всего, может быть, и есть на самом деле некая глубокая жизнь, но это – *глубина пустоты* (наш

курс – Н. Б.), как она иногда выступает в античных комедиях Аристофана». А для социализма речь идет не о «глубине пустоты», а о глубине растущей *человеческой жизни*, раскрывающей все свои задатки и расцветающей новым цветением.

Здесь необходимо остановиться вот на какой проблеме. Не идет ли речь об образовании униформируемых и стандартизированных, так сказать, «средних», «гармоничных личностей», у которых есть всего понемножку: немного техники, немного науки, немного эстетики, немного «Истины», немного «Добра», немного «Красоты»; не идет ли речь о создании царства всеобщей ограниченности, хотя бы на новой основе, где самодовольные «целостные» люди не будут видеть своей новой, «целостной», убогости, своеобразной материальной и духовной сытости, сравнительно небольшими порциями отмеренной «гармонии»? Стоит только поставить этот вопрос, чтобы увидеть и отрицательный на него ответ. Успокоенность и статика вырастают, как свойство общественного *паразитизма*, о чем мы уже говорили в предыдущем изложении. *Активно-творческий* характер социалистической культуры приводит ко все новому росту и материальных и духовных потребностей, причем эти последние превращаются в настоящие *страсти*. Социализм воспитывает *характеры*. Комнатное, «камерное» начало отступает на задний план. *Труд* превращается в «первейшую жизненную потребность», в необходимую функцию жизнедеятельности, перестает быть трудом в старом смысле и значении этого слова (как труд – тягость, труд – проклятие, труд – страдание). Уже и теперь он *становится* «делом чести, делом славы, делом доблести и геройства». Возрастающий *досуг* сам является творческим досугом, и реальная тенденция развития уже видна и сейчас. Разве в СССР видна хоть тень успокоенности и «мертвой зыби»? Наоборот, видно *ускорение* процессов культурного роста. Повышение удельного жизненного веса этого культурного досуга есть основа и для выявления личных склонностей, особых талантов, темпераментов, страстных увлечений тем или другим видом творчества, о чем так заботился в свое время гениальный сумасброд *Шарль Фурье*. И опять-таки: разве реальная тенденция этого уже не обозначилась с достаточной яркостью у нас, когда такие страсти вышли на поверхность в их дифференцированном виде, от увлечения героикой *авиации* до увлечения культурой *шахматной игры*, одним из средств квалифицированной умственной комбинаторики? Здесь, следовательно, диалектика процесса такова: тенденция к уничтожению одностороннего калечения человека есть в

то же время тенденция к выявлению его *особенных* склонностей и талантов. И этот процесс развивается на основе могучего роста производительных сил социалистического общества, темпы роста которого значительно превышают рекордные темпы капитализма. Откуда же взяться статике и покою? Откуда же взяться «средне взвешенным» человекам с ограниченными порциями униформированной гармонии?

Создание целостного человека, развязывая возможности индивидуального развития, приводит к максимальному *взаимопониманию* и общему *действию* людей. Другими словами, целостный *человек* становится возможным только в целостном *обществе*. Этому положению нисколько не противоречит факт «гармонических личностей» эпохи Возрождения или древней Греции или такие явления, как *Гете* или наш *Пушкин*, универсальные гении своей эпохи. Ибо у нас речь идет о *массовом* типе, а не о выборке из узкого кружка «элиты». Гуманисты эпохи Возрождения были незначительной верхушкой общества, греческие «идеальные» люди (которые необычайно идеализированы в *поздние* времена) предполагали рабский труд (все это прекрасно отражено в «Государстве» *Платона*), *Гете* был исключением для всей Германии (да и не только для Германии).

Тесная связь между людьми и их взаимопонимание есть основа для *действительной*, а не фиктивной, «общности» (*Gemeinschaft*); действительного, а не фиктивного, «*солидаризма*»; действительного, а не фиктивного, *единства*, глубокого, внутреннего, «органического». А это, в свою очередь, есть основа для глубочайших *чувств* связи с «целым», с другими людьми, с *товарищами* в человеческом *товариществе*. Оледенелая и пресытившаяся идеология современного буржуа тоскует и плачется по поводу утери «души» при засильи «духа» («*Seele*» и «*Geist*»); она ищет утерянную «душевную теплоту» в экзальтированной мистике и мистической экзальтации и в садистическом наслаждении запахом крови, воспетом и интеллектуально (Шпенглером), и «поэтически» (*Постом* и *К°*). *Социализм* разворачивает и эту *эмоциональную* жизнь, но в полную противоположность эмоциональной идеологии фашизма, он небеса сводит на землю, божественные совершенства реализует *исторически* на земле и вместо бестиализма осуществляет подлинное *человеческое братство*, переходящее в плоть и кровь, в инстинкт, в эмоциональную основу, в «душу» социалистического человека.

И в *этом* смысле классовую и общеисторическую полярность фашизма и коммунизма можно определить как полярность *бестиялизма* и впервые создаваемой *истинной человечности*. Поэтому эпоха социализма, после предыстории, и начинает впервые действительную *историю человечества*. Когда-то *А. С. Пушкин* писал о *трагедии*:

«Трагедия наша, образованная по примеру трагедии Расина, может ли отвыкнуть от аристократических своих привычек (от своего разговора, размеренного, важного и благопристойного)? Как ей перейти к грубой откровенности народных страстей, к вольности суждений площади – как ей вдруг отстать от подобострастия, как ей обойтись без правил, к которым она привыкла, где, у кого выучиться наречию, понятному народу, какие суть страсти сего народа, какие струны его сердца, где найдет она себе созвучие, – словом, где зрители, где публика? Вместо публики встретит она тот же *малый, ограниченный* круг – и оскорбит надменные его привычки (*dédaigneux*), вместо созвучия, отголоска и рукоплесканий услышит она мелочную, привязчивую критику. Перед нею восстанут непреодолимые преграды – для того, чтобы она могла расставить свои подмости, *надобно было бы переменить и ниспровергнуть обычаи, нравы и понятия целых столетий*».

То же можно было бы сказать и о многих других видах «духовного творчества». Но Пушкин не мог предвидеть *главного*: изменения той самой «площади», «народа», *его* страстей, струн сердца, наречия, понятий и т. д., что наступило в историческом развитии *пролетарской революции*. А это теперь *уже* есть макрокосмы всемирной истории.

Глава IV

ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
И СОЗДАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

«Европа» и «Азия»

Одной из самых достопримечательных черт социалистического развития в СССР является мир, содружество, тесная связь между бесчисленными национальностями, населяющими огромную территорию СССР. Мы видели при анализе фашистских установок, что у фашизма национально-расовый принцип утверждается, как формула вечного и кровавого противоречия истории, как закон природы, его же не преидеши. В доктрине и в практике германского фашизма государство есть лишь сосуд, облекающий национальное тело, которое необходимо содержать в расовой «чистоте», беспощадно подавляя другие народности. Всякое «смешение» рас, по этому учению, есть гибель. И наоборот, высшее благо заключается в том, чтобы огнем и мечом подавлять, душить и уничтожать другие («неполноценные») народы.

Опыт СССР, где проводились и проводятся со всей настойчивостью и со всей последовательностью диаметрально-противоположные фашизму принципы *ленинско-сталинской национальной политики*, блестяще опровергает мрачно-кровавую грязь фашизма и *на деле* утверждает братство, дружбу, совместное творчество более чем ста различных национальностей, самых разнообразных по своему этническому происхождению, по своему географическому размещению, по своей численности, по своей исторической «судьбе» и по своим дооктябрьским культурным уровням. Здесь и древние культуры грузинского и армянского народов, с многосложными влияниями восточных и античных культур, и наследники исполинских государств Средней Азии, с культурными влияниями Китая, Тибета, Индии, арабов; и великороссы с мучительной своей историей «Государства Российского», и украинцы с большим своим наследством, и татары, когда-то занимавшие пространства от Китая до частей нынешней Западной Европы, и разнообразные народы Сибири и Дальнего

Востока, и племена Арктики, многие десятки народов, имена которых до Октября были известны только специалистам-этнографам, и которые презрительно считались «неисторическими народами», «навозом истории», ее только объектом, колониальными «инородцами», заслуживавшими лишь этого собирательного названия. Великое разнообразие народов и культур! И вот теперь *фактом* является рост всех без исключения культур этих народов. *Фактом* является их мирное сожителство. *Фактом* является их нерушимая дружба. *Фактом* является рост их взаимосвязи. *Фактом* является – на основе развития многообразных, национальных по форме, социалистических по содержанию, культур – *единой и целостной советской культуры социализма*. Гигантский подъем *внутри* наций и в то же время необычайное ускорение культурного оборота *между* нациями при единстве направляющих идеологических доминант, характерных для всего мироощущения и мировоззрения социализма, является неоспоримой чертой развития СССР. *Материальной основой* этого процесса является политика равноправия наций и политика активной материальной поддержки отсталых: индустриализация бывших царских колоний, механизация труда, поддержка колхозов и совхозов, быстрое развитие общего и специального образования и т. д.

Какие *особенности* мы видим у различных народов? Особенности *природных* условий, накладывающих свою печать на материальную и духовную жизнь людей (ср., например, ненцев Арктики и жителей Аджарии); особенности отправных точек *экономического* революционного развития (уклады, их сочетания, варианты): *история* в ее конкретном развитии; особенности быта, нравов, конкретных влияний других народов: *язык* вообще, *язык искусства* в частности (система образов, метафор, народные их истоки); особенности *идеологического* творчества, вытекающие из особенностей конкретного исторического развития (вплоть до религиозных и философских систем); особенности литературного языка, *письменности*, художественных *форм и символов* и т. д. Совокупность этих особенностей, которые внутренне взаимно зависят друг от друга, и составляет морфологическое единство данной культуры в ее национальной *специфичности*. Основные морфологические типы культур суть культуры различных *экономических формаций*, которые и подлежат соответствующей исторической оценке; но так как сами *экономические* формации имеют различные *национальные* (или комплексно-национальные)

варианты, то последние можно считать *формой проявления* первых. Отсюда известная формула *Сталина* о культуре национальной по форме, социалистической по содержанию (поскольку речь идет о Советском Союзе).

Каждый «способ производства» имеет, как выражался Маркс, и соответствующий «способ представления» («*Vorstellungsweise*»), особый, свойственный ему, стиль культуры и особые идеологические доминанты. Мы находим удивительное *сходство* в быту и религиозных представлениях самых различных по географическому размещению, расам и т. д. *родовых* обществ. Мы обнаруживаем типичные общие черты в рабовладельческих и феодальных обществах самых различных народов и стран, в их экономике, быту, политическом устройстве, нравах, моральных идеалах, эпосе, искусстве вообще, основных религиозных идеях и т. д. и т. п. Сходные «способы производства» имеют сходные «способы представления». Но это «всеобщее» выражается в «частном» и «особенном». Конкретная история разных народов вовсе не повторялась, как полная идентичность соответствующих процессов: во всем, начиная от природных условий и вплоть до сублимированных форм идеологии, есть и оригинальность, национально-индивидуальные особенности, иногда весьма значительные; никакой *равномерности* процессов нет, никакой одинаковости в интенсивности этих процессов; никакой *равновеликости* соответствующих стадий, периодов, циклов; никакой *одинаковости* в международно-историческом контексте развития (например, разнообразнейшие комбинации *войн*) и т. д.

Предпосылкой содружества народов и культур в СССР являлась опора на те же *классовые силы*, на общность *интересов угнетенных* против угнетателей. Эта, имеющая и в веках свою традицию, революционная общественная борьба угнетенных классов, под руководством пролетариата и, в частности, наиболее политически развитого русского пролетариата, в строительную эпоху великих работ нашла свое продолжение в грандиозном творческом труде, в том числе и в *культурном* строительстве.

Подводится повсюду базис наиболее совершенной *новой техники*. Но, поскольку в разных странах СССР и у разных народов есть специфические отрасли производства, постольку различны и орудия труда, и сырье, и технология процесса (рыболовство у Мурманских берегов и апатиты; хлопководство в Узбекистане; цитрусовые культуры европейско-субтропической полосы). Повсюду создается на основе одного и того же типа *экономических* отношений и

одинаковый *быт*. Но и это приходит в жизнь в оригинальных формах: дома строятся из разных материалов, в различной архитектурной форме, с вариантами национальных стилей, которые отражают *особенности* исторических условий среды и всего развития; в отношениях между *полами* – преодоление *разных* ставших вредными рудиментов (на востоке – магометанское многоженство, «паранджа»; «умыкание»; остатки кровной мести; в центральных русских областях – остатки женского неравноправия в семье, но другого оттенка: здесь нет специфически восточных особенностей и т. д.). Культура распространяется везде и через *школы*, литературу и т. д.; в школах преподают те же основные идеи и знания. Но *язык* разный, различны формы национально-исторических традиций, фольклора, былин и сказок, культурных влияний, образов и метафор, которыми оперируют и для внедрения *нового, социалистического*, сознания, из чего все же неизбежно следует, однако, и появление новых общих *понятий* и *образов*, выраженных или на своем языке, или уже в интернациональных терминах (например, многие технические обозначения, как «телефон», «радио», «трактор», «комбайн»).

Реальная помощь прежде исторически отсталым народам, политическая форма их государственного бытия (союзные республики, национальные республики вообще, автономные области и др. виды политического самоуправления); полная свобода национального развития, культивирование равноправия, дружбы, братства, взаимоуважения наций и т. д. привели в СССР на деле к таким межнациональным отношениям, которых не было нигде и никогда, и которых в настоящее время нет нигде, кроме социалистического государства в СССР. Любое многонациональное государство древности огнем и мечом подавляло покоренные господствующие нации и народы: Рим разрушил дотла великий центр пунической культуры Карфаген; Ассирия разрушила в свое время Вавилон, мировой центр древности. Чингис-хан грозой шел по покоряемым народам. Фараоны Египта не стеснялись с африканскими племенами. Даже во времена образований на короткие сравнительно сроки великих мировых империй древности и относительного мира многие народы были по сути дела лишь данниками победивших деспотий и деспотических наций. Известно изречение Аристотеля: «быть для греков вождями, а для варваров – господами». Колониальная политика *капиталистических* христианских государств не отличается по своей жестокой истребительной силе от политики ассирийских или вавилонских царей. Известно, как испанцы и португальцы

расправлялись во имя Христа с благородными и высококультурными индейскими племенами в Америке; что сделали англичане в Индии; что европейцы проделали в Африке с негритянскими племенами; как варварски обошлись они с культурой великого китайского народа, когда, в начале 900-ых годов объединенные европейские армии жгли бесценные памятники и библиотеки китайской культуры. Сама современность говорит нам голосами Китая, Абиссинии, Испании о зверствах капиталистической цивилизации, потенцированных (и идеологически и практически) *фашизмом*. Антисемитизм, анти-негритянская идеология (Америка), многочисленные формы дикого шовинизма, – это есть неотъемлемое варварство современного капитализма.

СССР и его народы, на социалистической основе, показывают небывалый в истории пример принципиально-новых, братских, отношений между нациями и пример их объединения в сложный, но целостный, *советский народ*, где многообразие отдельных его составных этнических и государственно-национальных частей *не антагонистично*. В СССР нет *колоний* и, следовательно, нет и *метрополии*. Эта полярность старого мира целиком *преодолена* развитием социалистических отношений. Не случайно, что в тех частях бывшей царской империи, которые остались под властью *буржуазии*, антагонизмы между нациями налицо (ср., например, Польша versus Литва). Наоборот, прежде угнетенные классы, при необычайно быстром развитии национальных культур, погасили даже самые интенсивные очаги межнационального раздора (армяне и грузины, армяне и тюрки, русские и татары, «арийцы» и евреи и т. д.) в СССР. По Конституции СССР, проповедь человеконенавистничества и шовинизма есть уголовно наказуемое деяние. Итак, неоспорим факт роста *национальных культур*, причем многие народы только на советской основе впервые возникли из своего исторического небытия, впервые создали, при помощи со стороны более передовых частей Союза, свою письменность и свою письменную, выраженную литературу. Для социализма, которому глубоко враждебны аристократические тенденции всякого рода, характерно стремление поднять даже самых *отсталых* (чернорабочие, деревня, женщины, «кухарки», наиболее в прошлом угнетенные и задавленные народы и т. д.), уничтожить в сознании этих слоев то, что в европейско-американской литературе обозначается фрейдянским термином «комплекс неполноценности», давящее сознание чувство ущербности. Социализм пробуждает, на

совершенно особой основе, и чувство *личного* (но не индивидуалистического!) достоинства, и чувство достоинства *национального* (но не националистического!). Особенно важным представляется, с точки зрения развития национальных культур, быстрое создание многообразных *национальных кадров* на всех участках материальной и духовной культуры (от квалифицированных рабочих и техников до философов и поэтов): этот процесс можно наблюдать и на крайнем севере, среди ненцев, и на азиатском юге, среди узбеков и таджиков, и *повсеместно*. *Националистические, шовинистские, течения, опиравшиеся на остатки разгромленных буржуазных классов и сами разгромленные диктатурой пролетариата, выражали вовсе не расцвет национальных культур, а антисоциалистическую ориентацию, опирающуюся на реакционные моменты своей исторической традиции и на волю той или другой империалистской группировки за границей.*

Расцвет национальных культур в СССР сопровождается, как мы уже говорили, ростом *единой* советской *социалистической* культуры, имеющей свои многообразные национальные ипостаси. Это *всеобщее* содержится и в особенном, а особенное во всеобщем и едином. Единое есть *социалистический тип* культуры, от базиса до верхушечных надстроек. Какие глупости пишутся по этому поводу некоторыми даже весьма почтенными буржуазными исследователями, видно хотя бы из нижеследующего примера:

Известный английский проф. *Арнольд Тойнби* насчитывает в настоящее время 5 цивилизаций: западную (Европа, Северная Америка, моря и портовые города), затем цивилизация Ислама, Индуизма, Дальнего Востока и «ортодоксального христианства».

Мы не говорим здесь ни о детскости разнокалиберных критериев, ни о религиозном критерии. Но на 20 году существования пролетарской диктатуры определять советскую цивилизацию через православное христианство – до этого нужно додуматься! Еще более интересно, что *А. Тойнби* «обосновывает» этот свой тезис тем, что, по его мнению, пережитки православного христианства заключаются в требовании коммунистов: «от каждого по его способностям, каждому по его потребностям». Что бы сказал на это автор «Критики Готской программы», превращенный в православного христианина волею английского ученого историка?! Но возвращаемся к нашей теме.

Итак, необходимо видеть и процесс *сближения* культур, роста их *единства* в национальных многообразиях. Основой *материальной* является материальный базис социалистического способа производства.

Основой *духовной* является социалистический «способ представления», т. е. социалистическая идеология, т. е. *марксизм-ленинизм*. Пустяками являются все многочисленные рассуждения скорбных главою буржуазных идеологов, считающих великую идеологию пролетариата за новую *религию*. Религиозного здесь так же мало, как в геометрии Эвклида или в программе Коммунистического Интернационала. Но что это великое учение, овладев миллионами, стало гигантской *силой*, гораздо большей, чем, скажем, в свое время, христианство или Ислам, это не подлежит сомнению; но это вопрос совершенно другого порядка, логически ничего общего с первым не имеющий. Уже это единство способа производства и способа представления имеет *решающее* значение для образования *единой социалистической культуры*.

Но этим дело не ограничивается. На основе гигантски возросшего материального и политического кругооборота между нациями, единства *плана* социалистического хозяйства Союза, единства *целей* всего «целого», мы видим, прежде всего, ни с чем не сравнимый рост *взаимного ознакомления, связи и взаимодействия культур*.

Все народы Союза открыты один для другого *социализмом*. Это факт, который проявляется в бесчисленных и бесконечных своих формах. Нужно видеть, с каким взаимным уважением и товариществом относятся друг к другу колхозники Туркмении и Украины, Таджикистана и Грузии, Московской области и Азербайджана, Сибири и Биробиджана и т. д. и т. п. — на своих съездах, где принимаются важнейшие общие решения; или рабочие разных отраслей и наций; или весь советский народ в лице своих многоязычных представителей на советских съездах, где выступает новое триединство рабочего, колхозника, советской интеллигенции, нужно видеть все это, чтобы убедиться в совершенно новых, тесных и братских отношениях между нациями. Разве национальные *недели искусства* (казахского, украинского, грузинского и т. д.) в Москве (1936 г.) или выезды московских театров за пределы РСФСР, или громадная переводная литература (ср. *Пушкин* на всех почти языках Союза, ср. «Барсову шкуру» *Шота Руставели* на многих языках, начиная с русского; рост популярности *Т. Шевченко*) или ознакомление с многочисленными национальными эпосами, живыми еще ашугами, песнями, танцами, фольклором и т. д. и т. п., — разве все это не есть коренной переворот в культурных отношениях между нациями? Здесь речь идет не об «ознакомлении» лингвистов, специалистов, литературных и иных снобов. Речь идет о *массовых*

явлениях, о громадном *всенародном обороте* культурных образов, идей, навыков, видов национальных искусств.

Мы не говорим уже о *науке*, где любое достижение в какой угодно области подхватывается всеми, где экспедиционная работа центральных научных учреждений помогает открывать громаднейшие богатства в отдаленнейших местах (Кольский полуостров, Кузнецкий район, Караганда, Алтай, Колыма и т. д.), где во всесоюзном масштабе планируется научная работа. Мы не говорим о единой *системе образования и воспитания*, о единстве *научного метода*, о *единстве мировоззрения*. Это всем известно. И, тем не менее, необходимо подчеркнуть величайшее значение *этого* единства. Во всех прежних крупнейших идеологиях, даже в великих религиозно-философских космогониях древности или в концепциях так называемых «мировых религий» (буддизм, христианство, ислам, иранские религии) всегда была – в той или иной степени – классовая раздвоенность. Здесь впервые создается *научное* мировоззрение и практический пафос гигантского размаха, причем, поскольку стираются грани между классами, *всенародного* значения. Во всех прежних «единых» идеологиях границы *национального* играли крупнейшую роль, и даже при овладении многими народами *на деле* исчезал их «космополитизм». Вспомним, например, поведение христианских попов во время мировой войны). Здесь мощная идеология охватывает все нации и расы и своим существеннейшим моментом имеет *интернационализм*, который никак и ничем не может быть разрушен и который ни на минуту не перестает существовать, какие бы исторические коллизии и конфликты не возникали.

Мы приводили примеры «недель национального искусства», выездов и т. д. Но это только отдельные примеры. Нужно помнить, что вся так называемая *будничная работа*, т. е. весь процесс строительного творчества – на полях и на заводах, в школах и лабораториях, на театральных подмостках, в книгах, журналах, миллионах экземпляров газет и т. д. – движется *на рельсах интернационализма*, направляющей силой которого (как и всего творческого процесса) является единая, необычайно сплоченная, единомыслящая и единодействующая *партия*.

Г-н профессор *М. Ростовцев*, согласно «новейшим» фашистским теориям, утверждает (или почти утверждает), что культуры гибнут, когда смешиваются *национальности*, и когда к культуре приобщаются *массы*. Для «поучения» настоящих поколений создается эта теория на примерах гибели великих цивилизаций древности.

Однако, нет ничего более плоского, чем это «фашистское понимание истории». Цивилизации древности погибли от внутренних противоречий рабовладельческого общества и от бесконечных войн. Великие деспотии древности – Египет, Ассирия, Вавилон, Персия, императорский Рим стояли на глиняных ногах. Возникновение гигантских мировых монархий – Кира или Александра Македонского или Тамерлана – было кратковременным историческим моментом. Эти мировые образования, включавшие конгломерат разнородных и противоречивых моментов (и по линии классов, и по линии наций) распались обычно после смерти соответствующих «великих завоевателей». Сравнить все это с *социализмом*, все равно, что лечить металлы от инфлюэнцы. *Социализм* имеет принципиально другую внутреннюю структуру. *На опыте* теперь доказано, что тесная связь между нациями и овладение культурой со стороны масс необычайно повысило *темпы развития*, широкого и все более глубокого. И, с другой стороны, можно сказать, что оберегающие «чистоту рас» и не допускающие массы до культуры *фашизмы*, действительно, *загубили бы* всю культуру, если бы не *пролетариат* и его наиболее организованная и могучая сила – *Союз Советских Социалистических Республик*.

Определенная *культурная преемственность* есть у всякого народа. И то, что объединяет, способствует взаимопониманию и т. д. есть, прежде всего, историческая традиция борьбы угнетенных против угнетателей. Героика этой борьбы имеет стародавние исторические корни. Она была в значительной мере задавлена идеологией господствовавших классов, феодалов, князей, жрецов и царей. Но она извлекается теперь из-под спуда, в качестве идейной доминанты национального эпоса.

Здесь мы переходим к вопросу, который в разных вариантах (и в разное время) составлял (и составляет) предмет горячих дебатов, что мы уже видели в первой части настоящей работы, а именно, к вопросу о «Европе» и «Азии», как некоторым большим культурным проблемам.

В *русской* литературе этот вопрос служил, как известно, предметом горячих споров между *западниками* и *славянофилами*. «Западники» в общем и целом ориентировались на капиталистические пути развития, на усвоение соответствующих форм государственного бытия с его «свободами» и всей Западноевропейской культуры, и «вещной», и «духовной», в противоположность российскому крепостничеству и «азиатчине». Левое крыло западников, однако, видело уже противоречия капиталистического строя и критиковало

его с точки зрения *утопического социализма* (16), который, однако, сам рассматривался, и с полным правом, как законный продукт западной цивилизации, и ее последнее, самое прогрессивное, слово. *Славянофилы*, наоборот, защищали «самобытные» пути развития России, считали, что она имеет свою особую историческую миссию, что она не пойдет по проторенным дорогам Западной Европы с ее буржуазией и «язвой пролетариата», духом наживы, антагонизмов, классовой вражды и грядущих страшных катастроф. Многие из славянофилов считали чрезвычайно устойчивой крепостнически-патриархальные отношения в русской экономике, самодержавие трактовали, как социальную монархию, стоящую над классами и опирающуюся на народ (притом, «народ-богоносец»), византийскую «ортодоксию» («православную церковь») считая одним из устоев этой «оригинальной» структуры «государства российского». У близко к ним стоявшего *К. Леонтьева*, о котором у нас уже шла речь, культ *византизма* достигал своего предельного выражения. Нетрудно понять, что славянофилы критиковали «гнилой Запад» с реакционной точки зрения, с точки зрения дворянско-помещичьей и аристократической.

После Октябрьской революции «европейские» социал-демократы развили целую концепцию, что российский *большевизм* есть специфическое порождение полуазиатского характера («татарский социализм», «социализм туркестанских мулл»). «Скифская», левонародническая интерпретация Октябрьского переворота у *А. Блока* помогала, между прочим, такой «своеобразной» трактовке. Теоретики социал-демократии рассматривали большевизм как помесь марксизма, народничества и бакунизма, а их капиталистические хозяева – как «азиатскую чуму». С другой стороны, российские квалифицированные эмигранты (например, проф. *Франк*, проф. *Ильин* и др.) утверждали, что большевизм есть импортированный с Запада последовательный марксизм. Безбожный и гнилой Запад, распадающийся в своей мизерабельной и греховной культуре, наградил де православную Россию этой истребительной болезнью.

Наконец, в другой плоскости вопрос о «Европе» и «Азии» стал в связи с общим кризисом капиталистической культуры, поскольку некоторые отчаявшиеся головы из самых высоких буржуазных идеологических кругов стали в *восточной мистике* искать прибежища от треволнений катастрофической эпохи, и лозунг «ex Oriente lux» (17) стал у них снова в порядок дня.

Таковы общие рамки вопроса в его идеологическом выражении.

Но какое имеет все это отношение к действительной проблематике великого исторического переворота? Отношение оно имеет вот почему:

Во-первых, СССР расположен на громадных пространствах Европы и Азии. Его география, этнография, история, социология и политика касается и «Европы», и «Азии».

Во-вторых, СССР объединяет в себе народы и европейской, и азиатской культуры, поскольку есть некоторые различно окрашенные культурно-исторические традиции.

В-третьих, СССР лежит гигантским массивом между «Западом» *par excellence* и «Востоком» (Китай, Индия).

В-четвертых, СССР, рано или поздно, будет поставлен перед проблемой теснейшей связи между обоими культурными полюсами великого евразийского континента, как организующая сила *победоносного социализма*, как его материальное и идеологическое основание.

Большевизм, как политическое направление, есть последовательный марксизм эпохи войн, революций, пролетарской диктатуры, социализма. Он есть *международное* движение. Генетически, с точки зрения своего происхождения, он, конечно, продукт *западной культуры*. Он в России развивался Лениным в *борьбе* и с бакунизмом, и с народничеством. Он в Европе развивался Лениным (а затем и Сталиным) в борьбе с «западно-европейской» социал-демократией и ее предательским оппортунизмом. Как практика *строительства* социализма, он развивается на территории бывшей Российской Империи, но не в силу особых мессианских свойств русского народа, а в силу конкретных исторических условий, приведших к тому, что *первыми* нанесли удар капитализму пролетарии России. *Социализм в СССР* наследует все ценные завоевания человечества. Он берет себе громаднейшие достижения первоклассной европейско-американской машинной техники, экспериментальной науки, искусства и философии, *по своему*, по социалистически, не против, а для и ради человека, применяя машину, и критически перерабатывая духовное наследие Запада. Но он не может стоять на «арийской», или – еще уже – средиземноморской точке зрения и отбрасывать все то, что есть ценного на Востоке. Не изначальные и таинственно-метафизические и даже не биологические и этнографические «свойства расы», а исторические условия дают варианты культурных типов, иногда расходящиеся весьма значительно. Мы сошлемся здесь, не повторяя общей аргументации

(см. в первой части разбор т. н. «расовой теории»), на свидетельство такого выдающегося знатока и по своему мировоззрению *идеалиста*, как *Б. Тураев*. Вот что он пишет об иранцах и индусах:

«Иранцы и индусы представляют резкий пример того, как два народа, находясь в тесном родстве, под влиянием географических и исторических условий могут сделаться не только не похожи друг на друга, но даже противоположными один другому. Обширный Иран, с бедной природой, неблагоприятной почвой, неприветливым климатом, открытый с севера вторжениям диких орд, а с Запада примыкая к культурным и завоевательным державам, не мог воспитать поэтов, аскетов и мечтателей, ушедших от исторической жизни, – он стал родиной неутомимых работников, трезвых борцов за существование и культурные блага, бдительных воинов и исторических деятелей, сплоченных и последовательных. Такими мы видим иранцев и в истории – такими они были и в религии, и можно сказать, их религия как нельзя больше соответствовала природе их отечества... Сравнивая национальные черты индусов и древних персов, трудно верить, что эти два народа – близкие родственники...» (18).

Это – материалистическое объяснение, хотя и не полное и не совершенное.

Так вот, если мы поставим вопрос о некотором различии между «Европой» и «Азией», то мы обнаружим ряд важных особенностей развития. *Азиатские* культуры много древнее западно-европейских (Индия, Китай). *Европа* раньше прорвалась к *капитализму*. *Азиатские* культуры чрезвычайно долго жили на основах своеобразного теократического рабовладения и феодализма, со стабильным, неподвижным характером отношений; крестьянские войны приводили к повторению тех же циклов. *Европа* с переходом к машинной технике получила непрерывно революционизирующую основу всего своего бытия. В *Азии*, в особенности в Индии, на основе малоподвижных отношений, кастового расчленения и теократии, исключительно огромное значение приобрела религиозно-философская надстройка. В *Европе*, с прорывом из монастырских Средних Веков, на первый план выступила экспериментальная наука, исследование внешнего мира для делания *вещей*. В Азии господствующие классы, чтобы держать власть, должны были создать систему «чудес» против закономерностей чувственного мира, и в течение длительных исторических периодов тренировались на выработке необычных качеств, помогавших управлять своим собственным организмом («чудеса» йогов и факиров) и влиять на

других (гипноз). В *Европе* ориентация была не на развитие тех или иных свойств человека, а на производство новых и новых предметов, на накопление и развитие капитала. В *Азии* огромное значение имело чувственно-созерцательное начало. В *Европе* – калькулирующее, интеллектуальное и более активное отношение к внешнему миру. И т. д. и т. п.

Мы должны здесь, чтобы не было недоразумений, сделать, однако, два существенных замечания: *во-первых*, нужно все время помнить, что существеннейшей основой расхождения является длительность азиатских *докапиталистических* отношений, да еще в своеобразной их форме, связанной (как и в Египте) с ирригационной системой и с теократией: *во-вторых*, что в действительности дело обстоит много сложнее, и что мы даем упрощенную схему для выделения некоторых типичных *особенностей*, не исчерпывающих, конечно, всего многообразия отношений. В *Китае* нормы *практической* жизни стояли очень высоко, но они были соподчинены «божественному плану». В *Индии*, стране с наиболее спиритуалистической культурой, мы находим, тем не менее, почти все направления европейской философии, но, разумеется, в своеобразной форме и с различным общественным удельным весом.

Так что же отсюда вытекает для *культурной ориентации победоносного социализма*?

Ясно, прежде всего, что *динамическое творческое начало* должно быть «европейским» в том условном смысле, что техническое и экспериментально-научное «наследство» не только должно быть взято, но и продолжено социализмом. Социализм снимает здесь все путы и цепи с развития. Он последовательно ведет дело *вперед*, и ему органически противны реакционные lamentации против машины, науки, интеллекта, калькуляции, оптимизма, прогресса и т. д. и т. п. Он только превращает все это в орудия для *человека*, в средства действительно-прогрессивной истории *человечества*, вырвавшегося из периода своей «предыстории».

Но значит ли это, что в *специфических* особенностях культуры великих азиатских народов нет никаких (иногда нам даже, б. м., неизвестных) моментов, которые являются ценными для дальнейшего развития человечества? Мы полагаем, что думать так, это значит стоять на ограниченной точке зрения, идейно восходящей к «европеизму» *плохого сорта*, весьма близкого к своеобразному европейскому шовинизму, и совершенно несостоятельной логически. Уже один факт существования азиатских культур в течение

нескольких тысячелетий; факт замечательной архитектуры, ирригационной техники, громадного количества древних изобретений (в *Китае* книгопечатание, бумага, порох и т. д. были изобретены гораздо раньше, чем в Европе), развитой медицины, гипноза, поразительных созданий искусства и интереснейших философских систем говорит против обычно-пренебрежительного отношения к делу. Разумеется, нам отнюдь не нужна какая бы то ни было *мистика* (как индийская, так и европейская, вроде мистики *Якова Беме*, от которого приходил в восторг Гегель, хотя на самом деле здесь – бред одержимого эпилепсией малограмотного и варварски мыслящего человека, которому бесконечно далеко до уточненных проблем философов Индии). Наследовать культуру, это значит ее критически перерабатывать. И было бы просто диким, если бы социализм прошел мимо этого огромного наследства.

Обычная культурная традиция суженного orbis terrarum (19). Это – *Средиземноморская* культурная зона, прежде всего, с Элладой, как центром. Известно, что и *Маркс* (и с полным правом) восхищался эллинской культурой, эллинской философией и эллинским искусством. Однако, все значение Египта, Ассирии, Вавилона, Ирана, хеттской культуры и т. д. и т. п.; культуры Индии, Китая и проч. выяснилось во всем своем (да еще не во всем!) объеме гораздо *позднее*. Все знают «Илиаду» (20) и «Одиссею» (21), греческих трагиков и философов. А почему не знать великого эпоса индусов? Вавилонского «Гильгамеша» (22)? Китайских и индийских философов? Бесценной, прямо поразительной, египетской скульптуры? Индийской архитектуры? Великих завоеваний арабской науки? Индийской поэтики и законовещения? Наконец, история всех основных цивилизаций, о которых теперь, после многочисленных раскопок уже есть что сказать. Разве она не заслуживает внимания? Но дело не ограничивается давним прошлым: китайские сказки, японская поэзия, современная литература Индии – все это представляет живейший и актуальнейший интерес. Все это тем более, что история азиатских культур прямо и непосредственно стоит в связи с историей многих народов, населяющих азиатские части СССР и Кавказа (ср., например, индийские и иранские влияния в замечательной грузинской поэме *Шота Руставели*). Для среднего буржуазно-европейского сознания Восток, это «экзотика» и «мистика», точно так же, как для древних москвитов каждый иностранец был «немец», т. е. *немой*. Но пора, наконец, выходить из детских пеленок «средиземноморской» ориентации и запомнить, что

это был лишь один из уголков, правда, исключительный, человеческого творчества.

Отсюда вытекает своеобразная, исторически определенная, культурная роль СССР.

Только социализм может подойти ко всем этим культурам не как колонизатор и не как искатель мистики и экзотики. И поэтому только социализм может дать синтез «Европы» и «Азии» под углом зрения дальнейшего продвижения вперед, на основе социалистического гуманизма и ориентации на человека при использовании все более могучей власти над внешней природой.

Возвращаемся теперь снова к народам СССР. Культурный подъем среди этих многочисленных народов находит свое выражение и в интересах к собственной истории, многоразличными потоками вливающейся в историю СССР. Совершенно не случайно было указание *т. Сталина* об истории СССР, как *истории народов*. Это выражает собой одну из основных и благороднейших тенденций социалистического развития. Подъем национальных культур, рост краеведения, напряженная работа по изучению социалистической страны, от ее естественных богатств до различнейших форм ее многонациональной и в то же время единой культуры, не может не сказаться благотворнейшим образом на всей последующей истории.

Одно из эмигрантских реакционных течений (т. н. «евразийцы») ставят тоже проблему «Европы» и «Азии». Но они, опираясь отчасти на фашистскую *геополитику* и ее категории, видят объединяющее начало Евразии в господстве *православия*, в «демократическом» (цезаристско-«демократическом») принципе теократической социальной монархии, с изуверским антиевропейским началом. Эти господа опоздали минимум на полстолетия. И если «сова Минервы (23) вылетает только в сумерки», то «сова» евразийцев вылетает уже прямо под утро, когда ясно видно, как *действительная история* решает и эту проблему.

На основе:

- 1) единого, социалистического, способа производства,
- 2) единого общесоюзного хозяйственного и общекультурного плана,
- 3) единой главенствующей идеологии,
- 4) братской помощи отсталым,
- 5) громадного роста национальных культур,
- 6) громадного роста их взаимосвязи,

- 7) государственного и местного самоуправления,
- 8) государственного единства в Союзе,
- 9) стирания граней между классами, –

растет *единый советский народ*, многообразный и единый, как многообразна по своей национальной форме и едина по своему социалистическому существу его подымающаяся, как на дрожжах истории, новая, социалистическая, культура.

СССР показывает всему миру образец межнационального братства и единства. Это – не абстрактный космополитизм утопического рационалиста, который не видит реальных особенностей наций. Это – не своекорыстный космополитизм лозунга: *Ubi bene ibi patria* (24). Это – социалистический интернационализм, создавший в общей героической борьбе и столь же героическом творчестве общее отечество трудящихся, обстроивший его материально и духовно, мощная сила всемирной истории, надежда трудящихся, надежда всех угнетенных народов.

Так социализм, создающий целостного *человека*, создает и целостную *межнациональную культуру*.

???

1937 г.

Служебная записка ² 1477

НАЧАЛЬНИКУ ЧЕТВЕРТОГО ОТДЕЛА ГУГБ НКВД
КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА
г. КУРСКОМУ

Препровождается работа арестованного БУХАРИНА Н. И.
на 9 полулистах – на Ваше распоряжение.
Одновременно препровождаются 3 книги после
прочтения: Стефан Цвейг, А. Лежнев, Шиллер.

ПРИЛОЖЕНИЕ: по тексту. –

Нач. Внутр. Тюремь ГУГБ НКВД
Ст. Лейтенант Гос. Безопасности:
/МИРОНОВ/ /подпись/

Глава V

СОЗДАНИЕ ЦЕЛОСТНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Создание единого советского народа, социалистического народа, в СССР является не только прообразом, но и частичным решением великой проблемы *единого целостного человечества*.

Мы уже в первой части работы видели, что концепция единого человечества, данного с самого начала, неверна, ибо не соответствует исторической действительности. Даже самые крупные объединения древности и Средних Веков – гигантские восточные монархии Кира, или Александра Македонского, или императорского Рима, или Тамерлана, или Карла Великого – захватывали отнюдь не «все человечество», да и были в значительной мере без базиса объединенных тесных производственных отношений – оттого они так быстро разваливались.

Впервые человечество – не как биологический *вид*, а как *социологическое* единство – создано при образовании мирового рынка и *мирового хозяйства*. Это создал капитализм, и процесс этого создания прекрасно обрисован еще в «Коммунистическом Манифесте».

Но капиталистическое «единство» человечества есть единство *сугубо относительное*, туго набитое кровавыми и кричащими противоречиями, единство, неизбежно взрывающееся этими противоречиями и в настоящее время *уже* взорванное, ибо существует налицо две системы: *действительно единое* общество социализма и *распадающаяся* система капитализма. Эта последняя разбита по линии государств, отношения между которыми глубоко антагонистичны; по линии классов, с обостряющимися классовыми противоречиями; по линии наций, борющихся между собой, по линии метрополий и колоний, по линии анализированной выше раздробленности профессий и специальностей и т. д. и т. п.

Тенденция к возрастающему уплотнению *экономических* связей взрывается на противоречиях капиталистического хозяйства, в том

числе на противоречиях, выражающихся в *конкуренции*. Тенденция к росту интернациональной *культуры* взрывается специфически-империалистской идеологией шовинистического мракобесия. И *фашизм* сознательно обостряет в невероятной степени эти контртенденции: он откровенно пишет на своих знаменах: «*война*», со всеми «анти-культурными» последствиями.

К проблеме о действительно едином *человечестве* нужно, как и ко всем общественным проблемам, подходить не с абстрактно-рационалистической точки зрения, а с точки зрения *исторической*. Если посмотреть с этой точки зрения на всю эпоху, начиная с первой мировой войны, то нетрудно будет придти к заключению, как это неоднократно констатировалось, что эта эпоха есть эпоха, вскрывающая в грохоте всемирных событий глубочайшее противоречие между *ростом производительных сил мирового хозяйства* и капиталистической *формой общества*, куда входят и отношения собственности (прежде и раньше всего), т. е. отношения между классами, и *отношения между государствами* (т. е. конкурентные отношения между государственно-организованными группами «международной» буржуазии, что тоже непосредственно связано с отношениями собственности) и т. д. *Государственные границы стали оковами для дальнейшего развития производительных сил*. И империализм, в особенности *фашистский империализм*, думает «решить» это противоречие подчинением всех наций *одному* государству и *одной* нации в ряде диких истребительных войн, точно так же, как противоречия между классами он думает подавить беспощадным истреблением мыслящего авангарда рабочих и превращением всего пролетариата в касту безропотных париев.

Разумеется, это не есть решение объективной, *вполне назревшей, исторической задачи*. Наоборот: это есть попытка набить новые колодки на тело общества, связать его еще больше, даже ценой угрозы гибели всей культуры в бесконечных, воспроизводимых на все новой технической основе, войнах.

А объективно-историческая задача действительного объединения человечества остается во всей своей силе, и – *в противоположность всем предыдущим эпохам истории* – налицо имеются материальные предпосылки ее решения: могучие (технические и людские) *производительные силы*, как фундамент единого человечества, и *революционные массы*, под водительством многомиллионного

пролетариата, как активный революционно-преобразующий фактор переворота, «революционной практики».

Поэтому задача социалистического объединения человечества есть не только субъективный идеал мыслителей и даже не только субъективная коллективная цель революционных масс, но и объективная историческая задача, объективная *историческая необходимость*, сознательно выражаемая и осуществляемая коммунистическим движением пролетариата.

Победа СССР, его рост, его беспрерывно увеличивающаяся мощь есть *выражение* этого факта. Победа пролетариата в очень отсталой стране и превращение этой отсталой страны в мощную передовую страну социализма в немалой степени объясняются и рядом международных обстоятельств: революционным кризисом в Европе и Азии, колониальными брожениями, несогласием и грызней в стране империалистических противников дикими программами и практикой интервентов и белых, расшатанностью всей капиталистической системы в целом, широкими антивоенными настроениями среди масс и их симпатиями к строительству социализма в СССР, кризисом «духовной культуры» капитализма и проч. Но все эти – и многие другие – факторы и являются показателями *объективной необходимости* социализма. Ряд исторических «случайностей», которые были не раз на протяжении двадцати лет борьбы за социализм в СССР (когда история особенно «ворожила большевикам») есть не что иное, как проявление этой *необходимости*. Поэтому нет более нелепой истории, как считать СССР «зигзагом истории». Наоборот, зигзагами истории являются факторы, задерживающие общую и повсеместную победу социализма. Ибо кристаллизация новых, социалистических, отношений не только началась, но уже громадные территории и географического и исторического пространства заняты упрочившимся, консолидировавшимся, окрепшим и возмужавшим *социализмом*.

Но отсюда вытекает совершенно особый тон, совершенно специфическая историческая окраска лозунга *объединения человечества*: он опирается на историческую необходимость, на материальную силу масс, на уже имеющийся богатый опыт СССР. Это – *особая* историческая конstellация, и недопустимо к *ней* прикладывать мерки времен «рах гомана» или «эллинистического периода», времен космополитизма *стоиков* или *первых христиан* («несть эллин ни иудей»), даже мечтаний *Канта* о «всеобщем мире». Новые времена – новые птицы; новые птицы – новые песни.

В связи с этим стоит и вопрос о правомерности употребления самого термина «человечество», «интересы человечества» и т. д. Известно, как в прошлом злоупотребляли подобной фразеологией, которой замазывали специфические интересы, роль и значение *пролетариата*, как основной силы *пролетарской* революции. И сейчас необходимо неустанно подчеркивать классовый характер и значение борьбы. Но теперь уже ясно определилась всемирно-историческая роль пролетариата и с точки зрения судеб всего человечества, т. е. тот факт, что особые и специфические интересы пролетариата *совпадают* с интересами общечеловеческого развития. И, с другой стороны: *так как СССР есть оплот международного пролетарского движения и кусок нового человечества, то интересы международного пролетариата и интересы «всего прогрессивного человечества» совпадают с интересами СССР.*

Именно этого факта не желают понять (притворяются, что не желают понять) меднолобые враги СССР, толкующие на базарах контрреволюционной идеологии о «национальной ограниченности» в политике великого пролетарского государства.

Ограниченный кругозор буржуазной идеологии, который в фашизме сузился до варварской формы, приводит к положению, что *война* есть неизбежный «закон природы», вечный, неизменный, абсолютный. Но мы теперь не только теоретически, но и *практически*, на опыте, видим и знаем, насколько вздорна эта над историческая теория. В пределах СССР есть много наций и много государств. Но они объединены тесной дружбой. И не трудно видеть, что:

1) *интересы* трудящихся разных наций не антагонистичны: здесь нет места конкуренции, а есть место кооперации, сотрудничеству;

2) в ходе *борьбы* за *существование* власти трудящихся интересы победы над капиталистическими классами властно требовали *объединения*;

3) в ходе великого строительства интересы преодоления его трудностей точно так же требовали *объединения*;

4) интересы обороны от внешних врагов с такой же настойчивостью требуют объединения. А это есть модель для еще более широкой, т. е. всемирной, постановки вопроса о социализме.

Следовательно, и логически, и эмпирически доказан тезис о дружески-мирном характере межнациональных отношений при

социализме в его *мировом* объеме, что бы ни кричали любомудры и филистеры фашистского лагеря и их подпевалы.

Но здесь можно поставить вот какой вопрос: каким образом, если государственные границы есть *тормоз* развития производительных сил, СССР эти границы утверждает? Более того, каким образом СССР имеет даже внутренние границы между государствами, входящими в его собственный состав? Не есть ли это выражение в *границах* национальной *ограниченности* и воспроизводство тех самых отношений, из-за которых рушится капитализм?

Вопрос этот разрешается крайне просто, если только подходить и к нему с единственно-правильной, *исторической*, точки зрения. Ибо не нужно большого ума, чтобы сообразить, что в переходную эпоху *борьбы* с капиталистическим окружением границы нужны для преодоления границ, как пролетарская диктатура – для преодоления всякого государства; как Красная армия для преодоления, в конечном счете, всяких армий; как оборона социалистического государства для преодоления всяких «оборон» и всяких войн вообще; как классовая борьба – для конечного преодоления классов. Именно такова диалектика исторического процесса. Что касается границ *внутри* СССР, то они выражают самостоятельность и самоуправление разных наций, что преодолевает остатки национального недоверия, а, с другой стороны, эти границы имеют чисто административное значение, ни капли не мешая выполнению единого общесоюзного плана работы.

Объединение всего человечества, по существу *создание целостного человечества*, есть величайшая задача, которая когда-либо стояла перед людьми, благороднейшая и самая возвышенная из задач. И решает ее *только социализм*. За осуществление этой высочайшей задачи жертвуют жизнью в поистине героической борьбе тысячи и тысячи замечательных людей, мужественных и смелых бойцов революции. Но все гнилое лицемерие буржуазного общества сказывается в том, что *этой* борьбе его идеология отказывает в признании: она считает ее «низменной», тогда как идеал какому-нибудь рабовладельчески-аристократического «Государства» Платона подымается, несмотря на его рабский и ограниченно-провинциально-партикулярный характер, на пьедестал «возвышенного».

Социалистическое человечество обретает в новом строе *впервые* себя, как *человечество*, и при том со всех точек зрения: и как *самоцель*, и как *объединенное* человечество, и как человечество

целостное, и как человечество *развивающееся*. Оно освобождает себя и от материальных, и от *духовных* оков, от фетишей старого мира, в том числе и от религии, которую, вопреки идеологам буржуазии, отнюдь нельзя считать конститутивным признаком *всякой* «духовной культуры» и *всякой* «духовности». В «Критике Гегелевской философии права» Маркс блестяще писал о религии:

«Основа религиозной критики есть та, что человек делает религию, а не религия человека. И к тому же (*und zwar*), религия есть самосознание и самочувствие такого человека, который еще не приобрел или уже опять потерял самого себя. Но человек вовсе не есть абстрактное существо, парящее вне мира. Человек, это – мир человека, государство, общество. Это государство, это общество создают религию, это извращенное мирозерцание, потому что оно само составляет извращенный мир. Религия есть общая теория этого мира, его энциклопедический компендиум, его логика в популярной форме, его спиритуалистическая *point d'honneur*, его энтузиазм, его нравственная санкция, всеобщая основа его утешения и оправдания. Она есть фантастическое осуществление человеческой сущности, потому что человеческая сущность не имеет никакого действительного осуществления. Поэтому борьба против религии есть непосредственная борьба против того мира, духовным ароматом которого является религия. Религия есть не более, как мнимое солнце, которое лишь до тех пор вращается вокруг человека, пока он не научился вращаться вокруг самого себя».

Нет ничего мудреного поэтому в том, что духовная культура социализма *ирелигиозна*. Но от этого она ни в малой степени не перестает существовать и развиваться в культуру, неизмеримо более богатую, чем духовная культура капитализма.

Объединение человечества создает неслыханно-мощную основу для развития *производительных сил* и для развития техники. Здесь отпадают решительно *все* пути капитализма, в том числе и границы, и войны. Это означает совершенно иные возможности. Гигантские непроизводительные расходы, связанные с милитаризмом, войнами, конкуренцией, классовый борьбой и т. д. исчезают. Становится возможным бесконечный технический прогресс, рациональное размещение различных производств в мировом масштабе, рациональная электрификация, универсальное применение науки, использование всех быстро растущих могучих сил человеческого гения.

В области *интеллектуальной* это означает стимулирование развития всех наук при исключительном расширении горизонтов. Рост технической основы общества создает и новую основу для роста специфической техники экспериментальных наук. Одна потребность в рациональном научном освоении еще неисследованных или мало исследованных территорий, которые сейчас нередко выключена из исследования или бережно «охраняются» монополистскими группами капитала, ставит новые задачи перед геологией, геофизикой, геохимией, ботаникой, зоологией и т. д. Одна потребность в научной помощи *всем* отсталым нациям мира вызывает потребность в гигантском расширении этнографии, истории, языкознания, истории культур. Одна потребность в упорядочении хотя бы основных регулирующих направлений *экономического* развития требует громаднейшего расширения экономики, статистики, математики. И т. д. Новые, величайшие с *земной* точки зрения, масштабы ориентации во внешнем мире дают соответственно великую основу для расширения интеллектуальных горизонтов по всем направлениям, а высвобождение времени и интенсификация культурного обмена между странами будут ставить и все более *отдаленные* задачи и все более «высокие» проблемы мироздания. *Религиозные* формы будут рассматриваться как объект истории, так же, как нами рассматриваются каменные идола седых времен. Богатство интеллектуальной культуры будет, скорее, расти, освободившись от фетишей и религиозных пут, которые в *боге* ставят *пределы* беспредельному творческому исследованию.

В области *эмоциональной*, поскольку речь идет об отношениях между людьми, социализм, на своей *мировой* ступени, есть культура *всечеловеческого братства*. На данной стадии развития социализм проповедует классовую борьбу и классовую ненависть. Но эта ненависть к врагам социализма сопровождается проповедью братской солидарности трудящихся всех наций и рас; она сама в то же время есть *историческая предпосылка* для всечеловеческой солидарности и любви. Только абстрактно-рационалистический взгляд на эти категории не видит здесь правомерной реальной диалектики. Но культура всечеловеческого братства, которая в «сталинской дружбе народов СССР» уже имеет свою довольно развитую форму и воплощение, ничего общего не имеет ни с каким видом религии. Между тем, нередко смешивают благородство человеческих отношений с религиозной их санкцией. *Энгельс* в свое время справедливо замечал, как остатки идеализма у *Фейербаха*

сказываются в том, что он половую любовь, дружбу, сострадание, самоотвержение и все отношения людей, основанные на взаимной склонности, подводил под якобы необходимую санкцию «новой религии» без бога, ибо де сущность религии – в связи (от *religare* – связывать). Но атеистическая религия есть *contradictio in adjecto*, круглый квадрат, словесная (и не вредная притом) оболочка. Между тем, *фашизм*, особливо тоскующий о «душе» и «духовном», проповедует и осуществляет человеконенавистничество, войну, каннибальство, *материалистический социализм* проповедует и осуществляет братство народов, мир, всечеловеческую солидарность, культуру благороднейших и высочайших отношений между людьми. Научный, диалектический материализм современного коммунизма имеет своим практическим эквивалентом беспримерный идеализм, т. е. готовность на величайший героизм в борьбе за самый высокий идеал, который когда-либо выдвигался человечеством. Между тем, «под материализмом филистер понимает обжорство, пьянство, тщеславие и плотские наслаждения, жадность и скупость, стремление к наживе и биржевые плутни, короче – все те грязные пороки, которым он сам предается втайне. Идеализм означает у него веру в добродетель, любовь ко всему человечеству (пройденная стадия – *Н. Б.*) и вообще «лучший мир», о котором он кричит перед другими и в который сам начинает веровать разве лишь тогда, когда у него болит с похмелья голова, или когда он обанкротится, словом, когда ему приходится переживать неприятные последствия «материалистических» излишеств».

Эта блестящая характеристика *Энгельса* теперь в значительной мере устарела, ибо *фашистская* идеология в громадной степени углубила противоречие между призывами к «духовности» и открытым бестиализмом, ею проповедуемым на всех перекрестках современного мира.

В области *художественно-эстетической* объединение человечества на социалистической основе дает громадное обогащение и содержания и формы. Если вся жизнь и в ее чувственно-материальном, и в ее интеллектуальном, и в ее эмоциональном измерении возрастает и наполняется неизмеримо более богатым содержанием, то это не может не отразиться и на художественном творчестве. *Все* наследство *всего* мира втягивается в культурный оборот. *Все* богатства предметной действительности, *вся* мировая общественная жизнь, *все* ее духовные ароматы, *все* многообразие народов, *вся* героика строительства жизни и культуры, небывалый

рост межчеловеческой солидарности, истинно-человеческой «связи» между людьми, постановка немислимых ранее задач, отпадение мертвящих пут и пошлости, связанной с коммерциализмом, барышничеством, *bellum omnium contra omnes* (25) – разве это не дает новых мощных импульсов художественного изображения? А само создание *нового человека в новом человечестве*. Тот же Энгельс писал об эпохе Ренессанса:

Это был величайший прогрессивный переворот, пережитый до того человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страстности и характеру, по многосторонности и учености... Тогда не было почти ни одного крупного человека, который не совершил бы далеких путешествий, не говорил бы на четырех или пяти языках, не блистал бы в нескольких областях творчества (прекрасно, и именно не только в теоретической, но также и в практической жизни)...; *Леонардо да Винчи* был не только великим художником, но и великим математиком, механиком и инженером, которому обязаны важными открытиями самые разнообразные отрасли физики; *Брехт Дюрер* был художником, гравером, скульптором, архитектором и, кроме того, изобрел систему фортификации... был государственным деятелем, историком, поэтом и кроме того первым достойным упоминания военным писателем нового времени; *Люттер* вычистил не только авгиевы конюшни церкви, но и конюшни немецкого языка, создал современную немецкую прозу и сочинил текст и мелодию того пропитанного чувством победы хорала, который стал марсельезой XVI в. *Люди того времени не стали еще рабами разделения труда, калечащее действие которого мы так часто наблюдаем на их преемниках*. Но что особенно характерно для них, так это то, что они почти все живут всеми интересами своего времени, принимают участие в практической борьбе, становятся на сторону той или иной партии и борются – кто словом и пером, кто мечом, а кто и тем и другим. Отсюда та *полнота и сила характера, которая делает из них цельных людей*. Кабинетные ученые являлись тогда исключением, это либо люди второго и третьего ранга, либо благоразумные филистеры, не желающие обжечь себе пальцев (как Эразм).

Так писал *Энгельс о Возрождении*, где речь шла, ведь, по существу, об одной общественной интеллектуальной *верхушке*. А у нас речь идет о *всечеловеческом коллективе*, и притом на совершенно несравнимо более богатой *материальной и духовной основе*. Выводы ясны сами собой.

Громаднейшей, благодарнейшей и благороднейшей задачей всемирного социализма является поднятие до исторического бытия и до вершин социалистической культуры *всех отсталых народов*, вплоть до так называемых «дикарей». Социализм никак не стоит на точке зрения исторического фатума, который разделяется, например, нашим гениальным критиком *В. Г. Белинским* в его ортодоксально-гегельянский период. *Белинский* писал, следуя западноевропейским образцам:

Одним народам суждена первостепенная роль в человечестве, – и это всемирно-исторические народы; другим суждена просто историческая роль; третьим – и это народы ничтожные и случайные – не суждено никакой роли в истории, кроме разве скоропреходящих и оставшихся без следствий переворотов.

Не «судьба», а конкретные исторические условия вызвали погружение целого ряда «неисторических» народов в историческое небытие. И конкретные условия *социалистического* развития подымут *все* народы на самые высокие ступени развития, сделав их соучастниками строительства новой, социалистической, культуры, как это доказывается теперь эмпирически на примере СССР.

Нельзя согласиться с *Белинским* и тогда, когда он в «благородном увлечении западника» (*Плеханов*) писал:

Все великое, благородное, человеческое, духовное взшло, выросло, расцвело пышным цветом и принесло роскошные плоды на европейской почве. Разнообразие жизни, благородные отношения полов, утонченность нравов, искусство, наука, порабощение бессознательных сил природы, победа над материей, торжество духа, уважение к человеческой личности, святость человеческого права, словом, все, во имя чего гордится человек своим человеческим достоинством, через что считает он себя владыкой всего мира, возлюбленным сыном и причастником благодати Божией, – все это есть результат развития европейской жизни. Все человеческое есть европейское, и все европейское – человеческое.

Мы уже видели, что этот европейский пафос раннего Белинского ровно ни на чем не основан и является крайним преувеличением, которое становится в особенно кричащее противоречие с фактами в наше время, время упадка капитализма и европейского *фашистского* мракобесия, все формы жизни которого бьют в лицо поэтической песни «Неистового Виссариона». Его постановка вопроса, имевшая

зерно рационального в *его* время (борьба с «азиатчиной» в России), теперь устарела решительно со всех точек зрения. Ибо, как справедливо замечает *А. Лежнев*, «западничество выветрилось и обречено быть не более, чем стилистической модой. Великое когда-то слово, несшее на себе гигантский груз содержания, теперь почти ничего не весит. Оно лишь отголосок буржуазной красоты и буржуазного изыска. Нет, не западничество, а *интернационализм* – вот что нам нужно. Это – разные вещи. Не только потому, что различен охват культурного круга, но и оттого, что само отношение к культуре иное. Там – литературная игра, любование, экзотика. Здесь – братское внимание, серьезность, обмен ценностями, сближение культур с тем, чтобы из их сплава выросла новая, единая по содержанию и типу».

Если мы перейдем теперь к вопросу о разграничении ныне существующих больших культурных зон, то мы можем различать:

1) социалистическую культуру СССР, молодую, но быстро растущую;

2) капиталистическую культуру остальных $\frac{5}{6}$ земли, с подразделениями ее на а) европейскую культуру, б) культуру Соединенных Штатов («американизм»), в) культуру Азии (Индии и Китая) и г) разнородные смешанные типы (Япония, Ю. Америка, Африка, Австралия). О социалистической культуре СССР у нас речь уже шла. Здесь мы хотим сказать, прежде всего, несколько слов о различиях между *Западной Европой* и Америкой (т. е. *Соед. Штатами*).

Западно-европейская культура отличается (или отличалась до последнего времени) от культуры *Соединенных Штатов* тем, что в последних царствовал т. н. «американизм». Коротко говоря: культура Соединенных Штатов более технична, предметна, узко утилитарна. Культура Европы более «духовна». Или, в марксистских терминах: роль идеологических надстроек в Европе более глубока и значительна, чем в Америке.

Однако, это только первое приближение. Необходимо раскрыть более подробно и самое содержание этого отличия, и его исторические корни, и его историческую динамику.

Соединенные Штаты развивались, не имея за собой большого груза феодализма; они грабили индейские «свободные» земли, не платили дани феодальному землевладению. Отсюда – гораздо более высокие уровни заработной платы, гораздо большие стимулы технического прогресса, гораздо более быстрые темпы развития.

Подбор людей здесь был тоже особенный: сюда хлынули энергичные, волевые, авантюристские элементы, которым Европа была «тесна» без гербов и без традиций. Понятно поэтому, что и роль феодальных *идеологий* (т. е. феодального идеологического наследства) была минимальной по сравнению с теологической культурой европейского средневековья. Вся жизнь шла на ярко капиталистической основе, с возможностью для гораздо большего числа, чем в Европе, выбиваться «в люди» в волчьей борьбе. Отсюда – невероятный практицизм и узкий утилитаризм (*time is money*) (27). Соед. Штаты (за исключением гражданской войны) между Севером и Югом) не знали – относительно, по сравнению с Европой – до последнего времени крупных общественных потрясений. Их идеология поэтому уходила в резко практически окрашенную экспериментальную науку и отнюдь не погружалась в глубины общественных дисциплин и в «конечные вопросы» бытия. Их господствующие классы всецело поглощены были лихорадкой голого стяжательства, а для овладения массами были под рукой гигантские тиражи желтых газет. Даже религия выработала себе здесь дополнение в виде уличных религиозных шарлатанов и пророков, пригодных для массового обслуживания. «Духовную культуру» богачи *импортировали*, и музеи Штатов набиты вещественными памятниками этой культуры, свезенными со всех концов мира.

Европейская капиталистическая культура строилась на феодальном основании. И в ее экономике феодальное поместье играет до сего времени (в своей, разумеется, модифицированной форме) большую роль. Европа была, более того, наследницей античного мира. Она развивалась среди огромных общественных кризисов и войн. Она исстари вела колониальную политику и большую мировую торговлю. Все это расширяло кругозоры. Поэтому «духовная культура» была «богаче» в *двойном* смысле: и в смысле *наследства*, и в смысле *«благоприобретенного»*, необходимо возникавшего из более сложных, более «критических» и более многообразных отношений.

На *востоке* (в Азии), как мы видели в предыдущей главе, резко выраженный спиритуалистический характер туземной культуры тесно связан с теократическо-феодально-кастовым строением общества. Это – в пределах современного капитализма – другой *полюс* по отношению к Соединенным Штатам.

Однако, необходимо заметить, что за самое последнее время положение в Соединенных Штатах *резко изменилось*. Глубокий кризис охватывал и эту бывшую страну «процветания». Поэтому и

здесь стали различные коренные вопросы бытия. Америка сперва пережила ряд модных увлечений (напр., фрейдизмом), но она выставила и свои собственные идейные течения (например, *технократическое* течение во главе с *Вебленом*, в биологии т. наз. «*бихевиоризм*», сходный с учением *И. Павлова*), она выдвинула ряд своих значительных писателей, она, в лице ее наиболее вдумчивых представителей, стала преодолевать «прагматизм»; наконец, нужно отметить такое небывалое явление, как зарождение среди части американской интеллигенции сугубого интереса к марксизму. За последние годы литература (в широком смысле слова) в Соед. Штатах гигантски обогатилась, ибо идет *великая идейная разборка*, связанная с критическим положением всего капиталистического общества и с возрастающей ролью СССР. В сфере *экономики* господствующие классы выступают с попытками своеобразного демократизированного «сухого фашизма» («новая эра» президента *Рузвельта*), хотя для многих смысл этого еще не ясен. Американская литература об утопиях «планового капитализма» чрезвычайно выросла. Критика и самокритика капитализма в его нынешней форме, критика быта, семьи, идеологии – заняла большое место. Брожение налицо. И *коммунизм* уже перестал – даже в Америке – быть *quantite negligible* (28), а занял свое место, как растущая общественная сила. Таким образом, можно сказать, что с точки зрения культуры Соединенные Штаты явно «европеизировались». При этом, однако, нам нужно помнить, что сама *Европа* распалась сейчас в культурном отношении на части, и что *фашистская* часть Европы представляет такое культурно-антикультурное новообразование, которое в настоящее время меняет ее материальную и духовную физиономию.

Оригинальнейший симбиоз теократически-окрашенного феодализма с новейшими формами монополистического и государственного капитализма есть основа теперешней культуры *Японии*, с ее чрезвычайно сильными *фашистскими* тенденциями и глубоким внутренним кризисом, с нарастающим недовольством революционных масс. Здесь традиции богатой феодальной культуры эклектически смешаны с современной техникой и экспериментальной наукой, причем общекультурный кризис капитализма обострен добавочными специфически японскими противоречиями.

Если в *СССР* мы уже встретились с громадным многообразием национальных культур, причем *исторически* было необходимо пятиукладный строй превращать в единый строй социализма, то *мировая* проблема социализма ставит еще более гигантские задачи.

Проблема Индии, Китая, Голландской Индии, Африки (от Египта до Южной Африки и Конго) и т. д. представляет такое экономическое, бытовое, этнографическое и культурное многообразие задач, конкретное решение которых трудно заранее предвидеть. Тем более, что различные формы этих решений будут зависеть от конкретных форм исторического преобразовательного процесса. Но *основные принципы* этих решений, теоретически предвиденные еще основоположниками научного коммунизма, разработанные *Лениным* и *Сталиным* и эмпирически доказанные практикой миллионов масс в СССР, ясны. *Опыт* показал, что здесь нет непреодолимых трудностей, и что эта грандиознейшая задача *будет* решена.

Трудно вообразить себе все величайшее значение этого.

Что, например, будет означать *социалистическое возрождение Китая*, на основе могучей помощи блестяще развитой социалистической индустрии других частей мира?

Индустриализация страны, рациональная, технически совершенная *ирригационная система* и *механизация труда* вместе с применением химии уничтожат для сотен миллионов людей рабскую зависимость от природы, от черной «власти земли». Так же, как социалистическая форма хозяйства освободит массы от тяжелой эксплуатации феодала, буржуа, ростовщика, милитариста, государства паразитов. Рациональная *социалистическая культура* освободит их от рабских форм мышления, воззрений и норм, когда феодальные понятия о «генеалогическом древе», «благородных сословиях», презрении к ниже стоящим и т. д. будут разбиты, когда разлетятся в прах конфуцианские правила: «должно идти на то, чтобы переносить клевету, и даже идти под ее преследованиями на смерть, если это полезно для чести государя... И в этом заключается почтительность (хиао)», или: «неподчинение хуже подлого образа мыслей»; когда исчезнет противопоставление народа, как «глупого народа» (yunmin) – «джентльмену» («человеку-князю»); когда великий китайский народ, освободившись от криптограмм своей «китайской грамоты» и перейдя к современным формам письменности, вновь подымет свои тысячелетние культурные традиции и сольет их с мощным потоком европейской социалистической культуры. Все упорство, трудолюбие, память, бесстрашие, весь гений китайского народа, зацветут на новой основе. Только безмозглые фаталисты видят неизбежную гибель всякого «старого» народа. Гибель есть функция исторических условий, равно как и *возрождение* народа. Почти 400-миллионное население Китая сотворит настоящие чудеса в дружной кооперации с

другими социалистическими народами. Это в высочайшей степени изменит лик мира, ибо это – четверть всего населения земли.

То же нужно сказать и об *Индии*, руины блестящей древней культуры которой заросли непроходимыми лесами и стали приютом обезьян под цивилизующей рукой английской метрополии. Вместе с освобождением от империализма падет и кастовый строй, в котором *испражнения* брамина считаются священными, но где «погаными» считаются огромные слои *людей* («судра», парии), к которым нельзя приблизиться на 60 футов, где религия в своем учении о «переселении душ» (samsara) и о «воздаянии» (karma) наказывает за нарушение гнусных правил о кастовом порядке, где действительные достижения древней культуры скрыты от масс или поросли мхом забвения, а действуют реакционные стороны «самобытности», и где *социализму* суждено возродить *трехсотмиллионный* народ со всеми скрытыми силами его творческого гения.

Впервые по-настоящему будут приобщены к культуре народы *черной расы*. Филистеры современной буржуазии, начиная от «прогрессивной» американской, не знают, что когда-то *черные нубийцы* владели всем великим Египтом и имели высоко-развитую культуру, точно так же, как гитлеровские невежды не догадываются о том, что еврейский алфавит («алеф», «без», «гимел», «далет») через греческий («альфа», «бета», «гамма», «дельта») перешел в европейские, и что современный астрономический календарь ведет свою родословную от вавилонян-семитов, как и многое другое, в том числе христианская религия (о последнем они, впрочем, слышали, но не решаются произвести массовой дехристианизации!). Для Америки, Африки, Полинезии – это будет громаднейшее и ни с чем не сравнимое событие. Здесь наиболее ярко вскрывается все значение социалистической формулы: *«без различия рас»*. Пусть фашизм, подобно шекспировскому Ричарду III, провозглашает:

Да не смутят пустые сны наш дух:
 Ведь совесть – слово, созданное трусом,
 Чтоб сильных напугать и остеречь.
 Кулак нам – совесть, и закон нам – меч.
 Сомкнитесь, смело на врага вперед,
 Не в рай, так в ад наш тесный строй войдет.

Фашистская коса найдет на твердый камень социализма. А в «рай» народы войдут именно через ворота последнего. То, о чем мечтали,

что «провидели в смутной дали», что пророчески предсказывали, о чем вздыхали наиболее светлые умы, наиболее горячие и благородные сердца, то совершается на наших глазах. *Дружба народов СССР есть великое начало мирового объединения человечества.*

В свете героической борьбы за эти широчайшие и глубочайшие всемирно-исторические задачи как комично выглядят утверждения наших русских идеалистов 1905 года, утверждения, которые запоздало повторяются теперь современными критиками социализма! Так, например, *Н. Минский* писал:

«Разве вы не видите, что жизненная цель социалиста-рабочего и капиталиста-дэнди – *одна и та же*, что оба они поклоняются предметам потребления и удобствам жизни, оба стремятся к увеличению числа потребляемых предметов?» «Новая общественность не только не создает новой нравственности, но еще дальше увлекает нас в дебри *предметобожания*» (29).

Как посмеялась и как смеется действительная история над этими жалкими антисоциалистическими инвективами! И в каком грандиозном масштабе стоит перед нами очередная историческая задача «рабочего-социалиста»! Есть за что жить и бороться, чтобы победить!

Глава VI

МНОГООБРАЗИЕ В КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ
ОБЩЕСТВЕ И МНОГООБРАЗИЕ В ОБЩЕСТВЕ
СОЦИАЛИЗМА

Многочисленные критики социализма – и социализма in abstracto (30), и конкретного социализма в СССР – выставляют против него аргумент, будто он, социализм, все нивелирует, делает серым и однотонным, уничтожает *многообразие* жизни, ее эстетическое богатство, т. е. по сути дела умерщвляет жизнь.

Это – проблема в высокой степени важная, ее следует поставить и на соответствующие вопросы следует ответить.

Если мы приглядимся к тем примерам, которые приводятся господами критиками, то мы без труда увидим, что речь идет о *таком* любезном их сердцу многообразии, которое вытекает из эксплуататорских основ капитализма. В самом деле, *какое* многообразие уничтожает социализм? Он уничтожает многообразие классов, пожизненных профессий и специальностей, калечащих человека; он уничтожает проклятое многообразие нищеты и богатства, контрасты роскоши и бедности, господства и подчинения, кризисов и процветания, образования и неграмотности; он ликвидирует многообразие работающих и безработных, паразитизма и недопотребления, кровавых войн и подлого мира; он стирает «многоцветность» города и деревни, чистоты и грязи, благоухания и вони, здоровья и эпидемий, метрополий и колоний, духовных и светских; он уничтожает многообразие партий, идеологий, многих антагонизмов и соответствующее им многообразие антагонистических *типов* надстроек вообще; он уничтожает деление народов на исторические и неисторические, равноправные и неравноправные; он уничтожает разные формы подлого рабства женщины; он в конце концов уничтожает и фиксированную общественную иерархию (см. *Маркс*: Критика Готской программы). И т. д. и т. п.

Это кажется господам буржуа ужасом и безумием. То ли дело *фашизм*. Он *закрепляет* эту «многоцветность», это «богатство

красок», эту «прекрасную» иерархию ценностей, этот рай (!) с многочисленными деревьями добра и зла!

Социализм может сказать, что он *такое* многообразие действительно уничтожает и уничтожит до конца. Ибо все это есть *подлое многообразие*, означающее *убогость* жизни для миллионов, ее крайнее *однообразие*, при декадентской эстетике многообразия всяческих *fleurs du mal* (31) для буржуазии и ее «элиты». Все мелькающие теперь имена фашистских предшественников и теперешних фашистских кумиров – *Жозеф де Мэстр, Ницше, Леонтьев, Розенберг, Араки* и т. д. – все они за это *рабское* многообразие эксплуататорского общества.

Есть, однако, «многообразие» и многообразие. Есть различные *качественно* многообразия, различные их *типы*, различные *измерения* многообразия, различные виды его отношения к *единству*.

Постараемся взглянуть на то, каковы неизбежные тенденции исторического развития социализма под *этим* углом зрения, углом зрения многообразия, считая исчерпанным вопрос о ликвидации эксплуататорских типов многообразия.

Непосредственное *природное* окружение (*земное*) человека социалистического общества, несомненно, будет давать гораздо более многообразные впечатления, потому что *orbis terrarum* каждого расширится до *планетарных* горизонтов. В капиталистическом обществе *масса горожан* вообще не знает природы и не может отличить ветлы от осины, ястреба от сокола, карася от окуня и на всю природу смотрит нередко с точки зрения насморка и простуды или – в случае «тоски по природе» – с точки зрения абстрактных и художочных иллюзий бессильного сентиментализма. С другой стороны, *масса деревенских жителей* не выходит в своих представлениях о природе за пределы деревенской околицы или, в лучшем случае, соседнего провинциального городка. Следовательно, *природа* выступает перед огромнейшим большинством капиталистического населения лишь в своей дробно-частичной определенности, своими незначительными (и потому не могущими доставлять никакого многообразия) кусками. Лишь американские миллионеры и английские лорды могут путешествовать, спасаясь от скуки, по всему лицу земли, предаваясь наслаждениям «природы и охоты». Масса капиталистического человечества, для которого подневольный труд заполняет почти всю жизнь, за исключением сна, привязана этим пожизненным разделением труда к определенной территории: штандарт производства, рабочее место в широком

смысле слова, «*locus standi*» (32), и есть в основном та часть «внешней природы» или «территории», которая входит в сферу жизненного опыта (исключение здесь – подвижные «территории»: такова, например, специальность матросов, но и тут сфера опыта ограничивается, главным образом, кабаками и публичными домами портовых городов). Совершенно иная тенденция *социалистического* развития. Условия жизни, мировой интенсивнейший культурный обмен, единство человечества, *досуг*, уничтожение разделения *труда*, физкультура и массовый *туризм* и т. д. вводят все большее многообразие *природы и ее богатств* (утилитарных и эстетических) в сферу опыта все большего количества людей. Эту тенденцию мы видим воочию уже в пределах СССР. Участники многочисленных геологических и др. экспедиций, полярники, альпинисты, участники различных «пробегов», колхозники и рабочие, отдыхающие в Крыму и на Кавказе, работники-организаторы, перебрасываемые с Крайнего Юга на крайний Север и с Запада на Восток, трактористы и комбайнеры, летчики, пионеры-работники, осваивающие новые земли и т. д., – все это *массовые* явления. Сравните, что было в прошлом: сколько «мужиков» московской «губернии» видело раньше снеговые горы, ледники, море? Таких не было. Сколько рабочих Петербурга знало о гигантских «пиках» Тянь-Шаня или Алтайского хребта? А, ведь, мы еще живем только двадцать лет, из которых многие годы ушли на борьбу с интервенцией и белыми и на добывание элементарного «хлеба насущного» после великого разоренья. Но если верно то, что основными тенденциями исторического развития социализма являются повышение производительности труда, образование досуга, уничтожение пожизненной прикреплённости к определенному виду работы и т. д., то отсюда с непреложностью вытекает тенденция ко *все большему многообразию природы для человека* (а не природы «в себе», которая индифферентна и «равнодушна» к стоящей перед нами проблеме культуры).

Но на это можно возразить, что возрастающее господство человека в то же время уничтожает *объективное многообразие самой природы*. Проф. Теодор Лессинг в цитированной нами работе дает яркое изображение хищническо-истребительной роли человека, который уничтожил уже громадное число прекрасных видов животных и убил многообразное великолепие этих видов, который хищнически обезлесил громадные территории, отнял у них влагу, превратил живое в мертвое. Все это *наполовину* верно. Наполовину, ибо не учитывает *многообразия*, созданного человеком (например, новые,

«искусственно» полученные виды животных и особенно растений, практику лесонасаждения, орошения безводных местностей и т. д.). Но *другая* половина, верная по существу, вовсе не обязательна в условиях социалистического, т. е. рационального в его *общественном* масштабе, хозяйства. *Капитализм* хищнически обращается с природой (истребление лесов, истребление животных, истребление плодородия почвы, так же, как и хищническое истребление колониальных народов или хищническое потребление рабочей силы пролетариев). *Социализм* на определенной ступени своего исторического развития поставит своей сознательной задачей и *обогащение природы и природного многообразия*, как одного из важных условий развития *целостного человека*. Заповедники, лесоразведение, рациональное лесное и водное хозяйство, озеленение городов, охрана животных и растений, социалистически-культурное отношение к природе, как великому источнику биологической жизни, здоровья, художественного наслаждения – все это займет свое место в общей культуре социализма. В нашей *Кабарде* (33), с ее самым передовым в СССР колхозно-совхозным хозяйством, со строительством электростанций и агро-городов, с максимумом механизации мы видим рациональную охрану природы во всем ее богатстве и разнообразии. Итак, *социализм* означает возрастание многообразия природы в непосредственном массовом опыте человека, т. е. в человеческой жизни вообще.

В области *искусственного предметного мира* тенденция к многообразию неоспорима. *Средства производства*, при монистической тенденции к универсальной электрификации, становятся все более разнообразными... и... «умными». *Средства научной техники* бесконечно дифференцируются. *Средства потребления* возрастают, как мы подробно об этом уже говорили в другой связи, чрезвычайно быстро и в количественном отношении, и в отношении качественного многообразия, хотя весь процесс потребления отнюдь не носит того утонченно-паразитического характера, как в известном романе французского автора: «Наоборот» (34). Следовательно, и производственная аппаратура, т. е. средства творческого наслаждения трудом, и средства чувственно-материального наслаждения, возрастают неизмеримо по сравнению со всеми предыдущими фазами всемирно-исторического развития. Рост многообразия здесь настолько неоспорим, что мы можем дальше не останавливаться на этой теме.

Многообразие предметов *теоретического овладения*, многообразие интеллектуальных задач тоже возрастает в огромной степени, все время повышаясь по своему типу. Ведь, уже ориентация на *планете* неизмеримо расширяет поле зрения, а грандиозные практические задачи всемирного строительства требуют адекватной великой науки, ее непрерывного прогресса и обогащения, т. е. рост многообразных задач и соответствующих решений. Но чем более мощной будет производительность общественного труда и власть над природой, тем больше будет расти потребность постановки *дальних* задач науки, т. е. самой широкой ориентации в *космосе вообще*. Не только глубинное подводное плавание и стратоплан, но и проблемы межпланетного сообщения. Не только вопрос о синтезе белка, но и вопрос о бессмертной жизни, даже вопреки энгельсовской формуле: «жить – это значит

умирать». Не только использование известных нам видов энергии, но и решение проблем внутриатомной энергии. Никаких остановок – «хорошая» бесконечность! Разве не ясно, что не подлежит сомнению рост *многообразия* и в этой сфере, в сфере интеллектуального творчества? И разве здесь нет *своей* эстетики, эстетики бесконечных количественно и качественно форм бытия, вскрытия их связей и закономерностей, эстетики творчества и эстетики «изящных» решений, прекрасных теорий, объединяющих в стройное целое множество частных решений? «Подобно тому, как Фурье есть а mathematical роет и все же полезен, так Гегель есть а dialectical роет» – гласит замечательный афоризм *Фридриха Энгельса*. Интеллектуальное творчество имеет и свою эстетическую сторону, а его многообразие – соответствующее многообразие эстетических ценностей даже в этих пределах. Господа Леонтьевы, восторгающиеся многообразием господ и рабов и «живописностью» турецкого гарема и русской крепостнической усадьбы, суть *варвары каменного века* по сравнению с социалистическим человеком, перед которым – все блага земли, им покоренные, все растущие виды творческих – чувственных и духовных – наслаждений, все беспредельное богатство природы, от изумительных чудес подводного и подземного царства до спектров отдаленнейших светил, от траекторий электронов до путей громадных звездных островов, от своего ближайшего дружеского кружка до всечеловеческого и всемирного единства социализма.

Но и *художество* в собственном смысле слова необычайно вырастет в смысле своего *многообразия*, ибо в огромной степени возрастает богатство и многообразие самой *жизненной сферы*. Капиталистическое искусство потому выродилось, что

капиталистическое разделение труда *сузило* до последних пределов жизненную сферу художника, ограничив ее, по правилу, мансардой, кабачком и неизбежными «amis» (35). Наиболее целостное и богатое искусство буржуазии – это непревзойденное искусство Ренессанса, с его еще цельными личностями и богатой сферой жизни «элиты». Социализм не только восстанавливает многообразие жизни, но впервые создает это многообразие для масс, на неизмеримо более богатой основе и с неограниченными возможностями *дальнейшего развития*.

Компенсируя односторонность разделения труда, а потом, преодолевая и уничтожая ее в процессе своего развития, социализм дает простор *многообразию человеческих наклонностей*. В самом деле, поскольку еще сохраняется известная обязательность труда в *данном* производстве, *уже* появляется сравнительно большое количество досуга, которое является базисом для проявления особых, индивидуальных, наклонностей, желаний, творческих страстей; но и здесь уже с определенного времени выбор профессии свободен, и труд *уже* перерастает в «первейшую жизненную потребность». Затем идет стадия свободного перемещения при обязательности определенного количества рабочего времени. А затем *всякая* принудительность отпадает, и труд превращается в свободное творчество в какой угодно отрасли. На этой почве даже в настоящее время в СССР (когда труд обязателен, как конституционный закон) обнаруживаются все более и более дифференцированные *личные склонности* в сфере производства. То же – в области идеологического творчества. Эта возможность возникла *исторически*: в тяжелые годы приходилось действовать быстро и в массовом порядке взвешивания средних величин: на такие-то работы перебросить столько-то единиц. На более высоком уровне развития стал возможным массовый, но уже *дифференцированный* подход, а дальнейшее развитие социализма и, в особенности, рост все более высоких форм социалистического соревнования сопровождался все более и более массовым выявлением личных склонностей и – в конце концов – личных *талантов*. Не подлежит никакому сомнению, что тенденция к развитию *многообразных* склонностей, темпераментов, страстей, характеров, личностей есть, вопреки мнению филистеров, одна из имманентных социализму тенденций. Но *это* многообразие и *это* неравенство (неравенство склонностей, способностей, страстей, талантов) *ничего общего* не имеет с неравенством классовых обществ и «многообразием» капиталистического варварства. Уничтожение классов есть осуществление равенства в условиях развития, уничтожение экономического неравенства между эксплуататором и

эксплуатируемым. Но неравенство склонностей и многообразие личностей – категории совершенно иного порядка. И это неравенство не носит в себе никакого *антагонистического* начала. Более того, социалистическое общество, вся материальная и духовная культура которого *целостна*, уничтожает взаимное непонимание людей, психологические разрывы между ними такого порядка, когда они становятся абсолютно «чужими» друг другу и «говорят на разных языках» (Кант и кухарка, декадентский поэт и сапожник, специалист по типологии и токарь по металлу, скульптор-экспрессионист и дровосек и т. д. и т. п.). Рост многообразия здесь развивается в рамках общего стиливого единства социалистической культуры.

Отсюда вытекает рост *жизненного многообразия каждого*, т. е. рост *жизненного многообразия для миллионов*. Великое многообразие природы, общества, творческой деятельности, художества раскрывается принципиально для каждого и для миллионов. И это бесит «аристократов» и полицейских капиталистического режима и его фашистских последышей. А что же здесь плохого по существу? Наоборот, это – величайшее достижение человечества. И те *гении*, которые будут в разных областях вырастать на *этой* основе, будут, следовательно, вырастать на основе, гораздо *более высокой*, чем когда-либо ранее. Один из величайших людей человечества, *Гете*, говорил, что он есть «коллективное существо», ибо он в своем творчестве проявил опыт громадного числа своих со-человеков. Но жизнь со-человеков социалистического общества будет бесконечно более богатой и многообразной, и *гении* его будут подыматься на плечах, гораздо более могучих. Если у *Гете*, в противоположность теперешним филистерам капитализма, было это чувство социальной связи, то у гениев социалистического периода человеческой истории не может и возникнуть какой бы то ни было мысли о *противопоставлении* себя своим сотоварищам и современникам. *Тип отношения* будет совершенно иной, ибо исчезнут всякие следы *индивидуализма*.

Существенным моментом социалистического многообразия является то обстоятельство, что это многообразие не является внешним, равнодушным по отношению к человеку, а является многообразием *для человека и в самом человеке*, т. е. является *жизненным многообразием*, полнотой и богатством самого человека. Природа многообразна здесь не только потому, что она многообразна сама по себе: она становится многообразной и для человека, ибо социалистический человек сближается с ней, не будучи прикован

цепями каторжника к одному и тому же рабочему месту. Все объективированные продукты культуры не стоят перед ним, как отчужденная, внешняя и часто непонятная сила, а составляет предмет его собственного бытия и развития. Новые задачи переживаются, как общие живые задачи человеческого творчества.

Александр Блок считал, что кризис гуманизма убьет гуманизм: сейчас я умею только констатировать, что во всем мире прозвучал колокол *антигуманизма*, что мы сейчас стоим под этим знаком, нам уже ясен *кризис гуманизма*; мир омывается, сбрасывая с себя одежды гуманистической цивилизации.... человек весь пришел в движение, весь дух, вся душа, все тело захвачены вихревыми движениями; в этом вихре революций политических и социальных, имеющих космические соответствия (!), формируется новый человек; гуманное животное, *zvon politikov* и т. д. и т. д., перестраивается в *артиста* – беру Вагнеровский термин.

Здесь неверно уже самое противопоставление «гуманного животного» – артисту. Ибо активно-творческое начало, окрашенное эстетически в переживании, может быть – и будет связано именно с более высокой формой социалистического гуманизма, как это вытекает и из всего нашего изложения. Вхождение все более значительных частей природы в жизненный круг человека, подчинение природы человеку, исчезновение общественной стихии и сознательность (рациональность) процесса общественной жизни, сознательное целеполагание для человека, солидарность людей на деле и в мышлении, *очеловечение* природы и общества и есть основа *творческого* («артист») *социалистического гуманизма*.

Мы не касались еще одной, чрезвычайно важной, проблемы многообразия, которая связана с этнографическими особенностями народов, наций и рас. В предыдущих главах мы видели, что социализм их освобождает и способствует *росту* национальных культур, в то же время, синтезируя их в едином типе социалистической по содержанию культуры. Не наступит ли, однако, в каком-то пункте дальнейшего исторического развития, при непрерывном возрастании все более и более тесных взаимосвязей между различными частями мира, *угасание* этого многообразия? Не возникнет ли в конце концов *общий язык*? Не смешаются ли нации и чисто биологически, благодаря половому общению? Не образуется ли, в конце концов, единое человечество и в *этом* смысле? И не будет ли *здесь* ущерба для жизни человечества в смысле его жизненного богатства?

Мы думаем, что рано или поздно наступит и такая эпоха в развитии *коммунистического общества*. Но угасшее многообразие наций компенсируется бесконечно-богатым сочетанием биологических элементов, т. е. многообразием дарований, характеров и темпераментов в этом новом целом. Египетские фараоны женились только на родных сестрах. Гитлеровцы запрещают браки с неарийцами. Но мы хорошо знаем, к каким чудесным комбинациям приводит смешение рас; Пушкин, Жуковский, Дюма, Лафарг служат тому примером. Живые раньше языки станут мертвыми. Но новый общий язык, который когда-нибудь возникнет, будет способствовать величайшему взаимопониманию людей, и это усиление их совокупной мощи отразится на громадном *возрастании* всего жизненного многообразия.

Капиталистическое многообразие *разделяет* людей. Это – нестройный хаос звуков, шумов, визгов. Социалистическое многообразие *объединяет* людей. Это торжественная симфония творчества, хорал, подымающийся с земли к небу. *Коммунизм* развивает величайшее богатство жизни и творческих функций, гигантски расширяет жизненные миры, дает возможность бесконечного развития всех заложенных в людях индивидуальных склонностей, способностей, талантов, гениальности. Совершенно нелепо представлять себе будущего человека, как ходячую бесстрастную счетную машину. Будут *разные* люди, с различными увлечениями и сильными страстями. Трагическое начало жизни не потухнет. Но это будет – «оптимистическая трагедия»: мучение творчества над еще не разрешенными, но принципиально разрешимыми, все более высокими, задачами. Вдохновение – говорил *Пушкин* – нужно не только в поэзии, но и в геометрии. Фантазия – говорил *Ленин* – нужна и в науке. Великое разнообразие задач и жизненных содержаний в обществе, где налицо безграничные возможности развития, есть предпосылка для бесконечного многообразия *самих людей*, в то же время глубоко-связанных друг с другом тесной братской всечеловеческой связью.

Первобытный коммунизм был такой общественной формацией, которая в высокой степени воплощала принцип органической общности, «*Gemeinschaft*» (36). Но это было, по существу, человеческое *стадо*, т. е. нерасчлененное, недифференцированное целое, где из серой сплошности не выделялась еще никакая группа и никакой индивидуум. Здесь было *только* «мы», и никакого многообразия.

Последующие фазы развития (и заканчивавшиеся гибелью рабовладельческих обществ, и перешедшие через феодализм к капитализму) означали общественную дифференциацию, т. е. возникновение и рост многообразия, причем дифференцированные жизненные содержания раскладывались по полочкам дифференцированных общественных групп и, прежде всего, *классов*. Разнообразие занятий, быта, костюмов, идеологий – это было разнообразием *классов* и профессий. Феодализм или жреческая теократия давали образцы *такого* «многообразия», когда, скажем, фараон считался всерьез *сыном бога*, и когда «пафос дистанции» лежал в основе всех жизненных отношений. Идея *ранга* поглощала все, и даже в искусстве «сильные мира» изображались гигантами по сравнению с обыкновенными смертными. Жизнь раба – равнялась нулю. В европейские??? «пафос дистанции», как выражение феодального мракобесия, «проникал собою всю общественную жизнь: «древность рода», «генеалогическое древо», общение только с «равными», презрение к «черни» и т. д. – есть нормы и символика этого многообразия, точно так же, как, напр., соответствующий костюм. Вот это то «многообразие» и тешит сердца современных фашистских буржуа и их сателлитов. Эта жажда по замкнутому аристократизму, позолоченным гербам, пафосу дистанции, приближению к божеству, иерархической устойчивой лестнице (чтоб ступени ее не гнулись!) и составляет предмет тоски пушечных королей, угольных баронов и аграриев. *Капитализм* в его домонополистической фазе создал великое разнообразие предметного мира, великое многообразие раздробленных и однобоко искалеченных людей при великом разнообразии своих собственных *противоречий*. Таким образом, многообразие *классов* здесь получило специфическую форму. Противоречия капитализма привели к его кризису и к фашистским попыткам уложить капиталистическое многообразие в железные латы феодализированных форм. Но, что неизмеримо важнее, они привели к *рождению социализма*.

Социализм, перерастающий в коммунизм, ликвидирует эксплуататорские формы многообразия вообще. Но он отнюдь не означает возвращения к первобытному коммунизму.

Марксизм ни в коей мере не идеализирует этого последнего и не рассматривает его как минувший «золотой век». Теперешний коммунизм покоится на *всех завоеваниях* техники и культуры. И по своей структуре он есть не возвращение к недифференцированной сплошности, а создание дифференцированного, т. е. в высокой

степени *многообразного*, целого, т. е. расчлененной общности, но *действительной* общности, и притом общности, основанной не на «*крови*», и, наконец, общности совершенно *иных масштабов*. В этом отношении опять-таки в высокой степени интересен опыт СССР, где социалистическое преобразование общества охватило и рудименты *родового строя* с остатками первобытного коммунизма. Его основы оказались подорванными, ибо новые условия были связаны с одновременным *ростом личности*, с которым никак не мирилась ни кровная месть, ни дедовские предания, ни дедовская техника, ни узость горизонта.

Таким образом, диалектика истории большого порядка идет от «*Gemeinschaft*» через классовые общества к *новой* «*Gemeinschaft*»; но коммунизм нашего времени опирается на все завоевания истории, и *новая* «*Gemeinschaft*», разрешая противоречия капитализма, с огромной силой движет развитие человечества *вперед*.

Внутренняя тюрьма Г.У.Г.Б. Н.К.В.Д.

31 марта 1937 г.

Служебная записка ² 1550

НАЧАЛЬНИКУ ЧЕТВЕРТОГО ОТДЕЛА ГУГБ НКВД
КОМИССАРУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА
тов. КУРСКОМУ

Препровождаются работы арестованного БУХАРИНА Н.
И., числящегося за IV Отделом ГУГБ, на 9-ти
полулистах, – на Ваше распоряжение. – ПРИЛОЖЕНИЕ:
по тексту. –

Нач. Внутр. Тюрьмы ГУГБ НКВД
Ст. Лейтенант Гос. Безопасности:
/МИРОНОВ/

Глава VII

ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА

К числу проблем, которые особенно горячо дебатировались в кругах западно-европейской и американской интеллигенции, принадлежит вопрос о личности и обществе. Интерес к этому вопросу наблюдался не раз в эпохи крупных общественных кризисов, когда старые и, казалось бы, устойчивые (чуть ли не вечные) нормы поведения теряют характер общезначимых и общепризнанных, когда они рвутся, и когда начинаются поиски каких-то новых ориентации.

С логической стороны нужно ранее всего отметить, что обычно этот вопрос ставится в своей пустой и крайне абстрактной форме, ибо ставится не исторически, а неисторическая и антиисторическая постановка *и этого* вопроса неизбежно приводит к пустым абстрактным мудрствованиям, «игре в дефиниции», чистой «словесности» и схоластике, которая ни капли не приближает к действительному решению поставленной проблемы.

Что такое, в самом деле, личность, как таковая, «личность вообще»? *Всегда* ли можно о ней говорить? При *каких* условиях и *как* можно о ней говорить? Эти вопросы, как будто излишние, имеют, тем не менее, самое первостепенное значение.

В первобытно-коммунистическом обществе, в человеческом *стаде* или орде, личность вообще *не существует*: ее нет, она не выделилась, нет еще даже понятия «я». Это не значит, разумеется, что не существуют отдельные люди, как биологические «особи», но нет личности, осознавшей себя, как отдельное существо. Здесь, следовательно, самая постановка вопроса о личности разрешается в чистую отрицательность: личности еще нет, она исторически еще не возникла, о ней говорить нельзя, ибо она не есть действительность.

Теоретики XVIII столетия, которые стояли на атомистически математической позиции в представлении об обществе, учение об «общественном договоре» *Ж.-Ж. Руссо*, исходили из того, что отдельные люди для общей пользы соединились в людской *союз*, в «общество». Таким образом, историческим исходным пунктом является здесь индивидуум, рационально договаривающийся с себе подобными о создании общественного целого. Эта концепция наивна не только потому, что делает первобытного человека

калькулирующим дипломатом, но и потому, что в действительности исходным пунктом развития являлось *человеческое стадо*, это действительное *праобщество*. *Не из личностей возникло общество, а из общества и в обществе выделилась личность* – таково историческое развитие.

Я не могу – писатель Лаврову – ... согласиться с Вами, что борьба всех против всех была первой фазой человеческого развития. По моему мнению, общественный инстинкт был одним из важнейших рычагов развития человека из обезьяны. Первые люди, вероятно, жили стадами, и, поскольку мы можем углубиться в глубь веков, мы находим, что так и было(37).

Уже из одного этого ясно видна необходимость *исторической* постановки вопроса.

Пойдем дальше. Возьмем, напр., рабовладельческий строй египетской теократии. Можно ли втиснуть за одну скобку личность фараона, жреца, крупного «владельца», свободного ремесленника, раба? Что *общего* можно сказать об этих «личностях»? *Ничего*, кроме абстрактной пустоты: ибо на одном полюсе «личность», это – божество, на другом – ничто, как личность, ибо она со всех сторон приравнена к вещи. Если же словесно объединить все это, то тотчас же возникает потребность дифференцировать, расчленив, конкретизировать, и тогда получится не однозначный ответ, а *многие* ответы, согласно конкретной исторической ситуации. Следовательно, говорить о «личности вообще» здесь бессмысленно, ибо нельзя получить ответа: самая постановка вопроса неверна, ибо пуста, ибо абстрактна, ибо не исторична, ибо не диалектична. То же *mutatis mutandis* – можно сказать о других классовых обществах, хотя именно *mutatis mutandis*, ибо в разных формах классового общества есть свои специфические особенности и с точки зрения рассматриваемой нами проблемы. В Афинах – культ прекрасной и добродетельной личности, но все, занимающиеся материальным трудом, достойны порицания, рабы – даже по Аристотелю – фактически вне общества. В Риме – раб – *instrumentum vocale*, говорящее орудие, вещь, а частная собственность на эту вещь определяется, как *jus utendi et abutendi*, т. е. право делать с ней, все что угодно. В Индии «пария» – отрицательная величина, «поганый», и объединить личность брамина и личность парии невозможно никакими фокусами логики. И т. д. и т. п.

Капитализм, в противоположность феодализму, где личность каждой группы была звеном этой группы и тонула в ней в той или другой мере, *развязал* «свободного индивидуума», под коим скрывался *свободный товаропроизводитель*, т. е. мелкий, средний и крупный буржуа. Его *личность* с чрезвычайной яркостью выскочила на историческую авансцену. Самый тип общества – анархического, связанного лишь узами обмена, с его конкурентной борьбой – выдвигал эту «свободную личность». В этом отношении ни один из предыдущих фазисов развития не был похож на капитализм. Личность здесь не только отдифференцировалась, не только освободилась от феодальных оков (цеха, гильдии, государственной опеки, церкви), но и *противопоставила себя в жестокой конкуренции другим аналогичным личностям*.

Однако, и здесь мы говорим лишь о личности *буржуа*. А пролетарий? Капитализм создал тут двойную бухгалтерию: провозгласив в своих передовых странах равенство всех перед законом, т. е. превратив и пролетария в «*субъекта права*», в «личность», он в то же время материально превратил его в средство производства, в «издержки производства», в «рабочую силу», в «детального рабочего». В отличие от раба и крепостного рабочий сознает себя, как личность. Но общественное положение *этой* личности диаметрально противоположно положению личности капиталиста. Следовательно, и здесь нельзя говорить о *личности вообще*: для этого нет никаких исторических предпосылок, ибо в классовом обществе есть личности, определяемые *по классу*, а не «вообще».

Мы взяли только самые крупные общественные подразделения: на самом деле вопрос, конечно, еще более сложен: личности суть личности классово-иерархического порядка, специфического для определенного способа производства. Дворецкий говорит у *Гоголя* в «Лакейской»:

В том-то и есть поведенье, что всякий человек должен ~~двигать~~ Коли слуга, так слуга, дворянин, так дворянин; архиерей, так архиерей. А то??? всякий зачал... Я бы сейчас сказал: “Нет, я не дворецкий, а губернатор или там какой-нибудь от инфантерии”. Да ведь за то мне всякий бы сказал: “Нет, врешь, ты дворецкий, а не генерал”, – вот что! “Твоя обязанность смотреть за домом, за поведеньем слуг”, – вот что. “Тебе не то, что бон жур, коман ву франсе, а веди порядок, распоряженье”, – вот что! (ДВ).

Социализм впервые уничтожает лакейский порядок вещей и, в конце концов, *ликвидирует классы*. Но поскольку он в историческом процессе *борьбы* ликвидирует классы и создает целостное общество, постольку он *впервые* создает исторически-реальную предпосылку для самой постановки вопроса о *личности вообще*, ибо: 1) в первобытном коммунизме личность еще не существовала, 2) в классовых обществах, как мы видели, речь могла идти лишь о личности того или иного класса. В *классовых* обществах личность господствующих классов могла расти (в том или ином направлении, определяемом специфической природой данного общества) лишь за счет *подавления* личностей классов поработенных, вплоть до полного уничтожения этой личности (рабы). В *социалистическом* бесклассовом обществе личность растет не за счет других личностей, а, наоборот, этот рост личности в одном круге общества стимулирует рост личности в другом. Здесь нет и в этой сфере антагонизма, а напротив того, есть плодотворное взаимодействие, форсирующее общий процесс культурного подъема.

Бесклассовое социалистическое общество само есть продукт исторического развития и роста социализма после завоевания власти пролетариата. Поэтому не сразу стала возможной такая постановка вопроса. В период непосредственного подавления эксплуататоров-помещиков и капиталистов «личность» последних отнюдь не росла, а росла личность среди рабочих и крестьян, их обогащение опытом, инициатива, организационные навыки, культурность. В период ликвидации кулачества личность кулаков попала тоже под тяжелый пресс пролетарской диктатуры. Но именно эта *победоносная* классовая борьба и создала переход к бесклассовому социалистическому обществу, когда объединилось настолько гигантское большинство народа, что с небольшой оговоркой можно ставить проблему *личности вообще*.

Рост *личности*, индивидуальность, нельзя никоим образом смешивать с ростом *индивидуализма*, что нередко приходится наблюдать в литературе Запада (в частности, это одна из «теоретических» основ ренегатских высказываний *Андре Жида*). Это – настолько важный вопрос, что на нем следует остановиться подробнее и осветить его и «вообще», и на основе конкретной истории СССР.

Рост личности включает:

- 1) момент осознания себя, как личности,

- 2) момент своего внутреннего обогащения, усложнения, культуры, инициативности,
- 3) момент общественного признания личности, как личности (собственное имя, а не номер, цифра, «единица»).

Но этот рост может идти в совершенно различных направлениях, в зависимости от общественной структуры (если мы в классовом обществе говорим о господствующем классе). В капиталистическом обществе личность росла на базе *конкуренции*. В социалистическом обществе – она растет на базе *соревнования*. В капиталистическом обществе – *bellum omnium contra omnes*, «волчий закон борьбы». В социалистическом обществе – *солидарность* работников. В капиталистическом обществе одна личность возвышается на *гибели* другой. В социалистическом обществе рост одной личности *тянет за собой* рост другой. В капиталистическом обществе личности буржуа *давят* личности пролетариев. В социалистическом обществе подымается, с ростом личности, вся масса, вся совокупность этих личностей. И т. д. Поэтому в капиталистическом обществе рост личности среди господствующих классов связан с «эгоизмом», «эготизмом», *индивидуализмом*, т. е. с такими чертами, которые разделяют людей, обособляют один индивидуум от другого, ставят личность против личности, в положение более или менее острого конфликта и психологической враждебности и разобщенности. Наоборот, в социалистическом обществе рост личности вызывает все большую *связь* между соревнующимися людьми, ибо он сопровождается все большим сознанием общего дела, общей цели, общей зависимости совокупного эффекта от степени дружности труда.

Нам могут здесь возразить, что не так обстоит дело с *фашизмом*, ликвидирующим индивидуализм эпохи свободной торговли и свободной конкуренции, о чем мы подробно говорили в первой части работы. Но от этого положение капитализма несколько не улучшается: ибо, *поскольку* фашистский госкапитализм ликвидирует индивидуализм, он ликвидирует не только его, но и *личность* масс, запирая ее в полицейскую казарму всего режима; а, с другой стороны, тот же фашизм разнудывает сверх индивидуализм своей «сверхчеловеческой» «элиты», которая олицетворяет собой «белокурых бестий» своего апостола, предшественника и пророка.

Только *социализм*, следовательно, решает задачу *роста личности на анти-индивидуалистической основе*, где личность непрерывно развивается в коллективе, и где *исчезает противоположность между ее интересами и интересами общественного целого*.

Нам нетрудно, после всего изложенного в предыдущих главах о развитии в СССР, констатировать безусловный и непрерывный, все более ускоряющийся процесс роста личности. В самом деле, если мы опять постараемся сравнить содержание личности рабочего, колхозника, красноармейца с прежним рабочим, крестьянином, солдатом, да еще в разрезе различных национальностей, то без труда увидим гигантский рост личности. Прежний солдат – «серая скотинка»; прежний крестьянин – «сермяжная масса»; прежний рабочий – большей частью – «рабочие руки», безмянные, как средства производства, поскольку процесс революции не стал поднимать их на ноги (этот рост сознательности и, вместе с тем, рост личности был залогом самой возможности переворота, но он имел свои исторические границы). Теперь каждый красноармеец сознает себя, как личность; каждый рабочий в высокой степени обладает чувством личного достоинства; и колхозник тоже не похож на старого «мужика». Это – *во-первых*. *Во-вторых*, сам «внутренний мир», т. е. содержание этих личностей стало несравненно богаче – об этом речь уже шла, и это не нуждается в дальнейших эмпирических доказательствах: культурный рост, инициативность, неизмеримо большая психическая подвижность и т. д. – суть не подлежащий никакому сомнению элементарный факт нашей общественной жизни. *В-третьих*, налицо общественное признание этого факта: не только герои СССР, не только стахановцы и ударники, но все имеют свои «собственные имена», а стахановцы и т. д. – имена, известные *всей стране*. Это – не безвестные и безмянные строители египетских пирамид, вавилонских храмов или готических соборов европейского Средневековья. Это – *известные и славные имена*. Чрезвычайно важно при этом еще раз в *этой* связи подчеркнуть, что процесс выделения личности и ее роста не замыкается в какой-то постоянный *круг одного и того же радиуса*: наоборот, этот радиус все увеличивается, и площадь круга стремится охватить *всю массу*, обстоятельство, все общественное значение которого никак нельзя переоценить.

Этот процесс отнюдь не ограничивается одной сферой материального труда. Он характерен для *всех* областей жизни, и особенно замечателен, если мы обратимся к национальностям, прежде отсталым: сколько имен артистов, поэтов, певцов, художников, педагогов и т. д. стали известными на всю гигантскую страну Советов! И вот этим бесчисленным фактам противопоставляются lamentации «непонятых личностей», lamentации, дающие пищу *А. Жиду* и *К°!* Личность растет у нас в *социалистическом* измерении и

не может (даже если «захочет») расти в *антисоциалистическом* измерении (это не будет допущено, как правило: подробнее в следующей главе о свободе). Но социалистический путь принят всей страной, это путь полутора ста миллионов, где каждая личность и растет именно *благодаря социалистическому* пути. Поэтому вышеупомянутые lamentации не заслуживают серьезного внимания: они не являются аргументом, который хоть сколько-нибудь подрывал бы значение великого преобразовательного процесса в СССР. В пределах же *социалистического* измерения личные склонности и дарования, т. е. *качественная* определенность личности, получает все больше и больше возможностей для своего полного расцвета.

Таким образом, личность у нас *растет в коллективе*. Это положение тоже заслуживает того, чтобы на нем остановиться.

В нашей стране «между» обществом и личностью стоит бесконечное количество *организаций*, которые в своей многообразной Жизнедеятельности и образуют *советскую демократию*: здесь и «lose Organisationen», т. е. текучие и мало оформленные (типа совещаний, конференций и т. д.), и производственные единицы (колхоз), и профсоюзы, и кооперация, и бесчисленные кружки, и научно-технические общества, и спортивные организации, и – last but not least (39) – партийная организация плюс комсомол. «Личность», т. е. гражданин советской страны входит в многие из этих организаций, и в них, и в значительной мере *через* них он растет, как *личность* и как член общего целого, т. е. социалистического общества во всей его совокупности. Эта всеобщая и многоликая организованность есть организованность *социалистического* типа, являющаяся формой *развития*, а не его оковами, формой *роста*, а не тормозом, этот рост связывающим. В колхозе личность колхозника растет, ибо расширяется его кругозор, он становится все активнее, развивается его инициатива, он систематически поощряется всей механикой колхозной жизни. В любом кружке (научном, техническом, спортивном, художественном) личность рабочего, колхозника, красноармейца обогащается, его способности, его индивидуальные склонности, его таланты проявляются для других и для него самого, здесь совершается известный отбор по склонностям и т. д. В партийной и комсомольской организации, роль которых универсальна, наиболее ярко идет этот рост личности, ибо здесь обсуждаются, решаются многообразнейшие проблемы и наиболее активно проводятся в жизнь соответствующие решения. Великую воспитательную роль играют все эти многочисленные организации.

Здесь создается «общественность», неразрывно связанная с «государственностью» и в нее переходящая.

В наше время в Западной Европе, как мы видели, есть течения, поднимающие бунт против всякой организации, против *организации вообще*, как анти-человечной, анти-личной, анти-персональной формы бытия; более того, подымается бунт против всякой «объективации», т. е. против всякого продукта общественного развития. Этот абстрактный (и весьма смирный) бунт против абстрактной организации производится от имени и во имя тоже абстрактной личности, т. е. личности вообще. После нашего анализа видна вся детская убогость и внутренняя пустота такой постановки вопроса. Мы говорили уже о нелепости неисторической трактовки личности. Здесь нужно подчеркнуть нелепость такой постановки вопроса и об организации. Средневековая форма цехов, гильдий и т. д. была на определенной стадии формой развития, а потом стала *оковами* этого развития. Она окостенела, она пришла в противоречие с общественными потребностями, она стала стеснять дальнейшее движение, – и она лопнула. Вся средневековая форма «связанности» (той самой «органичности», «иерархичности» и проч., которой еще недавно восхищались вышеупомянутые «бунтари», вроде *Бердяева*) стала воплощением рутины, косности, «старинны», гнета. – и была сметена. *Социалистическая* организованность есть форма величайшей подвижности, гибкости, роста, развития, непрерывного внутреннего обогащения личности. Бесчисленные советские организации суть бесчисленные лаборатории, где непрерывно рождаются не вагнеровские «гомункулусы», укороченные человечки с укороченными мозгами, а новые люди, творящие новые дела. Эти микропроцессы дают свои результаты и в общественном макрокосмосе. Ибо гигантские результаты строительства, его объемы, его темпы были бы просто немыслимы, *если бы* не рост людей, рост их интеллектуальной и волевой энергии, смелости, инициативы, упорства, т. е. рост их *личностей*. Уже по одному этому *творческому результату* можно судить об изменении интеллектуальных уровней и характеров, которые вырастают на базисе гибкой и подвижной, многоликой и многообразной, универсальной организованности социалистического общества в СССР. Бердяевский бунт против «организации» и «объективации» логически приводит к тому голому человеку, «освобожденному» от всех достижений культуры, о котором мечтал *М. Гершензон* в своей «Переписке из двух углов». Но этот вне общественный субъект должен был бы быть глухонемой тупицей, ибо

уже язык представляет собой «объективацию», и без языка невозможно настоящее образование понятий и мышление. Нужно было бы тогда пятиться назад за стадию даже стадного существования. Однако, тогда снимаются уже *все* «проблемы», ибо здесь потухает всякое сознание. Так «бунт» во имя «личности» приводит к зоологическому *уничтожению* личности. Иначе и не может быть, ибо личность развивается *только* в коллективе, и максимально развивается в коллективе *социалистическом*: во-первых, потому что здесь *впервые* создаются предпосылки для развития личности вообще (ибо *каждый* становится личностью), во-вторых, потому что именно *конкретные особенности* социалистического развития и его организационных форм обеспечивают наиболее быстрый рост ее.

Так доказывается эмпирически бессмысленность абстрактной постановки вопроса об абстрактной личности и абстрактной организации, с одной стороны, и факт роста личности в конкретно-исторической, *социалистической*, организации, с другой.

Личность растет в социалистическом коллективе, и интересы личности совпадают с интересами коллектива, начиная от «прозы» материального труда, который у нас все более сам становится «поэзией», и кончая борьбой за всемирные идеалы человеческого братства. Но нас перебивают аргументы *Бердяевых* и *tutti quanti* (40), выставляя на вид тот непреложный факт, что эта самая борьба за идеалы может сопровождаться даже *физической гибелью* личности. Как же здесь говорить о «совпадении интересов»? Здесь, по заключению новоявленных мудрецов филистерства, личность приносится в жертву Молоху «будущего», «общества», «человечества», которые, как вампиры, высасывают горячую кровь живой человеческой личности... и прочие «страсти мордасти».

Все это, во-первых, не ново (можно найти хотя бы у *Штирнера*). Во-вторых, любопытно отметить, что идеологи, начавшие критику марксизма, как мещанской «философии брюха», пришли к идеологии анти-героического, трусливого, туфельно-халатного идеала: «не тронь меня».

Но разберем дело *по существу*. Когда мы говорим о личности, ее росте и т. д., мы говорим не о *биологической* особи, а о *социологической* категории, с определенным «внутренним содержанием». Мы считаем более высоким типом личности личность внутренне-богатую, целостную, объединяющую интеллект и характер, страстную, героическую. Все эти качества могут вырастать только в *обществе*;

эти качества сами выражают *общественно-полезные* тенденции, и именно поэтому им сопутствует *общественное признание*. Героизм потому и оказывается в венце славы, что он есть проявление *максимума общественного в личном, обогащающего это личное и поднимающего его на вершину общего*. Героизм очень часто связан с риском для личного физического бытия, будь то героизм бойца с людьми-врагами, будь то героизм бойца с злыми стихиями слепой природы. Но готовность идти на этот риск, отвага, смелость, мужественное хладнокровие или беззаветная страсть в достижении поставленной цели и суть проявления «большой души», т. е. большой личности. Отнимите у нее эти качества, и она лишится своего внутреннего богатства: герой, «большая личность» немедленно сморщится до уровня того серого человечка, филистера, мещанина, который только и думает, чтоб его «не потревожили».

Значит, само понятие величины личности измеряется *общественными* масштабами. И те личности являются наиболее богатыми, полноценными, героическими, которые в максимальной степени воплощают это общественное начало, т. е. *основные и перспективные, принципиальные интересы общественного развития*.

Следовательно, и здесь нет противоречия между обществом и личностью. Личность не приносит себя «в жертву» и не ожидает наград и процентов на данный ею обществу «капитал». Но благородная социалистическая личность *органически* борется с беззаветной храбростью за общее дело, как за *свое*: это – не внешняя норма, не мрачный религиозный завет, а внутренняя *потребность*, имманентное свойство «души», качество самой личности, ее жизненная торжественная песнь, апогей ее собственного подъема, ее героическое цветение.

Разумеется, мы берем здесь основные, типические, решающие тенденции развития, которые прокладывают себе путь сквозь остатки старых традиций, навыков, предрассудков, элементов рутины, нравственной узости, рудиментов эгоизма, зависти, своекорыстия, индивидуализма и прочих родимых пятен, имеющих на теле социализма. Но только близорукие, узкие и тупые педанты могут эти *шлаки* исторического процесса принять за его действительную сущность и основной продукт.

И в классовых обществах, и у собственнических классов, были свои «большие личности» и свои герои. *Ахилл* в «Иллиаде», например, был героем феодально-родовой знати. Он предпочел, как известно, славную, но *короткую* жизнь жизни долгой, но бесславной и

обыденной. Так как мы жизненно бесконечно далеки от той исторической эпохи, то Ахилл выступает, как абстрактно-конкретный тип *героя*. Но, если мы, например, возьмем буржуазных героев империалистической войны, то они *никак* не воспринимаются, как герои: ибо социальная суть их «героизма» – *анти-социальна*, она противоречит интересам общественного развития, она враждебна сознанию широчайших масс. Так и с этой стороны сказывается глубочайший критерий оценки.

Особой исторической заслугой социализма в СССР является развитие личности в его азиатских частях. Здесь при «старом режиме» капитализм еще не успел дойти до дна общества. Здесь еще социальное пространство было заполнено в значительной мере феодально-родовыми отношениями. Между тем, именно стадия капитализма развязала «личную инициативу», хотя и в торгашеско-конкурентно-индивидуалистической, «волчьей» ее форме. *Социализм* стал развивать личность впервые, и при том на принципиально другом основании. Однако следует удивляться той быстроте, с которой пошел процесс формирования личности: такова могучая сила общих исторических условий развития. «Судьба, это – *политика*», – говорил *Наполеон* при своей встрече с *Гете*. Политика социалистического пролетариата определила «судьбу» народов СССР, и эта «судьба» оказалась совсем другой «судьбой», чем то, что предсказывали враги пролетарской диктатуры. (Кстати, насколько выше теперешних шарлатанских идеологов фашизма стояли зачинатели буржуазной культуры, видно и из того, как, например, *Френсис Бэкон* относился к излюбленной фашистами идее *судьбы*:

Призраки, которые навязываются разуму словами, бывают двух родов. Одни суть названия несуществующих вещей... другие суть, названия существующих вещей, но неясные... Понятия первого, рода *Судьба*, Первое Движение...

и т. д.

В высокой степени характерной чертой буржуазной идеологии всех оттенков является установление якобы вековечной антитезы между *личностью* и *массой*. Здесь чуть ли не выставляется закон, что развитие массы обратно пропорционально развитию личности. Этот «аристократический» принцип дуализма «личностей» и «черни», «духа и «материи», «героя» и «косной массы» является идейной осью множества построений в самых различных областях «духовной

культуры» и, очевидно, имеет какую-то очень глубокую основу. И здесь мы должны подойти к вопросу исторически и, в конце концов, осветить и эту проблему, опираясь на опыт социалистического развития в СССР.

Самое понятие «массы», взятое из механики и физики, уже включает (*генетически*) понятие инерции, оплошности, пассивности. Оно опирается *исторически* на рабское состояние угнетенных, подавляемых, эксплуатируемых, неграмотных, забытых масс, над которыми царствует «Bildung und Besitz» (41). Личность «господина» есть, разумеется, *антитеза* (классовая, экономическая, политическая, духовная) *массе*. Поэтому у Платона, например, масса, это – многоликое, многоголовое чудовище; у *Мальтуса*, это – тоже чудовище, «самый страшный враг свободы» (!). Тут социальный смысл противопоставления совершенно ясен и не нуждается ни в каких комментариях. Сложнее дело обстоит в том случае, когда налицо антитеза в *одном и том же* социальном кругу: например *Гете* и *его* социальная среда. Здесь гениальная личность, гораздо более дальнзоркая, не умещается в рамках своего круга и, с другой стороны, она не настолько дальнзорка и все же так с ним связана, что не может перейти на точку зрения своего социального антипода. Очень часто и общественные «*низы*» заражены всеми предрассудками господствующих классов, ибо только при определенных исторических условиях класс в «себе» превращается в класс «для себя», т. е. вырабатывает свою собственную идеологию и осознает себя, как класс, со своими особыми, специфическими интересами и вытекающими из них задачами. Тогда *личность*, по своему уровню настолько богатая, что выходит за пределы этих предрассудков, всей среды в целом, противопоставляет себя «обществу» и «массе», как «черни». Но наиболее типичный случай (и эта проблема является самой актуальной) состоит в *наше* время в том, что идеолог-интеллигент, хотя бы и видящий *уже* кризис и безвыходные тупики капиталистической культуры, боится, что масса *понизит культурный уровень*, а то и разрушит накопленные сокровища («мрачные иконоборцы» у *Гейне*; «гунны» – у *Валерия Брюсова* до его коммунистического обращения). Более тонкий вариант состоит в непонимании того, что рост культурного уровня масс не только в ширину, но и в глубину, есть *исторический процесс*, что духовная массовая культура социализма, т. е. гигантская переделка миллионов, требует *времени*: что свое собственное *интенсивное* развитие (т. е. развитие в глубину) социализм *завоевывает*, а не выходит сразу во всем своем блиста-

тельном великолепии; что поэтому, например, такая предпосылка, как всеобщее *высшее* образование, уничтожающее «некомпетентность массы» и антитезу между нею и авангардом, есть *исторический* процесс, в результате которого и масса исчезает, как *масса*. Если здесь такие «личности» выступают *против массы*, то они, тем самым, выступают против возможности роста *миллионов личностей*.

Бывают, наконец, случаи, когда гениальнейшие идеологи *масс* не поняты этими массами (например, *Ленин* в период «добросовестного оборончества масс», когда большинство было за меньшевиками и эсерами). Но из этого временного расхождения *Ленин* не делал вывода против масс, а, наоборот, призывал к неустанной работе среди масс и одержал успех, невиданный еще в истории, предвидя небывалый расцвет *массового творчества*, которому он придавал совершенно исключительное значение.

Философские рассуждения на тему, что нужна, с точки зрения культуры, ориентация на качество, а не на количество, а, следовательно, не на массу, а на «избранных», не на «чернь», а на «личность», не на «толпу», а на «героев» – это просто идеологическое покрывало над непрезентабельной прозой буржуазных интересов. Логически все эти рассуждения не выдерживают ни малейшей критики. Ибо:

- 1) нельзя отрывать качество от количества;
- 2) количественный рост культуры влечет за собой и её качественный рост;
- 3) количественно-качественный рост влечет за собой и новые качества самой культуры в целом, в ее общественном масштабе, ибо создает культуру необычайной сплоченности, внутреннего единства и мощи, какая немыслима в обществе раздробленном, антагонистическом, покоящемся на бескультурии масс.

Таким образом, фальшивый «закон» обратной пропорциональности между ростом личности и подъемом масс, раскрывает себя, как одно из суеверий буржуазного общества, причем социально-классовое значение этого суеверия совершенно ясно и очевидно.

Но есть еще проблема, с точки зрения которой, господа критики социализма унижают культуру масс, хотя эта проблема другими своими сторонами перерастает в проблему стиля и типа «духовной культуры» со стороны ее содержания (о чем у нас уже шла речь). А именно: полагают и предполагают, что массовая культура социализма потому противоречит росту личности, что она, эта культура, глуха и

слепа к «глубочайшим» мистическим прозрениям, что она ирелигиозна, что она *поэтому* не может быть глубока, что она *поэтому* не может порождать «настоящую» личность, на которой обязательно почит дух божий, и которая непосредственно общается с божеством.

Это, действительно, так. Но мы уже говорили, что религиозные глубины суть, по сравнению с глубинами ирелигиозными, каменный век культуры. Этот критерий религиозности есть выражение глубокого упадка, пессимизма, отчаяния. Не так говорила буржуазия на заре своего развития. И вот что на эту тему писал один из ее самых блестящих представителей, Ф. Бэкон:

На втором месте (причин заблуждений *Н.Б.*) предстает причина несомненно *величайшего значения*. Она состоит в том, что на протяжении тех самых времен, когда человеческий разум и научные занятия процветали в наиболее высокой степени, или хотя бы посредственно, естественной философии уделялась самая малая доля человеческих трудов. А между тем именно она должна почитаться великой матерью наук. Ибо все науки и искусства, оторванные от ее ствола, хотя и могут быть обработаны и приспособлены для практики, но совсем не растут. Известно же, что после того, как христианская вера была принята и окрепла, преобладающая часть лучших *людей* посвящала себя теологии. Этому были отданы высшие награды; этому были в изобилии представлены средства вспомоществования всякого рода; это занятие теологией преимущественно и поглотило ту треть или тот период времени, который принадлежит нам, западным европейцам. (Новый Органо, XXIX).

Теперь обскуранты и апологеты Средневековья зовут назад к *теологической* «культуре». Ясно, что герои этой последней не могут произрастать на *социалистической* почве. Такие личности действительно несовместимы с социалистической культурой. Ибо социалистическая культура порождает личность активную, творческую, оптимистическую, с светлым интеллектом и большой волей, с научным мировоззрением, которое принципиально враждебно всякой теологии и всякой мистике. Предоставим мертвым хоронить своих мертвецов, и будем работать над дальнейшим ростом социалистической культуры.

Глава VIII

ПРОБЛЕМА РАВЕНСТВА И ИЕРАРХИЯ

Ближайшее отношение к вопросу о личности и обществе, о типе общественных связей и т. д. при социализме имеет вопрос о *равенстве*. При этом враги социализма (и враги СССР) нападают с двух прямо противоположных позиций, что очень часто бывает, когда вообще плацдарм для нападения никуда не годится. *Во-первых*, утверждают, что социализм стрижет всех людей под одну гребенку, что социалистическое равенство есть равенство одинаковых, лишенных качественного различия, серых людей, средних людей, «крыс», мечтающих о еде, солдат аракчеевских военных поселений, нищевских карикатур на «людей будущего», одинаковых, как одинаковы горошины в мешке. *Во-вторых*, утверждают, что в СССР нет никакого равенства: стахановцы получают гораздо больше, чем обычные рабочие, ставки зарплаты допускают весьма большие различия, жизненные уровни совсем не равны, реальная власть не почит на всех одинаково, общественное признание выделяет своих избранных, есть целая категория новых «знатных людей» и т. д.

Чтобы выяснить все эти вопросы, мы должны, согласно своему основному методологическому требованию, рассмотреть, как и в каком смысле возникло исторически требование равенства, что оно означало, как исторически изменялось его содержание, что оно означает в наше время, и как оно реализуется в СССР. В ходе этого анализа будет дан и ответ «на два фронта», о коих мы упоминали выше. *Древним*, с их рабовладельческими отношениями, с относительной замкнутостью государств и наций, идея равенства всех людей была абсолютно чуждой. *Христианство*, будучи на первых порах религией угнетенных, опираясь на широкие связи тогдашнего культурного круга, впитав в себя многообразные моменты идеологий самых различных наций, выдвинуло космополитическую идею абстрактного равенства всех людей перед богом, что было связано со своеобразной сотериологией (учением о «спасении», о «царстве божием» и т. д.). Это было известной антитезой по отношению к античному воззрению, проводившему строгую грань между свободными и рабами, между эллинами и «варварами» и т. д. Но дифференциация внутри христианства, выделение социально-

мощного клира, стоявшего над обычными мирянами, превращение христианства в религию господствующих классов, т. е. полное перерождение его положило конец реальному содержанию этого понятия, оставив от него лишь некоторую спиритуалистическую оболочку, которая наполнялась потом совершенно различным содержанием. Политическое и социальное (анти-дворянское) содержание в Европе было вложено в эту религиозную оболочку с новой силой во времена великих крестьянских гражданских войн (многочисленные секты, опиравшиеся на «священное писание»: ср. известную песнь: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, где был дворянин?»). Противоречие между ростом капиталистических отношений и феодальной надстройкой вызвало яркие требования «свободы, равенства и братства» (*liberte, egalite, fraternite*), сделавшиеся коренными лозунгами *Французской революции 1789–93 гг.* Здесь абстрактное равенство исторически расшифровывалось как отмена феодальных *привилегий*, как равенство *перед законом*, как формально-юридическое равенство. Наоборот, *пролетариат* под равенством подразумевал *социальное* равенство, т. е. равенство в экономических условиях, т. е. уничтожение *эксплуатации*, т. е. *ликвидацию классов*.

Рабы и люмпен-пролетарии древнего мира не могли формировать *своего* общества, и их первоначальная идеология погибла, не найдя адекватной реализации. *Крестьянские восстания* Средневековья, нанеся жестокие удары феодализму, в то же время не привели к победе крестьянства (а, если бы и привели, то за этим неизбежно начался бы процесс капиталистической дифференциации). *Буржуазия*, опиравшаяся на рост производительных сил, будучи сама классовым носителем более высокого способа производства, *победила*, и ее равенство *реализовалось*: феодальные путы были разбиты, дворянские привилегии отменены, формальное равенство перед законом воплощено более или менее в жизнь. Но развитие противоречий самого капиталистического общества выдвинуло на очередь проблему *социализма* и социалистический *пролетариат*, как носителя еще более высокого способа производства и как массовую революционно-преобразующую силу. Вместе с тем с особой настойчивостью выдвинулось требование экономического равенства, как *ликвидации классов*. Это – известная антитеза буржуазного понятия равенства, которое было формально-юридическим равенством, *скрывавшим* и прятавшим вопиющее неравенство материального характера.

Нужно с самого начала сказать, что пролетарское понятие равенства в экономике ничего общего не имеет с *поравнительной дележкой* имущества господствующих классов, *хотя* в истории рабочего движения и были такие тенденции, отражавшие мелкобуржуазные влияния среди незрелого пролетариата, точно так же, как и тенденции к разгрому машин (английские «луддиты», силезские ткачи и т. д.). Уравнительный раздел имущества (не говоря уже о своей технической неосуществимости по отношению к машинам и крупным агрегатам) превратил бы пролетариев в мелких собственников и начал бы лишь новый цикл капиталистического развития. Наоборот, обобществление средств производства есть базис для нового, более высокого, более производительного, типа общества: здесь реализуется более высокий хозяйственный принцип, и пролетариат побеждает, в конце концов, именно потому, что он является носителем этого более высокого исторически принципа.

Поставим теперь вопрос о равенстве при социализме в ряде существенных для понимания проблемы областей.

Равенство и классы. Здесь, разумеется, может идти речь лишь о преодолении, о *ликвидации* классов. Не о равенстве классов, и не о равноправии их, а об их *преодолении*. Это вытекает из основной задачи социализма, уничтожения эксплуатации и из общественной собственности на средства производства, как основы нового строя жизни. «Таким образом, требование равенства имеет в устах пролетариата двойное значение Или оно... – естественная инстинктивная реакция против вопиющего социального неравенства, против контраста богатых и бедных, господ и рабов, обжор и голодных; как таковое, оно только выражение революционного инстинкта, и в этом – но только в этом – его оправдание. Или же оно – продукт реакции против буржуазного требования равенства, из которого выводятся более или менее правильные, идущие дальше требования; служа тогда агитационным средством, чтобы, пользуясь аргументами капиталистов, поднимать рабочих против капиталистов, оно в этом случае существует одновременно с буржуазным равенством, с которым и гибнет. В обоих случаях реальное содержание пролетарского требования равенства сводится к требованию *уничтожения классов*. Всякое требование равенства, идущее дальше этого, неизбежно приводит к нелепостям» (42).

Равенство и нации. Здесь очень часто смешивают *равенство с равноправием* и требование *выравнивания условий развития* с каким то *абстрактным равенством* наций, хотя, поскольку они существуют,

они предполагают свои качественные особенности, т. е. качественное неравенство. «Ни один социалистический пролетарий или теоретик не захочет допустить абстрактное равенство между собой и бушменом или уроженцем Огненной земли, или хотя бы даже *крестьянином*, или полуфеодальным поденщиком; а как только это будет преодолено хотя бы в Европе, будет преодолена и абстрактная точка зрения равенства. При установлении действительного равенства само это равенство утрачивает всякое значение. Если теперь требуют равенства, то при этом предвосхищается само собой наступающее... умственное и нравственное *выравнивание*» (43). Другими словами, невозможно сказать, что нации *равны*, т. е. качественно одинаковы; невозможно требовать, чтобы они *были* равны, т. е. были, как нации, со всех сторон качественно одинаковы. Но из различия теперешних нравственных и умственных *уровней* нельзя делать вывода о вечности *этих* различий. Наоборот, необходимо *выравнивание условий развития* и вытекающее отсюда выравнивание уровней, при наличии ряда национальных особенностей.

Равенство и пол. Было бы бессмысленным требовать универсального равенства полов, т. е. уничтожения половых отличий со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но одинаковость *общих условий развития* и *право* на них (в экономике, политике, образовании, культурной жизни и общественной жизни вообще) не подлежит сомнению (о праве мы говорим условно исторически, поскольку оно еще существует; в развитом коммунизме отпадают и эти категории).

Равенство и личность. И здесь речь никак не может идти о том, чтобы все люди во всех отношениях были бы одинаковы. Речь идет опять-таки о том, чтобы предоставить все условия для развития, уничтожить привилегии, существование эксплуатации в каком бы то ни было виде. Но когда эти предпосылки полностью осуществляются, то отпадает самое понятие и этого равенства. «Через несколько поколений общественного развития при коммунистическом режиме и при увеличении количества вспомогательных средств люди должны будут дойти до того, что настаивание на равенстве и праве будет казаться столь же смешным, как теперь настаивание на дворянских и тому подобных наследственных привилегиях. Противоположность как по отношению к старому неравенству и к старому положительному праву, так и по отношению к новому переходному праву исчезнет из практики; тому, кто будет настаивать на

педантическом предоставлении ему причитающейся и справедливой доли продуктов, в насмешку выдадут двойную порцию» (44). Другими словами, когда от *социализма* общество перейдет к развитому *коммунизму* и к осуществлению лозунга «каждому по потребностям», требования равенства «оплаты» и т. д. становится вообще бессмысленным. Что же касается равенства личностей в других областях (т. е. уравнение в способностях, характерах, склонностях и т. д.), то оно бессмысленно *вообще*.

Таким образом, мы видим, что требование равенства, поскольку оно имеет рациональное основание и опирается на реальные исторические тенденции развития, раскрывается как требование *уничтожения эксплуатации*, требование *ликвидации классов* и тем самым создания условий *полного развития для всех*.

Отсюда вытекает бессмыслица утверждений, упрекающих социализм и коммунизм в универсально-уравнительно-казарменных тенденциях.

Но как *на деле* осуществляются тенденции к коммунизму?

Здесь необходимо, прежде всего, понять то, что предпосылкой коммунизма является определенная *высота производительных сил*, производительности общественного труда и *изобилие продуктов*, как следствие этого. Следовательно, *главное* в социализме, с экономической точки зрения, это такое развертывание преимуществ нового строя, которое исторически, в развитии, обеспечивает все более высокую производительность общественного труда. Развитие всех *стимулов* (личных, групповых, общественных) *производства* на основе общественной собственности на средства производства есть поэтому чрезвычайно важная задача экономической политики социализма.

Именно с *этой* точки зрения и необходимо рассматривать вопрос о *неравных зарплатах* в СССР. Эти неравные зарплаты соответствуют неравному труду. Если бы «платили» за неравный труд равную зарплату, то был бы подрезан корень прямой заинтересованности в повышении производительности и интенсивности труда. Следовательно, здесь:

- 1) нет *никаких* элементов эксплуатации, ибо оплата пропорциональна трудовому эффекту: большая высота оплаты лучшего работника производится не *за счет* труда других, а за счет *его собственного* труда;
- 2) интересы работника совпадают с интересами всего общественного целого;

- 3) каждый *другой* работник при лучшей работе *может* получать то же, и даже больше;
- 4) создается материальный базис для механики соревнования, которое гонит вверх все производство; 5) в процессе этого повышается и квалификация самого трудящегося и т. д.

Таким образом, *равенство* плат было бы вопиющим *неравенством*, и присвоением *плохо работающими части труда хорошо работающих*; а, с другой стороны, это означало бы *производственный застой*, ибо подрезало бы материальные стимулы развития производительности труда. Но повышение производительности общественного труда есть главнейшая предпосылка уничтожения всяких форм *неравенства в условиях развития*.

Разделение общества на классы... было неизбежным следствием прежнего недостаточного развития производства. Пока совокупность результатов общественного труда едва превышает самые необходимые средства существования, пока труд отнимает все или почти все время громадного большинства общества, до тех пор оно неизбежно делится на классы. Рядом с огромным большинством, исключительно занятым физической работой, образуется класс, освобожденный от прямого производительного труда и заведующий общественными делами: руководством в работе, государственным управлением, правосудием, науками, искусствами и т. д. Следовательно, в основе деления на классы лежит закон разделения труда...

...Уничтожение классов предполагает такую высокую ступень развития производства, на которой присвоение особым общественным классом средств производства и продуктов, – а с ними и политического господства, монополии образования и умственного главенства – не только становится излишним, но и является препятствием экономическому, политическому и умственному разв(45)тию

Господствовавшие прежде классы у нас, в СССР, давно уничтожены. Но у нас еще *не вся* масса поднята на такие уровни, чтобы *уже* исчезла противоположность между умственным и физическим трудом; у нас еще *не все* прошли через среднюю (не говоря уже о *высшей*) школу. У нас еще *не все* сделано, чтобы преодолеть целиком остатки «некомпетентности массы», о которой речь шла во второй главе. Это есть важнейшие и исторически обусловленные моменты неравенства в условиях развития, которые (моменты) должны быть *преодолены*. Но главнейшей и решающей

исторической предпосылкой их преодоления и является такое повышение производительности общественного труда, которое бы обеспечивало и экономические нужды, и соответствующие фонды для *культурного* строительства, в первую очередь, для *нужд образования*. Конечно, процесс образования, всеобщего повышения квалификаций работников, идет не только через школу. Но недаром новая конституция выставляет право на образование, как одно из существеннейших субъективных прав. Вся политика партии и правительства, как мы об этом подробно говорили, направляется к тому, чтобы *вся «масса»* поднялась наверх, чтобы исчезла всякая противоположность между «компетентными» и «некомпетентными», как какими-то слоями или частями совокупного народа. Следовательно, чтобы исчезло и здесь разделение труда (хотя и *не-классовое*) необходимо быстрое развитие производительных сил. а это, в свою очередь, предполагает ту молекулярную механику *стимулов*, о которой шла речь. Таким образом, *неравенство зарплат, будучи равенством по труду, является предпосылкой полной реализации равенства в условиях развития*. Такова реальная диалектика исторического процесса.

Но тут мы подходим одновременно и к другому вопросу, вопросу об *иерархии*, который играет столь крупную роль в фашистской идеологии. Идея *иерархии* есть антитеза идеи *равенства*, а у фашистов она является универсально-космическим принципом, хотя основание его чрезвычайно прозаично: это – укрепление иерархии *классов* капиталистического общества, рассматриваемых, как феодализованные «сословия» (пять сословий г-на *Отмора Шпанна*).

Вопрос о *иерархии* нужно поставить с различных сторон. Прежде всего, следует поставить его с точки зрения *классов*. Есть ли в СССР иерархия *классов*? Такой иерархии классов *нет*, поскольку грани между классами стираются. Такая иерархия *была*, поскольку пролетариат был господствующим классом. *Эта* иерархия – «исчезающий момент», выражаясь языком Гегеля.

Есть ли в СССР иерархия *сословий*? Ее тоже нет, ибо сословие в основе своей есть не что иное, как юридически застывшая форма класса.

Есть ли в СССР вообще *иерархия*? Конечно, есть. Эта иерархия есть в партии, она есть в *госаппарате*, она есть в *армии*, она есть в *профсоюзах*, она есть в *колхозах*, на *фабриках* и т. д. и т. п. Но это *не классовая* иерархия (если отвлечься от еще существующей грани между рабочими и остальными частями народа). Это есть выражение

неравномерной зрелости частей, слоев и т. д. всей массы, это есть выражение еще необходимого на данной стадии развития *разделения труда*. Что это именно так, а не иначе, видно из всей *политики* партии и государства, и из *гибкости* этой иерархии, и из непрерывной *подвижности* ее состава, и из постоянного *пополнения* с «низов», и из всего великого процесса, сближающего умственный труд с физическим и вовлекающего громадные массы народа в управление всеми общественно-государственными делами.

Иерархия классов внутренне противоречива, антагонистична, как антагонистично классовое общество вообще: здесь есть относительное единство, взрываемое своими противоречиями. Полюсы общественной иерархии имеют противоположные интересы, опирающиеся вверху на *собственность* в той или другой форме и фиксированные идеологически. Общественное развитие имеет тенденцию *обострять* эти противоречия и, следовательно, взрывать всю иерархическую лестницу. *Иерархия в СССР* воплощает собой кооперацию людей, она *не* антагонистична, ее «полюсы» *не* враждебны друг к другу, «верхи» здесь выражают лишь *подбор руководящего начала* в условиях разнородности (по степени «компетентности»), т. е. неодинаковой зрелости различных слоев народа в зависимости от целого ряда исторических причин. Из совершенно различных структур иерархии в эксплуататорских обществах – с одной стороны, и иерархии при социализме (в СССР) – с другой, вытекает и совершенно различная *динамика развития*: в эксплуататорских обществах иерархия *застывает*, и расстояние между верхними и нижними ступенями иерархической лестницы *увеличивается*. Наоборот, в социалистическом обществе, при всеобщем подъеме масс, это расстояние все *уменьшается*, ибо все большее число конкретных людей держат реальные рычаги управления совокупным общественно-государственным механизмом.

Иерархия в госаппарате связана и в СССР с нормами *принудительного* характера, не только по отношению к остаткам классового врага, не только в силу не исчезнувших социальных граней между классами, но и по отношению к различным остаткам, пережиткам, традициям, колебаниям и т. д., даже внутри самых передовых слоев народа. Это – исторически необходимое проявление самоорганизации и самодисциплины, с соответствующими карательными санкциями. Наиболее резко выражены эти моменты в *армии*, что связано с ее специфическими задачами. Чем сильнее элемент борьбы с могучим еще капиталистическим врагом, тем

необходимое этот момент «авторитарности», суровой дисциплины, четкости, дружности, быстроты в действии и т. д. С точки зрения неисторической, с точки зрения идеальных абсолютов и пустой фразеологии можно сколько угодно нападать на «авторитарность» и «иерархию» в СССР. Но сама эта точка зрения пуста, абстрактна и бессодержательна. И здесь единственно правильной может быть только *исторический* аспект, который выводит нормы целесообразного из конкретной исторической обстановки и общей цели, точно также определяющейся «большими шагами» исторического процесса. Не иметь в условиях *борьбы* своего командования, дисциплины, подчинения, это значит *навверняка* дать себя разбить. Не иметь во все время переходного периода *пролетарской диктатуры*, это значит потерпеть полный разгром. Не иметь, в условиях капиталистического окружения и отчаянных попыток со стороны разбитого классового врага вновь подняться на ноги, централизованной и крепкой *власти*, это значит погубить дело. Не иметь в условиях неоднородности массы и всех вышеупомянутых моментов, *иерархии руководителей*, значит ничего не построить. И т. д. *Ленин* не даром писал о диктатуре руководителей в производстве. *Сталин* все руководство политикой сделал таким, что оно соединяет в себе теоретическую прозорливость с величайшей деловитостью и конкретностью, положив конец всякой «литературщине» и безответственной литературной болтовне. Так создался, в связи с новыми историческими задачами, новый тип руководителей, с качественно новыми свойствами. Великие идеи *Ленина* здесь получили свое конкретное воплощение, и историческое оправдание всего этого выражается в результатах строительства и во всеобщем подъеме жизненных – материальных и духовных – уровней.

Особые специфические свойства *социалистической* советской иерархии, по сравнению с иерархиями в эксплуататорских обществах, выражаются также и в том, что формы эксплуататорской иерархии мешают росту *личности* в массовом масштабе, в то время как при социализме они *помогают* этому росту, подымая массы, будя их инициативу, поддерживая ее, вынося личность на всесоюзную арену, подымая на щит всякую смелую попытку улучшения творческого процесса в *любой* его области и *борясь* с рутинной и косностью.

Все это вовсе не означает, что в СССР нет контр-тенденций, темных пятен, тяжелых вопросов. К проблеме *иерархии*, например, относится и вопрос о *бюрократизме*, как раз связанный со служебной иерархией, иерархическим строением госаппарата, его

тяжеловесностью, тенденцией к отъединению от масс, к известной косности и рутине, к бумажному и бездушному «делопроизводству», к потере связи с непосредственными живыми потребностями, которые, фиксируемые на бумаге, проходят ряд иерархических инстанций и с запозданием, в обескровленном виде, доходят до соответствующего центра. Такие тенденции есть, и никто их не отрицает. Но в том-то и дело, что вся структура социалистического государства в целом, с его непосредственной опорой на *массы*, с ростом этих масс, что вся деятельность такой невероятно живой, энергичной, революционно-преобразующей творческой силы, как *партия*, победоносно сокрушает эти тенденции: самый верх *иерархии* – руководство партии и правительства – есть воплощение революционно-преобразовательной роли, связи с массами, борьбы с косностью «аппарата». Многообразные бесчисленные формы связи с широчайшими массами суть сами по себе зародышевые формы преодоления иерархии.

К. Маркс в «Критике Готской программы» говорит об исчезновении иерархии при коммунизме, и с полным правом. Ибо при исчезновении *государственной власти* исчезнет и *иерархия* власти. Централизованные функции «управления над вещами» потеряют свою политическую оболочку. «Некомпетентность массы» исчезнет, как исчезнет само понятие массы, которое является коррелятом авангарда и вождей. Значит ли это, что не будет более способных, талантливых и т. д.? Значит ли это, что исчезнет различие дарований, что все будут гениальны зараз, и поэтому никто не гениален? Конечно, нет. Но общественное признание не будет выражаться в ореоле *власти*, и сам ореол власти не станет историческим воспоминанием. Талантливого поэта будут любить, как и ученого, и изобретателя, и смелого исследователя. Будут следовать совету экономистов и статистиков, как следуют больные совету врачей, а экономисты и статистики по страсти (а не по профессии) будут восхищаться поэтами и художниками или внимать доводам и советам техников и инженеров. Сложившееся коммунистическое общество выработает известный автоматизм своей материальной базы, и центр тяжести перенесется, вероятно, в другие сферы творчества, при непрестанном росте производительных сил. Все будут понимать основы управления над вещами и выполнять то те, то другие функции. Указания же центральных органов управления, куда по склонности и талантливости будут идти те или иные люди, будут выполняться не как выполняются приказы принудительной власти, а

как выполняются советы врача или указания дирижера в оркестре. Исчезнут мало-помалу грехи и пороки старого индивидуалистического и авторитарно-иерархического мира: исчезнет зависть, коварство, подсиживание – они перестанут быть понятны, как движения души, как мотивы поведения; исчезнет властолюбие, тщеславие, чванство, любовь подчинять себе людей и командовать над ними. Даже те свойства, которые были иногда объективно полезны в переходный период (мышление в категориях власти, например), устареют и исчезнут: ибо исчезнут даже всякие остатки «волчьей борьбы» между людьми. И таланты, и гении не будут выстраиваться в иерархию нового образца, по новой табели о рангах: не будет никакого смысла в этой табели. В области материальной – все будут удовлетворяться по потребностям, и эти вопросы никого не будут «занимать» в специфическом смысле этого слова, хотя любовь к вещам не ослабеет, а перейдет в более высокие эстетически окрашенные формы; в области духовной культуры всякие табели о рангах и иерархии будут казаться слишком внешними и исторически превзойденными. При исключительном росте интенсификации культурного оборота (радио, телевизия и новые формы всевозможных «теле») все будут знать своих любимцев в самых различных отраслях творчества. В одной из старых своих работ Георг Зиммель выставил положение, что интенсивность связей между людьми обратно пропорциональна объему этих связей: чем уже круг людей, составляющих какое-либо единство, тем теснее связь. С этой точки зрения, казалось бы, что мировая связь людей будет близка к нулю – настолько велик и многообразен здесь объем. Но все же, хозяйственно-творческое единство, и технические возможности общения, и самый *тип* связи, та всеобщая человеческая теплота солидарности и единства, которая будет основой новой «природы человека» и то единство мироощущения и мировоззрения, которые будут характерной чертой всей культуры коммунизма, по другому поставят и эту проблему: ибо самое понятие «круга» потеряет, так сказать, свою оседлость, свою территорию, свой «штандарт».

Но «довлеет гневи злоба его». Нельзя сегодня требовать того, что возможно лишь завтра, но сегодняшний день нужно рассматривать под углом зрения завтрашнего. Диалектика истории такова, что производит в социалистическом обществе свою особого типа преходящую иерархию, которая является, в конечном счете, *орудием преодоления всякой иерархии вообще*.

В тьме веков из первобытно-коммунистического общества выделилась родовая «аристократия», «лучшие люди», превратившиеся в класс. Разделение труда, осложненное завоеваниями, хищничеством, грабежом, рабами, привело к общественной иерархии. Она выросла в грандиозную систему в рабовладельческих теократиях Египта, Вавилона, Ассирии, Индии, в Персии, Китае и т. д. Эта иерархия приняла в Западноевропейском феодализме свои особые формы. Сложная ступенчатая система эта лопнула вместе с феодализмом. Капитал создал формальное равенство перед законом, и «философия равенства» сменила «философию» аристократической иерархии.

Но капитализм, создав иерархию на фабрике, создал ее и во всем обществе на своих собственных основах. Он создал громаднейшие империалистические государства, с иерархией наций и классов, от порабощенных колониальных рабочих до золоченой финансово-капиталистической олигархии. Фашизм увековечивает (т. е. пытается увековечить) эту систему, закрепляя эту подлую иерархию и юридически, и идеологически. Но дальнейший рост производительных сил вызывает все большие конфликты внутри капиталистической системы, и капиталистическая иерархия терпит через революцию пролетариата неминуемый крах. Социализм, движущей силой которого являются пролетарские массы, создает свою железную диктатуру для боя и строительства. Он создает и свою *иерархию*, которая сперва выражает господство пролетариата, потом – руководство передовой части народа, иерархию, в конце концов, на основе громадного роста производительных сил, *преодолевающую самое себя*: ибо она падает вместе с разделением труда. Но это и здесь не есть простое возвращение круговым движением к исходной позиции первобытного коммунизма. Ибо уничтожение разделения труда означает здесь не понижение производительных сил и не исчезновение дифференцированных и бесконечных производств, не движение вспять к технико-хозяйственному примитиву, а дальнейшее обогащение производственной базы общества, настолько огромной, что разделение труда становится излишним; ибо это означает не понижение культуры, а такой ее гигантский рост, что особый *слой* администраторов и т. д. и *иерархия* делаются излишними; ибо здесь единство общества означает не возврат к стадной его однородности, а высоко-культурное дифференцированное единство, с огромным ростом личности, но с преодолением всяческого индивидуализма.

Социалисты-утописты (и *Фурье*, но особенно *Сен-Симон*) проповедовали *иерархический* строй, как конечное и идеальное состояние общества. Но это было такое же выражение *незрелости* социалистической мысли, как и проповедь социалистической «новой церкви». Филантропическая черта «образованных» сказалась здесь в перенесении категорий старого на новое. Исторически это более, чем понятно. Но мы выводим наши теперешние требования не из ошибок своих древних предшественников, а, на основе теории Маркса-Ленина, из действительных тенденций развития. Нас ни капли не смущает та якобы «непоследовательность», что мы – и *за*, и *против* иерархии. Ибо мы стоим на исторической точке зрения, но в то же время на *принципиальной*. Объективизм *Маркса-Ленина*, это не буржуазный объективизм, не объективизм исторической школы, которой история, по выражению *Маркса*, показывает, как израильский бог Иегова пророку Моисею, только заднюю свою. Объективизм *Маркса-Ленина* вскрывает и тенденции, ведущие в *будущее*. Именно здесь и лежит точка приложения активных волей, активных сил, динамическое начало процесса. Поэтому и в данном вопросе, укрепляя социалистическую иерархию сегодня, мы используем ее, как орудие ее завтрашнего преодоления. Кто в этой исторической диалектике видит нашу непоследовательность, того уже ничему не научишь.

Глава IX

ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ

К числу крупнейших проблем человеческого общежития и человеческой культуры принадлежит проблема *свободы*. Нет, кажется, слова, которое не употреблялось бы столь часто, и в то же время, нет, пожалуй, слова, которое не наполнялось бы столь многозначным содержанием, иногда противоположным по своему значению. Это происходит потому, что перед нами одно из абстрактнейших понятий, и ставить проблему свободы в ее абстрактном выражении значит наверняка запутаться в самых безысходных противоречиях. Свобода *античного* мира, это свобода в противоположность рабству. Свобода в *буржуазном* обществе, возведенная Французской Революцией, это свобода от феодальных

пут, свобода торговли, частной собственности, эксплуатации, свобода государственного вмешательства в экономическую жизнь, прозаически буржуазная свобода, выступавшая тем не менее, как универсальное священное начало, как свобода вообще. Свобода эта предполагала на определенной ступени исторического развития и ряд соответствующих «прав, человека и *гражданина*», что еще раньше в Англии было выражено в Habeas Corpus acte (46). Так называемые «демократические свободы» (слова, печати, собраний и т. д.) являются характерными для времен расцвета

Внутренняя тюрьма Г.У.Г.Б. Н.К.В.Д.

4 апреля 1937 г.

Служебная записка ² 1629

НАЧАЛЬНИКУ ЧЕТВЕРТОГО ОТДЕЛА ГУГБ НКВД
КОМИССАРУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА
тов. КУРСКОМУ

Препровождается работа арестованного БУХАРИНА
Н. И., на 9-ти листах, – на Ваше распоряжение. –
Арестованный числится за IV отделом ГУГБ.

ПРИЛОЖЕНИЕ: по тексту. –

Нач. Внутр. Тюрьмы ГУГБ НКВД
Ст. Лейтенант Гос. Безопасности:
/МИРОНОВ/

буржуазной демократии, формальные свободы, которые для *неимущих* не имели соответствующего материального содержания. И т. д. Но в обороте есть и такие понятия, как «свободный народ», «свободное государство» и проч., тоже с крайне неопределенным содержанием, колеблющимся в зависимости от исторического упора, от конкретной исторической констелляции.

Здесь не место снова давать критику буржуазной демократии. Здесь мы хотим раскрыть содержание той *свободы, которая реально существует в СССР*, показать ее связь с предыдущими периодами, выяснить ее историческое значение и заглянуть в книгу ее «судьбы». Для того, чтобы вопрос был поставлен возможно более конкретно, мы подразделяем его на ряд производных, а именно:

- 1) свобода для *кого?* кто есть субъект свободы, ее носитель?
- 2) свобода от чего, от каких уз, пут, стеснений, гнета, тормозов и т. д.? (отрицательное определение).
- 3) свобода в какой сфере жизнедеятельности, свобода чего? (положительное определение).
- 4) свобода *какая*, формально-декларативная или материальная?
- 5) свобода *для чего?* (общественно-функциональное, общественно-историческое определение).

Прежде всего, мы хотим остановиться здесь на вопросе, который, будучи полностью выяснен теоретически еще *Марксом* и *Энгельсом*, не занимает, однако, должного места в обсуждении проблемы свободы. Мы говорим здесь об *обществе в целом*, как субъекте свободы. *Капиталистическое* общество, как мы уже неоднократно отмечали в другой связи и по другим поводам, не есть целеполагающий субъект, оно бессубъектно, ибо оно анархично по своей структуре; его законы суть стихийные законы, «подобные закону тяжести, когда над вашей головой обрушивается дом» (*Маркс*). Процессы развития здесь иррациональны. Общество и его отдельные группы и индивидуумы не в состоянии *овладеть* течением исторического процесса: они противостоят ему, как объекты, хотя они и «делают историю». Это происходит потому, что результаты многочисленных и многообразных перекрещивающихся волей не соответствуют индивидуально-поставленным целям агентов капиталистического способа производства: каждый капиталист хочет получить большую норму прибыли, а в результате норма прибыли *падает*, что никак не входило в «расчеты»; каждый хочет получить максимум прибыли и *для этого* развивает производство, а получается, в конце концов, *кризис перепроизводства*, с его банкротствами,

обесцениванием товаров, разорением части конкурентов; война конкурентного характера привела к грандиознейшей из революций и т. д. и т. п. Это – так называемый «закон гетерогонии целей» (Вундт), который чрезвычайно характерен для капиталистического общества. Здесь, следовательно, общество *слепое*, оно находится во власти своей собственной *стихии*, оно *не свободно*: необходимость действует не через него, а как его «собственная», но слепая сила, как бы противостоящая ему подобно *року*, внешней принудительной величине.

Социалистическое общество есть общество-субъект, общество организованное, общество, сознательно ставящее себе цели и эти цели реализующее по определенному плану, общество, *познающее* историческую необходимость и потому *свободное* (Гегель, Энгельс: «свобода есть познанная необходимость»). Историческая необходимость проявляется здесь в *свободе*, в сознательном, разумном, общественном творчестве: это и есть тот «прыжок из царства необходимости в царство свободы», о котором говорил Энгельс.

Здесь, следовательно, мы имеем: *общество*, как субъекта свободы; свободу от *стихийных сил* самого общества; свободу в определении *исторического процесса*, т. е. основных моментов жизнедеятельности общества; свободу для безграничного *общественного развития*; свободу не формальную, а в высокой степени *существенную*. Было бы крайне легкомысленным утверждать, что *эта* свобода не имеет, так сказать, никакого отношения к «делу», что обычно о ней не идет речь, что это – слишком «философская» проблема, что она не представляет специфического интереса и т. д. и т. п. Такой взгляд был бы воплощением исторической близорукости. Ибо *разумное* строительство общества есть выражение его организованной социалистической формы, а эта последняя есть форма *развития* с небывало быстрыми его *темпами*; а это, в свою очередь, есть предпосылка и многочисленнейших, и все более полноценных форм групповой и личной *жизнедеятельности*, что связано опять-таки с все более многообразными формами и сферами *свободы*.

Эта свобода, как видим, имеет *конкретно-исторический* характер, она вытекает из крушения капиталистического общества и из замены его обществом социалистическим, из коренного изменения самого характера закономерностей общественного развития: *отрицательно*, это свобода от стихийной и слепой закономерности капитализма: *положительно*, это – свобода строительства социализма на основе

познания исторической необходимости, это *свобода общественного развития*. Понять какое-либо явление исторически, это, однако, значит видеть и его корни *в прошлом*, и вскрывать тенденции, ведущие к *будущему*. По отношению к *прошлому* социализм означает: 1) свободу *развития производительных сил*, свободу от оков капитализма, тормозивших это развитие, 2) свободу от *общественной стихии*, о чем у нас только что шла речь. Если посмотреть на основные тенденции развития самого *социализма*, то нетрудно обнаружить, что возрастает и «разумность» общества, и – в высокой степени – его производительные силы, т. е. и свобода *целесолагания* и свобода от *стихийных сил природы*, причем степень подчинения природы на определенной стадии развития *коммунизма* достигает такой высоты, когда забота о материальном производстве отходит на второй план, берется за скобки; когда сокращение рабочего дня становится максимальным, когда центр тяжести переносится в свободное творчество, непосредственно не зависимое от заботы о материальных «благах» (независимое в том смысле, что эта последняя задача решается, так сказать, автоматически). Тогда наступает *новый этап в развитии свободы*, о котором и говорит *Маркс* в несколько раз упоминавшемся нами месте из III тома «Капитала».

Так обстоит дело с обществом, как единым целым.

Перейдем теперь к трудящимся *классам*, к *пролетариату* и эксплуатируемым при капитализме слоям *крестьянства* и т. д., т. е. к *массам*. Переход к *социализму* дает им:

- 1) *свободу от эксплуатации*,
- 2) *свободу от политического порабощения*,
- 3) *свободу от культурной придавленности*.

Эти *отрицательные* определения должны, однако, быть охарактеризованы и с положительной стороны. Но предварительно мы должны сделать несколько замечаний.

Из простого перечисления этих свобод ясно видно, что для *эксплуататорских классов* это – антитезы *их* свободам: свободе эксплуатировать, свободе политически угнетать, свободе культурно давить массы, что соответствует частной собственности на средства производства, буржуазному государству, как организации класса эксплуататоров и монополии образования. С переходом к *социализму* эти свободы эксплуататоров переходят для них в *несвободы* и в то же время в *свободы прежде эксплуатировавшихся*. Не может быть понятия свободы в этих сферах жизни, которое одновременно обнимало бы и то, и другое. Далее, необходимо подчеркнуть

колоссальное жизненное значение этих *новых* свобод, ибо это свободы *миллионов* и притом в *важнейших* сферах жизни. Что это так, вырисовывается еще более ярко при расшифровке этих свобод.

1) *Свобода от эксплуатации.* Это свобода *масс.* Это свобода от работы на классового врага. Это свобода от кризисов, безработицы, голода, нищеты, длинного рабочего дня, превращения в «детального рабочего», в «средство производства», в последнюю ступеньку производственной иерархии и т. д. *Положительное* содержание этой свободы (в экономической области, прежде всего):

- а) *свобода трудиться для себя, на себя,* формулированная *классом* (диктатурой пролетариата), как *обязанность* для каждого работоспособного *члена* класса (и массы); этой свободы нет и не может, быть для пролетарской массы ни в одной капиталистической стране, ибо пролетариат лишен средств производства; у мелкой буржуазии и крестьянства при капитализме есть в значительной мере лишь *иллюзия* работы на себя, ибо здесь царствуют различнейшие формы скрытой эксплуатации со стороны помещика, капиталиста, банков, ростовщика, кулака, торгового посредника и т. д. и т. п.;
- б) *свобода управлять производством,* определять его направление, его пропорции, его количественную и качественную сторону, его сроки;
- в) *свобода повышать свой жизненный уровень,* что вытекает из характера труда, как труда на себя.

Таким образом, мы видим здесь *свободу экономического самоопределения* пролетариата, при известном ограничении этой свободы для крестьянства (в определенный исторический период), а затем свободу экономического самоопределения *всех трудящихся.* Что все эти «свободы» не формулируются в СССР, как *свободы,* это понятно: в СССР это настолько элементарный *факт* бытия трудящихся классов, что он не нуждается в особой формулировке, точно так же, как, например, никто не говорит о свободе хождения на ногах. Однако, при сравнении с *капиталистическими* странами этот факт уже *нуждается* в формулировке, ибо в капиталистических странах фактическое положение, закрепленное и юридически, совсем иное, диаметрально противоположное нашему.

2) *Свобода от политического угнетения.* Это опять-таки свобода *масс.* Это – свобода от порабощения буржуазным государством. Это – свобода от иллюзорного равноправия и фактического бесправия. Это

свобода от разнообразнейших законов, подчинявших пролетариат на каждом шагу власти буржуазии. Это свобода от буржуазного суда, армии, полиции, жандармерии и т. д. *Положительное* содержание этой свободы состоит в полной свободе *политического самоопределения пролетариата* (гсп. трудящихся масс). Сюда относится:

- а) *свобода организации своего собственного государства,*
- б) *свобода управления им,*
- в) *свобода определения его политики во всех областях,*
- г) *свобода самоорганизации вообще* (массовые организации трудящихся многообразного типа).

3) *свобода от культурной придавленности* наступает вследствие ликвидации буржуазной монополии образования и уничтожения «умственного главенства» (*Энгельс*) буржуазии. Это – свобода от безграмотности и *нищенского «образования»*, от низких культурных квалификаций вообще (от технических до научных и художественных включительно), от специфических форм буржуазного сознания (например, религиозных). *Положительное* содержание этой свободы заключается в полной свободе *культурного самоопределения пролетариата* (гсп. трудящихся масс), то есть:

- а) *в свободе образования через все виды школы,*
- б) *в свободе образования внешкольного типа,*
- в) *в свободе всех видов художественного наслаждения* и т. д.

Здесь мы коротко перечислили те грандиозные по своему общественно-историческому значению *свободы*, которые имеют в СССР трудящиеся, как класс, или как масса, как *коллектив, как совокупность*. Прежде чем перейти к вопросу об *индивидуальной свободе*, что составляет особую проблему, необходимо еще остановиться в двух словах на крупных общественных подразделениях, взятых по другому сечению общества. Сюда относятся *нации и расы*, как субъекты свободы, а также *женщины*, как прежде угнетенная часть человечества. Нетрудно видеть, что, кроме тех фундаментальных свобод, о которых речь шла выше, здесь налицо имеется еще нечто специфическое: *свобода от национального и расового угнетения* и *свобода от гнета над женщиной, как таковой*. Положительно это означает *свободу национального самоопределения* и свободу для женщины во всех тех сферах, где имеет свободу мужчина, в том числе *свободу полового (и семейного) самоопределения* (свобода брака, свобода развода). Этих свобод не знает ни одна капиталистическая страна. Между тем, женщины составляют, как известно, половину населения вообще, а инациональная

часть населения почти любого империалистического государства составляет подавляющее большинство этого населения. Таким образом, эти свободы жизненно важны для гигантского большинства населения земли, и от того пример СССР имеет такую притягательную силу и по этой линии.

Переходим теперь к проблеме *индивидуальной свободы*. Здесь опять-таки мы должны сделать предварительное замечание, которое мы делали по отношению к проблеме свободы, касающейся больших общественных подразделений (класс, нация, пол). Еще *Шеллинг* выдвинул положение, что если бы данный индивидуум был *безусловно* свободен, то все остальные индивидуумы были бы *безусловно несвободны*. Это в высочайшей степени и в особенности верно, если перед нами классово-разнородный состав общества, *начальные фазы* борьбы за социализм, когда он еще не оперился.

Чрезвычайно характерным является то обстоятельство, что даже такой крупнейший мыслитель, как *Гегель*, считал *основой индивидуальной свободы «святую» частную собственность*.

В своей критике *Платона Гегель*, возражая против уничтожения в платоновском «Государстве» принципа частной собственности, пишет:

Собственность есть некое владение, принадлежащее мне как данной личности, владение, в котором моя личность, как таковая, достигает своего осуществления, своей реальности; поэтому Платон и исключает собственность из своего государства.

Но остается невыясненным, каким образом получится стимул деятельности, необходимый для развития промыслов, если нет надежды на частную собственность; ибо в том факте, что я являюсь *личностью*, ведь *подразумевается, наоборот, моя способность обладать собственностью*. свобода существует *постольку, поскольку личность имеет право обладать собственностью*. Мы видим, таким образом, что Платон сознательно сам изгоняет из своего государства субъективную свободу..... Согласно понятию *субъективной свободы* *столь же необходима индивидууму и даже можно сказать, свята, как и собственность*

Что у Платона нет и намека на субъективную свободу кого бы то ни было, кроме верхушки его «правителей», это совершенно верно, и *Гегель* даже слишком мягко критикует платоновское государство. Но что основой *субъективной свободы вообще* является частная собственность на средства производства (*Гегель* говорит и о земле, и об имуществе, приносящем доход), то это есть заблуждение апологета

буржуазного строя. В этом положении Гегеля в полной мере раскрывается смысл *буржуазного* понимания индивидуальной («субъективной», по Гегелю) *свободы*, т. е. ее трактовка, как *свободы деятельности* на основе частной *собственности*, т. е. свободы эксплуатации, найма, купли, продажи, делания прибыли (Profit-macherei). *Личность* срastaется здесь с собственностью, и *вне собственности* даже не мыслится, как таковая.

Социалистический строй уничтожает свободу эксплуатации, уничтожает частную собственность, тем самым *социально* уничтожает личность эксплуататоров и *этот тип индивидуальной свободы*. Ибо – и это существеннейшая часть нашего замечания – свобода многообразной деятельности, основанной на частной собственности, есть *несвобода* для миллионов тружеников. И, наоборот, *свобода* деятельности миллионов тружеников есть *несвобода* для таких личностей, деятельность «которых развивается на основе частной собственности. Два строя, два типа деятельности, два непримиримых принципа, одно есть отрицание другого, свобода одного исключает свободу другого, и поэтому абстрактное и всеобщее понятие свободы раскалывается и раздваивается *тотчас*, как только мы поставим вопрос мало-мальски исторически, то есть *конкретно* (Гегель же доходит до того, что историческую форму свободы на основе частной собственности рассматривает как «всеобщее», как субстанцию субъективной свободы вообще).

Одним из чрезвычайно крупных достоинств исследования супругов Веббов «Soviet Communism» (несмотря на целый ряд больших недостатков этой кропотливой огромной работы) является то обстоятельство, что авторы отошли от обычной, поверхностной, так сказать парламентско-избирательной, трактовки вопросов индивидуальной свободы. Критерием они берут «*максимальное увеличение возможностей действовать согласно индивидуальному желанию, для целого агрегата индивидуумов в обществе*» и констатируют, что эта норма нигде не выполняется в такой степени, как в СССР.

Мы здесь должны осветить вопрос о *направленности интересов* подавляющих масс СССР, о *сфере* этих интересов и «индивидуальных желаний», характерных для *миллионов*, т. е. о самой *ориентации свободы*. Вопрос не маленький, хотя ему и не уделяется такого значения, какое он заслуживает. Между тем, от направленности желаний субъектов зависит и тот круг проблем, которые связаны с идеей свободы, жизненной и конкретной, а не мертвой и абстрактной.

Критики социализма и критики СССР, явные и тайные апологеты капитализма, его материальных форм и его «способа представления», интересуются, главным образом, свободой деятельности в пользу капитализма, покрывая этот специфический, ограниченный интерес и эту, специфическую ограниченную свободу псевдонимом *свободы вообще*

и абстрактной свободы. Для масс же, строящих социализм, вопрос о социализме *недискутабелен*. На опыте миллионов, в течение ряда лет, проверено, что социализм дает массам то, о чем при капитализме нечего было и мечтать. Поэтому массам *неинтересен* вопрос об абстрактной свободе и *отрицательно-интересен* вопрос о проповеди капитализма или его идеологии: они против этого, они рассматривают – и с полным правом – свободу такой проповеди, как *покушение на их жизненную свободу: свободу строить свою зажиточную и культурную жизнь*. При конфликте двух свобод они стоят за *свою* свободу, свободу личностей миллионов против свободы личности из кучки, посягающей на свободу масс. Абстрактно-мыслящий, «универсально-справедливый» (субъективно, а не объективно), мечущийся и ищущий западноевропейский или американский интеллигент в *этих* вопросах полагает центр тяжести. А массы СССР, о свободе которых, прежде всего и идет речь, поскольку обсуждается проблематика СССР, интересуются *другими* свободами, которые в своей совокупности означают *свободу развития, максимум материального и духовного подъема*.

Из чего же складывается эта *свобода развития* с точки зрения *индивидуальных* свобод? И в каком отношении они стоят с теми *свободами масс* (рассматриваемых, как совокупность, как целое), о которых у нас шла речь в начале главы?

На последний вопрос необходимо ответить так, что сами массы, в лице своего государства, ограничивают, если необходимо, свободу индивидуума, в интересах свободы развития миллионов. Личность (принадлежащая к народу) *обязана* трудиться, и это на *данной стадии развития* формулировано, как *закон*, т. е. как принудительная норма. Это есть, несомненно, ограничение безусловной индивидуальной свободы. Но этим самым делается возможным такое положение, когда «личности» могут иметь 7-ми-часовой рабочий день, периодически отдыхать, получать образование и т. д. С другой стороны, труд не только обязанность, но и *право*: право на гарантированную работу есть тоже *закон*. Но это есть *гарантия свободы*: каждый, кто захочет, *может* иметь работу, он не будет страдать от безработицы. Каждый

может выбирать себе определенный вид работы, определенную профессию (пока существуют профессии): это есть *свобода выбора труда*, которая все более возрастает, – недаром *Веббы* отмечают, что в СССР занятия уже более многообразны, чем в других странах. Каждый может продвигаться вперед по еще существующей (пока) иерархической лестнице в производстве (и вообще в государстве), каждый в той или иной мере управляет производством, причем может своей работой расширять эту сферу своей жизнедеятельности: это есть *свобода продвижения*, какой, разумеется, нет нигде и в помине, и какой не может быть ни в одной капиталистической стране. Каждый может, пользуясь целым рядом специальных учреждений и организаций на заводе, повышать свою квалификацию и т. д. Это есть *свобода повышения квалификации*. С небольшими вариантами все это относится и к городу, и к деревне.

Так обстоит дело в непосредственно-экономической сфере.

В *быту* характерными чертами является полная *свобода семьи*: свобода *любви* (свобода незарегистрированных браков), свобода зарегистрированных *браков*, свобода *развода*, – все это вещи, совершенно неслыханные для капиталистического общества.

В области *политики и государственного управления* каждая личность может *свободно критиковать* недостатки управления, свободно проявлять свою *инициативу* в многочисленных и разнообразных отраслях строительства, избирать своих представителей во все советы сверху до низу, *свободно работать* в бесчисленных общественных организациях и, по свободному выбору, в различных добровольных обществах и кружках: каждая личность имеет *свободу продвижения* по всем ступенькам и политической иерархии в органах советской системы, вплоть до самых высоких.

В области *культуры* каждая личность имеет свободный *выбор образовательной отрасли*, свободу *образования*, свободу культурных организаций, свободу интеллектуального и художественного творчества, свободу интеллектуального и художественного наслаждения.

Все эти индивидуальные свободы ограничены, главным образом, лишь состоянием *наличных материальных ресурсов*. Поэтому основная историческая тенденция к дальнейшему *расширению* этих свобод, которые, при коммунизме, т. е. при полном *изобилии*, при громадной мощи производительных сил и при отпадении всяких принудительных норм, становятся *универсальными* и поэтому перестанут формулироваться, как свободы, став элементарными

фактами общественного бытия (при этом, разумеется, *политические* категории исчезнут вообще).

Все эти индивидуальные свободы параллельны росту личности, о котором мы говорили в специальной главе. Все они идут по линии свободы развития, свободы материального и духовного подъема индивидуума в обществе и вместе с обществом. Это – не фашистская казарма, не новая форма феодализованного капиталистического деспотизма. Это не платоновское государство, о котором когда-то наш Писарев писал:

В государстве Платона есть чиновники, воины, ремесленники, торговцы, рабы и самки, *нюдей* нет и не должно быть. Каждая отдельная личность есть известной формы и величины винт, шестерня или колесо в государственном механизме; кроме этой служебной должности, он ни в каком кругу не имеет никакого значения; он не сын, не брат, не муж, не отец, не друг и не любовник... он – казенная собственность, не связанная ни с кем и ни с чем в окружающем его мире...

Сумасброднейшие деспоты – Ксеркс персидский, Калигула и Домициан – никогда не пробовали... поставить свой народ на степень конского завода. Платоновские государственные идеи имеют кое-что общее с конским заводом и деспотией современных сумасброднейших деспотов фашизма. *Социализм* же уходит от всякого бестиализма и сочетает быстрейшее движение вперед всего общества с быстрейшим развитием личностей и их личной свободы.

Все эти свободы носят *не формальный характер*, а материальный, существенный, ибо развитие производительных сил создает материальные гарантии их осуществления, подобно тому, как *свобода слова, печати, собраний, организаций трудящихся* имеет свои гарантии в зданиях общественного характера, типографиях, запасах бумаги и т. д. и т. п. Этих материальных гарантий государство социализма не создает для допускаемых им (ибо *не опасных*) таких свобод, как, например, свобода *религии*. Причины этого крайне понятны: допуская эти свободы, социалистическое государство отнюдь не может стать *носителем* религиозной идеологии, по существу вредной, но уже почти затухшей и отмершей. Не нужно ни в коем случае думать, что вышеприведенным мы исчерпали круг тех реальных свобод, которыми пользуются и трудящиеся как совокупность, и их национальные сектора, и женщины, и трудящиеся, как индивидуумы, как отдельные общественные личности, и как многочисленные организации. Мы привели лишь наиболее существенные свободы, реально переживаемые массами и личностями, как формы их непрерывного подъема, роста счастливой и зажиточной жизни, материальной и духовной мощи, чувства уверенности в своих силах, оптимизма, творчества. С этого наблюдательного пункта, исходя из желаний, стремлений, интересов, переживаний *миллионов*, нужно рассматривать и проблему свободы. Кто во главу угла кладет рассмотрение абстрактной свободы «всего и вся», тот стоит здесь на *докоперниковской* позиции и, разумеется,

ровно ничего не поймет. В СССР *нет* свободы эксплуатации, торговли, спекуляции; нет свободы организации контрреволюционных сил; нет свободы проповеди шовинизма, расовой и национальной вражды; нет свободы анти-социалистических выступлений и т. д. Но в СССР есть свобода творческой работы на себя; свобода управления производством; свобода повышения своего жизненного уровня; свобода организации и управления своим государством, государством трудящихся; свобода определения его политики; свобода образования, свобода художественного наслаждения; свобода – экономическая, политическая, культурная – национального самоопределения; свобода женщины, брака, любви, развода; свобода строительства культурной и зажиточной жизни; свобода развития миллионов людей; свобода творить свою собственную историческую судьбу. *Этими* свободами определяется действительная жизнь масс и составляющих эти массы, непрерывно растущих личностей. Эти свободы ощущаются, как факт, ежедневно, во всем жизненном опыте, ощущаются не как «понятия», или лозунги, или абстракции, а как определенная, постоянно нарастающая жизненная полнота, как прогрессивное движение, для которого в строе социализма нет препятствий: эти препятствия другого порядка, преодолевать их и помогает социализм; именно он и является формой развития, т. е. обеспечивает «свободу движения». Нужно до конца понять с *исторической* точки зрения этот *освободительный* процесс, когда громаднейшее количество людей все время подымается кверху во всех областях своей жизнедеятельности, все время чувствует нарастание своей мощи, все время переживает свой собственный внутренний подъем, расширение своей личности, расширение возможности активно действовать. Этим миллионам глубоко *неинтересно*, их никак не задевает тот факт, что свобода у нас не абсолютна, что у нас нет, например, свободы многообразных антисоциалистических философских систем. Этим миллионам ни на йоту не покажутся убедительными аргументы, направленные против *марксистской «идеократии»* («моно-идео-кратии», т. е. власти одной идеологии). Ибо и здесь на опыте этих миллионов шла проверка того, что *идейное единство масс* дало нам замечательные победы, и учение творцов научного коммунизма и их продолжателей оказалось исключительно-превосходным оружием в борьбе за новый мир социализма. Но все действительно великое историческое наследство старого мира входит у нас в общекультурный оборот с невероятной быстротой. Если покойный германский философ *Max Scheler* (47)

утверждал, что у нас книги классиков философии числятся в коммунистическом *index librorum prohibitorum*, то это было одним из малокультурных клеветнических выпадов против культуры социализма: не только древние философы, но и философы буржуазии, и не только *Бэкон* или *Спиноза* или *французские материалисты*, но и *Картезиус*, но и *Кант*, но и *Фихте*, но и *Гегель* и другие издаются многотысячными тиражами и читаются количеством людей, многожды превышающим число буржуазных читателей такой литературы.

Историческая тенденция развития социализма к *коммунизму*, как мы знаем, снимает *все* принудительные нормы. Поэтому коммунизм есть *универсальное царство свободы*: и общества, и любой группы, и личности. Тенденции к развитому коммунизму будут расти тем скорее, чем быстрее будут исчезать опасности, идущие прежде всего из сферы капиталистического окружения. Падение фашизма необычайно ускорило эти тенденции.

Если коммунизм есть воплощение *универсальной свободы* – а это именно так – и если *исторический путь* к нему идет через диктатуру пролетариата, ее развитие и укрепление путем расширения советской демократии; если рост свобод и универсализация их есть *исторический* процесс – а все это тоже так, то всякий действительный сторонник свободы должен идти именно *этими* историческими путями, ибо других путей нет.

Нетрудно имеющему глаза видеть, что свободы социализма неизмеримо глубже, массовиднее, универсальнее, «материальнее», чем свободы при каком угодно другом строе, из бывших в истории человечества. Они пронизывают всю жизнь общества, начиная с материального производства. Они имеют своим субъектом и индивидуум, и организации индивидуумов, и большие подразделения людей (нации, расы, женщины), и все общество в его целом (по отношению к самому себе, и по отношению к внешней природе). Они не декларативны, а материальны. Они не статичны, а динамичны, т. е. они исторически растут. Они сочетают рост общества и рост личности, будучи формами развития и всего социалистического общества в целом, и его компонентов, вплоть до отдельных индивидуумов. Они ограничены материальными ресурсами, которые постоянно нарастают и таким образом исторически ликвидируют эти ограничения. Они ограничены известными социальными рудиментами, в тысячи раз усиливаемыми капиталистическим окружением и глубокой враждебностью этого последнего. Но история

ликвидирует эти опасности и, следовательно, вытекающие отсюда ограничения. *Идеократия* перестает быть «кратией» в смысле известных моментов принудительной нормы, но *единство мировоззрения*, несомненно, еще более укрепится. Однако, великое мировоззрение научного коммунизма есть не окостенелая догма: оно беспрестанно развивается и обогащается. Оно потенциально содержит в себе зародыши всестороннего роста, ибо оно диалектично и материалистично. Оно само есть поэтому воплощение истинной свободы для действительной науки и действительного научного мышления. Поэтому оно совершенно свободно будет расти и вширь и вглубь, будучи такой формой мышления, которой не страшны никакие перевороты, никакие идейные завоевания, никакие смелые мысли и идейные течения, если они вытекают из анализа действительности.

Несомненно, что будущее раскроет перед нами и такие проблемы, о которых мы не имеем теперь ни малейшего представления. Но совершенно бессмысленно было бы гадать об этих проблемах, не имея никаких данных. Наша великая, грозная, катастрофическая и в то же время колоссально-творческая эпоха имеет *свои* задачи, в том числе и *проблему свободы*. Мы ясно видим, что эта историческая проблема есть одна из крупнейших проблем дальнейшего развития общества, и что ее решить может только *коммунизм*. На этом пути стоит СССР, основная сила прогресса человечества.

Глава X

ПРОБЛЕМА ПРОГРЕССА

Вопрос о *прогрессе* мы уже разбирали чисто теоретически, мы видели, что ходовые старые концепции непрерывно восходящей кривой человеческого развития, да еще во всемирном масштабе, *неверны*: они не соответствуют исторической действительности ни с точки зрения своей «всемирности», ни с точки зрения самого характера кривой: ибо, как отмечал уже *Маркс*, в истории наблюдалось движение не только по спирали, но и по кругу, что были и случаи застоя, и случаи регресса и гибели целых обществ. Таким образом, специфическое учение о прогрессе, которое было выдвинуто идеологами буржуазии периода капиталистического

расцвета и выражало социальный оптимизм этого молодого тогда класса, должно быть отвергнуто в своей абстрактной всеобщности. «Fortschrittslehre» (49), как таковое, не может считаться действительно научной теорией.

Однако, *теперешние* идеологи буржуазии нередко – на *иной* социальной подпочве, в эпоху глубокого *упадка* и *вырождения* капитализма – делают такие же *всеобщие* выводы, но прямо противоположного значения: никогда и никакого прогресса не было и *не будет*, миру современности «суждено», фатально суждено, погибнуть так же, как погиб целый ряд древних цивилизаций. Многочисленные *анalogии* с древностью эпох упадка должны показать эту неизбежную историческую судьбу: тут и вещьность цивилизации, и урбанизм, и экономический упадок, и массы, и «смешение наций», и упадок религии, и порча нравов, и пристрастие к спорту, и истерия, и тысячи других патологических симптомов, которые указывают де на неизбежную обреченность. Конечно, далеко не все идеологи буржуазии описывают современность в таких мрачных тонах. Если взять *ряд* направлений и течений буржуазной идеологии, то картина получится крайне пестрая, но в высокой степени поучительная. Одни (теперь не многочисленные) продолжают уверять в живучести капитализма, несмотря на все «временные» затруднения; другие, наоборот, предрекают гибель всей старой цивилизации; фашистские идеологи, всеми силами спасая капитализм, обманно выступают якобы *против* него, ибо капитализм, как таковой, потерял всякую притягательную силу (эта обманная фразеология показывает, что капитализм настолько дискредитирован, что меняет свою фамилию!); четвертые, видя глубокие симптомы упадка, в то же время стараются всемерно дискредитировать движущие силы революции, которая объективно *только и может* вывести на настоящую историческую дорогу, а в то же время не указывают *никаких* других сил, которые могли бы спасти мир. Словом, здесь картина полнейшего разброда.

Этот разброд есть сам по себе выражение кризиса буржуазной культуры, и удивляться ему нет ровно никаких оснований.

Старые цивилизации гибнут:

- 1) от своих внутренних противоречий,
- 2) от войн международного характера,
- 3) от комбинаций обоих этих моментов.

Выставляя «смешение наций», как причину гибели (*Гитлер* и К^о) глупо не только потому, что тогда бы уже не было на свете людей вообще, ибо нигде не существует ни «чистых» рас, ни «чистых»

наций, но и потому, что «смешение» в эпохи упадка было не причиной, а скорее следствием, как это нетрудно показать на истории Рима, войнах Александра Македонского и эллинистической культуре, истории Египта, Ассирии, Вавилона и т. д., или – в более поздние времена на истреблении испанцами мексиканской культуры (первоначально испанцы не «смешивались» с подданными Монтесумы, а просто их вырезывали) или на истории порабощения Индии англичанами и т. д.

Социализм, имея совершенно особые исторические предпосылки, которых никогда ранее *не было*, уничтожает противоречия капитализма и уничтожает, в конце концов, и войны. Вопрос, следовательно, заключается в том, что же будет направлять движение *самого социализма*? Не будет ли он означать общественного застоя? Ведь, как никак, все же *противоречия* суть пружина развития, «*der Widerspruch ist das Fortleitende*», как говаривал старик *Гегель*, не сулит ли освобождение от противоречий капитализма своеобразное вырождение человечества, как, скажем, в одной из утопий *Уэльса*, где изнеженные люди превращаются в красивых, но ни на что не способных кретинчиков с ангельскими лицами и в роскошных одеждах?

Общее выражение здесь таково: у *Уэльса* – паразитарное вырождение на основе подземного рабского труда; социалистический человек – человек творчески активный; социализм уничтожает противоречия *одного* типа, кровавые противоречия между людьми, противоречия общественной структуры и т. д.; но это вовсе не означает, что он уничтожает *все и всякие* противоречия и осуществляет абсолютный покой, т. е., застой. Он отнюдь не уничтожает противоречия между внешней природой и человеческим обществом («борьба с природой»); он не уничтожает противоречия между ростом потребностей и данным состоянием производительных сил; он не уничтожает противоречия между познаваемым и познанным и т. д. Высвобождая громадное количество человеческой энергии, уходившей раньше на борьбу между людьми, он направляет все на *другие* проблемы, где поле деятельности поистине безгранично.

Таким образом, социализму не грозят ни опасности гибели в силу внутренних противоречий, ни войны (которых не будет, но которые грозят пока *сейчас*), ни опасности паразитарного перерождения. Уже начальные стадии развития социализма в СССР показывают громадное ускорение всей ритмики жизни, всех темпов ее и небывалый нигде взлет творческой энергии. Необходимо показать, что

прогрессивное развитие *имманентно* социализму, т. е. вытекает из него с необходимостью.

Мы проследим сперва тенденции социалистического развития в разных областях и в их взаимной связи.

Противоречие между природой и обществом обуславливает тот «обмен веществ» между ними, о котором говорил *Маркс*.

Труд, – писал он, – есть прежде всего процесс, совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором человек своей собственной деятельностью обуславливает, регулирует и контролирует *обмен веществ* между собой и природой. Веществу природы он сам *противостоит* как сила природы (50).

Но в каждом исторически определенном обществе процесс *производства* находится в разного рода соотношении с процессом *потребления*, и в связи с этим различны и *стимулы* производственного процесса, если мы его рассматриваем, так сказать, с его внутренней стороны. В феодальном обществе взаимоотношение между производством и потреблением было таково, что при в значительной мере натуральном хозяйстве размеры производства определялись потребностями феодала, как своей верхней границей, чему вполне соответствовала застойная примитивная техника (и неразвитые производительные силы вообще). *Капитализм* означал производство для производства, не заботясь вовсе об удовлетворении потребностей, а заботясь о *прибыли*. Стимулом здесь оказалась безграничная *жажда накопления*. Но капитализм тем не менее наткнулся на ограниченное потребление масс, что связано с его специфической структурой – отсюда кризисы. Следовательно, здесь налицо уже такое *противоречие между производством и потреблением*, которое, периодически разрешаясь в кризисах, в конце концов, взрывает все капиталистическое общество. *Социализм* снимает это противоречие, но это не значит, что уничтожается противоречие между производством и потреблением *вообще*. Здесь возникает *новое* соотношение: производство становится производством для потребления, но не просто для потребления, а для *массового и быстро растущего* потребления. Это, следовательно, не возврат к прежним формам натурального хозяйства, ибо и производительные силы, и общественная структура, и общественные потребности – все совершенно другое.

Непосредственной *целью* производства становится удовлетворение общественных потребностей. Само общество, прежняя «масса»,

преображенная во всех отношениях, ставшая совокупным хозяином производственного процесса, быстрее всего образом *развивает* свои потребности. *Население* неизбежно растет, причем рост этого населения означает и рост производительных сил. *Рост потребности* растущего населения практически безграничен.

Противоречие разрешается здесь *движением производства*, его развитием, быстрым ростом производительных сил. Это движение точно также практически безгранично. Нужно помнить при этом еще о некоторых добавочных обстоятельствах: *во-первых*, истощение природных ресурсов (например, нефти, древесного топлива и т. д.), что будет толкать к переходу на другие виды энергии; *во-вторых*, широкие потребности в *охране природы* (лесов, гор, озер, рек и т. д.), ликвидация жизни чисто урбанистического типа, нужда в наслаждении природой и в развитии этого наслаждения будут гигантски возрастать и поставят опять-таки ряд новых громадных проблем; *в-третьих*, развитие производительных сил *само* будет создавать новые потребности, предвидеть которые заранее просто невозможно.

Мы уже отмечали в другой связи, что понятие роскоши совершенно изменится, ибо исчезнет сама противоположность между предметами массового потребления и предметами роскоши. Можно предвидеть далее неизбежный процесс *украшения* быта и жизни, проникновение *художества* в обиход – от производства до жилья, что будет требовать непрерывного улучшения качественной стороны всех изготавливаемых предметов; возможно, что удельный вес усилий, затрачиваемых на эту сторону дела, с определенного момента будет все повышаться. И т. д. Насколько мы можем видеть, социализму предстоит совершить, вернее, совершать, громаднейшие дела. Если мы снова спустимся на землю сегодняшнего дня, то, например, в СССР, где одержаны такие блистательные победы, еще существует теснота в городах, в деревне – соломой крытая изба, наследие чуть ли не тысячелетий. Все это будет ликвидировано, перестроено, вычищено, все засверкает чудесными красками. О каком тут *застое* можно говорить?

Таким образом, социализм в области *материального производства* открывает собой эру *безусловного прогресса*, ибо производительные силы непрерывно растут, потребление растет, производительность труда увеличивается, сумма прибавочного труда тоже, рабочий день резко уменьшается и т. д. Все это – совершенно *объективные критерии*, ибо они показывают, что расширяется жизненная база общества, что «обмен веществ» между обществом и природой

становится совершенно другим по своей интенсивности, что даны тем самым условия для *безграничного расширения жизни*.

Противоречие между познаваемым и познанным есть в значительной мере теоретическая сторона материального противоречия между природой и обществом (и между обществом, как субъектом познания, и обществом, как его объектом). Это противоречие постоянно воспроизводится на все новой основе и на все более высокой ступени, ибо процесс познания *безграничен*. Однако, здесь существенно не это абстрактное положение, а конкретно-исторические условия процесса. Эти специфически-исторические условия таковы:

во-первых, динамика развития производительных сил, которая при социализме характеризуется чрезвычайно быстрыми темпами; уже это одно выражается в постоянных противоречиях между данной технической основой и новыми потребностями техники, что разрешается в *науке* и ее обратном воздействии на технологические процессы; таким образом, развитие производительных сил непосредственно толкает вперед интеллектуальную деятельность, расширяет ее поле, углубляет ее задачи, с величайшей силой ставит все новые проблемы перед наукой;

во-вторых, разветвленные научные дисциплины, рассматриваемые, как продукт деятельности людей, в условиях творческого активизма создают новые *интеллектуальные потребности*; подобно тому, как труд вообще становится «первейшей жизненной потребностью», определенные виды интеллектуального труда становятся предметом увлечения, интеллектуальной страсти; *amor Dei intellectualis Спинозы* лишается своих теологических привесков; жажда *познания* необыкновенно возрастает, познание и его задачи становятся предметом наслаждения, одной из важнейших жизненных целей, а некоторые индивидуумы уходят сюда «с головой»; несмотря на все новые и новые завоевания науки, противоречие между *познаваемым* и *познанным* не только не уменьшается, а увеличивается в сознании людей, и это противоречие движет бесконечный процесс познания;

в-третьих, систематическое сокращение рабочего дня в силу непрерывного роста производительности общественного труда в необыкновенной степени увеличивает возможности интеллектуальной работы свободно-творческого типа, при полном «использовании» личных склонностей и дарований; поэтому не только онаучивается весь производственный процесс, не только форсируется постановка и решение все новых и новых задач, но

создается почва для гигантского удлинения самого радиуса теоретического познания, т. е. для постановки «дальних» задач, «светоносных» в противоположении «плодоносным» в терминах Бэкона Веруламского.

в-четвертых: так как *плановое хозяйство*, как мы видели, требует синтеза всех научных дисциплин, так как научный труд организован, так как науки объединены единым методом, и, следовательно, их взаимосвязь чрезвычайно велика, то отсюда вытекает, что открытие в одной области максимально быстро отзывается на других областях; другими словами, тесная кооперация наук между собой и с огромной практикой дает *максимальный эффект*. Таким образом, и в *интеллектуальной* области социализм открывает собой эру безусловного и *безграничного прогресса*: производительность научного труда точно так же растет, как производительность труда материального, и это есть *объективный* критерий, совершенно независимый от каких-либо субъективных оценок.

Другое дело, если вообще ни во что ставить самое науку и предпочитать ей до научные формы магического мышления и всевозможных, связанных с этим, алогических суеверий. Современник Пушкина и один из очень крупных и оригинальных русских поэтов Евгений Баратынский задолго до современных сторонников интуиции и «вчувствования», непосредственного видения и созерцания, писал:

Пока человек естества не пытал
Горнилом, весами и мерой,
Но детски вещаньям природы внимал,
Ловил ее знаменья с верой;
Покуда природу любил он, она
Любовью ему отвечала:
О нем дружелюбной заботы полна,
Язык для него обретала.
Почуя беду над его головой,
Вран каркал ему в опасенье,
И замысла, в пору смирясь пред судьбой,
Воздерживал он дерзновенье.
На путь ему выбежав из лесу волк,
Крутясь и подьемля щетину,
Победу пророчил, и смело свой полк
Бросал он на вражью дружину.
Чета голубиная, вея над ним,

Блаженство любви прорицала.
В пустыне безлюдной он не был одним:
Нечуждая жизнь в ней дышала.
Но, чувство презрев, он доверил уму;
Вдался в суету изысканий...
И сердце природы закрылось ему.
И нет на земле прорицаний (51)

Здесь не стоит вновь серьезно разбирать эти положения. Мы видим, как упадочные эпохи возвращаются к ориентации на гороскопы, гаруспиции, гаданья всех видов, на оракулов, хиромантов, юродивых, чудотворцев, пророков, мистиков, на знамения и приметы, на религиозно-экстатические откровения и т. д. Но это и есть идеологический *регресс*. Никакое суеверие не помогает реальному овладению силами природы, если оно в мистической или религиозной оболочке не скрывает элементов *рационального познания*.

Но рациональное познание, высшей формой которого является *наука* и ее философское обобщение, постоянно проверяется своими *результатами*, и, в конечном счете, *практикой*: так познается истинность самого познания, т. е. соответствие его положений с объективной действительностью. Итак, *социализм* означает бесконечный *прогресс знания*. Иные думают, что социализм должен *убить искусство*, т. е. *художественно-эстетическое* отношение к миру и обществу, точно также, как он несомненно убивает *религиозное* отношение к миру. Нет ничего более неверного, как этот совершенно поверхностный взгляд. Религия отмирает не потому, что она «связывает» вообще и эмоционально, и интеллектуально человека с силами природы, а потому, что она *обожествляет* эти силы общественных стихий. Форма же обожествления есть перенесение *социальной* иерархии на космос, т. е. мышление о мире и чувствование мира в формах *рабских*, в формах «господства-подчинения». Уничтожение этих форм в жизни общества и подчинение природы и общественных закономерностей человеческому разуму являются основой ликвидации и соответствующих *идеологических* форм, т. е. религии. Но из этого отнюдь не следует, что *вообще* уничтожается связь человека с природой и обществом: такое предположение было бы просто глупым.

С другой стороны, не может служить аргументом и возрастание *полноты жизни*: жизнь де становится настолько полной и интересной, что не нуждается в своем художественном удвоении; это

последнее будет де при социализме всегда беднее жизни и потому отомрет в силу своей неизбежной немощи.

Этот аргумент не годится потому, что он видит границы и пределы там, где нет ни границ, ни пределов. В самом деле, даже самая интересная и полная жизнь не есть абсолют и конец истории. Поэтому в каждом данном состоянии заложено динамическое начало, что в сознании предстоит, как совокупность целей, мечтаний, фантазий, проблем, проекций в будущее. Да и вообще, почему более яркая и интересная жизнь не может иметь своего соответствующего художественного концентрата? Можно, наоборот, сказать, что яркие эпохи в истории и давали цветение искусства: Афины времен Перикла, итальянское Возрождение, эпоха реформации, *Гете* и *Шиллер* в связи с французской революцией и восхождением «буржуазного человечества» («Фауст» *Гете*, как художественная энциклопедия своего времени, или, по выражению *Пушкина*, его «Илиада») и т. д. Неизмеримо большее, по сравнению с другими эпохами, *богатство жизни* должно найти и свое неизмеримо более богатое *художественное отображение*. И это тем более, что – как мы твердо знаем – человек коммунистического общества не есть счетная машина, а *целостный* индивидуум, т. е. с развитой и интеллектуальной, и волевой, и эмоциональной жизнью, с бесконечно-большой связью с *природой*, и с *обществом*, чем человек предыдущей исторической эпохи.

Какой размах *прогрессу духовной культуры* дает социализм, видно из такого примера. В 60-х годах *Д. И. Писарев* писал в своей статье «Зарождение культуры» следующее:

Я вовсе не думаю становиться здесь на славянофильскую точку зрения и декламировать о ложности и чужеземности нашей цивилизации. Наша цивилизация ничем не лучше и ничем не хуже всех остальных; наука и искусство везде прозябают в оранжереях, и массы, оплачивающие эти оранжереи, везде интересуются ими также сильно, как например внутренним содержанием египетских пирамид, или вопросом о железной маске. Какое дело английскому фабричному до британского музея. Что общего у немецкого работника с мюнхенской глиптотекой? Какую точку соприкосновения имеет парижский блузник с французской академией? (52).

В наше время, время социализма в СССР, эти строки странно читать стоит только привести голые цифры посещаемости наших музеев, картинных и скульптурных выставок и галерей, докладов на

выездных сессиях Академии Наук и тиражей ее «изданий, чтобы увидеть целую пропасть между «вчера» и «сегодня».

Мы уже касались в другой связи и вопроса о том, что в СССР нет еще своих Пушкиных и Гете, Бетховенов и Леонардо. Но суть дела в том, что социализм у нас еще крайне молод. Все живые силы народа уходили прежде всего на борьбу и материальное строительство, – такова закономерность исторического процесса. Однако, основы для их последующего появления непрерывно создаются громадным ростом *массовой художественной культуры*. Кто этого не видит и не понимает, тот поистине «обижен великими богами».

Непрерывное расширение полноценной жизни и целостность человека есть исторические предпосылки для безграничного *роста искусства*. И это положение имеет совершенно объективный характер.

Следовательно, прогресс материальной и духовной культуры есть «закон движения» социализма. Что касается типа *человека* и *человеческих отношений*, то и здесь мы видим *прогресс по всей линии*.

Ибо социализм разрешает задачу общества и личности так, что *личность растет в обществе и вместе с обществом*, как целостная, все более содержательная, с бесконечными возможностями развития своей индивидуальности и все более многообразной жизнедеятельностью. Социализм решает задачу *национальности*, давая простор многообразию и в то же время создавая все большее единство. Социализм раз навсегда решает «женский вопрос». Социализм создает *единое человечество*, человеческое *братство* и в коммунизме достигает *универсальной свободы* (индивидуальной и групповой) и *равенства* всех внешних условий развития.

Это все – не абстрактный идеал, а следствие совершенно реальных *исторических тенденций*, так что «совершенство» коммунизма (*историческое* совершенство) не нуждается в своем «онтологическом» доказательстве на манер известного «онтологического доказательства» бытия божия; оно выводится из наблюдения над действительным историческим процессом.

Но нет ли все же *закона неизбежной старости, а затем и смерти*, т. е. гибели за истощенностью сил для человеческого общества?

Эту гипотезу разделяли очень многие, в том числе *Фурье*, и даже у *Энгельса* (в «Анти-Дюринге») мы находим подобные формулировки. Однако, нам кажется, что эти гипотезы ни на чем не основаны. В самом деле, абстрактно теоретические соображения, которые

приводят к этому выводу, покоятся на аналогии с *организмом*, т. е. упускают из виду специфические «качества» *социологического* порядка. Ведь, именно в этом состоит корень того, что мы считаем неправильной всю «органическую теорию общества». Общество *не* есть организм: оно есть *общество*, как оно не есть механизм, и как организм не есть механизм. И точно так же, как нельзя на общество переносить законов биологии вообще, так нельзя на него переносить и «закона» фаз молодости, зрелого возраста, старости и неизбежной смерти от старости. Это – во-первых, во-вторых, все известные нам случаи *гибели* общества совсем не говорят о гибели от «старости», хотя такая терминология и является ходовой. Если мексиканцев вырезали испанцы, это не есть гибель от «старости». Если Римская Империя пала от неразрешимых противоречий рабовладельческого хозяйства, где угнетенный класс не оказался в состоянии победы и не был носителем более высокого хозяйственного и общекультурного принципа, и где это специфическое обстоятельство осложнилось еще нашествием т. н. «варваров», то дело здесь вовсе не в смерти от дряхлости «*организма*», а в бессилии конкретного исторического общества, вследствие его специфических особенностей и исторических условий его развития, перейти в более высокую фазу. Если пуническую культуру карфагенян расстреляли римляне, то тут нет и помину о дряхлости и органоподобной смерти великого города Ганнибала. Если тысячелетия дремавший старый из старых *Китай* пришел сейчас в движение и, наверное, зацветет молодой жизнью при социализме, то где тут хоть намек на гибель от «старости»? Да и что такое, в сущности, старость? Старость чего? Не являются ли все люди, как вид, примерно одинаково «старыми» или «молодыми»? Условно, то есть метафорически, можно говорить о старости определенного *способа производства*, если он должен исторически погибнуть, как таковой. Но не всегда гибель определенного *способа производства* есть гибель *всего общества*. Феодализм погиб, но общество перешло к капитализму. Капитализм гибнет, но общество переходит к социализму. А вот рабовладельческий Рим или Греция погибли *вместе* со всем «античным миром». Из этих примеров ясно видно, что с биологической абстракцией никуда не уйдешь и никаких задач не разрешишь. Нет никаких оснований полагать, что над обществом тяготеет неизбежный закон смерти от старости.

Но нам кажется, что даже для биологической личности этот закон вовсе *не вечен*. Вообще, «вечные законы» и вечны и не вечны. Где есть а, в, с, там наступает А, – такова формула закона. *Всюду и всегда*, где есть а, в, с, наступает А. В этом смысле закон (*любой* закон:

естественный, общественный и всякий другой) *вечен*. Но если этих условий (т. е. а, в, с) нет налицо или если они изменены так, что превращены в (альфа, бета, гамма), то наступит не А, а нечто другое. И в *этом* смысле ни *один* закон не вечен, а всякий закон *историчен*. Если наука когда-либо найдет ключ к искусственному созданию живых клеток, то она может решить и проблему их регенерации, т. е. проблему личного бессмертия, и никакого чуда или мистики здесь не будет. От Дедала и Икара до аэроплана прошло изрядное количество времени, но задача все-таки была решена. Как мы можем сказать, что задача преодоления смерти неразрешима *вообще*? Это сказать *нельзя*.

Однако, нам могут заметить, что вся земля неизбежно погибнет и с нею вместе весь «род людской». Мы не можем заглядывать так далеко, но и эту гибель считаем отнюдь не обязательной, ибо она предполагает принципиальную неразрешимость проблемы межпланетных полетов. Между тем это ровно ничем не доказано и не может быть доказано. По сравнению с временем, когда охладится земля, и по сравнению с «людьми» того периода мы – меньше, чем дикари, и подходить с нашими научными возможностями к этому отдаленнейшему периоду просто смешно. Дело здесь не в панглоссовском оптимизме, а в преодолении фетишизма фатального закона, его внеисторической трактовки, его абсолютизации, что досталось нам от прежних времен и что не выдерживает никакой критики.

Возвратимся все же к более близким временам. Нужно сказать, что *историчность* в постановке задач и проблем сказывается в том, что во всеобщем сознании часто величайшие задачи скрываются в тумане, ибо на очереди дня стоят другие, неизмеримо более актуальные, решение которых исторически необходимо. В период ожесточенной классовой борьбы и войн, обороняющих социализм от нападения империалистов, смешна проповедь *всеобщего* братства людей. Но вот победа одержана, и братство это раскрывается, как новая задача. В период материальной стройки социализма, преодоления тысячи трудностей, величайшего напряжения сил и т. д. смешно ставить проблему личного бессмертия, и самое рассуждательство на эту «тему мало почтенно. А через несколько поколений этот для очень многих трагический вопрос станет проблемой науки, и его будут решать, как одну из достаточно актуальных задач. В том-то и заключается *прогресс* науки, что на очередь ставятся все более смелые и более «высокие» проблемы, постановка которых в другое время была бы или смешна или безумна...

Социализм и коммунизм раскрывают таким образом перспективы *безграничного прогрессивного развития человечества*. Мы не можем сказать, какие формы человеческого общежития разовьются в лоне коммунизма. Одно можно заметить, что и коммунизм, так как он представляется нам теперь, не будет вечен, ибо один только переход на какие-нибудь новые виды энергии (например на использование внутриатомной энергии) будет означать грандиозную техническую революцию. Но эта техническая революция не повлечет за собой борьбы между людьми, а лишь разумную и сознательную перестройку трудовых отношений. К волчьему существованию человечество уже никогда более не возвратится.

Таким образом, речь идет вовсе не о царстве покоя, застоя и ординарного существования ординарных и сереньких новых мещан, как это изволили изображать эстетствующие идеологические гиены феодальной романтики и воинствующего империализма или их бастарды, заполняющие сейчас зверинцы фашизма. Речь идет о бесконечном *прогрессе*, о вечном движении вперед, о постановке и решении все новых задач, о жизни полной, творческой и счастливой, где трагедийное начало жизни, познания, любви, труда, художественного творчества будет полно пламенного оптимизма и высокой человечности.

Форма ² 13

Внутренняя тюрьма особого назначения НКВД
СПРАВКА

Арестованный Бухарин Н. И. числится за 4 Отдел. ГУГБ
НКВД.

Деж. Пом. Нач. внутренней тюрьмы О/Н НКВД
/Подпись/

7/IV.1937 г.

Глава XI

О СТИЛЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Маркс, как известно, выдвинул понятие «способа производства», «экономической структуры» общества, его «экономической формации», как специфически-исторической категории, со своими особыми «законами движения». Маркс считал далее, что каждому «способу производства» соответствует адекватный ему «способ представления» («Produktionsweise» и «Vorstellungsweise»), т. е. особый тип мышления, особый тип всех надстроечных форм, особый тип идеологии, другими словами, особый тип «духовной культуры». Маркс, разумеется, отлично знал – и сам первый с особой силой подчеркивал – расколотость общества на классы и раздвоение этого единства, как относительного, как единства противоположностей; точно также Маркс подчеркивал, что реально не существовало «чистых» формаций, что всегда в них были рудименты прошлых «способов производства». Но, тем не менее, общественная формация, то есть «способ производства» есть реальный факт истории. Теперь решительно все говорят о капитализме. А ведь не нужно забывать, что этот способ производства был открыт Марксом, от него получившим и свое имя. Последнее время теоретики буржуазии усиленно разрабатывали «морфологическую» проблему общества, проблему формы. Макс Вебер выдвинул свои «идеальные типы», Карл Лампрехт – идею «доминанты», Макс Шелер – социологически обусловленной формы знания, О. Шпенглер – формального единства разнообразных сторон культуры и т. д. Шпенглер со свойственной ему кокетливой парадоксальностью писал в своей нашумевшей книге:

«Кто знает, что между дифференциальным счислением и династическим государственным принципом времен Людовика XIV, между античной государственной формой полиса и евклидовой геометрией, между перспективой в западноевропейской живописи масляными красками и преодолением пространства железными дорогами, телефоном и дальнобойными орудиями, между

контрапунктной инструментальной музыкой и хозяйственной кредитной системой существует глубокая связь формы?»

Еще раньше *Георг Зиммель* разрабатывал вопрос о «стиле жизни». И т. д. Марксизм не несет, конечно, ответственности за нелепые натяжки шпенглеровских парадоксов. Но фактом остается то, что почтенные идеологи буржуазии обкрадывали *Маркса* с величайшей наглостью, а затем посильно старались его «переделать» на свой салтык.

Возвратимся, однако, к первоисточнику. *Маркс* говорит об особом способе, которым сочетаются элементы общественных производственных отношений («особый вид и способ, в которых производится это соединение, различает особые экономические эпохи общественной структуры»). Ему соответствует «особый вид и способ» сочетания идей. Таким образом, можно говорить о *едином стиле* культуры, которая включает и материальные, и духовные моменты, образуя их единство.

Что сам *Маркс* стоял на этой точке зрения, не подлежит никакому сомнению. Так, например, анализируя особенности *феодалного способа производства*, он пишет:

«Вместо независимого человека мы находим здесь каждого в состоянии зависимости – крепостных и землевладельцев, вассалов и сеньоров (*Lehns geber*), светских и попов. Личная зависимость характеризует в такой же решающей степени (*ebenso sehr*) общественные отношения материального производства, как и построенные на нем (другие) *сферы жизни*».

В другом месте *Маркс* характеризует ближе эти личные отношения, как «личные отношения *господства и порабощения*». Таким образом, тип личной связи господства – порабощения в материальной области имеет свой слепок в «других сферах жизни». Это так и есть. Если мы приглядимся к феодальной культуре во всей ее совокупности, то увидим, что вся она покоится на принципе *иерархии, воплощающей звенья господства – порабощения*. Так построены производственные отношения. Так построено государство. Так построена церковь (замечательно уточненная иерархия). Так построена религия и философия (вспомним, что у *Фомы Аквинского* весь космос иерархичен). Так построено искусство, все проникнутое идеей иерархии, ранга, соподчинения (классической формой является *готический собор*). Один из певцов средневековья, г. *Карсавин*, писал о европейском феодализме:

«Иерархизирующая тенденция феодальной жизни возведена на степень теории и системы юристами XIII в.

Проповедникам ясно горизонтальное деление общества, как целого, хотя и распадающегося на господ и хамов. Они указывают сервам на слова апостола, приказавшего рабам повиноваться своему господину. Бог установил на земле королей, герцогов и других людей, которым повелел повелевать прочими. Они поставлены богом, дабы малые зависели от сильных».

Земной иерархии соответствует небесная. Все мировоззрение сугубо авторитарно, т. е. проникнуто той же идеей грозной и рабской иерархической зависимости: господство-порабощение в личной форме пронизывает всю идеологию. Она – религиозна. Ее добродетели – беспрекословное подчинение, верность господину; наверху – дворянская гордость, верность роду, обожествление генеалогического древа, почтение к «заветам предков», славным родовым традициям, благородству происхождения; дворянская гордость и честь, презрение к «хаму»; всеобщий традиционализм, песнопения прочности, устойчивости, вечности, богом освященной и иерархически построенной жизни; господство откровения, раз навсегда данной божественной истины, требующей только послушания и т. д. Это и есть *стиль феодальной культуры*.

Капиталистический способ производства сбросил феодальные оковы. Он уничтожил «особый способ» сочетания людей и идей, «способ производства» и «способ представления», который был свойственен феодализму. «Связанность» он заменил «свободой договора», буржуазной «свободной личностью». Крепостное рабство – наемным трудом. Но он создал особую стихийную *власть рынка*, безличную и слепую, при одновременной *иерархически-деспотической* власти на фабриках и заводах. Анархичность капиталистического общества состоит в формальной независимости товаропроизводителей. Всеобщая трудовая связь между ними скрыта, и тот факт, что труд в отдельном предприятии составляет «часть» совокупного общественного труда, проявляется в «общественном свойстве» товаров, в их ценности, а отношения между людьми – в отношениях между вещами. Отсюда-то явление, которое *Маркс* назвал «товарным фетишизмом», т. е. такая извращенная идеология, которая не видит людских отношений, но приписывает чудесные свойства вещам (например, капитал трактуется не как общественное отношение, проявляющееся в вещи, а как вещь, наделенная чудесным

свойством «производительности», деньги тоже «приносят деньги», «земля» родит ренту и т. д. и т. п.).

Безликая, анонимная сила рыночных отношений, слепые стихийные законы капиталистического общества вызывают и определенные черты «способа представления» – различные абстрактные, неопределенные категории субстанциального или нормативного порядка: таковы метафизические категории различных «сил»: таковы нормы вроде кантовского категорического императива; таковы понятия «чистых» наук, «искусств» и т. д., где утрачивается представление об общественном генезисе, функциях и т. д. этих продуктов разделенного и обособившегося интеллектуального труда, и возникает фетишизация продуктов человеческого творчества; таково божество капиталистического мира, абстрактное и худосочное, потерявшее чувственно-личные черты и т. д. Но, с другой стороны:

«По форме своей капиталистическое руководство *деспотично*... Как армия нуждается в *иерархии* военных командиров, точно так же для массы рабочих, объединенных совместным трудом под *командой* одного и того же капитала, нужны промышленные обер-офицеры (управляющие, managers) и унтер-офицеры (мастера, foremen, overlookers, contra-maotres), распоряжающиеся во время процесса труда от имени капитала» (Капит., I т.) (53).

Таким образом, не чужд капитализму и принцип *иерархии*, «деспотизма», как другая характерная черта капиталистического способа производства и капиталистического способа представления.

Теперь не трудно понять, что при перерастании промышленного капитализма в финансовый капитализм, в монополистический капитализм, в империализм, а затем в фашистский государственный капитализм военно-полицейского типа, и в «способе представления» должны были возрасти моменты *иерархии*, «феодализации», ранга, «деспотизма». Этот процесс был подробно проанализирован в первой части нашей работы.

Постараемся теперь обрисовать под этим общим углом зрения *социалистический* «способ производства» и *социалистический* «способ представления».

Производительные силы социалистического общества представляют, как и производительные силы любого общества, комбинацию техники, т. е. средств производства, и людей. *Социалистические* производительные силы отличаются от всяких других, прежде бывших, особыми чертами.

Первой такой исторически определившейся чертой является переход на *универсальное применение электроэнергии*, все объединяющей, дробимой, всюду проникающей, обеспечивающей техническое *единство* многообразнейших специализированных технологических процессов и толкающей к универсальному комбинированию их во всем общественном масштабе.

Второй – гигантски существенной чертой, совершенно специфической – является то, что *впервые живая производительная сила*, работающие люди, людская «часть» совокупных производительных сил, стала *разумной*, самосознательной и определяющей течение трудового процесса силой, разумным и сознательным *субъектом трудового процесса*.

Третьей чертой материальных производительных сил социалистического общества, что стоит в ближайшей связи с предыдущим, является «очеловечение машины», т. е. господство живого труда над мертвым, принципиально другое соотношение между техникой и человеком, как компонентами материальных производительных сил.

В капиталистическом обществе мертвый («прошлый») труд есть часть постоянного капитала. «Прошлый и живой труд являются двумя факторами, на взаимной противоположности которых покоится капиталистическое производство». (Марк: Theorien über den Mehrwert. В. III, S.292).

Производственные отношения социалистического общества отличаются полной *ясностью* и *единством*, выражающемся в плане, единством уже в самом процессе производства, где отдельные виды труда *сразу* же, с самого начала выступают как компоненты *совокупного* общественного труда.

Производственные отношения социализма в своей совокупности суть *разумное* единство, общество, как целеполагающий *субъект*, свободный, то есть не подчиненный *стихийным* законам общественного развития, как мы о том уже говорили не раз в предыдущих главах. Эта особая экономическая структура, где экономика сливается с политикой, не знает *стихий* рынка, ибо «рынок» – даже теперь в СССР – это отнюдь не рынок в строгом смысле этого слова. С другой стороны, временная и исторически преходящая социалистическая «*иерархия*» не есть выражение *эксплуатации* и «*господства-порабощения*» (Маркс), а выражение самоорганизации и самоуправления масс на определенной *стадии* развития социализма, как это было разъяснено в специальной главе.

Далее, мы видели, что при *единстве* хозяйственного целого и *множественности* работ все более уничтожается однобокость людей, вызванная разделением труда, и что все больше растет творческая производящая *личность*, *единство* и *целокупность* которой проявляется, в свою очередь, в *множественности* ее жизнедеятельных функций.

Отсюда вытекает, что в «духовной культуре» социалистического общества нет и не может быть места никаким сублимированным формам *товарного фетишизма*, то есть метафизическим пустым абстракциям и пустым абстрактным нормам, а также и сублимированным формам *категории иерархии*, прежде и раньше всего связанным с той или иной формой так называемого «религиозного сознания».

Материальное производство и материальная культура не отделены здесь китайской стеной от *духовного* производства, *практика* объединена с *теорией*, интеллектуальное производство имеет здесь точно так же свои специфические черты, а именно:

- 1) тесную связь с материальным производством и культурным строительством вообще,
- 2) плановую организацию интеллектуального труда в его основных подразделениях (планирование средств, кадров, тематики),
- 3) кооперацию и синтез прежде разобщенных специализированных дисциплин,
- 4) единство метода и философских обобщений.

Этим самым уничтожается историческая основа дуализма материи и духа, ликвидируется производство пустопорожних конструкций и систем, в которых научные абстракции и символы, так или иначе отражающие действительность, сами превращаются в субстанцию действительности, продукт интеллектуального труда отрывается от своей общественной основы и превращается во внешнюю мистическую силу, а «мыслящий дух», оторванный от «тела», становится иллюзорным творцом и Демииургом Космоса. Конечно, не может быть и речи об уничтожении различных дисциплин и о водворении каши из разнообразных отраслей знания. Наоборот, эти дисциплины будут пониматься в их естественной связи и взаимодействии между собой и со своей практической основой, будучи в то же время связаны друг с другом и единством *своего метода* (т. е. будут связаны и по связи *объекта*, и по связи *метода*).

Таким образом, и здесь *организация, синтез, единство* включают в себя все *многообразие* конкретного.

Социалистический гуманизм раскрывается, как совершенно новая и исторически-специфическая форма гуманизма. Здесь впервые создается *человек*, не как «экономическая порода» убогих односторонностей, а как полнокровная целостность в целостном обществе. Поэтому в центре всего, как всепроникающий момент, стоит *коллективизированный человек* и *человеческая коллективность*. Внешний, независимо от человека и его сознания существующий мир, *природа*, рассматривается здесь, как *материя*, превращающаяся в *материал для человека*, как объект практического преобразования, теоретического овладения, художественного наслаждения. *Техника*, вещественный компонент производительных сил, *«очеловечивается»*. *Производство* ориентируется на удовлетворение человеческих потребностей. *Наука* рассматривается не как чистая категория «в себе», а как средство ориентации в мире для удовлетворения *человеческих* нужд, и материальных, и духовных, и чувственных, и интеллектуальных, и «низких» и «высоких». Сам *человек* трактуется как самоцель, в его развитии, в его многосторонних возможностях, в его солидарной связи с другими «сочеловеками». Общность, солидарность, братство, высокий альтруизм (не как принудительная норма, а как инстинкт), дружба, любовь, *человечность* во всех сферах отношений между людьми, покоящиеся на личном достоинстве и уважении к личности, героизм и величайшая способность идти на все для общества и во имя общества – таковы характернейшие черты *социалистического гуманизма*. Таким образом, и здесь определяющим является единое человечество в многообразных своих моментах.

Социалистический реализм, как стиль *искусства*, характеризуется отрицанием всякого мистицизма и потусторонности. Но это лишь отрицательная его сторона. *Положительно* он включает все многообразие природы и человеческой жизни, все многообразные отношения в их взаимной связи, динамике, противоречиях и единстве. Поэтому он не исключает и многообразия форм: ни эпоса, ни лирики, ни романтики, ни «малых», ни «больших» форм, но наивысшими формами считает монументальное «большое» искусство, которое отражает эпоху в целом, во «всех ее связях и опосредствованиях», где образ не зачеркивает понятия, чувство – мысли, где концентрируется все богатство жизни и все богатство идей великого времени. Именно поэтому огромной любовью пользуются в настоящее время в СССР

творения таких гениев человечества и такие произведения, где в мощных обобщениях даются картины громадных кусков человеческого развития: «Фауст» Гете, где поэтический гений перелетает через границы своего класса и рисует целую трагедийную поэму человечества, исполинские симфонии *Бетховена*, где борьба с «судьбой», борения духа, торжественные аккорды всечеловеческой победы и радости заставляют дрожать человеческие души, суть предшественники будущих великих творений социализма. Погружение в глубины народного искусства и эпоса может здесь служить точно так же одной из отправных точек развития. Мечты *Р. Вагнера о синтезе искусств* и об их одновременном совокупном мощном массовом действии имеют, по нашему мнению, несомненное будущее, ибо такова синтезирующая, объединяющая тенденция социалистического развития.

Буржуазное искусство конца XIX и начала XX века, отражая дробную специализацию, обеднение жизни, анархическую природу капитализма, возрастающий пессимизм его агентов и т. д. разодрало само искусство на куски, отделило форму от содержания, довело последнее до минимума, самую форму расщепило на ее составные части и превратило их в отдельные субстанции искусства («линия», «декоративное пятно», «словесная инструментовка», и т. д.). Одни решали только «проблему разложенного цвета», другие – красочного пятна, третьи – объема, четвертые – «лейт-линии движения». Целостность и единство богатой формы и многообразного содержания исчезли: исчезла жизненная полнота, на ее место стали уродливые абстракции отдельных моментов или нарочито примитивные формы, взятые «в себе», настолько абстрактные и лишенные полноты чувственного содержания, что перестали быть *понятными* для обыкновенных людей: их «глубина» поистине стала «глубиной пустоты».

Социализм влечет за собой богатство коллективной жизни и жизненное богатство личности. Он поэтому вновь *собирает* рассыпавшееся на куски искусство, но уже на неизмеримо более разнообразной и высокой жизненной основе, и эта *синтетическая тенденция* является и основным принципом социалистического искусства.

В мироощущении для социализма характерна та же самая собирательная тенденция, тенденция к *целостности*. Единому обществу, человечеству, целостному человеку и т. д. соответствует объединение таких черт, которые нередко разделялись и разделяются

и во времени и в социальном пространстве: у Платона «добродетели» распределены по классам; у фашистов интеллект изгнан из обихода, подвергнут остракизму, выслан из пределов страны; активная воля, формулированная, как чистый волонтаризм, помещена в один верхний этаж, пассивная, исполнительная, воля к *послушанию*, противопоставленная воле приказывающей и командующей, *воле к власти*, закреплена за «неблагородными органами». *Социализм* и здесь собирает духовные потенции человека: он объединяет моменты интеллекта, воли, чувства и художественного творчества (артистичности) в одно целое. Человек социализма есть человек работающий, мыслящий, «волящий», творческий. Это не значит, что в каждом человеке социалистического и коммунистического общества будут в одинаковых пропорциях «распределены» вышеупомянутые качества, – такое предположение было бы явным вздором. Здесь будет царить великое разнообразие индивидуальностей. Но не будет ничего похожего на образование профессий и классов, на отъединение теории от практики, мысли от дела, материи от духа, духа от чувства, на образование замкнутых людских «пород», на раздробление человека.

Необходимо отметить еще две характернейшие черты социалистического мироощущения, которые глубоко связаны с общественным бытием социалистического человека. Это – *динамизм* и *оптимизм*, проникающие во все формы его общественного сознания. Материальная жизненная основа социализма – его производительные силы – величина, необычайно *динамическая*: она развивается с огромной быстротой, поэтому *вся* жизнь социалистического и коммунистического общества отличается крайней подвижностью. Это отнюдь не значит, что жизнь развитого социалистического общества или общества коммунистического будет похожа на истерическую лихорадку урбанистической жизни Америки: *Энгельс* прямо писал об исчезновении гигантских городов («Анти-Дюринг»). Темпы развития будут выражаться в темпах нарастания жизненной полноты в ее *разумных*, т. е. целесообразных, формах, в том числе и в успехах борьбы с отрицательным наследством *капиталистического* машинизма и урбанизма (борьба с загрязнением природы, с шумом, со скученностью, борьба за солнце, свет, воздух, зелень, воду).

С другой стороны, мироощущение социализма глубоко *оптимистично*, ибо оно есть выражение *прогрессивного* развития, которое является жизнеутверждающим началом и яркой антитезой скептицизма и пессимизма современной буржуазии, плохо

прикрытого крикливыми возгласами и фанфарами фашистских янычар.

В *мировоззрении* социализм развивает и будет развивать теорию *диалектического материализма*, типичной и стержневой чертой которого является познание универсальной связи мира в противоречивом движении его многообразных моментов, в его историческом развитии.

Диалектический материализм, исходя из реального существования внешнего мира, независимо от человеческого сознания, рассматривает единство мира, как его *материальное* единство. Но сама материя представляется не бескачественной сплошностью, а качественным многообразием, с переходом одних качеств в другие, причем «дух» является одним из свойств определенным образом организованной материи. Мир находится в вечном движении, в вечной смене форм, в исчезновении одних и появлении других качеств и форм, в вечном их *становлении* (т. е. переходе от не-бытия к бытию). Диалектический материализм опирается не на формальную логику (которой он отдает должное в определенных пределах), а на логику более высокого порядка, на диалектику, которая есть логика противоречий, теоретически схватывающая формы движения, а не оперирующая застывшими и закоченевшими абстракциями формальной логики, статической по существу. Поэтому абстракции диалектического материализма конкретны, они *in pace* содержат в себе все богатство конкретных определений. Единство мира есть единство субъекта и объекта, но это, следовательно, противоречивое единство. *Объект* есть исторически развивающаяся величина, в свою очередь, противоречивая; для субъекта он есть предмет теоретического и практического овладения. *Субъект* есть тоже исторически-общественный субъект, а не внеисторическое абстрактное «Я» буржуазной философии. Общество, в свою очередь, есть единство противоречий, но исторически-конкретных типов и форм, переходящих одна в другую, в силу основного противоречия между ростом производительных сил и данной формой общества. И т. д. и т. п.

Качественному многообразию мира соответствует специфичность многообразных законов. Но это отнюдь не приводит к философскому *плюрализму*. Ибо единство мира философски отражается в универсальной категории *необходимости*, которая, в свою очередь, выражается во *всеобщих законах диалектики*, опирающихся на различные формы *необходимой связи* (каузальность, функциональная связь и т. д.), которые опять-таки имеют формами проявления

специфические законы качественно разнообразных сфер мира (законы физики, химии, биологии, социологии и т. д.).

Познание есть теоретическая сторона и теоретическое удлинение процесса практического овладения миром. Процесс познания есть *исторический* процесс, бесконечный во времени. Познание истинно, поскольку оно соответствует объективной действительности. Эта истинность, это соответствие действительности постоянно проверяется *практикой*, преобразующей мир.

Таковы некоторые основные положения диалектического материализма.

Нетрудно и здесь видеть, как «способ производства» отражается на «способе представления», и как более высокий способ производства ведет к более высокому «способу представления», познавательно гораздо более ценному, чем все предшествовавшие методы мышления о мире. Здесь нет ни «иерархии», сублимированной до степени религии, ни фетишизма пустых абстракций. Здесь есть движущееся противоречивое единство, с его многообразными определениями, т. е. *расчлененная, диалектически развивающаяся, целостность*.

Это и есть основной стилиевой принцип социалистической культуры.

Но ведь *фашизм* кричит о «целостности», «целокупности», «общности» и т. д.

Это верно, но все дело в том, что «целостность» у фашизма есть такой же обман, как и фашистский «социализм». Ибо это есть фиктивная «целостность» каторжного режима, железными цепями сковывающего антагонистические классы и интересы, в своей *иерархии* закрепляющего классовое и под классовое раздробление человеческого общества. *Всякое* общество, как таковое, есть в известной мере единство: иначе оно не было бы и обществом. Но есть единство и единство, целокупность и целокупность: есть *качественно различные* единства, и в этом весь вопрос.

Феодальное общество было иерархическим единством, где у основания пирамиды прозябала в тяжком труде и гнете масса прикрепленных крестьян, над которыми покоилась лестница вассалов, сюзеренов, крупнейших князей и, наконец, главного феодала, помазанника божия, короля. Земная иерархия переходила далее в небесную.

Капиталистическое общество было тоже определенным *единством*. Но это «единство» осуществлялось через *рыночную* связь товаропроизводителей, *иерархия* была организована по существу на основе капиталистической монополии на средства производства, а

формально – на основе свободного договора. Внизу – наемные рабочие, новый класс, да переданные по наследству от феодализма крестьяне. Вверху – раздробленные собственники капитала и земли. Об этом единстве мы находим у Гегеля следующие строки:

...ей (Греции –Н.Б.) не было знакомо абстрактное право наших современных государств, изолирующее отдельного человека, дающее ему, как таковому, полную свободу действий и все же связывающее всех, как невидимый дух, так что ни в одном человеке нет ни сознания целого, ни деятельности для целого, а только каждый признается личностью и каждый заботится только о защите своей отдельной личности, и все же выходит (!), что он действует для пользы целого, сам не зная, как он это делает. Это разделенная деятельность, в которой каждый является только отдельной штукой, подобно тому, как на фабрике никто не изготавливает целой вещи, а лишь определенную часть вещи, и никто не умеет делать других частей, помимо тех, которые он обычно изготавливает, и лишь немногие умеют составлять из этих частей целую вещь(54).

Гегель берет здесь момент рыночной связи, но не останавливается на *классах* и их противоречиях; он еще витает в оптимистических представлениях о всеобщей пользе, приносимой «целому» в силу анархии *laissez faire*. Однако, он видит относительность этого «целого», хотя и не всю.

Всеобщая «изоляция» была сменена тенденциями к организации рабочего класса и к росту монополистических союзов капитала. Ряд исторических причин, связанных с кризисом капитализма и революциями, рост опасности для буржуазии привел к фашизму, который против *социализма* выставил свое государство. Здесь монополистический капитализм перерастает в иерархический государственный капитализм. Это тоже единство, но, повторяем, фальшивое единство, не только оставляющее в полной неприкосновенности самые кровавые противоречия капиталистического порядка вещей, но даже обостряющее их.

Социализм же есть *действительное* единство, ликвидирующее классовые противоречия. Поэтому и весь *стиль социалистической культуры есть стиль действительного единства*, противоречия которого суть противоречия совершенно иного типа, ничего общего не имеющие с социально-классовым антагонизмом.

Это, возникающее и исторически развивающееся единство и создает то непонятное для некоторых европейских и американских

наблюдателей явление, что многие «почему?», столь волнующие «индивидуумы» в капиталистических странах, мало интересны у нас, в СССР. Происходит это по той простой причине, что в капиталистических странах налицо общий кризис культуры, многие «личности» и группы «личностей» дезориентированы, они ищут путей и выходов. А в СССР эти пути для миллионов настолько ясны, настолько проверены на опыте, что люди *делают дело* и ищут методов, как *это* дело сделать лучше и быстрее. Поэтому здесь другая направленность интереса: у нас нет никакого кризиса, а есть массовая творческая работа, которая идет тем великолепнее, чем больше она опирается на уже достигнутые результаты.

Тот же Гегель, анализируя время Сократа и сократиков, сделал следующее весьма интересное замечание:

Когда пользуются признанием религия, государственное устройство, законы народа, когда индивидуумы, являющиеся членами народа, находятся в единстве с последним, тогда не задают вопроса, что должен индивидуум делать для себя. При состоянии народа, в котором руководствуются нравами, религией, индивидуум находит назначение человека предначертанным в наличном, и эти нравы, религия и законы наличны так же, как и у нем (последн. курс Гегеля – Н. Б.). Напротив, если индивидуум больше уже не пребывает в нравах своего народа, больше уже не находит своего субстанциального в религии, в законах и своей страны, то он уже больше не находит того, что он хочет, и перестает удовлетворяться своим настоящим. Но раз эта раздвоенность возникла, индивидуум должен углубиться в себя и там искать своего назначения. Это и есть причина возникновения вопроса: что существенно для индивидуума, к чему он должен готовиться, к чему стремиться?

Здесь, конечно, дело не в конкретных формах сознания (напр., религии), а в общественных формах сознания вообще. Кризис капитализма потряс эти формы, и многие «индивидуумы» в буржуазном обществе выбиты из колеи. Рост социализма в СССР уже выработал новые формы (законы, нравы, мировоззрение); здесь никакого кризиса нет и быть не может. Общественное единство здесь все более крепнет. «Индивидуум» здесь прекрасно знает, что ему нужно делать и по какому общему пути идти, ибо по этому пути уже давно идут, и идут победоносно. Следовательно, и соответствующие «почему» не играют здесь большой роли. Это не признак недостаточной культурности, а признак решенности этих вопросов:

они сняты жизнью, и *другие* вопросы волнуют общественное сознание, ибо индивидуум здесь «*пребывает* в нравах своего народа», выражаясь языком Гегеля.

Этому же автору принадлежит и следующее проникновенное положение:

Только свободные народы обладают сознанием целого и действуют в интересах целого.

И действительно, только в нашей стране свободные народы обладают таким сознанием и с величайшим энтузиазмом действуют в интересах своего великого целого, СССР.

Так растет новая, социалистическая, культура, культура единства и братства человечества, культура бесконечного прогресса.

Глава XII

О РОЛИ ПАРТИИ И ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА В КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Мы должны поставить, наконец – last but not least – вопрос о *партии и диктатуре пролетариата*, важнейших рычагах революционного общественного переустройства. Мы будем рассматривать эти вопросы, отвечая на важнейшие и наиболее распространенные аргументы против нас, характерные для враждебной нашему делу капиталистической печати.

В предыдущем изложении мы говорили о целом комплексе прочнейших завоеваний материальной и духовной культуры социализма: об огромной строительной работе, о массовом культурном подъеме, о новых потребностях, о росте личности, о формировании целостного человека, о свободе и прогрессе и т. д. и т. п. Однако, для того, чтобы понять эти результаты, к которым вел весьма подчас мучительный путь развития, необходимо хотя бы вкратце остановиться на основных *рычагах* этого развития, на *партии и диктатуре пролетариата*. Это необходимо сделать тем более, что именно сюда направляются стрелы врагов.

Завоевание социализма произошло в стране, которая двадцать лет тому назад была одной из самых отсталых капиталистических стран, с весьма «незрелой» материально-технической и экономической базой, с гигантским численным преобладанием многомиллионных мелких хозяйчиков-крестьян и с пролетариатом, многие составные части которого состояли из полукрестьян и полуремесленников. К тому же обширные колонии России отличались еще более низким уровнем, вплоть до примитивов родового быта. В течение меньше, чем двадцати лет, в условиях крайне тяжелых, имея такие отправные пункты развития, удалось превратить эту страну в страну социализма, передовой социалистической индустрии и крупного механизированного социалистического сельского хозяйства, удалось сплотить громадные, прежде дико распыленные и в значительной мере аморфные, человеческие массы в волевым, активный, культурный социалистический народ, который выказывает чудеса героизма, изобретательности, творчества. Этот гигантский преобразовательный организационный процесс, происходивший в непрерывных классовых битвах, имеет свою *внутреннюю механику*, на которой нам и хочется в настоящей главе остановиться.

Ясно, что какой-то кристаллизационный подготовительный период должен был начаться гораздо раньше. Это была организация *партии*, партии *особой*, партии, росшей в боях, партии с огромным теоретическим предвидением и с железной боевой дисциплиной.

Опираясь на учение *Маркса*, на огромный опыт борьбы западноевропейского пролетариата, на непосредственный опыт борьбы пролетариата в России, *Ленин* начал складывать, камень за камнем, такую боевую партию из отборных и закаленных бойцов. В непрерывных идеологических сражениях с народниками, анархистами, позднее либералами, социалистическими оппортунистами и т. д., боях, заходивших иногда чрезвычайно глубоко в область сложнейших теоретических вопросов, *Ленин* дал широкую, великолепную теоретическую ориентацию на всем фронте борьбы. Одной из составных частей здесь были и учение о *субъекте революции*, о классе, о его партии, о соотношении с другими классами, о гегемонии пролетариата и т. д.

Что такое партия? Откуда возникает ее необходимость? Она возникает из неоднородности самого пролетариата, неодинаковой зрелости его частей: ибо пролетариат все время *образуется* из крестьян, ремесленников и т. д., имеет различные степени своего рабочего стажа, своей сознательности, своей культуры вообще и

своей политической культуры в частности и в особенности. Поэтому необходимо выделение *авангарда* пролетариата, т. е. его наиболее сознательной части, представляющей его длительные и *общие, принципиальные, интересы*, в противоположность временным, локальным, цеховым, частичным интересам. Партия, следовательно, есть и мыслительная лаборатория, вырабатывающая сознательную ориентировку, единство мысли, план борьбы; она есть и организация наиболее тесно сплоченных рядов пролетариата; она есть и просветитель и руководитель класса в целом, обеспечивающий единство массового действия. Сама партия, по определению Сталина, есть едино-мыслящая и едино-действующая организация.

Только имея такую, поистине *железную*, партию, которая повела за собой массы пролетариата и крестьянства, выражая своим руководством гегемонию пролетариата, только благодаря гениальной ленинской тактике, основанной на глубочайшем предвидении событий, можно было победить и взять власть в свои руки.

Итак, мы видим следующее соотношение победоносных сил: широкие массы крестьянства, пролетариат, его профсоюзы и т. д., его партия (авангард), вожди партии (руководство авангарда).

Вожди только тогда вожди, когда они связаны с теми, кем они руководят, авангард есть только тогда авангард класса, когда он связан с этим классом, являясь его головной колонной; класс только тогда руководит другим, родственным, классом, когда он связан с ним, непрерывно влияет на него и т. д. И только при таких условиях можно победить.

Факт победы говорил сам за себя. Но отсюда вытекает вся нелепость аргумента, будто партия осуществляет диктатуру *над* пролетариатом, или (еще более тривиальная формулировка), будто вожди осуществляют диктатуру *над* партией и *над* классом. Это – обычная злостно окрашенная болтовня политических врагов. Сама постановка является дикой постановкой, ибо она разрывает *внутриклассовые связи* между вождями, партией, классом. Что значит «диктатура партии» *над* классом? Что партия есть *внеклассовая* сила? Или что партия, это – *другой* класс? Это очевидный вздор. Следовательно, если с самого начала во всех органах новой государственной власти, советской власти, *диктатуры пролетариата*, руководящие посты занимали коммунисты и в правительстве коммунисты определяли политику, то это было и является выражением воли *класса*, через наиболее сознательных,

опытных, знающих, преданных *носителей интересов этого самого класса*.

Диктатура пролетариата *подавляет* враждебные классы, *руководит крестьянством* (по-разному на разных этапах развития), руководит борьбой и строительством, а *партия* через своих членов руководит государственным аппаратом в целом, обеспечивая *единство действия по всей линии*.

Но здесь выдвигается со стороны противников тот «довод», что нельзя говорить ни о какой свободе и ни о какой демократии в СССР именно потому, что у нас только *одна* партия; в частности утверждается, что новая конституция стоит дальше от практики 1918 года, когда существовали легально *другие* партии, стоявшие, по их уверениям, на «советской платформе»: на съездах советов участвовали левые эсеры, анархисты, меньшевики, т. н. «революционные коммунисты». А теперь новая конституция не дает места для других партий. Значит – делается отсюда вывод – СССР политически менее демократичен, чем в 1918 году.

Все эти рассуждения насквозь *фальшивы*. В 1918 г. это были остатки досоветского положения, такие же, как, например, кадетские газеты в Москве в самый разгар восстания. На *опыте* массы убедились, что другие партии неизбежно, в самые тяжелые моменты, подрывают единство действия, *исторически* необходимое, чтобы привести общество к *универсальной свободе коммунизма*. Массы победили интервентов и белых своим единством и единством своего руководства. Единством они победили голод. Единством они победили кулака. Единством они победили в борьбе за гигантскую реконструкцию, за тяжелую промышленность, индустриализацию и коллективизацию.

Единством они победят в надвигающейся борьбе с нападением империалистов. Это говорит многолетний опыт, исключительно богатый по своему содержанию и по своим разнообразнейшим формам. А теперь, при величайшей сплоченности социалистического народа, всякая другая партия есть партия иностранной фашистской агентуры, как это доказано на примере злодейской организации троцкистов, ни на какие массы не опиравшихся.

Таким образом, можно сказать, вспомнив все, что мы говорили ранее о развитии реальных, весьма многообразных, свобод в СССР, что в СССР существуют нигде не виданные свободы и широчайшая демократия, но *для народа, а не для антинародных агентов фашизма*.

Внутри советского народа, где быстро стираются остатки граней между классами, *нет* почвы для партий, как это совершенно правильно было сформулировано *т. Сталиным*. Аргументы против этих его соображений, аргументы, которые были развиты *О. Бауэром*, не выдерживают критики: *Бауэр* говорил о разных возможных ориентациях, о распределении средств на более далекие или на более близкие цели, о разных пропорциях в бюджетных затратах и т. д. Но все эти вопросы обсуждаются в рамках партии, на беспартийных собраниях, в органах государства. А в щель, открытую для других *партий*, неизбежно полезут лазутчики врага, тем более, что вся международная обстановка совершенно специфична.

По существу дела, однако, следует перенести центр тяжести в *другую плоскость*, снова указав на то, о чем у нас речь шла в главе *о свободе*. Среди нашего советского народа интерес к другим партиям и их эвентуальной свободе *минимален*: это интересует, быть может, несколько сот людей. А интерес *десятков миллионов* есть интерес к тем *реальным свободам*, которых нигде нет, кроме нашей страны, к свободам, относящимся к сфере труда, отдыха, образования, культурного роста, управления своим государством и своим производством и т. д. и т. п. Широта массовой самодеятельности, непрерывный рост ее, как *форма развития*, и есть свойство *советской демократии*, которая является в то же время *пролетарской диктатурой*. Новая конституция отменила временные преимущества пролетариата по отношению к крестьянству, и уже эта одна реформа показывает, как далеко продвинулось вперед действительное сплочение народа. Новая конституция ввела всеобщее, равное, прямое и тайное голосование. Новая конституция ввела право на гарантированный труд, на образование, на отдых и т. д., как закрепленные за всеми гражданами СССР конституционные права. *Эта последняя* сторона конституции есть громаднейшее завоевание, материальным базисом которого является исключительный рост страны, ее богатства, ее ресурсов, средств и возможностей. Никакие буржуазные демократии в мире не могут сравняться хоть в отдаленнейшей степени с демократией растущего советского государства.

И все эти завоевания были бы немислимы без единой руководящей силы, воплощающей разум и волю пролетариата, народа, всей социалистической страны, *без коммунистической партии*.

От коммунистической партии идет *организационная культура*. Партия большевиков была во всей России и для всей России *единственной* силой, которая в полной мере представляла себе все гигантское, поистине всемирно-историческое, значение организационной культуры. В России не было организационных традиций и примеров. Та невероятная сплоченность и дружность рядов, какую обнаруживали большевики, та сверхчеловеческая энергия, какую они развили среди масс, просвещая и организуя их, поистине беспримерна в истории. И тут нужно сказать, что партия сумела систематически будить энергию и волю к организации *самих этих масс*, подхватывая каждый пример массовой самодеятельности и организованности и немедленно обобщая его. Так совокупность народов, наименее организованных во всей Европе, стала самым *организованным народом в мире*. Это есть совершенно непреложный всемирно-исторический факт, который нельзя обойти никакими оговорками.

От коммунистической партии идет *политическая культура*. Партия большевиков, опираясь на учение *Маркса*, обогатив это учение работами *Ленина* и *Сталина*, показала и показывает замечательнейшие образцы *политического искусства*. Известно, что еще древние придавали исключительное значение политике. Так, например, *Аристотель* говорил:

Всякая наука и способность (сила) имеет цель, и этой целью является благое; чем превосходнее эта наука, тем более превосходную цель она имеет. Но наипревосходнейшей способностью является *политическая способность*.

Вот эту «политическую способность», «наипревосходнейшую способность», большевики обнаружили в наипревосходнейшей степени. Замечательное теоретическое предвидение, блестящие прогнозы, и большого масштаба, которому соответствует стратегия, и малого, которому соответствует тактика; необычайная гибкость и смелость тактики, беспримерная в особенности при крутых исторических поворотах; блестящее знание и врага, и руководимых масс, великолепный классовый анализ, учет всей сложности национальных моментов; совершенно исключительное чувство реальности, специфической конкретности, особенностей каждой ситуации; полная беспредрасудочность при негибаемой принципиальности и принципиальной непримиримости к классовому врагу; полет самой смелой мысли и в то же время наитрезвейший учет

и счет всех реальностей, вплоть до «imponderabilia» (55); словом, блестящее применение *диалектики* – характеризуют политику большевистской партии. Но не только задачи непосредственной силовой борьбы, военной и просто классово-вой, нашли у партии свое разрешение. Политика строительства, экономического, культурного, технического, всякого иного, связанная с борьбой против классовых врагов и их отрядов, тоже нашла в лице большевиков достойных своего величия носителей. В области международных отношений большевистская дипломатия не имеет себе равных, – это признано всеми. Но политика партии предполагает и политическое просвещение масс, и не только через книгу, но на учете повседневного опыта. Здесь партия точно также может гордиться исключительными успехами. Так политическая культура в нашей стране стала *массовой* политической культурой, и по своему политическому уровню советский народ, несомненно, стоит на первом месте среди всех народов мира. От большевистской партии идет и социалистическая *интеллектуальная культура*. Марксизм вообще и диалектический материализм, как его философская сторона, подняты партией на высоту фактически официальной государственной доктрины. Это учение, которое является самой прогрессивной теорией из всех существовавших и ныне существующих, проникло теперь буквально во все уголки страны и завоевало свое место решительно во всех областях идеологии. Великое освободительное значение марксизма-ленинизма сказывается на том, что все большие массы (которые уже отвыкли от форм религиозного сознания) имеют теперь такое мировоззрение, которое повышает их активность, необычайно расширяет кругозор, объясняет мир и тут же помогает его изменению. Марксизм – впервые во всем мире – проник и в сердце всех естественных наук, ибо метод диалектического материализма есть универсальный метод. Каждое новое поколение ученых, исследователей, политиков, педагогов и т. д. будет опираться на все более богатую методологическую основу развивающегося диалектического материализма.

От большевистской партии идет и *культура воли*. Из всех бывших в старой России групп и партий большевики выделялись еще в дореволюционные времена, как особый психологический тип «твердокаменных». Ни одна группировка не могла идти в какое бы то ни было сравнение с большевиками, энергия, упорство, негибкость которых резко выделяли их и отграничивали от «мягких», рыхлых, прекраснотдушных других группировок «социалистов». Никакая доза

«маниловщины» не была свойственна большевикам. Их железная энергия, волевая закалка, мужество, настойчивость в достижении поставленной цели, умение делать немедленные практические выводы из определенных теоретических посылок, умение добиваться своего, во что бы то ни стало, и в малом, и в большом, немало способствовали *победам*, которые рабочий класс одерживал под руководством партии. Культура *воли* была особо необходима в нашей стране, где, благодаря целому ряду исторических условий, этот момент был в минимуме: так называемой «славянской душе» его не доставало, да и на Востоке дело обстояло не лучше. Партия оказалась великим конденсатором волевой энергии, и под ее влиянием и примером воспитывался рабочий класс, а потом и широкие массы крестьянства. Термин «непартийные большевики», который впервые был произнесен *т. Сталиным* на одном из приемов в Кремле, как нельзя лучше выражает это влияние партии на беспартийных, превращающихся в «непартийных большевиков». Громаднейшая переделка, масс выразилась и в распространении этой *культуры воли*, образцом которой является ВКП (б). Эта культура воли является одной из составных частей великой и величайшей *культурной революции*.

Во всех этих сферах партия есть пионер, зачинатель, творец и мощный рычаг преобразования. Но и в *других* сферах партия есть поставщик *идей*, директив, лозунгов и мощных импульсов творчества. Ибо *политика* распространилась в организованном государстве и обществе на все области социального бытия.

В самом деле. Возьмем военную сферу, проблему *вооруженной борьбы, проблему военной обороны СССР*. Еще *Ленин* выдвигал со всей силой необходимость большевистского искусства вооруженного восстания, опираясь при этом на замечательные высказывания *Маркса*. *Ленин*, а затем *Ленин* и *Сталин* руководили гражданской войной, обнаружив гениальные военные способности. В войне генеральный штаб означает чрезвычайно много. *Ленин* упорно изучал военную литературу, весьма высоко ставил *Клаузевица*, обобщая опыт наполеоновских войн и мировой войны. *Сталин* является великолепным знатоком военной литературы, техники, организации, стратегии и тактики и практическим полководцем исключительного масштаба. Таким образом, партия в лице своих вождей вдохновляла, вела и будет вести к победам.

Возьмем *технику производства*. Разве не от партии шли мощные импульсы технического развития? Разве не партия выдвинула великие планы электрификации, механизации и химизации страны? Партия и

здесь была той громадной концентрированной силой, которая сломала консерватизм даже технических работников и инженеров, настояв на *своих* размерах, объемах, темпах, качествах и т. д. беспрецедентной технической реконструкции страны. В этом смысле электрификация, трактор, комбайн, автомобиль, аэроплан, радио, блюминги и слябинги, специализированные станки, мощные паровозы, метро и т. д. и т. п. до бесконечности суть детища нашей партии. На фронтах технической реконструкции коммунисты сражаются в первых рядах, как и комсомольская молодежь.

Возьмем *искусство*. Откуда, как не от партии (*Сталин*) шел лозунг *социалистического реализма*, под знамена которого стало искусство страны Советов? Этот лозунг перешел, впрочем, границы нашей страны и сделался достоянием всех революционных художников, поэтов, артистов мира.

Возьмем, наконец, *культуру труда* вообще. Разве опять-таки не от партии (вспомним коммунистические субботники, эти отмеченные гениальным взором *Ленина* первые ласточки социалистического соревнования) шли импульсы нового отношения к труду? И вот страна, отличавшаяся чуть ли не рабскими темпами труда, стала страной наивысших темпов в мире. Огромнейшая, поистине грандиозная работа по воспитанию масс была проделана партией, этим вдохновителем и руководителем культурной революции.

Конечно, партия не в состоянии была бы добиться таких блистательных результатов, *если бы она*, в свою очередь, не опиралась на широкие *массовые организации* и на само *творчество масс*.

Среди всех организаций трудящихся самой широкой, универсальной, всеобъемлющей является организация *советской системы государства*, то есть *диктатура пролетариата*.

Советское государство, система советов, охватывает громаднейшие массы и городского, и деревенского населения. Здесь сконцентрирована организованная мощь всей страны: ее вооруженные силы, ее направленные против врага репрессивные органы, эти органы непосредственной классовой борьбы; ее сложный аппарат «управления государством и хозяйством: экономика, образование, здравоохранение, наука, искусство и т. д., – все входит в сферу деятельности государства и все включается так или иначе в общегосударственный план. Но эта огромная организация есть в то же время величайшая школа самоуправления масс; через советы втягивается в дело строительства несчетное количество трудящихся: мужчин и женщин, рабочих и колхозников, инженеров и художников,

все расы, нации, племена; через советы идет громадная творческая работа, ежедневная и ежечасная. Собственно, управленческий аппарат (система наркоматов) отнюдь не изолирован от этой жизни советов, как и от жизни масс вообще, а связан с ней бесчисленными формами связи.

Советская власть, диктатура пролетариата, как политическая форма общества, не может быть ослабленной, пока не будут целиком уничтожены все остатки враждебных классов, какая бы то ни было агентура враждебных сил, какие бы то ни было опасности для социализма. Усиление и укрепление советского государства есть поэтому *историческая предпосылка* для его последующего отмирания: только тогда, когда можно будет начать ликвидировать меч, начнется отмирание государственной власти и управление над людьми» сменится «управлением над вещами».

В деле *культурной революции* советское государство играет совершенно исключительную роль. Через его органы проходит, направляется, конкретизируется и реализуется политика партии во всех решительно областях, за исключением, разумеется, внутрипартийной политики. Через его органы несутся в массу и с помощью его органов проводятся в жизнь разнообразнейшие решения партии. И, наоборот, масса через органы советской власти выставляет свои конкретные требования, через них проводит свои наказания, касающиеся бесконечного числа конкретных улучшений условий жизни, быта, хозяйства, управления, школы и г. д. Великое дело ликвидации неграмотности, обучения в школах (от низшей до высшей), научного исследования, организации книжного и журнального дела, театра, кино, радио, музыки и других видов искусства, физкультуры и спорта, экскурсий, отдыха и т. д. направляется органами государственной власти в соответствующих формах и пределах. Это – рычаг такой мощности и такого влияния, что значение его невозможно переоценить.

Здесь не место давать конкретное описание всех культурных функций советской власти и соответствующих ее учреждений. Скажем лишь, что даже противники наши признают огромные затраты на организацию научного исследования в нашей стране, указывая на настоящий «культ науки», который характерен для СССР.

Завоевания «духовной культуры» были бы немислимы без своих материальных предпосылок и без всего коренного изменения коренных укладов. Это лучше всего видно на деревне, где переворот в

способе производства (т. е. переход от мелкотоварного производства, основанного на хозяйстве «двора», к крупному, социалистическому механизированному производству) создал базис для полного *культурного* переворота и для необычайно быстрого изменения навыков, интересов, кругозора, форм мышления и т. д. А этот переворот в способе производства происходил – в условиях острейшей борьбы с кулачеством – при помощи *всех рычагов государственной власти* пролетариата, возглавлявшего колхозное движение бедняцких и середняцких масс.

Особо важную роль играет советская власть в деле культурного подъема прежних царских *колоний*. Здесь разнообразные виды национального самоуправления, вплоть до формы *союзных республик*, способствуют росту национальных культур, а перераспределение средств Союза в пользу ранее отсталых народов обеспечивает, как мы знаем, процесс *выравнивания в условиях развития*.

Словом, диктатура пролетариата есть величайшее орудие в борьбе за коммунизм, и не даром *Маркс* писал о себе, что основной его заслугой (и основной чертой его учения) является открытие того факта, что развитие классовой борьбы ведет с неизбежностью к *диктатуре пролетариата*.

Мы уже говорили по другому поводу о *культурной роли Красной Армии* и организации вооруженных сил СССР вообще. Эта роль действительно огромна, и ее удельный вес в общем культурном балансе страны весьма значителен. Таким образом, та часть совокупного государственного аппарата, которая во всех других странах воплощает забитость, тупость, мертвечину, культурную слепоту, в стране социализма является первоклассной школой социалистической культуры: и *«внешней цивилизации»*, и *«внутренней культуры»*.

При выяснении роли государственной власти социализма в деле культурной революции нужно не упускать из виду подчеркивавшегося уже нами обстоятельства, что в СССР государство не стоит *над* обществом, как паразитарный нарост, как обособившаяся величина, отделенная от общества, им командующая, сосущая из него соки и противопоставляющая себя общественным организациям. «Государственность» у нас переходит в «общественность» и наоборот. Все массовые организации так или иначе играют роль периферийных органов государства и тесно связаны с советами и советскими учреждениями. Таким образом, мощь государства советов, это, в сущности, *мощь всех имеющихся в*

стране организаций, это мощь всего организованного советского народа.

Не последняя роль пролетарской диктатуры состоит в защите всех культурных завоеваний от вражеских посягательств. Об этой функции никоим образом нельзя позабыть. То самое требование *историчности оценок*, которое мы выставили с самого начала нашего изложения, здесь уместно тем более, чем где бы то ни было. Мы еще не достигли всемирного объединения социалистического человечества: мы только идем к нему. Мы живем в кольце капиталистических государств, часть которых не просто враждебна, а бешено враждебна нам. Капиталистический мир в лице фашистских стран имеет свой наиболее воинственный и наиболее варварский фланг, который ежеминутно готов пойти в атаку против социалистических народов. Между тем центр тяжести действительного мирового прогресса переместился именно сюда, в страну социализма. И, наоборот, фашистские государства обнаруживают все большее обеднение своей духовной жизни, все большую варваризацию людских отношений, быта, идеологии. Культурной революции в стране социализма там соответствует глубочайшая культурная реакция, и только хватательные милитарные челюсти хищного государственного организма отрастают, за счет всего остального, с удивительной быстротой. Отсюда вытекают *исторические задачи обороны СССР*, то есть защиты всего будущего культуры вообще. Это в данный исторический момент – одна из важнейших функций пролетарского государства, государства социализма.

История идет не прямыми путями, и среди великих катастроф создается, вырастает, складывается и формируется новая, социалистическая, культура. Она строится сознательными усилиями все более организованного общества, усилиями миллионов, руководимых своим государством и своей испытанной партией, концентрирующей волю и разум самого передового класса. *Партия и диктатура пролетариата* суть великие рычаги преобразовательного процесса и в то же время определенные ступени в организации общества. С *партии* началась организация революционного класса, обросшая потом организациями другого порядка, с расчлененными функциями и специфическими задачами. С организацией *советского государства* создалась универсальная организация всех трудящихся (по своему составу), являющаяся в то же время, в силу руководства со стороны партии, *диктатурой пролетариата*. Эти организации, связанные со всеми другими организациями страны, во много раз увеличивают силу масс. Но именно тогда, когда эта сила организованности достигнет своего высшего выражения, то есть

когда враги будут побеждены, опасности исчезнут, все классовые грани сотрутся, все рудименты старых идеологий отомрут, все родимые пятна отмоются, именно тогда перестанет быть нужной и партия, и государство. Такова диалектика исторического процесса. Социализм перерастет в коммунизм, в *безгосударственное* общество, высочайшая организованность которого потеряет всякий принудительный характер; «политика» исчезнет навсегда, как и иерархия, власть, законы, право, армии, тюрьмы, суды и всякая команда над людьми. Это предполагает, конечно, дальнейшую громадную культурную *переделку людей*. Но если за двадцать лет революции или, вернее, за две пятилетки, был сделан такой огромный прыжок в области переделки людьми своей собственной природы, то не будет ничего удивительного в том, что в следующие за всемирной победой социализма две пятилетки будет сделан другой мощный скачок, от *социалистического* человека к человеку *коммунистического* общества, к человеку, который уже не будет нуждаться ни в какой узде, ни в каких принудительных нормах, ни в каком государстве и ни в какой партии. Тогда настанет конец политике. Ибо, вопреки Аристотелю, политика не есть носитель абсолютного блага, а преходящая форма общественного бытия, исторически необходимая для целого ряда общественных формаций, но на определенной стадии развития за ненужностью исчезающая. В арсенале культуры это, конечно, вызовет немалые изменения: раз исчезает государственная форма общества, то исчезают и правовые нормы, и вся более высокая «правовая идеология»; это предполагает ряд изменений в быту; гораздо более *культурные* и еще более человеческие отношения между людьми; гораздо большее непосредственное чувство интересов целого; универсализация свободы; еще большее развитие *личности* при одновременном усилении «общности»; исчезновение в идеологии всякой «авторитарности» на основе ликвидации иерархии и разделения труда и т. д. и т. п. Путь к этому лежит через огромные битвы, требующие железной дисциплины, партийного руководства, напряжения сил пролетарской диктатуры. И поэтому очередной задачей является всемерное укрепление этих великих факторов преобразовательного процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы подошли к концу нашей работы. Необходимо здесь оговориться, что наш анализ кризиса буржуазной культуры далеко не полон, ибо он берет лишь крайний фланг империалистической буржуазии, *фашизм*, и не останавливается на подробном рассмотрении других идеологий и их эволюции за последнее время: ни эволюции либерализма, ни эволюции социал-демократии, ни таких, чрезвычайно важных, явлений, которые мы наблюдаем в Соединенных Штатах Америки. Жизнь не исчерпывается своими полярностями, хотя именно в этих полярностях и их борьбе и заложено ее движущее начало. Тем не менее необходимо иметь в виду, что в разыгрывающейся мировой драме *все* промежуточные силы так или иначе неизбежно будут вовлечены в борьбу, и это теперь ясно каждому мало-мальски думающему человеку.

Великий кризис капитализма *налицо*: вся его культура в упадке, он полон смертельных противоречий, струны истории натянуты, как никогда.

Первая гигантская судорога нанесла ему громадный удар. Из мировой войны вышла революция пролетариата, родился первый громадный оазис нового мира, СССР. Тем самым дано *коренное изменение* всей мировой обстановки, изменение принципиальное, имеющее всемирно-историческое значение, изменение, определяющее *новую эру* в развитии человечества вообще. Ибо здесь *уже* налицо проявление специфических особенностей переживаемого человечеством кризиса, и все исторические аналогии именно поэтому ровно ничего не говорят об *исходе кризиса*. Можно указывать на латифундии, которые пожрали крестьянство и колонов; на армии рабов, набранных в опустошенных римским оружием странах; на финансовую олигархию; на цезаризм; на разложение семьи, на гетер, педерастию, уменьшение народонаселения; на исторически быстрое распространение мистики, восточных таинственных культов, астрологии, магии, гаданий, амулетов, оргиастических процессий, оракулов; на распространение пессимистической философии и от обжорства, и от голода; на кутежи, разврат, вырождение верхушки общества; на лицемерие, коварство, подозрительность при дворе цезарей; на возглас умирающего Августа: «А каково я сыграл *комедию жизни?*» и на многое другое, чему аналогии легко подыскать в явлениях упадка современного капитализма. Но все это не влечет за

собой ровно никакой аналогии в *крупных* и *решающих* проблемах кризиса и его *исторических последствий*. В античном мире не было класса, который олицетворял бы *более высокий* способ производства и, свергнувши царство поземельных собственников, рабовладельцев, откупщиков, смог бы организовать новый тип общества. А *капитализм* создал такой класс, современный пролетариат. И поэтому на наших глазах уже первая мировая катастрофа капитализма оказалась родовой судорогой для *социалистического общества*; это общество есть *факт*, всемирно-исторический факт, который нельзя уничтожить никакими заклинаниями и никакими волхвованиями мистических болтунов империализма. Все «доказательства» невозможности социализма вообще, или незрелости капиталистического общества для перехода к социализму, или невозможности построения социализма в одной стране, или неспособности пролетариата к положительной и творческой работе и т. д. и т. п. оказались жалким контрреволюционным вздором перед простым, элементарным, до грубости очевидным фактом: социализм родился, победил, вырос, возмужал, побеждает и готовится к новым победам. Вся идеологическая борьба за или против социализма перенесена теперь уже в другую плоскость этим фактом существования СССР. Но не только, идеологическая. Неизмеримо более важна *материальная* борьба против социализма, которая ведется прежде всего *фашизмом*.

Фашизм есть отчаянная попытка капитализма выйти из кризиса на путях того же капитализма, «подновленного» апелляцией к средневековью, открытым террором против революционного пролетариата, масками, сделанными под «социализм», демагогией и диким национализмом, какого не знала еще история. В этом эклектизме, в этом терроре, в этих масках, в этой демагогии проявляется заранее его историческая *обреченность*. Люди, которые в преходящих успехах зоологического национализма видят длительную прочность фашизма, заблуждаются так же глубоко, как и те, кто в шовинизме начала мировой войны видели длительное его засилье. «Тоталитарность» и «единство» в Германии, Италии, Японии, есть миф, «кажимость», «видимость» при глубоко антагонистической и противоречивой «сущности».

Наоборот, *социализм СССР* есть *действительная* тоталитарность, т. е. целостность, единство, динамика коего есть *самовозрастание этого единства*, что точно также доказано эмпирически с не подлежащей никакому сомнению убедительностью.

Фашизм не выдвинул ни одной новой идеи, не выставил ни одной новой культурной ценности. Все, что он делает и проповедует, есть заимствование из старого хлама, оригинальным является лишь сочетание этого хлама с «современной» задачей спасенья от неизбежной революции пролетариата. Какой новый тип человека создает фашизм? Тип ландскнехта (56). «Новый» тип мышления? «Солдатское мышление». «Новую» культурную ценность? Хищное животное. «Новое» общество? Средневековая иерархия. «Новый» социализм? Прусская армия «старого Фрица» «Новую» философию? Фома Аквинский, Яков Беме. И т. д. Даже обобщающая попытка «государственной биологии» есть в сущности линия на погружение в животное, в инстинкт, в зверство: таков смысл биологии, выставленной против социологии. И так решительно во всех областях. Это есть величайшее падение культуры, ее варваризация.

Социализм выдвигает и осуществляет на деле действительно новые культурные ценности: он создает нового целостного человека, он создает действительно целостное общество, он создает новые формы мышления, он впервые создает личность, он до небывалой степени расширяет действительную свободу, свободу развития, он по всем направлениям прогрессивен; он реализует братство народов, он идет к всемирному человечеству; он на деле ликвидирует всякую эксплуатацию, создает новый гуманизм, царство настоящей человечности; он реализует все большее богатство и многообразие жизни и по всей линии ликвидирует всякое варварство; он апеллирует не к прошлому, а к будущему и активно творит это будущее. Таким образом, здесь *два полюса* современности: это – не только два способа производства, но и две культуры, с противоположными путями движения их.

Решающим является здесь то обстоятельство, что фашизм не ликвидирует *ни одного противоречия* капитализма, которые взрывают этот капитализм. Наоборот, он их обостряет, сам является носителем и наиболее ярким выразителем этих противоречий, поскольку он создает каторжный режим для рабочих и поскольку основная ориентация фашизма, это – *война*. Perpetuum mobile (57) войн, их вечность, их желательность, их необходимость, их «очищающее» значение – вот что написано на знаменах фашизма. Но это и значит, что фашизм есть угроза всей культуре. «Гунны» современности, «мрачные иконоборцы», «крысы» пришли, оказывается, не со стороны пролетариата, а со стороны пушечных королей, лэнд-лордов, офицеров генерального штаба. Такова не иллюзорная, а

действительная история. И эта история возлагает на СССР всемирную миссию: *защиты культуры*.

Что СССР движется на путях *действительного выхода* из общего кризиса, доказано тоже уже эмпирически: основные противоречия капитализма, как экономической категории, перестали существовать в социалистическом обществе; производительные силы здесь развиваются беспрепятственно, нет ни перепроизводства, ни безработицы, ни недопотребления; эксплуатация исчезла; эксплуататорские классы исчезли; исчезают быстро и грани между тем, что раньше было пролетариатом, и тем, что раньше было крестьянством; в идеологической сфере ликвидированы противоречия между прогрессивным движением мысли, накоплением новых фактов, и консервативными формами мышления: последние сменились гибкими формами материалистической диалектики. И т. д. *Действительность* этого выхода обусловливается революционным преобразованием производственных отношений, предпосылкой чего является *диктатура пролетариата*.

Между этими двумя полюсами на мировой арене есть еще огромное историческое пространство, занятое более или менее «демократическими» буржуазными государствами: обширной империей бриттов, Соединенными Штатами, Францией и рядом мелких по своим размерам государств. И здесь есть свои «фашизмы», но они не стоят у руля государственной власти и имеют внутри этих стран против себя значительные организованные силы, в первую очередь, силы пролетариата: движение народного фронта, с энергичным участием коммунистических партий, достаточно ясно указывает на то, что уроки фашистского господства в Италии и в Германии не прошли даром. Японские захваты в Китае и провокационная политика японской военщины, захват Абиссинии Италией, наглая захватническая политика Гитлера, фашистская интервенция Германии и Италии в Испании, открытый выход Германии на пути новых захватов, систематические угрозы с ее стороны, далеко идущие ее грабительские планы, – все это создает в высшей степени тревожную обстановку. Идиллии, которые проповедовались апостолами «последней войны», лопнули, как детские мыльные пузыри.

Несмотря на ясно видимые планы агрессивных государств, «демократические» государства ведут политику уступок, поощряя тем самым фашистских поджигателей войны к новым и новым подвигам.

Единственным оплотом мира и культуры является сейчас страна Советов. Ей не страшны никакие бури и никакие черные молнии. Страна социализма консолидировалась во всех своих частях. Она

вооружилась и обучилась так, что может победоносно отразить какие угодно удары, надеясь только на свои силы. Этих сил будет вполне достаточно, чтобы разгромить разбойничьи орды и на Западе, и на Востоке, если их авантюристические повелители поведут их к границам нашего отечества, родины нового мира, родины нового человечества. Тогда и наступит окончательная историческая проверка, иллюзии обнаружат себя, как иллюзии, а основные закономерности истории пробьют себе дорогу, несмотря на все случайности.

Ибо военный конфликт, т. е. вторая мировая катастрофа, поднимет такие массы, развяжет такие силы, которые не снились пивным героям свастики и их союзникам. Со времен 1914 года произошли гигантские перемены, и у миллионных масс накопился опыт, исключительный по богатству своего содержания и по разнообразию своих форм. Все соотношения сил иные. Вместо колоссальной империи царей, этого чудовища на глиняных ногах, раскинулась на двух материках великая социалистическая держава, центр притяжения пролетариев, трудящихся крестьян, колониальных рабов, угнетенных наций. Вместо полусонного еще Китая – кипящая лава в душах нескольких сотен миллионов людей, проникнутых ненавистью к захватчикам. Вместо наивноватой веры в свои правительства и безусловного доверия к социал-демократическим вождям, среди пролетариата Европы – сугубое недоверие. Вместо кучки большевиков – коммунистические партии. Вместо почти безграничной веры в вечность капитализма и полного неверия в возможность социализма, у современной буржуазии широко-разлитой скепсис, боязнь будущего, при таких условиях мировая катастрофа не может не привести к неизбежной победе пролетариата и трудящихся в ряде стран, и зачинателям катастрофы воздастся по заслугам сторицей. Правда, они надеются на свою технику. Но этой технике будет противопоставлена *не менее* современная техника, а людям – гораздо *более* совершенные люди. Решают же дело не мертвые орудия, а именно живые люди, которые ими управляют, и тогда неизбежно обнаружится, что прусско-армейская заносчивость и рыцарские доблести самураев – ничто по сравнению с социалистическим сознанием и отвагой нового человека.

Трудящиеся массы, работники умственного труда, которые действительно заботятся о судьбах культуры, все «прогрессивное человечество» кровно заинтересовано в том, чтобы не допустить войны. Но если она разразится по воле поджигателей, то необходимо, чтобы конечный ее результат, разгром фашизма, был достигнут в

самые короткие сроки. Этого можно достигнуть всесторонней поддержкой главной армии культуры, то есть СССР. Поддерживать СССР есть главное и основное, и этой задаче должны быть соподчинены все другие задачи. *Все* тактические проблемы должны решаться под этим углом зрения, и под этим же углом зрения должны расцениваться любые силы. Ибо здесь лежит действительно «ось» всей международной политики, более того, *всей мировой истории*.

Роль СССР есть *всемирная* роль. Это – частично реализованное *всемирное* единство человечества, его часть, его историческое *начало*: в нем, в СССР, это человечество возникает и растет, в нем оно «становится». Дико было представлять себе победу мировой революции, как однократный, одновременный и однородный акт, сразу охватывающий весь мир. Мировая революция социализма есть долгий *исторический процесс*, включающий и пролетарские революции, и революции угнетенных наций, и возмущение колониальных стран. Контрреволюционная теория троцкистов о невозможности построения социализма в СССР, разбитая вдребезги жизнью, означала не что иное, как *ликвидацию* революций; «интернационализм» этой «теории» – не что иное, как желание превратить страну социализма в *привесок мирового капиталистического хозяйства*, подчинив ее закономерностям этого последнего, т. е. разрушив строительство социализма; поэтому она и привела своих адептов к отвратительнейшей и подлейшей роли *привесков при фашизме*. СССР же сложился в действительности, как мощное социалистическое государство, тогда как в других зонах революционного процесса пролетариат потерпел временное поражение. Но разве кризис капитализма перестал существовать? Разве революционный процесс остановился? Разве история прекратила свое течение? Нет и нет. «И все-таки она движется!» В этом движении есть своя логика. Новый «тур войн и революций» будет означать воспроизводство революционного процесса *«на расширенной основе»*, которая включает великую организованную мощь социалистического государства.

Так неумолимый ход истории неизбежно приведет к новым победам пролетариата. Заговорщики против мирного труда, разнузданные фашистские авантюристы, политики, бредящие захватами и развязывающие войну, независимо от своей воли и вопреки ей развяжут революционные контр-тенденции, массовые силы, которые положат конец всем их мечтам и всем их расчетам. Можно быть, во всяком случае, уверенным, что через некоторое

время напыщенная и велеречивая «идеологическая» болтовня фашистских вождей предстанет, как куча жалкого окровавленного тряпья, отвратительного в своей варварской убогости.

Люди, которые способны видеть исторические перспективы, люди, которые мучаются тяжкими проблемами современности, люди, которые искренно и честно хотят защищать культуру, которым дорог прогресс человечества, – все они должны понять, что первое условие решительной победы над фашизмом в *короткий* срок есть беззаветная поддержка СССР.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Волонтаризм – (от лат. voluntas – воля), термин введен Ф. Теннисом 1883 г: 1) направление философии, рассматривающее волю в качестве высшего принципа бытия, 2) деятельность, характеризующаяся произвольными решениями, осуществляющих ее лиц. С.51.

2. Mutatis mutandis (лат.) – с соответствующими изменениями. С.51.

3. США – речь идет о Соединенных Штатах Америки. С.53.

4. «Штандарт» (нем. Standarte) – здесь флаг, знамя. С.56.

5. Демиург (греч. demiurgos – мастер, творец) – здесь создающее начало.

6. Пацифизм (от лат. pacificus – миротворческий), антивоенное движение, участники которого выступают против всякой войны. С.57.

7. Primum agens (лат. первый агент, предвестник). С.61.

8. Аскетизм – (от греч. упражняющийся в чем-либо, а также отшельник, монах), ограничение или подавление чувств, желаний добровольное перенесение физической боли, одиночества и т. п., присущие практике некоторых философских школ (например, киников) и особенно различных религий (монашества и т. п.). С.71.

9. Н. Бухарин цитирует по памяти. Правильно:

«Я говорю о той религии, в основных догматах которой заключается осуждение всякой плоти и которая не только признает главенство духа над плотью, но стремится к ее умерщвлению ради возвеличивания духа; я говорю о той религии, которая, провозгласив учение о пагубности всех земных благ, о собачьей покорности и ангельском терпении, сделалась испытаннейшей опорой деспотизма. Люди осознали теперь сущность этой религии, их нельзя уже успокоить ссылками на небо, они знают, что и материя не вся от дьявола, что и в ней есть нечто хорошее... Именно достигнутое нами теперь полное понимание всех следствий этого абсолютного спиритуализма дает нам уверенность, что христианско-католическому мировоззрению пришел конец». С.71.

10. Гершензон М. О., Иванов В. И. Переписка из двух углов. – М.–Берлин, 1922. В издании 1922 г. приводимой цитаты нет. С.72.

11. Гегель. Лекции по истории философии. Сочинения. Т. X. Кн. 2. – М., 1932. С.43. С.73.

12. Каузальный ряд – (от лат. causalis – причинный, тоже, что причинность). С.79.

13. «Были горы Высокой». Рассказы рабочих Высокогорск. железного рудника о старой и новой жизни. Под. ред. Горького М., Мирского Д. – М.: Гос. изд. истории фабрик и заводов, 1935. С.82.

14. Западники – направление русской антифеодальной общественной мысли 40-х гг. 19 в. С.99.

15. Утопический социализм – учение об идеальном обществе, основанном на общности, имущественном обязательном труде, справедливом распределении. Понятие восходит к сочинению Т. Мора «Утопия» (1516). С.99.

16. Славянофилы – представители одного из направлений русской общественной мысли сер. 19 в.; выступали за принципиально отличный от западноевропейского путь развития России на основе ее самобытности. С.99.

17. «Ex Oriente lux» (лат. с Востока идет свет). С.100.

18. *Тураев Б.* История Древнего Востока – Т. II. С.145. Указанной цитаты нет. С.101.

19. «Orbis terrarum» (лат. «Круг земель», т. е. вся земля, весь известный мир). С.103.

20. «Илиада» – (поэма об Илиное, т. е. Трое), древнегреческая эпическая поэма. С.103.

21. «Одиссея» – древнегреческая поэма о странствиях Одиссея, приписываемая Гомеру.

Создана несколько позже «Илиады», приблизительно 8–7 вв. до н. э. С.103.

22. Гильгамеш – полубог-героический правитель г. Урук в Шумере (28 в. до н. э.).

23. Минерва – в римской мифологии богиня, покровительница ремесел и искусств. С.105.

24. Ubi bene ibi patria – (лат. Где хорошо, там отечество). С.105.

25. Bellum omnium contra omnes – (лат. Война всех против всех). Автором выражения является философ-материалист Т. Гоббс (1588–1679), употребивший его в латинском издании своего основного сочинения «Левиафан» (Амстердам, 1668, гл.18). С.114.

26. Н. Бухарин цитирует по памяти. Правильно:

«Это был величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености... Тогда не было почти ни одного крупного человека, который не совершили бы далеких путешествий, не говорил бы на четырех или пяти языках, не блистал бы в нескольких областях творчества. Леонардо да Винчи был не только великим живописцем, но и великим математиком и инженером, которому обязаны важными открытиями самые разнообразные отрасли физики. Альбрехт Дюрер был живописцем, гравером, скульптором, архитектором и, кроме того, изобрел систему фортификации, ... Макиавелли был государственным деятелем, историком, поэтом и, кроме того, первым достойным упоминания военным писателем нового времени. Лютер вычистил авгиевы конюшни не только церкви, но и немецкого языка, создал современную немецкую прозу и сочинил текст и мелодию того проникнутого уверенностью в победе хорала, который стал “Марсельезой” XVI в. Герои того времени не стали еще рабами разделения труда, ограничивающее, создающее однобокость, влияние которого мы так часто наблюдаем у их преемников. Но что особенно характерно для них так это то, что они почти все живут в самой гуще интересов своего времени, принимают живое участие в практической борьбе, становятся на сторону той или иной партии и борются кто словом и пером, кто мечом, а кто и тем и другим вместе. Отсюда та полнота и сила характера, которые делают их цельными людьми. Кабинетные ученые являлись тогда исключением; это или люди второго и третьего ранга, или благоразумные филистеры, не желающие обжечь себе пальцы». С.115.

27. Time is money – (анг. Время – деньги). С.117.

28. Quantite negligee – (лат. быть незначительным). С.118.

29. *Минский Н.* Религия будущего (Философские разговоры) – СПб, 1905. С.121.

30. In abstracto – (лат. отвлеченно, в абстракции, вообще). С.122.

31. Fleurs du mal – Сборник Бодлера Ш. «Цветы зла» (1857 г.) С.123.

32. Locus standi – (лат. место, на котором он стоит). С.123.

33. Кабарда – Кабардино-Балкарская АССР в составе РСФСР. В 1957 г. Кабарда добровольно вошла в Русское государство, в 1774 г. присоединилась окончательно. С.125.

34. Роман «Наоборот» (1884 г.), автор – Гюйсманс Ш. С.125.

35. «Amies» – (фр. друзья, подружки). С.126.

36. Gemeinschaft – (нем. общность, общее). С.130.

37. Энгельс. Письмо к П. Л. Лаврову от 12–17 ноября 1875 г. Н. Бухарин цитирует по памяти. Правильно:

«Я не могу... согласиться с Вами, что “борьба всех против всех” была первой фазой человеческого развития. По моему мнению, общественный инстинкт был одним из важнейших

рычагов развития человека из обезьяны. Первые люди, вероятно, жили стадами, и, настолько наш взгляд проникнуть может в глубь веков, мы находим что так это и было». С.135.

38. Произведение Гоголя Н. В. 1839 г. С.136.

39. «Last but not least» – (англ. «хотя и последний, но не худший; последний по счету, но не по значению, не менее важный»). С.140.

40. Tutti quanti – (лат. им подобных). С.142.

41. Bildung und Besitz – (нем. Образование и имущество). С.144.

42. Н. Бухарин цитирует по памяти. Правильно:

«Требование равенства в устах пролетариата имеет таким образом двоякое значение. Либо оно... – стихийной реакцией против вопиющих социальных неравенств, против контраста между богатыми и бедными, между господами и крепостными, обжорами и голодающими; в этой своей форме оно является просто выражением революционного инстинкта и в этом, только в этом, находит свое оправдание либо же пролетарское требование равенства возникает как реакция буржуазного требования равенства, из которого оно выводится более или менее правильные, идущие дальше требования; оно служит тогда агитационным средством, чтобы поднять рабочих против капиталистов, при помощи аргументов самих капиталистов и в таком случае судьба этого требования неразрывно связана с судьбой самого буржуазного равенства. В обоих случаях действительное содержание пролетарского требования равенства сводится к требованию уничтожения классов. Всякое требование равенства, идущее дальше этого, неизбежно приводит к нелепости». С.149.

43. Н. Бухарин цитирует по памяти. Правильно:

«Ни один пролетарий-социалист или социалистический теоретик не захочет признать абстрактного равенства между собой и бушменом или обитателем Огненной земли, или хотя бы даже крестьянином, или же полуфеодалным сельским поденщиком; а как только это будет преодолено хотя бы в Европе, будет преодолена и абстрактная точка зрения равенства. При установлении рационального равенства само это равенство утрачивает всякое значение. Если теперь требуют равенства, то это происходит благодаря предвосхищению того умственного и нравственного выравнивания». С.150.

44. Н. Бухарин цитирует по памяти. Правильно:

«Через несколько поколений общественного развития при коммунистическом строе и при умножившихся ресурсах люди должны будут дойти до того, чтобы кичливые требования равенства и права будут казаться столь же смешными, как смешно, когда теперь кичатся дворянскими и тому подобными наследственными привилегиями. Противоположность как по отношению к старому неравенству и к старому положительному праву, так и по отношению к новому, переходному праву исчезнет из практической жизни; тому, кто будет настаивать, чтобы ему с педантической точностью была выдана причитающаяся ему равная и справедливая доля продуктов тому в насмешку выдадут двойную порцию». С.150.

45. Н. Бухарин цитирует по памяти. Правильно:

«Разделение общества на классы... было неизбежным следствием прежнего незначительного развития производства. Пока совокупный общественный труд дает продукцию едва превышающую самые необходимые средства существования всех, пока, следовательно, труд отнимает все или почти все время огромного большинства членов общества, до тех пор это общество неизбежно делится на классы. Рядом с этим огромным большинством, исключительно занятым подневольным трудом, образуется класс, освобожденный от непосредственно производительного труда и ведающий такими общими делами общества, как управление трудом, государственные дела, правосудие, науки, искусства и т. д. Следовательно, в основе деления на классы лежит закон разделения труда.

Упразднение классов предполагает такую высокую степень развития производства, на которой присвоение особым общественным классам средств производства и продуктов, – а с ними и политического господства, монополии образования и духовного руководства, – не

только становятся излишним, но и является препятствием для экономического, политического и интеллектуального развития». С.152.

46. Habeas Corpus acte – (лат. начальник слова закона о неприкосновенности личности, принятые английским парламентом в 1679). С.161.

47. Max Scheler – Макс Шелер. С.172

49. Fortschrittslehre – (нем. прогрессивное учение). С.174.

50. В цитате из «Капитала» (К. Маркса) вместо обуславливает – опосредует. С.176.

51. Стихотворение Баратынского Е. «Приметь» (1839 г.). С.180.

52. Работа Писарева Д. И. «Зарождение культуры» 1863 г. С.182.

53. Н. Бухарин цитирует по памяти. Правильно:

«...По форме своей капиталистическое управление деспотично...»

Как армия нуждается в своих офицерах и унтер-офицерах, точно так же для массы рабочих, объединенной совместным трудом под командой одного и того же капитала, нужны промышленные офицеры (управляющие, managers) и унтер-офицеры (надсмотрщики, foremen, overlookers, contre-maitres), распоряжающимся во время процесса труда от имени капитала». С.190.

54. Гегель «Лекции по истории философии» – кн. 2. Сочинения, том X. С.303–304. С.198.

55. Imponderabulla – (итал. неопределенный, неуловимый). С.205.

56. Ландскнехт – (нем. Landsknecht), немецкая наемная пехота в 15–17 вв. С.213.

57. Perpetuum mobile – (лат. непрерывно действующий механизм, вечный двигатель). С.214.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Августин Блаженный (Аврелий) – (354–430), христианский теолог, представитель западной патристики. Прошел через увлечение манихейством и скептицизмом, в 387 принял крещение. С.395 епископ Гиппона. С.49.

Август – (до 27 до н. э. Октавиан), (63 до н. э. – 14 н. э.) римский император с 27 до н. э. С.212.

Александр Македонский – (356–323 до н. э.), царь Македонии с 336. С.98, 107, 175.

Араки Садао – (1877–1966), один из главных руководителей и идеологов японской империалистической агрессии и фашизации страны в 20–40-х гг. С.123.

Аристотель (Стагирит) – (384–322 до н. э.), др. – греческий философ и ученый-энциклопедист, основатель перипатетической школы. С.75, 94, 204, 211.

Аристофан – (ок.445-ок.385 гг. до н. э.), др. – греческий поэт-комедиограф. С.88.

Ахилл (Ахиллес) – в «Илиаде» один из храбрейших греческих героев, осаждавших Троию. С.143.

Баратынский Евгений Абрамович – (1800–1844), русский поэт. С.179.

Бауэр (Bauer) Отто – (1882–1938), один из лидеров австрийской социал-демократии и 2-го Интернационала. Один из организаторов и лидеров 2,5-го (1921–1923) и Социалистического Рабочего (1923–1940) Интернационалов. С.203.

Белинский, Виссарион Григорьевич – (1811–1848), русский литературный критик, публицист, революционер-демократ, философ-материалист. С.115, 116.

Беме (Bohme) Якоб – (1575–1624), немецкий философ-мистик. С.103, 214.

Бергсон (Bergson) Анри – (1859–1941), французский философ, представитель интуитивизма и философии жизни. С.53.

Бердяев Николай Александрович – (1874–1948) русский религиозный философ, представитель персонализма. В 1922 г. выслан из СССР. С.1924 г. жил во Франции, издавал религиозно-философский журнал «Путь» (Париж, 1925–1940 гг.). С.53, 141, 142.

Бетховен (Beethoven) Людвиг ван – (1770–1827) немецкий композитор. С.54, 182, 193.

Блок Александр Александрович – (1880–1921), русский поэт. С.99, 128, 129.

Бодлер (Baudelaire) Шарль – (1821–1867), французский поэт. С. 123.

Брюсов Валерий Яковлевич – (1873–1924), русский поэт. Основатель русского символизма. С. 145.

Булгаков Сергей Николаевич – (1871–1944), русский религиозный философ и богослов, экономист. Член 2-й Государственной Думы (1907) от партии кадетов. В 1918 году принял сан священника. С. 1923 г. в эмиграции. С. 62.

Бэкон (Bacon) Фрэнсис (Веруламский) – (1561–1626), английский философ, родоначальник английского материализма и методологии опытной науки. С. 1618–1621 – канцлер Англии. С. 144, 146, 172, 179.

Вагнер (Wagner) Адольф – (1835–1917), немецкий экономист. С. 129.

Вагнер (Wagner) Рихард – (1813–1883), немецкий композитор, дирижер. С. 194.

Вебб (Webb) Сидней (1859–1947), и Беатриса (1858–1943), (супруги с 1892), английские экономисты, историки рабочего движения, идеологи тред-юнионизма и т. н. фабианского социализма. Сидней – один из организаторов и руководителей «Фабианского общества». Входил в лейбористские правительства (1924, 1929–1931). С. 64, 69, 80, 98, 168, 169.

Вебер (Weber) Альфред – (1868–1958), немецкий буржуазный экономист и социолог. Брат М. Вебера. С. 69.

Вебер (Weber) Макс – (1864–1920), немецкий социолог, философ и историк. С. 120, 187.

Веблен (Veblen) Торстейн – (1857–1929), американский экономист и социолог. С. 118.

Вундт (Wundt) Вильгельм – (1832–1920), немецкий психолог, физиолог, философ и языковед. С. 162.

Ганнибал – (247 или 246–183 гг. до н. э.), карфагенский полководец. С. 183.

Гегель (Hegel) Георг Вильгельм – (1770–1831), немецкий философ, представитель немецкой классической философии. С. 72, 87, 88, 126, 166, 167, 172, 175, 197, 198, 199.

Гейне (Heine) Генрих – (1797–1856), немецкий поэт и публицист. С. 53, 71, 145.

Гершензон Михаил Осипович – (1869–1925), русский историк литературы и общественной мысли. С. 72, 141.

Гете (Goethe) Иоган Вольфганг – (1749–1832), немецкий писатель, основоположник немецкой литературы нового времени. С. 54, 89, 143, 181, 182, 193.

Гитлер (Hitler) Адольф (настоящая фамилия Шикльгрубер) – (1889–1945). С. 175.

Гоголь Николай Васильевич – (1809–1852), русский писатель. Глава натуральной школы. С. 136.

Горький Максим Алексеевич (настоящая фамилия и имя – Алексей Максимович Пешков) – (1868–1936), русский, советский писатель и общественный деятель. С. 82.

Гюйсманс (Huyismans) Шарль Мари Жорж – (1848–1907), французский писатель. Автор романа «Наоборот» (1884). С. 125.

Давид (David) Эдуард – (1863–1930), деятель германской социал-демократии. Подверг ревизию теорию К. Маркса. Доказывал «устойчивость» мелкого крестьянского хозяйства. С. 62.

Дедал – в греческой мифологии искусный зодчий. С. 184.

Де Местр (De Maistre) Жозеф – (1753–1821), французский писатель. С. 123.

Домитиан (Domitianus) – (51–96), римский император с 81. Из династии Флавиев. С. 170.

Дюма (Dumas) Александр (Дюма-отец) – (1802–1870), французский писатель. С. 130.

Дюрер (Durer) Альбрехт – (1471–1528), немецкий живописец график. С. 114.

Жид (Gide) Андре – (1869–1951), французский писатель. С. 65, 137, 139.

Жуковский Василий Андреевич – (1783–1852), русский поэт. Один из создателей русского романтизма. С. 130.

Зиммель (Simmel) Георг – (1858–1918), немецкий философ и социолог. Один из значительных представителей философии жизни. С. 120, 157, 188.

Зомбарт (Sombart) Вернер – (1863–1941), немецкий экономист, историк и социолог, философ-неокантианец. Один из авторов реформистской теории «организованного капитализма». С. 161.

Икар – в греческой мифологии сын Дедала, поднявшийся в небо вместе с отцом. С. 184.

- Ильин Иван Александрович – (1882–1954), русский религиозный философ, представитель неогегельянства. С 1922 г. за границей. С.100.
- Иост Вильгельм – (1852–1897), немецкий этнограф и путешественник. С.89.
- Калигула (Caligula) – (12–41), римский император с 37 г. из династии Юлиев-Клавдиев. С.170.
- Кант (Kant) Иммануил – (1724–1804), немецкий философ и ученый, родоначальник немецкий классической философии. С.56, 79, 109, 172.
- Карсавин Лев Платонович – (1882–1952), русский религиозный философ и историк-медиевист. В 1922 г. выслан за границу. С.188, 1819.
- Картезий (Descartes) (латинизированное имя – Картезий-Декарт) Рене – (1596–1650), французский философ и математик, представитель классического рационализма. С.172.
- Кир II Великий – (? – 530 до н. э.), первый царь (с 558 до н. э.) государства Ахеменидов. С.98, 107.
- Клаузевиц (Clausewitz) Карл – (1780–1831), немецкий военный теоретик и историк. С.206.
- Ксеркс I – (? – 465 до н. э.), царь государства Ахеменидов с 486 г. до н. э. В 480–479 гг. до н. э. возглавил поход персов в Грецию, окончившийся их поражением. С.170.
- Лавров Петр Лаврович – (1823–1900), русский философ и социолог, публицист, идеолог революционного народничества, участник демократического движения 60-х годов. С.135.
- Лампрехт (Lamprecht) Карл – (1856–1915), немецкий историк. С.187.
- Лафарг (Lafargue) Поль – (1842–1911), один из основателей французской Рабочей партии, член 1-го Интернационала. С.130.
- Лежнев А. (псевдоним, настоящее имя – Абрам Зеликович (Захарович) Горелик) – (1893–1938), русский, советский критик и литературовед. С.116.
- Ленин Владимир Ильич (Ульянов) – (1870–1924). С.52, 100, 119, 130, 145, 155, 201, 204, 206, 207.
- Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci) – (1452–1519), итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый инженер. С.114, 182.
- Леонтьев Константин Николаевич – (1831–1891), русский писатель, публицист и литературный критик, поздний славянофил. С.53, 99, 123, 126.
- Лессинг (Lessing) Теодор – (1872–1933), немецкий писатель и философ. Убит фашистами. С.80, 81.
- Люциний (Гай Лициний Столон) – римский государственный деятель первой половины IV в. до н. э. С.71.
- Макиавелли (Machiavelli) – (1469–1527), итальянский государственный деятель, историк. С.114.
- Мальтус (Malthus) Томас Роберт – (1766–1834), английский экономист, основоположник антинаучной концепции мальтузианства. С.61, 144.
- Маркс (Marx) Карл – (1818–1883). С.50, 53, 61, 62, 74, 75, 82, 87, 92, 111, 122, 151, 156, 159, 162, 163, 174, 176, 187, 188, 189, 191, 201, 204, 209.
- Менделеев Дмитрий Иванович – (1834–1907), русский химик. С.54.
- Минский Н. (настоящее имя: Николай Максимович Виленкин) – (1855–1937), русский писатель. С.121.
- Михельс (Michels) Роберт – (1876–1936), историк, экономист и социолог. С.65, 66.
- Наполеон I (Наполеон Бонапарт) – (1769–1821), французский император 1804–1814 и в марте-июне 1815, из династии Бонапартов. С.143.
- Ницше (Nietzsche) Фридрих – (1844–1900), немецкий философ, представитель иррационализма и волюнтаризма, поэт. С.123.
- Овидий (Публиций Овидий Назон) – (43 до н. э. – ок. 18 н. э.), римский поэт. С.49.
- Павлов Иван Петрович – (1849–1936), русский, советский физиолог, создатель учения о высшей нервной деятельности. С.118.
- Парето (Pareto) Вильфредо – (1848–1923), итальянский экономист и социолог. Выдвинул концепцию «циркуляции (смены) элит», противник марксизма. С.64.

- Перикл – (ок.490–429 до н. э.), афинский стратег главнокомандующий), в 444/443–429 (кроме 430) вождь демократической группировки. С.181.
- Писарев Дмитрий Иванович – (1840–1868), русский публицист и литературный критик, философ-материалист и утопический социалист, революционный демократ. С.170, 181, 182.
- Платон Афинский – (427–347 до н. э.), др. греческий философ, родоначальник платонизма. С.70, 89, 111, 144, 160, 167, 170, 194.
- Плеханов Георгий Валентинович – (1856–1918), деятель российского и международного социал-демократического движения, философ, пропагандист марксизма. С.116.
- Пушкин Александр Сергеевич – (1799–1837), русский писатель, родоначальник новой русской литературы, создатель русского литературного языка. С.54, 89, 90, 97, 130, 179, 181, 182.
- Расин (Racine) Жан – (1639–1699), французский драматург, представитель классицизма. С.90.
- Ричард III – (1452–1485), английский король, последний из династии Йорков. С.121.
- Розенберг (Rosenberg) Альфред – (1893–1946), один из главных немецко-фашистских военных преступников. С.123.
- Руссо (Rousseau) Жан Жак – (1712–1778), французский мыслитель и писатель, один из представителей французского просвещения 18 в. С.134.
- Руставели Шота – грузинский поэт 12 в. С.97, 104.
- Ростовцев Михаил Иванович – (1870–1952), русский историк античности и археологии. После революции 1917 года – в эмиграции. С.98.
- Рузвельт Франклин Делано – (1882–1945), 32-й президент США (с 1933 г.) от Демократической партии (4 раза избирался на этот пост). С.118.
- Сенека (Seneca) Луций Анней – (ок. 5 до н. э. – 65 н. э.), римский философ, поэт и государственный деятель. С.71.
- Сен-Симон (Saint Simon) Клод Анри де Рувруа – (1760–1825), граф, французский мыслитель, социолог, социалист-утопист. С.158.
- Сократ – (ок.470–399 до н. э.), др. греческий философ. С.72, 172, 178, 198.
- Спиноза (Spinoza) Бенедикт (Барух) – (1632–1677), нидерландский философ-материалист, пантеист и атеист.
- Сталин Иосиф Виссарионович – (1879–1953). С.51, 61, 64, 92, 100, 104, 119, 203, 204, 206, 207.
- Тимур (Тамерлан) – (1336–1405), ср. азиатский государственный деятель. С.98, 107.
- Тойнби (Toynbee) Арнольд Джозеф – (1889–1975), английский историк и социолог. С.95, 96.
- Тураев Борис Александрович – (1868–1920), русский востоковед, основоположник отечественной школы истории и филологии Древнего Востока. С.98, 101.
- Устрялов Николай Васильевич – (1890–1938), русский политический деятель, кадет (с 1917), публицист, один из идеологов сменовеховства. С.52.
- Уэльс (Wales) Герберт Джордж – (1866–1946), английский писатель. Классик научно-фантастической литературы. С.175.
- Фейербах (Feuerbach) Людвиг Андреас – (1804–1872), немецкий философ-материалист и атеист. С.113.
- Фихте (Fichte) Иоганн Готлиб – (1762–1814), немецкий философ и общественный деятель. С.172.
- Фома Аквинский (Thomas Aquinas) Фома Аквинат – (1226 или 1226–1274) средневековый философ и теолог, систематизатор ортодоксальной схоластики, основатель томизма; монах доминиканец (в 1244). В 1567 г. признан пятым «учителем церкви» С.188, 214.
- Франк Семен Людвигович – (1877–1950), русский религиозный философ. С.100.
- Фуллер (Fuller) Ричард Бакмистер – (р. 1895), американский архитектор и инженер. С.86.
- Фурье (Fourier) Франсуа Мари Шарль – (1772–1837), французский утопический социалист. С.88, 126, 158.

Чаадаев Петр Яковлевич – (1794–1856), русский мыслитель и публицист. С.69, 70.

Чаянов Александр Васильевич – (1888–1939), крупный экономист-аграрник, один из главных представителей т. н. организационно-производственного направления русской экономической мысли. С.62.

Чингисхан – (ок. 1155–1227), основатель, великий хан Монгольской империи (1206). С.94.

Шевченко Тарас Григорьевич – (1814–1861), украинский поэт, художник, революционер-демократ, основоположник новой украинской литературы и национального литературного языка. С.97.

Шекспир (Shakespeare) Уильям – (1564–1616), английский драматург и поэт. Крупнейший гуманист эпохи позднего Возрождения. С.121.

Шиллер (Schiller) Иоганн Фридрих – (1759–1805), немецкий поэт, драматург и теоретик искусства просвещения, один из основоположников немецкой классической литературы. С.76, 181.

Шелер (Scheler) Макс – (1874–1928), немецкий философ-идеалист, один из основоположников аксиологии, социологии познания и философской антропологии как самостоятельной дисциплины. С.172, 187.

Шеллинг (Schelling) Фридрих Вильгельм Иозеф – (1775–1854), немецкий философ, представитель немецкого классического идеализма. С.166.

Шпанн (Spann) Отмар – (1878–1950), австрийский философ-идеалист, социолог и экономист; развил философско-социологическую концепцию «универсализма», в центре которой целостность, трактуемая как первичная действительность. С.153.

Шпенглер (Spengler) Освальд – (1880–1936), немецкий философ-идеалист, представитель философии жизни. С.89, 187.

Штирнер (Stirner) Макс (псевдоним; наст. имя Каспар Шлифт) – 1806–1856), немецкий философ-младогегельянец, теоретик анархизма. С.142.

Энгельс Фридрих-(1820–1895). С.113, 114, 115, 126, 135, 149, 162, 165, 183, 195.

Эразм Роттердамский (Erasmus Roterodamus) – (1469–1536), Дезидерий), гуманист эпохи Возрождения (глава северных манистов), филолог, писатель. С.115.

Приложение

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

*Доклад, сделанный Н. И. Бухариным в Париже в Ассоциации
по изучению советской культуры 3 апреля 1936 г. (1)*

Выражаю свою глубокую благодарность д-ру А. Рубакину, который взял на себя труд перевести мой доклад на французский язык, и Андре Мальро, который милостиво согласился отредактировать его.

Н. И. Бухарин

Нет никакого сомнения в том, что мы переживаем в настоящее время величайший мировой кризис, какой когда-либо знала история; кризис всей цивилизации, как материальной, так и духовной. Это кризис капиталистической системы в целом, и он ведет к неизбежному преобразованию капиталистического общества в общество – социалистическое. Раскол современного мира, рождение Советского Союза являются только началом гигантских социальных преобразований.

Реальные процессы общественной жизни, отражающие этот кризис, являются блестящим подтверждением теории Маркса, который их все предсказал. Как можно согласиться с мнением, столь широко распространенным среди французских интеллектуалов, о том, что духовная культура не зависит от материальной культуры? и что этот тезис о независимости двух культур, выражение западной концепции, противостоит коммунистической концепции, которую считают концепцией восточной? Нужно ли еще доказывать, что марксизм есть прежде всего продукт западной культуры? Как научная система, марксизм вышел непосредственно из доктрин английской политической экономии, французского социализма и немецкой классической философии. Более того, известно, что культура, наиболее спиритуалистическая, выступает в религиозных и философских концепциях Индии и эта концепция, восточная по

преимуществу, является отрицанием чувственного мира. Восток, однако (включая Китай и Индию), знает, как и Запад, также и материалистические направления. У греков был Демокрит, во Франции – блестящая плеяда материалистов: недаром немецкие фашисты считают эпоху энциклопедистов первородным грехом человечества.

Ничто так не противоречит идеалистической концепции, – разделяемой, увы, многими интеллигентами, – как кризис культуры, который мы переживаем. Очень часто ученые и художники, если можно так выразиться, «болеют» за духовную культуру, наивно полагая, будто марксисты склонны умолять значение этой культуры, недооценивать ее. Словом, речь идет о происхождении этой культуры. Никогда ни один марксист не говорил о превосходстве изготовления сосисок над полотнами Каро или денежного обращения Германии над марксистской философией. Ни один марксист, признающий дарвиновскую теорию эволюции, не скажет, что феномен сознания ниже неорганической материи. Напротив, мы ясно подчеркиваем, что человек и его мозг возникают из форм более примитивных, что живая материя возникает из неорганической материи – против всех приверженцев библейских преданий, более или менее модифицированных, согласно которым дух божий извечно витает над материальной бездной.

Какой была и какова ныне эволюция современного кризиса культуры? Чего стоит тезис, который провозглашает независимость интеллектуальной жизни по отношению к экономике?

Чтобы быть в состоянии ответить на эти вопросы, следует изучить факты. Рассмотрим их значение.

Общий кризис капитализма как экономической системы и раскол мира со времени рождения СССР определили кризис духовной культуры, ее размежевание на два направления.

Не трудно понять, в чем кризис капитализма проявляется или как он выражается в кризисе идеологических построений.

В области экономики мы наблюдаем кризис идеи быстрого технического прогресса, – ее стремятся заменить идеей торможения развития техники; вместо ориентации на индустриализацию выдвигают «реаграризацию», возвращение к земле; прежнее преклонение перед мировым рынком превращается в пропаганду нового меркантилизма и хозяйственной автаркии; «свободная игра экономических сил» и формула «laissez faire» грубо заменены лозунгом государственной регламентации; экономический индивидуализм, апология частной инициативы уступают место

восхвалению власти, содействующей монополизации и националистическому этатизму; идея подчинения «неизбежному закону природы» заменена идеей политического могущества и принуждения.

Так ли уж трудно понять, что вся эта «идеологическая деятельность» вытекает непосредственно из современного положения классов в капиталистическом обществе, что она прямым образом обусловлена экономическими переменами, которые произошли в последние десятилетия?

Что касается политической жизни, то здесь мы находимся перед лицом кризиса демократического и либерального государства; этот кризис непосредственно связан с кризисным состоянием капитализма. И отсюда приходит фашизм. Отсюда происходит также вся идеология фашистского корпоративного государства, идея тотальности, внедрение корпоративной иерархии, «цезаризм», апология милитаризации жизни, милитаристское мышление и т. д.

Трудно ли понять, что эта «идеологическая деятельность» в свою очередь связана с кризисом экономической системы капитализма и с борьбой общественных сил, которая разворачивается на этой основе?

В области более высоких обобщающих идеологических построений мы присутствуем при кризисе идеи эволюции, а он выражается в кризисе идеи технического прогресса и в настроениях пессимизма среди капиталистов; мы присутствуем при кризисе идеи «независимой личности» и при замене этой идеи идеей всеобщей казармы; при кризисе всей идеологии христианского либерального гуманизма и при распространении «расистских теорий», «неопаганизма», «открытой пропаганды зверства» («хищный зверь» О. Шпенглера) в странах фашизма; мы присутствуем при кризисе идеи юридического равенства и видим замену ее идеей вековой иерархии, для подкрепления которой мобилизуют идеи Жозефа де Местра, Гобино, Ницше и даже Сен-Симона; мы присутствуем при кризисе «права» и при ориентации на «силу», «могущество» и т. д.; при кризисе идеи рационального познания и ориентации на «инстинкт», «голос крови», «подсознательное», «интуицию» и т. д.; мы присутствуем при кризисе интеллектуальности при расцвете «волюнтаризма» специфических форм «активизма», «мессианизма», социальных мифов и т. д.

Разве так уж трудно вернуться на материалистические исходные позиции этих идеологических концепций и найти материальную базу сей «духовной деятельности»?

Совершенно очевидно, что вокруг каждого из идеологических положений, которые мы перечислили, скапливается множество идей и замыслов, которые из них вытекают. Но и основная канва уже достаточно наглядна, чтобы мы увидели, что кризис капитализма и образование фашистских государств как авангарда или ударных формирований фронта капитала, который стремится сохранить мир эксплуатации путем превентивной гражданской войны против рабочего класса, что этот кризис, скажем так, находит здесь свое идеологическое выражение.

Именно это мы рассмотрим подробнее, прежде чем перейдем к проблеме самого человека и изложим решение, которое дает ей социалистическая цивилизация.

I. Как избавиться от кризисов, войн и эксплуатации

Материальной основой новой социалистической культуры является освобождение производительных сил общества от связывающих их пут: от капиталистического способа производства с неизбежно сопровождающими его кризисами, войнами, эксплуатацией. Фашизм тоже утверждает, что способен преодолеть современный кризис капитализма и по-своему разрешить проблему создания нового общества: фашистский строй, по словам его приверженцев, это уже не капитализм и даже не социализм в его обычном понимании, но нечто особое, самостоятельное, некая третья формация, притом более высокая.

Что же предлагает фашизм в области экономики?

Прежде всего он оставляет все основные средства производства в руках капиталистов и крупных землевладельцев точно так же, как он оставляет вооруженные силы в руках прежнего генерального штаба. Ни в одной фашистской стране не нарушен принцип частной собственности; эта последняя должна рассматриваться там как общественная функция (Муссолини). Фашизм нападает только на ссудный капитал, оставляя в полной неприкосновенности главную цитадель капитализма. Он создает привилегированное положение для сельского хозяйства (т. е. для «лендлордов», аграриев и крестьян-богатеев), рассматривая охрану «земельных владений» (*des Badens*) как охрану самого консервативного принципа. Своей пропагандой средневековых и патриархальных отношений между классами он закрепляет, по методу средних веков, существование классов в форме «корпораций» или «профессий». Но он меняет «вывески» этих

классов, называя капиталистов «управляющими индустрии», а рабочих «народными товарищами» (Volksgenossen). Фашизм надеется, что магией слов он «заговорит» реальные противоречия между классами, если будет восхвалять «почетный труд» и «преданность руководителям».

Во всех фашистских странах, равно как и во всем капиталистическом мире, противоречие между производством и недопотреблением масс – эта самая глубокая причина кризисов – полностью сохраняется. Автаркия означает вовсе не «самоизоляцию», а усиленную организацию военной и экономической мощи в целях экспансии. Принцип автаркии вытекает из принципов «стратегических, национальных и наконец экономических» (Зомбарт). Именно по этой причине фашистский тезис «тотальной экономики» и социального государства совпадает также и с идеей «тотальной войны». Вся экономика используется, для целей внеэкономических. Она становится «метаэкономикой», по выражению Неймарка. В то время как главари фашизма раздают «пацифистские» обещания людям, которые только и хотят быть обманутыми, вся совокупность реальных мероприятий подчинена таким теориям, как теория «тотальной войны» генерала Людендорфа, который утверждает, что «мир вообще является только исключительным состоянием и имеет известное значение (Daseinsteht) лишь в качестве подготовки к «тотальной войне» (Людендорф, «Тотальная война»).

Таким образом фашизм оставляет совершенно нетронутыми основные пороки, присущие капитализму: частную собственность, эксплуатацию, противоречие между производством и потреблением, кризисы, войны. Более того, он чрезвычайно обостряет некоторые из этих противоречий. Отдельные же уступки, которые он делает массам, сопровождаются настоящим истреблением их авангарда и небывалым раздуванием всего, что связано с милитаризмом. Таким образом, фашизм возрождает в несколько обновленном виде старые реакционные мечты о «социальной монархии», идеологию того, что называлось «полицейским социализмом»; мы видим что-то вроде феодализации монополистического капитализма, то, что Джек Лондон изобразил как господство «Железной Пяты». Подражая августейшим римским кесарям, фашистские главари пытаются создавать свои преторианские гвардии, чтобы с помощью низших социальных слоев спасти господство современных рабовладельцев. Юлий Цезарь тоже ведь вышел из рядов участников заговора Катилины. Но пролетариат наших дней – это ни плебс, ни толпа рабов античного мира. Теперь не может

быть и речи о том, чтобы надолго вернуться к эпохе великолетия кесарей, даже периода ее упадка. Тем более что, формулируя в речах своих дипломатов лозунг «германского мира», фашизм делает все, что в его силах, дабы приблизить час военной катастрофы, которая сметет все.

Так, ныне на карту поставлено само существование человеческой культуры. Исторической миссией социализма является спасение этой культуры; ее надо освободить от кризисов, от войн, от эксплуатации, от цепей, которыми капиталистический способ производства сковывает и развитие производительных сил, и развитие самой культуры.

Рассмотрим сначала, каким образом социалистическая цивилизация собирается освободить человека от механизации жизни.

II. Проблема демеханизации жизни

Проблема демеханизации жизни является одной из самых важных проблем современной культуры.

Капитализм с его машинизмом и рационализацией производства превратил огромную массу людей в «изготовителей отдельных деталей», в «придаток к машине» (Маркс); он омертвил и до крайности обезличил процесс производства, лишив его всякой «радости творчества»; он подчинил бездушной машине живого человека, который пользуется ею. Дальнейшее развитие капитализма еще более усилило эту тенденцию, сделав ее всеобщей: в области техники с введением конвейера, с крайним расчленением всех операций, но при сохранении прежней продолжительности рабочего дня. Введение конвейера, громадное развитие бюрократических организаций, созданных монополистическим капиталом, обезличенные формы капитала, создание армии служащих, всеобщее господство вещи над рабочим человеком – все это деформировало жизнь огромных масс людей, вынужденных влачить жалкое существование, размеренное и рассчитанное, без инициативы, без творчества. Люди различаются здесь только по их номерам; эта тенденция обострилась в связи с упадком капитализма, который наступил с тех пор как его монополистические формы и кризисы превратились в подобие системы автоматических тормозов. Эти перемены лишили творческих стимулов также и капиталистическую «верхушку» общества. Протесты против растущей механизации раздаются как в рабочем классе, который ищет разрешения проблемы

демеханизации жизни на путях социализма, так и среди интеллигентов-«эстетов» (Джон Раскин), художников (Гоген) и даже среди философов-декадентов, выходцев из господствующих классов, таких, как Шпенглер, с его прямой пропагандой отказа от техники, и Кейзерлинг.

Опираясь на эти устремления, приходят к более или менее замаскированным антитехническим выводам, которым фашизм благоволит. Однако не следует упускать из виду, что наряду с призывами возвратиться на землю, к более простым и элементарным формам жизни, даже к ремесленничеству, фашизм поддерживает также и тенденцию технократическую, призванную обеспечить соответствующими руководящими кадрами новую технику и провозглашающую поэтому утопический «управляемый капитализм».

Но что дает фашизм в действительности? В действительности он создает систему механизированной жизни военного типа. Последним словом этой системы является расистская регламентация брака, практика стерилизации и т. д., где механическая регламентация вторгается в самые интимные стороны человеческой жизни.

Социализм разрешает проблему демеханизации жизни, усиливая механизацию производства; легко понять этот кажущийся парадокс, если отдать себе отчет в антикапиталистическом характере применения машин. В СССР уже сегодня машина позволила значительно сократить рабочий день. Она не входит в наше производство как материальная сила капитала, но выполняет роль орудия в руках человека, средства, позволяющего человеку достигать своих целей. Здесь человек господствует над вещью, а не вещь над человеком. Машина и труд, разделенные, подчинены людям, которые сознательно управляют единым технологическим процессом. Здесь все мелкие операции получают свой смысл и свое важное значение. Работающий человек сам создает свое свободное время, сам повышает свой жизненный уровень, он сам творит и изобретает, он отдает себе отчет в значении и важности своего личного труда в совокупном общественном труде. Впервые он превращается из объекта в субъект труда, он восстанавливает свое «Я» и побеждает в общем «Мы».

В сельском хозяйстве революционирующая роль социалистической механизации еще более велика. Там машина освобождает человека от варварской патриархальщины, от рабского подчинения силам природы; от «идиотизма деревенской жизни», впервые в истории создавая условия для быстрого культурного развития. Фашизм превращает человека в машину, социализм же

очеловечивает машину. Фашизм хочет лечить «эксцессы машинизации» на путях средневекового возвращения к земле; социализм, наоборот, повсюду механизует производство и экономические основы существования. Он тем самым делает человека более независимым от сил природы и создает предпосылки для действительного царства настоящей свободы.

III. Воспитание нового человека

Рассмотрим теперь, каким образом советская культура намеревается формировать действительно цельного человека.

Буржуазное общество – это такое общество, где разделение труда на основе антагонизма классов достигает крайних пределов.

Иначе говоря: в этом обществе человека как такового, по существу, нет, есть только человек определенного класса, определенной профессии и, стало быть, определенного физиологического и психологического типа, с таким же определенным отношением ко всем проявлениям жизни. То, что типично для этого общества – это не специализация производства, не многообразие обособившихся функций, не крайняя специализация машин и орудий труда, не конкретные формы производства, но тот факт, что эти обособленные функции практически закреплены пожизненно за определенными людьми.

Более того, и в области материального производства и в области производства «духовного» мы наблюдаем отсутствие единства – единства цели и единства методов. Классы, город и деревня, профессии и специальности – таковы категории, в которых капитализм осуществляет свое реальное историческое движение. Эта ситуация предполагает образование противоположных полюсов: на одном – функции командования, на другом – исполнительский труд, невращения сверхурбанизма и варварство деревни, труд физический без умственного, труд умственный без труда физического и т. д. Вместо живых людей мы видим многочисленные персонифицированные должностные функции, достигающие гигантских масштабов. Человека здесь нет: он внутренне раздроблен на части, каждая из них живет изолированной жизнью в изолированной же среде, зачастую крайне ограниченной.

Деление на классы является основной формой человеческой разобщенности, глубоко антагонистической, наполненной различием интересов, жизненного опыта и мировоззрений, совершенно

противоположных друг другу. Вопреки идеалистическому тезису, провозглашающему независимость умственной деятельности от прозы материального существования, мы видим, что самые формы мышления, его преобладающий стиль выступают как функции соответствующей общественной ситуации. Даже философы, такие, как Макс Шелер, вынуждены признать совершенно исключительную важность проблемы социологии мышления. Известно, что в его работе «Формы познания и общество» («Die Wissensformen und die Gesellschaft») рассматривается зависимость между самыми формальными элементами обобщающих идей и различиями в положении общественных классов. И ясно, во всяком случае, что раздробленность общества прослеживается в самых существенных идеологических формулах.

Глубокая пропасть, которая отделяет умственный труд от труда физического, существовала на протяжении всей истории человечества во всех общественных формациях разделенных на классы, включая капиталистическую формацию. С этой точки зрения, те, кого назвали интеллектуалами, и которые, по сути, всегда обслуживали правящие классы, составляют лишь их небольшую частицу. Интересно отметить, как отражается это явление в философии. В громадном большинстве философских систем понятие «субъект», «Я» не применяется к человеку как таковому, с его многообразной деятельностью, и еще меньше к человеку определенной исторической эпохи и определенного социального круга: нет, речь идет здесь лишь о некоей тощей абстракции по линии умственной и созерцательной стороны его существования; его «деятельность» пассивна; если он и «творит», то создает лишь абстрактные иллюзии и иллюзорные абстракции; Маркс подверг уничтожающей критике эту абстракцию в выражении «мыслящий субъект». Крайнее разделение труда нашло свое выражение также и в науке, где узкая специализация приводит к раздроблению самой науки. Оно опустошительно сказывается и в области искусства. Тупик, в котором оно очутилось, в значительной мере был вызван прогрессирующим сужением жизненного опыта: по мере того как жизнь суживалась и обеднялась в своей основе, искусство теряло свое содержание, появились поиски «чистой формы», специфические элементы стали приниматься за самое существенное. Дойдя до этого, искусство кончило тем, что стало пожирать самое себя. Так, живопись, согласившись с «чистым прин??», декоративности, оказалась в тупике и была вынуждена преступить его границы; архитектура устремилась к самым простым

геометрическим формам; и скульптура попала в тупик экспрессионизма. Великое искусство, отражающее все богатство жизни во всех ее проявлениях, распалось, точно так же как распался человек под гнетом капитала. Так морфология общества находит соответствующее выражение в морфологии духовной культуры.

Но что предлагает фашизм для разрешения этой громадной проблемы? Его «тотальность» есть тотальность государства – всеильного и вмешивающегося повсюду, но закрепляющего раздробление человека и чудовищность этого раздробления.

В самом деле, что делает фашизм?

Он сохраняет частную собственность; он увековечивает классы под видом корпораций; его принцип – это иерархия, увенчанная «элитой». Он заставляет возвращаться к средневековому принципу жизни: иерархическому обществу. Исходя из расистской теории организации общества, пролетариат третируют как сословие низшее, неблагородное, в то время как элита – это чистый тип, благородный орган общества; в составе нации, в «народном сообществе» (*Volksgemeinschaft*) закрепляются классы, которые превращаются в касты. Теоретики и организаторы фашизма (как Шпенглер, Джентиле, Шпанн, Парето и кончая Гитлером, Муссолини и Араки) открыто признают «аристократический принцип», объявляя его законом природы.

Следует раз и навсегда уточнить, что речь не идет здесь о защите наивного рационалистического взгляда на равенство людей. Марксизм никогда не рассматривал равенство иначе как равенство экономических условий развития, основанное на упразднении общественных классов. Разумеется, никогда не будет равенства способностей, дарований, красоты и прочего, – и это явление положительное.

Но фашизм закрепляет классы, эксплуатацию, монополию в деле народного образования, скрывая это закрепление с помощью новых названий. Он пользуется «тотальностью» лишь для культивирования духа солдатчины и для оболванивания трудящейся массы, отнесенной к низшей категории. Нет ничего удивительного, что фашизм объявляет себя приверженцем идеологии Ницше, который, по удачному выражению Трельча (*Troeitsh*), стремится «романтику сделать грубой, а цинизм романтическим» (*die Romantik zu brutalisieren und den Zynismus zu romantisieren*). Он внедряет «корпоративное государство» как политическую систему и пытается маскировать мишурой и геральдикой средневековых корпораций усиление

господства капитала. Правда, фашизм пытается устранить противоречие между теорией и практикой. В реальной жизни ему это удается благодаря прямому умалению значения теории, но в теории он старается преуменьшить значение работы мысли; что касается практики, то ее он превращает в военную муштру, которую внедряет во все области жизни. Но эти цезаристские и преторианские устремления нисколько не ослабляют консолидации и сохранения классов, ставших кастами, профессиями, короче, всего того, что дробит человеческое существо.

Социализм в свою очередь разрешает эту проблему как в ее теоретической, так и в практической форме. В своем динамичном развитии социализм, эволюционируя к коммунизму, не удовлетворяется упразднением классов, он ликвидирует противоречия между городом и деревней, между умственным трудом и трудом физическим, он устраняет раздробление труда как единого целого; создавая единое общество, он ликвидирует государство, ибо диктатура пролетариата мало-помалу исчезает. Он на деле формирует цельного человека.

Интересно ближе присмотреться к процессу прогрессирующего формирования нового человека в СССР. Его материальная база – это управляемая социалистическая экономика. Уже план сам по себе в его совокупности и в его составных частях является прямым синтезом самых разнообразных элементов, включающих технические, экономические, научные, стратегические и все другие факторы, которые играют какую-либо роль в общественной жизни. Поэтому расчленение и специализация работ здесь неизбежно дополняются синтезом разнородных величин. Так создается всеобъемлющая монистическая (единая) тенденция, интеллектуальным выражением которой является, так сказать, *logos* исторического процесса, а движущей и направляющей силой – организованное социалистическое общество. На данной стадии развития СССР разделение труда преодолеть еще нельзя и было бы абсурдом ставить эту проблему практически во всей ее полноте. Культурные и технические навыки еще недостаточно развиты, автоматизм технологического процесса еще недостаточно высок, производительность труда еще недостаточно выросла, чтобы каждый человек мог успешно взяться за выполнение различных видов труда. Но уже и в настоящее время по сути преодолена пропасть между городом и деревней, и в результате применения социалистического механизированного труда с его плановым регулируемым характером

деревня значительно приблизилась к городу; точно так же уже сегодня достигнут большой прогресс в деле объединения умственного труда и труда физического: процент рабочих, которые получили высшее образование, постоянно растет, что стирает различие между массой и интеллигенцией, которая из нее вышла; сама управляемая экономика объединяет на всей лестнице хозяйственных постов практику и теорию, мысль и действие, умение и волю, ибо план является продуктом учета, синтезом мысли и в то же время системой норм, подлежащих осуществлению. Советская иерархия, свободная от всего, что чуждо массам, имеет в силу этого свое историческое значение и оправдание как явление переходное. Утверждения противников Советского Союза, будто в нашей стране зарождается новый класс, не выдерживают критики: основной процесс, характерный для всего общественного развития в СССР, это процесс систематического и могучего роста участия все новых и новых слоев народа в культурной жизни во всей ее полноте. Монополия на культуру не принадлежит здесь одному какому-нибудь классу. Граница между массами и интеллигенцией с каждым днем все больше стирается, – факт, опровергающий теорию циркуляции элиты, выдвинутую Парето, который полагает, что происходит постоянное возобновление классового господства.

Так впервые в истории формируется подлинно цельный человек, чьи потребности и сферы деятельности достигают в своем развитии бесконечного разнообразия. Только социалистическая цивилизация приступила к разрешению, и только она в состоянии разрешить эту громадную историческую задачу.

IV. Второе рождение человечества

Второе рождение человечества также является проблемой величайшей важности в области культуры.

Вопрос о единстве человечества, о всеобщности истории и т. д. уже сам по себе чрезвычайно интересен. В этой связи следует отметить, что многое говорит в пользу полицентрического происхождения рода человеческого – биологического рода (*homo sapiens*). Но, во всяком случае, мы считаем абсолютно неправильной ту концепцию всемирной истории, которая рассматривает человечество как единое целое уже в период, предшествовавший капитализму. Эту концепцию зачастую относят к теориям «непрерывного прогресса»,

на которых основывается то, что называют «философией истории». Но концепция эта неверна, ибо не было никакого контакта даже между великими обществами (как, например, между кельтами, с одной стороны, и инками, с другой, между славянами и цивилизацией Майя, между кушанами и Мексикой, между норманами и австралийцами, и т. д.). Эта концепция неверна также еще и потому, что контакты между некоторыми «цивилизованными мирами» были случайными, из ряда вон выходящими, нерегулярными, малоинтенсивными, если они вообще существовали. Наконец, эта концепция и прежде была неверна, ибо, как это отметил Маркс в «Святом Семействе», вопреки притязаниям прогресса, неизменно наблюдаются случаи регресса, движения вспять. Великие цивилизации погибли, почти не оставив следов.

С другой стороны, нужно решительно отбросить теорию изолированных «морфологических» обществ, социальных организмов, совершенно не связанных между собою, с признаками абсолютно несхожими, теорию объединений, сложившихся по морфологическим признакам, которые, подчиняясь фатальному закону, следуют по жизненному пути от детства до старости и кончают тем, что умирают. Эта теория была развита Шпенглером и его приспешниками. Заметим, кстати, что в законченной форме эта самая теория была сформулирована в России консервативным славянофильским теоретиком Данилевским, который оказал большое влияние на другого апологета царизма и ортодокса – Константина Леонтьева. Логические звенья этой теории насчитывают столетия своего существования. И, тем не менее, она неверна во всех отношениях. Она неверна потому, что порочна ее теоретическая база – это биологическая аналогия, где законы биологии применяются к явлениям специфически социальным, имеющим свои особые качественные признаки; она неверна потому, что принимает во внимание только особенности, не замечая схожести, определяемой одинаковым уровнем развития; она неверна еще и потому, – *last but not least* – что она находится в противоречии с фактами: в большинстве случаев не было той изоляции, о которой говорит Шпенглер: сравнительная лингвистика, анализ литературы, анализ «мировых религий» дают нам достаточно блестящих свидетельств этого.

Говорить о существовании относительно единого человечества можно только с того времени, когда развитие капитализма привело к образованию мирового рынка, т. е. с тех пор, как материальные и экономические связи между странами перестали быть случайными и

мировой торговый обмен обусловил интенсивные культурные контакты, действительно всемирный обмен идеями.

Однако это единство, как мы сказали, является чрезвычайно относительным. Не только из-за разделения на классы, но также из-за вражды между государствами. – Мы видим, как именно в этих обстоятельствах возникают современные войны – самая страшная угроза, которая довлеет над всей современной культурой.

Что делает фашизм для решения этой проблемы?

Он не выдвигает никакой более или менее разработанной теории «тотальности» как единства человечества. Напротив, его практика состоит здесь в максимальном обострении противоречий («Тотальная война» Людендорфа). Что касается теоретического оправдания, то им служит так называемая «теория рас», проповедь которой в произведениях Гобино, Чемберлена и шведского профессора Р. Челена используется еще и сейчас.

Повторяю, мы нисколько не становимся на почву наивного «естественного» равенства рас (подобного равенству индивидов) и не смешиваем понятия равенства прав с уравниванием характеров и подлинных свойств. Самая грубая ошибка расистской теории состоит в отсутствии у нее исторической основы. Уровень культуры и сумма культурных ценностей, созданные тем или иным народом (и даже той или иной расой), ни в коей мере не определяются почти постоянными биологическими признаками (цвет волос, форма черепа, строение лица и т. д.), ни даже суммой этих признаков, но конкретными историческими и социальными условиями их материального развития.

Именно по этой причине стало возможным взаимодействие наций и рас в области культуры. Похоже, что самыми древними цивилизациями были цивилизации чернокожих народов: согласно исследованиям советского ученого Вавилова, самая древняя культура пшеницы была найдена не на берегах великих рек, а на горных плато Эфиопии. Исследования Фробениуса – «Неизвестная Африка» точно так же говорят о развитой цивилизации черных. Великая китайская цивилизация послужила основой всей цивилизации Японии, хотя в настоящее время теоретики японского фашизма и считают китайцев низшей расой.

То же самое происходит и с особенностями психологического свойства: и они являются в первую очередь функциями общественных и исторических отношений, а не цвета волос, «народ поэтов и философов» на наших глазах превращается в «нацию солдат». Это не

мешает расистской теории утверждать наличие полного «параллелизма между биологией и историей» и стремиться увековечить неравенство ныне существующих рас и считать а priori, что оно создано биологией, которая сама постоянна. Ясно, что при таком толковании конкретные сочетания расовых черт и признаков цивилизации той или иной расы выбираются и соединяются произвольно в зависимости от интересов того или иного национального фашизма.

Эта теория, совершенно несостоятельная логически и вредная с точки зрения евгеники (сравните, например, «северный тип» Ван дер Люббе с типом великого русского национального поэта Пушкина, потомка африканца), является преступной с политической точки зрения. Она является подлинным источником идеологии войны и насилия, ибо она объявляет, что политика завоеваний вполне нормальна для «народа господ» (des Herrenvolks), по отношению к которому все остальные народы – всего лишь рабы.

Второе рождение человечества может осуществить только социализм. Социализм ставит эту проблему не как абстрактную идею. Это – необходимое объективное условие сохранения человеческого рода, его подлинной истории, по сравнению с которой все прошлое только предыстория: производительные силы мировой экономики переросли капиталистическую форму производства и систему изолированных государств, конкурирующих друг с другом. С точки зрения культуры, возрождение человечества как единого целого выражает тенденцию к всемирному синтезу культуры. Специфически средиземноморская культурная традиция обретет богатейшее наследие Индии и Китая, и распространение идей будет совершаться с исключительной быстротой.

Такие плодотворные отношения между нациями, какие складываются в СССР, представляют собой зародыш будущих всемирных связей. Опыт СССР дает практическое доказательство возможности и плодотворности этого великого преобразования жизни народов, которое закончится тем, что распространится на весь мир.

V. Проблема общества и индивида (личности)

Проблема, которая особенно интересует интеллигенцию – это проблема взаимоотношений между обществом и личностью. На этот вопрос, поставленный в столь же общем, сколь и абстрактном плане,

ответить можно с помощью исторического анализа различных общественных структур. Поскольку эти структуры так же сильно отличаются друг от друга, как сами личности, внутренняя механика их взаимоотношений тоже многообразна.

Ныне капитализм дробит личность человека труда, превращает его, как мы видели выше, в «изготовителя деталей», в порядковый номер. Личность пролетария постоянно подавляется – и в процессе производства, и в повседневной жизни, и в гражданской жизни (следует отметить, что в странах с буржуазно-демократическим строем пролетариат имеет формальные права, но лишен реальной возможности достичь основные цели жизни). Новейшие этапы развития капитализма с его «технологической безработицей» и т. д. еще более сузили пределы развития личности пролетария. Личность буржуа также значительно изменилась. «Дух капитализма», по выражению Зомбарта, – дерзание, предприимчивость, инициатива, абсолютная свобода маневрирования, свобода продажи и купли, личная свобода эксплуатации, огромный динамизм, – все эти свойства «человека экономического» вытеснены акционерными обществами, трестами, консорциумами, организациями государственного капитализма, государственными монополиями, бюрократией, регламентацией, – вот система, где буржуазный индивидуализм, оказавшись в плену, терпит крах.

Представители интеллигенции примкнули к самым различным течениям. Значительная часть их бросилась в сторону технократии и фашизма, многие идеологи из среды так называемых свободных профессий предпочли или стать на сторону пролетариата, или защищать старые бастионы либерализма. Фашизм – как теоретически, так и практически – превозносил до небес анти-индивидуалистическое направление. Над всеми организациями он вознес всемогущее «тотальное государство, которое обезличивает всех, за исключением фюреров и «сверхфюреров» (Oberführer). Обезличение массы здесь прямо пропорционально прославлению «вождя». В своем сочинении «Dottrina» Муссолини развивает ту мысль, что не существует никакой ценности – материальной или духовной, – которая не зависела бы от государства. Дитрих – один из теоретиков национал-социализма – провозгласил, что «реальные живые существа... это не личности, а расы, народы, нации». И этот тезис сопровождается утверждением, что «новая концепция» порождена «творческим гением Единственного и Неповторимого». Огромное большинство людей оказывается таким образом

превращенными в простых исполнителей, подчиненных единой дисциплине, навязанной во всех сферах жизни – в производстве, в повседневной жизни, в семье, физиологии, мысли и т. д., дисциплине, которую государство поддерживает наказаниями. Господствующие этические нормы сведены всего к трем: преданность «нации» или «государству», «верность вождю» и дух солдатчины. Муссолини поднимает эти три добродетели на высоту священного мифа или религии – («Dottrina»), Гитлер и Араки говорят о Провидении. Так полностью воссоздается образ теократии Древнего Египта, созданный Максом Вебером.

В чем состоит теоретическое бессилие всей фашистской концепции личности и общества? Прежде всего необходимо отметить, что абсурден тезис, утверждающий, что только общность (нации, расы и т. д.), а не индивиды являются единственно существующей реальностью. Это плоское антидиалектическое противопоставление достойно тех, кто его изобрел. Подлинная иллюзия – это, бесспорно, изолированный индивид, продукт теоретических концепций XVIII в., «атом», подобный атому физики, «атом в себе», который в своих физических взаимоотношениях с другими атомами образует общество. Эта физико-математическая и рационалистская концепция совершенно не выдерживает критики, и она была решительно опровергнута Карлом Марксом. Совершенно определенной реальностью является общественный человек, человек «социальный и исторический», личность, целиком и полностью общественная. Это то, что заставило еще Аристотеля назвать человека «*zoon politikon*», т. е. животное общественное. Фашизм в теории, так сказать, вычеркивает изолированного человека, равно как и человека из толпы, ибо он ценит только те «социальные слои, которые создают культуру», «элиту», «аристократию», сложившиеся в замкнутую касту, подобную кастам египетских жрецов или браминов Индии.

Один из теоретиков современного христианства, который еще недавно был очень близок к фашизму своею проповедью «Философии неравенства» и тем, что он всерьез говорил об СССР как о «сатанократии», г. Бердяев, сформулировал целую теорию, где он рассматривает современное общество с точки зрения личности и ставит на одну доску фашизм и коммунизм. Он считает фашистское «тотальное государство», с одной стороны, и диктатуру пролетариата, с другой, двумя равнозначными Левиафанами, в жертву которым принесена живая человеческая личность. Господин Бердяев ведет борьбу против всей системы крупных организаций, которые, по его

мнению, поглощают человеческую личность; этой последней остается только один путь спасения – самоусовершенствование и создание христианской общности людей.

В аргументации г. Бердяева, которая за исключением выводов была выдвинута еще Г. Спенсером в его борьбе против социализма, который он толковал как грядущее рабство, – вся проблема рассматривалась не по существу, а чисто формально.

Глубокая постановка этой проблемы может быть сделана только с точки зрения содержания самой личности, ее внутренней пустоты или богатства, разнообразия или монотонности ее жизненных функций, т. е. с точки зрения внутреннего содержания человеческой «личности» или «сообщества личностей».

Если поставить проблему в такой плоскости, то станет ясно, что все будет зависеть от характера коллектива, от его структуры, от его морфологии, от имманентных законов его развития. Нельзя ставить проблему «организации вообще», и тем менее позволительно утверждать, как это делает г. Бердяев, что существует принципиальная разница между личными, человеческими свойствами, с одной стороны, и любой объективностью, с другой, объективностью, которая по самой ее природе «не личностна и не анти-человечна». Такое направление мысли доводит до абсурда ту аргументацию, которая призвана эту мысль доказать. Оно могло бы привести только к выводу о существовании изолированного человека, дикаря, не владеющего речью (ибо речь может существовать только в обществе) и не создавшего никакой культуры. Однако еще Гете (хотя теперь госпожа Людендорф называет его масоном, космополитом и даже прямым убийцей Шиллера – всем сразу!) отдавал себе отчет в огромной важности тесного единения людей. Гете писал Шиллеру: «Природа потому неисследуема, что один человек не в состоянии понять ее, все человечество могло бы понять ее. Но так как это милое человечество никогда не бывает в своей совокупности (beisammen), то природе так хорошо и удастся играть с нами в прятки» (2).

Итак, коллектив, который обеспечивает максимум побед над природой (путем повышения производительности труда), расширяет теоретический и практический опыт масс и их материальные и духовные потребности, обогащает интеллектуальную и эмоциональную жизнь, накапливает новые возможности для развития, создает и успешно развивает цельную личность. Коллектив такого рода в высшей степени положительное достижение.

Социализм не только не противодействует расцвету личности, но, наоборот, начиная с определенного этапа исторического развития становится обязательной предпосылкой для него. Развитие личности, развитие индивидуальности – это вовсе не распространение индивидуализма – в котором мы различаем нечто разделяющее людей и противопоставляющее их друг другу. То, к чему мы стремимся, – это социалистический гуманизм.

Конечно, само понятие «личности вообще» становится исторически правомерным только тогда, когда исчезают классовые противоречия. Личности из числа врагов пролетариата несомненно переживают испытания и ощущают всю «тяжесть» пролетарского государства. Но также несомненно, что громадное большинство людей в СССР идет по пути прогресса во всех областях материальной и духовной жизни. Наблюдается повсеместное пробуждение и раскрепощение человеческой личности среди крестьян, в бывших русских колониях в Сибири, в Средней Азии, на Кавказе, на Дальнем Востоке, на крайнем Севере и т. д. На подъеме вся масса людей, но не в качестве толпы, а как вполне дифференцированное и сложное целое во всем его разнообразии. Такое же быстрое развитие и духовное обогащение личности наблюдается и в рядах пролетариата.

Защитники фашизма восхваляют свою «иерархию» как выражение многообразия. Один из наиболее реакционных русских философов, Константин Леонтьев сетовал когда-то на то, что в Санкт-Петербурге собирались сносить все обветшалые дома, запретить русские рубахи и прочее и тем уничтожить великолепное многоцветье красок жизни. Но разнообразие жизни не всегда проявляется одинаково. Блаженный Августин тоже говорил, что зло существует для того, чтобы подчеркивать благость добра. Но социализм не хочет такого разнообразия и не признает эстетического любования злом. Социализм создает иные формы многообразия жизни. Социалистический строй не знает «многообразия» классов, контрастов нищеты и богатства, чередования кризисов и процветания, множества войн и т. д. Он создает, однако, многообразие полноценных людей. Полезно вспомнить в этой связи идеи гениального Фурье, который, несмотря на все свои фантазии, поставил громадную проблему многообразия человеческих страстей, увлечений, склонностей, привязанностей, умения и талантов. Мы можем наблюдать яркое выражение такого разнообразия в стахановском движении в СССР и во всех проявлениях героизма масс в нашей стране. И того ли еще вправе мы ожидать от общества, где

коммунизм уже будет реализован и обществу не придется больше нести бремя борьбы против капитализма и всех его последствий.

IV. Проблема свободы

Чтобы понять истинный смысл любой идеологии или лозунга, относящегося к общественному явлению, необходимо понять, в чем состоит историческое и социальное значение их функции. Это единственный способ избежать пустой болтовни и фетишизма. Это в особенности относится к понятию свободы, ибо именно здесь сильнее всего господствует фетишизм по отношению к прочно укоренившемуся понятию, превратившемуся в подлинную «вещь в себе».

Поскольку это понятие возникло в обществе, разделенном на классы, мы должны, прежде всего, уточнить сам вопрос, чтобы точно знать, о чем идет речь: о свободе – для кого (для каких классов или групп) и против кого; о свободе – в какой области или в каких областях общественной жизни; наконец о той или иной форме свободы с точки зрения ее общественного значения, т. е. с точки зрения общественного развития, взятого в целом.

Современный капитализм в его демократической форме предполагает существование формальной свободы для рабочих масс – при полном отсутствии материальной основы свободы, – следовательно, ограниченной свободы. Это и есть существенный элемент самой основы общественных отношений. С формальной точки зрения право собственности равно предоставлено всем общественным классам. Однако существование капиталистической собственности (у класса монополистов) является той основой, которая предопределяет правовую охрану этой формы собственности.

Теоретически существует «свободный договор» между капиталистом и рабочим, и оба они равны перед законом, но в действительности экономическое принуждение заставляет рабочего соглашаться на «невыгодный» договор.

Теоретически рабочий имеет право учиться в университете, но на деле он не в состоянии этого делать. И так далее.

Так выглядит эта проблема в области экономики и культуры.

В области политики имеется, также в теории, формальное равенство, однако экономическая система и структура государства с его особым механизмом обеспечивают буржуазии фактическую власть, даже если низшие общественные слои пользуются

«демократическими свободами», такими, как свобода слова, свобода печати, профсоюзов и собраний и т. д. Рабочий одиночка не свободен получить работу. Безработный тоже не свободен получить ее. Рабочий не свободен руководить и управлять государством. Он не свободен получить образование и приобщаться к важнейшим культурным ценностям. Но это противоречие между формой и содержанием не существует для буржуазии, которая владеет материальными гарантиями всех свобод, сформулированных и не сформулированных законом.

Фашизм уничтожает все демократические свободы. Он обеспечивает свободу только для своей «единственной партии» и для организаций, которые ее поддерживают. Как явление классового общества фашизм – это лишь присущая периоду кризиса особая форма диктатуры монополистического капитала. Низшие общественные слои (не относящиеся к разряду благородных) остаются в процессе производства в полном подчинении, их эксплуатация не ослабевает; кроме того, у них больше нет демократических свобод – ни свободы стачек, ни свободы мысли. У них нет никаких свобод для борьбы ни против капиталистов, ни против их государства. В реальной жизни все эти ограничения могут оставаться незамеченными. Пока массы не поняли, что конечная цель фашизма (его партии, его государства) им враждебна, иллюзия примирения классов может по весьма конкретным историческим причинам являться совершенно реальной силой. Но это не меняет объективного смысла этой новой формы капитализма: это свобода для капиталистической элиты, сопровождающаяся тотальным порабощением масс и систематическим физическим уничтожением их революционного авангарда.

Диктатура пролетариата открыто провозгласила свободу для низших общественных слоев, против свободы для контрреволюции, ибо в критические моменты битвы речь шла о том, чтобы разбить противника, и именно эта реальность диктовала всю линию поведения. Отсюда тот «деспотизм свободы», вопрос о котором стоял еще в эпоху Французской революции. Но в то же время диктатура пролетариата определилась с самого начала как пролетарская демократия, материально обеспечивающая все свободы для миллионов людей и сохраняющая для них максимум маневренности. Окончательная победа социализма сделала ненужными привилегии пролетариата; отсюда новая фаза развития советской демократии.

Если всмотреться в основные элементы демократии, то можно сказать, что именно в СССР впервые в истории они могут быть реализованы во всей полноте и не как фикция или литературный вымысел. Впервые мы видим, как создается народ (ибо классов больше нет); впервые можно говорить о воле народа, (ибо при капитализме это только фикция: не может быть единой воля у волков и ягнят); впервые можно говорить о суверенности народа (ибо в буржуазных странах это был всего лишь псевдоним суверенитета плутократического меньшинства). Уничтожение классов происходит не на словах и фиктивно, как при фашистском строе, а на деле, в ходе острой классово-борьбы, которая сопровождается преобразованиями в области техники и экономики и громадной воспитательной работой. В СССР каждый отдельный трудящийся человек, точно так же как и многочисленные коллективные организации, ежедневно и ежечасно чувствуют, как растет их личное и коллективное влияние, их материальная, техническая и культурная сила. В этом и проявляется этика и патетика жизни в СССР. И это не литература (в плохом смысле слова), не политическая трескотня, по выражению Ленина, это гигантская созидательная работа по устройству их собственной жизни, предпринятая миллионами людей. Это великая свобода развития, которая складывается из множества свобод: в труде, в повседневной жизни, в механизме государства, в городах, в деревнях, в семье, в отношениях между нациями, в школе, короче, повсюду. Цели партии и государства и с объективной и субъективной точки зрения совпадают с интересами развития масс. Некоторые еще существующие в СССР враги социализма, чьи жизненные интересы идут вразрез с интересами масс, воспринимают как полное отсутствие свободы именно то, что массы воспринимают как самую большую свободу. Но то, что они говорят, лишь подтверждает правоту марксистской теории, утверждающей, что общественное бытие определяет общественное сознание.

Проблема свободы имеет еще один чрезвычайно важный аспект. Впервые в истории социализм создает организованную и рациональную экономику, устраняя нерациональное и стихийное в ее развитии. Это новая ступень прогресса в развитии свободы. Маркс в 3-м томе «Капитала» так формулирует эту идею и перспективы ее применения в будущем: «Свобода в этой области может заключаться лишь в том, что коллективный человек, ассоциированные производители рационально регулируют этот свой обмен веществ с природой, ставят его под свой общий контроль, вместо того чтобы он

господствовал над ними как слепая сила... Но, тем не менее, это все же остается царством необходимости. По ту сторону его начинается развитие человеческих сил, которое является самоцелью, истинное царство свободы, которое, однако, может расцвести лишь на этом царстве необходимости, как на своем базисе. Сокращение рабочего дня – основное условие». Царство свободы начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно материального производства» (3).

С победой коммунизма, когда будет до минимума сокращен рабочий день, когда отомрет государство и будут устранены внешние формы принуждения, наступит всеобщее царство свободы во всех ее проявлениях.

VII. Проблема прогресса

Но не может ли оказаться, что исходным пунктом всех проблем, о которых мы говорили, являются ошибочные представления о возможности прогресса и наивная вера в воображаемое постоянное совершенствование?

В эпоху подъема буржуазии теорию прогресса почитали как сокровищницу идей и как основополагающую абсолютную истину. Теперь ее полностью отрицают. Ее заменили теорией циклов Шпенглера, у которого были предшественники (значительно более рассудительные) в лице Вико: теория о молодости, зрелости и неизбежном упадке организованных обществ, самобытных и морфологически различных. Их развитие и их упадок – это их судьба. Они не могут быть поставлены в один ряд, ибо они качественно различны: они являются лишь различными видами жизненных форм, последовательная смена которых образует поток истории.

Мы уже отмечали, что наивная оптимистическая теория непрерывного прогресса не выдерживает критики: великие цивилизации исчезли, бывали периоды упадка, эпохи застоя. Но из этого нельзя делать вывод, что не было эпох прогрессивного развития и что впереди у нас, в частности, ничего нет, не следует и заключать, что двери крематория уже широко открыты перед западной цивилизацией.

В современной фашистской философии истории идея Судьбы является лишь теоретическим выражением глубокого внутреннего пессимизма, который парадоксальным образом переплетается с самым крайним активизмом и волюнтаризмом. Эта судьба, которая по сути ничего не выражает, должна с точки зрения фашизма заменить научный анализ, от которого софистика Шпенглера очень далека. Несмотря на всю неприязнь Шпенглера к Марксу, все, что есть разумного в его рассуждениях, прямоком позаимствовано им у Маркса. Такова идея взаимозависимости всех самых различных аспектов общественной жизни, которая сообщает морфологическое единство обществу. Очевидно, Шпенглер не замечает здесь диалектических противоречий и в своем изложении зачастую пытается делать парадоксальные и мало убедительные сравнения. Но сама эта идея является уже положительным фактором. Но этого ни в коем случае нельзя сказать о всей концепции Шпенглера в целом. Анализ действительного положения вещей заставляет нас предвидеть не смерть общества, а конец его конкретной исторической формы и неизбежный переход к социалистическому обществу, переход, уже начавшийся, переход к высшей общественной структуре. И речь идет не только о переходе к более высокому образу жизни, но именно к более высокому по сравнению с сегодняшним.

Можно ли говорить об этой высшей общественной формации вообще? Не уведет ли это нас к субъективизму? Можно ли говорить о каких-либо объективных критериях в этой области?

Мы думаем, что да, можно. В материальной сфере таким критерием является производительность общественного труда и ее рост, ибо они определяют сумму прибавочного труда, от которого зависит вся духовная культура. В области непосредственных взаимоотношений между людьми таким критерием служит широта поля отбора творческих талантов. Именно когда производительность труда очень высока и поле отбора талантов достаточно обширно, тогда происходит максимальное внутреннее обогащение жизни для максимального числа людей, взятых не как арифметическая сумма, но как живое целое, как общественный коллектив.

Если с наших позиций бросить взгляд на диаметрально противоположные общественные системы – фашизм и социализм, то без всякого труда можно видеть реакционность и застойный характер, всю смертельную старческую немощь фашизма. Он воюет, оглядываясь только назад; он хочет добиться стабильности устарелых экономических отношений, стабильности патриархальных

общественных связей, превращения рабочих в домашних слуг, суровой регламентации семьи, сопровождающейся полным порабощением женщины, и, основываясь на этой консервативной базе, он жаждет «победоносных войн».

Социализм смотрит вперед: он постоянно революционизирует технику, создавая чрезвычайно быстрые темпы развития, высвобождая все новые и новые виды скрытой энергии для человеческого творчества. Он открывает новые возможности для бесконечного прогресса. Он быстро рождает потребности все более высокие, ставит проблемы все более новые. Он исключительно динамичен. Люди при социализме не склонны успокаиваться на достигнутом, и от поколения к поколению, переходя от проблемы к проблеме, они поднимаются к жизни все более сознательной и все более возвышенной.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Публикуется по журналу: Новая и новейшая история. 1988. № 5. С.92–111; в переводе Э. Гурвич.

Доклад Бухарина в переводе С. С. Неретиной опубликован: Вопросы истории естествознания и техники. 1988. № 4. С.10–31.

2. Перевод из Гете дан по статье: Бухарин Н. Гете и его историческое значение //Этюды. – М.–Л., 1932. С.158.

3. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.25. Ч. II. С.386–387.

Рукопись вторая

ФИЛОСОФСКИЕ
АРАБЕСКИ

Осень 1937 года

Предисловие

А. П. Огурцов

Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь

Анна Ахматова

Перед нами – рукопись Николая Ивановича Бухарина, вернее, последняя его философская рукопись. Через несколько месяцев – судные дни процесса, прошение о помиловании, направленное в Президиум Верховного Совета, избранного в соответствии с написанной им Конституцией СССР, пуля в затылок и тайные похороны...

Рукопись писалась им во внутренней тюрьме Лубянки. Под ее последней страницей – дата: «7–8.XI.37, в дни 20-летия великой победы». Для самого же Бухарина эти дни оказались роковыми.

О том, что Бухарин работал в тюрьме, он говорил сам в последнем слове на суде 8 марта 1938 г.: «Я про себя скажу, что в тюрьме, в которой я просидел около года, я работал, занимался, сохранил голову» (1). 20 лет спустя А. И. Микоян в беседе с американским журналистом Л. Фишером заявил, что Бухарин не подвергался физическим пыткам, и работал в тюрьме. Но никто не верил ни заверениям самого Бухарина, объясняя их моральными и физическими пытками, ни тем более уверениям Микояна, выступавшего на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП (б) (1937) содокладчиком Ежова по делу Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова (2).

О том, что Бухарин писал в тюрьме какой-то философский труд сохранился ряд свидетельств. Так, И. Бергер, сидевший на Соловках, сохранил воспоминания А. Айхенвальда – ученика Бухарина о его очных ставках со своим учителем:

Александр был в числе тех, кого поставили на очную ставку с Бухариным... Очная ставка длилась почти пять часов... В конце очной ставки Бухарин окончательно помирился с Айхенвальдом и попросил следователя разрешения переговорить с ним наедине. Следователь

согласился и вышел из кабинета, оставив охрану только у выхода. Бухарин и Айхенвальд провели таким образом с глазу на глаз, без свидетелей, около двух часов. Бухарин спросил Айхенвальда прежде всего о своей семье, о судьбе своих учеников... Затем Бухарин рассказал Айхенвальду о своих философских взглядах в связи с происшедшим. Бухарину разрешили в тюрьме читать и писать. Ему приносили книги и дали пишущую машинку. Бухарин писал книгу. Когда Айхенвальд спросил Бухарина, о чем его книга, то, к изумлению Айхенвальда, ответил: «О человеческой природе». Бухарин даже старался убедить Айхенвальда в том, что отныне им следует заниматься только одним: забыть об идеологических вопросах, экономике, политике и попытаться понять смысл и цену жизни вообще. Из того, что рассказал Айхенвальд, мне так и не удалось в точности понять, к каким же выводам пришел Бухарин: носили ли его поиски мистический, чисто этический или философский характер. Но именно этим занимался Бухарин в последние дни своей жизни(3).

Эти воспоминания приводит в своей биографии Бухарина Ст. Коэн, добавляя, что «неизвестно, сохранилась ли рукопись» (4). Теперь мы знаем, что рукопись сохранилась, что она посвящена проблемам диалектики, что она, очевидно, была не единственной за 13 месяцев лубянской одиночки. Вдова Бухарина – А. М. Ларина вспоминает, что она носила на Лубянку немецкие книги, необходимые Бухарину для работы над книгой «Деградация культуры при фашизме» (5). Критика фашизма, его расовой философии занимает большое место и в «Философских арабесках».

Более 50 лет эта рукопись тщательно скрывалась. Само ее существование отрицалось властью предержавшими. И лишь сейчас, когда с трудом и с громадным сопротивлением раскрылись архивы КГБ и ЦК КПСС, открылась возможность познакомиться с последним трудом Бухарина. Это – поистине тюремные философские тетради, написанные умным человеком и философом, сохранившим верность марксистским идеям даже в казематах, созданными марксистами. Наверное, XX век будет известен тем, что именно в нем было написано наибольшее число произведений арестантами приговоренными к смерти. В России – это книга Н. Д. Кондратьева «Экономическая статика и динамика», написанная во Владимирской тюрьме и увидевшая свет лишь в 1992 г., это и Н. И. Вавилов, тюремные рукописи которого, как нас уверяют, не сохранились, это и А. И. Солженицын, учивший наизусть строчку за строчкой то, что позднее получило название «Один день Ивана Денисовича».

И вот еще одна рукопись, написанная в сталинских подвалах... Рукопись называется «Философские арабески». Почему Бухарин выбрал именно это название? Не потому ли, что арабески – это собрание небольших сочинений, не связанных между собой тематически, не претендующих на систематическое развертывание по единому плану? Ведь арабески – это разнородные заметки по разному поводу, обычно написанные в разные годы и объединенные лишь авторской позицией. Может быть, потому, что музыкальная арабеска – это небольшое сочинение изящного характера с причудливым, орнаментированным мелодическим рисунком? Все эти смысловые оттенки нужно иметь в виду, задумываясь над тем, почему же Бухарин назвал свои тюремные философские заметки «арабесками».

Потаенный смысл такого причудливого названия своей философской работы можно объяснять как скромностью Бухарина, стремившегося тем самым подчеркнуть, что его труд не притязает на целостное и системное изложение диалектики, так и его пронизательностью, намекавшего на парадоксальную ирреальность философской работы в страшных условиях лубянской тюрьмы. Действительно, не чудачество ли заниматься философией в одиночке лубянской тюрьмы? Не причуда ли это, придя после очных ставок, изнурительных допросов и непрерывных угроз читать философские сочинения Бэкона, Канта, Гегеля, воспаряться в заоблачные философские выси? Арабески в Лубянке?! Действительно, нет ничего более странного... И вместе с тем нет ничего более мужественного, чем заниматься своим любимым делом, вопреки тем условиям, которые созданы его палачами.

Своеобразие философской позиции Бухарина, развиваемой в «Философских арабесках», – её ядром становится марксистская идея практики, практического отношения человека к миру. Он продолжает развивать эту тему, начатую еще статьями-выступлениями по организации науки в Академии наук (6). Эта активная мировоззренческая позиция находит свое выражение и в его понимании социальной природы субъекта и объекта познания, и в подчеркивании им деятельностного характера субъекта и объекта «овладевания», и в трактовке теории как теории практики, и в новом подходе к телеологии, которая объясняется существованием целеполагающего субъекта, и в осознании им практической направленности современной науки, и в социальной интерпретации «чувственных данных». Можно сказать, что мысль Бухарина движется параллельно и в том же направлении, что и мысль наиболее выдающихся марксистов XX века – А. Грамши и Д. Лукача, а именно,

к созданию социальной теории познания, не просто преодолевающей разрыв между гносеологией и социологией, а формирующую новую социальную по своему существу систему отсчета при постановке и обсуждении классических гносеологических проблем: Как мы познаем? Каковы пути познания? Что такое истина? Что такое благо? Что такое свобода?

Гносеология становится историчной и социальной, а в центре ее – проблема развития, диалектика развития. И в позитивном обсуждении философских проблем, и в критике Бухарин далек от того, чтобы выносить философский приговор тем или иным научным открытиям и теориям. Он ссылается на учение В. И. Вернадского о биосфере в своем анализе целостности природы, отмечает роль генетики в познании законов живого и микрофизики в раскрытии дуализма прерывности и непрерывности, использует многочисленные исследования этнографов и антропологов по происхождению рас и народов в своей критике расизма, анализирует работы достаточно известных зарубежных философов и социологов (например, Т. Лессинга, Г. Кайзерлинга, М. Шелера и др.).

Если попытаться хотя бы вкратце обозначить темы, которые были поставлены Бухариным в этой рукописи и в той или иной степени новые для тогдашнего марксизма, то среди них особо следует отметить:

- проблему абстрактного и конкретного, поставленную, конечно, Марксом в его критике Гегеля, однако надолго забытую их последователями и поднятую вновь в середине 50-х годов (Э. В. Ильенков, А. А. Зиновьев, М. К. Мамардашвили);

- трактовку практического, теоретического и эстетического отношения к миру как единого процесса, что вело к более широкому пониманию практики и выведению практики как гносеологического критерия из этого отношения,

- подчеркивание «круговорота теории и практики», т. е. непрерывного превращения теории в практику и практики – в теорию;

- выявление различных типов связей в природе, не ограничивающегося причинностью, а включающего в себя и функциональное отношение, статистические связи, телеологическую связь и др. (что стало предметом исследования в 60–70-е годы);

- подчеркивание многообразия форм свободы и многообразия форм необходимости, преодолевающей крайне узкое определение свободы как познанной необходимости,

- исследование проблем целостности организма, позднее ставшую предметом книги И. И. Шмальгаузена,

– оригинальное понимание телеологии как момента необходимости, когда «познание и производство, как разумные активные процессы, суть телеологические процессы, за спиной которых стоит необходимость»;

– разработка проблем социологии мышления, как введения в философию, – анализ взаимоотношения «способа производства» и «способа представления», который включает в себя не только критику идеологических форм сознания, в частности, фетишизма, но и механизмов репрезентации способов производства знания, названных им «стилевыми особенностями мышления»;

– подчеркивание им роли переживания и сопереживания в искусстве и непосредственного знания в науке, в частности, важности «близости с природой», «эмоциональной связи с природой»;

– идея единства теории и истории, для которой «теория исторична, а история теоретична».

Посмертное возвращение в жизнь рукописи книги Бухарина затянулось более чем на полвека, и оно пришло в то время, когда повержен каменный идол, поставленный, правда, позднее перед зданием внутренней тюрьмы Лубянки, а коммунизм, во имя которого жил и работал Бухарин, рухнул под тяжестью своих преступлений. И все же эта книга Бухарина найдет своего читателя – не просто читателя, специализирующегося по истории советской философии или истории политической борьбы между различными течениями внутри правящей коммунистической партии СССР, но и читателя, задумывающегося о трагической судьбе поколений, по которым проехала тяжелая колесница истории, о причинах трагедии России и ее культуры.

Вокруг философских идей Бухарина существует немало мифов, созданных сталинистами, которые приписали ему непонимание диалектики, механицизм, теорию равновесия и пр. Историкам отечественной философии еще предстоит очистить наследие Бухарина от сталинистских деформаций и фальсификаций. Одно несомненно, Бухарин занимал и занимает видное место в истории марксистской философии. Его мысль – одна из нитей в ткани развития марксистской мысли, звено в ее цепи. И трагедия Бухарина, вынужденного в последние годы, в условиях жесткой цензуры, постоянного давления, атмосферы страха, непрерывных доносов, разоблачений, разбирательств, нередко прибегать к эзоповскому языку, аллюзиям, недомолвкам и в конце концов раздавленного коммунистической машиной Тррора, усугубляется трагической судьбой этой рукописи, надолго погребенной в пыли архивов КГБ и

выпавшей из последовательного ряда развития марксистской мысли, из реального воздействия на духовный процесс, всегда осуществляющегося в полемике, спорах, критике. Ведь мысли, развиваемые Бухариным в этой рукописи, могли бы привести к принципиально иному, новому видению марксистской философии, будь они известны хотя бы в 50–60-х годах! Образ философии, который намечается здесь Бухариным, не был тождествен сталинистской версии марксистской философии, распятой в вышедшем через год «Кратком курсе истории ВКП (б)» на трех чертах диалектики и четырех чертах материализма. Многие темы, которые впервые ставит и обсуждает Бухарин, были новы для марксистской философии даже 60-х годов. И те, кто держал под замком эту рукопись, как и рукописи тысяч других авторов, виновны не просто в деградации марксизма, превратившегося в идеологическую пайку, но и в варварском отношении даже к собственным умным головам, а не только к российской интеллигенции и к культуре России. Рукопись Бухарина – это последняя попытка создать иной, не сталинистский образ марксистской философии. 1938 год – год убийства Бухарина и окончательного утверждения в СССР философского единомыслия, победы выхолощенной, убогой сталинистской версии марксистской философии. После этого развитие марксистской мысли в России прекратилось. Она оцепенела до первой оттепели в середине 50-х годов.

Сталин методично и изощренно подвергал Бухарина моральным и психологическим пыткам, начиная с конца 1928 – начала 1929 г., когда он выступил против сталинской программы насильственной коллективизации. И все уверения Бухарина, что он принимает решения съезда, что у него нет разногласий с линией партии, Сталиным в расчет не принимались. Он создает вокруг Бухарина вакуум – снимает его с поста главного редактора «Правды», выводит из членов ЦК ВКП (б), арестовывает группу его учеников и одновременно назначает его на пост главного редактора «Известий», говорит о том, что кровь Бухарина он де не прольет. Кнут сменялся пряником. Бухарин же шел навстречу, признаваясь в своих ошибках, клянясь в верности партии и Сталину – «персональному воплощению ума и воли партии, ее руководителю, ее теоретическому и практическому вождю», как он говорил на XVII съезде ВКП (б), и Бухарин пел осанну человеку, цинизм и интриганство которого он уже понимал, который заставил его прославлять террор в отношении других членов ЦК и партии, выступать, причем, неоднократно, с осуждением своих бывших друзей. Особенно изощренными стали

«пытки» в 1936–1937 гг., когда Сталин чуть ли не каждый день сменял гнев на милость, подозрительность на мнимую доверительность, понимая, очевидно, что Бухарин готов обманываться, что он психологически растерян, читая, как член ЦК, письменные показания более 60 человек-арестантов на него самого, давая показания на очных ставках с Г. Я. Сокольниковым, осведомителем В. Астровым, Е. Ф. Куликовым и др. Нам из исторического далека трудно понять состояние Бухарина, но ясно, что только раздавленностью и истерией можно объяснить его слова, сказанные как будто бы не им, из прошения о помиловании: «Я стою на коленях перед родиной, партией, народом и его правительством и прошу президиум о помиловании».

И все-таки не уйти от вопроса о том, кем же был Бухарин? Простодушным философом, ничего не затевавшим, как он сам говорит в письме «Будущему поколению руководителей партии», против Сталина и готового без колебания заплатить за жизнь Ленина собственной жизнью? Одним из виновников сталинского режима, принесшего с собой кровавый смерч? Или человеком, пережившим в последние дни своей жизни катастрофу, осознавшего губительность избранного пути, единомыслия со своим палачом, смертоносности иллюзий, которые вдохновляли его жизнь?

Трудно дать однозначные ответы при оценке столь сложной и противоречивой фигуры, как Н. И. Бухарин. Подход с позиции «либо-либо» (либо апологетически-восторженное, либо критически-негативное отношение) не адекватен при оценке ни его философских идей, ни его политической программы. Несомненно, это знающий, яркий человек и философ. Во многих воспоминаниях современников Бухарина отмечается его мягкость, открытость, детское добродушие. Так Л. Троцкий, отнюдь не самый близкий ему человек, писал:

В характере Бухарина было нечто детское, и это делало его, по выражению Ленина, любимцем партии... мягкий, как воск, по выражению того же Ленина, Бухарин был влюблен в Ленина и привязан к нему, как ребенок к матери).

Его вдова отмечала, что Бухарин был «человеком поразительной душевной тонкости, почти девичьей застенчивости» (8). Как заметил Ст. Коэн,

...в нем совсем не было пугающего высокомерия Троцкого, нарочитой помпезности Зиновьева или подозрительности и склонности к интригам, столь характерных для Сталина. Он был «по-любovному мягок» в своих

отношениях с товарищами и друзьями. Источая «всепроницающее радушие», он вносил в неофициальные собрания заразительное веселье и в свои лучшие минуты благотворное очарование в «поли(9)ку»

Столь же психологически верно наблюдение А. И. Солженицына:

Больше всего в жизни Сталин остерегался бессеребренников, вроде Бухарина. Не понимая мотивов их действий, он терялся, какие предположит(10).

Как сказал М. Я. Гефтер, «гибель Бухарина – эпилог поражения Ленина» (11). Считая себя учеником Ленина, Бухарин посвящает ему рукопись «Философских арабесок» и, по сути дела, обсуждает круг проблем, намеченный Лениным в «Философских тетрадах». Он остается верен ленинской парадигме даже в своей критике «социально-мифотворческого идеализма» А. А. Богданова, проходя мимо его «Тектологии», ставшей первым вариантом системной теории организации. Столь же по-ленински прямолинеен он и в своей критике буржуазной философии, которая де переходит «от метафизики неопределенных категорий к теологической мистике», впадает в антиинтеллектуализм и иррационализм. То, что здесь исток опасной самоизоляции марксистской философии от европейской мысли XX века, от всемирно-исторического философского процесса, осталось ни понятым ни Лениным, ни Бухариным, ориентировавших философию на противостояние и борьбу с иной мыслью и инакомыслием вообще.

Вслед за Лениным Бухарин отдает предпочтение насильственным методам политической борьбы. В 1920 г. – в год военного коммунизма – он писал:

...пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической (112)хи

Не трудно увидеть в этих словах Бухарина утопические иллюзии о человечестве будущего, во имя которого попирается жизнь и достоинство людей настоящего. Бухарин, конечно, не был свободен от иллюзий, Он разделяет со многими своими современниками веру в то, что насилие может изменить мир, может улучшить человечество. И хотя М. С. Ольминский верно сказал о замене экономики «бухаринским методом каторги и расстрела» (13), все же справедливости ради надо сказать, что подобная апология военно-репрессивных методов составляла существо взглядов многих

марксистов тех дней – от Ленина до Зиновьева, от Троцкого до Сталина. Да и не только марксистов. В марте 1921 г. на X съезде РКП (б) Бухарин обосновывает дозированность демократии внутри партии.

Трагедия Бухарина и в том, что в политической борьбе с оппозицией он стал союзником Сталина (правда, с мучениями совести и со все более ясным пониманием того, что же на самом деле представляет собой Сталин). Бухарин оказался вместе со Сталиным в борьбе с оппозицией за единство партии – этой сакральной идеологемы, произносимой при принесении очередной жертвы кровавому Молоху. Так, выступая 28 июля 1926 г. против легализации оппозиционных фракций в коммунистической партии, Бухарин говорил:

Если мы легализуем такую фракцию у нас в партии, то мы легализуем и другую партию, а если мы легализуем другую партию, то мы действительно по-настоящему сползем с линии пролетарской диктатуры на линию политической демократии, на ту линию, которую издавна и издревле проповедовали меньшевики, Каутский, эсеры и другие наши политические враги (14).

Два года спустя Бухарин говорил: «нам дороже всего на свете единство всей нашей партии» и призвал повесить «дамоклов меч над всяким, кто осмелится ради интересов групповой борьбы пожертвовать интересами партийного единства» (15). В эту ловушку, или как он сам сказал: «мышеловку», он и попал спустя год (16). Даже после того, как он осознал губительность военно-феодальных методов принуждения и сталинской программы коллективизации, он допускает, что в борьбе с бешеным сопротивлением кулачества социалистической реконструкции «нужно разговаривать языком свинца» (17). И в рукописи «Философских арабесок» нетрудно обнаружить иллюзии, разделявшиеся Бухариным со многими коммунистами того времени и коренящиеся в их утопическом сознании. Например, об отмирании религии в СССР, о классовости этики как совокупности норм целесообразного поведения, о том, что исторически возникающий тип социалистического человека представляет собой наивысший, исторически наиболее совершенный тип субъекта овладения и др.

Но Бухарин не был рабом иллюзий. Он легко признавал ошибки и пытался определить новые пути теоретической мысли и практического действия. Так, осознав губительность для России насильственных методов коллективизации и сталинской теории усиления классовой

борьбы по мере строительства социализма, он выступил против методов «военно-феодальной эксплуатации крестьянства» (18) и начал исследовать пути кооперации крестьянства. В «Философских арабесках», говоря об истоках ошибок в политической тактике, он замечает: можно «мыслить ограниченно и формально, на основе этих ограниченных отображений действительности, т. е. однобоких, т. е. ошибочных, строить тактику и соответственно действовать. Тогда ошибки, «политические ошибки», будут совершенно неизбежны: они со всей силой необходимости будут вытекать из ошибочных установок, даже при благоприятной политической конъюнктуре, а при неблагоприятной могут загубить все». В этих словах Бухарина чувствуется отзвук его борьбы со сталинской программой и практикой насильственной кооперации крестьянства, когда военно-феодальная политика в отношении крестьянства вытекала из чудовищных административно-бюрократических установок органов власти.

Уже в начале 30-х годов в философских статьях Бухарина возникает тема «социалистического гуманизма», еще совсем недавно считавшаяся идеологами сталинизма проявлением «гнилого буржуазного либерализма». Этот поворот в философских взглядах Бухарина нашел свое выражение в его докладе «Основные проблемы современной культуры», прочитанного в Париже в апреле 1936 г. (19) и в рукописи «Философских арабесок». В противовес авторитаризму и фашизму Бухарин видит в гуманизме «идейную ось нашего времени» (20), подчеркивает, что «социализм не только не противостоит расцвету личности, но, напротив, утверждает это как обязательную посылку, начиная с определенного исторического этапа... Мы хотим одного: социалистического гуманизма» (21). И та оценка социализма, которая дается им на последних страницах его тюремных «Философских арабесок», должна рассматриваться не просто как иллюзия, превращающая утопические мечты в реальность и далекая от жесткой действительности, но и как выдвижение программы, противоположной сталинской модели репрессивно-тоталитарного социализма и коренящейся в идее социалистического гуманизма. Называя современную ему эпоху эпохой «реального роста социализма и гибели ниспадающего в утопию обреченного капитализма», Бухарин так характеризовал социализм:

Социализм же идет вперед, растут его производительные силы, растет его классовая организованность, растет материальная культура, заполняется пропасть между городом и деревней, заполняется и другая

пропасть – между умственным и физическим трудом; миллионы повышают свою техническую культуру, расширяют свои духовные горизонты; развивают заложенные в людях способности; приобщаются к науке и искусству и творят их; воспитывают волю, характер, творческую страсть; здороваются и крепнут телом, создают новую семью, работают и мыслят; растет сотрудничество народов, растет и личность трудящегося, его индивидуальность; растет в то же время и организованность целого, т.е. социалистического общества, и с каждым днем создаются все условия для все более богатого дальнейшего развития. Свобода развития – самая драгоценная свобода – стала впервые в истории фактом для многих миллионов людей.

Не трудно увидеть в этих словах, как и во многих им аналогичных, напыщенную риторику, незаслуженное превознесение социализма, перенос желаемого будущего в настоящее и отрыв от реальной жизни людей в этой несчастной стране. И все же политическая и идеологическая риторика не поддается анализу, если исходить из норм ее соответствия реальности. Нужно взглянуть на все утонченные допущения, используемые способы аргументации и выводы как на стилевые особенности философского дискурса, которые выполняют вполне определенные функции – фиксации своей приверженности определенной парадигме, сопротивление или неприятие противоположной парадигмы, критики и взаимной полемики и т.д. Нужно понять, что все такого рода риторические приемы направлены совершенно на иное – не на реальность, которая окружает мыслителя, а на своего оппонента, и говорят они отнюдь не о достижениях социализма, а о существовании своей идейной программы, противостоящей в своих фундаментальных установках (воинствующий антифашизм, социалистический гуманизм и реконструкция научно-технического потенциала) сталинской программе. В статьях и выступлениях Бухарина 30-х годов нужно еще расшифровать метафорические намеки, полемику, прибегающую к эзоповскому языку, умолчанию и предполагающую в своем слушателе и читателе, выросших в условиях жесткой политической цензуры и отсутствия гласности, умение читать между строк, понимать аллегорический и метафорический смысл и подтекст сказанного. Приведем еще один пример. Во многих своих работах 30-х годов Бухарин выступает критиком фашизма, его идеологии и практики. Критика расовой философии фашизма, его антиинтеллектуализма занимает большое место и в «Философских арабесках». Можно, конечно, задаваться вопросом о том, насколько соответствуют характеристика Бухарина реалиям итальянского и немецкого

фашизма, но бесспорно то, что угроза фашизма была понята им в своей универсальности, что она была рассчитана на то, чтобы вызвать у слушателя и читателя аллюзии на сталинский режим, на то, чтобы противопоставить ему гуманистическую концепцию личности и ее связи с обществом. Бухарин и в своих выступлениях, и в своих статьях недвусмысленно говорит о необходимости реформ и демократии в стране (22). В своей речи в Париже Бухарин так охарактеризовал фашизм:

Фашизм как теоретически, так и практически довел до крайности анти-индивидуалистические тенденции. Над всеми институтами он воздвиг всемогущее «тотальное государство», которое деперсонифицирует все, за исключением вождей и сверхвождей. Обезличение массы здесь прямо пропорционально прославлению «Вождя»... Огромное большинство людей таким именно образом превращается в простых исполнителей, связанных дисциплиной, опутавшей все области жизни – производства, повседневного быта, семьи, физиологии, мысли и дисциплины, которую государство обеспечивает определенными санкциями

Можно напомнить его яркое сравнение на XVII партсъезде Сталина с «фельдмаршалом» пролетариата, которое, конечно, же, намекало на то, что Сталин, подобно тому, как Гинденбург передал власть Гитлеру, может передать власть кровавому палачу типа Ежова. Конечно, и Бухарин внес свою лепту в создание культа Сталина, но лепта его гораздо менее значительна. И он был гораздо более сдержан в своих эпитетах (правда, в последние годы жизни, когда он осознал опасность своего положения, они становятся менее сдержанными (см., например, «Пирамида великих дел» //Известия, 15 мая 1936). Однако нет никаких свидетельств, подтверждающих высказывания М. Куна:

За год с лишним пребывания в заключении Бухарин написал объемистую рукопись о сталинском гении. Возможно, это была последняя попытка доказать свою преданность всемогущему диктатору, спасти себя и свою семью.

Вряд ли он был искренен и это хорошо понимал Сталин (24). Наоборот, как будет показано ниже, в рукописи Бухарина «Философские арабески» – скрытая полемика со сталинизмом.

Можно напомнить его характеристику мифотворчества и волонтаризма, присущие политике и идеологии фашизма, его слова о том, что все полезное политике фашизма считается здесь истиной,

которые, конечно же, были направлены против фашизма, но задевали и сталинизм. Что же кроется за его философскими исследованиями в следственной тюрьме? Нежелание войти в реальный мир, стремление замкнуться, конечно, не в замкнутом пространстве тюремной камеры, а в ирреальном мире философского дискурса? Может быть, это лишь попытка уйти от проклятых вопросов: «Кто виноват?» и страх перед возможным ответом: «В том числе и ты сам!» Ведь философские рассуждения столь же далеки от окружающей реальности ГУЛАГа как грезы ребенка от криминальной реальности. Не уйти ни будущим, ни нынешним историкам, от этих вопросов, здесь заостренных, но именно в силу их остроты требующих своего ответа. И последняя философская рукопись, я думаю, дает возможность увидеть другого Бухарина – Бухарина накануне своей гибели, накануне процесса, знающего, что его ждет смерть и готовящегося сразиться со сталинским клеветом – А. Я. Вышинским, используя весь арсенал добытых в философии средств.

Творчество любого философа марксисты привыкли рассматривать лишь под углом зрения отображения им реальности. В произведениях философов, поэтов и писателей мы до сих пор привыкли видеть лишь «зов денотата», лишь воспроизведение реальности. При таком подходе, который как раз и был характерен для ленинской теории отражения, слово вообще лишалось своего метафорического, символического и магически действенного смысла. Оно оказывалось, по выражению Р. Барта, «не более чем стеклянным окном, выходящим на реальность», а весь творческий процесс – состоящий из двух элементов – «реальности» и ее выражения (25). Все произведения культуры оценивались лишь под одним углом зрения – насколько адекватно художник или мыслитель «воспроизводит», «отображает», «выражает» действительность. Адекватность отображения была единственной гносеологической и эстетической нормой.

Творчество философов и поэтов не подвластно таким школярским оценкам. Оно создает ирреальное пространство мысли и образов, мир возможных смыслов, живущих собственной жизнью. В мире их тонких, нередко воздушных, конструкций и хрупких образов воплощены не только переживания их души, но и создается вторая «ирреальная реальность» – символический мир культуры, который должен оцениваться по своим критериям и нормам. Этого не понял марксизм. И в этом одна из причин его собственного истощения и саморазрушения. И если в своих речах ради того, чтобы возбудить энтузиазм масс, мобилизовать их, внушить им ненависть к врагам, жажду всеобщей справедливости, коммунисты допускали

многообразие стиливых приемов – полемичность, патетику, экспрессивный пафос, страстность и даже визионерство, то философский дискурс они стремились очистить от погруженности в риторику. В этом стремлении высвободить философский дискурс от погруженности в идеологическую борьбу и риторику чувствуется не просто сциентистское непонимание того, что философский дискурс и есть сама жизнь, но и кроется возможность лишения жизни самой философии. Правда, надо сказать, что подобное стремление всегда сталкивалось с противоположным устремлением – подчинить философию злобе дня, сделать ее орудием в идейной борьбе. Но и здесь (в другой, правда, форме) чувствуется непонимание специфики философии, отождествляемой с партийной идеологией.

Трагедия Бухарина в том, что он отдал дань такого рода нормативно школярской философии. Но уже в своей речи на I съезде советских писателей (август 1934) он говорит о необходимости «переориентации критериев», выступая против лозунговой элементарности, наивной упрощенности и поверхностности художественного содержания и эстетической формы. Этот же новый подход он продолжает в своих «Философских арабесках», которые должны быть поняты не под углом зрения отображения в них российской действительности конца 30-х годов, а исходя из контекста идейной борьбы Бухарина против сталинизма, за свое достоинство и честь, в контексте подготовки к завтрашнему сражению со своим обвинителем.

Сталинисты от идеологии и от философии, следуя указанию Сталина, на бюро партячейки Института красной профессуры в декабре 1930 г. приписали Бухарину создание не только правого политического уклона, но и ревизионистской философской доктрины, которая де выступала против ленинизма, отрицая значение и роль диалектики, отстаивала механистическое мировоззрение (принципы «теории равновесия», сведение качества к количеству и пр.) (26). Против такой с позволения сказать интерпретации своих философских убеждений и выступает Бухарин в «Философских арабесках». Следует обратить внимание на то, что он не только начинает и завершает свою рукопись панегириком Ленину как философу, но и все содержание рукописи подчиняет разработке ленинского понимания диалектики. Специальная 16-я глава посвящена критическому анализу «грехов» механического материализма: акцент на количественных свойствах предметов и процессов, превращение качества в нечто субъективное, сведение

всех связей к механически понятой причинности, редукция живого к механическим связям, а целого – к сумме частей, изгнание телеологии из науки, антиисторизм. «Грехи механического материализма» находят свое выражение в упрощенной и убогой картине мира, в том, что Бухарин называет «тривиализацией мира».

Совершенно очевидно, что рукопись «Философских арабесок» и по своему замыслу, и по своему содержанию представляет собой как зашифрованную, так и открытую полемику с фальсификаторами его философских взглядов, является способом защиты своих философских идей, осуществляемую в форме защиты ленинского философского наследия. И без включения этой рукописи в контекст полемики Бухарина со сталинскими клеветами невозможно понять ее действительное содержание.

Есть еще один, тщательно зашифрованный пласт в «Философских арабесках» Бухарина, который и позволяет рассматривать эту рукопись как философско-логическую проработку аргументации на предстоящем ему судилище Ульриха–Вышинского. Мне хотелось бы обратить внимание на 1-ю главу, которая называется вполне академически – «О реальности внешнего мира и о кознях солипсизма». Казалось бы, и по своему названию, и по своей направленности она посвящена сугубо философской теме – критике солипсизма и развертывает полемику, которую вел еще Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме» с солипсизмом. Однако внутри нее возникает один поворот, который совершенно неожиданно освещает новым светом ее содержание. Этот поворот связан с появлением дьявола – Мефистофеля в качестве защитника и идеолога солипсизма. Из критики солипсизма – «теории о человеке, отрицавшем весь остальной мир и всех других людей» – эта глава становится гораздо более многозначительной и многоосмысленной. В ней замаскирована скрытая аллюзия, выражена тайна отношений Бухарина к Сталину и сталинским клеветам. Ведь Мефистофель, будучи дьяволом солипсизма, использует богатство логической аргументации и все свое сатанинство ради утверждения сознания «сумасшедшего, вообразившего, что ничего, кроме него, нет и что все разыгрывается в его сознании». «Дьявол солипсизма хитер, он драпируется в чародейный узорчатый плащ железной логики и смеется, высунув язык». Черт оказывается логиком, выдвигающим, казалось бы, убедительные аргументы, в его аргументации нет ничего лишнего, все строго последовательно. Но основывается эта логика на сумасшедшей философеме на «бредовой ограниченности солипсизма». Для солипсизма характерно «какое-то деревянное

сумасшествие, заскорузлость одиночки, величайшая бедность и духовная нищета интеллектуального кустика, обеспокоенный мир, втиснутый в маленькую черепную коробку». Солипсизм живет «вне соотношения со своими друзьями вне связи, ибо он – все». Это – тиран, душа которого закрыта не только для всего прекрасного и великого, но и для семьи и друзей. Мефистофель употребляет всю хитрость разума и все свое дьявольское умение, для того чтобы утвердить точку зрения солипсизма, обольстить человека на одиночество, на безграничное отрицание существования и мира, и других людей. Позиция солипсизма – позиция деспота, позиция демагогическая, античеловеческая, аннигилирующая и мир, и личность, отрицающая ее право на жизнь и стремящаяся возвратить человека к девственности и невинности ощущения, «к варварски-невинному состоянию».

В своем эссе о солипсизме Бухарин не обращается ни к галлюцинациям, которые можно было бы объяснить сильной душевной напряженностью, ни к сновидениям, как это сделал К. Радек, у которого Н. Маккиавелли – идеолог диктатуры победил в споре Ж. Ж. Руссо – идеолога демократии (22). Бухарин обращается к вполне реальному философскому учению. Ему не нужны ни мистификация, ни фантастичность, для того чтобы выразить свое неприятие сатанинского пафоса солипсизма. Прием, используемый им, гораздо более продуктивен, против него трудно что-либо возразить, ибо это – критика действительно существовавшей философской теории, в которой скрыта правда иного рода – правда о сатанинском характере человека, пришедшего к власти и использующего насилие и ненависть в своем презрении к миру и к другим людям.

Философская тема солипсизма всплывает на процессе в качестве аргумента в споре с Вышинским, в качестве требования доказать факт, существующий независимо от признания и сознания человека. Этот спор произошел 7 марта 1938 г., когда Вышинский попытался вновь связать Бухарина с крестьянскими восстаниями на Северном Кавказе.

Вышинский. Подсудимый Бухарин – факт или не факт, что группа ваших сообщников на Северном Кавказе была связана с белоэмигрантскими казачьими кругами за границей? Факт или не факт? Рыков говорит об этом, Слепков говорит об этом.

Бухарин. Если Рыков говорит об этом, я не имею оснований не верить ему.

Вышинский. Можете мне ответить без философии?

Бухарин. Это не философия.

Вышинский. Без философских выкрутасов.

Бухарин. Я же показал, что имел объяснения по этому вопросу.

Вышинский. Скажите мне «нет».

Бухарин. Я не могу сказать «нет» и не могу отрицать, что это было.

Вышинский. Значит, ни «да», ни «нет»?

Бухарин. Ничего подобного, потому что есть факты, независимо от того, входят ли они в сознание того или другого человека. Это проблема реальности внешнего мира. Я не солипсист (29).

В чем смысл этой полемики с Вышинским? Бухарин исходит из того, что обвинение должно привести бесспорные факты. Причем, зная, что их у Вышинского не может быть, а то, что ему будут вменять, основано лишь на признаниях обвиняемых, выбитых физическими и моральными пытками, Бухарин называет признания обвиняемых «средневековым юридическим принципом». Одной этой характеристикой он выявил существо этого судилища – инквизиторского по своей сути и иезуитского по своему характеру. Именно потому, что он – не солипсист, Бухарин подчеркивает, что «признания обвиняемых необязательны», обязательны лишь факты. Факт, «колоссальной весомости факт», – вот с чем должен иметь дело обвиняемый. Его-то и должно привести следствие и обвинение.

Избрав на суде определенную тактику – голословного признания в преступности замыслов и действий и одновременно отрицания обвинений по отдельным случаям – причастности к убийствам, к шпионажу и т. д., Бухарин оказался гораздо более сильным логиком, чем Вышинский. Отметив, что «на суде узнал о целом ряде новых фактов», он показал тем самым беспочвенность обвинения и беспомощность следствия. Зафиксировав нарушения элементарной формальной логики Вышинским (тавтологии, подмену понятий, в частности, насильственного ареста физическим уничтожением и др.), Бухарин вскрыл софистичность аргументации Вышинского: когда нет фактов, остаются одни предположения, принимаемые за факты. Бухарин оказался в трудном положении и все же вышел из него: он не может отрицать показания своих друзей, ведь в таком случае он становился бы на позиции солипсизма, и одновременно он не может утверждать их верность, поскольку они вменяют ему то, чего на самом деле не было. Показания же обвиняемых, бывших агентов царской охраны и ставших агентами сталинской охраны, он опровергает со всей силой своей аргументации. Дьявол солипсизма создал устами Вышинского солипсистскую теорию беззакония,

согласно которой оценка имеющихся в деле доказательств производится по внутреннему убеждению суда, для обвинения вполне достаточно показаний обвиняемых, а для отличения правды от лжи на суде достаточно судейского опыта:

...каждый судья, каждый прокурор и защитник, которые провели не один десяток процессов, знают, когда обвиняемый говорит правду и когда он уходит от этой правды в каких бы то ни было (30)х

Дьявол солипсизма хитер, но в столкновении с логикой Бухарина он терпит поражение. И тем больше читать в его последнем слове такие признания:

Тягчайший характер преступления – очевиден, политическая ответственность – безмерна, юридическая ответственность такова, что оправдывает любой самый жестокий приговор. Самый жестокий приговор будет справедливым, потому что за такие вещи можно расстрелять десять раз. Это я признаю совершенно категорически и без всяких сомнений(31).

И вновь в тюремной рукописи Бухарина можно найти ту ариаднину ниточку, которая выведет нас на понимание того, почему же он выбрал путь признания. Она – в словах из той же 1-й главы, в словах о сыне: «Успокойтесь! Волноваться вредно. И не хватайтесь за невинного младенца. Ибо он нисколько, ну ровно нисколько, вам не поможет. Мы же условились, что речь идет о взрослом, о философе. Но если взрослый философ нуждается в помощи маленького младенца и хватается за эту соломинку, чувствуя, что тонет, то можно поговорить и насчет младенца».

Бухарин в противовес позиции солипсизма не может отрицать существование ни внешнего мира, ни друзей, семьи и детей. Стремясь избавить свою семью от опасности, он призывает солипсизма не хвататься за невинного ребенка, ведь речь идет о взрослом, о философе.

Есть еще одна параллель между теми мыслями, которые развивает Бухарин в «Философских арабесках» и его последним словом на процессе – его апелляция к несчастному сознанию, проанализированная Гегелем в «Феноменологии духа». Бухарин понимал, что его ждет расстрел. Он не строил иллюзий относительно своей судьбы. Он сам говорил в последнем слове: «Я, быть может, говорю последний раз в жизни». Как он заметил в «Философских арабесках», salto vitale (прыжки) солипсизма оказываются прыжками с

летальным исходом. И именно в этом контексте его слова о несчастном сознании приобретают подлинно философский смысл: это сознание в своей жизни сталкивается со смертью, признает ее неотвратимость и вместе с тем жаждет жизни. Именно в этом смысл гегелевского анализа несчастного сознания, а не в той «неполноценности веры в свое контрреволюционное дело», о которой говорил Бухарин в последнем слове.

А. Авторханов точно подметил, что любые самобичевания обвиняемых не могут удовлетворить сталинистов. В них они видят лишь некий «спектакль» для достижения определенных целей. «Человека, который не бичует себя до смерти, нельзя считать искренним», – таково кредо сталинизма (32). Но и самоубийство, физическое, а не политическое самоубийство в отчаянии от ложных обвинений – они также не считают доказательством невинности. Авторханов напоминает о коммюнике Политбюро ЦК ВКП (б), выпущенном после самоубийства М. П. Томского, в котором говорилось, что он покончил с собой, запутавшись в своих антипартийных связях.

Тоталитарной власти мало поставить человека на колени, заставить его капитулировать перед нею. Она стремится определять все человеческое бытие, не только его жизнь, но и смерть. Она запретила аборт, лишив женщин возможности самой принимать решение о ребенке. Она запретила соборование перед смертью, а разрушив множество храмов на кладбищах, она закрыла возможность для верующих соблюдать церковные обряды, например, отпевание умерших. Власть, и только она, может и должна определять смертный час человека, ведь вся его жизнь без остатка принадлежит партии, государству, идеологии. И партии, государству, идеологии принадлежит и смерть человека, которая должна опять-таки служить прославлению и утверждению этой тоталитарной системы и преступной идеологии. Бесчеловечность и преступность такой системы власти и такой идеологии очевидна. И эта античеловеческая утопия воплощалась на протяжении 70 лет в России, загубив миллионы человеческих жизней, создав невиданный в истории репрессивный аппарат и антигуманную идеологию (33).

Трагедия жизненной судьбы и мысли Бухарина неразрывна от трагедии марксизма. Ведь XX век – это век не столько политического и идейного подъема марксизма, сменившегося склерозом, сколько его паралича и его духовной прострации. Трагедия марксизма как раз и заключается в том, что по мере превращения из философии в

государственно-тоталитарную идеологию он все более и более обескровливался, обескровливая Россию. Его содержание все более и более опустошалось, становясь набором сакрально-идеологических заклинаний и утопических догм. Исток этой трагедии не только в развязывании скрытых разрушительных импульсов народа, убивавшего, топившего, вешавшего, грабившего, насилувавшего во имя светлого Будущего, но и в тотальной идеологизации, в сужении смыслового поля философии узко политическими, своекорыстными интересами партократии, стремившейся захватить и удержать свою власть любой ценой, прежде всего насилем, репрессиями, подавлением демократии. Завязка этой трагедии – в превращении марксистской философии в государственно-тотальную идеологию коммунистической партии, которая, создав пролетарско-революционаристскую мифологию, не только взывала, но и непосредственно формировала у масс агрессивно-разрушительные инстинкты, ненависть, страх и холопство. Трагедия марксизма коренилась в его внутреннем изъяне – стремлении стать идеологией партии. И крах коммунизма – это возмездие за те бесчисленные жертвы, которые он принес в Россию, за разрушение и подавление во имя коммунистической утопии ее культуры и экономики, за смерть миллионов людей, одним из которых и был Бухарин.

Всем известен афоризм о том, что революция пожирает своих детей. Менее известны циничные слова Клима Самгина о том, что революции нужны для того, чтобы уничтожать революционеров. Одно теперь очевидно, что правление коммунистов, возникло из убийства и существовало лишь благодаря перманентному убийству. Бунт против несправедливости в 1917 г. обернулся еще большей несправедливостью, вакханалией террора и убийств. И, казалось бы, «солипсист» Сталин победил, убив Бухарина и миллионы невинных жертв. Но процесс вызвал недоверие: у одних – чудовищностью и нелепостью обвинений, у других – странностью самобичевания со стороны обвиняемых и противоборством Бухарина, прежде всего, с обвинителем, у третьих своим явным беззаконием. Для всех были странны признания обвиняемых. И, очевидно, поэтому потребовалось напечатать в «Правде» (15 марта 1938 г.) лживую статью, подписанную неким Д. Осиповым с характерным названием «Почему они признаются?». Процесс создал состояние шока у всех – у одних, кто еще верил коммунистической идеологии, он породил сомнения, а у других – наиболее пронизательных – понимание того, чем на деле является сталинский режим, и какую страшную судьбу он уготовил

России. Среди этих проникательных людей, знавших подлинную цену этого процесса, – не только Л. Троцкий и корреспонденты зарубежных газет, в частности Ф. Маклин, но и люди жившие в России, – В. И. Вернадский, Б. Л. Пастернак, О. М. Фрейденберг, Н. Я. Мандельштам, М. Пришвин (34). Они-то и были совестью России, а в их убежденности в невинности обвиняемых, в их неприятии этого судилища, в их сопротивлении лживой пропаганде – залог крушения тоталитарной идеологии, репрессивной власти и будущей свободы России.

В данном предисловии, конечно, далеко не исчерпаны возможности расшифровки скрытых смысловых пластов, существующих в рукописи Бухарина, всего его философского содержания. Речь идет только о начале расшифровки как потаенных политико-идеологических смыслов (здесь обширное поле для того, что можно назвать политической «герменевтикой»), так и философского содержания последнего труда Бухарина.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Судебный отчет по делу антисоветского правотроцкистского блока. – М., 1938. Цит. по: Кун М. Бухарин. Его друзья и враги. – М., 1992. С.463.
2. См.: Вопросы истории, 1992. № 2–3, 4–5. С.3–37.
3. Бергер И. Потрясенное поколение. – Флоренция, 1973. С.138–140.
4. Коэн С. Бухарин. Политическая биография. – М., 1988. С.326.
5. Ларина-Бухарина А. Незабываемое. – М., 1989. С.356–367.
6. Бухарин Н. И. Теория и практика с точки зрения диалектического материализма. «Сорена». 1931. № 1. С.7–24; О планировании научно-исследовательской работы //Вестник Академии наук, 1931, № 1. С.13–24; Техническая реконструкция и текущие проблемы научно-исследовательской работы. – М., 1932.
7. Троцкий Л. Портреты революционеров. – М., 1991. С.180.
8. Ларина-Бухарина А. Цит. соч. С.291.
9. Коэн С. Цит. соч. С.261.
10. Солженицын А. И. В круге первом. – Париж, 1969. С.128;
11. Гефтер М. Я. В преддверии гибели. – ВИИЕиТ, 1988. № 4. С.8.
12. Бухарин Н. И. Экономика переходного периода. Ч.1. Общая теория трансформационного периода. – М., 1920. С.146.
13. Красная новь. 1921. № 1. С.251.
14. Рыков А., Бухарин Н. И. Партия и оппозиционный блок. – М.–Л., 1926. С.75.
15. Бухарин Н. И. Доклад на XXIII чрезвычайной Ленинградской губернской конференции ВКП(б). – М.–Л., 1928. С.12–55.
16. Ларина-Бухарина А. Цит. соч. С.350.

17. Бухарин Н. И. Великая реконструкция (о текущем периоде пролетарской революции в нашей стране) //Правда. 19 февраля 1930.
18. Большевик. 1930. Т 2. С.14.
19. Бухарин Н. И. Основные проблемы современной культуры. Пер. с французского С. С. Неретиной. – ВИИЕиТ, 1988. № 4. С.10–31.
20. Известия, 1 января 1936.
21. ВИИЕиТ, 1988. № 4. С. 21–22.
22. Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников. – М., 1935. С.145–153. Некоторые итоги революционного года и наши враги. Известия. 7 ноября 1935, Опрокинутые нормы //Известия. 1936. 1 января; Расширение советской демократии. – Известия 1 мая 1936; Маршруты истории. Мысли вслух //Известия. 1936. 6 июля.
23. ВИИЕиТ, 1988 № 4. С.20. См.: также: Второе рождение человечества //Известия. 1935. 1 августа; О геополитическом вояже //Известия. 1936. 15 февраля.
24. Кун М. Цит. соч. С.389. Бухарин называл Сталина, по свидетельству А. Авторханова (Мемуары. – Франкфурт-на-Майне, 1983. С.462) «Чингисханом с телефоном», «мелким восточным деспотом» (Бюллетень оппозиции. 1929. № 1–2. С.15–16), «беспринципным интриганом» (Козн С. Цит. соч. С.348). По свидетельству вдовы Бухарина, «в конце первой половины сентября 1936 г. он откровенно говорил мне о преступной роли Сталина в организации террора» (Незабываемое. С.310). Ф. Н. Дан оставил в воспоминаниях слова Бухарина о Сталине: «что-то дьявольское есть в том, что за это самое свое «несчастье» он не может не мстить людям, всем людям, а особенно тем, кто чем-то выше, лучше его... это маленький, злобный человек, нет не человек, а дьявол» см. Общественная мысль за рубежом. 1991. № 6. С.63).
25. Барт Р. Сад 1 – Маркиз де Сад и XX век. – М.: Ad marginem, 1992. С.209,
26. См. Крылов О., Зыков А. О правой опасности. – М.–Л., 1929; Леман Н., Покровский С. Идеиные истоки правого уклона: об ошибках и уклонах тов. Бухарина. – Л., 1930; Черняк И. Политическое завещание Ленина в изображении тов. Бухарина. – М., 1930; За поворот на философском фронте. Т.1. – М.–Л., 1931; Селектор М. Е. Диалектический материализм и теория равновесия. – М., 1934., Сорин В. Борьба Бухарина и Рыкова против партии Ленина–Сталина, 1937. Ваганов Ф. М. Правый уклон в ВКП(б) и его разгром. – М., 1970 и др.
27. Цит. по: Волкоготов Д. Триумф и трагедия. Политический портрет Сталина //Октябрь. 1988. № 12. С.69.
28. Радек К. Разговор Н. Макиавелли с Ж. Ж. Руссо о демократии и диктатуре //Известия. 7 ноября 1934.
29. Цит. по кн.: Кун М. Бухарин. С.440.
30. Там же. С.382–383.
31. Там же. С.461–462.
32. Авторханов А. Происхождение партократии. Т.2: ЦК и Сталин. – Франкфурт-на-Майне, 1983. С.466.
33. Как верно отметил В. Баранов, «наступили времена новой реальности, которая так называемые естественные процессы жизни подчиняет суровой государственной необходимости, исключающей самотек. И разве не может высший носитель этой идеи решать, когда, кому и каким образом уйти из жизни? Из которой уйти все равно придется!.. Великое дело оправдывает любые жертвы» (Баранов В. Вождь и смерть //Моск. новости, 1993. № 12. 6, 5). Вообще тема «Тоталитарное сознание и смерть» заслуживает обстоятельного обсуждения.
34. Л. Троцкий писал 9.3.1938 г.: «Опираясь на тоталитарный аппарат и неограниченные материальные средства, Сталин замыслил единственный в своем роде план: изнасиловать совесть мира, и с одобрения всего человечества навсегда расправиться со всякой оппозицией против кремлевской клики» (Портреты революционеров. – М., 1991. С.140). В «Бюллетене оппозиции» (1938, № 65, апрель. С.4) он писал: «Нелегко поверить тому, что

сотни людей клеветают на себя. Но разве легче поверить тому, что те же сотни людей совершают ужасающие преступления, которые противоречат их интересам, их психологии, всему делу их жизни?.. Свои показания эти люди дают уже после ареста, под дамокловым мечом, когда сами они, их жены, матери, отцы, дети, друзья попадают полностью в когти ГПУ; когда у них нет ни защиты, ни просвета; когда они находятся под нравственным давлением, которое не способно вынести никакие человеческие нервы». В своем дневнике В. И. Вернадский оставляет записи от своего впечатления от процесса над Бухариним: «Безумцы... Кто поверит? Тревога в том, в здравом ли уме сейчас власть... может иметь пагубное значение для всего будущего. Чувство непрочности и огорчения, что разрушение идет не извне, а его производит сама власть» (Дружба народов. 1991. № 2. С.240). И продолжает: «процесс страшный и “производит” странное впечатление... Партия прогнила» (С.241). 19 марта 1938 г.: «Огромное впечатление “от происшедшего” процесса несомненно, и удивительно, что власть не учла этого... доверия нет» (С.244). 21 марта 1938 г.: «большую ошибку сделали с процессом. Сейчас как будто люди подумали и меньше верят, чем раньше. Это новое для меня впечатление» (С.244). 7 апреля 1938 г.: «Всюду полный разгром и террор» – 12 мая 1938 г.: «Политика террора становится еще более безумной, чем я думал еще недавно» (Дружба народов. 1991. № 3. С.242, 252).

О. М. Фрейденберг писала: «Сталиным была запущена истребительская машина, известная под именем ежовщины. Начались ужасные политические процессы, аресты и ссылки. Неизгладимое впечатление произвел процесс Бухарина. Кровавыми руками палача Вышинского Сталин отрубал у советского народа голову, – его революционную интеллигенцию. Но впрочем, после радиопередач о кровавом, грязно состряпанном процессе, запускалась пластинка с камаринской или гопаком. Куранты, которые били полночь, с тех пор травмировали мою душу своим медленным, тюремным звоном». (Переписка Бориса Пастернака. – М., 1990. С.160). Н. Я. Мандельштам вспомнила позднее: «Лишь в конце тридцатых годов кое-кто почуял, что количество жертв слишком велико... Страшно перелистывать газеты, где перед гибелью человек изо всех сил проклинает тех, кто успел погибнуть. В том, что перед арестом им давали возможность опозориться, восхвалив террор, был какой-то изощренно дьяволиский замысел» (Вторая книга. – М., 1990. С.140). И такого рода свидетельства (хотя люди боялись доверять свои мысли близким и даже бумаге) можно приумножить.

От составителей

«Философские Арабески» публикуются по авторскому оригиналу, хранящемуся в настоящее время в Архиве Президента Российской Федерации.

Предлагаемая читателям книга включает в себя Предисловие, саму работу Н. И. Бухарина, состоящую из 40 глав с предисловием, введением, а также Приложения, Примечаний и Именного указателя.

Рукопись публикуется без сокращений. Явные ошибки, исправления составителями не оговариваются, авторские зачеркивания не воспроизводятся.

Все авторские подчеркивания в тексте отмечены курсивом, сохраняются авторские ремарки.

При работе с оригиналом по возможности была сохранена авторская орфография за исключением устаревшего правописания.

Наши комментарии, пояснения и уточнения обозначены цифрами в скобках и отнесены в конец книги. В Примечания вошли: уточнения использованной автором литературы и источников в основном философского характера – Аристотеля, Канта, Гегеля, Маркса, Энгельса, Ленина и др. Определенную трудность составляло восстановление точного названия приводимой Н. И. Бухариным литературы, поскольку он не указывал издания цитируемых произведений. В этой связи нами использовались доступные источники. Так как автор часто цитирует по памяти, некоторые цитаты уточнить не удалось.

В Примечания также вошли переводы иностранных слов и выражений с латинского, греческого, французского, немецкого, английского, итальянского языков. Учитывая, что книга рассчитана на широкий круг читателей составители сочли нужным поместить в Примечания определения общепризнанных терминов и понятий, используемых автором.

Н. И. Бухарин

ФИЛОСОФСКИЕ АРАБЕСКИ

Предисловие

Эта книга представляет собою ряд очерков, освещающих важнейшие философские проблемы с точки зрения диалектического материализма (1). Несмотря на форму изложения, местами имеющую публицистический характер (главным образом, в начале работы), автор старался выдержать определенный план, связующий «арабески» (2) в единое целое. Все затрагиваемые вопросы обсуждаются по существу. Ударение делается на диалектической стороне проблем. Отправным пунктом являются некоторые новые точки зрения, развитые в замечательных набросках и фрагментах Ленина.

Автор

ВВЕДЕНИЕ

Наше время, это время великого кризиса всемирной истории. Борьба социальных сил поднялась до своей наивысшей точки. Апокалиптические (3) времена для старух обоего пола. Рождение нового мира для человечества. Время высокой героики для класса-преобразователя. Сумерки богов для уходящего и гибнущего порядка вещей. Все старые ценности трещат и рушатся. Происходит генеральная разборка привычек, норм, идей, мировоззрений; размежевка, поляризация всех материальных и духовных потенций. Что ж удивительного в том, что и *философия* вовлечена в этот кругооборот, в эту титаническую борьбу? И что же удивительного в том, что философия *марксизма*, о которой профессиональные философы говорили несколько лет тому назад с презрительной

усмешкой, поднялась теперь на ноги и упирается головой в самое небо? Ведь, она не только вышла на улицу, как боевая сила: она – высочайшее обобщение теории и практики уже существующего нового уклада, *социализма*, величайшего всемирно-исторического фактора жизни. На нее стремятся противники нацепить компрометирующие ярлычки: новая религия, эсхатология (4), мессианизм (5). Но хороша религия, когда она материалистична! Хороша эсхатология, когда социализм уже факт! Хорош мессианизм (понимаемый, как утопия), когда он захватывает сотни миллионов и – что главное! – побеждает! И как побеждает! В непосредственной классовой борьбе, в производстве, в технике, в науке, в исследованиях, в путешествиях, в героике, в философии, в искусстве, – словом во всех ярусах великолепного и трагического театра жизни! Он засыпает песком и поливает дезинфекционной жидкостью помойные ямы истории, он ликвидирует, к ужасу богобоязненных баб и хитрых жрецов, позеленевших от злобы и бешенства, даже религию, этот «духовный аромат»* старого общества, где царили деньги, «вселенская блудница, вселенская сводня людей и народов», где царил капитал, из всех пор которого «сочилась кровь и грязь»**. Пролетарий оказался менее всего похожим на фонвизинского недоросля (6): «зачем география, когда есть извозчики?» Это ампула занимают его противники. Это они все больше отвращаются от интеллекта, который отказывается им служить. Это они хватаются за каменные топоры, за свастику, за гороскоп. Это они начинают читать книгу истории по складам. Это они молятся каменным бабам и идолам. Это они повернулись спиной к будущему и, как собака *Гейне*, которой надели исторический намордник, лают теперь задом***, и история им тоже показывает одно свое *a posteriori* (7). Веселые битвы разыгрываются на грандиозном пиршестве, и бой охватывает все сферы.

Философия часто была двуликим Янусом: одно ее лицо было обращено на человека, другое на природу. *Сократовское*: «познай самого себя» соответствовало такому кризису греческой жизни, когда растерявшийся «субъект» искал своего места в обществе и, раскрыв

* K. Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung. K. Marx/F. Engels Werke (Berlin 1956 ff.) (im folgenden MEW.) Bd. 1. S. 378.; K. Marx/F. Engels Gesamtausgabe (MEGA² Berlin 1975 ff.) (im folgenden MEGA³), I. Abt. Bd 2. S. 170.

** K. Marx: Das Kapital I. MEW. Bd. 23. S. 788.; MEGA2, II./10. S. 682.

*** Düsseldorf Heine-Ausgabe. Band 10. S. 322. <Prosanotizen><II.(Mai 1831 bis 1848)>. Vollständig lautet das Zitat: „Der Hund dem man einen Maulkorb anlegte, bellt mit dem Hintern – Das Denken auf Umwegen äußert sich noch mißduftiger, perfidie des Ausdrucks.“

широко глаза, спрашивал, что он такое, для чего ему жить, что такое добро? И философия раскапывала горы вопросов общественно-морального порядка. Но *Бэкон Веруламский*, который считал это почти праздным занятием и предлагал другие вопросы: о природе вещей, о физическом мире, об истине. Это шло вперед, разгромив феодальные колодки, рациональное познание новых людей, людей буржуазного общества. Великие кризисы взрывают *всю* старую систему жизни, и ставят по новому вопрос о человеке, и вопрос о мире, ибо распадаются и старые общественные связи, и старое мировоззрение. Так и теперь. Какие прыжки, какие пируэты проделывает философский дух современной буржуазии! От христианства, с его розовым елеем, до культа Вотана. От категорического императива *Канта* до торжественных гимнов крови и железу. От преклонения перед Разумом до интуитивно-мистических созерцаний. От точной науки до варварского преклонения перед самыми дикими суевериями. Поистине «пьяная спекуляция» идеалистической философии была титаном по сравнению с жалкими, но наглыми троллями (8) современного мистицизма, и даже их духовный предок *Ницше*, мог бы сказать о них: «Я сеял драконов, а сбор жатвы дал мне блох»*. Но блохи эти – блохи в интеллектуальном смысле. Материально они еще вооружены первоклассным оружием, и им нужно противопоставить прежде всего материальную силу. Еще в «Святом Семействе» *Маркс* писал:

Идеи никогда не могут выводить за пределы старого строя: они всегда лишь выводят за пределы *дей* старого строя. Идеи вообще ничего не могут выполнить: для выполнения идей требуются люди, которые должны употребить *практическую силу* (9)**.

Но и теория является силой, когда она овладевает массой. Люди, которые применяют практическую силу, должны быть идейными людьми. Поэтому – в особенности во времена кризисов – так важна и идейная борьба. Гигант нового материального мира, социализма, стал гигантом нового мировоззрения. Люди нового мира стали новыми людьми, целостными людьми, людьми воли и мысли, теории и практики, чувства и интеллекта, сердца и ума, души и духа

* „Und wahrscheinlich würde er von diesen Herren das sagen, was Heine von seinen Nachahmern sagte: Ich habe Drachen gesät und Flöhe geerntet.“ F. Engels an Paul Lafargue am 27. 8. 1890. MEW. Bd. 37. S. 450.; „Wie richtig hat Heine seine Nachkläffer beurteilt: „Ich habe Drachenzähne gesät und Flöhe geerntet““. K. Marx/F. Engels: Die deutsche Ideologie. MEW. Bd. 3. S. 498.

** K. Marx/F. Engels: Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik. MEW. Bd. 2. S. 126 (praktische Gewalt – курсив N.B.).

одновременно. Когда-то глубоко-трагический немецкий писатель *Гельдерлин* жаловался в «Гиперионе»:

Не могу представить народа, более разорванного, нежели немцы. Ремесленников ты видишь, но не людей, мыслителей, но не людей, священников, но не людей, господ и слуг... но все же не людей

Бедняга не понимал, что классовое общество обрекает человека на нечеловеческое существование. Но именно это нечеловеческое существование возводится фашизмом (11) в вековечный закон иерархии, где «благородные» «сословия» должны вечно господствовать над «черным», и где навсегда человек должен быть прикреплен к каторжной тачке своей профессии и своего класса. Все это опрокинуто в нашей стране. И потому опрокинуты и соответствующие мыслительные категории, тот «*Домострой*», который проповедуется и осуществляется в бывшей стране философов и поэтов. В истинно-русском «*Домострое*» даже насчет младенцев говорилось:

Не ослабляй бия младенца, аще бо лозою биеша его не умрет, но здравее будет, ты бо бия его по телу, душу его избавляешь от смради

Это становится верхом премудрости в фашистском раю. И та же патриархальная нагайка царит и в мировоззрении. Куда идти дальше, чем всерьез провозгласить гносеологическим критерием истины толкования г-на *Гитлера*. Сам папизм не додумался до столь гениальной формулы! А вот ведь придумали!

Это падение мысли в помойную яму симптоматично. Но в великой борьбе к этой яме ведут многие тропинки и даже хорошо утрамбованные шоссе. Поэтому при размежевке идей нужно брать в штыки и тех, кто отклоняет пути развития в сторону от широкой магистрали диалектического материализма, а их, к сожалению, еще очень много. Часто они не ведают, что творят. Но, ведь давно сказано, что *ignorantia non est argumentum* (13)** – что незнание не аргумент и не оправдание...

Кантианцы (14), позитивисты (15), агностики (16), феноменалисты (17) и другие – выбирайте! Время не ждет. Время не терпит.

* Friedrich Hölderlin: *Hyperion oder der Eremit in Griechenland*. In: Hölderlin. Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe. Begonnen durch Norbert v Hellingrath, fortgeführt durch Friedrich Seebass und Ludwig v. Pigenot. Berlin 1943. Bd. 2. S. 283.

** \diamond* Так характеризуются слова и обороты речи, используемые автором на другом языке, кроме русского.

Мы хотим пройти с читателем по аллее мысли, где стоят ее сфинксы, ее загадочные сфинксы (18), которые растерзали столько мозгов, но которые умели играть и на прекрасной арфе творчества.

Пойдемте же, посмотрим еще раз на старых знакомых, поглядим на их таинственные глаза.

Глава I

О РЕАЛЬНОСТИ ВНЕШНЕГО МИРА И О КОЗНЯХ СОЛИПСИЗМА

Последующие поколения будут с великим удивлением узнавать, как старый классовый мир – и античность эллинов, и индийская мудрость, и утонченная философия капитализма – оставили в своих сморщенных и пожелтевших от времени книгах, в позабытых письменах, чудовищную теорию о человеке, отрицавшем весь остальной мир и всех других людей. Люди пили и ели, убивали и умирали, размножались, делали орудия, от каменного топора и наконечников стрел и до дизелей и динамо-машин, производили, научились взвешивать звезды и определять их химический состав. А философы утверждали, что все это сон, иллюзия, фата-моргана (19), Китайские тени, бродящие в сознании его, единственного *solus Ipse* (20) сумасшедшего, вообразившего, что ничего, кроме него, нет, и что все разыгрывается в его сознании. И будут потомки наши вспоминать, как эти философы умирали, и на смену им приходили новые, читали своих предшественников, от них заражались солипсическим вздором, и – о, комики! – отрицали даже те самые отравленные источники, из которых они пили свою жалкую премудрость. Поистине, был достоин гибели такой мир, который производил таких людей!

Но пока – увы! – эти ходячие мертвецы, эти живые трупы, оторванные от материальной практики, «чистые мыслители», интеллектуальная людская пыль, еще существуют и – что самое важное – заражают воздух экскрементами своего мозга и ловят в свои сети, тонкие липкие сети аргументов, которые многим еще кажутся убедительными.

Давайте же начнем игру! Начнем потеху! Поблестим мечами, позвоним щитами!..

Дьявол солипсизма хитер. Он драпируется в чародейный узорчатый плащ железной логики и смеется, высунув язык. Сколько людей, начитавшихся епископа Беркли и Юма, Маха, агностиков, имя же им – легион, прикладывали свои горячие лбы к холодной стене и к косяку окна и спрашивали себя в изумлении: «Да как же? Ведь, вот, я могу разбить себе лоб об этот косяк? Какое же это не существующее?»...

Но тут появлялся Мефистофель и, скривив иронически губы, говорил:

«О, что за грубый аргумент, милый, наивный юноша! Что за вульгарность! Вы бы еще сказали, что едите мясо с хлебом, перевариваете и выкидываете отбросы. Но разве ж речь, достойная философа? Это – аргумент для площадной черни. Еще *Гораций Флакк* пел: “*Odi profanum vulgus et cetero*” – “Я ненавижу чернь профанов”. Это для нее, с ее запачканными руками, которые шупают запачканные вещи и занимаются грязным и низменным делом труда – убедительны такие вульгарные, поистине уличные доводы. Но для вас, мой юный юноша, для героев чистой мысли, для рыцарей духа, постыдно прибегать к таким доводам. Ибо откуда вы знаете, что мир существует? Не из ваших ли *ощущений* вы знаете обо всем? Но они – *ваши*, и только *ваши*. И не выпрыгнуть вам из них никогда. И что бы вы ни творили, какие бы теории ни строили, вы строите из этих кирпичей. Так откуда же другое? Будьте последовательны! Вам страшно? Вы боитесь одиночества? Вас пугает угасание мира? Вы хотите звезд, любви, наконец – черт возьми! – дела, может быть, подвигов? Но все это будет. У вас есть и звезды, и любовь, и занятия. И вы можете наслаждаться, и любить, и читать, и даже работать, если вас это так интересует. Только все это – в вас, у вас, для вас. В вас – вся симфония мира. Не достаточно ли это?*

– А потом, мой юный друг, зачем вам утешения? Не есть ли это снижение вашего достоинства? Нужно смотреть в лицо истине, какова бы она ни была. Будьте же последовательны! Будьте бесстрашны! Ха-ха-ха!».

И бедный юноша вытирал свой потный лоб и косился на косяк, и ему мерещился снова высунутый язык черта-логика...

Но оставим эту игру воображенья нашего воображаемого юноши и его искуителя. Перейдем к сути.

В самом деле. В чем кажущаяся убедительность аргумента солипсистов, открытых и последовательных (таких мало все же) и

* Намек на метафору Дидро о сумасшедшем рояле, воображающем, что в нём играют все мелодии мира. Ср. примечание на стр. 196 в главе 22.

агностиков, их же – «тьма тем»? В кажущейся *логической чистоте*. Все строго последовательно. Ничего лишнего. Все – «из опыта». Ничего – не «примышлено». «Мне даны мои ощущения». Вот – железный инвентарь. Отсюда – остальное: все мышление, все суждения, вся наука, вся «позитивная картина мира». Выпрыгнуть отсюда – нельзя. Можно только переорганизовывать эти «данные». Никакого скачка, никакого *transensus'a* (21) в *другое*, сделать нельзя. Ничего другого и нет – Гипотеза другого ни на чем не основана, ибо есть только это, «мои ощущения», и в их пределах разыгрывается игра. Остальное – метафизика (22), праздные измышления. Можно, правда, *верить*. Но это уже отход от эмпирии, от опыта, если верить в то, что есть что-то *за пределами* «моих ощущений», *sapient, sat*. С мудрого довольноно.

Эта аргументация казалась многим настолько убедительной, что такой сильной критический ум, как *Г. В. Плеханов*, обронил как-то в печати фразу, что философия должна сделать спасительный прыжок *веры, salto vitale* (23), чтобы иметь возможность продолжать свою работу. Как тут, в самом деле, не вспомнить блаженной памяти митрополита *Филарета* и его «Катехизис» (24): «Вера есть уповаемых извещение, вещей обличение невидимых!» – И как ухватились за эту «веру» все эмпириокритики (25), эмпириомонисты (26), эмпириосимволисты (27)! С каким апломбом они издевались над «святой материей», над «*transensus'om*», над «теологией» (28) диалектического материализма, они, кто проповедовал идеализм (29), богостроительство (30) и богоискательство (31) на фоне упадочной общественной психологии во времена реакции! Вот какие были дела! А в области теории, при всех своих ошибках, *Плеханов* все же был первоклассной величиной, и *Ильич* (32) не раз говаривал про него: «Орел!» «Орлам случается и ниже кур спускаться, но курам никогда на небо не подняться» – поучал еще *Крылов**.

Но нужно ли было спускаться орлу ниже кур?

Да никак не нужно. И вовсе не надобно какое *salto vitale* тем более, что это *salto vitale*, как две капли воды похоже на *salto mortale* (33), с *летальным*, то есть смертельным, а не просто *летательным*** исходом. Не нужно было орлу спускаться в затхлый загаженный курятник!

В самом деле, давайте уж разбирать вопрос поглубже. Копать так копать! Мы даже готовы временно пойти на большую

* Иван Крылов. Орёл и куры. In: Iwan Krylow. Fabeln. Leipzig 1976. S. 16 f.

** Bucharins Wortspiel „Letalnyj, a ne prosto letatelyj ischod“ läßt sich nicht übersetzen.

принципиальную уступку. Ибо «грубое» опровержение от *практики* есть великое опровержение. Это – великая мысль. Но мы готовы принять сражение и на так называемой «чисто логической почве», то есть на условиях, предлагаемых противником. Пожалуйста, милостивые государи!

Итак: «Мне даны мои ощущения». *Кому* это «мне»?

Очевидно, что «я», это – философ-солипсист, или агностик. Человек взрослый, по своему культурный, читавший книги, писавший и т. д. Для удобства изложения совершив некое мизерное перевоплощение, временный маскарад. Этот философ – я, пишет настоящие строки.

Следовательно, «мне даны мои ощущения». *Когда?*

Да, очевидно, в любую минуту, в любой момент моего «опыта». Вот я пишу. Бумага, это комплекс белого, твердого гладкого, холодного; ручка-комплекс черного, твердого и т. д. Словом, по всем правилам *Беркли-Юма*, по всем нормам «Анализа ощущений» Э. Маха*. Это – мне дано. Из этих ощущений я составляю бумагу, ручку, свою собственную руку. *Mutatis mutandis* (34) то же и с остальными «элементами-ощущениями».

Но, позвольте, *так* ли это? Верно ли такое «чистое описание», которым столь гордятся философы данных направлений? *Чисто* ли они описывают? Не «*примыслил*» ли я что-либо? *Чисто* ли я изобразил сейчас то, что мне якобы «дано».

Неверно и нечисто. Содержание моего «сознания» совсем не таково. Мои «переживания» (*Erlebnisse*) описаны не так. Правда, здесь есть и «белое», и «черное», и «гладкое», и «холодное». Но у меня это *теперь* же связано неразрывно и с *понятием* предмета. Чистого ощущения у меня нет. Нет этой девственности и невинности ощущения. У меня «переживается» (в терминах противника) на «белое», «черное» и т. д., а эти моменты *уже* входят в понятие вещей, вещей, к которым я, кстати сказать, активно-практически отношусь: я вижу *бумагу*, я знаю, что она такое, для чего он мне нужна, я ее использую. Я должен произвести мыслительную *работу*, я должен сделать *усилия*, для того, чтобы *вышелушить* все эти «ощущения», чтобы изолировать их из связи понятий вещей, предметов, которые мне в действительности не пассивно «даны», а которые я так или иначе потребляю. Ощущения здесь продукт анализа, вторичное, а не первичное, фабрикат, а не сырье, конечный, а не исходный пункт. Для

* Ernst Mach: Die Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Physischen zum Psychischen. 2. vermehrte Auflage der Beiträge zur Analyse der Empfindungen. Jena 1900. Russische Übersetzung von G. Kotljars mit einem einleitenden Artikel von A. Bogdanow. Moskau 1907.

меня, теперь (мы подчеркиваем это обстоятельство) эти ощущения добыты в результате *мышления*. «Я» – не Ева, только что сотворенная Господом из ребра Адамова, не имеющая в голове ни одного понятия, ничего не знающая и «окруженная» хаосом звуков, цветов, красок, с головой, переполненной одними впервые хлынувшими, «ощущениями». Я, не будучи женщиной, все же давным давно имел дела со Змием премудрости и не раз вкушал плодов от запретного древа познания добра и зла. Так зачем же меня хотят вернуть в невинно-девственно-варварское состояние райски-блаженного, глупого, безмозглого, не мыслящего существования?

Der langen Rede kurzer Sinn (35): *неправда*, что «мне даны мои ощущения». Чистых ощущений, беспримесных ощущений у меня *нет вовсе*. Это – абстракция от того, что у меня есть в действительности. Это искажение моего «опыта». У меня ощущения сидят в порах понятий, я не начинаю за все человечество процесса *ab ovo*, я не повторяю *ab ovo* (36) и своего собственного развития, от первых дней рождения. Я не только *ощущаю*, но я *мыслю* и *работаю*. И ощущаю и мыслю одновременно. И ощущения у меня не даны никакими изолированными моментами и не являются никак *первоначально* данными. В этом – действительность, а не в вашей, господа, абстрактной выдумке, не в метафизической иллюзии, преподносимой под видом антиметафизической «положительной науки». Для грубого эмпиризма (37), ползучего эмпиризма*, как называл его Ф. Энгельс, для пренебрежительно относящихся к *диалектике*, как раз и характерно то, что они впадает, под барабанный «антиметафизический» бой, в самую настоящую метафизику. Бим-бам! Бим-бам! Долой метафизику и да здравствует «чистое описание»! Но подождите, господа! Ведь, это вы же вырвали метафизические ощущения из их реальной связи. Ведь это вы оторвали ощущение от понятия, чувство от мышления, разложили во времени то, что едино, разорвали грубо-антидиалектически действительные связи и действительные процессы!

Итак: ощущения *слиты* с понятием в едином «потоке переживаний»; они переходят одно в другое в каждый данный момент «опыта» (мы ведем беседу в терминах противника, да будет это ему утешением в юдоли земной!).

Но отсюда проистекают громадные выводы. Ибо – *понятие* есть *социальный* продукт и *немыслимо*, как продукт чисто индивидуальный, так же, как и язык, который может развиваться

* Vgl. F. Engels: Dialektik der Natur. MEW. Bd. 20. S. 345 f.; MEGA2, I./26. S. 162 f.

лишь в обществе совместно живущих, совместно работающих и между собой общающихся людей. Ощущать может и ощущает индивидуум, как биологическая особь, как индивидуум в его «естестве». Мыслит только *обобществленный* человек. Не обобществленный человек есть дикая абстракция, он не есть *человек*, и тем менее философствующий человек, тем менее философское «я». Всякое понятие есть снятие индивидуального, снятие субъективности. Ни один дальтонист (38) не смог бы открыть, что он – дальтонист, если бы он был *solus ipse*.

Следовательно, *любое* понятие и любое адекватное ему слово, т. е. любой акт мышления и любой акт речи, предполагают *«мы»*, отрицают изолирование и единственное я. Более того, они предполагают тысячелетнюю человеческую *историю*, в течение которой складывались понятия. Таким образом, Это *«мы»* (следовательно, и *«он»*, и *«они»*) уже предполагается, они присутствуют, они сопричастны мышлению. Ибо мышление есть свойство *обобществленного* человека.

Следовательно, налицо «сочеловеки», «Mitmenschen», говоря авенарианским языком. Но раз есть *«сочеловеки»*, то нет ровно никаких логических оснований упираться в признании и нечеловеческих моментов, т. е. в признании природных вещей и процессов, предметного мира, «внешней реальности» вообще. Брешь проломана. Признав другого человека, во всей его телесности, тем самым я признаю и дерево, и траву, и землю, и все прочее. Сквозь пробитую брешь сразу хлынул потоп действительности, реального внешнего мира, *объективно существующего независимо от познающего субъекта*. В нашей аргументации, следовательно, сочеловеки, это – только мостик, логический мостик. Весь реальный мир вторгается, как «данное», в противоположность бредовой ограниченности солипсизма.

Так падает девственная чистота и невинность солипсистической аргументации. Непорочное зачатие мира в голове без воздействия внешнего мира, т. е. мира вне головы, оказывается таким же мифом, каким является и непорочное зачатие агнца, вѣмлющего грехи рода человеческого.

Но тут к нам в странном негодовании и с красным лицом подбегает противник и, заикаясь, выпаливает, как из пулемета, свои гневные тирады:

– Как, Вы отрицаете, что у ребенка сперва есть ощущения, потом из них формируются понятия, потом...

И пошел. И пошел...

Успокойтесь! Волноваться вредно. И не хватайтесь за невинного младенца. Ибо он нисколько, ну ровно нисколько вам не поможет. Мы же условились, что речь идет о взрослом, о философе. Но если взрослый философ нуждается в помощи маленького младенца и хватается за эту соломинку, чувствуя, что тонет, то можно поговорить и насчет младенца. Какое же это непосредственно ваше «данное», милостивый государь?

Ребенок, это не вы, а другое.

Вы не можете «переживать», как ребенок.

Никаких «моих» ощущений здесь нет и в помине. Здесь предполагается *его* ощущения (то есть вы уже выпрыгнули из категории «моих»). Да вы еще говорите не о конкретном ребенке, а о ребенке вообще, то есть делаете сводку и обобщения наблюдений над рядом детей.

Другими словами, вы предполагаете, кроме себя, еще целый ряд маленьких субъектов (а, следовательно, *volens-nolens* (39) и окружающий их мир). Для *отрицания* мира вы хватаетесь за *утверждение* мира. Это, может быть, тоже диалектика, но да избавят нас от нее бессмертные боги!

Это вы делаете *salto vitale*, которое оказывается *salto mortale* для всей вашей гнилой, с позволения сказать, философии!

Значит, целиком подтверждается полная логическая несостоятельность *всей* школы солипсистов, агностиков-позитивистов и *tatti quanto* (40). Их непосредственно-данное – *никакое* непосредственно данное, и продукт (логически) весьма скверного анализа. Таким образом, мы приходим к тому, что есть и другие люди, и внешний мир. Приходим к этому без всякого, «salto». Да иначе и быть не могло. Совершенно чудовищно представление, по которому логика и *мышление*, которое есть удлинение *практики*, вращались бы в совершенно противоположных и абсолютно разорванных навсегда разобщенных, предпосылках, т. е. практически трансформировала бы тот мир, который теория бы отрицала. Действительный опыт, опирающийся на гигантское развитие человечества и на всю его практику, по сути дела на всю *жизнь*, говорит о совершенно другом. У солипсистов – ни грана диалектики, ни грана *исторического*. Какое-то деревянное сумасшествие заскорузлость одиночки, величайшая бедность и духовная нищета интеллектуального кустаря, обеспокоенный мир, втиснутый в маленькую черепную коробку.

Спрячьте свой язык, господин Мефистофель!

Спрячьте свой блудный язык!

Глава II О ПРИЯТИИ И НЕПРИЯТИИ МИРА

Аргументами солипсистов, как мы видели, является *дырявой* аргументацией. Но все философские течения, подобные солипсизму, субъективному идеализму вообще, агностицизму и скептицизму (41), о котором *Гегель* – говорил в «Истории философии»*, как о чем то неопровержимом, выглядит более или менее горделиво, лишь когда речь идет о т. н. «чисто логическом» сражении с ними, хотя и тут они обречены на поражение. Принято в философии вести дискуссию в ограниченной плоскости самых высоких абстракций, точно нельзя подрыть и разрушить эти самые абстракции *снизу*, отправляясь от самых *разнообразных* проявлений человеческой жизнедеятельности. Возьмем с этой точки зрения солипсизм с его «я». Что это за «я»? «Я» есть известная целостность. Но эта целостность *конечна*. Никакое «я» не помнит себя в бесконечности времени, а только с определенного «возраста». Даже если привлечь к делу платоновское «вспоминание», то это мало поможет, ибо ясно, что здесь *никакая* «данность», а умозрительное *объяснение*. А что же было *до* «я»? И что же будет *после* «я»? На эти элементарнейшие вопросы у солипсизма нет ровно никаких объяснений: такие вопросы «не принято» ставить. А почему собственно? Да потому, что это, извольте ли видеть, «низменная» постановка вопроса. Но кто сказал, что уродство абстракции выше многообразной палитры?.. Субъективные идеалисты (42) *нападают*.

А их нужно поставить в положение *обороны*.

«Я» пьет и ест и плодит детей. Проза? Прекрасно. Но все таки ест и пьет? Или не ест и не пьет? Имеет тело или не имеет?

Имеет мозг или не имеет? Совершенно, ведь, бессмысленно предположить, что существует *только* чистая духовная субстанция «Я» без материального субстрата (43). Ибо, если бы это было так, то откуда бы появилось у этого чистого «Я-духа», у этого «чистого

* Русское издание: Гегель. Сочинения, т. 9. М., 1932. Лекции по истории философии. Кн. 1. с. 313; Гегель. Сочинения, т. 10. М. 1932. Лекции по истории философии. Кн. 2., с. 454; Гегель. Сочинения, т. 11. М. 1935. Лекции по истории философии. Кн. 3, с. 527 S. Перевод Б. Столпнера. Со вступительной статьей М.Б. Митина.

сознания» сознание *своей* собственной телесности, своего организма, его болезней, телесных потребностей и влечений, т. е.: таких состояний сознания, которые в самом сознании связываются с телесностью? А если эта телесность так или иначе *есть*, то откуда она? Отсюда такие вещи, как родители, как время, как эволюция видов, как питание, как ассимиляция, как внешний мир и т. д. и т. п. Пускай *солипсизм* объяснит все эти проблемы! Пусть *opus probandi* (44) полежит немного на нем! Но на этих проблемах он будет сразу же чувствовать себя, как рыба, вытасченная на сушу. Ибо все вопросы материальной жизни (еды, питья, производства, потребления, размножения и т. д.) и всей культуры, и всего овладения (теоретического и практического) миром становятся необъяснимыми, причем чудесные загадки начинаются с самого тела пресловутого *solus ipse*. Или же оное «Я» должно провозгласить себя бестелесным, вневременным, внепространственным, вечным, в вечности которого угасает различие настоящего, прошедшего и будущего. Но, однако, никто еще не отваживался на *такое* «salto». Может быть, дело спасает *всеобщее* «Я»? Не «Я» солипсистов, а «Я» фиктеанского толка? Однако – увы! – при такой постановке вопроса исчезает вся привлекательность *последовательности* (*quasi* (45) – строго-эмпирической), которая отличает школу *Беркли–Юма* и их новейших сателлитов и лагеря позитивистического агностицизма и феноменализма. Ибо уже это-то «*всеобщее* 'я'» (никак не есть «первоначально-данное», и его природа, как всеобщая абстракция интеллекта, как родовое сознание, ясна с первого взгляда. Оно, с другой стороны, является более прочным, ибо остальные эмпирические «я» приходят и уходят, а род остается. Но и тут не отделаться от тех же вопросов. А что было *до* человечества? И что же, вся история человечества – это, что ли миф? И ко всем чертям нужно послать всю геологию, палеонтологию, биологию и все прочее? Все свайные постройки, каменные топоры, лук и стрелы, копыя, катапульты и баллисты, пирамиды, каналы, паровые машины, всю человеческую историю вообще?

Возвратимся снова к нашему *solus ipse*. Что *он*: он или *она*? Мужеского или женского рода? Или андрогин (46)?

Нам скажут: «фи! что за вопросы! что за глупости!» А почему? Если речь идет о строгой (ха-ха-ха!) эмпиричности, то, между прочим, в сознании должно быть и влечение сексуального порядка (ибо эмоции, аффекты и проч. не отрицаются). Так вот, будем судить не по внешним признакам, а по «фактам сознания». *Если* скажут о мужском

начале («М» *Отто Вейнингера* в «Пол и характер»), то, значит, есть и женщина *вне* сознания, реальная и настоящая. Если налицо Ж, то есть и мужчина. И т. д. А попробуйте-ка *уклониться* от этих вопросов! И здесь можно, конечно, некоторое время поломаться, сославшись на то, что такие вопросы «неуместны», и они де оскверняют белоснежные горные вершины мысли. Но это – *дешевое* возмущение, это – извините – «благородство» шулера, пойманного с поличным.

Про скептика *Пиррона* рассказывают, что он, исходя из достоверности недостоверности чувств, шел прямо на несущуюся на него колесницу, и что друзья его насилу оттащивали его и выручали из неминуемой беды*. *Se non e vera e ben trovato* (47). Но это в своем роде единственный случай последовательности. На самом же деле ни один скептик, агностик, солипсист, поставленный под смертельный удар, не удержится от того, чтобы от этого удара отклониться. Откуда? Почему? Или убеждение серьезно – тогда как объяснить это *раздвоение* и *полярность* «теории» и «практики», убеждения и поведения? Или именно *поведение* «серьезно». Тогда неясно ли, что «убеждение» покоится «на песце»? «Принято» опять-таки считать, что аргументы «ногами» не суть аргументы. А почему в сущности? Да просто потому, что до сих пор философствовали так сказать *безногие*, неполноценные люди, у которых теория была оторвана от практики, в сознании которых действительный мир заменился миром мыслительных абстракций и символов.

Посмотрите, в самом деле, на *совокупность* жизненных отправлений солипсиста и агностика! Если бы *все* разыгрывалось только в его чистом сознании, зачем ему было бы вообще *двигаться*? В этом отношении в тысячу раз последовательнее были *индусские* мудрецы-спиритуалисты (48), годами созерцавшие свой собственный пупок, даже чувственный мир считался ими обманной пеленой. Тут точка зрения *неприяття мира* проводилась куда более последовательно, хотя, увы, даже брэнное аскетическое тело все же не могло *целиком* оторваться от прозаической воды, чашки рису, кореньев и плодов. А, ведь, с точки зрения прияття или неприяття

* Бухарин ограничивается следующим пассажем из «Лекций по истории философии»: „Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie“: „Weil er nun behauptete, die Realität der sinnlichen Dinge habe keine Wahrheit, so erzählt man z.B., daß er im Gehen keinem Gegenstande, keinem Pferde oder Wagen, das auf ihn zurannte, aus dem Wege gegangen, oder auch auf eine Wand geradezu losmarschirt sey, in dem gänzlichen Unglauben an die Gewißheit sinnlicher Empfindung und dergleichen; und daß nur seine Freunde, die ihn umgaben, ihn immer vor solchen Gefahren weggezogen und gerettet hätten.“ G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II. A.a.O. Bd. 18. S. 545.

мира принципиально безразлично, на что вы ориентируетесь: на акрид и дикий мед или на ростбиф, фрукты и шампанское. Но здесь хоть можно сказать: *ut desint vires, tamen est laudanda voluntas* (49). А у западноевропейских отрицателей, неприемлящих мира, это неприятие выглядит скандально-лицемерно. Нас, разумеется, интересует в данном случае вовсе не «моральная» сторона дела, – бог с ней, с этой стороной. Нас интересует тот факт, что поведение здесь опровергает теорию, которая так жалко удирает в кусты перед самыми ординарными фактами самой ординарной обыденной жизни. Но и у индусов до-буддийского толка и у буддистов «*brahma-nirvana*» и «*nibbana*» отрицали чувственный мир во имя идеального сверхчувственного мира, имевшего для них истинное вне временное бытие. А у субъективных идеалистов и солипсистов нет даже и этого. Тут гордыня духа пожирает все и в то же время диалектически превращается в жалкую игру, которая в мираадах конфликтов с действительностью трусливо отступает буквально на каждом шагу.

«Нирваническая» практика, в которой воля направлена на свое собственное преодоление, на базе неприятия чувственного мира и самоуглубления, тем самым облегчает позицию, ибо сокращает сферу *действия* вообще, т. е. *активного* отношения к внешнему миру. Но вот как будет выпутываться не приемлющий мира солипсист, который, отрицая этот мир, *действует*, т. е. ходит, ест, пьет, работает, любит, делает предметы и делает детей и т. д.? Ведь, одно дело, когда люди разглагольствуют о неприятии мира с точки зрения пассивно-созерцательной: здесь даже их собственная телесность как бы растворяется и испаряется, ибо предполагается, что она не функционирует, или, по крайней мере рассуждательство исходит из фикции, из того, «als Ob (50)» этой телесности не было; она, эта телесность, не мозолит духовных очей, не вылезает наружу. Труднее приходится солипсистам, когда мы спрашиваем не только о пассивных «ощущениях», но и об актах *воли* (тоже, милостивые государи и милостивые государыни, факт сознания!) и *телесных движений*, этим актам воли соответствующих и направленных на *телесные объекты*. Здесь все связано одно с другим. Неприятие мира должно вести к отрицанию телесных движений, направленных на этот мир; к отрицанию телесности самого субъекта, к превращению субъекта в чисто-духовную субстанцию, вечную и неизменную, в которой угасает и время, и пространство, и весь Космос, и вся история, и жизнь, и смерть. Выходит, таким образом, что даже собственное тело «я» есть творение этого «я», как «чистого духа». Но – увы! Даже спиритам (51) нельзя уловить ни Беркли, ни Юма, ни

одного из их последователей. А, с другой стороны, фактическая множественность претендентов на универсальную и единственную психическую монаду (52) разрушает эту единственность и вместе с нею эту единственную в своем роде сумасшедшую философею.

В действительности каждый акт практики выводит субъекта за пределы его «я», является прорывом во внешний мир, который остается и тогда, когда сам этот субъект перестает существовать и превращается в ничто. Здесь субъект, который иллюзорно пожирает мир, творя его, пожирается этим якобы им творимым миром, который утверждает свой железный приоритет над преходящим единичным бытием индивидуума, будь последний хоть трижды солипсист, не приемлющий реального внешнего мира.

Субъект солипсизма есть вещь в себе и для себя, вне соотношения со своими друзьями, вне связи, ибо он – все. Но попробуйте к нему подойти экспериментально.

«Милостивый государь!» – скажите Вы ему: «так как Вы – единственная монада, и аз, грешный, существую только в Вашем сознании, и ваше тело – тоже, и вот эта рапира тоже, то позвольте мне проткнуть ею Ваше свиное (pardon!) сердце. Так как все это разыграется в Вашем сознании, то, разумеется, моя рапира ни капли не повредит Вашей сущности».

«Караул!» – закричит наш солипсист.

Тогда можно проделать другой опыт.

Предложите «неуязвимому» философу не вкушать никаких плодов земных и, исходя из независимости «духа», то есть чистого сознания, отказаться от грубой прозы пищи и питья. Он посмотрит на Вас дикими глазами.

А между тем, ведь, ясно, что с точки зрения его, якобы неуязвимой, позиции все это – лишь в его сознании, которое не может погибнуть от таких вещей.

Скажут, это грубо. Но, ведь, это не аргумент. А эксперименты эти и реакции на них – *аргумент*.

И то же будет, если мы потянем к ответу не солипсиста, а, скажем индусского аскета, не приемлющего чувственного мира. Попробуйте отнять у него его скудные пищевые пайки. Он или умрет (если согласится) или не отдаст их, что более вероятно. Но оба «ответа» будут аргументами *за* «внешний мир». И никакие хитросплетения мысли, никакие схоластические ухищрения не опровергнут убедительности этих «грубых» аргументов.

Все дело в том, что исходным пунктом является в действительности не «данность» «моих ощущений», а активное соотношение между субъектом и объектом, с приоритетом этого последнего, как величины независимой от сознания субъекта. Тут раскрывается все значение тезиса *Маркса* (см. его замечания на книгу А. Вагнера¹, положение о Фейербахе^{**}, и «Немецкую идеологию»^{***})^{***} о том, что исторически человеку предметы внешнего мира не «даны», как объект мышления, а что исходным историческим пунктом является мир, как объект активного *практического воздействия*. Процесс ассимиляции (53) (через еду, питье и т. д.), опосредствованный тем или иным видом *производства*, есть историческое (а, следовательно, и логическое) *pius* (54), а вовсе не «мои ощущения» или пассивно-созерцательное отношение между объектом и субъектом. Поэтому практика и аргументы от практики, как это будет подробно показано нами ниже, только с точки зрения интеллектуальной «чистоты», т. е. уродства отъединенного от целокупности жизненных функций, абстрагированного и гипостазионного (55) интеллекта, *не* является теоретико-познавательным критерием. Иллюзии субъективного и объективного идеализма (56), отрицание мира вообще и отрицание материально-чувственного мира есть идеологическое извращение, как рефлекс потери связи с практикой действительного овладения миром, реальной его *трансформации* (57). Восточный *квиеизм* (58) (браманическая и буддийская «нирвана») и скептическая «*атараксия*» (59) не случайно совпадает с наиболее глубокими формами неприятия чувственно-материального мира или принципиальных суждений о его непознаваемости, когда все категории *бытия* превращаются в категории одной *кажмости*.

В «Феноменологии Духа» *Гегеля*, в учении о свободе самосознания^{*}, автор, анализируя и оценивая *стоицизм* (60) и *скептицизм*, дает *en passant* (61) убедительную критику скептицизма именно с этой точки зрения.

¹ К. Marx: Randglossen zu Adolph Wagners „Lehrbuch der politischen Ökonomie“. MEW. Bd. 19. S. 355-83.

^{**} К. Marx: Thesen über Feuerbach. MEW. Bd. 3. S. 5 ff.

^{***} К. Marx/F. Engels: Die deutsche Ideologie. MEW. Bd. 3.; K. Marx/F. Engels/Joseph Weydemeyer. Die deutsche Ideologie. Artikel, Druckvorlagen, Entwürfe, Reinschriftfragmente und Notizen zu I. Feuerbach und II. Sankt Bruno. Text. Bearbeitet von Inge Taubert und Hans Pelger. Unter Mitwirkung von Margret Dietzen, Gerald Hubmann und Claudia Reichel. Marx-Engels-Jahrbuch 2003. Hrsg. von der Internationalen Marx-Engels-Stiftung Amsterdam. Berlin 2004.

^{*} G.W.F. Hegel: Phänomenologie des Geistes. A.a.O. Stuttgart 1927. Bd. 2. S. 158 ff.

Гегель называет здесь *рабским* сознанием сознание, находящееся в полной зависимости от жизни и существования. Наоборот, стоическое (62) сознание есть равнодушие самосознания: оно свободно от цепей даже тогда, когда на человека надеты материальные цепи. «Эта свобода самосознания, когда она выступила в истории духа, как сознательное явление, была названа, как известно, *стоицизмом*. Принцип его состоит в том, что сознание есть мыслящая сущность, и всякое явление имеет для него существенное значение или бывает истинным и добрым для него лишь постольку, поскольку сознание проявится в нем, как мыслящая сущность» («Феноменология Духа»)**. Стоическая невозмутимость духа – «*атараксия*» (добродетель мудреца, известная и основным *восточным* философско-религиозным направлениям) имеет, таким образом, основой сознание ничтожности чувственного мира (в большей или меньшей степени). *Скептическая* философия, которая компрометирует всякое объективное знание, в том числе и уверенность в бытии мира, являются поэтому, как выражается *Гегель*, рабом по отношению к *стоицизму*, как господину, освобождая его от привязанности к чувственному, к ценностям вещей и условий жизни. Он разрушает все и всяческие противоположные утверждения, оставляя в неприкосновенности лишь равнодушные сознания, «атараксию».

В «Истории Философии» *Гегель* считает скептицизм непроверяемым с точки зрения *единичного* сознания. «Мы должны – говорит он – согласиться с тем, что скептицизм непобедим, но непобедим он лишь *субъективно* (наш курсив. Авт.), в отношении отдельного человека, который может упорно отстаивать ту точку зрения, что ему нет никакого дела до философии и признавать лишь отрицание «... его нельзя переубедить или заставить принять положительную философию, точно так же как мы не можем заставить стоять парализованного с головы до ног человека» (63)*.

Но в «Феноменологии Духа» *Гегель* со всей силой выдвигает не только соображение о «единичном», но и противоречие между теорией и практикой, словом и делом, столь характерное для всей скептической философии.

Скептическое самосознание

...занимается уничтожением несущественного содержания в своем мышлении, однако, именно занимаясь этим, оно оказывается сознанием

** Ebenda, S. 160.

* G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II. A.a.O. Bd. 18. S. 538 f. (курсив N.B.).

о несущественном. Оно высказывает приговор абсолютного исчезновения, однако, этот приговор существует и это сознание есть приговор об исчезновении; оно утверждает ничтожность видения, слушания и т. д., но в то же время оно *видит, слышит* т. д. Оно утверждает ничтожество нравственных постановлений и в то же время делает их господами своего поведения *поведение и слова постоянно противоречат друг другу, и таким образом оно есть двойственное противоречие, сознание неизменности и равенства себе в полной случайности и несогласии с собой* (Феноменология Духа (64)**).

Но когда эта двойственность в себе сознает себя, как двойственность, то есть становится двойственностью *для себя*, т. е. когда «самосознание» сознает свою собственную двойственность, то рождается новая форма сознания, которую Гегель называет *несчастливым сознанием*. Оно сознает *раскол**** между теорией и практикой, и практика, т. о., вторгается сюда, как фактор величайшей важности, наряду с дуализмом мира «сущностей и явлений» (об этом ниже). Несчастное сознание, это «несчастное, раздвоенное в себе сознание» (Феноменология Духа) (65)

На свой лад, где точка зрения объективного идеализма и идеалистической всеобщности, в порых которого (идеализма) сидит изрядная доля мистики, Гегель все же схватывает две основные вещи:

- а) противопоставление единичному скептическому сознанию факта *всеобщелюдского*, т. е. опыта *многих*, людей, *общественного* опыта;
- в) противопоставление скептической теории практического начала, в том числе и, прежде всего, практики самих носителей скептической теории.

Таким образом, то, что в устах апологетов скептицизма (а также сторонников последовательного субъективного идеализма, или солипсизма) изображается, как грубый и нефилософский аргумент, является на самом деле философским аргументом огромной важности, аргументом, наносящим сокрушительный удар по «самосознанию», которое держится на ногах лишь тогда, когда оно слепо по отношению к своему собственному содержанию, и которое становится *несчастливым сознанием*, как только его кричащая раздвоенность в себе превращается в раздвоенность *для себя*, то есть, когда эта раздвоенность сознания становится ясной для самого сознания.

** G.W.F. Hegel: *Phänomenologie des Geistes*. A.a.O. Bd. 2. S. 165 f. (курсив N.B.).

*** Ebenda, S. 167.

Почтенный аристократический философ говорит: «Представьте себе подземное обиталище, похожее на пещеру, с длинным входом, открытым в сторону света. Обитатели этой пещеры прикованы к стене и не могут повернуть шею, так что их зрению доступна лишь задняя часть пещеры. На далеком расстоянии сзади них бросает свой свет сверху факел. В этом промежуточном пространстве находится наверху дорога и вместе с тем низкая стена, а за этой стеной (лицом к свету) находятся люди, которые носят, поднимая их выше стены, всякого рода статуи людей и животных, похожие на куклы в театре марионеток. Эти люди то разговаривают друг с другом, то молчат... Люди, находящиеся в пещере, будучи прикованы к стене, могли бы видеть лишь тени, падающие на противоположную стену, и принимали бы эти тени за реальные существа, а то, что люди, носящие эти куклы, говорящие между собою, до них доносилось бы лишь эхом, и они считали бы эти отзвуки речами этих теней. Если бы случилось, что один из этих прикованных был бы освобожден и получил бы возможность поворачивать спину во все стороны, так что он теперь видел бы самые предметы, а не их тени, то он подумал бы, что то, что он теперь видит, представляет собою иллюзорные сновидения, а тени представляют собой истинную реальность. И если бы даже кто-нибудь извлек их из пещеры, в которой они были заключены, к свету, то они были бы ослеплены этим светом и ничего не видели бы и ненавидели бы того, кто извлек их к свету, видя в нем человека, который отнял у них истину и дал им взамен лишь бедствия и горе» (Plat. De republica) (66)*.

Здесь на одной стороне люди, как каторжники, закованные в цепи и прибывающие в юдоли не-истинного чувственного мира; с другой – мир идей, чистых форм, абстрактных сущностей, τῶν εἰδῶν, недоступных чувствам человека, идеальных прообразов вещей, о которых человек может лишь «вспоминать». Недалеко ушла от этого и телефонная трубка *Карла Пирсона* («Грамматика науки»)**. И *кантовский* мир «нуменов», замкнутых «вещей в себе», взятых в противоположность миру «феноменов», «явлений» – стоит по ту сторону чувственного мира, ему «трансцендентен». И никакими силами человеку не впрыгнуть в это холодное царство. Таков

* Бухарин цитирует описанную Платоном в седьмой книге труда «Государство» притчу о пещере. Platon. Werke. Bd. 3. In der Übersetzung von Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. Berlin 1987, S. 235 f. In abweichender Übersetzung bei G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II. A.a.O. Bd. 18. S. 196 f.

** Книга Карла Пирсона «Грамматика науки» вышла в 1892 г. Проблема описана в гл. 2, § 3, которая имеет заголовок программного характера «Мозг как центральная телефонная станция».

печальный тезис *Канта*. То, что есть действительного в проблеме, было в виде вопроса блестяще сформулировано еще древними скептиками, в частности *Пирроном*, как излагает его, в учении о тропах, *Секст-Эмпирик*, *Гегель*, не стеснявшийся в выражениях, в особенности по адресу *Канта*, говорит (в «Философии Природы»), что метафизика *Канта*, подобная заразе, с ее учением о непознаваемых вещах в себе, глупее животных, которые набрасываются на чувственные предметы, чтобы их *пожрать*^{***}. Это верно и глубоко, ибо любой практический шаг по действительному овладению, т. е. преобразованию, переделке, трансформации предметного мира, есть выход за границы, отведенные «трансцендентальному субъекту». «Критикой чистого разума». Как ни «грубо» это доказательство, эта апелляция к практике, они весьма убедительны и с точки зрения теории познания, хотя тот же *Гегель* не без иронии отзывается о *Диогене*, ходьбой, то есть ногами, доказывавшем *Зенону* возможность движения^{****}. Ибо, в самом деле: люди по своей воле *изменяют* предметный мир так, как они *хотят*, а им вколачивают «идею», что они принципиально не могут познать этого предметного мира. Но это – тема особая и крайне важная. Мы еще постараемся набить по этому вопросу шишки на медных лбах агностиков. А сейчас заметим вот что: и здесь мы готовы сделать противнику временную принципиальную уступку; будем рассуждать «чисто логически», хотя это понимание логики неверно, ограничено, даже плоско-тривиально: ибо, поскольку мы вводим рассуждения о практике в качестве доказательства, *сама эта практика переходит в теорию*, она сама становится теоретическим аргументом.

В чем *суть* всех построений, толкующих о непознаваемости внешнего мира (не говоря уж о его отрицании, о чем выше (был «веселый разговор»)? В *субъективности* ощущений, представлений, явления, «феномена» в противоположность объективному, вещи в себе, «нумену». «Цвет, звук, сладкое, горькое, твердое и т. д. – все это субъективные влияния, сигналы, идущие от нуменального мира «в себе». А каков же он «в себе»? Как пахнет роза, когда ее никто не

^{***} „Ueber eine in unsern Zeiten grassirende Metaphysik, nach welcher wir die Dinge darum nicht erkennen, weil sie absolut fest gegen uns sind, könnte man sich ausdrücken, daß die Thiere nicht einmal so dumm sind, als diese Metaphysiker; denn sie gehen auf die Dinge zu, greifen, erfassen, verzehren sie.“ G.W.F. Hegel: System der Philosophie II. Die Naturphilosophie. Mit einem Vorwort von Karl Ludwig Michelet. A.a.O. Stuttgart 1942. Bd. 9. S. 42 (§ 46, Zusatz).

^{****} Бухарин имеет в виду следующий фрагмент из «Лекций по истории философии» Гегеля: „Es ist bekannt, wie Diogenes von Sinope, der Cyniker, solche Beweise vom Widerspruch der Bewegung ganz einfach widerlegte; – stillschweigend stand er auf, und ging hin und her, – er widerlegte sie durch die That.“ G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I. A.a.O. Stuttgart 1940. Bd. 17. S. 330.

нюхает? Как «отмыслить» («abdenken» (67), термин *Авенариуса*) субъекта? И если его отмыслить (чего, по *Авенариусу*, нельзя), то что же останется? Как *человеку* представить мир в нечувственных формах? А если этого нельзя, то, значит его нельзя познать «в себе», он останется вечной загадкой, принципиально неразрешимой. Может быть, это и материя, может быть, это – дух; может быть, это совокупность монад; может быть, это царство платоновских «идей»; может быть, наконец, это бог-кто знает? Здесь – царство веры, фантазии, чистого созерцания, мистики, *иррационального* (68) «познания». Гадайте хоть на кофейной гуще! Это все – «особо статья!»

Поражает ясностью постановки вопрос у Пиррона.

Секст-Эмпирик повествует:

Первым уроком является различие организации животных, благодаря которому у различных тварей возникают различные представления об одном и том же предмете и одним и тем же предметом вызываются различные ощущения

То же и с *людьми*: страдающий желтухой видит белое желтым. Это уж совсем, как у *Маха*, с приемом сантонина («Анализ ощущений»). Таким образом, здесь сразу утверждается *двоякий* субъективизм: 1) индивидуальный (желтуха, дальтонизм и т. д.); 2) общечеловеческий, родовой. А что же такое вещи *в себе*? Что они такое вне этих двух субъективных окрасок? Что они – *объективно*?

Хор отвечает: не знаем. Скептики: не знаем. Агностики: не знаем. Кантианцы: не знаем. Все они: и не будем знать; *ignoramus et ignorabimus* (69). Ах, какие страсти-мордасти!

На троп (70) *Пиррона* мудро отвечает *Гегель*, который, несмотря на свой идеализм, благодаря крайнему *объективизму* этого идеализма, стоит на грани своей противоположности, материализма, и потому часто бьет агностиков и кантианцев тяжелым артиллерийским боем. Итак, *Гегель*:

Но если они (скептики, Пиррон) и уничтожают чувственную одинаковость и тождественность и, следовательно, уничтожают всеобщность, то на смену ей выступает другая всеобщность, ибо всеобщность или бытие заключается именно в том, что *мы знаем*, что в набившем оскомину примере страдающего желтухой это кажется таким-то цветом, т. е. мы знаем *необходимый закон*, согласно которому

* G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II. A.a.O. Bd. 18. S. 558.

для него наступает изменение в ощущении цвета. (История философии. III) (71)*.

Это превосходный ключ к проблеме, истинно-диалектический *подход* к ней. «Вещь в себе» и человек, объект и субъект (поскольку он есть) связан, находятся в определенном отношении. Если объект остается тем же, а субъект меняется, и мы знаем специфическую организацию субъекта и закон соотношения между объектом и субъектом, то мы *уж* кое-что знаем. Мы знаем, что «вещь в себе», т. е. внешняя реальность имеет *объективное свойство* вызывать совершенно определенные ощущения у одних и совершенно определенные ощущения у других субъектов. Кант, как известно, перегрыз зубами «Критики чистого разума» *всякую* связь между субъектом и объектом. У него даже категория причинности есть априорная (72) категория чистого разума, и только вопиющей непоследовательностью, взрывающей всю систему можно объяснить, что у того же *Канта* вещи в себе «аффицируют» наши чувства, т. е. что здесь налицо причинная связь.

Тут несомненный провал, несомненное фиаско, разрушение стройного здания.

Итак, мы знаем уже:

- 1) что вещи в себе суть причина наших ощущений,
- 2) мы знаем закон соотношения, т. е. объективное свойство вещей производить определенные ощущения.

Это со стороны объекта. Со стороны субъекта, объективным свойством которого является свойство иметь ощущения, мы видим, что *мышление* снимает субъективность, понимая ее, как таковую.

Но здесь нужно подчеркнуть то, чего нет у *Гегеля*, что должно быть подчеркнуто марксистской диалектикой. Это – следующее:

Во-первых, то, что понят и фиксирован мышлением субъективизм (относительный!) дальтониста или желтушечного, могло произойти лишь из *сравнений* «опытов» многочисленных индивидуумов, то есть могло быть «дано» лишь в человеческом *общении*, продуктом коего и являются понятия, и системы понятий, и наука, как все более и более правильное отражение объективного мира; *во-вторых*, то, что понят субъективизм (тоже относительный) родового, общечеловеческого (субъективизма, так сказать, второго порядка) является также результатом кооперации людей и богатейшего опыта сравнений

* Ebenda, S. 559.

разных организмов, уже и с выходом за пределы людей (невидимые человеком лучи видят, например, муравьи)*.

Но из всего этого не следует, что в ощущениях – только субъективное. Это – одностороннее и метафизическое воззрение. То же и в феноменах, т. е. в феноменальной «картине мира». Ибо в явлениях является *мир*: это не самопроизвольное одностороннее в себе бытие человеческого сознания (ни индивидуального, ни общественного, ни ощущения, ни представления, ни понятия первого ранга – феноменистической картины мира); это – всегда соотношение, связь: никакого бы цвета не было бы, если бы не было объективно существующих световых лучей, никакой бы феноменистической картины мира не было бы, если бы не было бы мира. Здесь объективное переходит в свою собственную противоположность. Или, как говорит *Гегель* в «Науке Логики»: «Явление есть не просто несущественное, а *обнаружение сущности*» (73)^{2*}, т. е., в переводе на наш язык, обнаружение объективного мира в категориях человеческих чувств.

Таким образом, рассматривать ощущения, как только субъективное, *вне* связи с объективным, нелепо^{***}. Эта сторона дела была хорошо сформулирована еще «Геркулесом древнегреческого мира», *Аристотелем*, который (в «*De anima*») писал, что для ощущения «необходимо, чтобы было *налицо ощущаемое*». То есть, ощущение предполагает *внешнее*, внешнюю реальность, независимую от субъекта и связанную с субъектом, которую субъект ощущает. Он ощущает ее, в нем ощущается *она*. Еще резче: у *Ильича* (в «Материализме и эмпириокритицизме») есть формула, касающаяся света: энергия внешнего раздражения переходит в ощущение цвета*.

Ergo (74): материальные лучи такой-то длины и скорости воздействуют на материю сетчатки, нервные токи идут, мозг «работает», инобытием чего является *ощущение*. Именно поэтому в «Философских тетрадках» *Ильич* выставляет тезис, что чувства не

* Бухарин ссылается здесь на заметки и фрагменты Ф. Энгельса о «познании» в «Диалектике природы». MEW. Bd. 20. S. 506.; MEGA2, I./26. S. 376.

^{2*} G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik I. Die objektive Logik. Mit einem Vorwort von Leopold von Henning. A.a.O. Stuttgart 1936. Bd. 4. S. 598. (курсив N.B.).

Русское издание «Науки логики» см.: Гегель. Сочинения. Т.5. М., 1937. Наука логики. Т.1. Перевод Б. Г. Столпнера. Под ред. М.Б. Митина. 715 с. (23.03.1937 в наборе). Гегель. Сочинения. Т.6. М., 1939. Наука логики. Т. 2. 434 с.

^{***} G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II. A.a.O. Bd. 18. S. 377.

(курсив N.B.). Aristoteles: Über die Seele. Übersetzt von Willy Theiler. Darmstadt 1983. S. 35: „denn das Wahrnehmbare muß da sein.“

* „... so erzeugen also die Lichtstrahlen, indem sie auf die Netzhaut fallen, die Empfindungen der Farbe.“ W.I. Lenin: Materialismus und Empiriokritizismus. LW. Bd. 14. S. 46.

отделяют человека от мира, а связывают его с ним, приближают его к миру^{**}. Здесь *взаимпроникновение* противоположностей, их диалектическая связь, а не односторонняя субъективность и не абсолютная разорванность объекта и субъекта, не отрицание (как в «Эмпириокритической принципиальной координации» *Авенариуса*) реальности внешнего мира, якобы не могущего существовать без субъекта. Сама противоположность *realiter* (75) возникла исторически, когда природа создала, выделила из себя новое качество, человека, субъекта, исторически-общественного субъекта.

Интересен в высшей степени и *восьмой* троп *Пиррона*. Он гласит: «Согласно этому тропу мы заключаем, что так как все *есть* в отношении к чему-нибудь, то мы удержимся сказать, каково оно само по себе и по своей природе. Нужно, однако, заметить, что мы здесь употребляем слово «есть» лишь в смысле «кажется»^{***}.

Тут, следовательно, говорится об отношениях в двояком смысле: во-первых, в смысле отношения к судящему субъекту; во-вторых, в смысле отношений между объектами, т. е. об отношении предмета к «другому», к другим предметам или процессам. О первом мы уже говорили. Теперь о втором. Здесь нужно сказать, что вещь в себе *кантианская*, т. е. «вещь», взятая вне какой бы то ни было связи с *другим*, есть пустая абстракция, т. е. абстракция, лишенная всяких конкретных определений, «то есть *ничто*, *caput mortuum* (76) абстракции, как выражался *Гегель*^{****}. В самом деле, что такое, например, вода вне определенной температуры, давления и других условий? Что такое вода «в себе»? Вопрос нелеп, ибо «в себе», т. е. вне определенных отношений, оно – ничто, *leere Abstraktion* («*wahrheitslose leere Abstraktion*» (77), как метко определяет *Гегель*).

Из того, что воздух, огонь и т. д. ведут себя так-то и так в одной сфере, нельзя сделать никаких выводов относительно их поведения в другой сфере(78)

^{**} W.I. Lenin: Konspekt zu Hegels „Wissenschaft der Logik“. LW. Bd. 38. S. 83.

^{***} G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II. A.a.O. Bd. 18. S. 564.

^{****} „Indem das Absolute als Wesen bestimmt wird, wird aber die Negativität häufig nur in dem Sinne einer Abstraktion von allen bestimmten Prädikaten genommen. Dieses negative Thun, das Abstrahiren, fällt dann außerhalb des Wesens, und das Wesen selbst ist so nur als ein Resultat ohne diese seine Prämisse, das *caput mortuum* der Abstraktion.“ G.W.F. Hegel: System der Philosophie I. Die Logik. Mit einem Vorwort von Leopold von Henning. A.a.O. Stuttgart 1940. Bd. 8. S. 261 (§ 112).

– как формулирует вопрос Гегель в «Философии Природы»*. Поэтому, в сущности, нет фактов вне законов и нет законов вне фактов: и то и другое есть единство, ибо закон есть необходимое соотношение, связь чего-то о чем-то, переход одного в другое, становление, превращение и т. д. Потому не физические, химические, органические и т. д. свойства тел выражают отношение: электропроводимость, летучесть, теплопроводность, упругость, тяжесть, плавимость, протяженность, временность, движение, наконец, даже свойство ощущать и мыслить, – все это суть объективные свойства соотносящихся тел, законы, как *соотношения*. «Отмыслить» субъекта можно. Познание, исходя из чувственного, снимает субъективное и первого, и второго и т. д. порядка, приходя к объективным свойствам вещей и процессов, к соотношениям между ними, независимым от соотношения с субъектом. Вопреки эмпириокритикам, бытие природы без смысла субъекта было историческим бытием земли до появления человека. Но из принципиальной возможности и необходимости «отмыслить» (ab-denken) «принципиальную эмпириокритическую координацию», не вытекает, что можно «отмыслить» все природные соотношения. Здесь вступает в силу так называемый «лысый» силлогизм (79)**, над которым ломали голову древние мудрецы, здесь количество переходит в качество.

Отсюда: скептики правы лишь против рассудочных, метафизических, антидиалектических определений, оперирующих вещью в себе, взятой вне всяких отношений. Такую вещь в себе, безразличную по отношению ко всякому другому, познать действительно нельзя по той простой причине, что она не существует, является ничем, небытием, пустой абстракцией, метафизической иллюзией. Так называемые отдельные вещи (электрон, атом, химические элементы, планеты, индивидуумы органического мира и т. д.) мы берем в их *относительной* независимости, но всегда в определенных, искусственно выделяемых, более устойчивых соотношениях, которые именно в силу своей относительной устойчивости берутся за скобки и не замечаются: хорошо бы выглядел, например, человек в безвоздушном пространстве и при абсолютном нуле! И какова была бы тогда его «природа»? Или, вспомним, что говорил в «Диалектике Природы» Энгельс о «вечности

* „Wie Luft, Feuer usf. also anderwärts erscheinen, bestimmt in der jetzigen Sphäre nichts.“ G.W.F. Hegel: System der Philosophie II. A.a.O. Bd. 9. S. 199 (§ 286, Zusatz).

** Вопрос-ловушка (sorites) Эвклида из Мегары: «Сколько волос должен кто-нибудь потерять, чтобы стать лысым?» (Диоген Лаэртский. II. 108).

законов природы»*. Они существуют, если налицо есть определенные естественно-исторические условия. Они по существу так же историчны, как и любой общественный закон, только масштабы времени совсем иные. Последние исследования Эддингтона, например, доказали, что в физике космической, при колоссальных температурах и давлениях, при нагревании тела не расширяются, а, наоборот, сжимаются, в полную противоположность обычным земным соотношениям, т. е. *другим* связям вещей и процессов.

Так меняется. Вот здесь то и вскрывается вся нелепость трактовки цвета, звука и т. д., как *только* субъективного. Ибо:

1) свойство иметь ощущение есть *объективное* свойство субъекта, который сам может быть рассматриваем как объект;

2) это ощущение появляется в результате воздействия *объекта*.

Мы можем рассматривать, ведь, само отношение между объектом и субъектом, как объективное отношение, и свойство *порождать* ощущения будет тогда объективным свойством объекта, а свойство *иметь* ощущения будет тогда объективным свойством субъекта. Если мы знаем, что у субъекта α , β , γ , объект x порождает ощущения α , β , γ , то мы *знаем* тем самым известные объективные свойства объекта. Возьмем, на первый взгляд, парадоксальный пример, о котором мы упомянули выше: ядовитого паука. Если паук кусает человека, человек заболевает. Что такое *ядовитость* паука? Это – его объективное свойство, которое человек познает. *Вне* соотношения с человеком оно не существует: тарантул может кусать дерево и никакого свойства ядовитости не обнаружится; если же он кусает человека, то его ядовитость налицо. Эта ядовитость, следовательно, есть нечто *соотнесенное* с субъектом и *вне* соотношения свойство *ядовитости* не существует: существует лишь свойство выпускать определенный сок такого-то химического состава.

Правда, на это могут сказать: здесь речь идет о субъекте, как физиологическом единстве, а в проблеме ощущений речь идет о *специфической* трудности, ибо тут – новое, психическая сторона; тут, далее, вопрос не только об ощущении, как процессе, но и вопрос об ощущении, как отражении внешнего и об отношении содержания

* „Die ewigen Naturgesetze verwandeln sich auch immer mehr in historische.“ F. Engels: Dialektik der Natur. A.a.O. S. 505.; MEGA2, I/26. S. 383.

этого отражения к самому отражаемому. Это верно, но мы этого и не оспариваем. Только это не есть возражение.

В самом деле, в чем вопрос? Вопрос в том, прав ли был Кант, когда *относительную* субъективность феноменов превращал в *абсолютную* и заключая отсюда к непознаваемости вещей в себе. На это мы возражаем, и постольку и аналогия с пауком уместна; суть дела заключается в том, что мы, выражаясь словами Гегеля, знаем *закон соотношения*: ядовитость паука бессмыслица, Unding (80), как говорят немцы, *вне* соотношения с субъектом. С *этой* точки зрения сама «ядовитость» есть нечто *субъективное*. Но она в то же время выражает и *объективное свойство*, и познавая это объективное свойство (т. е. объективное соотношение между пауком и человеком), мы тем самым познаем паука с известной стороны. Это значит: всякий раз, как паук будет кусать человека, с ним будет происходить, то-то и то-то. Паук – делаем мы заключение – *ядовит*. Не «в себе», *но* в соотношении. Когда мы говорим: роза красна, это значит: всякий раз, как человек смотрит на розу, у него возникает ощущение красного. Производить ощущение красного есть *объективное* свойство розы. Роза красна. Не «в себе», а в *отношении*. Но, повторяем, производить ощущение красного есть объективное свойство розы. Познавая это свойство, мы тем самым познаем и розу. Но так же, как за ядовитостью паука скрывается (*вне* отношения с человеком) его свойство выпускать жидкость определенного состава, так и за краснотой розы скрываются специфические *световые лучи*.

Таким образом, мы видим здесь всю диалектическую относительность понятий. *Колючесть* шипа розы есть объективное свойство шипа, *но* по связи его с телом человека или другого животного; *вне* этой связи понятие колючести бессмысленно; *но* это не мешает тому, чтобы оно выражало *определенное* объективное соотношение между объектом и субъектом.

Зная закон *соотношения*, мы знаем и относительность самого *свойства*, но это вовсе не *незнание*, как выходит, если следовать «дурному идеализму» Канта*.

Мы имеем дело, однако, и с такими связями и отношениями, которые *не зависят* от субъекта. Если пропускается через воду электрический ток, то вода разлагается на кислород и водород. *Весь* процесс наблюдаем мы, грубо выражаясь, через очки нашей субъективности (причем мы *знаем* «закон» этих «очков»). *Но* само отношение между током и разложением воды совершенно от очков *не зависит*: оно объективно. Здесь *два* отношения: 1) отношение между

* G.W.F. Hegel: System der Philosophie I. A.a.O. Bd. 8. S. 136. § 46.

током и водой; 2) отношение между всем наблюдаемым процессом и субъектом наблюдения. Но отношение между током и водой в его специфичности независимо от второго отношения, закон которого к тому же известен. Улавливаем ли мы это *первое* отношение? Конечно, улавливаем. Но это и значит, что мы *познаем* объективные свойства вещей и процессов. И каждый раз, как мы будем пропускать ток через воду, она будет разлагаться на водород и кислород. Этот процесс применяется и в технике, в промышленном производстве. Что же мы и здесь не знаем объективного свойства тока *разлагать воду*, или не знаем объективного свойства воды *разлагаться* под действием тока? Кто может сказать, что это не объективные свойства? Что *здесь* субъективного? Цвет воды? Запах? И т. д.? Но мы об этом *даже и не говорим*. Эту «субъективность» мы отбрасываем. Мы говорим о том, что вода разлагается, что есть объективное свойство тока в *соотношении с водой* и объективное свойство воды в соотношении с *током*. И это мы *познаем*. Но так же точно обстоит дело с громаднейшим и все нарастающим количеством вещей и процессов в их связях и соотношениях. Это, правда, не *кантовские* «вещи в себе»: это действительные вещи и процессы в их действительных связях, переходах, движениях. В «Феноменологии Духа» Гегеля дан подробный анализ всех образований и ступеней, через которые и по которым проходит «Дух» (предметное сознание, самосознание, абсолютное знание). При рассмотрении *предметного сознания*, Гегель, изображал переход от чувственной достоверности к восприятию и от восприятия к понятию, дает замечательную картину противоречий и трудностей в главном вопросе о соотношении между мышлением и бытием и о познаваемости вещей и процессов. Он великолепно изображает, как противоречия *гонят* сознание к мысли об универсальной связи всего сущего, и в заключении говорит:

Связь с другой есть прекращение для себя бытия. Именно благодаря *абсолютному характеру* своему противоположению она находится в *отношении* к другим [вещам], и только это отношение имеет существенное значение; но отношение есть отрицание своей самостоятельности, и, таким образом, вещь гибнет, как раз благодаря своему существенному свойству. (Феноменология Духа)

Здесь, по Гегелю, представление абсолютной общности не имеет уже чувственного характера и «впервые... сознание действительно проникает в царство рассудка»**.

* G.W.F. Hegel: Phänomenologie des Geistes. A.a.O. Bd. 2. S. 103.

** Ebenda, S. 105.

Это место никак не должно нас смущать, ибо все еще речь идет только о рассудочных категориях. Однако, вышеприведенные суждения нельзя оставить без некоторых возражений уже теперь. У Гегеля связь вещей, как известных предметных единичностей, имеет тенденцию превратиться в чистое отношение без относимого, точно так же, как, например, в «Философии природы» материя определяется через единство времени и пространства и их соотношений, а не наоборот, т. е. не так, чтобы время и пространство определялись, как формы существования материи^{***}. Если вещи не существуют вне отношения к другим вещам, то это вовсе не означает, что они «гибнут», то есть перестают существовать: отрицание изолированной вещи не есть отрицание вещи. Если отношение существует, как «существенное свойство» чего-то, то с гибелью этого чего-то должно погибнуть и это отношение. Отдирать одно от другого никак нельзя: это – антидиалектическая, голо-рассудочная операция: вещь предполагает отношение и уничтожает понятие вещи в себе, как абстрактной, бессодержательной и пустой: она всегда и везде, и для другого. Она сама – диалектическое противоречие, и философия должна брать ее именно в этой диалектической противоречивости.

Чувство известной неудовлетворенности при обсуждении вопроса о познании часто проистекает из того, что люди думают не о познании предметного мира, а о чем-то другом; то есть не о том, чтобы получить отражение (правильное отражение) предмета, а о том, чтобы получить сам предмет, то есть превратиться в предмет.

Это стремление возникает в связи с аналогией с другими людьми. Если субъект X наблюдает живого «Y, человека» то он об Y судит по аналогии с собой. Он считает, что «познает Y» тогда, когда воспроизводит «переживания» Y в своем собственном сознании, судя об этом по мимике, по лицу, по движению тела и т. д. Другими словами, он познает Y тогда, когда он до известной степени сам превращается в Y, воспроизводит объект в себе самом, хотя в то же время и отделяет себя от этого другого. Но здесь предпосылкой является родовая однородность структуры, специфической живой материи и родовая однородность сознания, как его свойства, как его инобытия. «Сознание» многих самих взаимодействуют. Сознание каждого есть в то же время (на определенной ступени исторического развития) и объект себя самого. Это есть самосознание (Selbstbewusstsein). Ступень самосознания, как определяет Гегель в

^{***} „Das Außersichseyn zerfällt sogleich in zwei Formen, einmal als positiv, der Raum, dann als negativ, die Zeit. Das erste Concrete, die Einheit und Negation dieser abstracten Momente, ist die Materie; ...“ G.W.F. Hegel: System der Philosophie II. A.a.O. Bd. 9. S. 70 (§ 253).

«Феноменологии Духа», есть «истина и достоверность себя самого», и в этом – *отличие* от предметного сознания*. Однако, это отличие заключается и в том, что в то время, как кооперация или борьба *людей* в их телесности есть и кооперация или борьба их *сознаний*, соотношение между человеком и *неорганической* природой – совершенно иное. Здесь никак нельзя, чтобы бревно поместилось, как бревно, в его *телесности*, в сознании человека. Бревно может быть воспроизведено только «духовно» («geistige Reproduktion» у Маркса). Бревно *не* имеет сознания, как не имеет его весь неорганический мир (подробно об этом мы еще будем говорить). *Если бы* субъект превратился в «бревно», т. е. в часть неорганической природы, то исчезло бы и сознание, и *для этого* субъекта, все проблемы мира, в то числе и проблема бревна. Такова *смерть*. В смерти, после разложения, то, что было мыслящим субъектом, становится однородным с неорганической природой и угасает в ее безразличном равнодушии и равнодушном безразличии. Непонимание *этого* факта связано с различными обманами и иллюзиями, когда в природу всовывают многообразные типы сознания, одухотворяют ее, превращают в бога, потом хотят причаститься этой – божественной благодати, в наивности своей воображая, что это-то и есть высший тип *познания*, «природа вещей» и ее законы. Это выражает вечное движение, текучесть, непрерывное изменение соотношений и связей, мировую диалектику становления.

Таким образом, процесс познания, отправляясь от чувственных показателей, исторически углубляется, снимает покровы субъективности, понимая эту субъективность и ее относительность, зная ее «закон», и издавая себе все более адекватную действительности картину мира.

Примерно говоря, три ряда свойств мы можем перечислить здесь:

- а) *наиболее общие свойства*, выражающие универсальные отношения: время, пространство, движение, форма, тяжесть и т. д.
- б) *качественно-специфические свойства*, выражающие отношения вне зависимости от субъекта: физические и химические, биологические, общественно-исторические (твердость, жидкость, газообразность, электропроводимость, кристалличность, теплопроводимость, летучесть и т. д. и т. п.; способность ассимиляции, движения, размножения; способность ощущения; общественно-исторические свойства:

* G.W.F. Hegel: Phänomenologie des Geistes. A.a.O. Bd. 2. S. 139.

способность мышления, речи, активного приспособления природе и т. д.

- с) *свойство производить ощущения у определенных видов особо организованной материи* (цвета, звуки и т. д. и т. п.) *и свойства в соотношении с субъектом вообще* (например, ядовитость паука тарантула).

Два *первые* ряда свойств выражают меняющиеся, подвижные, текучие, диалектические соотношения между вещам и процессами *независимо* от познающего субъекта. Последний ряд выражает соотношение между внешней реальностью и ее непосредственным проявлением в ощущениях субъекта, исторически, в процессе мышления, вырастающих во все более адекватную «картину мира», отражение этого мира, его «копию» (отнюдь не *удвоение* самой реальности!), а также *объективные отношения* между объектом и субъектом вообще. Роза «в себе», т. е. в одной *связи природы*, посылает лучи такой-то длины; в связи с глазом обычного человека она – красна; в связи с глазом дальтониста она зелена. Мы знаем ее, вернее, мы познаем ее, и в объективной связи, и в связи с субъектом и познаем *законы соотношений*, т. е. свойства вещей и процессов в их диалектической взаимозависимости и текучести.

Так прослеживаем мы (в *историческом* процессе познания) *исторические* превращения объективного мира, возникновение новых качеств, например, происхождения органических тел из неорганической природы, эволюцию организмов, эволюцию человеческих обществ и т. д.). Не лозунг *Дюбуа-Реймонда*: «Ignorabimus» (82)* верен; верен и обоснован противопоставленный ему лозунг *Эрнста Геккеля*: «Impavidi progrediamur» (83)!

Глава III

О ВЕЩАХ В СЕБЕ И ИХ ПОЗНАВАЕМОСТИ

Итак, внешний мир, т. е. независимая от «моего» сознания (и даже от «нашего» сознания, абстракцией чего является «Я» идеалистической философии) существует. Его *условно* можно обозначить, как вещи «в себе», т. е. «вещи» вне зависимости от субъекта.

* В своей книге «Семи мировых загадок» (1882) он обосновывает точку зрения непознаваемости природы (например, о происхождении и сущности сознания).

Однако, отнюдь не в *кантианском* смысле. *Гегель* (в «Истории философии», т. е. весьма остроумно замечает, что кантианский «критицизм» есть худший вид догматизма*, ибо он утверждает и я в себе, и вещи в себе на такой манер, что оба члена противоположности абсолютно не могут встретиться друг с другом. Кантианский великий непознаваемый X, вечная загадка, Изида под непроницаемым покрывалом, металл** и жупел (84) всей новой философии, по сути дела имеет тысячелетнюю историю.

Знаменит платоновский миф о пещере, в котором в образной форме излагается учение о мире «идей» и мире явлений.

Глава IV

О ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ

Одной из крупнейших философских ошибок *Г. В. Плеханова*, связанных с его «теорией иероглифов», была, по существу, кантианская трактовка пространства и времени. «Что время и пространство суть субъективные формы нашего воззрения, было известно еще Томасу Гоббсу, и этого не станет отрицать ни один материалист» – писал *Плеханов* в своей известной полемике против *Богданова* («Materialismus militans» (85))***. Здесь у *Плеханова* было чрезвычайно уязвимое место, и немудрено, что в эту брешь сразу же хлынули отряды теоретических противников. Так, например, *В. Базаров***** весьма остроумно возразил: если время и пространство субъективные формы, а ни только что-то «соответствует» в объективном, нумеральном (86), мире, т. е. в мире вещей в себе, то очевидно, что и движение есть субъективная категория, ибо оно предполагает время и пространство; следовательно, объективно существует лишь нечто «соответствующее» движению, как своему

* G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II. A.a.O. Bd. 18. S. 576.

** Слово «металл» появляется у Гегеля, в частности, в следующей связи: „Afrika, das gediegene Metall, das Lunarische, starr vor Hitze ..., wo der Mensch in sich selbst verdumpft.“ Vgl. Anm. S. 239 im 27. Kapitel.

*** G.W. Plechanow: Materialismus militans. Antwort an Herrn Bogdanow. In: G. Plechanow. Eine Kritik unserer Kritiker. Schriften aus den Jahren 1898 bis 1911. Berlin 1982. S. 285.

**** А. Богданов: Эмпириомонизм. Кн. I-III. Москва/Санкт-Петербург, 1905–1907.; В. Базаров: Мистицизм и реализм нашего времени. Очерки по философии марксизма. Санкт-Петербург, 1908, с. 3–71.

субъективному иероглифу. А отсюда тот вывод, что материя лишается даже движения.

Можно эту аргументацию развивать и дальше, например, опрокидывая ее на понятие причинности. *Плеханов* совершенно правильно вскрывал вопиющее противоречие *Канта*, по которому категория причинности, с одной стороны, субъективно априорна, а, с другой стороны, «вещи в себе» являются причиной феноменального мира. Однако, если *время* субъективно, то и отношение причинности не может быть объективным, ибо «следствие» следует за «причиной» *во времени*. А это неизбежно влечет за собою вывод, что мир вещей в себе не может быть причиной наших ощущений, и сама причинность не есть объективная категория: ей лишь должно что-то «соответствовать». Другими словами, и причинность есть иероглиф, который принципиально нельзя расшифровать в его объективном значении.

Таковы моменты *кантианства*, пробравшиеся в материалистическую философию *Плеханова*.

Вопрос о пространстве и времени принадлежит к труднейшим вопросам философии. Для того, чтобы его правильно решить, необходимо отказаться от одного предрассудка, а именно от того, чтобы гасить качественное разнообразие форм и связей бытия. Этот предрассудок крайне мешает пониманию *действительных* связей и отношений. Мы имели случай убедиться в этом, когда анализировали вопрос о познаваемости «вещей в себе». В *действительности* «вещь в себе» не существует, а существует лишь в отношениях. А ее хотят иметь «в себе». В действительности любой предмет порождает ощущение лишь в *связи* о субъектом, а его внесубъективные свойства хотят представить вне этой связи, в категориях ощущения. В действительности соотношения между мозгом и психикой есть *оригинальное* соотношение инобытия, а его хотят представить в чувственной форме *других* соотношений и т. д. Здесь – полное забвение *диалектики*, которая схватывает противоречия, переходы одного в другое и многообразные связи и отношения в их специфичности и качественной оригинальности. Поэтому, когда хотят решать проблему пространства и времени по типу *других* форм и свойств бытия, попадают очень часто пальцем в небо.

Перейдем теперь, после этих предварительных замечаний, к существу вопроса. Возьмем для начала определение, имеющееся в работе *Н. Морозова*: «Функция (наглядное изложение дифференциального и интегрального счисления)». Там мы читаем:

полное алгебраическое выражения для всякого существующего в природе предмета U будет:

$$U=x, y, z, t,$$

где x =длине, y =ширине, z =высоте, t =времени. U (обозначение «всякого существующего в природе предмета») будет функцией четырех переменных, четырех, измерений, трех пространственных и временного. То есть

$$U=f(x, y, z, t).$$

Уже при беглом взгляде на эту формулу видно, что она, вопреки автору, *никак* не может считаться *полной*, ибо в ней есть только то, что в ней есть: четыре измерения. Никаких других физических, химических, органических (биологических) и т. д. качеств и свойств в этой «полной» формуле не содержится и содержаться не может: она говорит лишь о пространстве и времени; она *отвлекается* от всего остального, она берет только количественные соотношения времени и пространства, и ничего более; в ней нет, так сказать, ни грана вещества вообще, ни вещества в его качественной определенности. В действительности же наличествуют бесконечные свойства, связи и опосредствования, и U есть f от всех них; оно – точка пересечения бесконечных влияний, и существует в их подвижной и многообразной сетке. В формуле *Морозова*, таким образом, предикат (87) выступает, как субстанция, форма, как сущность, одна сторона бытия, как само бытие, свойство, как целое, *pars pro toto*.

У *Гегеля* в «Философии Природы» мы находим такое определение *природы*: «Первым и непосредственным определением природы является абстрактная *всеобщность ее вне-себя-бытия*, – его лишненное опосредствования безразличия, *пространство*³. Оно есть совершенно идеализированная рядоположность, потому что оно есть вне-себя-бытие; оно просто *непрерывно*, потому что эта внеположность еще совершенно *абстрактна* и не имеет в себе никакого определенного различия». «Пространство есть чистое количество» (88)**...

Здесь *природа* определяется через чистое пространство, а не пространство через природу. Пространство отдирается от природного бытия, *само*, в своей изолированности, всеобщности и безразличии ко всему другому, превращается в вещь в себе; т. е. «всеобщность вне-себя – бытия» *природы* превращается в природное «в-себе-бытия». На каком, в сущности, основании? Там же мы находим два суждения:

³ Там же, с. 71 (§ 254).

** Там же, с. 72 (§ 254, Дополнение).

1. То, что наполняет пространство, не имеет ничего общего с самим пространством^{(89)*}.

2. Мы не можем обнаружить никакого пространства, которое было бы самостоятельным пространством; оно есть всегда наполненное пространство и нигде оно не отлично от своего наполнения. Оно есть следовательно некая нечувственная чувственность и чувственная нечувственность^{(90)**}.

Но если верно второе суждение, то как же можно говорить о первом? Здесь противоречие, но противоречие отнюдь не диалектическое. Если пространство является всегда наполненным пространством, то, очевидно, что пространство есть форма существования природы, мира, материи, выражение *протяженности*, как всеобщего свойства всего материального. Отсюда – «чистая количественность», всеобщность, безразличие. Еще *Аристотель* давал сложные доказательства против пустоты, «пустого пространства», как независимой величины, в которой помещаются тела. Но вопрос о пространстве, как и всякий другой вопрос, нельзя решать априорно; чисто спекулятивно «из головы». Современная наука говорит о бесконечном количестве различных волн и корпускул (91), заполняющих пространство. Но если бы были даже обнаружены поры абсолютной пустоты, то и тогда бы пространственные соотношения были соотношениями *между телами*, то есть законом связи материальных тел.

Наоборот, если бы не было *никаких* тел вообще, то и пространство превратилось бы в чистое ничто, в абстракцию голой отрицательности. Таким образом, не пространство есть исходный пункт, а материальный мир, формой бытия которого является пространство, как *всеобщая* форма.

Пространство *физики* отличается от пространства обыденного сознания, но оно является более адекватным объективной действительности. Бесконечность пространства не есть бесконечность особой субстанции, а пространственная бесконечность бесконечного мира. Но любая конечная величина является, в свою очередь, бесконечной, в силу бесконечной дробимости. Поэтому пространство противоречиво в самом себе, и противоположности конечного и бесконечного переходят одно в другую. Пространство есть *особая* всеобщая форма существования материи, и должно быть понято именно, как *особая* форма; поэтому его нельзя рассматривать в одном

* Там же, с. 72 (§ 254, Дополнение).

** Там же, с. 73 (§ 254, Дополнение).

ряду, скажем, с горючестью или светоносностью тел. У Аристотеля мы находим понимание этого.

Во-первых, у него пространство не есть *само тело* (См. Phys., IV, 1–3)*: «Есть ли *место* – тело? Оно не может быть телом, ибо в таком случае в одном и том же месте были бы два тела».

Во-вторых, «место не есть *материя* вещей**», ибо ничто не состоит из него; оно не есть также ни *форма* (здесь речь идет о форме в аристотелевом смысле энтелехии (92) души, активного начала, а не в нашем смысле. (*Авт.*) или *понятия*, ни *цель*, ни движущая *причина*; и, однако, все же есть нечто»***.

Здесь довольно хорошо (хотя только *отрицательно*) выражена оригинальность, своеобразие пространства, в отличие от других свойств материи и бытия вообще.

Время есть точно так же всеобщая форма существования мира. И здесь нужно сказать, что:

- а) время отнюдь не есть самостоятельная величина, особая субстанция;
- б) оно не есть нечто, в *чем* происходят процессы изменения, а лишь выражение этих самых процессов, что и вытекает и первого положения.

По этому поводу у *Гегеля* сказано очень хорошо: «Но не во времени все возникает и проходит, а само время есть это *становление*, есть возникновение и происхождение, сущее абстрагирование, всепорождающий и уничтожающий свои порождения Кронос»... (93)**** *Время* не есть как бы ящик, в котором происходит процесс поглощения. «*Время* есть лишь абстракция поглощения», и то, что не существует во времени, является тем, в чем не совершаются процессы. Другими словами: нельзя себе представлять дело так, что, с одной стороны, существуют *процессы******, и эти существующие процессы помещаются во времени, как в ящике. Наоборот, процесс постольку и процесс, поскольку он

* Aristoteles: Physik IV. 1-5. Zit. n. G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II. A.a.O. Bd. 18. S. 352 (курсив N.B.).

** Ebenda, S. 353 (курсив N.B.).

*** Ebenda. (курсив N.B.).

**** G.W.F. Hegel: System der Philosophie II. A.a.O. Bd. 9. S. 80 (§ 258).

***** Бухарин интерпретирует здесь отрывки из «Философии природы» Гегеля: „Die Zeit ist nicht gleichsam ein Behälter, worin Alles wie in einen Strom gestellt ist, der fließt, und von dem es fortgerissen ... wird. Die Zeit ist nur diese Abstraction des Verzehrens. Weil die Dinge endlich sind, darum sind sie in der Zeit: ... die Dinge selbst sind das Zeitliche, so zu seyn ist ihre objective Bestimmung. Der Proceß der wirklichen Dinge selbst macht also die Zeit; ...“ Ebenda, S. 80 f. (§ 258, Zusatz).

уже происходит во времени. Следовательно, когда мы говорим, что все возникает и уничтожается *не* во времени, а *само время* выражает процесс становления, то тем самым говорится, что процесс совершается именно *во* времени, но еще в более строгом смысле слова, так как время *уже* входит в самое понятие процесса, а не так, чтоб *сперва* был какой-то вневременный процесс, который бы помещался *потом* во времени, приобретая временную характеристику. Однако, у *Гегеля* все же, как и в учении о пространстве, есть оттенок *обрыва* времени от материи и явная тенденция определять *самое материю* через единство времени и пространства, а не наоборот. В действительности же единство времени и пространства есть единство основных всеобщих форм реального мира.

Время, как и пространство, и дискретно и непрерывно, и конечно, и бесконечно. Настоящее существует потому, что нет уже прошлого, оно есть его отрицание; а небытие его бытия, то есть его отрицание, есть будущее. Лишь настоящее существует, но оно результат прошлого и оно беременно будущим.

Трояк седого времени полет:
Грядущее идет
Медлительной стопою,
Всегда безмолвное прошедшее стоит,
А настоящее летит
Крылатою стрелою...

Объективное время, отражаемое в научном понятии времени, однородно, тогда как субъективное время течет то быстрее, то медленнее («скука» и медленность времени; ритмика жизни определенных организмов, скорость биологических процессов и ощущение времени и т. д.)

Особую проблему составляет проблема *соотношения времени и пространства* и их *единства*. «Здесь» есть также и «теперь». «Истиной пространства является время» – формулирует проблему *Гегель*. В *движении* материи выражается непосредственно это единство, ибо перемещение в пространственных координатах есть также перемещение во времени, и количество движения есть произведение скорости на время. Это единство пространства и времени является основанием теории (*Минковский*), которая рассматривает время, как четвертое измерение пространства. Что оно является общим «измерением», то есть общей формой существования материи, это не подлежит сомнению. Точно так же не подлежит

сомнению *единство* времени и пространства. Но это есть все же диалектическое единство, а не тождество, и нельзя топить оригинальность времени в трехмерном пространстве бытия. «В представлении... – пишет *Гегель* – нам кажется, что существует пространство и кроме того *также* и время. Против этого «также» восстает философия» (94). Это и так, и не так: *так*, ибо пространство и время взаимно обусловленные формы бытия; *не так*, ибо они не тождественные формы. Они составляют *единство*, но не тождество*. И точно так же они привязаны к материи, как атрибуты материальной субстанции, ее объективные свойства.

Объективность времени и пространства подтверждается опытом через бесчисленное множество показателей и через каналы всех чувств, дающие один и тот же результат. Формулы скоростей, количества работы, превращения энергии, геометрия, физика, механика и т. д., – все подтверждает с разных сторон функциональную зависимость от пространства и времени, как объективных форм движущейся материи. Все предварительные вычисления технологических производственных процессов, научных экспериментов и т. д. оперируют с величинами пространства и времени, и практика, и эксперимент, и прогнозы подтверждают объективность времени и пространства. Но время и пространство не суть самостоятельные величины. Ни *Гегель*, который имел тенденцию определять материю через единство пространства и времени, ни ряд выдающихся современных физиков, которые склонны считать время и пространство «истинной субстанцией» мироздания, не правы, ибо определять мир через уравнение

$$U = f(x, y, z, t) -$$

значит, брать *одну* сторону дела, абстрактно и формально подходить к вопросу, антидиалектически субстанциализировать атрибут, изолируя его от действительной субстанции, «математизировать» бытие. Ибо отодранные от реальности время и пространство сами умирают, как время и пространство, перестают быть ими, превращаясь в мертвую абстракцию, в сухую мумию абстрактного рассудочного чисто-количественного мышления, который считает феномены субъективным выражением объективного мира. В первом случае – цвета, запахи, краски, звуки; во втором –

* „Die Wahrheit des Raumes ist die Zeit, so wird der Raum zur Zeit; wir gehen nicht so subjectiv zur Zeit über, sondern der Raum selbst geht über. In der Vorstellung ist Raum und Zeit weit auseinander, da haben wir Raum und dann *auch* Zeit; dieses Auch bekämpft die Philosophie.“ G.W.F. Hegel: System der Philosophie II. Bd. 9. S. 79 (§ 257, Zusatz).

атомы, волны, лучи и т. д. Стоит сравнить, например, известное место в 1 т. «Капитала» о свете с рядом мест из «Анти-Дюринга»; «Философские тетрадки» Ильича (в особенности конспекты «Науки Логики») с «Материализмом и эмпириокритицизмом», комментарии к *Фейербаху* с комментариями к *Гегелю*. Поверхностному уму, уму недialeктическому, это покажется противоречивым *колебанием*. Между тем, здесь налицо *дialeктическое* противоречие; которое имеет свое основание в том, что в «явлении» является «сущность», что как? видели – субъективное нельзя трактовать, как *только* субъективное.

Но здесь эту проблему мы хотим рассмотреть с точки зрения *процесса познания*, исторического процесса познания.

Что, например, делает новейший *эмпиризм* (вся школа *Маха-Авенариуса*, имманенты, философствующие математики и физики, группировавшиеся вокруг журнала «Erkenntnis» (95)*, фикционалисты, «позитивисты» и др.)?

Процесс познания у них только «Umformung» (96) ощущений, «непосредственных данных чувства». Так толкуется «Nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu» (97).

Ничего нового. Процесс познания представляется таким, будто медведь ворочает «данную» глыбу валунов, паки и паки, перекладывает их так и этак. Все – только «Umformung», да еще такое, чтобы поудобнее было мыслить, поэкономнее, попроще. Вот уж поистине «простота хуже воровства»!

В «Философии Природы» *Гегель* весьма зло издевается над этим примитивом:

Мы начинаем – пишет он – с чувственных сведений о природе. Однако, если бы физика основывалась лишь на восприятиях, и восприятия были не чем иным как свидетельством наших чувств, то работа физики состояла бы лишь в осматривании, прислушивании, обнюхивании, животные таким образом были бы также и физиками. В действительности, однако, видит, слышит и т. д. некий дух, некое *высшее существо* (98)**.

Что в процессе *истории* познание шло от «чувственных сведений», это не подлежит никакому сомнению; это повторяется сокращенно и у человеческого индивидуума – нечто вроде филогенетического закона *Геккеля*, по которому человеческий зародыш воспроизводит

* Erkenntnis. An International Journal of Analytic Philosophy. Founding Editors: Hans Reichenbach (1891–1953) and Rudolf Carnap (1891–1971). Оба принадлежали к самым выдающимся представителям так называемого логического эмпиризма.

** G.W.F. Hegel: System der Philosophie II. A.a.O. Bd. 9. S. 38 (§ 246, Zusatz) (курсив N.B.).

эволюцию вида. Такая эволюция от чувств к мышлению отложилась в течение громадных тысячелетий в языке: videre, видеть, видение, wissen, ведение, ведовство, εἶδος, idea, schauen, Anschauung, зреть, мировоззрение; concipere, conceptio; greifen, begreifen, Begriff; яти, пояти, понятие и т. д. Глаз и рука сыграли особо важную роль.

Но из того, что свидетельства чувств есть исходный пункт исторического процесса познания отнюдь не следует, как это утверждает грубый эмпиризм, что *мышление* не прибавляет ничего нового. Стоит только спросить себя: Да как же это так? Если мышление *ничего* нового не дает, то каким же образом совершается чудо оплодотворения теорией *практики*? Каким чудом наука становится гигантским рычагом изменения мира? Как она выполняет эту свою жизненную функцию, если она – только удобная и максимально простая сводка, простое Umformung, чувственных данных? Ведь, ни один человек не сможет сказать, чтобы «комплексы ощущений», эти излюбленные «теплое», «холодное», «красное», «зеленое» и проч. могли быть орудием трансформации мира, реального его преобразования. Значит, результат мышления есть *качественное* нечто другое, чем познавательное сырье ощущений. In intellectu сварился *новый сплав*, продукт, отличный от исходного сырья или полуфабрикатов. И здесь дело не во «врожденных идеях» и не априорных категориях *Канта* и не в чистых умопостигаемых платоновских «идеях», не в логическом prius внеопытного, чудом упомещаемого в «трансцендентального субъекта», а в том, что сотнями тысячелетий длящийся «опыт» людей, в их сотрудничестве, выработал «объективные мыслительные формы» и, постепенно их видоизменяет, переваривает все новые порции чувственно – определяемого мира. Переход от ощущения к понятию, от чувств к мышлению, от субъективного – к объективному (здесь не в смысле материального, а в смысле *копии*, адекватно отображающей объективный мир), от индивидуального – к общественному, существующему в головах *обобществленных* и сотрудничающих (так или иначе, что не исключает, а предполагает и борьбу) индивидуумов; *новое качество* продуктов мышления, – все это книга за семью печатями для эмпириков. Не даром таких эмпириков *Ф. Энгельс* называл ползучими эмпириками, «интуитивными ослами»* (не очень вежливая

ругань по адресу *Ньютона*; но для себя, чего многие не понимают и очень оскорбляются за великого ученого). Переработка, «Umarbeitung» и

* F. Engels: Dialektik der Natur. MEW. Bd. 20. S. 476. Bei Bucharin steht: „intuitive Esel“; MEGA2, I./26. S. 347.

«Übersetzung» Маркса (предисловие к I т. «Капитала»)** , это есть такая же трансформация познавательного сырья, как практическая трансформация предметного мира. В продукте производства с известной точки зрения нет ничего нового и в то же время все ново, – его потребительная стоимость например. И в мышлении нет никакого чуда пресуществления, а есть *факт* новых качеств, как результат активного процесса мышления, отнюдь не оторванного от *практики*, хотя и взятого (в разных общественно исторических формациях) в разного типа связи с нею (естествознание, например, по определению Маркса, есть теоретическая сторона производственного процесса)⁵. Люди не только лизжут, нюхают, но и *мыслят*, и *работают*, и действуют сообща. Не даром великий Гете говорил, что с отдельным человеком природа играет в прятки, и что только общество может ее познать и овладеть ею**. В *историческом* процессе познания люди, гигантски расширяя сферу восприятий, удлиняя, вопреки библии, свои органы и увеличивая, вопреки *Фейербаху*, число своих чувств созданием мощной, сложной и крайне чувствительной научной техники, макро- и микро-аппаратуры, – в то же время *углубляют* познание, снимая покровы субъективности. Субъективности *индивидуальной* (дальтонизм), *родовой* (субъективный коэффициент ощущения), *земной* (снятие геоцентрической точки зрения; ср. троп Пиррона о положении)*** и т. д. От примитивной трактовки солнца, как круглого блестящего круга, висящего на тверди, люди приходят к сложнейшему понятию, которое отражает громаднейший и многообразный комплекс объективных свойств объективного тела и его связей и опосредствовании: объема, веса, химического состава, качественных форм материи, температур, характеристик движения,

** Речь идет о предисловии ко 2-му изданию 1 тома «Капитала»: „Für Hegel ist der Denkproceß, den er sogar unter dem Namen Idee in ein selbständiges Subjekt verwandelt, der Demirg des Wirklichen, das nur seine äußere Erscheinung bildet. Bei mir ist umgekehrt das Ideelle nichts andres als das im Menschenkopf umgesetzte und übersetzte Materielle.“ MEW. Bd. 23. S. 27.; MEGA2, II./10. S. 17.

⁵ K. Marx: Das Kapital I. MEW. Bd. 23. S. 510.; MEGA2, II./10. S. 438.

** Н. Бухарин подробно комментировал этот фрагмент из переписки Гёте и Шиллера в своём докладе по случаю 100-летия со дня смерти Гёте. См. Н. Бухарин. Гёте и его историческое значение. – Этюды. М.-Л., 1932, с. 158. Es handelt sich um das folgende Zitat aus Goethes Brief an Schiller vom 21. und 25. 2. 1798 (Weimar): Die „Natur ist deswegen unergründlich, weil sie nicht Ein Mensch begreifen kann, obgleich die ganze Menschheit sie wohl begreifen könnte. Weil aber die liebe Menschheit niemals beisammen ist so hat die Natur gut Spiel sich vor unseren Augen zu verstecken.“ J.W. v. Goethe. Sämtliche Werke, Briefe, Tagebücher und Gespräche in vierzig Bänden. Frankfurt/M. 1998. II. Abt. Bd. 4. S. 508.

*** Бухарин имеет в виду пятый троп о «различных позициях, расстояниях и местах». G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II. A.a.O. Bd. 18. S. 563.

положений в солнечной системе и в еще более гигантских системах разнообразных излучений, связи с землей, трансформацией световой и тепловой энергии на земле, в бесчисленных видах и качествах и так до *бесконечности* (сюда не относится и анализ «отражений» солнца в сознании, от простого «круга» до обожествления Солнца)... Физика, химия, астрофизика, геология, зоология, ботаника, история – все науки поставляют свой материал! И вместо примитивного «комплекса ощущений» является *понятие* солнца, включающее огромное многообразие качеств и *адекватное* (в меру познания) объективно существующему великому светилу. Если искать рациональное ядро в идеалистической гегелевской диалектике, в его переходящих одно в другое понятиях бытия (бытия, наличного бытия, для себя бытия), сущности, явления, действительности и т. д., то здесь дана грандиознейшая попытка охватить ступени познания, соответствующего ступеням самого объективного бытия. Поэтому значительная часть полемических мест у *Гегеля* такова, что он *тащит* противника на аркане из субъективного болота в объективный мир, хотя и понимает его идеалистически, шиворот навыворот. Не иначе, вслед за *Марксом* и *Энгельсом* понимал дело и *Ленин*. Под *отражением* у него фигурирует вовсе не мертвое и в значительной мере пассивное «зеркальное отражение» мира в ощущениях, а *das umgearbeitete* и *umgesetzte*, т. е. переработанное мышлением (пред. к «Капиталу»):

Познание – писал Ленин в «Философских тетрадках» – есть отражение человеком природы. Но это не простое, не непосредственное, не цельное отражение, а процесс ряда абстракций, формулирования, образования понятий, законов, каковые понятия, законы (мышление, наука = «логическая идея») *охватывают* условно, приблизительно, универсальную закономерность вечно движущейся и развивающейся природы. Тут *действительно*, объективно три члена: 1) природа; 2) познание человека = мозг человека (как высший продукт той же природы) и 3) *форма отражения природы в познании человека, эта форма и есть понятия, законы, категории* (последний курсив наш. – Авт.). Человек не может охватить = отразить = отобразить природы *всей*, полностью, ее «непосредственной цельности», он может лишь *вечно* приближаться к этому, создавая абстракции, понятия, законы, научную картину мира и т. п. (99)*.

* W.I. Lenin: Konspekt zur „Wissenschaft der Logik“. LW. Bd. 38. S. 172 (курсив N.B.).

При этом упомянутые абстракции и законы не суть формально-логические абстракции, т. е. абстракции с объединенным содержанием; наоборот, они «отражают природу глубже, вернее, полнее». Понятие солнца, о котором шла речь выше, абстрагируясь от субъективности, в то же время неизменно богаче блестящего чувственного пятиалтынного** и даже более высоких его трансформаций.

Это, следовательно, повторяем, не пустые абстракции, а конкретные абстракции. С этой точки зрения можно видеть, как преувеличение одной из сторон познания ведет его на ложные пути. Например: *Если* идти по пути абстракций от всех опосредствовании и качественных определений, то получится, в конце концов, *carpe mortuum* абстракции, *wahrheitslose leere Abstraktion*, кантовская вещь в себе.

Если постоянно связывать объект с субъектом, то есть считать невозможным абстрагирование от мыслящего субъекта, то получится «принципиальная эмпириокритическая координация», своеобразный идеализм типа *Маха-Авенариуса*.

Если родовые признаки, существующие в конкретном (так называемое «*всеобщее*»), выделяясь из «единичного» и «особенного», раздуваются и гипостазируются, то есть награждаются самостоятельным бытием, превращаясь в существо, то это приводит прямым путем к объективному идеализму. *Если* ощущения берутся вне связи с объективной реальностью, рассматриваются вне связи с ощущаемым, то есть не как проявление внешней «данности», а в себе, то это приводит к субъективному идеализму.

Если практику рассматривают в ее оторванности от предмета практики, то это приводит к волюнтаризму (100), прагматизму (101) и т. д.

Если образование (социальное) понятий берут не как процесс познания на основе *отражения* объективного, независимо от субъекта существующего мира, тогда возникает социально-мифотворческий идеализм типа *богдановского* эмпириомонизма.

И так далее, и тому подобное.

Другими словами: процесс опосредствованного знания «чреват» многими опасностями. Многообразие его сторон, при преувеличении, раздувании, распухании одной из этих сторон вне соответствия с действительностью создает одностороннее искажение картины мира. Нет нужды говорить, что соответствующие искажения,

** «Пятиалтынный» у Бухарина – русская монета XVIII в.

само их направление, векторы мысли, определяются в значительной мере социально-исторической средой, создающей то, что *Маркс* называл «способом представления» как коррелятом «способа производства». Но это относится к вопросу о социологии мыслительных форм, что подлежит особому исследованию*.

Эмпирики-позитивисты, феноменалисты всех сортов *пугают* тем, что признание внешней реальности есть *удвоение мира*, такая же метафизика, как, например, в объективном идеализме *Платона*. Отсюда – издевательства над «сущностью», объективной материей и т. д. Здесь разыгрывается настоящая вакханалия игры, спекуляции на страхе перед метафизикой, натурфилософией (102) скверного пошиба и т. д. Поэтому – логически – этот вид философии особенно распространен был среди философствующих физиков. Но эти страхи и ахи ровно ни на чем не основаны.

В самом деле, речь ведь идет не о размножении объективной реальности, которая всегда одна и едина, будучи рассматриваема, как многообразная совокупность. Речь идет – метафорически выражаясь – о разного рода ее *копиях*, о разных *картинах* мира, более или менее соответствующих, адекватных, верных, глубоких и т. д. Сколько бы копий ни было – при чем тут умножение мира? При чем какое бы то ни было удвоение? У *Платона* это были две реальности: одна – «истинная», другая – «не истинная». Так то было у *Платона*. При *дуализме* (103) духа и материи это может быть очень часто, как, например, в ряде и религиозных концепций, где действительный мир есть мир чувственный, материальный, плотский и греховный, а над ним существует мир духовный, райский, свободный, божественный. Но при чем все это, когда мы рассматриваем вопрос о разнообразных формах *отражения* мира? Какое может быть здесь удвоение или умножение реальности? Ясно, что весь вопрос поставлен совершенно неверно. А между тем, ведь это возражение от «удвоения», раздвоенное *Авенариусом* (а затем *Петцольдом*) в так называемом *учении об интроспекции* (104), составляло до известной степени внутренний полемический пафос всего направления в его борьбе против метафизики, под которую подводился и материализм. Правда, тогда почти никто из этих философов не знал *диалектического* материализма, но характерно то, что речь шла не о преодолении односторонностей механического (105) и вульгарного (Юб) материализма, а о борьбе с материализмом, как таковым. Как в вопросе об «ощущениях» и о реальности внешнего мира соответствующие философы подкупали «чистым опытом», так и

* См. прим. 1, гл. 23.

здесь они подкупали борьбой с удвоением мира и *метафизическими* сущностями. Но все это не имеет никакого отношения к разбираемому вопросу о процессе познания, как ставит его диалектический материализм и о различных *степенях адекватности* «отражений». Процесс познания и состоит в *смене этих отражений*, от несовершенно-примитивных и грубых рисунков дикаря на стенах пещеры до сложнейших фотографий и рентгеновских снимков, от хаоса спутанных ощущений до грандиозной и величественной научной картины мира. Постоянное отвержение одних «копий» и переход к более совершенным, всеобъемлющим, глубоким, все более адекватным объективной действительности, и есть процесс бесконечного познания мира. Диалектический материализм не считает копий объективного мира за объективный мир. Объективность копии есть не объективность внешнего мира, а *соответствие* этому объективному миру. Так и только так можно ставить этот вопрос.

Глава V

ОБ ОПОСРЕДСТВОВАННОМ ЗНАНИИ

Тезис сенсуалистов: «nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu» («нет ничего в интеллекте, что раньше не содержалось в чувстве») весьма радикален. *Людвиг Фейербах*, в своей войне (гневной, справедливой, священной) против ««пьяной спекуляции» *Гегеля*, против замены мира действительности, предметного мира, игрой самодвижущихся понятий, против панлогистической (107) тарабарщины объективного идеализма, приведенного в грандиозную универсальную систему, поднял знамя *чувства*. В более широком, в общекультурном смысле и в историко-культурном контексте, это было одновременно и философским выражением целого движения за реабилитацию плоти, за ее защиту от посягательств бесплотного духа, процесс, так остроумно описанный Генрихом Гейне в его знаменитых и полных блеска очерках по истории религии и философии в Германии.

Как неразумно – писал *Фейербах* – желать превратить метафизическое существование в физическое, субъективное существование – в объективное, логическое или абстрактное существование – опять в существование нелогическое, действительное (108).

Война велась свирепая, и *Фейербах* чрезвычайно способствовал распадению гегелевской школы и формированию «левой», в купели которой зародился гений революционного марксизма. *Фейербах* до такой степени углубляя сенсуалистический принцип, что, например, писал так же (в «Лекциях сущн. религии»): «У нас нет никакого основания воображать, что если человек имел больше чувств или органов, он познавал бы также больше свойств или вещей природы... У человека как раз столько чувств, сколько именно необходимо, чтобы воспринимать мир в его совокупности»... (109)^{6*}.

Это уже явное увлечение. Ибо, в самом деле, откуда эта предустановленная гармония? Ограниченное число чувств перед бесконечным качественным многообразием природы?.. Но эти

* Ludwig Feuerbach: Vorlesungen über das Wesen der Religion. Mit Zusätzen und Anmerkungen. In: Ludwig Feuerbach. Gesammelte Werke. Hrsg. von Werner Schuffenhauer. Bd. 6, Berlin 1967, S. 198.

^{6*} Ebenda, S. 145.

«антропологические» увлечения, конечно, не отнимают великих заслуг благородного философа.

Читателю, внимательно следящему за марксистской литературой может показаться, что у самих классиков марксистской мысли есть как будто колебания в трактовке чувства и мысли или (что есть выражение этой дилеммы) между «наивным реализмом» (110), считающим мир феноменов за непосредственную «сущность» мира и материализмом такого толка.

Глава VI

ОБ АБСТРАКТНОМ И КОНКРЕТНОМ

Нельзя ли поднять бунт против выше изложенного? Как! Мы живем в чувственном мире, мы его непосредственно осязаем, видим, натываемся лбами на его твердость, чувствуем сопротивление. А вы все же уводите в какие-то абстракции и законы! Да, ведь, это материализованная гегельянщина с ее «всеобщими», идолами, которые пожрали конкретное и живое! Не писал ли *Маркс* о *Бэжоне*, что у него материя улыбается человеку своим поэтически-чувственным блеском? Не писал ли *Маркс*, что потом материализм стал «человеконенавистническим» в своей серости, геометричности, абстрактности? Не уводите ли вы в это холодное царство трансформированного Гегеля вместо того, чтобы жить, работать и мыслить в той сфере, которая улыбается своей чувственностью? Не хотим мы этих абстракций, ошипанных мертвых павлинов, из которых вы выщипали все их роскошные перья! Да и к тому же, кроме *Маркса* вот вам еще две ссылок:

№ 1. Ссылка на *Гете* (Гете о «*Système de la Nature*» *Гольбаха*):

Судя по заглавию, громко возвещавшему, что в книге излагается система мироздания, мы, естественно, надеялись, что автор поведет речь о природе, об этой богине, которой мы служили... Но как же велико было наше разочарование, когда мы стали читать его пустое атеистическое разглагольствование, в котором ~~потонули без следа земля и небо со всеми красотоми и созвездиями~~ ^{здесь} говорилось о вечной материи, которая находилась в вечном движении, при чем одно это движение... должно было создавать бесконечные феномены бытия. Это нас, впрочем, даже удовлетворило бы, если бы автор из этой своей

* K. Marx/F. Engels: Die heilige Familie. MEW. Bd. 2. S. 135.

движущейся материи действительно сумел развернуть перед нашими взорами всю вселенную. Однако, он знал о природе не больше нашего, ибо, установив несколько общих понятий, он сейчас же покидает их для того, чтоб превратить также и то, что является высшей природой, в ту же материальную, весомую, хотя и движущуюся, но бесформенную природу *Dichtung und Wahrheit* (111)*.

Ну, *Гете*, как известно, пантеист (112), гилозоист (113) и так далее. А вот вам не кто иной, как сам ваш Гегель с его ученым колпаком! Вот вам.

№ 2. Ссылка на Гегеля:

Чем больше возрастает доля мышления о представлении, тем более исчезает природность, единичность и непосредственность вещей; благодаря вторжению мысли скудеет богатство бесконечно многообразной природы, ее весны никнут и ее переливающиеся краски тускнеют. Живая деятельность природы смолкает в тиши мысли. Ее обдающая нас теплом полнота, организующаяся в тысячах привлекательных и чудесных образований, превращается в сухие формы и бесформенные всеобщности, похожие на мрачный северный туман» (*Философия Природы*)¹⁴)*.

Эти вопросы мы ставим в порядке сократовской *иронии*, возбуждающего сомнения, бродильного фермента, заставляющего работать мысль, разъединяющего леность мысли и ее привычную инерцию... Но, в самом деле, как же поладить с этими вопросами по существу? В чем же дело?

Во-первых, следует заметить, что человек вообще в общественно исторический человек имеет много различные отношения к природе, не только интеллектуальные, но и теоретические. Он относится к ней и практически (в том числе и биологически), он относится к ней и художественно-эстетически (115). Реально эти многообразные отношения обычно и не рядоположны и не последовательны, а в той или иной пропорции слиты, взаимно проникают друг в друга и нераздельны, хотя и по разному, в зависимости от исторических доминант, от общественно-культурного «климата», что определяется, в свою очередь, материальными условиями общественного развития. Следовательно, вопросы эмоционального отношения мы вообще здесь не рассматриваем, ставим их лишь для «затравки», позднее к ним возвратимся.

* J. W. von Goethe: Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. J. W. v. Goethe. Sämtliche Werke ... 40 Bände. Frankfurt/M. 1986. I. Abt. Bd. 14. S. 535 f. (курсив N.B.).

** G.W.F. Hegel: System der Natur II. A.a.O. Bd. 9. S. 38 f. (§246, Zusatz).

Во-вторых, поскольку мы ставим вопрос об интеллектуальном, познавательном отношении к природе, и поскольку в *этой* связи ставится вопрос о «богатстве», «многообразии» или, наоборот, о «скудости» или «бедности», мы на него уже ответили в общей форме в предыдущем изложении. Но здесь, чтобы удовлетворить бунтующего демона иронии, мы рассмотрим его с точки зрения сложных соотношений между абстрактным и конкретным, т. е. с точки зрения перехода от единичного ко всеобщему и от всеобщего к единичному.

Диалектическое учение Гегеля, материалистически истолкованное, представляет в этом отношении крупное приобретение, что бы ни говорили и как бы ни возмущались примитивные поклонники чистого сенсуализма (116). Итак, приступаем к делу.

Что отвратительно, бесполезно, вредно, мертво? *Формально-логическая абстракция*, доведенная до пустоты. Она и есть ошипанный, выпотрошенный, вымоченный павлин. Здесь логический *объем* обратно пропорционален *содержанию*, обычный закон обычной школьной логики. Абстракция есть голый, ободранный, обезличенный стержень, даже тень его. Всеобщее здесь всеобщее в бедности и скудости тощих определений, есть отрицание множества качеств, есть ограничение одним-двумя признаками, превращенными в сухую и сморщенную мумию.

Диалектическая абстракция есть конкретная абстракция, есть абстракция, *включающая* все богатство конкретных определений. Но не вздор ли это? Не выверт ли? Не ходячее ли плоское противоречие? Не издевательская ли игра в понятия, та логическая мистика и тарабарщина, которая так часто встречается у Гегеля? Нет, именно такова структура *диалектических* понятий. В них всеобщее выделяется, при сохранении и субординации всего многообразия конкретных свойств, качеств, связей и опосредствовании. Это не первоначальный хаос конкретных неопределенностей, не хаос «первого конкретного», а *космос*, упорядоченное, содержащее закон, сущность, понятое адекватно действительности *реальное богатство мира*, соответственной его части, момента, стороны.

Вначале аналитически фиксируются различные «части» объекта, виды, функции; они изолируются и рассматриваются в их изолированности; затем даются переходы одного в другое; затем мышление вновь возвращается к исходному пункту, т. е. к конкретному. Но это конкретное («второе конкретное») отличается от исходного пункта (от «первого конкретного») тем, что здесь понята его сущность, его закон, его всеобщее, *проявляющееся* в особенном и

единичном. Здесь, следовательно. объект понят в его *закономерности*, понята связь его компонентов, понята основное в нем и понята связь между этим основным и его опосредствованиями. Никакого оскудения здесь нет. Наоборот, по сравнению с первым конкретным здесь есть огромное обогащение, ибо вместо безразмерных и равнодушных моментов здесь отображена живая диалектика действительного процесса. *Маркс* блестяще применял этот *диалектический* метод (являющийся и анализом, и синтезом одновременно) во всех своих работах. Возьмем, например, учение о кругообороте капитала (II том «Капитала»). *Первое конкретное*: кругооборот капитала, еще не понятый, в его сплоченности и неопределенности; это исходный пункт.

Далее, анализ: выделение форм денежного капитала, производительного капитала, товарного капитала и их кругооборотов; анализ отдельных кругооборотов в их абстрактной изолированности; они противоположны друг другу; они исключают друг друга; они отрицают друг друга.

Связь между ними: переход одной фазы в другую, одной противоположности в другую.

Далее, синтез, процесс в целом, единство противоположностей, возвращение к конкретному («второе конкретное»). Но здесь кругооборот капитала *понят*. Ясна его закономерность. В нем сохранены все конкретные моменты, но в то же время выделена и его сущность, взятая во всех опосредованиях. Абстракция «кругооборота капитала» конкретна.

Или возьмем такое абстрактнейшее понятие общественных наук как понятие *общества*. У *Маркса* оно *включает* понятие исторически изменяющихся общественно-исторических формаций, со всеми взаимодействиями базиса и надстроек и с выделением основных закономерностей. Здесь диалектически снято все противопоставление «генерализующего» и «индивидуализирующего» метода, «логического» и «исторического», что в поте лица разрабатывала школа *Риккерта*. И в то же время здесь заранее с презрением отвергнута «*антиисторическая* «целокупность» современных фашистских теоретиков, которые топят все исторически конкретное и специфическое в фетише универсальной иерархической «общности». В марксовом понятии общества, следовательно, *in nuce, in potentia* (117) содержатся все возможные и крайне богатые определения. Диалектическая формула здесь охватывает все богатство и разнообразие общественной жизни, как гигантский конденсатор.

Здесь нет и следа обеднения по сравнению с какими угодно другими формулами и «отражениями». Конечно, *реальная жизнь* богаче какой угодно мыслимой теории. С этой точки зрения *Гете* был прав, когда говорил о «серой теории» и вечно-зеленом дереве жизни* – изречение, которое так любил *Ленин*. Познание есть процесс и охватывает все лишь в *бесконечном* движении: оно лишь асимптотически (118) приближается к этому, в конечном никогда не охватывая всего. Но это ведь совершенно особый вопрос, другой, не тот, который мы разбираем.

Возьмем понятие *материи*, наиболее абстрактное понятие физики (в широком смысле слова). Формально-логическое ее определение пусто и крайне бедно. Ее диалектическое понятие *включает* качественное многообразие, исторические переходы одного вида материи в другой, конкретные свойства в их связи и переходах. Это не серое, механическое, бесформенное начало, которое так напугало и так разочаровало своей скукой молодого *Гете* при чтении «Системы Природы» *Гольбаха*: это многообразное расчлененное единство.

Идеализм всякого рода всегда стремился так или иначе придать понятию, «*общему*», самостоятельное бытие, «истинное бытие», в противоположность «*единичному*», как бытию «неистинному»: платоновская «идея» и есть не что иное, как гипостазированное (119) понятие, обожествленная абстракция. Средневековый спор между «*номиналистами*» (120) и «*реалистами*» (121) как раз и заключался в том, что *номиналисты* выставляли тезис «*universalia sunt nomina*» («общие понятия» суть «имена», «названия»), тогда как реалисты выдвигали противоположное утверждение: «*universalia sunt realia*» («общие понятия суть реальности»). Точно также в объективном идеализме *Гегеля* *понятия* превращаются в сущности, и реальное бытие примеривается к понятию, соответствует ли оно этой истинной реальности (с этой точки зрения у *Гегеля* действительно только то, что соответствует своему понятию!), а не наоборот, не понятие примеривается к реальным вещам и процессам для проверки своего соответствия с предметом. Поэтому *Маркс* и считал, что первой формой *материализма* был *номинализм***.

С каким бешенством нападал *Маркс* на гегелевскую замену груш, яблок и т. д. «плодом вообще», действительных предметов их логическими тенями и

* „Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, und grün des Lebens goldner Baum.“ J.W. v. Goethe. Faust I. Studierzimmer (2). J.W.v. Goethe. Sämtliche Werke ... 40 Bände. Frankfurt/M. 1986. I. Abt. Bd. 7/1. S. 87.

** Ebenda, S. 60 ff.

отражениями!*** Именно этой стороной был замечателен и *Фейербах*, с такой благородной страстью протестовавший против превращения *логического бытия* в *действительное бытие*, а действительного бытия в бытие *логическое*. Именно здесь и ставит *Гегель* в своей системе весь мир на голову и заставляет его ходить на голове. И именно по этому поводу *Ленин* писал в своих комментариях к «Науке Логики» («К вопросу о диалектике»):

Идеализм первобытный: общее (понятие, идея) *отдельное существо*... Но разве не в том же роде (совершенно в том же роде) современный идеализм, Кант, Гегель, идея бога? Столы, стулья и идеи стола и стула; мир и идея мира (бог), вещь и «нумен», непознаваемая «вещь в себе»; связь земли и солнца, природы вообще и закон, логос, бог. Раздвоение знания человека и возможность идеализма (религии) даны уже в *первой элементарной абстракции* («дом» вообще и отдельные дома) (22)*.

Но здесь мы хотим остановиться мимоходом на разъяснении одного вопроса, по которому нередко царит значительная путаница. А именно: ведь, и *единичное* имеет свое название, свое «попеп». *Этому* попеп соответствует конкретная, единичная реальность, вещь, существо, процесс. *Само* попеп же есть лишь отражение, логический коррелят (123) этой реальности внешнего мира (или мира т. н. «внутреннего», например попеп ощущения – но это опять-таки вопрос особый). И *здесь*, следовательно, нельзя подменять одного другим. Теперь спрашивается, что же соответствует *общему*, как логической категории, в действительности? Ничего? Или все же что-то соответствует? Что ему не соответствует отдельное существо, это видно из предыдущего. Но что же соответствует – или, по крайней мере, *может* соответствовать ему в реальности? (Мы говорим *может* потому, что ответ фантазии, как это отмечал и *Ленин*, удлиняя какую-нибудь сторону, приводит к чистой иллюзии, которой *ничего* не соответствует). Ему может соответствовать – и обычно соответствует – черта, свойство, сторона и т. д. в самих конкретных вещах, повторяющаяся во множестве таких вещей. Эта черта, свойство, сторона не существует вне конкретных единичностей. Они не суть существо, особая индивидуальность. Но они существуют как свойство единичных, конкретных процессов, вещей, существ. Такова

*** К. Marx/F. Engels: Die heilige Familie. MEW. Bd. 2. S. 135.

* При указании источника у Бухарина вкралась ошибка. Речь идёт о конспекте «Метафизики» Аристотеля В.И. Ленина. LW. Bd. 38. S. 352.

диалектика общего и отдельного, превосходно схваченная в вышеупомянутом фрагменте *Ленина*:

Отдельное не существует иначе, как в той связи, которая ведет к общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть общее (так или иначе). Всякое общее есть частичка (или сторона или сущность) отдельного. Всякое общее лишь приблизительно охватывает все отдельные предметы. Всякое отдельное неполно входит в общее и т. д. и т. д. Всякое отдельное тысячами переходов связано с другогородаотдельного (вещами, явлениями, процессами)⁷.

Но тут как раз нас и может подразнить сократовская ирония. Как же так? Ведь только что вы клялись богатством диалектических абстракций, а теперь сами говорите о их неполноте! И не в том смысле, что познание в каждый данный момент конечно и что оно бесконечно и полно лишь в вечности, а в другом, более прозаическом: общее теперь у вас неполно и по отношению к тому, что вы знаете, т. е. что вам реально доступно так или иначе, о чем вы можете говорить!

Здесь действительно нужно сделать одно существенное пояснение. *Диалектическое* понятие есть все же известное *сокращение*, конденсация «*Abbreviatur*». Богатство конкретных определений в нем, так сказать, дремлет, оно заключено в нем *потенциально*, оно должно быть *развито*. Грубо говоря: диалектическое понятие капитала не может заменить всех трех томов «Капитала», и совершенно комично требование, чтоб оно их заменило. Легка была бы наука, философия, мышление вообще, если бы это было иначе!.. В данной связи есть еще один любопытный вопрос, заслуживающий пристального внимания.

В «Философии Природы» *Гегеля* мы встречаем такое место:

Если и эмпирическое естествознание подобно философии природы также пользуется категорией всеобщности, то оно все же часто колеблется, приписывать ли этой категории объективное или субъективное значение. Часто нам приходится слышать, что классы и порядки устанавливаются только для целей познания. Это колебание оказывается далее еще и во взгляде, что признаки предметов отыскиваются нами не в том убеждении, что они представляют собою существенные объективные определения вещей, а лишь в целях нашего удобства (sic!) (125), так как по этим признакам мы легко распознаем вещи. Если бы существенные признаки были только *значениями* для распознавания и ничего больше, то можно было бы, например, сказать, что признаком человека служит мочка уха, которой никакое другое

⁷ W.I. Lenin: Zur Frage der Dialektik. LW. Bd. 38. S. 340.

животное не обладает. Но здесь мы сразу чувствуем, что такого определения недостаточно для познания существенного в человеке.... Соплашаются с тем, что *труды* представляют собой не только общими признаками, а являются подлинной внутренней сущностью самих предметов; и точно так *жорядки* служат не только для облегчения нам обзора животных, но представляют собой лестницы самой природы (курс. наш. – Авт(126)).

В «Энциклопедии» тоже есть места, где общее, закон, эквивалентно роду (отсюда «родовое понятие»). Эта традиция идет еще от Платона (см. Ист. Фил. Гегеля, II т.). Здесь, однако, включена и особая проблема, не совпадающая с тем, о чем говорилось выше. В самом деле, можно ли трактовать, например, понятие человеческого вида, homo sapiens, только как абстракцию «человека вообще», наподобие «стола вообще», «стула вообще»? Или здесь есть нечто особое? И, если есть, то что? Здесь есть особое, и при том крайне существенное, а именно: понятие человеческого вида (ступень в «лестнице самой природы») есть *собирательное* понятие, которому соответствует в объективной действительности *реальная совокупность* тесно связанных между собою, взаимодействующих индивидуумов, представляющих живое единство, не «существо», аналогичное животному индивидууму, а единство специфическое, единство sui generis (127), отдельные части которого умирают, другие возникают, и в целом налицо во времени меняющийся биологический вид. Тут понятию вида соответствует определенная реальность. Точно так же обстоит дело и с другими собирательными понятиями, если им соответствует не просто мысленная (например, статистическая, математическая), а реальная совокупность. Например, под *материей* можно разумеать *совокупность всех материй* в их взаимной связи, переходах, превращениях. Это собирательное понятие материи, включающее все качественные особенности, все отдельные виды, все связи и процессы, соответствует *объективной реальности*. Здесь мышление шло тоже от единичного к общему, от конкретного к абстрактному. Но общее здесь само единичное, единичное второго порядка, единое и многое, новое, индивидуальное, реальное единство, реальная совокупность. Поэтому спор относительно объективной реальности вида отнюдь не есть простое повторение спора между «номинализмом» и «реализмом». Вид существует не как отдельные черты отдельных животных, но как их *текущая совокупность*. Синтетическая функция познания (отдельная черта, грань диалектического метода, который есть и синтез, и анализ одновременно) состоит здесь не только в объединении определенных черт и свойств, аналитически обработанных, но и в объединении

(мыслительном) индивидуумов, реально связанных в реальной жизни и этой связью противопоставленных «другому» (другим видам, внешней среде и т. д.).

Наивысшим абстрактнейшим, наивысшим конкретнейшим, самым общим из всех общих, совокупностью всех совокупностей, связью всех связей, процессом всех процессов является понятие Всего, Универсума, *Космоса*. Это самое абстрактное понятие есть в то же время совокупность всего конкретного. В нем угасает самая противоположность, ибо оно охватывает все, и ему не противостоит ничто. В нем разыгрываются все бури становления, и оно само «течет» в бесконечном времени и пространстве, существующем лишь как формы его бытия. Это – великая субстанция *Спинозы causa sui* (128), *natura naturans* и *natura naturata* одновременно, лишенная своих теологических привесков. Объективно – это богатство *Всего*. В мышлении, в отражении, в понятии, это – сумма всех человеческих знаний, вырабатывающихся исторически в течение многих тысячелетий, объединенных и сведенных в «систему», в грандиозную научную картину мира, с бесконечным количеством координированных понятий, законов и т. д. Любое «непосредственно чувственное» (чего на самом деле и нет!) поистине *жалко* перед этой громадиной!

Глава VII

ОБ ОЩУЩЕНИИ, ПРЕДСТАВЛЕНИИ, ПОНЯТИИ

В «Философских тетрадках» *Ленин* ставил такой вопрос: «Представление *ближе* к реальности, чем мышление?» И отвечал:

И *да*, и *нет*. Представление не может охватить движение *всего*, например, не схватывает движения с быстротой 300. 000 километров в секунду, *мышление* схватывает и должно схватить (129)*.

Этот вопрос, как нетрудно видеть, есть тот же вопрос, который мы решали, вопрос о соотношении чувственно-конкретного и мыслительно-абстрактного, вопрос об опосредствованном знании, но взятый с особой стороны. Поставим и мы его еще раз в этой связи. Когда речь идет об *ощущении*, то налицо должно быть *ощущаемое*, т. е. сам предмет, процесс, объект, материя. Ощущение наличествует только при непосредственном соприкосновении, только при

* W.I. Lenin: Konspekt zur „Wissenschaft der Logik“. LW. Bd. 38. S. 220 (курсив N.B.).

непосредственном контакте между субъектом и объектом. Нужно *материальное* соприкосновение между объектом и субъектом, как материальными телами, нужно материальное воздействие объекта на материально-физиологические органы субъекта, чтобы у последнего получились такие материальные раздражения, психическим инобытием которых являются ощущения. В *этом* смысле ощущения *ближе* всего к действительному миру. «*Ближе*» здесь означает непосредственность самого процесса. Это и есть то самое чувственное начало, о котором шла речь у сенсуалистов всех оттенков и всех толков. Так как здесь есть материальное воздействие объекта на субъект, в котором (воздействии) объект, по *Канту*, «аффицирует» чувства субъекта; так и здесь объект, так сказать, материально переходит в субъект, бомбардируя его световыми, звуковыми, тепловыми волнами и проч.; так как здесь внешний мир представляется многообразным источником «раздражителей», а энергия внешнего раздражения переходит в «движение» нервно-физиологического аппарата субъекта, инобытием чего и являются ощущения, то понятно, что ощущения «ближе» всего к реальности.

Представления есть уже отдаление от этой реальности и в *тоже* время приближение к ней. Почему?

Аристотель пишет (*De anima*):

... тот, кто ничего не ощущает, ничего не познает и ничего не понимает; если он что-нибудь познает, то необходимо, чтобы он это познал также и как представление; ибо представления таковы, каковы ощущения, и отличаются от последних только тем, что они не имеют материю

Это значит – в основном *Аристотель* здесь прав – что представлять предмет можно и без непосредственного наличия представляемого, но лишь на основе бывших ранее ощущений. Однако, здесь упущен элемент *связи* между ощущениями, т. е. момент целого. Представление воспроизводит ощущения в их объединенном виде, соотносимом с предметом. И как раз эта наличность связи в представлении делает представление *ближе* к предмету, к реальности. Но ближе не в смысле непосредственности (в этом смысле оно дальше), а в смысле своей полноты.

Дальнейший процесс познания (в сущности тут абстрактно изображается *исторический* процесс познания) приводит к

⁸ Aristoteles: De anima. Zit. n.: G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II. A.a.O. Bd. 18. S. 389. Aristoteles. Über die Seele. Übersetzt von Willy Theiler. Darmstadt 1983. S. 63: „Und deswegen kann niemand ohne Wahrnehmung etwas lernen oder verstehen, und wenn man etwas erfäßt, muß man es zugleich mit einem Vorstellungsbild erfassen. Denn die Vorstellungsbilder sind gleichsam Wahrnehmungsbilder, nur ohne Materie.“

образованию *понятий*: здесь, как мы знаем, переход ко *всеобщему*. Этот процесс мы подробно разбирали и можем его для *данной* проблемы подытожить так: в смысле *непосредственности*, например, «научная картина мира» неизмеримо *дальше* от реальности, ^ем ощущение и представление: оно, ведь, сложный продукт сложного мышления; в смысле *адекватности отражения* оно неизмеримо *ближе* к этой реальности, полнее, богаче, многообразнее.

И здесь мы подходим к вопросу с того конца, за который с такой гениальной простотой ухватился *Ленин*.

В самом деле, берем его пример. Глаз «видит» свет. Свет имеет скорость в 300 000 километров в секунду. Эта скорость обуславливает то, что глаз видит свет вообще. Но глаз не может наблюдать скорости света так, как он наблюдает («видит») скорость едущего автомобиля или поезда, где зрительно фиксируются изменения пространственных соотношений между поездом и окружающими предметами. «Субъект» не может себе поэтому и наглядно *представить* скорость в 300 000 километров в секунду. Представление здесь бессильно. А *мыслить такую* скорость можно сколько угодно, и каждый физик постоянно оперирует с этим понятием. Любая «астрономическая цифра» выходит за рамки представления, а все астрономы постоянно их употребляют. «Световой год» непредставим, как единица времени; а в астрономии это единица измерения. Все бесконечно-малые и бесконечно-большие величины не могут ни ощущаться в их бесконечном объеме, ни быть представляемы. Тем не менее, они мыслятся, составляют предмет науки и имеют в целом ряде случаев (скажем, через математику, идущую к технике) огромное практическое значение. Соотношение между «физическим» (вернее, физиологическим) и психическим, как его инобытием, непредставимо наглядно, а мы его мыслим. Но вернемся снова к опытным наукам в обычном смысле слова. Мы не имеем чувства электричества, а наблюдая его через чувствительные инструменты, создали электромагнитную теорию материи. Ощущая электроны в эксперименте единицами и пучками, мы мыслим электромагнитную картину Универсума. Мы не видим ультрафиолетовых лучей, а превосходно их мыслим. Мы никак непосредственно не ощущаем и не представляем бесконечного количества разных α , β , γ , и прочих лучей, с их гигантскими скоростями и т. д., а мыслим их с этими скоростями; мы не видим рентгеновских лучей; мы не ощущаем и не представляем наглядно процесса распада радия; мы не можем ощутить и представить себе температур и давлений на солнце или какой-либо звезде; но все это мы превосходно мыслим. И т. д.

В чем здесь дело? Дело в том, что наши *чувства* ограничены; а наше *познание*, как *процесс*, безгранично. За определенным порогом раздражения наши чувства отказываются служить. А с этим связана и ограниченность представления. Самое число чувств у нас ничтожно, о чем, в противоположность *Фейербаху*, можно лишь пожалеть, да и они весьма несовершенны: самец бабочки «сатурния плодовая» чувствует, по наблюдениям *Штандфуса*, запах самки за 15 километров; известна зоркость орла; известна ориентация собаки по запахам и т. д. *Если* у людей не было бы *мышления*, то недалеко бы они уехали в познании мира и в овладении миром! В самом деле, ведь, та же собака по непосредственной одаренности чувствами стоит высоко: она слышит лучше, обоняет лучше нашего, людского. Другие животные видят неизмеримо лучше нашего. Как же это случилось, что человек оказался «наверху»? Без понимания процесса образования головного мозга и *способности мышления*, процесса, развивавшегося *исторически* у обобществленного человека, вообще понять это *невозможно*.

Пойдем еще дальше. В ощущении дается единичное. Ощущением не охватишь всего сразу. Нельзя ощущать (т. е. в данном случае видеть, слышать, обонять и т. д.) бесконечное многообразие природы. А *мыслить* можно (и должно). Афористически можно сказать, что ощущение *анти-философично*, а мышление, наоборот, — *философично*. Но что же у нас получается? Не подкатываемся ли мы «кувырком» к точке зрения идеалистического пренебрежения эмпирией, «чувственно-данным» *опытом*? Не превращаемся ли мы в сторонников *отрыва* от чувственного, сторонников «умопостигаемого» в противоположность постигаемому чувственно? Не будем ли мы искать платоновского «умного места», к которому только и можно подъехать «умом», плюющим на низменные чувства? Не проповедуем ли мы *вне опытного* знания? Не переходим ли на точку зрения какого-то универсализированного *априоризма*? Ведь, можно, в конце концов, спросить: да *откуда* же берутся ваши лучи, рентгены, скорости и все, что вы, по вашим словам, не ощущаете, не представляете, а мыслите. Что за мистификация? Ответьте, пожалуйста!

Этот ответ прост: из *опыта* и через *чувства*. Но *как* – вот в чем вопрос. Когда я стою около электропечи и наблюдаю за инструментом, показывающим температуру, я *вижу* разные стрелки и т. д. и по ним *сужу* о температуре, а не сую палец в печь: да я бы и не мог «ощутить» жара, а просто бы сгорал, как не мог бы ощутить «холода» жидкого кислорода, опустив в него руку, а сразу бы ее

потерял. Я не«ощущаю» непосредственно рентгеновских лучей, но ощущаю показания приборов. Я не вижу, не слышу, не обоняю и т. д. химических элементов звезд, а ощущаю сигналы приборов в процессе спектрального анализа (т. е., главным образом, вижу соответствующие показания приборов) и делаю различные выводы отсюда. Я косвенно *вижу* высокие температуры, *вижу* температуры низкие, *вижу* огромные давления по манометру, вижу по стрелкам приборов громадные напряжения электрического тока. Тут есть свои соотношения, где одно чувство выступает *вместо другого*. Значит, тут есть и опыт, есть и *ощущения*, но ощущения другого порядка: в них объект *непосредственно* не ощущается, но он все-таки *косвенно* ощущается. Чтобы сделать мыслительные *выводы*, должна иметься громадная сумма прежде накопленного опыта, иначе этих ощущений, идущих от приборов, нельзя расшифровать. По прибору я определяю температуру в электропечи. Ощущать такую температуру я не могу. Наглядно представив ее, т. е. чувственно представить как *тепло*, как горячее, я тоже не могу. Но *мыслить* – могу. Почему? Потому, что мышление способно сравнивать, умозаключать, обобщать: я мыслю гигантские температуры, их влияние на различные тела, скорости движения молекул и т. д., целый ряд связей и опосредствовании. Я могу мыслить t в 1000° , как t , в n раз большую, чем какая-либо ощущавшаяся мною и наглядно представляемая температура, точно так же, как в ленинском примере я могу мыслить скорость света, как известную мне скорость, увеличенную в n раз. *Мыслить* я это могу, как целое. *Представить* наглядно я не могу, ощутить – того менее. И однако, во всех этих примерах, все имеет *источником* чувство и опыт: *без* видения (зрительного ощущения движения на приборах, без предварительного опыта, без опыта вообще, никакого знания не получалось бы. Химические элементы звезды я открываю в опыте и на основе ощущений, но не на основе *непосредственного* воздействия этой звезды на мои органы чувств. И открываю я через *мыслительную работу*, а не просто «чувствую» и «ощущаю». Здесь налицо *диалектический* переход от ощущения к мышлению и диалектическое их единство. Характерно, что идеализм *Гегеля* заставляет его пренебрежительно относиться к данным эмпирической науки, к чувственному, *вопреки* диалектике. С другой стороны, нередко можно встретить, особенно среди ученых-специалистов, явную недооценку мышления. Да и *Фейербахова* формула: «Чувства говорят все, но чтобы понять их изречения, надо связать их. Связно

читать евангелие чувств значит, мыслить»^{*} все же недостаточно: ибо нужна большая мыслительная работа по установлению этой *самой связи*, т. е. процесс выработки понятий, законов, связей, все более глубоких обобщений, а в этом процессе и «зарыта собака».

Но тут мы снова возвращаемся к вопросу, которого мы касались в самом начале нашей работы, когда полемизировали с солипсистами. Современная буржуазная философия при рассмотрении процесса познания оперирует все время с воображаемой Евой до ее грехопадения. Она берет субъекта в его какой-то дурацкой святости: когда этот субъект сталкивается с объектом, он точно впервые видит и слышит. Он только ощущает. Но, как мы выяснили довольно подробно, таких субъектов *не бывает*. Всякие новые ощущения переживаются *одновременно* с представлениями и понятиями; да в сущности для каждого субъекта остальные ощущения («теплое», «холодное», «красное» etc) суть продукта анализа: на самом деле люди видят, слышат, осязают других людей, деревья, столы, колокола, пушки и т. д., имея обо всем этом исторически выработанные понятия и отнюдь не начиная всего исторического процесс с начала, *ab ovo*. Если бы было *иначе*, то человечество топталось бы все время на одном и том же месте, т. е. разыгрывалась какая-то фантастическая сказка про белого бычка^{*}. Этого к счастью нет в действительности: эта сказка про белого бычка разыгрывается лишь на книжных страницах буржуазной философии. Поэтому, когда человек ощущает, он, грубо и метафорически говоря, носит в себе выработанную систему понятий, более или менее адекватных действительности. Таким образом, *близость* к реальности, о которой говорил *Ленин*, в действительности заключается и в том, что непосредственное соприкосновение с реальностью через чувства (что выражается в ощущениях) реально сопровождается *слитностью* этих ощущений со все более *близкой* (близкой, как отражение, т. е. все

^{*} L. Feuerbach: Wider den Dualismus von Leib und Seele, Fleisch und Geist. In: Gesammelte Werke, hrsg. v. Schuffenhauer, Band 10, S. 150. Genau heißt es dort: „Die Vernunft ist ein Schluß, aber ebensowohl die Prämissen als die Konklusionen dieses Schlusses sind sinnlichen Wesens; die Sache der Vernunft ist nur, sie zu vermitteln, Wesen zu *kopulieren*, aber nicht, *Wesen zu erzeugen*. 'Mit den Sinnen lesen wir das Buch der Natur, aber wir verstehen es nicht durch die Sinne.' Ganz richtig, aber wir tragen durch den Verstand keinen Sinn erst in die Natur hinein; wir übersetzen und interpretieren nur das Buch der Natur; die Worte, die wir mit den Sinnen darin lesen, sind keine leeren, willkürlichen Zeichen, sondern bestimmte, sachgemäße, charakteristische Ausdrücke. [...] Alles sagen die Sinne, aber um ihre Aussagen zu verstehen, muß man sie verbinden. Die Evangelien der Sinne im Zusammenhang lesen heißt *denken*.“

^{*} Voltaire: Der weiße Stier. Sämtliche Romane und Erzählungen in zwei Bänden. Eingeleitet von V. Klemperer. Leipzig. [1948] Bd. 2. S. 327–366.

более и более *верной*) системой *понятий*. Поэтому всякий общественный человек, то есть мыслящий человек, не бродит в мире, как сомнамбула, как субъект, преисполненный «хаосом ощущений», а более или менее хорошо ориентируется во внешнем мире: ибо он его так или иначе все же *знает*, а не только ощущает, *уже* знает. Это знание – не априорно, но оно «дано» в каждый момент *до* всякого нового ощущения, и ощущение, будучи, в *конечном счете* (в конечном счете, *исторически*) источником мышления, родником понятий, у любого субъекта падает уже в целое море сформировавшихся понятий. Но раз эти последние уже в значительной степени так или иначе соответствуют объективной действительности, то всякая дальнейшая ориентация в мире есть не что иное, как дальнейший синтез ощущения и мышления, то есть превращения ощущения в мышление, всасывание мышлением новых моментов ощущения. Так, *удаляясь* от непосредственности ощущения, мышление приближается к реальности, проверяя себя непосредственно предметной *практикой*, в которой субъект, активно овладевающий объектом теоретически, активно и *непосредственно-материально* овладевает им *практически*, трансформируя самое его *вещество* и становясь в максимально близкие к нему отношения.

Глава VIII

О «ЖИВОЙ ПРИРОДЕ И О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОТНОШЕНИИ К НЕЙ

Обычное, так сказать, бьющее на поэзию, на чувство, возражение против материализма, развиваемое, например, с точки зрения *гилозоизма* и гилозоистического *пантеизма* (чрезвычайно ярко развивал эту тему *Гете*, в том числе и в упоминавшемся месте против *Гольбаха*), это обычное возражение протестует против угасания красок, цветов, звуков и т. д. в их непосредственно-эмоционально-поэтическом значении («аффекционал», положительный, у *Авенариуса*). По этому поводу да позволено будет лапидарно (131) заметить:

1. *Гольбах* – не «модель». *Диалектический* материализм, в противоположность механическому, утверждает качественное многообразие мира, бесконечное разнообразие форм связей.

2. Диалектический материализм вовсе не считает цвета и т. д. *только* субъективными. В связи с глазом роза красна.
3. Человек *пока* испытывает влияние со стороны природы и чувствует (в том числе видит, слышит, обоняет и т. д.) бесконечно *малую* часть мира.
4. Когда он имеет «*научную картину мира*», он имеет неизмеримо более богатое целое (с бесконечным количеством свойств, связей, законов, моментов, видов и проч.) *Эта* эстетика (если брать *эту* сторону) куда богаче эстетики примитивного дикаря в его предполагаемом (в значительной степени иллюзорном) качестве «наивного реалиста».
5. В эту картину *входит* и чувствующий человек со *всеми* видами «копии отражений» и т. д., отражений различных степеней различной глубины и широты.
6. Таким образом, эта картина мира, адекватная, в меру познания, реальной действительности, реальному Всеобщему, в бесконечное количество раз богаче того, чем восхищаются гилозоисты и пантеисты при непосредственном художественном созерцании
7. Особо следует заметить, что в развиваемое понимание бесконечного мира (во времени, в пространстве, в отношении количеств и в отношении *качества*) входит и понимание возможности бесконечного движения, *развития* и природы, и человека, и его познания так, что здесь, если можно так выразиться, налицо есть бесконечно огромный фонд нераскрытых богатств и многообразно-раскрываемый в процессе бесконечного познания.

Но здесь еще *другая* сторона дела: это тема «живой природы», *жизни* Космоса.

Гегель в «Философии Природы» прямо воспекает *Гете* за его пантеистическо-гиллозоистическое отношение к жизни Космоса, за живое понимание природы. Но любопытно, что он делает в той же работе замечание, что природу не следует смешивать с Космосом, ибо природа есть Космос, мир, *минус* «духовные существа»*. Здесь двойная измена *Гегеля* диалектике: во-первых, «духовные существа» отрываются от их телесности и происходит гипостазирование одной стороны единого бытия, то есть метафизическое застывание

* „Die Frage nach der Ewigkeit der Welt (diese verwechselt man mit der Natur, da sie doch eine Collection des Geistigen und Natürlichen ist) hat erstens den Sinn der Zeitvorstellung, einer Ewigkeit, wie man es heißt, einer unendlich langen Zeit, so daß sie keinen Anfang in der Zeit gehabt.“ G.W.F. Hegel: System der Philosophie II. A.a.O. Bd. 9. S. 51 (§ 247, Zusatz).

духовности; во-вторых – что в данном случае еще более важно – здесь налицо обрыв чувствующих и мыслящих существ от природы, т. е. вместо *относительного*, диалектического противопоставления, раздвоения единого, получается *абсолютное* противопоставление: в частности, человек берется *только*, как «противочлен» природы, и исключается, как *часть* природы. Человек берется, как *сверхприродное* начало. Если животных исключить из «духовных существ», то человек вырывается и из *органически-эволюционного* ряда.

Однако, переходим к нашей теме.

В каком смысле можно говорить о *Космосе*, как о *живом единстве*? Но в смысле *шеллинговой* мировой души; не в смысле монадологии *Лейбница*; не в смысле мистиков типа *Якова Беме*; не в смысле *logosa*, религиозных космогонии и т. д. А в каком? В том смысле, что живая материя есть факт. Существует сложный, огромный органический мир, существует, как ее назвал ак. *В. И. Вернадский*, биосфера, земная биосфера, наполненная бесконечно разнообразной жизнью, от мельчайших микроорганизмов в воде, на суше, в земле, в воздухе – до человека. Многие не представляют себе всего грандиознейшего богатства этих форм, их прямого участия в физических и химических процессах природы. Между тем оно настолько велико, что это обстоятельство давало когда-то повод *Ламарку* считать, что все сложные соединения, встречающиеся на земле, образовались при участии многофазных живых существ. *Гегель* почти поэтически описывает, например, органическую жизнь моря, отходя от той головоломной тарабарщины, которую *Энгельс** называл «abstrus» (132) и которую гегельский Пиндар, *Michelet* (133) определял, как «величавую речь Олимпа». Далее. Невероятно предположение, что жизнь есть *только* на земле. При бесконечности Космоса в миллионы раз вероятнее образное предположение, и еще *Кант* в своих ранних, «до-критических» (и замечательных!) естественно-научных работах** прямо говорил о живых существах на других планетах. А так как мир бесконечен и *во времени*, то в *Космосе* жизнь вечна. Ибо она где-нибудь да рождается из неорганического мира. На *земле* она появилась тогда-то, исторически возникла из неживой материи. Но

* Энгельс говорит, имея в виду «Философию природы» Гегеля, § 351, Дополнение, о неудобоваримости» или о «тарабарщинае». F. Engels: Anti-Dühring. MEW. Bd. 20. S. 73 f.; MEGA2, I./27. S. 281.

** Vgl. I. Kant: Allgemeine Naturgeschichte des Himmels, oder Versuch von der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen Weltgebäudes nach Newtonschen Grundsätzen abgehandelt (1755). Kants' gesammelte Schriften. Hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften Bd. 1. Berlin 1910. S. 351–68.

когда ее не было на земле, она была где-нибудь в других точках Космоса и т. д. Словом, жизнь *имманентна* (134) Космосу.

Эта жизнь неразрывно *связана* с «целым», она есть *часть* этого целого, одна из его сторон, проявлений, граней, свойств; она не случайна, а необходима, она ему присуща, как ступень исторического развития его частей. Человек есть на земле наиболее сложный продукт природы, так сказать, ее цветок.

По существу, от этого недалек и *Гегель*, когда он, например, на своем языке пишет: «Если сначала геологический организм земли был продуктом в процессе построения ее образа, то теперь она снимает, как творчески лежащая в основе индивидуальность, свою мертвую застылость и раскрывается для субъективной жизни, которую она однако исключает из себя и передает другим индивидуумам. Так как геологический организм есть жизненность только в себе, то *подлинно живое* есть *другое* по отношению к нему... Т. е. земля плодородна именно как основа и почва индивидуальной жизни, находящейся на ней». (Философия Природы) (135)*. Правда, затем *Гегель* говорит о жизни стихий и т. д., и это у него не только метафора, а мистика, и в вышеприведенном месте развит совершенно рациональный взгляд на дело.

Если человек есть продукт природы и ее часть; если он имеет биологическую основу, снятую (но отнюдь не уничтоженную!) его общественным бытием; если он – сам природная величина и продукт природы, и живет в природе (как бы его ни отгораживали определенные общественно-исторические условия жизни и т. н. «искусственная среда»), то что же удивительного в том, что он *сопереживает* ритмику природы и ее циклы? Речь здесь идет не об интеллектуальном познании, не о практическом или познавательном овладении природой, когда ей, природе, общественно-исторический человек противопоставлен, как субъект, как относительно антагонистическое начало, как покоритель и укротитель, активно-творческая сила, противостоящая стихиям природы и органическому нечеловеческому миру. Речь идет здесь о человеке в его слитности с природой, от связи, антропоморфически (136) выражаясь, в его солидарности с природой, в его симпатических с нею интимно-природных отношениях. Разве не переживает каждый человек цикл своего собственного развития, как органического, природного, биологического (младенчество, юность, древность, старость)? Разве не переживает человек цикл оборота земли вокруг своей оси, со

* G.W.F. Hegel: Das System der Philosophie II. A.a.O. Bd. 9. S. 482 (§ 341, Zusatz) (курсив N.B.).

сменами дня и ночи, бодрствования и сна? Разве не переживает человек, как природная величина, и круговорота земли вокруг солнца, со сменами времен года, когда весной токи крови его циркулируют повесеннему? Разве все эти великие циклы, круги, ритмы, пульсация земли и Космоса не *сопереживают* органически, так сказать, *кровью*? Здесь нет ровно никакой мистики, как нет мистики в весеннем спаривании животных или в удивительных перелетах птиц или в переселении мышей перед землетрясениями. Чем ближе стоит человек непосредственно к природе, тем «природнее» и непосредственнее он сопереживает ее ход. По этому поводу и Гегель замечает: «Первобытные племена ощущают ход природы, но дух превращает ночь в день». *Общественные* закономерности развития трансформируют эти натуральные отношения, видоизменяя их, сообщают им новые формы, но не уничтожают их⁹. Урбанистический человек отъединен от природы, но не до конца, и весна, и молодость сублимируются у него в лирической поэзии; эротика исторического человек принимает общественно-обусловленные формы, и любовь средневекового рыцаря, современного буржуа и социалистического тракториста весьма различна; но ее биологическая основа остается, и весна есть весна. У человека налицо чувство *связи с природой* в разнообразнейших формах, и тоска горожанина по солнцу, зелени, цветам, звездам – не случайна. *Биологически* человек «наслаждается» природой точно так же, как он ест растения и животных и наслаждается едой, питьем или удовлетворением инстинкта размножения. Ветер, солнце, лес, вода, горный воздух, море – в известной мере и предпосылки создания *corpus sanum* (137), в котором *mens sana* (138). Это есть тоже своеобразное потребление природы, если будет разрешено употребить такой термин.

Во всех таких процессах и лежит основа *эмоциональной связи* между человеком и природой. Но человек не есть «человек вообще»: он общественный, *общественно-исторический* человек. Поэтому эта основа *по разному*, в зависимости от общественной психологии и типа мышления (конкретно-исторического, с его идеологиями) в высокой мере «осложняет» эту первозданную основу (например, религиозная оболочка, поэтически-метафорическая оболочка, расширение знаний о мире и *осознание* вечности, бесконечности мира, его движения, его великой диалектики). Так природа может эмоционально-мистически переживаться, как божество; или как великое Все; или как «Мать-Сыра-Земля»^{*}; более узко, геоморфически; более широко,

⁹ Ebenda, S. 634 (§ 361, Zusatz).

^{*} Оборот речи в формуле религиозного погребения в России.

гелиоцентрически; максимально-широко, как Универсум и т. д. Художественное восприятие и созерцание переходит в *мышление* и обратно, ибо эмоционально-аффективная жизнь не изолирована и не есть отдельная духовная субстанция. С этой точки зрения можно было бы анализировать и древнегреческий «Эрос».

Процесс *биологического* приспособления, со всеми разнообразнейшими взаимодействиями поистине огромен; не нужно забывать, что в этом историческом (в широком смысле слова) процессе сложились все так называемые основные инстинкты, в том числе инстинкт *самосохранения* и инстинкт *воспроизводства рода*, – могучие и могущественные силы. И поэтому не случайно, например, что в сублимированных и общественно-исторически обусловленных формах *Любовь* и *Смерть* играют такую исключительно выдающуюся роль.

Биологическое приспособление, в отличие от общественного, *пассивно*. Поэтому и соответствующая *эмоциональная основа* отношения к *природе*, т. е. основа *художественно-эстетического* отношения к природе, ее «созерцания», восхищения перед нею, «растворения» в ней, «погружения» в нее и т. д. довольно резко отличается от *активно-практического* и *активно-познавательного-интеллектуального* отношения. Не здесь ли лежит корень того, что эстетика (например, эстетика *Канта* в особенности!) за конститутивный признак художественной эмоции берет ее «*бескорыстие*»? Заранее оговариваемся: эта точка зрения односторонняя, далеко не исчерпывает *всего* предмета; но она схватывает одну его сторону, наиболее близко относящуюся именно к эстетике *природы* (далеко, далеко не вся эстетика! Но о другом у нас в настоящее время и не идет речи!).

Возвращаемся к исходному пункту о *живой природе*. Требование «живого» рассмотрения, объект, как «живой» процесс и т. д. – терминология, часто встречающаяся у *Ильича* и по отношению к *неживым strictu sensu* предметам, есть, разумеется, метафорическое обозначение диалектического познания, как познания текучего, подвижного бытия, обозначение гибкости мыслительных форм, и только. Но здесь мы переходим уже к другому вопросу, о котором разговор будет в следующей главе.

Глава IX

О РАССУДОЧНОМ МЫШЛЕНИИ, О МЫШЛЕНИИ ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ И НЕПОСРЕДСТВЕННОМ СОЗЕРЦАНИИ

В настоящее время в море философских и quasi – философских идей борются несколько потоков: *рассудочное мышление*, представленное большинством ученых-естественников; *мышление диалектическое*, представленное диалектическим материализмом и идеалистическим неогегельянством (139), по сути дела являющимся суррогатом диалектики, прогорклым маргарином на капиталистическом рынке идей, и *интуитивное созерцание*, от более чистых его форм до истерически-галлюцинаторной мистики, представленное философствующими сикофантами (140) фашизма в первую очередь, включая шарлатанов подозрительного типа. Они расплодилось теперь под сенью свастики, как грибы после теплого дождя. Картина, напоминающая идеологию времен упадка и разложения Римской Империи, с мистическими культами, гороскопами, мистериями, процессиями, оргиями, знахарями и кликушами. Но довольно об этом. *Рассудочное* мышление, опирающееся непосредственно на так называемый здравый смысл, в общем величина почтенная и в определенных пределах вполне правомерная. Здесь царит формальная логика, со всеми ее как будто неизблемыми и абсолютными законами: тождества, противоречия, исключенного третьего. Оно образует понятия, копит факты, анализирует. Его излюбленным методом является индукция. Оно эмпирично, солидно, как будто бы прочно. На словах оно чуждо всякой метафизике и всегда кричит ей: Чур, не тронь меня! Оно рассекает вещество природы и органического мира. Мера и вес, количество, число – его стихия. Оно казалось долгое время – а многим кажется и сейчас – единственным воплощением рационального познания вообще. Его заслуги громадны. Это в значительной степени оно собрало грандиозное количество фактов, выделило классы, роды, виды, семейства, создало бесконечно многообразную классификацию, изолировало из общей связи мира бесчисленное множество вещей, взятых, как тождество с самим собой, фиксировало их в науке. Факты, вещи, изолирование, рассечение, анализ, индукция, мера, вес, число, эксперимент, инструмент, – это столь характерные признаки рассудочного

познания, что простого перечисления их для понимающего достаточно.

Но довольно ли этого для процесса познания? И наоборот: является ли все, что сверх этого-от лукавого? Не являются ли всякие разговоры о *диалектике* злостным вывертом, логическими фокусами, до которых были, например, такие большие охотники древние греки, ходившие по площадям и показывавшие всем, что они за ловкие акробаты ума, что за отважные гимнасты мысли? Иные из них, как тысячелетия спустя футуристы в желтых кофтах, эпатировали своих остолбенелых современников неожиданными парадоксами и невероятными умозаключениями, и мы еще до сих пор смеемся над ними вместе со злым насмешником, *Аристофаном**. Вероятно, известное сопротивление публики чувствовал и *Гегель*, когда писал, вдруг переходя от абстрактнейшего языка (к нему нужно привыкнуть, чтоб вообще его понимать), от тяжелых мыслей, которые шествуют в своих свинцовых сапогах, к легкомысленному милому стилю:

Философский способ изложения не есть дело произвола, капризное желание пройтись для перемены разочек на голове после того как долго ходили на ногах, или хоть разочек увидеть свое повседневное лицо раскрашенным. (Философия Природы) (**).

Но это не так. Рассудочное сознание не ухватывает ни движения, перехода одного в другое, противоречивости; ни тождества противоположности, единства их, целостности. Более того, оно превращает в непререкаемый догмат закон тождества, оно критерием любой «системы» считает исключение противоречий; оно изолированные части целого стремится рассматривать, как арифметические части: оно «в себе» механистично, и поэтому есть что-то мертвящее в его анализе. Оно – великий вивисектор (142), вооруженный мощной измерительной аппаратурой, тонким инструментарием, чудом современной экспериментальной техники. Против такого *ограниченного* познания и восставали многие, в их числе и *Гете*, на которого *con amore* (143) ссылается *Гегель*:

Анализом природы как на смех,
Гордится химия, но полон ли успех?
Разбит у ней на части весь предмет,
К несчастью, в нем духовной связи нет. (144)*

* «Сильный тенденциозный поэт» (Энгельс) высмеивал в своей комедии «Облака» (423) софистическое просвещение. Ср. возможный намёк на поэму Маяковского «Облако в штанах».

** G.W.F. Hegel: System der Philosophie II. A.a.O. Bd. 9. S. 44. (§ 246, Zusatz).

Да, Гете прекрасно видел всю *ограниченность* рассудочного познания. Но он в своей критике был часто *гораздо дальше цели*. Он протестовал против экспериментальной техники. Он бунтовал против разложения света, считая это посягательством на Его Величество. Он, превосходно видя ограниченность количественного, отрывал качество от количества. Видя рассудочность вивисекторов, отрывал часть от целого. Протестуя против механического материализма, нередко перескакивал в область пантеистического созерцания с тенденцией замены интеллектуального познания художественной эмоцией. В целом, несомненно, у него были уже значительные порции материалистической диалектики, но они прорастали побегами, тянувшими в сторону от рационального познания. Да не испортит эта ложка дегтя той бочки прекрасного душистого меда, которую оставил нам великий Поэт-Мыслитель!

Наш старый русский поэт, *Е. Баратынский*** , в своем замечательном в художественном отношении стихотворении, написанном на смерть Гете («и с ним говорила морская волна»!) (145)) уже прямо восстал против меры, веса, анализа, числа: то ли дело символические примеры, звери, птицы, трава, гадания, таинства и голоса природы-кудесницы! *Белинский* в свое время отметил реакционность *такого* мировоззрения, от которого Гете был чрезвычайно далек.

А теперь нам нужно прямо сказать: да, рассудочное познание, формальная логика, ее законы, анализ необходимы, *но недостаточны*. *Критика* рассудочных определений, критика односторонности количественного, критика аналитически-вивисекционного метода, встречающаяся у таких философов, как *А. Бергсон*, бывает часто очень правильна и метка. Защищать односторонность и ограниченность рассудочного познания вообще, односторонность и ограниченность механического материализма в частности – не наше дело. Но все это было вскрыто блестяще еще *Марксом* и *Энгельсом*, без того, чтобы апеллировать к энтелехии, интуиции, сверхразумному вздору. Итак,

* Ebenda, S. 45. In Goethes „Faust“ (Studierzimmer II) haben die von Hegel zitierten Verszeilen eine andere Anordnung:

„Wer will was Lebendigs erkennen und beschreiben,
Sucht erst den Geist herauszutreiben,
Dann hat er die Teile in seiner Hand,
Fehlt, leider! nur das geistige Band.
Encheiresin naturae nennt's die Chemie,
Spottet ihrer selbst und weiß nicht wie.“

J.W. Goethe. A.a.O. S. 84.

** Стихотворение Баратынского «На смерть Гёте» было написано в апреле-мае 1832 г. Баратынский Е.А. Полное собрание сочинений. М., 1936. Т.1. С. 74 и сл.

повторяем: рассудочное познание *недостаточно*. Оно высоко полезно, но его *мало*: им не исчерпывается процесс наиболее совершенного по своему методу познания: нужно выходить *за его пределы*. Куда?

В сторону *разума*, логики противоречий, движения, становления, целостности, всеобщей связи элементов мира, качественности, скачков, перехода противоположностей, одного в другое, раздвоения единого и снятия этого раздвоения и т. д. Разложение, анализ, фиксация тождественного, противопоставление, формальная логика, это – лишь *первая ступень* познания, которая может продолжаться исторически весьма долгое время (весь *рационализм* есть воплощение рассудочного познания). Но *следующий* момент, это – движение, переход к противоположному, к своему отрицанию. А дальше наступает *третья* ступень; когда противоположности объединяются и выступает целое, включающее все, добытое анализом, расчлененное целое, многообразное и конкретное, со своими законами, с совокупностью своих связей. Здесь единство противоположностей. Здесь восхождение к конкретному. Здесь рост содержания. Здесь синтез. Здесь снятие противоречий (и их преодоление, и их сохранение). Здесь – «отрицание отрицания». Здесь Разум. Здесь высшая стадия познания. Если диалектика взята в своей рациональной форме, т. е. материалистически, то в ней нет ни мистики, ни чуда, ни фокуса, ни выверта. Это – более глубокий и всеохватывающий метод познания, который иногда *кажется* фокусом ограниченному т. н. «здравому смыслу», как кажутся ему вздорными положения о бесконечности, формулы дифференциального и интегрального счисления, неевклидова геометрия, теория относительности и многое другое. Однако, уже *Зенон* в своих афоризмах о движении показал по сути дела недостаточность и ограниченность рассудочного мышления. С его точки зрения стрела не может полететь, Ахиллес не догонит черепахи. А скептики? А «антиномии» (146) *Канта*? А современные проблемы физики с противоречиями частицы-волны, прерывного и непрерывного? Если а *limine* (147) отвергать противоречия или их не видеть вообще, нельзя до конца понять ничего текучего, ничего качественно нового; антиномии будут казаться вечной загадкой, пределом, его же не преидеши, и никогда нельзя будет дойти до понимания целого в его «живой» подвижности и расчлененном многообразии взаимен связанных частей.

Односторонность рассудочного познания *части* имеет своей полной противоположностью «*непосредственное созерцание целого*», с выходом за рациональное познание вообще.

О нем Гегель в «Философии Природы» писал:

Еще менее допустима ссылка на то, что получило название *созерцания* что, в самом деле, обыкновенно являлось у прежних философов не чем иным, как способом действия представления и фантазии (а также сумасбродства) *паналогиям* (148)*.

И в другом месте:

Природное единство мышления и созерцания мы находим у ребенка, у животного, это единство, которое в лучшем случае можно назвать *чувством* (наш курсив *Авт.*), но не духовностью... Нам следует не уходить в пустую абстракцию, *искать спасения в отсутствии знаний*... (149)^{10*}.

Это вежливо, но крайне зло. Здесь скрыта издевка над Шеллингом, который считал познанием высшего рода *интуицию*, все вещи – ощущениями, всю природу – «оцепеневшим» или «окаменевшим» мышлением. Ради справедливости, однако, нужно добавить, что, с одной стороны, у Шеллинга было много элементов, которые перешли в гегелеву систему, а, с другой, что у самого Гегеля, у исторического Гегеля, не только – объективный идеализм: он не «сухой» панлогист, но и мистик в самом настоящем смысле слова, и природа у него без идей – лишь гигантский *труп*. Но это – en passant, мимоходом.

Старая «натурфилософия» имела изрядное количество созерцательно-мистическо-интуитивных моментов. А в настоящее время философствующие кудесники и прорицатели возвели целую вавилонскую башню «теоретического» вздора, поистине достойного животных. «Непосредственное созерцание» выражает собою: либо художественно-эстетическое «погружение в природу», как ощущение связи с ней и переживание этого ощущения – как таковое, оно и естественно и правомерно, если оно не выражает претензии на замену мышления, интеллектуального познания, разума; либо религиозно-мистическое, т. е. сформированное в отношениях господства-подчинения воззрение, с признанием интуитивного высшим принципом *познания*. Именно в последнем качестве оно выступает теперь с нагло-назойливой претензией заменить собою все рациональное, рассудок и разум одновременно. Центральной идеей

* G.W.F. Hegel: System der Philosophie II. Bd. 9. S. 38. (§ 246).

^{10*} Там же. С. 41 и сл. и С. 50 (Natur als „geformte Intelligenz“ bei Schelling). (курсив N.B.).

является при этом идея иерархической целокупности, целого, Totalität. Но *это* «целое» противопоставляется не только односторонне рассудочному умерщвленному целому из механически сложенных частей, но и диалектическому целому, являющемуся в мышлении, как «второе конкретное», которое отражает единую, и в то же время качественно многообразную действительность, целое, о котором как раз по отношению к природе *Гегель* писал:

Разум стремился к познанию «всеобщего в природе – сил, законов, родов... Это всеобщее... не должно представлять собою только агрегат, а приведенное к порядкам, классам, организованное целое

Это значит, что разумное мышление, в противоположность рассудочному, далеко от того, чтобы мыслить себе целое, как сборку частей, оно мыслит его, как реальное неразрывное единое с внутренними соотношениями противоположностей, где каждая выделенная часть немедленно разрушает целое и перестает быть тем, чем она является в связи этого целого. Рассудочное познание «в снятом виде» существует в разумном познании, как формальная логика в логике диалектической. Разумное познание ни на минуту не зачеркивает количественного, но оно видит его переход в качественное; не зачеркивает отдельное, но видит его в связи, не убивает противоположностей, но схватывает их во взаимных переходах и в единстве. Волхвы же кудесники современного мистицизма начисто отрицают рациональное познание, меру, вес, число, анализ, синтез, диалектику, рассудок, разум. Даже так называемому *духу* («Geist») они противопоставляют душу («Seele»), мышление отрывают от чувства и в интуиции, бессознательном, в чувственном погружении в объект, с его мистическими озарениями, ищут себе идейного подспорья в борьбе и с наследием эпохи Просвещения, и – в первую очередь – в борьбе с марксизмом, ставшим во всем мире ярчайшим знаменем интеллекта и рационального познания вообще. Кого Зевс хочет погубить, у того он отнимает разум. Разум заменен здесь частью мистикой, частью – лисьей хитростью. Мистическое «целое» оказывается космической иерархией фашистских социальных ценностей, универсализацией класса сословной фашистской лестницы. Гносеологическим (150) критерием истины – тезисы *Гитлера* как воплощения сверхразумной

* „Was *Physik* genannt wird, hieß vormals *Naturphilosophie*, und ist gleichfalls *theoretische*, und zwar *denkende* Betrachtung der Natur, welche ... auf die Erkenntniß des *Allgemeinen* derselben ... gerichtet ist, – der Kräfte, Gesetze, Gattungen; welcher Inhalt ferner auch nicht bloßes Aggregat seyn, sondern in Ordnungen, Klassen gestellt sich als eine Organisation ausnehmen muß.“ Ebenda, S. 37 (§ 246).

благодати. Тут уже исчезает почва для спора, ибо нельзя с разумной точки зрения оперировать категориями мистики: здесь царство веры и шарлатанского знахарства, солдатско-германской хлыстовщины, крупных буржуа, проспиртованных и кокаинизированных военных и грубо-скотских ландскнехтов (151). Даже скептицизм *Освальда Шпенглера* был в тысячу раз умнее той мистической отрыжки, которой провоняла вся фашистская Германия. Это – не преодоление рассудочной односторонности т. н. положительной науки, солидного английского эмпиризма, идеологии считающего и измеряющего пытливого изобретательного весовщика природы, который со времен *Бэкона Веруламского* прекрасно понимал, что *scientia* (152) и *potentia humana* (153) совпадают, но у которого еще не было крыльев для полетов более высоких, для перехода от рассудочного мышления к осознанному диалектическому. Наоборот, у фашистских кликуш их «теория» эквивалентна проповеди кирки и лопаты, власти земли и голоса крови, средневековой цеховщины, деревянных классов-сословий, окаменевшей иерархии, идолов абсолютного. Это – не мещанская сентиментальность пресловутой *Glaubens- und Gefühlphilosophie* (154), творения *Гамана, Якоби, Лафатера*, с их «schönen Seele», «прекрасной душой». В ней, в этой романтически-мистической идеологии «бурных гениев», выражался протест против феодальной ограниченности Германии. Там были и понятия «Kraft-Mensch (155)», Kraft-Weib (156). Там были тоже протесты против разума во имя «сердца», «души», интуиции, чистосердечной веры. Но что общего имеет с этим бронированное «созерцание» иерархии истуканов, кровожадных, как карфагенский Молох (157)? Чем напоминает «schönen Seele», чувствительное прекраснотуши холодную «белокурую бестию», кровь которой поет о пожарищах? Ее надменное созерцание видит на дне того сосуда, в который когда-то смотрел *Генрих Гейне* в гостях у богини Гаммонии*, ассирийскую иерархию, увенчанную свастикой, холодное чудовище, когти которого терзают тело всего живого. Это не теплый пантеизм, не наивное погружение в природу индусов с проповедью любви к зверям, птицам, солнцу, цветам; не художественный восторг и не эстетическое любовование; это религиозно-окрашенное (с расчетцем!) созерцание мира по модели той табели о рангах, которую установил г-н *Адольф Гитлер* в своей цезаристской империи. Мы хотим видеть «во всей цельности» Космос, но – ах! мы видим одни мундиры, чины,

* Посещение Гаммонии Генрих Гейне описывает в поэме «Германия. Зимняя сказка» (Гл. XXVI).

ордена, эполеты, пушки, клыки, «сословия». Иллюзорное царство фашизированного Универсума есть тот океан, в волны которого погружаются современные мистики крови и отравляющих газов. Они, так сказать, наслаждаются собой, глядясь в зеркало созданного ими мистического мира, где все распределяется по тем же сословно-классово-кнутабоиским степеням; как в конституции фашистского государства. Эта мрачная окаменелость и окаменелая мрачность выражают длительное бесславное гниение современного капитализма, когда кончилась его беспокойная и неумная прогрессивная работа, его движение, взлеты его мысли, смелость его рассудка, когда наступили сумерки богов, и сова Минервы из нового мира совершает свой таинственный полет в грядущее... Фауст буржуазии умер. Прежняя подвижность капиталистического мира, его величайший динамизм, который в мышлении дал такие вещи, как дифференциальное и интегральное счисление, теорию эволюции *Дарвина*, логику противоречий *Гегеля*, сменились гнилым «связанным Капитализмом» *Шмаленбаха*, связанным гнилым «мышлением», поисками элементарного неподвижного абсолюта, возвращением к вековечной иерархии «форм», как у блаженной памяти святого отца *Фомы Аквинского*.

В «Богословско-политическом трактате» (158) *Б. Спинозы* есть замечательное место, описывающее, как колеблется человек в критические для него времена между страхом и надеждой и как он впадает тогда в мистику, суеверие, в омут примет и гаданий¹¹. Таково теперь положение буржуа, который чувствует, что действительное движение капитализма есть движение к небытию. Отсюда новейшая теодицея (159). Но эта теодицея (полная противоположность *лейбницианской* по своим «тонам») И ее мистерии разыгрываются не в светлых эллинических храмах и даже не в готических соборах, а на задворках фашистской казармы, на конюшнях Авгия, которые ждут

¹¹ „Wenn die Menschen alle ihre Angelegenheiten nach bestimmtem Plan zu führen imstande wären oder wenn das Glück sich ihnen jeder Zeit günstig erwiese, so stünden sie nicht im Banne des Aberglaubens. Weil sie aber oft in solche Verlegenheiten geraten, daß sie sich gar keinen Rat wissen, und weil sie meistens bei ihrem maßlosen Streben nach ungewissen Glücksgütern kläglich zwischen Furcht und Hoffnung schwanken, ist ihr Sinn in der Regel sehr dazu geneigt, alles Beliebige zu glauben. Denn sobald er einmal in Zweifel befangen ist, genügt ein leichter Anstoß, ihn dahin oder dorthin zu treiben, und das um so leichter, wenn er zwischen Furcht und Hoffnung schwankt, während er sonst nur allzu zuversichtlich, prahlerisch und aufgeblasen ist ...“

Jeder, der unter Menschen gelebt hat, weiß aus Erfahrung, daß die meisten von ihnen in glücklichen Umständen ... Weisheit im Überfluß haben, ... im Unglück aber wissen sie nicht aus noch ein, flehen jeden um einen Rat an und befolgen ihn, mag er noch so ungeeignet, ja unsinnig und abenteu-erlich sein.“ Baruch de Spinoza: Theologisch-politischer Traktat. Hamburg 1984. S. 3.

своего пролетарского Геркулеса: но он должен на этот раз не очистить их, а очистить *от* них зараженный их вонью мир. И тогда исчезнут навсегда эти пьяные, едва держащиеся на ногах, наглые фантазмы нового «созерцания», чтоб уступить место победному шествию человеческого разума...

«Нет ничего легче, как изобретать мистические причины, то есть фразы, лишённые здравого смысла» – писал К. Маркс в своем известном письме к П. Анненкову в связи с критикой Прудона*. Но марксизм и марксистская материалистическая диалектика, сражаясь за разумное рациональное познание, отнюдь не рационалистичны. Разум не отрывается здесь ни от рассудка, ни от чувства, ни от воли; сознательное не отрывается от бессознательного, логическое мышление не исключает ни фантазии, ни интуиции. Но самая интуиция понимается не как мистический процесс, а если мы говорим о науке и философии – скорее как отложившийся и выработанный культурой мышления научный инстинкт, отнюдь не отрицающий ни интеллекта, ни рационального познания. Поэтому, например, Маркс писал о Рикардо: «Рикардо обладает... сильным логическим инстинктом» («Капитал») (160)**. Ленин превосходно говорил и о «мечте», и о «фантазии» (в науке и в философии)***. Он отдавал им, как известно, должное. Но он находил поистине большие слова, в которых пелась настоящая торжественная ода человеческому разуму и разумному познанию. Мы уже не говорим здесь о грандиозном, первостепенном превалирующем значении *практики* в теории познания, что вообще было недоступно сухому и одностороннему рационализму.. Вот почему *диалектическое познание* гораздо выше рассудочного и просто несравнимо с животнo-образным мистическим созерцанием. Еще у Шекспира в «Генрихе V» архиепископ говорит: Пора чудес прошла, и нам подыскивать приходится причины всему, что совершается на свете (161)****.

Каталепсические (162) состояния, галлюцинаторный бред, летаргия, внушения и прочие явления гипноза, моменты действительно воздействия колдунов, и знахарей, факиров, индусских чародеев, – все сделалось объектом действительного познания. А это познание

* K. Marx: Brief an P. W. Annenkov vom 28. Dezember 1846. MEW. Bd. 4. S. 548.; MEGA2, III./2. S. 71. „Rien de plus facile, que d’inventer des causes mystiques, c-à-d. des phrases, où le sens commun fait défaut.“

** K. Marx: Das Kapital II. MEW. Bd. 24. S. 219.

*** W.I. Lenin: Was tun? LW. Bd. 5. S.529 f.; W.I. Lenin: Rede auf dem XI. Parteitag der KPR(B.), 1922. LW. Bd. 33. S. 304.

**** W. Shakespeare: König Heinrich V. (1. Aufzug. 1. Szene). W. Shakespeare. Sämtliche Werke. Berlin/Weimar 1964. Bd. 3. S. 392.

изгоняет, как старые варварские формы сознания, мистику всех и всяческих видов и оттенков, возводимую в онтологический (163) принцип, в принцип бытия.

Диалектика уничтожает аналитическую разорванность и природы, и человека, закостенелую изоляцию и абсолютизирование отдельных сторон материи и духа, метафизическую замкнутость изолированных «вещей».

Диалектика подымает на щит целостность и единство, но не сплоченное и безразличное единство, не элементарную целостность, а расчлененное, движущееся, противоречивое, многообразное бытие, с бесконечным количеством свойств сторон, связей, переходов, взаимозависимостей, с тождеством противоположного.

Nos signo vincis! (164)

Глава X

О ПРАКТИКЕ ВООБЩЕ И О ПРАКТИКЕ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ

Выше мы покончили с наивной претензией агностиков рассуждать от «моих ощущений» и этим доказывать нереальность или непознаваемость внешнего мира.

Эта претензия оказалась ровно ни на чем не основанной *смешной* претензией. Вывод отсюда тот, что всякое философское рассуждение, оперируя с *понятиями*, которые суть продукт социальный, продукт тысячелетней работы мысли, должно оперировать тем самым на широком базисе *всех достижений науки*, оставив мышиную возню вздорных субъективистов.

Наука же говорит нам о том, что *исторически* первоначальным, исторически исходным пунктом было *практически-активное* отношение между человеком и природой. Не созерцание и не теория, а практика; не пассивное восприятие, а *активное* начало. В этом смысле гетеанское «В начале было Дело», «am Anfang war die Tat»*, противопоставленное евангельски-платоновско-гностическому: «В начале было Слово»**, т. е. Разум, т. е. Логос, вполне точно выражает историческую действительность. *Маркс* неоднократно отмечал это: в

* J.W. v. Goethe: Faust I. In: J.W. Goethe. Sämtliche Werke. Vierzig Bände I. Abt. Bd. 7/1. Frankfurt/M. 1994. S. 61.

** Евангелие от Иоанна. Гл. 1, ст. 1.

замечаниях на книгу *А. Вагнера*^{***}, где он издается над профессорски-кабинетным взглядом*, по которому предметы пассивно «даны»^{12*} человеку, в «Святом Семействе», в тезисах о Фейербахе, повсеместно в «Капитале» и – вместе с *Энгельсом* – в гениальных строках «Немецкой идеологии». Вопреки бредням идеалистической философии о том, что мысль делает миры, и что даже материя есть творение духа (например, творящее «Я» *Фихте*), именно человеческая практика творит новый мир, в действительности трансформируя «вещество природы» по своему. *Исторически*, общественный человек, общественно-исторический человек, а не абстракция интеллектуальной своей стороны, персонифицированная в субъекте философии, прежде всего, *производил*, пил и ел; теоретическая деятельность лишь потом *выделилась*, а затем *обособилась*, при разделении труда, в качестве самостоятельной (относительно самостоятельной) функции и застыла в определенных категориях *людей*, «людей умственного труда», в различных социально-классовых модификациях этой категории. Из *практики* возникло и теоретическое познание. *Активно-практическое* отношение к внешнему миру, процесс материального производства, обуславливающий, по марксову выражению, «обмен веществ» между человеком и природой, есть основа воспроизводства *всей жизни* общественного человека. Болтовня всяких и всяческих «философов жизни», жрецов т. н. «философии жизни» («*Lebensphilosophie*»), в том числе и *Ницше*, в том числе и ряда биологическо-мистических кликуш современности, проходит мимо этого *основного* факта, как проходили мимо него очень многие представители идеалистической классической философии. Еще бы! Ведь, простой акт пилки дров или сварки чугуна или выделки жидкого кислорода с точки зрения *Канта* есть тот самый прорыв в «трансцендентное», тот ужасный трансцензус, который «невозможен»! Что-то понаделает «практический» слон в фарфоровом магазине непознаваемых субтильных статуеток!..

К чести великого идеалиста *Гегеля* надо, однако, признать, что у *него*, у этого «Колоссального старого парня» (*der kolossale alte Kerl*)^{***}, как его любовно называл *Энгельс*, несмотря на то, что и ему вместе с *Марксом* приходилось вести отчаянную, страстную и победоносную

*** K. Marx: (Randglossen zu Adolph Wagners „Lehrbuch der politischen Ökonomie“). MEW. Bd. 19. S. 355-383.

* Ebenda, S. 358.

^{12*} Ebenda, S. 362 f.

*** „Ich bin natürlich kein Hegelianer mehr, habe aber doch immer noch eine große Pietät und Anhänglichkeit an den alten kolossalen Kerl.“ F. Engels an F. A. Lange vom 29. März 1865. MEW. Bd. 31. S. 486.; MEGA², III./13. S. 364.

борьбу с «пьяной спекуляцией» гегелевского идеализма – у него *есть* понимание практики, труда, орудия. Более того, у него действительно даны гениальные зародыши исторического материализма. В этом у нас будет еще случай убедиться...

Область *практики* или практического отношения к миру можно понимать в широком смысле, куда входят и такие процессы, как, например, *дыхание*, широкое предметное взаимодействие между обществом и природой; в более узком смысле слова сюда относится *производство и потребление*: наконец, сюда же относится *воспроизводство людей* (см. *Энгельс*: «Происхождение семьи» и т. д.)¹³, т. е. область сексуальных отношений, и *внутри общественная практика*, т. е. практика изменения общественных отношений, реальных, материальных общественных отношений. Здесь мы будем касаться, прежде всего, практики, как области соотношений между человеком и природой, практики, как она проявляется в действительной трансформации материального мира, т. е. тех самых «вещей в себе», о которые ломали себе зубы и перед которыми отступали столь многие философы.

Знать предмет, это означает овладеть им, как таковым – замечает где-то *Гегель*. Эта точка зрения весьма плодотворна и должна быть развита. И в особенности она должна быть развита при обсуждении вопроса о *практике*, Именно здесь особенно ясно, что материя внешнего мира превращается для человека в материал, в объект целесообразного воздействия, в объект переработки, согласно поставленной цели. Здесь – как определяет *Гегель* – «самочувствие единичности» стоит «против неорганической природы, как против своего *внешнего условия* и *материала*» («Философия Природы»). Являясь материалом, т. е. объектом воздействия, вещество природы превращается «искусственно» в *другое*, в другое качество, предмет непосредственной ассимиляции. В этом процессе обнаруживается реальная *власть* человека над природой.

Какие бы силы – *пищеГегель* – ни развивала и ни пускала в ход природа против человека... он всегда находит средства против них и при этом он черпает эти средства из самой же природы, пользуется ею против нее же самой, хитрость его разума дает ему возможность направлять против одних естественных сил другие, заставляя их уничтожать последние и, стоя за этими силами, сохранять себя. (Философия Природы)65**.

¹³ F. Engels: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats. MEW. Bd. 21. S. 27 f.; MEGA², I/29, S. 11.

** G.W.F. Hegel: System der Philosophie II. Bd. 9. S. 35 f. (§ 245, Zusatz).

Не сохранять себя, а развивать себя – нужно было бы сказать. Но это в данном случае имеет второстепенное значение. *Гегель* видел и роль *орудий*: у животных орудийных органов (см. морфологическую теорию ак. *Северцова*)^{***}, у человека, прежде всего, *орудий труда*. О последних он в «Науке логики» прямо писал:

...плуг почтеннее, чем те непосредственные наслаждения, которые готовятся им и служат целями. Орудие сохраняется, между тем как непосредственные наслаждения проходят и забываются. В своих орудиях человек обладает властью над внешней природой, по своим целям он скорее подчинен(твб)*.

Категории власти, овладения, силы, господства над природой для жизни, для «непосредственной экспансии» жизни, являются у *Гегеля* привычными категориями, и *здесь*, во всех аналогичных построениях, великий идеалист поистине стоит на грани исторического материализма, живое воплощение «меры» и перехода (в лице *Маркса*) в свою собственную диалектическую противоположность.

Итак, процесс производства есть процесс овладения внешним миром и его переделки, согласно определенным целям, в свою очередь, определяемым целым рядом обстоятельств. Но что означает этот процесс? Он означает изменение свойств, качеств предметного мира и создание таких *новых* свойств и качеств, которые нужны, которые *до* производственного процесса предстоят, как цели, которые, следовательно, заранее положены. Эта целеполагающая деятельность реализуется в конце производственного процесса. Что же выходит здесь с точки зрения агностицизма вообще и кантовского агностицизма в частности и в особенности? Да ровно то же, что у *Зенона* с доказательством невозможности движения, когда *Диоген* доказывал его возможность *ходьбой*. В самом деле, как можно утверждать, что внешний мир непознаваем (и в целом, и в частях), что непознаваем *предмет труда*, когда этот предмет превращается в *другой* именно *так*, как этого хочет якобы ничего о нем незнающий «субъект»? При помощи каменного угля и из него делают чугун, жидкое топливо, бензин, масла, легчайшие летучие жидкости, краски, духи, великое множество предметов, но мы – помилуй нас бог! –

^{***} Книга Северцова «Morphologische Gesetzmäßigkeiten der Evolution» («Морфологические закономерности эволюции») вышла в Йене в 1931 г., издание на русском языке после его смерти в 1939 г. в Москве. Бухарин указывает в другом месте на книгу Северцова «Эволюция и психика». Ср. Н. Бухарин. Дарвинизм и марксизм. – Н. Бухарин. Избранные труды. Л., 1988. С. 109.

* G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik II. Die subjektive Logik oder die Lehre vom Begriff. A.a.O. Bd. 5. S. 226. (курсив N.B.).

совсем не знаем, что за вещь в себе этот каменный уголь! А между тем вопрос разрешается довольно просто: мы *знаем* свойства и качества этой «вещи в себе» в зависимости и в связи с *другими*, с температурой, давлением, связью с рядом веществ и, *меняя* эти связи, зная законы соотношений, получаем «*другое*» угля, выражаясь гегельянски, т. е. превращенные формы, т. е. новые качества, т. е. новые «вещи в себе», как вещи предметного мира. Мы *знаем* свойства угля! И *практика* есть «живое», активное доказательство этого, доказательство в самом предметном процессе, *in actu* (167), в показе процесса материального превращения, который течет согласно «разумной воле» субъекта практики; практика убедительно говорит о том, что мы *знаем* свойства вещей и их законы. То обстоятельство, что субъект практики *сам* подчинен этим законам (и когда ставит цели, и когда использует законы природы для реализации этих целей) не только не служит опровержением этого знания, но, наоборот, подтверждает его. Свобода – познанная необходимость. Закономерность технологического процесса позволяет побеждать природу, подчиняясь ей: это, ведь, было прекрасно известно еще *Ф. Бэкону* и изложено им довольно популярно в «Новом Органоне» (168). Именно потому, что субъект «связан» законами природы, он, зная их, свободен. Именно то, что он «свободно» творит, доказывает, что он *знает*. Действительный субъект истории, т. е. общественно-исторический человек, в процессе воспроизводства своей жизни, т. е. общественно-исторической жизни, миллиарды раз на практике убеждался в действительности своих знаний и в *посюсторонности* своего мышления. Здесь уместно, пожалуй, вспомнить полуанекдотический случай с *Г. В. Плехановым*, который перевел один из тезисов

Маркса о Фейербахе прямо противоположно тому, что было в оригинале. У *Маркса* было сказано: практикой должен доказать человек «посюсторонность» своего мышления (*Diesseitigkeit*)*, а *Плеханов* превратил «посюсторонность» в «потусторонность», думая, очевидно, что здесь опечатка, и что *Маркс* хотел именно сказать, что в практике и совершается прыжок в «трансцендентное». Метафорически так можно выразиться, и вообще греха здесь большого не было бы. Но мысль *Маркса* была не та: он хотел сказать, что и прыжка то не нужно, никакой процесс *transensus*'а не надобен, ибо никакого трансцендетного нет, нет другого, заумного, нуменального, второго мира, а есть *один* предметный мир, одна природа, в которой и действует человек, доказывая, что так

* К. Marx: Thesen über Feuerbach. MEW. Bd. 3. S. 5.

называемое посюсторонность и есть действительность, не нуждающаяся ни в каком заумном «удвоении». Характерно, что агностики позитивистского типа в большинстве случаев обходили вопрос о практике. Субъективные идеалисты чистых кровей просто «творили» мир из себя. Объективный идеализм полагал «истинный мир», как «идею», при чем в своей наиболее аристократической форме, у Платона, рассматривая обыкновенных смертных как каторжников, которым недоступно лицемерие «идеи»: они навек прикованы к пещере. У агностиков типа Пирсона – у человека только значки, символы, «эмпириосимволы». Все это – чисто пассивные категории. Это не фиктеанское творчество из себя (Гегель смеется: когда Фихте надевает сюртук, он думает, что творит его...)*, где мир подобен паутине, пузыристо выпускаемой пауком. Это не волонтаристический и актуалистский (169) прагматизм. Нет. Здесь «значки», «сигналы», условные обозначение, «иероглифы». Но практика разрушает все такие концепции, ибо она меняет уже самый исходный пункт, представляя субъекта в его активно-творческой, а не пассивно-созерцательной функции. Субъект во внешней природе менее всего каторжник на цепях, в пещере, куда его загнал «благородный» рабовладельческий философ. Он – не раб, а в возрастающей мере – властелин окружающей его природы, земной природы, хотя он целиком и зависит от нее (тоже диалектическое противоречие!). Научные категории отнюдь не условные «значки», произвольно выбираемые метки для различения вещей, вроде упоминавшейся нами человеческой мочки Гегеля** : научные категории суть отображения объективных свойств, качеств, связей, законов вещей и реальных процессов, объективных процессов, материальных процессов. И практика доказывает это достаточно убедительным образом. Лапидарно у Ильича:

Результат действия есть проверка субъективного познания и критерий истинно-сущей объективности (Философские тетради)**).

* В своих лекциях по истории философии Гегель сформулировал с учётом фиктевского Я: „Alles, was Ich Bestimmtes hat, hat es durch mein Setzen: Ich mache einen Rock, Stiefel selbst, indem Ich sie anlege.“ G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III. Hrsg. von Gerd Irlitz. Leipzig 1971. S. 565.

** В «Философии природы» Гегель полемизирует против наблюдения над природой, которое „Merkmale aufsucht, nicht in der Meinung, daß sie die wesentlichen objectiven Bestimmungen der Dinge seyen, sondern nur zu unserer Bequemlichkeit dienen, um uns die Dinge daran zu merken. Wenns weiter nichts wäre, so könnte man z. B. als Merkmal des Menschen das Ohrläppchen angeben, welches sonst kein Thier hat; da fühlt man aber sogleich, daß eine solche Bestimmung nicht hinreicht, das Wesentliche am Menschen zu erkennen.“ G.W.F. Hegel: System der Philosophie II. A.a.O. Bd. 9. S. 43. (§ 246, Дополнение).

*** W.I. Lenin: Konspekt zur „Wissenschaft der Logik“. LW. Bd. 38. S. 210.

С известной точки зрения можно сказать, что практика выше теории (условно, относительно!), ибо через практику мышление (теория) выводит себя в объективное, материализуется, объективируется в действительном мире. Простые силлогизмы суть силлогизмы, вращение и кругооборот идей, т. е. движение в сфере мысли. Метафорически говоря: понятые законы, отражения законов, координированные с субъективными целями, через практику погружаются в объективное, материализуются в технологическом процессе и адекватном его результате, т. е. обнаруживают свою истинность, свое соответствие с действительностью. Правильность мышления воплощается в «правильном» течении материального процесса и в «правильном», т. е. соответствующем цели, материальном результате. Процесс «течет» согласно представлению о материальном законе, на основе чего он, этот процесс, и был заранее координирован с определенной целью, к которой он и привел: его ход и его конечный результат были заранее предположены, мыслительно антиципированы. Мысль, фигурально, была проецирована в материю и в материальном получила свою проверку, через мощь практики доказав свою собственную мощь. В этом – величайшее теоретико-познавательное, гносеологическое значение *практики*.

Вспомним в данной связи об *априорных категориях Канта*. Они не трактуются кантианцами, как «врожденные идеи»; они у них также отнюдь и не исторический *prius*; они – *логический prius*, необходимые формы чувственного опыта, его упорядочивающие; в которых хаос феноменов превращается в упорядоченный космос. Они, как говорит сам *Кант* в «*Prolegomena*», служат «как бы для складывания явлений, чтобы их можно было читать, как опыт»*. Опыт вне их невозможен, он – нечто бесформенное, в них он получает форму, тогда как они, в свою очередь, наполняются содержанием. Эти категории, по *Канту*, внеопытны: они сами суть условия, необходимые и априорные условия всякого опыта. Таковы категории количества, качества, отношения (здесь категории: субстанции, причинности, взаимодействия), модальности^{14*}. Или формы воззрения: время, пространство. Казалось бы, какое до них дело практике?

Но все эти категории и формы воззрения потому и представляются *априорными*, что они сформировались в опыте и подтвердились *практикой* миллиарды миллиардов раз в течение многих десятков

* I. Kant: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. (§ 30) Kants' gesammelte Schriften. Hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 4. Berlin 1911. S. 312.

^{14*} Ebenda, S. 302. (§ 21).

тысяч лет. Наиболее устойчивое, всеобщее, постоянно встречающееся, *всегда* проверяемое практикой, всей бесконечно разнообразной, гигантски длительной трудовой практикой человечества, и отложилось как всеобщее, как аксиомы опыта. Мы здесь не намерены входить в обсуждение четырех троек категорий и делать из их рассмотрения особую тему. Здесь интересует нас другое. Возьмем, например, *время*. Разве не ясно, что *любой* трудовой акт предполагает «ориентацию во времени»? Охота, земледелие, ирригация, мореходство, путешествия по пустыням, – каждый раз в молекулах трудового опыта и в его массивах антиципация (171) временных соотношений проверялась *практикой труда*. Измерение времени, время, как объективная форма существования объективного мира получила в чаловеческом мозгу соответствующее, опытом добытое, бесконечное число раз практикой проверяемое, отражение. *Канту* пришлось субъективизировать объективное, но уже в самой априорности заключается тень объективности. И не случайно, что с другим «априорным» понятием, с категорией *причинности*, у великого кенигсбергского отшельника получился тот конфуз, что он ее, эту субъективную, по его учению категорию, *volens-polens* вынужден был вновь объективировать, когда создал объективный мост причинности между «вещами в себе» и субъектом, на чувства которого они «воздействуют». Когда жрецы Египта «предсказывали» разливы Нила и по этому ориентировались земледельческие работы; когда в Вавилоне на основе календарей рыли каналы и строили храмы и дворцы; когда в Китае шли по хронологическим указаниям оросительные работы или строилась великая китайская стена; когда *Тейлор* ввел хронометраж; когда в Советском Союзе по календарным срокам выполнялись исполинские пятилетние планы, – что ж вы думаете, не проверялась *практически* в каждой волне потока времени пресловутая «априорная форма воззрения»? Конечно, да. Но не как априорная форма воззрения трансцендентального субъекта *Канта*, а как объективная форма мира, отражающаяся в понятии времени. То же и с *пространством*. То же и с *причинностью*. *И т. д.* Словом, и здесь *практика* играла, играет и будет играть исключительно-огромную роль. Как же не понять гносеологического, теоретико-познавательного значения *практики*?

Но и эта «категория» могла быть извращена, как и все на свете.

Уж и быть ли, не быть ли беде? Уж расти ль в огороде лебеде?

К сожалению, лебеда выросла и в этом огороде. Ее посеял в философии так называемый *прагматизм*, а современные *фашистские*

«актуалисты» превратили в настоящий дурман, зацветший на мусорных ямах фашистской идеологии. *Джемс* расширил понятие «опыта», включив в него все, что возможно и невозможно («чего хочешь, того просишь»), вплоть до мистического, религиозного опыта (см. его «Многообразие религиозного опыта») (172)*; «практика» приобрела собственно точно так же характер универсальный, характер любого волевого момента, всякой активности, в чем бы она ни проявлялась: «практика» религиозных переживаний и мистического бреда – тоже «практика». «Business man» – эксплуатирующий, торгующий, кутящий и замаливающий грехи, человек, делающий деньги, money, для которого «time is money», а не априорная форма воззрения», этот американский филистер крупного масштаба нашел в *прагматизме* свою «подходящую» идеологию¹⁵. Соответственно выродился и практический критерий истины. Исходной точкой здесь стало не предметное изменение предметного мира (что и включает, с точки зрения теории, проверку познания практикой), а «полезность», весьма широко и субъективно понимаемая. Если мошеннику полезна ложь, она – истина. Если религия утешает старуху, она – истина. «Инструментальная», «прагматическая» точка зрения, «полезность», – все здесь выродилось: *социально*, это – идеология буржуазного дельца; *логически*, это – ничтожество, протитуирование понятий опыта, практики, активности, истины.

Но крайних форм своего вырождения «практика вообще» и «практика в теории познания» достигла у современных фашистских – *sit venia verbo* (173) – «философов». На базе их кровавого боевизма и социальной демагогии, т. е. целой системы обманов, масок, мифов (миротворчество возведено в принципиально обоснованный метод), возникает философия крайнего *волюнтаризма*; субъект объявляется «существом *политическим*» (не просто «общественным»); все, что полезно *политике фашизма*, есть истина; истина есть, следовательно, эманация (174) фашистской «практики» (она – известна). Но, так как степень полезности определяет г-н *А. Гитлер*, то критерий истины, *гносеологический* критерий, находится в руках этого господина, подобно жезлу Аарона в Библии. С этим не сравниться никакой «философии Откровения»! Здесь много проще: «откровение» прямо сбегает с красноречивого языка главного башибузука! Что подумал бы по этому поводу *Шеллинг*? Принцип, старый и тем не менее вечно

* William James: *Mnogobrasie Religiosnogo Opyta*. (Übers. aus d. Engl.: W.G. Malachiewoi-Mirowitsch u. M.W. Schik. Red. Lurie). M. 1910. 518 S.

¹⁵ Ср. об этом статью Н. Бухарина «Учение Маркса и его историческое значение» (1933). – Н. Бухарин. Избранные труды. Л., 1988. С. 150.

новый, соответствия с действительностью (это *абсолютный* принцип, в масштабах всего познания *относительно* реализующийся) отпадает здесь целиком: «рейхстаг сожгли коммунисты», этот тезис на руку фашистским разбойникам, *значит*, он истинен. *Миф* подымается здесь на свою «принципиальную» высоту. Нетрудно видеть, что это – *крайний предел вырождения* философской мысли: ибо, поскольку в данном случае вообще может идти речь о познании, оно *отрицает* самого себя; исчезает предмет познания, на его место ставится иллюзия, как идеология *обмана*. Только такая социальная обстановка, которая в своей «сущности», т. е. в основных тенденциях своего развития, целиком направлена против данных конкретных «философов» (как представителей и «фабрикантов идеологии» упадочной и гнилой буржуазии), могла породить в их головах свое собственное отрицание. Отсюда же

и «*чистый волюнтаризм*», соединенный с глубоким внутренним отчаянием и *пессимизмом*, заглушаемым всевозможными кровавыми песнями *Хорста Весселя** и другими элоработами фашистского творчества. Так капитализм, в своем движении стремясь к небытию, от «бытия» к «ничто» и к «другому», сводит к «ничто» и процесс познания. Диалектика для него поистине «трагическая»! *Практика*, материальная практика, порождает теорию: она породила ее, поскольку из материального труда возник, выделился и автономизировался умственный труд; она порождает ее, поскольку она ставит перед познанием все новые и новые задачи; *теория*, будучи удлинением практики и в то же время ее противоположностью, *обогащает* практику, расширяет ее. Таким образом, мы видим здесь истинно-диалектическое движение. Практика есть нечто противоположное теории; теория «отрицает» практику и обратно. Но практика *переходит* в теорию; теория *переходит* в практику. Единство теории и практики есть воспроизводство жизни в основных ее определениях. В идеалистической форме это и выражено у *Гегеля*, как «единство теоретической и практической *идеи*» (в «Науке Логики», «Энциклопедии», «Введении», «Философии Природы» и др.). Таким образом, если мы обозначим через П – практику, Т – теорию, П' – обогащенную практику, то процесс в целом изобразится формулой:

П–Т–П'; П'–Т'–П"; П''–Т''–П''' и т. д.

* См. об этом статью Н. Бухарина «О поэзии, поэтическом искусстве и задачах поэтического искусства в СССР» (1934) – Н. Бухарин. Избранные труды. Л., 1988. С. 264.

Из соотношений между теорией и практикой вытекает и соотношение критериев истины; *практический*, «инструментальный» критерий *совпадает* с критерием «*соответствия действительности*»: практический успех потому и достигается, что мышление было действительным мышлением, что понятия соответствовали действительности, были *правильным* ее отображением. По существу дела с этим совпадает и принцип *экономии*, если только он взят в своей рациональной форме, а не в форме, оправдывающей поговорку «простота хуже воровства»: мышление «экономно» и именно тогда, когда оно соответствует действительности, когда в нем нет лишнего, то есть *неверного, не соответствующего действительности*; тогда же самый процесс мышления, взятый в целом, наиболее производителен, ибо он – не отвлекается на кривые пути.

Конкретным опосредствованием, связью между теорией и практикой служит, между прочим, *научный эксперимент*: здесь есть практическое изменение, материальное изменение вещества природы (например, в лабораториях, в «искусственных условиях», так сказать, второго порядка) и в то же время соответствующая обработка мышлением; здесь есть *материальные орудия* процесса, сложнейшая аппаратура, измерительные приборы, чудесные технические приспособления, в необычайной степени расширяющие наш опыт (микроскоп, рентгеновские лучи, микровесы и т. д.). *Фабричная лаборатория* есть овеществленный комплекс, где наука и практика, индустрия и теоретическое естествознание непосредственно смыкаются друг с другом и переходят друг в друга.

Мы касались практики, как практики изменения *вещества природы*. Но то же можно сказать и о практике изменения *общественных отношений* и теоретической стороны этого процесса (общественные науки). Не трудно понять, что здесь у представителей способа производства, обреченного на гибель, радиус познания неизбежно укорачивается, и наука стремится превратиться в апологию: консервативная, реакционная, контрреволюционная практика имеет соответствующий идеологический рефлекс. «Наука» здесь становится субъективной, и ее классовый субъективизм является «оковами развития», а не его формами. Более того, она становится формами, активно-враждебными основным тенденциям развития, в гораздо большей степени, чем в области теоретического естествознания. Наоборот, в *марксизме* дано единство великой теории и преобразующей великой практики: практика *Ленина* и *Сталина*

блестяще подтверждает их теорию. Отсюда же и гениальные предсказания *Маркса* и *Энгельса*, предвидевших исторические события за столетие вперед. «Savoir c'est prévoir» «знать значит предвидеть» – гласила поговорка. Но не только предвидеть, но и успешно действовать. Знание, предвидение, блестящие практические успехи, – характерные черты *марксизма*, как общественной теории и практики; а течение всего всемирно-исторического процесса, в том числе и всей науки, подтверждает правильность грандиозных обобщений *марксистской материалистической диалектики*.

Глава XI

О ПРАКТИЧЕСКОМ, ТЕОРЕТИЧЕСКОМ,
ЭСТЕТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ К МИРУ
В ИХ ЕДИНСТВЕ

Исходный пункт – *историческое* рассмотрение предмета (историческое, диалектическое, *im Werden* (175) взятое бытие). *Маркс* в «Немецкой идеологии» не даром рассматривает историю, как *единственную* науку, распадающуюся, согласно объективному распаденю, раздвоению единого, на историю природы и историю общества (*пока* мы здесь неизбежно геоцентричны, ибо о «людях» других планет мы ничего не знаем, они существуют для нас лишь *potentia*, *δυναμις*, а не *ενεργεια*, как любил выражаться *Маркс* (176)*.

Если мы берем проблему взаимодействий между человеком и природой, то тут *исторически* (в широком смысле слова) мы имеем:

1. *Процесс биологического приспособления*. Человек еще не человек в собственном смысле слова. Он лишь *становится* животным видом *homo sapiens* в его природной, натуральной форме.

Это – не «естественное состояние» *Руссо* и просветительной философии XVIII столетия, – такого состояния вообще никогда не бывало: такое состояние – фантастическая иллюзия идеологов. «Человек» здесь стадная полуобезьяна, начинающая ходить на ногах, с дифференцирующей, как естественное орудие труда рукой. Важны следующие моменты: воспроизводство вида, сотрудничество и борьба за существование; инстинкты (инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода – половой инстинкт); формирование рас. Влияние *природы*, климата, всех т. н. «географических факторов». Процесс приспособления в основном пассивен и бессознателен. *Природа* формирует человека, человек *не* формирует еще природы (если говорить с известным *упрощением*, т. е. *относительно*).

2. *Процесс активного общественного приспособления*. Человек рассматривается здесь, согласно объективному положению вещей, как *общественное* животное, делающее *орудия* (*homo faber*)! Именно поэтому выступает момент *субъективности* и *активности*. Старый

* Может подразумеваться Аристотель.

материализм рассматривал человека только как *продукт*. Между тем, исторический человек превратился уже в *субъекта*. Поэтому-то *Маркс* в своих знаменитых тезисах о *Л. Фейербахе* и настаивал на том, чтобы рассматривать соотношение между человеком и природой субъективно, практически, активно. Это выражение «субъективно» имеет смысл вовсе отказа от объективного познания, а тот смысл, что объективность познания требует учета новой, небιологической, более высокой объективности, когда на сцену выступил *субъект*, когда человек своими орудиями активно воздействует на природу, преобразует ее в своих целях, основой чего служит *процесс труда*, как процесс «непосредственного производства и воспроизводства жизни», и в нем, в этом процессе труда, происходит преобразование и самой *человеческой природы*. Биологическое – «в снятом виде». Поэтому здесь нужно *кончать* с игрой, развиваемой «органической школой» (177) в социологии, политической экономии и т. д. Здесь новое *качество*, исторически образовавшееся. Современное возрождение «органологии», маргаринового «социального дарвинизма», вся школа *О. Spann'a* (178) и бешенствующих расистов, есть отвратительный сор с научной точки зрения. Мимо!..

Само *общество* раздвоится на классы, и начинается специфическое движение, диалектика *общественного* развития, со всеми его противоречиями и переходами от одной общественно-экономической *формации* к другой.

Субъектом здесь является *общественно-исторический* человек, человек определенного «способа производства», определенного класса, определенного «способа представления»*. «Биологическое» не уничтожается: оно – «aufgehoben».

Отношения человека к природе в основном – *троякого* порядка: *практические, теоретические, художественно-эстетические*. Мы разбирали все эти три вида соотношений порознь и в их переходах. Теперь перед нами стоит задача понять их в их единстве, как функции единого процесса производства и воспроизводства жизни.

Практика есть здесь материальное, *техническое овладение* веществом природы, труд, преобразование вещества, материальный обмен веществ между обществом и природой. *Теория* есть *мыслительное овладение* природой, познание ее качеств, свойств, законов, «общего». *Эстетика* природы *есть* процесс переживания *природной связи с природой, симпатическое сопереживание* ритмики природы, коренящееся в последней инстанции в биологическо-

* См. прим. 1, гл. 23.

животной основе человека. Практике соответствует *воля*. Теории соответствует *интеллект*.

Эстетике соответствует *чувство*. Практика, это – царство материальных *вещей и процессов*. Теория – царство *понятий и идей*. Эстетика – царство *эмоций и эмоциональных образов*. Понимаемые, как процессы, они суть: процесс труда, процесс мышления, процесс художественно-эстетического созерцания. Теория и практика, как мы видели уже в предыдущем изложении, представляют собою противоположности, переходящие одна в другую, и в то же время единство. Это единство знаменует собой активное, двуедино активное, отношение к природе, процесс овладения природой, подчинения природы. Здесь субъект противостоит ей, как активное начало: он не «воспринимает» ее, и рассматривает ее (и действует на нее), как материал; он ее материально преобразует в процессе труда, а мышление опосредствует этот процесс. Природа – пассивна. Человек активен. Природа преобразуется. Человек преобразует. Совсем другое в художественно-эстетическом созерцании природы. Здесь субъект «погружается» в объект, «растворяется» в объекте. «Личность» «исчезает», теряет себя, как таковая, поглощается «Все́м» и тонет во «Все́м». Другими словами, природа здесь активна, человек пассивен. Субъективное отходит совершенно на задний план. Ритмы Космоса выступают, как грандиозное и величественное, бесконечно малой частью которого, маленькой чешуйкой гигантской и необъятной ткани является ритм, и соответствующие эмоции отражают этот величественный приоритет Космоса. Таким образом, художественно-эстетическое созерцание есть полярная противоположность практики и теории одновременно, как активному началу жизнедеятельности человека. Отсюда, между прочим, становится понятным и тот факт, что художественное созерцание не может быть поставщиком критерия истины, в то время практика и теория такие критерии выдвигают. В то же время художественное созерцание является противоречивым в самом себе: растворяя субъективное в объективном, оно является крайне субъективным; эмоции симпатического переживания природы не обладают такой общезначимостью, как, например, понятия: эта сфера есть океан чувств и крайне подвижных эмоций с гораздо большим коэффициентом субъективного.

Но точно так же, как разделение старой психологией всех т. н. «душевных способностей» на самостоятельные «сущности»: ум, волю и чувство должно быть преодолено в своей односторонности, так и три вида отношений между человеком и природой, о которых идет речь, отнюдь не являются разобщенными, а переходят один в другой

и в целом составляют поток жизнедеятельности. В самом деле, возьмем область чувственного созерцания, художественно-эстетического наслаждения природой. Совершенно очевидно, что соответствующие переживания отнюдь не являются чистой эмоцией. Здесь соприсутствуют и понятия в самых разнообразных формах: когда, например, современный человек «любуется» звездным небом, у него могут быть – и бывают – и элементы научной картины мира (*мысли* о звездах, планетах, галактике, бесконечности миров, электронах, научных гипотезах и т. д.). Более того, в зависимости от общественной формы, от «способа представления» эпохи, определяемого «способом производства», формирование эмоций и мыслей соподчиняется некоторым идеям-доминантам, укладываясь в общие рамки «способа представления». Поэтому, например, в течение веков художественно-эстетические переживания *сливались* с *религиозной* формой, с мышлением о мире по типу господства-подчинения (Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnis (179) у *Маркса*). Этот *социоморфизм мышления* был и социоморфическим началом в сфере эстетической. И не только у дикарей, первобытных анимистов (180), «средних людей», так сказать филистеров своего времени, но и у самых «тонких» мыслителей. Поэтому, например, у *Пифагора* «музыка сфер», ритмика природы, выраженная в числах и художественно окрашенная, была *божественным* началом *stricto sensu* (181).

Но, с другой стороны, и эстетическо-художественный момент проникает в свою противоположность, в мышление. Стоит, например, прочесть, как описывает *Гегель* жизнь земли, особенно жизнь моря! Или взять научные творения *Гете*, не говоря уже о немецких натурфилософах, кончая *Шеллингом*, которому, как мы упоминали уже, *Гейне* рекомендовал быть поэтом, а не философом*.

Таким образом, здесь мы видим взаимное проникновение противоположностей, переход одного в другое и их единство. Но сама сфера художественно-эстетического созерцания, стремясь воспроизвести самое себя, порождает *активную* деятельность, художественное творчество, *искусство*, музыку, поэзию, живопись и т. д. Это уже крайне сложное образование, гораздо более широкое,

* В своей «Истории религии и философии в Германии» Генрих Гейне писал о Шеллинге: „Ja, es scheint mir auch nötig, daß man bei ihm nicht selten unterscheide, wo der Gedanke aufhört und die Poesie anfängt ... Fichte ist nur Philosoph und seine Macht besteht in Dialektik und seine Stärke besteht im Demonstrieren. Dieses aber ist die schwache Seite des Herrn Schelling, er lebt mehr in Anschauungen, er fühlt sich nicht heimisch in den kalten Höhen der Logik, er schnappt gern über die Blumentäler der Symbolik, und seine philosophische Stärke besteht im Konstruieren.“ Н. Heine. Werke in 5 Bänden. Bd. 5. Berlin/Weimar 1981. S. 132 f.

охватывающее все сферы жизни и имеющее многообразное значение, в том числе и познавательное. Однако, в основном оно оперирует *образами*, и не случайно, что поэтический язык есть язык *метафор*, олицетворений: ибо *корнем*, глубочайшей основой, является симпатическое сопереживание ритмики природы и связи с нею. В *искусстве*, как художественном творчестве, пассивное начало становится в высокой степени *активным*, и сама эстетическая эмоция осложняется и обогащается активно-творческим моментом (переживанием ценности *мастерства*). Сфера симпатического сопереживания есть истинная сфера искусства и эстетики: именно поэтому любовь и *эротика* играют столь исключительную роль, – начало «сопереживания» здесь выражено особенно ярко и имеет чрезвычайно глубокие корни в подспудных низинах биологической природы человека.

Практическому, теоретическому, эстетическому началу соответствует старинная троица «*Добро*», «*Истина*», «*Красота*», как фетишизированных абстракций, взятых из трех основных сфер человеческой жизнедеятельности.

Под «*Добром*» («блаженством», «благом», «идеалом») во всех системах понимается сгусток жизненных целей, представленных, как единство, центр тяготения, «истина добродетели». Так как практика сама раздваивается на практику преобразования природного мира и на практику внутри человеческих отношений, практику общественных преобразований, то и соответствующее понятие «*Добра*», «блаженства», «идеала» в разных пропорциях включали ориентацию на полезные вещи и на добродетели; не нужно, однако, думать, что это – разъединенные части: в конечном счете, ведь, и производство материальных предметов есть производство потребительных ценностей, т. е. ценностей для человека; оценка «жизненных благ» входит поэтому в общую идеологию «ценностей», включаясь в различные системы морально-философской идеологии (*гедонизм (182)–аскетизм (183)*, как два полюса). «*Добро*» у древних греков носило довольно ярко выраженный *интеллектуальный* характер: и у *Платона*, и у *Аристотеля*, и у *стоиков*, и у *Эпикура*: «*Добро*» есть, следовательно, абстракция *жизненной цели и координированных с ней норм поведения*, их абстрактно выраженная доминанта, которая всегда определялась исторически, т. е. *эпохой, формой, классом*.

Под *Истиной* обычно разумелось то или иное соответствие (вплоть до совпадения, т. е. тождества) с той или иной «данностью» (будь ли то сознание, материя или дух, бог и т. д.).

Под *Красотой* разумелся идеал внешнего, чувственного образа, причем в ряде философских систем он был чувственным выражением истины. В действительности *истина*, как это видно из всего предыдущего изложения есть правильное, т. е. соответствующее объекту, отображение этого последнего в понятиях; социальное, общественное значение «поисков истины» есть опосредствование материального процесса производства, расширение сферы познания и углубление его, рост человеческого сознания. Действительный смысл *красоты* заключается в повышении эмоционального жизненного тонуса. Но это – абстрактное положение, которое конкретно проявляется в самых разнообразных формах: идеал *мужской и женской* красоты есть наиболее яркое выражение внешних черт (черт чувственного образа), воплощающих идеальные характеры и качества (ум, мужество, благородство, нежность, сексуальные положительные черты и т. д.), частью биологически обусловленные, частью создаваемые и модифицируемые (а иногда и упраздняемые вовсе, например, в упадочные эпохи и упадочных классов) общественно-историческими условиями; *природа* воздействует своей пульсацией, которую, как мы видели, сопереживает человек, опять таки в определенной общественно-обусловленной форме; *общественная жизнь* вызывает образы искусства, которые тоже повышают тонус жизни, обобществляя развивающиеся эмоции через внешне-чувственное (в музыке ли, в поэзии). И т. д. Что для эстетики и эстетического отношения к миру характерна именно эта чувственная сторона, было хорошо известно еще *Платону*. Он говорил об *определенности* прекрасного, которое, в противоположность понятию, выступает, как вещь или как чувственное представление, т. е. в своей конкретности.

Классовые общества характеризуются разрывом людей; в разных категориях людей застывают различные стороны человеческой жизнедеятельности: таково, например, самое глубокое основание разделения труда, его раздвоения на умственный и физический труд, причем умственный труд стал одной из функций командующих эксплуататорских классов. В *упадочных* классовых обществах функции жизнедеятельности могут превратиться не только в антиобщественные функции, но и в функции саморазложения этого класса. Такова, например, «эстетика» *смерти и тления*. Таковы отбросы современного мистицизма в «философии».

Социализм здесь совершает коренной переворот, поистине всемирно-исторический. Поэтому мы можем говорить о новой эпохе, когда началась *действительная история человечества* после его мучительной *предистории*.

Здесь уничтожаются классы. Здесь вырастает целостный человек. Здесь, следовательно, отношения теории, практики, эстетики *объединяются*, и люди живут многосторонней жизнью. Здесь сбрасываются фетишистские смирительные рубашки: религиозные формы, формы «категорических императивов» внешнего характера, понимаемые, как божественный приказ; формы абсолютного «чистого» искусства, «чистой» науки и т. д., выражающие оторванность их и изоляцию из всего жизненного контекста и проч. Отдельные стороны жизни становятся сторонами жизни все большего количества *многосторонне живущих людей*.

Таким образом, именно здесь находит свое наиболее яркое выражение *единство теории, практики и эстетики*. Если в (прогрессивных) классовых обществах это единство, во всех своих сторонах выражало *подъем жизни* (мощь производительных сил, мощь познания, повышение жизненного тонуса) в борьбе с многочисленными препятствиями и в условиях распада человека на односторонних субъектов, то в действительной истории отпадают все преграды, весь процесс получает небывалое ускорение, уничтожается разорванность и общества, и личности, и единство жизнедеятельных функций празднует свой исторический триумф.

Нетрудно видеть, как преувеличенное понимание одной из сторон жизнедеятельности влечет за собой идеологическую фантазию:

обособление и изоляция *мышления*, отрыв его от практики, автономизация и сепаратизм «царства мысли» имеет тенденцию превратить эту мысль, «общее», «понятие», «абстракцию», «идею» – в самостоятельную сущность и субстанцию мира;

обособление *практики* от *мышления* приводит к грубому эмпиризму, а при отрыве практики от материальных объектов (практика торговая, общественная и т. д.) – к волюнтаризму, прагматизму и проч.;

обособление *эстетики* имеет тенденцию, замещая рациональное познание, превратить художественно-эстетическое переживание в переживание мистическое, т. е. привести к мистическо-интуитивному мировоззрению.

Это не трудно было бы показать и на действительном историческом развитии философской мысли. Но мы, ведь, не пишем истории философии, и да простит нас читатель за то, что мы здесь поставим точку и перейдем к другой теме.

Глава XII

ОБ ИСХОДНЫХ ПОЗИЦИЯХ
МАТЕРИАЛИЗМА И ИДЕАЛИЗМА

После долгого промежутка вновь появляется демон иронии. – «Вы покончили с “моими ощущениями”? Хорошо. Но разве это есть утверждение *материализма*? Или Вы так *наивно* интерпретируете положение *Ленина*, (что философское понятие материи, это понятие вне «меня» лежащего, и ничего более), «будто бы *Ленин* отрицал *сознание* всякого другого»? Или не понимал, что у *объективного* идеализма тот же бог вовсе не совпадает о «моим» сознанием? Или Вам неизвестно – если уж потакать Вашей любви к авторитетам Ваших святых отцов – что у того же *Ленина* в «Философских тетрадках» прямо говорится, как из «общего» идеализм образует особое «*существо*», т. е. *вне* «меня» находящееся?

Ну, а если Вы здесь не упрямитесь (упрямиться было бы не умно), то почему бы не взять за *первооснову* мира «*духовное*» начало? В самом деле, давайте-ка говорить откровенно и без предрассудков и позвольте сделать маленькое отступление. Вот ваши духовные предшественники травили знахарей и колдунов, кричали: «одно шарлатанство», отрицали случаи успешного лечения. А теперь сами признаете: только говорите «гипноз». Так и тут. Ну, так я продолжаю. Разрешите?

Сознание есть *факт*. Не станете Вы это отрицать? Ведь, не будете Вы утверждать, что существует только то, обо что можно расколотить себе лоб? Ведь, не будете Вы думать, что только вы *один* мыслите? Это, прежде всего, противоречило бы Вашему коллективизму, социализму и прочему.

Значит, сознание есть *факт*. В нем – чтоб Вы успокоились – нет ничего чудесного, мистического, сверхъестественного. Оно существует, да и только. Вот и все. Сознание, далее, есть *непосредственный* факт. Отсюда *декартовское*: «*Cogito ergo sum*» («мыслю, значит существую»). Факт «*cogitandi*», мышления, есть исходный факт*.

Но если в самом моем бытии факт сознания есть исходный факт, то не есть ли внешняя «материя» (т. е. протяженное, начиная с *моего тела*) инобытие, проявление, внешность, пассивная форма («форма» –

* Vgl. R. Descartes: Abhandlung über die Methode. Leipzig 1948.

не в *аристотелевском* активно-творческом смысле) моего сознания? Ваша, например, духовная сущность отражается в моем сознании, как нечто телесное, точно так же и я отражаюсь в вашем сознании, как внешнее тело. Но «в себе» мы «духовные существа». То же и с остальным миром. И с камнем, и со звездой, и с солнцем, и с Космосом.

Почему вам не нравится *такая* «картина мира»? Ее одобряли великие умы. Так ли?

И искушитель усталился своими насмешливыми глазами. Что у него есть *своя* логика, это видно. Отсюда, скажем, монадология *Лейбница*. В создании отражается *другое* сознание, отражается, как нечто материальное. По сути дела, *богдановский* «эмпириомонизм» был чрезвычайно близок именно к этого типа идеализму, если вдуматься во всю его концепцию. У него, ведь, мир «в себе» – есть «хаос элементов»; в индивидуальном сознании эти элементы взяты в типе ассоциационных связей; в «специально-организованном опыте» они отражаются в более высоком типе связи, как «физический мир». То есть: «физический мир» есть отражение хаоса элементов, как своего рода рассеянных технических монад, хотя они и не обладают замкнутой целостностью и индивидуальностью, как у Лейбница, а суть только «элементы». Идя по путям такого идеализма, легко добраться и до бога. И он получается, можно сказать, почти вне чудесно, а именно: есть разные монады, разных ступеней, *иерархия* монад, с соответствующими степенями их *материального инобытия*: монада камня отражается как материальный камень; монада человека, как человеческий организм; но есть и звезда «в себе», т. е. «душа» звезды; есть и универсальная, всеохватывающая монада, всеобщая «душа» Космоса, *бог*, который *materialiter* есть мир в его материальном истолковании и переводе.

Довольно! Это уж и так сверх меры добросовестно, столь подробно излагать противника!

Заметим, что здесь налицо все пограничные пункты между объективным идеализмом, спинозизмом, материализмом; что здесь разверзаются все пропасти «последних глубин» мышления о мире, и переход от одного мировоззрения к другому с известной точки зрения необычайно легок: небольшой поворот руля – и все! Здесь мысль танцует на «узловых пунктах» гегелевской «меры», где совершаются скачки в новое качество: Бог, как существо; Мировой Дух *Гегеля*; монада Космоса *Лейбница*, «Душа Мира» Шеллинга (а раньше и *Платон*, и, в Средние Века, *Фома Аквинский*); безбожный «бог», *natu-*

га naturans, Б. Спинозы; отрицание бога материализмом, – все позиции сгрудились на этом философском плацдарме!

Начнем с «первичности» факта сознания. Здесь позиция картезианства (184) слабее, чем позиция Беркли-Юма, ибо вместо «чистых ощущений» уже даны и понятия, то есть тем самым даны и другие люди, и внешний мир. Но если это все уже есть, и при том во всей телесности, то почему же сознание «первично»?

На это нет ровно никаких оснований.

Вообще же, если мы исходим уже не из «я» (а здесь изолированное я сразу же исчезает, вместе с признанием понятий), то мы вступаем в область научного рассмотрения генезиса сознания, исторического рассмотрения, т. е. уже тем самым выходим целиком из сферы примитивных рассуждений о первоначальной девственной данности сознания, каковая «данность» в сущности тоже есть результат сложнейшего анализа, результат (ложного) опосредствованного знания. А в этом – громаднейшая разница: здесь угасает девственная чистота аргумента целиком.

Что же мы видим на самом деле?

- 1) Само «самосознание» у человеческого индивида приходит со временем. Сказать: «Cogito, ergo sum» может только взрослый, только культурный, только философ. Недаром для этого потребовался Декарт.
- 2) Сознание «дано» вместе с его содержанием; нет бессодержательного сознания.
- 3) Содержание сознания на 999/1000 «дано» внешним миром.
- 4) Этот мир воздействует на человека, «аффицирует» (185) его чувствительные органы, т. е. является и историческим и логическим prius. первоначальным.
- 5) Сам человек активно воздействует на мир в своей телесности, в своей мыслящей телесности, но побеждая мир, подчиняется его законам.
- 6) Сам человек есть продукт развития 1) в обществе, 2) в виде homo sapiens, в человеческом стаде, 3) потенциально – в виде человекообразной обезьяны и т. д. назад в эволюционной цепи.
- 7) Органический мир проистекает из неорганического и т. д. Здесь мы, таким образом, переходим в область различных наук, касающихся эволюции материи и качественных ступеней этой эволюции. Все данные говорят нам о нарастании новых качеств, и на трактовку сознания, как свойства только определенного вида материи. За панпсихистскую (186)

концепцию говорит лишь одна антропоморфическая аналогия, но разве это доказательство? Это – возврат к первобытному анимизму во всей его примитивности. На этой анимистической метафоре покоится и вся философия Шеллинга, что понял так хорошо умница Гейне (в связи с этим интересно вспомнить замечание Л. Фейербаха, что поэзия не претендует на реальность своих метафор!)* Таким образом, наука говорит об историческом происхождении органического из неорганического, живой материи из материи неживой, мыслящей материи из материи не мыслящей. В этом смысл того замечания (лишь по видимости тривиального), которое делает Энгельс в «Анти-Дюринге», говоря, что действительное единство мира заключается в его материальности, и что это доказывается сложной работой науки, а не парой априорных тощих, высосанных из пальца тезисов¹⁶. Именно поэтому идеалистический инстинкт Гегеля как бы ощущал, что идея развития в природе опрокинет идеализм. Поэтому в его системе и заключено чудовищное (и отнюдь не диалектическое!) противоречие: природа у Гегеля не знает развития, виды органического неизменны, сделан громадный шаг назад по сравнению с Кантом, естественно-научные взгляды которого были чрезвычайно прогрессивны для своего времени. А здесь великий диалектик, поднявший принцип движения и развития на такую высоту, для всей природы взял назад свое основное завоевание! Ему претила атомистическая гипотеза, получившая такое блестящее подтверждение в современной физике. Ему претила теория изменяемости видов. Ему претила сама эволюция в природе! И нужно видеть, как изворачивается здесь его хитроумная мысль... Тут диалектика гибнет во славу идеализма, буквально ad majorem Dei gloriam (187) диалектика закалывается на алтаре идеалистической философии. И именно поэтому развитие самой диалектической мысли властно требовало соединения с материализмом, что и было реализовано в марксизме на основе, разумеется, не сепаратного

* Vgl. L. Feuerbach: Abälard und Héloïse oder der Schriftsteller und der Mensch. In: Ludwig Feuerbach. Gesammelte Werke. Hrsg. von Werner Schuffenhauer. Bd. 1. Berlin 1981. S. 533 f.

¹⁶ Бухарин имеет в виду следующую цитату: „Die wirkliche Einheit der Welt besteht in ihrer Materialität, und diese ist bewiesen nicht durch ein paar Taschenspielerphrasen, sondern durch eine lange und langwierige Entwicklung der Philosophie und der Naturwissenschaft.“ F. Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft („Anti-Dühring“). MEW. Bd. 20, S. 41.; MEGA2, I/27. S. 250.

«самодвижения понятий», а на широком фоне действительной жизни.

У Гегеля поэтому целые клубки мистических узлов: Дух – вне времени, но развивается (ибо он «развивается» логически, как понятие); природа во времени, но не развивается; земля – плодоносная основа жизни, и есть даже «*generatio aequivoca*», но виды не эволюционируют и т. д. Здесь – внутренняя боязнь того, что сам дух окажется порождением, *историческим* порождением материи, поскольку живая материя, т. е. ощущающая материя, возникает из материи неорганической, т. е. неживой (но не мертвой, не *умершей*, а не начавшей жить), а материя мыслящая, в свою очередь, возникает из материи только ощущающей. Замечательное учение Гегеля о «мере», об «узловой линии мер», о прерывности непрерывного, о скачках, о переходе количества в качество, о *новых* качествах и т. д. вступает в конфликт с его идеализмом и, наоборот, получает блестящее подтверждение в данных науки, хотя эта наука большей частью и не имела никакого понятия о диалектике. Нужно было бы кинематографическую картину истории мира разворачивать *задом наперед*, чтобы иметь аргументы за приоритет сознания. Но так как этой операции проделать нельзя, то вывод неизбежен. Мы твердо знаем, что до определенной полосы в развитии земли жизни на ней не было. Мы твердо знаем, что эта жизнь возникла. Мы так же твердо знаем, что наличие жизни стало фактом до появления человека. Мы твердо знаем, что человек *произошел* из других видов животных. Первоначально само живое, это кусочки живого белка с зародышевыми формами т. н. «психического», как своего свойства. Так как же, прикажете это что ли считать великим мировым «Разумом», «Богом» и т. д.? Явный вздор! Такой же вздор, как телеология (188), над которой Гете остроумно издевался в «Ксениях», иронически утверждая, что пробковое дерево создано для того, чтобы делать пробки для бутылок*. Ясно, что такие примитивные взгляды на мироздание грубо антропоморфичны.

Приписывать «душу» звездам, «Разум» миру и т. д., это значит судить по аналогии с человеком, потенцируя его, человека, свойства (всеведение, всеблагость, вездесущее и т. д.). Правда, в аналогиях часто заключается нечто рациональное, и не раз история науки была

* Bucharin zitiert sinngemäß:

15. Der Teleolog.

Welche Verehrung verdient der Weltenschöpfer, der gnädig,

Als er den Korkbaum schuf, gleich auch die Stöpsel erfand!

In: Goethes Werke. Hrsg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. – Weimarer Ausgabe, fotomechanischer Nachdruck der Ausgabe Weimar 1887-1919. – München Bd. 5: Abteilung 1, Goethes Werke; Bd. 5. Abteilung 1. Weimar 1893-1987, S. 207.

свидетельницей необычайно плодотворных аналогий. Но есть факты и факты. *Ровно ничто* не говорит за такую аналогию. И вся наука, вся действительная наука, говорит *против* такой аналогии. Так где же основание для идеалистических утверждений? Для возвращения к анимизму дикарей?

Маркс писал в «Святом Семействе»:

Человека Гегель делает человеком самосознанием, вместо того, чтобы самосознание сделать самосознанием человека, действительного человека, т. е. живущего в действительном, предметном мире и им обусловленного (189)**.

Абстракция человеческого сознания, отодранного от человеческой телесности, превращенного в «существо» и перенесенного на весь мир – в этом суть идеализма.

Но мы здесь должны снова сказать, что уже в самой этой абстракции заключается громадная *измена диалектике*. А именно: раз «мышление» абстрагируется от «мыслящего», то, ведь, и разрушается та *целостность*, о которой такими соловьями залетными и так красноречиво поют те же идеалисты, когда говорят о жизни! И здесь, (т. е. в тезисе о *целостности*) вполне правы. Так как же выходит дело? Неужели непонятно, что отодрав «дух» от «тела», вы «дух» превратили в *ничто*, а тело – в *труп*? Прямо смешно видеть, как солидные люди, после пламенных протестов против грубого эмпиризма, рационализма, вивисекторской науки, умерщвления живого; после торжественных од во славу «целостности», «целокупности», «единства», «индивидуального целого» и проч. и проч., вдруг берутся за человека, раздвояют его, отделяют мышление от тела и воображают при этом, что тело стало телом, а мышление – мышлением! Нет, дорогие философы! Никакого «саморазвития понятий» и никакого «шестивия духа» и никакой прочей метафизической чертовщины реально быть не может именно потому, что вы, вопреки учению о *диалектической целокупности*, разрушили эту целокупность, умертвили «тело» и уничтожили «дух». И здесь, в основном вопросе, *Гегель* свою блестящую диалектику принес в жертву идеалистическому богу. Еще *Мольер* в «Ученых женщинах» ехидствовал:

К несчастию, сударыня, я замечаю,
 Что все же тело и душа меня слагают,
 И тело очень связано с душой.
 Быть может, их и делают с мудростью большой,

** К. Marx: Die heilige Familie. MEW. Bd. 2. S. 204.

Но небо философствовать мне не велело,
И вместе у меня живут душа и тело (190)*.

Правда, с точки зрения «философии тождества» нам могут возразить словами *Шеллинга* из «Всеобщей дедукции динамического процесса» (191), доказывающими, что тут нет разрыва, ибо «все качества суть ощущения, все тела – воззрения природы, сама же природа вместе со своими ощущениями и воззрениями, является, так сказать, оцепеневшим мышлением»**. Но, позвольте, а *как* вы дошли до мысли такой? Ведь, в действительности, вы нигде не наблюдали мышление без человека. И до дедукции вы проделали очень несложную операцию: *отодрали* мышление от человека и спроецировали его на природу! А потом – образная «дедукция»! Нечего сказать, хороша последовательность: в ней только одни «маленький» недостаток: во-первых, отодрав, вы убили; во-вторых, вы как дикарь, удовлетворились пустой аналогией. «Только» всего.

Диалектически выражаясь, здесь налицо превращение относительной противоположности в абсолютную, разрушение связи и метафизическая изоляция духа, т. е. превращение его в вещь в себе, в пустое ничто, тогда как он может быть взят только в связи, и вне связи не существует.

И здесь, следовательно, мы видим, что *диалектика*, как объективная диалектика, властно требует *материалистической* точки зрения, иначе она поедает самое себя.

Всякое идеологическое извращение *логически* опирается на какую-нибудь грань действительности, односторонне ее раздувая, преувеличивая и возводя в какую-либо сущность. Именно поэтому *Ленин* записывал в «Тетрадах» (192):

Философский идеализм есть *только* чепуха с точки зрения... материализма грубого, простого, метафизического. Наоборот, с точки зрения диалектического материализма, философский идеализм есть *одностороннее*, преувеличенное *bürschwenglich* (Dietzgen) (193) развитие (раздувание, распухание) одной из черточек, сторон, граней познания в абсолют, *оторванный* от материи, от природы, обожествленный (Конспект *Аристотеля* «Метафизики»).

* Moliere: Die gelehrten Frauen. [Vierter Aufzug, 2 Auftritt] In: Moliere. Werke. Übertragen von Arthur Luther, Rudolf Alexander Schröder und Ludwig Wolde. Mit einem Essay von Werner Krauss. Leipzig 1968, S. 989.

** F.W.J. Schelling: Die allgemeine Deduktion des dynamischen Prozesses. Schellings Werke. Nach der Originalausgabe in neuer Ordnung hrsg. von M. Schröter. Zweiter Hauptband. Schriften zur Naturphilosophie 1799-1801. München 1927 ff. S. 711.

* W.I. Lenin: Zur Frage der Dialektik. L.W. Bd. 38. S. 344. Bucharin gibt im Manuskript irrtümlicherweise Lenins „Konspekt zur 'Metaphysik' des Aristoteles“ als Quelle an.

Это блестяще подтверждается всей историей идеализма, который свойство живой материи отодрал от материи, отодрав человека от природы и «дух» от человека; возведя мышление в абсолют и раздув этот абсолют до универсально-космической идеальной категории.

Но всякое идеологическое извращение выражает, опираясь на предшествовавший запас идей, в то же время и определенный «способ представления», в свою очередь, опирающийся на определенный «способ производства», если говорить о больших идеях, о важнейших мыслительных доминантах эпох. А таким идеологическим образованием является, несомненно, идеализм, как мировоззрение^{17*}. На что же он опирается в *этом* смысле? Т. е. где его бессознательные общественные корни? На это ответ дают *Маркс* и *Энгельс* и в «Святом семействе», и в «Немецкой идеологии». Когда они учиняют бешеный разнос «критической критики», они вскрывают полярность духа и материи, как отражение полярности «критической критики» и «инертной массы» (черни, толпы, работников физического труда; кстати, чрезвычайно интересно проследить историческое образование понятия физической «массы» и понятие «массы», как многоголовой части общества); общественный дуализм отражается в дуализме духа и тела: дух так же управляет телом и настолько его выше, насколько духовные вожди господ управляют массой и стоят над ней. В «Немецкой Идеологии» *Маркс* прямо ставит в связь весь идеализм и движение гипостазированных понятий с обособлением (классовым обособлением) *умственного труда*, как функции командующих классов. Разумеется, это лишь самые общие рамки, которые необходимы, но недостаточны. Однако здесь поставлены вехи на путях дальнейшего исследования, уже в сфере *социологии мышления*.

Не ясно ли отсюда, что судорога идеализма в настоящее время есть его предсмертная судорога? Не ясно ли, что у него нет и не может быть будущего?..

Глава XIII

О ГИЛОЗОИЗМЕ И ПАНПСИХИЗМЕ

Пожалуй, в данной связи надо, однако, более подробно остановиться на *гилозоизме* и *панпсихизме*. И та, и другая система взглядов исходит из наличия психического у всякой

^{17*} См. прим. 1, глава 23.

материи. Но у *гилозоистов* обычно субстанцией является *материя*, которая в разных своих видах имеет свойства ощущать, тогда как *панпсихизм* идеалистичен: здесь скорее «идеальное» является субстанцией, проявляющейся материально, т. е. идеальное имеет своим свойством выступать, как материальное. Наконец, может быть и третья точка зрения, к которой тяготел *Спиноза*, а именно, что *и* «материальное», *и* «психическое», «идеальное», это – две стороны одной и той же субстанции. Здесь мы опять видим, как легко противоположно они переходят одна в другую: как, например, легко греческих *ионийцев-гилозоистов* (194), одушевлявших всю материю, превратить в современных панпсихистов, и наоборот. Чтобы найти и на этот вопрос правильный ответ, необходимо подойти и к этой проблеме *историко-диалектически*.

Пойдем исторически назад, рассматривая различные виды и типы природы, начиная от человека и переходя ко все менее сложным животным, в порядке ламарковской «деградации». Мы имеем *человека*, с развитым головным мозгом, спинным мозгом, развитой нервной системой, с мышлением, с «разумом», затем мы имеем целый ряд ступеней, где исчезают определенные органы чувств (глаза, уши и т. д.); потом исчезает головной мозг; затем исчезает вся нервная система; у лучистых нет головы, нет глаз; у полипов нет ни головного, ни продольно-узловатого мозга, нет нервов, нет органов дыхания, сосудистой системы, органов размножения; инфузории не имеют ни одного специального органа.

Поэтому даже *Ламарк* (на которого опираются «психоломаркисты» с их нескрываемым витализмом (195)) писал, говоря о полипах и т. д. (см. «Философию Зоологии») (196):

Нет никакого основания говорить, что у рассматриваемых животных... все эти органы все-таки существуют (правда, бесконечно редуцированные), что они распределены... в общей массе тела..., что, следовательно, все точки тела могут испытывать всякого рода ощущения, производить движения, проявлять волю, иметь представления и мысли.... «Разумеется, не к такой гипотезе ведет нас изучение природы. Наоборот, оно показывает нам, что всюду, где перестает существовать какой-нибудь орган, – пропадают также и связанные с ним способности. Животное, лишенное глаза, ни в коем случае не может видеть..., ни одно животное, лишенное ~~глаз~~, т. е. специального органа чувств, не испытывает никакого ощущения....

У полипов части тела – не более ~~раздражимы~~ ... но эти животные... не способны ощущать (197)*.

Под «раздражимостью» Ламарк, следуя Галлеру понимал свойство живых тел сокращаться от действия внешних раздражителей. Вполне возможно, что этому свойству соответствует, как его «инобытие», какой-то вид, тип, род психического.

Но что здесь не может быть, например, мышления и «силлогизмов», это – кажется ясным, вопреки, например, Франсэ, который даже у растений обнаруживает «силу суждения»^{18*}. Одно время было в моде издеваться над положением, что мозг мыслит. И у Авенариуса в «Критике чистого опыта» (198) есть различные соображения на тему, что мозг не есть какое-либо «седалище» мысли. Рациональное зерно здесь в том, что мозг не существует «в себе», т. е. как нечто изолированное; он может функционировать только в связи со всем организмом, и в *этом* смысле мыслит не мозг, а весь человек. Но диалектическое понимание части и целого, их единства, отнюдь не исключает специфичности органа и специфичности его действия: человек мыслит, а не мозг в себе; но человек мыслит мозгом, а не легкими, хотя для функционирования мозга необходимо и функционирование легких.

Ленин записывает в «Философских тетрадках»:

Сторонник диалектики, Гегель, не сумел понять диалектического перехода от материи к движению от материи – к сознанию – второе особенно. Маркс поправил ошибку (или слабость?) мистификации А. Сбоку: «диалектичен не только переход от материи к сознанию, но и от ощущения к мысли и т. д.»^{19*}

Это значит, что нельзя себе представлять дело таким образом: у человека – много сознания, у собаки – меньше, у полипа – еще меньше, у растения – еще меньше, у базальтовой скалы – еще меньше. Это и было бы чисто количественным, механическим, антидиалектическим взглядом. Действительное развитие и непрерывно и прерывно, и постепенно, и скачкообразно, и количественно, и качественно. Поэтому имеются качественные ступени «психического», являющиеся инобытием качественно-

* J.B. de Lamarck: Zoologische Philosophie. Teil 3. Kap. III (Über die physische Empfindsamkeit und den Mechanismus der Empfindungen). Leipzig 1991. S. 57.

^{18*} Raoul Francé: Das Sinnesleben der Pflanzen (1905).

* W.I. Lenin: Konspekt zu Hegels „Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie“. LW. Bd. 38. S. 271.

^{19*} Ebenda.

различной структуры в пределах самого органического мира. Инстинктивное влечение не есть разумное целеполагание: разумное целеполагание есть качественно-специфическая способность. Ощущение еще не есть мышление: мышление есть качественно-специфическая способность. И, с другой стороны, растение не есть животное, хотя и то, и другое – живое; человек не есть полип, хотя и то, и другое – животное. Переход от ощущения к мышлению *диалектичен*, т. е. мышление есть *новое качество* сознания, и нельзя всего топить во всем без всякого разбора. Считать историческую эволюцию одним количественным изменением, непрерывным увеличением того же, значит не только изменять диалектике, но, изменяя диалектике, поворачиваться *спиной к действительности*: *вер*, для материалистов дело не в том, чтобы что-либо соответствовало «понятию», а чтобы понятия соответствовали *действительности*.

Мы из опыта знаем, что мышление есть свойство организма *особого* типа, с головным мозгом, его полушариями, нервной системой. Абсурдно предполагать диалектическое мышление у солитера или полипа. Научно мы видим *исторические* фазисы развития живого, исторически сложившиеся различные структуры этого живого и качественные их особенности. Но в природе мы видим и *скачок* от *неорганического* мира к *органическому*. Что здесь есть скачок, видно уж хотя бы из того, что до сих пор нам не удается искусственно воспроизвести живое вещество. Живое представляет целый ряд качественных особенностей, и в числе *этих* особенностей, как инобытие особенных (органических, материально-живых) свойств есть свойство «психического». Нет ни единого *намёка* в природной действительности, чтобы дать нам основание вменять психическую жизнь камням, кислороду, раскаленной солнечной массе, застывшей луне, падающему метеориту, бревну или стальной болванке. От неорганической природы к природе органической развитие идет через диалектический *скачок*. Это не значит, как думают виталисты (о них у нас будет речь идти позднее, мы возьмемся и за них!), что тем самым все живое не подлежит основным закономерностям природы. Но это значит, что *отсюда* начинаются *новые* свойства и общие закономерности природы проявляются здесь в *специфической* форме.

Некоторые мудрецы из ультра-позитивистов заключают, что мы вообще не можем говорить даже о сознании другого человека, и что здесь налицо суждение по аналогии, перенесение своего сознания на другого человека, сознания которого мы никак не чувствуем. Но как

мы недавно заметили уже, есть аналогия и аналогия. Каждый час в любом акте сотрудничества и борьбы, в теоретической или практической работе, *правильность* этой «аналогии» подтверждается: мы *предвидим* действия человека, мы *понимаем* его «речевые реакции», мы *поступаем* сообразно этому, мы получаем соответствующий *результат*. То, что сознание «*другого*» не есть непосредственно «*мое*» сознание, нас крайне мало беспокоит: мы его познаем через объективное, вплоть до двигательных реакций, мимики, т. наз. «выражения лица» и проч. Но это говорит лишний раз о *нераздельности* «духа и тела»: это аргумент не за агностицизм дешевого пошиба, а аргумент за диалектический *материализм*.

Возьмем другой *исторический* процесс, процесс одомашнивания, «*приручения*», *животных*: лошади, коровы, овцы, собаки и т. д. Разве вся практика (многотысячелетняя!) этого процесса и процесса использования этих животных не говорит нам об их психической жизни? Ведь, материализм ее нисколько не отрицает, как полагают некоторые, а считает, что она есть инобытие «объективно-физиологических» процессов. (Зато сколько людей, мнящих себя материалистами, говорят: «это – нервное», а вот это – «чисто психическое», точно может быть психическое наряду с физиологическим, нервным! Или противопоставляют – еще чище! физиологическое, или «*физическое*», «*нервному*»!).

Но *révenons à nos moutons* (200), на этот раз в буквальном смысле слова. Так вот: любой охотник знает, какая собака у него умнее, и понимает, что собака понимает его, охотника. Здесь, скажут, тоже аналогия. Совершенно верно. Только не такая аналогия (глупая!), которая приписывала бы совершенно антропоморфно собаке всю силу суждения человека. Но все же аналогия. Однако, эта аналогия подтверждается гигантской, бесконечно длительной и бесконечно разнообразной практикой.

Весь исторический опыт человечества говорит за то, что явления сознания (в широком смысле слова, как психического) связаны с *органической* жизнью. О растениях – мы только строим гипотезу, что здесь *может* быть что-то инстинкто-подобное; что объективно наблюдается, например, в *гелио* (201) – и *геотропизме* (202). Мы имеем *основание* продолжать, качественно понижая *тип* психического, то, что мы наблюдаем и в чем твердо уверены, когда говорим обо всем животном мире. Но когда мы делаем *скачок* к неорганической природе и *не* делаем скачка в вопросе о *свойствах* ее, то это противоречит всему нашему опыту. А положительных данных за сознание в неорганическом мире нет ровно никаких.

Следовательно, нет основания даже для *гилозоизма*, но говоря уж о *панпсихистских* концепциях, которые некоторых подкупают своей «стройной простотой». Простота здесь, однако, поистине «хуже воровства». Логически налицо тут явное *упрощение* действительности, а не выражение *действительной* простоты. Здесь односторонне раздувается, преувеличивается, неправомерно обобщается – неисторически и антидиалектически одно из свойств действительности, универсализируется то, что реально существует лишь при определенных условиях. Вместо *многообразия* природы, которое разворачивается в ее единстве, предлагается ее несуществующее *единообразие*. Вместо скачкообразного развития и появления нового выступает сплошность с отрицанием и нового, и скачка в самом решающем пункте: Вместо исторического возникновения сознания предполагается его постоянство во всем и везде. На самом деле диалектика природы своим важнейшим моментом имеет как раз *раздвоение* на обладающую психикой органическую природу и на природу неорганическую – в этом и состоит исторический, реальный, объективный процесс раздвоения на противоположности; эти противоположности переходят одна в другую: неорганическое переходит в свою противоположность, в органическое; органическое переходит, распадаясь со смертью, в свою противоположность, в неорганическое; единство обоих моментов – природа в целом, которая мыслит через человека, в человеке, являющемся составной частью природы, и *только* так. Никто еще не открыл чуда мышления *без* мозга. А между прочим, для наиболее восторженных сторонников гилозоизма характерно то, что они ищут, так сказать, *высших* типов психической жизни, и ищут их в «величественных» крупных «индивидуальностях», типа Солнца, звезд, Космоса и т. д. Здесь гилозоизм переходит в *гилозоистический пантеизм*. Когда мы разбирали вопрос о художественно-эстетическом отношении к природе мы видели, что человек сопереживает ритмику природы, «живой природы». Но там же мы выяснили и относительность этой жизни и недопустимость отождествления и перерастания этого чувства вне суждения об универсальной одушевленности. Между тем, ведь, совершенно правомерен столь чудовищный на первый взгляд вопрос, обращенный по адресу гилозоистов, скажем, солнцепоклонников: скажите же, однако, что функционирует в этом гигантском океане раскаленных жидкостей, газов, паров, – как мозг, нервная система или высшие формы этих органов?

Вопрос – нелепый, абсурдный. Но он абсурден потому, что абсурдна вся гилозоистикая позиция, хотя в ней много подкупающих черт: субстанциальность материи, понимание всеобщности связей, Универсума, понимание целокупности всего и т. д. Это и дает ей своеобразный тон чего-то интеллектуально-высокого. Однако, строгое мышление не может жить без суровой самокритики, и точка зрения гилозоистов – а тем более панпсихистов – должна быть отвергнута. Особой аргументации против панпсихистов развивать не стоит, ибо всякому понятно, что, если рухнет *гилозоизм*, то тем самым рухнет и *панпсихизм*.

Итак, мы имеем *исторический* ряд:

- 1) неорганическая природа;
 - 2) скачок к органическому через *generatio aequivoca*;
 - 3) простейшие формы органического с зародышевыми формами психического;
 - 4) скачок к более сложным формам с ощущениями;
 - 5) скачок к еще более сложным формам с представлениями и т. д.;
 - 6) скачок к общественному человеку с его мышлением.
- Разумеется, все эти скачки – не исторический галоп: мы здесь хотим лишь еще раз сделать ударение на диалектическом характере исторического процесса: наивностью является валить в один горшок, как выражаются немцы, и камни, и горы, и планеты, и электроны, и собак, и инфузорий, и людей.

У одного позабытого старого романиста, *И. А. Кушевского*, в романе «Николай Негорев или благополучный россиянин» (203), есть персонаж, который говорит весьма забавно на эту тему:

Я думаю, земля тоже человек. Мы, может быть, живем на его пальце, и наши тысячелетия кажутся ему мгновением, терцией. Он согнет палец, и у нас будет светопреставление, и все разрушится. Он – этот великан – Земля, и не думает, что мы живем на его пальце и строим города: он не может видеть в свои увеличительные стекла таких маленьких животных, как мы. Этот великан, для которого наше тысячелетие один миг, тоже живет среди других людей – таких же великанов, – может быть, он теперь тоже учится в гимназии. Может быть, он читает теперь Марго(204), одна запятая в котором равняется пространству в тысячу раз большему всей Европы: иначе ведь он не мог-бы видеть запятой. Он положил палец на страницу и хочет перевернуть листок. Тогда наш мир начался!!*.

* И.А. Кушевский. Николай Негорев или благополучный россиянин. Со вступительной статьей А.Г. Горнфельда. М., 1917. С. 164.

И так далее. Это гимназическая фантазия, не без живости изображенная на нескольких страницах романа, очень напоминает гилозоистические теории. Признаться, многие из нас в юности предавались аналогичным размышлениям, ибо все думают о бесконечности миров и мира, как целого. Тут есть проблема, это проблема «мироздания»; и с открытием структуры атома она становится необыкновенно увлекательной! Но зачем же решать ее *по-гимназистски*? Не пора ли понять, что человечество вместе с социализмом поступило теперь уже в университет, и что пора ему в этой *universitas rerum et artium* (205) сбросить старые догмы, которые в гимназические времена были еще туда-сюда, а теперь явным образом устарели, обветшали, отслужили свое время? Не пора ли понять, что смешно возвращаться ко временам ассиро-вавилонской астрологии и к амулетам, к халдейской магии, к божественным звездным существам Платона, Аристотеля, стоиков и т. д. Не пора ли иллюзорные связи заменить связями действительными?..

Глава XIV

ОБ ИНДУССКОЙ МИСТИКЕ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Бегство от шума и грохота распадающейся капиталистической цивилизации, мертвой вечности ее машинной сухой культуры, вызывает среди части буржуазных философов и всего философского «сословия» тягу в сторону мистического примитивизма, хотя здесь наличествует сугубая утонченность. Особенно ярко проявляется в данной связи влияние китайской и *индусской* философии, взятой, однако, в ее спиритуалистических и мистических течениях. От *Гегеля* идет предрассудок, что Восток не дал ничего положительного ни для науки, ни для философии*. У *Гегеля* здесь та же «белая» националистическая *линия*, которая заставляла его видеть в Пруссии и прусском государстве седалище

* Das „eigentliche Aufsteigen und die wahre Wiedergeburt des Geistes (ist) erst in Griechenland zu suchen.“ G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Mit einem Vorwort von Eduard Gans und Karl Hegel. A.a.O. Stuttgart 1939. Bd. 11. S. 295.

Мирового Духа, в Александре Македонском – полубога, мстящего за греков, в Азии – пьяную чувственную вакханку – и только и т. п. Но кроме этой совершенно вздорной мысли, которая лишь оправдывает немецкое изречение, что «*der Wunsch ist Vater des Gedankens*» (206), которая позднее вошла в качестве одного из компонентов фашистской «арийско-расовой» идеологии и которая прямо противоречит объективной действительности, обычным является искусственное *выделение* спиритуалистических и мистических течений, *опускание* всего того, что хоть пахнет материализмом и извращение всей картины философского развития Востока. Здесь, следовательно, употребляется обычный прием фальсификации в истории философии, над чем у нас, в русской литературе, издевался еще безвременно погибший *Д. И. Писарев*. В своей статье: «Идеализм Платона» он весьма едко писал:

Излагая историю греческой философии, принято как-то относиться покровительственно к элеатской школе, к Гераклиту и Демокриту, к Пифагору и Анаксагору, потом с негодованием упомянуть о софистах, потом умилиться перед личностью и судьбою Сократа, поклониться в пояс Платону, его Демиургу и Идеям, назвать Аристотеля великим учеником его, часто несправедливым к великому учителю, потом разругать Эпикура, посмеяться над скептиками и выразить добродетельное сочувствие возвышенным доблестям стоиков.

Это принято, этого требуют интересы *сравнительности* которую так ревниво берегут многие псевдо художники и многие действительные труженики на обширном... поле науки (1907)**.

Так замалчивается и пускается ко дну *материализм*. Так раздуваются всеми силами пузыри *идеализма*. Немудрено, что в обстановке величайшей идейной сумятицы и переоценки всех ценностей*, когда нередко буржуазный индивидуум в замешательстве становится «*jenseits von Gut und Böse*» (208)** , тяга к душевному покою, утешению, *бегству* от бурной действительности находит свое выражение в погружении в буддийскую *нирвану*, которая, в

** D.I. Pissarew: Der Idealismus Platons. In: Wilhelm Goerd. Russische Philosophie. Texte. Freiburg/München 1989. S. 452.

* «Переоценка всех ценностей» – положение из философии Фридриха Ницше: „Aber meine Wahrheit ist furchtbar: denn man hieß bisher die Lüge Wahrheit. Umwertung aller Werte: das ist meine Formel für einen Akt höchster Selbstbesinnung der Menschheit, der in mir Fleisch und Blut geworden ist.“ F. Nietzsche: Ecce homo. Wie man wird, was man ist. Frankfurt am M./Leipzig 2000. S. 127.

** «По ту сторону добра и зла» – название книги Фридриха Ницше (1885).

противоположность *dolce forniante* беспечных лаццарони (209), имеет свой сложный философский коррелат, целую громадину весьма сублимированных мыслительных категорий, объединенных в своеобразные мистико-философские системы.

Если у официальных философов фашизма *мистика* имеет характер голоса крови и актуализма империалистских янычар, то у *убегающих* с поля битвы или запутавшихся и ищущих спасения во что бы то ни стало, эта мистика носит характер *восточного руссоизма* и в великих веках индусского мистицизма, в священном Ганге мистического созерцания, люди ищут душевного утешения. Струя индусского мистицизма (с известной опорой на *Артура Шопенгауэра* в западно-европейской философии) очень сильна, гл. обр., среди немецких философов: *П. Эрнст*, граф *Кейзерлинг*, Теодор *Лессинг* (убитый фашистами) с достаточной яркостью отражают этот процесс преклонения перед спиритуализмом Востока^{***}.

В связи с этим здесь небезынтересно поставить ряд разбираемых нами основных проблем философии еще раз, и мы для наглядности возьмем работы *Лессинга* и в их критической, и в их позитивной части.

В своей книге «Europa und Asien» (210)^{****} *Лессинг* дает разностную критику рационального познания вообще, и здесь любопытно, прежде всего, остановиться на его подробной критике «научной картины мира». Он дает ее на примере света. Вкратце его тезисы сводятся к следующему:

1. Первая ступень – познание семи цветов и их переходов. Это есть наука в первой плоскости (*Wissenschaft in der vordersten Ebene*)^{****}.
2. Затем следует наука второго плана, «вторая действительность» – волны различной длины. Здесь налицо процесс «desqualification»: явления первой плоскости бледнеют, вместо цветов-красок выступают движения мыслительного субстрата¹.

^{***} „По ту сторону добра и зла» – название книги Фридриха Ницше (1885).

^{****} Vgl. hierzu N. Bucharin über Hermann Keyserling: Das Reisetagebuch eines Philosophen und P. Ernst: Der Zusammenbruch des deutschen Idealismus (Leipzig 1918), in: N. Bucharin: Theorie des Historischen Materialismus. Hamburg 1922. S. 213-214.

^{****} Книга Теодора Лессинга „Europa und Asien“ («Европа и Азия») выходила многими, постоянно перерабатываемыми автором, отчасти полностью, изданиями: Europa und Asien oder Der Mensch und das Wandellose. Sechs Bücher wider Geschichte und Zeit. Hannover 1923.; Europa und Asien. Untergang der Erde am Geist. Fünfte, völlig neu bearbeitete Auflage. Leipzig 1929. С большой вероятностью Н. Бухарин работал с первым изданием 1918 или с изданием 1923 гг.

¹ Th. Lessing: Europa und Asien oder Der Mensch und das Wandellose. Hannover 1923. S. 338: „Ich will versuchen, dieses Verhältniß deutlich zu machen an einem Beispiel. Ich wähle dazu die Erklärung des Lichts. 1. Die unmittelbare Wahrnehmung erkennt alle Erscheinungen von Licht als Abwandlung von sieben Grundfarben, welche sich anordnen lassen zu einem Kreise.“

3. Далее следует «еще более строгая наука», происходит дальнейший процесс облысения жизни, появляется «*третья действительность*»: Максвелл и Фарадей учат, что за волнами света стоят электрические силы**.
 4. Останавливается ли дело на этом? Нет. За ними следуют энергетические процессы с чисто количественными определениями***.
 5. Кончается ли на этом процесс облысения и *desqualificatio*? Нет! Мир, лишенный света и блеска, чисто *цифровой мир* математической физики, превращается в мир атомов, пространства, времени, движения, «процесса *вообще*» (*Vorgang überhaupt*)****.
- Атом рассматривается, как *только* доступная счету планетная система, регулируемая квантами, т. е. чистыми *отношениями******.
6. «Свет» «объяснен». Но что от него *осталось*? Полезная (*gültige*) *формула*.

Это «западноевропейская» калькулирующая наука убивает жизнь. Ей противостоит *символическое* знание Востока. Так утверждает проф. *Лессинг*.

Остановимся пока на этом. Здесь, как мы видим, нет ничего принципиально для нас нового, за исключением, быть может, ясности и систематичности изложения. Но по существу мы уже ответили на возражения автора. Ибо, в самом деле:

Во-первых, его критика имеет смысл лишь, как критика как раз «*физического идеализма*», у которого субстанцией мира оказывается математическая формула, то есть символ. Но, ведь, вольно же автору

** Ebenda, S. 338: „2. Nun aber kommt eine Wissenschaft der zweiten Ebene. ... ‚Hinter Deiner augenscheinlichen Wirklichkeit‘ (so spricht die Optik) liegt eine zwar minder sinnenfällige aber um so objektivere zweite Wirklichkeit.“

*** Ebenda, S. 339: „3. Bleibt es nun bei dieser ‚Wirklichkeit der zweiten Ebene‘? ... Ein berühmtes arabisches Werk des Persers Nasireddin aus Tus trägt den wunderlichen Titel: ‚Tedschrid ol kelam‘: *Entblößung* des Wortes, welche Bezeichnung vortrefflich malt die immer weiter anwachsende *Kahlheit* unsichtiger Verbegriefflichung, welche nicht mehr erlaubt das Wort zu erhalten in der leuchtenden Sphäre des *Lebens*. Über die Wirklichkeit der zweiten Ebene kommt alsbald eine noch *strengere* Wissenschaft. Diese fordert, daß auch die zweite Wirklichkeit noch weiter umgedacht werde in eine *noch* gültigere, noch gewissere: dritte. – Maxwell und Faraday lehren, daß *hinter* den Ätherschwingungen, welche Newton zugrundelegte dem Licht und den Farben, ‚eigentlich‘ stünden: elektrische Kräfte.“

**** Ebenda, S. 339: „So beginnt denn die rechnerische Intelligenz umdenkend zu entlaugen: das Atom, den Raum, die Zeit, zuletzt Bewegung, ja Vorgang *überhaupt*. Dieses Umdenkungsverfahren ist auch heute noch nicht abgeschlossen.“

***** Ebenda, S. 340.

так интерпретировать «научную картину мира»! На самом деле «формула» отражает объективную реальность.

Она не *есть* субстанция, она *есть* формула субстанции, ее отражение, ее картина. А это отнюдь не одно и то же.

Во-вторых. Вопреки Лессингу, здесь вовсе нет разных «действительностей»: первой, второй, третьей, ... шестой (и, прибавим от себя, n-ной «плоскости»), ибо это *одна и та же* действительность: первая «плоскость», это действительность, взятая в ее соотношении с субъектом; вторая и все последующие, это – *та же* действительность, взятая в соотношениях различных ее моментов – более общих и менее общих. И электроны принципиально дробимы. Но эти еще не открытые компоненты электронов отнюдь не уничтожают электронов, как электроны не уничтожают атомов, как атомы не уничтожают молекул, как молекулы не уничтожают земли, как планеты и солнце не уничтожают солнечной системы, как последняя не уничтожает более крупных звездных систем и т. д. Одно существует в другом, переходит в другое: здесь *многообразие связей* единой действительности, а не многообразие *действительностей*.

В-третьих. Вопреки Лессингу, здесь нет и речи – при диалектическом понимании процесса познания – об уничтожении *качественных* моментов, ибо налицо и качественные особенности элементов и качественные характеристики многообразных связей и отношений. Это тем более, что если идти *вверх*, от электронов, атомов и т. д., то мы имеем и *живую* материю, органический мир, с выходом *за* пределы физики и химии. А объект в *соотношении* с субъектом дает и блеск, и цвета и прочее, что входит в *общую* картину Космоса, включающего и субъекта, как мы это подробно выяснили в главе о познаваемости «вещей в себе», критику кантианскую концепцию этих «вещей в себе». Таким образом, идеалистическая критика Лессинга правомерна *только* против идеализма вообще, «физического идеализма» всех оттенков – в частности и в особенности. Но она ни на йоту не задевает позиций *диалектического материализма*, о коих почтенный философ, впрочем, не имеет ни малейшего представления.

Вместе с этим падают и все дальнейшие рассуждения автора, которые у него концентрируются в следующих двух принципиальных положениях:

1. «Мы переживаем только образ (brahma-vidya Индии)* ...

* Avidya / незнание / втягивает в изменение и круговорот страдания и возрождения, только vidya/ знание / ведёт к преодолению страха смерти и спасению. Частое для

Мы теряем жизнь в тот момент, когда мы, отчуждая и уходя, «объективно познаем»...

2. Вживание (непосредственное вживание) в растущий, производящий, грезящий *образ* необходимо резко отличать от суждений и оценок сознания. С этим последним мы уходим за природу (*hinter die Natur*), и в этом смысле физика и психология есть уход за природу (*ein Hinter-die-Natur-kommen*). «По отношению – непосредственному чувственному миру физика является, следовательно, метафизикой».

И Лессинг безбоязненно формирует следующий парадокс:

Это звучит дико (*widersinnig*), но это абсолютно справедливо, что в глубину природы проникает только тот, кто остается на *поверхности* ее явлений. Никогда не естествоиспытатель! Никогда психолог! Никогда физик! Никогда математик! И т. д. Наоборот, тот, кто считает солнце за подвешенный на тверди блестящий круг размером в пятиалтынный^{***}, тот и переживает эту *глубину*. Так прямо и говорится! (То же у *Кейзерлинга* в *Reisetagebuch eines Philosophen* (211)^{****}). Немзыкальные натуры, нетворческие, с их арифметизацией, опонятливанием мира, его *logificatio* (ологичиванием) убивают жизнь. Непосредственное становится под сомнение. Между человеком и природой образуется средоточение микроскопов и телескопов, камеры обскуры; человек становится протезным человеком. И т. д. и т. п.^{*****}

Все эти – иногда остроумные – рассуждения, по существу *убоги*. Если своей научной аппаратурой человек удлиняет и расширяет органы своих чувств, то он, по Лессингу, *уходит* от природы, и здесь происходит де процесс *Entnatürlichung*. Но с этой точки зрения собака и инфузория лучше знает природу, чем человек.

брахманов положение гласит: только тот, кто знает, освобождается, т.е. спасается. У Лессинга это место звучит следующим образом: „1. Wir *erleben* nur Gestalt (Indiens brahman-vidya, d.h. Gestaltenwandelschau). Dies immerflutende Gestaltenleben vermittelt sich einzig durch Ahmung. Wir verlieren das Leben in dem Augenblick, wo wir entfremdend und heraustretend ‚objektiv wissen‘: einerseits von einem *Leben*, andererseits von einem *Erlebtem*.“

** Цитированное место заканчивается: „Nie der Etiker! Nie der Logiker! Alle diese Wissenschaften beschäftigen sich mit Wirklichkeit. Das heißt: sie bewegen sich auf der Linie, welche ausgeht vom Leben und endet bei Wahrheit. Sie werden immer lebensferner und lebensärmer je göltiger, bündiger, wahrer sie werden.“ Ebenda, S. 343 (Орфография и пунктуация Лессинга, проникнутые своеволием автора, не подвергались изменениям).

*** «Пятиалтынный» у Бухарина – русская монета XVIII в.

**** Hermann Graf Keyserling: *Reisetagebuch eine Philosophen*. 1919.

***** „Das unmittelbare Weltbild wird *fragwürdig*. Zuletzt kommt es abhanden.“ Th. Lessing. A. a. O. S. 343.

В чем же дело? Как можно нести такой вздор? И какое рациональное зерно есть в этом вздоре (ибо никогда не бывает абсолютного вздора)?

Разберемся.

Лессинг выставляет такой тезис: Человеческое чувство *мощи* (Machtgefühl) растет. Но человеческое чувство *бытия* (Seinsgefühl) исчезает*. Однако, чувство *мощи* опирается на реально возрастающую *мощь*. А как же возможна эта *мощь* вне реального *познания*, т. е. проникновения в глубину природы? Можно сколько угодно издеваться над беконовским положением, что *мощь* связана с познанием, но эта связь есть *реальная* связь. И тут у мистиков явная двойственность: с одной стороны, они как будто признают, что какой-то действительностью по своему человек действительно овладевает, но что это Федот да не тот; с другой – они утверждают, что научная картина мира есть *только* голая формула, уводящая *за* природу. Но если бы она вводила *за* природу, т. е. если бы она объявлялась *субстанцией* мира, то *откуда* бы появлялась эта *мощь* и соответствующее «чувство *мощи*»? Очевидно, что вся концепция трещит по всем швам.

Но что же скрывается за всем этим? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны обратить внимание на следующие рассуждения нашего философа.

Солнце *есть* именно то, что оно *есть*. Переживай (себе) его, и ты его знаешь. Природа не лжет. Что еще за дело, что действительность знания дает мне совсем *другое* солнце, чем его может видеть глаз, чем его может чувствовать чувство. Это солнце науки, конечно *действительно*. Но он может быть только мыслимо... Я же придерживаюсь *всего* (das Gelebte).

Здесь открывается явным образом *двойная* «действительность»... «действительность никогда не является без моего *поведения* (Verhalten). Она одна, когда я деятелен (tuend); другая, когда я пассивен (duldend mich verhalte). Логически-этическая ориентация опосредствует для меня другую действительность, чем эстетическо-религиозная.

Европа относится (к объекту. *Автор.*) волевым образом (wollend). Азия – созерцательно (schauend)^{2*}. Европа *противостоит* (природе *Автор.*) деятельно. Азия бездеятельно стоит в ней». Европейский человек активно преобразует ее, преодолевая ее сопротивление.

* Ebenda, S. 349.

^{2*} Th. Lessing. A. a. O. S. 342.

Азиатский – ритмически дышит и созерцает пассивно, как растение, животное, дитя*.

Так утверждает *Лессинг*. Мы оставляем без подробного опровержения эту абсолютизацию отличий между Европой и Азией: достаточно указать на то, что никакие анахореты, мистики, философы вообще и браманского и буддийского, и всякого другого толка не могли бы существовать и в Индии, если бы в той же Индии не было людей, которые бы *работали* на них, т. е. активно относились бы к природе и так или иначе ее рационально познавали. Правда, *Лессинг* в восторге от положения Китайского мудреца *Конфуция*** , по которому в огне не сгоришь, если любишь огонь, в воде не потонешь, если любишь воду, не будешь растерзан львом, если любишь льва; по которому для предупреждения и ликвидации пожара лучше слушаться родителей, чем строить водокачку против этого пожара***. Но, как ни возвышенна такая всеприродная любовь, действительные связи и соотношения идут мимо этих иллюзий, и в Азии люди работали, обливаясь потом и кровью: им некогда было впадать в нирвану и в чистое созерцание. Однако, у философов – мистиков (а не у азиатского человека «вообще») созерцание было фактом. Но что же отсюда следует? Была ли здесь, как утверждает *Лессинг*, другая действительность? Конечно, нет. Было другое восприятие, другое отражение действительности и, поскольку речь идет о мистическом пассивном созерцании, это «отражение» – не интеллектуального типа. Здесь, следовательно, речь идет вовсе не о *познании*, а о другом типе *отношения*, т. е. не о *познавательном* отражении, хотя познавательные моменты и не исключены целиком, ибо жизнедеятельность целостна, и даже в мистике есть фактически рациональные моменты, которые могут сидеть в ее порах, в особенности, когда этот мистический «опыт» (*sit venia verbo* (212)) подвергается логической обработке (а без этого не обходится *ни одна* «система»). В особенности нужно отметить тот момент, что в индусских спиритуалистических системах субъект активно относится к *самому себе*: это есть великий *тренаж воли*: упражнения с

* Ebenda. „Ganz anders, wenn ich *nicht* innerlich ‚gerichtet‘ bin. Wofern ich nicht bin gespannt (wachend, bewahrend, strebend, denkend, auffassend usw.), sondern bloß rhythmisch atmend und ahmend im Anschauen verweile, so ist allein vorhanden (wie für Pflanze, Tier und Kind) eine augenblickliche gegenwärtige Vision: das durch mich hinflutende Leben unbefangener, unverkünstelter Sinne.“

** *Лессинг* не указывает источников приведенных им изречений китайского философа *Конфуция*. В издании 1929 г. его книги «Европа и Азия» эти цитаты вообще отсутствуют.

*** Ebenda, S. 103 u. S. 114: „Konfuteses scheinbar widersinnige Lehre gebietet zur Verhütung von Feuersgefahr lieber seinen Eltern Ehrfurcht zu erweisen als einen Wasserturm zu bauen.“

дыханием, пульсом, управление своими органами и т. д. Отсюда и ряд положительных результатов в области физиологии, психологии, гипноза. Но – это особый вопрос. По существу здесь нет ровно ничего мистического.

Что же касается отношения к природе и ее мистического созерцания, то, конечно, пассивное созерцание дает другую «картину мира», вернее, другое *ощущение мира*. Это идет по линии, которую мы назвали сферой *сопереживания* природы. Никакого *познавательного* преимущества это сопереживание не имеет. Его мистико-религиозная *форма* не дает никаких познавательных результатов: поэтому здесь нет и возрастания знания и *мощи* человека над природой. Если *Лессинг* восхищается анимизмом, натуральными богами, демонологией и прочим, то это социоморфные формы примитивного познания, корни которого ясны, как божий день. Чему же здесь завидовать?

Но рациональное зерно во всей этой мистике заключается в тоске обездушенного капиталистического человека *по природе*. Запертый в каменных гробах, урбанистический неврастеник, лишенный солнца, леса, воды, воздуха, раздавленный гулом машин, превращенный в винтик гигантского механизма, тоскует по солнечному лучу, по свету, зелени, журчанью ручья. Он ущербен. Он искалечен. Его биологическая природа протестует против отрыва от всеприродной связи. *Это* есть проблема, которую решает социализм. Но это не есть проблема познания. Это есть проблема жизненного устройства. Это не есть проблема более высокого *типа* проникновения в тайны природы. Это есть проблема *большей полноты жизни*. Требование сопереживания природы, то есть наслаждения природой, близости к ней, связи с ней, эстетического любования ею есть правомерное требование и правомерный протест против уродства односторонне-городской и калечащей человека капиталистической культуры. Но точно так же, как отсюда не следует отказа от машин и теоретического естествознания, точно так же отсюда не следует и отказа от рационального познания вообще. Социалистический человек будет наслаждаться природой и ощущать ее теплое дыхание. Но он не превратится в дикаря-анимиста. И поэтические метафоры отнюдь не станут у него заменять рациональное познание, развивающееся вместе с практической мощью его технических орудий. Это рациональное познание отнюдь не уводит за природу: наоборот, оно позволяет все глубже и глубже проникать в ее тайны. Но, конечно, никакой микроскоп не может заменить биологического наслаждения горным воздухом или сиянием утренней зари. Наука

имеет тоже свою эстетику. Но ни сама наука, ни научная эстетика не могут заменить биологической потребности в непосредственном общении с природой, как познание не может заменить собой еды, питья, эротической жизни. Лишение человека сексуальных наслаждений было бы калечением человека. Но из этого не вытекало бы, что сексуальный восторг заменяет интеллектуальное познание, и что эротическое самозабвение и экстаз есть высшая форма познания, более глубокая, чем рациональное познание вообще. А между тем, аргументация *Лессинга* и других весьма похожа именно на это. Самооскопление было бы тоже убийством жизни, как и отъединение от природы есть убийство жизненной полноты, то есть частичное убийство жизни. Но это не имеет отношения к вопросу о типе *познания*. Можно даже сказать, что приближение к природе, повышение общего тонуса жизни, *оздоровление человечества*, приведет к еще большему расцвету рационального познания и к уничтожению мистики, более того, к уничтожению и преодолению всякого и всяческого идеализма, который падет вместе с падением своей социальной основы, вместе с разделением труда на умственный и физический, городской и деревенский, командующий и исполнительский. А вместе с тем падет и противоположность между «Европой» и «Азией».

Глава XV

О ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ФИЛОСОФИИ ТОЖДЕСТВА

Ф*ихте*, *Шеллинг* и *Гегель*, которые в истории западноевропейской философии стоят рядом, пытались решить коренной вопрос философии об отношении мышления и бытия с точки зрения *тождества* (Identität). Однако, не говоря уже о своеобразном субъективном идеализме *Фихте*, и *Шеллинг*, и *Гегель* с полным правом зачисляются по ведомству *идеализма*. Следовательно, здесь тождество *не* есть тождество, ибо в формуле $A=A$ второе *A* может быть переставлено на место первого и наоборот: они будут совпадать точно также, как и раньше, ибо это действительно тождественные элементы. Формула *инобытия* не есть формула тождества: ибо совсем не одно и то же сказать *дух* есть инобытие материи или *материя* есть инобытие духа. *Инобытие* есть особое свойство, есть *особый* тип действительной связи, где

тождество есть не только тождество, а где *примат* сохраняется за определенным членом уравнения тождества; собственно здесь не идет речь даже о $A=A$, а о формуле $A = \text{иногда } B$, что далеко не одно и то же. У Фихте Я является принципом всей системы*. Это – не эмпирическое, не индивидуальное, не конкретное и качественно определенное в своей индивидуальности, особенности и отдельности я, а Я с большой буквы, т. е. *общее*, или так называемое «*чистое сознание*», или иначе трансцендентальное единство самосознания с его необходимыми формами или актами. Его первоначальный акт есть *воля*. Это абстрактное Я полагает самого себя, различает противоположности и объединяет их. Другими словами: здесь основная философская проблема упрята в Я, как в мешок. «Все, что есть и происходит в Я и *через него*»**, чем подчеркивается деятельная, активная, сторона процесса. Но отсюда вытекает, как будто бы следующее: если Я=Все, то Все=Я. Однако, перевернув формулу, мы сразу же натываемся на затруднение, которое было отмечено Гегелем еще в ту пору, когда он выступил в союзе с Шеллингом. А именно, Гегель отмечает (*Hegels Werke*, V.1: О различии между системами философии Фихте и Шеллинга), что *фихтевское* тождество – тождество особого рода, а именно: у Фихте Я есть одновременно и субъект, и объект, то есть «*субъект-объект*», но этот *субъект-объект* есть *субъективный* «субъект-объект»***. А это и значит, по существу, что здесь есть лишь *видимость* тождества, что проблема не решена, а воспроизводится в новой форме.

Гегель недурно описывает это фихтеанское Я:

Это чудовищное высокомерие, это безумие самомнения Я, которое при мысли, что оно составляет одно целое со вселенной, что в нем действует вечная природа, ужасается, испытывает отвращение и впадает в тоску; эта склонность ужасаться, скорбеть и испытывать отвращение при мысли о вечных законах природы и их подчинении их священной строгой необходимости; это отчаяние при мысли, что нет свободы,

* „Die Grundlage des Fichteschen Systems ist intellektuelle Anschauung, reines Denken seiner selbst, reines Selbstbewußtseyn ‚Ich=Ich, Ich bin;‘ das Absolute ist Subjekt-Objekt, und Ich ist diese Identität des Subjekts und Objekts.“ G.W.F. Hegel: Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie (1801). In: G.W.F. Hegel. Aufsätze aus dem Kritischen Journal der Philosophie und andere Schriften aus der Jenenser Zeit. In neuer Anordnung hrsg. von Hermann Glockner. A.a.O. Stuttgart 1941. Bd. 1. S. 77.

** Es gibt kein Gesetzsein, „das nicht ein Gesetzseyn des Ich für Ich und durch Ich wäre. Mit dem Selbstsetzen des Ich wäre Alles gesetzt, und außer diesem Nichts.“ Ebenda, S. 80.

*** „Das Subjekt=Objekt macht sich daher zu einem subjektiven; und es gelingt ihm nicht, diese Subjektivität aufzuheben, und sich objektiv zu setzen.“ Ebenda, S. 122.

свободы от вечных законов природы и их строгой необходимости; склонности считать себя неопишимо несчастными вследствие необходимости этого повиновения, – все эти чувства предполагают вообще лишенную всякого разума самую обыденную точку зрения(213).

А Фихте, по Гегелю, относится к вещам, как *пустой* кошелек к деньгам**.

Итак, у Фихте «субъект-объект» субъективен.

Как же решает задачу Шеллинг?

У Шеллинга исходным пунктом является Абсолютное (недифференцированное тождество, абсолютное тождество), познаваемое лишь *интуицией*. Это есть первичная сущность, «полная индифференция субъективного и объективного»***. Дальше идут *ступени развития*. Действительный мир, как бесконечный мир единичных вещей, распадается на два ряда, реальный (природа), идеальный (дух): при этом природа приводит к разуму, разум к природе****, а вселенная есть тождество того и другого: «Нет двух различных миров; есть лишь один и тот же мир, в котором заключается все, также и то, что в обыкновенном сознании противопоставляется, как природа и дух» (214)***** (Ueber den wahren Begriff der Naturphilosophie). Но, во-первых, тут возникает дуализм Абсолютного и мира, неразличенного тождества и тождества дифференцированного. Во-вторых, субъект-объект преподносится так, что сам субъект объективируется, но его соотношение с объектом и, следовательно, распадение остается. С другой стороны, словесно прокламируемое тождество на самом деле не есть тождество, ибо природа есть лишь инобытие Духа: во «Всеобщей дедукции динамического процесса» Шеллинг, как мы видели уже, писал: «Все

* G.W.F. Hegel: Glauben und Wissen oder die Reflexionsphilosophie der Subjektivität in der Vollständigkeit ihrer Formen als Kantische, Jakobische und Fichtesche Philosophie. In: Aufsätze. A.a.O. Bd. I. S. 417 f.

** „... so wie ein leerer Geldbeutel ein Beutel ist, in Beziehung auf welchen das Geld allerdings schon, aber mit dem Zeichen *minus* gesetzt ist, und das Geld aus demselben unmittelbar deducirt werden kann, weil es in seinem Mangel unmittelbar gesetzt ist.“ Ebenda, S. 399.

*** Бухарин ссылается на утверждение Гегеля об исходном пункте «Системы трансцендентального идеализма» Шеллинга». „Der Inhalt dieser intelligenten Anschauung, was in ihr Gegenstand wird, ist nun auch das Absolute, Gott, das Anundfürsichseiende, aber als konkret, sich in sich vermittelnd, als die absolute Einheit des Subjektiven und Objektiven ausgedrückt oder als die absolute Indifferenz des Subjektiven und Objektiven.“ G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III. A.a.O. S. 590.

**** „So treibt die Natur sich zum Geist, so der Geist sich zur Natur fort.“ Ebenda, S. 587.

***** F.W.J. Schelling: Über den wahren Begriff der Naturphilosophie. Schellings Werke. Nach der Originalausgabe in neuer Ordnung hrsg. von M. Schröter. Zweiter Hauptband. Schriften zur Naturphilosophie 1799–1801. München 1927 ff. S. 736.

качества суть ощущения, все тела – воззрения природы, сама же природа вместе со своими ощущениями и воззрениями является, так сказать, оцепеневшим мышлением» (215)^{*****}. Постоянный, неизменный дух породил природу, и развитие природы есть пробуждение от сна этого Духа. Природа есть, таким образом, инобытие Мирового Духа.

У Гегеля уничтожается шеллингианское противоречие между недифференцированным Абсолютным и миром, ибо, по Гегелю, История Абсолютного Духа и *есть* история мира. Однако, не дух есть инобытие мира на определенной стадии развития, а, наоборот, мир есть инобытие Духа, его определенная инобытийная ступень.

Таким образом, «философия тождества» на самом деле не есть философия тождества.

У Фихте все переносится в «Я», и в этом абстрактном «Я», которое и есть *идеалистический* исходный пункт, разыгрывается и божественная, и человеческая комедия.

У Шеллинга Абсолютное движение, но Дух порождает природу.

У Гегеля поступь Мирового Духа природу имеет лишь своим инобытием. В «Феноменологии Духа» он пишет:

Разум есть убеждение сознания в том, что оно составляет реальность так высказывает идеализм свое понятие (216).

Абсолютный Дух проходит по Гегелю, три стадии: логической идеи – первая стадия, природы – вторая стадия, и Абсолютного Духа – третья стадия. В логике «идея» движется в отвлеченной сфере мышления, в природе та же идея проявляется уже в другой, противоположной форме, не в форме чистых логических понятий, а в сфере чувственных предметов. Само развитие природы не есть развитие в обычно понимаемом смысле, а есть лишь инобытийное отражение логического развития понятий, развития, которое в своем диалектическом движении раскрывает заложенные в понятии возможности.

Таким образом, при ближайшем рассмотрении, тождество есть здесь вербалистическое (217), чисто словесное тождество.

Никто не оспаривал и не оспаривает того, что философия Шеллинга насквозь мистична. Но и так называемый гегелевский панлогизм не есть, в сущности, «сухой» панлогизм, ибо, как мы мимоходом отмечали выше, у него весьма много чисто – мистических моментов. Вообще нужно заметить, что Гегель унаследовал от Шеллинга гораздо

^{*****} F.W.J. Schelling: Die allgemeine Deduktion des dynamischen Prozesses. A.a.O. S. 711.

* G.W.F. Hegel: Phänomenologie des Geistes. A.a.O. Bd. 2. S. 183. (курсив N.B.).

больше, чем это обыкновенно думают: в том, что его философия содержит «в снятом виде» громадное количество «чужих» элементов (Платон, Аристотель, Спиноза, Шеллинг и т. д.) никак не приходится сомневаться: это видно всякому, кто изучал великого идеалиста. Что в начальных фазах развития *Гегеля*, когда он выступал вместе с *Шеллингом*, для него шеллингианская *мистика* была вполне приемлема, общеизвестно. Известно его философское profession de foi (218), изложенное в стихотворении «Элевзис».

der Sinn verliert sich in dem Anschau'n,
was mein ich nannte, schwindet.
Ich gebe mich dem Unermeslichen dahin.
Ich bin in ihm, bin Alles, bin nur es.

....

Dem Sinne nähert Phantasie das Ewige,
Vermahlt es mit Gestalt...

Разум теряется в созерцании,
То, что я называл моим, исчезает;
Я отдаюсь Безмерному,
В нем я, я Все, только это.
Уму приближает фантазия Вечное,
Его сочетая с образом...³(219)

Здесь заключается целая программа. Созерцание стоит выше рационального познания: в самых высоких формах отношения к миру разум угасает и растворяется, как и «я». «Вечное» делается близким уму через интуицию, фантазию...

Розенкранц приводит одно интересное место из раннего *Гегеля*: «Разумная жизнь выбирает из частных форм, из смертного, преходящего, бесконечно противоположного, борющегося, свободное от исчезания отношение, не заключающее в себе мертвых (здесь, следовательно, мертвое=подвижному!), убивающих друг друга элементов сложности (*sic! Авт.*), не единство, не мыслимое отношение, но всеживую, всесильную, бесконечную жизнь и называет это *богом*» (220).

«Если человек полагает бесконечную жизнь, как дух целого, также вне себя, ибо сам он ограниченное существо, если он полагает самого себя также *вне себя*, ограниченного существа, и возносится к живому,

³ G.W.F. Hegel: Eleusis. An Hölderlin. August. 1796. In: Frühe Schriften I. Hrsg. von Friedhelm Nicolin und Gisela Schüler. Gesammelte Werke. Bd. 1. Hamburg. 1989. S. 400 (Bucharin zitiert die bei Hegel gestrichene Zeilen des Gedichtes im Original). Hier zitiert nach Bucharins Handschrift.

теснейшим образом соединяется с ним, то он поклоняется богу» (221)**.

Далее у него появляется, так сказать, логизированный бог, который потерял многие красивые побрякушки. Но, нам кажется, что здесь мистика не уничтожается, а становится своеобразной, опосредствованной логикой и мышлением, мистикой. Гегель был великим ненавистником всяких наивностей и необычайно ценил культуру мышления. Однако, вся его гигантская философская машина заведена, в конце концов, для того, чтобы успокоится у тихой гавани Абсолютного Духа; «идею» он для того и заставляет сбрасывать различные костюмы, чтобы *post factum* утвердить мистическое царство. Он хочет доказать и оправдать мистику, уничтожив ее живоотно-дикарско-детскую форму и переведет ее в высший класс. Поэтому во всех его работах, в самом стиле, в самом изложении, мы находим массу оборотов, которые на первый взгляд кажутся только художественно-поэтическими метафорами, а на самом деле имеют не только этот, но и другой, более «глубокий» смысл. Когда мы говорим о мистике, мы, разумеется, говорим не только о боге: что Мировой Дух, Бог, Разум и т. д. играют огромнейшую роль в грандиозной гегелевой системе, это настолько общеизвестно, что доказывать сие, значило бы ломиться в открытую дверь: речь идет и о соотношении с этим богом, о характере соотношения. Сам Гегель в «Феноменологии», говоря о религии, таким образом определяет мистику.

«Мистический элемент состоит не в сокровенности тайны или в незнании, а в том, что *самость* знает свое *единство* с сущностью, и эта последняя таким образом обнаруживается. Только самость открывается себе, или то, что открывается себе, достигает этого только в непосредственной достоверности себя» (222). Религия и философия имеют одно и то же содержание, но это содержание в религии выражено в форме *представления*, а в философии – в форме *понятия*, и здесь – наивысшая ступень формы сознания, о которой говорит «Феноменология»*.

Единство с «сущностью» есть единство с *богом*. Эта мистика «в понятиях» формулируется гегелевской философией, где мистика в узком смысле слова должна быть в «снятом виде»; но так как дается изображение всего движения в целом, то она проступает в ходе изложения необычайно часто и откровенно.

** Zit. n.: K. Rosenkranz: G.W.F. Hegels Leben. Darmstadt 1969. S. 94 f. (курсив N.B.).

* G.W.F. Hegel: Phänomenologie des Geistes. A.a.O. Bd. 2. S. 550.

В «Философии Природы», например, по отношению к неорганической природе, стихиям ее, планетам и т. д. употребляются категории напряжения, мучения, отвращения, стремления и т. д. в духе *Якова Беме* («Мучение материи») (223), о котором в соответствующем томе своей «Истории Философии» *Гегель* отзывается в общем весьма положительно^{**}, или в духе *Парацельса*^{***}, у которого природа имеет столько стихий, сколько насчитывается главных добродетелей. Мы видим, что «сохранение зерна в земле... есть мистическое, магическое действие»^{*}. Но в той же «Философии Природы» солнце является инобытием зрения, вода – инобытием вкуса, воздух инобытием обоняния^{4*}. Здесь чувственное начало, идея и природа соединены на совершенно чудовищный манер. Объективизм философской идеалистической системы *Гегеля* переходит в явный субъективизм.

Таким образом, «философия тождества», которая на самом деле, как мы видели, отнюдь не есть «философия тождества» и совершенно напрасно носит это наименование, в своих противоположных вариантах (фихтеанском – с одной стороны и гегельянском – с другой) не так уж различна. Солипсисты типа *Беркли–Юма* отодрали сознание от живой целостности эмпирической личности. Это отодранное сознание *Фихте* обобщил, превратив его во всеобщее «Я». *Гегель* объективировал его, превратив в «Дух». Если *Гегель* весьма справедливо и в художественно яркой форме высмеивает «Я» *Фихте*, как проявление «чудовищного высокомерия» и «безумного самомнения», то, ведь, этот же самый упрек по существу можно сделать и всей гегелевской системе. И здесь, в конце то концов, речь идет о том же. Бесконечное разнообразие бесконечного мира, в котором неорганическая природа «порождает» органическую

^{**} Гегель цитирует труд Бёме «Аврора или восходящая утренняя заря», где он представляет качество как главное понятие: „Qualität ist die Beweglichkeit, Quallen' (Quellen) oder, Treiben eines Dinges“ G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III. A.a.O. S. 233.

^{***} Согласно Парацельсу, человек создан из эссенции всех элементов (воды, воздуха, земли, огня) и называется позитому «микрокосмос». Влияние элементов на добродетели (способности, свойства) человека выражается в целебной силе растений, в склонностях характера, например, вспышках гнева, раздражительности и т.д. и.а. На примере огня: „Der Tierverstand des Menschen ist ein Arkanum aus den Magnalia Gottes, der des Feuers und der Erleuchtung bedarf. Ist ein gutes Erleuchtungfeuer da, kann es gut brennen... Daraus folgt, daß einer besser als der andere gerät, einer mehr als der andere erleuchtet wird.“ Zit. n.: Paracelsus: Vom glückseligen Leben. Ausgewählte Schriften zu Religion, Ethik und Philosophie. Salzburg/Wien 1993. S. 217.

^{*} G.W.F. Hegel: System der Philosophie II. A.a.O. Bd. 9. S. 529 (§ 346a, Zusatz).

^{4*} Ebenda, S. 67 (§ 252).

природу, составляющую ее малую часть, а органическая природа порождает мыслящего человека, являющегося частью этой органической природы, заменяется космическим Духом, в ранг коего возводится человеческое сознание под различными псевдонимами.

Гегель очень метко возражает против наивных форм мистики. Обсуждая, например, вопрос о расколотом «несчастном сознании», которое мечется между потусторонним и посюсторонним миром, и стремится *соединиться* с потусторонним миром, он замечает: это стремление есть его «чистое сознание, но не чистое мышление, так как оно, так сказать, лишь *пытается* мыслить и сводится к *благоговейному настроению*. Его мышление, как таковое, остается беспорядочным шумом колокольного звона или теплым туманным явлением, музыкальным мышлением (очень хорошо! *Автор.*), не вырабатывающим понятия, которое было бы имманентным предметным образом». Это – «чистое волнение». И т. д.*

А выход? Выход в «Разуме», в котором топится все, и это всеобщий потоп есть якобы преодоление дуализма на основе *тождества*. На деле это значит, что человеческий разум имеет своим инобытием солнце, луну, звезды, млечный путь, всю Вселенную, весь Космос. В некоторых вопросах это облегчает задачу: если, например, вещи – те же идеи, то проблема познания в конце концов сугубо упрощается и трудности как будто исчезают. Но это исчезновение трудностей покупается ценою гигантского извращения действительных соотношений. Система гегелевской философии в своем основном ядре ближе к религии, чем к науке. И, несмотря на это, гегелевская *диалектика* является великой сокровищницей мысли. Не нужно только забывать, что она приемлема для нас в своей *материалистической* форме. Это, однако, значит, что невозможно просто ограничиться тем, чтобы приставить к ней, так сказать, другой математический знак. Форма – содержательна; это гегелевское положение вполне правильно. Отсюда вытекает сугубо критическое отношение к величайшему философу буржуазии. «Материалистически читать» Гегеля**, как рекомендовал Ленин, значит *переделывать* его, систематически исправлять на основе всей

* Das Zitat lautet bei Hegel: „Es *verhält* sich daher in dieser ersten Weise, worin wir es als *reines Bewußtseyn* betrachten, zu *seinem Gegenstande* nicht denkend, sondern indem es selbst zwar *an sich* reine denkende Einzelheit und sein Gegenstand eben dieses, aber nicht die *Beziehung auf einander selbst reines Denken* ist, geht es, so zu sagen, nur *an* das Denken *hin*, und ist *Andacht*. Sein Denken als solches bleibt das gestaltlose Sausen des Glockengeläutes oder eine warme Nebelerfüllung, ein musikalisches Denken, das nicht zum Begriffe, der die einzige immanente gegenständliche Weise wäre, kommt ... Es ist hierdurch die innerliche Bewegung des reinen *Gemüths* vorhanden.“ G.W.F. Hegel: Phänomenologie des Geistes. A.a.O. Bd. 2. S. 172.

совокупности знаний, которые дает нам гигантски возросшая современная наука.

Сам *Гегель* с необыкновенной ясностью формулировал во множестве мест связь своего объективного идеализма с религией. Так, например, в «Науке Логики» (*Wissenschaft der Logik, Werke B. V.*) он пишет:

«Неправильно было бы думать, что сначала нам даны предметы, которые составляют содержание наших представлений, и что мы присоединяем к ним нашу субъективную деятельность, именно отвлекаем и схватываем их общие признаки и так образуем понятия. Понятия существуют прежде предметов, и предметы обязаны всеми своими качествами тому понятию, которое живет и обнаруживается в них. Религия признает то же самое, когда она учит, что бог создал мир из ничего, или, другими словами, что мир и все вещи произошли из одного общего источника, из полноты божественных мыслей и предначертаний. Это значит, что мысль, или, точнее, понятие, есть бесконечная форма, или свободная творческая деятельность, которая осуществляет свое содержание, не нуждаясь во внешнем материале» (224)*.

Это место из «Большой Логики»** великолепно поясняет положение «Феноменологии Духа», где *Гегель* говорит, что религия и философия имеют одно и то же содержание, но то, что религия схватывает в *представлении*, философия схватывает в *понятии*. И там, и здесь выражается одно и то же: это фазы движения того же идеального начала, которое есть идея, дух, бог. Здесь во всей полноте вскрываются, во-первых, что философия тождества не есть философия тождества и, во-вторых, что развитие идеализма неизбежно приводит его к религии. В этом смысле движение идеализма от субъективного к объективному внутренне противоречиво: ибо, чем объективнее становится идеализм, тем ближе он «кувырком» как говорил *Ленин*, подходит к материализму***, и в то же время тем дальше отходит он от него, прямо смыкаясь с религией.

В высшей степени интересен *исходный пункт* гегелевской «Логики». Известно, что логика у *Гегеля* есть в то же время

** Бухарин часто указывает на требование Ленина «читать Гегеля материалистически». Философия Гегеля – это материализм, поставленный на голову.

* G.W.F. Hegel: System der Philosophie I. A.a.O. Bd. 8. S. 361. (§ 163, Zusatz 2).

** Имеется в виду «Малая логика, энциклопедия философских наук».

*** Vgl. W.I. Lenin: Konspekt zur „Wissenschaft der Logik“. LW. Bd. 38. S. 226.

онтология. И вот Гегель ставит проблему: с чего начать; и отвечает на этот вопрос следующим образом:

«Налицо существует... решение, которое можно считать также произволом, решение, что мы желаем рассматривать *мышление, как таковое*. Таким образом, начало должно быть *абсолютным* или... абстрактным началом; оно должно *ничего не предполагать*, должно быть ничем непосредственным и не иметь основания; скорее оно само должно быть основанием всей науки. Поэтому оно должно быть абсолютно непосредственным или скорее лишь самую *непосредственность вообще*. Оно не может иметь никакого определения в отношении к другому, и в такой же мере не может заключать отношения определения и в себе, не может иметь никакого содержания, так как это содержание было бы различием и отношением различного друг к другу, следовательно, посредством. Итак начало есть «чистое бытие» (225)*.

Из этой тирады вытекает: 1) что в наличности имеется «решение», при том произвольное решение; 2) содержанием науки является *мышление*; 3) рассмотрение этого *мышления* начинается с *чистого бытия*; 4) между мышлением, как таковым и бытием ставится *знак равенства* (точнее тождества); 5) мышлению принадлежит приоритет.

Все это вполне увязывается с «системой». Но где хоть тень обоснования исходной позиции, т. е. *идеалистической* позиции? Ее нет и в помине: наоборот, Гегель настаивает, что начало должно быть *непосредственным*. Можно, конечно, как делает это Куно Фишер в своей «Истории Новой Философии» (226) (Т. VIII: Гегель, его жизнь, сочинения и учение)**, считать, что это непосредственное само возникло, и что оно опосредствовано всей «Феноменологией Духа». Но на это можно справедливо возразить, а почему же начинать надо было с феноменологии *Духа*? Ясно, что философия не может возникнуть до всякого знания вообще. Она, следовательно, обречена на то, чтобы опираться на «положительную науку». Но где же в этой науке основание для того, чтобы а limine отвергнуть материалистическую точку зрения?

Вот почему Марксу пришлось, взяв революционную сторону гегелева метода, отвергнув и разгромив его идеалистическую

* G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik I. A.a.O. Bd. 4. S. 73.

** Выполненное Д.Е. Жуковским русское издание книги Куно Фишера „История новой философии“ вышло в Санкт-Петербурге между 1901 и 1909 гг. Бухарин использовал издание, вышедшее в 1933 в Москве / Ленинграде под названием «Гегель. Его жизнь, сочинения и учение».

систему, создавать *свою* материалистическую, диалектику, в которой гегелева диалектика имеется лишь в «снятом виде». Марксова диалектика есть *снятие* гегелевской диалектики, ее сохранение, отрицание, возведение на высшую ступень, *Aufhebung* (227), содержащее *conservare, negare, elevare*, ибо марксова философия есть диалектический материализм: *материализм* – против идеализма всех видов, *диалектический* против «глупого» (Ленин ^{***}), «вульгарного», механистического материализма, который должен быть точно так же преодолен как и «умный» гегелевский идеализм.

^{***} W.I. Lenin: Konspekt zu Hegels „Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie“. LW. Bd. 38. S. 263.

Глава XVI О ГРЕХАХ МЕХАНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА

История материализма должна быть еще написана. Большая заслуга *Плеханова* заключается, между прочим, в том, что он опрокинул многие искажения, которым подвергся материализм со стороны своих идеалистических противников (например, *Ф. А. Ланге*, кантианца), – таковы его «*Beiträge zur Geschichte des Materialismus*»* (228). Как злобствовал идеализм, даже в лице его самых высоких, авторитетных и гениальных представителей, видно на примере *Гегеля*. Он отделяется от *Левкиппа*, *Демокрита*; он вытравляет все материалистические элементы у гиганта древнегреческой мысли, *Аристотеля*. Он ругательно ругает *Эпикура*, мыслителя, который за 2 тысячи с лишком лет до нашего времени защищал атомистическую теорию, предугадал движение атомов по кривым, построил гипотезу об излучении мельчайших частиц, создал за три века до так называемой нашей эры *локковское* учение о первичных и вторичных качествах, изгнав из философии всякую телеологию и, по словам самого *Гегеля*, «открыл эмпирическое естествознание, эмпирическую психологию»**. Тот же *Гегель* пренебрежительно похлопывает по плечу всех их материалистов XVIII века, похваливая их больше за французское остроумие и защищая их революционное просветительство от слишком вульгарных нападок (порядки де мол были во Франции невыносимы – свинские!***). Характерно то, что во всех этих нападках *Гегель* берет под обстрел не столько *антидиалектичность* старого материала, сколько именно его *материализм*: «плоско», «банально», «тривиально», «пусто», «скудно», «не-мысли», «отсутствие мыслей», «скука» и т. д., – вот характерные отзывы *Гегеля* о материалистах: все они не доросли до «спекулятивной» мысли, до «высшей» мысли etc. Но зато какой почет и сколько страниц отводится *Якову Беме*, совершенно дурацкому мистик и юродивому. Нечего и говорить, что

* G.W. Plechanow: *Beiträge zur Geschichte des Materialismus*. Stuttgart 1896.

** G.W.F. Hegel: *Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II*. A.a.O. Bd. 18. S. 497.

*** „Wir haben gut den Franzosen Vorwürfe über ihre Angriffe der Religion und des Staates zu machen. Man muß ein Bild von dem horriblen Zustand der Gesellschaft, dem Elend, der Niederträchtigkeit in Frankreich haben, um das Verdienst zu erkennen, das sie hatten.“ G.W.F. Hegel: *Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III*. A.a.O. S. 444.

для своего времени *Демокрит*, *Эпикур*, *Лукреций Кар* были крупнейшими философами; что настоящий, а не средневековый схоластицированный, *Аристотель* часто вплотную подходил к материализму; что в Англии *Гоббз* и *Бэкон* были крупнейшими мыслителями; что плеяда *энциклопедистов* в истории мысли останется навсегда, как сверкающее созвездие. *Много* ниже их стоит «вульгарный материализм» *Бюхнера–Молюшотта**: не даром Энгельс обозначал их «болванами»** по сравнению с идеалистом *Гегелем*, да и *Ленин* предпочитал (логически) умных идеалистов глупым материалистам (см. «Философские тетрадки»***). Но, ради исторической справедливости, вспомним, какую роль сыграл даже этот вульгарный материализм в *Германии*, и у нас, в *России*: недаром в «Отцах и детях» фигурирует «Kraft und Stoff»**** (229), недаром такие люди, как *Д. И. Писарев*, были восторженными почитателями и пропагандистами бюхнеровского материализма, недаром под его влиянием находились такие огромные умы, как *Сеченов*, автор «Рефлексов головного мозга» (230), который проложил дорогу одному из корифеев русской науки, *И. П. Павлову* и положил начало т. н. «русской физиологической школе». Да и сам *Ленин* утверждает, что марксисты критиковали *Маха–Авенариуса* по-бюхнеровски...*****

Но, разумеется, было бы глупой ограниченностью не видеть ограниченность всего старого материализма; который в *целом* (несмотря на крупные различия его разнообразных течений), был все

* F. Engels bezeichnet Büchner in der „Alten Vorrede zum ‚Anti-Dühring‘“ als „Reiseprediger“, der einen „vulgären Reiseprediger-Materialismus“ vertritt. MEW. Bd. 20, S. 331, 332.; MEGA2, I./26. S. 330, 331. Bucharin greift hier ein Thema auf, das er im Aufsatz „Die Lehre von Marx und seine historische Bedeutung (Versuch einer theoretischen Kennzeichnung)“ im Abschnitt „Marx‘ philosophische Synthese“ ausführte. Siehe: N. Bucharin: Utschenije Marks’a i ego istoritscheskoje snatschenije. [1933] In: N. Bucharin. Isbrannyje trudy. Leningrad 1988. S. 144.

** F. Engels: Dialektik der Natur. MEW. Bd. 20. S. 472 u. 476.; MEGA2, I./26. S. 345 u. 346. Bucharin greift hier ein Thema wieder auf, das er schon im Aufsatz „Die Lehre von Marx und ihre historische Bedeutung“ (1933), spez. im Abschnitt I: Die philosophische Synthese von Marx, behandelt hatte. N.I. Bucharin. Problemy teorii i praktiki sozializma. Moskau 1989. S. 331-421.

*** W.I. Lenin: Konspekt zu Hegels „Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie“. LW. Bd. 38. S. 263.

**** „Vorgestern sehe ich ihn Puschkin lesen“, fuhr Basarow währenddessen fort. „Mach ihm doch mal plausibel, daß das Zeitvergeudung ist. Er ist doch kein Kind mehr: Diesen Firlefanz sollte er endlich lassen. Was will er heute absolut noch den Romantiker mimen! Gib ihm lieber etwas Vernünftiges zu lesen.“ „Und was etwa?“ fragte Arkadij. „Na, vielleicht fürs erste Büchners ‚Kraft und Stoff‘.“ Iwan Turgenjew. Väter und Söhne. Deutsch von Harry Burck, Berlin/Weimar 1986. S. 51.

***** Bucharin verweist auf einen Aspekt, den Lenin in „Materialismus und Empirioskritizismus“, hier insbesondere den Abschnitt „Über zweierlei Kritik an Dühring“. LW. Bd. 14, S. 237-242, und im „Konspekt zur ‚Wissenschaft der Logik‘“ ausführte. W.I. Lenin: Konspekt zur „Wissenschaft der Logik“. LW. Bd. 38. S. 169.

же *механическим* материализмом. Его ограниченность и его недостатки были вскрыты с исчерпывающей полнотой *Марксом* и *Энгельсом* именно потому, что они прочно объединили материализм с диалектикой, создав *диалектический* материализм*.

Чрезвычайно полезно еще раз остановиться на этом вопросе, хотя бы суммарно и коротко: это потому, что наиболее сложные проблемы современной науки и философии *невозможно* решить с точки зрения *механического* материализма, и он только *питает* идеалистические течения, вроде так называемой «идеалистической физики» и витализма в биологии, не говоря уже об их философской покрывке.

Старый материализм был *анти-диалектичен*: этим, в сущности, сказано все. Но сие подлежит развитию.

Здесь, прежде всего, выдвигается проблема *количества-качества*. Механический материализм носил ярко выраженный *количественный* характер. Бескачественный атом, тождество атомов. Их количество и количественные определенности (число, скорости и т. д.) лежат в основе всего. Закономерности движения их суть закономерности механического движения, то есть простого перемещения в пространстве. Сами неделимые, являющиеся кирпичами мироздания, неизменны. Их различные количества дают чувственное разнообразие вещей для субъекта. Качество есть, таким образом, вообще скорее субъективная категория. Задача познания – свести качественные разнообразия к истинным, т. е. количественным соотношениям. Единственным типом связи является механическая причинность, все остальное должно быть отброшено. Качественная целостность это сумма своих частей (или нечто вроде этого), подлежит разложению и должна быть выражена в количественной формуле. И т. д.

Нетрудно видеть, что здесь был настоящий пафос *механо-математической* окраски. В благородном стремлении изгнать телеологию и телеологию из царства науки и философии, этот материализм крайне упрощал действительность, вытягивая его по струнке голый механики. *Исторически*, в известное время, в этом напоре была глубоко прогрессивная черта; но она быстро превратилась в свою диалектическую противоположность, создав непреодолимые затруднения для движения незнания вперед.

Уже в самых «предельных» понятиях механического материализма видна его ограниченность. Его бескачественный и неизменный *атом*,

* Anspielung auf den Gedanken Lenins in „Materialismus und Empiriekritizismus“: „Deshalb unterstrichen Marx und Engels in ihren Werken mehr den *dialektischen* Materialismus als den dialektischen *Materialismus*, legten sie mehr Nachdruck auf den *historischen* Materialismus als den historischen *Materialismus*.“ LW. Bd. 14. S. 333.

«неделимое» в действительности оказывается *качественной*, делимой и подвижной величиной. Атомы различны по своим качественным свойствам: атом водорода – не то, что атом кислорода и обладает целым рядом специфических, особых свойств и «ведет» себя в соотношении с другими совсем иначе, чем атом кислорода. Следовательно, уже в этом *исходном* пункте виден порок бескачественности. Гегель обнаружил свое *отрицательное* «качество», когда, как *идеалист*, протестовал в разных местах своих трудов, протестовал упорно, настойчиво и с руганью, против самого понятия атомов, считая их пустяковой иллюзией. Современные идеалисты и агностики, еще недавно отрицавшие атом или считавшие его только «символом», «моделью» и т. д., посрамлены в этом пункте совместно с Гегелем. Но, как *диалектик*, Гегель оказало целиком прав, утверждая невозможность неделимости, неизменности, *бескачественности*. Механический материализм все качественное стремился перевести в *субъективное* (хотя и непоследовательно!) и, во всяком случае, *растворить* качественное в количественном. Между тем *качественное многообразие* есть объективная категория, качество есть качество *бытия*, оно ему *имманентно*, так же как и количество, с переходом одного в другое. Из этой ограниченности проистекала трактовка всего органического, живого, и мыслящего живого по типу механического, к которому оно «сводилось» (проблема так называемой «редукции»): «L'homme machine» (231)* – есть символическое обозначение означенной тенденции. Переход от физики к химии, от химии к биологии, от биологии к социологии и т. д. с применением категории *меры*, т. е. скачка к новому *качеству*, к новой *целокупности*, к новому типу *движения*, к новой *закономерности*; все это оказывалось недоступным механическому материализму.

Всякое целое, совокупность, «Totalität», он имел тенденцию рассматривать, как *механический агрегат*, который отличается от любого другого агрегата числом и пространственным положением составляющих его атомов. При этом упускалось из виду, что на самом деле *целое* не есть агрегат, и не равняется куче своих составных частей, его сумме. Даже солнечная система не есть сумма тел, а при наличии особого типа связи, специфическое единство. В *живом*, органическом, теле разьединение его на части превращает это целое в труп, и еще *Аристотель* прекрасно выяснил этот вопрос, хотя и подвел его под крышу идеалистической «энтелехии» (об этом позднее). В *органическом* мире, следовательно, налицо *новое* качество

* J.O. de Lammetrie: Der Mensch als Maschine. 1747.

и новая целостность. Точно также и *общество*, есть нечто отличное от *вида* «человек», отличается от него специфическими свойствами, качествами, закономерностями. Это все совершенно *объективные*, независимо от субъекта существующие *качества* и особые качественно различные *«целокупности»*.

Если *материя* качественно различна, то и ее *движение*, «законы движения», тоже различны и не разложимы *просто* на моменты механического движения. Здесь несколько нужно задержаться. Обычно при обсуждении вопроса о «редукции» обнаруживаются такого рода контрверзы: одна сторона говорит, что у другой, протестующей против сводимости, остается мистический осадок, неразложимый *residuum* (232), который, например, в биологии и есть «энтелехия», мистическая *vis vitalis*, «жизненная сила» и т. д.; другая – упрекнет своих противников в отрицании качественной специфичности, т. е. в основном грехе механического материализма. В действительности вопрос разрешается довольно просто. *Новое* качество вовсе не есть прибавка к свойствам прежних элементов, взятых в новой связи; оно не рядомложено с ними; оно не может быть поставлено в одну шеренгу. Оно есть функция особым образом связанных моментов. Если эта связь разрушается, разрушается и эта функция, ни для какого *residuuma* места здесь нет. «Составные» моменты существуют в новой целокупности, но в *снятом виде*, выражаясь гегельским языком: они стали *превращенными* моментами *нового целого*, а не просто втиснутыми в него, как картошка в мешок.

Даже в столь излюбленной механическим материализмом области, как *математика*, качество играет и в весьма высоких областях огромную роль: например, переход от конечных величин к *бесконечным*, к которым уже неприменим целый ряд понятий, превосходно приложимых к величинам конечным.

В связи с этим стоит и другой вопиющий недостаток механического материализма: он не видит *развития*, он *анти-историчен*. В самом деле, если любое единство есть механическое *плоское* единство, а не диалектическое, не противоречивое, не переходящее в новое качество (*онтологически*, в действительном бытии), то тем самым делается невозможным истинное понимание развития, которое и состоит в становлении «нового» и исчезновении «старого». Поэтому, например, в утонченном варианте или проявлении механического материализма, в пресловутой «теории равновесия» дана, например, грубо-механическая трактовка производственных отношений (координация материальных «живых машин» на трудовом поле – точно *общественная* материя, это то же

самое, что материя в физике!), а с другой – исходным пунктом взято *равновесие* (хотя и подвижное!), тогда как равновесие вообще можно рассматривать лишь как частный случай *движения*. Французский материализм XVIII века был *рационалистичен*, связан с представлением об «естественном состоянии», об «общественном договоре», совершенно не понимал действительных движущих сил истории и трактовал грехи настоящего, как результат злоупотреблений или «непонимания» *естественных и вечных* законов (*loi naturelle*). Законы природы и законы общества у него были не историческими, меняющимися, преходящими, выражающими (в разных масштабах времени и пространства) преходящие процессы, а вечными и неизменными соотношениями наподобие геометрических теорем в обычной их трактовке. *Натуралистическая* трактовка общественного закона, неизбежно связанная с рационалистически-статическим, т. е. метафизическим, т. е. антидиалектическим, его пониманием, вытекала, как это очевидно после вышеизложенного, из всей концепции механического материализма.

В обсуждении волнующей проблемы *души и тела* «вульгарный материализм» XIX века оказался ниже материализма XVIII века. Ряд французских материалистов выдвигали правильное положение, что мышление есть свойство особым образом организованной материи, тогда как вульгарный механический материализм *Бюхнера–Молешотта* сколонился к тезису, что мозг выделяет мюль, как печень выделяет желчь, т. е. крайне упрощая всю проблему, грубо «сводя» ее к процессам с *другой* спецификой.

Таким образом, механический материализм как бы спроецировал все многообразие движущегося трехмерного мира на плоскость одного измерения механики, – упрощение и усерение, тривиализация мира, которая так отпугивала полнокровную-богатую и чувственно-артистическую натуру *Гете*.

Но *Маркс* отмечал еще одну черту, один «недостаток старого материализма», до *Фейербаха* включительно. Старый материализм был пассивен (теоретически); человека он рассматривал почти исключительно, как продукт, только объективно, в то время, как – это и отмечает *Маркс* в «Тезисах о Фейербахе» – деятельную сторону развивал больше идеализм. Мы уже мимоходом касались этого вопроса и повторять здесь не будем. *Марксу* принадлежит и здесь честь крутого поворота руля, т. е. рассмотрения объекта, как объекта *практики*, субъекта – как – субъекта *практики*, а не только теоретического мышления; введения категория *практики* в *теорию познания*, в самый ее центр и, наконец, трактовки самого субъекта

познания не как «я», «я вообще», «человека вообще», а как *общественно-исторического* человека, категория неизвестная ни старому материализму, ни *Фейербаху*, ни философии вообще.... Старый материализм разделял здесь общий грех, и его «субъект» был той же самой односторонней внеисторической и внеобщественной абстракцией интеллекта, какой он был и у философов других направлений, да еще с коэффициентом меньшей активности.

Все эти недостатки, односторонность, антидиалектичность старого материализма были преодолены *диалектическим материализмом*, этим гениальным созданием гениальных *Маркса* и *Энгельса*. В развитии философской мысли вообще отсюда начинается в буквальном смысле слова *новая эпоха*.

Механический материализм был материализмом, но он был в теоретическом рассмотрении субъекта пассивен. Активным был идеализм, отрицание материализма. *Диалектический* материализм есть материализм, но *активный* материализм.

Механический материализм был антиисторичен, но революционен. Последовавшая за ним эволюционная теория (в истории – историческая школа, учение о постепенной эволюции в геологии, биологии и т. д.) была исторична, но антиреволюционна. *Диалектический* материализм и историчен, и революционен одновременно.

Механический материализм – материализм, но антидиалектический. Гегелевская диалектика идеалистична. Диалектический материализм объединяет эти противоположности в замечательном единстве.

По поводу соотношений между *Марксом* и *Гегелем* написано много вздору, при чем на ряду с *Пленге* особо отличался на этом поприще не кто иной, как седовласый маэстро, господин *Вернер Зомбарт*, от симпатий к марксизму перешедший к приносящей прибыль (*gewinnbringende Sympathie* (233), как сказали бы немцы) симпатии по адресу башибузуков и янычар фашизма. Из всего сонма квалифицированной немецкой ученой братии один лишь *Трельч* признает, что *Маркс* сохранил и развил ценное диалектическое наследство *Гегеля*. Но зато тот же *Трельч* в своем «Historismus» (234) тут же сообщает, что у *Маркса* ничего не осталось от *материализма*. Он (т. е. марксизм. – *Авт.*) есть крайний реализм и эмпиризм на диалектической основе, т. е. на основе логики, которая, по собственному признанию *Маркса*, объясняет жизненную действительность (*Erlebniswirklichkeit*) не так, как французский рационалистический (*reflexionsmäßige*) непосредственный и

абстрактный материализм, не из материальных элементов и их сложных комплексов (Zusammensetzungen), а как конкретная, опосредствующая (vermittelnde) диалектическая философия, из закона все постоянно расщепляющего и примиряющего, все единичное растворяющего в целом движения»*. Это пишет один из самых умных, знающих и добросовестных. Что же сказать о других?..

Глава XVII

ОБ ОБЩИХ ЗАКОНАХ И СВЯЗЯХ БЫТИЯ

В «Философских тетрадках» *Ленина* есть одно замечательное место, которое мы приведем здесь целиком:

Когда читаешь Гегеля о каузальности, – пи*Владимир Ильи*(235) – то кажется на первый взгляд странным, почему он так сравнительно мало останавливается на этой излюбленной кантианцами теме. Почему? Да потому, что для него каузальность есть *лишь* из определений универсальной связи, которую он гораздо глубже и всесторонне охватил уже раньше, *во всем* своем изложении *всегда* и о самого начала подчеркивая эту связь, *взаимопереходит*с. (236)**.

У *Канта* в «Критике чистого разума» налицо в категории *отношения* три понятия: субстанции, причины, взаимодействия***. *Гегель*, конечно, несравненно богаче: его диалектика развитие диалектики *Канта*. Но как понять *Ленина* с точки зрения всего состояния современной науки? Дает ли вся совокупность научных знаний право сделать ленинский вывод? Подтверждает ли она этот вывод?

Блестяще подтверждает. И вышесказанным положением *Ленин* действительно открывает новый этап, переворачивает совершенно новую страницу в истории философии вообще, в истории диалектического материализма – в частности и в особенности. Ибо не только одни кантианцы выдвигали причинность в качестве чуть ли не единого типа связи. Эта точка зрения, безусловно, доминировала и во

* Ernst Troeltsch: Gesammelte Schriften. Dritter Band. Der Historismus und seine Probleme. I. Buch: Das logische Problem der Geschichtsphilosophie. Aalen 1961. S. 325. Neudruck der im Verlag J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1922 erschienenen Ausgabe.

** W.I. Lenin: Konspekt zur „Wissenschaft der Logik“. LW. Bd. 38. S. 153.

*** I. Kant: Kritik der reinen Vernunft. Kants' gesammelte Schriften. Hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften Bd. 4. Berlin 1911. S. 66.

всей марксистской литературе. Это – факт, который можно подтвердить бесчисленным множеством примеров. Да и что же тут удивительного? Ведь и сам *Ленин* пишет, что уже в XX веке марксисты критиковали махистов (237) по-бюхнеровски больше, чем по-марксистски в строгом смысле слова. И это верно, и *Ленин* не стыдится это признать.

Но что же все-таки означает положение *Владимира Ильича* с точки зрения того гигантского моря упорядоченных эмпирических данных, которые составляют «хозяйство» современной науки? *Причину* мы выделяем из всего комплекса связей и опосредствовании, как нечто, что, воздействуя на другое, переходит в него. Причина – активное начало; «другое» – пассивное. Цепь причин бесконечна: всегда можно спрашивать «почему?» В этом смысле *Гегель* говорит:

Причина сама есть нечто, для чего следует искать причину, переходя таким образом от одного к другому – в дурную бесконечность, которая означает неспособность мыслить и представлять всеобщее, основание, простое, состоящее из единства противоположностей и поэтому неподвижное, хотя и приводящее в движение (Философия Природы) (238)†.

Критическая часть продиктована поисками Абсолюта, покоя. Но *тип связи* здесь все же дан: *Взаимодействие* есть другой тип связи, который состоит в том, что здесь налицо и активная, и пассивная роль на обеих сторонах отношения. В «Науке Логики» *Гегель* определяет взаимодействие как причинность обусловленных одна другою субстанций^{5*}. Этот тип связи принципиально не отличается от причинности. Однако, он предполагает, что за спиной взаимодействующих факторов стоит *третья* величина, моментом которой они являются. Исчерпываются ли, однако, этими потяганиями действительные связи и отношения? Ни в малой степени. Когда, например, я нажимаю курок и происходит ружейный выстрел, то *причиной* его является нажим курка. Но, если бы не было пороха, дроби, патрона, уж не говоря о более общих *условиях*, то не было бы и выстрела. Связь здесь многообразна, и целый ряд *условий* обязательно должен быть, чтобы мог произойти выстрел. Отсюда, между прочим, в свое время сформировался так называемый «*конвенционализм*» (239)

* G.W.F. Hegel: System der Philosophie II. A.a.O. Bd. 9. S. 603.

^{5*} „Zunächst stellt die Wechselwirkung sich dar als eine gegenseitige Kausalität von vorausgesetzten, sich bedingenden Substanzen; jede ist gegen die andere zugleich aktive und zugleich passive Substanz (...) Die Wechselwirkung ist daher nur die Kausalität selbst; die Ursache hat nicht nur eine Wirkung, sondern in der Wirkung steht sie als Ursache mit sich selbst in Beziehung.“ G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik I. A.a.O. Bd. 4. S. 718 f.

(ср. например работы *Макса Ферворна****, который предлагал заменить вообще понятие *казуальности* понятием *условий*. Нетрудно, однако, видеть, что в данном хотя бы примере, факт нажима курка имеет специфический смысл и значение: тут была произведена *работа* (в физическом смысле), которая непосредственно обусловила превращение энергии, модифицировавшись сама.

Итак, необходимы определенные условия, чтобы причина привела к определенному результату. Если этих условий нет, то и следствие окажется другим. Мы уже приводили пример казалось бы «вечного» закона, по которому нагревание тела расширяет его (причина – нагревание, следствие – расширение); однако в звездной физике, *астрофизике* нагревание сжимает тело в силу совершенно других «окружающий условий», т. е. других связей и опосредствовании. Они, таким образом, не могут быть выброшены за борт. Здесь, следовательно, мы видим тип *конвенциональное* связи, которая отнюдь не исключает и не заменяет ни *причинности*, ни *взаимодействия*. Затем мы можем, например, упомянуть о *математических* связях, выражающих типичные действительные соотношения. Если, например, мы формулируем известную еще древним египтянам так называемую «Пифагорову теорему» – сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы», то это опять-таки *особый* тип связи, здесь одно не *следует* за другим, как в соотношении между причиной и следствием, но одно дано совместно с другим. Если мы берем теорию функций, то здесь нечто похожее, но *динамическое*. Значит, у нас еще *два* типа связи и соотношения, не укладываемые в рамки вышеприведенных категорий.

Возьмем, далее, соотношение между «мышлением» и «бытием», «психическим» и «физическим», мыслью (или ощущением) и мозгом (или телесным организмом). Обозначение «физическое» здесь не точно, ибо субъектом является лишь *живая* материя, а не просто «физическое» тело, что, как мы видели, не одно и то же. Можно ли сказать здесь, что мозг есть *причина* мысли, что тут отношение *казуального* типа? Мы думаем, что, строго говоря, нельзя. Ибо здесь смешиваются два совершенно разных вопроса: вопрос о *генезисе* «духа» с вопросом о специфическом соотношении. *Мыслящая* материя произошла из материи *неорганической*. В *этом* смысле материя есть первичное, дух – вторичное. В *этом* смысле материя есть причина духа. Но нельзя *отдирать* дух от материи, ибо материя

*** Бухарин указывает в другом месте на труд Макса Ферворна „Zur Psychologie der primitiven Kunst.“ Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Neue Folge, Bd. VI, Jena 1907. См. N. Bucharin: Theorie des Historischen Materialismus. Hamburg 1922. S. 226.

породила не просто «дух» в его изолированности, *невозможной* изолированности, а мыслящую материю через звено материи ощущающей. Отношение же между «телом» и «духом» субъекта не есть отношение причинности по той простой причине, что это не *два* разных предмета, один протяженный и другой – непротяженный, а это *одно и то же*: мыслящее тело имеет свойство сознать себя и других; сознание есть не объект, а *инобытие* мыслящего тела, функция сознания есть инобытие нервно-физиологических функций полушарий головного мозга, как части *целого*, вне которого мозг не есть мозг. Если бы когда-либо было доказано, что мозг «излучает» какую-нибудь специфическую энергию, то этим вопрос несколько не изменился бы по существу, ибо тогда соответствующая энергия имела бы адекватное *свое инобытие*.

Теория* «психо-физического параллелизма»^{6*} тем неприемлема, что она устанавливает соотношение между *двумя* «субстанциями», их – *нет*. В описательной части она права: нервно-физиологическому процессу «соответствует» то-то и то-то на языке *психологии*. Но это не два процесса, а одно и то же. Здесь *специфичность* связи и соотношения то, что диалектические противоположности совпадают в своем непосредственном тождестве, как *одно*, само себе равное.

Обычное ломанье голов в этом пункте происходит потому, что люди ищут либо наглядного *представления* (две стороны дуги, например, чуть ли не со времен *Спинозы*), а наглядное представление, чувственный образ, здесь а *limine* исключен; либо люди хотят изложить этот *особый* и специфический тип связи, особую категорию отношений, категорию *инобытия*, в понятиях соответствующих *других* специфических категорий, что тоже невозможно. Между тем, здесь – ложная проблема: ибо это соотношение *существует*, как *особое*, оригинальное соотношение, как особый тип реальной связи, и его нужно мыслительно, т. е. «в понятии» и формулировать, как таковой, во всей его специфичности, оригинальности и относительной противоположности к другим формам и типам связи. Все это не исключает особого типа связей и в плоскости самого *инобытия*: таковы, например, *закономерности ассоциаций* и т. д.

Далее, возьмем тип связей, выражаемый так называемым *математическо-статистическим* законом. Обычным примером здесь служит *закон больших чисел*, с иллюстрацией его на акте

* Бухарин говорит о воззрениях Вильгельма Вундта.

^{6*} Эта теория (представитель, в частности, В. Вундт) содержит дуалистическое учение о теле и душе, которое, восходя к Лейбницу, предполагает, что психические и психологические процессы протекают параллельно и синхронно и между ними не существует каузальных отношений.

выбрасывания орла и решетки: чем больше число «опытов», т. е. выбрасываний, тем больше выпадение орла (или решетки) приближается к *половине* всех выбрасываемых случаев (элементарная иллюстрация для начинающих изучать «теорию вероятностей»). Трактовать «математическо-статистический закон, как что-то *вне* опытное, не имеющее *никакого* отношения к реальной действительности; считать, что «чистая математика» есть нечто, никакого касательства к земной жизни не имеющее, это есть «чистый» *вздор*. Мы не говорим уже о понятии числа и т. д. Но здесь ясно видно, что за спиной «математического закона» стоит правильная чеканка монеты, ее симметричная форма. Если бы у нее центр тяжести был смещен, – и результаты были бы иные. Следовательно, и здесь схвачен определенный тип *реальной* связи, *особый* тип; те споры, которые имеются в современной теоретической физике относительно статистической закономерности, относительно «природы» закона в *макрокосме*, говорят о *действительной* проблеме. Во всяком случае мы здесь имеем вопрос о новом типе связи. Вот еще один пример, подтверждающий мысль *Ленина*.

Далее. Берем законы *диалектики*. Еще в «Анти-Дюринге» *Энгельс* определял законы диалектики, как наиболее общие и наиболее всеохватывающие законы, обнимающие природу, общество и мышление*. В «Диалектике Природы» он дал блестящие образцы диалектического материализма, как метода исследования в области теоретического естествознания в его «высших» областях. *Маркс* и в исторических, и в философских работах обнаружил себя непревзойденным мастером этого метода. Но и весь «Капитал» от начала до конца пропитан духом диалектики. Недаром Ильич отмечает в одном из своих афоризмов, что марксисты не знали Гегеля и поэтому до конца не понимали «Капитала»^{7*}.

Но что такое *диалектические законы*? Например, закон раздвоения единого, взаимопроникновения противоположностей, отрицания отрицания, перехода количества в качество и т. д. и т. п. Есть ли это *казуальные* законы? Нет. *Конвенциональные*? Тоже не то. *Статистические*? Тем менее. Что же они такие? Они – *законы диалектики*, да, *законы диалектики*, особые, специфические законы, законы *suī generis* (240), при том наиболее общие.

Это один только вопрос насчет общих *типов* закономерностей. Но мы в этой связи должны напомнить еще то, что мы говорили

* F. Engels: Anti-Dühring. MEW. Bd. 20. S. 131 f.; MEGA², I/27. S. 336.

^{7*} W.I. Lenin: Konspekt zur „Wissenschaft der Logik“. LW. Bd. 38. S. 170.

относительно особых и специфических законов для каждого вида движения качественно отличных видов материи, в первую очередь физических, химических, биологических, а затем и общественных и т. д. На непонимании категории *меры, скачков, специфических качеств* была основана, как мы видели, деревянность, ограниченность и относительная тупость механического материализма. Следовательно здесь различие вышеуказанных типов еще помножается на специфику закономерностей, вытекающих из природы самого объекта, имманентную специфику предмета.

Но тут нас перебивают возмущенные голоса: – Ну, это уж слишком! Ну, автор уже договорился черт знает до чего! Ведь, это чистейшей воды *плюрализм*. Ведь здесь ничего не осталось от *монизма*, которым всегда гордились марксисты еще со времен наделавшей славного шума книги *Н. Бельтова* (241) (Г. Плеханова: «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю») (242)*. Все закономерности разбиты по полочкам, для каждого – особая полочка, все разгорожено, за «спецификой» все разбито и разгромлено, – и мы перед старым корытом** *плюрализма*. Вот уж поистине постыдная диалектика и постыдное превращение в собственную противоположность!

– Ух, как страшно, товарищи! Так страшно, что и сказать нельзя!..

В чем дело? Дело в том, что:

Во-первых, различные качественно объекты *связаны* между собой; они и *особые, специфические*, и в то же время *связанные* с «другим», переходящие один в другой. Здесь налицо *и* многообразие, *и* единство, *единство в многообразии*. Соответственно этому и закономерности *объединяются* здесь (как и реальные объекты) *законами диалектики*. И, наконец, все законы диалектики завязываются в один узел *необходимости*, противоположность которой, *случайность*, является сама формой *необходимости*. *Необходимость* есть та «верховная» категория, которая выражает *единство*, монизм.

Монизм есть отображение *не плоского*, тривиального, покойного и удобного единства, как оплошности, а единства многообразного, расчлененного, противоречивого, с различными, противоположными, переходящими один в другой моментами. Здесь и не пахнет *плюрализмом*. Но здесь нет и ароматов *вульгарщины*.

Но оппоненты думают взять реванш. Они бунтуют, и мы уже слышим голоса:

* G. Plechanow: Zur Frage der Entwicklung der monistischen Geschichtsauffassung. Petersburg 1895.

** Намёк на «Сказку о рыбаке и рыбке».

– Ну да! А вот вы *сдали* материалистическую позицию! Вы считаете, *вопреки Энгельсу, Марксу, Ленину*, что «дух» есть *инобытие* материи! А скажите на милость, разве это не позиция *философии тождества*, то есть идеалистической философии? Хорош материализм.

И на это ответим:

Во-первых, вероятно, почтенные оппоненты знают, что еще *Плеханов* определял марксизм (конечно, «cum grano salis» (243)), как род *спинозизма* («eine Art des Spinozismus»)^{***}? А что такое спинозизм, это – известно.

Во-вторых, совсем не «все равно» сказать: дух есть инобытие материи или материя есть инобытие духа. Если б это было все равно, то, например, *Гегель* был бы не объективным идеалистом, а и материалистом; *Шеллинг* – не мистиком, а материалистом и т. д. Аргумент превращается в собственную противоположность.

В-третьих, для диалектического материализма характерно *историческое* рассмотрение предмета. Сказав, признав, подчеркнув, поставив во главу угла происхождение мыслящей материи из материи неорганической, мы тем самым поставили во главу угла эту неорганическую материю, как исторический и логический (противоположности абсолютной здесь нет и быть не может!) *prius*. Камень не мыслит, земля, как целое, не мыслит, нет *никакого «духа»* земного шара, «души земли», «Мирового Духа» и т. д., инобытием коего является материальный Космос, природа или земля, как планета. На земле философствуют *люди*, и никакой другой «дух» не ткнет паутины философских понятий. Поэтому *идеализм* упирается в конечное понятие *телеологии* и *целеполагающей свободы*, тогда как *материализм* упирается в понятие строгой *необходимости*. Это не значит, что он *вообще* не видит нигде целесообразного и закономерностей цели. Однако, эта закономерность соподчинена у него строгому понятию *необходимости*: она занимает совершенно особое место и является в то же время *выражением* необходимости. А в идеалистических системах, она – Демиург мира. Но мы нарочно выделили этот вопрос, чтобы разобрать его в особой главе тем более, что он стал в настоящее время весьма модным и в философии, и в науке, в особенности в виталистической биологии.

^{***} G. Plechanow hat diesen Gedanken in verschiedenen Schriften geäußert, ausführlicher entwickelt in: Bernstein und der Materialismus (1898). G.W. Plechanow. Eine Kritik unserer Kritiker. Berlin 1982. S. 5-20.

Глава XVIII

О ТЕЛЕОЛОГИИ

Об организации Универсума мы читаем в «Метафизике» Аристотеля:

Мы должны исследовать, каким образом природа целого имеет внутри себя благое и лучшее, имеет ли она их в себе, как некто отдельное и само по себе существующее, или как порядок, или она имеет их в себе двояким образом, как это мы видим, например *в армии*. Ибо в армии благое состоит столько же в порядке, господствующем в ней, сколько и в *полководце*, и последний является благом армии даже в большей степени, чем первый, ибо не полководец существует благодаря порядку, а *порядок существует благодаря* ему. Все координировано известным образом, но не все координировано одинаково. Возьмем, например, плавающих живых существ, летающих живых существ и растения; они не устроены так, что ни одно из них не имеет отношения к другому, а находятся во взаимном отношении. Ибо все координировано в одну систему, точно так же, как в каком-нибудь доме отнюдь не дозволяется свободным делать все, что угодно, а, наоборот, все или большая часть того, что они делают, упорядочены *табы же и животные (sic!)*, напротив, делают мало из того, *что имеет свою цель всеобщее благо*... Ибо принципом всякого существа является его *природа*.

И в подкрепление своей мысли о «полководце» Универсума, т. е. божьего, великий философ и мудрец, воспитатель Александра Македонского, цитирует Гомера: «Многочашие вредно всегда, пусть один господином пребудет»^{**}. Эта «установка» Аристотеля сразу же вскрывает социально-классовую подоплеку теоретических построений: «способ производства» отражается в этом способе представления в поистине неподражаемой, поистине «классической» форме^{***}. Здесь речь отнюдь не идет обо всем богатейшем содержании философского творчества Аристотеля: было бы вообще страшной вульгарщиной и упрощением за спиной чуть ли не каждой философской мысли видеть какую-либо общественно-экономическую

* Aristoteles: Metaphysik. Übersetzung von F. Bassenge. Berlin 1990. S. 312. (курсив N.B.).

** Ebenda, S. 315.

*** См. прим. 1, глава 23.

или политическую категорию. Он наблюдал *предмет* науки, он опирался на идейное наследство. Он сам собрал гигантский *эмпирический* материал. И он сам научно и философски *творил*. Но стилевые общие формы мышления отражали общий стиль эпохи, военно-рабовладельческого «духа» ее, обусловленного «способом производства». Речь идет именно о «*способе представления*», по выражению *Маркса*.

Почему мы схватились за *Аристотеля*? Потому, что до сей поры по сути дела *все* философы-телеологи и *все* телеологи-ученые пережевывают то, что дал в своей концепции, о коей ниже, именно *Аристотель*. И почему мы начали с вышеприведенной цитаты? Потому, что она является ключом и для *логического* и для *социально-исторического* понимания телеологической концепции. Это подтвердится всем ходом последующего изложения в полной мере.

По учению *Аристотеля*, чтоб материя существовала, требуется деятельность «*формы*». Под *формой* разумеется здесь отнюдь не та или другая внешность или реальная структура материи, а нечто совершенно другое, а именно, *активное*, деятельное начало. Сама по себе материя есть лишь возможность (*δυναμις*), она превращается в действительность, принимает форму действительности (*ενεργεια*) лишь при наличии активного начала. Это и есть *энтелехия* (*εντελεχεια*), свободная деятельность, имеющая в себе *цель* и являющаяся реализацией этой цели. Энтелехия есть чистая деятельность, деятельность из себя самой. Абсолютная субстанция есть единство «*формы*» (в специфическом вышеуказанном смысле) и материи, содержащее, т. о. благо, всеобщую цель, бога. Цель есть поэтому хорошее в каждой вещи и вообще наилучшее в природе. Душа – это энтелехия. «Не материя движет сама себя, а Мастер»⁹. Движет то, что составляет предмет желания и мыслителя, но само неподвижно. Это – цель, прекрасное, благо. В понимании природы следует, с этой точки зрения, различать две основные категории: *цель* (*causae finales*, конечные причины) и 2) *необходимость* (*causae efficientes*, внешняя необходимость^{**}). Под целью разумеется не внешняя цель, а *имманентная*, внутренне присущая предмету, как внутреннее стремление, которое может проявляться и как ум без мысли. *Необходимость*, есть лишь внешнее, материализованное, предметное проявление цели.

⁹ G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II. A.a.O. Bd. 18. S. 327 f.

^{**} Ebenda, S. 341 f.

Таково в общем учение *Аристотеля*, которое разработано во всех подробностях, в особенности по отношению к *живому*, т. е. к органике (здесь оно стало базой *витализма*, как об этом мы уже упоминали). Но нужно заметить, что у *Аристотеля* вся природа понимается в этом смысле органически, то есть как жизнь.

Итак: Порядок Универсума – слепок с порядка рабовладельческого, микрокосмоса, перенесенного на макрокосмос, на «все». Во главе – мастер, целепологающий мастер, цели которого объективируются в «порядке», в каждой вещи, «хорошее» которой (или «прекрасное» или «благо») есть цель, в то же время, так сказать, молекула энтелехии, как всеобщей энтелехии, деятельной «формы» мира и его движущего начала; материя и предмет есть лишь зародыш, развертывающийся по норме, заложенной в нем и ему имманентной цели; эта последняя и есть сила развития, внешним проявлением которой является необходимость. Таким образом, во главу угла ставятся «*causae finales*», которым целиком подчинена «*causae efficientes*».

Как ни разработана и как утонченно ни обделана мышлением эта «система», но ее *антропоморфизм*, вернее ее *социоморфизм*, с совершенно анимистическим корнем ясен, как на ладони.

Гегель в «Лекциях по истории философии» не находит достаточных слов для выражения восторга этой стороной аристотелева учения (которая, кстати сказать, лежала в основе всей средневековой католической рецепции *Аристотеля*: именно за это его и прочили в христианские святыя, и *Фома Аквинский* многожды пил из источника телеологически-теологических вод знаменитого греча).

В «Философии Природы» *Гегель* борется с понятием *внешней* цели, но *горой* стоит за *имманентную* телеологию, в которой и выражается «премудрость божия»:

Понятие цели как имманентной предметам природы представляет собою простую их определенность, так, например, зародыш растения уже содержит в реальной возможности все то, что потом обнаруживается на дереве, и этот зародыш, следовательно, как целесообразная деятельность стремится лишь к самосохранению. Это же понятие цели познал в природе уже *Аристотель*, и такую целевую деятельность он называет *природой вещи*. Истинное телеологическое понимание – такое понимание является наивысшим (курсив Бухарина) – состоит

следовательно в том, что природа рассматривается как свободная в ее своеобразной живой деятельности (245)*.

Внешняя телеология (грубая, явно дискредитирующая собою и пресловутой «промысел божий», т. е. все *теологию*: «овцы созданы, чтоб их стричь» – у Гегеля, пробковое дерево для пробок у Гете, ягнята и прочие для супа – у Гейне^{10*} и прочие издевательства явно показывают *невозможность* «внешней телеологии») считается здесь неистинной. *Истинная*, имманентная телеология, наоборот, признается Гегелем за наивысшее познание природы.

Социальный генезис идеи совершенно очевиден; и мы поэтому не будем тратить лишних слов. Но на что опирается концепция телеологов *логически*? Какая черта, грань, качество действительных отношений была здесь «раздута», преувеличена, превращена в сущность, взята в иллюзорной связи вместо связи действительной?

«Материалом» такой концепции послужили: общий строй, «порядок», закономерность мира, объективная закономерность вообще, явная *целесообразность* в органической природе, выражающая относительную *приспособленность* биологических видов (целесообразность морфологическая, как наиболее бросающаяся в глаза, целесообразность окраски и т. д.); *инстинкты* животных, иногда поразительные по своим целесообразным проявлениям; *целесообразная* деятельность человека, его *разумная* деятельность, где цель предстоит действию, где она реализуется в целью направляемом действии.

Остановимся сперва на биологической приспособленности.

В «Физике» Аристотеля имеется одно замечательнейшее рассуждение, в котором Аристотель полемизирует с гениальным предвидением Эмпедокла, предугадавшем *дарвиновскую теорию*. Поразительно, но факт.

Аристотель рассуждает: дождь, который портит, не вовремя идя, хлеба, есть явление природы, случайное по отношению к хлебу; здесь связь внешняя, в этом состоит случайность причины, но здесь же есть необходимая связь вещей, внешняя необходимость.

Но если это так, – продолжает Аристотель – то что мешает нам принять, что то, что выступает перед нами в качестве части, например, части животного, может быть, ведет себя по природе таким же случайным образом? Тот например, факт, что передние зубы остры и хорошо

* G.W.F. Hegel: System der Philosophie II. A.a.O. Bd. 9. S. 36 f. (§ 245, Дополнение). (курсив N.B.).

^{10*} Ebenda, S. 36. (§ 245, Дополнение).

приспособлены к перекусыванию, а задние зубы, напротив, широки и приспособлены к перемалыванию пищи, также произойти чисто случайно, а не необходимо *специально для данной цели*. точно так же это соображение применимо по отношению к другим частям тела, в которых, как нам кажется, имеется налицо целесообразность, так что при этом то живое существо, в котором случайным образом все оказалось так устроено, что оно вышло целесообразно *выпало именно потому что так вышло, хотя первоначально* целесообразное устройство *возникло случайно* внешней необходимостью (246)*.

Далее Аристотель говорит, что это возражение принадлежит Эмпедоклу, который утверждал, что мир был первоначально населен чудовищами; эти чудовища, однако, не сохранились, а погибли, ибо не были приспособлены (247).

Что же возражает Эмпедоклу Аристотель?

И как приходит Аристотель буржуазии, Гегель, на помощь рабовладельческому Аристотелю?

Аргументы против Эмпедокла и того, и другого высокопарны, общи и в то же время жалки. *Ничего*, кроме гордыни и высокомерия «чистого понятия» по адресу эмпирической науки!

Гегель издевается над термином «происхождение» (Hervorgehen), называя его бессмысленным развитием, причем слово бессмысленный употребляется в двойном значении, чтобы тем возвеличить «мысль» о «цели»! Ругательство явно наивное, потому что «бессмыслие» компрометирует тогда, когда *должна* быть мысль, которой нет, и ни мало не компрометирует того, что лежит вне сферы самой категории мысли. Ругательство основано на *petitio principii* (248). Так что же возражает Аристотель?

Природа именно и означает, что каким нечто становится, таким оно существовало уже с самого начала, означает внутреннюю всеобщность и самореализующуюся целесообразность, так что причина и действие *действительны*, ибо все отдельные члены соотнесены с этим единством цели. Напротив, тот, кто принимает вышеуказанное случайное образование, уничтожает природу и то, что существует от природы (sic!) от природы существует то, что имеет в себе некое начало, посредством которого оно в непрерывном движении достигает своей (249)

* G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II. A.a.O. Bd. 18. S.343 f. (курсив N.B.).

* Ebenda, S. 345. (курсив N.B.).

Гегель в восторге. Здесь «все истинное, глубокое понятие живого!»^{11*} Прекрасно, возвышенно и т. д. Но где хоть тень доказательства? Одно декретирование, один логический манифест к «армии», одно сплошное повторение в виде доказательства того, что должно обнаружиться лишь, как вывод.

Сам *Гегель*, в комментариях к Аристотелю, выдвигает следующие соображения: (250)

...аристотелево понимание имманентной целесообразности было утеряно под влиянием двух факторов: механической философии и теологической физики. Теологическая физика выдвигала мысль о внемировом интеллекте, как всеобщей причине, тоже своеобразно апеллировала к внешнему; механистическая философия клала «в основание давления, толчок, химические соотношения, силы и вообще всегда внешние отношения, которые, правда, имманентны природе, однако (слушайте!) не проистекают из природы, так как представляют собою извне данный чуждой природе, подобно цвету в жидкости.

Дальше – хвала *Канту* за живое, как самоцель^{***}.

Здесь внемировой бог поставлен на одну доску с внемировой материей (совсем «святая материя» наших эмпириокритиков, издававшихся над материализмом и внешней реальностью. Как, все же, кое что повторяется в истории!). *Гегель* по сути дела опять-таки не аргументирует, а просто вещает, углубляя свое представление о природе до того, что природные отношения объявляются у него чем-то чужим природе, подобно мельчайшим частицам красящего вещества, подвешенным в воде! Но если эти отношения чужие, то чьи же они? Из какого такого мира взяты напрокат? Если они чужие и духу и природе, то что они такое даже с точки зрения самой гегелевской философии? На это нет ответа.

Так стремление сбросить во что бы то ни стало действительную природу приводит (правда, без «цели», положенной Гегелем!) к явно «бессмысленному развитию».

Но перейдем к существу вопроса. Целесообразность в смысле относительной приспособленности видов к внешней среде есть факт. Вопрос заключается не в том, чтобы отрицать этот факт, а в том, чтобы вскрыть его реальное содержание и взять в общей диалектической связи природы.

^{11*} Ebenda.

^{***} Ebenda, S. 348 f. (курсив N.B.).

Эмпедокл совершенно правильно подошел к проблеме. Случайная – как теперь сказали – *мутация* подхватывается отбором; те индивиды вида, у которых оказалась полезная мутация, имеют большие шансы на выживание; неприспособленные гибнут. Отбор просеивает, остаются наиболее приспособленные; вытянутые в одну цепь – они дают картину *целесообразности*.

Но что такое здесь целесообразность? Как ни трактовать *мутацию* (ламаркистски или еще как-нибудь, например, как продукт скрещивания различных особей с различными «генами») здесь нет цели, заранее положенной; *целесообразность* же ряда, в результате отбора, есть *необходимое* следствие, оборотной стороной которого является дикая миллионоголовая «*нецелесообразность*», то есть *гибель*, громаднейшего, бесконечно большого количества неприспособленных. Сама целесообразность является здесь *post factum*, а не как движущая *цель*. Она есть, так сказать, *побочный продукт необходимости*, только в этом смысле и только в этом значении она может найти себе место. Другими словами: целесообразность есть момент необходимости. Этого не понимал ни Аристотель, ни Гегель, ни наши русские доморожденные анти-дарвинисты типа *Данилевского*, ни современные виталисты во главе с *Дришем* (Hans Driesch). Таким образом, вся телеологическая концепция рушится. Но она может быть разрушена и с другого конца. В самом деле, целесообразный зуб тигра, в котором внешнее проявляется «благо» тигра и энтелехия, есть *отрицательное* для «другого», скажем, для *лани*. «Травоядные» зубы для лани есть «благо» лани по отношению к траве, *отрицательное* с точки зрения травы, *отрицательное* с точки зрения лани по отношению к тигру, *положительное* с точки зрения тигра по отношению к лани. Так в чем же «благо» *всеобщей* энтелехии? В том, что и траву, и лань, и тигра так или иначе потребляет *человек*? И что в этом и есть «высшая цель»? Ведь, *ничего* другого не остается, *никакого* другого выхода нет! Но если это так, то мы благополучно и возвращается к осмеянной всеми «Теории», по которой пробковое дерево существует чтоб закупоривать бутылки, ягненок – для мяса и супа, овца – чтоб ее стричь, и салат, чтобы его есть с жарким. Мы, отъехав от этой наивно-филистерски-глуповатой концепции, благополучно возвращаемся к ней с другого конца, по кругу, а «*имманентная*» телеология раскрывает ей имманентное свойство и обнаруживает свою сущность, а именно то, что она есть лишь утонченный вариант *телеологии грубой* и грубо *телеологической*, где «Мастер», то есть, бог, устрояет все для человека, хотя и действует часто совершенно непостижимо. Но на это уже есть тертуллианово

«credo quia absurdum est»... Сам «Привод» к грубой телеологии мы видим и у самого *Гегеля*, который позабыв свои собственные насмешки над ней, так например, определяет растение: «Растение есть подчиненный организм, *назначение* которого – служить вашему организму и быть предметом его потребления» (Философия Природы, 437)... (251)*.

Сложнее обстоит дело с *инстинктами*, т. е. со способностями животных производить целесообразные действия, обеспечивающие сохранение вида и индивида, (инстинкт самосохранения, половой инстинкт, инстинкт любви к потомству и т. д.); врожденные и безотчетные, однообразное и мощные факторы, которые объективно-физиологически предстоят, как безусловные рефлексy, а психологически, вероятно, представляются смутным влечением, бессознательной или смутно-сознательной тягой. Здесь есть уже *переход* к цели, цель *бывает*, чтоб сделать удовольствие Аристотелю. Но она точно так же есть момент *необходимости*, и все наши предыдущие рассуждения целиком правомерны и здесь.

Инстинктивное влечение переходит в *цель* у мыслящего человека, проходя ряд промежуточных станций, на которых нам можно не останавливаться. Здесь создается *новое качество*, цель в настоящем смысле слова, нечто заранее полагаемое и реализуемое. Появляется субъект, разумный *субъект*, *Целеполагающий субъект*, Это – нечто принципиально *новое*, здесь *скачок*, хотя, вообще говоря, он подготовлен предыдущим Развитием, и налицо *единство* прерывного и непрерывного. Но это – особая, боковая тема, хотя и важная в другом аспекте. Здесь есть действительно цели, цели *stricto sensu*, и целесообразная деятельность. Известен пример, приводимый *Марксом* в 1-м томе «Капитала», где он сравнивает архитектора с пчелой, причем архитектор заранее имеет образ, план постройки, как *цель*, определяющую его целесообразную деятельность, тогда как пчела этого не имеет и строит бессознательно*.

В человеке природа *раздвояется*: субъект, *исторически* возникнув, противостоит объекту. Объект превращается в материю, в предмет знания и практического овладения. Но человек является противоречием, диалектическим противоречием: он в одно и то же время и «*противочлен*»^{12*}, как это называет *Авенариус*, т. е. субъект,

* G. W. F. Hegel: System der Philosophie II. A. a. O. Bd. 9. S. 575. (§ 349, Дополнение).

* K. Marx: Das Kapital I. MEW. Bd. 23. S. 193.; MEGA², II./10. S. 162.

^{12*} In Avenarius' Lehre von der Prinzipialkoordination („Der menschliche Weltbegriff“, 1905) wird das Ich als *Zentralglied* der Koordination und die Umgebung als *Gegenglied* bezeichnet. Vgl. W. I. Lenin: Materialismus und Empiriokritizismus. LW. Bd. 14. S. 59 ff.

противопоставленный природе, и *часть* этой природы, не могущая быть вырванной из этой диалектической всеприродной универсальной связи. Когда Гегель вводил свое трехчленное деление – механизм, химизм, телеология – он на идеалистическом языке по сути дела (т. е. если его «читать» материалистически, как советовал Ленин) формулировал исторические ступени развития, действительного развития. Но идеалистическая философия проделывает здесь такую операцию: она категорию, явившуюся в результате исторического развития, как момент природной *необходимости*, превращает в нечто *первоначально данное*, универсализируя эту категорию; затем эта якобы первоначальная универсализированная данность описывает гигантский круг и возвращается к самой себе. Этот фокус, в сущности, вовсе не сложен, но его нужно понять в его «развитии» и согласно его «природе, что мы здесь и делаем. Но отсюда вытекает с полной очевидностью, что только разрыв с *диалектикой*, вырывание, *антидиалектическое вырывание* «телеологии» (или, в других работах Гегеля, «органики») из контекста исторической природной необходимости, может привести к возведению цели в первоначальную «форму», т. е. деятельно-разумное начало всех начал. В действительности же человек, как биологический индивид и как общественно-исторический индивид есть одновременно и целеполагающий субъект, и *звено* в цепи *природной необходимости*. Цель здесь *момент* этой необходимости, хотя она уже не метафора, не зародыш цели, не *δυναμεις*, а *действительная* цель, цель *ενεργειαι*. Понимание этого прорывается и у Гегеля, например, когда он говорит, что в своих целях человек зависит от природы и подчинен ей.

Следовательно, здесь налицо самая настоящая *цель*, целеполагание, телеология. Это – нечто реально существующее. Но сама телеология – *момент необходимости*, исторически возникший. Цель – есть (на земле) *человеческая* цель. Совершенно невозможно проецировать ее на землю и на универсум, как всеобщую энтелехию. Если, по связи всего земного, мы можем сказать, что земля имеет цели, то это человеческие цели, цели человека, как продукта земли, природы, а не как сверхчеловеческая планетарная цель, эманативная частичка которой якобы обретается в человеке. Диалектический материализм не трактует человека, как машину, не отрицает особых качеств, не отрицает цели, как он не отрицает разума. Но диалектический материализм рассматривает эти особые качества, как *звено* в цепи природной необходимости, человека, рассматривает в

его противоречивой двуединости, как антагониста природы и часть природы, и как субъекта, и как объекта, а специфический телеологический принцип, как момент принципа необходимости. Это соответствует *действительной* связи вещей и процессов, а иллюзорная связь должна быть безжалостно разрушена до конца. Так обстоит вопрос с телеологией в его общей постановке.

Глава XIX

О СВОБОДЕ И НЕОБХОДИМОСТИ

Предыдущим по существу предрешен и пресловутый вопрос о «свободе воли» и необходимости.

В самом начале да разрешено будет заметить: свобода в смысле беспричинности, в смысле индетерминизма, «чистая свобода, есть не что иное как воля, взятая в себе, без всякого отношения к другому, вне всякой связи, то есть такая же нелепая *пустая* абстракция, как и кантовская «*вещь в себе*». Поэтому в «Критике практического разума» она и ходит в упряжке с *богом* и *бессмертием души*, как постулатами практического разума. В этом гипостазировании и изоляции чистой «свободной воли» – гвоздь всей морализирующей, этической и «культурно-этической» болтовни у эпигонов кантианства.

Нужно сделать еще одно предварительное замечание, на этот раз о *необходимости*. Уже *Аристотель* отличал несколько понятий необходимости; а именно, он указывал, что слово «необходимо» имеет тройное значение:

1) оно означает, насильственное, «то, что идет против склонности»; 2) «то, без чего не существует благого»; 3) «то, что не может существовать иным образом, а существует абсолютно»*.

Это – в высшей степени важное различие. Ибо тот бунт во имя «свободы воли», который подымают идеалистические философы (в подавляющем случае идеологи *земных* целей!), обычно апеллирует к чувству свободы, к ощущению свободного *волевого акта*, точно это ощущение есть свидетельство его беспричинности и неопределяемости, его в-себе-чистоты и самодовления! *Ленин* поэтому писал в своих комментариях к «Большой Логике» *Гегеля* («Наука логики», II отд.), анализируя вопрос о *практике*:

Техника механическая и химическая потому и служит целям человека, что ее характер (суть) состоит в определении ее внешними условиями (законами природы) (252)**.

И далее:

На деле *цели* человека порождены объективным миром и предполагают его, как данное, наличное. *Кажется* человеку, что его цели вне мира взяты, от мира независимы («свободны»)**.

Это – точь-в-точь то же, что формулировал «more geometrico» еще *Б. Спиноза* в своей знаменитой «Этике» (254)^{13***}, всемерно протестуя против распространенного взгляда, будто «человек имеет неограниченную силу и ни от чего не зависит, кроме самого себя». *Спиноза* гениально схватил это основное, эту абстрактную *пустоту* «чистой воли», взятой «в себе», т. е. вне всяких отношений. На самом деле это – миф, хотя ощущение волевого акта может быть ощущением полной *свободы*:

Так, ребенок воображает, что он свободно желает молоко, которое его питает; если он сердится, он думает, что свободно хочет отомстить; если он пугается, что он свободно хочет бежать

* G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II. A.a.O. Bd. 18. S. 330.

** W.I. Lenin: Конспект zur „Wissenschaft der Logik“. LW. Bd. 38. S. 178 f.

*** Ebenda, S. 179.

^{13***} B. de Spinoza: Die Ethik, nach geometrischer Methode dargestellt. Einleit. von R. Schottlaender. Hamburg 1989. S. 108.

**** Ebenda, S. 115. Vgl. hierzu auch: N. Bucharin: Theorie des historischen Materialismus. Hamburg 1922. S. 27 f.

Но здесь – как мы видим – везде идет речь о необходимости в *третьем* аристотелевом смысле, и *только* об этой необходимости мы сейчас, в данном случае говорим: именно она составляет главный предмет, центр всей *проблемы*, а отнюдь не «насилие», о котором упоминает *Аристотель*. Поэтому отрицание «свободы воли» и признание *необходимости* совершенно не эквивалентно представлению о связанном по рукам и ногам человеке. Это совершенно *другой* вопрос, не совпадающий с нашим, не покрывающий его. Ибо суть философской проблемы заключается не в противоречии между волей и миром, когда последний обрушивается на вас горы пепла, как в Геркулануме (255), или когда он делает недостижимыми ваши желания, или когда он ограничивает их: центр философской проблемы в том, свободен ли *свободный* акт в смысле *независимости* и неопределяемости его другим, или же он звено в цепи природной необходимости, проявляющейся, как *субъективная свобода*. Это есть наиболее трудный вопрос.

Ответ на него тот, что в этой свободе заложена *необходимость*. В свободном хотении ребенком молока, в его влечении, проявляется природная закономерность. В мощном половом инстинкте проявляется природная закономерность. В свободном стремлении удовлетворить голод и жажду проявляется природная закономерность. И т. д. Здесь природная закономерность есть *природа самого субъекта*, обнаруживаемая им в актах воли; это действительно *его*, субъекта воля, проявление его, субъекта, природы. Но так как сам он вне природы *ничто*, абстракция, иллюзия; так как сам он продукт и часть природы, то закономерность *его* природы есть *природная* закономерность. «Свобода воли» идеалистов есть свобода не только от внешнего мира, но и от природы», действительной природы, *самого субъекта*» Другими словами: здесь не только абстракция изолированного субъекта, и не только абстракция его сознания, но абстракция *части* сознания, возведенная в абсолют и вращающаяся в самой себе. Точно так же, как в анализе процесса *познания* идеалистическая философия оперирует с универсализированной абстракцией интеллектуальной стороны, беря ее «в себе», точно такую же *грубо-антидиалектическую* операцию она производит с волей, т. е. с другой стороной сознания. Немудрено, что *Шопенгауэры* трактовали после этого «мир, как волю и представление»!

О, да простят нас глупые (умные поймут!). Но научный ключ, отличный ключ, к проблеме доставляют ими собаки покойного академика *Павлова*. Необычайно строго проведенными опытами,

которые в течение долгих десятилетий проделывались в лабораториях *И. П. Павлова*, показаны и объяснены процессы образования рефлексов и их цепей, характеризующих с объективно-физиологической стороны акты поведения, волевые акты, в их связи с внешними раздражителями. В своих последних работах *Павлов* перешел к *человеку*, со всей строжайшей свойственной этому ученому, методической осторожностью, и из этих лапидарно-написанных работ, где за каждым словом скрываются громадные напластования фактического материала, с чрезвычайной яркостью смотрят на нас объективные закономерности *человеческого* поведения, и «нормального», и «патологического». Как *Дарвин* вскрыл природную закономерность, т. е. *необходимость*, в целесообразности жизни *видов*, так *Павлов* вскрыл природную закономерность, т. е. *необходимость* в жизни *индивидов*; биология получила здесь свое достойное дополнение в физиологии. Нервно-физиологический субстрат волевого акта здесь понят в его связях и опосредствованиях со средой, и Раскрыто его диалектическое движение. Тем самым обнаружена и природа его инобытия, как момента общей закономерности природы.

Высокомерные глупцы могут сколько им угодно хихикать по поводу переходов от собак к «царю природы», точно так же, как в свое время филистеры и богобоязненное бабье обоего пола хихикало над «обезьяной» по поводу дарвинизма. Но на то это и филистерский сброд, чтобы глумиться над гениальными открытиями человеческого разума, какового этот филистерский сброд и лишен, хотя он и воображает, что «заступается» за честь и достоинство разума. Такова, впрочем, обычная ирония истории!..

Таким образом, и телеология индивидуального поведения, т. е. разумного целеполагающего поведения, т. е. актов воли, включена в цепь *необходимости*, то есть научно понята и истолкована.

Вопрос об *общественном* поведении *общественного* человека имеет свои особые, специфические и при том исторически определенные стороны и с точки зрения рассматриваемой нами проблемы «свободы воли». В «Людвиге Фейербахе» *Ф. Энгельс* писал: (В истории) «ничего не случается без сознательного намерения (Absicht), без желаемой цели». Однако, только весьма редко осуществляется то, чего пожелали (das Gewollte); в большинстве случаев перекрещиваются и сталкиваются в борьбе (widerstreiten sich) многочисленные желанные цели (gewollte Zwecke)... Таким образом, столкновения бесчисленных воль и отдельных действий приводят на исторической арене к такому состоянию, которое вполне аналогично

явлениям, господствующим в бессознательной природе. Цели действий выступали, как желания, но результаты, которые действительно последовали за этими действиями, не были предметом желаний, или же, поскольку они все же по видимости соответствуют желаемым целям, все же они имеют, в конце концов, совершенно другие последствия, чем те, которых желали»...

Люди делают свою историю, как эта история ни протекает; при этом каждый преследует свои собственные, сознательно поставленные цели», результата этих действующих в различных направлениях воле и их разнообразного воздействия на внешний мир и есть история... Но... действующие в истории многочисленные отдельные воли большую частью вызывают совершенно другие, часто совершенно противоположные результаты, чем те, которые хотели иметь (356)*.

Здесь замечательно схвачено то, что *В. Вундтом* было названо законом *гетерогенности целей*^{14*}. Но это уже другая проблема, хотя и смежная. Цели здесь определены, они рождаются из определенной обстановки; но *Энгельс* останавливается на другом, а именно на том, что они не реализуются, или ограничиваются, или в своем результате приводят к прямо противоположному. Примером могут служить хотя бы периодические капиталистические *кризисы*. Эти кризисы суть моменты экономического цикла, т. е. проявление определенной закономерности общественного характера, один из «законов движения» капиталистического общества, т. е. категория *общественной необходимости*. Но по отношению к *индивидуальной* воле здесь общественная необходимость выступает уже как аристотелева «необходимость» в *первом* значении, т. е. как «то, что идет против склонности». Другими словами, если с общественной точки зрения, т. е. с точки зрения движения общества, капиталистического общества, как целого, мы имеем аристотелеву необходимость *третьего* порядка, то *та же* необходимость выступает (по отношению к индивидуальному субъекту, как аристотелева необходимость первого порядка). Анархическое, раздробленное товарно-капиталистическое общество слепо, его законы стихийны, оно не есть целостный субъект с единой волей, оно не есть «телеологическое единство». Общество, как целое, не ставит, не «полагает», никаких целей: это бессубъективный субъект, как *особый, исторически определенный*, тип общества. Прежние типы обществ в

* F. Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. MEW. Bd. 21. S. 296 f.

^{14*} Vgl. W. Wundt: Einleitung in die Philosophie. Leipzig 1914. § 47. Heterogene Moralsysteme.

действительности имели и элементы иногда довольно развитые, товарооборота, ростовщического «капитала» и т. д., с другой стороны были полны шумом классовой, племенной, национальной, междугородской и т. д. борьбы и войны. В этих обществах грозная стихия формулировалась как слепой Рок, Судьба, Мойра, Ананкс (επιχρμενη αναγη – предопределенная, принудительная сила судьбы у *Гераклита*). Замечательные греческие

«Трагедии Рока» являлись художественно-поэтическим отражением этой истребительной общественной стихии. Гибнущий капитализм в лице его идеологов прямо выдвигает *Судьбу*, как категорию «науки». С легкой руки шпенглера «Untergang des Abendlandes» «Гибели Запада») ¹⁵ (257) идея судьбы становится главным принципом фашистской историософии, сочетающей ее парадоксальным образом с самым необузданным волюнтаризмом. Но *revenons a nos moutons*. *Энгельс*, как известно, сформулировал переход к социализму, как скачок из царства необходимости в царство свободы**». Досушие критики марксизма указывали, что это – переход, хотя бы с запозданием, на точку зрения «свободы воли», как ее понимают идеалисты. Но – это нелепое возражение. *Энгельс* говорит также, что с социализма начинается действительная *история* человечества, тогда как раньше была только предыстория. Однако этим он отнюдь не отказывался от исторического взгляда на предыдущие общества и даже на самое природу. «Диалектика Природы» с ее трактовкой «законов природы», как исторических, говорит достаточно ясно, о чем идет речь. Точно так же и с пресловутым

«прыжком». Это есть прыжок «из царства необходимости в царство свободы» в том. смысле, что здесь общество и индивидуум освобождаются от аристотелевой *необходимости первого порядка*, что уничтожается «закон гетерогонии целей» *Вундта*. Но это вовсе не значит, что уничтожается *необходимость третьего порядка* и что *Энгельс* совершает прыжок из царства материализма в царство идеализма и чистого волюнтаризма. С переходом к социализму бессубъективное общество становится субъектом, слепая необходимость перестает быть слепой, непознанная становится познанной, отсутствие цели превращается в свою противоположность, неразумие общества сменяется его разумом. Отсюда, между прочим, известная формула *Сталина*: «План, это – мы». «Мы» – т. е. *организованное* общество,

¹⁵ O. Spengler: Sakat Ewropy. Tom 1. Obras i dejstwitelnost. S Predislowiem A. Deborina. Perewod N.F. Garelina. Moskwa/Petrograd. 1923.

** F. Engels: Anti-Dühring. MEW. Bd. 20. S. 264.; MEGA², I/27. S. 446.

плановое общество, разумная координация отдельных волей в единое целое, появление коллективной воли общества, как выражение совокупности индивидуальных волей. Здесь *общественная необходимость* j прямо проявляется в общественной телеологии. План выражает J одновременно и познанную общественную необходимость и установку действия, немедленно реализующуюся. Это совершенно *новое* соотношение между *необходимостью* и *целью*.

Итак, в социализме исчезает стихийный характер развития, направленный против индивидуальных волей и в этом смысле совершается прыжок из царства необходимости в царство свободы.

Но мы имеем в III томе «Капитала» Маркса интересное замечание, что царство истинной свободы начинается по *ту сторону материального труда**, в такую эпоху развития коммунизма, когда мощное движение производительных сил и гигантский рост общественного богатства не будут уже составлять предмета особой заботы. Это не значит, конечно, что люди перейдут на ангельское положение и перестанут пить и есть. Эта означает лишь, что развитие производительных сил обеспечивает, так сказать, автоматически процесс общественного снабжения, и центр деятельности и творчества *перемещается*. Остаток *принудительности* труда совершенно исчезает, хотя бы эта принудительность была и «внутренней», а не «внешней». Свободное творчество – изобретательство, наука, искусство,) непосредственное общение с природой – резко повышают свой удельный вес. Это есть *освобождение* от грубой заботы о хлебе, насущном, хотя опять таки лишь в определенном смысле слова, «необходимости» пить и есть сказывается *природная необходимость*, проявляющаяся в *общественной* необходимости через звено производства, прежде всего. Таким образом, общественные необходимости суть усложненные проявления природной необходимости, *новая* форма необходимости, отрицающая природную необходимость и утверждающую ее в одно и то же время (это и есть диалектика *нового*). В развитом коммунизме то, что было в сознании на первом плане, как непосредственная *общественная цель*, теперь автоматизировалось. Это не значит, что производство исчезло, стало ненужным, перестало служить основой жизни или быть объективно определяющим общественную жизнь фактором. Здесь диалектика движения такова, что *наивысшее* развитие производства означает перемещение ориентации (целевых) на *другое*. Тут, следовательно, новая ступень свободы, но только в том *условном*

* K. Marx: Das Kapital III. MEW. Bd. 25. S. 828.; MEGA², II/15. S. 794.

смысле, о котором у нас шла речь. И здесь отнюдь нет «прыжка» в идеалистическую «свободу воли», как понимает ее идеалистическая философия. Сам переход к иной системе целевых ориентации *исторически обусловлен*, есть момент закономерного *общественного* развития, которое, в свою очередь, есть момент в историческом развитии *природы*.

Учение о «несвободе воли» нелепо смешивать с *фатализмом* (258). Любая фаталистическая доктрина провозглашает, что будет predetermined то-то, что бы *ни делали люди*. Таким образом, здесь людское творчество и людская воля выключаются из цепи активных компонентов грядущего события, заранее им противопоставленного. Материальная основа этого, идеологически извращенная, коренилась в *стихийности* предыстории человечества. Согласно же диалектическому материализму и его общественно-научному производному, историческому материализму, воля есть активный фактор, и *через* волю (по разному, совпадая или не совпадая с ней – это зависит от исторического *типа* общества) прокладывает свои пути *историческая необходимость*.

Многозначному понятию свободы соответствует и многозначное понятие необходимости. Но мы здесь не можем касаться всех этих вопросов. Нам важно было выяснить Центральную проблему, которая стоит в ближайшей связи с контрверзой – «необходимость – телеология». Sapienti sat (259).

Глава XX

ОБ ОРГАНИЗМЕ

Мы по некоторым линиям забежали несколько вперед и нам нужно возвратиться еще раз к вопросу о живой материи, об *организме*.

Из предыдущего видно, что старинная, тысячелетняя противоположность между *материализмом* и *идеализмом* выражается не только в противоположности примата материи и примата духа, но и (соответственно) в противоположности *примата необходимости* и *примата цели*. Второе целиком вытекает из первого. Ибо, как говорит *Аристотель* в «Физике»: «Необходимое существует в материи, цель же содержится в основании» (у *Аристотеля* сказано λογω*, т. е. в

* Zit. bei G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II. A.a.O. Bd. 18. S. 350.

разуме, в разумном, в духе) «Ясно, следовательно, что необходимым в предметах природы является материя и ее движения. Обоих следует признать началами, но *цель есть начало, стоящее выше их*»**. Это есть идеализм (нужно сейчас же отметить, что у *Аристотеля* есть много материалистических мест – он *колеблется* между материализмом и идеализмом, но в данной работе мы выбираем места, на которые опираются современные идеалисты). По существу, на этой же точке зрения стоял и *Кант*: деятельность *организма он объяснял внутренней целесообразностью*.

Аристотель с большим напором выдвигал понятие *целого*, утверждая *примат* целого над частью и совершенно правильно протестуя против рассмотрения целого, как простой суммы частей. *Гегель* подхватывает эту аристотелианскую традицию, однако, особенно восторгаясь как раз ее *идеалистической*, специфической стороной, а именно учением *Аристотеля* об *энтелехии*.

«Душа есть субстанция, как форма физического органического тела», активное начало, дающее жизнь, «*энтелехия*»¹⁶. Это учение *целиком* усвоено *Дришом*, который для неорганического мира считает принципом закономерности каузальность, а для органического – *членение, порядок* (Gliederung, Ordnung), *энтелехию*, как неперенное, что делает живое живым, спиритуалистическое начало, жизненную силу, специфику органического вообще. Психоломарксист *Франсэ* заявляет прямо, что «мы по праву можем видеть причину приспособлений в душевной деятельности растений. В этом, в *vis vitalis*, в энтелехии, в «душе» организма, как особом *целевом духовном начале*, имманентно направляющем все развитие организма и вырывающем все органическое из цепи природной необходимости, и заключается «гвоздь» концепции *витализма*: остальное, что не связано с этим необходимой логической связью, совсем не специфично для идеалистической точки зрения вообще и для витализма – в частности.

Ибо, например, идея целого. Разве ее можно отдавать в монопольное владение идеализма? Да никак нельзя! Ни под каким видом! Именно *Маркс* подчеркивал, в противоположность рационализму и механическому материализму, идею «целокупности» (der *Totalität*). Но, в отличие от современных поклонников целокупности, которые *все* «*Totalitäten*» валят в одну кучу, *Маркс*

** Ebenda. (курсив N.B.).

¹⁶** Ebenda, S. 371.

прекрасно видел и понимал, что существуют *различные типы* «целокупностей», и что общество, например, не есть *такое же* «существо, как слон («органическая школа», теперь фашистские теоретики типа О. *Spanna* и *Со*»).

Идея целого выражает объективную действительность, и мы имеем уже случай говорить об этом при рассмотрении вопроса о рассудочном мышлении. Но *целое*, не будучи ни в коем случае арифметической суммой частей, их механическим объединением, их агрегатом, тем не менее, состоит из частей; однако, каждая часть, объединенная от целого, органического целого, перестает быть частью этого целого и обычно умирает. Мы говорим *обычно*, ибо новейшие завоевания экспериментальной науки показали и доказали, что выделенные из организма части «приживаются» в *другом* организме (все эксперименты по так называемой «пересадке» органов с поистине чудесными результатами), иногда даже не *однородном*, или же длительно живут в некоторой искусственной среде (опыты *Карреля*, *Брюхоненко* и др.); половой секрет может быть направлен внутрь организма и функционировать, как его часть, «момент»; выведенный из него, совместно с женским, он образует *новую* целокупность; червей можно разрезать на части, и эти части живут! И т. д. Но, конечно, рука вне связи с телом уже не рука. Итак, идею *целого*, но в диалектическом ее соотношении с идеей *части*, мы никакому витализму уступать отнюдь не намерены.

Может быть, *Gliederung* представляет эпохальное открытие витализма? Отнюдь нет. Координация частей организма, морфологическая и функциональная – имеет почтеннейшую давность. Если не говорить о «жидкостях» древних, в новое время уже у *Кювье* и *Жоффруа Сент-Илера* мы находим закон *корреляции*. *Кювье* брался восстановить скелет ископаемого по кости; *Дарвин* развил этот закон, не говоря уже о дальнейшем. «Заслуга» витализма – весьма отрицательная «заслуга» – состоит лишь в том, что он координировал эту координацию с *энтелехией*, как сверхчувственной мистической силой, как имманентной «*целью в себе*», целевой жизнедеятельностью *вне необходимости*, что он *абсолютно* противопоставил координацию частей организма *природной необходимости*, взяв эту координацию в телеологической связи с «верховным» принципом энтелехии.

Может быть, указание на *специфичность* органического есть заслуга витализма и *его*, витализма, специфическое отличие?

Опять таки нет. *Гегель* чрезвычайно любит эту тему и доказывает на все лады, что в организме физические и химические процессы перестают быть таковыми.

В «Философии Природы» читаем:

Мы можем..... проследить химически и даже химически выделить отдельные части живого. И, тем не менее, самые процессы *всегда* считать химическим (наш курсив), ибо химическое присуще только мертвому, животные же процессы всегда упраздняют природу химического. Опосредствования, имеющие место в области жизни, как и в метеорологическом процессе, можно проследить и вскрыть очень глубоко; *воспроизвести* такое опосредствование невозможно (160)¹⁷.

И в другом месте того же труда:

На этом непосредственном переходе, на этом превращении терпит крушение всякая химия и всякая механика, здесь они находят свою границу, ибо они постигают предмет только из таких наличных элементов, которые уже обладали внешней одинаковостью... Эмпирически проследить изменение средств питания вплоть до крови не может ни химия, ни механика, как бы они ни изворачивались (261)

Однако, здесь следует, прежде всего, отметить, что нам достоверно известны, например, такие элементарные факты: растение поглощает на свету *углекислоту* и *разлагает* ее на углерод и кислород, выделяя кислород, самый настоящий кислород, в воздух. Это есть, что бы там ни говорили, химический процесс в самом обычном смысле слова. В *дыхании* животного поглощается кислород воздуха и выделяется углекислота, – опять таки химический процесс классического типа. Органическая химия изготавливает синтетическим путем органические вещества. Это есть великое завоевание науки.

Проходят ли химические процессы в организме так, *как вне* его? Это – вопрос факта. Вероятно, что все они проходят по, *другому*, попадая в иной тип связи, соотносясь со специфическими условиями и переходя в них. Органическое специфично: Именно поэтому *Энгельс* в «Диалектике Природы» писал:

Физиология есть, разумеется физика и в особенности химия живого тела, но вместе с тем *она* *остается* *быть* *специально* химией: с одной стороны, сфера ее действия здесь ограничивается, но, с другой стороны, она *поднимается* *здесь* *на* *некоторую* *более* *высокую* *ступень*^{**}.

Если *химии* удастся изготовить этот белок, то химический процесс *выйдет* *из* *своих* *собственных* *рам*^{***}.

¹⁷ G. W. F. Hegel: System der Philosophie II. A.a.O. Bd. 9. S. 642. (§ 363).

* Ebenda, S. 647.

** F. Engels: Dialektik der Natur. MEW. Bd. 20. S. 520.; MEGA², I/26. S. 144. (курсив N.B.).

^{18**} Ebenda. (курсив N.B.).

т. е. совершится переход от химии к биологии. Но что это доказывает? Энтелехию? Да почему? Тот факт, что мы до сего времени не построили синтетически живого организма, немудрено объяснить: живое вещество образовывалось в течение времен огромных масштабов и отнюдь не в лабораторных условиях. Сбалансировать эти моменты – гигантски трудно. Но и это не есть доказательство энтелехии. *Ибо:* почему неверно то выставляемое диалектическим материализмом положение, что жизнь есть *свойство* особым образом организованной материи, точно так же, как и ощущение?

На этот вопрос отвечает *Гегель*. И как отвечает! Вы только послушайте! Он излагает своими словами *Аристотеля* и солидаризируется с ним (по сути дела, это его, *Гегеля* положение):

Если именно мы считаем тело и душу едиными подобно дому, состоящему из многих частей, или (что, кстати, не одно и ~~Автор.~~) подобно вещи и ее свойствам, субъекту и предикат~~у~~, то это является материализмом (о, ужас! о, бо~~Автор.~~) ибо и душа, и тело здесь рассматриваются, как вещи (откуда это вы взя~~Автор.~~) Такое тождество представляет собою поверхностное (конеч~~Автор.~~) и пустое (еще бы~~Автор.~~) определение, которого мы не имеем права (о, господи, страсти какие~~Автор.~~) высказывать так как (слушайте, слушайте! ~~Автор.~~) *форма и материя не обладают одинаковым достоинством в отношении бытия; истинно достойное тождество мы должны понимать, как энтелехию*

И баста! И «душа есть причина, как цель»!^{19*} Нечего сказать, хорошенькое объяснение! Сперва построили, на базе грубой антропоморфической или, вернее, социоморфической, аналогии картину мироздания, возвели на мировой пьедестал абстракцию цели, потом крестят всех святой ее благодатью, ибо только это «достойно», а «достойно» оно, потому что высоко-высоко обретается высочайшая цель, как энтелехия мира. Но разве все эти идеалистические фокусы хоть на гран убедительны?

Можно повернуть вопрос и рассмотреть его, так сказать, другого конца. Что *живому* свойственно ощущать, а *особому живому* –

* G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II. A.a.O. Bd. 18. S. 371 f. (курсив N.B.).

^{19*} Wie Hegel schreibt, gibt Aristoteles der Seele die Bestimmung, Entelechie zu sein: „Die Seele ist also das Princip der Bewegung und als Zweck (...) und als Seyn (...) der lebendigen Körper: Ursache, das Hervorbringende, – die Ursache dem Zwecke nach, d.h. die Ursache, die sich selbst bestimmende Allgemeinheit ist.“ Ebenda, S. 373.

мыслить, не подлежит сомнению (что за «низшая» форма ощущений есть у растений, какова она конкретно, мы не знаем, ни что он есть, это – гипотеза за себя имеет многое). Но, скажите на милость, почему это свойство органического тела нужно трактовать, как особую *силу*, считать ее активной *энтелехией*; полагать, что она есть *prius*, и утверждать, что этот *prius* существует *вне природной необходимости*, а движется в другом измерении, *целевом* измерении, при чем *ему* подчинена природная необходимость, а не наоборот?

Характерно для Гегеля: он всемерно восстает против метафизических «сил» и тавтологических объяснений типа мольеровского «сон есть усыпительная сила». И здесь *Гегель* прав, когда он возражал против «звукорода», «теплорода», «флогистона»*, «жидкостей» и прочего. Но совсем другое, когда вводится ни на чем не основанная мистическая, «высшая» сила, *vis vitalis* «жизненная сила», долженствующая все объяснить и ничего ровно не объясняющая!

А теперь мы поставим вопрос еще и таким образом. Правда, мы не можем еще создавать организмов из неорганической материи, хотя еще *Велер*, в начале XIX в., получил мочевины синтетическим путем. Но мы можем *видоизменять* организмы, и выводить *новые виды*, создавать у данных организмов новые *условные рефлексы* (например, дрессировка животных) и т. д. Когда мы трансформируем неорганические вещества природы, то мы используем здесь *природную необходимость*, опираемся на нее, используем *законы природы*, заставляя природу работать на себя. Этот вопрос нами уже разбирался. Но скажите на милость, разве не то же самое происходит, когда мы «воспитываем» обезьяну или кролика, собаку или свинью? Когда морских львов заставляем играть в мяч или обезьяну ездить на велосипеде? Не то же самое происходит, когда *Мичурин* выводит новые сорта яблок или груш? Или когда *Лысенко* меняет вегетационные процессы? Или, когда выводят новые породы скота? Разве мы не пускаем во всех этих случаях вход познанные *законы природы*, которые потому и «действуют», что они суть законы развития организмов, законы соотношений их организмов с другими факторами?

На это нам могут тотчас же возразить: помилюйте, да, ведь, витализм, и *Гегель*, и *Аристотель*, и «душа» и «энтелехия», и «Цель» – ни капли не отрицали и не отрицают внешней необходимости. Они только утверждают, что внешняя необходимость есть форма

* В XVIII в. предполагалось наличие особой субстанции под названием флогистон, вызывающей как составная часть веществ их сгорание, пока А.Л. Лавуазье не сумел точно доказать поглощение и отдачу кислорода в процессе окисления.

проявления внутренней, имманентной целесообразности, которая есть верховное начало. Убили, господа хорошие! Тактаки и убили! Но страшна энтелехия, да милостива необходимость. В самом деле, разве вся эта аргументация выручает несчастных виталистов? Ни мало. Ибо куда же девается в приводимых нами примерах этот пресловутый примат? Ведь что служит орудием в руках человека? *Природные факторы, законы природы*. И при их «помощи», т. е. при воздействии определенных природных факторов получается *иное* направление развития, каковое не было «имманентно» заложено в организме. Какое «благо», «цель», в жировом перерождении йоркширской свиньи теряющей даже способность движения для этой самой свиньи. Куда девается примат *энтелехии* перед воздействием природных закономерностей? Сама «энтелехия» (т. е. в данном случае, психическая сторона филологического процесса, скажем, новых условных рефлексов) коренным образом меняется. Значит, «примат» приказал долго жить.

Но неумные критики поднимают здесь оглушительный вой. Вы же ввели – кричат они – *другую* энтелехию, энтелехию человека, его разум, его цели, и *поэтому* получили такой результат! Вы только *подтвердили* примат энтелехии, взяв принцип энтелехии в ее более высокой форме, человеческой форме...

И это возражение неубедительно. Ибо: в данном случае *никакой разницы нет* для обсуждения нашей проблемы между случаем человеческого и нечеловеческого вмешательства. «Между» «разумом» и объектом воздействия лежат *природные факторы*. *Через* них действует человек. Он их только комбинирует определенным образом, и они формируют новые качества и свойства организма в его телесности, ergo и его «энтелехию».

Таким образом, и это возражение падает. Природная необходимость и здесь одерживает свой блестящий триумф.

Вся виталистическая концепция, как концепция имманентной телеологии, в конечном счете приводит к *грубым* формам телеологии, которая совпадает с *теологией*. Так было и с *Аристотелем*, у которого высшее благо и высшая цель переросла в Мастера Мира, то есть *бога* космического *Александра Македонского*, наводящего «порядок» в Универсуме. Частички этой благодати, атомы и молекулы всеобщего блага, произрастают, как энтелехии организмов в иерархическом порядке, по армейской табели о рангах (ср. «формы» *Фомы Аквинского*^{*}). И поэтому: «всякое дыхание да хвалит господа!»

^{*} Das Problem der Form entwickelte Thomas von Aquin in seiner frühen kleinen Schrift „De ente et essentia“. (Individuationsprinzip: dem sündigen Menschen ist es selbst aufgegeben, seinen

«Это и зовется «возвышенным», «высоким», «достойным», «прекрасным» и т. д., по отношению к чему наша грешная материя есть категория второго сорта, низшая, недостойная, безобразная, грязная, греховная. Круг этих идей в их богословско-философской форме получал временами чрезвычайно широкое распространение, и теперь возродился в плоской форме у теоретиков фашизма.

Цель – примат цели – чистый волюнтаризм. Примат «духовного» и энтелехия. Мистическое созерцание мирового целого. Отодвигание назад интеллекта и рационального познания. *Staatsbiologie*, как главная наука. Мистический «голос крови» и мистика «органического» вообще. *Gliederung* идеалистического порядка, как структурный принцип Космоса.

Целевой критерий истины в тривиальной форме установок Гитлера, как организма, смыкающего непосредственно с космической энтелехией (у египетских фараонов это было несколько тысячелетий тому назад!) «Духовное» овладение» «народом» средствами производства (материальное пусть остается у капиталистов – это ничего, лишь бы «духовное» было!) и тому подобный вздор. Все эти картины деградации буржуазного общества, которое, умирая в действительном мире, с одной стороны, провоцирует отчаянное кровопускание и апеллирует к весьма материальным средствам истребления, а с другой, погружается в мистику ирреального, в глубине души, несмотря на официальный актуализм, тая старинные слова старинного отчаянья:

Воистину суета всяческая! Житие бо се – сон и сень и всуе мятется всяк земнородный.

Или, как в «Ecclesiastes»:

Vanitas vanitatum et omnia vanitas

Суета сует и всяческая суета.

Туда вам и дорога, милостивые государыни и милостивые государи²⁰.

gemäßen Platz in der göttlichen Ordnung zu erkennen und die sittlichen Normen seines Handelns in der Hinordnung auf das Allgemeine zu bestimmen.)

²⁰ Das Buch Kohelet (Ecclesiastes oder Prediger) entstand in der Mitte des 3. Jh. v. Chr. in Jerusalem. Zu „Nichtigkeit“ (auch Eitelkeit, sueta, vanitas, meaningless) merken die Übersetzer der „Jerusalemener Bibel“ an, das entsprechende hebräische Wort „Windhauch“ gehöre zu den bildhaften Wendungen, die in der hebräischen Dichtung die Vergänglichkeit und Hinfälligkeit des Menschen bezeichnen. Das Wort habe im vorliegenden Text den konkreten Anschauungsgehalt verloren und bezeichne hier das trügerische Wesen der Dinge und die damit verbundene menschliche Enttäuschung. Zit. n. „Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Bundes“. Deutsche Ausgabe der „Jerusalemener Bibel“ mit Erläuterungen. Leipzig 1971. S. 904 f.

Глава XXI

О СОВРЕМЕННОМ ЕСТЕСТВОЗНАНИИ
И ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛИЗМЕ

Кризис физики и, вместе с ней, всего теоретического естествознания, обозначившийся на грани столетия, вызвал к жизни, при подспудных переменах в идеологических ориентациях господствующих классов, в свою очередь, бывших идеологическими рефлексами изменившихся общественно-материальных отношений, особые формы так называемого «физического идеализма» (264). Это словосочетание нелепо. Но в нелепости этого словосочетания отражается лишь «высота» или «ступень» идеологического извращения, которое, как таковое, являлось и является фактором.

Работа *Ленина*: «Материализм и эмпириокритицизм» (265) своим центром имела проблему *реальности внешнего мира* именно потому, что в то время агностицизм и идеализм получили широчайшее распространение, и в недрах теоретического естествознания, начиная с физики, свирепствовали теории, по существу дела уничтожившие основу мира, материю. «Материя исчезла, остались уравнения». Такие представления физики, как *атомы*, были объявлены лишь «моделями», условными «значками», «символами», «орудиями» координации элементов идеалистически понимаемого опыта, которому реально ничего не соответствует. Признаком хорошего тона было издевательство над материей и реальностью атомов. В философии *Файхингера* («Die Philosophie des Als Ob», «философия фикции») (266) все основные понятия теоретической физики, как материя, масса, атом и т. д. объявлялись *фикцией*, искусственным средством мысли – и только. Солипсическая тенденция пробивала себе пути.

Субъективный идеализм *Беркли–Юма* возрождался в новых формах, надевая на себя костюм «точной науки». Выдающаяся роль в этом процессе принадлежала *Эрнсту Маху*, наиболее талантливому и знающему физико-историку науки и экспериментатору. И вот *Ленин* выступил «против течения», которое захватило значительные слои марксистов, увлеченных «строго-опытной» стороной эмпириокритических построений (об этой «*кажимости*» по существу мы уже говорили в начале настоящей работы).

Любопытно теперь посмотреть, что же принесло развитие естествознания за период *после* появления книги *Ленина*? Что дало движение теоретической физики по вопросам, наиболее спорным в начале столетия? Кто оказался объективно прав в *этом* споре?

Что бы ни говорили, как бы ни болтали, какие бы оговорочки ни делали, остается один основной факт: атомистическая теория получила блистательное подтверждение; *реальность атома* была *доказана*, описаны различные атомы, познание проникло в их структуру, экспериментальная наука (*Резерфорд*) бомбардировкой электронных потоков расщепили атом, улавливаются движения его компонентов, возникает вопрос об использовании внутриатомной энергии и т. д. Атом установлен экспериментально. Но атомы воздействуют практически. Атомы практически-экспериментально изменяют. Индустриальная техника уже использует достижения микрофизики, и различные формы микроанализа служат в общественном масштабе делу материального производства.

Доказательство правильности атомистической теории, как таковой, оказались настолько убедительными, что даже отец «энергетики» В. Оствальд вынужден был отказаться от всей основы своих, по своему цельных, взглядов и признать правильность положения атомистической физики.

Это означало великую победу *материализма*, как бы ни старались извратить идеалисты действительное положение вещей тот факт, что целые горы аргументов, аргументиков, теорий» и «систем», которые покоились на трактовке атома, как познавательной *фигиции*, рушились. Поэтому идеалисты должны были отступить на *другие* позиции: они их обрели, и идеализм *теперь* выступает в еще более вредных и уже мистических формах. Но этот факт, коренящийся в общественной психологии глубокого упадка капитализма, в самом теоретическом *естествознании* уже не может опираться на ту широкую основу, когда *спорным* был вопрос об атоме.

Развитие физики и химии дало подтверждение не только материализму, ведущему тысячелетние бои с идеализмом: оно дало подтверждение *диалектическому* материализму, материалистической *диалектике*.

Оно доказало, прежде всего, *качественность* атомов. *Качество* утверждается здесь, как объективное свойство объективных вещей и процессов. Как мы уже об этом говорили ранее, тут налицо коренное отличие от представлений *механического* материализма и его односторонности. Одновременно получает свое блестящее подтверждение диалектический закон *перехода количества в*

качество, ибо в зависимости от количества определенных электронов меняется качество атома. Категории меры, скачка, получают уже в микрофизике свою твердую основу. Доказанная *дробимость* атомов, атомы, как целые системы миров, кладут конец антидиалектическому воззрению на «последние» «кирпичи мироздания», какой-то абсолюта, где ставится *предел*, его же не преjdeши, где бесконечность превращается в конечность, и мир в «глубину» вдруг оказывается заколоченным. Современная физика покончила с этим взглядом и тем самым опять-таки лила воду на мельницу материалистической *диалектики*, хотя и не имела о последней часто ровно никакого понятия.

Диалектический закон *раздвоения единого* (267) нашел свое выражение в трактовке атома, как системы положительного и отрицательного электричества (протоны-электроны). Дальнейший анализ, все время осложняющий картину атомной структуры, делающий ее все более многообразной, открывающий все новые черты, стороны, процессы, связи, не уничтожает этой полярности, в которой раскрывается один из самых глубоких и основных законов диалектики. В связи с этим стоит и внутреннее *движение* атома.

Диалектический закон *противоречия* обнаружил себя в широчайшем масштабе на проблеме *прерывности (дискретностей)-непрерывности*. Уже Ф. Энгельс в «Диалектике Природы» писал по этому поводу как раз в связи с проблемами атомистика тогдашнего времени:

«В химии новая эпоха начинается с атомистики (поэтому не Лавуазье, а Дальтон – отец современной химии) и соответственно с этим в физике – с молекулярной теории (представляющей в другой форме, но по существу лишь другую сторону этого процесса – с открытия превращения одной формы движения в другую). Новая атомистика отличается от прежних тем, что она (если не говорить об ослахе) не утверждает, будто материя *просто дискретна*, а что дискретные части являются различными ступенями (эфирные атомы, химические атомы, массы, небесные тела) различными *узловыми точками*, обуславливают различные *качественные* формы бытия у всеобщей материи вплоть до нисходящей линии и до потери тяжести и отталкивания». (268)*

Это единство прерывного и непрерывного при переходе противоположностей в *современной* физике приняло форму единства (и противоположности в единстве) «частицы» и «волны»;

* F. Engels: Dialektik der Natur. MEW. Bd. 20. S. 552.; MEGA², I./26. S. 524.

корпускулярная теория и кванты, пакеты частиц; волновая теория и волны стремятся объединиться в диалектическом единстве, в котором теория (единство корпускулярной и квантовой) правильно отражала бы *действительность* (единство частицы и волны, их противоречивое *диалектическое единство*).

Разумеется, было бы нелепо, если бы диалектический материализм связал себе руки провозглашением абсолютной истиной теперь достигнутой «картины мира». Познание идет все глубже и глубже. Однако, характерна здесь определенная *тенденция* развития, которая замечательно подтверждает законы диалектики. Электромагнитная теория материи доказана, но она еще написана только в контурах общей композиции, да и то частично. Но все новые черты, открываемые дальнейшим процессом познания, идут по линии *объективной диалектики*; протоны и электроны связаны с волновым движением в эфире; открытие незаряженных частиц вскрывает единство и противоположность *нового* порядка (незаряженные частицы – *нейтроны* – против *заряженных*; *позитроны*, т. е. частицы с массой электрона, но положительно заряженные – против *электронов*, заряженных отрицательно; частицы с массой *протона*, но заряженные отрицательно, против протона, заряженного положительно) и т. д. (опыты *Кюри, Жолио, Андерсена* и др.)

Новейшее развитие естествознания разрушило метафизически-одностороннее представление о постоянстве *химических элементов* и здесь подтвердило *диалектику* в более «диалектической», если так можно выразиться, форме, чем она была у *Гегеля*. *Гегель* и здесь принес ее в жертву своему *идеализму*: из протеста против атомистики, химических элементов, – *Д.* (у него самого под «элементами» разумеются «стихии» в духе Древних греков, особенно *Эмпедокла*, т. е. земля, вода, воздух, огонь); из боязни *материализма*, он «перехлестывал», перегибая палку в сторону абсолютизации, т. е. метафизического ограничения, целого, *отрывая* целое от частей. Атомистическая теория, ее перерастание в электронную теорию, грандиозное развитие учения о периодической системе (в основе созданной *Д. И. Менделеевым*) – этого блестящего подтверждения закона *перехода количества в качество* – создало учение о *превращении элементов* на совершенно новой научной базе. *Химия* возвратилась до известной степени к *алхимии*, но без философского камня и без бога. *Атомы* были втянуты в этот процесс. Явления *радиоактивного распада* создали в этом отношении целую эпоху, подтвердив *превращаемость вещества* (радий–гелий и т. д.), *исторический процесс* изменения вещества (известно, что радий стал,

так сказать, хронометром геологической истории, ее масштабом, по которому определяют возраст почтенной матери-земли). Исторический, т. е. диалектический, взгляд на природу вонзился в самую ее микроструктуру. «Первая брешь – Кант и Лаплас (теория происхождения планет из туманностей. Автор)*. Вторая – геология и палеонтология (Ляйелль, медленное развитие^{21*}). Третья – органическая химия, изготавливающая органические тела и показывающая применение химических законов к живым телам (Ф. Энгельс, Диалектика Природы). Теперь «историческое начало» проникло еще глубже и стало еще универсальнее, создав базу для представления об исторической изменчивости всего. Это, конечно, великолепно подтверждение диалектического материализма: материализма, ибо налицо реальность качественной материи, диалектического, ибо налицо процесс диалектико-исторического движения, переходом одного в другое. Материализм Маркса оказывается диалектичнее идеализма Гегеля: Гегель отрицал «составленность» веществ из химических атомов, протестуя против разложения и фетишизируя, абсолютизируя целое: здесь его диалектика уже переходит в метафизику, а философия – обывательское филистерство; а все из-за боязни впасть материализм! На Гегеля оправдалось справедливое положение Гете (вторая половина!), приводимое Michelet, в приложении к его изданию гегелевской «Философии Природы» (из «Zur Morphologie» Geme):

Человека рассудочного, подмечающего частное, наблюдающего и расчленяющего, в каком-то смысле тяготит то, что проистекает из идеи и что возвращается к ней. Он чувствует себя в своем лабиринте как дома и не ищет путеводные нити, которая поскорее вывела бы его наружу. И, наоборот человек, стоящий на более высокой точке зрения, слишком легко проникается презрением к единичному и втискивает умерщвляющую всеобщность то, что может жить только обособленном виде (269) (Goethe: Zur Morphologie (1817), Bd. I, S. VI)

Здесь, в основном, Geme нашупал своеобразную диалектику противоположного: целое, как – условно говоря – более живое, переходит в свою противоположность, в мертвое по отношению к живой единичности. «Истинная диалектика» должна брать эти моменты в их

* Ebenda. MEW. Bd. 20. S. 316.; MEGA², I/26. S. 304.

^{21*} Ebenda. MEW. Bd. 20. S. 317 f.; MEGA², I/26. S. 306.

* Während Michelet den beschriebenen Konflikt als nicht gelöst ansieht, beschreibt ihn Hegel in seiner Kommentierung der Goetheschen Auffassung als im Sinne seiner Philosophie gelöst. Vgl. G.W.F. Hegel: System der Philosophie II. A. a. O. Bd. 9. S. 45 f.

Michelets „Vorwort“ wird zitiert nach: Ebenda, S. 3 f.

конкретной связи, и это можно сделать лишь на *материалистической основе*.

Таким образом, развитие теоретической физики и химии за последние два-три десятилетия, создание *новой физики* и микрофизики, *подтвердило* учение диалектического материализма. Диалектическому материализму ни капли не страшны ни споры о *законах*, ибо в них выражаются поиски специфических закономерностей, ни нелепые идеалистические элабораты, вроде «свободной воли» электрона, идеалистического истолкования принципа *Гейзенберга* или такого же истолкования теории относительности *Эйнштейна*. Это – уродливые идеологические наросты на теле науки; их надо вскрывать и разоблачать. Но жить им осталось уж не так долго.

Итак, *Ленин* оказался прав в споре с «идеалистической физикой», и *сама физика* дала ответ на этот исторический вопрос.

Сложнее дело обстоит с *биологией* (и с *физиологией*, как ее составной частью), здесь в настоящее время разыгрываются настоящие мистерии, в значительной мере в связи с тем, что, как мы упоминали, биология в стране свастики превращена в *Staatsbiologie* (270), в основу государственной доктрины фашизма, и поэтому была наспех переделана и в основе и в деталях. Но было бы совершенно неправильным видеть только эту, клозетную, часть современной биологии. Ибо последняя характеризуется гигантскими успехами экспериментальной науки, возникновением и колоссальным развитием генетики, завоеваниями гармонной теории, поистине удивительными экспериментами по трансформации пола, жизни выделенных из организма комплексов клеток и органов и т. д. «Самодвижение» живого и его развитие – в учении о генах, хромосомах и т. д.; связь – диалектическая связь – через теорию мутаций и с внешней средой; дарвиновское обогащенное учение, как процесс в целом, как развитие вида; павловское учение, как мадриалистическое учение о поведении индивидуального организма в связи со средой (т. е. внешними Раздражителями) – разве это все не говорит и о материализме, и о Диалектике, хотя бы о ней ничего не знали многие из творцов и Работников в данных областях знания?

Практическое применение и, следовательно, проверка истинности науки, стало огромным. Физика и химия в своих технологических выводах стали научной инженерией. Биология – инженерией и фитоинженерией. Старое бэконовское правило, что «*scientia et potentia humana in idem coincidunt*» получает! подтверждение в исполинских

масштабах общественного! производства и воспроизводства, блестяще доказывая всю! значимость природной необходимости материализма в противовес! идеалистической телеологии, и обнаруживая все большую! истинность, все большую адекватность бытию могущественного человеческого познания, освобождаемого пролетариатом от буржуазных цепей метафизического идеализма и идеалистической метафизики.

Глава XXII

О СОЦИОЛОГИИ МЫШЛЕНИЯ: О ТРУДЕ И МЫШЛЕНИИ, КАК ОБЩЕСТВЕННО- ИСТОРИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЯХ

Материалистическая диалектика требует рассмотрения мышления в *историческом* процессе его возникновения и развития, в его связи с жизнедеятельностью общественно исторического человека, т. е. прежде всего в связи с практикой, *трудом*. Само мышление, как и язык – мы касались этого вопрос; отчасти и мимоходом в другой связи – есть социальный продукт. Еще в трудах *Макса Мюллера, Лаз. Гейра* и *Л. Нуаре* имело достаточный фонд аргументов, которыми доказывалось происхождение языка и мышления из трудовой практики людей, процесс образования *понятий* брался именно в этой связи. Новейшие исследования по истории языка и мышления – в частности и в особенности труды покойного академика *Н. Я. Марра* – дают огромный материал, подтверждающий эти положения. Нужно до конца, до последних глубин понять тот основной факт, что *понятия*, это клеточка мыслительного процесса, суть социально-историческая категория, продукт общественной истории, грандиозного человеческого опыта; любое понятие есть конденсатор этого опыта, сотрудничества – вольного или невольного, прямого или косвенного, обычно проходящего в формах борьбы – целого ряда поколений, преемственно громоздившихся одно на плечах другого. Когда налицо есть *понятие* и сросшееся с ним *слово*, то за ним стоит вся история, и из любого понятия и слова можно разматывать назад кинематографическую ленту исторического многосложного процесса. Это понимал,

например, и *С. Вундт*, когда писал («Проблемы психологии народов»):

...языковед должен трактовать язык не как изолированное от человеческого общества проявления жизни; наоборот, предположения о развитии форм речи должны согласоваться с нашими воззрениями о происхождении и развитии самого человека, о происхождении форм общественной жизни, зачатках быта и права»²¹.*

Нуаре прямо писал («*Ursprung der Sprache*» (272)):

Язык и жизнь разума вытекли из совместной деятельности... из первобытного *труда**.

Исторически первоначально данное, исходное отношение между человеком и миром, это есть практически – трудовое отношение общественного человека к природе. Это доказывается не абстрактными соображениями, а горами фактического материала. В *общении*, в обобществлении опыта, развивались мышление и язык. Мы уже видели, как сбрасывание субъективного шло через *сравнение* индивидуальных опытов. Повторение индивидуальных опытов и повторение этих бесчисленных сравнений, первобытный «обмен опытом», и приводили к обобщениям, т. е. к переходу от «единичного» ко «всеобщему», от единичного соотношения с единичным, конкретного чувственного соотношения между человеком и предметом труда и «среды» вообще, – к схватыванию в понятии многих «опытов» многих людей. Это обобществление опыта и отражалось в образовании *понятий*. То же и с речью, нераздельно слитой с мышлением. «Всякое слово уже обобщает» (273)²² – замечает *Ленин* в связи с ссылкой на *Л. Фейербаха* («Философские тетради»). Практический корень образования понятий, как мы уже видели, отложился исторически даже в самом *названии*, ибо «*be-greifen*», «*conspicere*» – значит «*схватить*» слово; «понятие» происходит от «*яти*», то есть «*взять*»; *videre*, видеть, ведать, *wissen* – значит *видеть* (глазом) и отсюда *знать*. *И т. д.* Не будем множить примеров, тем более, что раз мы об этом уже говорили. Теперь существует целая литература, разрабатывающая эти вопросы, при чем особенно выясняется роль *руки и глаза* (у *Гегеля* тоже есть на этот предмет довольно тонкие замечания). Естественные орудия (рука,

* Wilhelm Wundt: Probleme der Völkerpsychologie. Stuttgart 1921. S. 62.

** Ludwig Noiré: Der Ursprung der Sprache. Mainz 1877. S. 331.

²² W.I. Lenin: Konspekt zu Hegels „Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie“. LW. Bd. 38. S. 261.

глаз; рука, как более «практический» орган, глаз, как более «теоретический»); искусственные орудия (техника); орудия мысли (и в то же время мыслительные отображения объективного мира) – понятия, выступают в их взаимной связи. *Координация* понятий точно так же есть социально-исторический процесс; когда исторически образовался известный запас понятий и слов, то дальнейшее расширение опыта уже влечет за собою его мыслительную обработку в понятиях, в их связи, в их координации, опять-таки *на основе непрерывного соотношения с внешним миром через процесс практического на него воздействия в первую очередь*. Великая ошибка *А. Богданова*, создавшего свое учение о социально-организованном опыте, состояла не в описании обобществления опыта, а в идеалистическом его понимании, т. е. таком понимании, когда исчез объективный внешний мир, а общезначимые связи и отношения (например, научные законы) превратились в такой социальный продукт, которому ничто не соответствует в реальном объективном мире. Они *сами* были объявлены объективным миром: научная картина мира превратилась из *отражения* мира в самый мир. Если у *Фихте* творцом мира оказывалась «Я», то у *Богданова* творцом мира оказывались «Мы». Если у *Канта* законы мира (категории, упорядочивающие формы) творил трансцендентальный субъект, то у *Богданова* эти законы творило *общество*. Но и то, и другое, и третье – было чистейшим мифотворчеством, идеалистическим мифотворчеством. Кстати, тут нужно отметить терминологическую игру и спекуляцию на тройном значении слова «объективный»: 1) объективный, как общественный (в противоположность субъективно-индивидуальному); 2) объективный, как соответствующий действительности (в противоположность какому угодно субъективизму, как несоответствующему действительности); 3) объективный, как *вне субъекта находящийся, от субъекта независимый*. Материалистическая диалектика считает, что процесс познания есть общественный процесс; что он означает познание действительного, вне субъекта и субъектов находящегося мира (что не исключает того, что и сам субъект может рассматриваться, как объект); что понятия, их системы, картина мира, научная картина мира суть продукты социальной деятельности людей, но отражающие действительный объективный (в третьем смысле) мир. Познание предполагает предмет познания, а не вертится на холостом ходу. Объективный мир есть объект *овладевания* в его двуединой форме: практического теоретического. И процесс образования понятий, и

процесс их координации включает практику, как свою основу. *Маркс* в «Немецкой идеологии» замечает, что сознание не может быть ничем иным, как сознанным бытием*. Следовательно, теория не может, в конечном счете, быть ничем иным, как *теорией практики*.

Историческое рассмотрение вопроса приводит и к выводу, что теория, мышления, как более или менее самостоятельная функция, выделилась из практики лишь на определенной ступени развития. Еще *Аристотель* замечал, что теоретическое мышление появилось тогда, когда были удовлетворены элементарные материальные нужды и освободилось время для «самостоятельного» мышления. Мышление сопутствовало и раньше трудовому акту (в своих зародышевых формах). Ибо субъект труда не есть механическая вещь. Правда, как замечает *Гегель* в «Философии Природы», «механическое овладевание внешним объектом есть начало» (274)**; но и в процессе этого овладевания субъект овладевания есть живой и мыслящий (хотя бы и в зародышевой форме) субъект. Но лишь образование прибавочного продукта (и, соответственно, «досуга») выделяет мыслительные функции, как более или менее самостоятельное начало. Этот процесс (исторический процесс) блестяще выяснен в работах *Маркса* и *Энгельса*, лапидарно сформулирован в гениальных фрагментах «Немецкой Идеологии». Образование, на основе роста производительных сил, прибавочного труда; возникновение социально-классовой дифференциации на основе разделения труда с обособлением умственного труда; появление того, что *Маркс* называет «ideologische Stände»* («идеологические сословия»); направление мышления на определенные объекты под влиянием практических потребностей; возникновение на этой основе зародившихся форм науки – все эти процессы довольно ясны, и можно было бы привести бесчисленное множество фактов, доказывающих эти положения на истории любой науки; астрономии и ботаники, геометрии и механики, языкознания и теоретической физики и т. д. Это сознавалось и *Гегелем*, и постольку

* „Das Bewußtsein kann nie etwas Andres sein als das bewußte Sein, und das Sein der Menschen ist ihr wirklicher Lebensprozeß.“ K. Marx/F. Engels: Die deutsche Ideologie. MEW. Bd. 3. S. 26.; K. Marx/F. Engels/Joseph Weydemeyer. Die deutsche Ideologie. Artikel, Druckvorlagen, Entwürfe, Reinschriftfragmente und Notizen zu I. Feuerbach und II. Sankt Bruno. Text. Bearbeitet von Inge Taubert und Hans Pelger. Unter Mitwirkung von Margret Dietzen, Gerald Hubmann und Claudia Reichel. Marx-Engels-Jahrbuch 2003. Hrsg. von der Internationalen Marx-Engels-Stiftung Amsterdam. Berlin 2004, S. 115.

** G.W.F. Hegel: System der Philosophie II. Bd. 9 S. 640. (§ 363).

* *Маркс* и *Энгельс* писали, что буржуазия в своём развитии поглотила все предшествовавшие имущие классы.

он иногда прямо подходил к историко-материалистическим постановкам вопроса. В «Лекциях по философии истории» он говорит: «Человек со своими потребностями относится к внешней природе практически» (275)^{23*} и тут же дает определение орудия труда^{***}, которое по существу перешло в Марксов «Капитал».

Гегель рассматривает практику как звено *силлогизма*, вещь, на первый взгляд чудовищная. Но *Ленин* отмечает: «Это не только игра», ибо здесь подход к *истине* через практику. И, в другом месте, по поводу «заключения действия»: «И это – правда! Конечно, не в том смысле, что фигура логики инобытием своим имеет практику человека (абсолютный идеализм), а *vice versa* (276) практика человека, миллиарды раз повторяясь, закрепляется сознании человека фигурами логики» («Философские тетради»)^{****}.

У *Гегеля* мы находим весьма глубокие мысли в сфере трактуемой проблемы. *Практика* имеет дело с единичным, чувственно данным, непосредственно конкретным. *Теория* – с общим, всеобщим, не данным чувственно, мыслительным, абстрактным. *Диалектическое* познание (вспомним учение о втором конкретном) от абстрактного восходит к конкретному, объединяя анализ и синтез, теорию и практику, единичное и общее, и это *общее* схватывая в его связи с конкретными определениями.

^{23*} G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Mit einem Vorwort von Eduard Gans und Karl Hegel. A.a.O. Stuttgart 1939. Bd. 11. S. 316.

^{***} „Die Naturgegenstände nämlich sind mächtig ... Um sie zu bezwingen, schiebt der Mensch andere Naturdinge ein, kehrt somit die Natur gegen die Natur selbst, und erfindet *Werkzeuge* zu diesem Zwecke.“ Ebenda.

^{****} W.I. Lenin: Konspekt zu Hegels „Wissenschaft der Logik“. LW. Bd. 38. S. 207 f.

Или – как замечательно сказано в «Философии Природы»*:

С постижением... наивнутреннейшей сущности природы, *односторонности* теоретического и практического отношения к ней снимается и вместе с тем удовлетворяются требования обоих отношений *Первоесодержит всеобщность без определенности, второе – единичность без всеобщности. Постигающее в понятиях познания представляет собою средний член* *Постигающее в понятиях познания* есть таким образом *единство* теоретического и практического отношения к природе (277).

Нетрудно видеть, насколько был прав *Ленин*, когда, «читал Гегеля», настаивал на моменте практики у него не как на искусственном, внешнем моменте, а как на моменте самого *диалектического познания* (единство теории и практики «именно в теории познания» – подчеркивал *Ильич*)**.

Разумеется, у *Гегеля* все это дано на идеалистической основе. Онтологически у него речь идет об абсолютной *идее*. Именно «абсолютная идея есть... тождество теоретической и практической идей, из которых каждая для себя односторонняя» («Наука Логики» III гл.) (278)***.

По этому поводу *Маркс* сжато отвечает *Гегелю*, вполне исчерпывая вопрос (Einleitung zu einer Kritik der politischen Oekonomie) (279):

Гегель впал (geriet) в иллюзию, что реальное следует понимать, как результат восходящего к внутреннему единству, в себя углубляющегося и из себя развивающегося мышления, между тем как метод восхождения от абстрактного к конкретному есть лишь тот способ, при помощи которого мышление усваивает себе конкретное, воспроизводит его духовно (geistig) как конкретное. Однако это ни в коем случае не есть процесс возникновения самого конкретного (280)^{24***}.

Практический корень мышления, трудовой его корень, отложился и в обозначениях методов познания: «*анализ*», т. е. буквально «развязывание», отображение материального процесса дробления, расчленения предмета; «*синтез*» – буквально «совместное полагание»,

* G.W.F. Hegel: System der Philosophie II. Die Naturphilosophie. A.a.O. Bd. 9. S. 47. (§ 246, Дополнение). (курсив N.B.).

** „Die Einheit der theoretischen Idee (der Erkenntnis) und der Praxis ... Gerade in der Erkenntnistheorie ...“ W.I. Lenin: Konspekt zu Hegels „Wissenschaft der Logik“. A.a.O. S. 211.

*** G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik II. Die subjektive Logik oder Lehre vom Begriff. Mit einem Vorwort von Leopold von Henning. A.a.O. Stuttgart 1936. Bd. 5. S. 327.

^{24***} K. Marx: Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie. MEW. Bd. 13. S. 632.

«сборка частей». По сути дела вся трудовая практика в ее миллиардном повторении и в пространстве, во многих местах и многими людьми, и во времени – сводится к комбинированию материальных элементов природного мира, к их разложению на различные элементы и к составлению целого – физического или более сложного (не механического) химического порядка. Поэтому и движение логических категорий, и «фигуры логики» отражает и выражает этот процесс. Но и такие методологические понятия и мыслительные процессы, им соответствующие, как *индукция* и *дедукция* отражают движение от конкретно-практического к абстрактно теоретическому и от абстрактно-теоретического к конкретному практическому. Кругооборот Практика–Теория–Практика (П–Т–П') получает точно так же свое отображение в *мышлении* и в *мышлении о мышлении*.

Миллиарды раз повторяющийся опыт, сравнение его многими людьми, непосредственное овладение предметами внешнего мира многими и сличение этих частичных овладений, *обобщение* трудовой практики через ее *обобществление* и приводит к *мышлению обобщественного человека*, с соответствующими *категориями*.

Но при разделении труда и образовании классов, при превращении общественной собственности в частную, при распадении целостного отношения к миру на отношения практические и теоретические, эти распавшиеся и обособившиеся противоположности застывают в противоположности образовавшихся социальных групп (в развитой форме – *классов*). В этой социально-классовой иерархии нижние ступени представляют физический труд, верхние – умственный. Таким образом движение от практики к теории, от конкретного ко всеобщему, от труда к мышлению имеет еще общественно-материальный коррелат в общественно-исторической *форме*, как форме организации разделенного общественного труда во всей его совокупности и во всех его многосторонних определениях (от материального производства до самых «высших» областей идеологической активности).

Таким образом, целостность раздвояется на параллельные и симметричные противоположности:

Практика – работники физического труда (низшие классы) – конкретное, единичное.

Теория – умственный труд (высшие классы, «*ideologische Stände*» (281)) – абстрактное, всеобщее.

В обособлении *теории от практики*, в образовании особых классовых функций (монополизация знаний на основе монополизации средств производства, командующие и идеологические функции князей, жрецов и т. д.), в выделении общественного мышления и сосредоточения его в наиболее «высоких», отдифференцировавшихся формах у определенных социальных групп, и заключается основа «ответа» абстрактного от конкретного, отрыва «всеобщего» от «единичного», гипостазирования понятий, превращения их в самодвижущиеся независимые сущности, т. е. основа важнейшего и коренного идеологического извращения, когда весь мир начинает плясать на голове.

Теперь мы видим, как в идеалистической форме, шиворот навыворот, *Гегель* в кажущихся чудовищно-дикими положениях о практике, как члене *силлогизма*, выразил в перевернутом, идеалистическом, виде, действительные отношения. И *Ленин*, Материалистически «читая» *Гегеля*, т. е. выискивая в его построениях рациональное зерно, освобождая его от идеалистической мистико-идеалистической шелухи, переводя его на язык материализма, сразу заметил, что здесь есть глубокая мысль.

Таким образом, мы видим, что обычные категории обычных буржуазных философий оперируют по сути дела с фантазмами, пустыми абстракциями, социально-генетически объяснимыми, но тем не менее пустыми. Процесса мышления нельзя понять в отрыве его от общественной предметной *практики*. Процесса мышления нельзя понять вне рассмотрения *общественного бытия и общественного сознания*. Процесса мышления нельзя, следовательно, понять из худосочных абстракций односторонне – взятой интеллектуальной функции, превращенной в верховное, философское «Я», которое иногда даже воображает, подобно сошедшему с ума пианино *Дидро*, что в нем разыгрываются все мелодии мира*. Робинзонады, т. е. изолированные «Я», так же мало допустимы в качестве субъектов философии, как они недопустимы в области теоретической экономики. *Марксизм* изгоняет их и оттуда, и отсюда. А, следовательно,

* „Und um meinem System nun die volle Beweiskraft zu geben: beachten Sie schließlich, daß es derselben unüberwindlichen Schwierigkeit unterworfen ist, die Berkeley gegen die Existenz der Körper geltend gemacht hat. Es gab einen Augenblick des Wahns, in dem das empfindliche Klavier dachte, es wäre das einzige Klavier, das es in der Welt gäbe, und die ganze Harmonie des Weltalls spiele sich in ihm ab.“ Denis Diderot: Unterhaltung zwischen d’Alembert und Diderot. (1769) In: Denis Diderot. Philosophische Schriften. Erster Band. Hrsg. von Theodor Lücke. Berlin 1961. S. 521.

социология мышления является *prolegomena* (282) ко всякой действительной философии.

Глава XXIII

О СОЦИОЛОГИИ МЫШЛЕНИЯ: О «СПОСОБЕ ПРОИЗВОДСТВА» И «СПОСОБЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»

Но здесь мы переходим в область рассмотрения другой проблемы, а именно известного *социоморфизма* общественного сознания, т. е. к проблеме «способа представления» (Vorstellungsweise), который, по *Марксу*, соответствует «способу производства» («Produktionsweise»)*.

Зависимость мышления от социальных позиций мыслящего, существование общественно-исторического «стиля мышления», «духа эпохи», «доминанты» и т. д. ощущались, как проблема, еще в тех же тропях *Пиррона*, но не были выражены ясно. У *Фр. Бэкона*** в его учении об «*idola*» (283) (*idola tribus, idola theatri*) (284) эта проблема

* In seinem Buch „Theorie des Historischen Materialismus“ (Hamburg 1922) gibt Bucharin folgende Bestimmung des Begriffs „Vorstellungsweise“: „Dies ist der ‚Stil‘ der gegebenen Epoche überhaupt, d.h. jene besondere Art der Kombination von Ideen, Gedanken, Gefühlen und Gestalten, die für die gegebene Epoche charakteristisch ist.“ (S. 268) Zur Vorstellungsweise gehören, nach Bucharin, auch die Lebensauffassungen und die Psychologie einer Epoche. Der Warenfetischismus mache das besondere Merkmal der kapitalistischen Vorstellungsweise aus. (S. 277) In dem Verhältnis von Produktionsweise und Vorstellungsweise drücke sich das Verhältnis von ökonomischer und ideologischer Struktur der Gesellschaft aus. (S. 278) Die Schrift „Die deutsche Ideologie“ (erschienen 1925) kann Bucharin in seiner Auffassung nur bestärkt haben: „Die Vorstellungen, die sich diese Individuen machen, sind Vorstellungen entweder über ihr Verhältniß zur Natur, oder über ihr Verhältnis unter einander, oder über ihre eigne Beschaffenheit. Es ist einleuchtend, daß in allen diesen Fällen diese Vorstellungen der – wirkliche oder illusorische – bewußte Ausdruck ihrer wirklichen Verhältnisse und Bethätigung, ihrer Produktion, ihres Verkehrs, ihrer gesellschaftlichen und politischen Organisation sind ... Ist der bewußte Ausdruck der wirklichen Verhältnisse dieser Individuen illusorisch, stellen sie in ihren Vorstellungen ihre Wirklichkeit auf den Kopf, so ist dies wiederum eine Folge ihrer bornirten materiellen Bethätigungsweise und ihrer daraus entspringenden bornirten gesellschaftlichen Verhältnisse.“ MEW. Bd. 3. S. 25 f.; K. Marx/ F. Engels/Joseph Weydemeyer. Die deutsche Ideologie. Artikel, Druckvorlagen, Entwürfe, Reinschriftfragmente und Notizen zu I. Feuerbach und II. Sankt Bruno. Appar. Bearbeitet von Inge Taubert und Hans Pelger. Unter Mitwirkung von Margret Dietzen, Gerald Hubmann und Claudia Reichel. Marx-Engels-Jahrbuch 2003. Hrsg. von der Internationalen Marx-Engels-Stiftung Amsterdam. Berlin 2004. S. 325f. In Bucharins Konzept klingt auch Hegels Bestimmung aus der „Philosophie des Geistes“ an, es seien die Vorstellungen, welche der „*Instinkt der Vernunft*“ zuerst hervorbringt. Vgl. G.W.F. Hegel: Konzept der Rede beim Antritt des philosophischen Lehramtes an der Universität Berlin. Einleitung zur Enzyklopädie – Vorlesung. 22. Oktober 1818. In: G.W.F. Hegel. Enzyklopädie III. Frankfurt am Main 1986. Werke. Bd. 10. S. 417.

** Francis Bacon: Neues Organon. Aphorismen 38-44. In: Francis Bacon. Das Neue Organon. Erster Teilband. Hamburg 1990. S. 98-105.

уже была поставлена в довольно яркой форме, как учение о предвзятом *общественном* мнении или заблуждении сквозь которое проходит всякое дальнейшее суждение. В новейшее время софистицированный марксизмом известный полу католический философ *Макс Шелер* занимался специально проблемами социологии знания и в своей капитальной работе о социологически-определяемых формах знания и в своей капитальной работе о социологически-определяемых формах знания («Wissensformen») выработал даже целую таблицу господствующих идейных ориентации, специфических, с одной стороны, для – как он выражается – «Oberklasse» (285) с другой – для «Unterklasse» (286)*.

Маркс, как известно, выставил положение о том, что «способ производства» определяет собою «способ представления». Под способом производства *Маркс* (Капитал, т. II) понимает «тот особый характер и способ», каким соединяются «личные и вещественные» факторы производства.

Этот способ производства «различает отдельные экономические эпохи социальной структуры»**, отдельные «общественно-экономические формации»***. Под «способом представления» – ту идеологическую форму, в какую укладывается познавательный материал (287).

Эта зависимость не высосана из пальца и не представляет собой продукта априорного соображения. Эта зависимость есть реальный факт, и какое бы общество мы ни брали, мы видим в нем некоторые генеральные формирующие идеи, которые являются идеологическим рефлексом совершенно определенного способа производства, идеями-доминантами господствующего класса, носителя данного способа производства, а нередко и класса – антагониста, мыслящего в тех же общих формах.

С выделением частной собственности, раздвоением обществ на классовые противоположности и поляризацией классов, с раздвоением труда на умственный и физический труд, командующий и подчиняющийся *дуализм* материи и духа стал всеобщей формой мышления, всеобщим «способом представления», с его более конкретными вариантами, соответствующими различным типам классовых обществ, различным «способам производства».

Человек раздвоен на две сущности: душу и тело, дух и плоть. «Наше все существо заключается в духе и теле; дух у нас вроде

* Vgl. Max Scheler: Die Wissensformen und die Gesellschaft. 2 Auflage. Bern/München 1960. S. 171 ff.

** К. Маркс: Das Kapital II. MEW. Bd. 24. S. 42.

*** См. прим. 1, глава 23.

господина, в теле же мы имеем скорее раба»* – читаем мы *Саллюстия* (*De coniuratione Catilinae*, I) (288).

Душа – активное, командующее, целевое начало; тело – пассивное, инертное, страдательное начало. В период раннего родового строя, в эпоху первобытного анилизма, самая душа представлялась маленькой копией всего человека, в него вложенной, которая определяет его поведение. Потом она все более спиритуализировалась, превратилась в энтелехию, в невидимую и чувственно не воспринимаемую духовную субстанцию, противопоставленную материальному телу.

Мир точно так же раздвоен на два начала: мирового духа, бога, творца и зиждителя, или «первый толчок», или промысел, провидение, или все наполняющий собою неопределенный безличный дух, всеобщий принцип энтелехии, цель в себе, – во всяком случае активное, определяющее, командное начало; ему противостоит материя, нечто инертное, внешнее, пассивное, страдательное, повинующееся, грубое.

В этих формах вращалось по сути дела все мышление. Они могли быть – и были – более антропоморфными, *личными*, или менее антропоморфными, *безличными*, но они существовали, как тип *социоморфизма*, как отражение основной черты раздвоенного общества, вся реальная жизнь которого была пронизана этим глубочайшим раздвоением. После того, что мы уже говорили, этот факт не кажется странным; если практика целиком проходит в этих формах, если они являются формой общественной бытия, то естественно, что они являются и формой общественного сознания, как сознанного бытия. *Общественная структура* для мышления оказывается чем-то похожим (при всей условности аналогии!) на структуру *органов чувств* – для ощущения. Ощущение есть и в индивидуально-биологическом, в чисто биологическом индивиде. Мышление – только в *обобществленном* индивиде, в *общественном* человеке. Оно – «*Abbreviatur*», сокращенной слепок обобщение *общественной* практики, проходящей в полярностях (речь идет о классовых обществах – подчеркиваем это обстоятельство). Поэтому – в особенности с точки зрения господствующего класса и его «*ideologische Stande*» – человек раздвоен, мир раздвоен и даже *понятие*, как *всеобщее*, оказывается командующим принципом по отношению к *единичному*: в этом гипостазировании общего и его обожествлении – идеализм всех видов, а в образовании понятия в зародышевой форме,

* Sallust: Die Verschwörung des Catilina. In: Sallust. Sämtliche Schriften. Berlin. 1990. S. 27.

как определял Ленин, уж дана *возможность* идеализма*. Она становится действительностью потому, что «фабриканты идеологии» мыслят в адекватных своей социальной позиции формах.

Рабовладельческие великие деспотии древности – Египет, Вавилон, Ассирия – были громадинами, внутренняя структура которых характеризовалась невероятным пафосом дистанции между командующей теократической верхушкой и рабским основанием социальной пирамиды. И в соответствующих *космогониях*, как идеологии, отражался в своих основных чертах этот общественный строй, порядок. Можно даже проследить по эволюции богов эволюцию социальной экономической структуры. Представление *Аристотеля о Космосе*, на которое мы ссылались выше, разве не были слепком с государства *Александра Македонского*, с соответствующей «идеализацией» и «сублимацией категорий»?

Феодальные религии, начиная с западноевропейского феодализма и кончая, например, так называемым «кочевым феодализмом» монголов, разве не *соответствовали* полностью феодальной общественной структуре? Стоит, например, взять «*Summa theologiae*» *Фоми Аквината (289)*, с ее иерархией «форм», чтобы сразу увидеть, что это есть слепок с феодальной общественной организации. Почему в *феодализме* бог носил обычно черты *личного* бога? Потому что феодальные отношения были открытыми формами *личных зависимостей*. Почему с переходом к *капитализму* бог спиритуализировался? Потому, что выступила, как структурная особенность общества *безличная* власть денег, власть рынка, его «стихия». (Разумеется, нигде и никогда не было «чистых» общественных типов, и *поэтому* в способах представления не было тоже абсолютной чистоты). Почему в *настоящее* время в странах фашизма совершается переход от категорических императивов, ниспосылаемых богом, как неопределенным «принципом», «субстанцией» и т. д. к иерархически построенному Космосу со ступенчато расположенными ценностями и с личным богом в главе, вплоть до Вотана, подкрепленного склоняемой во все падежах Судьбой? Потому что «феодализации» капиталистических производственных отношений соответствует «феодализация» «способа представления» на общем кризисном базисе. Почему философия буржуазии от метафизики неопределенных категорий переходит к теологической мистике? По той же причине. Нетрудно показать, что элементы каторжного «корпоративного»

* W.I. Lenin: Konspekt zur Metaphysik des Aristoteles. LW. Bd. 38. A.a.O. S. 352.

государственного капитализма и монополий, характерные для фашистского «общества», переориентировали *всю* идеологию господствующего класса: всю науку, философию, религию. Центральной идеей, идеей – доминантой стала идея иерархического целого, с иерархией ценностей, как чинов и «сословий» (т. е. классов), с порабощением низших, как неполноценных. Мы уже достаточно убедились в этом на предыдущих страницах. Почему в СССР Религия, как форма сознания, отмерла? Потому что уничтожена ее социальная база. Почему в СССР диалектический материализм становится мировоззрением *всех, всеобщим* мировоззрением? Потому что здесь угасает классовое общество. Потому что теория объединяется с практикой. Потому что заполняется пропасть между умственным и физическим трудом. Потому что *уничтожается тысячелетний дуализм общественной жизни*. Если бы не было этих основных факторов, то никакие декреты не достигли бы своей цели и никакие бы мероприятия не смогли истребить привычного «способа представления», и та же религия процветала бы еще долгое время.

Подчеркиваем особо еще раз: речь отнюдь не идет о том! что мировоззрение в целом и наука набиты одними слепками с социальной жизни общества в узком смысле слова; речь не идет о том, что, например, теоремы геометрии суть отражения общественных групп, или что ботаника отражает в учении о вегетационном периоде классовую борьбу, или что номенклатура лекарств есть зашифрованная запись общественных ячеек. Такой взгляд и глуп, и туп, и ограничен. Речь идет о *стилевых* моментах мышления, о таких *формах*, в которых оно движется в своем общественном масштабе, о таком *способе* представления который отнюдь не уничтожает самих *представлений*, как способ производства отнюдь не ликвидирует *производства*. Многообразен и велик мир, как объект познания. Многообразны его отражения, отражения этих бесчисленных моментов мира в его многообразных связях и опосредствованиях. Но весь этот гигантский материал стремится уложиться в некоторые общие мыслительные формы, в способы представления, «особый способ» координации этих различных моментов, при чем дуалистическая концепция (в ее различных вариантах) и вносит момент *идеологического извращения* действительных вещей процессов и связей.

Неизвестен ни один факт (кроме СССР), когда бы господствующий класс в *целом* мыслил материалистически, т. е. атеистически. Известны периоды, когда классы, стремящиеся власти, на определенных этапах были настроена материалистически в лице

своих довольно крупных фракция (энциклопедисты, например) – и это легко объяснимо. Известна многочисленные случаи, когда угнетенные классы своё мировоззрение формулировали в общих с угнетательским классом формах (ср., например, религиозную оболочку крестьянских войн соответствующую идеологию всех фракций крестьян, ремесленников и даже подмастерьев). Известен случай, когда стремящийся к власти класс, складывает свою идеологию формах противоположных и *принципиально* враждебны! господствующему «способу представления»: это пролетариат, как носитель нового *способа производства* социалистического способа производства, принципиально враждебного отживающему свой век капитализму.

Противоположность между властью поземельной собственности, покоящейся на личных отношениях господства и порабощения, безличной властью денег прекрасно выражена в двух французских пословицах: «Nulle terre sans seigneur. L'argent n'a pas de maître», («Нет земли без синьёра». «У денег нет хозяина!»* (*К. Маркс*, Капитал, I). Теперь, в современном капитализме, власть капитала вновь персонифицировалась в олигархических семействах и их политическом выражении. Отсюда – изменение мыслительных форм и переход от безличной (хотя и с «душком» скрытого антропоморфизма) *причинности*, которая гораздо вернее отражала один из типов действительной связи действительного мира к явной проповеди последовательной *телеологии*; которая эту связь объективного мира извращает коренным и принципиальным образом. Переход к *диалектической необходимости*, как доминанте общественного мышления предполагает диалектически необходимый скачок «в царство свободы», в котором живет пока лишь один Советский Союз.

Нетрудно показать, что такие ходовые на капиталистической ярмарке идеологические фетиши, как фетиши «чистой» науки, «чистого» искусства, «чистой» морали, «чистого» познания суть рефлексы отъединенных внешне изолируемых функций, общественные связи которых, в силу разделения труда, исчезли из поля сознания. Соответствующие виды интеллектуального труда мыслятся не как части совокупного общественного труда, а как чистая деятельность «в себе». Соответственно и ее продукты становятся «вещью в себе». Чем длиннее объективная цепочка разделенных звеньев труда, чем дальше отбрасывает она данный вид его от

* К. Marx: Das Kapital I. MEW. Bd. 23. A.a.O. S. 161.; MEGA², II/10. S. 135.

непосредственной материальной практики; другими словами – что тоже – чем абстрактнее данная сфера деятельности, тем ярче выступает тенденция к ее «чистоте», и тогда категории этой деятельности превращаются в головах ее субъектов в замену реального мира: символ математики становится, как у *Пифагора*, сущностью мироздания; норма морали у кантианца превращается «категорический императив», приказ из потустороннего мира; «закон природы» из необходимой связи вещей и процессов в определенном их сочетании – в нечто скрытое в вещах или стоящее *над* ними и ими *управляющее*, как некая *особая* сила. Словом, *фетишизация* категорий здесь налицо.

Из всего вышесказанного вытекает, что *диалектически*, т. е. всесторонне, понять само понятие можно только в связи с его *материальными* и *общественно-материальными истоками*, т. е. только с точки зрения диалектического материализма. То же нужно сказать и о научных или философских *концепциях*. Они должны быть поняты и в соотношении с внешним миром, как объектом познания и «логически», и «социально-генетически»; и с точки зрения внешнего мира, и с точки зрения их истинности, и с точки зрения их преемственности и места в царстве идей, и с точки зрения их общественно-материального происхождения, и с точки зрения их функции в общественной жизни. Иначе будет сухое, одностороннее, метафизическое «понимание», т. е. неполное понимание или непонимание.

Здесь возникает один коварный вопрос, а именно: если познанию, как общественно обусловленному процессу в каждую эпоху свойствен социоморфизм, т. е. своего рода *общественный субъективизм*, то как возможно познание действительных отношений?

Однако, на этот вопрос, после всего вышесказанного нетрудно дать ответ.

Прежде всего, нужно сказать, что наличие своеобразных, фигурально выражаясь, структурных очков, не уничтожает ни на минуту самого *предмета познания*. Только крайняя ступень вырождения определенного способа производства, когда процесс познания превращается в процесс голого *мифотворчества* (и *абсолютной* форме этого, конечно, быть не может) приводит исчезновению в *сознании* предмета познания. Обычно же налицо *идеологическое извращение*, корни которого сидят в двуединой расколотой общественной структуре и в отрыве теории от практики. Однако, действительное историческое развитие, описывая огромный

круг, вновь соединяет в *социализм* разобщенные классовыми обществами функции. Диалектическая триада идет параллельно триаде: общая собственность – частная собственность (разные виды) – общая собственность. Эта триада есть: единство теории и практики – разобщенность теории практики – единство теории и практики. Но как в первой триаде возвращение к исходному пункту есть возвращение на *новой*, обогащенной гигантски и неимоверно, основе, так обстоит дело во второй триаде. Единство теории и практики в исходном пункте было жалким, ибо теории почти не было, а практика была бедна, как сума нищего. Единство теории и практики социализма, где уничтожается водораздел между умственным и физическим трудом, вырастает на базе исполинского богатства производительных сил, техники, науки, личных квалификаций работников. Это – не возврат к нерасчлененной стадной сплошности и варварству первобытного коммунизма. Это *новый* строй труда, отрицающий частную собственность исчезающих формаций, но опирающийся на все их завоевания и чрезвычайно быстродвигающийся труд и познание вперед. Из этого и вытекает, что ему соответствует *диалектико-материалистический* метод познания, как «единство практической и теоретической идеи, выражаясь гегелевским языком. Но этот «способ представления (таково его объективное свойство) *как раз и ликвидирует идеологическое извращение*, имевшее своим основанием разделение труда и распадение его на умственный и физический труд. Вместе с уничтожением *дуализма* в жизни, в *бытии*, уничтожается и *дуализм в познании*, т. е. тысячелетиями длившееся основное и глубокое идеологическое извращение. Ликвидация религии в сознании миллионов, это уже шаги великана по пути к полному освобождению познания и сознания от дуалистических его пут и оков. Таким образом, с *этой* точки зрения оправдывается положение *Энгельса* о предыстории и истории человечества.

Уточняя и суммируя этот последний вопрос, как вопрос о теории познания, т. е. диалектики, мы получаем следующее диалектическое движение:

	Первобытный коммунизм	Классовое общество	Коммунизм.
I	Единство необходимости и цели	Стихийная необходимость, как отрицание цели (это – в товарном и товарно-капиталистическом хозяйстве)	Единство необходимости и цели
II	Единство	Разрыв теории и практики	Единство теории и

	практики и теории, при близкой к О.		практики на обогащенной основе
III	Единство анализа и синтеза при их смутности	Расчленение анализа и синтеза	Диалектическое единство анализа и синтеза
IV	Царство нерасчлененного конкретного	Царство абстрактного	Царство диалектического конкретного

И так далее. Новый целостный человек, сам представляющий живое единство многообразных функций, и новое целостное общество, имеют и новое, истинно Диалектическое и материалистическое мышление. «Способ производства» имеет свой совершенный исторически прогрессивный «способ представления».

Здесь нужно остановиться на одном чрезвычайно важном вопросе, без выяснения которого вся проблема социоморфизма познания не получает своего действительного решения и может, при своем неверном понимании, привести к своеобразным идеалистическим представлениям типа *богдановского* эмпириомонизма, т. е. одного из видов идеализма.

А именно: являются ли «социоморфические очки», как мы их метафорически — условно назвали, *только* общественно-субъективными формами, или за ними скрывается и *внеобщественное* объективное содержание? На этот вопрос нужно ответить утверждением его *второй* половины *закономерность* есть нечто объективное и от человека независящее. *Необходимость* есть связь вещей, процессов равнодушная к самому факту наличия или отсутствия субъекта; который, даже существуя, может ее открывать или не открывать. Поскольку он ее открывает, *источником* является внешний мир и его действительные связи. Таким образом «закон», «необходимость», как нечто объективно существующее отражаются в обобщенно-мыслительных *категориях* «закона», «закономерности», «необходимости», «телеологии» и т. д. Но они сами могут отражаться *правильно* или *извращенно*.

Рассмотрим здесь с социологически-философской точки зрения эту проблему. Возьмем для этого контрверз *необходимости* — *телеологии*. Есть ли в реальном мире нечто действительно-существующее, что способно навести на ложный путь? *Есть*. Это, во-первых, практика самого человека. То, что объективной связи, вне-

человеческой связи, предстоит, как объектный закон, то в целевой практике превращается в правило. Поэтому еще Фрэнсис Бэкон формулировал эту связь так: *quod in contemplatione instar causae est, id in operatione instar regulae est* т. е. то, что в наблюдении есть причина, то в действии есть правило*. Если на земле «от действия теплоты тело расширяется то, чтобы расширить тело, нужно его нагреть»**. Вот вторых, следовательно, целеполагающая деятельность человека? факт. В-третьих, как мы видели, в природе существует целесообразность *post festum*, как приспособленность, за спиной которой скрыта необходимость. Но социоморфизм познания, в условиях раздвоенного общества и сублимированных идеальных форм этого раздвоения, приводит к тому, что объективные закономерности природы, природная необходимость, отражается в общественном сознании человека, как сверхчеловеческая телеология. Если мы имеем, например, форму «анимистической причинности», причинности как духовной внутренней «силы вещей», то здесь бьется объективная причинность, извращенная сознанием по типу человеческой телеологии, с раздвоением предмета на его «закон» и «факт», с трактовкой причины, как активно духовного начала по отношению к косной матери наподобие управляющих родовых старшин, приказывающих обыкновенным смертным и т. д. Поэтому впоследствии само понятие «закона» (природного закона) оказалось связанным генетически с понятием юридического закона, и на учении о т. н. «естественном законе» можно проследить всю диалектику развития в этой путанице и извращениях, имеющих прочность народного предрассудка.

У *А. Богданова*, у которого исчезает объективный предметный мир, а его научно-обработанное отражение («научная картина мира», «социально-организованный опыт») заменяет и *подменяет* собою реальность вне нас существующую, соответственно получается, что категории связи (такие, например, как анимистическая причинность) суть не *социоморфически* трансформированные (и извращенные в ряде случаев) отражения *объективного*, а *только* одна проекция *общественных* связей, *вне источника в материальном природном мире*. Эта односторонность (антидиалектическая) у него так раздулась

* Francis Bacon: Das Neue Organon. Erster Teilband. Hamburg 1990. S. 80 f.: „III. Scientia et potentia humana in idem coincidunt, quia ignoratio causae destituit effectum. Natura enim non nisi parendo vincitur; et quod in contemplatione instar causae est, id in operatione instar regulae est.“ („3. Wissen und menschliches Können ergänzen sich insofern, als ja Unkenntnis der Ursache die Wirkung verfehlen läßt. Die Natur nämlich läßt sich nur durch Gehorsam bändigen; was bei der Betrachtung als Ursache erfaßt ist, dient bei der Ausführung als Regel.“)

** Ebenda. Zweiter Teilband. S. 365.

и распухла, что привела к настоящему социо-мифотворчеству и в данном пункте. И здесь правильное решение задачи может дать только *материалистическая диалектика*.

Глава XXIV

О ТАК НАЗЫВАЕМОМ РАСОВОМ МЫШЛЕНИИ

С марксистской точки зрения пролегоменами философии являются предпосылки *социологического* характера.

С точки зрения «теории» современного фашизма такими пролегоменами являются предпосылки *биологического*, конкретнее, *расового* характера.

Как ни мизерабельна и как ни убога идеология националистических башибузуков фашизма, о ней нужно сказать несколько слов, ибо логическая несостоятельность и логическая низкопробность фашистской концепции не мешает ей быть известной общественной силой, идеологической силой контрреволюции.

Теоретики расовой биологии утверждают, что важнейшим, Решающим, определяющим моментом *типа мышления*, более того, типа психической жизни *вообще* (инстинктивно-бессознательного, в психологии, идеологии – и нормативной, и теоретической) является *раса*, как первично данный Формообразующий фактор. Раса, как «народность», «Volkstum», определяет собой добродетели, и пороки, и тип мышления, и науку: теория относительности *Эйнштейна*, например, относится к еврейской науке и подвергается тем самым остракизму; говорится без стеснения о семитической и арийской физике, математике и т. д. Правда, господа идеологи всей этой чепухи не спелись в основных вопросах: то они искали признаков расы во внешне материальных вещах и процессах (составе крови, форме черепа, цвете волос и глаз, длине носов, величине лицевого угла, соотношении туловища и ног и т. д.); то хватались за соотношение с землей и определенными географическими факторами; то, убоявшись материализма, начинали апеллировать к «внутренним» свойствам, вроде «немецкой верности», «чести» и другим тевтонским добродетелям, включая добродетели пресловутой «белокурой бестии» *Ницше*, о которой столь много писалось и говорилось за последнее время. В итоге получилась дикая каша: ибо игра с черепами и волосами привела к невероятной путанице и часто к совершенно неожиданным результатам. Но она вступила и в принципиальный

конфликт с идеалистической мистикой, потребовавшей отказа от *материалистической* интерпретаций биологии, отказа от «внешнего». Однако, вводя все более и более! значительные дозы мистических врожденных и неизменных добродетелей, заменяя химический состав крови – «голосом крови», а длину черепа – «честью» и «верностью» в их рубацко башибузукском понимании, идеологи фашизма окончательно запутались, и насквозь фальшивая теория стала быстро превращаться в нагло-крикливую и бессодержательную *вербалистику*.

Итак, все же «ученые» фашизма исходят из наличия некоей постоянной *расовой апперцепции*, т. е. способа представления определяемом не способом производства, а *расой*. Как, почему, что – остается туманным.

Но перейдем к разбору основных тезисов этой «теории». Здесь нужно отметить нижеследующие основные пункты. *Во-первых*: никаких чистых рас *нет*. Берем, например, японцев, ближайших друзей немецкого фашизма, «восточных пруссаков», произведенных некоторыми, особо старательными борзописцами фашизма в арийцы. Проф. *Конрад* (см. Очерк японской истории* (290)) сообщает, что японцы этнически сложились из:

- a) переселенцев с материка (главным образом через Корею) частично со стороны Тихого Океана (из монгольского, т. е. манчжуро-тунгусского мира;
- b) из выходцев *малайско-полинезийского* мира;
- c) из переселенцев с южного побережья *Китая* (предков нынешних племен лоло и мяоузы);
- d) из еще более ранних переселенцев островов: *Эбису* (айну) в Средней и Северной Японии, *кумасо* (хаято) – на Кюсю.

В мифологии эти процессы отложились, как напластования племен: «божества земли» (тиги), «боги небес» (тэндзин), «потомки неба» (тэнсеон). Центром объединительного антрополого-этнографического процесса было племя *тэнсон*, наряду с племенем *идзумо*, как основной стержень племени *ямато*, как племя-завоевателя. Но не нужно думать, что перечисленные компоненты были «чистыми». На самом деле они, в свою очередь, являлись сложным продуктом этнического скрещивания. Так обстоит дело с «восточными пруссаками», т. е. *японцами*, необычайно гордящимися

* Н.И. Конрад. Очерк японской истории с древнейших времён до «революции Мэйдзи», опубликованный в сборнике «Япония» под ред. Е. Жукова и А. Розен. М., 1934.

(в лице националистических идеологов) своей расовой чистотой, как чистотой избранного богом народа.

Возьмем теперь *германцев*, ныне руководимых господами расистами. Только абсолютно невежественный человек может соглашаться с тезисом о чистоте «германства» (или какого-либо варианта, вроде «нордической расы»). Германские, кельтские, славянские, литовские, романские элементы (вплоть до эмигрантов-гугенотов, потоком хлынувших когда-то из Франции), – все это смешалось в одну национальную массу (мы не говорим уже о евреях и других этнических группах, вроде мадьяр). В свою очередь, каждый из этих составных элементов тоже продукт смешения. Характерно, что отцы германской расовой идеологии были все не-немцы по происхождению: Х. Чемберлен – англичанин, де-Лагард – француз, Евг. Дюринг (бывший яростным антисемитом) – выходец из Швеции по предкам. Что касается арийского происхождения германцев (наиболее чистыми арийцами обычно считаются персы – иранцы и индусы, хотя некоторые «наиболее чистых» персов – иранцев сближают как раз с «наиболее чистыми» семитами, евреями), то новейшие исследования лингвистического порядка показали близость германцев к сванетам и этрускам, т. е. к народам т. н. яфетической группы, которыми пристально занимался покойный ак. Н. Я. Марр (291) (см. Friedrich Braun: Die Urbevölkerung Europas und die Herkunft der Germanen)*. Мы оставляем в стороне работы, доказывающие еврейское происхождение германцев (Sebald Herman), упоминая об этом лишь для иллюстрации дикой путаницы. Но достаточно здесь указывать на расплывчатость самого понятия арийства: что общего по внешности между индусом и персом – с одной стороны и шведом и пруссаком с – другой? Что общего между браманизмом и буддизмом в Индии и религией Вотана Тора – в германо-скандинавских мифах? Как будто маловато.

Любой серьезный человек, признавая, разумеется, существование исторически сложившихся рас и исторически сложившихся наций, будет с полным правом отрицать их определенность и их чистоту. Чистота рас, это – миф, творимая легенда. Но еще глупее тезис о чистоте наций, которые уже в историческое время сложились, как нации, причем в этот процесс включался и процесс антрополого-этнографического порядка, как процесс скрещивания разнородных этнических моментов.

* Friedrich Braun: „Die Urbevölkerung Europas und die Herkunft der Germanen“. In: Japhetitische Studien zur Sprache und Kultur Eurasiens. Hrsg. von F. Braun und N. Marr. Berlin/Stuttgart/Leipzig 1922.

Во-вторых. Совершенно неверен тезис о постоянстве расовых (или национальных) «душевных свойств», ориентации, психологических доминант, идеологических установок. Конечно, есть известные относительно более устойчивые моменты, из которых складывается т. н. «национальный характер» и которые связаны с особенностями географическо-климатического порядка и т. н. «исторической судьбы», т. е. конкретными особенностями исторического процесса. Но *эти* моменты поистине *quantité négligeable* (292) по сравнению с громаднейшими *историческими переменами* в психологии народов. *Германия* тому лучший пример. Одно время (до Французской революции) немцы считались «варварами». Потом они превратились в мечтательный народ, населяющий «страну поэтов и философов» (*Dichter und Denker*). В начале строительства железных дорог про немцев писалось, что они неспособны к индустриально-торговой жизни, и что железные дороги противоречат спокойно-патриархально-меланхолическому складу, и характеру немецкого народа. Немцы же – не итальянцы, с их банкирскими конторами, торговлей, заморскими операциями, промышленностью и т. д. Затем немецкий национальный характер стал характером самого промышленного в Европе народа. А теперь фашисты воспитывают солдатчину, казарму, кровавую захватническую воинственность и т. д. Страна поэтов и мыслителей превратилась в страну ландскнехтов и преторианцев (293). А во что превратилась т. н. «*âme slave*», «славянская душа» русских? В свою полную противоположность. Ибо коренным образом изменились условия *социального бытия*. А какие громадные перемены происходят, например, в *Китае*, который из страны косной, неподвижной, с прочнейшей рутинной и несравненным традиционализмом, превратилась в кипящий котел войн и революций, напряженнейшей и трагической борьбы и крутых смен все основных ориентации? И т. д. И т. п.

Отсюда ясно, что утверждать постоянство психологических идейных доминант, якобы имманентных наций (и тем более *рас* является *сущим вздором*, ровно ничем не оправдываемым. Относительно-устойчивые моменты – бесконечно – малая величин по сравнению с подвижностью, обуславливаемой не *постоянно* климата, а *переменной* – социального бытия.

В-третьих, совершенно диким является обоснование антисемитизма и объявление семитов культурно-отрицательной величиной, «азиатской чумой», как выражался *еще Дюринг*.

К семитам, как известно, принадлежат:

1. Арамейцы (сирийцы и халдеи);
2. Ассирийцы и вавилоняне;
3. Арабы;
4. Финикийцы;
5. Евреи.

Нужно быть круглым невеждой, чтоб не знать громаднейшей культурной роли этих народов. Известна *халдейская* астрономия. Известна великая культура *Ассирии* и *Вавилона*, и каналы, великолепные дороги, дворцы, храмы, крепости, гигантские мировые города (Вавилон, Ниневия), архитектура, скульптура, литература, письменность, законодательство, астрономия, медицина, математика, инженерное искусство и т. д. и т. п. До сих пор сохранились традиции вавилонского календаря, счета, медицинских рецептов и прочее, не говоря уже о преданиях вавилонского происхождения (через Библию евреев). *Арабам* принадлежат замечательные открытия в области математики, географии, медицины, философии, литературы, архитектуры и т. д. Испания под арабским владычеством была культурнейшей страной со славными университетами. Через арабов Европа сохранила великих греков, в том числе и *Аристотеля*. Арабы в годы их процветания в Европе были поистине светочами культуры. А старинные и таинственные *финикийцы*? Кто не знает о финикийском алфавите? О замечательных финикийских городах и колониях? Об отважных путешествиях вплоть до Немецкого Моря и до Цейлона? О великом Карфагене, бывшей финикийской колонии, которая превратилась в могучую республику, оспаривавшую гегемонию у самого Рима в пунических войнах, где развертывался военный гений *Ганнибала Барки*? А *еврейская* Библия не стала настольной книгой европейских народов? А полумифический еврейский Мессия не стал богом Европы? Круглоголовые Кромвели* распевали псалмы, американские пионеры, основатели Соединенных Штатов, воевали с этими песнями на устах, а уж о Европе нечего говорить. Великий ум Спинозы, сверкающий талант Гейне, сверхгений Маркса, научный гений Эйнштейна – разве это свидетельство отсталости и неполноценности евреев? Антисемитизм, поистине, есть «социализм» *дураков* – как это заметил еще старик *Август Бебель***.

В-четвертых. История говорит нам о *переменчивой* исторической

* «Круглоголовые» (Roundheads) было из-за их пуританской причёски прозвище сторонников и защитников парламента во время Гражданской войны в Англии, начавшейся в 1642 г.

роли разных рас и наций, а вовсе не об однозначном процессе. Расы и нации *меняются местами* в зависимости от очень сложных исторических причин, и в связи с этим меняется и их культурно-историческая роль. Не представляют исключения и черные расы, обладающие когда-то стариннейшими цивилизациями. Государство черных,

*Мерос*²⁵, владело одно время всем великим Египтом. Затхлый в XIX веке Китай был когда-то очагом великой цивилизации. Отсталая Россия стала передовой страной социализма. Расы, народы, нации развиваются не равномерно. Здесь все подвижно, а не заперто на замок каких-то априорных сущностей внеисторического характера. Что касается *мессианской роли*, которую приписывают фашисты «нордической расе», то – в разных исторических вариантах и на различной исторической почве эта идеология встречалась у очень многих народов, начиная с *евреев*, как «*избранного народа*». А «народ-богоносец» и миссия России у *славянофилов* (294), Хомякова, Киреевских, Аксаковых, К. Леонтьева и др.? А мессианство *японских самураев* и их идеологов и практиков типа Араки? А *mania gloriosa Mussolini* с проповедью всемирно-исторической роли нового Рима? Довольно перечислять, ибо этим можно заниматься долгое время.

В-пятых. Расистская позиция приводит к совершенно изумительным результатам в своем конфетном развитии. То

^{**} F. Engels hatte im Artikel „Über den Antisemitismus“ am 19. April 1890 geschrieben: „Der Antisemitismus ist also nichts anderes als eine Reaktion mittelalterlicher, untergehender Gesellschaftsschichten gegen die moderne Gesellschaft, die wesentlich aus Kapitalisten und Lohnarbeitern besteht, und dient daher nur reaktionären Zwecken unter scheinbar sozialistischem Deckmantel; er ist eine Abart des feudalen Sozialismus, und damit können wir nichts zu schaffen haben.“ MEW, Bd. 22, S. 50. A. Bebel hatte diesen Gedanken in der von ihm auf dem Berliner Parteitag der SPD eingebrachten Resolution „Der Antisemitismus und die Sozialdemokratie“ aufgegriffen. (Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der SPD. Abgehalten zu Berlin vom 14. bis 21. November 1892. Berlin 1892. S. 293-94.) F. Engels gratulierte A. Bebel im Brief vom 19. November 1892 dazu. Die Resolutionen, schrieb er, „sind ganz ausgezeichnet, ich kenne nur einen, der es besser konnte, und das war Marx. Sowohl die über den Staatssozialismus wie die über den Antisemitismus trifft den Nagel auf den Kopf.“ (MEW. Bd. 38. S. 518-19.) „Es ist hier der Ort“, notiert Anneliese Beske in der Editorischen Vorbemerkung zum Band 3 der „Ausgewählten Reden und Schriften“ von August Bebel, „einen bis in die Gegenwart kolportierten, auch in seriöser Literatur auftauchenden angeblichen Ausspruch Bebels in allerlei Abwandlungen als langlebigen Irrtum zurückzuweisen; unsere Nachforschungen bestätigen die seit 1972 existierende Erkenntnis daß ‚der zu Unrecht A. Bebel zugeschriebene, wohl aus Österreich stammende Satz: Der Antisemitismus ist der Sozialismus des dummen Kerls‘, tatsächlich nicht auf Bebel zurückzuführen ist.“ (August Bebel. Ausgewählte Reden und Schriften. Bd. 3. Reden und Schriften. Oktober 1890 bis Dezember 1895. München 1995, S. 10.)

²⁵ Мероз, примерно 530 г. до н.э. – 330 г., государство на территории современного Судана с высоким уровнем культурного развития; оно обладало уже собственным литературным языком, пришедшим на смену иероглифам.

А. Розенберг объявляет всю пролетарскую революцию в России восстанием монголоидов против арийской верхушки немецко-арийской императорской бюрократии. То явные монголоиды, японцы, превращаются в арийцев на потребу текущей фашистской политики. То яростно доказывается, что Иоанн, Иисус и апостол Павел были чистыми арийцами в иудейском окружении. То христианство объявляется чумой и заменяется чисто-арийско-нордической религией «бога виселиц» Вотана. То устами *Дрисманса*** творчество Данте, Микель-Анджелло, Леонардо-да Винчи, Торватто Тассо объясняется проникновением в Италию германских домекоцефалов. То воспеваются романско-римские добродетели муссолиниевских когорт. То расточаются восторги по адресу немецкой науки во время войны. То из страны фактически изгоняется великий химик *Габер*, который прямо спасал Германию своими открытиями (азот из воздуха), ибо он оказался иудеем. То в сочинениях *Вольтмана* Лютер объявляется воплощением победы германства над «римско-латинским клерикальным принципом, являющимся носителем еврейской деловой и юридической морали(!)»*. То Лютер объявляется изменником немецкому народу, затем христианство вообще есть еврейская чума. То *Гете* объявляется великим выражением арийско-германского гения. То в сочинениях жены фельдмаршала *Людendorфа* – он смешивается грязью, как космополит и масон, и провозглашается физическим убийцей белокурого и истинно-германского *Шиллера*. *И т. д.*

Еще забавнее, когда противопоставляются националисты *разных* наций. Так, германские фашисты объявляют *большевизм* – русско-азиатской чумой, заносимой в Европу. А известный русский философ-эмигрант *С. Франк* объявляет тот же *большевизм* западно-европейской чумой, занесенной в Россию. Вся эта беспомощная болтовня, вздорная от А до Z, тем не менее превращена в официальную

** Создателем этой теории мог бы считаться Людвиг Вольтман. Siehe: Die Germanen und die Renaissance in Italien. Leipzig 1905. Woltmann behauptet darin: Mit ihrem Eindringen in Italien übernahmen die germanischen Stämme die „geistige Führung der sich bildenden neuen Nation, denn aus ihren Schichten ging die überwiegende Mehrzahl der großen Genies des Mittelalters, der Renaissance-Zeit ... hervor.“ (S. 63) Leonardo verkörpert das „anthropologische Gesamtbild“ des Renaissance-Menschen: „Hohe und kräftige Gestalt, langer schmaler Schädel, ebensolches Gesicht mit bedeutender leicht gebogener Nase, heller Teint, große blaue Augen, blondes und lockiges Haupt- und Barthaar. Wenn irgend einer unter den großen Italienern, dann war Leonardo ein unvermischter Sproß der germanischen Rasse.“ (S. 86) Überhaupt sind, nach Woltmann, alle Kulturleistungen der europäischen Geschichte geistige Schöpfungen der germanischen Dolichocephalen.

* Vgl. Ebenda, S. 38 f.

идеологию и воспроизводится машинным путем на основе мощной германской техники...

В-шестых. Развитие мирового хозяйства, созданного капитализмом, создало и *мировую* культуру, идеологические установки которой диалектически раздвоятся *по классам*. Кантианство, махизм, прагматизм и т. д.; Шекспир, Гете, Гейне, Толстой, Достоевский; Дарвин, Гельмгольц, Геккель, Фарадей, Максвелл; Дизель, Эдисон; Павлов; Резерфорд, Нильс Бор, Кюри; Бетховен, Вагнер, Дебюсси, Чайковский и прочие, – все это вошло в *мировой* кругооборот идей. *Марксизм*, ленинизм – стали интернациональными явлениями. А взрыв бешеного национализма есть не имманентное свойство *расы*, а идеологическое и политическое выражение империализма у последней его черты, империализма у порога его гибели, что связано с гигантским обострением капиталистических противоречий и всеобщим кризисом капитализма. *Inde ira* (295).

Таким образом, современный *фашистский* «способ представления», как последняя антитеза *социалистическому* «способу представления», выражает собою не *расово-биологическую* антитезу, а антитезу *классовую*, общественно-историческую.. Не в составе крови, не в цвете волос, не в национальных особенностях «в себе», не в вечных и внеисторических ориентациях рас и наций коренятся идейные установки борющихся в последней битве лагерей, а в общественно-исторически обусловленных классовых позициях, где полярно-противоположные классы являются носителями, представителями и борцами полярно-противоположных способов производства, быта, культур, идеологий, всей жизненной ориентации в совокупности ее многообразных функций.

Для решения *философских проблем* этот фашистский «способ представления» означает гигантский регресс: ибо он тащит понимание *субъекта* от абстракции общественного человека (что был в старой буржуазной философии) либо к биологическо-расовой, т. е. *зоологической* абстракции, либо к средневеково-теологическом «способу» иерархически-неподвижного мышления, мышления в категориях средневековой схоластики и мистики. Как он ни кичится своим антихристианством и антиазиатством, но в своем антиинтеллектуализме он повторяет и восточных мистиков, и отцов церкви и мистиков христианства. Ведь, это как раз они считали *мышление* чумой, язвой, адом; ведь это они объявляли разум порождением Сатаны, гулящей девкой. Ведь, это в

«Упанишадах» (296) сказано, что, кто рационально познает, тот ничего не знает. Ведь это Лао-Тзе утверждал, что жизнь и рациональное познание несовместимы.

Ничто так не характеризует всей *гнилости* расово-мистической ориентации, как именно это отвержение *разума*. Биологически пролегомена мышления, как их понимают фашистские философы, на самом деле – идеологическая *иллюзия*. В действительности и здесь *реально* действуют пружины общественно-исторического процесса. Логика «биологии» здесь есть рефлекс конкретной общественно-исторической полосы, и анализ этой логики еще раз блестяще подтверждает основные истины исторического материализма *Маркса*. Общественное бытие класса обреченного, гибнущего, делающего отчаянные зверские прыжки, – определяет собой и его общественное сознание. Отказ от рационального познания и замена его мистикой есть такое *testimonium raupertatis* (297), которое, с точки зрения всемирной истории, лишает этот класс права на историческое существование. Да не придерутся к этой фомуле: она, конечно, метафора. Но она выражает действительность. Она означает, что тенденции прогрессивного типа, то есть тенденции *жизни*, стали несовместимы с существованием класса, который *не может* идти вперед и смотрит *назад*, и только назад. Именно поэтому он вынужден вести борьбу против *разума* и *разумного познания*, развитие которого в его всеобщем масштабе угрожает все больше самому бытию уходящего и гниющего эксплуататорского строя. Не на этих путях происходит обновление философской мысли современности.

Глава XXV

О СОЦИАЛЬНЫХ ПОЗИЦИЯХ, МЫШЛЕНИИ
И «ПЕРЕЖИВАНИИ»

Итак, расово-биологические предпосылки должны быть отброшены, вернее, сведены к тому минимальному значению, какое он занимает в действительности. В полной силе остается марксово учение о «способе производства», определяющем собою «способ представления»*. Национальные особенности суть лишь добавочный коэффициент, конкретная «форма проявления» основного и решающего. При этом следует заметить, что эти особенности лежат и в особенностях («национальных» и т. д.) материальных условий жизни, т. е. самого способа производства в его данной исторической конкретности. Феодализм есть везде феодализм. Но, например, так называемый «кочевой феодализм» монголов имел свои особенности, точно так же, как русский феодализм по сравнению с западноевропейским. Американский капитализм имеет свои особые черты, объясняемые конкретно-историческими условиями развития Соединенных Штатов (свободные земли, относительно высокая зарплата, минимум феодальных отношений, социальный подбор европейский англосаксонских поселенцев и т. д.), точно так же, как и всякий другой капитализм. Рабовладельчески строй Эллады, это не то, что рабовладельческая теократия Древнего Египта и Вавилона. Кастовый социальный порядок Индии, социальный строй древнего Китая, государство инков и т. д., – все это имело и общие черты, и черты оригинальные. Именно такова *диалектика* общего и единичного. Но и в пределах *одного* и *того* же социального комплекса, разделенного на *классы*, профессии и т. д. – неизбежно возникают различные *ориентации*, причем решающую роль, как мы видели уже, играют *классовые* позиции.

Таковы общие предпосылки *социологического* характера. Здесь нам хочется поставить в *этой* связи вопрос, который мы уже отчасти разбирали в нашей работе, а именно вопрос о *мышлении*, т. е. о мышлении в *понятиях*, и о так называемом «*переживании*» мира, – что служит основой «непосредственного созерцания», противопоставляемого современным мистицизмом рациональному

* См. прим. 1, глава 23.

познанию

вообще.

С логической стороны этот вопрос уже разбирался нами; здесь мы его ставим снова под новым углом зрения, с ударением на *генезисе* и *социальном значении* этой «ориентации в мире», особенно в связи с модными увлечениями *индийским* (и восточном вообще) мистицизмом.

У *Георга Зиммеля* (см. его «Социологию», «Философию денег», «Социальную дифференциацию», а также работу о культурном кризисе)²⁶ (298) большую роль играют два понятия: понятие *социальной дифференциации* (причем автор все время сглаживает основное решающее деление на *классы*, в котором и выражается *диалектическое* раздвоение единого и биполярность классового общества, топя классы в понятии всевозможных «социальных групп») и понятие *позиции*, «*Attitüde*», определяющее отношения данных индивидуумов к миру. С этой точки зрения отношения человека, как субъекта, крайне многообразны, его ориентации и его оценки многообразны и переменны: он может относиться к миру пассивно-созерцательно; он может относиться к нему активно-практически; он может относиться к нему эстетически; познавательно-критически; наивно; религиозно и т. д.

Если все эти определения брать в их рациональной форме, то мы можем сказать что: 1) общественное бытие определяет собой общественное сознание; 2) что способ производства определяет собой способ представления; 3) что способ представления имеет свои конкретные «национальные» особенности по связи с национальными особенностями самого способа производства; 4) что внутри общества каждый класс развивает свои ориентации, оценки и т. д.; 5) что внутри классов есть варианты ориентации, в связи с характером групп; разделенного общественного труда; б) что с переменной общественного бытия меняются и эти ориентации общественного сознания; 7) что многообразие ориентации может быть более или менее широким у той же самой группы и может быть умерщвлено при таком устройстве общества, когда специализация суживает жизнь до ее предельной односторонности.

Установив эти предпосылки, мы можем сравнительно легко разобраться и в том вопросе, который *con amore* практикуется современным руссоизмом индусско-китайского образца, о чем мы говорили уже, разбирая книгу Гл. *Lessing'a*, которого и пресловутый

²⁶ Georg Simmel: Über soziale Differenzierung (1990), Philosophie des Geldes (1900), Philosophische Kultur (1911), Grundfragen der Soziologie (1917), Lebensanschauung. Vier metaphysische Kapitel (1918).

граф *H. Keyserling* считает за высокий авторитет в индуcской философии вообще и в индуcской мистике в частности и в особенности.

Представляется на первый взгляд в высокой степени странным, парадоксальным и прямо непонятным, каким образом браманизм, а затем буддизм, будучи идеологией господствующих классов (мы не говорим о первоначальном периоде буддизма, когда легендарный *Сакиа-Муни (299)**, бросив дворец, ушел к нищим и убогим, стал заступником за «судра»** и «дравида»^{27**}, развил учение о непринятии чувственного мира, сложился, как аскетическая система, вырос как учение чистого созерцания и т. д.

Коротко говоря, мы объясняем это так:

Ни в одной стране не было такого дробного, строгого и застывшего деления на *касты*, как в Индии, где верхушка – «святые», *рагii* – «хуже глиста в кишке собаки». Чтобы держалась *этакая* социальная пирамида, должны были выработаться совершенно исключительные методы воздействия на массы, такие, которые делали бы господствующую теократическую олигархию *вышшими существами*, несоизмеримыми с обыкновенными смертными. Здесь оказались бы недостаточными такие нормы, как в Египте, где пафос дистанции, воплощенной в идее *ранга*, приводил к постройке колоссальных «вечных» пирамид, грандиозных статуй фараонов, обрядовой мистике и т. д. Здесь теократическая верхушка должна была *на деле* творить вещи, представлявшиеся чудом для других, оказаться способной *на деле* к тому, к чему не могли быть способны обыкновенные смертные. То, что обычно у господствующих классов является монополией знания, здесь должно было приобрести потенцированную форму, небывалую интенсивность, которая бы превращала теократическую головку в существо *иного порядка*. При застойном характере экономического и технического развития, «прогресс» мог идти здесь по одному направлению: по преобразованию самой физиологической (и следовательно психологической) природы человека-властителя. Это и было достигнуто индийской теократией. В самом деле. Послушаем нашего авторитетного мистика:

* Sahyamuni, „der aus dem Stamme der Sahya“, einer der Namen Buddhas; Siddhartha Gautama in der Sanskrit-Version. Angenommenes Geburtsjahr 563 v. Chr.

** Shudra: unterste, vierte (verfemte und verachtete) Kaste im indischen Kastensystem.

^{27**} Dravida: z. Z. Buddhas unterdrückte Bauernstämme im Pandschab.

Греческое слово *Myste Mystik* (μύσθ) означает: – конец. Заканчивается здесь дыхание *Lebenshauch* (санскритск *Īman* древнееврейско *עֵשׂ* *ash*): *Rāya – Yoga* и *Tuñya (Tat)* (способности светло-бодрствующего сверхсознания) служат мудрецам Индии для сокращения вдыхания и выдыхания. Его полное подавление и выключение означало бы прекращение крово- и жизнеобращения; с этим совпадает достижение нирваны.

Это происхождение понятия «мистики» указывает на последние глубины. Так как каждому акту *Tuñ* духа, как внимание, желание, самосбирание, мышление т.д. свойственно *самонапряжение (Sichanspanne)* которое телесно проявляется в непроизвольной *задержке* дыхания, то все... тайные учения Азии являются сборниками директивных правил и упражнений по концентрации, овладеванию и подавлению жизненного ритма *Lebenshauch**.

Что же отсюда вытекает?

То, что основой мистики индусских жрецов-мудрецов является *физиологический тренаж* плюс *гипноз*, доведенные до такого замечательного совершенства, до которого в Европе, ориентировавшейся на *вещи*, не доходили даже приблизительно. Застойности *вещной* культуры заменялась здесь гигантской культурой *воли*, направленной на преодоление воли, – это и есть «чистое созерцание», «погружения в предмет», «слияние с миром», «непосредственное переживание», «мистика», овладение своим *телом* и царством *аффектов*. Столетиями, из поколения в поколение, передавая свой опыт по наследству, подбирая особо способных, культивируя «аскезис» (300) и аскетические упражнения, создав целую громадную культуру этого неведомого Европе тренажа, индийские мудрецы достигли такого совершенства, что стали по отношению к париям, судра и другим кастам на недосягаемую, ангелоподобную высоту. Все остальное (нормы поведения замкнутых каст, когда целуют след брамина и почитают его экскременты, а парию рассматривают как прокаженного, до которого нельзя дотронуться, не осквернившись; религиозное учение о переселении душ, где нарушение кастовых правил карается перевоплощением в какое-либо особо позорное животное и т. д.) – опосредствовало *эту* (социальную дифференциацию).

* Theodor Lessing: Europa und Asien oder Der Mensch und das Wandellose. Hannover 1923. S. 231.

Отсюда вытекают следующие характерные черты: концентрация внимания на человеке, его желаниях, воле и т. д., а не на предметах внешнего мира; пассивная позиция по отношению к внешнему миру, а не активная позиция овладения; напряжение воли для преодоления воли, т. е. культура чистого созерцания; концентрированность на аффективной стороне, а не развитие понятий; алогичность «духовного опыта», а не культура мышления, как такового. И т. д.

Конечно, не нужно думать, что все это было «дано» в своей «чистой» форме. Речь идет лишь о тенденции. Не нужно также думать, что вся индийская философия сводилась к мистике – такие басни рассказывают только неумеренные прозелиты индусского мистицизма. И совершенно нелепо было бы полагать, что созерцание заменяло работу, и что ноги кормили огромную страну. Такое представление об Индии так же нелепо, как «классическое» представление об Элладе, по которому гармонические греки ходили голыми, высекали статуи и философствовали, а хлеб насущный готовым ниспадал им в их божественные рты. И, тем не менее, так как идеи господствующего класса обычно бывают господствующими идеями, то немудрено, что созерцательная позиция была тормозом для *активного отношения к природе и адекватного идейного отношения, т. е. активного мышления в понятиях*. Но и сами понятия, выраставшие на основе таких жизненных ориентации и формируясь соответственно способу производства с его расчлененной и доведенной до огромной высоты иерархией, застывали в форму универсальных религиозно-мистических систем: более конкретно-натурально-анимистических и фетишистских – в народных низах, с моментами сотериологического порядка, и более абстрактных – в верхах. Чувственное представление, образ, фантазия, аффективная сторона жизни приобретали поэтому гораздо больший удельный вес, чем в развитии западно-европейского типа.

Но при всем том, отнюдь не следует упускать из виду и несоизмеримости разных способов производства, как таковых. Ибо нелепо противопоставлять индусскую теократию европейскому капитализму. А *докапиталистические* отношения и в Европе знали мистику и народную романтику, анимизм, всеобщую одушевленность сил природы, бесконечное разнообразие богов, соперевживание природных явлений. Гейне прекрасно описал это для Германии в своих очерках по истории религии и философии. Но то же было и в России (возьмите хотя бы *Мельникова-Печерского*) и в Ирландии, и во Франции, и повсюду. Таким образом, абсолютизировать все эти категории *различия* никак нельзя: это означило бы поистине

рационалистически, схематически, убого и односторонне подходить к соответствующим явлениям.

Жизнь *чувства* и чувственное *отношение к природе*, однако, отнюдь не обязательно предполагает мистические и мистико-религиозные формы. Между тем господа мистики, и в том числе поклонники индусского мистицизма, исходят именно из этой совершенно неверной предпосылки. Религиозная форма есть как раз зародышевое *мышление* и мышление *социоморфного* типа, что очень легко показать на истории всех без исключения религий, начиная с культа предков, старших в роде, героев и т. д., и кончая царями небес и безличными абстракциями с их принудительной силой. *Конфуций*, как мы упоминали, говорит: «Чтобы достигнуть хорошей жизни, не следует, как это происходит в западной половине земли делать новый плуг, но нужно сделать какое-нибудь благодеяние для растений, животных или людей. Ибо, если бы мы любили море, как нашу собственную душу, то мы в нем не утонули бы, и если бы мы любили огонь, как самих себя, то он бы не обжигал нас»*. Здесь мы видим отнюдь не простое сопереживание природы, но и понятия, и *цели*, и *расчет* (столь ненавистный *Лессингу*), но только все это в анимистической примитивной форме. Однако, разумеется, есть разница между жизнью *интеллекта* и жизнью *аффективной*, между мышлением и чувством, между системой понятий, «холодным разумом» и аффективным переживанием, «горячим сердцем», или, как это теперь называют, между «духом» и «душей», хотя они и незагорожены китайской стеной друг от друга. Верно то, что специфическая структура капитализма отделила город от деревни, культуру от природы, теорию от практики, мышление от чувства. Лучшим примером может служить *Кант*, который не выезжал за пределы Кенигсберга, в Кенигсберге почти не выходил (за исключением точно размеренных ежедневных прогулок) из своего кабинета. Сама по себе, в целом, иррациональная жизнь капитализма в единичном рационализована до мелочей, и постоянная постановка целей и расчет являются, действительно, ее свойством: жизнь превращается в универсальную тактику, аффективная жизнь остается на долю почти одной *эротики*. Это *обеднение* жизни, и гипертрофия *интеллектуального* на базе сокращения *эмоционального* (а вовсе не от «чрезмерного ума» самого по себе!) есть действительная односторонность капиталистического человека.

Но вопрос о многосторонности и односторонности, об однобокости или универсальности жизненного содержания отнюдь не

* Theodor Lessing. A.a.O. S. 103.

совпадает с вопросом о *типе познания*. Между тем, мистики контрабандой протаскивают именно этот вопрос, хотя в своей терминологии стараются замутить воду. Ибо, *переживание* (созерцание, нирвана и т. д.) есть у них погружение в *глубины бытия*, во вневременную и внепространственную *сущность вещей*, в «истинный мир». Если бы речь шла о том – и только о том – чтобы обогатить жизненное содержание человека сопереживанием природы многообразными, связанными с этим, эмоциями (и чувственными ощущениями, красками, запахами, формами, звуками; и ощущениями приятного, радости, подъема, всего того, что на авенарианском языке обозначалось, как «положительный аффекционал» (301) и «положительная физиоразность»), то не было бы никакого спора: эту проблему жизненного устройства и душевного обогащения человек решает, как мы уже говорили, *социализм*, уничтожающий уродство капиталистической культуры. Но мистики утверждают, что рациональное познание убивает сущность мира, анализирует сухую мумию, превращает мир в математическую формулу, живое заменяет машиной, мир-числом. Все *эти* возражения мы отбили в предыдущем изложении. Что же обещает нам *мистика*? Восхищение формулой *Конфуция* есть *омистичивание* Конфуция, у которого все весьма трезво-утилитарно, но на *анимистическо* основе. Если поступать, однако, по этой формуле, то ничег хорошего не вышло бы. В чем же может быть *замен* интеллектуального познания? Не в том ли, чтобы, как предлагав *Лессинг*, объявить действительную жизнь *сном*, а сон действительной *жизнью*?

Но на это еще *Гегель* в «Феноменологии» дает блестящи ответ:

Говорят, что абсолютное следует не понимать, чувствовать, и созерцать, что исследованием должно руководит не понятие, а чувство и созерцание»... «Роль приманок, необходимых для того, чтобы пробудить желание клюнуть, играют прекрасное, святое, вечное, религия и любовь; не понятие, эстаз, не бесстрастно развивающаяся необходимость вопроса, бурное вдохновение должно, как говорят, служить сохранению прогрессирующему развитию богатства субстанции»(302).

Предаваясь необузданному брожению субстанции, они надеются, сокращая самосознанием и отказываясь от рассудка, сделать избранниками ее, которым бог дает мудрость во сне; но зато все, что

* G.W.F. Hegel: Phänomenologie des Geistes. Mit einem Vorwort von Johannes Schulze. A.a.O. Bd. 2. S. 15 f.

они в действительности получают и порождают во сне, и относится лишь к области снов^{28*}. Эта операция, следовательно, стара, как мир, и ничего плодотворного она не давала. Во имя жизни выбрасывать лозунг «спать», это поистине комично.

Предлагать отказ от понятия, значит предлагать отказ и от слова. И тут мистики вполне последовательно провозглашают последней мудростью... молчание. Самый большой мудрец, это великий молчаливец, который ничего не говорит.

Это и есть достижение Th. Lessing'a.

Санскритское имя – читаем мы у него – для мудреца *гласит* это значит буквально: онемелый, более не говорящий. Древнейшее предание Египта рассказывает о четверичном боге Амуне, который почитался только молчанием. Об одном греческом философе Кратиле, учителе Платона и ученике Гераклита, осталось для нас в предании только то, что он на высоте своей мудрости сидел молча и лишь попеременно поворачивал указательный палец правой руки то налево, то направо, чем он хотел обозначить двоякую природу и равдвоение всякого знания; и действительно! если бы я мог объявить себя сторонником какого-либо философского направления или школы, я бы назвал себя почитателем Кратила (230–31)

«*Беркли и Кратил*; отрицание внешнего мира ради субъективного «образа» и возвращения к “ручной речи”» (303) пра-дикарей, т. е. отрицание мысли и человеческого общения через речь есть последней результат и «вывод». Нечего сказать, хорошая замена рационального познания и великолепное проникновение в «последние глубины» бытия! Что же еще может предложить мистика? Каталептическое блаженство, безразличный экстаз, нирвану, атараксию? Но, ведь, эти вещи были ведомы всем народам: даже российские хлысты знали их, как знали их шаманы Сибири, иранские дервиши и т. д. «Дионисово» начало родственно тоже этим мистериям. Однако, какое это имеет отношение к познанию действительных связей мира и действительных отношений? *Если* сюда входят иногда моменты гипноза, гипнотического ясновидения, физиологического тренажа и соответствующих *знаний*, то они сами поддаются рациональному объяснению, и *тут* нет принципиально ничего ни мистического, ни чудесного; вообще «чудо» есть отрицательное: чудес *не бывает*; чудо, которое действительно произошло, не есть чудо уже тем самым, что оно есть.

^{28*} Ebenda, S. 18. (курсив N.B.).

* Theodor Lessing. A.a.O. S. 230 f.

Мистики ратуют во имя непосредственной жизни, справедливо жалуясь (и тут как мы видели, есть действительная проблема) на обездушение жизни. Но они предлагают вместо обездушения ее *обессмысление*. Впустив океан аффектов, они хотят заковать и запрятать в погреб человеческий *интеллект*. Давая широкий простор чувственному образу, они хотят заколотить двери в царство *понятий*. Таким образом, другого конца хотят однобокости: вместо культурной однс *интеллекта* они хотят животно-детско-дикарской однобокости *аффекта*. Растительно-животное состояние есть для них идеал, как антитеза искусственной среды, машинизма, калькуляции, счета, тактики, рациональной науки. Другими словами, здесь предлагается перейти от логического мышления к про-логическому «соучастию», о котором говорит *Леви-Брюль* в своей работе: «Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures» (304)**.

Это значит не решать задачу, а отказаться от решения задачи. Нет, социализм будет поддерживать великую *фаустическую* традицию, традицию труда, знания, борьбы, интеллекта и чувства, любви, природы, искусства. Соединяя культуру и природу, он убьет бездушие цивилизации, он создаст великий синтез рационального познания и богатейшей жизни чувства.

Глава XXVI

ОБ ОБЪЕКТЕ ФИЛОСОФИИ

Переходим теперь к положительному решению основных предпосылок философии. Из всего вышесказанного вытекает, прежде всего, *исторический* подход к предмету. И здесь сразу же нужно заметить, что бы в последующем не было никаких недоразумений: действительный мир исторически сам *стал* объектом, т. е. предметом человеческой практики и мышления, действительный мир *безотносительно* к субъекту, т. е. в этап берутся в строгом смысле, как коррелятивные, соотносительные понятия. Объект всегда связан с субъектом. (В скобках отметим, что сравнительно не так давно под объектом разумелся субъект, «под субъектом объект:

** Lucien Lévy-Bruhl: Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures. (1910) Deutsch unter dem Titel „Das Denken der Naturvölker“. Bucharin zitiert nach der Abhandlung von A. Pogodin: An der Grenze des Tierischen und Menschlichen, veröffentlicht in: Neue Ideen in der Soziologie, Sammelbuch Nr. 4. Vgl. N. Bucharin: Theorie des Historischen Materialismus. Hamburg 1922. S. 236–237.

субъект был страдательным началом «предметом», а не наоборот. Но это несколько не меняет дело по существу). Но из этого отнюдь не вытекает, что мир перестает существовать, когда он перестает быть (или еще не становится объектом мысли и действия, точно так же, как предмет труда не перестает быть вещью, переставая быть предметом труда, или средства производства не перестают быть средствами производства, сбрасывая с себя общественную и специфически-историческую форму капитала. На смешении *действительного мира* и действительного мира, как *объекта*, т. е. действительного мира *вне* связи с субъектом и действительного мира в связи с субъектом, основывается безудержная квази-философская спекуляция, в которой буквально можно задохнуться. Таким образом, следует установить, что действительный мир отнюдь не привязан к субъекту никакой «принципиальной эмпириокритической координатой». Он привязан к нему только тогда, когда фигурирует в качестве объекта, и это положение не представляет никакой философской мудрости, ибо оно есть не что иное, как простая и элементарная ясная *тавтология*. Важно, однако, отметить, что действительный мир становится объектом *исторически*, потому, что его раздвоение, выделение из него мыслящего организма, *само* есть исторический процесс, определенная стадия в развитии действительного мира (мы здесь оговариваемся, что речь идет о земле, но что этот «геоцентризм» совершенно условен: мы просто *пока* не знаем о мыслящих существах других миров). Значит, действительный мир существовал и без всякого субъекта: для своего бытия он в нем отнюдь не нуждался, ибо не субъект его творил, а он, природа, на определенной стадии, породили субъекта. Поскольку возник этот последний и стал активные, действенные отношения к миру, этот последний *стал превращаться* в объект.

Сам действительный мир есть исторически меняющаяся величина, предвечно и вечно текущая: она менее всего неподвижный и неизменный абсолюте; действительный мир есть *всепроцесс*, где все в историческом движении и изменении, ибо пространство и время суть не субъективные формы воззрения, а объективные формы существования движущейся материи. Природа имеет *свою историю* точно так же, как и человеческое общество, и никакой принципиальной разницы здесь нет. Если взять землю, то ее геологическая история, ее переход, как целого, из состояния расплавленной массы до теперешнего ее состояния, включает и образование различных веществ и их изменение, и образование сложных пород, и появление органических тел, и явление мыслящей

материи. *Образование новых качеств* – существеннейший момент исторического процесса, так же, как исчезновение ряда других. Это великая *объективная диалектика природы*, предполагающая «исчезающие моменты» и бесконечное разнообразие качеств, свойств, форм и связей мирового целого и его частей. *Органическая* природа наделена рядом свойств, отличающих ее от природы неорганической. Точно также *мыслящая* материя, выросшая в субъект, не перестает быть в то же время *частью природы с особыми* свойствами, и само сознание, как инобытие определенных материальных процессов, есть реальный факт, объективное *свойство* определенной качественной, квалифицированной материи. С этой точки зрения даже галлюцинация есть факт, и она может быть и бывает *объектом* мышления. Науки о «душевных болезнях» не ниспадают в ничто, а имеют своим предметом нечто существенное. Можно писать историю иллюзий и заблуждений, ибо они – тоже факт. Галлюцинация и бред противопоставляются (т. е. должны противопоставляться) нормальному сознанию, постольку-поскольку галлюцинация (ее *содержанию*) ничего не соответствует во внешнем мире. Ее можно (и должно) отрицать не как факт ненормального сознания, а именно с точки зрения соотношения с *внешним*: отрицать же ее бытие, как процесса сознания, было бы крайне нелепо. Следовательно, и сознание имеет предикат *бытия*, и становится само, на определенной стадии развития, *объектом мышления*: «мышление о мышлении» весьма важная часть философии. Другими словами: соотношение между бытием и мышлением есть *диалектическое* соотношение, ибо эти противоположности переходят друг в друга, и мышление *существует*, т. е. имеет предикат бытия, а бытие *мыслит*, т. е. имеет предикат мышления, мыслящая материя есть их *реальное единство*. Но в этом реальном единстве субстанций и историческом *praes*, как мы видели, является *материя*, без которой не может существовать никакой «дух», тогда как без него может существовать – и существует – материя в самых разнообразных формах. Многочисленные иллюзии на этот счет порождаются, между прочим, объективированными мыслительными формами. Существуют понятия, как продукт мыслительной работы человечества. Существуют «категории», которые иным кажутся даже априорными. Существуют религии. Существуют «научные системы». Существует философия. И т. д. Они – объективированные формы сознания. Они даже материализуются в книгах и других символах, получают так сказать осязаемое бытие. Но что все это значит? Значит ли это, что «дух» имеет реальность *не*

свойства, а субстанции, становится самостоятельной, говоря по-старинному, *causa sui?* (305)

Конечно, нет.

«Объективированность» мыслительных форм есть не что иное, как выражение их *интенсивной обобщественности*, что часто (отнюдь не всегда ср. религиозные формы) связано с большей или меньшей *адекватностью их содержания* реальной действительности. Эти формы суть отражения правильные или искаженные. Они нигде на существуют, кроме как грубо говоря – в головах *обобщественных людей*. Они не плавают каким-то киселем между людьми, в качестве особой «тонкой» субстанции. Общественное сознание вообще есть сознание обобщественных людей, а не сверх людская категория. Поэтому в *известной* мере оно независимо от каждого отдельного сознанныго. Точно так же и общество не перестает существовать, когда умирает тот или другой из его сочленов. Но если бы умерли разом *все*, то не было бы ни общества, ни общественного сознания. Другое нужно сказать о гигантской системе *символов*. Их *материальное бытие*, т. е. как бытие типографской краски, например, и определенной пространственно формы, никакого отношения к вопросу о «сущности» сознания не имеет. «Смысл» книги – не в краске и в свиной коже. Вне своей *расшифровки*, т. е. вне соотнесения с субъектом, они – *никакие* символы, не имеют *никакого* «смысла» и существуют только в свое грубом и бессмысленном бытии, чисто внешем, как любой булыжник. Только когда дано это соотнесение, вопрос переводится в плоскость объективированных мыслительных форм («Gedankendinge»), о чем мы уже говорил выше. Любопытно в данной связи отметить, что г-н профессор *Вернер Зомбарт*, увлекшись «социологией смысла» («*verstehende Soziologie*») *Макса Вебера*^{*}, с поистине обезьяньей быстротой без всякого смысла приложил соответствующие категории к внешнему миру: и вышло, что реальные процессы природной действительности, которыми мы владеем, суть лишь символы, «смысл» которых нам никогда не будет доступен, а общественными процессами, смысл которых мы понимаем, мы никогда не овладеем! Эта чертова карусель и есть, по *Зомбарту*, пресловутая судьба человечества.

Итак, *объектом* становится действительный мир со всеми его свойствами и чертами, в том числе и с сознанием, как свойством определенной его части.

^{*} Vgl. Max Weber: *Wirtschaft und Gesellschaft*. In: *Grundriß der Sozialökonomik*. III. Abteilung. Tübingen 1921.

Действительный мир историчен, т. е. находится в процессе исторического изменения. Его свойства историчны, т. к. они изменчивы. Как объект он историчен в том смысле, что он становится объектом, когда появляется исторический субъект. Мыслящая материя, т. е. этот исторический субъект, сам становится объектом. Сознание есть свойство определенного вида исторически возникшей и развивающейся материи. И, наконец, объект историчен и в том смысле, что он: 1) *исторически* становится объектом, в меру роста практики и теории субъекта, Удлинения радиуса его практической и теоретической ориентировки; он все время *становится* объектом, *раскрывается*, как объект, а не влезает, как кочан капусты, целиком в мешок; 2) действительный мир частично и *творится* (хотя и не ex nihilo (306)) субъектом: весь так называемый «культурный ландшафт», вся искусственная среда, города и села, канавы и дороги, возделанные поля, убранные леса, подземные шахты и т. д. и т. п., – все это *трансформированный* человеком мир, так сказать «*антропозойский*» период планеты-земли, если говорить в геологических терминах; здесь исторический момент уже прямо и непосредственно связан с *человеческой историей*.

Односторонность почти всей домарксовской философия заключалась в том, что *объект* ее был абстрактен, неисторичен и в то же время был объектом так называемого *чистого сознания*. Между тем, мы уже видели, и чему ведет подобная односторонность и чем она (и логически, и социально-генетически) объясняется. Следовательно, уже в самом исходном пункте, в трактовке объекта, – налицо определенный порок. В действительности объект есть *объект овладения*, причем сам процесс овладения, или *овладения*, двуедин: это есть и практическое и теоретическое овладение, с приматом практики.

Как объект практического овладения, мир материально в той или иной степени и трансформируется, а теоретическое познание опосредствует этот процесс, расширяет и обогащает его, ориентирует его. Если принять за исходный пункт такую трактовки объекта философии, то тем самым все дальнейшие проблемы! неизбежно должны будут взяты в совершенно ином аспекте, и не будет места той гипертрофии «духовного», под воздействием которой сам объект как бы испарялся, превращаясь – разумеется, не на деле, а в головах философов – в «идею», «понятие» или какую-либо другую тощую и на высоких котурнах мысли стоящую худосочную абстракцию. Правда, как мы знаем, ряд идеалистических систем трактовали мир,

как объект *творения*, а это, казалось бы, ультра «практическая» действенная позиция. Но не нужно смешивать понятия. Здесь, шла речь о практике *мышления*, а не о материальной практике. Здесь объект сам был не исторически-преднаходимым материальным предметным миром, а продуктом творчества субъекта. Такое «овладевание» есть иллюзорное овладевание, и оно разрешается в ничто, мираж, в мыслительную туманность.

Трактовка объекта, как объекта практического и теоретического *овладевания* отнюдь не есть искусственный мыслительный трюк: наоборот, она есть единственно верная, то есть соответствующая исторической и текучей действительности трактовка. Она не представляет собой одну из «точек зрения» в зависимости от «удобства мышления» или других аналогичным соображений. Она имеет твердую опору в фактах исторической действительности, где объект выступает прежде и раньше всего, как объект *практического овладевания* («ассимиляция» Гегеля прямо и непосредственно сюда упирается). Объект, как объект практического овладевания, есть первая фаза существования его, как объекта, *исторический* исходный пункт. Объект, как объект теоретического познания, вообще мог появиться лишь в меру существования самого теоретического познания, (еще раз повторяем и подчеркиваем: до этого реальный мир, скажем, земля с ее «богатствами», весьма и весьма *существовала*, но ее никто не познавал на земле; поэтому она, существуя, как земля, не была еще предметом внимания субъекта, т. е. не стала еще *объектом stricto sensu*). А это теоретическое познание само появилось исторически гораздо позднее, *выделившись* из практики в особый и более или менее автономный процесс. Объект поэтому в сознании людей раздвоился сам: он стал, с *одной* стороны, объектом практического овладевания; с *другой* стороны – объектом теоретического овладевания. «Практики» всегда более или менее трактовали мир, как материю, что имеет тяжесть, занимает пространство, оказывает сопротивление, требует усилия и преодоления сопротивления. «Теоретики» в меру отрыва от практики, оперируя всеобщим, т. е. имея исходным пунктом уже не непосредственное соприкосновение с реальным миром, а отражения довольно высокого порядка, *заменяли* ими действительный мир. Забавно, например, видеть, как создавалось и росло у «чистых логиков» учение о «предмете познания». Этот предмет были «чистые типы», «идеальные типы» (как, например, в геометрии идеальные треугольники или «идеальные типы», *типы Макса Вебера*). Но беда заключается в том, что эти «идеальные типы», будучи абстракцией,

превратились у философов в «истинный мир». Трудно также удержаться от улыбки, когда такой великан, как *Гегель*, с полной серьезностью, убежденностью и глубокомыслием, пишет, например:

Бесконечность животных форм нельзя... учитывать с такой точностью, как если бы необходимость системы соблюдалась абсолютно строго. Надо, наоборот, возвести в правило всеобщие определения. И если последние не соответствуют правилу вполне, но все же приближаются к нему,... то не правило, не характеристика рода или класса должны быть изменены, словно они обязаны соответствовать данным существующим формам, а, наоборот, последние должны соответствовать первым; поскольку это ее недо(307)к («Философия Природы», курсив Гегеля)*.

Логически здесь *отрыв* от конкретного бытия (ибо отрыв от Материальной практики, от непосредственного соприкосновения с конкретным). «Глубина» – адекватна материальной *бедности*; эта не восхождение ко все более полнокровному второму конкретному, а систематическое лишение бытия всех его перьев; общее отрывается от единичного, род от индивидуума, закон от факта, абстрактное от конкретного, и т. д.; поэтому и происходит процесс эфиризации, спиритуализации бытия: на места реальности мира становится идеал, понятие, капральская палка без армии, превращенная в тень. Это есть выражение уродской *и* пустяковой гордыни понятия.

Однако, как мы уже говорили, и понятие становится, на известной ступени исторического развития, *объектом познания*. Так как оно не является материальной частью внешнего мира, а инобытием определенно-организованной материи, если мы его не берем как процесс мышления, то он не может быть непосредственным предметом материальной практики: мышление происходит в «голове», а не на фрезерном станке и не под валом блюминга. Но так как его логический состав есть конденсация общественного опыта, т. е. огромного исторического процесса, включающего и *практику* (о чем речь была выше), то мышление, как объект познания, связано с практикой, и не может быть диалектически понято вне этой связи – это во-первых; во-вторых поскольку само мышление есть момент, опосредствующий практический процесс, постольку через теоретическое овладение мышлением, получается и практическое овладение им; наконец направление мышления на определенные объекты есть своеобразный процесс практического овладения

* G.W.F. Hegel: System der Philosophie II. Die Naturphilosophie. A.a.O. Bd. 9. S. 678 f. (§ 370).

им. Мышление о мышлении и есть процесс, когда само мышление становится *объектом*. И здесь, как мы видим, момент практики играет существеннейшую роль.

Так объект философии выступает перед нами не как объект старой философии, а как многообразная и материально-единая и то же время, текучая, исторически меняющаяся величина, как объект теоретического и практического овладения, овладения в его двуединой форме.

Глава XXVII О СУБЪЕКТЕ ФИЛОСОФИИ

Параллельно трактовке объекта, в домарксовской философии была и соответствующая трактовка философского *субъекта*. Как мы знаем, это была абстракция одной интеллектуальной стороны жизнедеятельности человека, в свою очередь абстрагированного от всяких общественных и общественно-исторических своих определений. В разных направлениях философии эта всесторонняя оципанность субъекта и превращение его в одностороннюю и бедную интеллектуальную абстракцию формулировалась по-разному, но почти у всех направлений вышеотмеченные черты были общими чертами так называемого философского «Я». В идеалистических системах, это было обычно «всеобщее» «я», у субъективных идеалистов – индивидуальное «я», у агностиков и позитивистов – индивидуум, взятый то с психологической, то с физиологической стороны, у механических материалистов обычно – физиологический индивидуум, у *Фейербаха* – физиологическо-биологический, чувственно-родовой человек, «антропологический» принцип» в философии. Ограниченность старого материализма, и *фейербаховского «гуманизма»* в том числе, – была беспощадно вскрыта в кратких и острых тезисах *Маркса*, этой гениальной формулировке основных принципов диалектического материализма. Если, с известным упрощением, брать философствующего субъекта, то он был мыслительной стороной, отвлеченной от всякой общественной и общественно-исторической определенности, т. е. чем-то немислимым по существу, ибо – как мы уже видели – сама мысль предполагает общество «общественного человека» *Аристотеля*, «toolmaking animal» (308) *Франклина*, «обобществленного человека» (vergesellschafteter Mensch) *Маркса*. Социологические prolegomena «ко всякой будущей «философии»

говорят нам, что субъект философии, мыслящий субъект, есть обобществленный человек, т. е. общественно-исторический человек в его многосторонней жизнедеятельности. Разумеется, каждый человек есть *индивид* в виде. Разумеется, каждый человек есть *физиологическое* единство. Разумеется, каждый человек есть, следовательно, *биологическая* особь. Но общественно-исторический человек есть *обобществленный* индивид, в котором есть *новые* качества, никак не растворимые в биологическом и физиологическом. Капиталистический человек, типичный буржуа; человек-феодал; человек социализма и т. д. – все это категории, специфические особенности которых никак нельзя вывести из физиологии или биологии. homo sapiens и *только* – трансформировался *исторически* в общественное, делающее орудия, человека. Человек первобытного коммунизма, с определенным типом обобществления своей собственной природы, *исторически* сменился человеком родового строя, феодализма, капитализма, социализма (последнее только в СССР). Идеалистическая точка зрения на субъекта явно убога. И Даже гуманизм *Фейербаха* совершенно недостаточен: не *антропология* является пролегоменами, а *социология*; не биологический человек, а *обобществленный* и исторически определенный специфическими отношениями производства; не односторонне «мыслящий», но многосторонне жизнедеятельный. Из последнего, однако, вытекает, что, например, для капиталистического общества с его производственной анархией дробным разделением труда, глубоким отрывом теории а практики и т. д. из одного Я вообще нельзя понять отношения между «человеком» и «миром»: эти отношения определяются здесь в гораздо большей степени, чем в других классовых обществах, только связанной совокупностью отношений *общества* в его целому. Если, например, в социалистическом развитом обществе каждый индивидуум более или менее отражает в своей многообразной многогранной жизнедеятельности жизнь *всего* общества, то специализированный человек капитализма воплощает лишь *одну* грань общественной жизнедеятельности. Он не есть пук общественных отношений к природе, не их фокус, ибо люди разъяты и раздроблены так же, как разъято и раздроблено всё капиталистическое общество в его целом. Если идеалистическая философия в своем субъекте гипостазировала интеллектуальную функцию, вырывая ее из всего контекста жизнедеятельности творя своего философского субъекта преимущественно, как субъекта «чистого разума», т. е. изолированной и взятой «в себе» познавательной функции, то материалистические

теории *Фейербах* искали выхода в человеке, как чисто физиологическом биологическом типе. Но выйдя таким образом за предел общественно-исторического субъекта, ниспадая в биологическое или антропологическое, тем самым они неизбежно должны был трактовать субъект только как пассивный *продукт природы*, т. е. брать субъекта не как активное начало с его активной практике, прежде всего, а как начало страдательное, производное, т. е. по существу не как субъект по отношению к природному объекту, скорее как *объект*, на который природа воздействует. Эта однородность была, как известно, отмечена *Марксом*. Она логически связана с трактовкой человека только как животного вида, связана потому, что процесс приспособления животного вида есть процесс пассивного приспособления, приспособлена путем *естественного отбора*, то есть как общественный человек активно покоряет природу и в своей *технике* создавая специфически-общественные орудия воздействия на природу, на материю, становящуюся, в историческом процессе развития, все более и более *материалом*, т. е. действительно *объектом*. Эта исторический «скачок» в развитии homo sapiens, скачок от животного стада в человеческое общество, от биологии к социологии, от биологического индивида к обобществление человеку, от человека, вооруженного зубами, к человеку вооруженному техникой, – этот скачок оказался *вне философии*.

Между тем, как мы видели, само мышление возникает в процессе активной *общественной практики*, т. е. в сотрудничестве общественных людей, от этой общественной практики *исторически* отдифференцируется и т. д.

В философских доктринах идеализма «я» превращалось в целепологающее духовно-творческое начало, вбирающее в себя мир, а иногда и пожирающее его. В философских доктринах материализма и его вариантах «я» превращалось в односторонний «продукт», простой пункт пересечения географических, климатических, орографических и прочих влияний так называемой «естественной среды». (У французских материалистов рационалистического толка с этим связаны, между прочим, и представления о «естественном состоянии», «естественном порядке», «естественном законе», а также те «робинзонады» в общественных науках, о которых с такой едкой иронией говорил *К. Маркс*). Именно поэтому *Маркс* писал о том, что субъективную и активную сторону развивал идеализм, тогда как материализм был более пассивен.

Итак, субъект есть на самом деле *субъект овладевания*, подобно тому, как объект есть объект овладевания.

Субъект овладевания *историчен насквозь*. Он появляется, как таковой, лишь на определенной стадии развития – следовательно, он историчен уже с самого начала своего бытия. Он историчен с точки зрения своей нарастающей исторической мощи, с точки зрения своего техничеcки-практического и теоретического вооружения и соответствующих результатов. Он историчен с точки зрения типа общественной структуры и соответствующих способов представления*.

Если смотреть на субъекта глазами домарксовской философии, то, например, какое дело этой философии до *техники*, будь это каменный топор, паровая машина или дизель-мотор? Старая философия отмечала подобную прозу, как нечто к делу не относящееся, для философии слишком низменное, и философии недостойное. Наоборот, с точки зрения диалектического материализма, где субъект есть субъект *овладевания* миром (и предметной трансформации мира в материальной практике), где практика есть процесс непосредственного вторжения в мир, где она имеет громаднейшее теоретико-познавательное значение, *техника* играет роль чрезвычайно важного момента. Вооруженность техникой, степень этой технической вооруженности, имеет, таким образом, существенное значение. Дикарь с каменным топором и человек с социалистической техникой – совсем *разные* субъекты, и прямо смешно говорить о них, как об одном и том же. Так же примерно стоит вопрос и с *техникой экспериментальной науки*. Если современные тончайшие приборы повышают чувствительность естественных органов в огромное число раз; если они (рентген невидимое делают видимым; если они улавливают то, что недоступно нашим естественным чувствам, создавая, так сказать новые, искусственные, чувства (электроприборы, например), то совершенно недопустимо при трактовке субъекта отвлекаться на этих могучих и мощных орудий познания. Ссылки на то, что великие умы древности, например, *Аристотель*, без всякой техники – производственной и экспериментально-научной додумывались до философских проблем, кои являются спорными и по сей день; или давали некоторые частные ответы, справедливые и по сей день; ссылки на то, что даже атомистика насчитывавшая тысячелетнюю давность и т. д. и т. п., – все это крайне неубедительно. Неубедительно это потому, что все же здесь налицо громаднейшая разница. Атомы *Демокрита*, *Эпикура*,

* См. прим. 1, глава 23.

Лукреция, Кара т. д. были наивными гипотезами, в своем роде гениальными догадками. Атомы современной науки суть прочно ее приобретение, экспериментально завоеванное и обработанное научно-теоретическим мышлением. Рассуждения *Эпикура* и опыт *Резерфорда*, теории *Нильса Бора* и т. д., – это два разных измерения, при всем том общем, что они имеют. Достаточно прочитать «Философию Природы» *Гегеля*, чтобы увидеть это громадное количество мистического мусора и просто мусора несмотря на истинные бриллианты, сверкающие среди этих гор. Ведь со смерти этого колосса прошло не так много времени. Но – скажут нам на это – здесь речь идет больше о науке, чем с философии. А ушла ли далеко философия? Ушла. Но, во-первых нельзя отделять китайской стеной одного от другого; во-вторых, если брать, например, спор материализма и идеализма раньше и теперь, то мы видим вовсе не топтанье на месте, а воспроизводство противоречия на *гигантски расширенной* основе. *Гегель* куда богаче *Платона, Маркс* – несравненно, неизмеримо выше *Эпикура*. То обстоятельство, что вопрос не решен для всех коренится в общественной обусловленности мировоззрения, «способе представления», как рефлексе «способа производства». Таким образом, трактовка *субъекта* должна быть трактовке исторической и в смысле *исторической вооруженности* (практической и теоретической) *субъекта овладевания*.

Но здесь мы подошли вновь, в иной связи, к вопросу о «*способе представления*». Мы видели, какую огромную роль играет способ представления в деле мировоззрения и видели закон его возникновения. Повторяться здесь было бы неуместно. Мы спрашиваем только: если во всех философских системах отводится такое огромное место вопросу о *физиологическом субъективизме* (или просто субъективизме) ощущений и т. д., то где логический резон проходить мимо могущего быть повсеместно констатированным *общественного субъективизма*, т. е. социоморфического «способа представления»? Таких резонов нет и быть не может. Если мы до конца поняли то обстоятельство, что человек не суть просто биологическая особь, а имеет *общественно-историческое бытие*, то становится совершенно очевидным и общественно-исторический характер его *сознания*. «Способ представления» имманентен общественно-историческому субъекту. Мы должны трактовать поэтому субъекта овладевания, субъекта философии, как исторического, общественного субъекта и с *этой* точки зрения, т. е. с точки зрения свойственного ему «способа представления», *зная закон*

этого способа представления, т. е. его генезис, его функцию, его связь с объективным миром, его искажающую идеологическую роль и т. д. Но не превратится ли при такой трактовке субъекта философия в историю философии и даже, больше того, вообще в историю? Нисколько. Речь вовсе не состоит в том, чтобы начинать весь процесс *ab ovo*, от *Адама* и до теперешнего времени. Совершенно нелепым было бы также повторение попыток решать проблемы, стоящие перед нами, попеременно с точки зрения различных общественно-исторических субъектов, то есть жить прошлым. Но конденсированно, историко-диалектически, включить это прошлое необходимо. Это и значит знать исторические законы соотношений, иметь возможность сравнивать, т. е. действовать, как субъект, обладающий всем могуществом современной техники и современной науки. Наивысший тип мышления, это мышление *диалектико-материалистическое*. Наивысший, исторически наиболее совершенный тип *субъекта овладения* есть исторически возникающий тип *социалистического человека*. Гегелю прекрасно известно было то, что философия *есть эпоха, схваченная в мыслях*. Он иногда давал блестящие образцы этого понимания, где его объективный идеализм прямо переходит в материализм. Вот, например, характеристика позднего Рима:

...римский мир есть... мир абстракции, в котором единое холодное господство простиралось над всем образованным миром. Живые индивидуальности духов народов были подавлены и умерщвлены; чужая власть тяготела, как абстрактная всеобщность, над отдельным человеком. При таком состоянии разорванности чувствовалась потребность искать убежища в этой абстракции *и* искать убежища в этой внутренней свободе субъекта, как такового» (История Философии, II) (309)*.

И т. д. Отсюда Гегель выводил основные черты философского мышления этой эпохи.

* G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. A.a.O. Bd. 11. S. 362.; Vgl. auch: G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II. Leipzig 1971. S. 454: „Der Charakter der römischen Welt ist die abstrakte Allgemeinheit gewesen, die als Macht diese kalte Herrschaft ist, in der alle besonderen Individualitäten, individuellen Volksgeister aufgehoben worden sind, alle Schönheit zerstört ist. Wir sehen Leblosigkeit; die römische Kultur ist selbst dies, ohne lebendige Innerlichkeit sich zum Bewußtsein zu bringen... Es ist die Zeit des vollkommenen Despotismus, des Untergangs des Volkslebens, ... ; es ist das Zurückziehn ins Privatleben, in Privat Zwecke, Interessen.“

Гегель на самом себе блестяще демонстрирует *общественную* характеристику субъекта философии. Вот образец подобной демонстрации, который мы берем из «Философии! Природы»:

Вообще новый мир представляет собою неразвившееся раздвоение: он делится на северную и южную часть подобие магниту. Старый же свет являет совершенное раздвоение на три части, из которых одна, Африка, есть самородный металл, лунная стихия, оцепеневшая от зноя, где человек замирает в самом себе; это – не вступающий в сознание немой дух. Другая часть, Азия, есть вакхически кометное исступление, буйно порождающая себя из среды, бесформенное произведение, без всякой надежды овладение своей средой. И, наконец, третья часть, Европа, образует сознание, разумную часть земли, равновесие рек и долин, и гор, – и центром ее является Германия²⁹.

Эта геологическо-поэтическая мистика в стиле *Якова Беме*, по существу выражавшая «способ представления» христианско-германских ослов, как их называл *Гейне*, никак не может быть понята вне историко-общественного контекста; и никакой «чистый Разум» не сможет вывести такого бреда из самого себя или из одного внешнего мира. Но *Гегель*, рассуждая, например, о *Платоне*, выставляет совершенно мудрое правило: «Мы должны, – пишет он в «Лекциях по истории философии» (311)^{**} – стоять выше Платона, т. е. мы должны знать *потребность мыслящего духа нашего времени*. Вот именно! Мы должны стоять *выше всех*, ибо должны знать «потребность духа нашего времени». А «наше время», это не абстракция времени, а плоть и кровь истории, новый способ производства, новый человек и новый способ представления. Соответственно этому и субъект *нашей* философии есть *исторически* возникший, исторически; общественно-определенный *субъект овладения* миром, овладения одновременно и связно практически-теоретического, субъект, вооруженный мощной производственной и экспериментальной техникой, совершенным способом представления, многообразный и многогранный в своей жизнедеятельности, целостный, а не раздробленный человек социализма. Понять это и значит понять «потребность мыслящего духа нашего времени».

Но в социализме, как мы видели, *само общество* превращается в целепологающий *субъект*: оно само становится телеологическим

²⁹ G.W.F. Hegel: System der Philosophie II. Die Naturphilosophie. A.a.O. Bd. 9. S. 468 (§ 339, Zusatz).

^{**} G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II. Mit einem Vorwort von Karl Ludwig Michelet. A.a.O. Bd. 18. S. 178 f. (курсив N.B.).

единством, что сжато формулировано в *сталинской* формуле: «План, это – мы». Здесь налицо уничтожение стоящей над человеком общественной стихии, превращающейся во внешнюю по отношению к нему и над ним господствовавшую силу. Общество, как *субъект*, овладевает самим собою, овладевает и *практически*, и *теоретически* одновременно. *План* социалистического общества и выражает собою это *овладение*, двуединое и целостное: здесь одновременно наличествует и теоретическое познание, и практическое действие, и «познанная необходимость» и телеологическая «свобода», и воля, и ум, и мышление, и практическое действие, и научный синтез и установка. *Единичный* субъект здесь одновременно и максимально «тонет» в всеобщем (ибо налицо единство коллективно-организованной воли) и максимально обогащает свою индивидуальность (ибо имеет полную свободу развития вообще, развития своих особых индивидуальных свойств, склонностей, влечений, талантов – в частности). Здесь, следовательно, налицо диалектическое взаимодействие между *реальным* всеобщим и единичным, бытие всеобщего в единичном и единичного во всеобщем. Таков исторически наивысший *субъект овладения* миром, овладевающий и природой, и обществом.

Глава XXVIII

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ СУБЪЕКТОМ И ОБЪЕКТОМ

Процесс *взаимодействия* между субъектом и объектом, который в общем виде является процессом *овладения* природой со стороны субъекта, сам является *меняющимся историческим* процессом. Взаимодействие между объектом и субъектом постоянно налицо, но типы этого взаимодействия исторически различны. Точно также, как объект и субъект являются историческими переменными, так исторически переменной величиной является и взаимодействие между ними. Этот меняющийся процесс мы уже отчасти рассмотрели в главах об объекте и субъекте, ибо нельзя брать объект *в себе* (он тогда перестает быть объектом) и нельзя брать субъект *в себе* (он тогда перестает быть субъектом); таким образом, в этих понятиях уже заранее заложено понятие *соотношения*; будучи раздвоением единого, полагая себя, как и

противоположности, они переходят одна в другую, как и вообще неорганическая природа переходит в органическую, а органическая разлагаясь и умирая, переходит в неорганическую. Но здесь этот «обмен веществ» между природой и обществом имеет свои особые и специфические черты. *Активный* характер отношения со стороны субъекта; *телеология*, не устраняет, как мы знаем, *природной* необходимости, и сама свобода есть «познанная необходимость», по определению *Ф. Энгельса*. Но активность есть высвобождение от непосредственного *давления* природы, от необходимости в *первом* аристотелевом смысле (см. выше). Если на начальных ступенях человеческого развития субъект был *подавлен* «грозными» силами природы, немощен и беззащитен перед ее стихиями, то теперь он в значительной мере владеет ими, но *владеет* ими, подчиняясь им, поскольку он может управлять процессами природы, лишь опираясь на законы природы: можно это выразить и таким образом, что он в одно и то же время и свободен, и несвободен; и царствует над природой, и подчиняется ей. Если мы будем рассматривать исторический процесс взаимодействия между обществом и природой в условиях общественного *роста* (т. е. минуя эпохи общественного упадка и гибели целых обществ и целых «цивилизаций», всемирно-историческое значение чего ни в коем случае нельзя приуменьшать), то мы без труда обнаружим процесс *высвобождения* от подавленности человека силами природы. Все большее значения приобретает техника, производство, экономическая организация общества, наука и т. д. «*Географические факторы*» не перестают действовать, но они уже не определяют течения жизни, оставаясь в значительной мере постоянными и устойчивыми (*относительно* постоянными и *относительно* устойчивыми). И, наоборот, чем дальше идет процесс *активного* приспособления к природе, тем быстрее развивается общество, меняет свои формы, обогащает свои функции, увеличивает свои потребности; разнообразит свою материальную и духовную культуру. Ошибка т. н. «географического материализма», а затем его мистифицированной и вульгаризованной карикатуры – «*геополитики*» – состоит в непонимании (или нарочитом отбрасывании) того факта, что при возросших производительных силах «географические факторы» действуют *через* технику и производство, в то же время, превращаясь в объект воздействия. Таким образом, исторически возникший субъект *растет*, как субъект, он сам *исторически* *вырастает*, и постольку

общественно-исторический процесс есть *процесс овладения природой, при полном приоритете объективных законов природы.*

Этот процесс в его целом, как мы видели, можно выразить формулой П–Т–П', т. е. в формуле *кругооборота теории и практики* на все *расширяющейся* основе их взаимодействия. Расширение этой основы, в свою очередь, выражается в *росте производительных сил*, в том числе в росте *техники*, в повышении коэффициентов технических мощностей, в быстроте и разнообразии технологических процессов, в том числе и химических реакций всякого рода; во все большем количестве и многообразии неорганических и органических веществ, втягиваемых в процесс производства, как его сырье и материал всякого рода. Расширение этой основы выражается и в *росте науки*, т. е. во все более широком и глубоком познавательном *овладении миром*. Одно здесь опосредует другое и в своем совокупном движении образует двуединый процесс овладения миром. «Искусственная среда» и материальное изменение лика земли, т. е. превращение естественного ландшафта в культурный ландшафт, «пейзажа» в штандарты сельского хозяйства, индустрии, транспорта – есть наглядно-чувственно-материальное выражение этого процесса. Так совершается процесс пожирания Космоса человеком, процесс потребления вещества мира, его трансформации в человеческих целях; процесс возрастания мощи человека над веществом и стихиями природы.

Убыстрение (или, наоборот, остановка и замедление) этого процесса связаны с условиями функционирования производительных сил, т. е. прежде всего, с *исторической* формой общества, причем каждая историческая форма его из «формы развития» диалектически превращается в «оковы этого развития». (*К. Маркс*^{*}). Натуральное в своих основах хозяйство *феодализма* (которое, однако, никогда не было *целиком* натуральным!) ограничилось медленным темпом роста, застойной техникой, а в области мысли сухим, деревянным и неподвижным теологическим догматизмом, который не давал никакой возможности критики и действительного научного исследования. *Капитализм* с его принципом прибыли, с его конкуренцией, с его машинами, сразу во много раз ускорил процесс *овладения природой*, и в области материально-практической и в области теоретической. Это *ускорение* процесса овладения предметным миром шло и в ширь, и в глубь, и было поистине беспримерно в истории человечества. Создание мощной техники, гигантский рост производительных сил, образование мирового рынка,

^{*} К. Marx: Zur Kritik der Politischen Ökonomie. Vorwort. MEW. Bd. 13. S. 9.

невиданный расцвет науки и ее превращение в мировую науку, – все эти вещи, неизвестные старым временам и великим старым цивилизациям. И, тем не менее, взаимодействие между природой и обществом, между объектом и субъектом (в данном случае мы выражаемся не совсем точно, ибо капиталистическое общество не есть целеполагающий субъект; но здесь это неважно), в эпоху *упадка* капитализма явно изменилось: и в материальной сфере и в сфере мыслительной. В последней наблюдается, как мы знаем, резкий поворот от метафизических абстракций, от спиритуалистических фетишей, вновь к феодальной теологии, от «критицизму» к догматизму, от науки, частью стихийно-материалистической теории, кокетничающей с идеализмом, к мистике и богословию (на крайнем левом фланге – необычайный интерес к диалектическому материализму, знаменующему отрыв от буржуазии). И, наоборот, *социалистическая* общественная форма крайне *убыстрила* процесс овладевания предметным миром. Освоение новых территорий, геологическая, ботаническая, зоологическая и всякая иная обследованность Союза, громаднейший рост производственных сил и техники, никогда в мире ранее не наблюдавшийся взлет кривой производства, быстрейшие успехи науки и проникновение ее в жизнь масс при объединении с практикой и т. д. – все это проходит в *совершенно новой ритмике*.

Огюст Конт, как известно, делил, в значительной мере следуя *Сен-Симону*, умственную жизнь человечества (а вместе с нею и *всю* жизнь) на три периода: «теологический», «метафизический» и «научный»³⁰. Его грубейшая ошибка состояла, прежде всего, в том, что умственную жизнь он брал за исходный факт, т. е. в своем историческом построении имел лошадиную дозу антиисторического рационализма. Конечно, не теология порождала феодализм, а феодализм порождал теологию. Не феодализм был продуктом теологической формы мышления, а теологическая форма мышления была продуктом феодализма. Старая рационалистическая формула «просветителей», что всегда и всюду «мнения правят миром», была взята и теоретической концепцией «положительной науки» *Огюста Конта*. Период науки вне теологии и метафизики во времена *Конта*

³⁰ Das von Auguste Comte in der Schrift „System der positiven Philosophie“ (1824) aufgestellte Dreistadiengesetz gilt für die geistige Entwicklung des Individuums, jeder einzelnen Wissenschaft und für die geistige Entwicklung der Menschheit im Ganzen. Es lautet: „Jeder Zweig unserer Kenntnisse durchläuft der Reihe nach drei verschiedene Zustände (Stadien), nämlich den theologischen oder fiktiven Zustand, den metaphysischen oder abstrakten Zustand und den wissenschaftlichen oder positiven Zustand.“ In: Auguste Comte: Die Soziologie. Die positive Philosophie im Auszug. Hrsg. von Friedrich Blaschke. Leipzig 1933. S. 2.

вообще еще не наступал. Правда, уже учитель его, *Сен-Симон*, в «L'Industrie» писал: «Au reste, on ne crée pas un principe; on l'aperçoit et on le montre» («В конце концов, принцип не создают; его замечают и показывают»)*. Но *Сен-Симон* проповедовал «новое христианство» с духовной и светской иерархией, да и сам «положительный» *Огюст Конт* выдумал новую «положительную» религию и считал себя ее всемирным первосвященником. Его стадии предполагали, далее, непрерывный прогресс общества, трактуемого на манер животного организма. И т. д. Однако, было и рациональное зерно в кантовской триаде, ибо движение от феодальной теологии к метафизическим абстракциям эпохи капитализма и к назревающему периоду «ирелигиозности будущего», когда в *социализме* наука окончательно вытеснит и теологию и все виды супранатуралистических мировоззрений вообще, есть *действительное* движение в его основной тенденции.

Осознание этих мыслительных форм, как *идеологических извращений* действительности, исторический процесс высвобождения от их мертвящих оков, логической предпосылкой чего является философская самокритика, а материально-общественной – классовая борьба пролетариата и переход к социализму (как ранее переход от теологического мировоззрения к абстрактной метафизике был выражением перехода от «Средневековья» к «Новому времени», т. е. от феодализма к буржуазному миропорядку), этот исторический процесс есть процесс *сбрасыванья* форм общественного субъективизма, их смены и их преодоления: в конце концов «научная картина мира» и философское ее обобщение перестают быть и *антропоморфными* и *социоморфными*.

Выше мы подробно разбирали вопрос о *телеологии* и *необходимости*. Мы видели, что какое угодно развитие человеческой *активности* и ее побед над стихиями природы отнюдь не дает основания впадать в чистый волюнтаризм и индетерминизм. *Цели* человеческие определяются необходимо; в *достижениях* своих человек опирается на законы природы, и любой, самый сложный и замысловатый, технологический процесс выражает природную необходимость во всей определенности конкретных связей и взаимоотношений. Но и общие условия человеческой исторически-

* „Übrigens wird ein Prinzip nicht geschaffen, sondern entdeckt und dargelegt ... Ich habe es keineswegs aufgestellt, aber ich habe es gesucht, ich habe es bemerkt und verkünde es.“ Zit. nach: Claude-Henri de Saint-Simon: Die Industrie oder politische, moralische und philosophische Betrachtungen im Interesse aller mit nützlichen und unabhängigen Arbeiten befaßten Menschen. In: Ausgewählte Schriften. Hrsg. von Lola Zahn. Berlin 1977. S. 205.

общественной деятельности определяются фазой развития земли: это есть рамки, в которых движется человеческая жизнедеятельность вообще. *Энгельс*, вместе с *Фурье* считал неизбежной и нисходящую кривую человечества, и его гибель, вместе с гибелью жизни на земле, как планете. Другими словами, человеческую историю нельзя оторвать напрочь от истории земли, как плацдарм *locus standi* и питательного источника общества. Мы не решаемся, однако, заходить так далеко в выводах, ибо нет достаточных данных ни для утверждения о неизбежном «старении» «человеческого рода» (это есть лишь суждение по аналогии), ни для утверждения о невозможности межпланетных сообщений, ни для исключения новых методов приспособления к необычайно медленным изменениям в обще-планетарных условиях существования. Здесь пока можно лишь сказать: *qui vivit, vegeta*.

В процессе овладения объектом со стороны субъекта, объект все более и более раскрывается в бесконечном разнообразии своем, количественном и качественном, экстенсивном и интенсивном. Практически исторический человек, современный человек, переделывает огромные массы вещества, а познавательно уносится в бесконечно-огромные звездные пространства и в бесконечно-малые (и тоже огромные, тоже бесконечные) сферы микрокосмоса. Необычайное многообразие объективных свойств, качеств, отношений, взаимозависимостей, связей для человека все время растет, ибо практика и теоретическое познание вскрывают все новые и новые их богатства, которые неисчерпаемы: здесь продолжается историческое превращение действительного, независимого от человека мира, природы, как таковой, в *объект овладения*, переход от «равнодушного» бытия мира к соподчинению его растущему могуществу субъекта, который координирует со своими целями и соподчиняет им великие *теллурические процессы*.

Этот процесс овладения есть совершенно реальный *исторический факт*: мы переделываем вещество природы, мы все больше и больше познаем его свойства, мы во все большем масштабе можем предсказывать течение объективных процессов. Это и значит *овладевать* в двуединой форме практики и теоретического познания. Никакого другого значения эти слова и понятия не имеют и иметь не могут. Идеалистические философы и агностицизм покоятся на предположении идеальных сущностей, недоступных ни практике, ни теории. Но эти «сущности» – все эти «идеи», «Духи», «мировые души», «души монад», «Логосы» и т. д. суть не что иное, как созданные человеком иллюзорные величины, в качестве

непознаваемых мыслительно вдвинутые в поры или за пределы реального мира. Но именно потому, что они суть идеологические фантазмы, они и не могут быть постигнуты, как элементы *действительного мира*. Они могут быть постигнуты наоборот, как фантазмы, как идеологические извращения, и *только* так. Но с *них* этого вполне достаточно. Постигнуть фантазму, как часть действительного мира, есть поэтому задача неразрешимая. Это – *ложная проблема*, над которой, вопреки идеалистической философии, не стоит возиться: эта возня есть схоластическая возня, возня в духе известных средневековых упражнений, которые кажутся нам теперь просто варварски-комичными. Конструировать бога, как невидимого, а потом стараться его увидеть – безнадежное дело. Но видеть материальный базис *возникновения* этой идеи, понять *генезис*, за *извращением* увидеть *другое*, – это возможно и необходимо. Так мы, в противоположность ограниченности рационалистов-метафизиков, в религиозных формах видим не просто и не только голый обман и голую нарочитую выдумку жрецов, но глубоко укоренившуюся форму мышления, где действительные закономерности природы грубо извращаются по типу «способа производства», т. е. *социоморфически*. Понять это – значит научно овладеть идеологическими фантазмами. Практически уничтожить их материальный базис – значит подорвать и уничтожить их воспроизводство, превратить их в момент исторического прошлого, не имеющего ни настоящего, ни будущего.

Могущество человеческой практики и человеческого познания в его высшей форме, соответствующей *социалистическому* субъекту овладения, наполняя людей творческим пафосом, предохраняет их в то же время от необоснованной гордыни. Когда, например, *Гегель* говорит, что земля – «срединная», «наилучшая из планет» и т. д., то этот своеобразный *геоцентризм* есть, в конце концов, познавательная *провинция*, захолустье, ограниченность. Иногда под покровом критики «дурной бесконечности» у того же *Гегеля* сквозит жажда покоя, конечного, того «круглого как шар», неизменно статического, абсолютного, единого и постоянного бытия, о котором говорили старинные греческие мыслители. *Бессильное*, окостеневшее, догматическое *знание – незнание*, покоившееся на «откровении», рассматривало землю, как центр мироздания. Наоборот, *могучая* практика и *могучая* теория знает и то, что земля – один из бесконечного числа миров, что также обстоит и со всей солнечной системой, что, с другой стороны, каждый атом состоит из бесконечного числа миров, т. е. каждое бесконечное – конечно, и

каждое конечное – бесконечно, и что все тонет в бесконечно-бесконечном Универсуме. У некоторых кружится голова от этих просторов, и им хочется почесать спину о маленький забор: они не могут вынести такой мировой диалектики конечного и бесконечного. Ну, и пускай их! Счастливо чесаться, господа!

А мы будем идти по пути бесконечного познания, по пути бесконечного овладения бесконечным миром, не нуждаясь ни в каких заборах с надписью «Дальше дороги нет и вход воспрещается!».

Глава XXIX

ОБ ОБЩЕСТВЕ, КАК ОБЪЕКТЕ И СУБЪЕКТЕ ОВЛАДЕВАНИЯ

Вопрос об обществе приобретает особое значение, ибо тут есть некое специфическое взаимоотношение: общество может быть и объектом и субъектом *одновременно*: оно может быть объектом в целом и субъектом только в *части*, и при этом одновременно в *нескольких* частях с особыми мыслительными классовыми ориентациями исключительно-прочного и глубокого порядка, гораздо более прочного, чем разные варианты в области теоретического естествознания; общество в целом ряде общественно-экономических формаций не может овладеть собой *практически* – и это, так сказать, его имманентное, принципиальное свойство и т. д.

Всего лучше это показать на различных исторических типах общества, тем более, что эту проблему мы по частям и в другой связи уже ставили. Здесь нужно поставить и разрешить ее в Целом.

Возьмем капиталистическое общество. Это конкретный исторически возникший его тип, специфическая общественно-экономическая формация, особый «способ производства», с особым «способом представления». Оно стало *объектом знания* почти с начала своего возникновения (ср., например, политическую экономию, начиная с *Петти*). Но что за субъект ему противостоял? Это были *идеологи* господствующего класса. *Все* общество здесь не субъект: оно анархично, раздроблено, стихийно, «слепое», «иррационально»; оно, как мы уже видели, не есть целеполагающее, телелогическое единство, ибо оно не есть *организованное* общество, в нем нет целокупной и всеобщей единой воли, есть лишь ее фикция, создаваемая в интересах господствующей буржуазии. Рациональное

начало – государство – есть всеобщая организация господствующего класса с ограниченными функциями: она не определяет и не организует жизни «гражданского общества» в его основной, экономической функции, и течение хозяйственного процесса, где есть телеология в единичном *предприятии*, т. е. в отдельной клеточке в целом, стихийно и подчиняется *стихийной* закономерности. Общество поэтому не может быть *объектом практического овладения*. Становление общества объектом *успешного* овладения предполагает его *организованность*, делающую возможным *план*, а это означает преодоление анархии капитализма, т. е. и самого капитализма, как определенной общественной структуры. Следовательно, попытки *овладеть* обществом, как целым означают выход за пределы *капитализма*; а это означает *социалистическую революцию пролетариата*.

Познать капиталистическое общество мало-мальски адекватно, это значит познать его в его противоречиях и в его движении, следовательно, и в его переходе к небытию, к другой общественной форме, т. е. *исторически*, диалектически. Но так как здесь в обществе, в силу его структуры, налицо *принципиальное раздвоение мощных интересов*, то господствующий класс и его идеологи принципиально не в состоянии этого сделать. Лишь в начальный период развития *А. Смит*, в еще большей степени *Рикардо*, если говорить о политической экономии сформулировали реальные отношения в их противоречивости (например, соотношение зарплаты и прибыли у *Рикардо*); но с концом так называемой «классической политической экономии» эта последняя опустилась, превратившись в вульгарную *апологию* («историческая школа», «гармонисты»), школа «предельной полезности», «математическая» школа, «социально-органическая школа и теперешняя органическая дребедень фашистских идеологов, а также полное разложение науки, отрицание самой возможности теоретического познания и превращения его в статистику «Konjunkturforschung» (312)). Но тот же процесс мы видим и в *социологии*, и в *истории*: какой-нибудь *Огюст Конт* или *Спенсер* куда выше современных *Шпаннов*. Историки времен реставрации, французы, или такие величины, как *Момзен*, *Нибур* и другие куда крупнее современных надутых апологетов фашистского национализма или мелких ультра-специализированных кропателей без горизонта. Попытки обобщений и синтеза типа *шпенглеровского* «Заката Европы» (313) – близки к скептическому отрицанию науки, как это знает каждый, кто знакомился с филигранной софистикой шпенглеровских построений. Еще хуже дело обстоит, когда речь идет *только* о капитализме: достаточно указать на живой пример

эволюции *Вернера Зомбарта*, докатившегося от сочувствия марксизма до мистической чепухи совершенно низкопробного свойства. Мы не можем здесь множить примеров. И этого достаточно. Буржуазия, как субъект познания капиталистического общества, оказалась *бессильной*. Ее общественная наука выродилась в *апологию* ее *практики*, а эта практика, которая выражала анархическое функционирование капитализма, никогда не могла *овладеть* общественной стихией и преодолеть свойственное капитализму «неразумие» общественного процесса; такой задачи эта практика, впрочем, себе даже и *не* ставила, и только *теперь*, на базе упадка, всеобщего кризиса капитализма, распада и развала, она делает отчаянные попытки прыгнуть выше свежих ушей и на ретроградном пути понижения производительных сил решить проблему квадратуры круга: сюда относятся утопии феодализованного «планового капитализма» в их многочисленных и скучных вариантах. В капиталистическом обществе общественно-исторический процесс противостоит его агентам, как внешняя, слепая, *принудительная* сила, как «естественный закон», не поддающийся овладению*.

Совсем иное мы видим в *социалистическом обществе*, исторически возникшем через социалистическую революцию и благодаря диктатуре пролетариата, из общества капиталистического. Здесь общество и *субъект* и *объект* одновременно. Оно – телеологическое единство. Его *необходимость* проявляется *непосредственно* в его телеологии, через организованную волю масс, материализуясь в *плане* и реализуясь в выполнении этого плана. Здесь оно *познает* самого себя. Здесь нет «самотека», т. е. слепой и *стихийной* закономерности развития. Здесь общество *практически* владеет собою точно также, как оно владеет собою и теоретически. Здесь нет разорванности и сепаратного существования, как противоположностей практической и теоретической сторон овладения. Здесь есть и *реально овладение*, и полное единство этих противоположностей, существующих лишь в «снятом виде».

Выросшая в пределах капитализма теория *пролетариата*, связанная с его преобразующей, направленной на «целое», практикой («revolutionäre Praxis» (314) *Маркса*, «umwälzende Praxis» (315) *Ф. Энгельса*), уже доказала свою силу, ибо осуществились все важнейшие прогнозы великой теории, а практика революционного преобразования, т. е. практика борющегося и победоносного коммунизма доказала еще

* Русское слово «овладение» означает как «присвоение», так и «господство».

раз действительность этой теории, приведя к овладению обществом в его целом.

Мы не можем здесь ставить целый ряд интереснейших вопросов истории, например, о древних теократиях типа Египта; о государстве Перу, о котором *Маркс* (во II томе «Капитала») ^{31*} писал, как о бестоварном организованном хозяйстве, о парагвайском государстве иезуитов ³², о проблемах военно-капиталистического хозяйства и т. д. Все это выходит за пределы поставленной нами задачи, хотя и тесно с нею связано. Здесь достаточно доказательства того, что в *товарном* хозяйстве (и в наиболее развитой его форме, капиталистическом хозяйстве) общество не есть субъект, быть им не может, *не может овладеть собою ни теоретически, ни практически*. Поэтому оно становится действительным объектом познания (где познание адекватно реальности) у своих *противников*, а практически общество становится объектом овладения только в своей *организованной*, т. е. в данном случае социалистической, форме.

Таким образом, мы имеем следующее. Поскольку речь идет об обществе, как об *объекте*:

- a) общество вообще возникает до того, как оно в какой бы то ни было форме становится объектом познания и сознательного овладения вообще;
- b) как объект, оно возникает исторически;
- c) оно меняет в историческом процессе развития свою конкретно-историческую форму, переходя из одной в другую, меняя «способы производства»;
- d) каждое из этих конкретно-исторических обществ развивает богатство своих особенных, специфических, только ему свойственных, свойств, черт, качеств, «законов движения».

Поскольку речь идет о *субъекте*, мы имеем следующее:

- a) субъект является исторически;

^{31*} K. Marx: Das Kapital II. MEW. Bd. 24. A.a.O. S. 151 Marx schreibt hier: „Andrerseits spielte z.B. im Reich der Inkas die Transportindustrie eine große Rolle, obgleich das gesellschaftliche Produkt weder als Ware zirkulierte, noch auch vermittelt des Tauschhandels verteilt ward.“

³² Речь идёт о миссионерских поселениях в нижнем течении р. Парана (Парагвай), созданных иезуитами после испанского завоевания. Иезуитское самоуправление, относительная автономия территории и хорошо организованная торговля скотом и листом мате привели к относительному благосостоянию иезуитского сообщества, которое вызвало многочисленные дискуссии в Европе эпохи Просвещения. После изгнания иезуитов (1767–1768 гг.) оно быстро пришло в упадок.

- b) он исторически различен и в том отношении, что в некоторых обществах он лишь частичен, а общество в целом не может быть субъектом;
- c) в социалистическом обществе и все общество становится субъектом по отношению к самому себе;
- d) капиталистический субъект (буржуазный идеолог) не может быть в строгом смысле субъектом овладения;
- e) социалистическое общество есть исторически возникший субъект – объект в полном смысле этого слова.

Наконец, поскольку речь идет о *взаимоотношениях между объектом и субъектом*, то мы видим, что:

- a) эти отношения историчны;
- b) что они в товарно-капиталистическом обществе крайне неразвиты, и что здесь по существу нет и не может быть процесса овладения;
- c) что в социалистическом обществе, наоборот, при полном совпадении и тождестве объекта, который в то же время есть и субъект, и субъекта, который в то же время есть еще и объект, налицо и полное овладение, т. е. и целесообразная в общественном масштабе практика, организованная во всех своих частях, сознательное самодвижение общества, и его самосознание и самопознание, как момент его целостной жизнедеятельности;
- d) что акт рождения общества, как субъекта, есть результат теоретически направляемой революционной практики пролетариата, победы социалистической революции пролетариата, который, будучи «особенным» (классом), состоящим из «единичного» (индивидуумов), овладевает «всеобщим» (обществом) и превращается во «всеобщее» (социалистический народ). Учение о субъекте революции разработано Лениным.

С точки зрения мыслительных форм, переход к социализму означает ликвидацию *фетишистских форм общественного сознания*. На этом пункте стоит остановиться особо.

Маркс вскрыл впервые и специфические особенности капиталистического общества, и законы его движения, и специфические формы мышления его агентов, общественную историческую специфичность его мыслительных категорий. Мы говорим об учении *Маркса о товарном фетишизме* (316).

В капиталистическом обществе каждое предприятие, и труд на каждом предприятии, и товаропроизводители – формально независимы друг от друга; они «свободно» работают на рынок. Они связаны друг с другом через акты обмена, через метаморфозы товара и денег, через движение вещей. Труд здесь представляется не системой общественного труда, а сепаратными его комплексами. Факт общественного сотрудничества скрыт Формальной независимостью предприятий. Общественные отношения *людей* кажутся общественными свойствами *вещей* – товаров. Этот *товарный фетишизм* проявляется во всем мышлении буржуазии и ее идеологов. В области *политической экономии*, где общество рассматривается, как объект, все категории буржуазной науки насквозь фетишистичны. Капитал, например, здесь не общественно-историческое отношение между людьми, проявляющееся и фиксированное в вещи, а вещь в ее натуральной форме; то же и деньги и т. д. Поэтому в буржуазной политической экономии капитал родит прибыль, земля ренту, деньги родят деньги; все они обладают чудесным, мистическим свойством. Отсюда теории «производительности капитала» в их многочисленных вариантах. Здесь нет ни капли исторического и общественного подхода к предмету: здесь все действительные отношения представляются в фетишистско извращенном виде.

Но то же происходит и в других областях. *Идеологические* сферы (например, различные отрасли науки, искусства, а также область права, морали и прочее) в силу разделения труда и анархии общества, точно также покрыты фетишистским туманом.

Энгельс писал *Ф. Мерингу* (письмо от 14 июля 1893 г.):

Идеология есть процесс, который производится, правда, так называемым мыслителем сознательно, но с ложным сознанием. Настоящие движущие силы, которые приводят его в движение, остаются ему неизвестными... Таким образом, он воображает себе ложные или кажущиеся движущие силы. Так как это есть мыслительный процесс, то он выводит его содержание и его форму из чистого мышления, или из своего собственного, или же из мышления своих предшественников. Он работает исключительно с мыслительным материалом, который он некритически принимает как продукт мышления и не исследует далее, вплоть до более отдаленного, от мышления независимого, процесса..(317)*.

* F. Engels: Brief an Franz Mehring vom 14. Juli 1893. MEW. Bd. 39. A.a.O. S. 97.

И в другом месте, в «Людвиге Фейербахе», Энгельс говорил об «оперировании, работе над мыслями, как независимыми, самостоятельно развивающимися, подчиненными только своим собственным законам сущностями» (318)^{33*}.

Другими словами, звенья цепи разделенного общественного труда представляются самостоятельными; их продукты, мысли, *объективно* связанные со всей системой *практики* и являющиеся моментом в жизни общества, в его воспроизводстве, в его жизнедеятельном круговороте, выскакивают (в сознании) из этой связи, превращаются в самостоятельные сущности; будучи отвлечениями от непосредственного соприкосновения с материей, будучи через столько-то и столько-то ступеней связанными с материальной практикой, они, в силу внешне сепаратного существования различных специализированных отраслей, выступают, как сепаратные сущности. Как деньги родят деньги, как капитал родит прибыль, земля родит ренту *вне труда* (в сознании фетишистов), так *вне практики*, вне *материи* появляются чистые категории, чистые формы, априорные формы, и само знание представляется «чистым знанием», т. е. знанием *в себе, а не моментом овладения миром*. Рациональное обоснование этой фетишистской аберрации (319) заключается в своеобразной специфически-исторической структуре капиталистического общества. Еще ярче этот фетишизм проявляется в *категориях морали*, где нормы общественного поведения приобретают характер метафизических сверхчувственных категорий, висящих домокловым мечом над головой людей, хотя они и считаются чем-то «внутренним». Но этой теме мы коснемся особо в другой связи.

Таким образом, и в данной области, т. е. в сфере общества, мы видим всю необходимость *исторического* подхода к проблеме объект-субъект. И в природе, и в обществе нет и не должно быть места пустым абстракциям, оперирование над которыми вырождается в бесплодную схоластику и «пьяную спекуляцию». Только полнокровная *материалистическая диалектика* может обеспечить действительно плодоносящую работу философской мысли нашего времени.

^{33*} F. Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. MEW. Bd. 21. A.a.O. S. 303.

Глава XXX

ОБ ИСТИНЕ: О ПОНЯТИИ ИСТИНЫ
И О КРИТЕРИИ ИСТИННОГО

Проблема *истины* является, конечно, одной из центральных проблем философии. Но что такое истина? «Что есть истина?»³⁴ – как спрашивал *Понтий Пилат*, по евангельскому преданию.

Вопрос об *истине* чрезвычайно многосложен, хотя в предыдущем изложении даны почти все предпосылки для его решения. Мы здесь должны остановиться, в первую очередь, на том, чтобы заранее устранить чрезвычайно часто встречающуюся – даже в марксистской литературе – двусмысленность самого термина. Вопрос надо решать не со схоластически-вербалистически-терминологической точки зрения, а по существу, идя не от буквы, а от духа *Маркса–Энгельса–Ленина*.

Часто употребляются выражения «истинный мир», истина, как *объективный факт*, как закон, отношение, качество, состояние и т. д. *действительного мира*. Но разве какой угодно Факт, если он факт, может быть «неистинным»? И вообще, как можно прилагать категорию истины к факту, к действительному миру, взятому самому по себе? Это словоупотребление, строго говоря, *нелепо*, ибо сущее в действительности есть сущее в Действительности – и *все*. Что это так, раскрывается сразу, если мы, забегая вперед, поставили здесь вопрос о критерии истины, скажем о критерии *соответствия с действительностью*. Если под *истиной* разумеет саму действительность, то есть само объективное соотношение вещей и процессов, *независимо* от нашего познания и практического воздействия, то во что превращается вопрос? В явную нелепость: ибо выходит, что мы спрашиваем о соответствии действительности с *этой* же действительностью, говорим об одном и том же, как о двух вещах! Но такое положение может быть лишь в том случае, если внешний мир совпадает с мыслью, если вещи или «души вещей» суть *понятия*, то есть если речь идет о явной «философии тождества» или ее вариантах, во всяком случае, о том или другом виде идеализма.

³⁴ „*Pilatus*, der Römische Prokonsul; wie er Christus das Wort *Wahrheit* nennen hörte, erwiderte er dies mit der Frage: *Was ist Wahrheit?* – in dem Sinne als einer, der mit solchem Worte fertig sei und wisse, daß es keine Erkenntnis der Wahrheit gebe.“ G. W. F. Hegel: Konzept der Rede... A. a. O. S. 402.

Так, например, обстоит дело у *Гегеля*, у которого, как мы знаем, предметы *действительны* тогда, когда они совпадают со своим понятием. Анализируя учение *Аристотеля*, он пишет:

Именно в том-то и состоит спекулятивный характер философии *Аристотеля*, что в ней все предметы рассматриваются мысляще и превращаются в мысли, так что, выступая в *форме* вещей, они именно и *выступают в своей истинности* (Лекции по истории философии, Т. II) (320)*.

Вообще говоря, только тогда можно трактовать истину, как свойство действительного мира, когда этот мир *не один*, а предполагается удвоение или умножение миров, с разной степенью реальности, что тоже, конечно, на километры отравляет воздух мистическим зловонием. В чем же дело? Да дело не трудно понять, если иметь в виду, что речь идет об истинном, т. е. правильном, *познании*, об истинном, т. е. правильном, *отражении* объекта в субъекте. Мы подробно, в главе об опосредованном знании, говорили о теории отражения, особенно подробно развитой *Лениным* в его борьбе против идеалистического агностицизма. Отражение мира не есть мир. Отражение мира не есть удвоение мира. Отражение мира есть его «картина», но «картина» есть нечто совершенно отличное от того, что на ней изображено. Отражение может быть более или менее правильным, более или менее полным, более или менее всесторонним; отражение может быть безобразным искажением т. д. Но никогда оно не есть *сам предмет* и никогда оно не может действительности ни умножить, ни удвоить мира. Другое дело, что мышление может создать (и создает) *многие* отражения, разны степени адекватности: их можно сравнивать по их *истинности*, то есть по степени их соответствия с объективным миром. Поэтому истинность есть не что иное, как свойство *отражения* человеческой голове, когда это отражение *соответствует* действительному миру, т. е. отражаемому. Истинность или неистинность есть предикат *мышления*, соотнесенного с бытием, не предикат самого бытия, вовсе не нуждающегося в апробации мышления. Мы уже имели случай говорить о том, что недопустимо смешивать, например, галлюцинацию как факт, с вопросом о том, что ей ничего не соответствует в предметном мире. Из того, что ей ничего не соответствует, не следует, что она сама не существует; но она существует именно как галлюцинация. Кривое зеркало кривит. Но оно

* G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II. A.a.O. Bd. 18. S. 332. (курсив N.B.).

существует, как кривое зеркало. Заблуждение неправильно отражает действительность. Но оно существует, как заблуждение «в головах людей». Истина *правильно* отражает действительность, но она не есть *эта* отражаемая действительность, она – *другое*, она перевод действительности в головах людей.

Речь идет здесь именно об *отражении и соответствии*. Поэтому крайне двусмысленен и термин «совпадения», ибо совпадение есть совпадение *тождественного*, а отражаемое и отражение *отнюдь не тождество*: мышление о мире отнюдь не означает, что весь Космос помещается, грубо говоря, в головах людей в своем физическом существе, и отнюдь не означает, что он, Космос, есть то же, что *понятие* о нем.

У Гегеля мир не совпадает с *представлением* о мире, но совпадает с *понятием*.

Обычная дефиниция истины – пишет он – согласно которой она есть «совпадение представления с предметом», еще вовсе не содержится в представлении; ибо, когда я представляю себе дом, бревно, *я* сам вовсе не являюсь *тем* содержанием, а представляю собой нечто совершенно другое и, следовательно, еще вовсе не совпадаю с предметом моего представления. *Ишь в мышлении смеется на лицо истинное совпадение объективного и субъективного!*

Однако, и *понятие* дома и бревна не есть ни дом, ни бревно, как бы ни исхищрялась идеалистическая философская спекуляция.

Но теперь появляется вопрос, что же означает *соответствие* «отражения» «отражаемому»? Мы уже видели, что наиболее совершенным отражением мира является «научная картина мира», его «второе конкретное» (Маркс в «Einleitung» (322), как мы помним, всемерно подчеркивал, что это «духовное воспроизводство» действительно, а отнюдь не создание *самой действительности*)³⁵. Так что же это за соответствие? Ясно, что речь вовсе не идет об отражении, как зеркально-спокойном *зрительном образе*. Вообще, по существу говоря, является пустой тратой времени стараться понять это соответствие на манер простого и элементарного *представления* типа метафорического зеркала. Соответствие здесь гораздо более сложного типа.

Возьмем наш старый пример, формулу: «при нагревании тела расширяются». Эта формула *истинна*: она соответствует действительности. *Абсолютно?* Нет! Она односторонняя, она неполна:

* Ebenda, S. 333. (курсив N.B.).

³⁵ Vgl. K. Marx: Einleitung (zur Kritik der Politischen Ökonomie). MEW. Bd. 13. S. 632 f.

в астрофизике, в звездных условиях она неверна. На земле у нее есть исключения (вода, сталь и др.). Но в *земных* условиях, *минус* несколько веществ, она истинна, она соответствует действительности. Что же значит, что она в этих пределах «соответствует»? Это значит, что, если мы увидим на земле какое-либо тело в соотношении с другим фактором, при котором температура первого тела повышается, т. е. увеличивается энергия колебания его молекул, то объем этого тела расширяется. Или: если мы говорим, что материя имеет электромагнитную природу, и эта «картина мира» *правильна*, соответствует действительности, то это значит следующее: какое бы вещество мы ни взяли, сколько бы опытов ни проделали, каждый раз, вонзаясь экспериментально в микроструктуру вещества, мы находили бы там мельчайшие положительно и отрицательно заряженные частицы. Это значит, также, что любое непосредственно-практическое соприкосновение с материей с целью ее изменить согласно данным теории, подтверждало бы эту теорию самым конкретным ходом технологического процесса. Об этом мы подробно говорили, когда занимались вопросом о познаваемости вещей в себе. Отражение есть сжатое, конденсированное, «духовное воспроизводство» («geistige Reproduktion») действительности. Правильное, *истинное* отражение, это такое отражение, которое конденсирует именно эти связи, качества, свойства, отношения, процессы, а не создает иллюзорные, т. е. не имеющие своего материального коррелата или своего действительного, вне субъекта находящегося, коррелата вообще. Отражение, как *система понятий*, отнюдь не есть система произвольно выбранных «символов» или «значков», или плехановских «иероглифов». Когда мы мыслим об электронах, то электрон – вовсе не значок и не номерок реального, а «духовное воспроизводство» этого реального. Опосредованное знание, как мы видели, снимает субъективное и проникает в объективные связи вещей и процессов. Но одну и ту же систему понятий мы можем выразить на разных языках, записать в математических формулах, уравнениях, буквах и т. д. *Это* – уже область *символики*, условного обозначения. Никак нельзя ставить на одну доску и считать процесс образования понятий и *мышления* однородным с процессом выработки символов и символического *писания*.

Итак, критерием истины является *соответствие с действительностью*. Но теоретическое познание это есть одна сторона *процесса овладевания*, то есть теоретическое овладевание объектом. Следовательно, соответствие с действительностью есть *критерий мощи* теоретического овладевания. Истина есть соответствие

с действительностью. Истина есть мощь теоретического познания, его действительность в смысле его *действенности*, его эффективности.

Рассмотрим теперь вопрос о *действенности практики*. Есть здесь какая-либо аналогия? Разумеется, есть. Практика может быть «неудачна», маломощна, «ошибочна». Это значит, что, скажем, при выделке чугуна доменный процесс идет не «по заданию». Следовательно, здесь была сделана какая-то ошибка. Или – другой пример: вся алхимическая практика *производства золота*: она была просто безрезультатна. Или постройки *perpetuum mobile*, «вечных двигателей». С другой стороны, мощная практика производства во всех его отраслях, и огромное повышение власти современного человека, в особенности социалистического человека, над природой. Что здесь является *критерием*? Вещественный результат производственного процесса, его соответствие заранее положенной *цели*. И здесь сразу же вскрывается связь теории с практикой и с *точки зрения критериев их действенности*, т. е. действительности овладения объектом. Вещественно-материальный результат технологического процесса есть критерий действительности этого процесса, т. е. *практической мощи*, т. е. действительного предметного овладения объектом. В то же время он проверяет и *теорию*, ибо течение технологического процесса, его расчет даны заранее, теоретически. Он опрокидывает ложную теорию, как, например, в случае с *perpetuum mobile*, причем и сама теория подтверждает здесь практику, разрушая теоретически возможность «вечного двигателя». Положительный практический эффект, то есть практическое овладение предметом, его материальная трансформация, подтверждает *истинность* теории, т. е. практическая мощь подтверждает мощь *теоретическую*. Но так как всякая практика есть разумная целенаправленная деятельность (мы говорим о человеческой практике), то теоретическое начало в ней, так сказать соприсутствует, какая бы система разделенного общественного труда ни была в данном обществе. И именно потому, что практика производит теорию, а теория практику; именно потому, что они переходят одна в другую и составляют единство в своем кругообороте, *практический* критерий истины *совпадает* с критерием соответствия с действительностью. Вскрытые теорией действительные «причины» (необходимые связи) становятся правилом в практике; истинность познания означает поэтому практическую мощь, а практическая мощь означает истинность познания, т. е. его соответствие с действительностью. Все это – если под практикой мы разумеем предметное изменение мира, а

не иллюзорную «практику» мистических озарений и душеспасительной «пользы» хлыстовщины всякого рода, как в «Многообразии религиозного опыта» В. Джемса. Но об этом мы уже говорили, и не будем снова сюда снова возвращаться.

Разберем теперь вопрос о критерии *экономики*, который с такой помпой был возведен эмпириокритиками («мышление о мире с точки зрения наименьшей траты сил», *Авенариус* прежде всего). Взятый в себе, т. е. без соотнесения с вопросом о *соответствии*, этот принцип сумасброден и тривиален в одно и то же время: сумасброден, ибо он выбрасывает за борт все более и более многообразные, открывающиеся в процессе познания, связи и соотношения; тривиален, ибо рубит топором, элементарно-плоско подходит к проблеме. Но о нем можно – как это и сделал *Ленин* в «Материализме и эмпириокритицизме» буквально в двух строках – рассуждать, если взять его в *соответствии* с критерием истины как *правильного отражения* действительности. Тогда он не выступает только впереди, а *post factum*, не как самостоятельный критерий, а как выражение производительности умственного труда, производительности мышления. В таком случае правильное, т. е. верно изображающее действительность мышление, неизбежно оказывается и самым экономным. Это значит, что в его продукции не будет ничего лишнего, т. е. неверного, *не* соответствующего действительности, запутывающего вопрос, мешающего проникнуть в действительные связи действительных процессов, увлекающего на ложные дороги и пути, создающего иллюзорные связи вместо открытия связей действительных. Но это никак не может означать выставяемого *наперед* требования мыслить «просто» и «экономно»: в таком голом виде это требование абсурдно и познавательно вредно, оно неизбежно будет приводить к плоским и худосочным абстракциям, как бы ни были они приукрашены гарниром всевозможных эмпириокритических словечек и формул «чистого описания».

Следовательно, вопрос о критериях истины мы можем сформулировать следующим образом: критерием истины является соответствие с действительностью, что подтверждается практикой, как соответствием ее материального результата с ее целью; критерий соответствия с действительностью совпадает с практическим критерием, подобно тому, как теоретическая мощь совпадает с мощью практической, ибо это есть лишь две стороны *процесса овладения* предметным миром; истинное мышление *post factum* оказывается и самым экономным, т. е. самым производительным.

Глава XXXI

ОБ ИСТИНЕ: ОБ АБСОЛЮТНОЙ
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ИСТИНЕ

Мир бесконечен и бесконечно многообразен, и в то же время един. Неизмеримое и неисчерпаемое море качеств, свойств, связей, соотношений, при переходах из одного в другое, непрерывных превращениях, гибели одного, возникновении другого, нового, вечное становление и исчезновение, океан бесконечного движущегося вещества во всем великолепии его форм, – таков объективный мир. Совершенно очевидно, что он не может во всем бесконечном своем богатстве стать в конечном историческом времени объектом адекватного познания и адекватной практики. Он *исторически* раскрывается в мышлении субъекта. Познание есть процесс, и результаты этого процесса постоянно преобразуемые в историческом движении труда и мышления, не являются какой-то застывшей величиной, а сами постоянно обновляют свой состав. Познание растет и *экстенсивно*,вширь, и *интенсивно*, вглубь: оно охватывает все новые и новые сферы бытия и в то же время открывает все более и более общие, т. е. все более и более глубокие, типы связей, отношений, законов. Расширяется непрерывно сфера *единичного*, конкретных вещей и процессов, становящихся объектами. И в то же время познание, растущее на своей практической основе, идет ко *всеобщему*, вскрывая все более глубокие типы связей, открывая все более общие и универсальные законы, восходя от них к «духовному воспроизводству» многообразного *понятого* уже *конкретного*. Эти ступени познания соответствуют строению самого бытия, самой объективной действительности. Ибо *объективно*, совершенно независимо от человеческого, и всякого другого, сознания, существуют и *общие*, универсальные связи и бесконечное количество связей *частичных*, дробных, специфических; существуют и общие, универсальные формы бытия, и формы частичные. *Необходимость* – тип универсальнейшей, всеприродной объективной связи; законы *диалектики* – обнимают все: природу, общество, мышление. Энгельс писал в «Анти-Дюринге» о диалектике, что это «чрезвычайно (Ein äußerst) всеобщий и поэтому чрезвычайно широко Действующий и важный закон развития природы, истории и мышления, закон, который, как мы видели, имеет значение (zur Gel-

tung kommt)* в животном и растительном царстве, в геологии, в математике, в истории, в философии...». Но есть, как мы знаем, и специфические закономерности, свойственные только *особым* формам бытия, например, биологические законы, как законы органического мира, и *только* органическому миру свойственные. Таким образом, *типология законов* отражает объективные типы объективных связей по их убывающей или возрастающей общности, по их «глубине». И познание, как *процесс*, состоит в раскрытии все более широкого поля конкретных вещей и процессов и все более глубоких типов их связи. Поэтому *Ленин*, комментируя *Гегеля* в «Философских Тетрадах» записывал: «Природа и конкретна, и абстрактна, и явление, и суть, и мгновение, и отношение. Человеческие понятия субъективны в своей абстрактности, оторванности, но объективны в целом, в *процессе*, в *итоге*, в *тенденции*, в источнике» (323)^{36*}. Отсюда понятна и трактовка самой *истины*, как *процесса*: ибо познание не в состоянии охватить сразу всего бесконечного многообразия природы и в то же время его многообразного единства, универсальной связи мира с бесконечностью конкретных опосредствований. Оно, так сказать, открывает мир кусками и лишь в *тенденции* познает многогранную целостность, вечно к этому стремясь. В действительности не существует разных миров, миров различной степени «истинности»: существует *единый* мир с различными *типами связей*, более глубоких или менее глубоких, в этом рациональное ядро и основание всех рассуждений о «сущности» и т. д. В частности, мир (или его части, вернее) в соотношении с чувственными органами субъекта дает феноменологическую «картину», а познание идет «*глубже*», и в *понятиях* отражает, снимая субъективное, *объективные* свойства мира, «в себе», «отмыслив» принципиальную координацию *Авенариуса*. Это, между прочим, выражает очень четко и *Гегель* в «Науке Логике»: «Каков он (предмет, *авт*)... «в мышлении, таков он есть только в *себе* и для себя; каков он в воззрении и представлении, таков он – явление»³⁷. Различные гегелевские понятия, вроде бытия, сущности, действительности, абсолютной идеи и т. д. в перевернутой форме отражают все более глубокий процесс познания, движения к универсальной, всеобъемлющей, «абсолютной идее», которая есть *абсолютная истина* (324). С точки зрения диалектического материализма здесь мышление полностью *соответствует* бытию,

* F. Engels: Anti-Dühring. MEW. Bd. 20. S. 131.; MEGA², I./27. S. 336.

^{36*} W.I. Lenin: Konspekt zur „Wissenschaft der Logik“. LW. Bd. 38. A.a.O. S. 198.

³⁷ G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik II. A.a.O. Bd. 5. S. 339.

как целокупному и многообразному бытию. Но к этому познание лишь стремится в своем историческом развитии, постоянно обогащаясь, проникая все глубже и глубже и асимптотически двигаясь в этом направлении. Познание есть отражение человеческой природы. Оно не может отразить ее во всей ее цельности, а лишь идет этому в процессе своего исторического развития, исходя из чувственного опыта, снимая его субъективную сторону, в сотрудничестве людей образовывая понятия; абстракции, законы, системы их, научную картину мира и т. д. Этот процесс охватывает объект, но условно, не в целом, не сполна; ухватывает универсальную связь вещей, но частично, неполно, однобоко, приблизительно, вечно двигаясь, однако, ко все более полному, многостороннему, глубокому, универсальному познанию.

С точки зрения *релятивизма* (325) наука и философия могут содержать лишь релятивное. Но это – грубая и антидиалектическая постановка вопроса, ибо она абсолютизирует само релятивное. С точки зрения *диалектического материализма*, с точки зрения объективной диалектики, в самом *релятивном* есть *абсолютное*, ибо, как писал *Ленин*, «...Отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведет к общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное» (326)**.

Но здесь мы хотим остановиться на одном крайне существенном вопросе, а именно на самом понятии *релятивного*. Оно крайне многозначно. Прежде всего, следует провести границу между релятивным, так сказать, *категориального* порядка и просто релятивным, как *неполным*. Возьмем, например, философию Канта. Ее исходный пункт – принципиальная разница между нуменальным миром и миром феноменов. Познание движется – и может двигаться – только в рамках феноменального мира: мир «вещей в себе», мир нуменов, трансцендентен, в него перескочить нельзя, он принципиально недоступен. Он *есть*, но мы, по *Канту*, ничего о нем не знаем, и никогда не будем знать. Какие-то основания есть в мире нуменов, которые выражаются в многообразии феноменального мира, но что это за основания, какова их природа – все это принципиально от нас скрыто. Ни частички нуменального мира не может войти в наш опыт и в сферу нашего познания.

А практики? Этого вопроса *Кант* не решает.

Так вот. Здесь мы имеем *относительность* нашего знания. Но это есть принципиально-категориальная (не в смысле «категорий»

** W.I. Lenin: Zur Frage der Dialektik. LW. Bd. 38. A.a.O. S. 340.

Канта) относительность, ибо сама *категория* «вещей в себе» нам принципиально недоступна, т. е. недоступна во веки веков. Нам доступен лишь мир *феноменов*, и здесь *может* быть «процесс знания», т. е. процесс все более и более полного охвата мышлением, Разумом, мира «вещей для нас». Относительность, *Релятивность истины* с точки зрения диалектического материализма нечто совершенно другое. Здесь, в полную противоположность *Канту*, речь идет именно о познании действительного мира, который отнюдь не разгорожен от нас органами наших чувств, а соединен через них с нами. Субъективный коэффициент мы снимаем в процессе мышления, Мы *овладеваем* (практически-теоретически) реальным, внешним, независимо от нас существующим предметным миром. Но только *часть* мира и не *до конца* есть объект нашего овладения: мы практически трансформируем в производстве лишь бесконечно малую часть космоса, составляющую наше «хозяйство»; но и ту часть, которую мы трансформируем, мы используем лишь частично: мы, например, еще не используем внутриатомной энергии вещества. То же и в области *теоретической* стороны процесса овладения: мы *многое* знаем, но это многое еще бесконечно мало. Однако, и практическая и теоретическая мощь *возрастают* и нет *никаких пределов и границ* этому возрастанию... Здесь, следовательно, относительность, релятивность, нашего познания есть его *убывающая неполнота и односторонность* и нечто совершенно другое, чем принципиальный релятивизм познания у *Канта*, его «дурной идеализм», «дурной субъективизм», «дурной релятивизм», если выразаться на гегелевском языке*.

Возьмем *релятивизм прагматизма*. Для прагматизма «истина» есть не что иное, как «польза» в ее каком угодно субъективном из субъективнейших понимании: если «бог» утешает, значит, он действует, значит, он существует, значит он – истина тут – «дурная» практика и «дурной» субъективизм празднуют свои оргии. Здесь «истина» настолько относительна, что она теряет уже всякую связь с реальностью, вне субъекта находящейся. Ясно, что и этот *релятивизм* есть нечто другое, чем релятивизм неполноты, чем релятивизм в концепции диалектического материализма. Отличен от него и релятивизм *эмпириокритиков* с их «принципиальной координацией»,

* Бухарин ссылается на высказывание Гегеля в «Энциклопедии I»: „Wird nur hierauf gesehen, so ist die kantische Kritik bloß ein *subjektiver* (platter) Idealismus, der sich nicht auf den *Inhalt* einläßt, nur die abstrakten Formen der Subjektivität vor sich hat, ...“ (G.W.F. Hegel: System der Philosophie I. Bd. 8. S. S. 136. § 46.

из которой нельзя выпрыгнуть, с их феноменологией помимо которой ничего не признается.

Он отличен от релятивизма *софистов* (327), например, *Горгия*. Здесь *Ленин* вполне справедливо соглашался с *Гегелем*, когда тот писал о *Горгии*:

...Горгий а) правильно полемизирует против абсолютного реализма, который, имея представления, полагает, что обладав! самой вещью, на самом же деле обладает неким относительно) и) попадает в дурной идеализм нового времени: «мыслимое всегда субъективно, стало быть, оно не есть существующее, так как посредством мышления мы превращаем существующее в мыслимое»³⁸.

Таким образом, познание здесь трактовалось чисто субъективно, и объект испарялся, познание не охватывало его, как *действительность*, вне субъекта лежащую. И у софиста (*Протагор* и др.: «человек мера всех вещей»); и у *Сократа* (добавка: *мыслящий человек мера всех вещей*) по разному (ибо Сократ метил на «всеобщее») релятивизм абсолютизировался, как субъективная сторона содержания мыслительного процесса (здесь в скобках нужно подчеркнуть, что слово *объективный* в таких выражениях, как «объективная истина» и т. д. означает *соответствие* с действительностью, *правильность* отображения, в противоположность *субъективному* искажению, но отнюдь не означает *самой объективной действительности*).

В связи с тропами *Пиррона* мы уже разбирали вопрос об относительности знания в силу субъективности индивидуальной, видовой, а также софиоморфизма познания. Мы видели, как решаются все эти вопросы с точки зрения диалектического материализма. Но на одном вопросе здесь следует еще раз остановиться в виду его особого значения, а именно на вопросе о связи всех вещей и процессов природы, т. е. об их *объективной связи, связи вне субъекта*. С этим вопросом мы встретились и при критике кантианской вещи в себе. Речь идет здесь о том, что «вещь в себе», т. е. вне соотношения не только субъектом, но и с *другими* вещами, есть пустая абстракция. Этот пункт надо особо отметить и *выделить*, ибо тут дело идет не о релятивном, которое так или иначе «вменяется» субъекту, а о соотношении *в самом объекте*. Но эта универсальная связь вещей и процессов, бытия одного в другом через

³⁸ W.I. Lenin: Konspekt zu Hegels „Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie“. LW. Bd. 38. A.a.O. S. 260.

другое, сама есть *объект познания*. Если познание схватывает *эту* «относительность», то на лицо не *ущербная* сторона познания, а, наоборот, его диалектическая *высота*: как раз ограниченное, рассудочное, метафизическое, статическое, деревянное познание не ухватывает этой связи, *изолирует* вещи и процессы, текучее превращает в застывшее. Уничтожение *этой* связи и *этой* «относительности» было бы регрессом познания. *Рассудочное* познание выражает ограниченность и относительность, вытекающую из слабости. *Диалектическое* познание выражает растущую мощь разума, опирающегося на мощную практику.

Отсюда вытекает, что вопрос об объективной связи вещей и о том, что объект всегда находится в связи с *другим*, и только в этой связи и может быть познан, есть совершенно особый вопрос, который не может быть взят за одну скобку с вопросами о *релятивности познания в силу тех или иных свойств субъекта*. Что касается вопросов этой последней рубрики, то мы видим, что они, в свою очередь, резко распадаются на два больших раздела: *во-первых*, проблемы релятивизма, связанные с субъективной трактовкой процесса познания, как процесса, где объективный мир или исчезает, или объявляется недоступным, или осужден на вечное искажение в силу тех или иных свойств субъекта, из которых нельзя выпрыгнуть и которых нельзя отмыслить; *во-вторых*, элементы релятивизма в их *диалектико-материалистической* трактовке; когда относительность истины есть ее убывающая в процессе познания *неполнота*, исторически преодолеваемая ущербность, вытекающая не из *непознаваемости*, а из *неполной познанности* действительного мира (что касается субъективного и идеологических извращений, что они *преодолеваются* при определенных условиях познания).

Абсолютное существует и в *релятивном*. Это лучше всего вскрывается на примере. Вспомним, как в свое время полемизировал *А. Богданов*, исходя из *абсолютного* понимания абсолютного и релятивного. Он, между прочим, разбирал положение: «Наполеон умер такого-то числа, такого-то года, на о-ве Святой Елены» и разбирал его так: что такое смерть? Когда она наступает? Тогда ли, когда перестает биться сердце, или тогда, когда отмирают все клетки? Известно, что у так называемы «покойников» еще растут волосы и ногти; как измерять время? И проч. (мы здесь приводили рассуждения на память и ручаемся только за добросовестную передачу смысла и

духа возражения, не за текст)*. Таким образом, здесь де нет *устойчивой* абсолютной, прочной истины, не говоря уже о том, что речь идет лишь об «единичном соотношении». Однако, разберем вопрос. Его нельзя ставить так, как ставит *А. Богданов*. Его надо поставить так: мы знаем, что а) если считать за смерть прекращение деятельности сердца и такие-то симптомы; б) если счет времени такой-то, то Наполеон умер *тогда-то*. И это есть и будет прочной истиной (*абсолютной*, но частичной) *навсегда*. Другое дело, что мы не знаем еще в точности процесса смерти и не *владеем* ни теоретически, ни практически *живым* в смысле его создания и т. д. Следовательно, мы не знаем еще здесь всех связей и отношений. Это – верно. Но это уже другой вопрос. Мы страшно многого не знаем, но мы многое узнаем, и многим овладеваем, и многое и завоеванного останется *навсегда*, не только «констатации единичного соотношения» типа: «Наполеон умер и т. д.». Правда целый ряд прочных завоеваний науки будут взяты в другой связи под другими углами зрения, которые будут вырабатываться будущем: смешно думать, что и через *миллионы* лет мышление будет тем же, что и сейчас. Но многое будет жить в науке будущего, как прочное, вечное и абсолютное ее приобретение.

Таким образом, само противопоставление *абсолютного* *относительного* является относительным, и нельзя абсолютизировать это противопоставление. И именно потому, что целый ряд вещей мы знаем, *знаем* прочно, именно поэтому мы реально овладеваем миром, применяя теперь и *науку*, как рычаг, преобразующий мир практики. Двигаясь к абсолютному через релятивное, в котором есть абсолютное, завоеывая все новые и новые опорные пункты и в процессе экстенсивного, и в процессе интенсивного познания, мы овладеваем все большими сферами реального, действительного, вне нас лежащего мира, становясь все более и более действительными властелинами теллурических (329) сил.

* Бухарин цитирует предисловие Богданова к 3-й книге «Эмпириомонизма» по «Материализму и эмпириокритицизму» Ленина.

Глава XXXII

О БЛАГЕ

В своих замечаниях на гегелеву «Историю философии» *Ленин* делает такую запись о философе-киренаике (330) *Гегезии* «Гегезий “Смешивает ощущение как принцип теории познания и как принцип этики”. Это NB»*.

Смешение это характерно не для одного *Гегезия*. Оно было необычайно распространено в большинстве философских школ древней Греции, Рима, на Востоке, в Средние Века в Европе, да и среди т. н. новейших школ. Где лежит *корень* этого смешения? Он лежит в телеологическом взгляде на мир. В самом деле, если в основе мира – целепологающий Разум, то он есть одновременно и *истина* (ибо это принцип мироздания, его наивысшая, всеобщая энтелехия), и *цель*, т. е. *всеобщее благо*, наивысшее благо, которому должны быть соподчинены все другие «блага», как частичные, производные, второстепенные. Греческий *νοῦς* у досократиков – цель, благо в его ближайшем определении. У *Сократа*, особенно у *Платона* и *Аристотеля* это возводится во «всеобщее», «род», «идею», «бога». «*Сократ* первый – читаем мы у *Гегеля* – положил начало воззрению, согласно которому красота, добро, истина и закон суть цель и назначение отдельной личности» (331)**. У софистов *индивидуум* был мерой всех вещей. Здесь господствовал ярко выраженный индивидуализм. *Платон* и *Аристотель*, создавая свои казарменные общественные идеалы, должны были апеллировать к общественно-государственной узде, а, следовательно, ко «всеобщему», т. е. в конечной инстанции к богу, как истине – благу. То «смешение», о котором говорил *Ильич*, является таким имманентным законом телеологического и теологического идеализма, что подтверждает – через много, много веков – и *кантианство* со своими «постулатами практического Разума», свободной воли, бессмертием души, богом и категорическим императивом.

Бог, – читаем мы у *Гегеля* – платоновско-бого, есть, во-первых, положенный мышлением продукт, но оно, во-вторых, есть в такой же

* W.I. Lenin: Konspekt zu Hegels „Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie“. LW. Bd. 38. A.a.O. S. 266.

** G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II. A.a.O. Bd. 18. S. 22.

мере себе и для себя. Если я признаю в качестве *вещного незыблемого и вечного*, нечто такое, что по своему содержанию есть всеобщее, то оно положено мною, но вместе с тем, как само в себе объективное, также и не положено мною (332)⁹.

Здесь наличествует «субстанциальная разумность» в противоположность «партикулярной» цели. «Незыблемое», «Абсолют», вечное и верховное «благо», не нуждающееся ни в каком обосновании из другого, ибо оно само в себе конечный принцип, – такова здесь постановка вопроса. *Человечность* «блага», его эмпирические, житейские, общественные корни; генезис общественной нормы поведения, как нечто, воплощающее главный реальный интерес данного исторического общества, его «строя», «порядка», «разума», которому должны подчиняться частные, находящиеся иногда в конфликте с ним, второстепенные интересы, – этот генезис нарочито или ненарочито скрывается, утопая в море теологически-телеологических «аргументов». В этом отношении чрезвычайно интересно рассуждение Гегеля (История философии) (333) в связи с анализом учения Платона, где Гегель, вместе с Платоном, возражает против обсуждения всяких эмпирически-рациональных доводов в пользу «добра», стремясь в то же время мелкотравчатостью доводов заранее скомпрометировать их вообще. Приведем это место:

Так, например, говорят: «не обманывай, а то потеряешь кредит и потерпишь убытки», или: «будь умеренным в пище, а не то расстроишь себе желудок, и тебе придется сидеть на голодной диете»; или в объяснение наказания принимают внешние основания, заимствованные из возможных результатов этого поступка. Напротив, если в основании лежат *твердые основоположения* как это имеет место в христианской религии, то хотя бы мы теперь больше не знали их, мы все же говорим: *Милость божия* ввиду спасения нашей души. и. устроит таким образом жизнь человека», – тут вышеприведенные внешние основания *падают*^{**}.

Еще бы им несчастным не отпасть! Эта теологическая мистика в своем роде великолепна: она бросает необычайно яркий свет на «генезис идей».

Но довольно пока примеров! Перейдем к существу вопроса.

³⁹ G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II. A.a.O. Bd. 18. S. 31 f. (курсив N.B.).

^{**} Ebenda, S. 23 (курсив N.B.).

Прежде всего, во главу угла следует поставить проблему соотношения между «истиной» и «благом», развести незаконно сожительствующие «правду-истину» и «правду-справедливость», процветавшие даже у русских блаженной памяти «субъективных социологов». Как мы знаем, *истина* есть соответствие отражения объективному, вне нас находящемуся миру. Закономерность его – самая общая – есть *необходимость*. Вскрытие связей и отношений, качеств и свойств, общих и частных законов объективного мира есть задача теоретического познания, как момента *овладевания*. Это – с одной стороны. С другой, никакого «блага», всеобщей «цели», «энтелехии» как верховного и универсального принципа, в природе нет, – как нет ни грана морали, «этики и т. д. в теореме *Пифагора*, в аналитической геометрии, астрофизике или палеонтологии. Нам здесь вовсе нет надобности повторять всю аргументацию и против грубой, «внешней», и против тонкой, «внутренней», «имманентной» телеологии: мы достаточно останавливались на этой проблеме в специальной главе нашей работы. Но если не выдерживает критики телеологическая точка зрения и телеологическая концепция мира, то тем самым рушится и падает «благо», как принцип мироздания. Когда мы говорим об *истине*, то мы говорим о соответствии отражения отражаемому, объективно существующему. Совсем другое с *благом*. Это – нечто *субъективно-человеческое* прежде всего и *только*: ему *ничего* не соответствует во внешнем, *внечеловеческом*, мире. «Всеобщее» здесь имеет своим рациональным основанием не природно-всеобщее, подобное универсальным законам природы, а некий общественно-исторический интерес, сформулированный в противоположность частным интересам и спроецированный на космический экран. Цели людские суть *только людские* цели, они полагаются людьми, общественно-историческими людьми; нормы поведения; доминанты этих норм, могут на первых ступенях развития вырабатываться и бессознательно, стихийно, полу-инстинктивно, но они не перестают от этого быть человеческими, общественно-историческими. Искать для них внечеловеческой идеальной санкции (вроде гегелевской «милости божией») можно лишь в том случае, если признавать теологически-телеологическую концепцию мира. С противоположной точки зрения людское имеет «оправдание» в *людском* и ни в каких сверхчеловеческих и супранатуралистических санкциях отнюдь не нуждается.

Понятия такого общего характера, как понятие «блага», а также смежные с ним понятия «справедливости», «добра», «добродетели» имеют всегда специфически-историческое содержание, меняющееся в

зависимости и от экономической формации, и от класса, и от конкретной фазы развития. Вне этих конкретно-исторических определений все эти категории – совершенно формальны, пусты, абстрактны, бессодержательны. Ну, скажите, пожалуйста, что общего между *аскетическим* «благом» браманизма (334) и *утилитаризмом* (335) *Иеремии Еянтама*, этого, по выражению *Маркса*, «гения буржуазной глупости»?* Что общего между добродетелью *стоиков* и «virtu» (336) *Никколо Макиавелли*, с его безудержным коварством ради «родины» ренессансной торгово-промышленной итальянской олигархии? Что общего между «благом» *раннего христианства* и «благом» чувственных наслаждений *эпигонов* (337) *эпикуреизма* (338)? Понятие о «благе» у *Симеона Столпника* или протопопы *Аввакума* – с одной стороны и у *Генриха Гейне* с другой вряд ли будут напоминать друг друга хотя бы в чем бы то ни было. А если привлечь к делу эмпирический историко-этнографический материал, пройтись по разным странам, народам, эпохам, то результаты будут поистине поразительными: нет и помину о незыблемом и вечном! Но каждый раз мы можем с полным успехом *социологически* вывести, т. е. социально генетически объяснить, то или другое «благо», ту или другую совокупность координированных моральных воззрений, из «общественного бытия», т. е. из материальных условий существования специфически-исторической общественной формации и ее классового носителя, воплощающего его «строй» и «порядок».

Указание на *историческую релятивность* «блага» (которую чрезвычайно легко продемонстрировать тысячью примеров) можно, однако, парировать следующими рассуждениями: эмпирически благо де раскрывается в историческом процессе, точно так же, как в историческом процессе познания раскрывается и истина; то обстоятельство, что понятие о «благе» меняется, ни мало не противоречит его бытию в себе, абсолюту блага, познаваемому в процессе совершенствования рода человеческого; это и есть движение ко всеобщему, покоящемуся, как незыблемый моральный закон. Такое рассуждение вполне правомерно и оно было бы правильным, *если бы* не одно «маленькое» обстоятельство, а именно, *неправильность телеологической концепции мира*. Когда в познании *природы* это познание происходит даже в социоморфических рамках,

* К. Marx: Das Kapital I. MEW. Bd. 23. A.a.O. S. 637.; MEGA², II/10. S. 547: „Wenn ich die Courage meines Freundes H. Heine hätte, würde ich Herrn Jeremias ein Genie in der bürgerlichen Dummheit nennen.“

идеологически извращающих объективное содержание мышления, то все же не исчезает *предмет* познания, ибо он существует вне познания, и он-то и *познается*, хотя и путем извращенных «отражений». Когда же речь идет о «благе», переносимом на мир, то в этом последнем *ровно ничего* этому «благу» не соответствует. Ему, однако, нечто соответствует, но не *вне* человеческого общества, а в *самом человеческом обществе*. Тут лежит корень «всеобщего»: это всеобщий интерес данного общества, как токового, т. е. представленного его господствующим классом; смена этих классов и их борьбы есть смена воззрений о «благе» и борьба этих воззрений.

Но на это можно возразить, в свою очередь, таким образом: а разве, по вашему, познание природы не движется общественным интересом? Вы же сами настаиваете на том, что практика определяет теорию! Разве познание не есть овладение миром для человека? Разве тут не действует интерес? Разве тут нет, следовательно, того же самого?..

Нет, господа! Федот, да не тот!

Но этот вопрос требует более пристального внимания, хотя его решить не так уж трудно. В самом деле: направленность интереса в познании есть выбор *объекта* познания, точно так же, как этот интерес выбирает *объект* материальной трансформации вещества – это есть телеологическая сторона дела, за которой стоит, как мы видели, общественная необходимость. Но вот объект познания (объект овладения) выбран, вскрываются его объективные закономерности. И в этих объективных закономерностях (о них-то и идет речь!) нет «ни *грانا этики*»*, точно также как нет «ни *грانا этики*» в технологическом процессе, скажем в доменном процессе, в мартеновском процессе, электролитическом изготовлении алюминия и т. д. Ориентация в мире – теоретическая и практическая – есть жизнедеятельная функция общества. Оно субъект *овладевания* миром, в социалистическом строе оно *субъект* в полном смысле слова, т. е. целеполагающий, сознающий себя, субъект. В социалистическом обществе (мы его берем здесь как особо яркий пример!) оно, это общество, как целое, как телеологическое единство, в плановом порядке выбирает объекты овладевания (теоретические и практические, взаимно связанные). Но сами эти объекты, течение их

* W.I. Lenin: Der ökonomische Inhalt der Volkstümlerrichtung und die Kritik an ihr in dem Buch des Herrn Struve. LW. Bd. 1. S. 436 („Man muß deshalb Sombarts Behauptung als richtig anerkennen, daß es ,im ganzen Marxismus von vorn bis hinten auch nicht ein Gran Ethik‘ gäbe: in theoretischer Beziehung ordne dieser den ‚ethischen Standpunkt‘ dem ‚Prinzip der Kausalität‘ unter; in praktischer Beziehung laufe er bei ihm auf den Klassenkampf hinaus.“)

процессов, и *вне* «искусственных» условий, т. е. *вне* производства и *вне* научного эксперимента, и в этих «искусственных» условиях, т. е. в технологических производственных процессах и в обстановке экспериментальных лабораторий, никакой «морали», «блага», «интереса» и т. д. не имеют: здесь «действуют» холодные и равнодушные законы физики, химии, биологии, – и *только*. Законы природы *используются* человеком в его целях, но это вовсе не значит, что они содержат в себе человеческие (или сверхчеловеческие) цели: в них вообще нет ровно ничего человеческого, и эти категории к ним совершенно неприменимы: применять их к ним, это все равно, что впрыскивать антидифтерийную сыворотку березовому полюну или искать оправдания кантовского категорического императива в производстве серной кислоты.

Все в мире связано со всем диалектической связью. Поэтому, в конечном счете, можно установить связь между самыми различными вещами, свойствами, категориями. Но не следует превращать диалектику в софистику, в логические Фокусы, в игру понятий.

Необходимость проявляется в нашем примере социалистического общества непосредственно через *телеологию* – необходимость переходит в свою собственную противоположность; телеологически направляются процессы познания и овладения: выбираются объекты, расставляются определенным образом элементы природы; вскрываются *необходимые* связи и отношения природного мира; «действует» *природная необходимость* в технологическом процессе, где и сам человек выступает, как «сила природы» (*Маркс*), т. е. как известная энергетическая величина. Познание и производство, как разумные и активные процессы, суть *телеологические* процессы, за спиной которых стоит *необходимость*. Но *объектом* познания и производства самим по себе не свойственна *никакая* телеология; им, этим объектам, телеология *не имманентна*, а трансцендентна, она лежит *вне* их, она – в *субъекте*, а не в объекте. Таковы действительные диалектические связи.

Этическое «благо» вырастает *исторически* на общественной почве и касается соотношений между людьми: отношения *между людьми* и предметным чувственным миром берутся лишь постольку, поскольку это вытекает из соотношений между самими людьми. Стадный инстинкт и чувство племенной общности на начальных ступенях развития не есть еще ни «этика», ни осознанное этическое «благо». Элементы этики, категории «добродетели», «добра», «справедливости» и т. д., *исторически* возникают тогда, когда выступают наружу и исторически образовавшиеся общественные *противоречия*, противоречия между обществом и группой, между

группами, между обществом и личностью, между группой и личностью, потом между классами и т. д. В обществах с ярко выраженной персональной связью моральный закон формулируется прямо, как богом данная заповедь и обычно слит с примитивным законодательством. За всем этим стоит санкция божества. В обществах со стихийной связью – т. е. в обществе товарном и товарно-капиталистическом – «благо» есть фетишизированные нормы поведения, представляющиеся, как метафизические «внутренне-обязательные» императивы, за которыми стоит санкция *безликой* и *неопределенной* божественной субстанции. Эти *телеологические* представления и выраженный в них *интерес*, длительный и «всеобщий» (в смысле общего для *данного* классового общества и класса), как условия самосохранения определенного строя общества, как начало, почти автоматически, почти инстинктом подобно, «внутренне», действующее в индивидуумах и подавляющее «партикулярное» и «единичное», – и является «сущностью» морального «блага». Его действительным источником является, таким образом, «всеобщий» (в вышеуказанном смысле) интерес, за которым стоит *необходимость*, как объективная категория общественного развития, как нечто, определяющее людские ориентации. Этот *земной* и *общественный* источник в большинстве случаев скрыт от сознания людей, преисполненных «долга» и стремящихся к «благу», и чем более скрыт этот источник на земле, в обществе, тем усерднее ищут его на небе, в божественном «благе», освящающем своими лучами людские судьбы. Так образуется оригинальное *qui pro quo* (339), когда «земное» порождает «земное», последнее проецируется на «небо» и оттуда «оправдывает» самое себя. Явления *безразличия* к земному или *отрицания* земного, формулированные как «благо», есть обычно средство самосохранения групп, поставленных под удар, не имеющих перспективы и подверженных постоянным и прихотливым случайностям так называемой «судьбы», при волевом напряжении, направленном на уничтожение активной и действующей *во вне* воли.

Это хорошо изображает тот же *Гегель*, *volens-nolens* вскрывая материальные подосновы этической философии *стоиков*, у которых, кстати сказать, было много моментов и действительного понимания общественной природы этических норм. Но анализ этого не входит в нашу задачу.

Итак, слушаем диалектического маэстро:

Принцип стоиков является необходимым моментом в идее абсолютного сознания; он вместе с тем (слушайте!) представляет собою необходимое явление их эпохи. Ибо когда жизнь реального духа потерялась, как это произошло в римском мире, *абстрактном* всеобщем, сознание,

реальная всеобщность которого была разрушена, необходимо должно было вернуться образно в свою единичность и сохранять само себя в мыслях... Все, что обращено вовне, – мир, обстоятельства, и получает тем самым такой характер, который позволяет упразднить его, пренебрегать им (340).

Другими словами, условия жизни, общественный распад, жизнь под постоянным домокловым мечом при отсутствии всякой надежды на активный прорыв приводит к мысленному «этическому» упразднению мира, к тренажу против «страха и вожделения». *Summum bonum* (341) – в изречении: «мудрец» свободен даже в цепях, ибо он действует из самого себя, не подкупаемый страхом или вожделением»⁴⁰. Но моменты общественного распада знают и философию «*Sagre diem*» (342) (тот же *Гораций Флакк*), отрицание всякого «всеобщего» и абсолютный индивидуалистический релятивизм (*софисты* в Греции, *Горгий*, *Протагор* и др.), упадочный и безыдейный гедонистически (343)-извращенный аморализм (литература конца XIX столетия) и т. д. Объяснить все эти конкретные ориентации – дело соответствующего конкретного анализа, но это уже – особая и специальная задача, выходящая за рамки нашей работы.

Когда люди сознают земное происхождение этики и соответствующих норм, сознательно их принимают, как им самим нужные нормы целесообразного поведения, с предпочтением более важного и основного, то этика теряет свой фетишистский характер. Для людей новой, социалистической, эпохи это «разбожествление» ни капли не уменьшает силы действия: наоборот, борьба за действительное и реальное счастье на земле за всеобщий людской интерес, победы в этой борьбе, действительное ощущение расцвета жизни придают нормам целесообразного поведения гораздо большую силу, чем ранее придавали другим соответствующим нормам различные небесные и метафизические авторитеты.

Из того, что этика выражает тот или другой интерес в межлюдских отношениях, а эти интересы противоречивы и, поскольку речь идет о принципиально-враждебных классах, принципиально противоречивых, вытекает, что этические нормы недоказуемы для всех, ибо здесь налицо расхождение в самих предпосылках, в отправных позициях. Общие формулы – пусты и ничего не говорят. Мало-мальски конкретные формулы уже антагонистичны. Если, например, *Ленин* в

* G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II. A.a.O. Bd. 18. S. 470 f. (курсив N.B.).

⁴⁰ Ebenda, S. 467.

своей известной речи о воспитании молодежи (344) определил этические нормы коммунистов так: все, что полезно коммунизму, хорошо; все, что вредно, плохо, и *так* решал проблему «добра и зла», то это решение, совершенно правильное с точки зрения пролетариата, как носителя нового способа производства*, неизбежно берется буржуазией с обратным математическим знаком, и класс капиталистов *нельзя* доказать, что коммунизм есть «добро» или «благо», ибо это противоречит основным интересам класса капиталистов. Даже сознание *неизбежности* социализма не будет для него аргументом: он скорее встанет в позицию *О. Шпенглера*, позицию так называемого «мужественного пессимизма»⁴¹, «Optimismus ist Feigheit», «оптимизм, это – трусость», провозгласив с точки зрения упадочного буржуа «храбрый» философ фашистского декаданта. Если у современной ультраимпериалистической буржуазии «благо» сосредотачивается на «хищном», «красивом», *животном*, то никакие разговоры о братстве народов, интересах большинства, о массе, человечестве и *т. п.* этих буржуа не примут, ибо они *плюют* на все эти предпосылки что им за дело до всего этого! Их интерес – в прямо *противоположном*; их «благо» – в эксплуатации, разбое, стона! жертв, в сверхскотине, в процветании олигархической властной кучки, в чистоте ее «крови», в ее разбойничьих «подвигах» и т. д. Если вы скажете: «но интересы развития?» – ответ будет: «А почему я должен стоять на их страже»? Если вы скажете: «Но в осуществление равенства в условиях развития для каждого, расцвет жизни?» – ответ будет: «А для чего мне все это равенство? Я, наоборот, предпочитаю красоту хищников, пожирающих ближних своих!». Антитеза основных ориентаций вызывает и антитезу их сублимированных форм, а в *критические* эпохи истории, такие, как наша эпоха, эта враждебность достигает максимального напряжения, напряжения открытой войны, и вопрос решает здесь уже *не логика, а практическая сила*. Так, и только так, ставит вопрос история.

Можно ли, однако, взяв за исходный пункт *определенные* предпосылки, построить «научную» этику, так сказать этическую

* Vgl. W.I. Lenin: Die Aufgaben der Jugendverbände. LW. Bd. 31. A.a.O. S. 283 („Wir sagen: Sittlich ist, was der Zerstörung der alten Ausbeutergesellschaft und dem Zusammenschluß aller Werktätigen um das Proletariat dient, das eine neue, die kommunistische Gesellschaft aufbaut.“)

⁴¹ Der Pessimist ist, nach Spengler, stark und tapfer, weil er geschichtlichen Tatsachen ins Auge blickt und sich „ungelösten Aufgaben“ stellt. Die „Feigheit des Optimismus“ ist die ängstliche Flucht aus der Wirklichkeit „in erdachte und weltfremde Systeme“. In: O. Spengler: „Pessimismus?“ 1922. S. 14 f. Siehe auch: „Jahre der Entscheidung“, 1933. Hier zit. n. der Ausgabe München 1980. S. 25 ff. und 31 f.

технологии жизни? Разумеется, речь здесь не может идти о науке, как совокупности формулированных (отраженных) законов бытия, хотя бы и общественного бытия: здесь речь может идти о систематизации *норм*, которые, однако, имели бы свое обоснование в *необходимости*. Итак, возможна ли такая наукообразная этика?

На этот вопрос мы ответим сначала анекдотом, который был в действительности. Однажды Ф. Энгельс спрашивал Г. В. Плеханова о П. Л. Лаврове: «Скажите, пожалуйста! Вот ваш Лавров, кажется порядочный человек, а как он любит говорить об этике!».

В этом анекдоте, как и в отношении марксистов вообще к проблемам этики, есть весьма и весьма рациональное зерно. *Общие* постановки вопроса ясны. О *них* болтать любят люди, у которых в данной сфере, выражаясь по Фрейдю, есть «Minderwertigkeitsgefühl» (345). Вырабатывать же номенклатуру добродетелей, поступков, типологию случаев – это значит превратиться в *педантов* и толкать людей на многочисленные ошибки. Составлять катехизис поведения, новое «Юности Честное Зерцало»*, «Домострой» наоборот и т. д. – вряд ли целесообразно: жизнь сейчас так сложна, что в такие прописи ее не уложишь, а заморозишь. Проблему решают гораздо лучше на живых, многообразных и конкретных примерах *писатели* (воспитательное значение литературы огромно), и недаром *Сталин* назвал их «*инженерами человеческих душ*»**. Кроме того, в наше время, когда этика дефетишизируется, она в то же время *политизируется*: лучше всего это видно на политической окраске культа *труда*, как Дела чести, дела славы, дело доблести и геройства^{42**}, на култе *советской героики* вообще. Здесь действуют живые силы, а не сухой учебник, не гувернантские элабораты, не *Смайлс* или госпожа *Жанлис* в новом издании.

Так оно живет, вернее, лучше, успешнее, целесообразнее!

* Созданное по указанию Петра Великого руководство по образованию и воспитанию дворянских детей. Появилось впервые в 1717 г.

** 19 октября 1932 г. в доме М. Горького состоялась встреча руководства ВКП(б) с писателями-коммунистами. Вторая встреча последовала 26 октября. Н. Бухарин участвовал только в первой встрече, во время которой Сталин охарактеризовал писателей как «инженеров человеческих душ» и просил о поддержке. Стенограмма совещания 19 октября 1932 г. не опубликована. О второй встрече см. «Вопросы литературы». Май 1991 г., с. 149-167. Ср. Громов Е. Сталин, власть и искусство. М., 1998. с. 151.

^{42**} Josef W. Stalin. Politischer Rechenschaftsbericht an den XVI. Parteitag der KPdSU (B). (Juni 1930). Stalin. Werke. Berlin 1954. Bd. 12. S. 276. „Das Bemerkenswerteste am Wettbewerb ist, daß er in den Ansichten der Menschen über die Arbeit eine radikale Umwälzung hervorruft, denn er macht die Arbeit aus einer schimpflichen und schweren Last, als die sie früher galt, zu einer Sache der Ehre, zu einer Sache des Ruhmes, zu einer Sache der Tapferkeit und des Heroismus.“

Глава XXXIII

О ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ ИДЕАЛИЗМЕ ГЕГЕЛЯ,
КАК СИСТЕМЕ

Выше, обсуждая вопрос о т. н. «философии тождества», мы касались гегелевской системы, до и во всей работе *Гегель* сходит с этих страниц. Однако, здесь необходимо разобрать исходные пункты и частности, но отдать себе отчет во все системе *Гегеля* в ее целом.

Как всякий человек есть сын своего времени – *пйсааль* – так философия *ествременная ей эпоха, выраженная в мыслях*

Эта материалистическая мысль, где сквозит даже понимание социальной обусловленности *типа* мышления заставляет, прежде всего, сказать несколько слов о социально подоплеке самой гегелевской философии. Коротко говоря, он есть великое идеологическое отражение перехода общества о феодализма к режиму буржуазии, при чем все предыдущие этап человеческого развития представляются, как ступени к конечном царству разума, познавшего самого себя и фиксированного буржуазных общественных институтах и адекватной идеологии. Поэтому вся система в целом, во-первых, исторична; во-вторых имеет революционное жало; в-третьих, завершается спокойны концом; т. е. в заключительном итоге консервативна по отношению к будущему.

Здесь неуместно повторять ставшие уже избитыми истины о конкретно-историческом положении Германии, о слабости ее буржуазии, о том, что в противоположность Франции, где разыгрывалась действительная борьба, борьба в Германии разыгрывалась, главным образом, в идеологических областях. Об этом писалось бесчисленное количество раз. Нам хотелось бы связи с этим остановиться на двух фактах общественной биографии *Гегеля*.

В молодости он, как известно, приветствовал французскую революцию, как восход солнца, сажал «дерево свободы»; его альбом пестрел надписями: «In tyrannos!», «Vive la liberté!», «Vive Jean Jacques!» В расцвете своей деятельности он ожидал мирного «разумного» развития, после необходимых бурь и гроз революции и

⁴³ G.W.F. Hegel: Vorlesungen über der Geschichte der Philosophie I. A.a.O. Bd. 17. S. 75 f. (курсив N.B.).

Наполеонова периода (в Наполеоне он видел чуть ли не Мирового Духа верхом на лошади). По этому поводу его биограф интерпретатор, *Куно Фишер* пишет:

Июльская революция и европейские волнения, победоносная бельгийская революция, несчастное польское восстание, а также всевозможные волнения в Германии, последовавшие за событиями в Париже, вовсе не соответствовали идеям и ожиданиям Гегеля. Он был уверен, в том, что эра революций и государственных переворотов закончилась падением Наполеона, что наступила пора разумного исследования и прогресса, как он возвестил это в своих вступительных лекциях в Гейдельберге и Берлине: эра спокойного, сознательного и обдуманного развития, признанная и в его системе заключительным актом мудрости *эволюция справедливости* в мире, составляющая и по Канту задачу будущего. Однако, оказалось, что 1815 год был заключением не века, а только первого акта революции, пятнадцатилетняя реставрация была лишь антрактом. Взрывы революции вспыхивали вновь на мировой сцене и открывали неожиданные и неприятные (Авт.) картины будущего как философу Гегелю, так и историку Нибуру. Даже английской конституции угрожали революционные опасности, вследствие поставленной на очередь реформы парламен(т)а*.

Немудрено поэтому, что вся философская система Гегеля в целом есть великая *буржуазная теодицея*, с огромным историческим разбегом, где мировой Разум, проходя различные стадии, ступени своего развития, успокаивается в частной собственности, прусском государстве, христианско-протестантской религии и в самой философской системе Гегеля, как конечном и абсолютном результате. Этот последний есть *цель*, обретенная, наконец, в мучительном и противоречивом историческом развитии. Все предыдущие ступени суть этапы на этом пути, в «снятом» виде сопричастующие в этой последней исторической ступени, и в *этом* ее *историческое* оправдание. Колоссальный размах, универсальность охвата, *всемирно-исторический*, и даже *космический*, масштаб служит здесь лишь делу возвеличения этого конечного результата. Не случайна оценка *Гегелем* частной собственности, вне которой он не мыслит истинной свободы, тогда как движение истории есть, по Гегелю,

* Kuno Fischer. Geschichte der neuern Philosophie. Achter Band. Hegels Leben, Werke und Lehre. I. Teil. 2. Auflage. Heidelberg 1911. S. 195 f.

«прогресс в сознании свободы»**. Мы имеем поэтому в системе гегелевой философии истинно-классическую философию буржуазии. Идеология этой последней еще не выродилась в такую *пошлую* апологетику (347), когда в ней исчезают все, или почти все, научные моменты: давая в извращенном, идеалистическом, виде картину действительного Развития, она эти моменты все же содержит в очень большой степени, что в особенности ярко проявляется в диалектическом *методе* и в диалектике *прошлого* развития; но она уже вступает в конфликт с этим методом, ибо прекращает течение истории на буржуазном обществе и его надстройках, как щедринский Угрюм-Бурчеев*** прекращает течение реки. Более того, поскольку она диалектику прошлого рассматривает только как опосредствующие моменты царства буржуазии, и заколачивает дороги в будущее, она тем самым компрометирует и прошлое. И эта консервативная сторона системы, составляющая ее существо, как *системы*, покрывает своею тенью все остальное.

Это в свое время превосходно было вскрыто Ф. Энгельсом еще в «Людвиге Фейербахе»:

Гегель – писал Энгельс – строит ~~систему~~, а философская система, по исторически установившемуся обычаю, должна была вести к абсолютной истине того или иного рода. И тот же Гегель, который в своей «Логике» указывал, что вечная истина – есть не что иное, как именно логический (т.е. значит исторический) процесс, тот же Гегель увидел себя вынужденным положить конец этому процессу, так как надо же было ему закончить свою систему. В «Логике» конец мог явиться у него началом нового развития, потому что там конечная точка, абсолютная идея, – абсолютная лишь постольку, поскольку он абсолютно ничего не мог бы сказать о ней, – «обнаруживает себя», т.е. превращается в природу, потом в духе, то есть в мышлении и в истории, снова возвращается к самой себе. Но в заключительной части всей философии для подобного возврата к началу оставался только один путь. Необходимо было так представить себе конец истории: человечество приходит к познанию именно этой абсолютной идеи и объявляет, что это познание достигнуто гегелевской философией. Но это значило провозгласить абсолютной истиной все догматическое содержание системы Гегеля и тем стать в противоречие с его диалектическим методом, разлагающим все догматическое. Это

** G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. A.a.O. Bd. 11. S. 46.

*** Угрюм-Бурчеев – персонаж сатирического романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (1869–1870 гг.).

означало раздавить революционную сторону: под тяжестью непомерно разросшейся консервативной стороны (Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie (348))⁴⁴.

Движение Мирового Духа, Разума Бога, по Гегелю, проходит три главных этапа: а) Абсолютный Дух сам по себе; б) Абсолютный дух, как природа, являющаяся инобытием этого духа а) Абсолютный Дух, познавший самого себя. Эта мистическая работа и творческая забава Мирового Духа овеяна в гегелевском изложении подлинным величавым пафосом, ибо под ней скрывается по сути дела история мира, история общества и история человеческой мысли, хотя великий всеобщий процесс и разыгрывается, как мистический маскарад. Каждый из трех этапов, в свою очередь, распадается на ступени, что находит свое выражение и в членении самой философской системы и даже в разбивке ее по отдельным основным работам Гегеля.

В «Феноменологии Духа» изображены ступени развития этого духа, под чем скрывается эволюция человеческой мысли от «предметного сознания» до «абсолютного знания». Здесь в идеалистически извращенной форме подробно рассматривается «предметное сознание», т. е. рост познавательного соотношения между субъектом и объектом, сознанием и предметом, начиная от ощущений («чувственная достоверность»); далее идет переход к воспринимающему сознанию (теория восприятия) и к рассудочным определениям, с переходом от чувственной предметности к «покоящемуся царству законов»*, со всеми противоречиями, имманентными процессу. Затем следует переход к *самосознанию*, где свое собственное сознание делается предметом сознания, где наличествует «истина и достоверность самого себя»^{45*}, причем единство самосознания с самим собою рассматривается также и как стремление. Здесь в сугубо абстрактной форме разбираются и исторические типы «самосознания» (ср., например, разделы о господине и рабе, стоицизме и скепсисе, «несчастном сознании» и т. д.) и противоречия процесса. Выход – в переходе к *разумному мышлению* и к *разумному сознанию*, а также к его объективированным формам (царство права, нравственность, государство). И, наконец, следует религия и *абсолютное знание*.

⁴⁴ F. Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. MEW. Bd. 21. A. a. O. S. 268.

* G. W. F. Hegel: Phänomenologie des Geistes. A. a. O. Bd. 2. S. 122.

^{45*} Ebenda, S. 139.

Энгельс (в той же работе о «Людвиге Фейербахе») чрезвычайно метко называет «Феноменологию Духа» «параллелью эмбриологии и палеонтологии духа, развитием индивидуального сознания на различных его ступенях, рассматриваемых, как сокращенное воспроизведение ступеней, исторически пройденных человеческим сознанием» (349)^{***} (Энгельс намекает на известный биогенетический закон Эрнста Геккеля, по которому индивидуальный человеческий зародыш сокращенно воспроизводит эволюцию вида)^{46***}.

Таким образом, в «Феноменологии» дано движение к «царству разума». Отсюда переход к «Логике». В «Логике» (Wissenschaft der Logik, т. н. «Большая Логика» в противоположность «малой», т. е. «Энциклопедии») речь идет о *движении понятий*, т. е. только о категориях *разумного мышления*, °б универсальной онтологии и метафизики, где под логикой разумеется вовсе не только логика субъективная, но и логика объективная, т. е. *онтология*. Не нужно при этом упускать из вида Философской концепции, по которой все, это – Дух, Бог. «Поэтому неудивительно, что Гегель заявляет, например: «Логике нужно понимать, как систему чистого разума, как царство чистой мысли. Это царство есть истина, как она существует без оболочки в себе и для себя. Поэтому можно выразиться, что это содержание есть изображение бога, как он существует в своей вечной сущности до сотворения природы и своего конечного духа» (350). (WdL)*. Предмет – чистые мысли, вне всякой чувственной конкретности, т. е. высшие мыслительные абстракции. И тем не менее в этой центральной части всей философской системы Гегеля мы находим громадное количество драгоценных мыслей, ибо в этой работе и развита та *диалектическая* логика, «логика противоречий», которая «в своей рациональной» (Маркс), т. е. освобожденной от мистической оболочки, форме, вошла в качестве важнейшего оружия в арсенал диалектического материализма.

И здесь «Идея» *развивается*^{**}. Но развивается она «в отвлеченной стихии мышления». Про «Логике» Энгельс (в письме Ф. А. Ланге от

*** F. Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. MEW. Bd. 21. A.a.O. S. 269.

^{46***} „Um es kurz mit einem Satze zu sagen, so ist die individuelle Entwicklungsgeschichte oder die Ontogenie eine kurze und schnelle, durch die Gesetze der Vererbung und Anpassung bedingte Wiederholung oder Rekapitulation der paläontologischen Entwicklungsgeschichte oder der Phylogenie.“ In: Ernst Haeckel. Natürliche Schöpfungsgeschichte. Berlin 1873. S. 10.

* G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik I. A.a.O. Bd. 4. S. 45 f.

** Vgl. zur „Spontaneität des Denkens“: G.W.F. Hegel: System der Philosophie I. Die Logik. Mit einem Vorwort von Leopold von Henning. Stuttgart 1940. A.a.O. Bd. 8. S. 126.

29 марта 1866 г.) писал, что «его (т. е. Гегеля. Авт.) настоящая натурфилософия заключается во второй части «Логики» – в учении «о сущности», в чем, собственно говоря, и есть ядро всей доктрины» (351)**.

Здесь движение понятий идет от учения и *бытия* к учению о *сущности* и к учению о понятии, которое завершается «*Абсолютной Идеей*». В абстрактнейшей форме, идеалистически извращенной, изображен процесс выявления все более и более глубоких и общих закономерностей бытия, представляющихся в системе Гегеля, как связи абстрактных идей. При этом на всем протяжении развития и на всех ступенях его движущим мотивом является раздвоение единого, единство противоположностей переход одного в другое, противоположное. Из начального анализа «бытия» и «ничто» и их соотношений вытекает их единство как становление, возникновение и уничтожение, переход в другое – изменение, развитие. Эта сторона «Логики» и является ее революционной стороной, когда диалектика становится «алгеброй революции»*. «Логика» заканчивается «Абсолютной Идеей», которая есть единство, т. е. расчлененное тождество, теоретической и практической идеи. В абсолютной идее конденсированы все предыдущие моменты, находящиеся в ней в «снятом виде». Таким образом содержанием абсолютной идеи является *все содержание системы «Логика» и сущность диалектического метода*, т. е. диалектическое *развитие* понятий. Здесь, следовательно, налицо единство знания и воли, идеи истины и идеи добра, теоретической и практической идеи, «полная истина», где знание стало объектов себя самого, где мы имеем «мышление о мышлении» (νοησις νοησεως).

Далее идет превращение абсолютной идеи в *Абсолютный Дух*, через промежуточные ступени *природы* и т. н. «*конечного духа*». При этом идея блага понимается у Гегеля и как *воля к природе*.

«Природа есть идея в ее *инобытии*»**. «Формою ее определенности служит внешность пространства и времени»***. Так «Логика» переходит в «Философию Природы».

*** F. Engels an F. A. Lange vom 29. März 1865. MEW. Bd. 31. S. 486.; MEGA², III/13. S. 364.

** G.W. Plechanow: K. Marx. In: Сочинения. Том 12. Moskwa [о.л.] S. 329. Бухарин цитирует статью Плеханова из «Искры» от 1 марта 1903 г. к 20-летию со дня смерти К.Маркса: «Учение Маркса – это современная «алгебра революции». Ленин подхватил эту идею в статье «Памяти Герцена», опубликованной в 1912 г. LW. Bd. 18. S. 10.

** G.W.F. Hegel: System der Philosophie II.. Die Naturphilosophie. A.a.O. Bd. 9. S. 49 (§ 247).

*** Ebenda, S.70 ff. (§ 253).

В «Философии Природы» дается изображение ступеней природы, от низших ее форм до высших. Однако, по справедливому замечанию *Энгельса*, природа у *Гегеля* не знает *развития*, т. е. развития в естественно-историческом смысле слова. «Вся природа является для него (т. е. для *Гегеля*, Авт.) только повторением в чувственной внешней форме логических абстракций» (*Маркс*)****. В общей форме *Гегель* выражает это следующим образом:

Природу следует рассматривать, как систему ступеней, из которых одна необходимо вытекает из другой и составляет ближайшую истину той, из которой следует: однако, это происходит во внутренней идее, составляющей основу природы, а не так, чтобы одна ступень естественно порождала другую. Метаморфоза совершается только в понятии, как таковом, так как только изменение его есть развитие... Мыслящее исследование должно отказаться от таких туманных (!), в основе чувственных представлений, каково в особенности учения о т. н. происхождении (*Hervorgehen*) например, растений и животных из воды или более развитых животных организмов из низших организмов(352)*

При этом во главу угла ставится телеологическое понимание. «Истинное» телеологическое понимание – такое понимание является наиважнейшим – состоит, следовательно, в том, что природа рассматривается как свободная в ее своеобразной живой деятельности (Философия Природы) (353)**. Вся «Философия природы», как мы неоднократно имели случай убедиться, густо набита мистическими идеями.

Три главные ступени природы соответствуют движению понятия от всеобщего через особенное к единичному. Эти три ступени суть: всеобщая телесность, телесность особенная и телесность единичная, причем последняя образует, будучи единством всеобщего и

**** Bei Hegel „ist die Natur, als bloße ‚Entäußerung‘ der Idee, keiner Entwicklung in der Zeit fähig, sondern nur einer Ausbreitung ihrer Mannigfaltigkeit im Raum, so daß sie alle in ihr einbegriffnen Entwicklungsstufen gleichzeitig und nebeneinander ausstellt und zu ewiger Wiederholung stets derselben Prozesse verdammt ist ... Aber das System erforderte es so, und so mußte die Methode, dem System zuliebe, sich selbst untreu werden.“ F. Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. MEW. Bd. 21. S. 279. „Die ganze Natur wiederholt ihm also nur in einer sinnlichen, äusserlichen Form die logischen Abstraktionen ... Seine Naturanschauung ist also nur der Bestätigungsakt seiner Abstraktion von der Naturanschauung, der von ihm mit Bewußtsein wiederholte Zeugungsgang seiner Abstraktion.“ In: K. Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844. Kritik der Hegelschen Dialektik und Philosophie überhaupt. MEW. Ergänzungsband I. S. 587.; MEGA², I/2. S. 417.

* G.W.F. Hegel: System der Philosophie II. A.a.O. Bd. 9. S. 58 f. (§ 249).

** Ebenda, S. 37 (§ 245, Дополнение).

особенного, живую индивидуальность, организм. Соответственно этому мы имеем дело с материей вообще, все неопределенности и бесформенности, затем Физическую индивидуальность и, наконец, жизнь, т. е. механику, Физику и органику (ср. «механизм», «химизм» и «телеология» в большой «Логике»).

Но «цель природы» состоит в том, чтобы умертвить себя, прорвать кору своей непосредственности, чувственности, сжечь себя, как феникс, и затем из этой внешности, помолодев, *жить в виде духа****.

Отсюда переход к философии духа.

В «Философии Духа» речь идет об идее, но уже об идее в ее бытии для себя, т. е. идее, познающей самое себя, самосознающей идее. Гегель занимается в этой работе, как проблемами психологии, так и объективированными формами сознания и их общественно-материальным субстратом. Это представляется у него в такой форме:

1. Наука о субъективном духе (антропология, феноменология духа, психология);
2. Наука об объективном духе (право, мораль, нравственность).

Нравственность кончается государством. Отдельные работы, стоящие в ближайшей связи с «Философией Духа», это – «Философия права» и «Философия истории».

Учение об Абсолютном Духе, являющееся последнее частью философии духа, как таковой, составляет предмет философии искусства (здесь абсолютный дух *созерцает* себя) философии религии (здесь абсолютный дух *представляет* себя! и философской истории философии (здесь абсолютный дух *знает* себя). Эти темы, как известно, были предметом гегелевских «лекций».

В частности, интересно отметить, что развитие понятия соответствует у Гегеля историческому развитию различных философских систем, а эти последние являются у нее «моментами» его собственной философии, в коей они находятся в «снятом виде»: никакая философская система, т. о. не отбрасывается а *limine*, не уничтожается, а преодолевается, отрицается в гегелевском смысле, т. е. «снимается».

Из этого поневоле⁴⁷ беглого обзора гегелевской системы видна грандиозность и энциклопедичность величественного философского здания, настоящей Хеопсовой пирамиде философского идеализма.

*** Ebenda, S. 720 f. (курсив N.B.).

⁴⁷ Auch das Wort „zwangsläufig“ (für „ponewolje“) ist geeignet für die Charakteristik der äußeren Bedingungen, unter denen Bucharin die „Arabesken“ schrieb.

Так как *Гегель* был энциклопедически образованным человеком, вобравшим всю сумму знаний своей эпохи, то, немудрено, что у него мы находим громаднейшее количество плодотворных мыслей. Но если взять его систему, как систему, то она рушится и рассыпается во прах.

Известно, что *Гегель* во многом похож на другого великана своей эпохи, на *Гете*. Если, по замечанию *Энгельс* «Феноменология Духа» есть эмбриология и палеонтология^{48*} его, то в гётевском «Фаусте», этой величественной художественной эпопее по существу речь идет о том же. Сам *Гегель* чрезвычайно любил подкреплять свои мысли мыслями *Гете* и его художественными образами. *Гете* был, несомненно, своеобразным *диалектиком*, и художественное созерцание целого, с протестами против рассудочного вивисекторства, как мы видели в предыдущем изложении, в высокой степени привилось *Гегелю*. *Гете* импонировало то обстоятельство, что *Гегель* целиком стал на сторону его учения о цветах (*Farbenlehre*) (354), (где он был не прав по существу). Но нужно всемерно подчеркнуть, что *Гете* решительно возражал против *идеалистических* абстракций *Гегеля* и против его *теологических* тенденций. *Эккерман* сообщает, например (разговор 23 марта 1827 г.) мнение *Гете* о книге *Генрихса* (гегельянец, работа об античной трагедии):

Говоря по совести, мне жаль, что... Генрихс настолько испорчен гегельской философией, что потерял способность к непредвзятому естественному созерцанию и мышлению, место которых постепенно занял искусственный и тяжеловесный способ мышления и изложения... В его книге немало мест, где мысль не подвигается вперед, а темное изложение вертится все время в том же самом круге точно так же, как это имеет место с таблицей умножения ведьмы в моем «*Фаусте*».

В письме к фон-Мюллеру от 16 июля того же года он говорит: «Я ничего не хочу знать о гегелевской философии, хотя сам *Гегель* мне очень нравится» (356)^{50*}. *Гете* был гилозоэстическим пантеистом эстетического типа с большим уклоном в сторону сенсуалистического материализма, и причислять его одним гребешком с *Гегелем*,

^{48*} F. Engels: Dialektik der Natur. Notizen und Fragmente. MEW. Bd. 20. S. 476.; MEGA², I./26. S. 524.

⁴⁹ Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Gespräch vom 28. März 1827. Hrsg. von Christoph Michel. Frankfurt/M. 1999. In: Johann Wolfgang Goethe. Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche. Vierzig Bände. II. Abteilung. Bd. 12 (39). S. 582 f.

^{50*} Johann Wolfgang Goethe: 433. F. von Müller, Mo. 16.07. 1827. A.a.O. Bd. 10 (37). S. 494.

поскольку речь идет о философии, никак и никоим образом недопустимо.

Для характеристики гегелевой системы крайне существенны ее основные моменты: 1) *идеализм*; 2) *теология*; 3) *телеология*.

Идеализм не есть учение о тождестве материи и духа, и, как мы подробно говорили в главе о т. н. философии тождества, философская система Гегеля не есть, вопреки ходячему представлению, учение о тождестве телесного и духовного. *Гегель* сам прекрасно понимал это. В «Логике» мы находим у него следующее место:

Хотя новейшую философию нередко ~~мы~~ ^{мы} (¹) называли философией тождества, на самом деле именно эта философия, и притом прежде всего умозрительная логика, показала ничтожество чистого рассудочного тождества, отделенного от различия, но в то же время она также настойчиво требует, чтобы мы не оставались при одном лишь различии, а познавали также внутреннее единство всего, что существует ⁽³⁵⁷⁾^{51**}.

А это единство, по *Гегелю*, таково, что *природа* есть инобытие духа, а не дух – инобытие природы. Материя и дух не есть модусы единой субстанции, а природа есть лишь чувственно-предметное выражение универсальной духовной субстанции «Духа», который и есть истинная *causa sui*. Характерно для Гегеля, что он, при всей своей общей установке, которая рассматривает движение философской мысли в связи сменяющихся друг друга систем, где каждая последующая фаза «снимает» (т. е. сохраняет) предыдущую, в ряде мест, так сказать походя отбрасывает материализм, не считая его за философию вообще «Для *Гегеля* – писал *Маркс* – процесс мысли, который он, под названием идеи, превращает даже в самостоятельный субъект, есть Демиург действительности» (358)*. Греческий *νοσ*, *λογος*, христианско-платоническое «Слово» (т. е. «Разум»), как действительная творящая субстанция мира, продолжает гегелевской системе свое дальнейшее бытие. Задача философия – «понять явления духа в их необходимой последовательности» Из этого движения духа и состоит мировой процесс. Человеческая телесность есть воплощение духа, и примат в целостной организме принадлежит аристотелевой энтелехии. История есть объективированная форма движения того же духа. Природа есть его инобытие. И т. д. Здесь нечего вновь повторять критику идеализма, как такового: в предыдущем изложении мы давали эту критику и с социологической, и с логической стороны. Но у *Гегеля* объективный идеализм

^{51**} G.W.F. Hegel: System der Philosophie I. A.a.O. Bd. 8. S. 275 f. (§ 118, Zusatz) (курсив N.B.).

* K. Marx: Das Kapital I. MEW. Bd. 23. A.a.O. S. 27.; MEGA², II./10. S. 17 (курсив N.B.).

непосредственно выражен *теологической* форме. В этом отношении характерно, что *Гегель* пошел *назад* от *Канта*. *Кант* в «Критике чистого разума» (359), как известно, вдребезги разбил все так называемые «доказательства» бытия божия. Правда, в «Критике практического разума» он с заднего крыльца ввел бога, но бога этого он ввел, как необходимый постулат, логически недоказуемый, разгромил, в числе прочих, и так называемое *онтологическое* «доказательство» бытия божия, гласившее, что так как бог мыслится, как существо современное, и так как современное существо необходимо имеет предикат бытия, то, следовательно бог существует. *Кант* убедительно показал, что выцарапать бытие из этой мысли также нельзя, как сделать воображаемые сто талеров талерами действительными. *Гегель* защищает онтологическое доказательство против *Канта*, несмотря на схоластическую вздорность аргумента. В этом отношении он пошел решительно *назад*, как и в своей натурфилософии, где он, в противоположность *Канту* и вопреки духу диалектики, отрицает историческое развитие природы. В *теологии Гегеля* ясно виден антропо- и социо- морфизм этой теологии. Абсолютный Дух «созерцает», «представляет», «познает» самого себя, т. е., будучи универсализированной и гипостазированной формой человеческого интеллекта, функционирует, как мыслящий человек. Раздвоение «идеи» на «теоретическую» и «практическую» идею, «стремление» духа к миру («накануне» превращения духа в свое инобытие, в природу) и т. д., все это идет по той же линии. Великий «Мастер» мира, бог, отображение творящей и упорядочивающей функции человека в его внеисторически-абстрактной форме. *Гегель* продолжает идеал историко-теологическое учение *Аристотеля* о «блаженном боге», занимающемся самопознанием. С современной точки зрения, т. е. с точки зрения социалистического человека, все эти основные моменты системы кажутся детски-варварским вздором: представлять сущность мира как божественного субъекта, блаженство коего в самосознании, который одиноко ковыряется в самом себе и находит в этом удовлетворение, – какая это в сущности наивно-дикарская «философия»! Кажется странным и непонятным, как это совмещается с образованностью вообще. Интересно, что *Гегель*, критикуя идеологию «Просвещение» (и иногда правильно возражая против моментов *рационализма*), открыто защищает религиозный антропоморфизм.

В «Феноменологии Духа» он, например, утверждает, что антропоморфирование бога в т. н. «народной религии» вытекает из

глубокой и «истинной» потребности иметь живого бога, без которого невозможна имманентность бога миру. Представление же «Просвещения» о «Высшем Существо», робеспьеровское «être suprême», плоско и пусто: здесь бог напоминает испарения газа.

Так антагонистический способ производства вызывает соответствующий «способ представления», в котором мысль движется в социоморфных категориях господства-подчинения. Эти формы оказываются настолько прочными, что никакая «образованность» идеологов господствующих классов не может выскочить за их пределы, поэтому эти идеологи т. н. «высшие» функции (господства, управления, идеологического господства, умственного труда и т. д.) превращают в субстанцию исторического и космического процесса. В истории мышления известны примеры, как даже специализированные отрасли умственного труда находят свое выражение в том, что бог считается то Мастером, то «Перводвигателем» (*primo motore*), то архитектором, то полководцем, то геометром, то математиком вообще. У Гегеля этот бог есть прежде всего философ, ибо теоретическое мышление есть самое совершенное занятие. Божественная философия, которая есть самосознание и самопознание бога, Рассматривает его, следовательно, как теоретика...

С теологией связана ближайшим образом телеология, где разум, бог, полагает и реализует свои цели, где при этом обнаруживается «хитрость разума» (Феменология Духа):

Разум настолько *хитер*, как и *могущественен*. Хитрость вообще состоит в посредствующей деятельности, которая заставляет объекты действовать друг не друга сообразно и природе и уничтожать друг друга в этом процессе, не вмешиваясь в него, и в то же время осуществляет только *свою* цель. В это смысле, можно сказать, *Божественное провидение* относится миру и его прогрессу, как абсолютная хитрость. Бог заставляет людей жить своими частными страстями и интересами, но из этой жизни возникает осуществление намерений, совершенно иных, чем цели, интересовавшие лиц, которыми он пользовался при этом (360)⁵².

Во *всеобщем* масштабе речь идет о самопознании духа философии.

В *природе*, как мы видели, тоже господствует цель.

В свое время, когда Гегель путешествовал по Альпам очутился среди пустынного горного пейзажа, он записывал:

⁵² G.W.F. Hegel: System der Philosophie I. A.a.O. Bd. 8. S. 420 (§ 209) (курсив N.B.).

Я сомневаюсь, отважится ли здесь самый верующий теолог приписать самой природе вообще в этих горах цель, направленную к пользе человека... Среди этих необитаемых пустынь образованные люди придумали бы скорее все другие теории науки, но едва ли ту часть физикотеологии, которая показывает высокомерию человека, как природа устроила все для его наслаждения и довольства... Это высокомерие вместе с тем характеризует наш век, так как оно находит себе удовлетворение, скорее, в мысли, что все сделано для человека посторонним существом, чем в сознании, что собственно сам человек и есть тот, кто поставил природе все эти цели (цит. *Кунно Фишер*) (361)**.

Но *Гегель* жил не «среди этих необитаемых пустынь». И «Философии природы», вопреки отрицанию «внешней телеологии, т. е. грубой ее формы, вся органическая природа рассматривает как предназначенная для человека. Мы видели, что все насмешки над этой телеологией не спасают от нее и самого *Гегеля*. Однако, и имманентная телеология есть тоже телеология, цель, ведь, и здесь связана с особым субъектом («форм *Аристотеля*, *Энтелехия*, душа, дух, Мировой Дух).

В *истории* точно также раскрываются божественные цели.

Таким образом, вся система насквозь *теологична телеологична*. Идеализм, теология и телеология никак совместимы с современной наукой, как мы это подробно доказывали в предшествующих главах.

Исторический процесс изображается в кон «Феноменологии Духа» с точки зрения раскрытия *цели*:

Цель, абсолютное знание, или дух, знающий себя, как д идет путь воспоминаний о духах, как они существуют в нем сам и производят организацию своего царства. Их сохранение стороны их свободного, являющегося в форме случайности бытия *история* со стороны их выраженной в понятиях организации *наука о знании в его явлении* *обе* эти стороны, выраженные в понятиях истории, составляют воспоминания и Голгофу Абсолютного Духа, действительность, истину и достоверность его трона, без которого он был бы безжизненным и одиноким; только из чаши этого царства духов пенится ему бесконечность (362)**.

** Vgl. Kuno Fischer: Geschichte der neuern Philosophie. Bd. 8. Hegels Leben, Werke und Lehre. I. Teil. Heidelberg 1911. S. 23 f.

*** G.W.F. Hegel: Phänomenologie des Geistes. A.a.O. Bd. 2. S. 619 f. (курсив N.B.).

Но, как мы видели, Абсолютный Дух познает себя и, следовательно, реализует свою цель, в системе гегелевской философии, которая и есть абсолютная истина. И здесь движение прекращается. *Энгельс*, в вышеприведенной цитате, прекрасно вскрыл это общее противоречие между застывшей системой, где развитие замкнулось, и диалектическим методом, который гонит все дальше и дальше.

Если в области *истории* движение «застревает» на частной собственности, прусском государстве и христианской религии, то не лучше обстоит дело в *природе*: в природе вообще нет развития, а есть лишь отражение движения идеи в рядоположности видов; нет никакого *происхождения* одного из другого: виды постоянны; из боязни материализма уничтожается диалектика прерывного и непрерывного, причем с одной стороны, отрицается атомистическая теория, с другой – обожествляемый свет объявляется абсолютной непрерывностью и т. д.

Бесконечность называется «дурною бесконечностью» и ей предпочитается «истинная», замкнутая бесконечность окружности. Боязнь впадения в «бесконечный прогресс» и в «дурную бесконечность» есть лишь обратная сторона поисков Абсолюта, который по существу стоит в противоречии с принципом диалектического движения.

Мы уже говорили о том, что гегелевская система, будучи идеалистическим извращением действительных соотношений, в кривом своем зеркале отображает исторический процесс. Однако это отображение извращено не только фронтально, то есть не только потому, что в нем перевернуто соотношение между мышлением и бытием, духом и материей. С идеалистической концепцией связано и «образумливание» действительного исторического прогресса. Вся «Феноменология», да и вся гегелева система в целом, построена на последовательной смене ступеней единого целого. Между тем такого целостного всемирно-исторического процесса вовсе и не было, как не было и прямого схождения с одной ступеньки на другую. Такое представление о «Немирной истории», свойственное оптимистическому периоду в Развитии буржуазной идеологии, так же неверно, как и представление о постоянной деградации, где «золотой век» стоит; позади, или теория вечного кругового движения. По сути дела все эти точки зрения односторонни, и *Маркс* вполне правильно указывал, что в действительности, то есть в исторической действительности, наблюдаются и движение вперед, и эпохи! упадка,

и застойные периоды, и движение по кругу, и по спирали и т. д. Понятно, что «образумливание» и «логификация» всего исторического процесса, как и всего мирового процесса, неизбежна ведет за собой соответствующую *стилизацию* действительности и при том *такую* стилизацию, которая является производным новым извращением действительных соотношений.

Изображая действительные связи, движения и процесс шиворот навыворот, *Гегель* все же изображает эти *связи* и эти *процессы*. «Пьяная спекуляция» представляет собою отрыв от действительности. Но это не значит, что гегелева философия выдумана «только из головы». Последнее вообще невозможно! Логические абстракции *Гегеля*, преемственно связанные со всем предыдущим развитием философии и опирающиеся на это развитие, суть абстракции от действительности, на наши абстракции, в которых известные стороны действительности стали «чрезмерными» (*Дицген*) и превратились в паразитарные категории, в то же время тощие, как фараоновы коровы*. Показав *теоретически* всю возможность конкретных абстракций, Гегель и то же время был чрезвычайно далек от живой конкретности, хотя постоянно говорил о ней.

В «Записках одного молодого человека» *А. И. Герцена* мы находим такое замечание:

... Не увлекаясь авторитетами, мы должны будем сознаться, что жизнь германских поэтов и мыслителей чрезвычайно односторонняя; я не знаю ни одной германской биографии, которая не была бы пропитана *филистерством*. В них, при всей космополитической всеобщности, недостает целого в элементе человечности, ~~именно~~ *оптимистической* жизни; и хоть они много пишут, особенно теперешней жизни, но уже само то, что они пишут о ней, а не живут ею, доказывает их *абстрактность*^{53*}.

Этот последний афоризм не лишен ни остроумия, ни меткости правильной характеристики.

Итак, взятая в целом система *Гегеля*:

оптимистична, ибо она выражает собой настроения прогрессивной и уверенной еще в себе буржуазии, которая видит громадные перспективы развития;

* Иосиф толкует сны фараона. 1 книга Моисеева. Бытие. Гл. 41.

^{53*} Иосиф толкует сны фараона. 1 книга Моисеева. Бытие. Гл. 41.

идеалистична, ибо это есть идеология командующего класса, монополиста умственного труда, «просвещенного» класса, разуму которого противостоит инертная «масса»;

универсальна во времени, ибо буржуазия чувствует себя наследницей всей культуры, а свой новый общественный миропорядок рассматривает, как воплощение разума, конечное звено развития, по отношению к которому вся всемирная история была лишь подготовительными ступенями;

универсальна в пространстве, ибо ее «всеобщность» есть отражение и выражение мирового роста капиталистических производственных отношений, образование «мирового рынка», действительного формирования капиталистического человечества;

националистична, ибо она выражает не только факт образования мирового рынка и всемирного господства капитализма, но и момент сложения национального государства и антиципации экспансии под псевдонимом особой всемирной значительности Германии;

революционна по методу, ибо воплощает борьбу против феодализма и восхождение буржуазии, при чем весь прошлый исторический процесс берется в его диалектической, противоречивой динамике, где одна за другой разрушаются старые формы бытия и возникают новые, чтобы, в свою очередь, исчезнуть;

консервативна в системе, как таковой, ибо отображает победу буржуазного общества, которое представляется, как конечный этап исторического развития, где Абсолютный Дух познает самого себя, раскрывая свое содержание в гегелевской философии, как абсолютной истине.

Таким образом, здесь обнаруживается правильность одного из замечательных афоризмов *Гегеля*, по которому философия есть современная эпоха схваченная в мыслях.

Совершенно естественно, однако, что, и эта эпоха оказалась такой же конечной, как и другие. Противоречия капитализма, антагонизм классов и интересов были действительной материальной пружиной исторического развития Германии, что нашло свое выражение в распадении гегелевской школы. Но так как в истории наблюдается и преемственность в области идеологического развития, то эти противоречия нашли свое выражение в росте противоречий самой системы. В то время, как «правая» гегельянцев стала развивать ее консервативную сторону, и из гегелевского положения о разумности всего действительного сделала всестороннюю апологию (364) исторического свинства вполне в духе т. н. «исторической школы»,

«левая» подняла бунт, используя революционную сторону гегельянства, и, в первую голову, всю сокрушительность и всю ниспровергающую силу диалектического метода. Так, пройдя через стадию фейербаховского сенсуализма, антропологизма (365) и гуманизма, возник диалектический материализм *Маркса-Энгельса*; при этом в новую идеологию, выражавшую стремления и чаяния угнетенного класса, пролетариата, вышли многообразные моменты предыдущего развития, помимо немецкой философии: *Маркс* был основательнейшим знатоком материалистической философии, от греков (его первая работа была, как известно, посвящена *Эпикуру* и *Демокриту*) и до современных материалистических доктрин; великие английские материалисты – *Бэкон*, *Гоббз*, *Локк* – были ему знакомы также близко, как и французские *энциклопедисты*, а равно и *Спиноза*. Историзм получил здесь совершенно новую форму, и гений *Маркс* создал новые отправные точки развития философии, создав учение об общественно-историческом человеке, активно преобразующем внешний мир. Небесные категории были спущены на Землю. Философия поставлена с головы на ноги. Плотины, созданные Гегелем историческому развитию, прорваны. Абстракции на деле, а не на словах, стали конкретными, и были до конца поняты, как абстракции от действительности, вне их лежащей, как отображения действительности, а не как немощные самодвижущиеся сущности. *Маркс* разогнал весь великий маскарад самых высокопоставленных фигур буржуазной идеологии, навсегда поселив страх и трепет во всех салонах Абсолютного Духа, где его многочисленные маски танцуют свои мертвящие менуэты. В дальнейшем в эпоху *вырождения* буржуазной философии, марксизм продолжал развиваться на основе всей совокупности современного знания. *Энгельс* с его «диалектикой природы» и *Ленин* с его философскими работами внесли много нового, продолжая марксову традицию и обогащая философию марксизма, в известном смысле слова являющегося великим наследником гегелевой философии.

Глава XXXIV

О ДИАЛЕКТИКЕ ГЕГЕЛЯ
И ДИАЛЕКТИКЕ МАРКСА

После краткого обзора гегелевой системы в ее целом, уместно остановиться специально на *диалектике*. Диалектика, это не только метод мышления, но, в первую очередь, совокупность общих законов бытия (природы, истории, мышления). Диалектика, таким образом, есть и *онтология*.

Что касается ее специфического отличия, то оно заключается в противоречивости движения, в столкновении противоположных моментов и в их объединении. Раздвоение единого и единство противоположностей – *coincidentia oppositorum* – составляет суть диалектики, которая, поскольку мы говорим о диалектике, как науке, ведет свое начало еще от древне греческой философии (особенно *Гераклит*, *Аристотель* и т. д.; на пороге нового времени *Д. Бруно*; в новое время *Кант*, *Шеллинг*). В наиболее развитой форме диалектика дана, однако, именно у *Гегеля* и систематически изложена, прежде всего, в большой «Логике» (*Wissenschaft der Logik*). *Терминология*, перед которой не нужно смущаться, связана у *Гегеля*, разумеется, с идеалистическим характером его философии.

Общие контуры «Логики»: *обнаружение противоречия* состоит в том, что отрицается то определение мысли, которое только что утверждалось, или, как говорит *Гегель*, «полагалось». *Разрешение* противоречия есть *единство противоположностей*, т. е. вторичное отрицание, которое есть утверждение (тезис – антитезис – синтезис, т. н. «триада»). К утверждению приходят, следовательно, через два отрицания. Конечный результат делается исходным пунктом *нового* движения. Таким образом, мышление переходит от элементарных понятий – к сложным, от непосредственного – к опосредованному, от абстрактному – к конкретному. Этот ряд и есть *развитие*. *Ступени понятий* стоят друг к другу в таком же отношении, как в «Феноменологии» ступени сознания: каждая в зародыше содержит последующую; в каждой последующей заключается предыдущая («в снятом виде»); таким образом, говоря языком *Гегеля*, высшая ступень есть «истина» низшей и составляет предмет ее хотения, стремления (мистика идей!). Все так называемые «чистые понятия» суть понятия и мышления, и бытия, т. е. логика и онтология совпадают.

Смена ступеней есть *развитие*. Всякое развитие есть *саморазвитие*. «Логика» и дает картину развития идеи развития. Ее деление тоже трехчленно: она отвечает на вопросы: 1) что, 2) *вследствие чего*, 3) *для чего* в самой общей, наиболее абстрактной «чистой» форме. *Что* в наиболее абстрактной форме есть чистое, т. е. совершенно неопределенное *бытие* (и этому соответствует *учение о бытии*); *вследствие чего* – это есть *основание*, субстанция, *сущность* (и этому соответствует *учение о сущности*; *для чего* – есть *цель*, *самоосуществляющаяся идея*, *субъект*, или *самость* (и этому соответствует *учение о понятии*).

Таковы самые общие контуры гегелевской диалектики.

Нетрудно видеть уже здесь принципиальные ее пороки.

1. *Идеализм*. Основу составляет движение понятий, развитие от абстрактного к конкретному представляется не как «духовное воспроизводство конкретного» («geistige Reproduktion» *Маркса*), а как чудесное возникновение самого конкретного.
2. *Мистика*. Одна ступень переходит в другую, причем низшая фаза имеет «стремление», «хотение», превратиться высшую. Эти и аналогичные категории действуют в «Логике» тогда, когда дело идет о развитии вообще, о процессе изменении мира во всех его формах, начиная с неорганической природы.
3. *Телеология*. Целью всего развития, его имманентно движущей пружиной, является сама идея, самость, субъект. Тут идеализм, и мистика даны одновременно.
4. *Истиной* является не правильность отражения бытия человеческим сознанием, а высшая фаза по отношению к низшей.
5. *Односторонность* движения, связанная идеалистической телеологией. Дано лишь прогрессивное движение, тогда как процесс изменения может быть регрессивным (последнее, однако, исключается понятие божественной цели). Диалектическая противоположное движения от низших форм к высшим и от высших форм к низшим не схвачена, а, следовательно, не схвачено и их единство... *Идеализм* вступает здесь в прямой конфликт с *диалектикой*.

Гете в свое время писал: «Вот уже скоро двадцать лет, как все немцы пробавляются трансцендентными умозрениями. Когда они это однажды обнаружат, они покажутся себе большими чудаками» (*Гете*,

Соч. т. X) (366)*. Дело, однако, как мы знаем вовсе не в чудачестве, а в мощных социальных детерминантах, обусловивших соответствующие философские построения. Понадобилось формирование идеологии нового класса, чтобы сорвать «чудаческую» маску и вышелушить «рациональное зерно» из «мистической оболочки» (Маркс).

Маркс уничтожил вышеотмеченные пороки гегелевой диалектики и на свой, материалистический, лад развил эту диалектику. С этой точки зрения ее основа, *раздвоение единого объединение противоположностей*, есть один из самых общих законов всего бытия и мышления. Это есть реальный объективный закон универсального движения в его качественно различных формах. При этом речь идет не только – отнюдь только – о механическом движении: сюда относятся противоположно направленные механические силы, положительное и отрицательное электричество, и магнитная полярность, и отражаемые математикой положительные отрицательные величины вообще, и биологическое раздвоение на мужской и женский пол, и социальное раздвоение общества классы, и двуединство материи и духа и т. д. и т. п.

Материальное раздвоение и соответствующее движение отражаются в *теории*. Реальные законы диалектического движения природы, общества, мышления отражаются в мышлении о природе, об обществе и о самом мышлении. Поэтому диалектика очищается от всякой теологии, телеологии, мистики и связанных с этим нелепых односторонностей и односторонних нелепостей.

Гегель начинает свою «Логикку» с рассмотрения *бытия и ничто*. Бытие это «чистая неопределенность и пустота»*. Оно есть и *ничто*. В этом соотношении в зародыше дремлют все дальнейшие категории. Абстрактное бытие – пусто и поэтому ничто; однако оно и отлично от ничто, ибо указывает, что мышление есть, ничто же – голая отрицательность. Бытие – тезис. Его отрицание – ничто. Их единство – *становление*, в котором бытие и ничто обретаются «в снятом виде». Переход ничто в свою противоположность, бытие, есть *возникновение*. Переход бытия в ничто, как свою противоположность, есть *исчезновение*. Но возникновение само по себе есть также и исчезновение: исчезновение одного есть возникновение другого. Результат становления есть бытие *определенное*, т. е. не пустое и

* Johann Peter Eckermann. Gespräch mit Johann Wolfgang Goethe vom 12. März 1828. A.a.O. S. 667 ff.

* G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik I. A.a.O. Bd. 4. S. 88.

бессодержательное, а бытие с определенными свойствами: это суть *наличное бытие*, Dasein (Ленин переводит «существование»^{**}). Определенность наличного бытия есть *качество*^{***}. Здесь вся картина осложняется, и движение снова переходит на высшую ступень. Наличие *определенности* предполагает *другое*, от которого данная определенность отличается и тем самым *отграничивается*. Она, следовательно, заключает в себе момент небытия, т. е. *отрицания* этого другого, т. е. имеется два момента, бытия и небытия (omnis determinatio est negatio, всякое определение есть отрицание – говорил Спиноза). Эта противоречивость есть предпосылка всякого развития. Но, с Другой стороны, *нечто* и *иное*, другое, взаимосвязаны: *наличное бытие* предполагает свое *другое*; нечто не может быть *для себя*, и то же относится ко всякому нечто: каждое из них есть иное иного, Другое другого; всякое нечто ограничено другим и наоборот. Быть ограниченным, значит быть *конечным*.

Таким образом, качественно определенное бытие, *наличное бытие*, нечто, и отличается от другого, и соотносится к ним (бытие в себе, и бытие для другого), переходит в него. Оно есть иное и в то же время не иное. Единство *инобытия* и *неинобытия*, т. е. единство на более высокой ступени развития, когда речь идет о бытии, включающем определенность, качество, есть *становление иным*, или *изменение*, Нечто *всегда* находится в процессе изменения, а не переходит к изменению. «Нечто становится иным, но иное само есть нечто, следовательно, оно опять в свою очередь, становится иным и т. д. до *бесконечности*»^{*}. «Эта *бесконечность* есть дурная или *отрицательная*, бесконечность, так как она есть нечто иное как отрицание конечного, которое, однако, таким образом возникает опять, и, следовательно, вовсе не снято...»^{**} («Наука логики» (367)). Progressus in infinitum, бесконечный прогресс, здесь есть *неразрешенное* противоречие, тут налицо дуализм конечного и бесконечного, где две стороны распадаются, образуя непримиримые противоположности; бесконечное протипологается конечному и в нем, в конечном, имеет свою границу, то есть сама становится ограниченным. *Истинно* бесконечное имеет конечное не вне себя, а в себе. Здесь законченное, совершенное, наличное бытие, или *для себя бытие*. Понятие конечного, не имеющего конца, т. е. неразрешимого

^{**} W.I. Lenin: Konspekt zur Wissenschaft der Logik. LW. 38. S. 147.

^{***} G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik I. A.a.O. Bd. 4. S. 124.

^{*} G.W.F. Hegel: System der Philosophie I. A.a.O. Bd. 8. S. 222 (§ 93).

^{**} Ebenda, S. 222 (§ 94).

противоречия, иллюстрируется прямо линией, где конечный отрезок может продолжиться в обе стороны; понятие «истинной бесконечности» – окружностью круга, где налицо завершенность и законченность^{***}. Истинная бесконечность есть *снятие* конечности, подобно тому, как истинная вечность есть снятие временности. Конечное или реальное снимается в бесконечности и полагается *идеально* «Истина конечного есть скорее его идеальность». «Эта идеальность конечного есть *основное положение философии*, и поэтому всякая истинная философия есть *идеализм*. Все дело в том, чтоб не принимать за бесконечное то, что в своем определении сам тотчас же становится частным и конечным. Поэтому здесь нужно обратить более серьезное внимание на это различие. От него зависит основное понятие философии, понятие истинно бесконечности»⁵⁴.

Итак, понятие *наличного бытия* (Dasein) закончено. Иное включено в него и замкнуто. Здесь уже нет перехода в другое. Изменение снято. Качество снято. *Законченное* наличное бытие есть *для себя бытие, неизменное*, пребывающее, *вечно* остающееся одним и тем же бытием, единое и в то же время многоединых. Так *качество* переходит в *количество*.

Остановимся пока на вышеизложенном.

Прежде всего, о чем идет речь с самого начала? Об определениях мысли, о «чистых понятиях», у *Аристотеля* он были *предикатами* всего мыслимого. У *Канта* они считались формами всякого суждения. Эти *категории* у *Гегеля* выступают их самостоятельном самодвижении. Они у него – не предикат бытия, т. е. реального и, прежде всего, материального, бытия, т. е. действительного мира, который рассматривается с разных сторон. Наоборот, они выступают у него с самого начала, как самостоятельные понятия, из которых развивается все остальное. Абстрактнейшее понятие бытия берется исходным пунктом. Бытия, берется не как основной предикат мира (*мир существует*), а, наоборот, богатство мира и весь мир выводится из пустого бытия, которое есть ничто. Но *есть* всегда *что-то*. Бытия нельзя отодрать от того, что бытийствует. «Мистика идеи» (*Ленин*) заключается здесь в том, что предикат превращается в субъекта и гипостазирован. Тоже нужно сказать и о *ничто*. Однако вопреки *Гегелю*, из *ничто* никогда не может получиться *нечто*, и старая поговорка: *ex nihilo nihil fit* (368) остается совершенно правильной. С точки зрения «мистики идей» из голый отрицательности ничто и

^{***} G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik I. A.a.O. Bd. 4. S. 173.

⁵⁴ G.W.F. Hegel: System der Philosophie I. A.a.O. Bd. 8. S. 226 f. (§ 95).

пустого бытия получается движение мира. Но этот логический трюк не может быть принят, как составной момент *материалистической* диалектики. Значит ли это, что в гегелевском анализе бытия ничто и становление все чепуха и *только* «мистика идей»? Отнюдь нет. Если брать процесс изменения так, что рассматривать его только с точки зрения «нового», *безотносительно* к «старому», то *новое*, как новое, возникло впервые: его раньше не было вовсе, как *такового*. Как *таковое*, оно не существовало, т. е. было *ничто*. Однако это совершенно пустая абстракция, хотя она и уясняет одну сторону дела, возведенную неправомерно в исходный пункт. Корень ошибки лежит в превращении предиката бытия в субъект и извращенном соотношении между ними. Таким образом, здесь можно усмотреть истину, *если* брать проблему, как абстрактную *сторону* изменения *предметности*, а не беспредметное движение понятия. Реально возникновение и есть изменение. Это не две ступени, а одно и то же. Их можно разделять лишь в мыслительной абстракции, но если продукт этого искусственного разделения возводить в самостоятельные сущности, отрывая их при этом от предметного мира, то неизбежно получается «мистика идей».

Превосходно разъяснена на категории *наличного бытия* – универсальная связь вещей, переходы одно в другое, раздвоение единого и единство противоположностей, развитие, изменение. Но Движение от наличного бытия к бытию *для себя* включает момент конечной телеологической статики, под псевдонимом *«истинной бесконечности»*. Возникновение однотипных *качественно* вещей приводит к их *количественным* соотношениям. Однако, разве тем самым процесс изменения вообще приостанавливается? Здесь, под видом критики «дурной бесконечности» дается отрицание бесконечности процесса изменения. Символика прямой и круга чрезвычайно мало убедительна. Длина окружности конечная Величина. Завершенная бесконечность есть плоское, Противоречивое понятие, тогда как, наоборот, истинное понятие бесконечности и есть незавершаемость, то есть постоянное Воспроизводство противоречия, что в этом «дурного»? У *Гегеля* тут поиски Абсолюта, статики, древнегреческого «покоящегося, круглого как шар, самого себе равного»* и т. д. бытия во вкусе *Парменида (369)*, что он, впрочем, открыто и говорит. Это, в свою очередь, связано с понятием *цели*. «Цель» должна быть достигнута. Беспокойству должен быть конец – в «истинно бесконечном», которое есть *завершение*. Поэтому «истинная бесконечность» *выпрыгивает* из «дурной бесконечности» изменения,

* G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II. A.a.O. Bd. 18. S. 255.

пространства, времени и воплощается во вневременном и внепространственном «идеальном» бытии. Тут «идея» проделывает те же фокус-покусы, что и Абсолютный Дух, познавший самого себя, или он же в истории, остановившейся на прусской государственности. В этом – *ограниченности* гегелевской диалектики, ограниченность, тесно связанная *идеализмом* и *телеологией*. «Завершенность» борьбы буржуазии против феодализма и конституирование буржуазного общества, как конечного пункта мировой истории, духовно репродуцируется, как для себя бытие универсального значения. Но пойдём далее.

Качество, как мы видели, перешло в *количество*. Количество есть неопределенность величины, определенности количества есть *величина*. Так как между единым и единым ничего третьего нет, то здесь налицо и *непрерывность*, но так как любую величину можно делить, то налицо и *дискретность*, *прерывность*. Таким образом, величина есть единство прерывного и непрерывного, как противоположных *моментов* прерывное и непрерывное, следовательно, суть не различные виды величины, а именно «моменты», сопричастующие величине, как в их единстве. Непрерывность не есть сумма дискретных величин⁵⁵. Из непонимания этого последнего, т. е. непонимания двуединой природы величины, как единств противоположностей, проистекают доказательства невозможности движения и т. д. (Зеноновы афоризмы, Кантовы антиномии). Определенное количество, величина, отличается от других величин своей границей, как *определенное* соединение единых т. е. большим или меньшим количеством единиц. Следовательно, она должна быть понимаема, как *число*.

Увеличение и уменьшение могут быть продолжаемы *без* конца, и здесь налицо *дурная количественная бесконечность*. В данной связи Гегель цитирует стихотворение Галлера о вечности которым восхищался Кант, и которое вызывает де у него, Гегеля только «скуку».

„Ich häufe ungeheure Zahlen,
Gebürge Millionen auf,
Ich setze Zeit auf Zeit und Welt auf Welt zu Hauf,
Und wenn ich von der grausen Höh'
Mit Schwindeln wieder nach dir seh',
Ist alle Macht der Zahl, vermehrt zu tausendmalen,

⁵⁵ G.W.F. Hegel: System der Philosophie I. A.a.O. Bd. 8. S. 239 (§ 100).

Noch nicht ein Theil von dir.
 Ich zieh' sie ab, und du liegst ganz vor mir.^{с**}

Я накапливаю исполины-числа
 И горы миллионов,
 Нагромождаю времена на времена
 И на миры громадные миры.
 И вот, когда со страшной высоты
 Я снова на тебя смотрю, шатаюсь
 Вся мощь числа,
 Умножена тысячекратно,
 Не есть твоя хоть малая частица.
 Я сбрасываю числа, и ты вся лежишь передо
 мной (370).

Количественная «дурная бесконечность» возмущает его так же, как возмущала *качественная*, и нам остается повторить то же выражение. Не входя в подробное обсуждение вопроса, заметим лишь, что в высшей математике сами бесконечности бывают разного порядка, а в современной теории многообразия расширяется и понятие величины. Уже здесь, следовательно, намечается обратный переход количества в *качество*.

Двойной переход, от качества к количеству и от количества к качеству, приводит к единству этих понятий. Каждое *наличное бытие* есть такое единство противоположностей. Это единство их есть *мера* (но и бог есть мера и полагает всем вещам их меру и цель). Мера есть, следовательно, качественное количество и количественное качество. С количеством на определенной ступени развития меняется и качество, с изменением величины – свойство. Это и есть *переход количества в качество*. Всякое наличное бытие, как единство количества и качества, т. е. как мера, относится к другому наличному бытию, как к мере. Отсюда отношение между ними, как *отношение мер*. Переход количества в качество совершается так, что сначала количественные изменения не сопровождаются изменением качества, но в определенной точке количественных изменений наступает перерыв постепенности, *скачок*. Пункты таких скачков, таких переворотов, где количество внезапно переходит в качество, называются у *Гегеля узлами*. Линия, соединяющая узлы, – *узловую*

** G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik I. A.a.O. Bd. 4. S. 278.

Tatsächlich merkte Hegel dazu an: „Auch die hallersche, von Kant so genannte *schauerhafte Beschreibung der Ewigkeit* pflegt besonders bewundert zu werden, aber oft gerade nicht wegen derjenigen Seite, die das wahrhafte Verdienst derselben ausmacht.“ Ebenda.

линией отношений меры. Количество, качество, мера есть суть состояния, за которыми скрывается определенный субстрат: «... такие отношения определены только, как узлы одного и того же субстрата. Поэтому меры и возникающие вместе с ними! самостоятельные явления низводятся до степени состояний. Изменение есть лишь перемена состояния, и изменяющееся полагается, как остающееся при этом *тем же самым*»*.

Таким образом, здесь «снятие» всех этих категорий есть и «снятие» категории бытия и переход от бытия к сущности.

Нетрудно видеть, что в учении Гегеля о переходе количества в качество, о перерыве постепенности и скачкообразном характере развития, в учении о мере, узловой линии отношений меры и т. д. содержатся моменты громадного революционного значения. Подтверждаемые всем развитием теоретического естествознания и общественных наук (ср. хотя бы «критические точки» в физике и химии, теорию мутаций, учения о революциях в обществе), эти моменты наносят сокрушающие удары филистерской интерпретации «эволюции», как ее понимает огромное большинство буржуазных ученых. Вопреки этому прерывность и непрерывность, постепенность и скачок, эволюция и революция берутся здесь (т. е. на основании гегелевской трактовки вопроса) в их единстве, как моменты действительного движения. Разумеется, и в данном случае нужно «ставить на ноги» диалектику Гегеля, т. к. у него повсюду приведена идеалистическая точка зрения: но это уже *общий* глубочайший порок, о котором, впрочем, никогда не следует забывать.

Переходим теперь к вопросу о сущности, вопросу, составляющему центральную часть гегелевской «Логики».

«Истина бытия есть сущность»*. Мышление совершает переход к сущности путем размышления, или рефлексии. «Стремясь познать истину, именно что такое бытие *в себе и для себя*, знание не остается в сфере непосредственного и его определений, а проникает сквозь них, предполагая, что *позади* этого бытия есть нечто другое, как настоящее бытие... Это знание опосредованное, так как оно не находится непосредственно в сфере сущности, а начинается с другого бытия и должно пройти подготовительным путем, путем выхождения за бытие или скорее вхождения в него» (371)**. Отношение между сущностью и бытием, по Гегелю, таково, что первое есть существенное и истинное бытие, а второе – не существенное и не-истинное, *кажимость*

* Ebenda, S. 464.

* Ebenda, S. 481.

** Ebenda.

(Schein). Наличное бытие *обосновано* сущностью. Поэтому оно отнюдь *не простая* кажимость, а обоснованная, то есть *явление*. В свою очередь явление и сущность не разорванные величины в дуалистической манере, ибо сущность *выражает себя в явлении*. Таким образом «сущность сперва оказывается в себе самой, или есть *рефлексия*, во-вторых, она *является*, в-третьих, *раскрывается*. В своем движении она полагает себя в следующих определениях: 1) как простая, в себе сушая сущность в своих определениях внутри себя; 2) как выходящая в сферу наличного бытия, или в виде существования и *явления*; 3) как сущность, единая со своим явлением, т. е. как *действительность*»* (WdL). Так как в категории *сущности* «сняты» все категории *бытия*, то снято и *инобытие*, и сущность, будучи снятым инобытием, *тождественна* самой себе. Но тождество в данном случае не есть тождество формальной логики (т. е. абстрактное, рассудочное тождество), а *конкретное* тождество, включающее момент различия. Формальная логика выставляет закон тождества ($A=A$) и закон противоречия (A не может быть одновременно не- A). Это – пустые и формальные законы. Однако, они все же противоречивы, ибо содержат *различие* между субъектом и предикатом, т. е. содержат больше, чем хотят.

Различие развивается в трех формах: внешнее различие – *разность*; 2) внутреннее различие, когда нечто отличается от другого, как его другого, т. е. как *противоположности*; 3) различие от самого себя, т. е. *противоречие*, сущность которого состоит в *противоположности самому себе*.

В противоположности есть, вопреки формальной логике, *и* тождество, *и* различие: противоположности *тождественны*, ибо противоположными могут быть только однородные вещи (положит, и отриц. электричество, X миль пути на запад и X миль пути на восток и т. д.); они в то же время *различны*; они противоположны (т. е. относятся друг к другу, как положительное и отрицательное); но положительное и отрицательное *взаимосвязаны* и предполагают друг друга; можно положительное считать отрицательным и наоборот, – в этом отношении они *одинаковы*; но в то же время они *и различны*. Отсюда ясно, что каждая из двух сторон исследуемого отношения связана с другой, предполагает ее *бытие*, т. е. утверждает ее, «полагает» ее; и в то же время *отрицает* ее, треует ее *небытия*; она, следовательно, сама и положительная, и отрицательная, т. е. противоположна себе самой, т. е. *противоречива*. Формальная

* Ebenda, S. 484.

логика есть логика статическая, логика неподвижного, изолированного. Здесь все застыло, все тождественно с самим собой, и ничто себе не противоречит. В диалектической логике, наоборот, все – в Движении, «все течет», все противоречиво, все движется, как единство, раскрывающееся в противоположностях. «Der Widerspruch ist das Fortleitende»*** («Противоречие есть движущий принцип»). Речь идет не о *невозможном* противоречии (сухая вода, Деревянное железо), а о *необходимом*, диалектическом, противоречии, как единстве бытия и небытия, как принципе движения, становления, изменения, возникновения, гибели, развития и т. д.

Противоречие (т. е. противоположность самому себе) должно разрешаться. Единство распадается здесь на два противоположных определения, из которых одно полагает другое (это полагающее есть *основание*), другое положено первым (это есть обусловленное, или *следствие*). Основание и следствие и *тождественны* (ибо имеют одно и то же содержание), и *различны*, развиваясь в *противоположность*. Гегель различает: 1) *абсолютное* основание (основание вообще); 2) *определенное* основание и 3) *условие*. Следствие есть нечто *основанное*, не *опосредствованное*. Это опосредствованное, определенное и различное бытие есть существенная определенность, или *форма*. «К форме относится все определенное»⁵⁶. В *основе* лежит субстрат, *сущность*. Сущность есть нечто неопределенное, но способное к определенности. Но форма не есть колпак, надеваемый на материю. «Материя должна быть формируемой, а форма должна материализовываться»**; другими словами, деятельность формы есть в то же время движение самой материи. Это единство материи и формы, как противоположностей, есть *содержание*.

Единство всех условий и основания, т. е. совокупность все условий, вызывает *явление*. Это опосредствованно обоснованное наличное бытие есть *существование* (existentia Наличное бытие – непосредственное наличное бытие). Обоснованное наличное бытие есть существование, существовании, т. е. в явлении выступает и

*** Ebenda, S. 547. Diesen Gedanken entwickelt Hegel in der „Phänomenologie des Geistes“: Manche sehen in der „Verschiedenheit der philosophischen Systeme“ nur das Widersprechende, nicht die „fortschreitende Entwicklung der Wahrheit“. Der Widerspruch selbst, der „unterscheidende Begriff“, ist die „fortleitende Ausbreitung des Reichthums“ der philosophischen Idee. (G.W.F. Hegel: Phänomenologie des Geistes. A.a.O. Bd. 2. S. 12 ff.)

⁵⁶ G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik I. A.a.O. Bd. 4. S. 557.

** Ebenda, S. 562.

обнаруживается то, что было заключено в недрах условий и основания.

Таким образом, мы переходим к *явлению*. И предварительно несколько критических замечаний об уже изложенном.

В только что рассмотренной части «Логики» мистика идей, конечно, остается целиком и полностью. Так формула: «истина бытия есть сущность»^{***} знаменует собой извращение. Категория *истины* не может относиться к объективному, т. е. независимому о человеческого сознания, бытию: она может, как мы видели выражать лишь определенное *соотношение* между «копией» и «оригиналом». Совершенно нелепо считать, что одна сторона часть, фаза развития и т. д. объективной действительности более «истинна», чем другая. Наоборот, с точки зрения *процесс познания*, можно говорить о большей или меньшей истинности этого познания. Но так как у *Гегеля* категории мышления стоят на первом плане, и в то же время совпадают с категориями бытия, они и берутся, как определения этого последнего. Разные «миры», «истинные» и «не-истинные» суть лишь разные ступени познания, соответствующие познанию *менее* глубоких и *более* глубоких связей *единого* и *одного* мира, в его разных сторонах и многообразных *отношениях* (между своими, *независимо* от познающего субъекта, сторонами, частями, моментами и в *зависимости*, т. е. в соотношении с субъектом). С другой стороны, поскольку *Гегель*, в противоположность *Канту*, преодолевает дуализм, например, поскольку у него «кажимость» или «явление» есть нечто обоснованное, где *сущность* проявляется, и где утверждается *единство*, там это единство дается на чисто *идеалистической* основе духовного мира, который и есть истинный мир, царство мысли, являющийся в чувственно-предметном. Но если постоянно иметь в виду этот коренной порок, который выражается и во всей терминологии, то остается рациональное зерно: логически отображенная диалектика действительных вещей и процессов в их универсальной связи и в их противоречивом движении. Критика окостеневших законов формальной логики блестяща, и общие законы диалектики – единство противоположных моментов, раздвоение единого и переход противоположностей одна в другую, развиты в чрезвычайно убедительной и полновесной форме, с необычайной тонкостью и остротой.

Итак, переходим теперь к *явлению*, т. е. к обнаружению *сущности*.

^{***} Ebenda, S. 481.

Существование есть вещь. «Существование есть непосредственное единство рефлексии в себе и рефлексии в ином. Поэтому оно есть неопределенное множество существований, отраженных в себе и в то же время также отражающихся в ином, *относительных* и составляющих мир взаимной зависимости и бесконечной связи оснований и обоснованного*. Основания сами суть существования, и существования с различных сторон играют роль как оснований, так и обоснованного**».

Вне этой связи вещь, т. е. «вещь в себе», есть пустая абстракция. В действительности «вещь вообще выходит за свое простое в-себе-бытие», как абстрактное отношение в себе, и проявляется так же, как отражение в ином, приобретая таким образом *свойства****.

Как существенное единство, вещь есть основание; как существенное множество, многообразие, совокупность свойств и изменений, она есть *явление*. Основание есть *закон*, как нечто *постоянное*, и существенное содержание явления. «Царство законов есть *покоящееся* отражение существующего или являющегося мира»⁵⁷. Царство законов есть мир, существующий в себе и *для себя*, сверхчувствующий мир, в противоположность царству явлений; но одно есть *обратная сторона* другого: они не разорваны, как у *Канта*, на мир феноменов и мир неуменов, при чем последний трансцендентен. *Закон* есть единство или тождество в многообразии явлений; он есть единство во множестве, не числовое, а существенное. Это отношение есть *существенное* отношение, форма единства *сущности* и *явления*,; единства, которое есть еще более высокая категория, чем предыдущие, а именно *действительность*.

Существенные отношения выступают, прежде всего, в форме отношения *целого* и *частей*, где целое немислимо без частей, а части немислимы без целого. Противоречие целого части снимается в понимании единства, как отрицающего самостоятельность частей, «их отрицательного единства»**, как не механического агрегата, а *энергетического единства*. Отсюда понятие *силы*, как действительного начала, и ее обнаружения. Истинное соотношение между этим *внутренним* и *внешним* есть, однако, их тождество: они – моменты той же сущности: «внешность» сущности есть обнаружения

* G.W.F. Hegel: System der Philosophie I. A.a.O. Bd. 8. S. 288.

** Ebenda, S. 290.

*** Ebenda, S. 291.

⁵⁷ G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik I. A.a.O. Bd. 4. S. 628.

** Ebenda, S. 642.

того, что она есть в себе... Сущность есть обнаружение себя, так что эта сущность именно только в том и состоит, чтобы раскрыться. В этом тождестве явления с внутренностью, или сущностью, существенное отношение становится *действительностью*»^{***}.

Итак, у нас дано было такое *развитие* категорий: бытие, наличное бытие (определенное бытие), существование (обоснованное наличное бытие), явление (раскрывающее сущность), действительность (единство сущности и явления). Действительность есть в то же время действительность, деятельность *разум, абсолютное*. Отсюда – «все действительное разумно, и все разумное – действительно»^{****}.

Действительность распадается на *внутреннюю* и потенциальную действительность, или *возможность*, и *внешнюю* фактическую действительность. Формальная возможность (абстрактная возможность) это – возможность вне всяких условий, пустая возможность. От нее отлична *реальная* возможность, с различными случаями. Возможность состоит в возможности быть или не быть, быть так или иначе. Когда все противоположные возможности исключены, и совокупность условий осуществлена; появляется нечто, что, случившись, не может быть иным. В этом понятие *необходимости*, как *единства реальной возможности* и обусловлено самим собою, и в *этом* характер необходимости; и в то же время все опосредствовано. То, что обосновано *только* другим, случайно.

Необходимая сущность абсолютна. «Она одна самостоятельна и лежит в основе всех остальных вещей; это не просто субстрат, а *субстанция*. Все остальные вещи не необходимы, а случайны или имеют характер *акциденций*» (372)⁵⁸. Субстанция есть все; единичные вещи (а не части!) – ее обнаружение, проявление; она есть мощь. Понимаемая, как истинно-безусловная, она есть первопричина, а вещи уже не акциденции, а *действия*. Отношение причинности, есть, след., второе субстанциональное отношение. Поскольку носителями этого отношения являются конечные субстанции, цепь причин и действий впадает в бурную бесконечность. Разрешение противоречия – в категории *взаимодействия*, где причина и действие меняются местами: «прямолинейное движение от причин к действиям и от действий к причинам перегнулось и *вернулось к себе*»^{**}. Причина

*** Ebenda, S. 661.

**** G.W.F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts. Mit einem Vorwort von Eduard Gans. A.a.O. Stuttgart 1938. Bd. 7. S. 33.

⁵⁸ G.W.F. Hegel: System der Philosophie I. A.a.O. Bd. 8. S. 337 f. (§ 150 u. 151).

** G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik I. A.a.O. Bd. 4. S. 717 (курсив N.B.).

здесь осуществляет *себя*; следовательно, речь идет о *самоосуществлении*, и понятие *необходимости* переходит в понятие *свободы*, а понятие *субстанции* – в понятие *субъекта* (самости, понятия). «Таким образом, – истина необходимости есть свобода, и истина субстанции есть понятие»^{***}. Под понятием тут разумеется *самосознание*, или субъективность, создающая истинное, объективное мышление.

По поводу вышеизложенного, кроме *общего* соображения об идеалистичности все конструкции, каковое (соображение) остается действительным все время, следует заметить:

Во-первых. Неверна трактовка «закона» и «царства законов», как чего-то покоящегося. Эта концепция предполагает неизменный субстанциональный мир, в духе Парменида, где ничто не движется, и ничто не изменяется, все неподвижно. Между тем, как мы знаем, нет вообще ничего неподвижного, и закон охватывает подвижное и изменчивое. Закон, как отражение в голове, есть формула подвижного. Т. н. «вечные законы» вовсе не вечны. Сущность мира не есть кладбище мира. Эта сущность не есть никакой *особый* мир, а есть тот же мир, но в его наиболее общих и глубоких связях и отношениях. А эти связи и отношения *тоже* подвижны и относительны. Поиски абсолюта, который сам по себе неподвижен и подвижен лишь в явлении, есть, несмотря ни на какие антикантианские заклания, или *дуализм*, или совершенная непоследовательность. И в том, и в другом случае *идеализм* приходит в столкновение с *диалектикой*, которая насквозь Динамична. Если брать «мир в себе» (а не кантианскую вещь в себе), то есть если брать единство вещей и процессов независимо от субъекта, но в связях и опосредствованиях объективного порядка (объективного в материалистическом смысле), то этот мир и сложен, и разнообразен, и подвижен, и изменчив. Если далее брать самые общие и глубокие связи, например, диалектические законы, то они «неподвижны» в том смысле, что выражают всеобщую подвижность. Но было бы софистикой, а не диалектикой, делать отсюда вывод о неподвижности и покое.

Во-вторых. В учении о силе явно продолжается традиция древнегреческого идеализма, по которому само – по – себе неподвижное начало приводит все в движение («Энергетическое единство»). Это состоит в связи с тем, что сама *сила* здесь мистична, она есть духовное начало, аристотелева *энтелехия*, движущий энергетический принцип духовного порядка.

^{***} G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik II. A.a.O. Bd. 5. S. 6.

В-третьих. Именно поэтому «в действительности» (т. е. в гегелевской категории действительности) этот принцип перерастает в разум, в абсолютное, он здесь раскрывается и обнаруживается в своем разумном естестве.

В-четвертых. Переход от необходимости к свободе в трактовке Гегеля есть идеализм, телеология, телеология и мистика. Все развитие рассматривается, как реализация цели, как самореализация, и на сцене появляется субъект, самость, *самосознание*. Сама субстанция превращается в разумный субъект, достигающий здесь гораздо более высокой формы своего саморазвития. Вместо универсальной и всесторонней необходимости, которая выражает всеобщую космическую связь вещей и процессов, выплывает творящий дух, свободный в своем целеполагающем творчестве. Как ни утешительна кое-кому эта мистическая фантастика, но и она устарела во всех отношениях и должна быть отброшена.

Итак, под *понятием* у Гегеля разумеется субъективность которая «снимает» необходимость, раскрывая ее, познавая ее, тем самым, превращая в свободу. Следовательно, *завершение* субстанции уже *не есть* субстанция, а есть понятие, субъект. Но субъективность есть *основание* объективности. Развитие приводит от субъективности к объективности и к единству этих противоположностей, которое (единство) есть А (реализующаяся субъективность, самость; *субъект-объект*).

Понятие, как всеохватывающее единство, ее *всеобщность*, всеобщее понятие, производящее и *конкретное* (противоположность формально-логической абстрактной всеобщности). Как *определенность*, оно есть *особенное* род или вид. Но так как особенное есть, в свою очередь, всеобщее, то возникновение видовых отличий приводит к пункту, когда дальше движение уже невозможно. *Законченность* видовых отличий (отношению к родовым) или *индивидуализация* приводит индивидуализированному понятию, или *единичному* (d'Allgemeine, das Besondere, das Einzelne). То, что в *сущности* было тождеством, различием основанием, то в *понятии* выступает как всеобщее, особенное, единичное. Формами *развития* понятия является *суждение*, переходящее в своем движении в *умозаключение**. Суждение распадается на свои моменты, субъект и предикат; глагольная связка полагает их тождество. Суждение есть *категория*, т. е. необходимая форма не только мышления, но и *бытия*, и сущности *вещей*. Когда вещь раскрывает свои свойства, то она обнаруживает их, как субъект суждения, выделяющий свои

* Ebenda, S. 118.

предикаты; другими словами, вещь раскрывается в форме суждения. Всякая вещь есть понятие и, как таковая, развивающийся субъект. Гегель ставит далее вопрос о степенях суждений и различает суждения наличного бытия, рефлексии необходимости и понятия. Суждение переходит в *умозаключение*, которое есть *единство понятия и суждения*. Умозаключение есть разумно, а так как все разумное, то «*все есть умозаключение*»^{59*}. Так как умозаключение есть опосредствованное суждение, то различаются умозаключение наличного бытия, рефлексии и необходимости (умозаключение понятия уже находилось в наиболее развитом виде суждения, в т. н. аподиктическом (373) суждении).

Рассматривая суждение и умозаключение, Гегель развивает диалектику всеобщего, особенного и единичного, с которой мы встречались не раз в этой работе; и здесь налицо единство противоположностей, переходящих одна в другую, ибо единичное есть и всеобщее, а всеобщее и есть единичное.

Внутренне развитое, определенное, опосредствованное понятие перестает быть замкнутым в себе, оно выступает наружу и делается *объективным*. Объекты как являющиеся понятия, в своем *всеобщем* суть *всеединство* вселенная. Первая форма связи целокупностей – вещей есть внешняя связь агрегата, *механизм*, а соответствующая деятельность – *механический процесс*, или *детерминизм*. Когда единство перестает быть только внешним единством, а различия вещей действительно Уничтожаются и «нейтрализуют» друг друга, налицо – *химизм*. Универсальное единство не может быть ни механическим, ни химическим (не может объединять все объекты). Это есть нечто, стоящее над механизмом и химизмом, всепроникающее начало, *Цель*. Телеологическое отношение есть и *внешняя*, субъективная, конечная целесообразность, от которой необходимо отличать внутреннюю, *имманентную*, целесообразность.

Подчинение объекта субъективной цели есть *суждение*; Реализация цели – *умозаключение*; цель здесь есть одновременно и причина и цель, т. е. конечная причина; средством являются объекты: *средний* термин служит и *средством*. Отношение цели к объекту, как средству – первая посылка, средства к объекту, как материалу – вторая. Достигнутая цель становится, в свою очередь, средством и т. д., т. е. здесь снова «дурная бесконечность». Она снимается «*истинно-бесконечной*» целью, которая имеет средства в себе, а не внешне. Субъективность объективирует себя; единство

^{59*} Ebenda, S. 119.

субъективности и объективности есть *идея*. В механизме и химизме понятие – в *себе*, субъективной цели – *для себя*, в идее – в *себе* и *для себя* одновременно*. Абсолютные цели и достигнуты и требуют достижения. *Идея* есть *абсолютное единство противоположностей* (субъективности и объективности) *процесс*. В *сущности* единство было стимулом условия, обусловленного, причины и действия, начала и конца и т. д., тут же (конец начало, есть следствие – причина и т. д., следовательно единство в *идее* есть *абсолютное* единство, выходящее уже за рамки единства. *Самоцель* есть *душа*, целеустремленная энтелехия; она объективирует себя в средстве, которое есть *тело!* единство души и тела есть *живой индивидуум*. Объективности живого есть *организм*, который состоит не из частей, а из *членов* «живое умирает, потому что оно заключает в себе противоречие именно оно есть всеобщее в *себе*, род, и в то же время существует непосредственно лишь, как единичное»^{60*}.

Но «смерть единичной лишь непосредственной жизни ее *возникновение духа*»^{***}. Итак, *субъективность* есть дух, разум) самоцель, сознающая себя идея. *Объективность* – мир, тон, самоцель, тоже конечная цель, тоже идея. Следовательно, речь идет о субъективной и объективной идее. Единство этих противоположностей реализуется в *познании*, которое должно *снять односторонность* противоположностей. Односторонность *субъективной* идеи снимается путем *теоретической* деятельности, идеи, или через идею *истины*. Одностороннее *объективной* идеи снимается введением в мир и реализацией разумных целей духа, или через *практическую* деятельность (через идею *добра*).

Процесс конечного познания (теоретический процесс)? *аналитически* и *синтетически*. Из процесса конечного знания рождается идея *необходимости*. «В необходимости, как таковой само конечное знание покидает свое предположение и исходный пункт, именно *найденность* и данность своего содержания. Необходимость в себе есть понятие, относящее себя к себе. Таким образом, субъективная идея приходит к себе определенному в себе и для себя, к *не данному* и, следовательно, к *имманентному для субъекта*, так что переходит в идею *воли*»*.

* G.W.F. Hegel: System der Philosophie I. A.a.O. Bd. 8. S. 422 (§ 212).

^{60*} Ebenda, S. 433 (§ 221, Дополнение).

^{***} Ebenda, S. 433 f. (§ 222).

* Ebenda, S. 443 (§ 232).

Свобода является тут абсолютной целью, которая требует реализации в мире. Идея *добра* противостоит «ничтожеству объективности»^{**}. Но задачи мира входят в его действительность, долженствование – в бытие. Поэтому – в противоположность Канту, идея *добра* тождественна с идеей *истины*.

Это тождество теоретической и практической идеи и есть *абсолютная идея*. Содержанием абсолютной идеи служит система Логики, понятие развития, а ее формой – *диалектический метод*, как метод развития, противоречивого трехчленного развития. Содержанием служит именно *вся система*, а не «конечная станция». «Интерес заключается в целом процессе движения»^{***}. Теоретическая и практическая идеи, познание и воля, являются *мировыми* категориями, они входят в понятие действительности.

Таким образом, *логическая идея* завершилась *абсолютной* идеей, которая дальше, через природу, как свое инобытие, шествует к Абсолютному Духу...

Нетрудно, после всего вышесказанного, обнаружить «мистику идей» на каждом шагу в изложенной части «Логики» *Гегеля*. Трактовка действительных процессов, как суждения, умозаключения и фигур логики явно перевертывает реальные отношения и идеалистически их извращает. Но *Ленин* совершенно правильно предостерегал против того, чтобы эту мысль *Гегеля*, которой у последнего отведено столь почтенное место, рассматривать, как вздор. Эта мысль, если продумать ее глубже, во всем ее значении, устанавливает объективную *связь* между отношениями действительности и отношениями мышления, между объективными законами и законами логики, между формами бытия и формами мышления, между опытом и практикой – с одной стороны и теоретическим познанием – с другой. Эта мысль уже сама по себе является опровержением всего и всяческого *априоризма*, в котором субъект навязывает миру феноменов неизвестно откуда появившиеся априорные формы и категории. В *материалистической* интерпретации дело обстоит так, что Действительные связи вещей и процессов через *опыт и практику* общественного человека, отражаются в его теоретических Формулах. При этом такие соотношения, которые опытом и практикой подтверждаются бесчисленное количество раз и не знают исключений, откладываются в сознании общественного человека, как

^{**} Ebenda, S. 443 f. (§ 233).

^{***} Ebenda, S. 447 („Das Letzte ist die Einsicht, daß die ganze Entfaltung den Inhalt und das Interesse ausmacht.“ Ebenda, S.448).

аксиоматические категории, которые потом Идеалистические философы объявляют априорными. Гегель, между прочим, хорошо понимал *неравноценность* разных типов Умозаключения. В наше время, например, классический тип умозаключения, фигурировавший во всех старых и новых учебниках логики, выступает в особом свете. Мы говорим о силлогизме. Все люди смертны. Кай – человек. Следовательно, Кай смертен. Представьте себе, что появилось *новое*. «Как удалось добиться регенерации клеток, вопреки соображения Гегеля о роде, жизни, индивидууме и т. д. Первое положение смертности сохраняется: Кай еще никому ничего не говорил. Кай – человек, это остается. Но вывод неверен, и в то же время неверным *становится* и первое положение: оно внутренне размывается. Опытное происхождение здесь наглядно дано слово: «*все*»*.

Ничего мистического и таинственного нет, однако, в том, что целый ряд связей не знает исключений: они то и отлагаются в категориях «логической необходимости». С другой стороны, имели случай убедиться, как методы практического и опытного воздействия на природу, *согласно ее действительной природе* находят свое выражение в методах *познания* (анализ, синтез, дробление, разложение, трансформация вещества и т. д.). Но, разумеется, налицо у Гегеля мистическая *вульгаризация* эти соотношений (соотношений видов в «Философии Природы», как силлогизм, солнечная система и т. д. и т. п.), что прямо вытекает и своеобразной *логификации мира*.

Эта логификация наглядно выражена в соотношении между *субъективностью* и *объективностью*. Понятие, *субъект*, есть по Гегелю, *основание* объективности. Здесь ярко выражен приоритет духа. Этому соответствует и приоритет *цели* и *свободы* над *необходимостью*. В самом деле, ведь, понятие, или субъективность, которая есть развитие субстанции, ее завершение и в то же время ее основание, «снимает» необходимость, превращает ее в творческую «свободу». Дальнейшее движение объективности и единству в *идее* есть не что иное, реализующаяся субъективность; *идея* есть субъект-объект, определяющим началом является субъективность; поэтому

* „In dem beliebten vollkommenen Schlusse:

Alle Menschen sind sterblich,

Nun ist Cajus ein Mensch,

Ergo ist Cajus sterblich,

ist der Obersatz nur darum und insofern richtig, als der *Schlußsatz richtig* ist; wäre Cajus zufälligerweise nicht sterblich, so wäre der Obersatz nicht richtig. Der Satz, welcher Schlußsatz seyn sollte, muß schon unmittelbar für sich richtig seyn, weil der Obersatz sonst nicht Alle Einzelne befassen könnte; ehe der Obersatz als richtig gelten kann, ist *vorher* die Frage, ob nicht jene Schlußsatz selbst eine *Instanz* gegen ihn sey.“ G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik II. A.a.O. Bd. 5. S. 151.

этот субъект-объект и носит имя идеи. Универсальное единство мира коренится, согласно этому не в механическом единстве агрегата, не в химическом единстве, не в каком бы то ни было материальном единстве вообще с его необходимостью, а единстве *телеологическом*, в единстве *цели*, которая – всепроникающее и всеохватывающее начало.

Процесс *познания* является столь решающим, что лежит в основе объединения субъективной и объективной идеи: в сугубо извращенной форме глубоко скрыто рациональное зерно односторонности теории и практики взятых, «в себе» – тут развиты иногда поистине гениальные мысли, зернышки диалектического материализма и исторического материализма. Но одновременно «практика», совершенно в духе *Канта* и последующей этической болтовни, волоча законренелые традиции греческого идеализма, кульминирует в идее *добра*, которая мистически совпадает с идеей *истины*, тогда как практика, как реальная трансформация вещества, *предметная* практика, испаряется и исчезает подобно миражу в пустыне.

В диалектическом движении понятий, отображающих в идеалистической форме действительное движение, у *Гегеля* ценны в высокой степени идеи универсальной связи, движения, изменения, и формы этого движения, где раздвоение единого, вскрытие противоположностей и их переход одна в другую являются движущим принципом. В этом – великая революционная сторона, которая *ограничивается* и *душится* моментами идеализма и идеалистической концепции мира. Всякая форма понимается здесь в ее движении, т. е. возникновении, развитии, гибели, уничтожении, в ее противоречиях, снятии противоречий, возникновении новых форм, раскрытии новых противоречий, в особенностях и качествах новых форм, которые вновь и вновь подвергаются процессу изменения. В этом бесстрашии мысли, схватывающей объективную диалектику бытия, природы и истории огромная заслуга *Гегеля*. Основное диалектическое противоречие его собственной системы, отмеченное *Энгельсом*, и привело к распаду системы, породив новое историческое единство, на новой ступени исторического развития, в *диалектическом материализме Маркса*.

Новейшие критики марксизма выдвигают против материалистической диалектики целый ворох «доводов» и «аргументов», которых мы отчасти касались в других главах нашей работы. Самым общим «доводом» служит соображение, что перенос диалектики, взвращенной *Гегелем* в логической атмосфере идеализма,

в материалистическую «атмосферу» есть бессмыслица (Unding), как выражается *Вернер Зомбарт*. *Трёлч*, в связи с этим, объявляет Марксов материализм нематериализмом и т. д. Уже самая постановка вопроса о соотношении гегельянства и марксизма у буржуазных критиков марксизма приводит к забавнейшим противоречиям. Так, например, *Пленге* (Marx und Hegel) (374) утверждает, что «Маркс мог бы со всеми своими основными теоретическими положениями оставаться в гегелевской школе»* – настолько они *близки*. Наоборот, другой Herr Professor, *Карл Диль* (Über Sozialismus, Kommunismus und Anarchismus) говорит, что Маркс сохранил только известный способ диалектического словоупотребления» (gewisse Art dialektischer Redeweise)^{61*}. *Зомбарт* (Der proletarische Sozialismus) высказывает мнение, что здесь «две по существу различные теоретические концепции (Lehrmeinungen), которые имеют между собой ничего общего, кроме имени»^{***}. *Пленге* утверждает, что *Маркс* «пытался свой материализм включить в ряд прежних материалистических теорий»^{****}. *Трёлч*, наоборот, выдвигает положение, что марксизм есть лишь «крайний реализм эмпиризма на диалектической основе»*. *Зомбарт* противопоставляет эманатистской^{62*} закономерности *Гегеля* марксистскую как казуально-генетическую. *Трёлч*, наоборот, противопоставляет марксову диалектику, как *логику* движения, казуально-генетической логике позитивизма. *Иосток* (Der Ausgang des Kapitalismus) (375) успокаивается на решении этих противоречий, улизывая от вопроса и, со ссылкой на недостаточность теоретических познавательных высказываний *Маркса*, спускаясь в область истории и социологии.

Между тем, казалось бы, что все эти почтенные господа претендующие на знакомство с предметом, должны были бы воздержаться, хотя бы от плоской *антидиалектическое* постановки самого вопроса по типу *ili-ili*, где противоположные?? абсолютны и *не* переходят одна в другую. Между тем, истинно диалектическое понимание преемственности идей говорит, на основе действительного

* Johann Plenge: Marx und Hegel. Tübingen 1911. S. 18.

^{61*} Karl Diehl: Über Sozialismus, Kommunismus und Anarchismus. Fünfundzwanzig Vorlesungen. Jena 1922. S. 158.

^{***} Werner Sombart: Der proletarische Sozialismus („Marxismus“). Erster Band: Die Lehre. Jena 1924. S. 214 f.

^{****} Johann Plenge: A.a.O. S. 84.

* Ernst Troeltsch: A.a.O. S. 325.

^{62*} Werner Sombart: A.a.O. S. 215.

изучения предмета, о том, что механический материализм был антидиалектичен, гегелевская диалектика идеалистична, а Марксов синтез снял эти противоположности в высшем единстве диалектического материализма. Это предполагало критическую переработку механического материализма, и идеалистической диалектики, *Маркс*, таким образом, явился *критическим* наследником обеих философских концепций. Ставить же вопрос так, как ставят эти обе спорящие буржуазные стороны – верх наивной беспомощности и беспомощной наивности: это *детская* постановка вопроса (*логически* детская; другое дело «практическая» ценность для буржуазии; здесь своя проблема, ее рассмотрение отвлекло бы нас в сторону).

Аргумент от «атмосферы» легко опровергается и *фактически*, и *логически*. В самом деле, центр диалектики в понятии *развитие*. Именно поэтому даже такие интерпретаторы *Гегеля*, как *Кул Фишер* в своей «Истории новой философии», помещают Гегеля с его идеей *развития* в «духовную атмосферу» *Дарвина*, *Ляйел**** раннего *Канта*, Канта до-критического периода с его естественно-историческими работами и в первую очередь, с его «Историей теорией неба» (376). А скажите на милость, что в *этих* теоретических взглядах, составлявших *эпоху*, идеалистического? Наконец, нельзя никак пройти мимо *Гете*, который, несомненно, был *диалектиком* и в то же время питал прямое отвращение к теологически-телеологической, спекулятивной и абстрактной философии *Гегеля*, о которой он ничего не хотел знать. А «status» и «contractus» у Спенсера? А элементы диалектики у *Сен-Симона* («органические» и «критическое» эпохи)⁶³? Мы не говорим уже о таких вещах, как материалистические *элементы* в философии *Аристотеля*, у которого Гегель черпал премудрость полными горстями.

Конкретное возражение *Зомбарта*, опирающееся на общее соображение об «атмосфере», заключается, как мы уже отмечали в другом месте, в том, что марксисты школьнически, ученически смешивают *противоречие* с *противоположностью*. (Widerspruch u Gegensatz), эманатистскую логику противоречий *Гегеля* с эмпирическим сопоставлением реальных противоположностей у

*** Bucharin meint Lyells „Principles of geology“. Vgl. N. Bucharin: Theorie des Historischen Materialismus. 1922. S. 84.

⁶³ Siehe den Text von Schülern Saint-Simons „Die Saint-Simonistische Lehre. Allgemeine Zusammenfassung der 1829 und 1830 gegebenen Darstellung“. In: Joachim Höppner und Waltraud Seidel-Höppner: Von Babeuf bis Blanqui. Französischer Sozialismus und Kommunismus vor Marx. Bd. II. Texte. Leipzig 1975. S. 148-159.

Маркса, при чем перенесение одного на другое есть де нелепость и глупость. У *Гегеля*, на основе его метафизики, диалектика есть закон мышления и бытия, существенный элемент мира и исторического процесса... И т. д.

В этом возражении «существенным» является только его распоясанная развязность.

В самом деле.

Во-первых, *Гегель* в «Философии Природы» сам решительным образом противопоставляет *эманативную* точку зрения *эволюционной* и решительно отдает предпочтение второй, отвергая первую. Это нужно было бы, по крайней мере, *знать* мало-почтенному критику.

Во-вторых, противопоставление *Зомбартом* «противоположности», «противоречию», также обнаруживает ученическое *незнание* им основ диалектической логики *Гегеля*. Как мы видели уже из изложения «Wissenschaft der Logik» (377), *Гегель* само противоречие *выводит* из противоположностей, трактуя противоречие, как противоположность самому себе.

В-третьих, то соображение, что у *Гегеля* диалектика есть в то же время и *онтология*, целиком обращается против *Зомбарта*. Ибо это означает, что диалектика есть и закон *бытия*. Но она есть закон бытия и для марксизма. Материалистическая диалектика, однако, здесь более *последовательна*, так как она уничтожает ограниченность гегелевской диалектики.

В-четвертых. Развитие естественных и общественных наук убедительно показывает на конкретном материале, что диалектика в высокой степени «применима» к истории и природы, и общества. В главах, посвященных современной физике и биологии мы видели, что все основные философско-теоретические проблемы современного естествознания упираются в *диалектику*, и что *Энгельс* со своей «диалектикой природы» и *Ленин* дали большой толчок пониманию действительных связей и отношений природы и общества. Наоборот, там, где *Гегель* связывал диалектику по; рукам и ногам своим идеализмом, он оказался целиком *не прав* (атомистическая теория, теория света, теория цвета; теория эволюции видов, теория общественно-исторического развития с успокоением на буржуазном режиме и т. д. и т. п.).

В-пятых, Работы *Маркса*, теория исторической материализма, как приложение материалистической диалектики к истории, и теория капитализма, как ее приложение к политической экономии, оправдались целиком. «Капитал» весь построен на основах

материалистической диалектики, как блестящие! исторические работы *Маркса*. У него диалектические абстракции! не на словах, а на деле *конкретны*. И поэтому марксовы *прогнозы* целиком оправдались. История решила по-своему спор между гегелевской *идеалистической* диалектикой и *материалистической* диалектикой *Маркса*. Гегелева диалектика, в её идеалистической ограниченности, образумывающей и логифицирующей все иррациональное, успокоилась на буржуазном обществе и государстве. Она была *опрокинута* в этих своих последних выводах действительностью. *Марксова* диалектика, рационально познавшая иррациональную стихию капиталистического развития, была *подтверждена* действительным историческим процессом. И не кто иной, как г-н *Вернер Зомбарт* не раз был, с печалью на челе, вынужден признать, что основные предсказания *Маркса* исполнились. Можно ли требовать большего триумфа для материалистической диалектики?

Если единичный эксперимент или единичный практический акт есть момент проверки того или иного положения, то здесь, в великом всемирно-историческом процессе, мы имеем великое всемирно-историческое подтверждение марксовой *материалистической диалектики*.

В заключение нужно сказать, что в развитом коммунизме, его гармонической общественной структурой, чувство общности людей будет вне всяких фетишистских норм могучей силой. *Эта* перерастает в своеобразную *эстетику*, а «долг» превратится простой инстинкт, в прекрасный рефлекс нормального человека всякий будет спасать тонущего товарища, не колеблясь между «шкурничеством» (т. е. самосохранением) и «долгом»; никто будет «приносить жертву» ради ближнего, а будет просто прекрасно делать то, что говорит благородное и имманентно новому прекрасному человеку чувство великой общности коммунистических людей.

Глава XXXV

О ДИАЛЕКТИКЕ, КАК НАУКЕ, И О ДИАЛЕКТИКЕ, КАК ИСКУССТВЕ

«Многоопытным образованным государственным человеком... является тот, который... обладает практическим умом, то есть поступает согласно *всему*

объему подлежащего случая, а не согласно одной его стороне, находящейся свое выражение в одной максиме. Напротив, тот, кто во всех случаях действует согласно одной максиме, называется педантом и портит дело себе и другим» (378)*. Так определяет Гегель в «Истории философии» «многоопытного образованного государственного человека». Здесь речь идет, конечно, не о «сдаче позиций» (хотя в общем тексте Гегель и упоминает о «середине») и не о забвении *основной* «максимы» (хотя он и говорит против «одной максимы»), а об учете «всего объема подлежащего случая», то есть всей многосторонней *конкретной* ситуации, в которой действует «многоопытный и образованный государственный человек».

Нетрудно видеть в этом замечании Гегеля постановку вопроса о *диалектике*, как *искусстве*, практике, *действии*. Вопрос этот имеет первостепенное значение. Ведь, недаром *Энгельс* говорил о марксизме, что он не догма, а руководство к действию**. Это выражение нельзя понимать *дубово*, т. е. так, будто бы *Энгельс* отрицает марксизм, как теорию. Это выражение означает, что марксизм не есть мертвая, кабинетная, схоластическая, далеко от жизни стоящая, застывшая и окостеневшая система, а живое учение, живая теория-процесс, развивающаяся и функционирующая, как орудие *борьбы*, практики, той великой практики, которая преобразует мир. Никто не может оспорить великого богатства марксистской теории: ее содержание огромно. Но именно потому, что она, эта теория, есть великая теория, она в состоянии оплодотворять и великую практику. Здесь мы ставим вопрос о материалистической диалектике и как о *теории*, и как об *искусстве*.

В общей постановке о диалектике мы уже говорили в специальной главе. Здесь о ней речь будет идти в данной особой связи, так как тут имеется, несомненно, некоторая проблема.

Как часто ни цитировалось известное определение *Ленина*, мы приводим его здесь еще раз. Речь идет об «элементах Диалектики», перечисляемых *Лениным*. Они суть:

- 1) *объективность* рассмотрения (не примеры, не отступления, а вещь сама в себе);
- 2) вся совокупность многообразных *отношений* этой вещи к другим;

* G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I. A.a.O. Bd. 18. S. 7 (курсив N.B.).

** W.I. Lenin: Über einige Besonderheiten der historischen Entwicklung des Marxismus. LW. Bd. 17. S. 23.

- 3) *развитие* этой вещи (resp. явления), ее собственно движение, ее собственная жизнь;
- 4) внутренне-противоречивые *тенденции* (и стороны) в этой вещи;
- 5) вещь (явление etc.), как *сумма и единство противоположностей*;
- 6) *борьба*, respective развертывание этих противоположностей, противоречивых стремлений etc.;
- 7) соединение анализа и синтеза, – разборка отдельных частей и совокупность, суммирование этих частей вместе;
- 8) отношения каждой вещи (явления, etc.) не только многообразны, но всеобщы, универсальны. Каждая вещь (явление, процесс etc.) связана с *каждой*;
- 9) не только единство противоположностей, но *переход каждого определения, качества, черты, стороны, свойства каждое другое* (в свою противоположность?);
- 10) бесконечный процесс раскрытия *новых* сторон отношений etc.;
- 11) бесконечный процесс углубления познания человеку вещи, явлений, процессов и т. д. от явлений к сущности и от менее глубокой к более глубокой сущности;
- 12) от существования к казуальности и от одной форм связи и взаимозависимости к другой, более глубокой, более общей;
- 13) повторение в высшей стадии известных черт, свойств etc.; и знаний и
- 14) возврат якобы к старому (отрицание отрицания);
- 15) борьба содержания с формой и обратно. Сбрасывание формы, переделка содержания;
- 16) переход количества в качество и *vice versa*» (379)*.

Владимир Ильич самую диалектику понял диалектически. После того, как он из данного целого выделил аналитически различные его стороны и условно разъединил это целое, взяв эти стороны, как изолированные величины, он затем синтезировал эту аналитическую работу и схватил эти определения в одном единстве:

Вкратце диалектику можно определить, как учение о единстве противоположностей. Этим будет схвачено «я» диалектики. (Философские Тетрады⁶⁴).

* W.I. Lenin: Konspekt zur „Wissenschaft der Logik“. A. a. O. Bd. 38. S. 212 ff.

⁶⁴ Ebenda, S. 214.

Диалектическая гибкость мышления, или, лучше сказать гибкость диалектического мышления, позволит адекватно отображать *объективную действительность*. Но марксистский объективизм, как это было прекрасно выяснено *Лениным* в полемике против *Струве*, шире и глубже буржуазного объективизма (поскольку последний существовал вообще, в качестве идеологической однодневки). Так как он диалектичен, понимает все *историческое* в движении, в становлении; схватывает «исчезающие моменты», переходы в свою противоположность, противоречивые тенденции и т. д., то он видит не *только прошлое*, но, вскрывая закономерности движения, заглядывает и в *будущее*; история показывает ему, выражаясь едкими словами *Маркса*, не только свое a posteriori, как она проделывала это с так называемой «исторической школой», с ее апологетикой рутины, традиции, старины. Таким образом, марксистский объективизм ухватывает и «жало движения», поэтому он «действительнее», «объективнее» обычного рассудочного объективизма.

Диалектика, это – наука, объективно отражающая объективную диалектику бытия, онтологическую диалектику. Онтологическая диалектика охватывает все, в том числе и процессы мышления. И когда мы ставим вопрос о диалектике, как *искусстве*, не ставим ли мы *нелепого* вопроса: не предъявляем ли мы физиологии задачи «указывать», как нам нужно переваривать пищу?

Мышление можно рассматривать и как процесс (нервно-физиологический и, в его инобытии, как собственно мышления, психологический), и с точки зрения его логического состава, т. е. адекватности понятий, как отражений, своему отражаемому, т. е. объекту. *Первое* – проходит всегда диалектично, как и любой процесс Универсума. Но это не значит, что *логический состав* этого процесса схватывает диалектику действительности, и верно отображает. Иначе не было бы вообще неправильного познания, не было бы заблуждений, не было бы извращений, не было бы ограниченных форм рассудочного, однобокого и одностороннего мышления. Но таковое есть факт. Я могу заниматься метафизикой с серьезной верой в черта и бога, но течение соответствующих ассоциаций и нервно-физиологический коррелятивный процесс этого будет развиваться диалектически. Связь объективных процессов бытия и их «инобытийной», психологической стороны *отлична* от связи логических *понятий* в их соотношении с сражаемым. Поэтому диалектика *может* указывать, как нужно мыслить (ибо мышление по своему логическому составу может быть и не диалектично); физиология же не учит, как физиологически нужно переваривать, ибо

процесс переваривания всегда физиологичен, и тут нет никакой проблемы. Диалектика, следовательно, является и *методом* мышления, исследования. И здесь есть момент *нормы*, момент *искусства*.

Но как совершается переход к *практике*?

Когда речь идет о технологических процессах, о практике производства или научного эксперимента, то здесь ведь упрощается, так как берутся изолированные так или иначе процессы. Теория дает объективные связи. Технология переводит их с языка необходимости на телеологический язык правил, норм (переход к действию). Правила непосредственно руководят расстановкой веществ и сил, согласно цели, координируя все к этой цели, антиципируемой как результат процесса. Если вся действия проделаны, а результата не появилось, прогноз на оправдался, цель не достигнута, это значит, что практика была «ошибочной», потому что теоретический расчет был неверен практика проверила теорию и ее отвергла. И, наоборот, в случае соответствующего результата – «все в порядке».

В *общественно-политической* практике дело обстоит много труднее. Здесь речь идет не об искусственно-изолированном процессе (как в производстве, как в научном эксперименте), а о многообразном и крайне сложном целом, о чрезвычайно запутанных отношениях, совершенно не поддающихся математически-числовому выражению, ибо на каждом шагу здесь встречаются новые и новые *качества*. Общество состоит из сложнейших отношений между обобществленными индивидуумами, которые сами представляют собою самый сложный продукт природы, и это все необычайно быстро течет и изменяется. Кроме того, *субъект* здесь – коллективный субъект (класс), который сам многосложен, сам имеет специфическую структуру (слои класса, класс, партия, вожди и т. д.). Далее, этот субъект сам слагающий каждого события: его действия все время объективируются: мысли превращается в действие, действие застывает в срок, становящийся составным моментом новой констелляции, тотчас же переходящей в другое. Бесконечное множество противоречия групп, оттенков, царство конкретного в гигантском многообразии быстротекучести. *Гегель* замечает в одном месте: история настолько конкретна, что никогда правительства и народы ничему из истории не научились, ибо условия их действия были всегда своеобразны*.

* Hegel schreibt: „Was die Erfahrung aber und die Geschichte lehren, ist dieses, daß Völker und Regierungen niemals etwas aus der Geschichte gelernt und nach Lehren, die aus derselben zu ziehen gewesen wären, gehandelt haben. Jede Zeit hat so eigenthümliche Umstände, ist ein so individueller

И Ильич соглашался с этим замечанием** (трактовка – полная противоположность фразе об «уроках истории»; нужно, однако, брать и это положение, как относительное, *cum grano sili* без увлечения!). Действовать *правильно*, т. е. *успешно*, можно лишь «согласно всему объему предлежащего случая», т. е. согласно специфически конкретной конъюнктуре (*полосе* – что нормативно соответствует *стратегии*, конъюнктуре в узком смысле, что нормативно соответствует *тактике*). Но опосредствуется переход к этому действию «согласно всему объему» и т. д.?

Прежде всего, нужно знать, понимать этот «весь объем». Для этого нужно *уметь мыслить* диалектически, т. е. не только понимать диалектическое учение, но и уметь его *применять* в процессе познания. Здесь само мышление рассматривается не только как объективный процесс, необходимо обусловленный, а и *телеологический*, с точки зрения его эффективности, как *искусство* мыслить диалектически. Теоретически понятая действительность может быть понята здесь правильно лишь *на диалектической* основе. Если в условиях производства и эксперимента сами эти *условия* дают больший простор рассудочному; ординарному мышлению, ибо в этих условиях *уже* содержится упрощение, то здесь нет ничего подобного, и диалектическое понимание, *только* оно может привести к правильному результату мышления. Но вот получено правильное отображение конъюнктуры, «всего объема прележащего случая. Получить *такое* отображение – дело великого искусства диалектики, как искусства мыслить: мастерские, поистине гениальные анализы *Ленина* (и целой эпохи, например, в «Развитии капитализма», в «Империализме» и т. д. и отдельных, часто глубоко драматических конъюнктур, например, «Кризис назрел») (381) это – шедевры *научного* творчества, непревзойдимые по своей диалектической глубине и по острой динамической структуре, которая выводит данную констелляцию в будущее. И здесь же диалектический переход к *тактике*, т. е. к системе норм, согласно полученному «анализу», т. е., в конце концов, согласно действительной конъюнктуре; следовательно, переход к системе *действий* (разнообразных; агитационных, пропагандистских, организационных, непосредственно-боевых), и на основе этих установок, при выборе момента («согласно» и т. д.) переход к самим действиям в их целесообразной последовательности. При этом, однако, не нужно

Zustand, daß in ihm aus ihm selbst entschieden werden muß, und allein entschieden werden kann.“

** Lenin merkt an: „Sehr klug!“ W.I.Lenin: Konspekt zu Hegels Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. A.a.O. S. 297 f.

думать, что все идет лишь одно за другим: действие развивается, но мышление не перестает работать; вступают все время новые факторы, конъюнктура все время меняется, вторгаются осложнения, переломы, неожиданные моменты, т. н. «случайности»; все действия самого революционного субъекта объективируются – необходим *мыслительный учет «на ходу»*, холодный анализ новых и меняющихся объективных связей, переложение выводов на тактический язык и превращение всего этого в страстную Живность борьбы.

Следовательно, *тактика* и тактическое *действие* являются согласными со всем объемом подлежащего случая.

Здесь есть *искусство действия* (вспомним «о восстании, как искусстве» (382)* у *Ленина*, развившего гениальные положения *Маркса* на этот счет). Здесь налицо *разумное* действие, а разумность его заключается в том, что оно связано, слито с *разумным*, т. е. диалектическим, пониманием всей обстановки: диалектическое бытие, диалектическое мышление, диалектическое действие связаны друг с другом и в этой связи представляют единство процесса общественного изменения, т. е. общественно-политического, в данном случае революционного, преобразования общества.

Здесь следует остановиться опять-таки на проблеме, аналогичной той, которую мы решили при рассмотрении! мышления. Всякий исторический процесс и цепь действий диалектичен, как таковой, как часть бытия и становления общества, являющейся в свою очередь, частью природы, хотя и ее диалектической противоположностью. Но это не означает, что всякое действие соответствует диалектическому мышлению, диалектическому по своему логическому составу. Можно, как мы видели, мыслить ограниченно и формально; на основе этих ограниченных отображений действительности, т. е. однобоких, т. е. ошибочных, строить тактику и соответственно действовать. Тогда ошибки, «политические ошибки», будут совершенно неизбежны: они со всей силой *необходимости* будут вытекать из ошибочных установок, даже при благоприятной политической конъюнктуре, при неблагоприятной могут загубить все. Таким образом, когда мы говорим здесь о диалектическом *действии*, о диалектике, как практическом искусстве, как материальной практике, мы говорим о такой политике («научной политике»), которая *слита диалектическим мышлением*. Ведь, в действительности есть не абстракция действия: действие «в себе» вообще не существуете,

* W.I. Lenin: Marxismus und Aufstand. A.a.O. Bd. 26. S. 4.

существуют действующие люди; но эти действующие люди в то же время суть мыслящие *люди*, это есть некая целокупность. Поэтому, реальное действие неотделимо от своих целей: оно есть целевое разумное действие. *Единство* этого разумного начала, объединяющего все разрозненные моменты, есть единство *руководства*, поскольку речь идет о коллективном действии больших масс. Диалектический материализм в применении к обществу есть исторический материализм *Маркса*. Он – не догма, а руководство к действию потому, что дает основу для *научной политики* пролетарских партий, партий коммунистического переворота, большевиков⁶⁵.

Вышесказанным довольно легко, и притом *по существу* решается и вопрос относительно «диалектики в металлургии» («диалектики в кузнечном деле» и в пришивании пуговиц. Здесь адептов диалектики антидиалектическое понимание самой диалектики. Ведь, диалектика не уничтожает и не зачеркивает так называемой формальной логики и рассудочного мышления. В «снятом виде» формальная логика соприсутствует в логике диалектической. Высшая математика отнюдь не отменяет алгебры, алгебра не отменяет арифметики. В обыденно-житейском формальная логика применима весьма широко: на стол и табуретку, нож и вилку вполне можно смотреть, как на «застывшие» *вещи*, а не как на «процессы», и достаточно брать их «в связи» со своим телом и едой, не приплетая сюда «универсальных связей» и переходов одного в другое. В производстве, в технологических процессах, как мы недавно отмечали, *уже* дана известная изоляция, упрощение условий, сосредоточение на «единичном», вырывание одного или нескольких конечных процессов из всей связи бытия: поэтому смешно *здесь* зачеркивать формальную логику и диалектически философствовать над пуговицей или стальной болванкой. Другое дело, когда мы переходим ко «всеобщему», к абстрактно-конкретному: там это *воплне* уместно, и неуместной становится рассудочная, формальная логика. Наши суждения в таких вопросах и о таких проблемах должны быть сами диалектически-конкретны и *соответствовать предмету*, что пред-полагает истинное понимание диалектики, а не ее огульное «применение» как «универсальной отмычки», против чего с полным правом протестовал *Фридрих Энгельс*.

⁶⁵ W.I. Lenin: Über einige Besonderheiten der historischen Entwicklung des Marxismus. LW. Bd. 17. S. 23.

Из этого, конечно, не вытекает, что мы выключаем производство из объектов диалектического рассмотрения: ведь, мы во всей работе систематически *включаем* производство, технику, технологические процессы в сферу философии, диалектики, теории познания. Но не трудно понять всю разницу: когда нам нужно пришить пуговицу, то проблема сводится к соотношению между курткой, иглой, пуговицей, а не к универсальной связи Космоса. Когда «Метафизик» в известной басне попал в яму, ему кинули веревку, а он рассуждал: «веревка – вервие простое», он *мешал себе* вылезать из ямы, ибо проблема заключалась вовсе не в том, где и что такое субстанция веревки, и что такое веревка «в себе», а в том, чтоб, ухватившись за веревку, вылезти из ямы*. Но «Человек» – по выражению *Гегеля* в «Философии Природы» – как всеобщее, мыслящее животное живет в гораздо более широком кругу и обращает *все предметы* в свою неорганическую природу (т. е. в объекты практического овладения. *Авт.*), а равно и в объекты своего знания**. Потенциально он *вбирает* весь мир. Вот этот процесс расширения и углубления и практики, и познания на определенной ступени развития и в определенных, более общих, или т. н. «более высоких» проблемах вступает в конфликт с формальной логикой и рассудочным мышлением, и *тут* необходима *диалектика*. Когда мы судим о практике и о теории и их взаимоотношениях, о практике вообще, о производстве и смене его форм, об истории техники и технологии и т. д. и т. п. здесь *нельзя* обойтись без диалектики. Чем шире и чем глубже проблема, тем настоятельнее потребность в ее диалектической обработке. Чем сложнее действие, тем настоятельнее потребность в диалектическом искусстве, т. е. в

* Diese Geschichte ist der Fabel La Fontaines nachempfunden: „Der Astrolog, der in den Brunnen fiel“, gewidmet all den „Horoskopenstellern“ und „Alchimisten“, die vorgeben, im „Schicksalsbuche“ lesen zu können, aber jämmerlich ertrinken, weil sie sich in der Stunde der Gefahr selbst nicht zu helfen wissen, haben sie doch den Blick für das verloren, „was vor den Füßen“ liegt.

„Des Grüblers, der ertrank, kehrt ich nun wieder um.

Als seiner Lügenkunst Abbild stellt er sich dar
Und aller derer auch, die jagen nach Schimären,
Indes sie selber in Gefahr
Und ihre Sachen sich verkehren.“

Das gleiche Motiv klingt auch in der Fabel La Fontaines vom „Kind und dem Schulmeister“ an, wo er zeigt, wie tatkräftige Hilfe zum Überleben durch pädagogisches Geschwafel arg behindert wird.

„Was auch geschieht, sie wollen immerdar
Nur ihre Redekunst entfalten.
Erst, lieber Freund! zieh mich aus der Gefahr,
Dann magst du deine Rede halten.“

(Jean de La Fontaine: Die Fabeln. Stuttgart 2002. S. 54 f. und S. 37 f.)

** Vgl. G.W.F. Hegel: System der Philosophie II. A.a.O. Bd. 9. (§ 363-365).

действию, направляемом диалектическим мышлением. В области *политического* действия это блестяще подтверждается на плодотворнейшей теории и практике великих основоположников коммунизма и продолжателей их дела. Так решается вопрос о *теоретической* диалектике и диалектике *нормативной*.

Глава XXXVI

О НАУКЕ И ФИЛОСОФИИ

Старый *Аристотель* говорил о науке и философии: «Все: другие науки, пожалуй, более необходимы, чем философия, но ни одна не является более превосходной, чем философия» (383)*. Нам пора здесь уже поставить вопрос о *соотношении* между наукой и философией.

Маркс и *Энгельс* вели, как всем ведомо, бешенную борьбу; против «пьяной спекуляции», против игры гегелевского саморазвивающегося понятия, против превращения реального мира в мир абстракций, против того культа мышления, когда это мышление (в «системе», разумеется) пожрало мир, и также хорошо! известно, что *Маркс* и *Энгельс* не только «сохранили» гегелевскую! диалектику, превратив ее в *материалистическую* диалектику, но и вели ожесточенную борьбу с «грубым эмпиризмом» английского типа, с беззаботностью огромного большинства ученых на предмет мышления, измывались над «ползучими эмпириками»**, «индуктивными ослами»*** и т. д. и т. п. В то же время они горой защищают опытную науку, и у них не было ни грана того высокомерия к «букашкам, мошкам, таракашкам», к собиранию материала, его классификации, расширению даже мелких и мельчайших знаний, высокомерия, какое мы очень часто видим у *Гегеля*, и при том иногда в весьма резкой форме.

Эта позиция наших учителей в высокой степени оправдана. Отрыв от опыта и опытных данных, от практики, эксперимента реального соприкосновения с действительностью, всевозможных форм исторически накопленного и конденсированного опыта, т. е. т. н. «чистое умозрение», неизбежно ведущее к идеализму (по *Гегелю*: «основательное умозрение» = «идеализм» =

* G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I. A.a.O. Bd. 18. S. 317.

** Vgl. F. Engels: Dialektik der Natur. MEW. Bd. 20. S. 345 f.; MEGA², I/26. S. 162 f.

*** Имеется в виду Ньютон. Vgl. F. Engels: Dialektik der Natur. Notizen und Fragmente. MEW. Bd. 20. S. 476.; MEGA², I/26. S. 347.

противоположность «плохонькому локкианству»), есть бледная идеологическая немочь человечества*. С другой стороны, отказ от широкой и глубокой сводки, обобщения, мыслительной обработки опытных данных, от «*всеобщего*», есть ограниченность специализированного кустаря – крохоборческого ремесленника науки. И то, и другое есть антидиалектическая односторонность, которая должна быть преодолена и которая преодолевается марксовым *диалектическим материализмом*.

Этот подход позволяет правильно поставить и правильно решить проблему соотношений между наукой и *философией*.

Даже *Гегель*, для которого «природа есть *идея* в форме инобытия**», и «отчужденная от идеи природа... лишь труп»*** (Философия Природы), не может отрицать, что «мы начинаем с чувственного восприятия, собираем сведения о разнообразных формах и законах природы»^{66***} (384) (Философия Природы). Однако, здесь коренятся и все т. н. «априорные формы», категории и прочие жупелы идеалистической философии, как об этом мы уже говорили. Опосредствованное знание не есть холостой ход мышления, а обработка *эмпирических* данных, но *исторический* и *общественный* процесс познания, т. е. познания, субъектами которого являются обобществленные и исторически определенные индивиды, где историчен и объект, и формы связи с субъектом, – этот процесс, как мы знаем, отрывается от *практики* – во-первых, разделяется на *отдельные науки* – во-вторых, причем эти науки дробятся все более и более, а, в силу общественной структуры, отдельные их ветви обособляются настолько, что между ними теряется подчас всякая связь. Таким образом, рассудочное начало (в противоположность разумному) здесь воплощается уже в самих отношениях. *Философия* всегда стремилась преодолеть эту растущую ограниченность, свести воедино всю сумму знаний, ориентируясь на «*всеобщее*». Но здесь была та беда, что сами-то мыслители, как *ideologische Stände* представляли собою тоже лишь обособившуюся ветвь деятельности, приобретшую характер «чистой» мыслительной функции: поэтому задача такого синтеза им и оказывалась не по плечу. Греки, за некоторыми исключениями, были большей частью оторваны от современной и экспериментальной науки (слабо развитой) и зачатков инженерии, а производительный труд ремесленников, крестьян и

* G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I. A.a.O. Bd. 18. S. 299.

** G.W.F. Hegel: System der Philosophie II. Bd. 9. S. 49 (§ 247).

*** Ebenda, S. 50 (§ 247, Дополнение).

^{66***} Ebenda, S. 33.

рабов ими презирался. С естественными науками, и науками своего времени вообще, лучше всех из греков был знаком *Аристотель*, энциклопедический гений – оттого он дал больше всех и Философии. В новое время ему эквивалентен только *Гегель*, великий энциклопедический ум XIX века; но он в естественных науках был все же позади *Канта*, а от материального производства, техники и технологии был, разумеется, далек на тысячи километров. Идеалистическая философия в лице различных кантианских ее ветвей в последнее время была ориентирована по линии этической болтовни высокого стиля, а, с другой стороны, философствующие физики были ближе к математике с ее символикой, чем к материальному труду с его преодолением реальных сопротивлений материи. Между тем, потребность в синтезе отнюдь не пропадает, а при плановом хозяйстве социализма, где сам план есть синтез, и все общество есть организованное единство, единство наук есть нечто, прямо вытекающее из «духа времени».

Рассмотрим, однако, проблему несколько более подробно и внимательно. Когда речь идет о диалектическом мышлении, то мы видим, как движется это мышление от первого конкретного через анализ отдельных сторон и выделение общего, а затем восходит через синтез ко второму конкретному. В развитии человеческого познания происходит в исторически-гигантском масштабе тот же процесс: мир в отдельных дисциплинах и в их подразделениях – больших, малых, совсем крохотных – познается с разных сторон, в своих *различных* и до известной степени противопоставленных друг другу формах; эти формы имеют свои специфические качества, свойства, закономерности. Но кто или что возьмет их в соотношении с другим? Кто будет анализировать их переходы из одного в другое? А эти «пограничные» вопросы прямо стучатся в двери (физика и химия, химия и биология, физическая химия и химическая физика, «химия живого вещества» и т. д.) Правда, есть дисциплины довольно общего характера (например, теоретическая физика вообще) и соответствующие ученые, но они почти никогда не знают биологии, не говоря уже об общественных науках, как социология, или таких, как языковедение, или таких, как история. Между тем, вопросы об общих закономерностях бытия, о типах связей, о единстве мира, о переходах одних форм в другие, о соотношении объекта и субъекта и т. д. становятся теперь особенно жгучими и прямо выпирают из любой специализированной отрасли. Теперь уже ученому никак нельзя удержаться на позиции, будто все это – «метафизика»: они стоят в упор. Раньше в значительной мере специалисты от «чистой

философии» (большей частью действительно метафизики), оторванные и от материального труда, и от эмпирической науки, снисходили до лобызания с наукой, создавая иногда чудовищные вещи типа т. н. «натурфилософии» (что, разумеется, не исключает отдельных гениальных догадок, даже у *Шеллинга*). Теперь сама наука уже не может обойтись без решения ряда общих вопросов и проблем – таковы «высшие» проблемы современной физики, химии, биологии, математики и т. д. и т. п. Как можно решать контрверзу (385) между виталистами и дарвинистами (386), механо-ламаркистами (387) и психо-ламаркистами (388) в *биологии*; проблемы закономерностей макро- и микроструктуры, дискретного и непрерывного и т. д. в *физике*; проблему истории и теории, идеографии (389) и номографии (390) в *общественных науках*, проблему «физического» и «психического» – в *физиологии и психологии* и целый ряд других проблем, важнейших с точки зрения развития самой *науки*, без разработки более *широких* и *общих* вопросов, то есть вопросов *философии*? Здесь речь идет вовсе не о том, что наряду с рядоположностью сосуществующих специальных наук, различающихся по своему объекту, должна в этот ряд уложиться еще одна наука, взятая тоже изолированно, то есть в *себе*. Так в значительной мере обстояло дело с философией раньше, хотя и не в абсолютном смысле слова, ибо обособление различных функций никогда не было – и не могло быть – абсолютным: здесь никогда не нужно забывать об относительности соответствующих утверждений. Но теперь, когда вся историческая эпоха идет к величайшим синтезам (идет через борьбу, распада прежних обществ, катастрофы, идеологические кризисы, но все же *идет*) с особой настойчивостью необходимо выдвигать идею *синтеза* всего *теоретического* знания и еще более грандиозного синтеза *теории* и *практики*.

Что это означает для философии?

У *Гегеля* в одном месте есть замечательная формулировка: «эмпирическое, взятое в его синтезе, есть спекулятивное понятие»* (курсив Гегеля. История философии, II). Не забудем, что «спекулятивное» здесь означает «диалектическое», не будем бояться слова, зная его значение в данном случае. Вот именно! Речь идет о том, чтобы синтезируя познание, эмпирическое познание отдельных сторон и форм бытия, синтезировать их в одно стройное целое, двинуться ко всеобщему, к Универсуму, с его универсальными связями, отношениями, законами. Но это и значит двинуться к

* G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I. A.a.O. Bd. 18. S. 341.

философии, ее современной и высшей форме, к философии *диалектического материализма*. Она не отдельная наука «в себе». Она вскрывает и формулирует самые *общие*, Универсальные и глубокие законы и связи, и при том в них соотношении с *особенным* и *единичным*. Она «в снятом виде» включает все науки, как свои «моменты», а не стоит над ними, как прикрывающий их внешний колпак, внешняя форма. Более того, если материалистическая диалектика становится методом всех наук, т. е. если создается их методологическое единство, то внутри каждой науки, в любом ее подразделении появляются аналогичные соотношения, идущие, так сказать, книзу. *Между* науками установится тоже своя связь и свои переходы, соответствующие тем связям и переходам, которые есть в реальном битии. Диалектика проникнет тогда, фигурально выражаясь, в весь организм науки, что, несомненно, крайне поднимет ее жизненный тонус. А объединение ее с *практикой* раз навсегда излечит от идеалистического фантазирования, вырастающего на почве отрыва мыслительных функций и замыкания их «в себе», при вышелушивании из процесса мышления его конкретного жизненного содержания.

В одном месте у *Гегеля* признается (или проговаривается?):

Мы именно стремимся познать природу, которая действительно существует, а не нечто несуществующее. Но вместо того чтобы оставлять ее такой, какова она есть, и брать ее такой, какова она поистине, вместо того чтобы воспринимать ее, мы превращаем природу в нечто совершенно другое. Мысля предметы, мы тем самым превращаем их в нечто всеобщее; вещи же в действительности единичны, *или* вообще не существуют* (Философия Природы, II) (391).

Браво! Но только здесь везде вместо «мы» нужно поставить «мы, идеалистические философы». Для *материалистической* диалектики, которая не думает заменять царя зверей его родовым понятием, «идеей», считать природу за труп, а за ее «истину» – «идею», для материалистической диалектики такая ламентация (392) категорически излишня.

Естествоиспытатели часто боятся философии, как «метафизики». Но в «Диалектике Природы» *Энгельс* блестяще сформулировал мысль, что такие храбрецы оказываются обычно в плену *отбросов*

* G.W.F. Hegel: System der Philosophie II. A.a.O. Bd. 9. S. 39 (курсив N.B.).

философской мысли⁶⁷, ибо от проблем и вопросов, разрешаемых философией, отмахнуться нельзя: это – страусова политика, считать, что их не существует, это – *testimonium paupertatis*, свидетельство об интеллектуальной бедности, отнюдь не делающее чести его владельцам. В частности, многие пугаются мистики *Гегеля*, забывая, что не *эта* сторона у него важна. Конечно, когда какой-нибудь материалистически мыслящий ботаник или агрохимик прочтет в «Философии Природы» такую, например, сентенцию (393):

Это сохранение зерна в земле есть... мистическое, магическое действие, указывающее, что в нем есть тайные силы, которые еще дремлют, поистине оно есть еще нечто сверх ~~того~~, оно является в своем наличном бытии. (394)^{68*},

то у неё зашевелятся волосы на голове. Весь этот мистический сор мусор, конечно, нужно отметать. Но в *законах диалектик* материалистически интерпретируемых, нет ни атома этой мистики. Здесь у *Гегеля* в перевернутой и извращенной форме дано реальное содержание, универсальные законы бытия. Недаром *Гете* писал:

...наблюдатели природы, как бы разны они вообще не мыслили, безусловно сойдутся в том, что все, являющееся нам, представляющееся в виде феноменов, должно обнаружить либо первоначальное раздвоение, способное к раздвоению, либо первоначальное единство, которое может стать раздвоением...^{69**}

А, ведь, это и есть то самое единство противоположностей» (395), которое по справедливому определению *Ленина*, и есть суть диалектики!

Что же составляет собственный предмет диалектики? *Все*. И в *то же* время: 1) общие законы бытия, 2) общие законы мышления, 3) общие законы соотношения между субъектом и объектом. Это и значит, что диалектика, логика и теория познания совпадают. Но, повторяем, диалектика материализма охватывает и *все*. Ибо ее всеобщее не есть формально-логическое всеобщее, не пустая абстракция, а клубок, из которого можно разматывать *конкретное* содержание. Здесь «в снятом виде» все науки. Общие закономерности

⁶⁷ Бухарин имеет в виду, очевидно, оценку Энгельсом влияния Людвига Бюхнера, „dem Dogmatiker des plattesten Abspüllicht des deutschen Aufklärichts, dem der Geist und die Bewegung der großen französischen Materialisten abhanden gekommen ist.“ F. Engels: Dialektik der Natur. MEW. Bd. 20. A.a.O. S. 472.; MEGA², I/26. S. 345.

^{68*} G.W.F. Hegel: System der Philosophie II. A.a.O. Bd. 9. S. 529 (§ 346a, Дополнение).

^{69**} Johann Wolfgang Goethe: Zur Farbenlehre. A.a.O. Bd. 23/1. S. 239 (§ 739).

переходят в особенные, специфические закономерности, множатся; особенные закономерности охватывают единичное. Все связано воедино, но единое многообразно и многогранно. И в то же время это не иерархия неподвижных «ценностей», не лестница окостенелых высших и низших величин, а такое многообразие, где одно переходит в другое, вечно-движущееся и меняющееся многообразие, вечное превращение, исчезновение и рождение, появление нового, гибель старого, *исторический* процесс. И величайшей заслугой *Гегеля* было и остается то, что он сделал грандиозную попытку представить весь естественный, исторический и духовный мир в виде *процесса*. Эта заслуга, о которой с признательностью говорит *Энгельс*, останется за великим идеалистическим философом навсегда.

Глава XXXVII ОБ ЭВОЛЮЦИИ

Таким образом, положительным центром всей концепции *Гегеля* является трактовка всего, как *процесса*. Это воззрение проложило себе пути в многообразнейших областях, как тенденция к всеобщему *историзму*. У *Канта* уже была налицо саморазвивающаяся исторически материя («Всеобщая естественная история и теория неба»). *Ламарк* и позже *Дарвин* – в биологии (термин «биология» введен впервые почти одновременно *Ламарком* и немцем *Тревиранусом*), а также (до *Дарвина*) *Гете*; *Ляйелль* – в геологии; «историческая школа» (396) – в общественных науках и т. д., – все эти течения выражали новый ДУХ времени» и логически были противоположны сухому рационализму «просветителей». Социальный генезис здесь был довольно-многосложен, и самое значение «историзирования» выступало в различных, часто противоположных вариантах: от консервативной и гнусной аполегетики «исторической школы» до освобождающего значения дарвинизма.

Здесь, однако, мы хотим, не вдаваясь ни в какие описания истории развития соответствующих идей, остановиться на некоторых центральных проблемах, существенных для понимания *марксова* историзма и *марксовой* идеи «развития», «законов движения».

В «Философии Природы» мы читаем:

Существуют два понимания хода превращения одних форм в другие: *эволюционной* и *эманационное*. Эволюционное понимание, согласно которому начальным звеном является несовершенное, бесформенное, представляет себе дело так, что сначала существовали влажные и водные существа, из водных произошли затем растения, полипы, моллюски, а затем – рыбы; после этого возникли земные животные, а затем из них произошел человек... Представление об эманативном ходе изменения характеризует восточные воззрения. Это – ступени последовательного ухудшения. Начальной ступенью является совершенство, абсолютная целостность, бог.

Потом идут все менее совершенные создания и, наконец, материя, как «вершина зла»*. (397) Гегель считает оба понимания односторонними, но предпочитает эволюционный ход превращения одних форм в другие», хотя и не разделяет этого понимания, так как у него виды не переходят один в другой, вопреки «духу» диалектики.

Для нас, однако, неприемлимы обе эти диалектические противоположности, а равно и их единство. Неприемлимы они потому, что их движение разыгрывается в извращенной идеологической плоскости, в плоскости *телеологии*. В самом деле, *эволюция* здесь берется как антитеза *эманации*. В *эманации* бог, доброе начало, разум диалектически переходит в зло, грех, материю. В *эволюции* (в данной трактовке!), наоборот, движение и «превращение форм» начинается с обратного конца, как восхождение от злого, несовершенного, бесформенного – к доброму, все более совершенному, к аристотелевым «формам», к духу, к разуму, к богу. Всякий синтез *этих* (иллюзорных, метафизических, фальшивых) противоположностей будет оставаться в той же плоскости телеологического идеализма, который является потенцированным извращением, ибо здесь идеализм «помножается» на телеологию. Такого рода *мистика*, какая была, например, еще у *Парацельса*^{70*}, у которого значилось столько элементов вещества, сколько насчитывалось главных *добродетелей* (!) проявлялась неоднократно и позднее. Так, например, у швейцарского натуралиста *Шарля Бонне* (Charles Bonnet, 1720–1793: «Traite d'Insectologie» и «Contemplation de la nature») (398) построена целая «лестница существ» (échelle des êtres), где все расположено в восходящем порядке, и где за человеком следуют чины ангельские и архангельские и бог***. И недаром язвительный Вольтер, издеваясь над этим и утверждая, что здесь

* G.W.F. Hegel: System der Philosophie II. A.a.O. Bd. 9. S. 60 f. (§ 249, Дополнение).

^{70*} Vgl. Anm. XXX im Kapitel 15.

налицо «идея более возвышенная, чем правильная» («*idée plus sublimé que vrai*»), не без ехидства замечал, что она воспроизводит *иерархию католической церкви*, т. е. феодальную иерархию (хитрая умница видел кое-что!). *Эволюции и эманации* в применении к *обществу* (мы все время говорим о гегелевской трактовке этих понятий) соответствовало представление о *райском* состоянии, безгреховном и блаженном, изначального человека, который впал в «грех» (здесь движение идет от «рая», «золотого века», добра, святости и блаженства к греху, проклятому существованию, злу и страданиям, что соответствует *эманационной* концепции) – это с одной стороны; с другой – представление о движении к «царству божию на земле», к «*Civitas Dei*», к золотому веку *впереди*, что нашло свое выражение в различных эсхатологических и хилиастических концепциях, а затем в идее «вечного совершенствования», разумного прогресса по плану божию – это соответствовало эволюционной концепции).

Разумеется, *такая* трактовка «эволюции», не говоря уже об эманации, должна быть нами отвергнута а *limine*: мы уже разделились и с теологией, и с телеологией, и подробно говорить об этом не имеет ровно никакого смысла.

Остановимся теперь на антитезе, выдвинутой в известном фрагменте *Ленина*: «К вопросу о диалектике». *Ленин* говорит здесь о том, что существуют две концепции развития: *первая* кладет во главу угла процесс *уменьшения или увеличения*, т. е. принцип голого количественного изменения; *вторая* – процесс *раздвоения единого*. При первой – остается в тени самодвижение, вся концепция бледна, суха, нежизненна. При второй – налицо самодвижение, скачки, перерывы постепенности, превращение в противоположное, уничтожение старого, возникновение нового⁷¹. Здесь таким образом вопрос о телеологии вообще отмечается заранее (и с полным правом), и выставляется антитеза *Рассудочно-количественного* взгляда и взгляда *диалектического*.

Еще у *Аристотеля* мы находим основные моменты *диалектического изменения* – недаром *Энгельс* связывал Диалектику с именем этого великого греческого мыслителя (идея *превращения* играла очень большую роль в философии *Индии*, но рассмотрение этого завело бы нас слишком далеко; вообще же мы должны заметить, что *вся* трактовка *Гегелем* философии *Индии, Китая* и т. д., как небо

*** Ср. Об этом статью Бухарина «Дарвинизм и марксизм» (1932). – Н. Бухарин. Избранные труды. Л., 1988, с. 95.

⁷¹ Vgl. W.I. Lenin: Zur Frage der Dialektik. A.a.O. Bd. 38. S. 339.

от земли, далека от истины и воплощает лишь гордыню европейского, бело-рассового провинциализма и незнакомства с предметом, что, впрочем, не должно нас удивлять). У *Аристотеля* изменение предполагает переход противоположностей, одной в другую, и «снятие» их в единстве. У него есть, далее, четыре главных категории изменения: 1) со стороны «*что*» (возникновение и гибель определенной сущности; 2) со стороны *качества* (изменение свойств); 3) со стороны *количества* (увеличение и уменьшение); 4) со стороны «где», т. е. со стороны *места* (движение в пространстве)*. «Само изменение есть переход от того, что существует в возможности, к тому, что существует в действительности»^{72*} (*Аристотель* «*Метафизика*»), т. е., другими словами, *становления*. Таким образом, концепция *Аристотеля* много богаче чисто количественных концепций, которым было суждено впоследствии сыграть столь большую роль и в науке и в философии: здесь то и сказывается все преимущество *диалектики*, хотя бы даже и в неразвитой ее форме.

Вопрос о только количественно-рассудочном или о диалектическом понимании процесса изменения включает и вопрос об антитезе *постепенности и скачка*, прерывности и непрерывности, вопрос, который играл и играет такую большую роль, в особенности в *общественных науках*. Обычное понимания эволюции исключает скачки, и консервативный пафос «*исторической школы*» именно и выражался в постепенности, как законе природы, всего мира (ср. гораздо раньше *Лейбница*) Нужно сказать, что и геология *Ляйелля* развивалась, как антитеза *Кювье* («*Теория катастроф*»), и в биологии постепенность и «медленные изменения» составляли основу основ. В *общественных науках* эволюция поэтому трактовалась, как противоположность революции, *исключающая* эту последнюю илг объявляющая ее «*противоестественной*» (точно категория «*противоестественного*» могла бы здесь помочь!). Но гегелева диалектика потому и могла в своем рациональном виде стать *алгеброй революции*^{***}, что она показала диалектический переход количества в качество, непрерывного в прерывное, постепенного изменения в скачок, и дала их диалектическое *единство*. В «*Науке Логике*» *Гегель* писал:

Говорят: что нет скачков в природе, – обычно представление воображает, ... что, когда речь идет возникновении или гибели, то дело

* Vgl. G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II. A.a.O. Bd. 18. S. 324.

^{72*} Ebenda.

^{***} Ср. прим. XXX глава, 33.

понято, если представить се это, ~~как~~ *постепенно* развитие (Hervorgehen) или исчезновения. Однако выяснилось, что изменение бытия заключается вообще не только в переходе одной величины в другую, но также и в переходе от качественного в количественное и наоборот, возникновении другого, иного; *перерыве постепенности* качественно ином по сравнению с преходящим, предыдущим бытием(399)*.

Таким образом, *диалектическая* трактовка развития включает и постепенность, и скачки в их переходе друг в друга и в их единстве. Реальный *исторический процесс* и в природе, и в обществе, предполагает и то и другое, и еще *Сен-Симон* делил эпохи на «органические» и «критические»^{73*}. Разве история земли, геологическая история, не знает катастроф, оледенений, землетрясений, «потопов», провалов суши, исчезновения воды и т. д.? Разве звездные миры не знают падений планет и звезд друг на друга? Разве общество не знает гибели целых цивилизаций? Разве оно не знает войн и революций? Да, наконец, присмотримся к дарвиновой теории естественного подбора: разве она, несмотря на постепенность эволюции, исключает скачки? Возьмем появление приспособительного признака, конкретной особенности, которую «подхватывает» подбор. Она появляется «случайно»: дарвинова закономерность есть закономерность *отбора*, необходимость, включающая «случайность». Но как происходит это появление признака? Как *мутация*, т. е. скачок. Далее, сам процесс отбора включает борьбу. Но когда идет, например, война между муравьями, и один муравейник истребляет другой, это не скачок? И т. д. до бесконечности..

Осознание и теоретическое обобщение этих фактов заставляет нас трактовать процесс изменения, как *диалектический* процесс, т. е. и как процесс, объединяющий в высшем единстве прерывное и непрерывное, количество и качество, постепенность и скачок. *Развитие* в марксистском понимании *не есть* буржуазная «чистая эволюция»: это понятие шире, полнокровнее, богаче, *истиннее*, ибо оно больше соответствует объективной действительности, неизмеримо вернее *отражает* эту действительность.

Процесс эволюции вовсе, как мы видели много раньше, *не однозначен*: он включает и движение «вперед», и «регресс», и

* G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik I. A.a.O. Bd. 4. S. 460 (курсив N.B.).

^{73*} Ср. прим. XXX глава 34.

движение по кругу, и по спирали, и застойные периоды, и гибель. *Движение мира в целом есть движение «равнодушное» к «благу», как это ни прискорбно господам идеалистам, верующим, жаждущим сверхестественного утешения и ободрения. Единство мира состоит не в единстве его «цели», не в едином «мироправстве» его премудрого творца» (Гегель), а во взаимосвязанности всех его моментов, в его материальности. Развивающей бесконечное многообразие своих свойств, в том числе и мышления, которое ставит цели. Жизнеощущение, интерес и прочее положены в самой жизни и ее необходимостях, а не за пределами природы и жизни. Punctum.*

Отсюда вытекает и ограниченность *позитивистской* доктрины о непрерывном *прогессе*. Когда, например, *Огюст Конт* в своей «Социологии» распинается о всеобщем прогрессе, который продолжается без перерыва через все царство живого, начиная от простых растений и самых низших животных «и до человека», социальная эволюция» которого образует в действительности только «его заключительное звено», то тут правда перемешана с грубейшим упрощением^{74*}. Человек действительно звено в природной эволюционной цепи. Общественное развитие действительно есть момент общего развития, как и все органическое развитие есть момент исторического процесса природы. *Но* представление о *непрерывности* прогресса ложно. Представление о *всеобщем* прогрессе ложно. *Конт* не видит ни перерывов, ни гибели, ни *нисходящей* линии развития. Это односторонняя точка зрения. С другой стороны, из положения *Маркса* о том, что действительное движение знает и спираль, и круг, и регресс, и остановку – нельзя делать скептического вывода по отношению к настоящему: здесь вопрос именно в *конкретно-исторических* условиях общественного развития (мы говорим в данном случае об обществе): все – за то, что теперь *победит социализм*, и снимет путы с прогресса, которые наложил на движение вперед гниющий капитализм; вся специфичность обстановки *исключает* возврат к исходным позициям, и суждения по аналогии с Римом, Грецией и т. д. (ср. *Шпенглер*) бесплодны, поверхностны, убоги и неверны. Диалектика превращения неумеренных поклонников бога прогресса и мрачных пессимистов сама коренится в безнадежном положении не человечества, а *капитализма*. That is the question (400).

* Auguste Comte: Die Soziologie. A.a.O. S. 501.

^{74*} Ebenda, S. 137.

Гипотезы о тенденции ко *всеобщей мировой статике* (см. например, *Петцольда*: «Картина мира с точки зрения позитивизма» (401)) суть только гипотезы, против которых можно выставить тысячу и один аргумент, и всерьез брать ни коим образом не приходится. Это – *не* всеобщая правильная «картина мира», ибо она раскрывает контр, тенденции, она одностороння и потому неприемлема.

Таким образом, *весь мир* понимается, как *исторический процесс* изменения, превращения его многообразных форм. *Неорганическая* природа уже сама по себе многообразна и; развивает многочисленные, переходящие друг в друга, качества и свойства. Она *исторически* «порождает» *органическую* природу, относительно которой *Эрнст Геккель* в «*Natürliche Schöpfungsgeschichte*» (402) писал, так характеризуя основные свои взгляды: «единство действующих причин в органической и. неорганической природе; последнее основание этих причин в химических и физических свойствах материи; отсутствие особой жизненной силы или какой-нибудь органической конечной причины (т. е. энтелехии, *Авт.*); происхождение всех организмов от немногих, в высокой степени простых исходных форм или первичных существ, которые возникли из неорганических веществ путем первичного самозарождения; связанное течение всей истории земли и отсутствие насильственных и новых переворотов и вообще немыслимость всякого чуда, всякого сверхъестественного вмешательства в естественный ход развития материи» (403). Как понимать *диалектически* единство закономерностей, и как *диалектически* понимать «основания», мы знаем, – у *Геккеля* здесь нет всей полноты и точности диалектического мышления. Но основное здесь верно. Идем далее: органический мир превращается в своем «последнем» земном звене в мыслящего человека, стадо которого становится *обществом*. Общество и есть антагонист, и *часть* природы, отнюдь не вырванная из общей природной связи. Оно «соподчинена» единой природной *необходимости*, оно развивается, как и все в мире, *диалектически*, в нем законы физики, химии, биологии, физиологии суть законы связи, *но* в трансформированном, снятом, виде оно имеет и свои специфические законы, которые суть «момент» в универсальной связи природы и являются специфическим проявлением *необходимости**. Таковы законы общественного развития. (О

* Ernst Haeckel: *Natürliche Schöpfungsgeschichte*. Gemeinverständliche wiss. Vorträge über die Entwicklungslehre im Allgemeinen und diejenige von Darwin, Goethe und Lamarck im Beson-

диалектике необходимости и телеологии было выше). Весь мир – в историческом изменении, и прав был старый *Гераклит* со своим известным изречением: «Все течет».

В заключение нельзя не напомнить еще раз о *В. Зомбарте* («Der proletarische Sozialismus», Во – 1), который утверждает, будто бы понятие диалектики в марксовской теории развития бессмысленно, ибо у Гегеля речь идет о противоречии и эманации, а у Маркса – о реальной противоположности, у Гегеля – о контрадикторном, а у Маркса – о, конктеррном, что якобы марксисты «ученически» смешивают («schülerhafte Verwechslung»). Как мы уже говорили, единственно правильно здесь одно лишь утверждение, что у Гегеля – движение понятий, а у Маркса – реальное движение. Все остальное – поистине ученическая чепуха. Во-1) Гегель – против эманативной трактовки; во-2) у Гегеля есть и противоречие, и противоположность; в-3) в диалектике Гегеля противоречие есть не что иное, как противоположность предмета с самим собою, т. е. отрицание абсолютного закона тождества формальной логики; в-4) диалектическое единство как раз и есть единство противоположностей. *И т. д.* И этот господин, эта переметная сума, еще ругается! Но таковы уж преставители современной буржуазной науки.

Глава XXXVIII

О ТЕОРИИ И ИСТОРИИ

Непонимание диалектики играло (и играет еще) большую роль в теории науки при обсуждении вопроса о *теории* и об *истории*. Существует доктрина, которая в разных вариантах противопоставляет теорию и историю, как абсолютную противоположность, не видя перехода одного в другое и диалектического их единства. Эту проблему как раз интересно поставить теперь, когда мы разобрали вопрос об *историзме*, об *эволюции* и т. д.

*Риккерт*у принадлежит особая «честь» воздвижения баррикад между теорией и историей. В особенности в своей работе «Естественно-научное образование понятий» (404) этот автор выдвинул примерно следующие основные идеи: в *науках о природе*, где все повторяется, речь идет о схватывании общего, типичного,

свойственного многому; метод науки здесь обобщающий, типизирующий, «генерализирующий»; наоборот, в науках о духе, где ничего не повторяется, где все индивидуально, своеобразно, конкретно, речь может идти лишь о методе *индивидуализирующем*. Между науками о природе и науками о духе есть *принципиальная* разница, и их структура, а равно и их методы совершенно гетерогенны (405). Или, в терминологии *Виндельбанда*: есть науки (о природе) «*номотетические*» (они выводят законы) и науки «*идиографические*», описательные (они описывают конкретное течение событий).

А. Чупров-сын в нашумевших в свое время «Очерках по теории статистики» (406) еще более углубил эту противоположность, но взял ее не в разрезе основного деления на науки о «природе» и «духе», а в другом аспекте. Он выставил (вместе с рядом математических статистиков, в том числе известным немецким ученым *Борткевичем*) положение, что «индивидуальное» отличается не особым свойством, как своим неперменным признаком, а нахождением в определенном *месте* в определенное *время*. Если, например, перед нами два (воображаемых) совершенно тождественных яйца, но мы мысленно следим за ними, то мы их всегда будем различать, т. е. индивидуализировать, ибо они занимают всегда в данное время разные места и не могут быть в одно время в одном и том же месте. Отсюда получается вывод, что *индивидуализация* связана с конкретным временем и конкретным местом, с положением в системе временных и пространственных координат. А отсюда, в свою очередь, распадение знания на две большие ветви: *знание номографическое*, которое выводит законы, т. е. нечто, независимое, от времени и места («вечные законы»), и *знание идеографическое*, которое связано или и с временем, и с местом одновременно (история такой-то страны за такой-то период, статистика народонаселения такой-то страны в такое-то время и т. д.); *идиография* тоже нужна и полезно, как и *номография*, – это только другой тип знания.

Наконец, нужно упомянуть, что с легкой руки *Родбертуса* в политической экономии (через *Тугана-Барановского* и др.) укоренилась терминология, называющая *логическими* категории такого порядка, как средства производства (капитал в «логическом» смысле) и категориями *историческими* такие категории, которые свойственны только одному типу хозяйства, во всяком случае, *не всем* его типам.

Всему этому противостоит утверждение *Маркса* (в «Немецкой Идеологии»), по которому, в сущности, есть одна наука, а именно *история*, которая распадается на историю *природы* и историю *общества*. И, действительно, если все находится в историческом процессе *изменения*, если всеобщее, универсальное движение есть, следовательно, *исторический* процесс, то немудрено, что и его *отражение* именно этот процесс и должно отражать.

Здесь несомненна крупная проблема знания. Как же ее решить?

Мы начнем с рассмотрения некоторых предвояющих вопросов.

Во-первых, о «закона» и «фактах». Бывают ли «факты», т. е. «вещи», «процессы» – вне закона, т. е. связи, отношения? Нет. Мы хорошо знаем, что всякое конкретное связано с абстрактным, единичное с общим, одно с другим, иным; что «вещи в себе», без всякого отношения к другому, это – пустая абстракция, ничто; что отношение и связь, т. е. закон, имманентны вещам и процессам. И, наоборот, бывают ли законы, связи, общее вне «факта», т. е. вне единичного, вещей, процессов? Конечно нет: «отношение» и «связь» вне того, что относится и связано – тоже совершенно пустая, бессодержательная абстракция, «ничто». Закон, связь, отношение не есть нечто, стоящее *рядом* с вещами или процессами или *над* ними, не есть особая «сила» или особый «фактор», ими Управляющий», а форма бытия этих самых вещей и процессов. Связи и соотношения могут быть более широкие и глубокие, менее широкие и глубокие, но они никогда не существуют «в себе»: их нельзя превращать в какую-то особую, в себе существующую реальность, стоящую *над* вещами, – такое представление (часто встречающееся) есть лишь утонченный вариант анимистической трактовки мира.

Во-вторых, о движении и покое. Покой мы должны рассматривать лишь как частный случай движения, как его «момент». На самом деле «все и вся» находится в вечном безостановочном движении. А отсюда следует, что не только общество, но и природа, и весь мир находятся в состоянии исторического преобразования, исторического движения. Совершенно неверен поэтому уже исходный пункт риккертIANской философии: в природе-де все повторяется, в обществе – ничего не повторяется. Здесь только разные *масштабы*. Разве, например, *земля* не имеет своей истории? Разве ее геологические периоды не представляют собою исторических и своеобразных периодов? Разве здесь нет на каждом историческом шагу нового, конкретного, своеобразного, специфического? Конечно, есть состояние земли, как расплавленной массы и теперешнее ее состояние, *исторически*

образовавшееся, не одно и то же (см. *Канта*: «Всеобщая история и теория неба» etc.). Геология *насквозь* исторична. А биология? Что такое вся эволюционно-биологическая теория? Разве речь не идет здесь об образовании все новых и новых видов и форм, т. е. о тех «неповторимых», «конкретных», «своеобразных» моментах, о которых говорит *Риккерт*? Если на это скажут, что здесь «особенное», а не «единичное», то следует возразить, что здесь можно дойти и до единичного; и что здесь дело обстоит *точно так же*, как и в обществе: «особенное» – «способы производства», «формации»; «единичное» – еще более дробные связи и соотношения между людьми в потоке исторического процесса.

В-третьих: и в природе, и в обществе есть и единичное, и особенное, и общее; и в природе, и в обществе есть и неповторяемое, и повторяемое; если мы, например, имеем историческую смену периодов на земле, то это смена эпох, из которых каждая имеет свою индивидуальность; но процесс остывания земли «повторяет» процесс остывания луны; процесс остывания Марса «повторяет» процесс остывания земли и т. д. – тут проявляется «общее». Но то же самое и в истории: такие типы общественных структур, как феодализм или капитализм, встречаются в разных странах, и «фазы развития», при всех своих! индивидуальных особенностях, имеют «общее». «Индивидуальных особенностей»? Да! Но они есть и в природе: луна не *тождественна* земле, земля не *тождественна* Марсу и т. д.

Значит, и с этой точки зрения теория *Риккерта* благополучно проваливается. Но идем дальше. В риккертской концепции ясно звучит нота, будто «законы природы – *вечны*», а история, по самой «природе» – нечто брэнное и преходящее. В связи с этим, науки о природе и являются воплощением *теории*, номографического знания. Другое дело – вечное *творчество истории*, здесь все соотносится с «ценностями», «культурными ценностями» – так вползает *телеология*.

Разберем вопрос о *законах* и с этой стороны. Закон есть *необходимое* соотношение; если есть А, В, С, а, р, то есть (или наступает) Х. Здесь мы не будем останавливаться на разных *видах* необходимости (функциональная зависимость, казуальность и т. д.), ибо в данном случае это безразлично: важна *необходимая* связь. Итак, если есть первая половина формулы, то *необходимо* есть и вторая. И это всюду и везде. Но тут и обнаруживается, что *этакая* «вечность» годится и для всякого общественного закона, например, закона централизации капитала. Сформулируем его так: *если* есть

конкуренция капиталистов, т. е. момента А, В, С, а, р, *то* крупные будут побивать мелких и наступит Х (факт централизации). Где бы ни обнаружили и когда бы ни обнаружили группы условий (и причин), соответствующие *первой* половине формулы, всюду наступит Х. То есть, другими словами, исторический, общественно-исторический, общественно-исторический закон в этом смысле «вечен» и «независим» от времени и места. Однако, это есть абстрактная постановка вопроса. В действительности условия и причины (первая часть формулы) связаны с местом и временем, они *историчны*, хотя временные масштабы могут быть гигантски огромными, так что самая *историчность* может ускользать от нашего внимания. Закон расширения тел при нагревании, как мы видели, превращается в свою противоположность в астрофизике, в условиях громадных температур и давлений. Это значит, что «вечный» закон *физики* на самом деле *историчен* и связан с местом и временем, ибо связан с наличием совершенно специфических условий. *Исторически* закон сжатия тел (исторический закон) сменяется законом расширения тел при повышении температуры (т. е. другим историческим законом). Но так как в привычных условиях, для человеческих обычных масштабов, *такая* «история» практически, можно казать, не существует (т. е. не входит в сознание, не отражается, хотя объективный процесс налицо), то и создается *иллюзия* вечности законов природы, в смысле их неисторичности, и историчности °Дних только бранных законов истории, человеческой истории.

На этой *иллюзии* и покоится в сущности *абсолютное* противопоставление *теории* и *истории*. Так как писать *историю* Космоса мы еще не можем, а его исторические законы представляются «вечными», то это – область *теории* *par excellence* (407). Между тем, из всего нами вышесказанного вытекает и вся *относительность* противопоставления. Всеобщ и, абсолютен сам диалектический всеобщий *процесс*. Отсюда вечность закона *движения*, как такового и *общих* законов этого движения, в меру нашего познания охватываемых, как закон *необходимости*, как закон *диалектики*. Но уже в физике, как мы видели, вступает в дело *историчность*. Законы органического мира историчны. Однако, поскольку органический мир существует длительно, можно вывести его *общие* законы. Это *теория*. Но эта теория исторична: ибо *где* происходит дело? На земле. *Когда?* В те эпохи, когда вообще на земле возможна жизнь. Следовательно, здесь «номография» *связана* и с

местом и временем, но *и* место, *и* время – в таких масштабах, что они не чувствуются, как исторические моменты, хотя *здесь* они осознаются *больше*, чем в случае с законом расширения тел, ибо земля «ближе», чем звезды, и история *земли*, так сказать, ощутительнее для человеческого сознания от его теперешней стадии развития. Поскольку общая биология переходит от общего через особенное к единичному, она разворачивается в *историю* (скажем историю видов). *Но*: теория *исторична*, а история *теоретична*. Теория исторична, ибо она охватывает историческую полосу бытия (такой исторический «момент», когда вообще на земле есть органическая жизнь); поэтому *теория* есть сама «момент» более универсальной *истории*. С другой стороны, история теоретична, ибо она не есть груда, агрегат «фактов в себе», а включает связи, сочинения, законы. Возьмем, далее, такую область знания, как политическая экономия. «Капитал» *Маркса* – образец теоретического исследования, в общественных науках он составил *эпоху*, и его теоретические мощи и теоретического существа не отрицают, не *могут* отрицать, даже заклятые враги. «Капитал», это – не *история* капиталистических отношений во всей ее конкретности, И, однако, он *историчен* до мозга костей: все его категории – *насквозь* и *сознательно* исторические категории: таковы категории товара, денег, ценности, прибавочной ценности, капитала, прибыли, ренты, процента и т. д. Задачей своей *Маркс* ставил вскрытие «закона движения» капитализма, как особый, специфически *исторической*, фазы в развитии человеческого общества, Наконец, все движение категорий у него исторично, например, движение товара, денег, капитала и т. д. Значит, здесь *теория* исторична. Но, если мы прилагаем марксову *теорию* к разработке *истории* капитализма, скажем, в Англии или Соединенных Штатах, то эта история будет *теоретична*. Законы капитализма связаны и с *местом*, и с *временем* (они – законы капитализма, т. е. временного явления). Но в *истории* капитализма и место и время берутся в других *масштабах*, по другому: ибо здесь переход от всеобщего через особенное к единичному, разворачивание всей (связной) картины становления в ее конкретной полноте, которая в теории заключается лишь *in nuce*, в неразвернутом, страшно конденсированном виде, *in potentia*, *δυνάμει*.

Попытки *Макса Вебера*, одного из самых выдающихся ученых, которого смогла выдвинуть за – не скажем «последнее», а лишь «предпоследнее» – время буржуазия, попытки построить для общественных наук «идеальные типы» – есть лишь идеалистически

окрашенный и извращенный слепок с марксовых общественных формаций». Маркс блестяще решил задачу, ибо он решал ее диалектически, а живой дух диалектики уже давно отлетел от буржуазных идеологов.

Так решается вопрос о соотношении между теорией и историей.

Концепция Риккерт, о которой мы говорили выше, концепция, абсолютно противопоставляющая «науки о природе» «наукам о духе», имеет своей целью доказать, что закономерности истории – принципиально иные, чем закономерности природы: тут де творчество неповторяемого, нового, индивидуального, чего нет в природе; тут де творящий дух человека, а поэтому речь идет о совсем другом; уже самый отбор фактов, о которых говорит история, есть де отбор по известным критериям оценок: важным считается то, что имеет «культурную ценность» (Kulturwert), то есть то, что соотносится с ценностью, как с моментом телеологическим. В этой новой (теперь уже, впрочем, весьма старой – так быстро течет время!) телеологической концепции, которая породила целую гору рассуждений о науках общественных, как «целевых науках» «Zweckwissenschaft» мы видим лишь вариант все того же лейтмотива: общество вырывается из общей универсальной связи природы. Несмотря на все крики об истории, все общество не понимается, как исторический момент самой исторически меняющейся природы, а «вретя вне этой связи. О диалектическом соотношении между обществом и природой нет и помину. На диалектическом соотношении между необходимостью и телеологией нет и намека. О том, что «культурные ценности», как телеологический момент, суть сами проявления общественной необходимости, которая, в свою очередь, есть специфически-общественное выражение ^{оn&e} общей, природной, необходимости, нет и речи. Все движется в ограниченных, малых масштабах, измерениях, соотношениях. Вот эта ограниченность и тупость, односторонность рассудочного мышления и не могут быть положены в основу истинно-философских построений. И здесь вопрос решает только материалистическая диалектика, верно отражающая объективную диалектику исторического бытия.

Глава XXXIX

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ИДЕАЛЕ

Маркс однажды заметил, что пролетариат не имеет никаких *идеалов**. Этим *Маркс*, конечно, отнюдь не думал отказываться ни от социализма, ни от положительной оценки этого последнего, оценки со всех точек зрения экономической, культурной, «духовной» и т. д., что доказывается целым рядом его работ. Но своей формулировкой он хотел самым резким и решительным образом отгородиться от той «моральной», «этической» и всякой иной *внеисторической* болтовни, которая, например, в так называемом «истинном социализме», проповедовавшем в условиях ожесточенной классовой борьбы всеобщую сентиментальную любовь («социализм старых баб»), могла привести лишь к разращению, расслаблению, дезорганизации действительной борьбы за действительное дело. *Маркс* подходил к вопросу *объективно* и *исторически*. Объективно не в смысле буржуазного объективизма, не видящего тенденций, ведущих в будущее, а в более широком смысле, т. е. в *более* объективном смысле, чем обычный объективизм. Объективно, далее, не в том понимании, что здесь ускользает сам субъект, а в том, чтобы и в субъективно-телеологическом открытии необходимое в его *исторической* формулировке. Эту *диалектику*, как высшую точку зрения, никак не могли понять ни буржуазные ученые, ни идеологи мелкобуржуазного социализма: исписаны моря чернил, чтобы превратить *Маркса* то в фаталиста, то в человека, в которого заключено разом два человека, то в доктринера-утописта и пророка, на манер иудейских пророков проповедующего новую «сотериологию», новое учение о «спасении» (*Зомбарт* и К.).

Основой у *Маркса* является научно-исторический, материалистически-диалектический подход к предмету. В тенденциях развития капиталистического общества он видит его неизбежную гибель и переход в высшую фазу, с опосредствующим процессом революции, носителем которой является *пролетариат*, движимый своим *интересом*. Таково уж положение этого класса, и тут нет ровно ничего мистического сверхъестественного. При переходе от феодализма к капитализму аналогичную роль играла буржуазия, с ее интересами, которые она формулировала, как всеобщий интерес, в абстракциях «свободы, равенства, братства», в сочинениях *Монтескье* и *Руссо*, *Бенжамена Констан* и *Кондорсе*, разрушая теологию феодализма в авангардных сражениях *энциклопедистов*.

* Vgl. K. Marx/F. Engels: Die deutsche Ideologie. MEW. Bd. 3. A.a.O. S. 35: «Коммунизм для нас не *состояние*, которое должно быть установлено, не *идеал*, с которым должна соотноситься действительность. Мы называем коммунизмом *действительное* движение, которое устраняет теперешнее состояние».

Маркс не только разрушил все иллюзии идеологического порядка, дефетишизировал все фетишистские категории, понятия, системы, вскрыл реальные движущие пружины развития, обнажил материальные интересы, но и навсегда разрушил рационалистический, т. е. ограниченно рассудочный, подход к историческому процессу, подход, который будучи исторически обусловленным, был логически враждебен всякому историзму.

Все рационалистические «идеалы» исходили из предпосылки о *неподвижных*, истинных «законах» (в теологически-телеологических системах это, как мы видели, совпадает с божественной целью, с высшим «благом»). Познав эти законы (божественную цель или – в совсем другом варианте – «естественный порядок, соответствующий «естественному праву») и построив на их основе идеальное общество, можно получить вековечную, устойчивую «гармонию», живя согласно «разуму» или согласно «природе».

Этот взгляд извращает и самое понятие закона, и страдает полным отсутствием какого бы то ни было, хотя бы плохонького, *историзма*. Вырастающие на такой основе идеалы суть рационалистически-статические утопии, утопии неподвижного «идеала», как конца истории, как абсолютного состояния, совершенного и неизменного, в котором прекращается течение исторического процесса, так как найдено «соответствие природы», точно эта природа – внеисторична!

Но, как сказано, эти антиисторические идеалы-утопии сами были исторически обусловлены, и за ними стояли определенные материальные условия существования. Живые классы и живые интересы, к сожалению, не всегда верно понимаемые и оцениваемые со стороны историков.

Утопии античные, типа «Государства» *Платона*, были Утопиями рабовладельческого класса, утопиями рабовладельцев. Они выросли на базисе этого общества, разьедаемого Денежным хозяйством, ростовщичеством, торговлей, купеческим и денежным «капиталом», обострением классово-борьбы между торговой демократией и землевладельческой аристократией, борьбой между городами-государствами, нарастанием мятежей рабов, большими войнами с внешними врагами. Уже *софисты* и *Сократ* выражали глубокий общественный, политический кризис и распад античной Греции. *Платоновская* утопия воплощала идеал не рабов (эксплуатируемых, которые у него отнюдь не освобождались, а, наоборот, брались в железо!), не свободных городских ремесленников, не торговой демократии, а именно. «добродетельных», со старой традицией, аристократических, преисполненных «древнего благочестия»

патриархальных землевладельцев-аристократов-рабовладельцев.; Критика частной собственности, денег, семьи и т. д. велась с позиций критики *торговой* собственности, с позиций; землевладения, подымавшегося *idealiter* до государственного землевладения и государственного рабовладельческого хозяйства. Древнего Египта (и в его философии есть египетские мотивы например, в учении о воспоминании – мотив переселения душ). Основа – эксплуатация рабов – оставалась у *Платона* в полной неприкосновенности. «Божественный» *Платон* здесь не шутил! Мы знаем, что во времена *Платона* были, к сожалению, до нас не дошедшие, *другие* «утопии»; что бродили мысли о *равенстве* рабов; мы видим, как, например, *Аристофан* изображает эти идеи в карикатурном виде⁷⁵, всячески над ними издеваясь. И можно предполагать, что «божественный» своим «Государством» хотел также «перекрыть» подымавшиеся снизу «субверсивные» освободительные тенденции. Недаром к *Платону* и *Маркс* и; *Энгельс* относились совсем не так, как, например, к *Аристотелю*! Недаром *Ленин* упрекал *Гегеля*: ««Подробно размазывает *Гегель* «натурфилософию» *Платона*, архивздорную мистику идей, вроде того, что «сущность» чувственных вещей суть треугольники» (408) и т. п. мистический вздор. Это прехарактерно! Мистик-идеалист-спиритуалист *Гегель* (как и вся казенная, поповски! идеалистическая философия нашего времени) превозносит и жует мистику-идеализм в истории философии, игнорируя и небрежно третируя материализм. Ср. *Гегель* о *Демокрите* – ничего!! О *Платоне* тьма размазни мистической»**.

Но философия *Платона* теснейшим образом связана с его политической утопией, и, наоборот, эта последняя теснейшим образом связана с его философией. На разъедающий скептицизм, релятивизм, вольнодумство, иногда безбожие софистов *Платон* надевал железную узду «всеобщего», «идеи», «бога». На индивидуализм, на распадающиеся социальные связи он надевал в «Государстве» колодки рабовладельческой и хороша продуманной политической концепции. «Главная мысль, – пишет *Гегель* – лежащая в основе платоновского «Государства»,... эта именно та мысль, что нравственное носит вообще характер субстанциональности и, следовательно, фиксируется, как божественное». Отдельные лица должны здесь действовать «спонтанно из уважения, благоволения к

⁷⁵ Gemeint sind Aristophanes' Komödien „Frauenvolksversammlung“ (392) und „Plutos“ (388).

** W.I. Lenin: Konspekt zu Hegels „Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie“. LW. A.a.O. Bd. 38. S. 269 f.

государственным учреждениям» (409)⁷⁶, т. е. государству рабовладельцев. Этому служит конституция Платона, с его тремя сословиями, с олигархией правителей и воинов, с порабощением ремесленников и др., с дикой эксплуатацией рабов, с сознательным увековечением классов (под видом «сословий»), с коллективной собственностью рабовладельцев (и не общественной собственностью! это не одно и то же! это не одно и то же!), с распределением «добродетелей» по сословиям (на третье, трудящееся, сословие падает добродетель... умеренности. Власти над вожделениями и страстями!), с воспитанием детей в классовых рамках, с уничтожением всякой индивидуальной и групповой свободы, от политики до совокупления (это на языке Гегеля называется «исключением принципа субъективности»). Силы развития (и разложения) античного общества ни с какой стороны не шли по этой линии: «идеалу» не удавалось осуществиться. Но такова ирония истории, что критика частной собственности сделала платоновское «Государство» источником идей, вернее, подкреплением идей совсем других времен и других исторических «смыслов» (например, для «Утопии» Т. Мора).

Средневековые крестьянские утопии, идеалы ремесленников и подмастерьев не имеют философского значения, ибо опираются, большей частью, прямо и непосредственно на «священное писание». Но их практически-политическое значение было огромно. Они воплощали чаяния и интересы огромных масс и были идеологическим знаменем грандиозной крестьянской войны, полыхавшей в ряде стран в течение многих лет. Различные «секты» и направления (табориты, моравские братья, чернгутеры, богумилы, катары и т. д. и т. п.) были, по существу, различными политическими фракциями трудящихся масс, и их вожди, вроде казненных *Томаса Мюнцера*, *Иоанна Лейденского* и других заслуживают благодарной памяти освобождающегося человечества наших дней, вопреки лассальянской оценке крестьянской войны, оценке, шедшей из того же источника, откуда шло и кокетничанье *Лассалья с Бисмарком*⁷⁷.

Утопия великого мученика *Кампанеллы* имела черты анти-христианской и антикапиталистической идеализации монастыря, черты

⁷⁶ G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II. A.a.O. Bd. 18. S. 277 f.

⁷⁷ Bucharin teilt K. Kautskys Wertschätzung, der in seinem Buch „Vorläufer des neueren Sozialismus“ anmerkt: „Den Münsterschen Kommunisten gegenüber konnte die bürgerliche Geschichtsschreibung niemals unbefangenen sein. Sie gelten heute noch ebensosehr wie zu ihrer Zeit nicht als Objekte wissenschaftlicher Forschung, sondern als Todfeinde, die nach ihrer physischen Überwindung auch noch moralisch zu vernichten sind, und in denen man heute auch die Sozialdemokratie zu treffen wähnt.“ (Berlin 1947. Bd. II. S. 217.).

идеала теократического, сублимации католической иерархии (хотя этот момент был даже в утопии автора Гаргантюа», *Рабле* (410), плотские вожеления которого известны). Но в то же время в ней уже была другая струя. Не забудем, что *Кампанелла* знал *Томаса Мора*, что автор «Утопии» чрезвычайно сильно на него влиял. Не забудем также, что *Кампанелла* – итальянец начала XVII века, что Италия была первой страной капитализма, что сам автор «Города Солнца» (411) прямо бичует господствующих и возмущается эксплуатацией неаполитанских *рабочих*, (они «истощают себя непосильным трудом, праздные гибнут от лени, скупости, болезней, разврата»^{**} и т. д.). Здесь, как и у *Мора*, уже *труд* ставится во главу угла. И в то же время руководит всем «Папа-Метафизик», воплощение всех знаний (позднее *Комт* вообразил себя именно таким «Папой-Метафизиком», без этих слов, конечно!), с тремя помощниками: Мудростью, Любовью и Могуществом, причем все решительно – пища, одежда, любовь и т. д. – регламентируется: «Произведение детей есть дело республики» и «Любовь», как один из триумвиров, «специально занимается всем, касающимся произведения детей, т. е. имеет в виду, чтобы половой союз давал всегда самое лучшее потомство»^{***}. При всем том и у *Кампанеллы* есть много очень интересных моментов (в области премий за успехи в соревновании, в области педагогики и т. д.). Это одна из ранних ласточек утопического социализма; здесь причудливо переплетаются совершенно разнородные моменты.

Но в Италии до *Кампанеллы* жил творец «Discorsi» и «Il Principe» Никколо Макиавелли (412). У него был тоже идеал, но этот идеал отнюдь не был утопией: наоборот, здесь все построено на холодном и трезвом учете сил и средств, на беспощадном выявлении и циническом использовании цинических отношений, на полном изничтожении всей и всяческой морали. Речь идет об идеале торгово-промышленной буржуазии итальянских государств, в эпоху раздробленной Италии (XVI в.) и т. н. «феодальной реакции». Трезвый классовый анализ, понимание того, что движущим мотивом является интерес («имущество» и «честь», особенно «имущество», «гоба», и «честь», как «почести», «опогі», связанные с государственной властью), что общество распадается на классы («disunione») и что в нем «два различные устремления (umori diversi): одно – народное, другое –

^{**} Thomas Campanella: Der Sonnenstaat. Idee eines philosophischen Gemeinwesens. Berlin 1955. S. 59 f.

^{***} Ebenda, S. 38.

«высших классов», совершенно исключительный анализ восстания «чомпи»* (первого рабочего восстания) в «Истории Флоренции», сводка норм поведения в «Principe» и «Discorsi» – в своем роде неподражаемы. Морально-политическая сторона выражена со всей? откровенностью в следующем отрывке «Discorsi»: «Когда речь идет о спасении родины, должны быть отброшены все соображения а том, что справедливо и что несправедливо, что милосердно и что жестоко, что похвально и что позорно. Нужно забыть обо всем и действовать лишь так, чтобы было спасено ее существование і осталась неприкосновенной ее свобода»**. В «Principe» даются по этому поводу советы, оправдывающие всякое коварство преступление ради этой цели, советы «князю» быть «лисицей» «львом» (гл. XVIII), обманывать, лгать, притворяться, прибегать к кинжалу и т. д.*** Эта «нормативная» часть удивительно напоминает старинные *эзотерические* (413) индусские сборники, издававшиеся в поучение будущим властителям (ср., например, сборник «Артачастра»^{78***}, а также – в облагороженной форме – литературу о «Staatsraison» позднейшего происхождения. Но у *Макиавелли* ценна аналитическая часть, и недаром *Маркс* высоко ставил этого политического мыслителя. Что касается нормы «цель оправдывает средства», то она для *широких* движений и *прочных* завоеваний *нецелесообразна* ибо она дезорганизует прежде всего тех, кто ее применяет. Это – обобщенная практика *клик*, котерий (414), в затхлой и замкнутой атмосфере; это – целесообразность для политических *однодневок*, в условиях политической чехарды. И если *Гегель* «одобрял» в «Философии Истории» «Principe», то он говорил там о специфических условиях эпохи и о позиции тех сил, которые выражал *Макиавелли*, требовавший «расправ» с «plebs, т. е. с *простонародьем*, во имя интересов т. н. «prolo», т. е. буржуазии. Его идеал – идеал диктатуры именно *этого* класса; его «родина», это – родина торгово-

* Florentinische Wolltucharbeiter im Mittelalter.

** Niccolo Machiavelli: Discorsi. Frankfurt M./Leipzig 2000. Kap. 41. S. 417.

*** „Weil also ein Fürst das Tierische kennen muß, muß er sich am Fuchs und dem Löwen ein Beispiel nehmen; ... Er muß also Fuchs sein, um die Schlingen zu kennen, und Löwe, um die Wölfe zu schrecken. Die sich nur auf die Löwennatur verstehen, sind nicht recht beraten. Es kann und darf ein kluger Fürst sein Wort nicht halten, wenn es für ihn von Nachteil ist ... Wenn alle Menschen Engel wären, wäre dieser Vorschlag nicht gut; aber sie sind es leider nicht ...“ Niccolo Machiavelli: Der Fürst. Leipzig 1976. Kap. XVIII. S. 71.

^{78***} Arthaschastra: Staatslehrbuch im alten Indien; galt lange als verschollen. Eine deutsche Neuauflage von 1977 erschien unter dem Titel „Das altindische Buch vom Welt- und Staatsleben“.

промышленной *буржуазии*, объединяющей Италию в борьбе с феодалами и держащей в железе плебс.

Общественный идеал времен *французской революции* был воплощением рационалистической утопии: «естественный порядок»; «общественный договор» *Руссо*; «свобода, равенство и братство»; тезис о том, что «свободная игра сил» дает и наилучший результат и прочее, все это, если брать *всерьез* слова, лозунги, концепции, то есть брать их в их буквальном значении, оказалось идеологическим мифом. Но за этим скрывалось серьезное *реальное* содержание: свобода эксплуатации, свобода конкуренции, формально-демократическое равенство перед законом, свобода от всевозможных феодальных пут и оков, формальная независимость товаропроизводителя, нового, буржуазного «экономического человека» и т. д. и т. п. Это было реальным содержанием «общественного идеала» буржуазии, которая чистила авгиевы конюшни феодализма руками мелкобуржуазно-плебейской *якобинской диктатуры*. Буржуазия завоевала себе власть, капитализм расчистил себе пути и стал Развертывать свои собственные внутренние противоречия: Разверзлись его бездны, рост нищеты и богатства, кризисы, поляризации классов. И первым идеологическим вздохом еще неформившегося молодого пролетариата был *утопический социализм*. У *Сен-Симона* и *Фурье* имеется гениальная критика «Итализма, особенно у *Фурье*, и поистине пророческие прозрения. Но утопический социализм не видел путей развития, реальных движущих сил. Его построение висело в воздухе; его тактика (если вообще можно говорить о ней) была беспомощной, а апелляция *Фурье* к сильным мира сего была фантастически жалкой. Тем не менее, заслуги их бессмертны: они дали критику капитализма, они выставили – пусть в детской форме – социализм как цель.

Совсем иначе подходили к вопросу *Маркс* и *Энгельс*. *Маркс* уже создал материалистическую диалектику и исторический материализм в его основных чертах, в «Капитале» с необыкновенной научной добросовестностью раскрыл своеобразные «законы движения» стихийно развивающегося капиталистического общества; эта работа подтвердила то, что было раскрыто еще в «Коммунистическом манифесте», подтвердила всей полнотой богатейшей научной аргументации. *Исторические* тенденции капитализма были открыты, его *необходимость* была познана; условия, детерминирующие волю *классов*, были обнаружены, неизбежный крах и переход через революцию к диктатуре пролетариата был предсказан, как и дальнейшее движение к коммунизму. Ведь, это факт, что несколько

десятков лет назад еще смеялись над словами «капитализм» и «пролетариат». Ведь, это факт, что тысячи тысяч раз «опровергали» теорию концентрации и централизации капитала, теорию кризисов, обнищания масс, роста противоречий; капитализма вообще. Ведь, это факт, что издевались над «пророчеством» о диктатуре пролетариата и т. д. И тем не менее все это оправдалось. Жизнь и практика *целиком* подтвердили теорию: *Маркс* за сто лет вперед видел события: читайте сейчас даже «Коммунистический Манифест» (415). Это – научное ясновидение! «Идеал» у *Маркса* был выводом из научного анализа и вся стратегия, тактика, организация сил у *Маркса*, а затем у *Ленина* и *Сталина*, всегда и всюду опирались и опираются на научную разборку эпохи, полосы, моменты. Подход к идеалу историчен, конкретен, диалектичен. И это, конечно, вздор, будто у *Маркса* социализм – неподвижный абсолют: он развивается коммунизму, и коммунизм развивается, а не стоит на месте. Уже говорили это при трактовке вопроса о свободе необходимости). Движение всегда имеет далекую цель: она глубоко принципиально. Но цель эта в своих конкретных определениях раскрывается *исторически*, и точно также *историческим* критерием освещается «каждый шаг действительного движения»*.

Все это далеко от немарксистских постановок вопроса! Между утопическим социализмом и научным коммунизмом Маркса в этом отношении – целая пропасть. Но вот, например, *позитивистский* социализм автора «субъективной социологии *Л. Лавлова* («Из истории социальных учений»). Посмотрите, какие научные «законы социологии» он выводит:

№ 1. «...Здоровое общество есть то общество, в котором господствует кооперация, а не эксплуатация»**.

Очень почтенная истина! Но разве это закон развития? Разве тут есть хоть гран науки? Разве тут хоть намек на историчность? Пустая абстрактная фраза, которую попросту сказать надо так: эксплуатация – вещь плохая. И точка. А если здесь что-либо большее, то оно – просто нечто детское. В самом деле: все формы общества, за исключением первобытного коммунизма, объявляются *большими*, ненормальными, нездоровыми. Ну, а что же, движение *от* первобытного коммунизма было прогрессивным или не было? По-видимому, не было. Значит, нужно было бы оставаться на положении дикарского стада? И это «закон»!

* K. Marx/F. Engels: Die deutsche Ideologie. MEW. Bd. 3. A.a.O. S. 35.

** Pjott L. Lawrow: Is istorii sozialnyh utscheni. o.O. 1919. S. 57 ff. (курсив in den Zitaten von N. Bucharin) Alle folgenden Zitate sind diesem Text Lawrows entnommen.

№ 2. «При современном развитии личностей, здоровое общество есть общество, прогрессирующее в постройке своих форм, а не успокоившееся на определенной системе привычек» (это у *Лаврова* «третий реальный закон социологии»). Ну, что сказать по этому поводу? Во-первых, о каких современных «личностях» идет речь? Абстракция личностей здесь пуста и бессодержательна. А что касается всего закона, то он гласит, если вдуматься: здоровое, т. е. хорошее общество есть общество прогрессирующее, т. е. в котором все идет вперед, т. е. хорошо. Удивительно богатый закон! Или: лучше идти вперед, чем топтаться на месте. Тоже «закон»!

№ 3. «Лишь приближаясь к приемам научной критики, можно открыть настоящее руководство для перестройки общественных форм путем реформ или (!) путем революции в виду здорового общественного развития» (это – «новый закон социологии»).

Чтобы действовать хорошо, нужно опираться на научную критику. Очень почтенно. Не на такую ли, исходом которой являются два первые «закона»?

№ 4. «Руководством для перестройки общественных форм и Для общественной деятельности личности могут быть лишь Реальные элементарные потребности человека в их гармоническом развитии, подчинении и соглашении» (416).

Это – верх премудрости! Нужно удовлетворять реальные потребности – поистине гениальное открытие. Но почему же только элементарные? И что это за протогоровский человек, который служит их научной мензуркой? И в чем состоит их Подчинение» и т. д., если они и без того элементарны? И что общее это за «закон научной социологии», когда он выражает лишь пустое и формальное общее правило, что хорошо кушать, а спать, и т. д., читать газеты (или это уже неэлементарно)?

А, ведь, *Лавров* – глава целой школы, направления, крупный ученый, большой эрудит! Мы остановились на нем, чтобы ярче оттенить всю разницу в подходах к проблеме у *Маркса* и других.

Но довольно уже возиться с этими другими, тем более, что все это *tempē passatī*. *Современность* дает нам в вопросе об общественных идеалах забавную картину: если на заре капиталистического развития у буржуазии был *строй*, то пролетариат еще только строил утопии, то теперь у пролетариате уже есть *строй*, а буржуазия, *теряя* свой гниющий строй занимается производством утопий «планового капитализма», «без веры в себя», «окаянный старик», как честил ее когда-то *Маркс*. Но увы – тут уже нет ни полета мысли, ни оригинальности, ни перспектив. Фашизм усиленно выдает свою

государственная капиталистическая казарма за «социализм» во главе с капиталистами и ищет свой общественный идеал *позади*, а *вперед*, в прошлом, а не в будущем, точно в прошлом эти «идеалы» уже не были вдребезги расколочены жизнью. Организуя все бестиальные силы и бестиальные идеи прошлого, он думает победить мир, раскрывающий энергии сотен миллионов! Так развивается историческая эпоха реального роста социализма, гибели ниспадающего в утопию обреченного капитализма. Социализм же идет вперед: растут его производительные силы, растет его плановая организованность, растет материальная культура, заполняется пропасть между городом и деревней, заполняется и другая пропасть – между умственным и физическим трудом; миллионы повышают уровень своей жизни величайшей быстротой; повышают свою техническую культуру и расширяют свои духовные горизонты, развивают заложенные в людях способности, приобщаются к науке и искусству и творят и воспитывают волю, характер, творческую страсть; здороваются, крепнут телом, создают новую семью, работают и мыслят; растет в то же время и организованность целого, т. е. социалистического общества; и с каждым днем создаются все новые условия для все более богатого дальнейшего развития. Свобода развития – самая драгоценная свобода – стала впервые в истории фактом для многих миллионов людей.

Глава XL

О ЛЕНИНЕ, КАК ФИЛОСОФЕ

Ленин был гением классовой борьбы*. Но классовая борьба по определению Энгельса, есть борьба экономическая, политическая и теоретическая. Классовая борьба, как революционная практика, как научная революционная практика, предполагает и теоретическое познание. Ленин был вполне конгениален Марксу, и объединял теорию и практику, был величайшим мастером диалектики, как науки, и диалектики, как искусства: мысль и действие у него были одинаково совершенны.

* Это главой Николай Иванович Бухарин завершил свою рукопись «Философские арабески», написанную в 1937 г. во Внутренней тюрьме на Лубянке. Это была вторая из трёх разработок, которые Бухарин создал после своего ареста на февральско-мартовском (1937 г.) пленуме ЦК ВКП(б). Она была готова в дни XX годовщины Октябрьской революции, и кровавые слуги режима взяли ее «на хранение», чтобы навсегда скрыть в архивной тьме. Эта глава – «последнее слово» Бухарина о Ленине, его учителе и друге.

Оттого *Ленин* определил собою эпоху, точно также как эта эпоха определила его, воплотилась в нем, нашла себе в нем своего замечательного выразителя.

Что *нового* внес *Ленин* в дело развития философской мысли вообще, марксистской философской мысли – в частности и в особенности? *Ленин* выступил на своем философском поприще впервые со своей книгой «Материализм и эмпириокритицизм». Известна обстановка того времени: период реакции после поражения декабрьского восстания. Массовый отход интеллигенции от революционного движения. Идейный разброд. «Духовная реакция». Религиозные искания, эротика. Увлечение части марксистов «современной философией», позитивистским агностицизмом, «реализмом», т. е. идеализмом *Маха*, *Авенариусом*, прагматизмом, даже «богостроительством». В этих условиях книга *Ленина* была набатным звоном, собиравшим армию вокруг знамени, знамени диалектического материализма. Логическим центром проблемы была проблема *реальности внешнего мира*. И новым, что внес сюда *Ленин*, было то, что он эту проблему решал на основе данных современного естествознания, главным образом, *физики*, переживающей кризис и в то же время беременной величайшими открытиями. Со времен *Канта*, который много и упорно работал в области естествознания, и после ликвидации т. н. «натурфилософии», теоретическое естествознание разомкнулось с философией. Но эмпириокритическая струя, и в первую очередь, *Эрнст Мах*, вновь подняли среди философов интерес к естествознанию. Рос так называемый «физический идеализм» под видом преодоления «метафизики», в сферу которой отсылается и материализм. *Ленин* напал не столько на кантианцев, сколько именно на эмпириокритиков, и *впервые* в марксистской литературе серьезно занялся философскими проблемами теоретического естествознания: впервые, ибо после *Анти-Дюринга* не было крупных марксистских работ на вносящиеся сюда темы. «Диалектика Природы», замечательная работа *Энгельса*, не была опубликована филлистерами германской социал-демократии и лежала в архивах. Крупнейший атериалист – *Плеханов*, победоносно борющийся с влиянием? в социал-демократических кругах, совершенно не занимался вопросами естествознания. А занимавшиеся ими перешли на позиции эмпириокритицизма. Таким образом, *Ленин* был единственным марксистом, выступившим против эмпириокритицизма (в его лице против всех видов идеализма агностицизма) на основе обобщений теоретического естествознания.

Мы видели уже в специальной главе*, кто в этом споре оказался прав. Все последующее развитие физики и химии блестяще показало правоту *Ленина*, правоту диалектического материализма, по основным вопросам спора. Экспериментальная практика и развитие физической теории доказали реальность существования атома, электронов и т. д. Величайшей заслугой, настоящим научно-философским подвигом *Ленина*, является этот победоносный бой за утверждение материального мира, этот разгром основных позиций физического идеализма. Книга, которая при всем своем появлении на свет ходила, главным образом, по рукам подпольных работников тогдашней социал-демократии, много лет спустя приобрела мировую известность, и корифеи физической теории, вроде *Макса Планка*, и такие выдающиеся физики-эмпириокритики, как *Филипп Франк*, должны были определить свои позиции по отношению к *Ленину*^{79*}: мы не говорим уже *русских* физиках, которые все прошли через очищающий огонь ленинской критики. Книги *Ленина* стала теперь *центром тяготения всех физиков-материалистов*. Это есть факт, и огромного значения. Ее мировое влияние неоспоримо. Здесь *Ленин* выступает как мыслитель, перевернувший новую страницу истории философской мысли, а сам марксизм получает внутреннее обогащение, развивает свою познавательную мощь *Диалектический материализм* в этой книге выступает с ударением на *материализме*. Но было бы неверно думать, что *диалектический* момент здесь слабо представлен, хотя *Ленин* в «Философских тетрадах» и не выделяет себя из числа марксистов, критиковавших эмпириокритиков «больше по – бюхнеровски, на самом деле, разве не блестяще-диалектически разрешена в этой книге проблема относительной и абсолютной истины? Разве не показана диалектически относительность самого релятивизма! Разве не дан диалектический переход одной противоположности в другую? Познание, как бесконечный процесс, превосходно отображено здесь в его диалектическом движении. Вообще же в пределах вопроса о реальности внешнего мира и познаваемости, *Лениным* особо развиты, поставлены аргументированы, такие проблемы:

- 1) *Реальность внешнего мира*. Здесь *новое* – прежде всего связь с теоретической *физикой*, постановки и решения соответствующих проблем.

* Имеется в виду глава 21 настоящей книги.

^{79*} Ср. статью Бухарина «Учение Маркса и его историческое значение» (1933) (1933). – Н. Бухарин. Избранные труды, с. 130.

- 2) *Материя*. Материя в философском и материя в научном смысле слова в их взаимоотношении и единстве.
- 3) *Теория отражения*. Здесь *Ленин* сделал огромный скачок вперед. Можно сказать, что он, на основе всех завоеваний науки, предложил теорию отражения, как она была сформулирована *Энгельсом*; важным пунктом является разбор и опровержение кантовски окрашенной «Теории иероглифов» *Г. В. Плеханова*.
- 4) Учение *об истине*. Блестящий анализ вопроса об относительной и абсолютной истине. *Новый* вопрос и его *новое* решение: о соотношении критериев истины; как критерия соответствия с действительностью, как критерия практического, как критерия «экономического».

Вопрос о реальности внешнего мира, о самом бытии объективного, в марксистской литературе с такой силой вообще ставился в первый раз. Это понятно. Ибо основоположникам марксизма, самому *Марксу* и *Энгельсу* приходилось бороться с *объективным* идеализмом, с идеализмом *Гегеля*, который был противником даже субъективизма *Канта* («дурной идеализм»^{*}), хотя *Кант* и признавал бытие внешнего мира, как «вещей в себе». *Марксу* и *Энгельсу* приходилось ниспровергать «идеальную» структуру объективного бытия, переводить его в материальное, а не доказывать нелепость отрицания самого бытия. Наоборот, *Ленину* нужно было выдержать победоносное сражение с *субъективным* идеализмом, тяготеющим к солипсизму; если кантовский идеализм – «дурной», то этот идеализм – «дурнейший». Поэтому разработка проблемы *реальности* внешнего мира и *материальности* его субстанции, разработка на основе и в связи со сложными проблемами теоретического *естествознания*, была крупным шагом вперед и для теоретической физики, и для философии вообще, и для философии марксизма, т. е. для диалектического материализма – в особенности. *Ленину* пришлось переворочить всех покойников, начиная от *Беркли* и *Юма*, и, учиняя разгром субъективного идеализма и солипсизма, выдвинуть на сцену *практику*, как непосредственный прорыв в сферу объективного бытия, объективного мира. Об убедительности аргументов, об эрудиции, о революционной страстности и величайшем познавательном оптимизме работы *Владимира Ильича* нечего и говорить: в этом отношении книга – благо, «человеческий документ»,

^{*} W.I. Lenin: Konspekt zu Hegels „Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie“. LW. A.a.O. Bd. 38. S. 263. Vgl. Anm. S. im Kapitel 2. zu platter.

выражение того класса, которым так блестяще руководил покойный учитель.

Вторым центром философской мысли *Ленина* являются его знаменитые «Философские Тетрады», изданные уже после его смерти. Это не цельное произведение. Это – «Randglossen», заметки на полях, реплики, комментарии, отдельные фрагменты, записки мыслей «epilasant Hegel»⁸⁰, как выражается сам Ленин, т. е. «при чтении Гегеля» (*главным образом* Гегеля). Здесь нельзя искать связного и обработанного изложение систематизированных идей. Но зато это – лаборатория мысли, интимная сторона, «святая святых», эзотерическое существо, вплоть до «самокритики». Этим «Тетрадками» необычайно ценны, свежи, интересны: «дух» *Ленина* раскрывается в полной силе.

Прежде всего, следует отметить, что если в «Материализм! и эмпириокритицизм» марксизм выступает, как диалектический *материализм*, то в «Философских Тетрадках» он выступает, как *диалектический* материализм. Там – ударение на материализме. Здесь – ударение на диалектике. Отсюда ряд знаменитых «афоризмов»:

1. Плеханов критикует кантианство (и агностицизм вообще более с вульгарно-материалистической, чем с диалектичной материалистической точки зрения) *оскольку* он лишь *a limine отвергает* рассуждение, а *исправляет* (как Гегеля исправлял Канта) эти рассуждения, углубляя, обобщая, расширяя их, показывая связь *иперхольных* и всяческих понятий (17).

2. Марксисты критиковали (в начале ~~XX~~ века) кантианцев юмистов более по-фейербаховски (и по-бюхнеровски), чем по гегелевски

Ленин упрекает *Плеханова* в другом месте «Тетрадок» за то, что *Плеханов*, много написал по философии, не развивал идеи «Большой Логики» (т. е. «Науки Логики») *Гегеля*^{***}. *И т. д.* Эти беглые замечания (в том числе и «афоризм», что никто не понимал сполна «Капитала», ибо никто не знал диалектики)^{****} проливают свет на то гигантское значение, какое *Ленин* придавал диалектике. *Маркс*, как известно, собирался дать короткую сводку рациональных моментов гегелевской диалектики, но не успел этого сделать^{*****}. *Энгельс* в

⁸⁰ W.I. Lenin: Konspekt zur „Wissenschaft der Logik“. A.a.O. Bd. 38. S. 99.

** Ebenda, S. 169.

*** Vgl. W.I. Lenin: Konspekt zu Hegels „Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie“. A.a. O. S. 264.

**** Vgl. W.I. Lenin: Konspekt zur „Wissenschaft der Logik“. A.a.O. S. 170.

***** „In der Methode des Bearbeitens hat es mir großen Dienst geleistet, daß ich ... Hegels Logik wieder durchgeblättert hatte. Wenn je wieder Zeit für solche Arbeiten kommt, hätte ich große

«Анти-Дюринге» утвердил диалектику в самых общих чертах и развил ее на *примерах*. В «Диалектике Природы» блестящее *применение* к естествознанию. *Ленин* первый дал материалистическую интерпретацию *полностью*. Как мы уже указывали, он понял диалектически самое диалектику, он вскрыл аналитически ее различные стороны и объединил их синтетически в едином и многообразном понятии. *Ленин* вычерпал из *Гегеля* все, что можно и нужно было вычерпать касающегося диалектики как таковой. Было бы, конечно, школьным педанством утверждать что шестнадцать параграфов ленинских определений должны на-веки вечные быть удержаны в том же количестве и в том же порядке, – это значило бы, прежде всего, не понимать ни смысла, ни характера ленинских записей. Но нельзя отрицать, что здесь гениально схвачены все существенные моменты, стороны, червь диалектики, как науки, схвачены в их связи и схвачены так, что показано их познавательное значение. Блестяще понята и изложена и онтологическая, и методологическая сторона диалектики: прямо *осязает* ее глубоко-жизненное значение: то, что у *Гегеля*, в его идеалистической трактовке, формулировано в туманной игре абстрактнейших понятий, здесь у *Ленина* пульсирует, как ритмика многообразной и противоречивой, в противоположностях движущейся, *действительности*, со всеми ее «переходами и переливами»; и соответствующая универсальная «гибкость понятий» * выступает, как естественное методологическое требование, без выполнения которого познание бедно, ограничено и бледно.

Теория отражения, развитая *Лениным* еще в «Материализме и эмпириокритицизме» подвергается дальнейшей обработке, специально под углом зрения *диалектики*. Здесь неуместно снова низлагать ленинскую позицию: это мы делали на протяжении всей нашей работы. Однако, все же нужно подчеркнуть трактовку *Лениным* опосредствованного знания, познания, как *процесса*, как перехода ко все более глубоким «сущностям» и все более широким и общим связям; на трактовку общего, единичного и особенного; на отражение у *Ленина*, как на сводку законов, научную картину мира и т. д., а не как на простую феноменологию в духе наивного реализма; на диалектический переход от ощущений к мышлению и т. д. Теория

Lust, in zwei oder drei Druckbogen das Rationelle an der Methode, die H(egel) entdeckt, aber zugleich mystifiziert hat, dem gemeinen Menschenverstand zugänglich zu machen.“ K. Marx: Brief an F. Engels vom 14. Januar 1858. K. Marx/F. Engels: Briefwechsel. II. Band. Moskau/Leningrad 1936. S. 341.

* W.I. Lenin: Konspekt zur „Wissenschaft der Logik“. A. a. O. S. 100.

отражения *Ленина*, это отнюдь не элементарная и наивная теория простого зеркала. И «Философские Тетрадки» дают здесь богатейший материал для всякого, кто умеет читать и думать.

Мы считаем исключительно *важным* и *новым* положение *Ленина* о *многообразии* типов действительных связей, как моментов универсальной связи вещей и процессов, в противоположность одной *каузальности*. Ни у одного из марксистов этого не было. Положение это *Лениным* высказывается *впервые*, и все значение этого положения скажется не сразу. А оно чревато последствиями чрезвычайными: оно *по-новому* преодолевает узость, односторонность и ограниченность механического материализма, с его единым и *одним* типом казуальной связи, механической причинностью. *Ленин* ни капли не Уничтожает *монизма* и не впадает ни в какой плюрализм. Категория *необходимости* и *всеобщности* диалектических законов суть проявления *единства* закономерностей, а различие *типов связи* есть проявление *многообразия* в этом единстве. Это и есть истинно диалектическое понимание универсальной связи. Одно это ленинское положение означает громаднейший шаг вперед. Оно сразу смыкает диалектику с такими областями, как, например, *математика*, этот камень преткновения для казуальности; оно дает возможность более тонко и правильно поставить вопрос о *физическом* и психическом (важнейший вопрос всей философии!); оно дает возможность рационального решения ряда проблем современной теоретической *физики* и т. д. Здесь *Ленин* производит целый переворот и гигантски обогащает философию марксизма: нужно только понять это ленинское положение во всей его глубине во всем его теоретическом значении. Для всякого теоретического естествознания математики это, – настоящий вклад и вместе с тем драгоценнейший вклад в философию диалектического материализма.

В «Философских Тетрадках» развито и положение о теоретико-познавательном значении *практики, техники* и т. д. Эта сторона дела, лапидарно сформулированная *Марксом* в «Немецкой идеологии» (которой *Ленин* не мог знать, ибо она была опубликована только после его смерти) и в тезисах о Фейербахе развивалась *Энгельсом* в «Анти-Дюринге». На *идеалистический* и *антидиалектический* лад она развивалась *А. Богдановым* и сторонниками прагматизма. Ортодоксальные марксисты касались этой темы, как это ни странно, довольно поверхностно. *Ленин впервые* поставил этот вопрос и материалистически, и диалектически одновременно, то есть во всей его философской глубине. Техника в теории познания – батюшки

святы! Ведь, эти грубость! Но у *Ленина* это глубоко-продуманная теоретическая мысль, а не случайность и не выкрутас. Чем больше мы будем идти по пути объединения теории и практики, тем яснее будем вырисовываться перед нами вся действительность и вся действенность этой постановки вопроса.

Смычка с *практикой* у *Ленина* шла и во всем объеме его деятельности и мышления, ибо диалектика *мысли* переходила у него в диалектику *действия*, в революционную практику переворота и социалистического преобразования мира. *Ленин* был живым олицетворением единства интеллекта и воли, теории и практики, познания и действия. Учение о субъекте *познаний* дополнилось у него учением о субъекте *действия*, и никто, кроме него, не разработал так замечательно и так конкретно теорий пролетариата, как субъекта революционного преобразовательного процесса. Его диалектика переходила, через диалектически построенную стратегию и тактику, к диалектике действия, всегда успешного и мудрого, гениальному по своему размаху принципиальности, конкретности, полной адекватности данной обстановке. Это, конечно, тема особая, и здесь не место ей разрабатывать. Но важно, однако, подчеркнуть *единство* теории и практики, единство в руководстве, которое обеспечило пролетариату победы столь блестящие в условиях столь трудных и сложных.

На долю ленинского гения выпала *эпоха перехода* к социализму, и он воплощал эту бурную эпоху в ее мощных движениях. Пролетариату противостояли условия, которые нужно было сломить, стихия, которую нужно было познать и преодолеть, стихийные силы, которые нужно было организовать. Победоносная революция пролетариата, под руководством *Ленина*, величайшего диалектика-материалиста и величайшего мастера диалектического действия, блестяще решала свои многотрудные задачи, и большевизм вырос в мировую силу, а марксизм-ленинизм в мировую идеологию сотен миллионов трудящихся; он стал официальной доктриной, идеологической стороной, мировоззрением нового мира, мира социализма. *Ленину* не удалось дожить до окончательного решения важнейшего вопроса революции: «Кто кого?». При его жизни социализм был только «сектором» народного хозяйства. Еще сильны были хозяйственные и социальные стихии. Еще далеко не все подчинил себе социалистический разум плана. Еще не превратилось общество в телеологическое единство, где необходимость сразу переходит в телеологию. Но предпосылки этого были уже созданы. Пустая болтовня о «ненужности» философии для практики, болтовня

филистеров и кустарей мысли и недомыслия, была опровергнута. Гений *Ленина* отлетел. Но эпоха создает себе нужных людей, и новые шаги истории выдвинули на его место *Сталина*, центр тяжести мысли и действия которого – следующий перевал истории, когда социализм победил, под его руководством, навсегда. Все основные жизнедеятельные функции синтезированы в победоносном завершении великих сталинских пятилеток, и теория объединяется с практикой во всем гигантском общественном масштабе и в каждой клеточке общественного организма. Новые мировые вопросы называют, как вопросы мировой победы социализма и его молодой жизнерадостной культуры.

7–8–XI–37, в дни 20-летия великой победы.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Диалектический материализм – философия марксизма-ленинизма, научное мировоззрение, всеобщий метод познания мира, наука о наиболее общих законах движения и развития природы, общества и мышления. С.30.

2. «Арабески» – (франц. arabesque, букв. арабский), насыщенный, сложный орнамент, основанный на прихотливом переплетении геометрических и стилизованных растительных мотивов, порой включающие надпись. Сложился в арабском искусстве. С.30.

3. Апокалипсис – (греч. apokalypsis – откровение), последняя из книг Нового завета (сер.68 – нач. 69 гг.). Содержит пророчества о «конце света», о борьбе между Христом и Антихристом, «страшном суде», «тысячелетнем царстве божьем». Церковь приписывает авторство Иоанну Богослову. С.30.

4. Эсхатология – (от греч. eschatos – последний, и logos – слово. учение), религиозное учение о конечных судьбах мира и человека. С.31.

5. Мессианиззм – (от др. – евр. машиах, буквально – помазаннык), в некоторых религиях, главным образом, в иудаизме и христианстве «ниспосланный богом», «спаситель», долженствующий «навечно» установить свое царство. С.31. |

6. Фонвизинский недоросль – имеется ввиду произведение Фонвизина Д. И. (1744 или 1745–1792) «Недоросль» (пост. 1782). С.31.

7. A posteriori – (лат. из последующего), исходя из опыта, на основании опыта. С.31.

8. Тролли – в скандинавских народных поверьях сверхестественные существа (чаще всего великаны), обычно враждебные людям. С.32.

9. Н. И. Бухарин цитирует по памяти. Правильно: «Идеи никогда не могут выводить за пределы старого мирового порядка во всех случаях они могут выводить только за пределы старог мирового порядка. Идеи вообще ничего не могут осуществить. Для осуществления идей требуются люди, которые должны употребить практическую силу». (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Изд. – М., 1955. Т.2. С.132.) С.32.

10. Роман Гельдерлина «Гиперион, или гречески отшельник» («Hyperion oder der Eremit in Griechenland») (1794) С.32.

11. Фашизм – (итал. fascismo, от fascio – пучок, связ объединение), политическое течение. С.32.

12. «Домострой» – старинный русский свод житейских правил. Бухарин цитирует по памяти. Правильно: «И не ослабляй, бия младенца: аще бо железом биши его, не умрет, но здоров будет, ты бо, бия его по телу, а душу его избавлявши от смерти». С.32.
13. Ignorantia non est argumentam – (лат. незнание – не довод). С.33.
14. Кантианство – критицизм; 1) учение Канта. 2) совокупность учений, примыкающих к учению Канта. С.33.
15. Позитивизм – (франц. positivisme, от лат. positivus положительный), философское направление, пытающееся возвыситься над материализмом и идеализмом. С.33.
16. Агностицизм – (от греч. agnostos – недоступный познанию), философское учение, согласно которому не может быть окончательно решен вопрос об истинности познания окружающей человека действительности. С.33.
17. Феноменализм – субъективно-идеалистическое учение, согласно которому познание имеет дело не с объектами материального мира, существующими независимо от сознания, а лишь с совокупностью элементарных чувственных компонентов (ощущений, «чувственных данных», сенсibiliй и и т. п.) С.33.
18. Сфинкс – 1) в греческой мифологии полуженщина, полульвица, обитавшая на скале близ Фив, задавала проходящим неразрешимую загадку и затем, не получив ответа, пожирала их; 2) в Др. Египте статуя фантастического существа с телом льва и головой человека, реже – животного. С.33.
19. Фата-Моргана – (лат. fata Morgana фея Моргана, обманывающая путешественников призрачными видениями), сложный мираж быстро изменяющийся. С.34.
20. Солипсизм – (лат. solus единственный + ipse сам), 1) крайняя форма субъективного идеализма, 2) в этическом смысле – крайний эгоизм, эгоцентризм. С.34.
21. Transensus – (лат. trans передача; sensus – чувство) передача чувств, переход. С.35.
22. Метафизика – (от греч. meta phisika – после физики), 1) философское учение о сверхчувствительных (недоступных опыту) принципах бытия; 2) противоположный диалектике философский метод, рассматривающий явления в их неизменности и независимости друг от друга, отрицающий противоречия как источник их развития. С.35.
23. Salto vitale – (лат. сальто жизни). С.35.
24. Катехизис – (от гр. katechesis – поучение), 1) религиозная книга; изложение христианского вероучения в форме вопросов и ответов; 2) изложение основ какого-либо учения в форме вопросов и ответов. С.36.
25. Эмпириокритик – последователь эмпириокритицизма. Эмпириокритицизм – (гр. empeiria опыт+критицизм), махизм – субъективно-идеалистическое учение к. 19 в., возглавлявшееся Э. Махом и Р. Авенариусом. С.36.
26. Эмпириомонизм – (гр. empeiria опыт+monos один), субъективно-идеалистические воззрения А. Богданова, сводящего физическое к психическому, разновидность эмпириокритицизма. С.36.
27. Эмпириосимволизм – (гр. empeiria опыт+символ), разновидность эмпириокритицизма, разработан П. С. Юшкевичем, рассматривавшим мир как совокупность символов опыта (ощущений). С.36.
28. Теология – (гр. theologia, theos бог+logos учение), совокупность религиозных доктрин о сущности и действии бога. В строгом смысле о Т. принято говорить применительно к иудаизму, христианству, исламу. С.36.
29. Идеализм – (франц. idealisme, от гр. idea идея), общее обозначение философского учения, утверждающего, что дух, сознание, мышление, психическое – первично, а материя, природа – вторично, произвольно. С.36.
30. Богостроительство – философско-этическое течение, возникшее в 1-м десятилетии XX в. в России; пыталось соединить научный социализм с религией. С.36.
31. Богоискательство – религиозно-философское течение в среде русской либеральной интеллигенции, проповедовавшее; обновление христианства. С.36.
32. Речь идет о В. И. Ленине. С.36.

33. Salto mortale – (лат. смертельное сальто). С.36.
34. Mutatis mutandis – (лат. с соответствующими изменениями). С.36.
35. Der langen Rede kurzer Sinn – (нем. суть дела). С.37.
36. Ab ovo – (лат. «От яйца»), т. е. с самого начала, с того, что было в самом начале. С.37.
37. Эмпиризм – (гр. *empeiria* опыт), философское учение признающее чувственный опыт единственным источником знаний. С.37.
38. Дальтонизм – (частичная цветовая слепота) наследственное нарушение цветового зрения у людей заключающееся в неспособности различать некоторые цвета. С.38.
39. Volens-nolens – (лат. волей-неволей, хочешь-не хочешь). С.39.
40. Tatti quanti – (лат. им подобных). С.39.
41. Скептицизм – (от гр. *skeptikos* разглядывающий, следующий), философская позиция, характеризующаяся сомнением в существовании какого-либо надежного критерия истины. Крайняя форма – агностицизм. С.40.
42. Субъективный идеализм – одна из основных разновидностей идеализма; в отличие от объективного идеализма, отрицает наличие какой-либо реальности вне сознания субъекта, либо рассматривает ее как нечто полностью определенное его активностью. С.40.
43. Субстрат – (от познелат. *substratum* основа) (биол.). 1) химическое вещество, подвергающееся превращению под действием фермента; 2) основа (предмет или вещество) к которой прикреплены животные или растительные организмы, а также среда постоянного обитания и развития организма. С.40.
44. Onus probandi – (лат. бремя доказательств), обязанность приводить доказательства – обязанность одной из двух спорящих сторон подкрепить позицию положительными доводами. С.41.
45. Quasi – (лат. как бы, будто бы; иногда мнимый, мнимо). С.41.
46. Андрогин – (греч. *androgyynos* двуполоый). С.41.
47. Se po e vero, e ben trovato – (ит. Если и не неправда, то хорошо придумано). С.42.
48. Спиритуализм – (от лат. *spiritualis* духовный), объективно-идеалистическое философское, воззрение, рассматривающее дух в качестве первоосновы действительности, как особую бестелесную субстанцию, существующую независимо от материи. С.42.
49. Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas – (лат. Пусть не хватает сил, но (самое) желание заслуживает похвалы). С.42.
50. Als Ob – (нем. Как будто, фикция). С.43.
51. Спиритизм – (от лат. *spiritus* душа, дух), мистическое течение, связанное с верой в загробное существование душ умерших и характеризующееся особой практикой «общения» с ними. С.43.
52. Монада – (от гр. *monas*, единица, единое), понятие, обозначающее в различных философских учениях основополагающие элементы бытия. С.43.
53. Ассимиляция – (от лат. *assimilato*), уподобление, слияние, усвоение. С.44.
54. Prius – (лат. Более раннее, предшествующее), т. е. Исходное положение. С.44.
55. Гипостаз – (от гипо... и греч. *stasis* застой), застой крови нижележащих частях тела или органах. С.45.
56. Объективный идеализм одна из основных разновидностей идеализма; в отличие от субъективной идеализма, считает первоосновой мира некое всеобщая сверхиндивидуальное духовное начало («идея», «мировой разум» и т. п.). С.45.
57. Трансформация – (от познелат. *transformed* превращение). С.45.
58. Квиетизм – (от лат. *quietus* спокойный), безмятежные религиозное учение, доводящее идеал пассивного подчинения воле бога до требования быть безразличным к собственному «спасению». С.45.
59. Атараксия – (гр. *ataraxia* невозмутимость), понятие др.-гр. этики о душевном спокойствии, безмятежности как высшей ценности. С.45.
60. Стоицизм – (от гр. *stoa* портик (галерея с колоннами в Афинах, где учил философ Зенон, основатель С.)), направление античной философии. С.45.

61. En passant – (фр. мимоходом). С.45.
62. Стоический – мужественный, стойкий в жизненные испытаниях. С.45.
63. Гегель. «Лекции по истории философии». – М., 1932. Т.Х. С.407. С.46.
64. Бухарин цитирует по памяти. Правильно: Я предоставляет несущественному содержанию исчезать в его мышлении, но именно этим оно есть сознание несущественное оно провозглашает абсолютное исчезновение: оно провозглашая ничтожество видения, слышания и т. д., а само оно видит, слышит и т. д.; оно провозглашает ничтожество нравственного существования и в то же время само подчиняет свои поступки власти. Его действие и его слова находятся всегда в противоречии друг с другом, и точно так же у него самого двойственное противоречащее сознание – сознание неизменности и равенства одной стороны) и полной случайности и неравенства себе другой)». (Гегель. «Феноменология Духа». Соч. – М. 1959. Т. IV. С.111 С.46.
65. Гегель. Там же. С.112. С.46.
66. Платон. Сочинения в 3-х томах. Под общ. ред. А. Ф. Лосе и В. Ф. Асмуса. – М.: 1971. Т. 3, ч.1. Кн.7. С.321. (Символ пещеры). С.
67. Abdenken – (нем. осмысливать). С.48.
68. Иррационализм – (от лат. irrationalis неразумный, бессознательный), обозначение идеалистических течений философии, которые, в противоположность рационализи ограничивают или отрицают возможность разума в процессе познания и делают основой миропонимания нечто недоступное разуму или иноприродные ему, утверждая аналогичный и иррациональный характер самого бытия. С.49.
69. Ignoramus et ignorabimus – (лат. Мы не знаем и никогда не узнаем). С.49
70. Троп – (гр. tropos), слово или выражение, употребленное в переносном значении для достижения большей выразительности. С.49.
71. В указанном сочинении цитата не обнаружена. С.49.
72. Априори – (от лат. a priori из предшествующего), понятие логики и теории познания, характеризующее знание, предшествующее опыту и независимое от него; введено в средневековой схоластике в противоположность апостериори. С.49.
73. В указанном сочинении цитата не обнаружена. С.49.
74. Ergo – (лат. Вследствие этого, поэтому; итак). С.51.
75. Realiter – (фр. реальность, действительность, подлинность, реальная вещь, факт). С.51.
76. Caput mortuum – (лат. Мертвая голова). С.51.
77. Leere Abstraktion («wahrheitslose leere Abstraktion») – (нем. Пустая абстракция, лишенная истины). С.51.
78. В указанном произведении цитата не обнаружена. С.51.
79. Силлогизм – (гр. syllogismos), рассуждение, в котором две посылки, связывающие субъекты (подлежащие) и предикаты (сказуемые), объединены общим (средним) термином, обеспечивающим «замыкание» понятий (терминов) в заключении. С.52.
80. Unding – (швейц. Очень, весьма). С.53.
81. Бухарин цитирует по памяти. Правильно: «...связь с Другой [вещью] есть прекращение для-себя-бытия. Именно благодаря абсолютному характеру и своему противоположению она находится в отношении к другим [вещам] и по существу есть только это нахождение в отношении; но отношение есть негация ее самостоятельности, и вещь, напротив, погибает из-за своего существенного свойства». (Гегель. Сочинения. – М., 1959. Т. IV. С.68); С.55.
82. Ignorabimus – (лат. Мы это не узнаем). С.58.
83. Impavide progrediamur – (лат. Без колебаний (бесстрашно) пойдем вперед. С.58.
84. Жупел – 1) по христианским религиозным представлениям, горящая сера, смола для грешников в аду; 2) то, что вызывает страх, ужас, чем пугают кого-либо. С.58.
85. Materialismus militans – (лат. воинствующий материализм). С.58.
86. Ноумен – (гр. noumenon), в философии Канта непознаваемая «вещь в себе». С.58.

87. Предикат – (от лат. *proedicatum* сказанное), в узком смысле – то же, что и свойство; в широком смысле – отношение т. е. свойство нескольких предметов. С.60.
88. Гегель. «Философия Природы». Т. II. С.42. С.60.
89. Там же. С.43; С.60.
90. Там же. С.44; С.60.
91. Корпускула – (от лат. *corpusculum* частица), частица в классической (неевклидовой) физике. С.61.
92. Энтелехия – (от гр. *entelecheia* завершенности осуществленность), понятие Аристотеля, означающИ осуществление какой-либо возможности бытия. С.61.
93. Гегель. «Философия Природы». Т. II. С.50. С.62.
94. Гегель. «Философия Природы». Т. II. С.49. С.63.
95. Журнал «Erkenntnis» – «Познание». С.64.
96. *Umformung* – (нем. Преобразование). С.64.
97. *Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu, nfi intellectus ipse* – (лат. Нет ничего в уме, чего бы не было раньше в ощущениях, кроме самого ума). С.64.
98. Гегель. Сочинения. Т. II. С.10, 11. Курсив Бухарина. С.6аН
99. Ленин В. И. ПСС. Т.29. С.163. С.67.
100. Волюнтаризм – (от лат. *voluntas* воля), термин введен Р. Теннисом в 1883. 1) идеалистическое направление | философии, рассматривающее волю в качестве высшей принципа бытия; 2) деятельность, не считающаяся с объективными законами исторического процесса и характеризующаяся произвольными решениями, осуществляющей ее лиц. С.68.
101. Прагматизм – (от гр. *pragma* дело, действие) субъективно-идеалистическое философское учение. С.68.
102. Naturphilosophie – (нем. *Naturphilosophie*), философии природы, умозрительное истолкование природы, рассматриваемое в ее целостности. С.68.
103. Дуализм – (от лат. *dualis* двойственный), философское учение, исходящее из признания равноправными двух начал духа и материи, идеального и материального. Термин введен Х. Вольфом. С.69.
104. Интроекция – (от лат. *intra* внутрь и *jasio* бросаю, кладу (психол.) включение индивидом в свой внутренний мир воспринимаемых им взглядов, мотивов и установок других людей основа идентификации. С.60. С.69.
105. Механический материализм – то же, что метафизика.
106. Вульгарный материализм – (от лат. *vulgaris* обыкновенный, простой), течение в буржуазной философии сер. 19 в (упрощение положения старого материализма, отвергал диалектику, оставаясь на позициях метафизики и механицизма). С.69.
107. Панлогизм – (пан+гр. *logos* разум), идеалистическое философское учение согласно которому, бытие есть воплощение разума, законы бытия определяются законами логики, которые являются основой и движущей силой развития всего существующего. С.70.
108. Ленин В. И. ПСС. Т.29. С.60. С.70.
109. Ленин В. И. ПСС. Т.29. С.51,52. С.70.
110. Наивный реализм – стихийно складывающееся и закрепляющееся в обыденной практике представление о том, что все характеристики внешнего мира, данные в жизненном опыте, адекватно и исчерпывающе выражают объективную реальность. С.70.
111. *Dichtung und Wahrheit* – (нем. Вымысел и правда). С.71.
112. Пантеизм – (от гр.), философское учение, отождествляющее бога и мир. Термин «пантеист» был введен англ. философом Дж. Толандом (1705), а термин П. – его противником нидерл. теологом Й. Фаем. С.71.
113. Гилозоизм – термин введен Кедвортом в 1678 для обозначения натурфилософских концепций (преим. ранних гр. философов), отрицавших границу между «живым» и «неживым» и полагающих «жизнь» имманентным свойством праматери. С.71.
114. Гегель. Сочинения. – М.–Л., 1934. Т. II. С.11. С.71.

115. Эстетика – (гр. *aisthetikos* относящийся к чувственному восприятию), философская дисциплина, изучающая выразительные формы, соответствующие представлениям о прекрасном, безобразном, возвышенном и т. д. С.72.

116. Сенсуализм – (от лат. *sensus* восприятие, чувство), направление в теории познания, согласно которому чувственность (ощущения, восприятия) являются основой и главной формой познания. С.72.

117. *In nuce, in potentia* – (лат. В орехе, т. е. в зародыше, потенциально, в возможности). С.74.

118. Асимптотический – (гр. *asymptotos* несопадающий), (мат.) неограничено приближающийся С.74.

119. Гипостазировать – (гр. *gypostasis* сущность, субстанция), "Риписывать отвлеченным понятиям самостоятельное существование, рассматривать общие свойства, отношения и качества как самостоятельно существующие. С.74.

120. Номинализм – (лат. *nomina* название, имена), направление в средневековой философии, согласно которому общие понятия являются лишь именами единичных предметов. С.74.

121. Реализм – (от познелат. *realis* вещественный, действительный), в философии – идеалистическое направление, признающее лежащую вне сознания реальность, которая истолковывается либо как бытие идеальных объектов, либо как, объект познания, независимый от субъекта, познавательного процесса и опыта. С.74.

122. В указанном сочинении цитата не обнаружена. С.75.

123. Корреляция – (от познелат. *correlatio* соотношение). С.75.

124. Ленин В. И. ПСС. Т.29. С.318. С.76.

125. *Sic* – (лат. Так). С.76.

126. Бухарин цитирует по памяти. Правильно: «...соглашаются с тем, что роды представляют собою не только совокупность сходных признаков, созданную нами абстракцию, что они обладают не только общими признаками, а являются подлинной внутренней сущностью самих предметов; и точно также порядки служат не только для облегчения нам обзора животных, но и представляют собой ступени лестницы самой природы». (Гегель. Сочинения. – М.–Л., 1934. Т.II. С.15). С.77.

127. *Sui generis* – (лат. Своего рода, особого рода, своеобразный). С.77.

128. *Causa. sui* – (лат. Причина самого себя, первопричина). С.78.

129. Ленин В. И. ПСС. Т.29. С.209. Курсив Бухарина. С.78.

130. Бухарин цитирует по памяти. Правильно: «...тот, кто не ощущает, ничего не познает и ничего не понимает; если он что-нибудь познает то необходимо, чтобы он это познал также в качестве представления: ибо представления, это – то же, что ощущения, только без материи...» (Ленин В. И. Т.29. С.262). С.79.

131. Лапидарность – (от лат. *lapidarius* каменотес, резчик по камню), краткость, сжатость, выразительность слога, стиля. С.84.

132. *Abstrus* – (нем. запутанный, бессмысленный, непонятный). С.85.

133. *Michel* – (нем. простодушный, простофиля). С.85.

134. Имманентный – (от лат. *immanens* пребывающий в чем-; либо, свойственный чему-либо), нечто внутреннее, присущее какому-либо предмету, явлению, процессу. С.86.

135. Гегель. Сочинения. – М.–Л., 1934. Т.II. С.368. Курсив Бухарина. С.86.

136. Антропоморфизм – (от антропо – и греч. *morphos* – форма, вид), уподобление человеку, наделение человеческими свойствами (напр. сознанием) предметов и явлений неживой природы, небесных тел, животных, мифических существ. С.86.

137. *Corpus sanum* – (лат. здоровое тело). С.87.

138. *Mens sana in corpus sano* – (лат. «Здоровый дух в здоровом теле). С.87.

139. Неогегельянство – разнородное течение идеалистической философии к. 19 – 1-й трети 20 вв., для которого характерно стремление к созданию целостного мировоззрения на основе возрождения учения Гегеля. С.88.

140. Сикофант – (гр. *sukorphantes*), в древних Афинах – профессиональный доносчик, клеветник и шантажист. С.89.
141. Гегель. «Философия Природы». Т.II. С.16. С.90.
142. Вивисекция – (от лат. *vivus* – живой и *sectio* – рассечение), операция на живом животном с целью изучения функций организма, действия на него различных веществ, разработки методов лечения и т. п. С.90.
143. *Con amore* – (ит. С любовью, с сочувствием). С.90.
144. Гегель. Там же. С.17. С.90.
145. Речь идет о стихотворении Е. Баратынского «На смерть поэта» (апрель–май 1832). С.90.
146. Антиномия – (гр. *antipomia* противоречие в законе), противоречие между положениями, каждое из которых признается логически доказуемым. С.91.
147. *A limine* – (лат. С порога): сразу же, немедленно, решительно. С.91.
148. Гегель. Сочинения. – М.–Л., 1934. Т.II. С.10. Курсив Бухарина. С.91.
149. Бухарин цитирует по памяти. Правильно: «Природное единство мышления и созерцания есть единство, которое мы находим у ребенка, у животного, это – единство, которое в лучшем случае можно назвать чувством, но не духовностью...» Гегель. Сочинения. – М.–Л., Т.II. 1934. С.13, 14.
150. Гносеология – (от гр. *gnosis* познание и... логия), то же, что теория познания. С.93.
151. Ландскнехт – (нем. *Landsknecht*), немецкий наемный пехотинец в 15–17 вв. С.94.
152. *Scientia* – (лат. знание), наука. С.94.
153. *Potentia humanum* – (лат. человеческая сила). С.94.
154. *Glaubens und Gefulpsphilosophie* – (нем. Вера к чувственной философии). С.94.
155. *Kraft-Mensch* – (нем. Энергичный человек, силач). С.94.
156. *Kraft-Weil* – (нем. Безвольный, досужий человек). С.94.
157. Молох (гр.), Молах (евр.). До сер. 20 в. считалось в Палестине, Финикии и Карфагене божество, которому приносились человеческие жертвы, особенно детей. С.94.
158. Имеется в виду «Богословско-политический трактат». Спиноза. Сочинения. Т.2. С.94.
159. Теодицея – (фр. *theodicee* оправдание бога, от гр. *theos* – бог и *dike* справедливость), общее обозначение религиозно-философских доктрин, стремящихся согласовать идею благого и всемогущего бога с наличием мирового зла, «оправдать» бога как творца и правителя мира вопреки существованию темных сторон бытия. Термин введен Г. Лейбницем (1710). С.94.
160. Маркс К. «Капитал», – М. 1988. Т. II. С.244. С.96.
161. В указанном произведении цитата не обнаружена. С.96.
162. Катаlepsия – (от гр. *katalepsis* захват, утверждение), двигательное расстройство – застытие человека в принятой им или приданной ему позе (т. н. «восковая гибкость»). С.96.
163. Онтология – (от гр. *ontos* сущее и... логия), раздел философии, учение о бытии, в котором исследуются всеобщие основы, принципы бытия, его структура и закономерности. С.96.
164. *(In) hoc signo vinces* (лат. «Сим (знаменем) победиши») под этим знаменем победишь. С.96.
165. Гегель. Сочинения. – М.–Л., 1934. Т. II. С.8. С.99.
166. Бухарин Н. И. цитирует по памяти. Правильно: «...плуг почтеннее, чем непосредственно те наслаждения, которые подготавливаются им и являются целями.» (Гегель. – М., 1939. Т.II. С.205). С.99.
167. *In actu* – (лат. В действии, в проявлении). С.100.
168. Ф. Бэкон «Новый Органон, или Истинные указания для истолкования природы» (1620, рус. пер. 1935). С.100.
169. Актуализм – (от позднелат. *actualis* действительный, также современный, наличный), субъективно-идеалистическое учение, абсолютирующее принципы деятельности и отождествляющие реальность с активностью субъекта. С.101.
170. Ленин В. И. ПСС. – М. 1977. Т.29. С.200 С.101.

171. Антиципация – (наТ. *anticipatio*: 1) предвосхищение, 2) преждевременное наступление какого-либо явления). С.102.
172. Джемс «Многообразие религиозного опыта». – М., 1910. С.103.
173. *Sit venia verbo* – (лат. «Пусть это слово будет принято снисходительно»), т. е. с позволения сказать, позволено мне будет так сказать, да простится мне), это выражение: не во гнев будет сказано. С.104.
174. Эманация – (от познелат. *emanatio* истечение) исхождение чего-либо из некоего иного; центральное понятие платонизма, означающее происхождение («истечение») ножества эсех отдельных вещей из Единого. С.104.
175. *Im Werden* – (нем. В процессе возникновения, в становлении). С.106.
176. *Potentia* – (лат. 1. Сила, власть; 2. Потенциально, в возможности). С.106.
177. «Органическая школа» в социологии, направление в буржуазной социологии к. 19 – нач. 20 вв., отождествляющее общество с организмом и пытавшееся объяснить социальную жизнь биологическими закономерностями. С.107.
178. О. Шпанн – см. Именной указатель. С.107.
179. *Herrschafts und Khechtschaftsverhältnis* – (нем. господство и кабальные условия) С.109.
180. Анимизм – (от лат. *anima, animus* душа, дух), вера в существование душ и духов, обязательный элемент всякой религии. С.109.
181. *Stricto, strictissimo sensu* – (лат. В строгом (узком) строжайшем смысле (слова)). С.109.
182. Гедонизм – (от гр. *hedone* удовольствие), направление в этике, утверждающее наслаждение, удовольствие как высшую цель и основной мотив человеческого поведения. С.110.
183. Аскетизм – ограничение или подавление чувств, желаний, добровольное перенесение физической боли, одиночества и т. п., присущее практике философской школы (направление киников) и особенно различных религий (монашество и т. п.). С.110.
184. Картезианство – направление в философии и естествознании 17–18 вв., теоретическим источником которого были идеи Декарта. Ортодоксальное К. характеризуется дуализмом – разделением мира на две самостоятельные (независимые) субстанции – протяженную и мыслящую, при этом проблема их взаимодействия в мыслящем существе оказалась в принципе неразрешимой в К. С.114.
185. Аффигирование – (от лат. *afficio* – причиняю, влияю, действую), понятие философии Канта, означающее воздействие внешнего объекта («вещи в себе») на душу, обладающую способностью чувствительного восприятия. Термин берет начало в поздней схоластике. С.115.
186. Панпсихизм – (от гр. *pan* – все и – душа), реалистическое представление о всеобщей одушевленности природы. С.115.
187. *Ad maiorem Dei gloriam* – (лат. К вящей славе божией). С.116.
188. Телеология – (лат. *teleos* – цель + логия), идеалистическое учение о цели и целесообразности. С.117.
189. *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Т.2. – М.: ГИПЛ, 1955. Святое семейство или критика критической критики, Против Бруно Бауэра и компании. С.210. С.117.
190. В указанном сочинении цитата не обнаружена. С.118.
191. Шеллинг. Общая дедукция динамического процесса. (*Allgemeine Deduktion des dynamischen Prozesses*. 1800. Bd.1. Н.2) С.118.
192. Ленин В. И. ПСС. Изд.5. – М.: Полит. лит. 1977. Т.29. С.322. С.118.
193. *Uberschwenglich* – (нем. чрезмерный, преувеличенный, безмерный), термин, употребляемый И. Дидженом при характеристике отношения абсолютной и относительной истине материи и духа и т. п. С.118.
194. Ионисты – досократики (Нем. *Vorsokratiker*; франц. *presocratiques*; англ. *presokraties*), новоевропейский термин для обозначения ранних греческих философов 6–5 вв. до н. э., а также их ближайших преемников в 4 в. до н. э., не затронутых влиянием аттической «сократич.» традиции. С.120.

195. Витализм – (от лат. *vitalis* – жизненный, живой, *vita* – жизнь), учение о качественном отличии живой природы от неживой, о принципиальной несводимости жизненных процессов силам и законам неорганического мира, о наличии в живых телах *j* особых факторов, отсутствующих в неживых. С.120.

196. *Ламарк Ш.* Философия зоологии. Пер. с франц. С. В. Сапожникова. Ред. и вст. статья Вл. Карпова. – М.: Наука, 1911. С.166. С.120.

197. Бухарин цитирует по памяти. Правильно: «Разумеется, не к такой гипотезе приводят нас результаты изучения природы. Наоборот, оно показывает нам, что всюду, где какой-нибудь орган перестает существовать, там пропадают также и способности, связанные с ними. Животное, не имеющее глаз, ни в коем случае не может видеть...» С.167. С.120.

198. *Авенариус Р.* Критика чистого опыта. Пер. с нем. И. Федорова. Т.1. Пер. со 2-го нем. изд., испр. И. Петцольдом по указаниям, оставшимся после смерти автора. – СПб.: Шестаковский и Федоров, 1907. С.473. С.121.

199. В указанном сочинении цитата не обнаружена. С.121.

200. *Revenons a nos moutons* – (франц. Возвратимся к, нашим баранам), т. е. продолжим начатый разговор, не буде отвлекаться оттого, о чем говорили. С.123.

201. Гелио – (от гр. *helios* Солнце), часть сложных слов, означающая: относящийся к Солнцу, солнечным лучам, солнечной энергии. С.123.

202. Геотропизм – (от гео- и тропизм), ростовые движения органов растений под влиянием силы земного тяготения. С.123.

203. *Куцевский И. А.* Николай Негорев или благополучный россиянин. Со вступительной статьей А. Г. Горнфельд. – М.: 1917. С.164. С.125.

204. Имеется в виду роман А. Дюма «Королева Марго». С.124.

205. *Universitas regumet artuem* – (лат. заняться делом). С.125.

206. *Der Wunsch ist Vater des Gedankens* – (нем. Желание – отец мысли). С.126.

207. Писарев Д. И. Избранные философские и общественно-политические статьи. Под ред. и с предислов. проф. В. С. Кружкова. – ГИПЛ, 1949. С.40. С.126.

208. *Jenseits von Gut und Bosen* – (нем. По ту сторону добра и зла). С.126.

209. Лаццарони – (ит. *lazzarone*), название деклассированных люмпен-пролетарских элементов в Южн. Италии. С.126.

210. Лессинг. Европа и Азия. (*Europa und Asien*. 1918, 5 Ausf., 1939). С.127.

211. *Reisetagebuch eines Philosophen* – (нем. Дневник путешествующего философа). С.129.

212. *Sit venia verbo* – (лат. С позволения сказать) С.131.

213. Цитата не обнаружена. С.134.

214. В указанном произведении цитата не обнаружена. С.134.

215. Речь идет о сочинении Шеллинга «Общая дедукция динамического процесса или категорий физики»(1800). С.134.

216. Бухарин цитирует по памяти. Правильно: «Разум есть достоверность сознания, что оно есть вся реальность; так идеализм провозглашает свои понятия». (Гегель. Сочинения. – М.: 1959. Т. IV. С.125). С.135.

217. Вербальный – (лат. *verbalis* устный, словесный). С.135.

218. *Profession de foi* – (франц. Исповедание веры). С.135.

219. Указанную цитату проверить не удалось. С.136.

220. Указанная цитата не обнаружена. С.136.

221. Цитата не обнаружена. С.136.

222. В указанном сочинении цитата не обнаружена. С.137.

223. Имеется в виду термин Беме «мука матери». С.137.

224. В указанном сочинении цитата не обнаружена. С.139.

225. Цитата не обнаружена. С.140.

226. *Фишер К.* История новой философии. Пер. с нем. Юбилейн. изд. – СПб.: Д. Е. Жуковский, 1901–1909. Т.1–8. Т.8. Гегель, е жизнь, сочинения, учение. С.140.
227. *Aufhebung* – (нем. Подъем) С.140.
228. *Beitrage zur Geschichte des Materialismus* – (нем. «Вклад в историю материализма»). С.140.
229. *Kraft und Stoff* – нем. «Сила и материя». Название пользовавшейся большим успехом у демократической молодежи 60-х гг. в России книги нем. популяризатора естественно-научных знаний вулгарного материализма Л. Бюхнера (1824–1899). У Тургенева в «Отцах и детях» – «Третьего дня, я смотрю, он Пушкина читает – продолжал между тем Базаров. – Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится... Дай ему что-нибудь дельное почитать... Я думаю, Бюхнерово “Stoff und Kraft” на первый случай». С.141.
230. *Сеченов И. М.* Рефлексы головного мозга. 1863, напечатана в 1866. С.141.
231. *L'homme machine* – (лат. человек-машина) С.143.
232. *Residium*– (лат. Здесь. Осадок). С.144.
233. *Gewinbringende sympathie* – (нем. Симпатия, приносящая прибыль). С.146.
234. Не известно, какую работу имеет в виду Н. И. Бухарин: «*Der Historismus und seine Probleme*» («Историзм и его проблемы»), – В., 1922; или «*Der Historismus und seine Uberwindung*» («Историзм и его преодоление», – В., 1924, опубл. посм.). С.146.
235. Владимир Ильич – речь идет о В. И. Ленине. С.147.
236. *Ленин В. И.* ПСС. – М.–Л.: Полит. лит., 1977. Изд. 5. Т.29. С.146. С.147.
237. См. примечание 25. С.147.
238. *Гегель Г.* Сочинения. Под ред. и с вступ. статьей А. А. Максимова. – М.–Л., 1934. Т.П. С.459. С. 148.
239. Конвенционализм – (от лат. *conventio* соглашение), направление в философском истолковании науки, согласий которому в основе математической и естественно-научной теории лежат произвольные соглашения (условности, определения, конвенция между учеными), выбор которых регулируется лишь соображениями удобства, целесообразности, «принципом, экономии мышления» и т. п. С.148.
240. *Sui generis* – (лат. Своего рода, особого рода, своеобразный). С.151.
241. Н. Бельтов – см. Г. В. Плеханов. С.151.
242. Работа Плеханова Г. В. «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» (1895). С.151.
243. *Cum grano salis* – (лат. «С крупинкой приправой»), т. е. с солью остроумия, иронически, насмешливо или оптически, с некоторой поправкой, с известной оговоркой, с осторожностью. С.152.
244. В указанном произведении цитата не обнаружена. С.153.
245. *Гегель.* Сочинения. – М.–Л., 1934. Т.П. С.90. 155.
246. Бухарин цитирует Аристотеля по «Лекции по истории философии» Гегеля. (*Гегель.* Сочинения. – М., 1932. Т.Х. С.259–260. Курсив Бухарина). С.156.
247. См. у Гегеля в указанном сочинении Т.Х. С.260. С.156.
248. *Petito principii* – (лат. В логике – ошибка в доказательстве, состоящая в допущении недоказанной предпосылки; вывод из недоказанного). С.157.
249. Бухарин цитирует Аристотеля по «Лекции по истории Философии» Гегеля. (*Гегель.* Сочинения. – М., 1932. Т.Х. С.260. Курсив Бухарина). С.157.
250. См. подробнее у Гегеля. (*Гегель.* Сочинения. – М., 1932. Т.Х. С.261). С.157.
251. *Гегель.* Сочинения. – М.–Л., 1934. Т.П. С.437С. 159.
252. *Ленин.* ПСС. Т.29. С.170 С.162.
253. *Ленин.* ПСС. Т.29. С.171 С.162.
254. «Этика» (*Ethika more geometriko demonstrata*. – Amst., 1677), главное произведение Спинозы. С.162.

255. Геркуланум, Геркуланиум (Herculaneum), – др. город в Кампании (Италия), на берегу Неаполитанского залива, у подножия Визувия. Возник как поселение осков в 7 в. до н. э. Разрушен 24 августа 79 н. э. во время извержения Везувия. С.162.
256. Бухарин цитирует по памяти. Правильно: «...ничего не делается без сознательного намерения, без желаемой цели». «...столкновение бесчисленных отдельных стремлений и отдельных действий приводят в области истории к состоянию, совершенно аналогичному тому, которое господствует в лишенной сознания природе. Действия имеют известную желаемую цель; но Результаты, на деле вытекающие из этих действий, вовсе нежелательны. А если вначале они, по-видимому, и соответствуют желаемой цели, то в конце концов они ведут совсем не к тем последствиям, которые были желательны». «...люди делают ее так: каждый преследует свои собственные, сознательно поставленные Цели...» (*Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии*). – М.: Полит. лит., 1981. С.42–43). С.164.
257. *Шпенглер О. Untergang des Abendlandes*. – Munch., 1936. («Закат Европы») С.165.
258. Фатализм – (лат. fatalis роковой), вера в неотвратимость судьбы, предопределение, рок. С.167.
259. Sapient sat – Dictum sapient sat – (лат. Сказание достаточно разумному). С.167.
260. *Гегель*. Счинения. – М.–Л., 1934. Т.II. С.488. С.170.
261. *Гегель*. Сочинения. – М.–Л., 1934. Т.II. С.492. С.170.
262. *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Изд.2-е. – М.: Политиздат, 1961. Т.XX. С.571. С.170.
263. Бухарин цитирует по памяти. Правильно: «Если химия удастся изготовить этот белок в том определенно виде, в которой он, очевидно, возник, в виде так называемой протоплазмы, – в том определенном или, вернее, неопределенном виде, в котором он потенциально содержит в себе все другие формы белка (причем нет нужды принимать, что существует только один вид протоплазмы), то диалектический переход будет здесь доказав также и реально, т. е. целиком и полностью. До тех пор дело остается в области мышления, alias гипотезы. Когда химий порождает белок, химический процесс выходит за своя собственные рамки...» (Там же). С.174.
264. «Физический» идеализм – идеалистическое философское течение, отрицающее объективный характер физического знания и провозглашающее «крах» материализма.
265. «Материализм и эмпириокритицизм» (1908). С.174.
266. *Файхингер Х. Philosophie des als Ob* («Философия фикций») (1877, изд. в 1911)). С.174.
267. Диалектический закон раздвоения единого – имеется виду закон единства и борьбы противоположностей. С.176.
268. *Энгельс*. Диалектика природы, заметки. – Л.: Партиздат, 1931. С.145. С.176.
269. *Гете. Zur Morphologie* (1817). Bd.I. S.VI. С.178.
270. Staatsbiologie – (нем. биология государства). С.179.
271. *Бунд В.* «Проблемы психологии народов». Перевод Н. Самсонова. – М.: Книгоиздательство «Космос», 1912. В указанное сочинении цитата не обнаружена. С.180.
272. Нуаре Л. *Der Ursprung der Sprache*. – Майнц, 1817 («Происхождение языков»). С.180.
273. Бухарин цитирует по памяти. Правильно: «Всякое слово (речь) уже обобщает». Курсив в тексте Бухарина (*Ленин. ПСС*. – М., 1977. Т.29. С.246). С.181.
274. *Ленин. ПСС*. – М., 1977. Т.29. С.286. С.182.
275. *Гегель*. Сочинения. – М.–Л., 1934. Т.II. С.487. С.183
276. Vice versa – (лат. Наоборот). С.183.
277. *Гегель*. Сочинения. – М.–Л., 1934. Т.II. С.18. Курсив Бухарина Н. И. С.183.
278. Бухарин цитирует по памяти. Правильно: «Абсолютная идея... есть тождество теоретической и практической идеи, каждая из которых, взятая отдельно, еще односторонняя...» (*Гегель*. Сочинения. Перевод Б. Г. Столпнера, просмотренный В. Брушлинским. Под ред. М. Б. Митина. – М., 1939. Т.VI. С.296). С.184.

279. Einleitung zu einer Kritik der politische Okonomie – Введение к «Критике политэкономии». С.184.
280. Бухарин цитирует по памяти. Правильно: «Гегель поэтому впал в иллюзию, понимая реальное как результат себя в себе синтезирующего, в себе углубляющегося и из самого себя развивающегося мышления...» Далее правильно. Репарки Н. Бухарина. (См. *Маркс К. и Энгельс Ф.* Сочинения. – М.: Полит. Лит., 1968. Т.46. Ч.1. С.37–38). С.184.
281. Ideologische Stande – (нем. здесь – идеологическое сословие). С.185.
282. Prolegomena – (гр. Прологомены, предисловие, введение к изучению какого-либо вопроса, дающее предварительное о нем понятие). С.186.
283. Idola – (лат. идола). С. 186.
284. Idola tribus – (лат. идола племени). Заблуждения, обусловленные родовой ограниченностью человека (Ф. Бэкон) Idola theatriat. идола театра). Заблуждение, возникающее из-за слепого доверия авторитетам (Ф. Бэкон). С.186.
285. Oberklasse – (нем. «Высшие» классы общества). С.186.
286. Unterklasse – (нем. «Низшие» классы общества). С.186.
287. См. *Маркс К.* Капитал. Критика политической экономии. – М.: Полит. лит., 1988. Т.II. С.41–42. С.186.
288. *Саллюстий.* Заговор Катилины. («De coniuratione Catilinae») написана около 78–67 гг. до н. э. С.187.
289. *Фома Аквинский.* Summa theologiae. («Сумма теологии»). С.188.
290. *Конрад Н. И.* Очерк японской истории с древнейших времен до «революции Мейдзи» //Япония. Сб. ст. / Под ред. Е. Жукова и А. Розена. – М., 1934. С.196.
291. Имеется в виду работа Марра Н. Я. Актуальные проблемы и очередные задачи яфетической теории. – М.: Из-во ком. Академ., 1929; *Марр Н. Я.* Вопросы языка в освещении яфетической теории. – Л.: ОГИЗ, 1933. С.197.
292. Quantite negligible – (лат. быть незначительным). С.197.
293. Преторианцы – (лат. praetoriani): 1) В др. Риме первоначально – личная охрана полководца, позднее – императорская гвардия; 2) Наемные войска. С.197.
294. Славянофилы – представители одного из направления русской общественной мысли середины 19 в.: выступали за принципиально отличный от западно-европейского пути развития! России на основе ее самобытности. С.199.
295. Inde ixa – (лат. Отсюда следует). С.200.
296. «Упанишады» – (санскр. сокровенное знание), закл. часть вед, их окончание («веда-анта»); основа всех ортодоксальных (принимающих авторитет вед) религ.-филос. систем Индии, в т. ч. веданты. Из св. 200 У. ок. 10 считаются главными. Время создания 7–3 вв. до н. э. – 14–15 вв. н. э. С.201.
297. Testimonium paupertalis – (лат.) Здесь «Обнаружения собственной слабости, своих слабых сторон. С.201.
298. *Зиммель Г.* Soziologie. 4 Aufl. – В., 1958; «Philisofie ded Geldes», 4 Aufl. – Lpz.–Munch., 1922; *Über soziale Differenzirung.* 1890; рус. пер. «Социальная дифференциация», 1909; Конфликт современной культуры. – П., 1923. С.203.
299. Сакиа-Муни – см. Будда. С.203.
300. Аскеза – (гр. askesis образ жизни), образ жизни, отвечающий требованиям аскетизма. С.205.
301. Аффектация – (лат. affectatio), необычное, искусственное возбуждение, неестественность в жестах, манерах, чрезмерная приподнятость речи. С.207.
302. В указанном произведении цитата не обнаружена. С.302.
303. В указанном произведении цитата не обнаружена. С.208.
304. *Леви-Брюль.* Les fonctions mentales dans les societae inferieures. – P., 1922. С.209.
305. Sausa sui – (лат. причина себя (схоластический термин)). По Спинозе, субстанция – причина самой себя. С.212.
306. Ex nihilo – (лат. из ничего). С.213.

307. В указанном сочинении цитата не обнаружена. С.215.
308. Toolmaking animal – «Человек – это животное, делающее орудие». С.216.
309. Гегель. Сочинения. – М., 1932. Т.Х. С.325. С.221.
310. Гегель. Сочинения. Под ред. и с вступительной статьей А. А. Максимова. – М.–Л., 1934. Т.II. С.357–358. С.221.
311. Гегель. Сочинения. – М., 1932. Т.Х. С.130. С.221.
312. Konjunkturforschung – (нем. изучение конъюнктуры).
313. Шпенглер О. Закат Европы. Bd.1–2. 1918–22. Русс. пер. 1923. Т.1. С.230.
314. Revolutionäre Praxis – (нем. Практика революции). С.231.
315. Umwälzende Praxis – (нем. Практика переворота). С.231.
316. Фетишизм – (фр. fetichisme, от fetiche – идол, талисман). Здесь – характерный для товарно-капиталистического общества процесс наделения продуктов труда сверхъестественными свойствами (самовозрастание стоимости и пр.), обусловленный овеществлением социальных отношений и персонафикацией вещей. С.232.
317. Бухарин цитирует по памяти. Правильно: «Идеология – это процесс, который совершает так называемый мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием ложным. Истинные движущие силы, которые побуждают его к деятельности, остаются ему неизвестными... Он создает себе, следовательно, представления о ложных или кажущихся побудительных силах. Так как речь идет о мыслительном процессе, то он и выводит как содержание, так и форму его из чистого мышления – или из своего собственного, или из мышления своих предшественников. Он имеет дело исключительно с материалом мыслительным; без дальнейших околичностей он считает, что этот материал порожден мышлением, и вообще не занимается исследованием никакого другого, более отдаленного и отмышления независимого источника». (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – М., 1966. Т.39. С.83). С.233.
318. Цитата в указанном произведении не найдена. С.233.
319. Аберрация – (лат. aberratio < aberrare отклоняться, заблуждаться). С.234.
320. В указанном произведении цитата не обнаружена. С.235.
321. В указанном произведении цитата не обнаружена. С.236.
322. Einleitung – (нем. Введение). С.237.
323. Ленин В. И. ПСС. – М.: Полит. лит., 1963. Изд.5. Т.29. С.150 С.241.
324. Там же. С.241.
325. Релятивизм – (лат. relativus относительный), идеалистическое учение об относительности, условности и субъективности человеческого познания, отрицающее объективное содержание знания. С.242.
326. Ленин В. И. ПСС. – М.: Полит. лит., 1963. Изд.5. Т.29. С.150. С.242.
327. Софисты – (от греч. софист – мудрец), название (со второй половины V в. до н. э.) философов-профессионалов, учителей философии и красноречия. С.243.
328. Ленин В. И. ПСС. – М.: Полит. лит., 1963. Изд.5. Т.29. С.245. С.244.
329. Теллурический – (от лат. tellus (telluris) земля). С.245.
330. Киренаики – древне-греческая философская школа, основанная в V в. до н. э. в Кирене (Сев. Африка) Аристиппом. Киренская школа дала ряд представителей античного атеизма. С.246.
331. Ленин В. И. ПСС. – М.: Полит. лит., 1963. Изд.5. Т.29. С.251. С.246.
332. Гегель. Сочинения. – М., 1932 Т.Х. С.17. С.247.
333. В указанном произведении цитата не обнаружена. С.247.
334. Брахман – (санскр.), в др.-инд. религ. умозрении и исходящих из него философских учениях высшая объективная реальность, безличное абсолютное духовное начало, из которого возникает мир со всем, что есть в мире, разрушается, растворяясь в Б. С.249.
335. Утилитаризм – (от лат. utilis польза, выгода), 1) принцип оценки всех явлений с точки зрения их полезности, возможности служить средством для достижения к.-л. цели.

- 2) направление в этике, считающее пользу основой нравственности и критерием человеческих поступков. С.249.
336. Virtù – (ит. доблесть). С.249.
337. Эпигоны – (греч. epigonos букв. родившиеся после, потомки). С.249.
338. Эпикурейство – учение др.-гр. философа-материалиста IV–III вв. до н. э. Эпикура и его последователей, исходивших из признания материального единства мира. С.249.
339. Qui pro quo – (лат. одно вместо другого), путаница, недоразумение. С.252.
340. Гегель. Сочинения. – М.: Парг. изд.1932. Т. X. Кн. II. С359-360. С.252.
341. Summum bonum – (лат. Высшее благо, Бог). С.252.
342. Cogere diem – (лат. Пользуйся днем). Употребляется в значениях: не теряй времени, стремись упоробить его с пользой. С.253.
343. Гедонизм – (от греч. hedone наслаждение), этическая позиция, утверждающая наслаждение как высшее благо, критерий человеческого поведения и сводящая к нему все многообразию моральных требований. С.253.
344. Имеется в виду работа В. И. Ленина «Задачи союзов молодежи». – ПСС. Т.41. С.298–318. С.253.
345. Minderwertigkeitsgefühl – (нем. (психол.) чувство неполноценности). С.254.
346. Фишер К. История Новой философии. Пер. с нем. юбилейного изд. – СПб, 1902. Т.8. С.196–197. С.256.
347. Апологеты – (от греч. apologeomai защищаю). Здесь ярый приверженец какой-либо идеи, направления. С.256.
348. Бухарин цитирует по памяти. Правильно: «Гегель вынужден был строить систему, а философская система, по установившемуся порядку, должна была завершиться абсолютной истиной того или иного рода. И тот же Гегель, который особенно в своей «Логике», подчеркивает, что эта вечная истина есть не что иное, как сам логический (resp. исторический) процесс, – тот же самый Гегель видит себя вынужденным положить конец этому процессу, так как надо же было ему на чем-то закончить свою систему. В «Логике» этот конец он снова может сделать началом, потому что там конечная точка, абсолютная идея, – абсолютная лишь постольку, поскольку он абсолютно ничего не способен сказать о ней, – «отчуждает» себя (то есть превращается) в природу, а потом в духе, – то есть в мышлении и в истории. – снова возвращается к самой себе. Но в конце всей философии для подобного возврата к началу оставался только один путь. А именно, нужно было так представить себе конец истории: человечество приходит к познанию как раз этой абсолютной идеи и объявляет, что это познание абсолютной идеи достигнуто в гегелевской философии. Но это значило провозгласить абсолютной истиной все догматическое содержание системы Гегеля и тем стать в противоречие с его диалектическим методом, разрушающим все догматическое. Это означало задушить революционную сторону под тяжестью непомерно разросшейся консервативной стороны...» (Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. – М.: Полит. лит., 1981. Т.21. С.8–9). С.257.
349. Бухарин цитирует по памяти. Правильно: «...параллельно эмбриологии и палеонтологии духа, отображением индивидуального сознания на различных ступенях его развития, рассматриваемых как сокращенное воспроизведение ступеней, исторически пройденных человеческим сознанием...» (Там же. С.10). С.259.
350. В указанном сочинении цитата не обнаружена. С.259.
351. Письмо Энгельса Фридриху Альберту Ланге от 29 марта 1865 г. Бухарин цитирует по памяти. Правильно: «...его настоящая Философия природы заключается во второй книге “Логики”, в Учении о сущности, которое, собственно говоря, и есть ядро всей Доктрины». (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – М.: Полит. лит., 1963. Изд.2. Т.31. С.395). С.259.
352. Бухарин цитирует по памяти. Правильно: «Мы должны рассматривать природу как систему ступеней, каждая из которых необходимо вытекает из другой и является

ближайшей истиной той, из которой она проистекала, причем однако здесь нет естественного, физического процесса порождения, а есть лишь порождение в лоне внутренней идеи, составляющей основу природы. Метаморфозе подвергается лишь понятие как таковое, так как лишь его изменения представляют собою развитие». «Мыслительное рассмотрение должно воздержаться от такого рода в сущности туманных представлений, как например представление о так называемом происхождении растений и животных организаций из низших и т. д.» (Гегель. Сочинения. – М.–Л., 1934. Т.2. С.28). С.260.

353. Там же. С.9. С.260.

354. Имеется в виду трактат Гете «Zur Farblehre» (1810). С.325. С.262.

355. Бухарин цитирует по памяти. Правильно: «Говоря по чести, я сожалею, что... Хинрикс,... позволил до того начинить себя гегелевской философией, что утратил естественную способность к созерцанию и к мышлению и сверх того выработал в себе столь тяжеловесный образ мыслей и манеру выражения, что в его книге мы наткнемся на места, когда наш разум немеет и мы не понимаем, что же это такое перед нами... в его книге немало мест, где мысль застревает в неподвижности, а темный язык топчется на месте, вернее, движется лишь по кругу точь-в-точь как в ведьминой таблице умножения в моем «Фаусте». (Эккерман И. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. Пер. с нем. Н. Ман. – М.: Худ. лит., 1986. С.497–498). С.325. С.262.

356. Письма фон Мюллеру от 16 июля 1827 нег. Цитата не обнаружена. С.262.

357. Бухарин цитирует по памяти. Правильно: «...хотя новейшую философию нередко (в насмешку) называли философией тождества, как раз философия (и главным образом спекулятивная логика) показывает ничтожность абстрагирующего от различия, чисто рассудочного тождества; правда, она столь же энергично настаивает на том, что мы не должны успокаиваться на одной лишь голой разности, а должны познавать внутреннее единство всего сущего». (Гегель. Энциклопедия философских наук. – М.: АН СССР, 1974. Т.1. С.276). С.263.

358. Цитата не обнаружена. С.263.

359. Кант И. Критика чистого разума. 1871; Критика практического разума. 1788. С.263.

360. В указанном сочинении цитата не обнаружена. С.265.

361. Фишер К. История Новой философии. Пер. с нем. юбилейного изд. – СПб., 1902. Т.8. С.24. С.265.

362. Бухарин цитирует по памяти. Правильно: «Цель, абсолютное знание, или дух, знающий себя в качестве духа, должен пройти путь воспоминания о духах, как они существуют в нем самом и как они осуществляют организацию своего царства. Сохранение их (в памяти), если рассматривать со стороны их свободного наличного бытия, являющегося в форме случайности, есть история, со стороны же их организации, постигнутой в понятии, – наука о являющемся знании; обе стороны вместе – история, постигнутая в понятии, – и составляют воспоминания абсолютного духа и его Голгофу, действительность, истину и достоверность его престола, без которого он был бы безжизненным и одиноким; лишь – Пенитенция для него бесконечность из чаши этого царства духов». (Гегель. Сочинения. – М., 1959. Т. IV. С.434). С.266.

363. Герцен А. И. Собрание сочинений в 30-ти томах. – М., 1954. Т.1. Курсив Бухарина. С.267.

364. Апология – (греч. apologia защита кого-либо, чего-либо), заступничество; воззвание. С.268.

365. Антропология – (греч. anthropos человек+логия), представление о человеке как о высшем продукте природы, биологизация человека; непонимание его социально-исторической сущности; ненаучное объяснение явлений общественной жизни свойствами и потребностями отдельных людей как биологических существ, а не на основании исторических законов развития общества. С.269.

366. Гете. Сочинения. Под общ. ред. А. В. Луначарского и М. Н. Розанова. Вступ. статья А. В. Луначарского. – М.: Худ. лит., 1937. Т.Х. Ч.III–IV. С.715. С.269.

367. Бухарин цитирует по памяти. Правильно: «Эта дурная бесконечность есть в себе то же самое, что продолжающееся во веки веков должествование; она хотя и есть отрицание конечного, не может, однако, истинно освободиться от него; это конечное снова выступает в ней же самой как ее другое, потому что это бесконечное имеет бытие лишь как находящееся в соотношении с Другими для него конечными». (Гегель. Сочинения. – М., 1939. Пер. Б. Г. Столлнера. Под ред. М. Б. Митина. Т.V. С.142). С.273.

368. Ex nihilo nil (nihil) fit – (лат. Ничто не происходит из ничего). С.274.

369. «Перменид» – диалог Платона, названный по имени главного представителя элейской школы. С.275.

370. Бухарин дает свой перевод Галлера, у Гегеля
 «Ich haufe ungeheure Zahlen,
 Geburge Millionen auf,
 ich setze Zeit auf Zeit und Welt auf Welt zu Hauf,
 Und Wenn ich von der grausen Hon
 Mit Schwindeln wieder nach dir sen,
 ist alle Macht der Zahl, vermehrt zu tausendenmalen,
 Noch nicht Teil von dir
 ich ziehe sie ab und du liegst ganz vor mir». –
 «Нагромождаю тьму чисел, мильоны гор,
 нагромождаю времена над временами,
 миры над мирами.
 И когда я со страшной высоты снова взираю с
 головокружением на тебя,
 то вся сила чисел,
 умноженная тысячекратно,
 еще не составляет и части тебя.
 Я их вычитаю, а ты – весь предо мною».

(Гегель. Сочинения. Пер. Б. Г. Столлнера. Под ред. М. Б. Митина. – М., 1939. Т.V. С.256). С.275.

371. Гегель. Сочинения. – М., 1937. Т.V. С.455. С.278.

372. Акциденция – (лат. accidentia случайность), здесь фил. случайное, преходящее состояние, несущественное свойство предмета. С.282.

373. Аподиктический – (греч. apodeiktikos), достоверный, основанный на логической достоверности, непроверяемый.

374. Пленге. Marx und Hegel (Tubingen, 1911), (Маркс и Гегель) С.288.

375. Der Ausgang des Kapitalismus – (нем. Исход капитализма) С.289.

376. Имеется в виду соч. Канта «Всеобщая естественная история и теория неба» (1755). С.289.

377. Wissenschaft der Logik – (нем.) Имеется в виду работа Гегеля «Наука логики». С.290.

378. В указанном сочинении цитата не обнаружена. С.292.

379. Ленин В. И. ПСС. – М.: Полит. лит., 1963. Т.29. С.202–203. С.293.

380. Ленин В. И. Там же. С.203. С.293.

381. Речь идет о работах В. И. Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма» (популярный очерк). (Январь–июнь 1916 г.); «Кризис назрел» (29 сентября 1917 г.). С.296.

382. Имеется в виду работа В. И. Ленина «Марксизм и восстание». Письмо Центральному Комитету РСДРП(б) (сентябрь 1917 г.). С.296.

383. Гегель. Сочинения. Т.X. С.240. С.299.

384. В указанном произведении цитата не обнаружена. С.300.

385. Контроверда – греч. controversa < лат. controversia – спор, разногласие, спор; спорный вопрос. С.301.

386. Дарвинизм – теория эволюции органического мира, обоснованная Ч. Дарвиным и развитая его учениками и последователями. С.301.

387. Механоламарксты – принимают в противоположность автогенетикам лишь развитие под влиянием внешних физико-химических факторов. Большинство из них не отрицают творческой роли естественного отбора. С.301.
388. Психололамарксты – полная противоположность механоламаркстам, которые, стоя на почве панпсихизма и витализма, объясняют органический прогресс и целесообразность сознательной деятельности протоплазмы как животных, так и растений. С.301.
389. Имеется в виду – Идеография – письмо при помощи идеограмм; способ обозначить письменным знаком целое понятие; таковы в современных системах письма, цифры, химические и математические символы и т. п. С.301.
390. Номография – (греч. *nomos* закон +...графия), раздел математики, изучающий теорию и способы построения особых чертежей, называемых номограммами, с помощью которых можно, не проводя вычислений, получать решения вычислительных задач. С.301.
391. Гегель. Сочинения. – М.–Л., 1934. Т.II. С.11. С.303.
392. Ламентация – (лат. *lamentatio* жалоба, сетование). С.303.
393. Сентенция – (лат. *sententia* мнение, суждение), изречение нравоучительного характера. С.303.
394. Гегель. Сочинения. – М.–Л., 1934. Т.II. С.403. С.303.
395. Цитата не обнаружена. С.304.
396. Историческая школа (в греч. *nomos* закон +...графия) возникла в 40-х гг. XIX в. в Германии. Историческая школа права – направление в науке права, гл. обр. в Германии, возникло в нач. XVIII в. продвигает учение о стихийном развитии права из «народного духа». Главные представители И. Ш. П. – Гуго, Савиньи, Пухта.
397. Гегель. Сочинения. Под ред. и вступ. стат. А. А. Максимова. – М.–Л., 1934. С.29–30. С.305.
398. Бонне Шарль (*Bonnet Charles*). *Conteplation de la nature*. (1781), *Traite d'insectologie*. (1779). С.306.
399. Бухарин цитирует по памяти. Правильно: «Говорят: в природе не бывает скачков, и обычное представление,... полагает, ... что постигает их, представляя их себе как постепенное происхождение или исчезновение. Но мы показали, что вообще изменения бытия суть не только переход одной величины в другую, но и переход качественного в количественное и наоборот, становление иным, представляющее собою перерыв постепенности и качественно другое по сравнению с предшествующим существованием». (Гегель. Сочинения. Пер. Б. Г. Столпнера. Под ред. М. Б. Митина. – М., 1939. Т.V. С.434). С.308.
400. That is the question – (англ. Вот вопрос). С.309.
401. Имеется в виду книга Петцольда «Проблема мира с; точки зрения позитивизма» (рус. пер. – СПб, 1909). С.309.
402. Геккель «*Naturliche Schopfungsgeschichte*» (рус. пер. 1908). С.309.
403. В указанном сочинении цитата не обнаружена. С.310.
404. Риккерт. Границы естественно-научного образования: понятий. – СПб., 1903. С.311.
405. Гетерогенный – (греч. *heterogenes* неоднородный по составу). С.311.
406. Чупров А. А. Очерки по теории статистики. 1959. С.311
407. *Par excellence* – (фр. по-преимуществу, преимущественно). С.314
408. Ленин. ПСС. – М. Т.29. С.254. С.319.
409. Гегель. Сочинения. – М., 1932. Т.X. С.207. С.319.
410. Имеется ввиду произведение: *Рабле Ф.* Таргантюа и Пантарюэль. 1532. С.320.
411. Кампанелла Ф. Город Солнца (*La citta del Sole*). 1602. Пер. с лат. и коммент. Ф. А. Петровского. С предисл. В. П. Волгина. – М.–Л., 1934. С.320.
412. Имеется в виду «Принцип» и «Князь». С.321. 413. Эзотерический – (греч. *esoterikos* внутренний), тайный, скрытый, предназначенный исключительно для посвященных. С.321.
414. Котерий – фр. *coterie* – кружок, сплоченная группа. С.322.
415. Имеется в виду «Манифест Коммунистической партии» (1848). С.323.

-
416. *Лавров П. А.* «Из истории социальных учений». – Пг.: Колос, 1919. С.57, 58, 59,
60. Курсив Н. Бухарина. С.342.
417. *Ленин В. И.* ПСС. – М.: Полит. лит., 1969. Изд.5. Т.29. С.161. С.329.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Аарон – (высокий, гора, гора света, учитель, просвещенный, имя общее с именем Гаруна, столяр употребительным на Востоке) был первым первосвященником Еврейского народа и старшим братом пророка и законодателя Моисея (Исх. XXVIII,1). С.104.

Авгий – в греческой мифологии царь Элиды. С.95.

Аввакум – Петрович (1620 или 1621–1682), глава и идеолог русского раскола, протопоп, писатель. Выступил против реформ Никона. С.249.

Авенариус (Avenarius) Рихард – (1843–1896), швейцарский философ-идеалист, один из основоположников эмпириокритицизма (махизма). С.48, 51, 64, 68, 69, 84, 121, 142, 160, 239, 241, 326.

Адам – в Библии и Коране первочеловек и отец рода человеческого, созданный Богом. С.37, 220.

Аксаков Иван Сергеевич – (1823–1886), русский публицист и общественный деятель. Один из идеологов славянофильства. С.199.

Аксаков Константин Сергеевич – (1817–1860), русский публицист, историк, лингвист и поэт. Один из основоположников славянофильства. С.199.

Александр Македонский – (356–232 до н. э.), царь Македонии с 336 г. С.126, 153, 173, 188.

Амон – (егип, букв, «сокрытый», «потаенный»), в египетской мифологии бог солнца. С.208.

Анаксагор – (ок. 500–428 до н. э.), из Кладомен в Малой Азии, древне-греческий философ. Выдвинул учение о неразрушаемых элементах-«семенах» вещей. Движущий принцип мирового порядка – ум (нус), организующий элементы. С.126.

Андерсон (Anderson) Карл Дейвид – (р. 1905), американский физик. Открыл в космических лучах позитроны (1932) имюоны (1936). С.177.

Анненков Павел Васильевич – (1812 или 1813–1887), Русский литературный критик, мемуарист. Представитель эстетической критики. С.95.

Араки Садао – (1877–1966), один из главных руководителей " идеологов японской империалистической агрессии и фашизации страны в 20–40-х гг. С.199.

Аристотель (Стагирит) – (384–322 до н. э.), древне-Реческий философ и ученый энциклопедист, основатель Перипатетической школы. С.51, 61, 79, 110, 118, 125, 126, 135, 141, 143, 153–159, 161, 162, 167, 168, 170, 172, 173, 182, 188, 198, 216, 219, 235, 246, 264, 265, 270, 273, 290, 299, 300, 306, 307, 319.

Аристофан – (ок. 445 – ок. 385 гг. до н. э.), древне-греческий поэт и комедиограф. С.89, 319.

Ахиллес (Ахилл) – в «Илиаде» один из храбрейших греческих героев, осаждавших Трою. С.96

Базаров Владимир Александрович – (1874–1939), (наст. фамилия Руднев) русский философ и экономист. Социал-демократ (с 1896), в годы реакции 1907–10 пропагандировал богостроительство и эмпириокритицизм. С.58.

Баратынский Евгений Абрамович – (1800–1844), русский поэт. С.90.

Бebel (Bebel) Август – (1840–1913), один из основателей (1869) и руководитель германской социал-демократической партии и 2-го Интернационала. С.199.

Белинский Виссарион Григорьевич – (1811–1848), русский! литературный критик, публицист, революционер-демократ, философ-материалист. С.90.

Бельтов Н. (наст. имя Плеханов Г. В.), см. Плеханов Г. В.

Беме (Bohme) Якоб – (1575–1624), немецкий философ-мистик. С.85, 137, 141, 221.

Бентам (Bentham) Иеремия – (1748–1832), английский буржуазный социолог, теоретик утилитаризма. С.91, 249.

Бергсон (Bergson) Анри – (1859–1941), франц. философ | идеалист, представитель интуитивизма и философии жизни. С.91

Беркли (Berkeley) Джордж – (1685–1753), английский! философ, представитель субъективного идеализма, епископ в Клойне (Ирландия). С.34, 36, 41, 43, 114, 137, 174, 208, 328,

Бетховен (Beethoven) Людвиг ван – (1770–1827), немецкий композитор. С.200.

Бисмарк (Bismarck) Отто фон Шенхаузен (Schonhausen) – (1815–1898) князь, 1-й рейхсканцлер германской империи (1871–1890). С.320.

Богданов Александр Александрович (наст. фамилия Малиновский), – (1873–1928), деятель российского революционного движения, врач, экономист, философ. С.58, 181, 194,245,331.

Бонне (Bonnet) Шарль – (1720–1793), швейцарский естествоиспытатель и философ. С.305.

Бор (Bohr) Нильс Хенрик Давид – (1885–1962), датский физик, один из создателей современной физики С.200, 219.

Борткевич (Bortkiewicz) Владислав Иосифович – (1868–1931), экономист и статистик-теоретик. С.311.

Бруно (Bruno) Джордано – (1548–1600), великий итальянский мыслитель, материалист и атеист, развил дальше учение Коперника о строении вселенной, за отказ отречься от своих идей был сожжен инквизицией. С.270.

Брюхоненко Сергей Сергеевич – (1890–1960), советский физиолог. С.169.

Будда – (санскр. букв, просветленный), 1) имя, данное основателю буддизма Сиддхартхе Гаутаме (623–544 до н. э), происходившему, по преданию, из царского рода племени шакьев в Северной Индии (одно из имен Б. – Шакья-Муни, «отшельник из шакмв»). 2) В религии буддизма существо, достигшее состояния высшего совершенства («просветления»). С.203.

Бэкон (Bacon) (Веруламский) Френсис – (1561–1626), английский философ, родоначальник английского материализма и методологии опытной науки. В 1618–1621 – канцлер Англии. С.31, 71,94, 100, 141, 186, 193,269.

Бюхнер (Buchner) Людвиг – (1824–1899), немецкий буржуазный физиолог и философ, представитель вульгарного материализма. С.141, 145.

Вагнер (Wagner) Адольф – (1835–1917), немецкий экономист. С.44, 97.

Вагнер (Wagner) Рихард – (1813–1883), немецкий композитор, дирижер. С.200.

Вебер (Weber) Макс – (1864–1920), немецкий социолог, философ и историк. С.212, 214, 316.

Вейнинггер (Weininger) Отто – (1880–1903), австрийский психолог. С.41.

Велер (Wohler) Фридрих – (1800–1882), немецкий химик. Впервые синтезировал из неорганических веществ органические соединения (1824). Исследования В. поставили под сомнение правоту витализма. С.171.

Вернадский Владимир Иванович – (1863–1945), советский ученый, основатель геохимии, биогеохимии, радиогеологии. Создатель учения о биосфере и ее эволюции, и о преобразовании ноосферу (сферу разума). С.85.

Вессель Х. – см. Гансфорт.

Виндельбанд (Windelband) Вильгельм – (1848–1915), немецкий философ. С.311.

Вольтер (Voltaire) (наст. имя Мари Франсуа Аруэ, Arouet) – (1694–1778), франц. писатель и философ-просветитель, деист. С.306.

Вольтман (Woltmann) Людвиг – (1871–1907), немецкий социолог. С.200.

Вотан (Один) – верховный бог в скандинавской мифологии. Могучий шаман, мудрец, бог войны, хозяин вальгаллы. С.31, 189, 197, 199.

Вундт (Wundt) Вильгельм – (1832–1920), немецкий психолог, физиолог. философ и языковед. С.164, 166, 180.

Габер (Хабер) (Haber) Фриц – (1868–1934), немецкий химик-неорганик и технолог. С.200.

Галлер (Халлер) (Haller) Альбрехт фон – (1708–1777), швейцарский естествоиспытатель, врач и поэт, один из основоположников экспериментальной физиологии. С.120, 275.

Гаман (Hamann) Иоганн Георг – (1730–1788), немецкий критик, писатель, философ-иррационалист, сторонник учения о непосредственном знании. Развил идеи мистически окрашенной интуитивистской диалектики. С.94.

- Ганнибал (Hannibal) – (247 или 246–183 до н. э.), карфагенский полководец. Сын Гамилькара Барки. С.199.
- Гансфорт (Вессель) – (1420–1489), один из предшественников немецкой реформации. С.104.
- Гегезий (Гегесий) (Киринейский) – последователь Аристиппа. С.246.
- Гегель (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих – (1770–1831), немецкий философ, представитель немецкой классической философии. С.40, 45, 46, 48–53, 55, 56, 58, 60, 62–64, 67, 70–73, 75–77, 82, 84–87, 89, 90, 93, 95, 98, 99, 101, 105, 109, 114, 116–118, 121, I 126, 133–141, 143, 146–148, 150, 152, 155, 157, 158–160, 162, 168, 172, 177, 178, 181–185, 208, 214, 215, 219–221, 228, 235, 236, 241. I 243, 246, 247, 252, 255–265, 267–270, 272–277, 284, 286–292, 295, 298–300, 302, 303–308, 310, 319, 320, 322, 328, 329.
- Гейер (Geijer) Эрих Густав – (1783–1843), шведский философ-идеалист, историк, композитор и поэт. С.180.
- Гейзенберг (Heisenberg) Вернер – (1901–1976), немецкий физик-теоретик (ФРГ), один из создателей квантовой механики. С.178.
- Гейне (Heine) Генрих – (1797–1856), немецкий поэт и публицист. С.31, 70, 94, 109, 115, 155, 199, 200, 206, 221, 249.
- Геккель (Haeckel) Эрнст – (1834–1919), немецкий биолог-эволюционист, представитель естественно-научного материализма, сторонник и пропагандист учения Ч. Дарвина. С.58, 65,200,258,309,310.
- Гельдерлин (Holderlin) Фридрих – (1770–1843), немецкий поэт-романтик: С.31.
- Гельмгольц (Helmholtz) Герман Людвиг Фердинанд (1821–1894), немецкий ученый. Автор фундаментальных трудов по физике, биофизике, физиологии, психологии. С.20.
- Генрихе – см. Хинрикс. С.262.
- Гераклит Эфесский – (кон. 6 – нач. 5 вв. до н. э.), древнегреческий философ-диалектик, представитель ионийской школы. С.125, 165,208,270, 310.
- Геркулес (Геракл) (Hercules) – в древне-греческой мифологии человек огромной физической силы. С.51, 95.
- Герцен Александр Иванович – (1812–1870), русский революционер, писатель, философ. С.267.
- Гете (Goethe) Иоганн Вольфганг – (1749–1832), немецкий писатель, основоположник немецкой литературы нового времени, мыслитель и естествоиспытатель. С.66, 71, 74, 84, 90, 91, 109, 117, 145, 155, 178, 200, 261, 262, 271, 289, 303, 304.
- Гитлер (Hitler) Адольф – (1889–1945), настоящая фамилия Шикльгруббер). С.31, 93, 94, 104, 173.
- Гоббс (Hobbes) Томас – (1588–1679), английский философ, создатель первой законченной системы механистического материализма. С.58, 141, 269.
- Гольбах (Holbach) Поль Анри – (1723–1789), франц. философ-материалист, атеист, идеолог революционной буржуазии. С.71, 74, 84.
- Гомер – легендарный древне-греческий эпический поэт, которому приписывается авторство «Илиады», «Одиссеи» и др. С.153.
- Гораций (Horatius) (полн. имя Квинт Гораций Флакк) – (65 до н. э. в до н. э.), римский поэт. С.253.
- Горгий (ок.483 – ок. 375 до н. э.) – древне-греческий софист. С.243, 253.
- Дальтон (Dalton) Джон – (1766–1844), английский физик и химик, создатель химического атомизма. С.176.
- Данилевский Николай Яковлевич – (1822–1885), русский публицист и социолог, идеолог панславизма. С.158.
- Данте Алигьери (Dante Alighieri) – (1265–1321), итальянский поэт, создатель итальянского литературного языка. С.199.
- Дарвин (Darwin) Чарлз Роберт – (1809–1882), англ. естествоиспытатель, создатель дарвинизма. С.95, 163, 169, 200, 289, 304.
- Дебюсси (Debussy) Клод (1862–1918) – франц. композитор. Основоположник музыкального импрессионизма. С.200.

- Декарт (Descartes) Рене (латинизир. Картезий, Cartesius) (1596–1650) – франц. философ, математик, физик и физиолог. С.115.
- Делагэ (Delahaye) Жюль-Огюстен – (1851–), франц. политический деятель. С.196.
- Демокрит – (ок. 470 или 460 до н. э. – умер в глубокой старости), из города Абдера (Фракия), древне-греческий философ-материалист, один из основателей античной атомистики. С.126, 141,219,269,319.
- Джемс (Джеймс) (James) Уильям – (1842–1910), американский философ-идеалист и психолог, один из основателей, прагматизма. С.103, 239.
- Дидро (Diderot) Дени – (1713–1784), франц. философ-материалист, писатель, идеолог революционной франц. буржуазии 18 в. С.186.
- Дизель (Diesel) Рудольф – (1858–1913), немец, инженер. Создал (1897) двигатель внутреннего сгорания, названный его именем. С.200.
- Диль (Diehl) Карл – (1864–1943), немец, буржуазный; экономист, сторонник социального направления в политэкономии. С.288.
- Диоген Синопский – (ок. 400 – ок. 325 до н. э.), древнегреческий философ-киник, практиковал крайний аскетизм. По преданию жил в бочке. С.48, 99.
- Дицген (Dietzgen) Иосиф – (1828–1888), немецкий рабочий-кожевник, социал-демократ, философ, самостоятельно пришедший к материалистической диалектике. С.2.67.
- Достоевский Федор Михайлович – (1821–1881), русский писатель. С.200.
- Дрисманс С. 199.
- Дриш Ханс (1867–1941), немецкий биолог и философ-идеалист. Стремился построить систему витализма. С.158, 168.
- Дюбуа-Реймон (Du Bois-Reymond) Эмиль Генрих – (1811–1896), немец, физиолог, основоположник научной школы, философ. Основоположник электрофизиологии. Представитель механистического материализма, а также агностицизма. С.58.
- Дюринг (During) Евгений – (1833–1921), нем. философ занимался политэкономией и правом. С.196, 198.
- Ева – в библейской мифологии жена Адама, сотворен Богом из его ребра, первая женщина и прапраматерь рода человеческого. С.37, 82.
- Жанлис (Stephanie Felicite Ducrest du Saint-Aubir marquise de Sillery, comtesse de Genlis) – (1746–1830), фран. писательница. С.255.
- Жолио-Кюри (Joliot-Curie) – франц. физики общественные деятели, супруги. Открыли искусственную радиоактивность, позитронную радиоактивность (1934) аннигиляцию и рождение пар (1933). С.177.
- Жоффруа Сент-Илер (Geobrou Saint-Hilaire) – франц. зоологи, отец и сын 1) Этьенн (1772–1844), эволюционист, один из предшественников Ч. Дарвина. 2) Изидор (1805–1861), академик (1833). Автор первого курса общей биологии (1840). С.169.
- Зевс – в греческой мифологии верховный бог. Атрибуты Зевса – эгида (щит), скипетр, иногда орел, местопребыванием считался Олимп. Ему соответствует римский Юпитер. С.93.
- Зенон – из Китиона (о. Кипр) (336/332 – 264/262 до н. э.), древне-греческий философ. Около 300 г. до н. э. в Афинах основал школу стоиков. С.48, 91, 99.
- Зиммель (Simmel) Георг – (1858–1918), нем. философ-идеалист и социолог. Один из значительных представителей философии жизни. С.203.
- Зомбарт (Sombart) Вернер – (1863 – 1941), нем. экономист, историк и социолог, философ-неокантианец. Один из авторов реформистской теории «организованного капитализма». С.148, 212, 230, 288, 289, 290, 291, 310, 317.
- Иисус – см. Христос. С.199.
- Ильич – см. Ленин В. И.
- Иоанн Богослов – в христианском вероучении один из апостолов. Церковь приписывает ему одно из канонических евангелий, Апокалипсис и 3 послания. С.199.
- Иоанн Лейденский (Ян Бокелзон) (Jan van Leiden, Jan Beukelszoon) – (ок. 1509–1536), голл. анабаптист, вождь Мюнстерской коммуны (1534–35). Казнен. С.320.
- Иосток. С.289, 320.

- Исида (Изида) – в египетском пантеоне богов супруга и сестра Осириса богиня плодородия, воды и ветра, волшебства, мореплавания, охраняет тельники умерших. С.58.
- Кампанелла (Campanella) Томмазо – (1568–1639), итал. философ, поэт, политический деятель, создатель коммунистической утопии, доминиканец. С.320, 321.
- Кант (Kant) Иммануил – (1724–1804), нем. философ и ученый, родоначальник немецкой классической философии. С.31, 48–50, 53, 54, 59, 65, 75, 79, 85, 88, 97, 102, 103, 116, 147, 157, 168, 178, 181, 207, 242, 243, 256, 263, 270, 273, 275, 286, 287, 289, 300, 304, 313, 320, 326, 328, 329.
- Каррель (Cargel) Алексис – (1873–1944), франц. хирург и патофизиолог. Основологающие труды по трансплантации органов. С.169.
- Кейзерлинг. С.127, 129, 203.
- Киреевский Иван Васильевич – (1806–1856), русский Религиозный философ, литературный критик и публицист, один из основоположников славянофильства. С.199.
- Киреевский Петр Васильевич – (1808–1856), русский фольклорист, археограф, публицист. Славянофил. С.199.
- Кондорсе (Condorcet) Жан Антуан Никола – (1793–1794), маркиз, франц. фил. просветитель, математик, социолог, политический деятель. С.317.
- Конрад Николай Иосифович – (1891–1970), советский востоковед, академик АН СССР (1958). С.196.
- Констан Де Ребек (Constant de (Зебеские) Бенжамин Анри - (1767–1830), франц. писатель и публицист. С.317.
- Конт (Comte) Огюст – (1798–1857), франц. философ, один из основоположников позитивизма и буржуазной социологии. С.225, 230, 309.
- Конфуций – (ок. 551–479 до н. э.), древне-китайский мыслитель, основатель конфуцианства. С.130, 206, 207.
- Кратил – из Афин (2-я пол. 5 в. – нач. 4 в. до н. э.), древнегреческий философ. По преданию, последователь Гераклита и учитель Платона, главный персонаж платоновского диалога «Кратил». С.208.
- Кромвель (Cromwell) Оливер – (1599–1658), деятель Английской буржуазной революции 17 в., руководитель индепендентов. С.199.
- Кронос – в греческой мифологии титан, сын Урана и Геи. Низвергнут сыном Зевсом в тартар. Ему соответствует римский Сатурн. С.62.
- Крылов Иван Андреевич – (1769–1844), русский писатель, баснописец. С.36.
- Кущевский Иван Афанасьевич – (1847–1876), русский писатель. С.125.
- Кювье (Cuvier) Жорж – (1769–1832), крупнейший франц. естествоиспытатель, зоолог и палеонтолог, выступавший в то же время с теорией катастроф. С.169, 307.
- Кюри (Curie) Пьер – (1859–1906), франц. физик, один из создателей учения о радиоактивности. С.200.
- Лавров Петр Лаврович – (1823–1900), русский философ и социолог, публицист, идеолог революционного народничества, участник демократического движения 60-х гг. С.254, 324.
- Лавуазье (Lavoisier) Антуан Лоран – (1743–1794), франц. химик, один из основоположников современной химии. С.176.
- Ламарк (Lamarck) Жан Батист – (1744–1829), франц. естествоиспытатель, предшественник Ч. Дарвина. Создал учение об эволюции живой природы. Основоложник зоопсихологии. С.85, 120.
- Ланге (Lange) Фридрих Альберт – (1828–1875), нем. философ и экономист, представитель неокантианства. С.140, 259.
- Лао-Цзы (Ли Эр) – автор древне-китайского трактата «Лао-Цзы» (древнее название – «Дао дэ цзин») 4–3 век до н. э.), канонического сочинения даосизма. С.201.
- Лаплас (Laplace) Пьер Симон – (1749–1827), франц. астроном, математик, физик. Автор классических трудов по теории вероятностей и небесной механике. С.178.

Лассаль (Lassalle) Фердинанд – (1825–1864), нем. мелкобуржуазный социалист, родоначальник одной из разновидностей оппортунизма – лассальянства, организатор и руководитель Всеобщего германского союза (1863–1875). С.320.

Лафатер (Lavater) Иоганн Каспар – (1741–1801), швейцарский писатель. С.94.

Леви-Брюль (Levy-Bruhl) Люсьен – (1857–1939), франц. философ-позитивист и социолог. С.209.

Левкипп – (5 в. до н. э.) древне-греческий философ-материалист, один из создателей античной атомистики, учитель Демокрита. С.141.

Лейбниц (Leibniz) Готфрид Вильгельм – (1646–1716), нем. философ-идеалист, математик, физик, языковед. С.85,114

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич – (1870–1924). С.35, 51, 64, 67, 74–76, 78, 80, 83, 85, 88, 96, 101, 106, 113, 114, 118, 121, 138–142, 147, 150, 152, 160, 161, 174, 175, 179, 181, 183, 185, 188, 232, 234, 235, 239, 242, 243, 246, 253, 269, 272, 274, 286, 290, 292, 293, 295, 296, 304, 306, 307, 319, 323, 325–332.

Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci) – (1452–1519), итал. живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер. С.199.

Леонтьев Константин Николаевич – (1831–1891), русский писатель, публицист и литературный критик, поздний славянофил. С.199.

Лессинг Теодор (Lessing) – (1872–1933), нем. писатель и философ. Убит фашистами. С.127–132, 203, 206, 208.

Локк (Locke) Джон – (1632–1704), англ. философ-материалист, создатель идейно-политической доктрины либерализма. С.269.

Лукреций (Lucretius), Тит Лукреций Кар (Titus Lucretius Cams) – римский поэт и философ материалист 1 в. до н. э. С.141, 219.

Лысенко Денис Трофимович – (1898–1976), советский биолог и агроном, академик АН СССР (1939), АН УССР (1934), академик (1935) и президент (1938–1956, 1961–1962) ВАСХНИЛ. Положения Л., касающиеся наследственности, изменчивости, видообразования не получили экспериментального подтверждения и производственного применения. С.172.

Людендорф (Ludendorff) Эрих – (1865–1937), нем. генерал (1916), один из идеологов германского милитаризма. С.200.

Лютер (Luther) Мартин – (1483–1546), деятель Реформации в Германии. Основатель лютеранства. Перевел на немецкий язык Библию, утвердив нормы общественного литературного языка. С.200.

Ляйэлль (Lyell) Чарлз – (1797–1875), геолог. С.178, 289, 304, 307.

Макиавелли Никколо (Machiavelli) – (1469–1527), итал. государственный деятель, историк. С.249, 321, 322.

Максвелл (Maxwell) Джеймс Клерк (Clerk) – (1831–1879), английский физик, создатель классической электродинамики, один из основоположников статистической физики. С.127, 200.

Маркс (Marx) Карл – (1818–1883). С.31, 44, 56, 66–68, 71, 73–75, 91, 95, 97–100, 106, 107, 109, 117, 119, 121, 140, 142, 145, 146, 150, 152, 154, 159, 166, 168, 178, 182, 184, 186, 190, 199, 201, 216–219, 224, 231, 232, 234, 237, 241, 246, 249, 251, 259, 260, 263, 267, 269, 271, 288, 290, 291, 294, 296, 297, 299, 309, 310, 312, 315–317, 319,321–325,328,329,331.

Марр Николай Яковлевич – (1864/65–1934), русский, советский востоковед и лингвист. С.180, 197.

Мах (Mach) Эрнст – (1838–1916), австрийский физик, философ-идеалист, один из основоположников эмпириокритицизма (махизма). С.34, 36, 49, 64, 68, 174, 326.

Мельников Павел Иванович (наст. имя; псевд. – Андрей Печерский) – (1818–1883), русский писатель. С.206.

Менделеев Дмитрий Иванович – (1834–1907), русский химик, разносторонний ученый, педагог, общественный деятель. Открыл (1869) периодический закон химических элементов. С.177.

Меринг (Mehring) Франц – (1846–1919), один из руководителей левого революционного крыла германской социал-демократии и основателей КП Германии, философ, историк, литературный критик. С.233.

Мефистофель (Мефисто), (нем. Mephistopheles) – дьявол, образ злого духа в фольклоре и художественном творчестве народов Европы. Литературный персонаж немецкой народной книги «Повесть о докторе Фаусте...» (ок.1587), «Фауста» И. В. Гете и др. произведений. С.34, 40.

Микеланджело Буонарроти (Michelangelo Buonarroti) – (1475–1564), итал. скульптор, живописец, архитектор, поэт. С.199.

Минерва – в римской мифологии богиня, покровительница ремесел и искусств. Вместе с Юпитером и Юноной М. составляла Капитолийскую триаду. С к. 3 в. до н.э. М. почиталась также как богиня войны и государственной мудрости. С.193

Минковский Герман – (1864–1909), нем. математик и физик. Дал геометрическую интерпретацию кинематики специальной теории относительности (пространство М.). С.63.

Мичурин Иван Владимирович – (1855–1935), советский биолог и селекционер. С.172.

Молешотт (Moleschott) Якоб – (1822–1893), нем. физиолог и философ, представитель вульгарного материализма. С.141, 145.

Мольер (Moliere) Жан Батист (наст. фамилия Поклен) – (1622–1673), великий франц. драматург. С.118.

Моммзен (Mommsen) Теодор – (1817–1903), нем. историк; многочисленные работы по истории Др. Рима и римскому праву. С.230.

Монтескье (Montesquieu) Шарль Луи – (1689–1755), франц. просветитель, правовед, философ. С.317.

Мор (More) Томас – (1478–1535), англ. гуманист, государственный деятель; один из основоположников утопического социализма. Канцлер Англии в 1529–1532. С.320.

Морозов Николай Александрович – (1854–1946), революционер-народник, ученый. Член кружка «чайковцев», «Земли и воли»; участник покушения на Александра II. В 1882 приговорен к вечной каторге. С.59, 60.

Муссолини (Mussolini) Бенито – (1883–1945), фашистский диктатор Италии в 1922–43. Казнен по приговору военного трибунала Комитета национального освобождения Северной Италии. С.199.

Мюллер (Muller) Макс – (1823–1900), англ. филолог-востоковед, специалист по общему языкознанию, индологии, мифологии. С.180.

Мюллер Генрих (Henrich Muller) – (1789–1839), нем. писатель-романтик, корреспондент Гете. С.262.

Мюнцер (Munzer, Muntzer) Томас – (ок. 1490–1525), нем. революционер, вождь и идеолог крестьянско-плебейских масс в Реформации и Крестьянской войне 1524–26 в Германии. С.320.

Наполеон I (Napoleon) (Наполеон Бонапарт) – (1769–1821), франц. император 1804–1814 и марте-июне 1915, из династии Бонапартов. С.245, 256.

Нибур (Niebuhr) Бартольд Георг – (1776–1831), нем. историк античности. Основатель научно-критического метода в изучении истории. С.230, 256.

Ницше (Nietzsche) Фридрих – (1844–1900), нем. философ, представитель иррационализма и волюнтаризма, поэт. С.31, 97, 195.

Ньютон (Newton) Исаак – (1643–1727), англ. математик, механик, астроном и физик, создатель классической механики, член (1672) и президент (с 1703) Лондонского королевского общества. С.66.

Нуаре (Noire) Людвиг – (1829–1889), нем. писатель, философ. С.180.

Оствальд (Ostwald) Вильгельм Фридрих – (1853–1932), нем. физико-химик и философ-идеалист. Основатель «энергетизма». С.175.

Павел – в христианской мифологии один из апостолов. Церковь приписывает ему 14 посланий, включенных в Новый завет. С.199.

- Павлов Иван Петрович – (1849–1936), русский, советский физиолог, создатель учения о высшей нервной деятельности. С.141, 163,200, 323.
- Парацельс (Paracelsus), (наст. имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм) – (1493–1541), врач и естествоиспытатель, один из основателей ятрохимии. Подверг критическому пересмотру идеи древней медицины. Способствовал внедрению химических препаратов в медицину. С.137, 305.
- Парменид из Элей – (ок.540 – ок.470 до н. э.) древнегреческий философ, представитель элейской школы; сформулировал идею тождества бытия и мышления. С.283.
- Петти (Petty) Уильям – (1628–1687), англ. экономист, родоначальник классической буржуазной политэкономии. Первым выдвинул трудовую теорию стоимости. С.229.
- Петцольд (Petzoldt) Йозеф – (1862–1929), нем. философ-идеалист, представитель эмпириокритицизма. С.69, 309.
- Пилат (Иоанн, XIX, 1) или Понтий Пилат (Ме., XXVII, 2) – был назначен прокуратором Иудеи в 29 году по Р. Х. С.234.
- Пиррон из Элиды – (ок.360 – ок.270 до н. э.), древнегреческий философ, основатель скептицизма (пирронизма). С.42, 48, 49, 51, 66, 186, 244.
- Писарев Дмитрий Иванович – (1840–1868), русский публицист и литературный критик, философ-материалист и утопический социалист, революционер демократ. Пропагандировал естествознание, которое считал средством просвещения и производительной силой. С.126, 141.
- Пирсон (Pearson), Карл – (1857–1936), англ. математик, биолог и философ-идеалист. С.47, 101.
- Пифагор Самосский – (бв. до н. э.), древне-греческий философ, религиозный и политический деятель, основатель пифагоризма, математик. С.109, 126, 191, 248.
- Платон Афинский – (427–347), древне-греческий философ, родоначальник платонизма. С.68, 69, 77, 100, 110, 111, 114, 125, 126, 135, 208, 219, 221, 246, 247, 318, 319.
- Пленге Иоган (Johann Plenge) – (1874), нем. социолог, экономист и философ-идеалист. С.146, 288, 327.
- Плеханов Георгий Валентинович – (1856–1918), деятель российского и международного социал-демократического движения, философ, пропагандист марксизма. С.35, 36, 58, 59, 100, 140, 151, 254, 326, 327, 329.
- Протагор из Абдеры – (ок.490 – ок.420 до н. э.) древнегреческий философ виднейший из софистов. С.244, 253.
- Прудон (Proudhon) Пьер Жозеф – (1809–1865), франц. публицист, экономист и социолог, один из основоположников анархизма, идеолог мелкой буржуазии. С.95.
- Рабле (Rabelais) Франсуа – (1494–1553), франц. писатель-гуманист. С.320.
- Резерфорд (Rutherford) Эрнест – (1871–1937), англ. физик, один из создателей учения о радиоактивности и строении атома, основатель научной школы. С.175, 200, 219.
- Рикардо (Ricardo) Давид – (1772–1823), англ. экономист, отстаивал принцип свободной конкуренции. С.95, 230.
- Риккерт (Rickert) Генрих – (1863–1936), нем. философ, один из основателей баденской школы неокантианства. С.74, 311, 313, 316.
- Родбертус (Johann-Karl Rodbertus) – (1805–1875), нем. экономист, историк и прусский политический деятель. С.312.
- Розенберг (Rosenberg) Альфред – (1893–1946), один из главных немецко-фашистских военных преступников. С.199.
- Розенкранц (Rosenkranz) Иоганн-Карл-Фридрих – (1805–1879), нем. философ, ученик Гегеля. С.136.
- Руссо (Rousseau) Жан Жак Руссо – (1712–1778), франц. мыслитель и писатель, один из представителей франц. Просвещения 18 в. С.106, 317, 322.
- Саллюстий (Sallustius) – (86 – ок. 35 до н. э.), римский историк. С.187.
- Северцев Александр Николаевич – (1866–1936), русский, советский биолог, основоположник эволюционной морфологии животных, создатель научной школы. С.99.

- Сен-Симон (Saint Simon) (Клод Анри де Рувруа) – (1760–1825), граф, франц. мыслитель, социолог, социалист-утопист. С.225, 289, 308, 322.
- Сеченов Иван Михайлович – (1829–1905), создатель русской физиологической школы, мыслитель-материалист. Заложил основы материалистической психологии, физиологии труда, возрастной, сравнительной и эволюционной физиологии. С.141.
- Смайльс (Smiles) Самуил – (1816–1904), англ. писатель. С.255.
- Смит (Smith) Адам – (1723–1790), шотландский экономист и философ. Впервые провел деление буржуазного общества на классы наемных рабочих, капиталистов и земельных собственников. С.229.
- Сократ – (ок. 470 – 399 до н. э.), древне-греческий философ. С.31, 126,244,246.
- Спенсер (Spencer) Герберт – (1820–1903), англ. философ и социолог, один из родоначальников позитивизма, основателе органической школы в социологии. С.230, 289.
- Спиноза (Spinoza) Бенедикт (Барух) – (1632–1677), нидерландский философ-материалист, пантеист и атеист. С.951 114, 119, 135, 149, 162, 199, 269, 272.
- Сталин Иосиф Виссарионович – (1879–1953). С.106, 166, 254, 323, 332.
- Столпник Симеон – преподобный, подвизавшийся на столпах ради благочестия. С.249.
- Струве Петр Бернгардович – (1870–1944), русским экономист, философ, историк, публицист. Теоретик «легальноя марксизма», один из лидеров кадетов. Эмигрант. С.293.
- Тассо (Tasso) Торквато – (1544–1595), итал. поэт эпохи Возрождения и барокко. С.199.
- Тейлор Ф. У. (F. W. Taylor) – (1856–1915), американский инженер, предложил систему капиталистической организации производства, цель которой получение прибыли путей максимального повышения интенсивности труда. Основана на глубоком разделении труда, рационализации трудовых движения. С.103.
- Толстой Лев Николаевич – (1828–1910), граф, русский писатель. С.200.
- Тор – один из главных богов скандинавской мифологии, бог грома, бури и плодородия. Изображался богатырем с каменный молотом. С.197.
- Тревинариус (Gottfried-Reinhold Trevinarius) – (1776–1837), нем. естествоиспытатель. С.104
- Трельч (Troeltsch) Эрнст – (1865–1923), нем. теолог, философ, историк религии, один из основателей социологии религии. С.146, 288, 289.
- Туган-Барановский Михаил Иванович – (1865–1919), русский экономист, историк, один из представителей «легального марксизма», впоследствии открытый защитник капитализма. С.312.
- Угрюм-Бурчеев – персонаж сатирического романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». С.257.
- Файхингер (Vaihinger) Ханс – (1852–1933), нем. философ-идеалист, разработал концепцию фикционализма (толкующего человеческие представления о мире как совокупность иллюзий, фикций). С.174.
- Фарадей (Faraday) Майкл – (1791–1867), англ. физик, основоположник учения об электромагнитном поле. С.127, 200.
- Фауст (Faust) – герой нем. народных легенд и произведений мировой литературы и искусства, символ человеческой тяги к знанию. Прототип – доктор Иоганнес Ф. (1480?–1540?), бродячий астролог. С.34,40
- Фейербах (Feuerbach) Людвиг Андреас – (1804–1872), нем. философ-материалист и атеист. С.44, 64, 66, 69, 70, 75, 80, 82, 97, 100, 107, 115, 145, 181, 216, 217, 329, 331.
- Ферворн (Verworm) Макс – (1863–1921), известный нем. физиолог. С.148
- Филарет (Романов Федор Никитич) – (ок. 1554/53–1633), русский патриарх (1608–10 и с 1619), отец царя Михаила Федоровича. При Борисе Годунове с 1600 – в опале, пострижен в монахи. С 1619 фактический правитель страны. С.36.
- Фихте (Fichte) Иоганн Готтлиб – (1762–1814), нем. философ и общественный деятель. С.97, 101, 133–135, 137, 181.
- Фишер (Fischer) Куно – (1824–1907), нем. историк философии, исследователь Гегеля. С.140, 256, 265, 289.

Флакк – см. Гораций.

Фома Аквинский (Фома Аквинат) (Thomas Aquinas) – (1225 или 1226–1274), средневековый философ и теолог, систематизатор ортодоксальной схоластики, основатель томизма; монах-доминиканец (в 1244). В 1567 признан пятым «учителем Церкви». С. 95, 114, 155, 173, 188.

Франк Семен Людвигович – (1877–1950), русский Религиозный философ. В 1922 выслан за границу. С. 200, 327.

Франклин (Franklin) Бенджамин (Вениамин) – (1706–1790), американский просветитель, государственный деятель, ученый, один из авторов Декларации независимости США (1776) и Конституции 1787. По философским воззрениям – деист. С. 216.

Франсэ. С. 120, 168.

Фрейд (Фройд) (Freud) Зигмунд – (1856–1939), австрийский врач-психиатр и психолог, основатель психоанализа. С. 254.

Фурье (Fourier) Франсуа Мари Шарль – (1772–1837), франц. утопический социалист. С. 226, 322.

Хинрике (Hinrichs), Герман Фридрих Вильгельм – (1794–1861), нем. профессор философии, правый гегельянец. С. 262.

Хомяков Алексей Степанович – (1804–1860), русский религиозный философ, писатель, поэт, публицист, один из основоположников славянофильства. С. 199.

Христос (Иисус Христос) – (греч. Christos, букв. помазанник), согласно христианскому вероучению основатель христианства, богочеловек, во искупление грехов человеческих принявший смерть на кресте, затем воскресший и вознесшийся на небо. С. 199.

Чайковский Петр Ильич – (1840–1893), русский композитор. Крупнейший симфонист, музыкальный драматург. С. 200.

Чемберлен (Chamberlain) Хаустон Стюарт – (1855–1927), реакционный философ-неокантианец, социолог-расист, проповедник идей мирового господства германских империалистов, один из главных предшественников фашистской идеологии. С. 196.

Чупров Александр Александрович – (1874–1926), русский теоретик статистики. Сын А. И. Чупрова. С. 1917 г. – за границей. С. 311.

Шекспир (Shakespeare) Уильям – (1564–1616), англ. драматург и поэт. С. 200.

Шелер Макс. (Scheler) – (1874–1928), нем. философ идеалист, один из основоположников философии антропологии, аксиологии, социологии познания. С. 186.

Шеллинг (Schelling) Фридрих Вильгельм Иозеф – (1775–1854), нем. философ, представитель нем. классического идеализма. С. 104, 109, 114, 115, 118, 270, 301.

Шиллер (Schiller) Иоганн Фридрих – (1759–1805), нем. поэт, драматург и теоретик искусства Просвещения. С. 200.

Шмаленбах (Schmalenbach) Эуген – (1873–1955), нем. экономист. Идеолог «организованного капитализма». С. 95, 133–135, 152.

Шопенгауэр (Schopenhauer) Артур – (1788–1860), нем. философ-иррационалист, представитель волюнтаризма. С. 127, 163.

Шпанн (Spapp) Отмар – (1878–1950), австрийский философ-идеалист, социолог и экономист; развил философско-социологическую концепцию «универсализма», в центре которой – целостность, трактуемая как первичная действительность. С. 107, 168, 230.

Шпенглер (Spengler) Освальд – (1880–1936), нем. философ-идеалист, представитель философии жизни. С. 94, 230, 253, 309.

Штанффусс (Standfuss) Макс Рудольф – (1854–?), нем. энтомолог. С. 80.

Шульц Эрнст (Schultz Ernst) – (1789–1817), нем. поэт. С. 91, 127.

Эддингтон (Eddington) Артур Стэнли – (1882–1944), англ. астроном. С. 52.

Эдисон (Edison) Томас Алва – (1847–1931), американский изобретатель и предприниматель. С. 200.

Эйнштейн (Einstein) Альберт – (1879–1955), физик-теоретик, один из основателей современной физики. Создал частную (1905) и общую (1907–16) теорию относительности. С.178, 195, 199.

Эккерман (Eckermann) Иоганн Петер – (1792–1854), личный секретарь И. В. Гете. Мемуары «Разговоры с Гете...» (1837–48). С.262.

Эмпедокл из Агригента – (ок.490–430 до н. э.), древнегреческий философ, поэт, врач, политический деятель. С.156–158, 177.

Эмпирик (Секст эмпирик) (Sextus Empiricus) – (кон.2 – нач. 3 вв.), древне-греческий философ и ученый, представитель скептицизма. Собрал и систематизировал высказывания древнегреческих скептиков от Пиррона до Энесидема, один из первых историков логики. С.48, 49.

Энгельс (Engels) Фридрих – (1820–1895), один из основоположников научного коммунизма, друг и соратник К. Маркса. С.38, 51, 66, 67, 85, 91, 97, 98, 106, 115, 119, 141, 142, 146, 150, 152, 164–166, 170, 176, 178, 182, 192, 223, 226, 231, 233, 234, 241, 254, 257, 258, 259, 260, 261, 266, 269, 288, 290, 292, 298, 299, 303, 304, 306, 319, 322, 325–329.

Эпикур – (ок.341 – ок.270 до н. э.), выдающийся древнегреческий философ-материалист, атеист. С.110, 126, 141, 219, 220, 269.

Эрнст. С.127.

Юм (Hume) Дэвид – (1711–1776), англ. философ, историк, экономист. Сформулировал основные принципы агностицизма. В политэкономии разделял трудовую теорию стоимости А. Смита. С.174, 328.

Якоби (Jacobi) Фридрих Генрих – (1743–1819), нем. писатель и философ-идеалист, представитель т. н. философии чувства и веры. С.94.

Янус – в римской мифологии божество дверей, входа и выхода, затем – всякого начала. Изображался с двумя лицами (одно обращено в прошлое, другое – в будущее). Перен. – «двуликий Янус» – лицемерный человек. С.34.

«АРАБЕСКИ» НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА БУХАРИНА В КОНТЕКСТЕ ИХ ВРЕМЕНИ

Дитер Улиг, Владислав Хеделлер

В тюрьме

По словам Гегеля, каждая философия – философия своего времени, звено в цепи духовного развития. Поэтому она может обеспечить только удовлетворение интересов, соответствующих своему времени. Индивид – сын своего народа и своего времени; отдельный человек может заноситься, как ему заблагорассудится, но он не выйдет за пределы, поставленные ему временем и народом. «Философские арабески» Бухарина можно понять в их качестве и в их границах, с точки зрения их цели и содержания только в случае рассмотрения и изображения его личного положения и «духовной ситуации», в которой они возникли – во внутренней тюрьме на Лубянке с апреля по ноябрь 1937 г. Время завершения работы датировано точно: «7 и 8 ноября 1937 г., в дни двадцатой годовщины великой победы». Это точное указание времени имеет символическую ценность. Оно показывает, в качестве какого поля ягоды хотел быть понят автор «Арабесок» в том ужасном 1937 году и в будущем.

Николай Иванович Бухарин принадлежал наряду с Владимиром Ильичом Лениным и Львом Давидовичем Троцким к числу важнейших умов Октябрьской революции в России, которая должна была после веков тяжелейших страданий и лишений привести народы царской империи на путь свободы и цивилизации. Теперь ему предстоял сколь убогий, столь же и безжалостный показательный процесс, обвинительный акт в котором увенчивался утверждением о намерении Бухарина ликвидировать «завоевания Октября» и реставрировать в России капитализм. Это утверждение, читаем в завещании Бухарина, столь гнусное, лживое и абсурдное, что с ним «сравнимо только утверждение о том, что Николай Романов всю свою жизнь посвятил борьбе с капитализмом и монархией, борьбе за

осуществление пролетарской революции».¹ Кстати, «хитрость разума» пускала в ход такую «логику развития», согласно которой не Бухарин, а Сталин и его наследники уже в эти годы «просвистели» социалистическую идею и заложили основы для крушения СССР.

На протяжении 1936 г. Бухарин все более обретал ужасную уверенность в том, что «Коба» желал и его смерти и готовил ее. Георг Лукач занес в свои воспоминания высказывание Андре Мальро о том, как Бухарин во время их прогулки по Парижу рассказал, не прибегая к упрекам и обвинениям в адрес Сталина, что результатом политики Сталина будет полное развитие его личной и диктаторской власти. К примеру, его, сказал Бухарин, Сталин прикажет казнить. По рассказу Мальро, это прозвучало как простая констатация факта. Лукач добавлял, что человек с политическим опытом Бухарина, лично знавший Сталина многие годы, «предвидел это».²

Конечно, из дней, предшествовавших аресту Бухарина, сохранились некоторые иллюзии, которые он питал. Он считал террор, развернувшийся в годы после убийства Кирова «прискорбной опечаткой» истории, а образ действий Сталина временным духовным смятением. Ситуация, на его взгляд, должна быстро измениться и правда победит ложь НКВД. Когда народный комиссар внутренних дел Ягода был заменён Ежовым, Бухарин полагал, что новый нарком не будет участвовать во лжи своего предшественника. Сталин, на его взгляд, действительно не сможет инсценировать на глазах всего мира третий «средневековый процесс» – ведь принятая в декабре 1936 VIII съездом Советов новая Конституция СССР, в создании которой Бухарин принимал важнейшее участие, направляет развитие страны по новому пути. Как бы то ни было, в этой Конституции фиксировались основополагающие гражданские права: свобода слова и печати, свобода собраний и тайна переписки, неприкосновенность личности и жилища. Теперь, полагал Бухарин, демократизация условий, существовавших в стране, стоит на повестке дня, и это не будет отсрочено ещё одним **ведовским** процессом. Таково было тяжелое заблуждение Бухарина. Сталин не знал угрызений совести, и напрасно было искать их у этого перевоплощения Сергея Нечаева. Совестью не обладали и духовные потомки «бесов» Достоевского. Того, чего нет, нельзя и найти. Александр Ват рассказывает в своих воспоминаниях «По ту сторону правды и лжи», что следователи

¹ Н.И. Бухарин. Будущему поколению руководителей партии. – Ларина (Бухарина) А. Незабываемое. М., 1989. С. 362.

² Georg Lukács: Gelebtes Denken. Eine Autobiographie im Dialog. Frankfurt am Main 1981. S. 181.

НКВД вынимали из ящиков письменных столов дубинки, если заключённые ссылались на свои права, закреплённые в Конституции. «Дубинка – вот ваша Конституция», – таков был преподававшийся им весомый урок. Тем самым следователи преподавали подследственным азбуку коммунизма на свой лад.

27 февраля 1937 г. Бухарин, пребывавший в удручающем физическом и душевном состоянии, был «по решению» пленума ЦК «передан» органам для дальнейшего расследования. Ещё двумя днями ранее Сталин заявил ему, что ни у кого нет намерения исключить его из партии. На самом пленуме, однако, он выдвинул гибельное для Бухарина утверждение о том, что тот – автор платформы Рютина, а Молотов рывкнул, что он – наймит Гитлера. Подручные Сталина утратили самообладание. Бухарин мог понять, что пробил его час.

В тюрьме произошло нечто невероятное. Его не избивают, как обычно, не пытаются, не пропускают через вошедшую в поговорку «мясорубку» – напротив, ему дают возможность заниматься научной работой, заказывая книги, необходимые для этой цели.

Бухарин работает и пишет философские тексты, в числе которых важнейшая философская книга его жизни – «Философские арабески. Диалектические очерки». «Арабески» – трагическое завершение философского развития, они стоят после таких работ, как «Теория исторического материализма: популярный учебник марксистской социологии» (1921), «К проблемам исторического материализма» (1923) и «Учение Маркса и его историческое значение» (1933). В этом обширном труде, посвящённом 50-летию со дня смерти Карла Маркса, он уже преодолевает концепцию «популярного учебника» и ставит все теоретические вопросы, которые обстоятельно разрабатываются в «Арабесках».

Лаконичной фразе Бухарина в его последнем слове на процессе «Я про себя скажу, что в тюрьме, в которой я просидел около года, я работал, занимался, сохранил голову» не поверили. После процесса утверждали, что его принуждали ко лжи, чтобы инсценировать перед мировой общественностью хорошее обращение с ним в тюрьме. Кроме того, «органы» скрывали существование «Арабесок» и других рукописей до времён Горбачёва. Горькая ирония истории заключается в том, что «Арабески» стали известными только после краха СССР.

Цель процесса Бухарина была однозначной – удалить из ленинского руководства последнего носителя критической мысли, да к тому же личность, пользовавшуюся большой популярностью среди

русской и европейской интеллигенции. Георг Лукач чётко сформулировал проблему: «После процесса Бухарина было полностью исключено, что кто-нибудь осмелится выступить против Сталина».³ Процесс должен был иметь символическое значение для советского народа, и поэтому стал для «кремлёвского горца» (Осип Мандельштам) важнейшим из всех устроенных им процессов. Сталин уделял величайшее внимание подготовке и проведению судилища. Ненависть Сталина к Троцкому была велика, ненависть же к теоретику Бухарину безгранична. Процесс против него оказался кульминацией и конечным пунктом смертоносной процедуры, в ходе которой была обезглавлена партия Ленина и уничтожен критический потенциал общества. Послание народу, заключавшееся в процессе, гласило: способные на критическую оценку люди из всех слоёв народа, в особенности же учёные, писатели и деятели искусств, возражавшие против сталинского курса на построение «социализма в одной стране», не имеют права на существование в советском обществе. От них можно было отказаться, от них и отказывались. В теории общества не было необходимости. В случае возникновения «потребности» могла быть без труда создана теория или то, что теперь называлось «теорией»: идеологические конструкты и росказни, сталинистские по содержанию, выполненные в марксистской форме при изложении.

В этой связи возникает центральный вопрос: почему личности духовного масштаба Бухарина перед процессом, исход которого был давно предreshён, позволили в тюрьме читать, работать, мыслить, писать, да ещё столь интенсивно? Ведь, как известно, все тоталитарные режимы стремились лишить человеческий дух пищи, отобрать у него возможность общения с книгами.

В своих воспоминаниях Александр Ват называет предоставленную на Лубянке и ему возможность заказывать книги в библиотеке постоянной загадкой, *mysterium tremendum* (ужасная тайна. – Лат. Прим. перев.), Менее всего можно было бы предположить случайность здесь, где «сам Сталин, конечно же, продумывал каждую деталь»⁴. Болезненному характеру Сталина могла бы соответствовать и надежда на то, что Бухарин своей слишком откровенной «писаниной» может вооружить обвинителя аргументацией. Начальник Внутренней тюрьмы Главного управления государственной безопасности регулярно посылал разработки

³ Georg Lukács: A.a.O. S. 175.

⁴ Aleksander Wat: *Jenseits von Wahrheit und Lüge. Mein Jahrhundert. Gesprochene Erinnerungen 1926-1945.* Frankfurt am Main 2000. S. 397.

Бухарина начальнику четвёртого отдела ГУГБ НКВД. В компетенции этого «секретно-политического отдела» находилась борьба против враждебных политических партий и антисоветских элементов.

А не должна ли была «привилегия» научной работы поддерживать в сознании заключённого Бухарина надежду на свободу и жизнь? Этого мы не знаем. Когда ответственность была уже распространена на всех членов его семьи, он ошибочно предполагал, что они ещё на свободе. Нам мало что известно о времени, проведённом Бухариным в этой тюрьме. В ещё меньшей степени мы можем представить себе демонические намерения, которые преследовал Сталин, чтобы в соответствии со своей психической конституцией «подготовить» Бухарина к процессу.

Вероятно, Солженицын прав, говоря в романе «В круге первом» о том, что Сталин был высокомерен, имея дело с рабскими душами и уголовниками и, напротив, неуверен, общаясь с «неподкупными», чьи жизненные максимы далеко превосходили его духовный горизонт и чьи действия оставались, следовательно, непонятными ему. На что надеялись следователи? Ват даёт нам намёк. Он говорит о воздействии книг на него в этом месте: «Оно снова создало во мне духовный и интеллектуальный порядок и дало мне силу. Оно было для меня тем же, чем прикосновение к Земле для Антея».⁵ Можно, не теряясь в догадках, предположить, что книги оказывали такое же воздействие и на Бухарина.

История знает много примеров того, как люди, в «нормальных» условиях неспособные предположить в себе ничего героического, в ситуациях, когда их жизнь оказывалась под угрозой, вырастали над собой и становились героями. Бухарин, этот впечатлительный человек, после ареста собрался с духом, организовался, проявив большую душевную силу, организовал и продумал защиту своих чести и достоинства, своих идей и идеалов, своей состоятельности как человека. Он думал, выходя за пределы своей неизбежной смерти, о приговоре истории себе самому и своим палачам. Этот «поворот» в подготовке процесса не был ни запланирован, ни предвидим. Бухарин на деле сохранил холодную голову. В отличие от многих других, он не стал жертвой парализующего ужаса, хотя ему не один раз были показаны инструменты, включая угрозу беспощадно расправиться с семьей в случае его отказа.

⁵ Aleksander Wat: Jenseits von Wahrheit und Lüge, a.a.O., S. 400.

Бухарин пишет замечательную философскую книгу, публичное обсуждение которой при проникнутых уважением и демократических научных условиях могло дать иное качество и направление развитию марксистской философской мысли в СССР после 1938 г. Рукопись свидетельствует о твёрдости руки, которая не дрожит ни на одном слове, ни на одной строчке. Всего лишь немногочисленные исправления, нет неразборчивых слов, вероятно, дополнения в форме целых глав, под конец включенных в первый вариант. 310 страниц рукописи, разделённых на 40 глав, были тесно исписаны мелким каллиграфическим почерком – примитивной ручкой. Они читаются так же хорошо, как и напечатанные страницы книги и поэтому без обычных в противном случае трудностей «расшифровки» могли стать основой перевода.

Рукопись – это не собрание случайных идей или витиевато сформулированных мыслей в безотрадном подземелье, как могло бы позволить предположить название «Арабески». Это подведение итога философской работы на протяжении всей жизни, своего рода расчёт с прошлой философской совестью, если использовать слова Фридриха Энгельса. Это означает анализ собственного философского развития и его критическое осмысление с момента выхода «Теории исторического материализма».

Бухарин отказывается от перечисления в рукописи своих теоретических ошибок, чтобы не подыграть обвинению. Нет в ней и критических замечаний о трудах других советских философов, ведь такие замечания в существовавших условиях имели бы характер доноса. Бухарин слишком хорошо знал об этом из опыта 1936 и 1937 гг., когда ему домой пачками доставлялись обвинения и самообвинения его друзей и учеников. Он не хотел допустить такого развития событий для себя и других. Кроме того, было бы бессмысленно ожидать от столь ограниченной и необразованной личности, как Генеральный прокурор А. Вышинский философского понимания критической дискуссии об ошибках, которые сами являются результатом процессов мышления. Его возражения в ходе процесса показывают, что под философией Вышинский понимал искусство уловки, умение выкрутиться, стратегию и тактику лжи обвиняемых. Поэтому Бухарин сконцентрировался преимущественно на позитивном изложении рассмотренных им философских проблем и включил в это изложение критику других позиций. В этом пункте воззрения Бухарина приходят в соприкосновение с тем, что записывал в начале 30-х гг. Антонио Грамши, находясь в застенках Муссолини: критика должна быть свободной от «идеологического фанатизма»,

она должна затрагивать сущность, а не случайные мнения случайных личностей, и быть связанной с поступательным движением собственного подлинного учения.

Социализм и культура

Австрийский физик Александр Вайссберг-Цибульский оставил нам очень тонкую характеристику личности Н. И. Бухарина: «Он был скорее мыслителем и художником. На меня он производил впечатление *anima candida* (чистой души. – *Лат. Прим. перев.*). Часто мне бывало непонятно, как этот чувствительный человек мог выстоять в суровой борьбе, без которой никто не добивался ведущих позиций в партии... Бухарин был малорослым. Тонкие черты его лица и спокойная, почти нежная манера говорить сразу располагали к нему каждого посетителя».¹ Горько читать о том, как в 30-е гг. тоталитарная дубина сброда, враждебного разуму, с такой жёсткостью ударила по двум этим честным, демократическим и толерантным характерам – Грамши и Бухарину. По свидетельству Серго Орджоникидзе, Бухарин никогда не доходил до злонамеренного отравления дискуссии, какой бы ожесточённой она не была. Он отстаивал свою точку зрения, нередко идя против течения, с помощью деловых аргументов, открыто признавал ошибки и исправлял их. Его «Арабески» дышат этой культурой, этим стилем от первой до последней главы. Это была культура, совершенно необычная в те годы для нравов московского руководства.

Книга свидетельствует об уверенном обращении с историей философии и культуры. Платон и Аристотель, Бэкон и Спиноза, Шеллинг и Фихте, Фейербах и Гегель, Гёте и Гейне появляются на её страницах как близкие доверенные лица мысли Бухарина. История философии не была для него музеем. Она ставит свои вопросы каждому новому поколению, и, прежде всего, тем, кто с программной точки зрения намеревается реализовать утопию человеческого общества.

Бухарин должен был со всё растущим беспокойством ощущать невыносимое отсутствие демократической культуры спора во всех областях науки в СССР: увеличивающаяся догматическая ограниченность, окостенение и узколобость в теории общества, непримиримость по отношению к другим мнениям, замена аргументации наклеиванием ярлыков, очевидный недостаток

¹ Alexander Weissberg-Cybulski: Hexensabbath. Frankfurt am Main. 1951. S. 291 f.

конкретного и всестороннего анализа состояния общества с целью обоснования реалистических стратегий, замена серьёзной теоретической работы упрощениями и внушениями, исходившими от *solus ipse* («хозяина» – лат. Прим. перев.) в Кремле и угрожавшими судьбе революции.

Беспокойство Бухарина вызывали явления азиатского бескультурья в России, на которые достаточно часто сетовал Ленин и которые, в связи со скудным философским образованием ведущей в стране политической группы и ее склонности к теоретической схоластике, имели губительные политические последствия. «Чингисхан с телефоном». Эта оценка Бухариным Сталина верна не только для него самого, но и для всех его услужливых помощников и исполнителей его политических и идеологических замыслов. Стоит напомнить о таких длительных и безрассудных мероприятиях, проникутых духом политико-теоретической схоластики, как дискуссия о «теории» социал-фашизма или восходившей якобы к Ленину «теории» победы социализма в одной стране. Превращение Ленина в профиле вообще было специальностью Сталина.

Бухарин указывает на негативные последствия распространённой склонности к «упрощению». Слова «простота хуже воровства» повторяются в рукописи с едва ли не навязчивой регулярностью. Если их расшифровать, это будет значить «*Упрощение есть преступление*». Конечно же, не может быть преступлением упрощение, понятным образом выражающее мысль и отказывающееся от своих сложных производных, если границы популяризации ясно определены. Такие упрощения есть и у самого Бухарина и даже у высоко чтившегося им Гегеля. Стоит подумать только о знаменитой статье философа «Кто мыслит абстрактно?»

Следовательно, речь не может идти о такого рода упрощениях. Совершенно очевидно, что речь идёт об «упрощениях», которые *solus ipse* в Кремле возвёл в принцип своей идеологии: я один и есть партия, только я и являюсь социализмом, персонифицированной социалистической идеей, волей и разумом класса. Тот, кто атакует меня, нападает на «наше дело», покушается на социализм. А так как нет никакого другого социализма и никаких других тактики и стратегии, как и никакого другого пути к социализму, кроме моего, то тот, кто, например, вновь и вновь вынимает из чулана «Письмо к съезду», написанное Лениным в декабре 1922 г., в котором сбитый с толку и больной человек предлагает сместить меня, не может хотеть ничего иного, кроме возвращения к капитализму. *Summa summagum* (общий итог. – Лат. Прим. перев.): мой мир прост. Тот, кто не за меня

без всяких «но» и «если», тот против меня. Если типы вроде Бухарина и утверждают, что для них важны «только» тактические варианты «моего» пути, это ничего не меняет в том факте, что они придираются ко мне. Они утверждают, что честны, тем хуже для них. Такому мышлению надо воспрепятствовать с помощью радикальных средств.

Вот она, преступная духовная «простота» *solus ipse*: один только Я и знаю, что во благо народу, и не позволю никому поколебать этот принцип, и уж менее всего «любимцам» старого Ленина.

Вопрос о культуре нового общества образовывал и для Бухарина фокус его теоретической деятельности. В феврале 1923 г. вышла работа «Пролетарская революция и культура», которую он обсуждал с Лениным. В качестве темы Бухарин впервые рассматривал здесь внутреннюю угрозу русской революции: *каждой рабочей революции «в ходе ее развития неизбежно противостоят чрезвычайные опасности внутреннего перерождения имеющейся революции, имеющегося пролетарского государства и имеющейся партии».*² Тем самым вопрос культуры превращается в «центральный вопрос всей революции».³ От его решения будет зависеть жизнеспособность нового общества.

Опасность «перерождения» уже в то время не была одной только абстрактной возможностью. Персонифицированное «перерождение» в лице «генерального секретаря» уже заняло кресло в Кремле. Это была внешне только организационная функция, которую он, однако, с самого начала сумел использовать в соответствии со своими интересами.

В марте и апреле 1937 г. Бухарин создаёт первую из написанных им в тюрьме книг – «Социализм и его культура». В следующие месяцы во время, остававшееся между ночными допросами, он письменно изложил «Философские арабески». Конкретного анализа культурной ситуации в СССР читатель по понятным причинам не найдёт в первой книге, как и в «Арабесках» нет конкретного анализа положения на «философском фронте». В «Социализме и его культуре» Бухарин продолжает размышления о культуре из работ прежних лет и завершает их общей культурной программой социалистического общества, которое только и заслуживает этого названия. Он обращает взгляд на далёкое будущее и обосновывает свою точку зрения, в соответствии с которой то, что происходит сейчас, не может быть последним словом истории. В перспективе

² Nikolai Bucharin: Proletarische Revolution und Kultur. Frankfurt am Main. 1979. S. 38.

³ Ebenda.

общественного развития общественная организация теряет «всякий принудительный характер». С дальнейшим «культурным изменением людей» «приходит конец политике». Эти идеи Бухарина движутся на линии гуманистического кредо «Манифеста Коммунистической партии»: новое общество будет ассоциацией, «в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех».⁴ По пути к этому обществу будут, пишет Бухарин, «еще тяжелые битвы». Несомненно. Вот только Бухарин и его друзья проиграли, по меньшей мере, решающую битву.

Иллюзия о возможности реформирования системы, созданной сталинским руководством, сохранялась вплоть до времени Горбачёва. В этом и одна из причин поражения Горбачёва. Из данной исторической перспективы вытекает мнение в форме веры в то, что Бухарин и его друзья когда-то имели шанс круто повернуть штурвал и создать альтернативу. Может быть, и верно применительно к 1923–1924 гг. С 1928–1929 гг. с этой возможностью было покончено.

А. М. Ларина пишет об этом времени с прозорливой ясностью: «Думать, как А. Солженицын, что Бухарин мог бы изменить ход событий: “Кинуться и задержать эту расправу”, означает ничего не понимать в сложившейся ситуации. С учётом общей ситуации и положения Бухарина, расследований, начатых против него, такое действие было бы чистым донкихотством».⁵ История говорит не словами, а отношениями, которые создали люди. Отношения же нельзя уговорить или излечить наложением рук, чтобы сделать возможным демократический выход из ситуации. Они должны быть изменены с помощью практических действий. Таков урок недавней истории.

Обе книги, «Социализм и его культура» и «Философские арабески», не только близки друг к другу по времени написания, но и тесно связаны в содержательном отношении, а также соприкасаются с тематической точки зрения. Это не случайность, а следствие концепции, как Грамши, так и Бухарина, в соответствии с которой философию и её историю следует понимать как центральный элемент новой, интегральной культуры.

Введение к «Арабескам» заключают печальные слова прощания, которые, однако, в то же время содержат программу будущей общественной культуры, и марксистская философия может и должна

⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. – Собр. соч., 2-е изд. Т 4. С. 447.

⁵ Ларина (Бухарина) А. Незабываемое. М., 2003. С. 349.

внести свой вклад в формирование этой культуры: «Время не ждёт. Время не терпит. Мы хотим прогуливаться с читателем по аллее духа, где стоят её сфинксы, её таинственные сфинксы, которые мучили столько умов, но, тем не менее, могут играть на чудесной арфе творчества! Двинемся же в путь, чтобы ещё раз посмотреть на старых знакомых и взглянуть в их таинственные глаза».⁶

По какой причине автор дал своей книге необычное название «Философские арабески»? Мы этого не знаем. Хотел ли он и вправду указать на кричащее противоречие, заключающееся в том, что человек в тёмных подвалах пресловутой тюрьмы занимается возвышенной философией, чтобы таким способом, может быть, бежать от тягостной действительности? Хотел ли он обозначить противоречие между занятием гениальными проектами Аристотеля и Гегеля и своим повседневным столкновением с этическим и интеллектуальным убожеством тупоумных следователей? Может быть, Бухарин хотел обратить внимание на определенную случайность в выборе очерков, объединенных в книге. Некоторые из них, действительно написанные сжато, лишь обозначая проблемы, в то время как другие, например, первая глава «О реальности внешнего мира и интригах солипсизма», имеют характер эссе. Правильно скорее, что понятие «Арабески» должно выразить намерение автора предложить не систематическую философскую работу, не учебник диалектики. При всех «привилегиях», которыми Бухарин был наделен в тюрьме, при возможности изучать литературу и писать нельзя ни на миг забывать, что его книга возникла в тюрьме, а не в комфортабельной Библиотеке им. Ленина с её богатыми фондами, где и после XX съезда КПСС палачи Бухарина, например, трудно поддающийся описанию В. М. Молотов, писали свои мемуары, в то время как рукописи Бухарина, которого было позволено забрасывать грязью, оставались на положении исчезнувших.

Издатели не сожалеют об отсутствии примечаний или точного указателя источников (за немногими исключениями, на которые было указано) в оставшейся рукописи Бухарина. Скорее они восхищаются феноменальной памятью этого ученого, которая и должна была преимущественно заменять ему библиотеку. Примечания и источники были доработаны издателями, постоянно стремившимися отдать должное историческому характеру текста и свойственному Бухарину пониманию философии и теории.

⁶ Nikolai Bucharin: Arabesken (Einleitung). Im vorliegenden Band S. XXXXX.

В «Арабесках» имеет место обсуждение того, как трудно человеку действительно перевоплотиться в другого человека и тем самым, исходя из своих собственных потребностей и интересов, мыслей и чувств, понять его. Слишком уж часто собственная мерка просто переносится на другого, собственные взгляды и предрассудки вкладываются в другого человека и становятся основой для оценки. Во время одной из своих проникнутых мужеством отчаяния атак на Вышинского Бухарин протестовал против продолжавшихся попыток государственного обвинителя изобразить его «каким-то простаком», приписывая ему бессмысленные взгляды, которые целиком и полностью противоречат его сущности и его способу мышления. За этим последовали определённые и мужественные слова Бухарина: «А я сам положительно утверждаю, что я думаю то, что думаю, и не думаю того, чего не думаю». И это отличало его от Сталина, который формулировал и менял свои взгляды от случая к случаю или часто, в зависимости от конкретной ситуации, говорил противоположное тому, что он действительно думал. Троцкий остроумно замечал, что применительно к Сталину имеют силу – с определёнными изменениями, – знаменитые слова Мартина Лютера «На сем стою, но могу и иначе».

«Я думаю то, что думаю». Слова Бухарина должны в гегелевском смысле применяться к интерпретации и анализу его текстов, а это означает, что индивида следует понимать, исходя из его времени. Нельзя ни переносить содержание в анализ его текстов, являющихся результатом более позднего развития, ни самоуверенно поднимать указующий перст и прикладывать к работам Бухарина масштабы, которые были обретены лишь полвека спустя после его трагической кончины. Многие историки по праву напоминают о большей чувствительности в обращении с жертвами, которая должна была сохраниться в трудной, тогда совершенно непроницаемой для них ситуации, и указывают на критические слова Ильи Эренбурга о том, что наивность якобы трезво мыслящих людей наталкивается у современного читателя на совершенно необоснованное недоверие. Новые оскорбления и проклятия – жалкое и лишённое достоинства следствие. Впрочем, всегда хорошо принять к сердцу мудрость, кроющуюся в словах: «Кто без греха, брось в нее камень». Большинство камней остались лежать.

Бухарин и Грамши

Изобретать концепцию «Арабесок» не было необходимости. Бухарин ясно и определённо представил её в предисловии. Он, по сути, обсуждал в своей работе важные философские проблемы, не стремясь к полноте. Подчеркивалась «дидактическая сторона» этих проблем, причём акцент делался на точках зрения, сформулированных Лениным в его «Философских тетрадах». Несмотря на проявлявшийся местами «публицистический характер» изложения, в основе повествования – определённый план, связывающий «Арабески» (эскизы и эссе) в единое целое.

В книге Бухарина рассматриваются проблемы материалистической диалектики, и она привержена той ориентации философской деятельности, которую Ленин развил в 1922 г. в своей статье «О значении воинствующего материализма». Философы, собравшиеся в журнале «Под знаменем марксизма», должны «организовать систематическое изучение диалектики Гегеля с материалистической точки зрения».¹ Сотрудники журнала должны осознать себя «обществом материалистических друзей гегелевской диалектики». Марксистская философия может, однако, решить свои будущие задачи в **системе** наук ввиду бурного развития именно естественных наук, исследуя экономику, политику и историю, только как диалектический *материализм*. Богатство самой теории Маркса не может быть постигнуто без изучения диалектики. Бухарин указывает на знаменитый афоризм Ленина о «Капитале», который нельзя понять не проштудировав «Логики» Гегеля. «Следовательно, никто из марксистов не понял Маркса ½ века спустя», – цитирует он резкие слова Ленина.²

Проблемы материалистической диалектики образуют внутреннюю связь «Арабесок», от постановки задачи в предисловии до 40-й главы, «Ленин как философ», которая подводит итоги всей книги. С развитием «диалектической стороны» Бухарин преодолевает и то «раздвоение» философии, которое Грамши подчёркивал как настоящую неприятную проблему своей «теории исторического материализма».

«Арабески» Бухарина преодолевают это «раздвоение» и воздают должное другому «великому завоеванию истории современного мышления, представленному философией практики, и его

¹ См.: Ленин В.И. О значении воинствующего материализма. – Полн. собр. соч. Т. 45. С. 30.

² Ленин В.И. Конспект книги Гегеля «Наука логики». – Там же. Т. 29, с. 162.

«идентификации с историей»³. Это и утверждается здесь. Только тщательное теоретическое сравнение обеих книг Бухарина может стать конкретным доказательством прогресса его философского развития с 1921 по 1937 гг. Мы должны быть справедливы в своей оценке и учитывать также, что ко времени написания «Теории исторического материализма» (1921) Бухарин не знал ни «Немецкой идеологии» (1925), ни «Философских тетрадей» (1929–1930), двух работ, которые позже особым образом побудили и заставили его критически переосмыслить свои прежние философские воззрения. Он сам воспользовался этим историческим обстоятельством.

В истории марксистской теории есть немало волнующих повествований о воздействии книг. Давно уже пришло время написать историю об отсутствовавшем или не допущенном воздействии книг, писем и статей. Это было бы повествование о невежестве и ослеплении, о высокомерии и враждебности духовному началу, стилизованных под революционность, о прикрытой левыми фразами власти глупости, повредившей сами корни движения, которое началось когда-то ради создания разумного, а значит, учащегося и мыслящего общества. История книг в марксистском движении, появлению которых воспрепятствовали, история, никоим образом не заканчивающаяся со смертью соответствующего автора, открывается «классическим трудом»

– «К русской революции» Розы Люксембург (1918), работой, написанной также в тюрьме, со своей основной идеей о том, что социализм без свободы нежизнеспособен. К этой традиции отсутствия последствий относится, несомненно, «Письмо к съезду» Ленина, написанное в декабре 1922 г., с просьбой после его смерти продумать заново «кадровый вопрос». В этом ряду и письмо Грамши руководству ВКП(б) от октября 1926 г., в котором идёт речь о том, чтобы в обращении друг с другом не забывать элементарные правила демократии. Разумеется, в их числе следует упомянуть и созданную в январе 1929 г. работу Бухарина «Политическое завещание Ленина», его последнюю открытую попытку включить в российский дискурс идеи из последних трудов Ленина, прежде всего его центральную идею о том, что мы должны прийти к коренному изменению «всей прежней точки зрения нашей на социализм». И, наконец, в эту историю отсутствия последствий входят «Философские арабески». Под рубрикой «Продолжение следует» становится реальностью обширный список воспрепятствования критической социалистической литературе. Этот список свидетельствует и о том,

³ Ebenda, S. 219.

что подлинно самокритичному анализу опыта, прежде всего опыта поражений, в социалистическом движении во всякое время препятствовали по мере сил.

Поздней осенью 1938 г. завершается ещё одна работа, чрезвычайно важная для развития марксистской философии – книга Лукача «Молодой Гегель». Она появилась в ГДР в 1954 г., хронологически близко к изданию в 1953 г. «Немецкой идеологии». Достояния внимания концептуальная близость книги Лукача к работам Грамши и Бухарина, с которыми у него не было контактов. С 1929 г. он даже по причинам самосохранения сознательно избегал встреч с Бухариным, о чём Лукач рассказывал в своих «Воспоминаниях».

В отличие от форсировавшегося Ждановым уже в то время осуждения Гегеля как феодально-реакционного мыслителя, являвшегося якобы противником французского Просвещения и революции, Бухарин называл его в «Арабесках» «Аристотелем буржуазного общества», а Лукач называет его «самым глубоким представителем философии буржуазного прогресса»⁴. Не зная Гегеля, его величия и его границ, нельзя понять и роль Маркса в немецком идейном развитии. Маркс, по словам Лукача, в этих тезисах сформулировал «существенные принципы плодотворной, подлинно исторической критики гегелевской философии», критики, которую «много десятилетий спустя выделил Ленин в своих гениальных заметках к гегелевским произведениям».⁵ Эта традиция погибла в период II Интернационал. Ее следовало восстановить, в том числе и как часть «культурной программы» борьбы против фашизма. Лукач называет основной идеей своей книги применение к развитию взглядов молодого Гегеля «той гениальной характеристики, которую дал Маркс в 1844 г. в «Экономическо-философских рукописях»: «Величие гегелевской *«Феноменологии»*... заключается, следовательно, в том, что Гегель рассматривает самопорождение человека как процесс ... что он, стало быть, ухватывает сущность *труда* и понимает предметного человека, истинного, потому что действительного, человека, как результат его *собственного труда*».⁶

Почти «чудо» теоретического свойства заключается в том, как столь последовательно двигались друг к другу основные линии в мышлении трёх выдающихся теоретиков марксистского движения – Грамши, Бухарина и Лукача, работавших и живших в тяжелых

⁴ Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества. М., 1987. С. 27.

⁵ Там же. С. 40.

⁶ Там же. С. 42.

политических условиях, во время политической катастрофы необозримого масштаба. Это явление, которое ещё должно быть тщательно исследовано, чтобы быть объясненным.

Философское завещание Ленина

„Revenons à nos moutons.“ («Вернёмся к нашим баранам». – Франц. Прим. перев.). Бухарин любил это французское выражение. Вернёмся же вместе с ним назад, к исходной точке. «Арабески» следует во многих отношениях рассматривать в связи с процессом против Бухарина. Сталин уже задолго до процесса указывал государственному обвинителю на необходимость разрушить репутацию Бухарина как самого значительного, после Ленина, теоретика большевизма. Эта задача оказалась бы не по силам и более интеллигентному чиновнику, нежели Вышинский. Личность морально упадочная и интеллектуально беспомощная, он пользовался уголовным жаргоном, чтобы загрязнить человеческое достоинство Бухарина. Ни один другой обвиняемый во время этого отвратительного процесса не подвергался столь гнусным оскорблениям, как эта интеллектуальная, человеческая и незапятнанная личность. Ненависть прорвала все плотины. Обвинению была заранее задана цель, и Вышинский экзальтированно восклицал в своей обвинительной речи: «Пройдёт время. Могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертополохом, покрытые вечным презрением честных советских людей».¹ Освобождённая от «последней нечисти и мерзости», история будет двигаться вперёд. Она это и делает, и «ангел истории» с ужасом смотрит на развалины, оставленные ею. Выросла и «трава забвения», покрывшая могилы на кладбище миллионов жертв Сталина. Но старый добрый крот истории роет непрерывно и неутомимо, и сообщает нам уверенность в одном из старейших опытов истории: *Никого и ничто никогда не забывают*, чтобы у человечества остался, по меньшей мере, теоретический шанс избавиться в будущем от такого рода общественного «устройства».

После смерти Ленина Бухарин усматривал свою теоретическую ответственность в разработке и передаче его наследия. Он слыл верным учеником своего учителя и его доверенным лицом. Чтобы сделать из друга Ленина его врага, «иуду русской революции», из

¹ Вышинский А.Я. Речь государственного обвинителя – Прокурора Союза ССР тов. А.Я. Вышинского. М., 1938. С. 62.

архива истории были извлечены дискуссии прошлых времён, в ходе которых Бухарин спорил с Лениным. Они должны были «доказать», что Бухарин всегда, «с самого начала» боролся против Ленина. Верх идеологического коварства заключался в «вызове» в суд Ленина как «главного свидетеля» обвинения. Для Вышинского в этом не было ничего нового. Уже в 1917 г. он, тогда сотрудник районной управы в Петрограде, подписал ордер на арест Ленина, выданный Временным правительством. Теперь же он использовал критические замечания Ленина по поводу теоретической работы Бухарина, чтобы сконструировать простиравшуюся от Бухарина до его учеников «линию антиленинизма». Такова была рекомендация Сталина.

Ленин, как было в порядке вещей в марксистском движении, по разным поводам критически высказывался о теоретических взглядах и позициях Бухарина, последний раз в «Письме к съезду». Хотя это письмо никогда не было опубликовано при жизни Сталина, оно было всё же известно. В этом письме Ленин назвал Бухарина ценнейшим и значительным теоретиком, воззрения которого, однако «очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским». Бухарин никогда не понял вполне диалектики. Он (Ленин. – Прим. перев.) делает эти замечания «лишь для настоящего времени» (!), ибо знает: Бухарин найдёт случай «пополнить свои знания» и «изменить свою односторонность».²

Бухарин «нашел случай» для обстоятельных и интенсивных занятий после того, как в 1929 и 1930 гг. в тт. IX и XII «Ленинского сборника» были опубликованы «Философские тетради» Ленина. «Арабески» образуют результат многолетней теоретической работы, вызванной непосредственно критикой Ленина в адрес недостатка диалектики в его мышлении. Бухарину оказалось тем легче согласиться с критикой со стороны Ленина, что он, изучая его конспекты, осознал: их автор обладал величием, благодаря которому отнёс свою критику к определённому периоду собственного философского развития – к той точке зрения, которую он занимал в своей книге «Материализм и эмпириокритицизм». Бухарин неоднократно подчёркивает афоризм Ленина: «Марксисты критиковали (в начале XX века) кантианцев и юмистов более по-фейербахиански (и по-бюхнеровски), чем по-гегельянски».³ В книге Ленина акцент делается на материализме марксистского философского рассуждения, в то время как диалектический момент

²См.: Ленин В.И. Письмо к съезду. – Полн. собр. соч. Т. 45. С. 346.

³ Ленин В.И. Философские тетради. – Там же. Т. 29. С. 161.

проявляется слабее. Поэтому критика эмпириокритицизма осуществляется скорее фейербахианским, нежели гегельянским способом. В отличие от позднейших изложений «Материализма и эмпириокритицизма» как *вообще* «главного философского труда» Ленина, как книги абсолютно безупречной, Бухарин, следуя за автором, интерпретирует её как ступень в развитии его философского мышления.

Тем же упростиителям, которым недоставало Фейербаха в «Философских тетрадах», не хватало и Гегеля в «Материализме и эмпириокритицизме». Поэтому философское творчество Ленина, как и любого другого теоретика, должно рассматриваться в контексте его духовного развития. Простая истина, уж конечно. Но именно эту истину Сталин сознательно игнорировал по идеологическим причинам. Для него, как показывает пример Бухарина, не было права на то, чтобы кто-то мог предьявить претензии, касающиеся генезиса собственных взглядов. Один раз мыслил неверно – всегда мыслил неверно. Один раз механистический материалист – всегда механистический материалист. Тексты больше не читались для того, чтобы найти новые идеи, выходящие за пределы известного – их использовали, чтобы вскрыть ошибочные высказывания, пригодные для рассмотрения в суде. Сталин никогда бы не смог последовать словам Брехта: «Приветствуйте радостно и с уважением того, кто проверяет каждое ваше слово, как подозрительную банкноту!» Он вызвал бы прокурора. Неисторичность (как воззрение, по словам Лукача, «мессианского сектантства») – это существенная черта сталинистского мышления как такового. Постольку утверждение Брехта попадает в самую суть: одно из самых худших последствий сталинизма – «упадок диалектики».

В качестве философа, определившего диалектику как теорию познания марксизма, Ленин придавал значение пониманию своих взглядов не как готового продукта, а в их становлении, что включало противоречие им и критику в их адрес. Бухарин называет «Материализм и эмпириокритицизм» и «Философские тетради» двумя «центрами» философского мышления Ленина, связанными в процессе развития. «Сначала следует констатировать: если марксизм выступает в «Материализме и эмпириокритицизме» как диалектический *материализм*, то в «Философских тетрадах» он проявляется в виде *диалектического* материализма. Там акцент делается на материализме, здесь на диалектике».⁴ Бухарин рассматривает различие *и* историко-идейную связь между обеими работами.

⁴ Nikolai Bucharin: Arabesken. Kap. 40. im vorliegenden Buch S. 370 f.

Конспекты Гегеля для него – «духовная лаборатория», диалектический проект, разработка которого составляет особый предмет его «Арабесок». Они могут быть поняты как комментарий к «Тетрадам» Ленина. В то же время Бухарин впервые ставит здесь ряд вопросов, которые только после XX съезда КПСС, после возвращения к источникам марксистской философии и смогли стать объектом широкого философского исследования в СССР:

- специфика и связь практического, теоретического и эстетического отношения человека к действительности;
- теория-практика-теория как непрерывно-дискретное отношение в процессе познания;
- историческое и логическое, абстрактное и конкретное в процессе познания, особенно в «Капитале» Маркса;
- цельность и множественность форм связей в мире – причинность как *одна* из этих форм;
- свобода как социально-историческая проблема, как момент *всех* способов усвоения действительности человеком;
- целесообразность и естественная необходимость в материально-вещественной деятельности человека; телеология в качестве момента исторической необходимости;
- отношение между способом производства и способом представлений в идеологическом производстве, причём способ представлений общества охватывает не только идеологические формы сознания и соответствующие им институты, но и социальные эмоции, повседневные формы сознания, образ мыслей и др., а значит, те формы «психического», которые Грамши называет «стихийной философией каждого» (повседневный рассудок, *bon sens* (здравый смысл (лат.) – Прим. перев.), проявления веры, суеверия, предрассудки, мнения и др.);
- единство материалистического понимания истории и теории познания.

В ходе своих исследований по диалектике Бухарин не ограничивается «Логикой» Гегеля, а вовлекает в анализ работы молодого философа, «Феноменологию духа», все «Лекции по истории философии», «Лекции по философии истории» и не удостоившуюся достаточного внимания «Философию природы».

«Грехи» механистического материализма

Проблема диалектики возникала, однако, перед Бухариным в начале 20-х гг. в другой, куда более жёсткой форме, нежели перед Лениным после 1909 г. Задача Бухарина состояла не только в том, чтобы сильнее подчеркнуть «диалектическую сторону» марксистского философского рассуждения. Проблема заключалась в том, что диалектика в «Учебнике», как писал Грамши, вообще отсутствовала. Он столкнулся с принципиальной критикой со стороны Ленина, вылившейся в рекомендацию Бухарину изучать диалектику. В 16-й главе «Арабесок», «О механистическом материализме», Бухарин предпринял основательную критику философской точки зрения, которую он занимал в 1921 г. в «Учебнике» и защищал ещё в 1923 г. в своей статье «К постановке задачи теории исторического материализма». В «Учебнике», писал Бухарин в 1937 г., отсутствует «понимание действительных движущих сил истории». «Поэтому ... в утончённом варианте или форме проявления механистического материализма, в пресловутой «теории равновесия» существует примитивно-механическое понимание производственных отношений (как координации материальных «живых машин» в сфере труда, т.е. своего рода *общественной* материи, которая точно такова же, как материя в физике!)»¹. Так как возрастает значение технического компонента в производственном процессе, то можно было бы говорить о растущей «материализации» производственных отношений. Материя как материал, материальные отношения как ощутимые, технические или физические отношения – это значимая точка данного «заново» отчищенного «старого» материализма.

В 1923 г. Бухарин страстно оборонялся от своих критиков с помощью аргумента о том, что он защищает материалистический *монизм*. Он пытается обосновать единое материалистическое понимание естественного и общественного бытия и критикует попытки австромарксистов подорвать с идеалистических позиций материалистическое понимание истории с помощью аргумента, согласно которому «материальные» производственные отношения устанавливаются людьми, наделённые сознанием и преследующие определённые цели. Он видел выход и спасение для исторического *материализма* в перенесении законов физики на сферу общества,

¹ Ebenda, Kap. 16. S. 144.

будто тем самым было бы учтено замечание Маркса о том, что закон стоимости действует как закон тяготения и считал, что, наконец, нашёл путь к пониманию общественных процессов как процессов безусловно необходимых.

Эта «теория исторического материализма» была возвратом к «прежнему материализму», о котором Гегель сказал, что он не может в области философии истории предложить ничего иного, кроме сплошных банальностей. Грамши и Бухарин пришли в 30-е гг. к почти идентичным оценкам. Грамши писал: «При постановке вопроса о телеологии ошибка *«Учебника»*, заключающаяся в низведении философских уроков прошлого до уровня банальностей, обнаруживается ещё явственнее. Читателю представляется, будто вся культура была фантазмагорией бредящих участников вакханалии».² Бухарин давал следующую оценку: «Механистический материализм, таким образом, проецировал всё многообразие движущегося трёхмерного мира на измерение и уровень механики, что тождественно упрощению, посерению и тривиализации мира, столь устрашавшим полнокровно-богатую и чувственно-художническую натуру Гёте».³

Грамши видит существенный недостаток «барочных теорий», на которых зиждется учебник Бухарина, в том, что «отсутствует всякое ясное и точное понятие того, что же такое философия практики». Поэтому и Бухарин не может решить «проблему соотношения природы и общества».⁴ Эти имеет силу в зеркально-перевернутом виде и применительно к Лукачу. Универсальную материалистическую философию, понимающую природу и общество как противоречивое единство, в их опосредствованиях, качественных различиях и переходах, можно обрести только из трудовой теории Маркса. Труд, по Марксу, есть процесс отношений между человеком и природой, в котором человек способствует обмену веществ с природой, а также регулирует и контролирует это процесс собственными действиями. Человек относится к веществу природы как природная сила. В труде заключён источник историчности. Человек, воздействуя на природу вне его, в то же время развивает и формирует свою собственную (социальную) природу, свои собственные условия жизни и соответствующие им идеологические рефлексy. Чтобы жить, люди должны производить. Это естественная необходимость. Со своим

² Antonio Gramsci: Philosophie der Praxis. Frankfurt am Main, 1967. S. 245.

³ Nikolai Bucharin: Arabesken. Kap. 16. S. 145.

⁴ Antonio Gramsci: A.a.O. S. 215.

способом производства они развивают и соответствующий способ представлений.

Первый выход «Немецкой идеологии» в 1925 г. был значительным событием в истории марксистской теории и в то же время шансом для будущего развития философии. Бухарин принадлежал к числу тех, кто последовательно использовал представившуюся им возможность критически переосмыслить и преодолеть старое, неисторическое понимание материализма. Существует положение в «Немецкой идеологии», которое он цитировал особенно часто, ибо оно радикально ставит под вопрос его прежнее понимание соотношения природы и общества: «Мы знаем только одну-единственную науку, науку истории. Историю можно рассматривать с двух сторон её логики, разделив на историю природы и историю людей. Однако обе стороны неразрывно связаны до тех пор, пока существуют люди и история природы и история людей взаимно обуславливают друг друга».⁵ Тем самым был указан и путь к органическому единству самой философии.

Грамши прямо-таки «побуждает» Бухарина занять такую позицию. Она позволит ему написать учебник философии практики, который удовлетворяет предъявленным требованиям. Хотя в книге Бухарина и упомянуты все важные пункты, но случайно, хаотически, без внутренней связи, в отрыве от истории. «Если решена главная задача, и рассмотрена общая философия, действительная и подлинная философия практики, а именно наука диалектики или теория познания, в которой в органическом единстве связаны друг с другом понятия истории, политики и экономики, то оказывается полезным в популярном очерке принять к рассмотрению общие понятия для каждого момента или познавательной части, в том числе и в той мере, поскольку при этом идёт речь о независимых друг от друга и отдельных науках».⁶

«Арабески» – не учебник, и в качестве такового они и не составлялись. Они выполняют задачу, поставленную в предисловии – дать обоснованный с философско-исторических позиций очерк марксистской философии как диалектики и теории познания, связанный с новыми результатами в развитии естественных и общественных наук. Проблемы, рассмотренные в книге, предлагаются не как готовые истины, а как исторически сформировавшиеся вопросы философской дискуссии. Хотя темы, рассматриваемые в 40 главах, и называют

⁵ Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. – Собр. соч., 2-е изд. Т. 3. С. 16.

⁶ Antonio Gramsci: A. a. O. S. 215.

определённые основные направления, они представляются как темы *единой* философии. Если принимать во внимание книгу Бухарина, то должна потерпеть поражение каждая, ставшая в позднейшие годы обычной. Имеется в виду попытка выделить отдельные элементы органического целого, обособить их как составные части и тщательно рассортировать по коробочкам с надписями «диамат», «истмат», «теория познания», «этика» и т. д.

После того, как Н. И. Бухарин в те ноябрьские дни 1937 г. завершил работу над «Философскими очерками», он мог бы сказать, опираясь на слова Розы Люксембург: «Я (снова) с Марксом, с его философской программой, обогащённой познаниями ленинских конспектов Гегеля».

Из тезиса о том, что «Арабески» – часть подготовки Бухарина к процессу, нельзя сделать вывод о его намерении с помощью философских аргументов изменить заранее сформированное предвзятое мнение Сталина и побудить его к отмене обвинения в «антиленинизме». Он не надеялся также и на то, что клан Сталина начнёт теоретическую дискуссию с обречённым на смерть. Кроме того, Бухарин знал как нельзя лучше отношение Сталина ко всей этой гегельянщине à la Ильич, которую тот уже в 1930 г. в буквальном смысле пресёк. Сталин полагал, что раз навсегда покончил «со всем этим направлением» с помощью вердикта о «меньшевистствующем идеализме». Он должен был воспринять как немалую дерзость тот факт, что Бухарин, по крайней мере, в ситуации, в которой пребывал, занялся «Философскими очерками», продолжавшими направление, заклеянное им на все времена и, кроме того, ожидал ещё их благожелательного восприятия.

Со времени дискуссий 1928–1929 гг. Сталин больше не доверял Бухарину и не верил его заявлениям о верности и «клятвам». Следуя этим чувствам, он мог оценить записи Бухарина только так, как было ему привычно: Николай всё ещё «не сложил оружия»! Как дерзость, Сталин должен был воспринимать и сообщение Бухарина, пришедшее в день рождения, о том, что в «Арабесках» есть кое-что «полезное»⁷, а ведь для него, как и для всех доктринёров, не могло быть ничего более бесполезного и вредного, нежели диалектика, эта так называемая «революционная душа». Не позволить ничему произвести на себя впечатление – это было с точки зрения Сталина уж никак не полезным, означая конец его системы. Это понял даже туго

⁷ Письмо Николая Бухарина Иосифу Сталину от 10 декабря 1937 г.

соображающий Вышинский, что доказывает способ его «трактовки» диалектики во время процесса.

В духе Нечаева

Сталин представлял собою историческую личность с поистине глупой ограниченностью (которую путали с прямолинейностью). Этот его склад ума был известен и нередко описывался в литературе. Он ничего не забывал, он ничего не прощал, и поэтому писать ему прошения было делом напрасным.

Наследие Сергея Нечаева (Верховенского в романе Достоевского «Бесы») считалось утраченным. Оно было обнаружено после 1953 г. в кабинете Сталина. Это нельзя считать случайностью хотя бы потому, что близость умонастроений между Сталиным Нечаевым, подобие их образа общества и человека слишком уж очевидны. Об этом свидетельствует, например, §6 «Катехизиса революции», который Нечаев считал священной книгой, в котором о «революционере» говорится следующее: «Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности должны быть задавлены в нём единственной холодной страстью революционного долга. Для него существует только одна нега... успех революции. Денно и ночью должна быть у него одна мысль, одна цель – беспощадное разрушение». Он должен быть всегда готов «погубить своими руками все, что мешает достижению этой цели».¹ Таков был идеологический результат. Наследие Нечаева находилось в личной библиотеке Сталина. «Бесы» Достоевского подверглись официальному партийному запрету из-за их «антисоциалистической тенденции». Граждане страны с независимым судом восхищались гениальностью их великого писателя, который в XIX в. предвидел бесовскую российскую действительность XX века. Социалистическая реальность была, однако, более жестокой, чем критическая фантазия Достоевского.

В результате непосредственного наблюдения Светлана Аллилуева точно охарактеризовала бесовский образ мыслей Сталина. Бухарин был выходцем из другой духовной традиции. Между ними обоими должен был рано или поздно последовать духовный разрыв. Наведение моста над пропастью или понимание противоречий, разделявших Бухарина и Сталина, было исключено. Светлана по-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Альянс социалистической демократии и Международное товарищество рабочих. – Собр. соч., 2-е изд. Т. 18. С. 416.

дантовски описала человеческую проблему Бухарина (как общую проблему всех жертв террора). Для тех, которые попадали в атмосферу патологической подозрительности Сталина, начинался ад, надпись над входом в который гласила: «Оставь надежду всяк, сюда входящий!».

В литературе часто говорят о внутренней противоречивости или многозначности (Морис Мерло-Понти) позиций Бухарина. Эта оценка нуждается в критическом анализе. Всё ещё очень трудно пробиться через гушу идеологических разрастаний, прочно окружающих правду 37-го года. При этом речь идёт не только о «насаждениях» из времён Сталина, но и о сорняках целого столетия. Это касается и исторической оценки точек зрения и воззрений самого Бухарина. Прокурор сделал во время процесса всё, чтобы изобразить Бухарина как воплощение увёрток и отклонения от «истины», как приверженца двусмысленности, как двуличного арлекина, который не в состоянии сформулировать ни единого однозначного и ясного предложения. Тезис о «двойственности» Бухарина подвергается опасности следования взглядам его судей. Поэтому мы повторим его слова о том, что он думает то, что думает, и не думает того, чего не думает. Мы следуем также мнению Стивена Коэна о том, что «последнее слово» Бухарина (единственный раз на этом процессе, когда ему было позволено говорить связно) не должно быть истолковано неверно – разве что прилагаются усилия к неверному пониманию. Существуют, наконец, «Арабески», в которых он ясно и чётко представляет свои философские воззрения как квинтэссенцию своего критического мышления. Следовательно, можно проследить, *что* он думал в действительности – в отличие от того, что ложно приписывали ему и допускали относительно него его противники. Бухарин был мыслителем, боровшимся за ясность своего приговора, что и в его случае не означает свободы от противоречий.

С этой точки зрения легче задавать вопросы. Если Бухарин в 1937 г. знал, что и его «Философские очерки» ничего не смогут изменить в отношении Сталина к нему, то зачем он до последнего дня писал ему письма? Путь к ответу указывает нам примечание Грамши о том, что в мышлении и поведении людей пессимизм понимания нередко сопутствует оптимизму чувств. Такое противоречие мы раскрываем и у Бухарина. Критический ум говорил ему, что у него не могло быть надежд избежать уготованной судьбы. И всё же надежда не уходила из его сердца. Люди, подобно Бухарину боровшиеся всю свою жизнь, боролись и тогда, когда ум уже говорил им о бесперспективности ситуации. Они не допускали победы отчаяния над собой и унижения

безнадёжностью своего бедствия до утраты собственного достоинства, как случилось с Григорием Зиновьевым. Бухарин был единственным обвиняемым в своём процессе, не умолявшим суд о милости. Его надежды умерли с ним. Здесь есть человеческое противоречие, но нет «амбивалентности».

„Ave, communisme!“

Другое противоречие на последней фазе своей жизни Бухарин описал как в «Арабесках», так и в последнем слове, используя гегелевскую мыслительную фигуру «несчастливого сознания». Это было противоречие, с которым пришлось столкнуться обвиняемым на всех московских процессах. Аркадий Розенгольц, на протяжении многих лет народный комиссар внешней торговли СССР, со-обвиняемый в процессе Бухарина, в своём последнем слове очень своеобразно выразил это противоречие. К ужасу зала он запел песню Дунаевского:

«Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек».

Слёзы заглушили его голос. Он сам спел зауспокойную молитву по себе. Это была одна из тех абсурдных ситуаций, которые Бухарин характеризовал как «кошмар». Люди, всю и, кстати, одну-единственную свою жизнь борющиеся и страдавшие за революцию, стояли теперь перед судом этой революции по абсурдному обвинению в её предательстве.

Чтобы показать своё духовное и политическое положение, Бухарин пошёл иным путём. Он воспользовался «несчастливым сознанием» Гегеля не только для того, чтобы описать свою собственную раздробленность, борьбу обречённого на смерть за своё единство и соответствие с революционной идеей, оторвать его от которой пыталось обвинение, ввергая его в изолированное индивидуальное существование. Он стремился и показать свой выход: борьбу за истину как «достоверность самого себя» и своё место в будущей истории идей. Гегель помог ему и на Лубянке разработать программу последней фазы своей жизни: создать «достоверность своей свободы для самого себя»¹.

¹ Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М., 2000. С. 108.

Отброшенное на «чистое осознание», на «диссонирующий перезвон колоколов или тёплые клубы тумана музыкальное мышление»², это мышление, покоящееся на «чистом, внутреннем чувствовании» не доходит до понятия. Эту раздвоенность в своей «отдельности» такое мышление ощущает как несчастье. Это несчастье, эту раздвоенность, свою боль можно преодолеть только в результате отказа от своей «отдельности», отречения от самого себя, растворения своей волю во «всеобщей воле». «Отказ от себя оно могло подтвердить только этим *действительным* пожертвованием; ибо только в последнем исчезнет *обман*, который содержится во *внутреннем* признании благодарности сердцем, образом мысли и устами»³. Тем самым мышление обретает уверенность в самом себе. Представление стало для него разумом.

В своем последнем слове Бухарин, в соответствии с обстоятельствами, говорит трезвее: Если долго сидеть в тюрьме «и постоянно колебаться между жизнью и смертью», возникают многочисленные вопросы, «приближающиеся в других измерениях, нежели в обычной практической жизни. ... И в такие моменты, граждане судьи, упраздняется и исчезает всё личное, всё выражение личного, остатки ожесточения, эгоизма и целой череды других вещей». В этой связи Бухарин говорит и о решении для себя по примеру Кандида – на случай, если он останется в живых, правда, существуя в условиях «полной изоляции от того, что образует суть жизни». Но это было ему не суждено. «Речь идёт не о личной судьбе раскаивающийся врагов, а о победоносной борьбе великого пролетарского государства и его союзников во всём мире. Ave, communisme. Morituri te salutant! (Здравствуй, коммунизм. Идущие на смерть приветствуют тебя! – Лат. Прим. перев.)»⁴

Книга Бухарина – это книга выживания и продолжения жизни в истории, ибо только история и будет судить; она – Страшный суд. Это результат его вполне личной борьбы против разрушительной силы отчаяния и разорванности его сознания. В этом широком смысле книга – возражение обвинению *и* его *conditio humana* (человеческое созидание. – Лат. Прим. перев.) в противоречивой революции, которая пришла однажды с великим намерением и потерпела крах, столкнувшись с революционерами.

² Там же. С. 112.

³ Там же. С. 119.

⁴ Nikolai Bucharins „Letztes Wort“.

Остаётся вопрос, действительно ли в высказываниях Бухарина нет амбивалентности. Конечно, она есть. Вот только эти высказывания обнаруживаются не в положительно развивающемся теоретическом содержании и чётких линиях его мышления, а, к примеру, в характере его защиты перед судом. Вышинский обоснованно жалуется, что Бухарин уклоняется, не отвечая «однозначно» на его вопросы и утверждения. Но насколько рассудительным было бы откровенное и честное реагирование на примитивно-лживую расстановку ловушек Генеральным прокурором? Бухарин в ходе процесса заявляет без обиняков, что не готов играть предназначенную ему роль «простофили». Согласиться с нею означало бы согласиться с «оригинальной логикой» Вышинского, принять его солипсистское обращение с фактами и средневековое понимание признания как «царицы доказательств». Всем морализирующим возражениям по поводу стратегии защиты Бухарина следует возразить, что данный процесс – это не форум со спором научных мнений, а процедура, лживая до мозга костей, с которой можно было бороться, применяя средства, только ей и соответствовавшие. Бухарин два раза продемонстрировал представителя обвинения в таком виде, что тот потерял самообладание и дошёл до истерического рёва. Иное дело Бухарин. Свидетели сообщают, что он на всём протяжении процесса излучал не ожидавшееся от него, прямо-таки лишённое эмоций спокойствие. Процесс утраты доверия к власти в длительной перспективе – вот неизбежное следствие этого чудовищного судебного процесса, который следует считать большой ошибкой. Бухарин сыграл выпавшую на его долю роль, чтобы можно было придти к такой оценке.

«КРАТКИЙ КУРС» – НЕКРОЛОГ ПО АЛЬТЕРНАТИВЕ

Сталин послал вслед Бухарину – в могилу – своё невежественное и некультурное возражение на «Арабески». Сама рукопись по его приказанию исчезла в каком-то подвале. Тем не менее, её, в отличие от некоторых других документов его «противников», не уничтожили, по каким бы то ни было причинам. В 1938 г., лишь через немногие месяцы после казни Бухарина, вышла работа Сталина «О диалектическом и историческом материализме» как вторая часть IV главы так называемого «Краткого курса» истории ВКП(б). Книга была результатом решения Центрального комитета и, следовательно,

подобно слову, произнесённому *ex cathedra* (с кафедры. – Лат. Прим. перев.), исключена из философского дискурса в стране.

Недовольство Сталина касалось не только теоретического наследия Бухарина, но и философского наследия самого Ленина, в чём он видел исток всех тех диалектических заблуждений, которые так и не желали прекращаться. Оказалось востребованным его решающее слово, т. е. ясное высказывание о том, чего он не хотел, и каким путём должна была в сфере его власти идти в будущем марксистская философия.

Единомышленники Сталина называли его «Лениным сегодня». Это звучало похвально и подобающе. Тем самым на него возлагалась теоретическая ответственность. Он не мог быть «Лениным сегодня» без того, чтобы мёртвый основатель государства не стал «Сталиным вчера». Следовательно, он должен был на свой лад сказать, от какого наследия Ленина мог и охотно хотел отказаться. В интересах самого Ленина и ради сохранения его доброго имени он приказал составить основательный список его работ, которые никогда не должны были публиковаться. В него входило, разумеется, и ненавистное «Письмо к съезду».

Уже и до этого он успешно воспрепятствовал включению «Философских тетрадей» Ильича в полное собрание его сочинений, но просители не отставали. Ещё в 1952 г., за год до смерти Сталина, В. Кружков появился у него с докладом, чтобы представить план 4-го издания трудов Ленина, вновь предусматривавший включение «Философских тетрадей». Сталин должен был строго напомнить ему: «Не слишком расширяйте его; не слишком расширяйте ленинское наследие».⁵ Эти слова сопровождались строгим взглядом. Кружков понял, и произошло то же, что и до тех пор. «Философские тетради» остались за пределами собрания сочинений, не нашли и на сей раз доступа в заповедник классических и бесспорных работ, как решил «Ленин сегодня». Он нимало не сомневался.

До крайности воодушевлённый «Логикой» Гегеля, Ленин позволил себе сделать «уступки» идеалисту Гегелю и размыл «резкую» разделительную линию между материалистической и идеалистической диалектикой. Доказательством тому служат подчёркнутые фразы Ленина о «Логике» Гегеля: в этом идеалистическом труде Гегеля обнаруживается меньше всего идеализма и больше всего материализма; он читает Гегеля материалистически, ибо философия Гегеля – материализм, стоящий на голове, он большей частью отставляет в сторону милостивого бога,

⁵ Цит. по: Roy Medwedew: *Das Urteil der Geschichte*. Bd. 3. Berlin 1992. S. 350.

Абсолютное; нельзя понять «Капитал» Маркса без «Логики» Гегеля. Тем самым Ленин, по мнению Сталина, покинул партийную точку зрения к невыгоде материализма, в пользу идеализма. Это достаточно серьёзный повод для того, чтобы защитить Ленина от Ленина и, если уж нельзя было полностью изъять «Философские тетради» из научного оборота, то, по меньшей мере, следовало отдалить их от возможного читателя. Должна была быть достаточной публикация «Философских тетрадей» вне издания сочинений, в виде брошюры. Тем самым была указана дистанция. Преувеличенно положительная оценка отнюдь не могла рекомендоваться для подражания в целях развита материалистической диалектики.

Сталин настолько исказил диалектику, что остался только бледный свет глуповатой, уничижительной формулы: «Характеризуя свой диалектический метод, Маркс и Энгельс ссылаются обычно (!) на Гегеля, как на философа, сформулировавшего основные черты (!) диалектики. Это, однако, не означает, что диалектика Маркса и Энгельса тождественна диалектике Гегеля».⁶

Представления Сталина о структуре диалектического материализма полностью игнорировали исторический генезис философии Маркса, переходящий в «Тезисы о Фейербахе», если предположить, что он знал этот генезис. Он, однако, просто-напросто повторил в 1938 г. свою точку зрения, сформулированную в «Анархизме или социализме?» (1906), только в более ограниченной форме: «Диалектический материализм есть философская теория и метод изучения явлений природы, т.е. вид натурфилософии, которая в результате *распространения* на изучение общества и истории становится историческим материализмом».⁷

Различия во мнениях между Бухариным и Сталиным развивались, прежде всего, в области экономической и политической теории. Они касались практического осуществления социалистической идеи в СССР. Сталин ожидал от вовлечения «философской теории» дополнительного эффекта при осуждении «правого» уклона Бухарина. Так, он утверждал, что существует прямая связь между бухаринской концепцией социалистического строительства и механистически-материалистической философией общества, которая, по его мнению, без изменений продолжала действовать во взглядах Бухарина. Очевидно, и «Арабески» ничего не изменили в его оценке.

⁶ Сталин И. В. О диалектическом и историческом материализме. – История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М., 1941. С. 101.

⁷ См.: Там же.

Бухарин потому, например, согласно утверждению Сталина не понял социалистической революции, что ему, как и всем механистическим материалистам, никогда не открылась диалектика количества и качества.

Следует вкратце обрисовать политико-теоретическую концепцию Бухарина, не в последнюю очередь из-за упрощения, дающего себя знать и по сей день. В соответствии с этим упрощением все различия исчерпывались в желании Бухарина «медленнее» и более «добровольно» формировать процесс социалистических преобразований в сельском хозяйстве. Такая интерпретация была бы слишком неубедительной. Точнее, речь шла о том, что Бухарин опасался (и, как должно было выясниться, по праву), что с преждевременным окончанием новой экономической политики (НЭПа) возникает крайне серьезная угроза слабым росткам социалистической демократии в СССР. Дело дойдёт, по его мнению, до нарастания давления и насилия в осуществлении власти.

Своими работами «Ленин как марксист» (1924) и «Путь к социализму и союз рабочих и крестьян» (1925) Бухарин внёс существенный вклад в изображение теоретических основ социалистического общества, которое должно было быть создано в СССР. Прежде всего, последняя работа стояла в центре внимания в ходе дискуссии, закончившейся в 1929 г. его осуждением как «правого» и смещением со всех важных постов в руководстве СССР. Исходный пункт его позиции заключался в том, что ненавидевшееся понятие «мирного востания» в социализм получает после революции другое значение, так как общественное развитие осуществляется теперь эволюционно, больше не принимая форму следующих друг за другом катастроф. Тем самым, по его мнению, начинается «мирное востание», понимаемое как органическое развитие общества. На место субъективных актов выражения воли политического руководства приходит мирная, непрерывная организационная работа. Бухарин предлагал в соответствии с позицией Ленина, сформулированной в работе «Лучше меньше, да лучше» (1923), мыслить в больших исторических взаимосвязях. Общество будет многие десятилетия медленно вращаться в социализм через тысячи промежуточных форм. До сих пор, по его мнению, имеются знания только основных тенденций социалистического развития. Пришло время размышлять о различных типах социализма и различных путях его осуществления, познавать новые вопросы и обсуждать новые решения.

В своей речи о «политическом завещании» Ленина по случаю пятой годовщины его смерти в 1929 г., Бухарин воздал должное его последним работам, а в них идеи «коренной перемены всей точки зрения нашей на социализм». ⁸ Если раньше основное значение имела политическая борьба, то теперь акцент должен быть сделан на «культурную работу». Бухарин, занимая такую позицию, имел в виду, что методы военного коммунизма и Гражданской войны, бесперывного военного положения и кампаний, ставших повседневной привычкой и нормой общественной жизни в стране, оказались совершенно непригодными теперь, когда речь шла о будущем формировании нэпа, т. е. о сути политики общественного развития. Он предлагал отказаться от роковой склонности к намерению организовать всё и вся. С точки зрения экономического разума такая склонность могла бы рассматриваться только как безрассудство.

Бухарин не был, вопреки утверждению Сталина, противником кооперативного развития в деревне, защитником кулаков от социалистической идеи. Стержневая идея его концепции заключалась в том, чтобы осуществлять социалистические преобразования постепенно, без торопливости и поспешности, после умной подготовки, при строгой добровольности, терпеливо и чутко, без принуждения, без произвола, без административного давления, с учётом элементарных интересов и потребностей людей. Понимание социализма как культурной задачи означало работу ради развития в СССР гражданского общества. Новое общество, в конечном счёте, есть ничто иное, как общество «цивилизованных кооператоров».

Концепции Сталина соответствовала его пресловутая «теория» постоянного обострения классовой борьбы по мере продвижения страны по пути социалистического строительства. Поэтому высшей закономерностью социализма были объявлены постоянное развитие репрессивных органов государства, террор против населения, ограничение демократии, «всестороннее совершенствование» диктатуры пролетариата. Один только «мягкий» Бухарин объявил войну этой «теории» Сталина на апрельском (1929 г.) пленуме ЦК ВКП(б), причём с непривычной для него резкостью.

Тем самым Генеральный секретарь ЦК партии дошёл до предела, и его «терпение» оказалось исчерпанным. В ходе дискуссий 1929 г. Бухарин раскрыл свои противоречия с ним столь ясно, что ничего

⁸ Ленин В.И. О кооперации. – Полн. собр. соч. Т. 45. С. 376.

лучшего и желать не приходилось. Так он «добился признания» как противник Сталина до конца дней своих. Без объективной, открытой, аргументированной дискуссии руководство сталинской партии вынесло Бухарину уничтожающий политический приговор. Сталин рассматривал этот приговор как окончательный и не подлежащий обжалованию, что соответствовало его сущности. Бухарин утратил его доверие на все времена.

Сталин знал лучше любого другого политика в СССР, что его спор с Бухариным касался не только тактических различий. Бухарин разработал альтернативу его концепции общества, может быть, единственную действительную альтернативу, существовавшую в истории СССР после смерти Ленина. Сталин настаивал на том, что один только его путь и ведёт к социализму, в то время как путь Бухарина имеет следствием капиталистическую реставрацию. История произнесла свой приговор.

Понимал и Бухарин, что его столкновение со Сталиным затрагивало отнюдь не маргинальную проблему, а сущность и жизненную основу нового общества. Он проиграл и никогда больше публично не возвращался на сущностном уровне к этой дискуссии, разве что только в привычных покаянных заявлениях. Когда во время пребывания в Париже в 1936 г. его спросили о взгляде на тогдашний конфликт, он уклончиво ответил, что всё дело принадлежит истории, и прибег к более чем неправильному сравнению: бессмысленно спорить о том, из какого материала сделаны ножки стола, если стол готов. Пользуясь этим образом, мы могли бы сегодня закончить: не изобилие на слишком богато накрытом столе сломало его ножки. К ответственности следовало бы привлечь столяра.

Были свои причины и у Сталина помянуть в «Кратком курсе» только несколькими немногословными, лживыми и напоминающими формулы фразами эту дискуссию, так близко коснувшуюся жизненного нерва общества. К тому же там было и «применение диалектики» в качестве философского гарнира: «Если переход медленных количественных изменений в быстрые и внезапные качественные изменения составляет закон развития... переход от капитализма к социализму... может быть осуществлено не путём медленных изменений. Чтобы не ошибиться в политике, надо быть революционером».⁹ Так говорил «революционер», стоявший во главе партии и государства.

⁹ Сталин И.В. Указ. соч. С. 105.

Бухарин обосновывал в «Арабесках» необходимость понимать применение диалектики к анализу политических процессов и исторических событий только как многообразно опосредствованный мыслительный процесс. К «применению» диалектического метода не имеет никакого отношения простое обозначение процесса или деятельности как диалектических. Следствием является, как Бухарин показывает в «Арабесках», невыразимая тривиализация диалектики. Диалектика расчленяется на «специальные диалектики» такого рода, что говорят о «диалектике металлургии», о «диалектике кузнечного искусства», даже о «диалектике пришивания пуговиц» и т.д. По поводу этих примеров «диалектики» можно разве что улыбнуться, но в те годы распространялось всё больше примеров исторической диалектики, заставлявшие исчезнуть смех. Может быть, сам Сталин «разъяснил» своей простодушной экономке Валечке «диалектику террора» с помощью примера из её кухни: тот, кто хочет есть яичницу, должен разбить яйца. Чтобы удовлетворить духовные запросы университетских профессоров, отделы агитации и пропаганды аппарата забирались в более высокие выдвижные ящики: без московских показательных процессов не было бы победы под Сталинградом. Такова «диалектика истории». А ещё была и «диалектика ГУЛАГа»: если бы победили Троцкий и/или Бухарин, а не Сталин, то не было бы Советского Союза. В этом смысле с ГУЛАГом следует смириться, одоблив его как положительный момент истории.

Эти примеры «диалектики истории», распространившиеся в массовых масштабах и запечатлевшиеся в качестве убеждений, показывают дискредитацию невежеством одного из великих завоеваний истории философии. Текст Сталина о диамате и истмате в «Кратком курсе» оказал мощное содействие укоренению такого невежества.

«Деревья умирают стоя»

О последнем годе жизни Бухарина, проведённом на Лубянке, просочилась наружу лишь незначительная информация. Она включает волнующее и в то же время загадочное сообщение о встрече с одним из его «учеников», Александром Эйхенвальдом. Тот описывал, с каким рвением стремился Бухарин убедить его в новой научной задаче. Следует забыть всю идеологию, экономику и политику. Дело идёт о том, чтобы доискаться смысла и ценности человеческой жизни. Эйхенвальд простился с Бухариным с очевидным большим

удивлением и не мог истолковать загадочное послание своего учителя также удивлённым товарищам по несчастью в лагере. Шла ли речь о мистике, об этике или новом подходе к философскому мышлению? Вопросы, которые задавал загадочный сфинкс у врат Фив, могли показаться ему более лёгкими.

Сначала напрашивается «простое» решение проблемы, если подумать о «последнем слове» Бухарина на процессе. Находясь под угрозой смерти со стороны варварского инквизиционного суда, он говорил о том, что на всём протяжении заключения его мучил вопрос: если ты умираешь, то ради чего? В чём был смысл твоей жизни? Что остаётся от тебя в истории? Бухарин говорит здесь о своей «личной судьбе», но он знал, что «его» вопрос стал в роковые годы террора вопросом миллионов индивидуальных судеб. Великая революция, пришедшая однажды, чтобы «перевернуть все отношения, в которых человек является униженным, порабощённым, бесправным, презренным существом»¹, стала между тем, ни непредвиденно, ни неожиданно, Большим террором, в котором индивид значит не только мало, но и вообще ничего не значит. Революция, погубленная непрерывным насилием, была лишена всякого разума. Любимым выражением циника Берии было «Лес рубят – щепки летят». В таких условиях проблема индивидуальных прав человека вставала не только перед Бухариным и его товарищами по несчастью, но и перед всеми гражданами страны.

Человеческое страдание постигается не посредством гигантских цифр, а в результате соприкосновения с судьбой отдельного человека. Люди узнают историю через истории людей. Отсюда – и это лишь немногие примеры, – постоянно сильное воздействие дневника Анны Франк, «Колымских рассказов» Варлама Шаламова, повестей Солженицына о «Матрённом дворе» или об *одном* дне в жизни заключённого ГУЛАГа Ивана Денисовича. Тоталитарное мышление направлено на разрушение человеческой индивидуальности. Индивидуальность эта обоснованно воспринимается им как угроза. Поэтому гуманистическая задача заключается в том, чтобы спасти от забвения и сохранить для прочной памяти судьбу честно живших и страдавших людей. Напротив, оперирование гигантскими цифрами, превращающееся в самоцель, притупляется и может способствовать расцвету только тоталитаризма, не знающего имён.

Когда Бухарин говорил с Эйхенвальдом о том, чтобы обратить всё теоретическое внимание на вопросы ценности и смысла жизни, в

¹ Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение. – Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 1. С. 422.

центр философского мышления он поместил человека. Вопрос о смысле встаёт не применительно к политическим движениям или историческим эпохам. Он касается только жизни отдельного человека, индивида. Только индивид и может придавать смысл своей жизни, самостоятельно решать, каким будет человек, каким он является. Это решение не переносится ни на личности, ни на институты. Тоталитарные системы, партия и государство как их опоры лишают индивида права на всякое решение, включая возможности распоряжаться собственной жизнью. Во всяком случае, они пытаются реализовать это намерение, не стесняясь в выборе средств.

Сущность этой философии истории, представленной не одним только Фейхтвангером, заключается в том, что понятие человечества, «логика» истории, «дело» свободы, «объективные потребности» классовой борьбы или названный как угодно ещё «святой дух» революции намного превосходят всё индивидуальное. В этой концепции индивид оказывается полностью вне игры и в истории играет разве что роль попутчика или идёт рядом. Вместо того чтобы быть высшей целью исторического действия, он становится простым средством политики, проводимой вождями революции и их сторонниками. Исторический путь человека и смысл жизни не являются в этой философии самоопределяющимися величинами. Они проделывают путь от подчинения индивидуума интересам революции до самоотречения.

Слова Маркса о том, что свобода каждого является условием свободы всех, противоположны такому образу мышления. В качестве предпосылок свободы и правового состояния всех сфер общества выступают отдельный человек, его ценность и его достоинство, его права и свободы. Достоинство и свобода каждого отдельного человека определяются в качестве критерия оценки культурного и гражданского уровня общества. Этот подход к человеку находится в полном противоречии с философией истории, стремящейся понять индивида исключительно из его отнесения к классу, к партии, к идее и т. д. Слова Маркса одиноки в «пейзаже» его теории, тем более в воззрениях его последователей. Они никогда не оценивались так, как это соответствовало бы их содержанию и интеллектуальным последствиям. Часто их просто упустили из виду или читали неверно.

Те же причины могли вызвать удивление, даже ужас Эйхенвальда, когда он услышал именно от Бухарина, вождя революции, что все размышления направлены теперь на индивида, на смысл и ценность его жизни. Догма должна рухнуть в нём. Действительно, подход,

предложенный Бухариным, ставил всё «пророчество» на голову, точнее, ставил под сомнение большую часть обычаев и предрассудков этого «пророчества», начиная с тезиса о том, что история протекает только в одном направлении, что человек является рабом идеологии – и до идеологической народной сказки, согласно которой «партия всегда права», что она-то и дала всё человеку и согревает его, когда мир мёрзнет.

Весь политический опыт Бухарина, прежде всего накопленный в трагические последние годы жизни, должен был привести к пониманию того, что все экономические, политические и идеологические стратегии не только не приносят никакой пользы, но и превращаются в свою противоположность, если отсутствует гуманистическая составляющая, если отсутствует гуманистическая культурная стратегия, включающая развитие человека в демократическом обществе. Следовало искать новый подход, при котором стратегия и теория социалистической революции разрабатывалась бы, исходя из конкретно-исторического индивида, а не с позиций абстрактной догматики.

Рукопись третья
(незавершённая)

ВРЕМЕНА

Осень 1937 – зима 1938 гг.

Борис ФРЕЗИНСКИЙ

Предисловие. ГОЛОС ИЗ БЕЗДНЫ

Книги, как известно, имеют свою судьбу.

Нынешний век, завершая второе тысячелетие христианской эры тоталитарными, религиозными и этническими шабашами, придал давнему утверждению дополнительно трагические черты – стоит только вспомнить, к слову, «Дневник Анны Франк», «Репортаж с петлей на шее» или – ближе к нашим дням – «Сатанинские стихи».

Судьбу книги, которую читатель держит в руках, все-таки следует признать счастливой. Написанная в казематах Лубянки зимой 1937/38 года, она не была уничтожена, а более полувека хранилась в строжайшей тайне в самом сверхсекретном, сталинском архиве и вот – вышла в свет.

Времена не выбирают – это, оказывается, верно не только для людей, но и для книг. Повествование о детстве, изображающее картины Москвы, российской провинции и национальных окраин империи рубежа веков, страницы жизни различных слоев, более всего – малоимущих низов и всегда бедствовавшей рядовой интеллигенции, картины, запечатленные во всех подробностях, схваченных зорким ^взглядом наблюдательного подростка, – повествование это выходит к читателю в новую для России пору. В сложнейшую переходную эпоху абсолютных политических свобод и экономической анархии, когда идеологический вакуум, вдруг образовавшийся в головах многомиллионной российской массы, стремительно заполняется чем Бог послал и – не в последнюю очередь – умилительно-розовыми олеографиями, изображающими безмятежно-счастливое предреволюционное российское бытие с царем-батюшкой, колокольным звоном и непогрешимыми попами, купцами-просветителями и промышленниками – покровителями муз, с прогрессивными земцами, денно и ночью пекущимися о благе Отечества, с блистательно-благородными офицерами и юнкерами («Поединку» Куприна, верно, уже пора в спецхран), с гуманными

казаками, тишайше охраняющими покои России-матушки, и, разумеется, с бравыми, непобедимыми солдатусками, искрометными народными умельцами и благочинными пейзажами, кормящими от нив своих полсвета. Не все, признают, правда, было так уж розово, потому как водились еще смутьяны – окаянные инородцы, жидаы и студенты, не удалось их – куда деваться? – вовремя прихлопнуть, отчего и поломалось все враз в Отечестве в разнесчастном 1917 году.

Что и говорить, не выбирала книга «Времена» для себя нынешних времен, да и предвидеть их никак не могли ни автор ее, ни тем более его палачи, – но вот вышла и надо надеяться, что в пору, – и, может, протрезвит иные из зачумленных голов, не все же крыши поехали безвозвратно. А потому можно, несомненно можно считать судьбу этой книги счастливой, чего никак не скажешь о судьбе ее автора Николая Ивановича Бухарина (1888–1938) – политического деятеля, экономиста, социолога и философа, литератора, редактора и публициста, революционера-подпольщика и члена Политбюро, «любимца партии», лектора и спортсмена, эрудита, знавшего Гёте и Канта по-немецки, Мольера и Монтескье по-французски, Цезаря – на латыни, а Эсхила – по-древнегречески, и, наконец, просто живого, веселого, горячего, совестливого русского бессребренника.

Сын своего времени, Бухарин разделял многие иллюзии и заблуждения эпохи. Но рабом иллюзий он все-таки не был и, осознав ошибочность тех или иных формул, умел от них отказаться (так, к 1920 году он из «левого коммуниста» стал идеологом и теоретиком нэпа, а в 1928 году решительно выступил против сталинского плана коллективизации, справедливо оценив его как «военно-феодалную эксплуатацию крестьянства»). Но были вещи, от которых Бухарин отказаться не мог, – это и пресловутое «единство партии», постепенно превратившееся в беспрекословность подчинения вождю, и многое в утопической концепции социалистического общества. С юных лет Бухарин видел не только вопиющую социальную несправедливость, но и глубоко его ранившее несовершенство человека – его жестокость, завистливость, корысть, леность, нравственные уродства, бездушие; и он принял заповедь марксизма о том, что освобождение от эксплуатации человека человеком сделает людей иными, лучшими. Бухарин, как мало кто другой, свято верил в утопию «нового человека-творца» и ради осуществления этой великой задачи жил и работал. Понятно, что он разделяет со своей партией ответственность за осуществление в огромном масштабе необъятной страны неудавшегося социального эксперимента.

В одной книге, выходу которой Н. И. в свое время очень помог, кремлевский Коммунист говорит о неимоверной тяжести задачи – гнать человечество железными бичами в рай. Бухарин, даже стоя у могилы, допускал возможность пожертвовать и своей и чужой жизнью ради великой цели. И он, скорее всего, был абсолютно искренен, когда писал Сталину: «Я настолько вырос из детских пеленок, что понимаю, что б о л ь ш и е планы, большие идеи и большие интересы перекрывают все, и было бы мелочным ставить вопрос о своей собственной персоне наряду с всемирно-историческими задачами». Это было написано уже в тюрьме, когда Бухарин знал, что его ждет впереди. Написано в те дни, когда он работал над своим романом, чтобы уберечь разум от невыносимых, разрушительных мыслей, от пыток и мук. Возможно, Н. И. и вспоминал тогда, как художник Константин Юон сказал ему однажды: «Бросьте заниматься политикой: политика ничего хорошего не сулит, занимайтесь живописью. Живопись – ваше призвание», – но свой выбор он уже сделал давно.

Прежде чем перейти непосредственно к истории создания книги «Времена», отступим на некоторое время назад и пройдем последними дорогами ее автора в 1936–1937 годах.

Сценарий уничтожения Бухарина, как это теперь известно, был разработан Ежовым по указанию и под надзором Сталина еще в 1935 году. Жить уже стало легче, жить стало веселее, понемногу заживались страшные последствия великого перелома. Бухарин оставался главным редактором «Известий», действительным членом Академии наук, в составе Конституционной комиссии он увлеченно работал над правовой частью будущей сталинской конституции, писал статьи, у него была молодая семья, он любил и был любим, у него была масса планов, а невидимую гильотину уже поднимали над его головой.

В феврале 1936 года Сталин неожиданно отправил Бухарина за границу во главе делегации для закупки архива Маркса и Энгельса. Поездка эта должна была дать разнообразные материалы для предстоящего следствия, и даже в случае маловероятного побега Бухарина ее плюсы явно превосходили издержки. Бухарин побывал в Вене, Копенгагене, Амстердаме, Берлине и Париже. Он встречался с вождями австрийской и германской социал-демократии Отто Бауэром и Фридрихом Адлером, с представителями русских меньшевиков Федором Даном и Борисом Николаевским. Сторговаться с владельцами архива не удалось: Сталин был скуп, а они – несговорчивы, и делегация вернулась ни с чем. Сталин, однако, утешал Бухарина (его устраивало

главное – Бухарин ездил за границу и имел там разнообразные контакты).

В Берлине Н. И. купил много книг гитлеровских теоретиков – он задумал серьезную работу об идеологии фашизма, понимая, насколько велика и универсальна его опасность. В Париже Бухарину удалось немного отдохнуть. Он гулял по Латинскому кварталу и Монпарнасу с Ильей Эренбургом, другом московской юности, а жена писателя художница Люба Козинцева водила его по парижским галереям, и Бухарин наслаждался несравненным Боннаром. Временами его посещали опасения, что Сталин что-то замышляет, что поездка – ловушка, он, как вспоминает Эренбург, «был встревожен, минутами растерян, но был у него чудесный характер: он умел забывать все страшное, прельстившись выставкой, книгами или южным блюдом “кассуле тулузен”».

3 апреля 1936 года Бухарин выступил в Париже с докладом «Основные проблемы современной культуры» (перевод ему помог сделать Андре Мальро), в котором сравнил и проанализировал фашистскую и социалистическую концепции человека и культуры, решительно оспорив утверждение Н. А. Бердяева о тождественности обоих тоталитарных режимов. В этом споре с Бердяевым Бухарин критику фашистской теории подкреплял анализом практики фашистских государств в области культуры, прав и свобод личности. Что же касается нарисованной им картины социалистического общества в СССР, где, как утверждал Бухарин, «советская иерархия не отчуждена от масс» и создан «новый человек-творец», то, понятно, она была насквозь утопична и призвана не столько отражать советские реалии, сколько заявить принадлежность докладчика к концепции «социалистического гуманизма», еще не вполне утвердившейся в советской лексике и фактически противостоящей фундаменту сталинских установок на обострение классовой борьбы по мере построения социалистического рая. И все же, читая сегодня тогдашние бухаринские высказывания о тоталитарном государстве, о вождях и обезличенных массах, трудно удержаться от соблазнительной мысли о, может быть, невольных аллюзиях Н. И. и на сталинский режим.

А. М. Ларина (Бухарина), которую выпустили к мужу в Париж в апреле 1936 года, называет его командировку провокацией, но, реконструируя свои тогдашние впечатления, пишет, что Н. И. «и заподозрить не мог, что его поездка за границу была задумана с провокационными целями»; более того, подчеркивает она, «до августа 1936 года Николай Иванович не предвидел своей гибели». Видимо,

здесь сработал все тот же чудесный бухаринский характер: после двух месяцев разлуки встреча с молодой и любимой женой, ждущей ребенка, – и тяжелых мыслей как не бывало. А незадолго перед тем он гулял по Парижу с Андре Мальро, и тому навсегда врезалась в память разрытая площадь Одеон, канализационные трубы, лежавшие около траншей, и Бухарин, задумчиво произносящий: «А теперь он меня уничтожит». (Год спустя те же слова повторит под мадридской бомбежкой сверхосторожный со своими, талантливый и циничный исполнитель всех сталинских поручений Михаил Кольцов, и скажет он их тоже западному писателю – Густаву Реглеру.)

В начале мая 1936 года в Москве у Бухариных родился сын Юра, а в начале августа Н. И., сопровождаемый неотлучным секретарем С. А. Ляндресом, отправился в отпуск на долгожданный Памир. Перед отъездом он не придал должного значения внезапному известию об аресте Г. Я. Сокольникова, друга юности, решив, что дело имеет не политический характер. На Памире Бухарина и застало сообщение о начавшемся в Москве процессе по делу Зиновьева и Каменева, на котором прозвучали убийственные обвинения в адрес его, Рыкова и Томского. Уже через два дня, 21 августа, прокуратура заявила о начале следствия по делу Бухарина, Рыкова и Томского (их обвиняли в предательстве, шпионаже, диверсиях). Спустившись с гор, Н. И. узнал о самоубийстве Томского. Состояние его было страшным. Прилетев в Москву, он безуспешно пытался связаться со Сталиным (отвечали, что тов. Сталин – в Сочи); появляться в «Известиях» до объявления его невиновным Бухарин не считал возможным. На очной ставке с Г. Я. Сокольниковым Н. И. воочию увидел, чего добивается НКВД от своих «подопечных». «Гриша! Ты, может, рассудка лишился и не отвечаешь за свои слова?» – вырвалось у него. Ответ Сокольникова был спокойным и страшным: «Нет, я за них отвечаю, и ты скоро ответишь за свои».

10 сентября газеты сообщили о прекращении следствия по делу Бухарина и Рыкова «за неимением юридических данных для привлечения к уголовной ответственности». Однако вакуум вокруг Бухарина сохранялся; телеграмма Ромена Роллана и письмо Бориса Пастернака – единственные слова поддержки, доставленные почтой. А фельдъегери ежедневно приносили протоколы допросов – мученики Лубянки подписывали все, что от них требовали. Н. И. по-прежнему не появлялся на работе, но «Известия» неизменно подписывали его именем.

7 ноября Бухарин вышел из своей кремлевской квартиры и по гостевому билету прошел на Красную площадь. Сталин, увидев его, прислал часового с приглашением на трибуну Мавзолея.

Игра в кровавые кошки-мышки продолжалась.

На декабрьском пленуме ЦК расторопный Ежов обвинял Бухарина и Рыкова во всех смертных грехах, но Сталин, завершая единогласно грозную «дискуссию», высказал сомнения в доказанности вины и предложил не торопиться с выводами, а продолжить следствие.

8 января 1937 года в присутствии Сталина и его Политбюро Бухарину устроили очную ставку с Сосновским, Пятаковым и Радеком. Все арестованные были к ней подготовлены «профессионально» – вскоре начался процесс «антисоветского троцкистского центра» (Радек, Сокольников, Пятаков... всего – 17 человек), на котором обвиняемые признавались во всем и через неделю были расстреляны (жизнь временно оставили лишь Радеку и Сокольникову – из участников этого процесса они были наиболее близки Бухарину, и ему следовало осознать, что «хорошее поведение» на следствии оплачивается жизнью).

Н. И. то помышлял о самоубийстве, то писал Главному Палачу о своей невинности.

Перед февральским пленумом ЦК, который должен был поставить точку в затянувшемся деле Бухарина и Рыкова, Н. И. объявил голодовку. Но открытие пленума задержалось из-за самоубийства (или убийства – это неизвестно до сих пор) Орджоникидзе – заметим, что Н. И. на этого человека, если не на поддержку его, то, по крайней мере, на сочувствие, очень надеялся, – и когда Бухарин пришел на пленум, он еле держался на ногах (шел седьмой день голодовки). Во время чудовищного выступления Молотова Бухарин крикнул: «Я не Зиновьев и не Каменев! Я лгать на себя не буду!» «Арестуем – сознаетесь», – ответил этот каменный истукан.

27 февраля, в последний день пленума, Бухарин и Рыков были арестованы.

Когда-то берлинская хиромантка предсказала Бухарину казнь на родине. Предсказание сбывалось.

На Лубянке с Бухариным поначалу были обходительны, он получил возможность работать. А. М. Ларина пишет, что уже в марте следователь, вскоре расстрелянный, показал ей лист рукописи Н. И. «Деградация культуры при фашизме»; еще раньше по телефону он передал просьбу Н. И. принести книги, купленные им в Берлине. Судьба этой рукописи, над которой Бухарин работал в тюрьме,

неизвестна. Она была начата еще дома, и в письме к жене, написанном в январе 1938 года и дошедшем до нее почти 55 лет спустя, Н. И., перечислив три свои тюремные рукописи, добавляет: «Есть еще та книга («Кризис капит. культуры и социализм»), первую половину которой я писал еще дома. Ты ее постарайся выручить: она не у меня – жаль будет, если пропадет». Из этих слов не вполне ясно, закончил ли Бухарин эту работу. Поскольку первые три месяца Н. И. сопротивлялся следствию, рукопись могли изъять, не дав завершить.

В июне 1937 года Бухарин подписал обвинительное заключение. Известно, что это произошло под сильнейшим давлением Ежова и Ворошилова, когда Бухарину стало ясно, что для осуществления поставленной цели – вырвать у арестованного признание в несовершенных преступлениях – Сталин не остановится перед уничтожением жены и малыша. После подписания обвинительного заключения Бухарин снова получает бумагу и книги и приступает к осуществлению капитального замысла – «Философских арабесок». Н. И. придавал им большое значение, судя по тому, как они упоминаются им в предсмертных письмах Сталину и жене.

Работая над «Философскими арабесками», Бухарин, конечно, не знал, что вскоре ЦК ВКП (б) канонизирует убогий текст сталинского катехизиса «О диалектическом и историческом материализме», после чего философское единомыслие на территории СССР будет наконец установлено, а «Философские арабески» придут к читателю, когда не будет уже ни СССР, ни ВКП (б), ни сколько-нибудь массового интереса к марксизму.

Работа над «Философскими арабесками» была завершена 7–8 ноября 1937 года. Второй тюремной рукописью, названной Бухариным в его последнем письме жене, значится «Томик стихов». Н. И. специально поясняет: «В стихах приложен план, там внешне – хаос, но можно разобраться; каждое стихотворение нужно перепечатать на отдельной страничке». И еще о содержании: «Много стихов связано с т о б о й, и ты по ним почувствуешь, как я к тебе связан». О. Лацис, одним из первых познакомившийся с тюремными стихами Бухарина, после того как их ксерокопия была получена из президентского архива (и эту «гостайну» строжайше стерегли до 1992 года!), заметил: «Стихи читать тяжело. Лучшие из них, лирические, – стон бесконечно измученного человека». Почти все они датированы (часто с пометкой «ночью»); стихи, сочиняемые длинными бессонными ночами после дневной работы, после допросов и прогонок по сценарию предстоящего судебного процесса, в условиях, когда не прекращалась все та же изматывающая игра в

кошки-мышки (угрозы уничтожения близких сменялись обещаниями жизни), – стихи были способом забыться, отвлечься, уйти от тюремного кошмара. В массе своей это не стихи в том высоком смысле, который придавал поэзии сам Бухарин, находясь на воле (в частности, в многоохватном и масштабном докладе о поэзии в 1934 году), хотя память на поэтические образцы прошлого и способности к версификации – налицо. Вместе с тем они не являются и дневником в строгом смысле, потому что по понятным причинам не отражают подлинных дум автора. Лирические строки передают его человеческие чувства, иногда в них прочитываются намеки на затаенные мысли. Многие же страницы – это рифмованный политкалендарь, есть среди них и оды Сталину. Возможно, анализируя датированные бухаринские стихи в контексте следственного дела, и удастся точнее понять потаенный ход его мысли, что же касается душевного состояния Бухарина в последние трагические месяцы его земного бытия, то оно понятно и без того...

12 ноября 1937 года, через несколько дней после завершения «Философских арабесок», Бухарин начинает писать автобиографический роман «Времена».

Книга эта осталась незавершенной. Повествование доведено до первых классов московской гимназии; дальше должны были бы идти главы о начале работы в социал-демократическом союзе учащихся средних учебных заведений Москвы и затем – о большевистской подпольной организации. Начиная вторую большую литературную работу в тюрьме, Бухарин, разумеется, отчетливо представлял отпущенные ему сроки, и та мера подробностей, с которыми он описывал детские годы, позволяет сделать однозначный вывод: в его планы не входило создание беллетризованных мемуаров о всей прожитой жизни. Книга, несомненно, замышлялась именно как повествование о детстве и юности, максимум – о вхождении в революцию. Понятно, что такой замысел не мог иметь значения политического завещания («Философские арабески» в определенной мере таким завещанным потомкам итогом философских раздумий были). Но это и не значит, что повествование о детстве возникло лишь как настоятельная потребность напряженной и масштабной литературной работы, которая только и могла отвлечь от безумных кошмаров камеры и хоть на время дать душевный покой. Понятно, что лекарством от душевных мук могли быть только те воспоминания, которые уводили в далекое, хотя отнюдь не безмятежное, детство. Подсознательно это так и было, но, принимаясь за роман, Н. И. Бухарин – тут не мог не сказаться в нем политик,

философ, социолог – как бы само собой выходил на более широкую задачу: нарисовать картину своих детских лет на широком и многокрасочном фоне Российской империи рубежа веков. Таким образом, замысел выходил за рамки средства забвения и консервации прошлого, обретая определенный историко-публицистический масштаб.

Тут, наверное, к месту вспомнить, что восьмью годами раньше, 14 сентября 1929 года, другой знаменитый революционер и человек также несомненных литературных дарований, находясь в изгнании и еще не изжив всей горечи политического поражения, говорил, предвзяв большую работу о прошлых годах: «Мне приходится писать эти строки в эмиграции, третьей по счету, в то время как ближайшие мои друзья заполняют места ссылки и тюрьмы советской республики, в создании которой они принимали решающее участие. Некоторые из них колеблются, отходят, склоняются перед противником. Одни потому, что морально израсходовались; другие потому, что не находят самостоятельного выхода из лабиринта обстоятельств; третьи – под гнетом материальных репрессий. Я два раза уже пережил такие массовые отходы от знамени: после крушения революции 1905 года и в начале мировой войны. Я достаточно близко знаю, таким образом, из жизненного опыта, что такое исторические приливы и отливы. Они подчинены своей закономерности. Голым нетерпением не ускоришь их смены. Историческую перспективу я привык рассматривать не под углом зрения личной судьбы. Познать закономерность совершающегося и найти в этой закономерности свое место – такова обязанность революционера и таково вместе с тем высшее личное удовлетворение, доступное человеку, который не растворяет своих задач в сегодняшнем дне».

Лев Троцкий, автор этих гордых слов, писал их, будучи внутренне свободным, и воспоминания служили ему не утешением и не забвением от кошмаров судьбы, а очередным актом борьбы. Его ждали впереди еще годы жизни, разумеется, полные угроз и опасений (только через 11 лет кровавая лапа Сталина настигла его), но все годы изгнания он старался не быть ни «узником врага, ни пешкой истории. К концу 1937 года мало кто из соратников Троцкого в СССР остался в живых, были безжалостно уничтожены его дети и близкие. Не будем гадать, что стало бы, оставь Сталин своего первого врага в России, – какие были бы процессы и какие были бы показания... Начав свои воспоминания с нескольких глав о детстве, показавшемся ему столь далеким и чужим на фоне последующих, насыщенных грозвыми событиями и активно им прожитых десятилетий, Троцкий

безапелляционно заметил: «Идеализация детства ведет свою родословную от старой литературы привилегированных. Обеспеченное, избыточное, безоблачное детство в наследственно богатых и просвещенных семьях, среди ласк и игр оставалось в памяти, как залитая солнцем поляна в начале жизненного пути. Вельможи в литературе или плебеи, воспевавшие вельмож, канонизировали эту насквозь аристократическую оценку детства. Подавляющее большинство людей, поскольку оно вообще оглядывается назад, видит, наоборот, темное, голодное, зависимое детство. Жизнь бьет по слабым, а кто же слабее детей?» И продолжая свое повествование: «Мое детство не было детством голода и холода... Мы не знали нужды, но мы не знали и щедростей жизни, ее ласк. Мое детство не представляется мне ни солнечной поляной, как у маленького меньшинства, ни мрачной пещерой голода, насилий и обид, как детство многих, как детство большинства. Это было сероватое детство в мелкобуржуазной семье, в деревне, в глухом углу, где природа широка, а нравы, взгляды, интересы скудны и узки».

В юности Троцкого и Бухарина много объективно сходного – скромный достаток, высокие интеллектуальные способности, сильная тяга к знаниям, опыт рано начатой революционной работы, однако мир бухаринского детства, каким он предстает на страницах книги «Времена», поразительно живой и многокрасочный мир природы – трав, цветов, деревьев, птиц, насекомых, зверей, – этот мир так не похож на зажатый, не вольный мир детства, запечатленный в книге «Моя жизнь». Все писавшие о Бухарине-человеке отмечали в нем сохранившиеся черты детства. Вот несколько отрывков:

Анна Выдрина: «Душой нашей организации несомненно являлись Сокольников и Бухарин... Бухарин был всеобщим любимцем, заражая всех своей бесконечной жизнерадостностью, бодростью и верой в дело».

Илья Эренбург: «Бухарин был весел и шумен. Когда он приходил в квартиру моих родителей, от его хохота дрожали стекла».

Лев Троцкий: «В характере Бухарина было нечто детское».

Анна Ларина: «По своему характеру Н. И. был настолько инфантилен, что с детством своим расстаться он так и не смог».

И если Троцкий, рассказывая о своем детстве, заметил: «При первом наброске этих воспоминаний мне не раз казалось, будто я описываю не свое детство, а старое путешествие по далекой стране», то Бухарин с воспоминаниями детства не расставался («Безусловно, не все, но многое из того, что Н. И. рассказал в своем романе, мне было известно с его слов», – свидетельствует А. М. Ларина).

Когда в 1927 году к десятилетию Октябрьской революции Русский энциклопедический институт ГРАНАТ начал готовить том автобиографий деятелей СССР и сотни людей принялись кратко излагать историю своего участия в революции, Бухарин – единственный из всех – половину пространной заметки уделил детству и юности. Для книги такого рода это было удивительное описание: «С азартом собирались коллекции жуков, бабочек; постоянно держали птиц. Увлекался также рисованием. Одновременно усваивалось постепенно ироническое отношение к религии. Когда мне было около 5 лет, отец получил место податного инспектора в Бессарабской губернии. Жили мы здесь около 4 лет. В “духовном” отношении эта полоса жизни была до известной степени полосой оскудения: не было книг, а общая атмосфера была атмосферой провинциального окраинного городка со всеми ее прелестями. Я с младшим братом были теперь гораздо более “свободны” от рационального воспитания и “вышли на улицу”; росли в садах, на полях, знали буквально каждую дырку тарантулов в саду, выводили “мертвых голов”, ловили сусликов и т. д. Главной мечтой тогдашней жизни было получить “Атлас бабочек Европы и среднеазиатских владений” и другие аналогичные издания Девриена. Потом мы снова переехали в Москву, и около 2 лет отец был без места. Нередко я собирал кости и бутылки, продавая их на 2–3 копейки; в мелочную лавку сносились старые газеты, чтобы получить грош. За это время я поступил во 2-й класс городского училища. Нужно заметить еще, что отец мой – в жизни очень безалаберный человек – прекрасно знал русскую литературу, а из иностранной у него в большой чести был Гейне. Читал я в этот период положительно все. Гейне знал страницами наизусть. Знал наизусть всего Козьму Пруткова. Перечитал совсем мальчиком классиков. Как курьез могу отметить, что в этом возрасте я прочитал почти всего Мольера, а также “Историю древней литературы” Корша. Это бессистемное чтение (“как попало”) приводило иногда к большим странностям... В то же время был в постоянном общении с так называемыми “уличными мальчишками”, о чем отнюдь не сожалею. “Бабки”, городки, драки и т. д. были неременной принадлежностью этой жизни. Примерно около этого времени или несколько позднее я пережил первый т. н. “душевный кризис” и окончательно разделался с религией. Внешне это, между прочим, выразилось в довольно озорной форме: я поспорил с мальчишками, у которых оставалось почтение к святыням, и принес за языком из церкви “тело христово”, победоносно выложив его на стол. Не обошлось и здесь без курьезов.

Случайно мне в это время подвернулась знаменитая “Лекция об Антихристе” Владимира Соловьева, и одно время я колебался, не Антихрист ли я. Так как я из Апокалипсиса знал (за чтение Апокалипсиса мне был, между прочим, сделан строгий выговор школьным священником), что мать Антихриста должна быть блудницей, то я допрашивал свою мать – женщину очень неглупую, на редкость честную, трудолюбивую, не чаявшую в детях души и в высшей степени добродетельную, – не блудница ли она, что, конечно, повергало ее в величайшее смущение, так как она никак не могла понять, откуда у меня могли быть такие вопросы». Извиняясь перед читателями за столь длинную цитату, заметим, что этот рассказ Бухарина, наверное, не раз вспомнится при чтении его романа.

Книга «Времена» показывает, что у Бухарина была превосходная писательская память на все подробности жизни – краски, звуки, запахи, на лица и речь, на подробности давнего восприятия явлений и событий, на шутки и розыгрыши. Вместе с тем эта книга позволяет судить об исключительной зоркости его еще детского взгляда – на людей, их поведение, на человеческую и социальную несправедливость; и все это фотографически запечатлевалось в его памяти.

Идея писать о детстве не воспоминания, а роман оправдала себя: Бухарин был свободен в изображении чувств и переживаний своего героя, в изображении его отношений с родными и друзьями, он не был связан понятными условностями, обязательными для мемуариста. Он писал свою книгу необычайно искренне и исповедально.

Итак, «Времена» – строго автобиографическая книга. Ее главный герой – Коля Петров – очень точный, во всех деталях и подробностях внешних и внутренних черт слепок с автора, это – Коля Бухарин. Столь же достоверно изображены и все близкие героя. Отец Коли Петрова назван Иваном Антоновичем, сохранены имена и его дядьев (изменено лишь отчество – они были Гавриловичи); у матери сохранено и имя и отчество. Братья Н. И. тоже названы их подлинными именами. Изображенное в романе семейство Яблочкиных – это Лукины. Мария Ивановна – сестра матери Н. И., Любови Ивановны, Коля Яблочкин – двоюродный брат Н. И., будущий академик Николай Михайлович Лукин (1885–1940) – историк, автор трудов по истории Великой французской революции. Маня, старшая дочь Яблочкиных, – Надежда Михайловна Лукина, будущая первая жена Н. И. Бухарина (их еще дореволюционный брак распался в начале 20-х годов; тяжело больной человек, в последние

годы – прикованный к постели, Н. М. Лукина вплоть до ее ареста в 1937 году жила с семьей Бухарина).

«Замечательно описан отец Н. И., Иван Гаврилович, – свидетельствует А. М. Ларина. – Он так же, как и в молодости, любил читать вслух Чехова и Гейне, читал он действительно артистически, но к старости аудитория стала мала для него, и он приставал к нам: “Садитесь, послушайте!” Отец Н. И. оставался таким же честным и добрым борцом за справедливость, но и таким же безалаберным, так что выражение “пойдет за колбасой, а купит канарейку” фигурировало у нас не раз». Но Бухарин передал не только внешние черты облика и поведения отца, ему удалось показать и его внутренний мир – переживания одаренного и честного человека, который ничего не может изменить в укоренившейся системе. Особенно впечатляют в этом смысле бессарабские страницы книги, где кожей чувствуешь, как человечность и честность на службе отторгаются чиновничьей средой, воспринимаются ею как признаки психического нездоровья. Надо ли говорить, что это диссидентство заведомо было обречено на поражение.

Щемяще описана история горестной гибели брата Андрюши. А. М. Ларина вспоминает, что Н. И., рассказывая ей об умершем в семилетнем возрасте братике, особенно горько переживал эту смерть, поскольку не был уверен, не его ли шалость привела к гибели мальчика, хотя отец всегда категорически отрицал его вину. «В тяжкие дни, во время следствия, когда Н. И. еще был дома, – пишет А. М., – он сожалел, что сорвался с того полотенца, на котором пытался повеситься после гибели Андрюши. Я забыла об этом рассказать в своих воспоминаниях».

В 1936 году в Москве была напечатана необычная книга, в которой главы, где действуют вымышленные герои, перемежались главами мемуарными, повествующими о детстве и юности автора, об участии его в революционном движении, об эмиграции и Париже, о художниках и поэтах, ставших его друзьями. Это была «Книга для взрослых» Ильи Эренбурга; с рукописью ее Бухарин познакомился в апреле 1936 года в Париже. Надо думать, ему было интересно прочесть «Книгу для взрослых», и не только потому, что в ней был рассказ о Первой московской мужской гимназии, где Эренбург учился двумя классами младше Бухарина, и об их совместном участии в подпольной большевистской организации (редакторы, кстати сказать, настаивали, чтобы из этого эпизода Эренбург убрал имена Бухарина и Сокольников, но он отверг их давление). Не меньшее впечатление,

наверное, произвели на Н. И. и мастерски написанные страницы о Москве начала века. Их интересно сравнить с соответствующими страницами книги «Времена». Суховатая, выразительная лапидарность эренбургского письма выигрывает рядом с расцвеченным звонким бухаринским многословием. А вот о гимназии Бухарин написал не в пример протокольной сухости Эренбурга живее, подробнее, содержательнее. И тут дело не в различии литературных манер. Эренбург учился в гимназии без особого интереса, он был троечник не по способностям, а потому, что дисциплина и однообразие занятий ему были скучны; все интересы его были вне учебы – он глотал недозволенные книги, проводил время с гимназисточками, в 1905 году строил баррикады на Кудринской. И вспоминая гимназию, он с увлечением пишет о гимназическом клубе в уборной, а не о занятиях и учителях (это осталось потом и в гимназической главе мемуаров «Люди, годы, жизнь»). Бухарин же – блестящий отличник, учеба давалась ему легко, как бы шутя; в гимназии его интересовало все: и сами изучаемые предметы, и методы учебного процесса, борьба реформаторов с гимназическими консерваторами, учителя – их профессиональные навыки, смешные привычки, их общественная позиция и т. д. Мне пришлось подробно изучать фонды Первой московской мужской гимназии в Историческом архиве Московской области, фонды немалые, но непонятным образом разрозненные (как выяснилось, все нецелевшее пожрали крысы), – классные журналы, протоколы педсовета, переписка дирекции с учебным округом (особенно интересная в пору 1905 года). Бухарин, разумеется, не мог знать, что говорили учителя на заседаниях педсовета в 1905 году, чем различались их суждения и оценки событий, но он сизмальства был так внимателен, остер и памятливы, что спустя тридцать лет (и в каких условиях!) воспроизвел общественную и нравственную позиции своих учителей с точностью историка. И все это – живо, сочно, с подробностями латинских и немецких гимназических шуточек и розыгрышей. Как замечательно схвачен им директор гимназии знаменитый Иосиф Освальдович Гобза, выпустивший солидный том по истории гимназии к ее столетию (1903 г.), благополучно доживший до 1927 года и похороненный на Новодевичьем кладбище: «Высокий, дородный, с выпученными, как при базедовой болезни, глазами, с багровым лицом, покрытым синеватыми пятнами и жилками, с мясистым носом и удивительно яркими красными губами, он напоминал индюка, когда тот предстанет во всей своей красе. Говорил он с прекомичным

акцентом и при этом так страшно вращал белкам, что гимназисты едва могли удержаться от душившего их смеха».

То, что «Времена» не просто автобиографическая проза, а роман, Бухарин подчеркивает, вводя в книгу публицистические главы (в 12-й дана впечатляющая панорама общественной, политической и художественной жизни России начала века, а 18-я – вставная историческая новелла о встрече Николая Романова с Вильгельмом Гогенцоллерном); они как бы приподымают планку повествования, изменяют его масштаб.

Роман писался быстро и набело.

15 января 1938 года в письме к жене Бухарин говорит, что среди его рукописей, которые ей передадут (одно из условий его торга со следственной машиной), «семь первых глав романа».

По-видимому, он считал, что на продолжение романа времени уже не остается (седьмая глава – единственная в рукописи, после которой написано слово «конец»). Рассказав в седьмой главе о жизни в Бельцах, Бухарин закончил ее словами, имевшими прямое отношение к его тогдашнему положению. Это, как кажется, единственное место в романе, где читаются реальные обстоятельства времени и места его написания: «Но всему на свете бывает конец, бывает конец и мукам промежуточных состояний, когда проглатывается последняя тайная слеза души, и кризис проходит, разрешаясь в какую-нибудь новую фазу, которая, возникая, в свою очередь, обречена на исчезновение в вековечной смене времен...» Но процесс над Бухариным начался только 2 марта, так что жить ему оставалось еще ровно два месяца, и за это время он успел написать еще 15 глав (22-я осталась неоконченной).

Смирившись с судьбой, Бухарин в последних письмах своим палачам молил лишь о чаше с ядом. Понимая, что ему не дадут уйти из жизни до того, как он сыграет всю требуемую роль на процессе, он просил яда после оглашения приговора: «Заклинаю всем заменить расстрел тем, что я сам выпью в камере яд (дать мне морфию, чтоб я заснул и не просыпался). Для меня этот пункт крайне важен, я не знаю, какие слова я должен найти, чтобы умолить об этом, как о милости: ведь политически это ничему не мешает, да никто этого и знать не будет. Но дайте мне провести последние секунды так, как я хочу». Это – в письме Сталину. И об этом же – в письме следователю уже в ходе процесса: «Я не упаду духом. Но помните о чаше. Вы это мне обещали, и я крепко надеюсь, что Вы меня здесь не обманете: никакие интересы не требуют последнего. Для меня это важно. Я

психологически созрел к такому концу. А все повышающаяся атмосфера на процессе еще более подготовит к тому, чтобы устало-равнодушно посмотреть и на конец оборвавшейся жизни. Я верю Вам, что Вы эту мою просьбу исполните, и прошу Вас не доставлять мне лишнего огромного огорчения и не разочаровывать меня в моей глубокой вере в то, что тут-то у меня вера моя прочна».

Он был обманут и в этом.

На суде, принимая обвинения в целом, Бухарин методично и твердо отверг все их конкретные пункты.

В ночь на 15 марта 1938 года он был расстрелян.

Н. И. Бухарин

ВРЕМЕНА

1

Коля Петров родился в конце 80-х годов прошлого столетия в Москве, на Большой Ордынке, стало быть, в Замоскворечье, в доме Александро-Мариинского Замоскворецкого Купеческого общества. «Училище» – так гласила надпись, золотыми буквами выведенная на черной, как сажа, вывеске. Ордынка была тихая, степенная, солидная улица. Здесь стояли особняки замоскворецкого купечества, одноэтажные и двухэтажные, с чисто вымытыми окнами, иногда зеркальными; во дворах были конюшни, с выездными лошадьми и кучерами огромных размеров, прелестниками и любимцами розовотелых, заспанных и дородных купчих. Булочные сверкали большими, издали видными, позолоченными калачами, зазывавшими почтенную публику купить калач, или розанчик, или плюшку, посыпанную влажными крупинками сахара. Златоглавые церкви вросли, казалось, на века в землю по всему кварталу: это были церкви Екатерины Великомученицы, Георгия Неокеса-рийского, Параскевы Пятницы, Успения Божьей Матери, Троицы в Лужниках. Они гудели со своих колоколен по утрам и вечерам густым малиновым звоном, и дрожание волны звуков плыли, замирая, по городу... Голь – мастеровые, сапожники, столяры, прислуга, дворники – ютилась в подвалах и пристройках, либо далеко запрятанных на задворках, либо смотривших на тротуары из-под земли запыленными, грязными, покрытыми радужным налетом глазами своих окон; но эти черные ямы не мозолили глаз их степенствам, лихо мчавшимся в санях по скрипучему снегу, когда розово-перстая утренняя заря золотила маковки церквей и таяла синева раннего морозного утра.

Улица была спокойная: ни езды, ни конки, ни шума, ни драки. Зимой, когда суровые морозы сковывали все своим колючим

ледяным дыханием, улица была сплошь покрыта чистым умятым снегом; по краям, возле приземистых каменных коротышек-тумб, пирамидками лежал снег, который дворники с медными бляхами сгребали в кучи; на углах трещали костры; около них важно прохаживались извозчики в больших тяжелых рукавицах; они грелись у огня, похлопывая себя крест-накрест обеими руками и приплясывая, чтобы отошли замерзшие, ооченевшие ноги, обутые в валенки; изредка подходил городской, закутанный в башлык, с сосульками на усах, заиндевевший на морозе. С гиком проносились купеческие рысаки, храпевшие вороные или в яблоках красавцы, и глаз едва замечал мелькание ног, меховую полость, могучую спину кучера да дородную фигуру упитанного купчины. Дым из труб подымался прямо вверх, и все дома словно курились его кудреватыми столбиками, постепенно таявшими и угасавшими в ясном морозном воздухе. Летом было оживленнее и веселее: у ворот торчали ребятишки, дворовые, прислуга, мастеровые; грызли семечки и зубоскалили, пересмеивались или переругивались, усыпая землю подсолнечной шелухой; вечерами парочки жались в укромных подъездах домов, на скамеечках в нишах; изредка выбегал какой-нибудь пьяный, растерзанный и лохматый, а за ним устремлялась целая орава укротителей, голосившая на всю улицу; мальчишки запускали «змеев» и «монахов», лазали с обезьяньей ловкостью по крышам, гоня голубей: турманов, чистых, черно-пегих; разносчики с лотками на животе, подвязанными на толстых засаленных ремнях, продавали тепловатый жидкий квасок из груш-дуль, «грешники», пироги, мороженое, подсолнухи; около них голизилась шумливая ватага ребят, облизывающихся, перебирающих свои медяшки; тут же шла игра – «в ремешок» или «в грешники», – споры, крики и визг азартных игроков нарушали сонный покой купеческого квартала. Лишь изредка забредали сюда шарманщики, и улица оглашалась тогда скрипучими гнусавыми звуками колченогого инструмента. Другое дело – на Серпуховках, в Кожевниках, на Бабьем городке: здесь было грязно, шумно, пьяно и бедно. В конурах копошились среди замызганного тряпья голые ребятишки; воняло мездрой, кислой капустой, нужником, промозглой плесенью; в подвалах, в маленьких покосившихся домишках, на которых облезла штукатурка, спадавшая целыми кусками, в деревянных полуизбах все клетушки были набиты людом бедным, трудовым и полунищенствующим: фабричные, мастеровщина, что считались озорниками, забубёнными головами; ремесленники и мелкие «мастерки» – сапожники, коробочники, стекольщики, столяры; разносчики, торговавшие с лотка; прачки,

поденщицы; профессиональные нищие – все это наполняло подвалы, чердаки, крохотные каморки, а по праздникам выплескивалось на улицу, задыхалось в чаду трактиров и полупивных с красно-синей вывеской: «Пивная с садом» или с причудливо выведенными буквами: «Трахтер: Свидание Друзей». Здесь сновали половые в грязной одежде, которая только по названию была белой, дым стоял коромыслом, играла «машина», дребезжали стаканы, рвала воздух гармоника, звучали надрывные, тоскливые песни. Все это пестрое, многоликое пело, буянило, пило, орало, обнималось, дралось, целовалось, плакало.

Церкви были полны народом. Жарко горели перед золотыми иконами свечи воску ярого. Гудели басы и октавы протодиаконов, которых подбирали степенные купцы, любители божественного песнопения, пузатые церковные старосты, почетные прихожане. Басы сотрясали воздух могучим рыком. Стройно пели певчие на клиросах: у мальчиков – стриженные головы, бледные лица, порочные рты; взрослые – одутловаты и неряшливы. Но торжественна была музыка Бортиянского, и неслись ввысь песнопения Богу всеильному, всемогущему, вездесущему и всезнающему. Купчихи в шелковых платьях стояли впереди, шелестели кофтами и юбками, крестясь пухлыми розовыми ручками. Истоиво и степенно молились их мужья. За ними располагалась челядь из приживалок: старушки в черном, богобоязненные сплетницы, охранительницы семейного очага и сводницы, тетушки и племянницы, ждавшие женихов и млевшие от тоски и жира, наперсницы, дворовые. Тут же фасонисто стояли чиновники и чиновницы. А позади густой толпой жался, стоя и на коленях, люд черный, усталый, ждавший утешения от Бога всеблагого, спасения от Спаса нашего... Но Спас молчал и лишь печально смотрел сквозь огонь лампад на склоненные тела, на согбенные спины, на тяжкие вздохи обездоленных... Ребяшня пересмеивалась не без страха. Слюнявили пальцы и тушили ими свечки. Свечки трещали, мальчишки и девчонки фыркали, и смех душил их, несмотря на грозные взоры старших. Кое-где переглядывались влюбленные. На паперти сидели нищие калеки в жалком отребье, в лохмотьях, с култышками вместо рук и ног, с кровавыми глазами, с бельмами, вывороченными веками, слепые, хромые, Христа ради юродивые. Они назойливо тыкали напоказ свой гной, свои раны, свои культяпки и горбы и гнусавыми самоуничижительными возгласами клячили о пятаках и копейках, которые звякали в разложенные на каменных плитах рваные шапки и фуражки. Сильна была вера в Царя Небесного и в царя земного, царя-

батюшку, который крепко-накрепко завинчивал все гайки страшной помещицкой власти...

В домах у именитых прихожан еще много было от Домостроя сурового попа Сильвестра. Крутенька была власть хозяина. Это были тузы, богатеи, иногда ворочавшие миллионами: суконщики, рыбаки, часторговцы, торговцы мясом и салом, деревом, дегтем, кожами; содержатели крупных трактиров, подворий и гостиных дворов. Деловая жизнь у них была в «рядах», где обреталось московское «Сити»: там сидели они в своих сводчатых «амбарах», подслеповатых конторах, подсчитывали, взвешивали и меряли, надували и обманывали, пили чай с блюдечка или посылали «мальчиков» за «кислыми щами» – любимым напитком тех времен. Здесь были и деловые свидания, если не шли они в особые трактиры с их расстегаями, поросятами, икрой, стерлядками, кулебяками, грибками и водками всех сортов. А дома, под маской благочиния, в затхлом воздухе гостиных, столовых и спален, за тяжелыми шторами и занавесками, среди груды одеял, пуховиков, сундуков, ларей, икон, лампад и подушек, шла своя жизнь, со своими приглушенными драмами и трагедиями, изредка вдруг прорывавшимися наружу громким скандалом или фонтаном крови. Купчихи со смятенной плотью жили с кучерами; молоденькие девушки вешались с тоски на шею приказчикам из смазливых; «сам» заводил себе «мамашек» из французинок; сыновья, забывши стыд, начинали кутить, – да и мало ли какие секреты могли бы рассказать альковы и горницы тяжелых купеческих домов? Но над всем тяготела властная рука хозяина, и не одна щека удостаивалась ее свирепого прикосновения! Кое-кто из купцов рождался с оскудевшими сиятельными помещиками. И в России шел тот же процесс, что во Франции и других странах, на которые, как на царство содомское, смотрели ревнители древнего благочестия, что в Москве, на Рогожском, имели свою главную цитадель¹. Старинные гербы нуждались в позолоте, и власть денег, великая сводница, через церковь и брак подновляла потускневшие геральдические знаки и титулы, вливая купеческую кровь в голубые жилы старых аристократических родов. Купеческие дочери уже появлялись в залах московского Благородного дворянского собрания и сияли драгоценными камнями и розовыми телами среди бледных, изящных и изысканных дам старинного российского дворянства: «чумазый» забирал силу, и не одна почтенная седая породистая голова лебезила перед фигурой в кафтане и сапогах со скрипом. Но и сами бородачи менялись: напяливали сюртуки, нанимали детям

¹ Там и поныне стоит главный храм старообрядцев. – *Прим. ред.*

гувернанток, обучали языкам, музыке, танцам, отдавали в гимназии. Уже подымались на Руси из кулачков и прасолов просвещенные российские буржуа, будущие меценаты, капитаны растущей промышленности: Морозовы, Мамонтовы, Щукины, Четвериковы. И как ни хотелось провидцам старого дворянства, на изысканном французском языке воспевавшим азиатчину и Византию, подморозить Государство Российское, удержать за собой ускользавшие поместья с дворцами в колоннах, ливрейными лакеями, старыми липовыми аллеями и покойной жизнью, деньги разрыхляли почву, как крот, подрывали основы старины, ржой разъедали неподвижные устои...

Училищный дом на Ордынке, где родился Коля Петров, состоял из двух больших зданий: одно выходило на улицу, другое, трехэтажное, было во дворе. В первом помещалась сама школа, во втором – жили семейства учителей, а в верхнем этаже был рукодельный класс: здесь обучались рукоделию взрослые девушки, кончившие школу. Купцы, ее построившие, отдавали дань духу времени: и мы, мол, не лыком шиты, и мы за грамоту! Школа была просторна, паркетные полы сверкали, со стен смотрели громадные портреты царей. Дети мещан, приказчиков, ремесленников, дворников, городской мелкоты наполняли классы, гудели в коридорах, сидели за партами с перепачканными чернилами руками. Редко-редко навещал школу какой-нибудь из благодетелей, и тогда всех сковывал страх. А так школа жила своей особой жизнью. Учителя обычно были из семинаристов, прошедших бурсацкую муштру, но были и другие. К числу других принадлежал и отец Коли, Иван Антоныч. Иван Антоныч был типичный разночинец. Он потерял своего папашу, когда ему было четыре года. Родитель незадолго до смерти (умер он от скоротечной чахотки) проиграл кое-какие имевшиеся у него средства в карты, оставив жене кучу ребят и шиш в дырявом кармане. Бабушка Коли на заемные деньги открыла белошвейную мастерскую и сама шила, но все же Ванечке пришлось с десяти лет подрабатывать уроками. Учился он в гимназии хорошо, способности были немалые, но характер податливый, мягкий – зато веселый и общительный. Всю юность свою проработал Ваня на семью, поддерживая мать и братьев. В университете он свел дружбу с народовольцами и мог бы, пожалуй, втянуться в революционное движение. Но это остановил почти анекдотический случай: однажды, когда он собирался на сходку, его мамаша, женщина энергичная, с лицом старой раскольницы, запрятала его штаны и сапоги в сундук, заперла их на ключ – и крышка! Это был ультиматум действием. К тому же начались и слезы, и разговоры о семье, и все прочее, что бывает в таких случаях.

Мягкий Иван Антоныч смирился. Так кончилась его революционная карьера. Была у него в эти годы романтическая история: любил он одну девушку, красавицу и революционерку, и пользовался взаимностью; звала она его «прелестнейший Жано». Но затем случилось что-то, что покрылось полным мраком: известно лишь, что Жано пролежал несколько недель в нервной горячке и чуть было не умер, но как-то выполз, оправился. Девушка эта позднее с ним несколько раз встречалась, потом вскоре вышла замуж. Остальное никому не ведомо, и как ни старались выудить у Ивана Антоныча его тайну, он отмалчивался и ни гуту; только в глазах его появлялись огоньки, а потом быстро потухали и морщины вылезали на лбу, как рвы... Кончил он математический факультет, но страстью его была литература: знал он великое множество стихов наизусть, любил декламировать и читать вслух (а читал он превосходно); бывало, поймает кого-нибудь, схватит за пуговицу и давай:

– А хотите, я вам прочту вот это? Знаете, прелестнейшая вещь! Вы только послушайте!

– Иван Антоныч, извините, лучше потом: ей-богу, сейчас некогда!

– Да, нет, нет! Погодите! Всего одна минутка...

И он усаживал несчастного (или несчастную) и заставлял-таки выслушивать. И выслушивали: правда, хорошо читал Иван Антоныч. О политике он думать перестал: Александр-Миротворец, этот грубый и грузный мужчина с окладистой бородой, хваставшийся тем, что любит простую, истинно русскую пищу – щи да кашу – и не позабывавший о питье, зажал своей жандармерией все в кулак, и не таким натурам, как Иван Антоныч, было нырять в подпольные пучины. Но читать он почитывал, иногда любил сболтнуть что-либо радикальное. В бога не верил, к попам относился иронически, хотя и без злобы. Впрочем, он вообще не был способен за злобу по-настоящему: он только вспыхивал, а потом отходил: его нужно было систематически «поджаривать», чтобы поддерживать в нем какие-либо злобные чувства. Был он в жизни человек безалаберный и добрый. «Иван Антоныч пойдет покупать колбасу, а купит канарейку», – говаривали про него. Но язычок у него был острый, и иногда он любил подразнить ближнего своего и наживал себе этим врагов. Однако это были редкие исключения, ибо вообще Иван Антоныч слыл душой общества. Он был среднего роста, худощав, почти щедеушен; глаза большие, серые, добрые и умные; нос с горбинкой; ходил он на Христа старинных русских иконописцев, только рано облысел. Когда по этому поводу трунили, он не обижался, шел наперерез и, указывая на голый череп, говорил языком

Священного Писания: «И от дел его блудных взыде на главу его плешь». Но то была чистейшая бравада, и милейший Иван Антоныч на самом деле был целомудрен до глупости. Он принадлежал вообще к такой, довольно редкой, породе мужчин, за которыми ухаживают женщины, хотя он и не робел и по внешности обращался иногда с ними достаточно вольно, в особенности на словах. Знал он довольно много в самых разнообразных областях и без конца мог говорить о тычинках и пестиках цветов, о бабочках и жуках, птицах и рыбах, звездах и Луне, Генрихе Гейне, геометрии или корнях слов. Склад ума имел веселый, легкомысленный и иронический; превосходно изучив в свое время Библию, в разговоре со школьными батюшками или дяконами вычитывал им наизусть горы библейских непристойностей, повергая собеседников в немалое смущение; звали его иногда за этикие штуки даже Антихристом.

С будущей женой своей, Любовью Ивановной, познакомился он на работе: она служила учительницей в той же школе. Тогда это была миленькая тоненькая блондинка, со вздернутым носиком, умная и живая. В ее лице было что-то полудетское. Ее никак нельзя было назвать красивой, даже хорошенькой. Но столько милостивого было во всей ее фигуре, в ее ясных, умных небольших глазках, в живой игре ее улыбки, что Иван Антоныч сразу в нее влюбился и вскоре женился по всем правилам брачного законодательства. Любовь Ивановна была из военной среды. Отец ее был офицером, мать из Польши, из семьи со старыми революционно-шляхетскими традициями. Но, выйдя замуж за русского, да еще за офицера, хотя и по любви, она вызвала тем самым страшное негодование среди своих сородичей, на нее смотрели как на отступницу. А с другой стороны, и русские круги не жаловали ее и видели в ней отпрыска мятежного польского рода. В конце концов эта энергичная, умнейшая женщина не выдержала. Заболела тяжелой меланхолией и сошла с ума, перейдя на попечение дочерей. Любочка кончила Институт благородных девиц, но должна была с самого начала зарабатывать в поте лица своего хлеб свой: отец умер, мать была душевнобольной, и молодая девушка была предоставлена самой себе, как и ее сестры. Но, будучи разночинкой, ни в какую революцию она не пошла и была всегда крайне сдержанна в своих высказываниях: над ней черной мантией висело безумие матери, которой мерещились аресты, обыски и казни. От политики она решила держаться в стороне – твердо, раз и навсегда. Характер она имела волевой, выдержку огромную, что было крайне трудно предполагать, глядя на это полудетское наивное личико. От

этого-то брака и родился первенцем Коля. А за ним пошли, как грибы – мал мала меньше, – и другие...

Четырех лет Коля умел уже читать и писал печатными буквами. Родители любили его до чрезвычайности, гордились им, показывали, как он читает и пишет, как хорошо он рисует лошадок, и елочки, и дома, и птиц. В тихие зимние вечера, когда за окном синело и стаи галок с гортанными звонкими криками рассаживались на крыше училищного дома, перекликались и ссорились, а потом умолкали; когда затихала улица, а в небе загорались зеленые звезды; когда крепчал мороз и выводил на оконных стеклах причудливые узоры неведомых папоротников и странных хрустальных цветов, в небольшой квартирке Петровых зажигались керосиновые лампы со стеклянными колпаками, приходили гости, и за чаем маленький худенький карапузик декламировал из лермонтовского «Купца Калашникова»:

Над Москвой великой златоглавою,
Над стеной кремлевской
белокаменной,
Из-за дальних лесов, из-за синих гор,
Тучки серые разгоняючи,
Заря алая подымается.
Разметала кудри золотистые...

Гости удивлялись и качали головами. Потом шел показ рисунков, каракулей, демонстрация чтения – не как-нибудь, не по складам, а фраза за фразой, от точки до точки. Но Коле это занятие быстро надоедало, и он тащил гостей к своим птицам. Ах! Это был целый мир, такой интересный, что можно было жить в нем долгими часами. В детской одно окно было обтянуто сеткой, а за сеткой по сухим сучьям порхали щеглы, гаечки, лазоревки, коноплянки, снегири, свиристели. Вечером они уже спали, забившись в уголках, распухлявивши свои нежные перышки и спрятавши голову под крыло. Они просыпались от шума, удивленно смотрели своими блестящими черными глазками, взлетали, начинали биться о стекла, и Коля, как рачительный хозяин, поспешно оттаскивал тогда гостей от окна и уводил: показал, мол, и довольно...

Иногда гости вместе с хозяевами пели. Пели «Быстры, как волны», «Из страны, страны далекой», пели «*Gaudeamus igitur*»². Но когда Иван Антоныч пробовал, безбожно фальшивя, затянуть что-либо более радикальное, вроде «Оттого мы и горькую пьем, что каждый штоф запечатан печатью, двухголовым российским орлом», то Любовь Ивановна делала выразительные строгие глаза и Иван Антоныч покорно умолкал. Жена его очень тактично уводила гостей к маленькому пианино и начинала разыгрывать серенаду Шуберта или

² Старинный студенческий гимн. – *Прим. ред.*

популярные тогда романсы: «Глядя на луч пурпурного заката, стояли мы на берегу Невы», «Не жалейте же Гассана в ветхом рубище его»... Образовывались дуэты или трио. Иван Антоныч, с равным увлечением и так же жестоко фальшивя (петь он любил, но слуха у него не было никакого), подпевал уже новые мелодии, совершенно позабыв про свой «штоф».

Воскресенье было для Коли истинным праздником. И не только потому, что и отец и мать, которых он боготворил, оставались целый день дома, тогда как в будни они были целый день на работе и ему приходилось ограничиваться компанией одной «няньки-старки». Нет, тут была еще одна причина. По воскресеньям бывал в Москве открыт птичий рынок, «Труба» (на Трубной площади, у Цветного бульвара). Только продирая Коля глаза в воскресенье, как бежал босыми ножонками в спальню к отцу, забирался к нему под одеяло и, приласкиваясь, умильно упрасивал:

– Ваня, – он звал отца так, как звала его мать, – Ваня, мы поедем на «Трубу»?

– Да сегодня мороз, куда ехать!

– Ваня, милый, поедем, я не замерзну. Я башлык надену...

Приставанья были так настойчивы, что Иван Антоныч, переглянувшись с женой и улыбаясь, в конце концов сдавался. Колю закутывали, завязывали, перевязывали и отправлялись в путь.

Это было счастье! На извозчике ехали на «Трубу». Чего только сюда не навозили! Всякие птицы, белки, рыбы, медвежата, лисята, мучные черви, водяные жуки, красные мотыли, клетки, сетки, западни, собаки, всякие корма, банки, склянки, аквариумы – и все это покрывалось разноголосым чириканьем, щebetаньем, свистом, пенем птиц и гомоном разношерстной толпы. Тут были и праздношатающиеся, и вороватые ловцы голубей с клетками подмышкой, шныряли оборванные мальчишки, свистящие в два пальца; пьяницы со страшными синяками, сизыми носами и вздутыми, коричневыми, как гнилое яблоко, лицами, любители птиц из всех классов и сословий, знатоки, которые по неуловимым для непосвященных признакам могли определить достоинство того или другого экземпляра; барышники и перекупщики; гимназисты и студенты; охотники из подмосковных деревень в овчинных тулупах. И все это кишело сплошной пестрой массой, шевелилось, как куча червей, стесненных местом и копошащихся всеми членами своего коллективного тела. Продавцы превосходно знали завсегдатаев «Трубы», и тут не было ни запросов, ни обманов: завсегдатаи сами понимали толк в этих вещах. Иван Антоныч тоже знал этот толк, да и

клоп Коля, «Маленький Робинзон», как его в шутку называли в семье, отлично разбирался в царстве пернатых: у него уже Брэм и Кайгородов были настольными книгами.

Продравшись сквозь густую толпу, в которой Коля путался между ногами и ничего не видел, пока не подходили к прилавкам или возам, покупали новых птиц, сажали их в маленькие временные клеточки и озябшие приезжали на санках домой. Дрожа от радости, красными ручонками Коля отодвигал дверцу клетки и выпускал «новых». А потом часами сидел не шелохнувшись и смотрел на своих пернатых друзей...

Но вот подходила весна. Снега на улицах таяли. Солнце светило ярче. У тротуаров, весело журча и играя, бежали мутно-коричневые ручьи, и школьники, выходя из училищных ворот, тут же мастерили бумажные кораблики и лодочки, пускали их по воде, и эти флотилии неслись вниз, к Москве-реке, поворачиваясь с боку на бок под азартные крики детворы. Вот уж у стен домов обнажалась и подсыхала земля. Начинили играть в перышки, в орлянку, в чижики, в бабки. Набухали почки в маленьком училищном садике. Из подвала, где жили сторожа, швейцары, уборщицы, дворники, выползали больные желтолицые старухи погреться на весеннем солнце, подышать чистым воздухом, посидеть на ступеньках.

Пролетала первая бабочка-лимонница. Мухи появлялись на пригретой солнцем стене. Лопались почки на сиреневых кустах, и вот уже и береза покрывалась нежной сеткой клейких светло-зеленых листочков. В садике пахло землей, можно было ходить без калош. Из всех щелей выползало живое. И Коля шнырял по садикам, осматривал все деревья и заборы, копал землю и собирал гусениц, куколок. Ему нравился запах земли, прелых листьев, сыроватых ветвей. А какая радость была, когда из куколки выводилась бабочка, вылезала мокрая, беспомощная, со свернутыми, обвисшими, как маленькие тряпочки, крылышками! А потом эти крылышки на глазах выпрямлялись и росли: бабочка нагнетала воздух в их «жилки», и крылья натягивались, как поднятый зонт, – казалось, что они действительно вырастали...

Коля увлекался этим до самозабвения. И первый его гнев, и первое ругательство, которое сорвалось у него с языка, были связаны с этой страстью.

Дело было так. Однажды весной он в училищном садике поймал жужелицу. Он долго возился с ней, несмотря на ее запах, и бежал, зажав ее в руке, домой.

– Коля! Куда ты бежишь?

Это его окликнула девушка, ученица рукодельного класса.

– Жужелица! Видите?

– Что это такое? А ну-ка, покажи! Покажи!

Он показал.

– Фу, какая гадость! И как воняет противно!

Раз! И девушка раздавила ногой Колину драгоценность... Он весь задрожал, глаза его наполнились слезами: ему уже даже казалось, что то была не обыкновенная наша садовая жужелица, а огромная, крымская, темно-синяя, яркая и таинственная, о которой он мечтал... Негодованию его не было предела. Он замер, остановился и, в упор смотря в глаза молодой девушке, совершенно не понимавшей всей мировой важности совершенного ею преступления, в каком-то иступлении прокричал срывающимся голосом:

– Сукина барышня!

Эта «сукина барышня» запомнилась ему на всю жизнь.

Но вот из сельца Макарова, куда летом Петровы ездили на дачу, приезжали телеги. На них складывали кровати, горшки, подушки, одеяла, и два воза шагом плелись за восемьдесят верст домой. Петровы перебирались поездом до города Богородска, а потом на телеге ехали двадцать верст до места их дачного пребывания: у учителей были летние каникулы, и отец Коли мог посвящать мальчику свое свободное время.

Село Макарово, где Петровы снимали избу у местного сельского псаломщика, Ивана Иваныча, было типичное село всей богородско-глуховской округи. Здесь были большие леса и болота. Леса были тогда еще глухими, и поблизости от Макарова водились медведи, иной раз задиравшие крестьянских коров. Ходило множество легенд, как дядя Митрий или другой кто-нибудь отбился от медведя лукошком. Известен был один мужичонка, по прозвищу «Медвежьи объедки», у которого все лицо было обезображено ласковой лапой Михаила Иваныча Топтыгина. Показывали в лесу место, где медведь испугался девок, собиравших ягоды, от неожиданности обкакался и убежал. Ягод – земляники, черники, малины, гонобобеля, брусники, костяники – было множество. Много было и грибов. Но у мужиков было мало земли, земля была плохая, суглинок, и ее развороченные сохой комья желтели, как мертвые кости. Житьишко было худородное. Жалкие избенки, крытые старой почерневшей соломой, шли в два ряда вплоть до погоста, где стояла приходская церковь, и сбоку – дом сельского попа. Недалеко была и изба псаломщика. Мужики жили жизнью тяжкой, полной пота, труда, нужды и водки по

праздничным дням. Приработки шли и от отхожих промыслов, и от работы на домашних ткацких станах, на материале раздатчиков-посредников. Босоногие, грязные и оборванные полугодовалые пятилетние и семилетние девчонки приучались уже к работе на примитивном станке и от рассвета до заката ткали и ткали без конца, чтобы выработать лишнюю копейку. Бабы и сами работали, и нещадно нажимали на своих же детей, среди грязи, клопов, тараканов и куч утлого тряпья. Мощные ткацкие фабрики, расположенные неподалеку, снижали своей конкуренцией расценки до грошей. Меч висел над мужицкими головами, и обильную жатву собирали жадные и пронирливые раздатчики, и беспросветна была мужичья нужда, вздыхавшая ночными вздохами: «Хоть бы Господь прибрал!»

Посередине села стоял покосившийся на один бок трактор, крытый железом. Около него, на утопанной площадке, проходили сельские сходы, чтобы сподручнее было подпаивать народ. По воскресеньям тут пропивались последние гроши, и отсюда тракторщики прислужники вышибали буянивших забулдыг. Здесь же обычно заседали и главари кулачных боев, «стенки», когда деревня шла на деревню и когда дрались с ожесточением, озверело, до больших кровей, пуская подчас в ход и свинчатки, и колья.

На госте стоял серый домик сельского попа. Вокруг него — палисадник с большими кустами сирени и жасмина. Кусты их разрослись так, что самого домика почти не было видно и только просвечивали сквозь ветви и листья его белые ставни. Приход был убогий и захудалый, и захудало жило все большое поповское семейство, пораженное к тому же, как и многие семьи в деревне, наследственным сифилисом: об этом красноречиво говорила гундосая речь, узловатые, подъеденные носы, бледность лиц, золотуха и заикание ребятишек, вечно покрытых язвами, рахитичных, с хроническими насморками, кривоногих и больных...

По утрам, проснувшись и протерев глаза, Коля бежал с отцом на реку. Они шли по узеньким бревнышкам, проложенным по топкому болоту, стараясь не свалиться: болото хлюпало, тряслось, чавкало, из-под бревен шли пузыри; кочки колыхались. Потом выходили на твердый берег, к небольшому бочажку. Ивы свисали своими серебристыми ветвями в воду. Большие, старые ольхи затеняли бочажок, где под корягами в норах сидели раки и прятались толстые скользкие налимы; над водой порхали темно-синие лютки, взмахивая своими трепещущими крылышками; стрекозы срывались с сухого сучка и, стремительно сделав по воздуху круг, снова возвращались на свое излюбленное место.

Сели на траву. Трава на берегу холодная и еще влажная от утренней росы. Солнце играет сквозь листья светлыми зайчиками по водному зеркалу. Тишина. Только пеночка-теньковка, гоняясь в густой зелени кустов за мошкой, непрерывно и звонко тенькает: тень-тень-тень! Боязно лезть в холодную воду. Но и отец, и сын, посидевши на берегу, лезут, фыркают, плещутся: теперь уж не хочется и обратно. Солнце подымается выше. Трава высыхает. От луговых цветов пахнет медвяными ароматами. На медунице, вцепившись в душистую кашицу, сидят золотисто-зеленые бронзовки. По берегу в сырой земле копошатся медведки, выползая из своих норок с затейливыми ходами. Желтоватая муха неподвижно висит в воздухе, так быстро махая на одном месте крылышками, что их не видно, – и вдруг со звоном исчезает... Но пора домой, пить чай. А после – лес. Какое богатство! Коля широко раскрывает глаза: ему так и хочется вобрать в себя эту многообразную жизнь, что в бесконечных формах развивается вокруг него. Белки прыгают по елкам, пролетая через воздух и ловко цепляясь за ветви с гирляндами шишек. Иволги перекликаются, точно играя на флейтах. Сойки орут неистово и хрипло, мелькая в зарослях бирюзовыми зеркалами своих крыльев. Сороки трещат в кустах, точно сварливые торговки на базаре. А среди изумрудных подушек мхов, где то там, то сям кровавыми каплями дует костяника и красные бусины брусничника, вылезают коричневыми шляпками боровики. По цветам порхают махаоны, царские мантии, пестрянки; на полевых астрах ютятся золотые жучки. По вечерам бражники жужжат у цветов, выпуская свои длинные хоботки. Это ли не жизнь! И «Маленький Робинзон» целыми днями возится с роскошными дарами природы: из сосновой коры делаютя расправилки, чтобы по всем правилам препарировать бабочек и жуков для коллекции; из той же коры мастерятся остроносые поплавки для удочек; из проволоки и марли делаютя сачки; из конского волоса плетутся отличные лески. Пока всему делу помогает Иван Антоныч; он и сам собирает гербарий, и сам искренне увлекается: целыми днями бродит с непокрытой головой, и всюду сверкает его лысина. Он большой знаток и трав, и цветов, и насекомых, и птиц; и его рассказы еще больше разжигают любопытство сына: ах, если бы иметь «мертвую голову»! Если бы найти гусеницу гарпии, с флажками!

Когда всходит луна, Коля садится на церковной паперти со своими друзьями из соседских мальчишек и ждет: на песком посыпанную площадку прилетают козодои, таинственные ночные серые птицы, с

огромными черными глазами и бесшумным полетом мягких как пух крыльев. Ах, если, бы поймать живого козодоя!..

Так проходило у Петровых лето. На осень едут обратно в Москву: снова нагружаются телеги домашним и кухонным скарбом, и медленным шагом бредут, по-нуря головы, лошаденки из села Макарова в первопрестольный град, на тихую Большую Ордынку.

2

Соседями по дому было у Петровых семейство Яблочкиных. Михаил Васильевич Яблочкин, женатый на сестре Любове Ивановны, Марье Ивановне, числился заведующим школой, старшим учителем. Это был высокий, красивый, но тяжело большой сердцем человек, с орлиным носом, слегка вьющимися черными волосами, очень худой, по своему типу какая-то помесь грузина с суровым старообрядцем-кержаком. В его черных глазах, в желтоватом больном лице было что-то мертвое и мертвящее: тусклый блеск этих глаз говорил о внутренней рже, которая грызла и опустошала организм. Он вечно хворал. Его мучили постоянные сердечные припадки. Он был раздражителен и вспыльчив и в то же время боялся своей раздражительности. Детство его было не из веселых: его отец, сельский поп, громадный, с большим могучим носом, слыл страшным деспотом, загнавшим в гроб свою красивую, умную, но безответную жену. Этот поп был властным, скупым и хищным: с мужиками крут, с женой и детьми лют. Он умел использовать свое положение, наладил крепкое хозяйство, с фруктовым садом, малинником, банькой, не стеснялся брать за требы побольше и после смерти жены жил со своей прислугой, помыкая ею, как помыкал всеми в семье. Детей своих он порол и наводил порядок по-домостроевски. Михаила он обучал на попа, отдав его в бурсу, со всеми ее прелестями: зубрежкой греческого и латыни, апологетики и гомилетики, нравственным богословием и разнузданной поркой, звериными нравами бурсаков. Пройдя эту школу, и без того болезненный мальчик вышел из нее совсем болезненным. В попы он не пошел, а пошел в учительскую семинарию, которую и кончил. Порки в семье и школе не вызвали у него протеста и не сформировали из него натуры мятежной и критической. Для этого у него не было ни достаточной одаренности, ни достаточной природной живости. Наоборот, он свято верил в духовную и светскую иерархию и был более чем благонамеренным во всех отношениях. Все прогрессивные

и революционные идеи века шли мимо него: он ничего не читал, что могло бы смутить его ограниченный и заторканный ум. Во всем его облике, в том, как он ходил, сидел, читал, говорил, во всех его жестах, в мимике его лица чувствовалась какая-то смертельная усталость, точно он на всю свою жизнь хлебнул злой отравы, от которой нет излечения. Ходил он чуть сгорбившись, вяло передвигал свои длинные худые журавлиные ноги. Говорил медленно, растягивая слова. Любимым его жестом был жест безнадежности с приговорочкой, произносимой нараспев унылым голосом: «Все у нас как-то не так». Это «не так», однако, не имело никакого отношения к принципиальной критике – до таких высот он никогда не подымался: нет, это относилось к бытовым мелочам: «Никешка» (Михаил Васильевич употреблял старинные клички) не так закупил дрова, кухарка сварила не такой суп, за столом не так постелили скатерть, в комнатах не так протопили и т. д. Он был вечно всем недоволен. Но принципиальным, общественным порядком он был доволен и ему предан не за страх, а за совесть. При всем том этот слабый, больной и ограниченный человек унаследовал от отца черты деспота, которые были тем невыносимее, что сочетались с его вечно болезненным состоянием.

Жена его была, наоборот, умницей. Она была гораздо красивее своей сестры: густые темно-каштановые косы, соболиные брови, лучистые большие и умные глаза, милая улыбка делали ее подчас прямо обаятельной. Увлеклась ли она красотой Михаила Васильевича? Может быть, и так. Во всяком случае, она знала, что ее будущий супруг был равнодушен к ее сестре, Любочке, и только после отказа с ее стороны обратил свое внимание на Маню. Но так или иначе, через несколько лет, когда Марья Ивановна уже имела троих детей, семейная жизнь, не та, что на виду, не та, что проявляется в показном благополучии и прилизанной гладкости, а та, что идет в действительности, начиная от супружеской постели, та, которой так боялся Толстой, – вот эта семейная жизнь стала адом и проклятием. Сколько слез пролила украдкой, хоронясь ото всех, Марья Ивановна, сколько дум передумала она, сколько силы воли, такта, выдержки она обнаружила, чтоб ни словом, ни жестом, ни дрожью голоса не выдать своих мук, – об этом не знал никто. Об этом догадывались много позднее лишь дети, бесконечно ее любившие, как любят только мать. Ради детей и принимала на себя всю муку Марья Ивановна и не расходилась с мужем, который к тому же ее ревновал, – ревновал глупо и грубо, как могут только ревновать тупые и внутренне малокультурные люди, в своей злобе сознающие свое

ничтожество; ибо Михаил Васильевич отлично понимал, насколько его жена выше его во всех отношениях; внутренне ему, с его чинопочтением, импонировало даже и то, что Марья Ивановна в свое время блестяще кончила институт с «шифром», высшим знаком отличия, и что какая-то весьма высокая особа, чуть ли не сама августейшая государыня, лично вручала ей этот «шифр». Марья Ивановна была образованна не только по-институтски, откуда она вынесла великолепное знание языков, как, впрочем, и все ее сестры. Она много читала и обладала широким взглядом на вещи. Между ней и мужем не было, таким образом, по существу, ничего общего. И все же – таковы женщины! – она его жалела своим благородным сердцем, она волновалась, когда ему становилось хуже, она во всем уступала ему. Но в одном она не могла уступить: это когда он подымал руку на детей. А он порол, и порол нещадно ремнем, своего первенца, тоже Колю, болезненного, худощавого, умненького мальчика, который рос затравленным волчком в ненависти к отцу и с упорством оказывал при всяком удобном случае свое прогнотивое действие. Мать бросалась на защиту сына, забывая все на свете. Остальные дети – две дочери – плакали, хватаясь за мамины юбки... Дело кончалось обычно тем, что с Михаилом Васильевичем делался сердечный припадок, и тогда Марья Ивановна бежала за лекарствами, посылая за докторами и несколько дней подряд самоотверженно выхаживала больного деспота. В эти дни запирались окна и опускались шторы. В темных комнатах стоял удушливый запах лекарств. Все ходили на цыпочках. Марья Ивановна, работая целые дни и за себя и за мужа по школе, не спала ночей...

И так шли месяцы и годы.

Гроза начиналась обычно с пустяка. Часто бывало так. За обедом, проходившим в полном молчании, угнетавшем всех, в том числе и раздражительного Михаила Васильевича, он вдруг не выдерживал и, метнув мертвый взгляд на сына, сумрачно уткнувшегося в тарелку, бросал искру, – вся сцена развертывалась дальше, как зажженный пороховой шнур.

– Николай, что ты уткнулся?

– Ничего.

– Как ничего? Подыми голову. Молчание.

– Я тебе говорю! Слышишь или нет? Молчание.

– Ты будешь слушать отца?

– Не буду.

– Что ты сказал? Повтори-ка, повтори!

– Не буду.

– А, ты вот как! Ах ты стервец!

Михаил Васильевич, с салфеткой за воротником, с дрожащими руками, срывался с места. Коля отскакивал от стола, как упругий резиновый мяч. Марья Ивановна, уже давно с тревогой кидавшая умоляющие взоры то на сына, то на мужа, бросалась к нему:

– Миша, Миша, успокойся! Миша, не волнуйся, ради бога...

Но тот уже был вне себя:

– И ты тоже с этим мерзавцем! Все вы хороши!

И, грубо отталкивая жену, бросался ловить сына.

Коля с ловкостью маленького озлобленного волчонка забежал за столы и кровати, перебежал, опрокидывая стулья и табуретки и на ходу баррикадируясь ими, из комнаты в комнату, мчался, хлопая дверьми, через темный коридор и исчезал на выходной лестнице.

Но бывало и так, что отцу удавалось поймать мальчика. И тогда он зажимал его между колен, стягивал с него штаны и беспощадно сек ремнем. Порка эта доставляла ему какое-то странное удовольствие: он вымещал свою злобу, чувство собственной неполноценности, свою отчужденность ото всех, свою болезнь, свое бессилие. Но после экзекуции он хватался руками за грудь. Сердце у него билось, замирало, потом вдруг точно останавливалось. Он едва доползал до дивана – и сердечный припадок уже ставил его на границу всеобщего конца всех смертных.

И тут начиналась в жизни Яблочкиных полоса, когда вся квартира превращалась на несколько дней в сумрачную больницу.

Эти сцены, в том или другом варианте, повторялись в семействе Яблочкиных периодически, как естественный закон. Уже сколько раз Марья Ивановна со всем своим изумительным тактом и осторожностью подступала к мужу с серьезным разговором о воспитании детей. Но тот бросал на нее свой злобно-мертвый, раздраженный взор, который не предвещал ничего хорошего, и она, боясь его раздражить еще больше, отступалась. Никакие аргументы более высокого порядка – с упоминанием Коменского, Песталоцци и других светил – не действовали или если действовали, то лишь как красная тряпка на быка, хотя бедная Марья Ивановна всего менее походила на тореадора. Бывало так, что Михаил Васильевич неделями лежал в занавешенном темном своем кабинете, обложенный подушками и окруженный лекарствами. Бывало так, что Марья Ивановна, в школе работавшая за двоих, всем распоряжавшаяся, соблюдавшая лицо, улыбающаяся и приветливая, как обычно, дома запиралась на ключ в своей спальне, чтобы одной выплакать свое неутешное горе. Ее нервы тоже не выдерживали: это постоянное

напряжение, эта постоянная необходимость *faire bonne mine au mauvais jeu*, среди неизбежных сплетен, косых взглядов, подчас колких и прозрачных намеков – ибо всем известно, как соседи реагировали на доносившиеся до них слухи, – делали свое дело.

Вот в такой обстановке росли дети Яблочкиных. Коля, развитой не по годам, воспитывал и культивировал в себе, совершенно сознательно, злобу против отца и рано приучился видеть и подмечать все отрицательное в жизни и быту. Маня, старшая дочка Яблочкиных, худенькая девочка на тоненьких ножках, с прекрасными черными бархатными глазами, была олицетворенная печаль: ее уже и тогда называли *Mater Dolorosa*. Она глубоко страдала, видя преследования брата, которого очень любила, видя слезы матери, которую боготворила, и видя болезнь отца, которого жалела. Тихая девочка – она на полтора года была младше брата и на полтора года старше Коли Петрова – читала много, и уже в младенческом возрасте ее мучили вопросы людских отношений: почему страдает мать, когда она такая хорошая? Почему и за что отец преследует брата? Разве это справедливо? Почему Бог терпит это – ведь он добрый? И сотни таких вопросов бродили в маленькой черноволосой головке, смотревшей на мир печальными кроткими глазами. Она плакала над Диккенсом, над «Хижиной дяди Тома», над Евангелием, над «Тарасом Бульбой», когда там мучили Остапа. И повсюду искала ответов на свои вопросы – и не находила. Даже мама, ее любимая, дорогая мама, которая все знала, все понимала, даже она не могла успокоить своими ответами смятенной и встревоженной детской души.

Маня была единственной приятельницей Коли Петрова. Брат Коли, Володя, был еще мал, даже для него. А Маня, хотя и была старше его на целых полтора года, любила ходить с ним по садику, разыскивать куколок и вести с ним разные разговоры. Все ей казалось у Петровых интересным и другим: там не было ссор, там было весело, там было то, чего не было у них, у Яблочкиных. Здесь действовал контраст, и Маня, погружаясь в другую атмосферу и в другие интересы, просто отдыхала от постоянных уколов, мучивших ее в привычной домашней обстановке. Так и ходили они вдвоем, шарили по заборам и деревьям, отдирали кору от поленьев, сложенных на училищном дворе, копались в земле...

- Коля, смотри, какой чудной червяк!
- Это не червяк, это гусеница. Тополевой перевиницы.
- Прямо как сучок.
- Ну да, они все такие. Это подражание.
- Коля, а что ты будешь делать, когда вырастешь большой?

– Я поступлю на естественный факультет. Мне папа обещал купить «Атлас бабочек». Холодковского. Знаешь?

– Нет.

– А там такие картинки! Там все, все. Я тебе пока-, жу. Там есть «мертвая голова».

Пауза.

– Тебя дядя Ваня никогда не бьет?

– Никогда.

– И ты не плачешь?

– Нет. Я вот только плакал прошлое воскресенье. На «Трубу» не поехали.

– Скажи, а тебе Христа не жалко, когда его мучили?

– Жалко.

– А ты не плакал?

– Плакал.

– Вот видишь! А говоришь, не плачешь!

– Ну да ведь это другое дело. Его же мучили. Ведь жалко, когда больно.

Пауза. Маня обдумывает что-то. Ее мысли не дают ей покоя и прорываются сквозь строй других интересов. И трудно ей разобраться в этом хаосе. Она задумчиво шевелит своими худенькими длинными пальчиками, которыми разыгрывает уже несложные музыкальные пьески на пианино (Маня страстно любит музыку), и молчит.

– Маня, пойдем к нам.

– Хорошо. Только у мамы спрошусь.

– Ладно. Только поскорее. Придешь?

– Если отпустят. Ну, мамочка, она ведь наверно отпустит.

Коля идет домой со своей добычей: гусеницами, листьями (корм для них), куколками. Он раскладывает все это по коробочкам. Маня прибегает оживленная и радостная: ее так скоро отпустили! Коля – в который раз – показывает ей свое хозяйство. Вечереет. Солнце садится. Стаи галок кружатся и гомонят. Уткнувшись в оконные стекла, смотрят дети на догорающий день. Вот приезжают «чики-фтики» (так они называют «охотников», «золоторотцев», в бочки откачивающих отбросы). «Тики-фтики» работают, и слышно, как они переругиваются. Становится темно. Коля с Маней садятся за крохотный детский столик и пьют чай из крохотных чашечек, которые Коле подарила бабушка. Маня – за хозяйку.

Но скоро приходит этому конец. В дверях появляется Иван Антоныч, гладит Маню по головке.

– Маня, за тобой мама прислала.

Дети выбегают в кухню. Там стоит кухарка Яблоч-киных.

– Барыня велела домой иттить. Спать пора. И Маня уходит с опечаленным личиком.

Иван Антоныч начинает тормозить сынишку. У него есть, между прочим, скверная манера, против которой всемерно протестует Любовь Ивановна, но безуспешно: отец обучает Колю всяким «глупостям», ему непонятным, но поразительно смешным, когда они вылетают из уст младенца. И вот Коля важно декламирует:

Без женщины мужчина, Что без паров – машина, Что без клапана – кларнет, Без прицела – пистолет.

– А ну-ка, Колюн! Как это?

– Без женщины мужчина...

– Ваня! Перестань! Ну что это за глупости! Коля, довольное...

– А мне папа сказал.

– Знаю, что папа. Ты бы лучше вот новую книжку посмотрел. Кота-мурлыку.

– Где? Откуда? Новая?

– Новая.

– Ты купила?

– Да. Только сегодня. Там и картинки хорошие есть.

И Коля бросается к матери, которая с укором, выразительно смотрит на мужа. Иван Антоныч посмеивается себе в бороду: до ссор с женой у него никогда не доходит. А Коля уж впился в новую книгу... Вообще он читал все, что попадало под руку. Научился читать он почти сам, с помощью отца, на кубиках; потом «Букварь» Толстого, увлекавшегося тогда педагогией. Потом его же «Книги для чтения» в желтеньких переплетах, а за ними и остальное. Любимцем был Кайгородов («Из царства пернатых»). Тяжелыми толстенными томами, как монументы премудрости, лежал Брэм. Но была у Коли и особая страсть, заветная книга, которую он читал и перечитывал, и снова читал, хотя знал уже каждую строку; то был не «Робинзон», не «Дети капитана Гранта», то были «Приключения Гека Финна» Марка Твена. Гек был Колиным героем, и он зачитывался похождениями этого озорника со всем увлечением...

Однако не нужно думать, что жизнь Петровых с ее скромными радостями и скромными масштабами протекала без всяких трений. Этого никак нельзя было сказать. Но сфера конфликтов лежала не в семье: она лежала в жизни училища, с его особыми интересами, задачами, вопросами, с целой сетью служебных и бытовых

взаимоотношений, которые были подчас очень запутанны и сложны, несмотря на всю свою мелкоту. Здесь кипели страсти и интересы, самолюбие и гонор, тщеславие и легкомыслие, заносчивость и чванство, зависть и гордость, добродетели и слабости. И как это ни странно, полюсами тяготений различных группировок и лиц были так тесно связанные между собой главы двух семейств: Михаил Васильевич и Иван Антоныч. Что сталкивало их друг с другом? Может быть, где-то, в самой глубокой и темной пропасти бессознательного, отложились давние, скрывавшиеся и не вылезавшие никогда наружу конфликты из-за жены, Любочки, которая была предметом ухаживаний Михаила Васильевича, а вышла замуж за Ивана Антоныча. Но и без этого момента было достаточно причин. Один – семинарист и бурсак, но не типа «свистунов», а «совсем наоборот», другой – универсант. Один – правоверный сын строя и церкви, другой – как никак, человек, мимо которого, задевая крылом, прошли вольнолюбивые мечтания. Один – мрачный и холодный, другой – веселый, общительный и легкомысленный. Один – заведующий, другой – подчиненный, но не признававший ни в чем авторитета заведующего. При таком положении было вовсе немудрено, что не раз и не два возникали между ними ссоры, иногда деловые, иногда бессмысленные, вспыхивая то там, то сям, часто по поводам, совершенно случайным. А к этим героям, как железные опилки к магниту, так и липли сослуживцы, сплетничали, науськивали, подзадоривали, разжигали, льстили, клеветали, перемывали косточки и судачили, т. е. делали все то, что, миллиарды раз повторяясь с томительным однообразием, делалось в обывательской, мелкочиновничьей и полуинтеллигентской среде. Так, шла в недрах училища великая батрахомиомахия, война мышей и лягушек, то вспыхивая огоньком острого конфликта, переходившего во всеучилищный скандал, то тлея в скрытых подземных процессах, как на пожаре торфяного болота, где иногда лишь запах гари да тонкие, едва заметные струйки вьющегося дыма, пробивающегося из-под земли, говорят об огне.

Однажды Иван Антоныч зашел во время перемены в «чужой» класс.

– Иван Антоныч! Иван Антоныч! – раздалось в классе. Ребята притихли, но не испугались: Иван Антоныч не слыл среди них ни букой, ни грозой.

Иван Антоныч бросил случайно взгляд на классную доску. Там крупными буквами красовалось мелом: «Конава», «кон», «бабки стоят на кону».

– Это кто писал?

– Иван Палыч! – ответили сразу десятки голосов.

– И вы пишете «конава», через «о»?

– Да, Иван Антоныч! Нам Иван Палыч сказал...

– Будет ерунду говорить, ребята! Не мог он сказать вам такой чепухи. Это же ерунда. «Кон» здесь совсем ни при чем.

– И Иван Палыч нам объяснял...

– Ну и ерунду вам объяснял ваш Иван Палыч! Вы ему так и скажите.

Ребята стали переглядываться и похихикивать. Посмотрит один на другого и фыркнет. Фыркнет и отвернется. Один слушает в полном недоумении, задумчиво копая в носу. Другой, поживее, уже выложил на парту свою тетрадку, вытащил из пенала твердую резинку и перо и тщательно, наклонив голову и помогая себе даже языком, переправляет «о» на «а» и выскабливает отовсюду злосчастный «кон». Третий, которому совершенно безразлично, как писать «канаву» – хоть через ять! – набивши рот плюшкой, сосредоточенно жует и думает, почему так мало сахара насыпали на его плюшку: вон ведь у Володьки Васильева как густо! Четвертый щиплет соседа за зад, а тот толкает его изо всех сил ногой под партой... Словом, всяк занимался своим делом, но все же эффект от выступления был немалый.

Однако Петров не ограничился этим случайным наветом: весь его филологический азарт требовал дальнейшего. Иван Антоныч слыл за человека и увлекающегося, и задиру, и насмешника.

В учительской уже было заметное оживление. Михаил Васильевич беспокойно ходил на журавлиных ногах из угла в угол, с зеленым лицом, хватаясь худой аскетической рукой за впалую, грудь. Батюшка, отец Воскресенский, короткий и жирный, с уже седой раздвоенной бородой, маленькими свинными глазками и косичками, которые крысиными хвостами болтались на затылке, сощурил выжидательно свои глазенки, сползая с широкого кресла под стол всеми своими грузными телесами. Иван Палыч сидел красный, как вареный рак, и не знал, на что и куда ему смотреть. Остальные сбились в группы, переглядывались, жестикулировали, перешептывались: Михаил Васильевич, узнавши о событии, уже успел сделать в учительской декларацию, что он не допустит подрыва авторитета и сделает выговор за бестактность Иван Антонычу. А этот, ничего не подозревая, с развеселым видом влетел в учительскую и с места в карьер, положив руку на плечо окончательно растерявшегося Ивана Павловича, начал атаку:

– Батенька мой, да вы что же это, спятили, что ли? Вы правда канаву через «о» пишете?..

Молчание.

– Послушайте, господа! Иван Палыч-то наш! Учит ребят канаву через «о» писать! От «кон» производит. Ха-ха-ха! Как вы это находите? Новая эпоха в истории русской грамматики! Вторжение русских бабок в западноевропейскую лингвистику!..

– Иван Антоныч, ваше поведение... Ваше поведение... Перед мальчишками... Вы извоили сказать «ерунда»... Это... это...

– Что «это»? Учителя должны учить грамоте, а не безграмотности.

– Но вы себе позволяете... Это неуместная дерзость...

– Что я себе позволяю? Неужели вы не знаете, что в слове «канава» корень...

– Вы не смеете! Вы не смеете!

– Не кричите! В слове «канава» корень тот же, что и в слове «канал». Корень иностранный... Если вы хотите, я вам сейчас покажу...

– Ну да, вы, конечно, в университетах... Но я вам должен сделать выговор... Вы подрываете авторитет... Вы заводите... Вы обязаны...

– Михаил Васильевич, по-моему, это вы обязаны...

– Я сам и без вас знаю, что я обязан... Прошу не указывать мне...

– Вы обязаны следить за тем, чтоб учили делу. Иван Палыч, извините, но вы ведь чепуху сказали ребятам? Скажите откровенно, ведь чепуху?

– Иван Антоныч, позвольте, а откуда же «в»?

– А если от «кон», то откуда «в»? Ведь это же *lucus a non luce!*

– Но вы не смеете смеяться перед мальчишками над педагогическим персоналом! Вы развращаете школу!

– А вы не смеете кричать на педагога!

И Иван Антоныч выбегает, хлопая стеклянной дверью учительской, так, что стекла дребезжат.

Вечером в квартире Яблочкиных стоит жуткая тишина; дети обескуражены: папа с мамой заперлись на ключ в кабинете и вот уже два часа не выходят оттуда. Коля демонстративно молчит. Маня подошла было крадучись к таинственной двери, но вдруг испугалась и повернула назад. Да и что узнаешь, что услышишь? Бедная мама: а вдруг ее папа обижает? А может быть, и папа умер и мама умерла...

На глазах у Мани выступают горькие слезы: ей бесконечно жаль маму, и ей уже чудится, что мама лежит бездыханная, с закрытыми глазами, похолодевшая... «Мама! Мамочка!» – хочется громко крикнуть девочке. Ах, броситься бы к двери, застучать кулачонками,

убедиться, что мама жива, что глаза у нее открыты, что она по-прежнему теплая, ласковая, живая; что по-прежнему можно прижаться головой к ее материнской груди и все позабыть на свете, все горькое и злое... Но Маня, глотая слезы, крепится и ждет...

А за таинственной дверью идет тихий разговор. Один голос – раздраженный, скрипучий, с едва сдерживаемой злобой, постоянно прерываемый приступами кашля и слабостью сердца. Другой – мягкий, успокаивающий: таким голосом опытная сиделка уговаривает тяжелобольного.

– Да, но это возмутительно! Этот Ивашка перепортит мне всю школу...

– Не волнуйся, Миша. Только не волнуйся. Иван Антоныч сам увидит, что сделал бестактность. А Иван Палычу ты тоже скажи, чтоб он в сомнительных случаях хоть в Грота заглядывал.

– Послушай, да разве в том дело! Ведь это же нахал какой-то! Да в конце концов, кто я ему: заведующий или нет? Не он, а я отвечаю за школу...

– Ну, конечно, Миша. Но ведь дело-то тут не бог весть какое. А поводов тоже давать не нужно. Иван Антоныч – ветрогон, но он, сам знаешь, хороший учитель.

– Да какой же это учитель! Смутьян, озорник. Прямо нахал. Я завтра попечителю напишу... Мне а ним не ужиться. Эти университетские болтуны...

– Погоди, Миша, не спеши хотя бы.

– Да я уж учителям сказал: или я, или он. С этим болтуном, с этим... с этим... с этим скотом... я...

– Ну хорошо, хорошо, Миша, делай как знаешь. Только не волнуйся. Вот прими и постарайся заснуть... Прими, пожалуйста... Успокойся. Будь благополучен... Спокойной ночи!..

Марья Ивановна дает мужу лекарство и тихонечко, совсем бесшумно выходит, к всеобщей радости детей, из мрачного папиного sklepa. Наконец-то!..

В тот же вечер Иван Антоныч неожиданно выпаливает своей Любочке:

– Люба, я ухожу из училища.

– С чего ты? Что случилось? Да говори же, Ваня!

– Я не могу ничего поделать с этим болваном.

– С каким? Говори, пожалуйста, серьезно, а не ребусами.

– Ну, понятно, с каким. С Яблочкиным. Что ты, догадаться, что ли, не можешь?

И Иван Антоныч, не жалея красок, рассказывает во всех подробностях и о «коне» и о сцене в учительской. Он, Иван Антоныч, стоит на страже грамотности. Нельзя позволить, чтоб ребят обучали черт знает чему. А этот Яблочкин осмеливается еще на него кричать!

– Но, Ваня, погоди, успеешь...

– Звонок... Кого это черт несет в неурочное время?

Через кухню, оказывается, пришел Дмитрий Дмитриевич, тоже учитель. Низенького роста, с глубокими рябинками – следами в детстве перенесенной оспы, с красноватыми от вечного пьянства глазами, с подобострастной улыбочкой на испитом лице, маленький, кругленький, вертлявый и весь какой-то серый, точно он год не умывался, год не чистил ни зубов, ни сапог, ни пиджака.

– А я к вам на минутку только забежал, Иван Антоныч.

– Садитесь, пожалуйста. Люба! Дай чайку Дмитрию Дмитриевичу!

– Нет, благодарю вас, Любовь Ивановна!.. Иван Антоныч, одну минутку. Я вам только хотел сказать... Хотел сообщить... поделиться... по-товарищески...

– Да в чем дело, Дмитрий Дмитрич?..

– Да вот видите, когда вы ушли...

– Откуда?

– Да вот из учительской...

– А-а? Ну и что же?

– Так Михаил Васильевич заявил всем нам, что пошлет попечителю просьбу о вашем увольнении... Он сказал...

– Вот как!

– Вот, собственно, и все. Вы извините, Иван Антоныч.. Я по-товарищески счел своим долгом вас предупредить... поставить в известность... у нас лучшие возмущены... Вас так ценит учительство... Вы у нас...

– Ну, спасибо... Да, не ожидал...

Гость уходит, долго не может вставить ноги в калоши, не то действительно не попадая в них, не то нарочно затягивая этот процесс надевания, чтобы подслушать, как будет реагировать Иван Антоныч в разговоре с женой на его «товарищеское» сообщение. Но вот калоши надеты, дверь открывается, пар клубами мечется у входа, дребезжит медный колокольчик, дверь снова хлопает – Дмитрий Дмитрич ушел.

– Люба, ты слышала? Вот негодяй!

– Да будет тебе, Ваня! Точно ты в самом деле не знаешь Михаила Васильевича. Ведь на него нельзя смотреть как на здорового. Сегодня вспылит, а завтра опомнится...

– Но зачем тогда таких сажают? Ведь училище-то не богадельня и не больница!

– Он неплохой учитель.

– Ты готова за всех заступаться, Люба. Что ты хочешь, чтобы я похристиански другую щеку подставил? Но я ему не мальчишка. А теперь, когда он объявил всем, что собирается меня выгнать, я должен завтра же при всех пойти ему наперерез. Я уж ему покажу кузькину мать! Я утру нос этому тупице!

– Ваня, будет тебе пороть горячку! Это даже несерьезно. Нужно обдумать, а не бросаться с моста вниз головой. А если уж уходить, тогда надо и о месте позаботиться. Куда мы денемся с детьми? И об этом нужно немного подумать. Мы здесь прижились, привыкли, а ведь все вопросы тогда разом станут, начиная с квартиры. Ты об этой стороне и не думаешь...

– Место всегда будет.

– Да откуда ты это взял?

– Я тебе говорю!

– Нет, Ваня, так нельзя. Мало ли что ты говоришь. Прошу тебя, не горячись. Ты у меня Порох Порохович...

И Любовь Ивановна целует голову мужа. Он целует ее маленькую умную руку, которая уже перестала быть такой детски тоненькой, такой кукольной, как в былые дни, когда они ездили гулять на Воробьевы горы...

Часов в десять приходит Марья Ивановна. Видно, что она взволнованна, но елико возможно держит себя в руках.

– Люба, я с тобой хочу поговорить.

– И я тоже хотела. Собиралась уже к тебе.

– Михаил Васильевич решил завтра писать попечителю... Ты знаешь всю историю?

– Знаю. А Ваня сам хочет уходить.

– Ну и что ж делать?

– Нажать ручку тормозов. А ты как думаешь?

– Да и я тоже за это. Я уж уговаривала Мишу, но он сейчас все равно невменяем. Попробую завтра поговорить. Сейчас он лежит. Так тяжело все это, Любочка.

В это время за дверью раздается развеселое пение Ивана Антоныча, который, немилосердно фальшивя, воспроизводит рудалы оффенбаховской «Прекрасной Елены»:

Раз три богини спорить стали На горе в вечерний час. «Эвое, – они сказали, – Кто прекраснее из нас?»

Сестры молча переглянулись. Улыбнулись. За дверями пение не умолкало:

О боги, неужели вас веселит,

Когда наша честь кувырком, кувырком полетит?..

Это Иван Антоныч переходит на новую арию... Он долго возится голосом с этим самым «кувырком, кувырком» и, удовлетворенный успехами и достижениями, наконец умолкает. Он выходит к сестрам оживленный и веселый. Вид – как ни в чем не бывало.

– Ах, вы у нас, прелестная Marie, жизнь так прекрасна. Душа поет.

– Вы в самом деле находите, что жизнь так прекрасна?

– Конечно.

– Счастливейший вы человек, Иван Антоныч. Завидую тебе, Люба. С ним не соскучишься.

– Да, ангел души моей, я не из скучных. А как ваше драгоценное здоровье?

– Да так, помаленьку. Однако мне пора. Миша у меня, Иван Антоныч, опять лежит. Ну, до свиданья, Люба! До свиданья, Иван Антоныч.

– Спокойной ночи! Видеть во сне: ходить по аллеям, нюхать жасмин, целовать, кто мил.

– Будет вам, балагур вы этакий! До свиданья!

Мудрые сестры оттянули на этот раз развязку событий. Но ссоры шли своим чередом: то из-за выбора книг для учительской библиотеки, то из-за сроков выдачи жалованья, то из-за трактовки безличных предложений или какого-нибудь корня, то из-за отношения к служащим, – словом, и поводов, и причин всегда находилось достаточно. В школе образовались две партии и небольшое болото; были и перебежчики, и лазутчики, и шептуны, и поджигатели – весь ассортимент сил и лиц, которые всегда, как пена или шлак, образуются в процессе действительной борьбы и растут как на дрожжах, когда вместо действительной борьбы царствует склока. А случаются и переходы одного в другое...

Любочка в конце концов настояла, чтобы Иван Антоныч предварительно нашел себе место, когда жить действительно стало невмоготу. Эти поиски, к величайшему удивлению Ивана Антоныча, который воображал, что за его милый характер его всюду будут встречать с распростертыми объятиями, продолжались весьма долго. И Иван Антоныч натерпелся и уколов самолюбия, и прямых

унижений, пока наконец ему не удалось получить место податного инспектора в Бессарабской губернии.

В один прекрасный вечер, когда в садике училища гуляли дети и кое-кто из учителей, Иван Антоныч вдруг появился на крыльце в новом, расшитом золотыми узорами мундире и торжественно провозгласил, точно дьякон с амвона:

– Еду служить отечеству.

Прощай, училище, прощай, садик, прощай, Маня. Коля был и рад, и чуть не плакал.

3

Бессарабия, где очутились после тяжелого пути Петровы, предстала перед ними не относительно большим и культурным Кишиневом, о котором даже коренные москвичи, никогда не покидавшие своих Кривоколенных, Спасо-Песковских, Спасо-Болвановских и прочих переулков, знали по кишиневским похождениям Пушкина, с их «куконами» и «кукопицами», а маленьким и грязным уездным городишком – Бельцами, самое название которого звучало жестокой иронией, ибо Бельцы славились своей непроходимой черной грязью. Эта жирная, липкая грязь стояла морем разлитым даже на главной, Церковной, улице во всю ее ширину, к величайшему удовольствию целых стад свиней, которые в разных позах наслаждались жизнью: одни из них лежали по уши в зловонной жиже, прищурив белобрысые глазки от сладкой истомы и иногда лениво пошевеливая ухом; другие с игривым хрюканьем расхаживали, трясая нависшими на хвостах и подсохшими шаровидными култышками; третьи чесались о покосившийся палисадник, сладострастно повизгивая, – словом, здесь было настоящее свиное царство.

Земли в Бельцах и вокруг них принадлежали богатейшим помещикам Крупенским и князьям Кантакузенам, владевшим чуть ли не целыми уездами. Молдаванские мужички, загорелые, похожие на цыган, черные, худые и кудлатые, жили трудно: кукуруза, арбузные бахчи, подсолнухи, фруктовые садики были источниками их скудного дохода, общипываемого со всех сторон налогами, податями, арендой, вздувавшейся втрое пронирыливыми еврейскими арендаторами, в свою очередь сдававшими землю по безбожным ценам мужикам. Не только мясо, даже и хлеб не входил в обычную пищу крестьянина: он должен

был благодарить Всевышнего и власти предержавшие за единственное и единое национальное блюдо, «мамалыгу» – крутую кукурузную кашу, которую долго тискали и мяли в руках, прежде чем сунуть ее в рот; заедками служили кавуны, лакомством – «папушой», то есть те же кукурузные зерна, запеченные в муке. Среди голых жарких степей, где были раскиданы села с их белыми хатками, попадались и целые местечки еврейской бедноты; эти несчастные пауперы, с глазами, изъеденными трахомой, с телом, изгрызенным вшами, жили жалкими корками. Промышляя мелким ремеслом, извозом, мизерабельной торговлей вразнос, где весь торговый фонд состоял подчас из нескольких пачек спичек, фляги «фотогену», клубка ниток и сотни иголок, они ухитрялись как-то существовать и при этом с необычайным рвением плодиться и множиться, хотя весь голодный приплод бегал голым по улицам в струпьях, насекомых, грязи, одним своим видом показывая все заботы Иеговы об избранном своем народе. Зато процветали их богатые и важные сородичи: арендаторы, жадные, наглые и безжалостные ростовщики, продувные крупные торговцы и купцы, владевшие в Бельцах магазинами, извозными предприятиями, товарными складами и конторами. Они имели свои чистые хорошие дома, их дети обучались в гимназиях Кишинева или Одессы. Они были хранителями Завета: в синагоге им принадлежали почетные места. На них все евреи смотрели с богобоязненным уважением, как на мудрых («кохем»), сумевших выйти в люди и награжденных великим Адоном за свое благочестие и правоверие.

Русские были представлены в городе главным образом чиновничеством всех мастей: исправник, воинский начальник, офицеры, акцизные чиновники, податное ведомство, чиновники казначейства, полиция, жандармерия, попы, судьи, начальник тюрьмы, казенные врачи – все это были русские, и русские обычно довольно специфического свойства: тупые, заносчивые, патриотические, с презрением бросавшиеся словом «жид», третировавшие молдаван, изрядно вороватые, пьяницы и картежники, проводившие дни и ночи за зеленым сукном, с водкой, коньяком, колодами карт, мелками и прочими аксессуарами чиновничьего быта. «Набить морду жиду» – это был патриотический пароль и казачьего офицера, и тюремного надзирателя, и воинского начальника, и любого русского чиновника вообще. Их дети воспитывались в соответствующем духе, и песенки вроде: «Жид пархатый, на г... распятый» – не сходили с уст. Измывательство над евреями считалось хорошим тоном, патриотическим долгом и удалью. Богатые евреи

отдавались – способов для этого было много. Поэтому с ними считались, иногда даже водили компанию, за спиной отплеываясь. Но мелкая сошка, мелкий люд из еврейских местечек в глазах российских цивилизаторов считался чем-то, что в иерархии живых существ стояло гораздо ниже дворовых собак и свиней. Эта чиновничья великоросская каста держалась как своего рода аристократия, не имевшая, однако, никаких аристократических добродетелей, до того все здесь было мелкотравчато и в культурном отношении убого. Но среда эта была как черное топкое болото, как зыбкая, страшная трясина, которая либо всасывала в себя приезжего новичка, переделывая его по образу и подобию своему, то есть превращая его во взяточника, пьяницу и картежника, с полицейско-чиновничьим патриотизмом и повадками колонизаторской собаки, либо – рано или поздно – извергала его, чудика и изгоя, создавая вокруг его имени какую-либо сплетню, долженствовавшую оправдать этот акт извержения.

Вот в такую обстановку попал Иван Антоныч Петров со своими чадами и домочадцами. Петровы поселились на окраине города, в самом конце Церковной улицы, в домишке Станевичей. Хозяин, молдаванин Иван Егорыч, был простой полуграмотный человек, живший доходами со своего домика и довольно большого сада. Он сам вечно копался в земле, и его блестящий натруженный заступ постоянно мелькал по саду: то он окапывал яблони или абрикосы, то выравнивал дорожки, то прорывал канавки, то сажал новые саженцы. Рабочих у него не было, и он с раннего утра до позднего вечера возился в саду, чинил заборы, ставил подпорки под деревьями, подбелял стены, подновлял дрань на крыше, большими садовыми ножницами подрезал сучки у кустов. Был он крепкий, плотный старик, хорошо скроенный и ладно сшитый, с еще наполовину черной бородой, точно уголь, посыпанный солью. Жена его, Катерина Ивановна, внешностью своей была классическим типом старухи молдаванки: ее черные большие глаза считались когда-то огненными, а теперь потухли и были со всех сторон окружены желто-коричневой морщинистой кожей; большой римский нос потянулся к острому подбородку; худая старческая шея обвисла двумя складками кожи, которые продольно натягивались, как перепонки. Вся она – сухопарая, тонкая, морщинистая – походила на старую индюшку. Она вечно курила папироски, заправски затягиваясь, как привычный курильщик. Старуха эта отличалась большим врожденным умом и

немалым житейским опытом. Не Иван Егорыч, а Катерина Ивановна носила штаны в семействе Станевичей.

У них было трое взрослых детей – молодые Станевичи. Сыновья кончили среднюю школу. Старший, Павел Иванович, красавец с черными глазами, замечательно правильными чертами лица, роскошной бородой и густым бобриком, служил в Кишиневе воспитателем в местной гимназии. Младший, Василий Иванович, служил в самих Бельцах в казначействе. Это был не очень далекий, по-парикмахерски красивый молодой человек, у которого все было бабочкой: бабочкой были тщательно расчесаны его черные вьющиеся волосы, всегда припомаженные; бабочкой на две стороны была разглажена его аккуратная бородка; бабочкой был подвязан его галстук; и далее самая походка у него была какая-то папильонная, порхающая. Их сестра, Елизавета Ивановна, девушка на выданье, была бы очень красива, если бы не чрезмерно длинный орлиный нос, который как-то слишком мужественно выдавался на ее изящном и тонком лице со жгучими пламенными глазами. Она была высока, стройна, гибка, как молодая пальма. Но у нее был, кроме слишком длинного носа, еще один недостаток, предмет ее постоянных забот: душно-резкий запах пота. И бедная девушка всячески старалась отбить его духами и душилась до умопомрачения: в ее комнатке, перед зеркалом, стоял целый набор флакончиков, и она ежеминутно прибегала к разнообразным ароматам, чтобы заглушить свой собственный аромат, доставлявший ей немалые мучения. Молодые Станевичи были народ тихий и скромный. Правда, говорили, что Павел Иванович любил выпить. Но он был в Кишиневе, да и мало ли что вообще говорят!

В общем, Петровы не имели оснований жаловаться на своих хозяев, и у них сразу же сложились с ними очень хорошие отношения.

Для детей – Коли и Володи – главное был сад. Кругом города простиралась степь, кукурузные поля, холмы, солончаки. Ни рощи, ни леса вообще не было. А сад был довольно большой, и, главное, почти все деревья в нем были новые, не московские и не макаровские. Тут росли абрикосы, персики, черешни, сливы. Громадные белые акации с морщинистыми, корявыми толстыми стволами; роскошные вечнозеленые туи с раскидистой копной густых смолистых ароматных ветвей. Ясени и буки. Целые заросли розовых кустов, из цветов которых делали варенье и неведомые в Москве шербеты, любимое угощение в Бессарабии. А за забором – соседский виноградник, где вызревал сладкий душистый виноград. Все это было внове. Внове был и мир животных – птиц, насекомых, зверьков. В

самом саду, где вскоре Коля облазил все деревья, кусты, тропинки, заборы, где он узнал каждую норку, каждый сук, обнаружили несметные богатства, о которых в Москве можно было лишь мечтать. Вот круглые дырочки в земле, по бокам тонко оклеенные паутиной: это – жилье ядовитого тарантула. Тарантулов можно выливать водой, но можно ловить и по-другому, на восковой шарик, привязанный к нитке. Шарик опускается в норку, ударяет паука по спине, тот вонзается челюстями в воск, и его выуживают, как рыбу из реки... Коля потихоньку прокрадывался к маминому комоду, отодвигал ящик, обгрызал куски воску от маминых подвечных свечей, хранившихся на память вместе с восковыми fleurs d'orange, и кто бы подумал, что эти реликвии шли на ловлю бессарабских страшных и ядовитых пауков! Вот другие дырочки, косые, – это черные полевые сверчки, каких нет в Московии. Их долго нужно выслеживать и выжидать, когда они вылезут из своей норки, и затаив дыхание Коля ждет этого счастливого момента, чтоб быстро загородить рукою вход. Вот на разросшихся густолиственных сиреневых кустах сидят запашистые зеленые жучки – испанские мушки. Вот на старом почерневшем заборе, покрытом пестрядью мшинок, притаилась огромная ночная бабочка, самая большая во всей Европе, – плидовая сатурния, ночной павлиний глаз, мохнатая и таинственная, с летучую мышь в размахе своих крыльев. А на высоком дереве, грецком орехе, от кожуры плодов которого пахнет йодом и чернеют руки, свил свое гнездо сорокопут, и мальчик с обезьяньей ловкостью лезет на головокружительную высоту: есть там одно местечко, когда нужно на секунду – только на одну секунду! – упереться подошвой на едва заметный бугорок в стволе, чтобы перемахнуть на следующий сук: сорвался – и прощай все на свете! Но Коля лезет: он хорошо знает все эти акробатические приемы; иной раз холод пробегает под волосами – ничего, сошло! Высоко в небе вьются золотистые шурки. На цветах сирени ползают громадные красноголовые осы, вдвое больше шершня. Вечерами жужжат и гудят, ударяясь о стекла террасы, носороги, копры, жуки-олени! Да всего и не перечтешь. Коля прямо захлебывался этим новым миром, где все было гораздо больше, ярче, цветистее, чем в далекой, далекой Москве...

Дети Петровых попали и в другом отношении в обстановку, совершенно для них новую. В Москве они жили, как тщательно выхаживаемые тепличные растения, – никуда за пределы училищного садика они не выходили. Они были благонравными, послушными, воспитанными, «примерными детьми». Как удивлялись молодые и старые Станевичи тому, что Коля и Володя среди изобилия плодов

земных, произраставших в саду, не срывали ни одной вишенки, ни одной сливы, ни одного прекрасного, сочного персика! Никакие соблазны не могли прорвать их детской благонамеренности и благочиния. Увы! Все это испарилось: дети здесь очутились вскоре на улице, с ее новыми знакомствами, своей моралью, удалством, озорством и своеобразным просвещением. Это произошло, однако, не сразу... Вначале Любовь Ивановна решила взяться за Колино образование и воспитание систематически. Она думала даже привить ему религиозные взгляды, исходя из того, что «так надо» (сама она религиозностью не отличалась, хотя и протестовала против постоянных насмешливых выходок мужа). В один прекрасный день были закуплены новые книжки, начиная со «Священной Истории», где были занятные картинки, поразившие Колино воображение: ангел с мечом изгоняет Адама и Еву из рая; ковчег Ноя носится по бурным волнам всемирного потопа; братья продают прекрасного Иосифа в рабство; пророка Иону проглатывает огромный кит; несчастный Иов сидит в рубище и воздевает руки к небу; маленький Моисей лежит в корзиночке среди нильских тростников, – и много других картинок и интересных историй было в этой книге. Мать начала уроки, заставив предварительно Колю прочитать молитву перед учением: «Преблагий Господи...» Но на этом столь добродетельное начинание почти и закончилось. Любовь Ивановна была беременна. Иван Антоныч, отрезывая хлеб, говаривал: «На тебе горбушку, родится сын Андрюшка». И Андрюшка скоро с писком появился действительно на свет, к немалому удивлению Коли, который задумывался над пророческим даром родителей. У матери пошли новые заботы, и дети очутились на полной, ничем не ограниченной свободе: раздолье бескрайнее, новые товарищи, улица, сады и поля, игры и похождения ворвались в их жизнь и преобразили ее на совершенно новый лад.

Рядом с домом Станевичей находился дом вдовы молдаванского попа, Киореску. Вдова была крупной, дородной, чернобровой и черноглазой женщиной, ходившей так, будто ей вечно мешал вздувшийся непомерно живот. Она была изрядно добродушна, изрядно малограмотна, изрядно трудолюбива. Содержала в порядке садик, получала пенсию, продавала яблоки, крыжовник и сливы, воспитывала, как умела, то есть вовсе не воспитывала, двух своих детей: Володю, получившего у Петровых кличку Володьки Соседского, и маленькую Таню, с черненькими глазками и вечными соплями под носом, которые она бесперебойно вытирала своими крохотными и всегда грязными ручонками. Володька Соседский был

года на два старше Коли Петрова, но только-только учился читать по складам, и Коля внутренне ужасно торжествовал, когда однажды было устроено соревнование в чтении. Он мастерски, бегло и с выражением прочитал маленький рассказ. А Володька Соседский, которому досталась «Акула» Толстого, заикаясь и спотыкаясь на каждом шагу, по складам выводил: «Наш ко-о-рабль наш корабль... ш... е... л... шел... у... бе... бе... ре... бере... г... о... в... гов... берегов...» Авторитет Коли сразу вырос у всей братии...

Другим товарищем оказался еврейский мальчик, Левка. Он был худой, рыжий, веснушчатый, очень живой и бойкий. Он сразу прельстил Петровых и обогатил сокровищницу их познаний удивительными фокусами. Он умел заворачивать веки на глазах. Вывернутые веки делались красными, как кровь, он бегал в таком виде и путал детвору. Он умел издавать горлом особые гортанные звуки, чему быстро обучил Колю с Володей, в совершенстве усвоивших это искусство, несмотря на протесты матери, называвшей их «идиотскими звуками», – но власть ее, матери, уже почти исчезла. Он умел продевать нитку через ноздри и, выплюнув конец через рот, «пилить». Он умел глотать пули, подбиравшиеся им около казарм. И петровские ребяташки пилили носы, глотали пули и потом тщательно следили, когда эти пули выходили, наблюдая за своими испражнениями и радуясь, когда пуля вновь появлялась на свет, проделав полагающийся ей круг. Словом, Левка был на все руки мастер. В компании верховодил еще сын русского столяра, Ванька Нестеров, посвященный тоже в оккультные тайны, объединявшиеся среди ребяташек под общим названием «от чего родятся дети...». Наконец, близкими соседями были еще «девчонки», две дочки благочинного: одна девочка Саня, с большими голубыми глазами, удивленно смотревшими на мир, и ее старшая сестра Лена, по возрасту уже совсем не подходившая детям. У Сани на ее красивых тоскующих глазах постоянно сидели ячмени, но Коле Петрову казалось, что эти ячмени еще больше красили задумчивое лицо тихой и ласковой девочки.

Коля с Володей проводили почти все время в саду и на улице. Коля, подвижный, быстрый, с редкими зубенками, верховодил, командовал, понукал. Володя, с честными невинными большими глазами, готов был все сделать для брата.

– Володька, беги скорей за водой – будем суслика выливать! Скорее!

– Сейчас!

И Володя, спотыкаясь и спеша, бежал за водой.

– Ты что же, только полведра принес?!

– Прости, Колечка, я еще принесу.

И Володя послушно бежит опять за новой порцией воды и бегает до тех пор, пока из норы не вылезает очумелый, мокрый, весь дрожащий мелкой дрожью, ставший похожим на крысу, несчастный суслик, по поводу которого сейчас же начинают делаться предположения, нет ли у него чумы, и вносятся проекты на предмет его обеззараживания.

– Володька, тащи ящик!

– Сейчас!

Коля остается на наблюдательных постах: хотя он отнюдь не гнушается черновой работой и лучше всех других знает, как выискивать и ловить все интересное, но когда происходит сложная операция, то верховные функции управления переходят к нему, и трогательно-наивный Володя беспрекословно подчиняется брату.

Так проходят дни за днями, месяцы за месяцами. Когда зацветает душистыми гроздьями белая акация, все ребятишки сидят на деревьях, как стая обезьян, и неистово пожирают цветы. Куда девалось все благонаравие! С абрикосовых и вишневых деревьев, прямо с коры, зубами отгрызают клей и жуют его целыми днями: темно-красный и твердый, янтарный и желтый, свисающий застывшими каплями, как отеки на стеариновой свечке, и размокший после дождя, безвкусный и водянистый – все перепробовал Коля своими зубами. Но он уже не прочь был поживиться и черешнями, и сбить синюю, с сизым налетом, огромную сливу, соблазнительно выглядывавшую из-за свернувшегося зеленого листа, и потрусить абрикосовое дерево, чтоб упали сладкие, сахарные, спелые плоды, из косточек которых можно к тому же делать прелюбопытные свистульки... А что до какого-нибудь крыжовника, то боже ты мой! Тут уж никогда не давали ему дозреть: только из цветов набухали кислые пупырышки ягоды, как ребята набрасывались на них, несмотря на все вопли и угрозы взрослых, как прожорливая саранча, и объедали кусты дочиста. И сколько маленьких хитростей бывало здесь: отломали нечаянно большую ветку у абрикоса, но тут же ее подвяжут, землей замажут древесную рану, уничтожат все внешние следы преступления – пади разгляди, найди!..

У детей, как и у взрослых, бывают свои суеверия, предрассудки, задушевные мечты, идеалы, незабываемые случаи в жизни, которые откладываются в памяти навсегда и потом вдруг выплывают с неожиданной яркостью, со всеми подробностями, вплоть до морщинки какого-нибудь лица, вплоть до освещенной вечерним

солнцем паутиновой нити, в страшные и трагические минуты жизни. Детский мир велик и разнообразен. Но он с каждым днем растет, и наивные глаза ребенка широко раскрыты, и с великой жадностью пожирают маленькие души цвета и звуки, краски и лучи, новые формы и предметы, забираясь в таинственные пещеры бытия и гуляя по солнечным его лугам и лесам.

У Коли был тоже свой маленький идеал, звезда жизни. Это была таинственная огненная бабочка. Она не значилась ни в каких атласах. Она не имела ни латинского, ни русского названия. Она была неведома энтомологам. Но она сосредоточивала для Коли все детские мечты. Она была Жар-Птицей, райской, недостижимой и вечно желанной, почти фантастической Синей Птицей Метерлинка. И самое удивительное в том, что Коля ее несколько раз видел. Однажды она вспорхнула совсем близко и, плавно паря на своих огненно-красных крыльях, вдруг взметнулась и скрылась, как таинственное видение, за черной дранкой крыши соседнего дома. Задыхаясь от волнения, Коля прибежал домой и как сумасшедший закричал:

– Папа! Папа! Я видел огненную бабочку!

И полились рассказы...

Но огненную бабочку так и не удалось поймать...

Зато были другие чудеса.

Раз Коля шарил по палисаднику глазами, подсматривал, не засели ли на дневной покой в тенистых скважинах дерева редкие ночные бабочки. И вдруг услышал незнакомый голос птицы: «Поп-рроу, по-ррроу». Он весь замер. Сердце колотилось. Перед глазами засияли разноцветные огненные круги. Что бы это могло быть? Блеснули серебряно-опаловые крылья. Они затрепетали в густой листве громадных белых акаций, как крылья серафима, таинственные и неизвестные. Сколько раз во снах видел Коля, как по синеве неба летят розовые фламинго, и трубные звуки чудесных валторн несутся из высокой голубой бездны... И внезапно что-то волшебное спустилось на своих крыльях наяву. И это совсем близко, где-то вот тут, рядом, и снова слышен этот странный звук... Коля, как лунатик, замороженный и зачарованный, точно в бреду, пробирается вдоль стены, осторожно ступая навстречу звуку... И вдруг... о Боже!, что-то затрепетало прямо перед глазами, что-то село на забор совсем рядом... Коля, дрожа, хватая голыми руками и, почти теряя сознание, бежит с добычей, не зная, что это такое. Но разве это не чудо? Все мысли путаются у него в голове, их тысячи. Какая это птица? Как это случилось? Ведь никто не поверит! Да не сон ли это? Коля хочет ущипнуть себя для проверки, да нельзя: обе руки заняты,

они вспотели и прилипли к нежным перышкам – никакая сила в мире не смогла бы отодрать этих сжатых ручонок от чудо-птицы!

Тайна быстро объяснилась: где-то, на другом конце города, у одного любителя-птичника вылетел египетский голубь, почти ручной, он-то и оказался в руках нашего мальчугана. Но воспоминание о пережитом, о сладком волнении сердца, о необычности происшествия осталось...

Однажды среди самой разнообразной добычи – медведок, черных полевых сверчков, носорогов и прочей твари – Коля притащил большую зеленую гусеницу с красивыми полосками и золотистым рогом сзади. Это была радость, понятная только немногим: ведь гусеница-то была гусеницей «мертвой головы», большой чудесной бабочки, с золотым черепом на спинке, единственной бабочки, которая издает звук, короля всех наших европейских бабочек! Сколько было разговоров, надежд, ожиданий! Ожиданий упорных и долгих: целых два года должна лежать куколка «мертвой головы», пока из нее не выпорхнет стройная сильная бабочка, грабитель пчелиных ульев, которая, как легендарный египетский вор, пробирается в пчелиную пирамиду, чтобы похищать сладкое сокровище пчелиного царства! Гусеницу кормили, как полагается, картофельными листьями, наложили в ящик земли, поместили со всеми удобствами. И вот там через несколько недель уже лежала коричневая, как вишневый клей, мощная куколка. Она вертелась, когда ее трогали неосторожные пальцы, но Коля делался настоящим зверенышем, когда видел, что какой-нибудь «дурак» или какая-нибудь «дура» обнаруживали излишнее любопытство и беспокоили его драгоценность. Ящичек с куколкой стоял, как серебряная рака с мощами святого в какой-нибудь лавре. Вообще Коля отвоевал часть стеклянной террасы, где был настоящий храм зоологии, священная скиния Завета, ключ от которой неизменно лежал у него в правом кармане штанов. Здесь только недоставало надписи: вход посторонним лицам воспрещается, Eingang verboten! Но все и без того знали великую Колину ревность о Господе и во избежание скандалов, слез, огорчений не подступались. А здесь чего только не было! Висели клетки с разными птицами собственного улова, западни. Стояли банки с тарантулами, которые перегрызали друг друга, причем от объедков их трупов шла ни с чем не сравнимая, отвратительно-тошнотворная вонь. В больших банках из-под варенья, сташенных в кухне, помещались в земле забавные медведки, которые делали свои замысловатые ходы, разгребая землю сильными передними лопатками-лапками, а по вечерам глухо трещали, как

птица козодой на весеннем току. Зеленые огромные кузнецы медленно ползали по оконным рамам и по цветам, шевеля мудро своими тонкими длинными усами, точно ощупывая мир, проверяя свои пути, что-то соображая... Весь этот зоологический сад непрерывно пополнялся. На дворе он имел свой филиал: тут стояли огромные ящики, в которых сидели кобчик-пустельга с подстреленным крылом; рядом – египетский голубь, сычи и прочая живность. Врагами были кошки. И дети Петровы ненавидели их и били нещадно, без всякой жалости: кошки были личными врагами. Иногда кобчик выскакивал из ящика и с завалившимся за спину крылом скакал по двору, насакивал почему-то на мирного красавца павлина, отчего тот в страхе метался, нося на спине странного ездока...

И вот в одно прекрасное утро Коля просыпается от криков: Коля! Коля! О ужас! О радость! О черт! О Боже! В коридоре стоит старуха нянька и держит в руках проткнутую иголкой, но живую... «мертвую голову»! Коля ринулся к куколке: дверь была открыта, куколка пуста, от нее остались лишь скорлупки... Хорошо, что пыльца не стерлась. Бабочку бережно спрятали, а ночью ее пришлось морить эфиром: она пищала, билась и долго не хотела умирать. Коля чуть не плакал. Но делать было нечего, иначе стерлась бы вся красота... на следующее утро мальчик выводил письмо в далекую Москву, бабушке:

«Дорогая бабушка! Приезжай к нам. У меня есть “мертвая голова”. Коля...»

Так проходило быстротекущее время. После целого дня, когда мальчики рыскали по всем закоулкам сада, после игр в казаки-разбойники, в «аршаки» (бараньи бабки), в салки утомленные дети сидели на ступеньках с Иван Егорычем, отцом или Катериной Ивановной. На ясном закатном небе отчетливо чернели громадные ореховые деревья. На сухом суку у самой макушки откуда-то вдруг появлялся сыч и кричал пронзительным криком: кук-вау! кук-вау! «Сычи в гаю перекликались», – проплывало в мозгу. Взошла луна, появлялись звезды. В доме зажигались огни. Любовь Ивановна мыла дробью бутылки – аппарат Сохлета, принадлежность подкармливания нового младенца. Об окна стучались большие жуки. Изнеможенные ребята укладывались спать и видели во сне огненную бабочку, небывалых птиц и чудовищно интересные книги, и тысячи других невинных глаз ласкали их души своими чарами...

Но, увы, мальчикам скоро суждено было вкусить плод с древа познания добра и зла, с того самого древа, на котором когда-то давно примостился библейский змий, так удачно искушавший невинную

праматерь нашу Еву. Этим змием оказался Ванька Нестеров, который однажды посвятил детей со всеми подробностями в тайну рода человеческого. Володя воспринял это равнодушно. Но Коля пришел прямо в бешенство. Он долго отстаивал позицию, что, может быть, это происходит так у других, но чтоб его папа и его мама занимались чем-либо подобным – так это пускай другие верят: он-то знает, что это

невозможно. Между тем червь сомнения глодал и грыз его душу. Одно время он хотел поставить перед родителями вопрос в упор, но не решился. Потом он стал вспоминать, как мать весьма неудачно объясняла ему на уроках Священной Истории, что, в сущности, означает заповедь: «не сотвори прелюбы» и что за чушь сказана в Писании о муже, где ему говорится: да прилепится к жене своей и да будут два, плоть едина. Слова он знал прекрасно, но никогда не понимал их сокровенного смысла. Не раскрывается ли этот смысл, страшный и грязный, в объяснениях Ваньки Нестерова? И почему, если Ванька утверждает, что он сам видел все эти пакости у себя в семье, говорит про своего собственного отца и собственную мать, почему, в самом деле, это не так? К тому же и собаки, например, скрещиваются. Ведь вот наша Белка... Недоумения и подозрения росли как снежный ком. Коля насторожился. А тут еще произошла такая замечательная в своем роде сцена. Поздний вечер. Двери в спальню родителей открыты. В комнатке рядом лежат Коля и Володя. Им не спится. В их мозгу шевелятся сотни мыслей и образов. Они толкуются в голове, как рой комаров тихим летним вечером. Тишина. И вдруг среди этой тишины раздается голосок Володи:

– А знаешь, папа, Ванька Нестеров нам говорил, что Степан любит с девками...

– Не любит, а юбается, – поправляет Коля и с содроганием ждет ответа: вопрос поставлен ребром.

В спальне у родителей – мертвая тишина. Потом слышен едва уловимый шепот...

Ага! – думает Коля – теперь вы, голубчики, попались. Значит, это все правда! Значит, и вы этим занимаетесь! Значит, вы нас все время обманывали. Ну что ж! Буду я вам теперь верить, ждите!

И Коля взял всех взрослых на мушку подозрительности. Он следил за ними. Он подозревал их, даже когда не было ничего подозрительного.

Однажды мать его проронила *en passant*, обращаясь к мужу:

– А знаешь, Ваня, на днях будет юбилей тети Сони...

– Правда?

– Ну да... Во вторник.

– Мама, а что такое юбилей?

Любовь Ивановна почему-то пропустила мимо ушей Колин вопрос.

«Ага! Знаем, что это такое», – решил мальчик.

Другой раз Любовь Ивановна попала под еще более тяжкое подозрение. Она умывалась и чистила зубы. Коля подглядел, что у нее из десен потекла кровь: зубная щетка слегка окровавилась.

– Мама, отчего это у тебя кровь на щетке? Мать промолчала.

«Ага! – решил Коля: знаем мы вас! Конечно, потечет кровь, если вы...»

Коля тогда, разумеется, и не слышал о Фрейде. Но он стал усердно строить целые теории, самые фантастические, в духе тех детских сексуальных теорий, о которых столь подробно сообщал миру модный автор психоанализа... Во всяком случае, доверие ко всем взрослым, включая родителей, было принципиально подорвано раз и навсегда. Более того, на родителей Коля был в особенно большой обиде, ибо они, его любимые, которым он во всем верил, они обманули его так подло, так бессовестно. Оскорбление за них и разочарование в них переживалось с особой болью, с надрывом, который прятался на самое глубокое дно души. Коля не понимал, как его товарищи – Ванька, Володька Соседский, Левка и другие – могли ко всему этому относиться равнодушно, даже со смехом. Он лишь впоследствии сам почувствовал интерес к этим вещам и с любопытством начал слушать рассказы на эти темы, рассказы отнюдь не отличавшиеся ни целомудрием, ни равнодушием. Они постепенно затягивали его в этот совсем особый мир. Он уже перестал драться, когда мальчишки дразнили его скабрзными песенками, вроде:

Коля, Коля, Николай, Завел девочку в сарай, Тыкал, тыкал, не попал, Даром гривенник пропал, – и тому подобными произведениями изустного озорного мальчишеского предания. Он стал избегать всякого общения с «девчонками». В нем он видел нечто стыдное и позорное. Он перестал смотреть на них просто. Его душа была отравлена этим уличным сексуальным просвещением. Но все это, все вопросы, сомнения, интересы, догадки, теории он носил в глубокой тайне ото всех. Он застегнул свою душу в этой области на все пуговицы и с какой-то звериной хитростью обходил любой намек со стороны взрослых. Иногда все это представлялось ему диким кошмаром, сном. Он вспоминал Москву, вспоминал Маню, вспоминал, как он гулял с нею, какие чистые, простые и хорошие

были тогда отношения. Что подумала бы Маня, если бы она знала, что он, Коля, сейчас носит в своей душе? Милая, дорогая Маня! Где ты? Как было хорошо тогда... И перед Колей стояли печальные, милые глаза его детской подруги...

Служебная карьера Ивана Антоныча была сера, тупа и уныла; она вообще подходила ему, как корове седло, а специфическая обстановка далекой окраины, гнилой и затхлый мир провинциального чиновничества был ему не по нутру; его часто воротило от всех этих физиономий, интриг, подножек, взяточничества, глупости и хитрости, подобострастия, улыбочек и реверансов. Он никак не мог проникнуться той обывательской премудростью, которая отложилась в поговорке: с волками жить – по волчьему выть. По роду службы ему нужно было следить за налогами и податями, за торговыми документами и свидетельствами, составлять отчеты в Казенную палату, привлекать к ответственности. При его совершенной бездарности как администратора, при его мягком характере и человеческой общительности не представляло труда обвести его вокруг пальца. Этого он боялся как огня и нередко становился в позу строгости и непреклонности. Но она, эта поза, быстро таяла, как дым. Его честность и прямота скоро стали известны всем. Взятки ему никто и не предлагал – не решались. Чиновники над ним между собой подтрунивали, считая его чем-то вроде юродивого или просто дурака. Впрочем, на последнюю формулировку не шли из внутреннего почтения к Москве и к университетскому образованию: для этих людей Москва была грозной силой, а университетский диплом – чем-то вроде служебного чина или ордена, внушающего невольное почтение. Задевать Ивана Антоныча публично – в клубе, в гостях – не решались: насмешливый язычок Ивана Антоныча был уже прославлен и состязаться на этой почве с ним было опасно: неровен час он что-либо такое налепит, чего не отмоешь потом никаким одеколоном. Поэтому с ним осторожничали, водили компанию с известной приглядкой.

По делам к Ивану Антонычу периодически приходили так называемые торговые депутаты, ходатаи торговли, заступники за владельцев опечатанных лавок и магазинов, представители интересов торгового сословия. Приходили обычно вместе: Рафуль, старик еврей, с ортодоксальными пейсами, большой, нечесаной, седой и жидкой бородой; его красные, вечно слезящиеся глаза с развороченными и пораженными трахомой веками гноились; на худых руках выступали вздутые синие жилы; тощее тело в засаленном лапсердаке всегда точно дрожало от слабости и старческой немощи; скрипучий голос,

казалось, знал только одни ноты: ноты жалости и мольбы; но это в значительной степени была выработанная десятилетиями поза смирения перед чиновничьим вороньем: на еврейской улице Рафуль считался «а хохем», мужем совета, авторитетом, к голосу которого прислушивались даже очень богатые евреи, отдававшие долг жизненному опыту, выдержке и вкрадчивому уму тщедушного на вид несчастного старика. Вместе с Рафулем приходил обычно Шнеерсон, плотный, с пораженным сифилисом, почти совсем провалившимся носом, от которого остались только какие-то розоватые дырявые бугры, точно завязанные в один страшный узел; все лицо его было покрыто сеткой мелких красных жилок; он беспрестанно сморкался, распространяя зловонный запах, исходивший из больной носоглотки, запах, который не мог перебить даже чеснок; Шнеерсон выступал всегда гораздо более уверенно и твердо, не лазил за словом в карман и не имел того пришибленного вида, который был у Рафуля; однако этот квадратный и самоуверенный человек отнюдь не пользовался среди своих такой славой, как тихий Рафуль; приходил также и Пинхензон, одетый по-еврейски в пиджак, с воротничком и галстуком, но он обычно ограничивался одними репликами.

Особо держался русский торговец, Рябинин. Лицом он был похож на протопопа Аввакума или Никиту Пустосвята: хищный нос; пронизывающие холодные, какие-то желтые глаза, которые смотрели не мигая в лицо собеседника; рябое, почти испитое, аскетическое лицо; тощие руки с узловатыми длинными пальцами, напоминавшими загребущие крючья; тихая походка, как у Святослава, который пробирался «легко ходяй аки пардус», неслышною стопой; длинный кафтан старорусского покроя, какой был любезен сердцу раскольников – да Рябинин и был из тех раскольников, которые умели обделывать торговые делишки и у которых добродетели древнего благочестия были выражением торгового скопидомства, стяжательства и накопления, как у благочестивых протестантов Западной Европы или героев московского Рогожского кладбища, центра раскольнического торгового капитализма. Рябинин разыгрывал русскую фракцию среди торговых депутатов: он нередко приходил вместе со своими еврейскими коллегами, но держался как особь статья; он любил приходиться один, с заднего крыльца, демонстрируя свое особое положение: просим, мол, не смешивать с теми, с «жидками»...

Иван Антоныч был, вероятно, единственным из русских чиновников в Бельцах, который разговаривал с еврейскими

представителями по-человечески и не выказывал никакого предпочтения русской фракции. В семье Ивана Антоныча не было совершенно того отвратительного националистического жаргона, который во всех падежах склонял «жидов», «жидовок» и «жиденят». И уже одно это обстоятельство создало вокруг Ивана Антоныча особую атмосферу. «Этот мирволит жидам», «жидовский подголосок», – говорилось за его спиной. А в его присутствии делались снисходительные улыбочки: знаем, мол, вашу слабость, но что ж тут поделаешь! Он рассматривался как человек ущербный, неполноценный с точки зрения той патриотической полноценности, которая честь и славу Государства Российского видела в попирании ногами всех «инородцев». Впрочем, до такой абстрактной высоты чиновничьи души и не подымались. Здесь все было гораздо проще, элементарнее, грубее. Подобострастные по отношению к начальству, они могли себя чувствовать полными господами положения больше всего по отношению к «инородцам» и наслаждались этим положением. А по отношению к евреям у них была *carte blanche*; евреи были вещью, отданной им на поток и разграбление, как собственность по определению римского права: *fus entendi et abuten*.

Еврея можно было таскать за бороду; его можно было побить; его можно было оскорблять и издеваться над ним; с него можно было брать взятки – и все это сходило с рук. В случае чего к услугам нашлось бы сколько угодно свидетелей, которые под присягой покажут, что «жид» кругом не прав: ведь недаром же жида Христа распяли...

Интересы здесь были мелкие, прозаические, вонючие. В мире могли происходить какие угодно события, могли рушиться царства, слетать короны, могли делаться великие научные открытия, совершаться героические поступки. Все это шло бы мимо зеленого картежного стола – фокуса, где перекрещивались идеалы, чаяния, задушевные мечты и вожеления провинциального чиновничьего мирка: «перекинуться в картишки», «повинтить», «пропустить рюмашечку», «выпивон с закусоном», «кока с соком» исчерпывали почти все материальные и духовные запросы и потребности. Верхушку белецкого чиновничества составляли именно такие персонажи. В первых рядах ходил воинский начальник Петушков. Маленький, пузатенький, затянутый в мундир, который, несмотря на все усилия и ухищрения портного, не мог скрыть телесной комичности его фигуры, Петушков до смешного напоминал крыловскую лягушку, увидевшую вола. Ходил ли он, сидел ли за

карточным столом, командовал ли солдатами или гулял по бульвару под руку с женой, был ли он трезв, пьян или навеселе, – все равно он пыжился, пыхтел, надувался, делал важное лицо, отчего только краснела его апоплексическая шея, жирные складки которой багровели, как хороший украинский бурак. К тому же у него был тоненький писклявый голос, с резкой хрипотцой, звук которого был настолько же неприятен, как звук, который получается, когда озорник мальчишка вилкой царапает по стеклу. Это брюшко на коротеньких ножках, затянутое в мундир, с шашкой сбоку, с красненькой головкой, злыми серыми глазками, чванное и надутое, казалось, видело суть мироздания в «макао» и «коньячке да, знаете, с лимончиком». Его жена была раза в полтора выше воинственного героя. Ее телеса, ее необъятные округлые формы в любой точке могучего корпуса пружинили несчастную оболочку одежды, которая, казалось, стонала под напором необузданно раздувавшейся плоти. Когда Петушков важно прогуливался со своей половиной под руку по аллеям жалкого бульварчика, усаженного ясенями и розовой акацией, то он казался обмундированной подробностью туалета своей величественной дамы, шествовавшей, как плодоносящая Кибела, фригийская мать богов, с чреслами и ложеснами, одни размеры которых говорили о высшей породе. Впрочем, как раз почтенное семейство не имело детей, уж неизвестно, по чьей вине. Петушков был особенно близок с полковником Коршуновым, пьяницей, драчуном, любившим рукоприкладство. Этот Коршунов бил не только «жидов», но и солдат «по морде» и слыл отчаянным матершинником. На учениях, которые происходили в поле, за городом, его громкая, гремящая матерная ругань доносилась даже до дома Станевичей. Его опасались в обществе, где были дамы. Он же явно находил в своей бретерско-варварской грубости нечто оригинальное, что выделяло его из общей посредственности, и бравировал своим необузданным солдафонством, носясь с ним как с писаной торбой. Росту он был большого, лицо его было точно вырублено топором, напоминая древних деревянных идолов; посреди лица возвышался мясистый красно-лиловый нос; брови торчали густыми растрепанными перьями; седеющие рыжие усы прикрывали нечистый рот, откуда постоянно несло винным перегаром и табаком. На своего маленького карапуза-приятеля Коршунов смотрел полупрезрительно-полупокровительственно. Зато перед его супругой млеял, галантно шаркал ножкой, звенел шпорами и ловко прикладывался к ручке, получая в ответ неизменный поцелуй в

стриженный густой, как ламповая щетка, короткий бобр. Коршунов, постоянный посетитель публичного дома и прославленный дебошир, мыслил о женщинах вообще в самой обычной терминологии, где его полковничье достоинство трогательно сходилась с соответствующими мыслями его денщика Ивана. И, взирая на madame Петушкову, Коршунов неизменно думал:

«Ада... Вот это так курочка у петушка... Дда... бабочка в соку... Есть за что подержаться...»

Дальше этих «в соку» и «подержаться» его фантазия не шла. Но из этого отнюдь нельзя было бы сделать заключения, что господин полковник не шел дальше целования ручки. Он никак не мог быть сопричислен к натурам платоническим и анемичным романтикам прекраснодушного типа: он, как военный, привык брать крепости штурмом и в этом преуспевал, тем более что в курином провинциальном царстве выбор петухов был не очень велик. Во всяком случае, по мерке Коршунов подходил madame Петушковой в гораздо большей степени, чем ее законный микросупруг.

– Базиль! А, Базиль! – обращалась madame к этому супругу.

– Что, дуся?

– Почему это давно полковника не видно?

– Да я его сегодня в клубе видал.

– Базиль!

– Что, деточка?

– Хоть бы ты гостей позвал. Ты все в клубе да в клубе. А я...

– Да кого звать-то?

– Да всех...

– Кого всех-то?

– Ну, Коршунова.

– Ммм... Хорошо. Еще?

– Хинкулова... Да кого знаешь, тех и зови...

– На завтра?

– Ну, хоть на завтра. А то ску-у-ука кака-а-ая! Ох, Боже ты мой!

– Ладно, а ты похлопочи там насчет карт, балычку, коньячку и прочего. Ты у меня на этот счет искусница.

Вечером в клубе Петушков подходит к Коршунову, который без мундира, перепачканный мелом, с кием в руке чуть ли не лежит всем своим огромным телом на бильярдном столе. Он откинул одну ногу кверху и норовит сделать дуплет в середину. Языком он еще владеет, но далеко не так, как Цицерон. Что касается твердости руки, то систематическое мазанье, которое приводит его в ярость и исторгает

неслыханные проклятия, говорит об изрядной перегруженности полковника горячительными напитками.

– Здравствуйте, полковник...

– Ммм... Честь имею... Подождите... Я сейчас... Дуплет в середину!.. Ах, черт! Опять мимо! Это вы тут под руку говорите... Василь Семеныч... Какого черта?..

– Да помилуйте, полковник! Я к вам, собственно, от жены...

– К вашим услугам!

– Она, право, без вас жить не может...

– Да будет вам, Василий Семеныч...

Коршунов явно смущен. Он даже опасается подвоха: не предстоит ли засим серьезный разговор, да еще с последствиями... «Впрочем, чем черт не шутит? Все – трын-трава... Пусть неудачник пла-а-ачет. Откуда это? – думает Коршунов. – Ах, да! Из какой-то оперы... три карты... три карты...»

Но серьезного разговора так и не последовало.

– Жена вас просит быть у нас завтра.

– С удовольствием.

– Знаете, перекинемся в картишки. Выпьем, закусим. Все как-то лучше. А то я, знаете, совсем забросил жену...

– Да, это большой грех с вашей стороны, – говорит Коршунов, вдруг почему-то быстро трезвея и надевая мундир, – большой грех, Василий Семеныч. Этакое счастье вам Господь Бог дал, а вы...

– Ну, ну! Это вы уже жене комплименты – ха-ха-ха! – говорите, а не мне, полковник. Так как передать, будете?

– Прошу благодарить. Обязательно буду.

– Честь имею кланяться!

– Честь имею...

Коршунов выходит из клуба, насвистывая:

Очи черные, очи ясные, Очи дивные и прекрасные, Как люблю я вас, Как любил я вас, Знать, в недобрый час Полюбил я вас...

Он доволен жизнью, собой, картами, женой Петушкова, самим Петушковым, клубом, Бельцами, всем на свете. Он предвкушает возобновление отношений с величественной madame, которая, очевидно, так трогательно по нему стосковалась. «Еще бы, – думает он, – где этому сопляку... ведь ему нужно лестницу пожарную подставлять...»

И внезапно поворачиваясь, в предвкушении завтрашних блаженств сегодня он идет в веселое заведение бандерши Софьи Абрамовны...

Таков был неунывающий представитель христоролюбивого воинства Коршунов. Был еще в Бельцах лихой и красивый казачий офицер по фамилии Кутулов. Чернобровый молодой весельчак, прекрасный танцор, Кутулов пил, буянил и дебоширничал, хотя в глубине души не отличался ни холодной и расчетливо-чванной низостью Петушкова, ни грубо-солдафонским цинизмом Коршунова. В нем были даже неплохие задатки. Но они потонули давно в омуте черной, пьяной, бездельной жизни. Проигравшись однажды в пух и прах, Кутулов очутился вдруг неожиданно для себя на краю пропасти: ему нечем было платить карточных долгов. Его офицерская честь, честь мундира, полка и прочее были почти поставлены на осмеяние и поругание. Он было уже готовился покончить счеты с жизнью, не раз, поглаживая холодное дуло револьвера, прикладывался к нему губами и, безусловно, отошел бы в небытие, если бы так же неожиданно не нашел другого выхода: он женился. Женился на очень богатой и аристократической даме, из тех, про которых говорят, что они «сохранили следы былой красоты», а по сути дела, женился на деньгах. Совесть его почти не мучила: не заплатить в срок карточного долга своему собутельнику – это было высшим преступлением, продать себя, свое тело за деньги, если эта продажа освящена святою церковью и налицо есть брачное свидетельство, предосудительным не считалось. «Ну и дура», – говорили одни. «Ну и молодец», – говорили другие...

Однако дело было здесь посложнее, чем думали и судачили. Екатерина Агафовна, жена Кутулова, была личностью гораздо более высокого типа, чем все городские дамы, жены своих мужей и любовницы своих любовников. Она в молодости была очень красива. От этой красоты остались огромные черные глаза, которые утратили свое былое сияние и устали; остались соболями брови, точеный изящный нос, прекрасная фигура. Но все пожелтело, увяло, заглохло, ибо – увь! – Екатерине Агафовне уже перевалило за сорок. Она была образованна, начитанна, прекрасно играла на рояле. У нее был хороший вкус, в полную противоположность мещанской безвкусице белецких дам. Одевалась она с изысканной простотой. Все interior еe стоявшего на отлете дома отличались благородной, но дорогой скромностью: ничто не кричало, нигде не было аляповатой наглости богачей, во всем была видна продуманная изящность. Сам Кутулов понимал, что его жена на две головы выше него. Он видел, что она его без ума любила, всей любовью женщины, которая уже стоит одной ногой в старости, последней тревожной и пламенной любовью. Но –

увы! – она была стара. Она была стара. И как ни вертелся Кутулов, заставить себя быть действительным мужем Екатерины Агафовны он не мог. А та проводила ночи в плаче, сидела днем с опущенными тяжелыми шторами, ревновала и мучилась, мучилась и ревновала. Иногда Кутулов, которому ни с какой стороны не подходил венец мученика, убегал из дому и предавался дикому беспутству и кутежам, возвращаясь домой опустившимся, полубольным, оборванным, чуть ли не в синяках. Однажды в клубе он так зарвался, что чуть было не налез на бессмысленную дуэль: его выручил случайно бывший здесь Петров, который привез к себе Кутулова, впавшего почти в беспамятство: трое суток отсыпался Кутулов у Петровых, пока не опомнился от состояния универсальной физической и нравственной очумелости. Чтобы поделикатнее возвратить его в родные пенаты, Петров, отвозя Кутулова к Екатерине Агафоновне, которая была своевременно осведомлена о местопребывании своего беспутного супруга, захватил с собою Колю: так легче было избежать сердцещипательных разговоров, расспросов и возможных сцен, до которых Иван Антоныч был вообще весьма малый охотник. Колю поразила и вся обстановка Кутуловых, и Екатерина Агафоновна, с ее неизбывной печалью в глазах. Воздух в гостиной был пропитан каким-то тонким ароматом, нежным и чистым. Но Коле почему-то казалось, что пахнет похоронами, а глядя на Екатерину Агафоновну, он вспомнил картину Крамского «Неутешное горе», которую он хорошо знал по репродукциям... Кутулов через несколько лет кончил самоубийством...

Доктора Хинкулова, одного из светил в созвездии белецкого чиновничества, в присутствии дам звали «дамским доктором», в мужской компании – «общественным жеребцом». Отличаясь, говоря щедринским языком, гвардейской работоспособностью, он действительно пользовался огромным успехом у скучающих представительниц прекрасного пола; отсутствие эполет здесь заменялось вещами более существенными. Это был рослый, упитанный, розовый мужчина неизвестного этнического происхождения: не то армянин, не то тамбовец, не то из греков. Себя он считал русским и демонстративно ходил по большим праздникам, и в особенности по царским дням, в церковь. Черты лица у него были крупные и выразительные. Особенно выразителен был нос, большой, мясистый, отличный объект носологии. Глаза у него были живые, черные, как маслины; но они не были подернуты восточной томностью и негой, а скорее напоминали суетливых черных

тараканов, которые бегали во все стороны. Голос его был подобен трубе архангела. Водки он мог выпить сколько угодно и никогда при этом не хмелел. К «жидам» относился с суеверным презрением, но лечить богатых евреев любил, ибо получал изрядный куш; не брезговал также и утехами с хорошенькими еврейками, о чем потом бесстыдно распространялся в компании так называемых «кобелей»; о своих похождениях с русскими Дамами он предпочитал помалкивать.

Вокруг этих светил вращались их сателлиты, созданные часто по их образу и подобию, хотя, разумеется, у каждого были и свои индивидуальные черты; лишь совсем мелкая сошка чиновничьего мира была настолько безлична, что терялось индивидуальное отличие. Впрочем, все на свете относительно – гласит известный трюизм, и можно находить всюду и во всем и отличительные черты, и так называемую искру божью. Только масштабы нужно переменить – вот и все.

Но возвратимся к нашим героям. Здесь мы найдем почтенного чиновника акцизного ведомства, Доливо-Добровольского, с огромной веерообразной седой бородой, жиденькими волосенками, расчесанными на прямой пробор, и дико выпученными, точно при базедовой болезни, глазами. Он удивительно напоминал большую зеленую лягушку, что особенно поражало детей Петровых, поражало настолько, что однажды маленький Володя, движимый каким-то страстным желанием проникнуть в лягушину субстанцию этого странного дяди, неожиданно выпалил, прямо глядя ему в глаза:

– А Коля говорит, что вы – большая лягушка... Настоящая...

На что воспоследовало гробовое молчание и недоуменное похлопывание веками. Коля ринулся в детскую, точно сорвавшись с цепи, а затем побежал к матери докладывать о всей бестактности своего братца. Гость, впрочем, не придавал инциденту никакого значения. Его особенностью была важность, символически заключающаяся в его бороде. Когда он подносил рюмку водки ко рту, то это было священнодействие. Когда кусок балыка отправлялся туда же, то это делалось с такой важной медлительностью, что придавало самому обыкновенному акту внутренний смысл. Так же важно он ходил, сидел, брал в руки колоду карт, записывал мелком проигрыш, разыскивал в углу передней свою трость, надевал шляпу или пелерину; все делалось с чувством, с толком, с расстановкой, не как у обыкновенных смертных. Его сослуживец, Михайлов, был полной противоположностью этой напускной и театральной степенности; рубаха-парень, не дурак выпить и просидеть три ночи подряд за

карточным столом; человек без всяких сдерживающих центров; ему море было по колено; но нужно отдать ему справедливость – именно он не брал взяток и не издевался над людьми; его беспутный «либерализм» простирался даже настолько далеко, что он открыто жил со своей «незаконной» женой и имел от нее славную дочурку, о чем с брезгливыми минами шептались между собой белецкие дамы. Хитрый казначей и елейный батюшка, часами говоривший о добродетелях отца Иоанна Кронштадтского, дополняли букет чиновничье-штатского, военного и духовного мирка города Бельцы anno Domini 189..., букет, куда входили и начальник острога, разводивший турманов, и косноязычный заведующий училищем, и многочисленные чиновники рангом помельче: секретари, столоначальники, писари и прочая бюрократическая мошकारа, которая заползала в глаза, уши, ноздри, руки опекаемого, распекаемого, обираемого населения.

Иван Антоныч должен был так или иначе поддерживать отношения со всеми этими людьми. И не только потому, что по его служебному положению ему приходилось неизбежно и помимо его воли и желания вращаться в этой сети объективно сложившихся отношений, но и потому, что сам он по своей натуре никак не мог быть ни гранитно-твердой фигурой, ни байроновским Чайльд-Гарольдом, ни буддийским анахоретом. Наоборот, даже в минуту горестей душевных – а у кого их не бывает? – Иван Антоныч стремился быть среди людей, на людях, чтобы в человеческой толчее забыться и обрести какие-то добавочные импульсы к жизни. Он предпочитал скорее бежать от горя, чем копаться в нем и «переживать». Люди вообще в этом отношении очень похожи на собак. Собаки делятся на две категории: одни из них, когда им занеможет, идут в стаю; другие – улепетывают в одиночестве в лес, лижут и едят там какие-то одним им известные травинки и потом, похуевшие и исцеленные, возвращаются ко двору. Иван Антоныч походил на собак первой категории. Он буквально не мог жить без людей. А так как других людей не было (то есть не было среди того круга, в котором ему приходилось вращаться), то он все более и более втягивался в эту глуповатую жизнь, глуповатое филистерское веселье выпивок, закусок, карт, приводя свою жену в состояние недоуменной тревоги.

- Любочка, завтра у нас будут гости... Так ты...
- Ваня, помилуй! Ведь только третьего дня были...
- Ну, знаешь, неудобно было отказать...

Это «неудобно» играло в жизни Иван Антоныча исключительно важную роль. Русские «авось», «небось», «как-нибудь» на той высоте культурного развития, на которой стоял Иван Антоныч, превращались в «неудобно». Ему «неудобно» было сделать выговор провинившемуся подчиненному. Ему «неудобно» было обрезать наглеца; «неудобно» было не пойти на какую-либо выпивку, на которую его звали; «неудобно» было не выпить энную рюмку водки или не принять участия в карточной игре; «неудобно» было отказать в приеме гостей, если они к нему напрашивались. Словом, «неудобно» превратилось для него в категоричный императив поведения в довольно широкой сфере жизни, и эта сфера имела тенденцию все расти и расти.

– Послушай, ведь у нас нет ничего...

– Это уж ты, Любочка, сооруди. Ведь неудобно...

– Да и денег нет у меня.

– Это пустяки, я займу...

– Ваня!

– Ну уж, пожалуйста, сооруди все получше. Коньячку, балычка, икорки, грибков, винца и прочего...

– Ты опять за свое? Ну куда нам это все? К чему? Ведь ты втягиваешься в здешнюю жизнь. А сам говорил?..

– Оставь это, Люба. Ну как я им скажу? Сама понимаешь: неудобно...

И Иван Антоныч составлял список всех яств и питий, закусок и заедок, жарких и заливных, водок, вин и наливок, всего, чем красна была эта, с позволения сказать, жизнь. Как ни странно, ему стало доставлять своеобразное удовольствие блеснуть перед гостями разнообразием всех этих закусонов-выпивонов; ему стала нравиться роль гостеприимного хозяина, и он предпочитал уже неделю сидеть за скудными обедами, лишь бы угостить гостей, которых он в глубине души нимало не уважал и уважать не мог. Но когда они были здесь, ели, пили, играли в карты, прославляли его гостеприимство, он искренне думал, что все это прекрасные люди, друзья-приятели; в этот момент он совсем позабывал, что, выйдя за дверь, все эти друзья-приятели тут же начнут сплетничать о нем, судачить и злословить, снова и снова называть его жидовским подголоском и юродивым; что они глупы, тупы, хитры и нечистоплотны. На него находило облако радушно-полупьяных иллюзий, и он не без удовольствия плывал в этом воздушном облаке. Даже дети не могли не замечать этой перемены и возраставшей тревоги матери, которая, тактично играя роль приветливой хозяйки, всегда после пиршества впадала в мрачную задумчивость, а иногда и плакала, видя, как ее любимый

Ванечка, не особенно выносливый на спиртное, блюет ветчиной в медный таз и пластом лежит с головной болью на постели, стена и клянясь, что это было «в последний раз». Дети даже выдумали сатирическую формулу, гласившую: «Мама – гордая дворянка, папа – русский хлебосол», – формулу, над которой сам Иван Антоныч искренне смеялся в порывах самокритики. Но как он ни клялся о «последнем разе», последний раз всегда оказывался только предпоследним по отношению к своему последующему.

В городе ждали какого-то ревизора из Кишинева. Сие лицо вскоре приехало и остановилось как раз в доме Станевичей, где жили Петровы: комнату рекомендовал Павел Иванович Станевич, живший в губернском городе. Приехавший – Василий Иванович Княжнин – выступал гордо и величественно; его осанка была проявлением той квалифицированной важности, которая так отличает седых сенаторов и заслуженных ливрейных лакеев. У него была величаява постурь, округлые жесты, преисполненные достоинства. Лицо, серое, бледное, припудренное, было точно матовая каменная маска или предсмертная *facies Nurocratica*; по обеим сторонам этой каменной маски развевались тщательно расчесанные седые бакенбарды а-ля Алек-сандр Второй, со столь же тщательно пробритым подбородком в середине. Водянистые глаза выражали равнодушное презрение и презрительное равнодушие. Но ко всему этому Василий Иванович играл на флейте, чем страстно увлекался каждое утро, и с еще большей страстностью играл в винт.

Три дня и три ночи подряд шла дикая карточная игра. Василий Иванович даже не успевал позабавиться флейтой. В комнатах стоял дым коромыслом: всюду бутылки, недопитые рюмки, окурки папирос, огрызки сигар, пустые и полупустые коробки от сардинок, куски лимонов, бумажки, мелки, карты. По утрам воздух делался настолько душливым, что приходилось почти насильно выводить гостей, точно приросших к карточному столу, и проветривать комнаты; пошатываясь, почтенные джентльмены выходили как ошалелые на двор, отправляли, дрожа от утреннего холода и глядя на побледневшее небо и еле мерцающие звезды, свои естественные потребности и снова шли отравлять себя, других, воздух коньяком, табаком, карточным азартом. Скоро снова все синело, и в табачном океане виднелись лишь смутные человекообразные очертания да слышались короткие выкрики:

- Большой шлем.
- Два без козырей...
- Послушайте, а коронка?
- Пас.

– Еще коньячку! Ну, одну рюмочку...

– Я не мо-о-огу... Ик... Иик... Пым... аа... ете... не-е... м-м-моогу...

Улитые вином скатерти, пепел, грязь, следы рвоты, универсальное свинство – все это убирать, отмывать, чистить – доставалось на долю женской половины...

Тем и кончилась ревизия Василия Ивановича. С подпухшим лицом, синими шишками под глазами, ставшими совсем стеклянными, как у заснувшего налима, Василий Иванович, с сознанием исполненного долга и с некоторым выигрышем в кармане, отправился в Кишинев докладывать по начальству о том, что в вверенной ему области все обстоит как нельзя лучше; только вот Петров, кажется, слишком мирволит жидам, так утверждает глас народа, а глас народа, известно, и глас божий. «Cheque sot trouve toujours in plus sot qui l'admir» (каждый дурак находит всегда еще большего дурака, который перед ним преклоняется) – гласит старая французская поговорка. Василий Иванович был дураком образцовым, штемпелеванным, девяносто шестой пробы, и белецкие, еще большие дураки, имели поэтому все основания ходить перед ним на задних лапках и засматривать подобострастно в его бессмысленные и ничего не выражавшие тусклые глаза. Таким образом, обе стороны оказались весьма довольны друг другом: и тот, перед кем преклонялись, и те, кто преклонялся. В дураках другого рода очутился «русский хлебосол», гостеприимный Иван Антоныч, наивный чудака, который в губернском граде Кишиневе был изображен «милым» Василием Ивановичем как единственное пятно на блистательном белецком солнце.

Сам Иван Антоныч отнюдь не подозревал такого итога. Впрочем, дня три он болел от культурного времяпрепровождения, лежал с мокрым полотенцем на голове, пил масло из-под сардинок, стонал и стонал, проклиная всех и вся на свете, пока не отошел наконец и не стал на ноги.

Так окончилась губернская ревизия.

Служебные дела Ивана Антоныча шли ни шатко ни валко. Усердия к ним он не чувствовал никакого. В определенные сроки нужно было составлять отчет, и его составление обычно откладывалось, елико возможно, до самых последних дней. Зато уж в эти дни все ставилось на ноги. Половину работы проделывала Любовь Ивановна, в то время как Иван Антоныч беспокойно ходил и в недоумении разводил руками, предаваясь устным горестным размышлениям на ту тему, что он совершенно не понимает, как это осталось так мало времени. В

подмогу, для переписки, появлялся «секретарь», Дзюб, испитой юноша с огромнейшим кадыком на необычайно тонкой шее, весь покрытый розовыми, красными и желтыми прыщами, известными под именем boutons d'amour. Перья скрипели вовсю, и отчет все-таки выходил к сроку, к немалой радости Ивана Антоныча.

Быть может, процесс этого коллективного писания навел и Колю на мысль сделаться писателем, но не отчетов, а интересных книг. Он в это время читал самые разнообразные вещи: Брет Гарт и Короленко, Диккенс и Лев Толстой, Кот-Мурлыка и книжки «Посредника» об Эпиктете, Марке Аврелии, Сахья-Муни; Евангелие и эротические стихотворения Мирры Лохвицкой, Гейне и Гаршин – все это пожиралось мальчиком, как слоеный пирог с самой разнообразной начинкой. Но Коля теперь, после уроков сексуального просвещения, после того как лживость взрослых выросла для него в крупнейший факт, в один из принципов жизни, ни о чем почти не спрашивал: он хотел теперь доходить до всего своим умом, ибо ни в какие объяснения родителей он уже не верил. «Единожды солгавши – кто тебе поверит» – как говорится у незабвенного пиита и директора Пробирной Палатки Козьмы Пруткова...

В числе разнообразных произведений печатного станка у Петровых был сборник «Жемчужины русской поэзии». Из всех стихотворений сборника самыми любимыми у Коли были лермонтовский перевод «Uber alien Gipfeln ist Ruh» Гёте («Горные вершины спят во тьме ночной») и «Суд над Ианном Гусом» Майкова. Коля десятки раз перечитывал и повторял наизусть:

На соборе на Костанцком
Богословы заседали.
Осудив Иоанна Гуса³,
Казнь ему изобретали.
В длинной речи доктор черный,
Разобрав все истязанья,
Предлагал ему соборне
Присудить колесованье:
Сердце, зла источник, кинуть
На съеденье псам поганым,
А язык, как зла орудье,
Дать склевать нечистым вранам.

³ Ян Гус (1371–1415) – национальный герой чешского народа, идеолог чешской Реформации. Осужден в Констанце и сожжен. – *Прим. ред.*

И «Маленький Робинзон» проникался смутной ненавистью к богословам, хорошенько не понимая, за что, в сущности, они предавали столь лютой казни Иоанна Гуса. Но ирония по отношению к богословам делала очевидным, что богословы – дрянь. А разве не богословы осудили Христа и мучили его вместе с римскими солдатами? Говорят, «жиды». А разве Христос сам не был евреем? Разве дева Мария не была еврейкой? Разве в Евангелии не сказано, что Христос будет из рода Давидова; а ведь Давид был еврейский царь. И вся Священная История – еврейская. Нет, и тут у взрослых какой-то обман. Правда, папа всегда смеется над Священным Писанием. Но зачем – думает мальчик – он водил меня в церковь, если сам считает, что все это глупости?..

Тут перед Колей вставала во всей подробности картина ночи под Светлое Христово Воскресенье, когда отец повел его к торжественной службе, под пение колоколов. Вот уже вдали видны были громадные огни: то во славу воскресающего Бога жгли просмоленные бочки. Но – увы! – Коле не удалось услышать торжественные гимны: он по дороге чуть было не утонул в грязи и свином навозе. По пояс он очутился в зловонной жиже, потерял калоши, завяз башмак, едва вытащил ноги, и весь остаток ночи отмывался и оттирался от грязи, чистил новенькие башмачки, покрывшиеся гнусной корой, чулки, брюки... Запомнилась ему эта пасхальная ночь!..

... А если Христос был хороший – продолжать размышлять Коля, – почему же теперь верующие в него делают наоборот? Он велел всех любить – а они что? Он был за бедных – а они? И здесь обман какой-то. Вон Сакья-Муни, тот ушел из дворца, все бросил, вот молодец! А Эпиктет: рабом был, а какой мудрец! А каторжник у Диккенса в «Больших надеждах», ведь он в тысячу раз лучше всех богатых...

Так со всех сторон окружали Колю загадки: он считал, что кругом взрослыми расставлены обманы, силки, западни, капканы и самострелы и что нужно осторожно раздвигать кусты, чтобы разоблачить эти обманы...

Но особенно нравился Коле Гейне. Мальчик забивался в угол дивана с книжкой, глотал горькие слезы, и ком душил его горло, когда он читал последнего из романтиков, «короля соловьев и поэтов». Вот идет среди трупов и крови по Гангстингскому полю Эдифь-Лебединая Шея. Коля представляет себе до мельчайших подробностей ее развевающиеся волосы, он видит кровь и раны, он видит блуждающие глаза Лебединой Шеи, он слышит мерзостный крик воронов-трупоедов, он различает три рубчика, к которым

приложилась устами несчастная... Вот мертвый дон Рамиро, замогильным голосом отвечающий Кларе: «Ведь меня ты пригласила...» Холодная дрожь охватывает Колю... Он слышит глухой голос погибшего Рамиро... Ну как не стыдно донье Кларе! Ну какой негодяй дон Фернанди!.. Коле бесконечно жаль Рамиро, и слезы тихо стекают на драгоценную книгу. А что за молодец рыцарь Олаф! Король поставил палача у дверей, а он перед самой смертью поет страстную песнь во славу жизни, звезд и цветов... Но король! Что за подлец, что за мерзавец!.. А вот «Невольничий корабль».

В каюте своей суперкарго Ван-Койк За книгой сидит и считает: Свой груз оценивая, по счету с него Наличный барыш вычисляет...

И Коля видит несчастных, закованных невольников-негров и гнусные морды капитана и Ван-Койка, и тут уж закипает ненависть и сжимаются маленькие кулачки. Зато какая радость, когда сын ученого раввина, Габриэля из Сарагосы, натягивает нос прекрасной молодой дочери испанского алькальда! Ах, какая замечательная это вещь из «Еврейских мелодий» Гейне! Коле хочется читать это чудо всем дуракам, твердящим о «жидах», как твердила молодая красавица, которая так опростоволосилась со своим возлюбленным... А Вильям Ратклифф?.. Коля с замиранием сердца повторяет:

Зачем твой меч в крови, Эдвард, Эдвард! – шотландскую песенку безумной Маргареты... А Аль-манзор? А Вицли-Пуцли? Так им и надо, жадным испанским стервятникам! Целым открытием было для Коли то, что в «Вицли-Пуцли» христиане названы бого-едами. В самом деле, ведь если в причастии действительно настоящее тело и настоящая кровь, то какая же это мерзость! Это же хуже людоедства... И как этого никто не замечает?.. И мысль мальчика напряженно работает, точно катает тяжелые валуны с места на место... А вот еще у Гейне говорится, что учение о Троице противоречит таблице умножения. Разве это не так? Что же это за чушь такая? То-то мама никак не могла объяснить, как это Сын Божий привечно рождается от отца, а Дух Святой предвечно из него исходит... Ни черта они не рождаются и ни черта не исходят! Просто все это чепуха на постном масле. Тоже обман, да еще какой! Сказки-складки – больше ничего. И в Священной Истории: сперва Бог сотворил свет, а потом солнце, луну и звезды. А откуда же свет был? Или вот еще: Иисус Навин упросил Бога остановить солнце. А в географии говорится, что Земля ходит вокруг Солнца. Значит, Писание врет. Кит Иону проглотил, рыба-кит. А кит вовсе и не рыба, а млекопитающее животное, да и проглотить человека не может –

такое у него узкое горло. Земля раньше была огненный шар. А в Священной Истории через неделю уже Адам с Евой появились: хорошо бы они поджарились, голубчики, в этом огненном раю! В научных книжках написано, что земля существует много миллионов лет, а в Священной Истории от сотворения мира до Рождества Христова прошло ровно 5508 лет... А есть раскопки жилья, которым больше десяти тысяч лет... Все чушь и чушь...

Так Коля доходил своим умом до полнейшего безверия. Эти размышления были иногда наивны, но все же имели прочную базу в естествознании, а легкой смазкой служили ирония и насмешка. Конечно, сюда присоединялись и мальчишеские аргументы, и озорные богохульства.

– Ну а может твой г... ный бог сделать такой камень, который он не мог бы поднять?..

Мальчишки, замерев, молчат...

– Ну а может твой бог меня наказать, если я скажу, что он – дурак, негодай, дерьмо?..

У Колиных друзей глаза лезут уже на лоб...

А богохульства растут и растут: все специфическое просвещение обрушивается теперь на несчастного поруганного бога, но он, очевидно, действительно бессилен, если допускает безнаказанно такие страшные вещи...

Была среди книг Петровых книга не то Мамина-Сибиряка, не то Немировича-Данченко о северных странах. В ней Колю привлекали рисунки и роскошный переплет, с золотым тиснением, с чернью, с узорами и разводами. И взбрело ему почему-то в голову, что если он начнет заново переписывать эту книжку, то это будет как бы новая, его, Колина, работа. Вот подите объясните: мальчик уже понимал, что Бога нет, а верил в оригинальность списанной работы. Да как верил-то! Он таскал у отца целые стопы разграфленной под ведомости бумаги и, прячась и таясь, переписывал часами книгу. Испорченные листы он запихивал за диван, где скоро выросли груды бумажного хлама, предмет тайных угрызений совести: бумагу-то он все же воровал. А стал бы воровать Эпиктет или Марк Аврелий? У Коли потела голова под волосами от тайного стыда за уворованную бумагу.

Однажды за этим писательским занятием его застала врасплох старая нянька, которая, собственно, ходила за младенцем Андрюшей, но одним глазом присматривала иногда и за Колей с Володей.

– Ты, Коля, что же тут делаешь?

– Я книгу сочиняю.

– Господи! А бумаги-то сколько! Да откуда же ты взял?

- Для книги всегда бумага нужна.
- Да что ж ты эдакое пишешь?
- Говорю, книгу сочиняю...
- Батюшки мои! Да как же ты сочиняешь?
- Очень просто. Из головы.
- А бумагу ты папину берешь? Ты спрашивал папу-то?
- Нянечка, не говори! Я ведь немного. Больше не буду...

Нянька обещала не говорить. Но что если б она знала, что за диваном набито раз в десять больше начатой и попорченной бумаги?! Как сбыть весь этот хлам? Куда его выбросить? Это была целая проблема, над которой тщетно бился Колин умишко, мучимый сознанием преступления, которое вот-вот кто-нибудь обнаружит. В такой странной форме проявлялись детские литературные позывы Коли Петрова.

5

Она появилась на белецком горизонте совершенно внезапно, как молния, как падающая звезда, как метеор. Это была прелестная белокурая девушка, с глазами синими, как фиалки; с лицом нежным, как лепестки самой нежной розы из станевичевского сада; с золотистыми косами, кудрявившимися вокруг головы, как светлые и чарующие солнечные лучи; с улыбкой милой, как весна; с легкостью и прирожденной грацией, как у самой прекрасной нимфы. Она только что кончила один из петербургских институтов и, имея каких-то отдаленных родственников в Бельцах, впорхнула сюда, как бабочка, только что вылупившаяся из куколки, во всем сиянии красочных крылышек, с которых жизнь не успела стереть грубыми пальцами первозданную красоту. Звали ее Елена Владимировна Клеванская, и переживала она свою девятнадцатую весну. Все в ней было удивительно естественно, и она была живым порхающим опровержением французской поговорки: *Pour etre belle, il faut souffrir.*

Ее появление в Бельцах (а появилась она у Станевичей, с дочерью которых, Елизаветой Ивановной, скоро тесно подружилась) произвело настоящий фурор. Она, кроме своей чисто внешней привлекательности, обладала и другими достоинствами: это не была наивная немочка типа Гретхен, для которой изречения Фауста звучали так же, как и добродетельные наставления пастора; она была жива, как ртуть, образованна, остроумна и имела тот светский, но ненадутый лоск, который позволяет чувствовать себя уверенно и не

особенно робеть в так называемом обществе. Словом, она в несколько дней завоевала себе всеобщее признание, и вокруг нее, как вокруг светила, стали вращаться все интеллигентские и чиновничьи персонажи уездного городишки, старые и молодые, штатские и военные. Точно повинувшись закону тяготения, люди срывались со своих привычных орбит и начинали движение по новым траекториям. Дом Станевичей наполнился шумом и гомоном, смехом и весельем. Всеобщее ухаживание за Еленой Владимировной создало какую-то толчею и суетню: сюда стремились не только люди, но и букеты цветов, коробки конфет, шоколадные плитки, гравюры и статуэтки, старинные кинжалы и безделушки – словом, всяческие сувениры, которые повергались к стопам ангелоподобной девушки ее многочисленными поклонниками.

В это время у Петровых гостила сводная сестра Любови Ивановны, которую все звали «тетя Ляля». Она была еще молода, довольно интересна, очень умна и отличалась наименьшим количеством филистерских предрассудков. Несмотря на свою молодость, она пережила тяжелую душевную драму. Еще когда она прозябала в институте, у нее был платонический роман: молодые люди очень любили друг друга, но он держался всегда на каком-то весьма почтительном расстоянии. История и смысл этой почтительности раскрылись через несколько лет, наполненных глубокой любовью с обеих сторон, раскрылись как настоящая мрачная трагедия. В один прекрасный день молодой еще человек, предмет страстного обожания, внезапно – и как будто без всякой причины – сошел с ума. И тогда обнаружилось, что сошел он с ума на почве lues'a, от которого все время тайно лечился. Было ли это наследственным подарком родителей или каким-либо старым грехом – осталось неизвестным. Во всяком случае, он об этой болезни знал, внутренне страшно мучился, и этим-то и объяснялся с его стороны сугубый платонизм по отношению к его возлюбленной. Надеялся ли он вылечиться, не хватало ли у него мужества отказаться навсегда от девушки или он порывался ей открыть свою страшную тайну – неизвестно: он так и умер, не сказавши последнего прощального слова. Тетя Ляля, узнав все от его сестры, подружки по институту, заметалась, как подстреленная птица. Сердце ее кровоточило. Она была сама теперь близка к душевному краху. Охотники знают: бывает так, что раненная на лугу утка вдруг сгорбится, задрожит, пойдет штопором вверх, вот-вот упадет, но как-то выпрямляется и вдруг несется уже по горизонтали в неведомую даль: может, где-нибудь далеко и упадет, ставши добычей ястреба, а может, и выправится, рана затянется и

только будет ныть иногда, как физическое воспоминание о прошлом.

Так вот и бедная «Лялька», с копной своих кудрей, метнулась в бессарабскую даль, чтобы заглушить боль сердца. Здесь родные относились к ней со всей деликатностью и заботой, Елизавета Ивановна, молодая Станевичиха, ее прямо полюбила, мальчишки в ней души не чаяли, в особенности Коля, и не только потому, что она ему привезла из Москвы отличный металлический колчан, лук и стрелы, с которыми он молодецки гарцевал верхом на палке и надев шляпу набекрень, но главным образом потому, что тетя Ляля разговаривала с ним, как со взрослым, не сюсюкая и логически не шепелявя: она отлично видела, что Коля понимает гораздо больше, чем о нем в этом отношении думают. Итак, она стала оправляться, была иногда даже весела и, как это часто бывает с людьми после большого пережитого потрясения, напускала на себя внешнее легкомыслие и даже флиртвала. Павел Иванович уже ласково поглядывал на нее своими бархатными горячими глазами и похаживал вокруг, как воркующий голубь около голубки. Уже старики Станевичи не то радостно, не то испуганно исподтишка наблюдали, что-то будет (хотя, вероятно, ничего и не было бы)...

Но тут появилась на сцене Елена Владимировна. Все оси переместились. Лялька собрала чемоданы и, как ее ни упрашивали, уехала в Москву: то ли ей не хотелось быть на вторых женских ролях, то ли ей было больно противопоставление настоящего легкомыслия и веселья напускному, в котором всегда, где-то в глубине души, дрожала маленькая горькая слезинка, но она не сдалась на все уговоры, уверения и заклинания и так же внезапно исчезла, как внезапно появилась.

Царство Елены Владимировны стало прочной и непобедимой монархией...

Дружба Клеванской с Елизаветой Ивановной получилась само собой и совершенно естественно: они подходили друг другу по возрасту, по интересам, по мечтам. В небольшую комнатку Елизаветы Ивановны девушки часто зазывали Колю. Все здесь для него было чудно и странно: и опрятная постель, и туалетный столик с зеркалом, и граненые флакончики с духами, и ковер, висевший над кроватью, и ширмы, разрисованные какими-то райскими птицами и павлинами, и вся атмосфера чего-то необыкновенного, замкнутого, неприступного, совершенно особого. Девушки изливали на мальчика свои ласки,

иногда даже целовали его, душили духами, дурачились, заставляли говорить стихи.

Эта странная смесь заторможенной эротики и зародышей материнства ласково баюкала Колю, и он погружался в какой-то туман, от которого пахло многообразными духами Елизаветы Ивановны. В этом тумане слышались веселые девичьи голоса: быстрая скороговорка брюнетки и грудное контральто блондинки, сверкали белые зубы, весело смеялись черные и синие глаза. Коля робел, но ему было приятно и хорошо сидеть в этой девичьей комнатке, и он не заставлял себя упрашивать, а обрушивал на головы слушательниц целый поток стихов, которых он к тому времени уже знал более чем достаточное количество.

– Коля, пожалуйста, «Горные вершины».

Следовали «Горные вершины». После заключительного стиха-вздоха «Подожди немного, отдохнешь и ты» наступало меланхолическое молчание.

– Ну, теперь что-нибудь из Фета. Колечка, миленький, ладно?

– А что? Хотите «Я пришел к тебе с приветом»?

– Хорошо. Сперва «Я пришел к тебе с приветом», а потом «Шепот, робкое дыханье». Ладно?

– Ладно, как хотите.

Коля усаживался поудобнее на дурацком пестром диване, среди подушек, в уголок, куда почти не доходил свет керосиновой лампы под матовым абажуром и двух свечей, горевших на подзеркальнике, и выполнял заказ на Фета. Но Фет, особенно нравившийся Елене Владимировне (она не проходила, видимо, школы Писарева: в институте у них были совсем другие ориентации), не удовлетворял самого Колю.

– А хотите, я вам прочту из Гейне?

И он дрожащим от волнения голосом читал им «Гастингское поле». Когда дело доходило до строф:

Была, как у лебедя, шея у ней,
Бела и стройна, и прекрасна,
И в Бозе почивший король наш Гарольд
Когда-то любил ее страстно...
Любил он ее, целовал, миловал...
Потом разлюбил и покинул...
За днями шли дни, за годами – года,
Шестнадцатый год тому минул, –

тут девушки притихали, их груди подымались и опускались, на глазах навертывались слезы.

А после последнего стиха, когда Эдифь приносили труп возлюбленного и когда Монахи молитву шептали, – они уже чуть не плакали. А сам Коля в темноте утирал слезы рукавом куртки, так чтоб никто не заметил. Несколько минут он физически не мог выговорить ни слова...

Иногда Коля читал им что-нибудь вслух: чеховские «Пестрые рассказы», «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя. Вот он читает им «Страшную месть», и у самого как будто волосы шевелятся на голове, когда растет злой колдун-волшебник... И девушки замирают в ужасе...

А потом они тормозят Колю, одаривают его конфетами и назавтра трезвонят во все колокола, как Коля хорошо читает да что это за необыкновенный мальчик... Иван Антоныч сияет. Любовь Ивановна улыбается... Коля краснеет, как пион, и убегает, чтоб отдышаться где-нибудь от этих похвал, хотя они и льстят ему и подымают его до небес: он стоит один, среди буйно разросшейся лебеды, смотрит на небо... и думает неизвестно о чем...

Однажды, после одного из таких вечеров, Елена Владимировна в припадке нежных чувств подарила Коле самое хорошее (так она сказала), что имела. То был институтский альбом, прекрасный альбом, с великолепной бумагой, в дорогом кожаном тисненном переплете. От него пахло какими-то совершенно необыкновенными духами. Почти все страницы были заполнены стихами и изречениями подруг, преподавателей, петербургских знакомых, наивными рисунками, пожеланиями счастья, цитатами из великих людей, самодельными переводами из английских и французских поэтов, иногда весьма великосветского содержания, например:

Веселые лорды и леди, вставайте! –

в которых «веселые лорды и леди» приглашались на изысканную оленью охоту. Коля был в глубине души необыкновенно горд этим подарком прелестной девушки. Альбом стал его драгоценностью, и он, как Скупой Рыцарь, сидел где-нибудь в уголке и перелистывал странички альбома, зная уже все его содержание наизусть. Но среди различных стихотворений и излияний в прозе Колю поразила одна строка, приютившаяся незаметно в уголке. Она гласила коротко и ясно: «Помни о Моисейке» – и больше ничего: никакой подписи не было.

Коля уже был настолько просвещен, чтобы понимать, что могла означать подобная строка, насколько она была, при всей своей краткости, многозначительна. Что-то кольнуло в сердце.

Была ли это ранняя детская ревность? Вряд ли, ибо у Коли не было еще того детского влюбления, о котором сообщают нам биографии многих людей. Но что-то от этой ревности, какие-то зародыши ее, вероятно, были: ему было как-то больно и досадно, что за Еленой Владимировной значились тайны с каким-то неизвестным Моисейкой...

Между тем всеобщее ухаживание за нею не прекращалось: по-прежнему вечно толпился народ, по-прежнему у Станевичей постоянно толклись гости, и Елена Владимировна цвела, сияла, блистала, острила. Даже Иван Антоныч, который был предан своей Любочке от маковки до самых пят и mit Haut und Haar принадлежал ей в области нежных чувств, заметно оживлялся в присутствии девушки и, бравируя, с выражением страсти декламировал строфы из Лохвицкой:

Я жажду наслаждений знойных
Во тьме потушенных свечей...

или какие-нибудь рискабельные стихи:

Дайте мне женщину, женщину дикую,
Я обовьюсь вокруг нее повиликою, –

в ответ на что все дружно хохотали, а иногда и аплодировали. Коле всегда было досадно, когда отец смешивался с белецкими чиновниками: он уже понимал их действительное к нему отношение. Он очень любил тогда отца; он любил его насмешки над всякими святынями, любил его мастерское чтение, любил его знания, его рассказы и просто любил его, как хорошего, доброго отца. Он страдал, когда отца рвало после какой-нибудь обычной попойки. Он терпеть не мог гостей, за исключением забулдыги Михайлова, который отлично рисовал старинные рейнские замки и учил Колю разным шуточным рисункам: «тройка за косогором», где из-за горы виднелся один кнут, а никакой тройки не было; «часовой за будкой», где вместо часового торчал один штык; «лежащие лошади», которые, если посмотреть на них с одного конца, превращались в горячих скакунов, и много других фокусов показывал на бумаге Михайлов. Коля к этому времени прекратил почти всякое знакомство с девчонками. Но с дочкой Михайлова он «водился», гулял, качался на качелях, играл. Это была хорошая и умненькая девчурка, но на нее

косились, как на «незаконную». Коля знал это, наблюдал отношение к ней (ее никуда никто не звал) и, видя в ней что-то необыкновенное, именно для нее делал исключение: однажды он привел ее к себе и продержал целый день, так что у Михайловых возник даже переполох: думали, что она пропала, что ее стащили цыгане. А она прекрасно проводила время в Колином обществе. И вот – странное дело! – у Коли возникло по отношению к Елене Владимировне такое чувство, что гости были недостойны ее, глупы, пошлы, мелки. Ему было неприятно, когда она кокетничала, флиртowała, плавала как рыба в воде среди всех этих неостроумных остряков и порядочных свиной, одетых в пиджаки, сюртуки и брюки в полоску. Конечно, Станевичи другое дело. Но остальные? И как это Елене Владимировне не скучно слушать одно и то же: одни и те же остроты, одни и те же рассказы, одни и те же анекдоты, одни и те же жесты, улыбки, смехом? Коле казалось, что это совсем другая Елена Владимировна, не та, что сидит в комнатке Елизаветы Ивановны и слушает стихи. Там все такое нежное, и тонкое, и прекрасное, и доброе. А здесь – рюмки и кривлянья и, главное, глупость. И в душе у Коли подымалось смутное стремление сделать что-нибудь неприятное этой «плохой» Елене Владимировне, чтобы оставалась только одна «хорошая». Не то чтобы здесь был какой-нибудь план, рационально поставленная и осознанная цель, ясные мысли. Об этом он и не помышлял. Зато было неосознанное, полубессознательное влечение, неопределенная тяга, темный порыв, который шел из каких-то подспудных низин детской души. Коле казалось, что он стоит на страже любимой комнатки, всего, что с ней связано, стоит на страже настоящей Елены Владимировны, рыцарски защищает ее от лезущих со всех сторон «кобелей». При всей своей просвещенности Коля не мог никак осмыслить того факта, что петербургской барышне доставляли удовольствие все эти ухаживания: для его наивного детского сознания поведение Елены Владимировны на гостях казалось, скорее, чем-то ненормальным и, если бы он тогда знал Гегеля, не соответствующим понятию, то есть недействительным и неразумным. Но он тогда не знал, как легко догадаться, Гегеля. И тем не менее он хотя и не мыслил, но ощущал эту Елену Владимировну, как ненастоящую, фальшивую, не ту, которая составляла ее действительное существо.

Все эти обрывки полумыслей, образов, ощущений и влечений разрешились в один прекрасный день совершенно неожиданным манером. У Станевичей был «сбор всех частей», и, как обычно в таких случаях, Елена Владимировна расточала свои улыбки направо и

налево. Коля был тут же, с драгоценным альбомом в руках. И вдруг, как чеховский мальчишка, который мычал: «Гм, а я знаю», он раскрыл альбом, нашел поразившую его строку и прочел: «Из альбома Елены Владимировны: «Помни о Моисейке»». Правда, далеко не все – или даже почти никто – не поняли толком, о чем, собственно, идет речь. Зато очень хорошо поняла это сама Елена Владимировна. Она вспыхнула, вскочила из-за стола и бросилась к Коле за альбомом. Он вьюном выскочил из комнаты, за ним бежала девушка. Она бежала действительно быстрее лани. Но она не могла прыгать через заборы и плетни. И Коля, перемахнув через два забора, уже был вне пределов досягаемости. Погоня прекратилась...

Эффект этого выступления был для Коли совершенно неожиданным. Очевидно, «Моисейка» играл какую-то гораздо более крупную роль, чем это представлялось Коле, и он вонзил острую иглу в самую настоящую Елену Владимировну, и притом как раз в ту, которая вздыхала и грустила, слушая романтические стихи Гейне. И вот это-то, самое сокровенное, злой мальчишка вынес на публичное поругание... Так навсегда кончились вечера в комнатке Елизаветы Ивановны. Елена Владимировна не посягала больше на альбом, приветливо здоровалась с мальчиком, но читать стихи уже больше никогда не просила. Случилось, однако, так, что вскоре она получила какую-то телеграмму из Петербурга и уехала в северную столицу, оставив всех своих ухажеров воистину как раков на мели... От Елены Владимировны остался один альбом...

Но судьба быстро вознаградила Колю. В Бельцы приехали совсем неожиданно москвичи, Славянские.

Жена Славянского, урожденная Городецкая, или, как ее звал Иван Антоныч, «Наташка Городецкая», была старинной его приятельницей, родной сестрой той самой красавицы революционерки, с которой у Ивана Антоныча разыгрался до его женитьбы столь трагический роман. Наталья Дмитриевна была во всех отношениях выдающаяся женщина, и притом, разумеется, не на белецкий убогий масштаб: и по внешности, и по воле, и по уму, и по исключительной образованности, и по обширному культурному горизонту. И муж ее был высокообразованным человеком; но он едва волочил ноги, будучи страшно болезненным, хилым, близоруким. Его слабенькая фигурка, с огромной головой, с очками на маленьком носике и непокорным светлым чубом всегда растрепанных волос, которые упрямо не подчинялись культурному воздействию гребешка, довольно резко контрастировала с фигурой его жены. С собою они

привезли и своего сынишку Тосю. Это был прямо феноменальный мальчик. Худенький и слабенький, однолетка Коля Петрова, страшно близорукий, уже носивший огромные очки с сильнейшими стеклами, физически он был копией отца. Но его начитанность, знания, ум и остроумие превосходили все, что можно было ожидать от ребенка в таком возрасте.

Появление Славянских на белецком горизонте сразу внесло в жизнь Петровых свежую человеческую струю: это ведь были настоящие люди! На Ивана Антоныча нахлынули старые воспоминания, и передовая, мыслящая Москва вторглась со своими идеями и интересами, как очищающий смрад ветер. Любовь Ивановна была тоже рада до чрезвычайности: можно было и поговорить по-человечески, и получить передышку от провинциальной чиновничьей мути. Бедная женщина, которой пришлось целиком уйти в пеленки, кормление, хозяйство, гостей, тревожные заботы о своем безалаберном супруге, прямо стосковалась по простому, живому слову. Но, пожалуй, больше всех рад был Коля, ибо он впервые получил товарища, который не только ему не уступал, но во многом далеко превосходил его. Колю это сперва поразило, а потом он сразу честно признал превосходство Тоси.

Уже в первом разговоре, когда мальчики тихо гуляли вдвоем по садику и обменивались обрывками фраз, приглядывались друг к другу, обнаружилось, что Коля не знал, кто такой Уриэль д'Акоста, Тося ровным, тихим, слабым голосом прочел ему целую лекцию о строптивом мыслителе. Потом выяснилось, что Тося читал Свифта – а Коля его не нюхал. Коля было стал ему разъяснять тайны деторождения – Тося тем же ровным и спокойным тоненьким голоском обобщенно рассказал ему и о размножении делением и почкованием, до чего Коля никак не мог дойти своим умом, а от мальчишек не слышал. Коля с жаром бросился повествовать о птицах и бабочках. А Тося рассказал, как он уже работал с микроскопом и какие замечательные есть инфузории. Чем дальше в лес, тем больше дров: оказалось, что Тося знает немецкий и французский и довольно хорошо говорит на этих языках, а Коля не имел о них никакого представления. Но когда тихий Тося начал напевать по-итальянски: *La donna e mobile*⁴ (мотив, Коле хорошо известный), то наш герой был поражен окончательно и навсегда. Правда, Тося не знал так хорошо

⁴ «Сердце красавицы склонно к измене...» – известная ария из оперы Верди «Риголетто». – *Прим. ред.*

жизни животных и растений, как Коля, не умел рисовать, не умел ни бегать, ни лазать по деревьям, ни ловить тарантулов и выливать сусликов... Но Коля был прямо подавлен его книжными знаниями, и ему казалось, что за огромным, бледным, хрупким Тосиным лбом скрываются неисчерпаемые горы всякой премудрости. Мальчик действительно напоминал драгоценный сосуд, наполненный тончайшим мозгом: вот-вот разобьется. Это нежное создание нужно было специально хранить: Тося вечно простуживался, страдал головными болями, его впалая грудь внушала тревогу и жалость. Бедный мальчик, чрезвычайно уверенный в себе, когда речь шла о чем-нибудь интеллектуальном, пасовал перед самыми обыкновенными детскими играми и с горькой улыбкой расспрашивал Колю о его многообразных похождениях.

В несколько дней мальчики стали закадычными друзьями; они все время были вместе. Тосе нравилось в Коле то, что недоставало ему. А Коля уже прямо преклонялся перед Тосиным умом, и дружба с ним стала для него настоящей святыней; за слабенького умницу Коля готов был вступить в бой хоть с драконом. У Тоси была удивительно литературная речь; он говорил, точно читал, каждая фраза была отчеканена и ни в малой степени не походила не только на детский язык, но на обычный разговорный язык взрослых. При этом Тося отличался ярким и тонким остроумием, блестящей способностью как-то по-писаревски нападать, резать оппонента острейшими ножами стальной логики и издеваться, не повышая голоса: ровно, тихо, спокойно. От этого контраста между язвительной накаленностью содержания и тихим бесстрашием и равнодушием формы получалось какое-то совсем особое впечатление. Все взрослые улыбались и втайне недоумевали, откуда что берется у этого слабенького мальчика. По мыслям его, однако, никак нельзя было принять за ребенка: это был просто маленький и очень умный взрослый, умный карлик с большими очками и немигающими фарфоровыми глазами. Дорого обошлась Тосе эта гипертрофия мозга: он через несколько лет умер еще мальчиком от мозговой болезни. Но это случилось потом. А тогда он был жив и дружил с Колей; но Коля, любя его всей душой, чувствовал всегда какую-то смутную тревогу за своего друга, какую люди всегда чувствуют за драгоценность, редкое и неповторимое.

На крытой террасе у Петровых за столом сидят Славянские. С ними Тося. Любовь Ивановна, как всегда, хлопчет у самовара, перетирает чашки, расставляет посуду, подает на стол хлеб, масло, варенье, шербеты. За стеклами уже непроглядная тьма. Только ночные бабочки с разлету ударяются о них, стремясь к свету; они

выныривают из темноты, бьются о стекло и, быстро передвигая ножками и трепеща крыльями, взбираются вверх, потом срываются и снова начинают свой сизифов труд. В варенье оказываются осы: одна уже окоченела, другие едва выбираются, все вымазанные, полупарализованные клейким вареньем, точно неизлечимые калеки... Весело горят лампы. Вокруг них и под потолком, там, где светлые пятна, кружатся маленькие жучки, златоглазки, мошкара и, стучаясь внезапно о потолок или лампу, падают на скатерть... Хорошо и тихо здесь в поздний летний вечер...

– Так как же вы все-таки поживаете здесь, Иван Антоныч? – спрашивает Наталья Дмитриевна. – Вы нам толком-то ничего и не рассказали. Впрочем, у вас никогда нельзя было ничего путного добиться.

– Пожурите Ваню, Наталья Дмитриевна. Это ему очень будет полезно, – откликается Любовь Ивановна.

– О Natalie! Да как живем? Живем – хлеб жуем, потихоньку да полегоньку.

– Ну, знаете, это как будто маловато для того, чтобы понять. Что за люди здесь у вас?

– Да ничего, люди как люди: под носом две дырки, и ноги растут оттуда, откуда у всех.

– Бросьте дурить, Иван Антоныч!

– Это он у нас всегда так, Наталья Дмитриевна! Неужели он и раньше был такой? Знаете, в Москве у нас было другое: хоть и там было много легкомыслия, но стержень какой-то был, а тут и стержня никакого нет. Сегодня – карты, и завтра, и послезавтра. Вот и смысл жизни. А у меня еще дети на руках... Уж я, право, и не знаю, как вырваться из этой обстановки...

– Карты, очевидно, развивают математические способности Ивана Антоныча, – неожиданно тоненьким голоском вставляет Тося, всовывая острую иглу...

– Тося, не вмешивайся, когда не спрашивают!

– Я, мама, только заметил, что и карты могут иметь благотворные стороны, и, оценивая именно эти их стороны, Иван Антоныч относится к ним не совсем отрицательно. (Коля ему понарасказал о белецкой жизни.)

Выслушав такую тираду, Иван Антоныч краснеет... Ну и мальчишка! Любовь Ивановна, несмотря на всю свою выдержку, от удивления и неожиданности заметно волнуется. Коля и страдает, и наслаждается. Тося сидит с фарфоровым лицом и с фарфоровыми

глазами, как нежная куколка, и ничего не отражается на его челе. Сидит себе маленьким Буддой, да и только. Наталья Дмитриевна не знает, что и предпринять. Славянский замер где-то за самоваром: его не видно.

– Тося, не пори глупостей! – наконец каким-то неуверенным голосом говорит Наталья Дмитриевна.

– Пороть глупости, мама, значит волноваться. Мне же волноваться вредно, я, как известно, унаследовал от папы его богатырское здоровье.

– Слушай, Антон, – вдруг раздается писк Славянского, – поди-ка, прогуляйся немного...

– Если проблема отцов и детей стоит так остро, что тебе или кому-нибудь другому вредно мое присутствие, то я, папа, выполню твою просьбу из чувства элементарного человеколюбия.

Тося подымается, хватает Колю за руку на ходу и скрывается в дверях. Пауза.

Неловкое молчание длится минут пять. Наконец, Иван Антоныч пробивает брешь.

– Нужно воротить ребят. Что за феномен у вас, Наталья Дмитриевна, ваш Тося, ей-богу, феномен! Чем вы его кормили? Коля! Коля! Тащи сюда Тосю! Да идите же скорее!

Мальчики приходят и усаживаются. Тося снова на своем месте.

Точь-в-точь такой же, как и до изгнания: сидит, как будто ничего не случилось. Да и в самом деле, разве что-нибудь случилось? Вот Иван Антоныч до сих пор не понимает: во сне, что ли, его мальчонка отчитал? И бывают ли вообще такие дети? Быть может, сказано-то было вовсе не то, а все придали словам свой взрослый смысл? Да нет же, именно то... Впрочем, что ж это я – думает Иван Антоныч – вожусь с мальчиком...

– Так вы, Наталья Дмитриевна, серьезно хотите знать, как здесь живут? – Иван Антоныч перешел на третье лицо. – Ну, помните, у Герцена описание губернского города в «Записках одного молодого человека»? Вот так и тут. Канцелярия, двадцатое число, наградные, ордена. Потом выпивки, закуски и карты. Большинство берет взятки. Ну каких, скажите на милость, вы откровений хотите? После Герцена, после Щедрина? Да даже после Гоголя, наконец?

– А здешний *couleur local*?

– Есть, конечно. Это – безобразное отношение к евреям, да и к молдаванам отчасти. И это вы, я думаю, отлично знаете без меня. Мужики потеют, недоедают, питаются мамалыгой и по праздникам пьют водку, как все православные христиане. Местечковые евреи

болеют трахомой и живут неизвестно чем и как, знаете, как в анекдоте, по которому люди где-то снискивают себе скудное пропитание, беря займы друг у друга. Я иногда голову ломаю, как существует еще эта беднота... А живут... Плодятся, и множатся, и наполняют землю. Их обирают да вдобавок еще таскают за бороды. Кое-что вы ведь знаете о Бессарабии из Пушкина. Но то был все-таки Кишинев, а эти Бельцы... Да что же вы чаю-то не пьете? Любочка, ты уж угощай, ради бога!

– Спасибо. Да не егозите вы, Иван Антоныч.

– Ну, а кроме Бельцов, есть еще Скуляны, Фалешты и всякие другие местечки. Мне приходится иногда по службе ездить. Там еще и не такого насмотришься...

– Хорошо. А вы что же? Вы-то на что, Иван Антоныч?

– А что же я могу? Жаловаться? Кому? Проекты реформ писать? И не могу, и не хочу! Какой я реформатор. Да это, знаете ли, совершенно бесполезно к тому же. Кроме неприятностей, ничего не будет. Служба эта, по правде говоря, мне опротивела. Тут, дай бог, просто честным человеком остаться. Да и то под меня, кажется, подкопы идут. И только за то, что взятку не беру и евреев пархатыми не называю. Мило, не правда ли?

– Да, хорошего мало.

– Маловато. Это – не то, что в Москве. А какие были времена? А, Наталья Дмитриевна? Помните?.. Вот то-то и оно. Человек предполагает, а Бог располагает. Только располагает-то как-то уж больно по-глупому... Знаете что, лучше вы с Антон Ивановичем расскажите о Москве и Питере. Ей-богу, это будет интереснее. Если б я еще какие-нибудь Аннибаловы клятвы давал, как Герцен с Огаревым... А я, как вы знаете, их не давал...

Наступила очередь рассказов о Москве. Они были действительно поинтереснее. Славянские рассказали, что после Ходынки и коронации Николая надежды на перемены скоро развеялись, как дым; что нажим свирепее, чем александровский; что Распопин, студенческий приятель Ивана Антоныча, который чуть было не втянул его в революцию, умер в сибирской ссылке; что в передовых кругах интеллигенции множатся марксисты («удивительно энергичные, но узкие люди»); что в литературе появились символисты, которые культивируют французских декадентских поэтов и кокетничают в то же время с соловьевцами; что в философии тон задают тоже мистики и идеалисты и Лопатин владеет «Вопросами философии и психологии»; что всем народникам и старым их традициям приходится туго: их клюют и марксисты, на них идет и

поход со стороны этих «совсем новых» европеизированных буржуа; что в Москве нарождается новый театр, которому помогают какие-то купцы из просвещенных; что в среде интеллигенции вообще большой разброд, не так, как прежде, в былые времена; что развивается страшная нетерпимость и идут ожесточенные словесные бои... Словом, гости обрушили на головы Петровых мир идей, который был далек от карточного белецкого мира, как небо от земли... Эта разница была настолько ощутительной, что даже Иван Антоныч, с его прежними воспоминаниями, понимал далеко не все из рассказов Натальи Дмитриевны, слишком велик был разрыв с прошлым, и, очевидно, слишком быстро и интенсивно шла жизнь. Коля хлопал глазами. В его мозгу всплыло шуточное институтское стихотворение, которому его обучила тетя Ляля:

Бокля, Милля, Конта, Канта, Всех их легче прочитать И дойти до их «субстанта», Чем тебя, мой друг, понять.

Кто такие поименованные лица и что за «субстант» – этого Коля, разумеется, не знал. Но это незнание и полный тупик сознания и делали стишок символом непонятной абракадабры, тарабарской чертовщины, которая теперь вспоминалась ему, когда он слышал длинные словосочетания, не имевшие для него никакого смысла.

Иван Антоныч как-то посерьезнел. Сам характер разговора исключал его обычную манеру балагурить и пускать в ход легкомысленный и фривольный *fa con de parler*. Да и присутствие Славянского, с которым он впервые познакомился, стесняло его: Наташа-де его со всех сторон знает, а что подумает о нем этот вечно серьезный, очкастый господин, который, вероятно, во всю свою жизнь не понимал никакой шутки и не «сделал никакого озорства? Ведь он и рюмки водки проглотить не сумеет, подавится. И уж обязательно сделает вывод: вот так приятели были у Наташи! Так думал Иван Антоныч. И присмирел, взнуздан свой язычок, перешел на серьезные, приличествующие случаю тона. Впрочем, ему было интересно и по существу поговорить со Славянскими: белецкое житье-бытье не все вытравило из его действительных потребностей и интересов, и он говорил сущую правду, заявляя, что эта служба, со всеми ее отношениями и производными, ему глубоко опротивела. Разговор затянулся. Гося совсем уже клевал носом, и его побледневшее личико устало и болезненно опрокинулось на стол.

Мать посмотрела на него грустными глазами.

– Нам пора, Иван Антоныч.

– Посидите еще! В кои-то веки!

– Нет, пора, – решительно заявила Наталья Дмитриевна. – Антон Иваныч, идем!

Она поднялась.

– Возьмите фонари, а то тут черт ногу сломает. Коля! Сбегай, принеси фонари! Я пойду провожу вас.

– Не надо, не беспокойтесь ради бога..

– Нет, вы тут в грязи потонете. Колька вот у нас раз чуть не потонул...

Славянские ушли, и у Коли на душе стало вдруг пусто и одиноко, хотя оставались и мать, и отец, и Володечка...

6

Вокруг Бельцов была степь, кукурузные поля, холмы, кое-где солончаки. Протекала лентой-змейкой маленькая речка Реуцел. По степи ветер гонял прошлогоднее перекасти-поле, кустики которого, как легкий плетеный коричневый шар, подпрыгивая и вздрагивая, летели стремглав по необъятному простору. Столбиками стояли суслики, изредка посвистывая и быстро скрываясь в норки, когда показывался человек или мелькала зловещая тень ястреба. Непосредственно за городом были раскинуты белевшие своими боками казармы, а в стороне стоял окруженный со всех сторон высокими каменными стенами острог со своими грубыми квадратами и прямоугольниками, которые геометрической сухой простотой навевали страх. Над ним, словно в насмешку, всегда ряли стаи разноцветных веселых голубей, игравших и кувыркавшихся в синем небе: начальник острога был большой любитель голубей и особенно ценил курносых опаловых турманов. Речка была мелкая; в жару, когда истомившаяся земля давала трещины, а степи делались рыжими, как сукно из верблюжьей шерсти, она пересыхала, и вместо сплошной ленты стояли мелкие грязные лужи. Рыбы в ней было мало, зато в изобилии на дне лежали речные раковины, именовавшиеся здесь скойками. Ни кустика, ни деревца не росло по берегам, изрезанным продольными небольшими балками, по которым весной текли ручьи, пузырившиеся грязной желтоватой пеной. Большие прибрежные пространства поросли бурьяном: чертополохом, репейником, лебедой, дурманом, полынью. Прорваться сквозь эти заросли было трудновато, но зато приволье было здесь для щеглов, пеночек, зеленушек.

Коля с тоской вспоминал иногда о лесе в Макарове. Сад Станевичей уже был знаком ему чуть ли не до веточки. И вот отец как-то заявил:

– Завтра поедем в лес!

Боже, как это хорошо! Лес был далеко, верст за двадцать. Собралась целая компания: Елизавета Ивановна, Славянские, старики Станевичи, Михайлов с дочкой и двое казначейских служащих – они и Михайлов с ружьями и собаками – на утку, стрелета и дрофу. Наняли нескольких «балагул» с фаэтонами, запряженными парой кляч – их назойливые бубенцы возвестили выезд этого кортежа за границы намозолившего глаза городишки.

Погода выдалась чудесная. Раннее летнее утро дышало свежестью и прохладой. Стайки нежных жемчужных облаков плыли по безграничной синеве неба. Над полями носились кобчики и вдруг застывали в воздухе, трепеща крыльями и зоркими глазами высматривая добычу. Суслики перебегали дорогу, неловко тряся задками. Коростели наперебой кричали пронзительным дребезжащим криком, точно какие-то озорники со злобой рвали куски полотна. То там, то сям ударял перепел, скрываясь в легких волнующихся шелковистых травах. Пахло полынью и полевыми цветами: степь в этот год не выгорела, лето было дождливое, какого, как говорят, не упомнят старожилы. Она цвела полной и многообразной жизнью... Солнце подымалось, становилось жарко. Лошади уже вспотели и часто переходили на сонный шаг, из которого их выводили удары кнута и крики извозчиков. Тучи слепней, оводов и строк уже облепили несчастных животных, как ни трясли они головами и как ни старательно махали хвостами. Их кожа покрывалась кровью от жалящих укусов и вздувалась буграми. Бубенцы звенели. За фаэтонами тянулось облако желтоватой пыли... Все были рады, что видят что-то новое, а не вечно те же комнаты, те же деревья, те же заборы. Елизавета Ивановна напевала вполголоса молдаванскую песенку:

Спуне, спуне, молдаване,
Инде друму ла фокшани,
Ши касуца мититик,
Ши неваста фрумушик,
Ши барбату натереу,
Якулой суфлиту неу?

Охотники ехали вместе и, предвкушая свои удовольствия, обменивались на этот счет предварительными соображениями.

– А стрепет, по-вашему, крепко сидит?

– Да нет, сейчас совсем не так жарко.

– А дрофа будет?

– Черт ее знает. Она тут бывает то стадами штук по двести, то совсем ее нет. Иногда заморозки хватят, так ее тут мужики палками бьют, а то во двор, как домашних гусей, загоняют. Когда крылья у нее смерзаются.

– А утка?

– Думаю, что по речке, в камышах, найдем: и кряковых, и чирков. Еще куропаток встретим. Мой Рекс по ним специалист: так вас подведет, что лучше не надо...

– Ха-ха-ха! Что ж хорошего, если он «подведет»?

– Не острите, сами знаете. Вы ведь охотник, кажется? Или только по части охотничьей выпивки?

– И то хорошо. На свежем воздухе. Коньячку-то захватили?

– Как же без коньячку? Конечно, захватили. Мы – ха-ха-ха! – тоже ведь охотники.

– А сетку или ягдташ вы с собой взяли?

– Лапки взял.

– То-то. Пустыми не будем, не беспокойтесь... Собаки так и порывались выскочить. Они сидели с горящими глазами и поминутно ерзали. Их запихивали ногами на дно экипажа, сопровождая пинки соответствующими, иногда не совсем цензурными окриками. Славянские ехали с Петровыми. Коля с Тосей – со Станевичами. Тося на все глядел недоуменно через свои большие очки, как маленький марсианин, внезапно очутившийся на Земле.

– А это что?

– Кукуруза. А ты думал – пальмы?

– А это? Вон летит?! Серебряное?!

– Лунь полевой.

– Чем он питается?

– Мышами, кузнечиками, жуками.

– Коля! Коля! Смотри, какая красивая птица! Совсем синяя!

– Этого добра здесь сколько угодно. Сизоворонка. Эх, скорей бы до лесу доехать.

– Коля, – обращается к мальчику старик Станевич, – я тебе забыл сказать: сегодня утром я заступом рытика перерезал.

– Какого рытика? Какой он?

– Да такой рыжий, с черными пятнами, с двух сусликов будет.

– Это, должно быть, хомяк. Что ж вы мне не показали? Насмерть?

– Да еще живой был.

– Иван Егорыч, миленький, покажите, пожалуйста. Зачем же вы его убили? Вы бы его живого взяли...

– А зачем мне он нужен? Дрянь этакая! Он в саду у меня все портит, а я его жалеть буду?..

В «коляске», где едут Петровы со Славянскими, свой разговор.

– Наталья Дмитриевна, а вы не думаете, что Тосе прямо вредно столько читать? Ведь такое раннее умственное развитие... Это необыкновенно... Но вы не боитесь?

– Да что ж я могу поделывать? Конечно, боюсь! Тут рациональной педагогией и не пахнет – сама знаю. Справиться не могу. Да беда в том, Любовь Ивановна, что он у нас физически так слаб, так слаб... Я прямо дрожу над ним... В игры детские он играть не любит, да и не может: ни бегать, ни плавать... Вы не представляете, до чего он слаб. А потом – вечно со взрослыми. Вот он и компенсирует себя книжным миром. Конечно, такая односторонность опасна... Я уж сколько раз предлагала Антону Иванычу сводить его к Россолимо, что ли, да он...

– Конечно, конечно, – пропищал Славянский, – это плохо... С одной стороны, это плохо, нет развития всех функций... И, пожалуй... ммм... опасно. С другой – вот видите, Бокль, кажется, чуть ли не четырех лет сочинения на греческом... ммм... языке... ммм... писал. И вырос, ничего...

– Вот у меня Антон Иваныч все так: с одной, с другой, с третьей стороны. А что в итоге-то? По-гамлетовски качаться и рассуждать? А потом поздно будет. Поверите ли: я не так давно у Тоси Дрэпера отняла. Дрэ-пер у восьмилетнего мальчишка! И, знаете, пришлось возратить – сколько было слез и огорчений...

– А я вот даже за нашего Колю боюсь.

– Ну, это другое дело: ведь он у вас прямо живчик! На все руки мастер.

– Вы не знаете, Наталья Дмитриевна. Я уследить за детьми не могу. Они теперь прямо уличные мальчишки стали. Они уже посвящены во все. Мы вот с Ваней думали, как подступиться к этому... к сексуальному... А оказывается, они уже во все посвящены... На улице...

– Ничего, Люба, тут страшного нет. Довольно детей в клетке держать! Пусть сами поплавают...

– У тебя все это от легкомыслия. Ты сам обучал Колю всяким глупостям. Ты никогда не различаешь, где что можно говорить, где нельзя... Тут уж тебя бог обидел...

В это время передний экипаж, с охотниками, внезапно останавливается. Что такое? Люди вылезают с ружьями, собаками... Оказывается, через дорогу перебежал выводок куропаток: птицы купались в пыли и взлетели прямо из-под лошадиных копыт...

– Мы, Иван Антоныч, пойдем. Теперь до леса осталось каких-нибудь пять верст, не больше. Вы там располагайтесь, лес небольшой, мы вас найдем.

– Хорошо.

– Да пожелайте нам ни пуха, ни пера!

– Что такое? Как?

– Ну, батенька, сразу видно, что «молода, в Саксонии не была», – расхохотался Михайлов. – Это поговорка такая охотничья. Да здесь от вас уж, извините, как от козла молока. Adieu! За дочкой поглядите, пожалуйста! «Что за комиссия, Создатель, быть взрослой дочери отцом!» – взревел вдруг басом Михайлов, так что Петровы и Славянские невольно заулыбались. Охотники ушли. Гося с Колей пересели от Станевичей к Тане, и экипажи двинулись к лесу, который скоро засинел вдали туманной полоской.

Но вот наконец повеяло в лицо прохладой, и экипажи въехали под арку могучих зеленых ветвей, сверкавших изумрудными свежими бликами. Лошади остановились. Извозчики быстро их распрягли и увели в холодок, где усталые животные тотчас же принялись обрывать листья с веток и, меланхолично помахивая хвостами и вздрагивая всем телом, жевать сочную, траву. В лесу стояла торжественная тишина и сосредоточенность. Огромные деревья – дубы, буки, грабы, стволы дикой черешни, – как колоссальные столбы, поддерживали величественные своды листвы, сквозь густоту которой светлыми брызгами, резвясь и играя, пробивались веселые животворные лучи солнца. Всюду под ногами были мягкие подушки мхов и шелковых трав, усеянных венчиками цветов. Кое-где, среди сплошного купола леса, синели прорези чистого неба, откуда лились на небольшие полянки потоки сияющего света. В тени, между мощных обомшелых стволов и корней, которые застыли, уходя в землю, как толстые переплетающиеся змеи, журчал ручеек, почти невидимый за зарослями папоротников, раскидавших повсюду свою резную узорчатую зелень.

– Сюда, сюда! – закричало сразу несколько голосов.

– Здесь привал! Вот хорошенькое местечко-то! Правда?

Иван Антоныч оживился.

– Наталья Дмитриевна! Елизавета Ивановна! Катерина Ивановна! Идите сюда... Любочка, ты уж командуй, пожалуйста...

Все, включая извозчиков, принялись переносить на облюбованное местечко различные принадлежности и атрибуты пикника: скатерть, самовар, ящик со съестным и бутылками...

– Только, пожалуйста, бумажек не разбрасывайте, если можно, – улыбаясь просительной улыбкой, бросила реплику Наталья Дмитриевна.

Расстелили скатерть на моховой лесной плешинке. Притащили кожаные подушки – сиденья с фаэтонов. На тарелках разложили бутерброды, сардинки, сыр, варенные вкрутую яйца, колбасу, ломтики ветчины. Появились и неизбежные бутылки.

– А где же дети?

– Коооля! Тося! Таааняаа! Ау! Аауу! – заорал во все горло Иван Антоныч.

Откуда-то издалека раздались ответные детские голоса: «Ау! Ау!» Дети уже успели убежать, осмотреть и облазить соседние кусты и деревья: Коля верховодил и давал пояснения, как чичероне; Таня за ним; а Тося, с лицом серьезным и выражавшим философское удивление Аристотеля, слушал, едва поспевая и явно стесняясь в присутствии девочки.

Они прибежали, запыхавшись. У Коли была уже в руках какая-то добыча.

– Папа Ваня! Смотри же! Да смотри же, тебе говорю, гусеница мохнатая! А вот это? Видишь?

– Аполлоновка.

– И не стертая. Дай бумаги, я конверт сделаю. Мы дубоносов видели! Ей-богу!

– Где?

– Да на дикой черешне. Сидят и старые ягоды клюют. Целая стая. Хочешь, пойдём посмотрим. Тут два шага...

Иван Антоныч заколебался. Но потом все же решил остаться: неудобно...

– Давайте-ко штопор! Хлоп! Хлоп!

– Иван Егорыч! Его же и монахи приемлют! Вам, Антон Иванович?

– Спасибо. Я не пью.

– Да, Коля! Поди-ка, позови балагул. Поживее! Коля бежит к экипажам.

– Папа вас зовет.

Трое рослых извозчиков-евреев, в длинных лапсердаках, перевязанных кушаками, и в ермолкоподобных шапочках, из-под которых торчат густые рыжие пейсы, недоуменно переглядываются, что-то говорят непонятное, но все же идут.

- И что прикажете, Ваше Высокородие?
- Да вот выпейте, пожалуйста! Вы ведь пьете небось?
- Да как же возможно?
- Вот так и возможно. Пьете?
- Пьем.

Они выпили по стаканчику водки, крикнули, но от закуски решительно отказались и даже не могли скрыть на лицах своего отвращения к ветчине, от одного запаха которой их, казалось, тошнило. Поблагодарив «за угощение», они удалились в сторонку, вытащили из огромных карманов одинаковые красные платки, куда была завернута какая-то снедь, и, отламывая ее маленькими ломтиками, тщательно подбирая крошки, стали закусывать...

После подкрепления все пошли в глубину леса, которая манила своим свежим дыханием. Красавцы буки, со стволами в несколько обхватов, гладкими, как могучее тело кариатид, лишь изредка покрытыми темно-коричневыми пятнами мха, возносили к небу свои кроны, терявшиеся в общем зеленом хаосе. Раскидистые дубы, с корой, сморщенной, как кожа столетних старцев, протягивали во все стороны свои ветви, точно корявые узловатые руки, и их резные листья зеленою россыпью обрамляли крепкие торсы. В глубокой тени таились нежные белые колокольчики купены, рядами подвешенные под темно-зелеными листьями. Грушанка столбиками подымалась с земли, рассеивая едва уловимый нежный аромат. Между папоротниками пушились светло-зеленые хвощи, далекие потомки колоссальных исчезнувших пород. Иван-чай подымал свои высокие стебли с нежно-розовыми цветами... Тонкие запахи свежей травы, прелого листа носились в воздухе, полном первозданной прелести. Дятел стучал где-то вверху. Попискивали синички. На поваленный и уже полусгнивший ствол большого дерева вдруг выскочил откуда-то из чащи крошка крапивник, затрещал, задрав хвостик, и, как мышонок, юркнул в кучу валежника.

- Папа! Дикая груша! Какая большая!
- А где же твои дубоносы?
- Это направо. Пойдем поскорее.

Иван Антоныч отделяется от компании и уходит с детьми. Дубоносов уж нет на черешне, но на земле видны остатки пиршества, склеванные старые ягоды и помет.

– Видишь, видишь? Они только что были. Совсем свежее г... о! – чуть не в восторге кричит Коля: в его руках убедительные вещественные доказательства, и он их сует прямо в нос отцу.

- Да брось ты эту дрянь! И так вижу.

Тося лукаво улыбается. Таня краснеет: она не привыкла ни к столь откровенной номенклатуре, ни к столь откровенным движениям. Ее все здесь поражает: она в лесу первый раз в жизни.

– Ау! – несутся женские голоса.

– Ребята, идем обратно.

Остальная компания бредет медленно, мелкими шажками, равняясь по наиболее слабому звену. Перебрасываются короткими репликами, наслаждаются зеленью, цветами, воздухом, солнечным лучом. И в то же время каждый думает про свое в смутном потоке сознания, которое словно растворяется в чем-то большом, ласковом и тихом. Елизавета Ивановна собирает букет, и ее стройная фигура часто наклоняется, срывая цветок. Ей сладко и грустно, хорошо и чего-то нет: хочется петь и плакать, не горько плакать, а так, без причины... Иван Егорыч постукивает палкой по гигантам-стволам: вот бы десяточек таких бревнышек домой привезти! А сколько хворосту, валежника, падали древесной здесь зря пропадает – этакая драгоценность! Наталья Дмитриевна боится и за мужа, и за ребенка: не устали бы мои дохлые... Любовь Ивановну мучит мысль: а как там няня накормит Андрюшу? Не прокисло ли молоко? Все-таки рискованно было оставлять дом на целый день... Но, Боже, как здесь хорошо... Антон Иваныч ковыляет зади всех; ему хоть и приятно, но не очень: ходить трудно, да ведь, в сущности, и нет ничего особенного... А с другой стороны, все-таки ничего, неплохо, природа... И он внимательно рассматривает эту природу своими близорукими глазами через очки.

Время летит быстро, как незримая стрела. Не успели дети набегаться и нагуляться, а уж взрослые перебрасываются словами, от которых хоть плачь!

– Не пора ли обратно?

– Да, нужно засветло приехать.

– Сколько ехать-то?

– Верст двадцать.

– Солнце еще все-таки высоко.

– А ведь нам еще охотников нужно захватить... Коля стоит с дрожащими губами: ему до боли не хочется уезжать, но он видит, что никакие мольбы тут уж не помогут. А в лесу-то что за прелесть! Мальчик всей душой чувствует это царство природы, трепетанье ее жизни, игру ее образов. Он точно живое опровержение и сухого рассудочного отношения, которое видит в роще одни дрова, и безудержной фантастики, с ее троллями, гномами и всеми грезами романтики. Предрассудок, укоренившийся еще со времен великого

остроумца и фантаста Гофмана, с его бриллиантовыми и золотыми фонтанами чудесных сказок, гласит, что переживать трепетанье природных ритмов можно лишь в формах нарочито-чудесного и сверхприродного, то есть открывая за природой какой-то другой, тайный и таинственный мир. Этот предрассудок Коля опровергал каждой частичкой своего бытия. Он не меньше комичного профессора из «Крошки Цахеса» любил «ботанизировать», собирать гербарии и коллекции. Но это ни капли не мешало ему слышать все голоса природы, настоящей, действительной, реальной природы, с ее звездным небом, алыми зорями, шепотом листвы, грохотаньем бури и нежным лунным сиянием. Он купался в ароматах душистых трав, утопал в ласковых порывах теплого воздуха, растворялся в цветах и звуках... Вот и теперь мальчик стоит с молящими глазами: еще бы побыть хоть часочек среди этих деревьев, бархата мшистых ковров, сиянья золотых лучей сквозь изумрудную чешую зеленого буйства...

– Да, да! Собирайтесь! Пора...

Несмотря ребята помогают завертывать стаканы и чашки. Лишние бумажки собирают в одну кучу и зарывают в землю, чтобы не портить отбросами пикника перевозданной чистоты матери-природы... Уселись снова в фэтоны. Лошади взмахнули хвостами. Зазвенели колокольчики-бубенчики, захлопали кнуты, и экипажи с гиком лихо выкатили из леса. Солнце уже стало сползать вниз по своей ослепительно голубой занавеске. Дали дымились голубоватой мглой, и над кукурузными полями заметно было дрожание горячего воздуха, который прихотливо струился и переливался едва видимыми потоками. Впереди золотыми червонцами горели поля подсолнечника. Жидким расплавленным серебром вилась неподалеку лента реки, оттененная глубоким зеленым бархатом тростников. Где-то слышались время от времени глухие выстрелы, напоминавшие стук. Без умолку трещали и стрекотали кузнечики и полевые сверчки. Но вот фэтоны спустились с холмов в долину, и ребята заорали:

– Вот, вон они! Видите? Вот там!

Далеко впереди, на разных расстояниях друг от друга шагали маленькие фигурки охотников. Около них бегали крошечные, точно игрушечные, собаки. Изредка охотник прицеливался, виднелся дымок, а потом – так странно было это потом! – долетал приглушенный звук, точно стреляли под подушкой. Люди и собаки суетились, перебегали с места на место, наклонялись, – очевидно, что-то искали и подымали – и снова шагали в разные стороны... Но вот экипажи приблизились уже к месту охоты, и охотники, до тех пор не

обращавшие на них никакого внимания, стали издали махать руками и дуть в ружейные стволы: этот сладостный для охотника звук, металлический звук рога, дрожа, долетал уже до всей компании.

– Интересно, что-то наши убили!

– Наверно, ничего.

– Ну да, ничего. А сколько стреляли!

– Стрелять – одно дело, а настрелять – другое, – тоненько пропищал Тося.

Старик Станевич приложил руку козырьком над бровастыми своими глазами и авторитетно сказал:

– Несут. Значит, наколотили дичи. И у Михайлова, и у других болтается что-то.

– И я, и я вижу! – заорал Коля, хлопая в ладоши.

– Папа, неужели ты не видишь? Да посмотри хорошенько! У Михайлова – с левой стороны, а у двух других – с правой. Верно, Иван Егорыч?

– Верно. И за спиной у Михайлова, кажется, тоже что-то есть. Видишь, точно горб вырос?

– Да. Вот здорово!

– Папочка, скажи извозчикам, чтоб поскорее ехали...

Распоряжение отдано, фаэтоны, подпрыгивая, понеслись по дороге, волоча за собою целое облако пыли: передним – ничего, а вот задним-то какво! Хорошо еще, что лето было дождливое и пыль лишь умеренно набивается в нос, глаза и уши.

Но вот наконец доехали. Коля моментально, еще на ходу, выпрыгивает из экипажа, несется навстречу – и нет предела его восторгам. Лошади останавливаются, все выходят на траву. Охотники, обгоревшие, за один день ставшие медно-красными и бронзовыми, с лицами, покрытыми потом, тяжело сваливают в одну кучу все свои трофеи. Собаки сидят, раскрывши рты, и часто-часто дышат, вывеся наружу красные острые языки, с которых сбегает пена; бока у них вспотели и провалились, шерсть и хвосты покрыты колючками, шипами, репейником и всякими «буряками»; у одной – рваная царапина на ноге, и она зализывает ее каким-то быстрым, почти судорожным движением. Люди тоже устали, но они сияют, лица у них выражают гордость победы. Они даже слегка важничают, не изливая своих обычных восторгов: что ж, мол, это дело для нас привычное – дичь колотить, чему тут удивляться? Но сквозь напускное равнодушие, сквозь эту искусственную поджаренную солнцем бронзовую маску так и прорывается внутренняя радость и

желание пуститься в рассказ, который должен воплощать охотничью славу...

– Иван Антоныч! Мы чертовски устали, – басит Михайлов, деланно не обращая внимания на добычу, – выпить бы хорошо тоже. Уж придется вам нас здесь обождать...

– Разумеется. Располагайтесь. Дамы! Ухаживайте за своими рыцарями: они достойны награды. Любочка! Елизавета Ивановна!

– Да не беспокойтесь, мы сами. Вон видите, мои кавалеры уже без спросу принялись за дело!

Два других охотника, действительно, в одну секунду преодолели все трудности распаковки, повытаскивали вмиг все съестное, бутылки и с веселым азартом захлопали пробками, заработали челюстями, обнажая крепкие белые зубы, так и сверкавшие на загорелых лицах: прямо индейцы какие-то из Фенимора Купера.

Вся остальная компания разглядывает дичь, особенно ребята; Таня гордится отцом. Коля неистовствует: он в охотничьей сетке обнаружил живого кобчика с перебитым крылом и несется к Михайлову.

– Это я для тебя, Коля, подобрал подранка, – едва может выговорить Михайлов, рот которого так туго набит бутербродом с ветчиной, что на обеих щеках выперли толстые желваки; он с усилием двигает челюстями, и видно, что ему приходится выделять во рту еще какие-то необычайно сложные движения языка, чтобы там поместилась с усердием обрабатываемая пища. Он пыхтит, сопит, мычит, чавкает, и глаза его сияют...

В самом деле, как не сиять! В куче лежат два выводка куропаток, штук по двенадцати каждый; пепельно-рыжеватые их перышки с кирпичным подхвостьем сгрудились целой горкой на траве; рядом – две громадные дрофы, пудовые роскошные птицы, с опаловыми рябыми крыльями, длинной шеей, сизовой головой и усами на обе стороны; они вяло сложили на землю свою гордую выю, и черные их глаза прикрылись навсегда нежной голубоватой пленкой; у одной вдребезги разбита вся плечевая кость и капельки крови разбрызгались по всему телу, загрязнив и испачкав красивые арабески дрофиного костюма; три кряковых красавца селезня сияют своими «зеркалами»: так зовутся сверкающие сине-зеленые перья на их крыльях. Тут же лежат перепела: они, несчастные, свалились под тяжестью остальной дичи, их и узнать нельзя – просто какие-то грязные, серые, окровавленные комочки...

Пока все осматривают дичь, охотники наслаждаются: они сняли сапоги, размотали – с разрешения дам – портянки, пьют, едят и бросают изредка довольные взоры на некомбатантов.

– А это что? – пищит Тося, вытаскивая из-под груди тел странную птицу, величиной с курицу, но с длинной шеей и довольно длинным носом; вся она мягкая и легкая, как рыжая тряпка.

– Папа! Да это же выпь! Ей-богу! Выпь! Выпь!

– Ха-ха-ха! – рокошет Михайлов. – Вы спросите-ка Павла Васильевича, что это за штука. Пусть он вам порасскажет.

Павел Васильевич, один из охотников, сидит весь вымазанный в грязи. Она уже высохла, но сплошь покрывает его костюм, да и лицо у него, если всмотреться, стало совсем рябым, будто он перенес тяжелую натуральную оспу. Он неловко ежится, но оба его приятеля подпихивают его в бок, поощряя к рассказу, очевидно для него не совсем приятному.

– Да ну вас, отстаньте, ради бога.

– Нет, нет, расскажите, Павел Васильевич, не стесняйтесь, чего стесняться в отечестве своем!

Но Павел Васильевич молчит и предпочитает прожевывать изрядно твердую копченую колбасу. *Tarde venientibus ossa* (поздно приходящим – кости) – гласит латинская поговорка. Лучшие кусочки были уже потреблены, и Павлу Васильевичу, обнаружившему в сфере потребления меньшую расторопность, чем его коллеги, остались если не кости, то, во всяком случае, куски достаточно твердые. Но разве это что-либо значит для охотника?..

– Не хотите? Так мы за вас расскажем...

– Вы бы, Михайлов, рассказали лучше, как вы по зайцу пропуделяли!

– Я? По зайцу? Вы с ума сошли!

– Да, дорогой мой, я это отлично видел.

– Ничего подобного! Я по зайцу вообще не стрелял.

– Хорошо не стреляли! А за холмиком, налево, кто же на вас выбежал с моей стороны из кукурузы? Лев? Или тигр?

– Да я по куропаткам стрелял, дуплетом двух и убил.

– Забавные, однако, у вас куропатки: о четырех ногах и с длинными ушами...

– Да что вы тень на плетень наводите! Это ж черт знает что такое! А кто, по-вашему, обеих дроф убил?

– Вы. Я не про то. Дроф убили вы. А по зайцу промазали тоже вы. И как промазали! В двадцати шагах. И зайчишка-то вподпрыжку скоком скакал, не бежал...

– Это вам почудилось. А вот у вас – вещественные доказательства. Господа! Обратите внимание на эту светлую личность. Видите, он весь рябой? Это он в болоте искупался! И нам орал благим матом, что стрепета убил. Понимаете? Стрепета! Это в болоте-то! Вот это охотник так охотник!

Оказывается, Павел Васильевич, выпугнув из тростника выпь, был уверен, что убил стрепета, хотя никак не мог понять, откуда мог стрепет очутиться в болоте. Но, еще не найдя своей жертвы, он имел неосторожность заорать, что убил стрепета. А так как сгоряча он поскользнулся, упал и при этом изрядно выкупался в ржавой болотной грязи, то по совокупности совершенных им подвигов ему и было выдано многожды: над ним трунили всю дорогу, и несчастный Павел Васильевич не знал, как ему отборяться. Впрочем, то, что Михайлов промазал по зайцу, было правдой, хотя Михайлову поверили все, кроме Павла Васильевича, который видел всю сцену до мельчайших подробностей. Впрочем, одни Михайловские дрофы, которых он притащил на спине (это и был тот горб, который разглядели зоркие глаза Ивана Егорыча), перевешивали все остальное...

– Охотники! Пора и честь знать! Скоро вы? – обратился Иван Антоныч к Михайлову.

– Сейчас. Разморили нас, Иван Антоныч, голубчик. Вы уж не сердитесь: сделали глупость, взяли нас в свою компанию – так и платите по счетам.

– Да я ничего, – несколько сконфуженно пробормотал Иван Антоныч. (Я, кажется, не так сказал: получилось неудобно, – мелькнуло у него тотчас в голове.)

– Сейчас, сейчас. Вы уж извините.

Наконец все рассаживаются и пускаются в последний путь. Михайлов снова берет с собой дочку, прижимая ее к своей могучей волосатой груди, которая выглядывает из-под пропотевшей насквозь рубахи... Солнце уже спускается на горизонт, и весь восток пламенеет. Отлогие стороны холмов залиты золотом. Небо горит неистовым пожаром. Оно разверзается, как необъятно-блистательная и сверкающая драгоценная парча, на которой вышиты синие узоры с ослепительными краями. Солнце садится все ниже и ниже с какой-то непонятной быстротой. Его сияющие лучи пробивают своими стрелами облака, которые, синяя, робко жмутся друг к другу, точно

стесняясь всего великолепия гигантского светила. Огненно-красный шар опускается в океане пурпурной стихии. С полей несутся душистые медовые запахи и терпкий горьковатый аромат полыни. Громадная стая галок заполняет вдруг небо, и тысячеголосый гортанный разговор птиц – точно лопаются металлические мембраны – несется с высоты, удивительно гармонируя с затихшим вечером.

Протяжным отзвуком, в пространстве

беспредельном сливаясь в стройный хор, согласно и томно, В таинственной дали, в союзе нераздельном Все краски, запахи и звуки заодно.

Вот уже солнце – у самого края земли. Оно сплющилось, растянулось в ширину, точно делает последние усилия, чтобы удержаться, не потонуть, не захлебнуться... Но оно тонет и тонет в багровом океане, и нечем ему уцепиться за край темнеющей земли. Уже пробежала откуда-то сорвавшаяся волна прохлады, обдав всех своим свежим дыханием. Уже затонул маленький красный сегмент на горизонте. Уже побледнел, словно заболел смертельною хворью, веер раскидистых лучей солнечного прожектора, бросающего их из-под земли. Багряное буйство исчезло. Золото потухло. Оранжевые тона поблекли. Нежная золотистая прозелень тихо отступала перед неуловимым нашествием голубой, чуть фиолетовой, стихии. Затеплились и замигали звезды, и бездонный, необъятный купол ночного неба зацветал их чудесной серебряной россыпью. А вдали среди опустившейся на землю тьмы уже переливались огоньки города...

7

В Бельцах разразилась эпидемия оспы. Не то чтобы большая эпидемия, но несколько случаев натуральной оспы и несколько смертей было зарегистрировано врачами и полицейскими на соответствующих бланках и с соответствующими подписями, – какое же после этого могло быть сомнение? И вот родители Коли решили привить повторно оспу всему наличному составу петровского семейства, и старым и малым. Коля страшно испугался этой операции. Странно: когда его однажды чуть было не загрызла большая собака, вцепившись в левое плечо, он даже не закричал, а только потом, весь бледный, сказал сквозь слезы, когда ему делали перевязку: «Она... она... меня... искусила». Рубцы

остались у него навсегда. Он мог без страха совершать опаснейшие путешествия по крышам и высоченным деревьям. Он висел вниз головой на сучьях, и был Такой случай, когда он лежал недели две, не будучи в состоянии повернуть головы, – едва не свернул себе шейных позвонков. Однажды он залез по голому стволу дерева, уцепился руками за первый сук и, отпустивши ноги, не мог слезть, висел на руках до тех пор, пока не приволокли пожарной лестницы и не сняли его; он насилу мог разжать руки. Словом, похождения его были многообразны и в этом многообразии очень рискованны. Перед ними он не отступал. Но прививки оспы напугался до чрезвычайности: то ли его смущало представление о докторе с холодными режущими инструментами, то ли в самом словосочетании «прививка оспы» звучала какая-то непонятная жуть – а все непонятное и незнакомое усиливает страхи, – то ли он боялся гноящихся красных нарывов и не хотел неделями быть и здоровым и больным одновременно, то ли все это действовало совместно, – во всяком случае, мальчик решил во что бы то ни стало избежать этой операции.

Приехал доктор с видом авгура, с той серьезностью, которая подобает сознательному спасителю страждущего человечества. Конечно, ему здесь ровно ничего не принадлежало: ни микробов оспы, ни учения об иммунитете, ни сыворотки он не открывал; его роль сводилась к нескольким техническим жестам, доступным всякому, как доступен нажим электрического звонка и для человека, не имеющего ни малейшего представления о природе электричества. Но вид у него был такой, будто именно он хранит в кармане своего чесучового пиджака ключи от великих тайнств медицины, что именно на него должны взирать с суеверным почтением обыкновенные смертные, что именно от него зависит жизнь и смерть и что именно он есть священный сосуд премудрости... Он с комичной сверхсерьезностью разложил на белоснежной скатерти свои блестящие холодным блеском орудия и препараты, потребовал спиртовку, с необычайной важностью и медлительной основательностью стал мыть руки, потом кипятить инструменты, протирать их спиртом – и все это в таинственном молчании, торжественно, как верховный жрец. Должны были начать с Коли. Но Коли не оказалось. Организовали поиски. Доктор с недовольным видом ждал: помилуйте, ведь пропадало его драгоценное время! Иван Антонович был взбешен – неудобно перед доктором до чертиков! Он бегал по саду, кричал, наконец, заприметил красненькую рубашонку

сына. Он погнался за ним – Коля от него. Вот уж отец стал его нагонять, но Коля перемахнул через забор, в соседний виноградник. Но тут случилась для него крупная неожиданность. В этом винограднике как-то очутилась известная своей бодливостью соседская корова. Она-то и пришла на помощь Колиному папаше и, наклонив голову, погналась за мальчиком. В страхе он метнулся к другому забору – высокому забору, отделявшему виноградник от поля, и буквально из-под рогов перемахнул и через этот забор: он уже чувствовал теплое дыхание животного прямо за своей спиной, когда прыгнул на землю. Сердце колотилось, как у пойманной птицы, он задыхался, холодный пот покрывал все тело. Он был обессилен и долгое время не мог опомниться и сообразить, что же такое, в конце концов, случилось, – так молниеносно все произошло.

Между тем дома священнодействие началось. Иван Антоныч извинялся на все лады за задержку, ругательски ругал сына, но пришлось обойтись без него: доктор всем попривил оспу, его напоили чаем с коньяком, чем ублаговторили с избытком, и он, получив причитающуюся мзду, ушел восвояси.

К вечеру Коля заявился, запыленный, с виноватым видом, как блудный сын, возвратившийся в отчий дом. Родители решили все же его наказать и заперли в комнату, где стояла ванна. Коля огляделся. В комнате было пусто и скучно. Наказание его обидело до дна души. Что он, в сущности, сделал особо плохого? Почему им, Колей, можно распоряжаться и так и этак? А если он не хочет прививать себе оспу, то чего же насильничать? От обиды у него в горле катался горький комок, спазмы душили его, губы дрожали, на глазах выступили слезы. К тому же он хотел есть, но из гордости решил не просить ни кусочка; раз уж они забыли даже накормить его, хоть он целый день ничего не жрал, значит, нечего с ними и разговаривать...

Потом вдруг в его голове созрел план. Он потрогал оконные рамы, отодвинул задвижки и с обезьяньим проворством вылез через окно в палисадник... Подумал с минутку. Забрался в густые кусты, которые росли тут же под окнами. Там он соорудил себе логово, примял траву, заплел ветки над собой так, чтобы они не торчали во все стороны и не кололись, и засел себе в бест, предаваясь горьким размышлениям. Пусть теперь его поищут! Пусть узнают, что значит, когда его нет! Сами его обидели – пусть теперь поплачут...

– Коля! Коля – раздалось глухо. Молчание.

– Коля! Да иди же! Никакого ответа.

Коля выжидает. Из кустов он видит, как в комнату, из которой он убежал, отворяется дверь, входит Любовь Ивановна со свечой в руке и застывает в изумлении: Коли нет!

Ну и хорошо! – думает мальчик. Мать стоит со свечой. Видно, как дрожит пламя и как колеблется тень на стене. Потом мать наклоняется над ванной – очевидно, смотрит, не утонул ли он в воде: ванна была налита. Вот она стоит неподвижно. Открывает окно. Пламя свечи волнуется от струи воздуха, и Коля различает из своего убежища, как быстро наплывает на свече стеарин. Он сидит тут, совсем близко, затаив дыхание.

«Пусть. Пусть», – думает он. И ему уж начинает чудиться, что он и в самом деле потерялся, исчез, даже умер. Папа и мама смотрят на его труп, и плачут, и горько раскаиваются в том, что обидели его, Колю. Он хочет подумать: так им и надо! – но, несмотря на то, что ему жаль себя и что сладко видеть раскаяние родителей, ему начинает становиться жалко и их. Он уже чувствует, что его слезы смешиваются с их слезами. И он не выдерживает и, рыдая, кричит:

– Мама, я здесь! Я – здесь!

Мать есть мать. Она уже забыла все проступки сына. В ее душе только одна радость и больше ничего, – радость, что Коля нашелся, что он цел и невредим. Все остальное – точно и не существовало, его просто не было.

– Как ты меня напугал, Коля. Я ведь сперва думала, что ты утонул в ванне. Где ты был?

– Я... Я... мамочка... я сидел в кустах...

– Что ж ты там делал?

– Я... я... мне было... у меня...

– Да что ты плачешь... дурачок? Ваня! Иди сюда! И мать рассказывает мужу всю историю.

– Ты что же это, Коля? Как тебе не совестно: ведь ты мать мог до обморока напугать! Знаешь, что она родила недавно, что волноваться ей вредно?

– Я не хотел...

– А чего ты от доктора дурак дураком удрал?

– Больно...

– Баба ты, вот что!

– Не ври, папа, ты знаешь, что я не баба.

– Да как же не баба? Царапины испугался! Герой! Вот я Тосе расскажу, какой скандал ты учинил! Прямо Уриэль д'Акоста! Да что это у тебя штаны-то сзади?

Оказывается, вдобавок ко всему, перескакивая в испуге от коровы через забор, Коля разодрал штаны самым неприличным образом и сгоряча этого даже и не заметил. Впрочем, штаны внесли юмористический момент во все происшествия, и изъясн, обнаруженный Иваном Антонычем, послужил только толчком к полному примирению. Коле уже теперь казалось почти смешным то, что так недавно было трагическим. Разве, в самом деле, Уриэль д'Акоста убежал бы от доктора? И разве не глупо было сидеть в кустах и плакать над своим воображаемым трупом? Ведь все это неправда, выдумка одна!

И Коля жадно уписывает холодные котлеты, густо посыпанные солью, и вареники с вишнями; они слежались в тарелке на погребке, пустили сок и удивительно вкусны. Коля уписывает их за обе щеки, и жизнь ему уже совсем не кажется такой плохой, как казалась час тому назад...

В один прекрасный день старая нянька Андрюши взяла с собой Колю и Володю в город. Ходили по лавкам, покупали всякую всячину: свечи, мыло, морковь, зубной порошок, мясо, виноград... Все это нянька ухитрялась втиснуть непостижимым образом в корзину, тщательно отделяя бумагой один товар от другого – иначе смесь получилась бы изумительная. Под конец зашли в колониальную лавку Попова, Здесь пахло мятными пряниками, ванилью, карамелью дюшес (так пахнут теперь – грушевой эссенцией – лаки, которыми кроют хорошие легковые автомобили); по стенам – полки, уставленные товарами; тут и стеклянные банки со слипшимися конфетами разных сортов; и конусообразные сахарные головы, завернутые в толстую синюю бумагу; и узорчатые жестяные коробки с чаем фирмы Перлова; и копченые сиги; и колбасы, поверхность которых уже тронута плесенью, и окорока, и бутылки с винами, водками, наливками всяческих сортов, на любителя: одни – толстые, пузатенькие, другие – длинные, с вытянувшимися горлышками... Хозяин, русский, чистенький, аккуратный старичок, в сером опрятном пиджачке, осуществляет надзор за своими молодцами, что в белых передниках стоят за прилавком и иногда выхватывают из-за уха карандаш, чтобы записывать счета покупателям. Он благообразен, сухощав, с седой подстриженной бородкой; ходит по лавке, потирая руки – не от холода, конечно, а просто так, для удовольствия. Его дело – быть экспозитурой вежливого обхождения; он даже в мягком воротничке, при галстукe – словом, со всеми манерами. Пока нянька выбирает всякие предметы, он подходит к мальчикам.

- Вы чьи будете?
- Петровы.
- Податного инспектора? – Да.
- Очень приятно. Ты конфеты любишь? – спрашивает он Колю.
- Люблю.

Попов идет к банкам, достает конфеты и протягивает Коле с Володей. Но Коля вдруг отворачивается и резко говорит:

- Мы не нищие.

Лавочник не знает, что ему отвечать: он никак не мог ожидать такой реплики от мальчонки. Володя тоже надулся. Нянька закончила свои покупки, и, пока хозяин обдумывал создавшееся положение, все трое, сказав «до свидания», уже ушли. Мальчишки так были наслышаны о взятках, что Коля увидел в конфете своеобразную взятку, которую Попов хотел ему всучить под его достоинство, как инспекторского сына, и поэтому вспыхнул, как всегда с ним бывало в большие или малые критические моменты. На следующий день чуть ли не по всему городу ходила молва о детях: ну и ну, вот так ребята! Сам Попов стал в позу похвальбы им, истолковав дело так, что уж больно строго их родители держат, хоть они, мол, дети и уж такая строгость ни к чему. Ему не хотелось возможных, как он полагал, конфликтов.

Обычная жизнь Петровых была нарушена внезапным и неожиданным вызовом Ивана Антоныча в Кишинев, губернский город, где проживало высшее начальство и где была губернская казенная палата. Он быстро собрался, захватил с собой различные бумаги, документы, отчеты, статистические материалы, важнейшие текущие дела и отправился в Кишинев. Здесь его встретили с холодной вежливостью, сделали даже несколько комплиментов по адресу его «безукоризненной честности». Но когда в ходе этого ледяного разговора у начальства стали появляться иголки на предмет мирволенья «жидкам» (все это с извиняющимися, якобы понимающими улыбочками), когда стали делаться прозрачные намеки на то, что Иван Антоныч ведет себя не так, как другие, и эта оригинальность «нам не по плечу» (мы, знаете ли, должны идти в ногу), то Иван Антоныч понял, что мина под него уже подложена и что ему остается только самому ее взорвать. Впрочем, если говорить по правде, то в минуту разговора он не очень-то взвешивал все pro и contra, он просто бесился внутренне; ему хотелось плюнуть в лицо выхоленному крупитчатому начальству в новеньком, с иголки, вицмундире. Плюнуть он не плюнул, но наговорил таких резкостей,

что отступление было уже невозможно: корабли были сожжены, и он тут же заявил, что подает в отставку, раскланялся и уехал обратно в Бельцы.

Насколько все уже созрело, он убедился тотчас же по своем приезде. Оказалось, что, пока он ездил в Кишинев, в Бельцы прибыло новое лицо, некий Примеров, из молодых да ранний, бывший в Кишиневе чиновником «для особых поручений», связанный, очевидно, с высокими полицейскими властями. Он приехал в качестве кандидата на должность Ивана Антоныча и в завуалированной форме на это довольно недвусмысленно намекал. В провинциальном городишке такие события распространяются с быстротой радиogramм. Весь чиновничий мирок уж был осведомлен, что дни Ивана Антоныча сочтены; поэтому сразу же, точно по мановению волшебной палочки, произошло новое выравнивание всего фронта отношений, и довольно значительная людская цепочка повернулась к Ивану Антонычу если не задом, то, во всяком случае, боком. Это обстоятельство, однако, его мало огорчало: он был в раже возмущения и уже плевал на все и вся с высокого дерева, давая многим язвительные и меткие характеристики, от которых прежде прежде воздерживался.

Примеров между тем функционировал весьма энергично, сколачивая так называемое «общественное мнение». Это был молодой человек, безукоризненно одетый в отличнейший английский покроя пиджак, на отвороте которого красовался эмалевый ромб университетского значка (молодой человек кончил юридический факультет одного из южных университетов). Тщательно, на косой пробор расчесанные волосы были спереди взбиты коком. Ботинки сверкали. На жилете красовалась толстая золотая цепочка. На правой руке – перстень с «камнем». Крахмальное белье сияло, как только что выпавший снег на солнце. Говорил он растягивая слова, немного в нос, немного сквозь зубы, важно и членораздельно, как подобает лицу, пользующемуся доверием начальства. Ходил он так же выразительно, как и говорил, и даже руками двигал, казалось, с неким расчетом: сознательные ручки были у молодого человека! Физиономией он вышел же особо удачно: прыщеватое и красноватое незначительное лицо, нос пупочкой, жалкие светло-рыжие усики, которые он брил и подстригал, хотя объекты стрижки и бритья нужно было разыскивать чуть ли не с лупой; маленькие хитрые свиные глазки стремились быть очень выразительными, пыжились иногда вылезти из орбит, но от этой старательности ничего не получалось. Все эти недостатки компенсировались «фасоном», а держать фасон Примеров был

большой специалист, можно сказать, настоящий мастак. В винт и преферанс он мог дуться без конца. На коньяк был поразительно крепок. Но панибратства с собой не допускал. Наоборот, все его поведение демонстрировало «пафос расстояния», социального, специально чиновничьего расстояния между ступенями иерархической лестницы. Главное, Примеров умел внушать к себе почтительный страх. Еще не успел он занять официальной должности, а перед ним уже трепетали: трепетали евреи (у них была своя, весьма точная, информация), трепетали русские торговцы – и те и другие уже напряженно думали о «дарах», трепетали и сами чиновники: а вдруг он начнет тасовать людей, как карты, – одного сюда, другого туда: большой вес имеет человек, у самого губернатора на балах танцует, за дочкой его высокопревосходительства, говорят, ухаживал. Одним словом, кредит Примерова в чиновничьем мире стоял уже весьма высоко, и молчалины выстроились в струнку, со всеми своими запасами подобострастия, страха, надежды, лести, угодливости и прочих специфических добродетелей.

В ближайший царский день Примеров в мундире появился в церкви, заняв первое место в ряду почтительно расступившихся чиновников. Он покровительственно-ласково оглядел всех, точно рекомендуя себя как лидера самодержавия и православия на предстоящем посту. Потом стал в торжественную позу, подобающую его величию, и крестился изредка маленькими крестиками, лениво и медлительно, точно он и самому Господу делал одолжение, считаясь с желанием начальства. Ивана Антоныча в церкви не было: он ходил только тогда, когда это было абсолютно необходимо со служебной точки зрения, и чувствовал себя там преглупо. Таким образом, Примеров в церкви, можно сказать, наладил официальную смычку со всей верхушкой белецкого чиновничества и был здесь втихую точно миропомазан совокупной чиновничьей благодатью.

Когда служба окончилась и народ стал расходиться, к Примерову со всех сторон уже потянулись почтительные фигуры с поклонами и так называемыми искренними рукопожатиями. Он принимал все эти знаки внимания как должное. А дальше завязался тот беглый разговор на ходу, который часто является определяющим для целого ряда взаимоотношений.

- Ну, как у вас тут дела?
- Помаленьку, Алексей Васильевич. Ничего особенного.
- Я, господа, откровенно вам говорю: я буду подтягивать...
- Рады стараться: это наш общий долг.

– Говорят, жидов здесь совсем распустили: все чесноком провоняло.

– Есть грех.

– Как же это так? Ведь вы православные, царю и отечеству служите...

– Есть распушенность, есть, что и говорить, обнаглели жидки у нас.

– Кто ж виноват тут? Не от Бога же это, ха-ха-ха?

– У нас, Алексей Васильевич, Иван Антоныч был очень слаб на этот пункт.

– Да я еще в Кишиневе слышал, что он жидам мирволит.

– Мирволит. Он, знаете ли, по правде сказать, православный только по названию. Кажется, русский, а насчет пархатых...

– И что же он это, даром?

– Все говорят – даром.

– Дда... Я-то этому, господа, сам мало верю, чтоб даром. Таким одолжений даром не делают. Но, конечно, это дело ваше – верить. Тем более что...

– Да кто знает, Алексей Васильевич, мы ведь сами точно не знаем... Только все так говорили, вот и мы...

– Хорошо-с. Я, со своей стороны, господа, заявляю вам, что жидов буду в бараний рог гнуть. Я им не Иван Антоныч. Это вы должны знать наперед.

– Слушаем-с.

– Мы обязаны сделать город русским городом, понимаете?

– Понимаем.

– Торговцы русские тут есть?

– Есть.

– И что же они – в таком же положении, как и жидова?

– Иван Антоныч никакого различия не делал. А известно, жид, Алексей Васильевич, сами знаете, проныра: он всюду пролезет и всякого вокруг пальца окрутит.

– И Иван Антоныч нашим... ээ... ээ... не помогал?

– Он все о равноправии толкует. Говорит, в законе не сказано.

– Возмутительный господин! И вы это терпели?

– Начальство все-таки было, они, Иван Антоныч то есть.

– Вы хоть писали об этом в Кишинев?

Пауза. Люди мнутя: и хочется, и колется, и бабушка не велит. Некоторые из них тайком писали-таки доносы на Ивана Антоныча. Но говорить об этом не решаются: а вдруг он останется? Пока лучше помолчать, потом видно будет, дело всегда успеется.

– Говорят, кое-кто писал. Да мы точно не знаем.

– М... Хороши, нечего сказать.

– Но теперь вы вот приехали, и ваши слова, Алексей Васильевич, будут приведены к неуклонному исполнению. Наконец-то твердая русская рука у нас в городе будет.

– Дла... У меня, господа, все восчувствуют... У меня не пошалишь... Я, знаете, строг, но справедлив... Да, господа, именно так: строг, но справедлив.

– Видно сокола по полету, как говорит наша прекрасная русская поговорка.

– И по-латыни, господа, есть нечто подобное: *ex ungue leonem*. Это, это будет по-русски: по когтям я узнаю льва.

– Вот именно, по когтям... хе-хе-хе... по когтям... Метко придумано. Не в бровь, а прямо в глаз.

– Благодарю вас, господа. Надеюсь, что общими дружными усилиями мы... эээ... выполним... наш... наш долг.

Примерову подали приличную коляску – он как-то успел в несколько дней обзавестись и экипажем, записав расход в графу «на представительство», – и он укатил, сопровождаемый подобострастными взорами кучки чиновников, вершителей уездных судеб.

Иван Антоныч очутился в том нелепом положении, в котором бывает всякий, кто фактически смещен, а юридически еще нет: человек ведет здесь как бы двойное существование; он и живой человек, во плоти, даже со всеми атрибутами подданного державы российской, т. е. с душой, телом и паспортом; с другой стороны, он только китайская тень. Осталась форма, материализованная в мундире, – реальная функция исчезла. Те же самые слова, которые он говорил раньше, теперь означают уже совсем не то. Он говорит, а его не слушают: переменялось его общественное бытие, и с этим переменялось все. Хорошо еще, что Иван Антоныч обрезал все служебные нити, перестал принимать и сразу стал готовиться к отъезду в Москву: его скоропалительность в данном случае пошла на пользу, иначе пришлось бы ему на каждом шагу пить по глотку из горькой чаши.

В семье его решение об отъезде было принято с двойственным чувством. С одной стороны, все негодовали и возмущались. С другой – были рады, что пришел конец захолустному мелкотравчатому бытию. Правда, для Любови Ивановны переезд был связан с большими заботами и трудностями: на руках трое ребят, да один из них – грудной младенец, а ехать трое суток по одной железной

дороге, не считая перекладных. А потом, как жить дальше? Ведь теперь приходилось ехать на ура. Никакого места у Ивана Антоныча не было. Что-то ждет впереди?.. Но и для Любови Ивановны отъезд из Бессарабии представлялся все же каким-то выходом, хотя и мучительным: ей белецкая жизнь опротивела до крайности. Сам Иван Антоныч, по характеру своему отнюдь не склонный к пессимизму, перекипев и переволновавшись, уже заплывал в облаках радужных надежд и перспектив: все ему казалось, как всегда, гораздо легче, чем потом оказывалось. Он уже строил планы, с подъемом декламировал стихи, сажал к себе на колени Колю и предавался с ним совместным мечтам... Коле больше всего хотелось в Москву потому, что его очередным увлечением были некоторые девриеновские издания, проспекты которых, да еще с рисунками, ему попались на глаза: «Жизнь моря» и «Атлас бабочек Европы и среднеазиатских владений» были предметами его самых заветных мечтаний. Пока не пришел последний час, час расставанья, Москва светилась огромным маяком; там все было привлекательно, все чудесно... Очень горевали по поводу готовящегося отъезда все Станевичи, и старики, и молодые. Они сжились с Петровыми, привыкли к ним и были довольны ими не только как жильцами, но и как людьми. Старики, Иван Егорыч и Катерина Ивановна, коренные молдаване, видели в первый раз таких русских, которые не фыркали на их «посртим», «пофтим», так же как не фыркали бы на немецкое «bitte» или на итальянское «prego»; которые с большим интересом смотрели на молдаван, отплясывающих свой «джок», чем на обычные всеобщие вальсы и польки. В отношениях между этими стариками и Петровыми не было ни малейшей натянутости, неискренности или холодка: наоборот, все было просто, ясно, по-человечески хорошо. Правда, базой служил быт, сам по себе ограниченный и узкий, – здесь не летали высокие идеи. Но в пределах этого быта лучших отношений нельзя было бы себе представить. А Елизавета Ивановна, которая интересовалась и литературой, и музыкой, горько горевала и чуть не плакала, когда узнала весть о предстоящем отъезде Петровых. В белецкий «свет» она не была вхожа и большую часть своего свободного времени проводила у Петровых – здесь был для нее и очаг культуры, и известное развлечение. И вот теперь всему наступает конец!..

Когда Иван Антоныч послал телеграмму своему брату-доктору и жениным сестрам о выезде, этот выезд вдруг придвинулся ко всем с такой реальностью, точно пароход, внезапно обрисовавшийся из тумана: он стоит, ждет вас, и нужно взбираться по трапу. Упаковка

шла полным ходом; доставали откуда-то большие деревянные ящики, гвозди, бумагу; завертывали, закручивали, завязывали; стучали молотками, занаживали себе пальцы занозами, сутились, превратили всю квартиру в состояние такого ералаша, какого, казалось, свет не создавал. Коля носился с проблемой: как довести его драгоценную коллекцию бабочек, неизмеримо более хрупких, чем самый хрупкий фарфор. Он тоже суегился, требовал огромных количеств ваты, чтобы уложить свои ящички в нежнейшие колыбели, надоедал всем своими приставаниями, вертеться бесенком «между ногами. Володя ему усердно помогал. Младенец Андрюша, выбитый из колеи вавилонским столпотворением, безумно орал, и тщетны были все попытки его успокоить. Мокрые простыни, бутылки с молоком, соски, лекарства – все это вихрилось уже самым нелепым образом во взметенном сорвавшихся со своих мест урагане вещей, которые словно опрокидывались друг на друга. Только через несколько дней возник новый порядок: стояли немые заколоченные большими гвоздями ящички, точно гробы. От них пахло смолой и стружками. Коля уже с тоской ходил по саду, прощаясь со всем милым и привычным. Сердце его рыдало и разрывалось на части. Все было полно воспоминаний: вот в этой тусе он поймал зарянку, по этой аллее за ним бежала Елена Владимировна, здесь он нашел кокон сатурнии, по этим деревьям лазали за гнездом сорокопуга... здесь проводили и ясные солнечные летние дни, и тихие вечера, когда в косых солнечных лучах танцевали тысячные рои мошек, точно живые пылинки; здесь ходили, дышали и упивались весенними запахами, красками и звуками, когда весь сад покрывался нежным белым и розовым снегом цветов, когда цвели абрикосы, и яблони, и груши, и вишня, и пчелы жужжали, забираясь в медоносные чашечки за добычей; здесь среди репейников, на только что выпавшем девственном снегу, ставили силки под щелгов и зеленушек, – как трепыхались вольные дикие птицы в петлях!.. Здесь Иван Егорыч зарубил заступом хомяка... Все оживало перед Колей: вереницей проходили игры, приятели, птицы, бабочки, деревья, радость, горе, восторг, удача, слезы, Елена Владимировна, Тося... От тела отрывали живые куски мяса, и они трепетали, умирая и не будучи в состоянии умереть.

Но всему на свете бывает конец, бывает конец и мукам промежуточных состояний, когда проглатывается последняя тайная слеза души, и кризис проходит, разрешаясь в какую-нибудь новую

фазу, которая, возникая, в свою очередь обречена на исчезновение в вековечной смене времен...

Прозвучал колокол сроков, и вот уже Петровы на пути в свои коренные, родные места.

8

У Ивана Антоныча было три брата, из них два доктора: Георгий Антоныч и Михаил Антоныч, или, как их называли в семье, «Жорж» и «Михалушка», иначе «Мартыган». Несмотря на родство, общее воспитание, наконец, общую профессию, трудно было представить себе человеческие типы, более противоположные, чем они. Георгий Антоныч, ловкий, подвижной, с густым бобриком мягких волос, большими насмешливыми глазами, умница, острослов, ухажер, любимец дам и далеко не платонический их поклонник, был быстр, уверен в себе, находчив, весьма либерален, даже радикален по взглядам. Он долгие годы служил городским врачом в одном из уездных городов Смоленской губернии и числился «душой общества» среди местной интеллигенции. Врач он был отличный, его очень любили пациенты, и не только пациентки, хотя на стороне последних был явный перевес. Медицину он знал превосходно, считался великолепным практиком, следил за специальной литературой. Но, по существу говоря, относился к ней сугубо скептически и в откровенных разговорах об этом предмете выставлял два тезиса, составлявших, по его мнению, основы успешного врачевания: во-первых, не навредить больному; во-вторых, убеждать его, что он должен выздороветь. На лекарства он смотрел совсем отрицательно и прописывал какие-нибудь пустяки. И нужно отдать ему справедливость, что так или иначе, но результаты у него были всегда лучше, чем у других врачей, – лесеажевского доктора Сангрето он не напоминал ни в малейшей степени. С больными он всегда был весел, приветлив, с дамами – обворожителен; когда он уходил от больных, в большинстве случаев – если речь не шла о чем-нибудь особо тяжелом – эти больные чувствовали какой-то подъем бодрости: весь их тонус повышался. Был Георгий Антоныч большим чистехой, всегда хорошо одет, всегда тщательно выбрит, всегда в свежем белье...

Михалушка подвизался в деревне, работая в земской больнице. Низенького роста, близорукий, в пенсне, обросший клочьями бороды, серьезный, он был застенчив, не шибко умен, медлителен во всем: в

мыслях, в движениях, в речи. Добросовестность его была необычна, но именно в силу своей чрезмерности она превращалась в его основной порок. Когда в свое время он кончил гимназию и должен был держать экзамен на аттестат зрелости, вдруг ему почудилось, что он не «созрел», хотя он был прекрасно подготовлен к экзамену. И, как его ни выгоняли из дому, он упорно не двигался с дивана, где лежал, читал Спенсера и так и не пошел, остался на второй год: раз ему взбрехала мысль о незрелости, никакие силы не могли его сдвинуть с места. Он закладывал ногу за шею, как мартышка (оттого его и звали «Мартыган»), и размышлял... Жорж любил ехидно изображать, как, по его мнению, Михалушка должен объясняться в любви:

– Знаете, я вас, может быть, сегодня поцелую... Нет, пожалуй, завтра... А в самом деле, может, сегодня? Да, пожалуй, сегодня... Нет, лучше уж завтра...

Дело свое он изучал пристально и серьезно. Но это изучение никак не шло впрок. Ибо он имел святую наивность выкладывать перед большими все свои диагностические сомнения: у вас может быть то-то, но есть симптомы и совсем другие; в таких случаях знаменитость такая-то рекомендует делать то-то, а другая знаменитость советует этого остерегаться, как огня; в медицине еще, мол, далеко не все известно и т. д. Словом, больной думал про себя: ну и доктор, черт его подери, сам ни черта, по-видимому, не смыслит! – и стремился в следующий раз обратиться уже к какому-нибудь другому эскулапу. Правда, в сельском захолустье это рассуждательство изрядно сократилось: работы было уйма, больные съезжались со всей округи, здесь уж просто времени на теоретические сомнения не хватало, да с мужиками и не особенно разговоришься. Но медицинское гамлетизирование Михаилу Антонычу вытравить из себя не удалось. Впрочем, он к этому отнюдь и не стремился, принципиально утверждая необходимость всестороннего обсуждения, рассмотрения, изучения. Этот не шибко борзый умом увалень был, однако, замечательнейшим шахматистом, и не находилось в среде встречавшихся с ним людей человека, который знал бы так досконально теорию и практику шахматной игры, – здесь он стоял вне конкуренции. Жил он бобылем, одевался кое-как, лишь бы быть прикрытым, в свободное время, усталый, он лежал и читал. С женщинами дел не имел, табаку не курил, водки не пил вовсе, в карты не играл. Любил уединение, почти затворничество. Разводил кур, уток и индюшек. Из всего не особенно богатого лексикона его речи наиболее употребительными словами были «говенник» и «милочка», причем оба слова выражали лишь различные оттенки ласкового

добродушия. К людям относился хорошо. К властям предержавшим чувствовал известное почтение и даже Бога не отрицал начисто, а находил известные основания и для веры, цитируя при этом шекспировскую фразу о том, «что и не снилось нашим мудрецам»: и тут-де, мол, много неизученного... Его медлительному мышлению и характеру, поискам твердого, прочного и незыблемого был свойственен какой-то нутряной консерватизм; игры ума и воли у него не было никакой.

Село Тесово, где стояла его больница, ничем не отличалось от тысяч других сел средней полосы России: так же лепились растрепанные подслеповатые избы с почерневшими соломенными крышами; так же росли перед ними тощие, чахлые рябины с подгрызенной лошадьми корой; так же стояли кирпичная церковка с золотой маковкой и неизбежный трактир; так же мужики страдали от безземелья, налогов, податей, арендной платы; так же голодали, пили водку, ходили на стенки; так же их поедом ели кулаки, становые, урядники, исправники, попы, земские начальники; так же окружали их земли помещичьи усадьбы. Больница отражала всю физиологическую исполню этой социальной жизни: раны от пьяных драк, истощение от голодовок, бытовой сифилис, заражение крови у рожениц, кашель чахоточных, рахитизм у детей, кровавые поносы, лишаи, колтуны, золотуха. Амбулатория больницы всегда была битком набита народом страждущим и обремененным: бабы с грудными младенцами, мужики в лаптях – все серо, убого, грязно, несчастно. В приемной, где пахло йодоформом и карболкой, а по полкам стояли банки и склянки, слышались стоны, а подчас и плач. Часто мужикам приходилось ехать десятки верст, чтоб добраться до больницы, и иногда больные привозились уже в таком состоянии, когда всякая медицина оказывалась совершенно излишней: у той дите зашлошь и уж совсем посинело; у того от тряски вывалились из раны чуть ли не все внутренности; а роженица с эклампсией, так та по дороге совсем померла...

В палате лежали тяжелобольные: исхудалые, кожа да кости, они были похожи на трупы под белыми простынями; их потухшие глаза медленно обводили непривычно большую светлую комнату, и их тянуло умирать к себе, домой, в душную и грязную избу, где теплее было измученной душе... В заразной палате царствовали тифы, дифтерит, скарлатина. А в покойницкую носили на носилках окоченевшие тела, принакрытые холстом, – здесь кончались все

мучения, горести, радости и надежды, и была одна *mors immortalis*, бессмертная смерть.

Петровы из Бессарабии нагрянули к обоим братьям: нужно было на первых порах хоть где-нибудь приютиться. Родители с младенцем приютились у Георгия Антоныча, а Колю с Володей переправили к дяде Мише, в Тесово. Там в то время гостила бабушка, которой Коля когда-то посылал реляции о «мертвой голове». К тому же дядя Миша взял к себе в приемные сыновья брошенного крестьянского мальчонку Федю – так что и товарищество было обеспечено. И вот после бессарабского сада, розовых кустов, абрикосовых деревьев, цветов Коля с Володей очутились в ближайшем соседстве с карболкой, йодоформом, страшной покойницей, картинами тяжких болезней, увечий, беспросветной нужды, плача и стенаний, жутких смертей. Это было для них нечто совершенно новое, необычайное, что поразило и потрясло их, даже напугало вплотную придвинувшейся обнаженностью обыденной трагичности жизни. Коля знал, что существуют и страшные болезни, и смерть, и нищета. Но все это были для него больше неопределенные абстракции, мысли-тени, вне чувственного их переживания. А тут они были воплощены, воздействовали прямо и непосредственно на все органы чувств, кричали страшными своими голосами... Как ни обрадовался Коля бабушке и дяде Мише, но больничная обстановка показалась ему такой мрачной, что он ощущал себя так, будто его придавило чем-то темным, холодным и тяжким. Первые дни он ходил подавленный, с любопытством и страхом посматривая в окна больницы, приглядываясь к служителям в халатах, которые с профессиональным равнодушием таскали больных и трупы, точно дрова или телячьи туши. Он робко подходил к крыльцу, где в очереди стояли и сидели чающие движения воды, и видел на их лицах столько скорби и тупого отчаяния, что ему становилось совестно жить без своих скорбей. Еще более поразил его один, казалось бы, совсем незначительный случай, короткая фраза, реплика черномазого, неуклюжего, большого мужика, который, злобно посмотрев на мальчика, бросил ему ни с того ни с сего:

– Ишь ты, барин! Небось каждый день мясо жрешь...

Коле сразу представилось это мясо – вареное мясо с солью и горчицей, которое он действительно ел каждый день, тогда как для других оно было недосыгаемым лакомством. Он несколько не обиделся на мужика. Наоборот, он почувствовал себя как бы виноватым за это вареное мясо с горчицей и солью. Этот упрек был упреком из того огромного, малоизвестного Коле мира, который слал

в больницу своих сынов, раненых, искалеченных, полумертвых. Коля видел крестьянских детей, с испугом жавшихся около родителей: они бросали исподлобья недоверчивые взгляды, держались за юбку матери, которая притащилась в больницу со своей хворью; у всех у них большей частью были землистые, бледные лица, раздутые животы, худенькие коленки, торчавшие из-под лохмотьев ноги в расчесах и струпьях – точно жизнь спозаранку измызгала детей и поиздевалась над их нежным, слабеньким детским телом. Коле хотелось иногда подойти к этим дичкам, белобрысым, светловолосым и робевшим. Но он и сам робел и не решался заговорить...

Так проходили первые дни. Человек, однако, привыкает ко всему на свете. И Коля мало-помалу освоился с новой обстановкой, привык к больничным картинам, но в его душу навсегда вошел этот открывшийся и новый для него мир горя, нужды, страданий и смертей.

Домик, в котором жил Михаил Антоныч с бабушкой, стоял на том же больничном дворе. По двору расхаживали породистые петухи и куры; вперевадку ковыляли, крикая, жирные утки; индюки, раздувая зоб и распуская хвосты, пыжились, наливали краской свои коралловые висюльки и топотали ногами вокруг сухошеих индюшек, которые делали вид, что все эти мужские забавы не имеют к ним ровно никакого отношения. Когда откуда-то с высоты срывался ястреб или коршун и его тень плавно скользила по земле, петухи боком, искоса поглядывали на небо, издавая тревожно-предупреждающее: «кооб», и куры мчались в сарай. Неподалеку, за окрашенным охрой заборчиком, стояли столбы с перилами, к которым приезжие крестьяне привязывали своих понурых лошадемок. К перилам были приделаны кормушки для сена. Лошади, казалось, разделяли все напасти своих хозяев: овса они обычно не видали, ребра у них выпирали, бока провалились; потертая шкура была в ссадинах, ранках, буграх и плешинах; они мрачно стояли, наклонив головы и вздрагивая всем телом, меланхолично жевали сено и, казалось, целиком разделяли мужицкую присказку: хоть бы Господь скорее прибрал – до того осточертела этакая жизнь! Зато прекрасно – как и в человеческом мире – чувствовали себя больничные свиньи, которые копошились в навозе, залезали в корыто с утиным кормом, жрали все, что им попадалось, и были настроены так же оптимистически, как вольтеровский Панглос в «Кандиде».

Володя скоро стал разделять любовь дяди Миши к куроводству; он даже научился шупать кур, с яйцом ли курица, тотчас получив от

брата полупрезрительную кличку «курошуп». Сам Коля любил приручать диких птиц, а ко всему одомашненному не чувствовал никаких привязанностей. Раз даже он чуть было не пострадал из-за этой своей неприязни к мирным птицеводческим занятиям. Ему понадобился хороший поплавок. Для лесок он надрал уже достаточно волос из конских хвостов – лошади были смиренные и даже не протестовали. Поплавок же Коля хотел сделать из толстого хвостового пера индюка. Но когда он тихонько подкрадывался сзади к индюку, увлеченному своими амурными делами, чтобы вырвать у него хорошенькое перышко, это заметил из окна Михаил Антоныч. Он схватил со стены висевший арапник и бросился к Коле, чтобы его отстегать. Взбесился он не на шутку – так он любил свой птичник. Коля, разумеется, удрал, но жил несколько часов под страхом быть выпоротым. А так как его в жизни никто никогда не порол и даже не посягал на это, то, понятно, такая перспектива держала его на почтительном расстоянии от дядюшки. Он долго не являлся домой и предстал перед ним только после сложных переговоров с бабушкой, которая его очень любила и выговорила ему полное прощение. Индюк остался невредим, да и Колина мякоть избежала знакомства с собачьей плетью. Поплавок пришлось сделать из старого выпавшего пера, но оно оказалось совсем не плохим...

Около Тесова протекала речка с глубокими омутами. Близ одного из бочагов вертелось колесо водяной мельницы. Тут же была плотина. Если смотреть с плотины вниз, легко было заметить, как у обомшелых свайных столбов неподвижно стоят сонные здоровенные голавли с широкими спинами, как в таинственной глубине проплывают стаи крупных полосатых окуней. В темной воде серебром играют уклейки, резко хороводясь у самой поверхности, веселые и легкомысленные. Стоит только закинуть удочку, нацепив муху хоть на булавочный крючок, – и вот уж в воздухе трепещет синеватое серебро. Изредка на поверхность воды выскакивает жук-плавунец, постоит минуточку с растопыренными лапками-веслами, пустит пузыри и, быстро загребая, исчезает в водяных недрах. Сюда-то и повадились ходить ребята, все трое: Коля, Володя и Федя. Целыми днями они пропадали у омута с удочками в руках. Остальное время уходило на заготовку приманок для плотвы: хлеба с ватой и подсолнечным маслом (масло – для запаха, вата – для того, чтоб хлеб не соскакивал с крючка); хороших красных дождевых червей из унавоженной земли – на окуней; на голавля – кузнечиков, на уклек – мух и муравьиных яиц. У ребят полны карманы всякой дряни: коробочки с этой рыбеёй закуской поистреплются, и в штанах оседает порошок необычно сложного

состава: тут и крошки хлеба, и клейкие ножки кузнечиков, и мушиные глаза и крылья, и шкурки муравьиных куколок, и рыба чешуя, и микроскопические комочки земли, и остатки червей – какой-то нюхательный табак для старой ведьмы! Пойманную рыбу надевают на «снижку», продевая суровую нитку под жабры и через рот, и пускают полоскаться в воде, чтоб «не заснула». У каждого своя «снижка», и наиболее удачливый и искусный рыболов гордится потом целой гирляндой нанизанных рыб. Ночью ребятам снится водная гладь омута, необычайный клев, уходящие вглубь поплавки, необыкновенные рыбы...

Когда им надоедает сидеть у бочага, они берут корзину и, задрвав, елико возможно, свои штанишки, бегут на мелкие места ловить рыбу корзинкой. Тут все – движенье, смех, неожиданности, маленькие приключения, стычки, ссоры, случайные удачи и неудачи. На песчаных отмелях ловят пескарей; под камнями – огольцов и головастую попадью; у берега, среди водорослей, где дно покрыто вязким илом и нога вдруг опускается в ледяную ключевую воду, попадают на налимы, толстые, вяло ворочающиеся в корзинке среди захваченной грязи. Изредка стукнется с разбегу небольшая щучка, и тогда корзину нужно моментально выбрасывать на берег, а то проворная рыба обязательно уйдет, заодно махнув хвостом...

Однажды среди ночи в доме проснулись от набатного звона. Церковный колокол бил тревожно, и порывы ветра, изменяя звук, делали его рыдающим и грозным.

– Пожар! Пожар!

В одних рубашках все подбежали к окнам. Даже бабушка, с распущенными седыми волосами, в длинной рубахе, босая, соскочила с постели и прилипла к окну. За рекой стояло зарево, и, точно огромный костер среди черно-бархатной тьмы, горели избы, взметая целые рои огненных мух, таявших в бездонной вышине неба. Пламя то сжималось, утихая, – и зарево тогда сразу бледнело, – то вдруг неистово разгоралось, изрыгая гигантские огненные фонтаны, и небо становилось тогда медно-красным, зловещим и страшным.

Коля стоял у окна и дрожал мелкой дрожью. Зубы у него стучали. Кожа стала гусиной, покрывшись мелкими пупырышками. Он быстро отскочил от окна, оделся и выбежал.

– Коля! Коля! Куда ты!

– Вот сумасшедший чертенок!

– На пожар! – раздалось уже за дверью, и через окно было видно, как Коля бежал сломя голову по направлению к реке.

Перебравшись по мостику через реку, в которой бешено плясали и извивались огненные блики, в темной ночи, словно разрываемой сатанинской иллюминацией, Коля добрался наконец до места пожара. Здесь стояла густая толпа народа. Все галдели, советовали, кричали, ругались. Воздух был сухой и горячий, дышал огнем. Одна изба уж почти вся сгорела, ее обуглившиеся черные останки тлели, затухая; изредка вдруг огонь находил какую-то новую пищу, точно не замеченную им сначала, и тогда злобно набрасывался на нее и пожирал вспыхивавшей огненной пастью. Другая изба недавно занялась и сеяла искрометный страшный пламень, который хлестал по воздуху красно-золотыми хвостами, раздуваемыми ветром. Толкаясь и бранясь, мужики баграми разбирали объятые пламенем бревна. Они с треском падали на землю, разбрасывая вокруг себя кучи искр. Несколько смельчаков, в том числе деревенский кузнец, забрались в самое пекло с ведрами и заливали бушевавшую стихию. Они выскакивали оттуда опаленные, с красными глазами, от них пахло храбростью и дымом, они внушали всеобщее уважение.

– Смотрите-ка, Степан опять полез.

– Ой, сорвется. Степа! Берегись, сейчас бревно упадет!

– Ветрило-то какой! Надо, робя, другие избы отстоять. Огонь-то так и хлещет!

– Ломай! Да что ты, хрен собачий, багром-то зря тычешь?

– А ты учи! Сами знаем!

– Православные, воды тащите! Да что вы стоите, окаянные, как чурбаны какие?! Тащите воды! Ванька! Петька!

За водой побежали ребята. Коля тоже ухватился за ведро и вместе с другими побежал на речку. В эту минуту он не столько думал о несчастье, о горе, о беде, которую нес с собой пожар для погорельцев. Нет! Его как-то захватывал этот пламенный вихрь, тучи искр, гуденье толпы, пляска огней в небе и в воде, отсветы пламени в человеческих зрачках, всеобщее движение, энергия смельчаков, само множество людей, послезавших со своих печек, необычность коллективного действия, буря огня, криков, жестов, яркий, свет в ночной темноте.

– Ну, живее, гольцы! Чаво запропастились? Кряхтя, ребята приволакивают воду и снова бегут, гремя ведрами, к ожившей и сверкающей реке...

– Ты что здесь делаешь, пострел? Как ты смел удрать без разрешения?

Коля видит перед собой дядю Мишу. Взлохмаченный, в пиджачишке на ночную рубашку, без шапки, Михаил Антоныч

щуруется сквозь пенсне своими близорукими глазами, как сыч на солнце.

– Я, дядя Миша, воду таскаю...

– Я вот за волосы тебя потаскаю... Бабка вон уж ревет, думает, ты пропал.

Но дядя Миша сменяет гнев на милость. Его жизнь ведь так однообразна, монотонна, сера, что пожар становится зрелищем, нарушающим эту треклятую скуку.

И он уже залезает в толпу и тоже подает советы, столь же ненужные, как и большинство их в таких и аналогичных случаях.

Вот с грохотом провалилась крыша, и огненные столбы заметались и заплясали в воздухе, змеи взвились к черным небесам, пахло дымом, гарью и жаром, и огненная крупа рассыпалась и затанцевала в стихийном безумии. Толпа отпрянула под напором пламенной волны, которую точно выплеснуло из раскаленной печи.

– Живее! Растаскивай! Тащи! Ну, робя. Сильный – раз! Дружный – раз! Прямо в глаз! Вот как у нас! – раскачиваясь, запевают мужики, в такт орудуя баграми. Ветер довольно значителен, но, к счастью, соседние избы загорожены большими липами, и их листья, трепеща, свертываясь и умирая, защищают собой напор огненного сева...

– А ты, дохтур, чаво пришел? Спал бы себе...

– Да я за племянником.

– Это который же будет?

– А вот с вашими ребятами воду таскает...

– Махонький этот? Ишь ты, шибздик какой. Чего ж он это у тебя?

– Услышал набат и убежал.

– Вот ведь что...

– А отчего у вас загорелось-то?

– А кто ж его знает? Либо кто цыгарку в солому заронил, либо спичку бросил, а может, с печки огонь – кто ж знает? Хорошо вон, что только два двора сгорело. А то намедни в Тимохине десятка полтора дворов огнем, как щучка, слизнуло. Все погорельцы в кусочки пошли, Христа ради побираться. Вот грех-то какой.

– А там отчего?

– Ну, там другое дело. Там у них праздник престольный был. Знамо, выпивши все. Вот по пьяному делу и заронили – долго ли до беды? Теперича плачут не наплачутся...

Огонь делает, очевидно, последние усилия. Его агония близка. Сруб уже наполовину разобран.

– Еще, ребята. Зацепляай! Зацепили?

– Зацепили. Запевай!

– Сильны-ый – раз!

Черное бревно рушится наземь. По нему уже пробегают только злые золотые змейки, и, как гранатовые зерна, краснеют непотухшие уголья, вспыхивая иногда мимолетными яркими огоньками. Зарево съежилось и побледнело. Пожар умирает.

Понемногу народ расходится. Идут к себе домой и Михаил Антоныч с Колей. Огни потухли, тлеют только обугленные черные груды, покрываясь местами сединою пепла. Черная ночь стала еще чернее, и даже звезды кажутся едва заметными, как не проступившая отчетливо сыпь на беспредельной груди неба. У Коли еще не улеглось возбуждение от всего виденного, и перед глазами – огни, в ушах – шум, треск и гомон.

– Да где ж это вы запропали, прости, Господи! – квохчет бабушка, всплескивая руками. – Я уж Федора за вами хотела посылать. Бога вы не боитесь! И ты, Миша, хорош: за мальчишкой побежал и сам как в воду канул...

– Мы, мамочка, ничего... – бубнит Михаил Антоныч, внезапно сделавшийся соучастником Колиного преступления. – Ну, что ж... ну, пожар... ну, посмотрели... ну, все хорошо... Нам бы чайку, мамочка. Все равно сразу теперь не заснешь.

– Я и то уж самовар поставила. Небось уж вскипел. Поди принеси его, сейчас чай заварю.

И вот все садятся за необычный ночной чай, который кажется каким-то особенным, очень вкусным. Обжигаясь и дуя на блюдечко, Коля тянет его сквозь губы, нарушая все правила благопристойности и приличия. Но здесь за этим не следят, и можно даже рыбу с ножа есть – никто слова не скажет... За окнами – темно, ни зги. Там, где недавно полыхало яркое пламя, теперь густая черная бездна, в которой ничего нельзя разобрать. Стол, лампа, скатерть, баранки, варенье из крыжовника, самовар – все это кажется таким маленьким по сравнению с буйством пожара и сутолокой толпы, словно перескочили в другой мир, коротенький, где едва можно повернуться...

На следующий день Коля отправляется на пепелище. Стоит прекрасный летний вечер. С полей тянет запахом спелой ржи. В прибрежных заливных лугах кричат дергачи. Едва касаясь лица, точно обнимая, дуют легковейные сладостные ветерки, теплые и ласковые. По горизонту тянется опаловая мгла. Раскаленным золотом сияет

глава на верхушке церкви, и яркий крест горит в кобальтовом небе. Коля взбирается по косогору на место пожарища. От толстых бревен остались одни объедки, изгрызенные огненными зубами, черные головешки в кучах седого, легкого пепла. Черепки от крынок и глиняных горшков, гвозди, куски посуды, кости в грудях золы – вот и все, что уцелело от жилого дома. Боже, как изуродованы прекрасные вековые липы! Одна их сторона обожжена и искалечена: вся листва стала коричневой, ветви скрючились, листья свернулись, их сухой, мертвый шелест печален и жалок... На пепелище роятся босоногие ребятишки в поисках каких-то неведомых кладов. Но здесь все мертво, нет даже тления... А жизнь идет своим чередом. По улице уже гуляют парни, с картузами на затылок и с ухарски выпущенными вихрами под козырьком. Они идут в обнимку, посредине – гармонист, с большой гармонией на ремне. Он лихо перебирает лады и форсисто запузывает на всю улицу модные мотивы. А на окраине, за околицей, у амбаров, где сложены большие бревна, уже откликаются залиvistые тонкие, почти визгливые девичьи голоса:

Чудный месяц плывет наад рекою,
Все объято ночнооой ти-ши-ной.

И взлетают вдруг кверху:

Ничево мне не свете не нааадо,
Только видеть тебя, милааай мой...

«Чудный месяц» сменяется заунывной песней о несчастной девушке:

Есть у пташечки гнездо,
У волчищицы деети,
У мииине, у си-ро-ты,
Никовоооо на свеете...

А парни озорными голосами жарят озорную по словам, но не по смыслу песню о проститутке:

Несчастлиная, в бордак попала
И с офицерами спала!

Заунывны были эти русские песни; «доля злая», гнет, разлука, горе, сиротство, несчастная любовь, нищета пели в них, как жалобно поет ветер в осеннюю ночь. Нигде так выразительно не откладываются самые характерные черты быта, как в народных песнях: тут его настоящий крепкий отстой. И даже те подражания, которые вошли во всеобщий оборот, вроде песен Дельвига, Нелединского-Мелецкого, Рупина, невольно отражают эти основные

линии безрадостного быта, самые радости которого так переменчивы и преходящи, что за ними неизбежно следуют по пятам, как сумрачные тени, провалы в горе и несчастье. И льются, и льются по всей стране мотивы тоски-кручинушки: «Во субботу, день ненастный», «Потеряла я колечко», «Догорай, моя лучинушка, догорю с тобой и я»... И разьедаемая властью денег деревня перекликается уже с городом: «Разлука ты, разлука, чужая сторона», «Маруся отравилась» – распевают по градам и весям обширной Империи Российской. А из подспудных глубин жизни, со дна великого ее бродильного чана поднимаются и сочатся маленькими струйками ноты протеста, горького недовольства жизнью, поиски забвения в фантазиях примитивного романтизма, воспоминания о великих народных бунтарях, тюремные песни, озорные песни фабричного люда, то здесь, то там пошевеливающего своим плечом... Голь перекатная, тюремные сидельцы разносят их повсюду, и уже с некоторым скрытым задором звучат строфы «Саша, ангел непорочный»:

Там, где солнышко не светит,
Не сияет где заря,
Там сууждено мне жисть покончить
По приказааанииию цааря!

И Коля с удивлением слышит не совсем понятные еще ему слова песни:

Это, барин, дом казееенный,
Ааалександровский централ!

Вечереет. За околицей, у амбаров, девки водят хороводы, старухи со стариками сидят на бревнах, луца семечки и тихо разговаривая, парни залихватски нажаривают на гармонике и отплясывают русскую. Потом парочками разбрёдаются по темным углам, за амбары, в ржаное поле, где можно схорониться.

Расступись ты, рожь высокая,
Тайну свято сохрани!..

А откуда-то издали звенит уверенный юношеский голос:

Час двенадцатый настал,
И красавицу хватал
Я за белы руки,
Я за белы руууки!..

Наконец и в Тесове наступил престольный праздник, то есть праздник того святого, в честь которого была построена местная церковь. В церкви было торжественное богослужение, с певчими.

Потом открылась в тот же день ярмарка. Трактир был полон чуть ли не с самого утра. За деревней, на лугу, стояли палатки с разными товарами, большей частью примитивными сладостями: орехами, простыми и грецкими, коричневыми цареградскими стручками, круглыми белыми мятными пряниками, печатными тульскими пряниками на меду, дешевой липкой крашеной карамелью, подушечками самодельного ириса, подошвообразным шоколадом, «монпансье», халвой. Деревенские ребяташки, приодетые в яркие ситцевые рубашонки и платьца, уже сновали между палатками, тратя свои заветные копейки; они изрядно вымазали свои рожицы шоколадом и конфетной краской и с завистью посматривали на мороженщика и на всякие кваски, лимонады, фруктовые воды. Тут же стояла приманка всех приманок – карусель, под балдахинном, с облезлыми деревянными конями, звоном бубенцов, шарманкой и другими диковинами. Толпы народа ходили густыми рядами – в Тесово пришли на ярмарку и престольный праздник и из других деревень. Музыка играла, карусель с треском и звоном вертелась, девки пронзительно орали, больше для показа, чем от действительного испуга, ребяташки визжали. Рядом ломался Петрушка из-за высокой будки и в конце концов со странными горловыми криками умирал под палками; разноцветные воздушные шары висели громадными виноградинами в воздухе; ребят зазывали «морскими жителями», стеклянными чертиками в трубочке с водой, сладостями, шарами, игрушками.

– Эй, купите, православные! Продаю. Продаю. Морской житель, деревенским бабам уважитель. За девками погнался, в пузырек попался!

– Эх, шары хороши, покупай, малыши!

– Есть блины! Блины! С пылу, с жару, пятачок за пару!

– Мороженое хорошее! Сливочное мороженое!

– Халва, халва! На весь свет о ней молва! Покупайте, мужички, выкладывайте пятачки!

– Православные христьяне, – заливался собственник «жителей», – поймал черта на аркане, в бутылочку засадил, чтоб он девок не ловил.

– Ишь ты, мать его за ногу поймать, за отца замуж отдать, как его разбирает.

– Куклы, куклы! Куклы большие, как всамделишные, как живые! Купите, ваше степенство, для ребяташек, – обращается разбитной торговец игрушками к местному кулаку, который в синей поддевке, сапогах бутылками и новеньком картузе важно подходит к палаткам...

А издали жадными глазами посматривают на все это великолепие – и на пряники, и на карусель, и на игрушечных коньков в яблоках с мочальными хвостами, и на уродливые куклы – босоногие ребятишки бедноты: их и к празднику не во что было переодеть, у них нет и полушки. Они не решаются пробраться в самую гущу ярмарки и робко наблюдают издали, чувствуя себя за бортом даже этой жизни...

У палаток рядом с Петрушкой сидит слепой нищий, поджав ноги. Он закатывает кверху свои синеватые белки и гнусавым голосом, стараясь перекрыть другие звуки, выводит:

Известуй: что есть пять? Пять ран на Христе, Четыре Евангеля, Три у Бога лица, Два у Бога естества, У Марии сын один, Иисус Христос, Над попами царствует, Над царями может...

– Подайте, Христа ради, православные, слепенькому копеечку, подайте от щедрот своих, буду за вас Бога молить, всегда, ныне и присно и во веки веков.

Беременная женщина, испитая, с бледным лицом, отчаянно худыми руками и чудовищно вздувшимся животом, бросает ему копейку в шапку.

– Спаси тебя Христос.

– Ах вы Сашки, канашки мои, разменяйте вы бумажки мои, – несетса чей-то разухабистый голос с карусели. Из трактира подходят уже изрядно подвыпившие. У карусели – давка, толкотня. Шум и гам, песни, изредка ругань. Облапливают девок, те, по обычаю, визжат, демонстрируя свое целомудрие.

– На что ты, черт косой, лезешь?

– Ды я так. Да что тебя, Маруха, убудет, что ли? – возражает «косой черт», бесцеремонно тиская груди какой-то толстухи... – Гы-гы, что-й-то у тебя тут?

– У тебя, у тебя, да не про тебя, – хохочет та. – Смотри, а то как двину...

В это время по дороге подъезжает прекрасное ландо; пара великолепных лошадей, представительный кучер и куча бледно-розовых и белых кружев, зонтиков, какой-то букет оранжерейных цветов. Это местная помещица Сотова изволила прибыть, чтобы посмотреть на народ. С нею, в качестве сопровождающего, исправник в мундире, две дочери и две гувернантки, немка и француженка.

Шум на ярмарке притих. Многие снимают шапки и кланяются господам. Барыня из коляски лорнирует народную сцену. Девочки с гувернантками выходят. Они хотят пройти немного дальше, но уже слышится окрик:

– Nicht weiter, bitte, Mariechen. Bleiben sie hier⁵.

– Ah! Le peuple russe! Il est bon! Cette seine est tris pittoresque, madame!⁶

Madame, снисходительно улыбаясь, соглашается. Исправник дает какие-то пояснения.

– Schon genug!⁷

– Еще минуточку посмотреть, – пищат девочки.

– Нет, дети, хорошенького понемножку. И тут пьяные! Едем домой!

И коляска исчезает. Помещица насмотрелась уже на «peuple russe», и ей все это малоинтересно.

– Ну и задница у барыни, – зубоскалит подвыпивший парень, – вот бы на этакой карусели прокатиться, ха-ха-ха! С бубенцами...

– Ты мотри, за эти за слова тебя... знаешь?..

– Да я ничаво... Я...

– То-то.

В трактире – истинное столпотворение, песни, крики, звон разбиваемой посуды, настоящий содом. Махорочный дым так и прет из окон.

– Бывали днии весееелые, – ревет осатанело все перекрывающий голос. Это кузнец Степан, тот, что геройски вел себя на пожаре, силач и забубённая головушка, пропивает «остатние».

– Степа, друг, довольно, – уговаривает его Иван Колесников, сосед и приятель, тоже изрядно угостившийся.

– Отстань!

– Степа...

– Отстань, говорю. А то так хрясну, костей не сосчитаешь...

Степан уже невменяем. Он пропил все. Он снес уже трактирщику за полщены свой пиджачишко и буянит в одной рубахе, растерзанный, со всклокоченными кудрями и спутавшейся, как войлок, бородой.

– Степан, идем домой, – появляется вдруг его жена, маленькая, худенькая женщина, плоскогрудая и простоволосая, – да где ж спинжак-то твой?

– Уйди!

– Да где ж твой спинжак? Степа! Слышишь?

– Убью! Уйди! Убирайся!

⁵ Не надо дальше. Стойте... (нем.)

⁶ Ах, мадам, русский народ! Это так интересно! (франц.)

⁷ Довольно! (нем.)

– И его пропил? Ах вы кровопийцы! – кричит она уже по адресу трактирщика, поглаживающего свое брюшко за стойкой. – Ироды, живоглоты! Суда на вас, аспиды, нет! Обиралы! Разбойники!

Она уже кричит не своим голосом. Она бьется, как кликуша, плачет, рыдает, беспомощно цепляясь то за одного, то за другого. Степан бессмысленно вращает глазами. У него растет какая-то мутная, тяжелая злоба, неизвестно на кого и на что. Он уже хочет броситься на жену, на ней, плачущей, сорвать эту злобу, но вдруг срывается с места и убегает...

На следующий день вечером Михаил Антоныч приходит усталый, без задних ног. У него был чрезвычайно трудный день: кузнецу Степану нужно было зашивать тяжелую ножевую рану в боку; Колесникову чуть не проломили колом череп, но сотрясение мозга он все-таки получил и тоже лежит в больнице; у одного парня из соседней деревни сломано ребро; у другого – тяжелый вывих правой руки; человек у пяти – более легкие ранения; к батюшке, отцу Василию, пришлось идти на дом: он до того опился, что, думали, помрет; у одной бабы от удара по животу опасный случай выкидыша, – словом, обычные итоги христианского престольного праздника.

Оказывается, поздно вечером разыгралось целое побоище. Какой-то парень из соседней деревни, тоже пьяный, пристал к тесовской девушке. Ее хахаль огрел его. За него заступились свои. И тут раздался клич те-совских: «Наших бьют!» – и пошла писать губерния!.. Взялись за испытанное дедовское оружие – колья, и началось форменное сражение, итоги которого записаны теперь в бюличный журнал.

Коля молча слушает с остановившимися глазами рассказы Михаила Антоныча. На столе стоит самовар и идиллически мурлыкает, а Коле чудятся раны, сломанные ребра, проломленные черепа...

– Это все оттого, что Бога забывать стали. Вот они наказывает. Прямо звери, истинно звери... Без Бога человек хуже пса, – рассуждает бабушка.

– Тут, мамочка, не в том дело. Вот школ у нас нет, а водка есть, – бубнит Михаил Антоныч.

– Да и школы твои без Бога не помогут. Христа-Спасителя позабыли. Господи, грехи-то какие!

– Бабушка!

– Что ты, Коля?

– А как же вот батюшка-то, дядя Миша говорит, чуть не до смерти опился? С Богом или без Бога?

– Колька! Молчи! Этому еще кто тебя обучил?

– Да вы не сердитесь, бабушка.

– Это Иванушка тебя развратил. И ты туда же, молокосос, мальчишка! – взбеленилась бабушка. – Вот уж наказание-то Бог послал...

– Никакого Бога нет, – выпаливает вдруг после длительной паузы Коля, точно еще раз подводя какой-то мысленный итог в связи с этим разговором.

– Я тебя проклянута! Нехристь! Старик! Окаянный! – уже теряет всякое равновесие старушка. – Бог и твоего отца накажет. О, Господи! До чего дожили! Этакие мальчишки, дети, на Бога руку поднимают!

– Успокойтесь, мамочка! Ну что вы так расходились. Ну милочка!

Но бабушка уже не может успокоиться. Она рвет и мечет. Она ходит по комнате, как старая разъяренная тигрица, у которой отняли любимых детенышей. Кажется, она готова вцепиться в волосы внучку, отгрызть ему голову во славу кроткого и незлобивого своего Бога.

– Мамочка, довольно, – успокаивает ее Михаил Антоныч, делая знаки Коле, чтоб тот молчал. Но Коле уже тоже попала вожжа под хвост, и он кипел всем маленьким своим сердечком, которое колотилось так сильно, что он чувствовал его биение, слышал, как кровь подымается в голову.

– А вы, бабушка, лучше своего попа бы устыдили, с его Богом-то.

Бабушка кричит, убегает к себе в спальню, плачет. Михаил Антоныч уже злится на Колю; он растерян и не знает, что делать. К тому же он смертельно устал: он за день сделал несколько операций, кроме обычных приемов, осмотров, перевязок. Он молча указывает Коле на арапник и идет к матери давать ей валерьянки. Коля, обиженный до глубины души, оскорбленный угрозой порки, тоже рыдает, уткнувшись в подушку дивана. Володя, который все время сидел молча с широко раскрытыми добрыми и наивными своими глазами, начинает всхлипывать в свою очередь; он бросается к брату, обнимает его, целует, уговаривая сквозь слезы:

– Колечка, милый, не надо!

Михаил Антоныч окончательно теряется...

– Коля! Милочка! Говенник! Я же пошутил... Мальчик продолжает беззвучно рыдать, вздрагивая всем телом... Михаил Антоныч стоит, бессмысленно разводя руками. Потом делает безнадежный жест, уходит к себе в комнату (будь что будет!), запирается на ключ и снимает штаны: на сегодняшний день с него как будто довольно! С

таким балансом подведен был итог престольного праздника у доктора Петрова.

Наутро бабушка заявила, что ей нужно ехать в Москву; как ни упрашивали ее, старуха заупрямилась. Коля бросился ей на шею – ему жалко было бабушки, она его ведь очень любила, всегда за него заступалась, у них была старинная дружба. Но здесь все было напрасно, и Михаилу Антонычу пришлось сказать больничному кучеру, чтоб он запрягал лошадь. Так бабушка и уехала, наполовину простившая, наполовину обозленная... В ее хозяйственные права и обязанности вступила служанка Степанида, рябоватая, толстая, добродушная женщина, которая, казалось, никогда в своей жизни ни на кого не сердилась, никогда ничем не огорчалась и никогда не плакала. Она была здорова, сильна, весьма уравновешенна и притом идеально честна. На Михаила Антоныча она смотрела не то как на ребенка, не то как на блаженного и не стеснялась входить к нему, когда он даже был в одной рубашке, без кальсон: она не признавала его за мужчину. Для Михаила Антоныча она была сущий клад, и с точки зрения домоводства отъезд Агнии Ивановны не наносил ему ровно никакого ущерба.

9

Коля стал заглядывать к больному кузнецу, лежавшему в палате. Степан был большой любитель природы, охотник и рыболов, и мальчик часами разговаривал с ним, слушая его рассказы и рассказывая ему о своих бессарабских похождениях. В палату приходила навещать мужа жена Степана с мальчиком Васей, который всего на год был моложе Коли. Так свел Коля знакомство и с ним, скоро подружился и стал ходить к нему в деревню.

Изба Степана стояла рядом с кузницей, на самом краю, у околицы. Она была как все почти избы: старый сруб, соломенная крыша, глиняная завалинка, подпертая хворостом, маленькие окна со стеклами из кусочков, подмазанных замазкой. В самой избе – одна комната, чуть не наполовину занятая огромной русской печью. Вдоль двух стен, от правого угла с образами, почерневшими от старости, тянулись колченогие скамьи. У образов – ветхие рваные лубочные картинки, до того загаженные и засиженные мухами, что о содержании этих картинок можно было только смутно догадываться.

На стене висели часы-ходики; у гирь были подвешены гвоздь, ржавый замок и даже бутылка из-под водки – иначе хронометр не действовал. Воздух стоял в избе затхлый, спертый, прокисший, пахнувший потом и пареными валенками, жаркий. Окон почему-то не открывали даже летом. Посреди комнаты к потолку была приделана корытообразная люлька, в которой грудной ребенок, неистово надрываясь, кричал, если его переставали качать или не опаивали маком. На печке, в гряде грязного тряпья и одеял, из красных превратившихся в сально-черные, провонявших грязью и мочой, копошилось еще трое детей, из которых Вася был самым старшим; двое других – мальчик и девочка – предпочитали не слезать с печки. А Вася уже помогал и по хозяйству, пас скотину, нянчил маленького ребятенка, носил обеды отцу в кузницу, убирал избу, чистил хлев, полоскал белье на речке. По печи и по стенам бегали рыжие прусаки-тараканы, шевеля усами; самки таскали на себе яички, точно в лакированных рыжих чемоданах. Тараканов было такое множество, что, когда вечером тушили маленькую вонючую жестяную лампу, был слышен шорох сотен насекомых, набрасывавшихся на крошки хлеба или остатки каши. Клещи, блохи и вши мучили по ночам ребят, и те отчаянно чесались, в кровь расцарапывая тело и мыча во сне; расчески были такие, что тело напоминало какую-то географическую карту или татуировку красными чернилами... Во дворе, наполовину крытом, устланном соломой, в темном углу стояли худая кляча и корова. Топкая навозная жижа не мешала свинье чувствовать радости жизни. У стенки можно было заметить старую соху и зубья бороны. Сеновал почти до крыши был набит сеном.

Степанова семья едва сводила концы с концами. Как и многие крестьяне, Степан арендовал часть земли у помещицы Сотовой, или, как ее называли, Сотихи, той самой, что приезжала на ярмарку; эта изящная дама жила главным образом за счет голодной аренды. Ее управляющий, плут и выжига, умел отлично жать своих братьев во Христе. В кузнице Степан зарабатывал немного. А для земли не хватало сил, на все не разорвешься: дети висели тяжкой гирей, и жена все же ухитрялась и пахать, и жать, и возить навоз наряду с мужем. Приходилось влезать в долги к тому же трактирщику, который не побрезговал и Степановым пиджаком. Мяса в семье, конечно, и не видывали: хлеб, картошка, каша, капуста – вот и все. Выручала корова Машка, детям молоко все же было.

Коля уже освоился с этим бытом и понемногу входил в курс крестьянских забот: его новый приятель, Вася, рассуждал подчас как

взрослый мужик. В свободное время Вася обучил его игре в бабки и городки. Бабки стали его страстью: он бредил хорошими «битами», свинчатками и выучился играть так, что вскоре обыгрывал взрослых парней, даже в штрафы, особенно азартный вид этой игры. Михаил Антоныч удивился, когда однажды под диваном обнаружил целый склад этих костей – здесь хранились Колины новые сокровища.

Когда Вася приходил к отцу в больницу, Коля забирал его к себе. Мальчик сперва робел и ни за что не хотел зайти в дохтурову квартиру. Его упрямую робость сломила Степанида: эта добрая женщина так подошла к мальчику, что он почувствовал к ней необыкновенное доверие и переступил заколдованный порог.

Скромная квартирка Михаила Антоныча поразила его: она показалась ему прямо дворцом; он никогда не видел, чтобы было несколько комнат; он никогда не видел дивана, письменного стола, ковра, полки с книгами; все это казалось ему верхом богатства, и он даже зажмурился, ослепленный этими новыми для него предметами. Он не решался сесть на стул, потому что знал только общую скамью. Он никогда не держал в руках газеты. Гитара показалась ему чудом. Он тарачил глаза на лапчатые листья филодендрона и его воздушные корни. Коля терпеливо объяснял своему приятелю назначение всех этих предметов, и в ушах у него стоял упрек:

– Ишь ты, барин! Небось каждый день мясо жрешь!

Социальный мир явно расчленился в Колином сознании. Раньше для него люди разделялись только на две большие категории: взрослые и дети, причем взрослые обычно обманывают детей. Потом сами взрослые разделились на хороших и плохих, добрых и злых. А теперь наружу выпирала новая двойственность мира, его раскол на мир богатых и мир бедных. Когда Коля вспоминал «Невольничий корабль» или монологи Вильяма Ратклиффа в шотландском ночном трактире, он уже по-новому воспринимал все это. Он начинал стыдиться мяса, которое он «каждый день жрал», чистого белья, всего полубарского обихода, а к помещичьим кружевам, зонтикам, шляпкам и лорнетам он уже начинал питать нечто близкое к ненависти и презрению. Чем ближе он подходил в жизни к бедноте, чем теснее сживался с Васей, его семьей и его друзьями, тем тягостнее для него становились те внешние социальные значки, от одежды до так называемых приличий, которые выражали его, хотя и боковую, принадлежность к богатым и их сподвижникам. От впадения в какой-либо детский аскетизм его, однако, предохраняло рано развившееся безверие и хороший аппетит, связанный с постоянной жизнью на лоне

природы. Но у него появилась любовь к людям из общественных низов и своеобразный нигилизм по отношению ко всем условностям жизни общественных верхов. Он уже не «шаркал ножкой» (Коля, шаркни ножкой!), а, насупившись, угрюмо молчал, когда ему случалось встретиться с какой-нибудь «дамой», и издевался над всем их строем жизни так же, как он издевался над бабушкиным Богом. Иногда какая-нибудь деталь врезывалась ему навсегда в память и становилась большим символом. Раз он увидел истощенную грудь Васиной матери, из которой та не могла выдавить ни капли молока для своего орущего младенца, и эта жалкая, сморщенная, отвислая грудь полуголодной женщины отпечаталась в его мозгу с поразительной рельефностью. Иногда ему хотелось поцеловать расцарапанные худенькие коленки Васиного младшего брата, хотя он и не знал тогда, что кающиеся средневековые дамы из любви к Христу целовали в слезах своими хорошенькими губками гнойные язвы нищих и убогих. Но у Коли не было ровно никакой ревности о Господе, пострадавшем за нас. Он уже не снисходил до низших братьев, а просто видел в них таких же людей, как и он сам, с которыми ему было нисколько не хуже, а много свободнее и интереснее, чем с выдрессированными мальчиками и девочками из другого мира, которые не умели отличить березы от осины и, пожалуй, думали, что хлеб растет на деревьях и что пшено можно сеять. Он просто стал смотреть на мир снизу, а не сверху, и интересы, заботы, тревожения, печали и горести, надежды и радости низов становились ему все ближе и дороже, ибо он все больше в них жвивался.

Но вскоре произошло событие, которое чуть было не стоило мальчику жизни. Случилось это так. Однажды Михаил Антоныч, забрав с собой всю тройку ребят и Васю, который играл с ними на дворе (отец его уже выписался из больницы, и он стал посвободнее), отправился с ними купаться на речку. День был праздничный, и, казалось, вся природа тоже праздновала воскресенье. Солнце сияло во всем своем великолепии, щедро изливая на землю светоносную благодать. В реке опрокинуто было сияющее блистательное небо. Стояла невозмутимая тишина, только из деревни доносилось то пение, то лай собаки, то стук топора. Все разделись на берегу, поросшем низкой густой травой, за которой, резко от нее отделяясь, шла полоса крупного зернистого речного песка, переходившая в отмель. У берега было неглубоко, и дети могли резвиться и играть в воде, сколько им было угодно. Погревшись на солнце, все весело полезли в воду, стали барахтаться, обливать друг друга, сложив руку

лодочкой и быстрым движением ее выталкивая фонтаны брызг; потом придумали играть в чехарду и с гиканьем прыгали друг через друга, падая, захлебываясь и хохоча, хватали друг друга за ноги, топили и потешались над комичным фырканьем потерпевшего. Кутерьма была на славу, и даже не очень-то веселый по характеру Михаил Антоныч хохотал своим прерывистым голоском. Во время это всеобщей свалки Коля увидел прекрасную белую водяную лилию, молча пошел за ней и вдруг почувствовал, что дно под ним уплыло и он тонет. Он успел вспомнить, что напрасно он все же не раз обижал маму и мама плакала, – и потерял сознание... Остальные не сразу заметили его исчезновение...

– А где же Коля? – вдруг с испугом вскричал Михаил Антоныч, и все остолбенели: Коли не было, Коля утонул. Вода успокоилась. Все было тихо. Все было ужасно тихо.

Михаил Антоныч, бывший недурным пловцом, нырнул, тотчас же наткнулся на утопленника и без особого труда вытащил его на берег. Колю положили и стали делать искусственное дыхание. Мальчики смотрели со смертельным страхом в глазах на манипуляции Михаила Антоныча. Но вот у Коли из ушей и изо рта потекла вода... Вот он задышал... Вот он открыл глаза...

– Ну что ты, дурачина? – беспокойно-ласково и ворчливо заворковал около него Михаил Антоныч.

– Я... ничего... вода... – пролепетал мальчик и вдруг отрыгнул целый ушат воды... И снова устало закрыл глаза.

– Пустяки, пустячки... Сейчас отойдет... – и Михаил Антоныч принялся растирать его своими суконными штанами, как щеткой.

Через некоторое время Коля уже сидел со всеми и хохотал. Ему уже не верилось, что он тонул. Ему казалось, что этого не было, или если было, то как-то не серьезно, а «нарочно». Или, быть может, это был вовсе не он? Одно время действительное и недействительное так перепуталось в его сознании, что он и сам не мог хорошенько разобраться. Но эти странные его переживания, его реплики и соображения были совсем непонятны для других, и они подумывали, не рехнулся ли Коля от испугу, когда он на самом деле и испугаться-то не успел – так молниеносно быстро разыгралась вся эта маленькая полукатастрофа... Потом он стал поочередно прыгать, наклоняя голову, то на одной, то на другой ноге, и все удивлялись, что у него из ушей выливались все новые и новые порции воды.

– Да ты у нас теперь на целую неделю вперед напился!

– Смотри, ночью в постель не напрудил!

– Зато будешь знать, как за кувшинками бегать...

– А я просто плавать научусь, вот вам, – отвечал Коля на шипки своих приятелей. И правда, он потом стал превосходным пловцом. Но это было уже много позднее.

Подступала осень. На деревьях желтели листья. По вечерам становилось холодно. Коля с Володей продолжали жить у Михаила Антоныча. Поиски места со стороны отца были безрезультатны. Любовь Ивановна с Андрюшей все еще гостила у Георгия Антоныча. Сам «Иванушка» не раз ездил в Москву, околачивал пороги, посылал письма, просьбы, заявления, обращался к ряду лиц, от которых ждал помощи, – а дело с места не двигалось. Одни отказывали прямо, другие косвенно, третьи обещали все и не делали ничего. Денег почти не было, существовал фактически за счет братьев. К зиме решили обязательно переехать в Москву, к третьему брату Ивана Антоныча: Колю нужно было отдать в школу, Ивану Антонычу следовало быть в Москве, чтобы продолжать хлопоты, да и в порядке очередности приходилось уж *volens nolens* обращаться к помощи третьего брата.

Иван Антоныч заехал в Тесово за детьми, чтобы перевезти их к старшему, Жоржу, а затем всей семьей отправляться в Москву.

– Папа, папа приехал! – заорал Коля, увидевши, как подъезжает отец в тарантасе, и ринулся ему навстречу. Иван Антоныч вылез, обнял мальчика.

– Ну, как дела, Колюн? Миша дома?

– Дома. Дела хорошо. А у тебя плохо?

– Плохо. Приехал вас забрать к Жоржке на недельку. А потом в Москву. Здравствуй, Мартыган, – Михаил Антоныч уж спускался с крыльца. Братья обнялись и расцеловались.

– Как Колька с Володей у тебя? Порядком надоели? Бабушка была проездом, очень на Колю Любочке жаловалась. Ты уж прости, Миша.

– Ну... милочка... Иванушка... это ничего. Все хорошо... Славные ребята. С мамочкой тут из-за Бога... Это пустяки. А вот Коля на днях тонул.

– Тонул? – Иван Антоныч даже побледнел задним числом.

– Ты небось не ел ничего. Сейчас ужинать будем. Степанида! Накрывайте, милочка, ужин поскорее. Ваня голоден, вероятно, как волк... Да, тонул пострел твой.

– Папа! А как же бабки? У меня такой школу. И биты какие! Всегда на плочку ложатся... – И Коля тащит свои сокровища.

– Ты мне зубы-то не заговаривай! Бабки придется бросить – подари кому хочешь, куда ж с бабками возиться... Это ты, милый

мой, потом в жизни успеешь, ха-ха-ха! Ты Расскажи-ка лучше, как это тебя угораздило?

– Меня дядя Миша вытащил! А вода как из меня лилась! Вот это было здорово... – уже почти с воодушевлением начал рассказывать Коля.

– ДЛА. а– Это ты счастливо отделался... Спасибо, Мартыган... Хорошо, что Любочка ничего не знала...

– Иди есть, Ваня, ужин на столе. Водки у меня нет.

– Да я один и не пью... А знаешь, мамочка, кажется, не на шутку рассердилась. Она Любе говорила, что я сына развратил, что Бог меня накажет, и даже, знаешь, напорочила мне, что и места-то я не получу из-за Божьего гнева. Рассвирепела мамочка у нас! А ты, Володя, как? Не тонул?

– Я, папочка, не тонул. А Коля плакал.

– Это когда?

– А когда бабушка его ругала.

– А ты не плакал?

– И я плакал. *

– А ты-то чего?

– Колю было жалко...

– Аааа... Ты у меня хороший. – И отец привлек к себе Володю и поцеловал ласкового мальчика, который всегда, кажется, переживал за всех.

Съели яичницу с ветчиной, выпили по несколько стаканов чаю.

– Ты когда собираешься ехать?

– Переночуем, да и айда!

– Оставайся погостить.

– Нет, спасибо, Миша. Я Любочке сказал, что завтра приеду. Ну, поели, попили – а теперь что? Хочешь, в шахматы сразимся? Давно я не играл. А о тебе, как о шахматисте, слава идет...

И они засели. Детям было ужасно скучно смотреть на эти неподвижные фигуры. Каждый шаг они обдумывали чуть ли не по полчаса. Они позабыли обо всем, и прежде всего о времени. У ребят уж слипались глаза, они засыпали за столом, завтра надо было ехать. А братья сидели, как каменные идола, вперив глаза в шахматную доску, и только иногда слышался шепот:

– Я – так, он – так; я – так, он – так; тогда... тогда я так – он так.

– А вы здесь чего торчите? – вдруг опомнился Иван Антоныч. – Идите спать!

И снова погрузился в расчеты.

- Чей ход-то?
- Твой, Иванушка.
- Ага. Я – так, ты – так... Я так!
- Даром туру теряешь, и ферзь под угрозой.
- Ах, прости, не заметил.

Иван Антоныч играл в шахматы очень недурно. Но Мартыган обладал и какими-то особыми комбинаторскими способностями, и особою памятью, и превосходным знанием всяческих знаменитых партий и задач. Поэтому он делал брату изящнейшие маты, и тот, несмотря на математический склад ума, неизбежно проигрывал...

– Однако пора. И засиделись же мы с тобой...

– Слушай, Ваня! – проговорил Михаил Антоныч каким-то смущенным голосом. – Не возьмешь ли ты у меня денег? Я один тут с Федькой...

Наступила пора смущаться Ивану Антонычу. Он покраснел; денег действительно уж не было ни гроша, в Москве придется распродавать вещи. Прямо скандал! А с другой стороны, неудобно...

– Да ведь я, Мартыган, голубчик, возратить не сумею. Ни черта не выходит!

– Я тебе и без процентов, и без возвратов предлагаю. Возьми, пожалуйста. Я уж заготовил...

И он сует брату в карман какой-то сверток. Иван Антоныч растроган. Он серьезен и молчит, только жмет руку, благодаря без слова...

Рано утром Коля встает и выходит тихонько наружу. Свежее осеннее утро. В воздухе нежная осенняя чистота, все точно из холодного разноцветного хрусталя. Трава мокрая, и башмаки сразу покрываются большими каплями. На голубом небе с чуть заметным оттенком зеленых тонов отчетливо виден рисунок деревьев, черные узоры сучков, крыши домов. У Коли, как всегда перед отъездом, все двойится: хочется на новые места и до боли жаль старого. Он мысленно переживает все, что было в Тесове, и чувствует, что покидает его навсегда... Потом вдруг точно опоминается и вихрем мчится в деревню: ведь он не простился со Степаном и с Васей... Потом неожиданно снова возвращается, на цыпочках проходит в дом, собирает в мешок все свои бабки – целых двадцать гнезд! каждая «бита» имеет для него свою индивидуальность – и снова бежит на окраину села.

Степан около избы колуном колет дрова, издавая, как всякий дровосек, облегчающий придыхательный звук – ха! – при каждом

ударе топора. Он вонзает колун в толстое тело бревна, подняв его через голову, обрушивает могучий удар на крепкую другую кувалду, и бревно раскалывается во всю длину пополам, сверкая желтоватой белизной своей середины.

– Дядя Степан, я к вам прощаться пришел. Вася дома?

– Дома. Ужли едешь? Чего ж это ты?

– Папа приехал. Сейчас все едем.

– Васька реветь будет. А мешок зачем?

– Я ему свои бабки принес.

– Ступай в избу. Он, кажись, на печке еще дрыхнет.

Коля открыл дверь, и на него пахнуло жаркой спертой прелью, так ему хорошо знакомой. Василиса, Степанова жена, кормила младенца. Вася уже сидел на скамье, неумытый, с заспанными, припухшими и слегка гноящимися глазами».

– Колька? Ты почто?

– Сейчас уезжаю, Васенок. Прощаться пришел. Бабки тебе принес.

– Взправду едешь-то? – бросает Василиса, прикрывая грудь ситцевой грязной кофтой.

– Прямо сию минуту. Только-только последний разок к вам забежать успел.

И Коля уж не может говорить от наплыва горькой боли. Губы у Васи дрожат.

– Прощай, Вася!

Коля целует приятеля и, позабыв даже пожать руку Василисе, со слезами на глазах выбегает: он не может перенести длительного прощанья. Он подбегает к Степану, даже не смотрит ему в лицо, хватая его огромную ручищу и бежит дальше, только слышит, как Степан бросает вдогонку:

– Всего тебе хорошего, паренек дорогой...

Он бежит не оглядываясь: прощайте, прощайте!..

Дома уже все поднялись. Сидят и пьют чай. Окна запотели и слезятся. Самовар поет жалобно-тоненьким голоском. Степанида напекла булочек, ватрушек с творогом, заготовила крутых яиц на дорогу. Она стоит молча, поглядывает на отъезжающих ребят, и ее доброе лицо выражает материнскую тоску...

Но вот настает и минута последнего прощанья. Все усаживаются в тарантас. Кучер взмахивает кнутом:

– Ннно, милые!

И тарантас, подпрыгивая, уже бежит по дороге. На крыльце машут руками, платками, что-то кричат, но ничего не слышно, видны только раскрытые рты...

По проселочным дорогам нужно ехать верст двадцать до ближайшей станции. Леса здесь нет. Дорога вьется среди полей и лугов, плоских и безрадостных. День погожий, ясный осенний день. Поля уже сжаты, хлеб убран, и полосы жнивья золотятся потускневшей соломенной щетиной. Грачи еще не улетели, но уже собрались в большие стаи и, сверкая на солнце черно-синим своим пером, важно, вперевалку, разгуливают по опустевшим полям.. Зеленым бархатом расстилаются озимые хлеба. Над рекой тянет караван уток. Где-то в небесной высоте курлыкают журавли... Деревеньки присутулились. В палисадниках рдеет красными гроздьями рябина, наливая соками свои горькие ягоды. Пахнет свежестью, влажной землей, осенью... Далеко-далеко видны лоскутья полос, лента реки, змеистые дороги и разбросанные среди полей села с маковками церквей и сияющими крестами. Изредка встречаются пешеходы, в лаптях, с котомками за плечами, нищие, богомолки и богомольцы. Видно, что в холщовых мешках у них краюхи черного хлеба. Они бредут медленным, размеренным шагом, погруженные в свои мысли и свои заботы. Есть что-то стихийное в этом монотонном движении, в этих переходах, в размеренном шаге. Точно они не идут, а тянут, как тянут птицы, что, повинувшись древним могучим инстинктам, влекомые тайными зовами природы, летят через моря и континенты по своим великим маршрутам, и ничто не может удержать их... По временам от дороги начинаются березовые или липовые аллеи: это пути к роскошным барским усадьбам. Издали видны большие, массивные дома, с балконами, стройными колоннами, – настоящие дворцы, окруженные зеленью парков и зеркалами искусственных прудов. Столетние липы, пирамидальные тополя, чужеземные голубые серебристые ели скрывают портики и колоннады, затейливые беседки, мраморные статуи, застывшие в своем каменном величии. Иногда сверкнут и стекла оранжерей, где в тропической температуре вызревают персики, апельсины, ананасы. Флагштоки торчат победоносно над окружающими полями, демонстрируя власть и силу помещичьей титулованной усадьбы. В этих великолепных старых дворянских гнездах, на которых покоится еще отблеск екатерининских и александровских времен, поддерживаемый постоянным притоком мужицкой крови, безжалостным грабежом, идет своя жизнь. Со стен смотрят старинные

портреты сиятельных предков, в лентах и звездах. Сверкает паркет. Звенит серебро и хрусталь. Звучит изысканная французская речь. Блещат томные взоры. Белоснежные скатерти лежат на столовых столах. И на взгляд незаметно, что они насквозь пропитаны слезами и кровью... Слезами и кровью...

Но вот тарантас подъезжает к полустанку. Иван Антоныч с ребятами вылезает, стряхивая приставшую солому; они отсидели ноги, и хорошо размять их ходьбой – мурашки по ним так и бегают. Петров расплачивается с возницей. По платформе маячит жандарм. Кассирша с прыщавым лицом сообщает, что поезд приходит через полчаса. Удачно! Еще немного – и опоздали бы. На платформе, кроме жандарма, ни души. Приходится сесть на скамеечку. Коля от нечего делать рассматривает надписи, выцарапанные и вырезанные, очевидно, гвоздем и перочинными ножами на спинке скамейки и на самом сиденье. Они не блещут ни умом, ни фантазией: «Манька дура»; «Варька гуляет с Семеном»; «Люблю хорошеньких»; далее – нецензурно.

– Папа, посмотри на часы, сколько осталось?

– Еще пять минут...

Вскоре слышится стук подходящего поезда. Он нарастает, становится все отчетливее, и вот, гремя своей чешуею, с воем гудка, попрыгивая и стуча, подползает по рельсам, как громадная змея, товарно-пассажирский поезд. Петровы входят в вагон третьего класса и занимают места у окна. В вагоне грязно, накурено махоркой, но не тесно. Рядом сидит старик в домотканой коричневой одежде, лаптях и древней суконной шапке; у него – длинная пожелтевшая седая борода, слезящиеся глаза; на одном из них – бельмо. С ним молодуха, лет двадцати пяти, забитая и молчаливая, в рваненькой темно-серой кацавейке, из которой местами вылезают клочья грязно-серой ваты. В соседних отделениях – торговцы, мужики с мешками, набитыми морковью, картошкой, яблоками; бабы-молочницы с кусками масла, завязанными в тряпку; артель плотников с пилами, топорами и другим «струментом», запрятанным в большие серые мешки из толстой пеньковой ткани. Они курят цыгарки, свернутые козьей ножкой из газетной бумаги, и каждую секунду, после глубокой затыжки, сплевывают слюну, искусно цыкая через зубы.

Третий звонок. Паровоз испускает хриплый не то стон, не то свист. Он делает судорожное усилие. Весь поезд содрогается, точно его механически слаженные члены насакивают друг на друга, и через несколько моментов, дрожа, с натугой трогается с места. Качнулась и

поплыла назад будка сторожа, станционное здание, два дерева с грачиными гнездами... Некоторые пассажиры снимают шапки и набожно крестятся... Паровоз шипит, выпускает пары и, набирая силу, преодолевая инерцию, ускоряет ход. Уже быстро несутся назад телеграфные столбы, кусты и деревья, сливаясь в разноцветные полосы. За ними, с меньшей быстротой, уходят дальние планы, и вся картина точно вращается на огромной оси. Вот ворона, махая устало крыльями, тщетно старается лететь вровень с поездом – она отстает и исчезает позади. Нити телеграфной проволоки то опускаются, то поднимаются, качаясь, как на волнах. Мелькают сжатые поля, луга, кустарники, редкие деревья – и все это словно бесследно пожирается поездом, с ревом и грохотом несущимся в пространство.

– Петруха, начинай, что ли?

– Погодь маленько.

– Вали! Все веселее будя...

Один из плотников вынимает откуда-то гармонию, и под ритмические стуки поезда и гармонь плотники начинают запевать свои частушки, не переставая курить, плевать и лущить семечки.

Трам-там-тири-ри-ри-там-там,

Трам-там-тири-ри-ри-там.

Мы Владимирской губерни

А уезда Покрова...

Трам-там-тири-ри-ри-там-там,

Трам-там-тири-ри-ри-там.

Не строгают мой рубанок,

Не пилит моя пила...

Постепенно голоса расходятся, оживленные к тому же стаканчиком водки, который стал ходить по рукам...

– Ваши билеты. Ваши билеты, господа! – Обер-кондуктор с двумя помощниками проверяет пассажиров.

Все лезут за билетами, доставая их то из боковых карманов, то из больших засаленных кошельков, то из какого-нибудь красного платка в клеточку, куда билет завернут, точно запеленатый младенец.

– Это вы здесь пели? – подходит обер к плотникам.

– Мы.

– Петь в вагонах воспрещается.

– Ишь ты! А почему?

– Запрещается, вот и все. Стало быть, нужно. Закон такой есть.

Объяснение мало удовлетворяет плотников. Они вздыхают с сожалением, точно подчиняясь роковой необходимости. Но не

успевают проверяльщики перейти в следующий вагон, как уже снова тиликает мелодия:

Пойду с горя в чисто поле, Под березу сяду я!..

Наконец поезд подходит к вокзальчику уездного города.

– Приехали!

Петровы вылезают. Багажа у них никакого почти нет. Степанидовы запасы съедены. Иван Антоныч берется за Колю одной рукой, за Володю – другой, и так втроем они шествуют к дяде Жоржу. Одноэтажные дома, большей частью деревянные, редко каменные, окружены садами. Много фруктовых деревьев. Покосившиеся заборы, проломанные и продырявленные; фонарные столбы со свернутыми набок фонарями, где не всегда уцелела маленькая керосиновая лампочка; деревянные тротуары с прогнившими досками, часть которых уже искрошилась в рыжеватый порошок, так что зияющие дыры смотрят на свет божий черными пятнами; каменные, окрашенные в цвет яичного желтка присутственные места, возле которых стоит сонный городской; унылая площадь с непременно городским собором и со следами попыток замостить этот плац, где на остатках лошадиного помета, отливая на солнце радугой своих шеек, важно разгуливают жирные краснолапые голуби-сизари, – все это увидели наши путешественники, пока добрались до места жительства Георгия Антоныча.

Георгий Антоныч занимал целый небольшой, но хорошо построенный деревянный домик, о четырех комнатах, с фруктовым садом. У него был недурно оборудованный кабинет, с книжными шкапами, в которых концентрировалась солидная медицинская литература и специальная периодика; с необходимейшими врачебными инструментами и с портретами медицинских светил: Пастера, Шарко, Оппенгейма, Захарьина, Боткина. Среди них помещался и один из основателей русской химии, Зинин, приходившийся дальним родственником Георгию Антонычу и потому особо чтимый. В зале, служившем в то же время и приемной для клиентов, на столиках, перед большим кожаным диваном, были разложены журналы: «Русская мысль», «Русское богатство», «Нива», «Вестник иностранной литературы», «Вестник Европы». Тут же лежали очередные номера «Русских ведомостей», московского либерально-профессорского органа, отличавшегося скучноватой солидностью и хорошей иностранной информацией. Большие окна делали комнату светлой и привлекательной. Фигуры, драцены и филодендроны росли почти до потолка, помещаясь в тяжелых деревянных кадках, стянутых

железными обручами. В задней комнате жил Иван Антоныч с женой и младенцем.

Любовь Ивановна выбежала к детям. Они бросились к ней.

– Мамочка! И прильнули...

Из кабинета вышел веселый, чистенький «дядя Жорж», с папироской в зубах.

– А, приехал, наш вольтерьянец! Ну, поди-ка сюда (Георгий Антоныч слышал жалобы бабушки на безбожие Коли, но разницу между вольтеровским деизмом и атеизмом в ту минуту, очевидно, позабыл, хотя об уроках опытной физиологии, даваемых Кунигунде, он, кажется, не забывал никогда).

Полились рассказы, охи, ахи, восклицания, вздохи. Любовь Ивановна с ужасом слушает рассказ о том, как чуть не утонул ее первенец, и задним числом корит себя мысленно за то, что согласилась отпустить ребят от себя (точно это хоть на каплю меняло дело!).

– Что было, то прошло, Любовь Ивановна! Все хорошо, что хорошо кончается, – смеется Георгий Антоныч. – Коля, хочешь со мной гулять идти? Или ты есть хочешь?

– Нет, спасибо, мы всю дорогу, дядя Жорж, жевали. Нам Степанида...

– Какая Степанида?

– Дяди Мишина. Она нам всего надавала.

– Так идем? Любовь Ивановна, отпускаете? Гарантирую, что не утонет ни в море водном, ни в житейском!

– Надолго, Егор Антоныч?

– Да нет, часика на полтора.

– Хорошо. Только вы его уж от себя, пожалуйста, не отпускайте.

– Не отпущу, Любовь Ивановна. Ma parole. Георгий Антоныч совершал ежедневно два раза прогулки с медицинской целью: он гулял рано утром, прежде чем сесть за работу, и к вечеру, перед ужином. Взявши Колю за руку, он вышел на улицу и пошел по большой дороге, которая вела к реке. Встречные узнавали его и приветливо кланялись. Он отвечал с необыкновенной живостью.

– Георгий Антоныч, куда это вы? – раздалось вдруг приятное женское контральто. Навстречу шла какая-то дама, и Георгий Антоныч еще более оживился и зацвел.

– Ах, прелестная Антонина Никитична, меня, очевидно, толкала таинственная сила, чтобы увидеть вас...

– Конечно, конечно. А это что у вас за приращение семейства?

– Это мой племянник, Коля. Позвольте представить: молодой вольтерьянец, спасенный недавно от гибели.

– Племянник? Да ведь он у вас, я слышала, грудной? – иронически спросила она, подавая Коле руку.

Коля с удивлением молчал, следя за диалогом. Дама была элегантна, стройна, одета в прекрасное черное шелковое платье (оно было видно из-под пальто), с черной шелковой розой на груди. Но волосы у нее, тщательно убранные в большие вьющиеся локоны, были совершенно седые, белые как снег. Они контрастировали самым оригинальным образом с ее блестящими умными черными глазами, в которых играли насмешливые искры. Однако, несмотря на некоторую красоту, в ее лице было что-то неприятное, странным образом напоминавшее портрет вздорного и сумасбродного Павла Первого: то ли слегка вздернутый нос, придававший лицу оттенок вульгарности, то ли надменно сложенный и капризный рот, то ли неправильные, чуть выдающиеся скулы, но от этого впечатления никак нельзя было отделаться.

Пока Георгий Антоныч отвечал ей, она поглядывала то на него, то на мальчика, точно что-то соображая и высчитывая.

– Знаете что? Пойдемте сейчас ко мне ужинать!

– Благодарю вас, но я не могу.

– Никаких не могу! Помилуйте, Георгий Антоныч, что это с вами!

Дама вам предлагает, и вы, вы отказываетесь? И это в самом деле вы?

– Сдаюсь. Покорюсь.

И Георгий Антоныч, галантно поцеловав ручку у собеседницы, обратился к Коле:

– Буду выводить тебя в свет. Не протестуешь? Коля молчал.

Антонина Никитична Вязигина числилась местной помещицей, из очень либеральных. У нее было образцово поставленное имение, машины, оранжерея, управляющий-агроном. Она помогала земским школам, фрондировала против начальства, открыто пускала в оборот острые словечки, не без известного шика бравировала своим либерализмом. Это не мешало ей получать изрядные доходы от своих сыроварен, брать с мужиков за потравы (помилуйте, нужен порядок!), наживаться на батраках и сезонно работавших крестьянах, вмения все эти прибыли и ренты не труду, а прогрессивной силе ее разумно и просвещенно употребляемого капитала. Если бы ей раскрыть действительную механику и действительные источники ее доходов, она сочла бы это за пасквиль. Если бы ее рабочие, батраки и окрестные мужички всерьез покусились на ее имение и сыроварни,

она увидела бы в этом величайшую несправедливость и во имя культуры не позадумалась бы призвать через губернатора военную силу, чтобы усмирить «чернь». Но так как в ту пору «чернь» еще не шевелилась, то она позволяла себе и фронду, и роскошь либеральной фразы, и заботы о просвещении.

Словом, она была типичной помещицей прогрессивно-буржуазного толка. Она отличалась характером независимым и властным, довольно много читала, выписывала прогрессивные журналы, восхищалась корреспонденциями из Лондона, которые посылал в «Русские ведомости» Дионео, и была поклонницей английских кобыл и английской конституции. К помещикам черного толка, которые проматывали свои имения в столицах и заграничных вертепах, землю сдавали по безбожным ценам мужикам в аренду, хозяйство вели на дедовский лад, выклянчивали подачки от правительства и были главной опорой самодержавной монархии, она относилась презрительно, как к политическим противникам и безнадежным дуракам, обреченным на слом вместе с самодержавием, которое считалось ею силой антикультурной. На социализм она смотрела глазами «Русских ведомостей», т. е. как на утопию и болтовню, если речь шла действительно о социализме, а не о маргариновом реформаторстве с социалистической фразеологией, против которого она не очень возражала. Но так как среди благородного дворянства российского тон задавали махровые патриоты, то она являлась в этой среде чем-то вроде белой вороны, и ей ставилось в вину даже то, что своему кучеру она говорила «вы» и вообще не «тыкала» ни своей, ни чужой прислуге. Махровые патриоты ненавидели слепой ненавистью все новое, ибо это новое подрывало «священные устои»: они боялись сеялок, они боялись школ, они боялись больниц, они боялись грамоты вообще, боялись газет, и им всюду чудился «разврат»: даже случайно попавший в мужицкий рот кусок сахара уже считался ими за падение нравов и за выражение развращенности народной. Они были еще, эти проспиритованные Катоны российской аристократии, господствующей силой, хотя и подмываемой со всех сторон. Над Вязигиной они подтрунивали, как над *femme emancipé*⁸, но, несмотря на это, слегка ее побаивались, тем более что она находила себе подражателей.

Так вот к этой-то особе и направили стопы свои Георгий Антоныч с Колей.

У Антонины Никитичны был в городе свой дом – каменной кладки одноэтажный особняк, с большими зеркальными окнами и без претензии на какой-либо архитектурный стиль. Дверь открыла

⁸ Эмансипированной женщиной (франц.). – *Прим. ред.*

прехорошенькая горничная, больше похожая на гимназистку последних классов, если бы не чепчик, служивший социальным значком профессии. Антонина Никитична ввела дядю с племянником в гостиную, отдав распоряжение об ужине, и не успел Коля оглядеться, как их уже пригласили в столовую и усадили за стол. Столовая была ярко освещена лампой, подвешенной к потолку. У стены, против окон, помещался великолепный огромный ореховый буфет, с изящной резьбой, сделанной, очевидно, искусным мастером. У стола стояли тяжелые стулья, тоже орехового дерева и того же стилия. Стены были обиты фанерой. На белоснежной скатерти, идеально выглаженной, стояло блюдо с холодными куропатками, салаты, серебряные маленькие солоночки у каждого прибора, салфетки конусами, хрустальная ваза с нежными ароматными грушами, большими оливково-карминными персиками, апельсинами-королевками, мандаринами. (Коля обратил почему-то внимание на соль: даже соль у них была какая-то особенная – не сероватая, зернистая, а идеально белая и точно стертая в однородный мельчайший порошок.) Группа бутылок с красным и белым вином ждала своей очереди.

– Пожалуйста, угощайтесь сами, господа! Не заставляйте просить.

Гости принялись за еду.

– Георгий Антоныч, а вы все-таки не *comme il faut*⁹.

– Чем же я вам не угодил, Антонина Никитична?

– Нехорошо так забывать своих старых друзей...

– То есть?

– Сколько времени вы уже ко мне не заглядывали? Правда ведь? Я могла бы подумать, что вы закончили свое брэнное существование, если б не знала от других, что вы по-прежнему процветаете...

Георгий Антоныч замахал руками, словно отбиваясь от нападения:

– Если б вы не были представительницей прекрасного пола, я бы сказал, что тут не диффамацией пахнет, а прямо клеветой на невинного.

– Как, и вы еще смеее оправдываться?! Ах, мой друг, это уже неблагоприятно!

Антонина Никитична нажала кнопку электрического звонка: с куропатками было покончено и нужно было двигаться дальше.

Горничная внесла блюдо с дымящейся форелью, прикрытое серебряной крышкой. Георгий Антоныч искоса, сквозь пенсне, окинул ее оценивающим взглядом и тотчас наткнулся на ревнивые булавки острых глаз хозяйки. Этот молчаливый перекрестный допрос длился одно мгновение и угас.

⁹ Комильфо (светский человек) (франц.). – Прим. ред.

– Итак, что же можете вы сказать в свое оправдание, милостивый государь?

Георгий Антоныч стал приводить многообразные доводы: тогда-то он был занят, тогда-то ему нездоровилось; наконец, в прошлое воскресенье он у нее был, разве она не помнит?

– «Слоны терпенья и ослы раздумья бежали прочь. О, не гони совы благоразумья ты в эту ночь!»

– Это откуда?

– Так. Соловьевская пародия. Переменим тему, пожалуй, лучше будет...

– Разве я вам не дал удовлетворительных объяснений?

– Нисколько. Итак, вы говорите, ваш маленький племянник – вольтерьянец?.. Впрочем, что ж мы сидим здесь?.. Перейдем в гостиную. Маша! – обратилась она к горничной. – Будьте добры, принесите в гостиную кофе и бенедиктин...

Перешли в гостиную. Пузатенькая черная бутылочка liquoris monashorum benedictinorum¹⁰ появилась вместе с тоненькими изящными рюмками для ликеров и чашечками черного кофе.

– Хотите, я вам что-нибудь сыграю? – обратилась хозяйка к Георгию Антонычу, мгновенно позабыв о «вольтерьянце», который все время чувствовал себя не в своей тарелке, хотя не без удовольствия ел и куропатку, и рыбу, и персики... В гостиной стоял прекрасный концертный бекштейновский рояль.

Георгий Антоныч в музыке не понимал ровно ничего. Однако он ответил, что с восторгом будет слушать. Хозяйка села за рояль и мастерски сыграла один из ноктюрнов Шопена. Видно было, что она играет для себя: она отлично знала музыкальную глухоту доктора, но ей самой хотелось как-то «отреагировать», изжить накопившиеся чувства, вылить их, выплеснуть, объективировать – и, на время хоть, отделаться от внутреннего волнения и беспокойства.

– Превосходно!

– В самом деле? Очень рада.

Разговор перешел на местные дела, городские, земские, медицинские, с перебиванием, en passant, косточек разных добрых знакомых.

Наконец Георгий Антоныч вдруг спохватился:

– Извините, Антонина Никитична, но нам пора. Я Любовь Ивановне...

– Это кто? – с живостью спросила хозяйка.

¹⁰ Бенедиктин. – Прим. ред.

– Его вот мать, – указал на Колю Георгий Антоныч, – я ей обещал вернуться максимум через полтора часа, а мы у вас просидели уже два с половиной...

– Это – жертва?

– Не язвите, Антонина Никитична. Вы сами знаете...

– Знаю... Знаю... Отлично знаю... Так до воскресенья. Буду ждать. До свиданья. До свиданья, вольтерьянец...

Было уже совсем темно на улице, когда Петровы вышли из вязигинского особняка. На небе сияли звезды, и двурогий месяц плыл по темно-синему океану, как серебряная лодочка. Спотыкаясь по влажной земле, они шли вдоль заборов, старательно разглядывая, что находится впереди...

– Ты что же, Коля, все время молчал, как немой?

– Так.

– Тебе не понравилась эта дама?

– Нет, ничего.

– Ты же, говорят, отчаянный? И не очень-то молчаливый? Что ж это ты?

– Так.

Дядюшка ничего и не мог добиться путного, кроме этого «так»...

Дома родители уж заждались.

– Где ж это вы пропадали?

– У одной прелестной дамы. Нужно ж Колю приучать к обществу!

Коля молчал.

Пора спать. Андрюша, в подушках, причмокивает губами во сне, точно сосет соску. Володя лежит на кушетке и мерно дышит. Коля должен поместиться рядом, на кровати, сделанной из сдвинутых стульев, на которые положен маленький тюфячок. Он раздевается и ложится; в голове мелькают и кружатся бабки, Степан, дядя Миша, Вася, изба, персики, Антонина Никитична с седыми волосами... Почти сквозь сон он слышит разговор:

– Что же делать? Часы и браслетку я уже продала.

– А Мишины сто рублей?

– Их нужно все же отдать, Ваня. И потом на переезд, если подсчитать все расходы, придется много затратить. Придется вещи продавать. Но нужно ехать скорее.

– Ты думаешь?

– А как же? За тебя, поверь, никто хлопотать не будет. Ты уж видел, насколько ты наивен. Если бы не дети... Ты просто не представляешь себе этой стороны дела.

– Как-нибудь проживем, Люба.

– Надеюсь. Но что очень туго будет – нисколько не сомневаюсь. Скоро и продавать будет нечего. И неприятностей, и ссор не оберешься. Люди суть люди! Ужасно тяжело на чужой счет будет жить, Ванечка.

– Ну ладно, утро вечера мудренее...

– Это – слабое утешение... И потом...

– Что потом?

– Я, Ваня, опять беременна... Коля заснул.

10

После долгих мытарств все семейство Петровых очутилось на квартире у младшего брата Ивана Антоныча, Евгения, во втором этаже старого дома, в Бабьем Городке, в самом низком его месте, недалеко от церкви Иоанна Воина. Дом был сырой, промозглый, весь в трещинах, точно после землетрясения. Штукатурка отваливалась у него целыми пластами, обнажая крестообразно набитые деревянные планшетки, куски грязного войлока. Мокрые затеки и пятна плесени придавали ему особо неопрятный и нездоровый вид. Его много лет не крашенная крыша была изъедена ржой и лупилась, поросши какой-то неопределенного цвета паршой. Внутренние лестницы прогнили, кое-где ступени совсем обвалились. Двери со сломанными, точно откушенными, медными ручками жалобно скрипели. Потолки протекали и были изукрашены зеленоватыми разводами и узорами, накапливая в углах столько гнилой сырости, что оттуда бежали даже пауки, по прозвищу «Ванька Коси Сено» (если у такого паука оторвать его длинную тонкую ногу, то она проделывает движения, подобно косе косаря). Зато там гнездились отвратительные жирные серо-лиловые мокрицы; холодные и скользкие, они падали на столы, кровати, на головы. Даже стекла в окнах словно пузырились от сырости, серости и унылости этого дома.

В первом этаже была прачечная и коробочная мастерская. В прачечной стояла вечная мокрота, горячие водяные пары клубились в тусклом воздухе, где едва различались согбенные человеческие фигуры с голыми руками, кучи разноцветного белья – рубах, кальсон, салфеток, носков, простынь, – то лежавшего мокрыми скрученными жгутами, то разбросанного беспорядочно по углам. От корыт,

мылившихся пеной, шел пар. На полу стояли лужи грязной воды, и потоки синьки змеились струями. Дверь на двор была открыта летом и зимой. Из прачечной поминутно выбегали с ушатами грязной воды и, раскачиваясь, тут же выплескивали ее, окрашивая землю или снег в серо-синие тона. Вдоль и поперек маленького дворика тянулись веревки, на которых развешивали для просушки отстиранное белье. Летом это тряпье надувалось, как паруса, и иногда порыв ветра срывал с веревок плохо ущемленную рубашку или простыню. Зимой оно превращалось в хрустящую холодную корку.

Обитатели прачечной жили и работали в одной и той же промокшей и гнилой квартире, то есть в трех комнатухах, густо набитых людьми, бельем, корытами, мылом, болезнями, кашлем и проклятиями. Преждевременно состарившиеся женщины-прачки были все как одна исхудальными, с отвисшими грудями, сморщенными лицами, руками, тощими, как суковатые, узлистые палки, с пальцами, разведенными мылом и щелочью, растрепанные и растерзанные. От беспросветной жизни и тяжкого, безрадостного, проклятого труда они почти все без исключения пили водку, ссорились, дрались и оттого были вечно покрыты синяками и ссадинами. Их мужья или полюбовники колотили их смертным боем. Все это копошилось на маленьком пространстве в несколько квадратных метров, где люди и вещи мешались, как в котле ведьмы с Лысой горы.

В коробочной мастерской с раннего утра до позднего вечера клеили коробки из картона. Здесь пахло клеем, клейстером, человеческим потом, махоркой. Люди сидели, почти не вставая, с зари до зари. Хозяин работал тут же, вместе с рабочими. Перед обедом он поил их чаем, чтобы раздувшиеся животы требовали меньше щей и каши и можно было бы экономить на харчах. Мастера были молодыми парнями, белобрысыми и угрястыми, с бледными и испитыми лицами, измученными трудом, недоеданием и водкой. Сидя за своими столами, они пели заунывные песни, а по воскресеньям напивались, буйствовали или лежали без задних ног на койках, вставая на следующее утро с опухшими и пожелтевшими лицами, нестерпимой головной болью и неудержимым желанием во что бы то ни стало опохмелиться.

К двору примыкал крохотный садик, где росло несколько кустов акации, обшарпанных и облезлых; на них всегда висели какие-то нитки, старые тряпочки, куски одежды. Земля была усыпана битым стеклом, горлышками бутылок, пробками, остатками рваных башмаков, собачьим калом. Редко-редко где пробивалась зеленая

травинка, да и она скоро хирела на этой почве. Садик стал любимым местом пребывания собак и кошек. Но и эти спутники жизни человеческой были какие-то шелудивые, тощие, с подбитыми ногами, слезящимися глазами, бездомные и голодные бродяги, которые тщетно грызли где-нибудь под кустом старую кость, у которой и снаружи и внутри уже давным-давно не было ничего съедобного. Во время своих свадебных забав они нещадно терзали друг друга, вырывая последние клочья шерсти. Одним из развлечений обитателей дома было стравливать животных или подбивать камнями, с улюлюканьем и свистом, несчастных склежившихся собак.

Вокруг, по извилистым и горбатым переулочкам, ютились такие же дома или деревянные, одноэтажные, с покривившимися стенами, с проволочной ручкой от звонков у ворот. Узенький тротуарчик обрамлял бульжную мостовую, сквозь которую в особо глухих местах кое-где прорастала трава. Дома были набиты полунищим народом и грудями барахла, которое оседало здесь годами, точно в огромной мусорной яме. Недаром сюда часто заглядывали старьевщики, тряпичники, собачники. Собачники ловили приبلудных собак или покупали их за копейки, сбывая потом свой товар на живодерню. Старьевщики-татары бродили по всем закоулкам, посматривали своими узенькими глазками и тонкой скороговоркой выкрикивали: «Шурум-бурум. Карош товар. Минять-продавать...» Степенные русские, заглядывая в окна, говорили басом, нараспев, солидно: «Старья старого, сапог старых нет ли продавать?» Бутылочники, с большими холщовыми мешками, шныряли по дворам и тоже нараспев, монотонно повторяли: «Костей-бутылок, костей-бутылок!» Татары носили на спине громаднейшие тюки с разного рода одеждой, от лисьих шуб до носовых платков и кружев, от новых товаров до окончательно истрепавшихся. Все это продавалось, менялось, балансировалось. Одна и та же вещь часто проходила несколько жизненных своих циклов, и каждому такому циклу соответствовал особый социальный круг потребителей: новая, она носилась так называемыми порядочными людьми; потрепанная, она сбывалась человеку обедневшему, но еще имеющему известное положение в обществе; изношенная, она переходила к нищему, «хитрованцу», люмпену. Жизненное разнообразие таких метаморфоз было очень значительно, комбинаций здесь было сколько угодно, и это тряпье следовало своим законам товарного обращения, посредниками и агентами которого являлись старьевщики, эти торговцы бедноты.

Евгений Антоныч переехал в Бабий Городок недавно, имея уже в виду брата. Все его вычисления приводили к тому, что денег может хватить на наем квартиры о четырех комнатах, да при необходимости поддерживать семью Иванушки только тогда, когда за самую квартиру не приходилось бы переплачивать, и тут невозможно было думать о ее качествах. К нему приехала еще бабушка, которая выписала Федю; сам он был холост, но на его руках обреталась древняя старушка, двоюродная тетка бабушки, «Уфочка», еле передвигавшая ноги. В четырех комнатах все насилу разместились. Одна была общая столовая. Семья Ивана втиснулась в другую; бабушка с Уфочкой и Федей занимала третью, и сам Евгений Антоныч ютился в небольшой комнатухе, оставшейся на его долю. Это было с его стороны, нужно сказать, прямо самопожертвованием. Но он отличался прекрасным характером и редкой добротой. Он – единственный в этом отношении из братьев – не кончил университета, а вынужден был служить сразу после того, как вышел из гимназии. Долгое время он работал в редакции «Русской мысли», а теперь был бухгалтером в купеческой фирме суконщиков Андреевых и целый день корпел в «амбаре», что в Средних торговых рядах, близ Варварки. Выше братьев ростом, лысоватый, с добрейшими глазами на круглом лице и добродушнейшим носом картошкой, на котором сидело сильное пенсне, он постоянно что-нибудь мурлыкал, пел или декламировал, всегда с необычайным пафосом, нараспев, мелодраматически подвывая в конце строфы.

В восемь часов утра все собирались в столовой пить чай. Евгений Антоныч спешит на службу. Он только что умылся, sprыснул лысеющую голову вежеталем и садится, декламируя и подвывая:

Художник, варвар, кистью сонной...

Древняя бабуля Уфочка в сотый раз, шамкая губами, повторяет свой единственный рассказ о том, как она, несмотря на советы Георгия Антоныча, упустила случай вставить себе зубы:

– И говорил мне Егор Антоныч: Уфочка! Вставьте зубы!

Ее столетнее морщинистое лицо просветляется при этом ласковой улыбкой. На столе – булки, калачи, масло; в сахарнице – кусочки колотого сахару. Но все это теперь не просто предметы потребления – возьми и ешь! Нет, каждый заранее примеривает, сколько он может взять, не объест ли он других: одни стесняются больше, другие – меньше, но у всякого свой нацел и прицел – нужда дает себя знать на каждом шагу, и каждый кусок сахару взвешивается на невидимых весах. От этого образуется какая-то внутренняя натянутость,

просвечивающая то в беглом взгляде, то в коротком жесте или реплике.

За чаем всю ситуацию смягчает неизбывное добродушие и мягкость Евгения Антоныча. Он шутит, подбрасывает детям то булку, то сахар, то масло, делая это и ловко, и тактично. За обедом, когда его нет, дело обстоит много сложнее: всякий пустяк вырастает в проблему: кому достанется мозг из толстой суповой кости? Как его поделить? Как поделить кусочки вареного мяса? Сколько можно положить масла в гречневую кашу? Эти обязанности руководства, по патриархальному обычаю, лежат на бабушке. Но здесь уже намечается антагонизм. Бабушка, как многие свекрови, недолгобливает в глубине души невестку, Любовь Ивановну, которая «отняла» у нее Иванушку. Ее она считает источником вольномыслия, «разврата», неправильного воспитания детей, Колиного безверия. Она полагает даже, что и Иванушка поддается этому тлетворному влиянию. Когда жили врозь, все это было незаметно. Теперь это стало просачиваться. Бабушка явно протезировала Феде, в пику Любви Ивановне: Федя получал, так сказать, премию за добродетель в виде всяких кусочков мяса, масла или сахара. Любви Ивановне было стыдно пускаться в споры на такой почве – но она любила своих детей. Когда была явная обида, она сдерживалась, крепилась, потом зазывала старьевщика и продавала очередное платье, платок или какую-нибудь накидку, чтобы тайком докупить калачей и сунуть их ребятишкам при случае.

А места Иван Антоныч все не получал и не получал. Скоро было распродано почти все, что можно было распродать: мундиры Ивана Антоныча, его сюртуки, парадные белецкие платья Любви Ивановны, шубы... Все это как-то необыкновенно быстро испарялось: не успеешь оглянуться – и нет. Иван Антоныч все видел, понимал и разводил руками. Получаемые им при хлопотах о месте унижения и обиды он сперва встречал с возмущением, потом притерпелся. Домашние мелкие и мельчайшие конфликты его глубоко угнетали. Это самое подлое в жизни, когда она мельчает.

Колю изредка посылали в лавку продавать старые газеты на вес, книги. Сам он рыскал по дворам, собирал тайком кости и бутылки и продавал их. Он обнаружил даже, что если покопаться в садике, в земле, то там – целые груды старых костей и всякого тряпья. Он возился с этим, руки у него огрубели, покрылись какой-то корой. Вырученные копейки он тратил на ириски – сластена он был большой, а сахару было в доме мало – и угощал ими своего Володьку.

У него хранились потайные склады рухляди, и как только раздавалось «костей-бутылок», он сбывал заготовленное добро и бежал за конфетой или плюшкой с сахаром.

С большим опозданием, уже в середине года, его поместили в школу, в ту самую школу, где он провел свое раннее детство. Сделали это через Яблочкина, который продолжал все время быть заведующим. Поступил Коля во второй класс. Так он снова очутился на старых местах. У Яблочкиных его встретили очень хорошо. Маня во время школьной перемены, когда Коля заходил к ним завтракать, заботливо подкладывала ему особо сочные котлетки, пузырившиеся соком и подливкой. Какими необычайно вкусными казались эти котлетки! Маня видела, как обеднели Петровы, понимала, что мальчики недоедали. Да и трудно было этого не заметить: блузки у них повыцвели, чулки были в дырах и в штопанных заплатках, белье не выглажено, во взглядах, которые они украдкой бросали на сахар, стакан чаю с лимоном, яйцо, явно сквозило голодное желание. Ей было жалко мальчиков, ей было больно за Колю, с которым она прежде так дружила. Но эта дружба, такая, как была раньше, не возобновлялась – слишком уж разошлись жизненные сферы, и, к своему удивлению, Коля не рассказывал Мане даже о бессарабских чудесах. Раз только вспомнилось и повторилось как будто прошлое: Коля принес сухую «мертвую голову», свою гордость; внимательно рассматривала ее серьезная Маня, и в этой неведомой бабочке, привезенной из дальнего края, чудилась ей какая-то другая жизнь... Дети осторожно распаривали эту драгоценность над самоваром, там, где из дырки в крышке струился пар. И вот высохшие связки размякли, ножки и усики можно было уже отгибать, и Коля, наколов на булавку, препарировал бабочку на хорошей пробковой расправилке.

Рано утром, едва успев хлебнуть горячего чаю, Коля, схватив ранец с книгами, бежал в школу, взбираясь снизу, с Бабьего Городка, на Якиманку, потом на Полянку и на старую знакомую, Большую Ордынку. А вот и родной дом. Школьники – мальчики и девочки – сидели на лестнице и ждали, когда откроет швейцар двери. А когда раскрывались эти двери, они шумной ватагой, толкая друг друга, колотя по ранцам за спиной, подталкивая соседа под зад, врываются в здание и бежали к вешалкам: у каждого был свой номерок. Как галки, они рассаживались на «парадной» лестнице, под которой помещалась маленькая амбулатория, и в очереди, тянувшейся длинной змеей, проходили беглый медицинский осмотр: фельдшерница Елизавета

Алексеевна, дочь батюшки Воскресенского, прижимала каждому язык плоской деревяшкой и смотрела горло: нет ли ангины, дифтерита и других напастей. Деревяшки бросались после каждого в корзинку, потом выпаривались, чтобы на следующий день выполнять снова свою роль.

После осмотра, по звонку, выстраивались в большом актовом зале на молитву. Учитель пения, он же учитель чистописания, Иван Алексеич Золотов, тщедушный, чахоточный, с огромным кадыком, болезненно выпирающим из длинной тонкой шеи, брал камертон и, дирижируя руками, давал сигнал...

«Царю небесный, утешителю, душе истинный», – начиналось пение...

«Иже везде сый и вся исполняли», – продолжал стройный и согласный хор...

«Сокровище благих и жизни подателю», – неслись вверх тоненькие чистые дисканты...

«Прииди и вселися в ны», – молили альты убедительно-низкими голосами...

«И очисти ны от всякия сквееерны и спаси, блаже, души наааша», – заканчивал хор молитву, и голоса сходили на нет, замирая.

Ребятишки разбегались по классам, и начинались уроки. Коля сразу выдвинулся по всем предметам, а писал он так каллиграфически, что превосходил самого учителя чистописания, который открыто это признавал и с удовольствием ставил ему пять с плюсом. Пальму первенства оспаривали у него двое: аккуратненький Нарциссов, сын мелкого служащего, с гладко причесанными на косой пробор черными волосами и хрустально-чистым дискантом, который всегда выделялся и звенел в школьном хору, и сын прачки Яковлев, едва прикрытый рубахой; этот способнейший мальчик был поражен страшной наследственной болезнью, ноздри его были разворочены, из носу шло такое нестерпимое зловоние, что он сидел на парте один: никто не мог вынести близкого с ним соседства; у него был замечательный математический ум, и он быстрее всех в классе решал любые устные задачи. Дружил Коля с двумя сверстниками: Хрусловским, с которым его объединяла любовь к рисованию, и с сыном школьной уборщицы Мозгалевым. Хрусловский был тощ и тонок, как тростинка, с худым, сплюсненным с боков, длинным лицом, тонкими руками. Мозгалева, наоборот, выглядел опухшим и мешковатым, даже толстым. В школе его звали «Мизгирь». Он постоянно страдал от крупных нарывов под мышками, носивших

название «сучьего вымени». Жил он в школьном подвале, и Коля, навещавший «Мизгиря», когда тот хворал и не приходил в класс, впервые как следует познакомился с этими подземными каменными коридорами, куда лился сверху тусклый свет, где гулко звучали шаги по асфальтовому полу и где царствовала спертая, затхлая сырость, от которой бледнели лица и ныли кости подвальных обитателей.

В Москве Коля набросился на книги, продолжая читать так же беспорядочно, как и раньше: у него перебивались испанские романы, Мольер, история древних литератур Корша, Апокалипсис – все это поглощалось им взасос, с необычайной жадностью. Апокалипсис сыграл в этом чтении особую роль. В школе, на уроке Закона Божия, Коля упомянул о том, что знает эту книгу. Священник изумился, стал его спрашивать для проверки. Тот отвечал, но жаловался на непонятность. Тогда толстый батюшка, вообще не склонный к умствованиям, заявил, что простым мирянам чтение Апокалипсиса запрещено особым церковным постановлением, и потребовал от мальчика выполнения этого постановления. Но так как именно запрещенный плод сладок, то почтенный священнослужитель фактически заставил Колю прочитать книгу внимательно от доски до доски. Торжественно-непонятный пафос ее, космологические катаклизмы, трубы архангелов, воскресение мертвых, Зверь, последние времена, Вавилонская блудница, чудесные чаши – вся приподнятая торжественная эсхатология этого мистического документа и его образная символика произвели на Колю свое впечатление, несмотря на его ранний атеизм. Ему стало казаться, что он-то и есть Антихрист. По чистой случайности тогда же попала ему под руку «Лекция об Антихристе» Владимира Соловьева. Когда он дочитал до того места, где описывается, как Антихрист хотел прыгнуть в пропасть и как «точно электрический столб» поддержал его в воздухе, у Коли пробежали по спине мурашки. Он подъехал к матери и осторожно выспрашивал у нее, не блудница ли она, так как Антихрист должен родиться от блудницы. Слова этого он не понимал, мать была в полном недоумении, что все это означает. Но у Коли были свои, сепаратные, тайные мысли, и он не подумал разьяснять, чем, собственно, вызван его вопрос.

Это был своеобразный душевный кризис, вернее, его последняя фаза, толчком к которой послужили бабушкины проклятия. Мальчик скоро преодолел и эту заключительную атаку со стороны старых представлений, которые копошились где-то в низинах души. Особенно мучили его сны. Вот ему снится, что он пошел к Мозгалеву в училищный подвал. Он идет по асфальтовому полу. Темно. Шаги

его отдаются в коридоре гулким эхом. Но он никак не может найти двери мозгалевской комнаты. Он идет и идет, а двери все нет. И он вдруг чувствует, что заблудился, как в критском лабиринте. Он уже спешит выбраться вообще на свет божий – не тут-то было! Коридоры вытягиваются и уходят в бесконечность. Он уже бежит, задыхается. Пол становится все горячее и горячее. Наконец он уже настолько горяч, что Коля едва может вытерпеть. Он в аду. Рядами стоят большие котлы, вроде тех, в которых варят асфальт, и волосатые здоровенные черти с трехзубыми вилами в руках поджаривают в них грешников. Жара становится невозможной, и задыхаясь Коля просыпается...

Или ему снится, что лежит он в поле темной ночью. Ночь выдалась теплая, небо усеяно мириадами звезд. Они мигают зелеными, голубыми, красноватыми и золотыми лучами. Внезапно звезды сдвигаются с мест, начинается звездный танец. Они множатся в числе, они крутятся серебряным вихрем, они растут, делаются все больше, сверкают красноватым огнем. Их узоры – невыразимой красоты. Сонмы танцующих светил приближаются. И вдруг среди них вспыхивает гигантское ослепительное ярко-малиновое солнце... «Комета! Комета летит на землю!» – думает Коля и просыпается, обливаясь потом.

Или снится ему, что сидит он у окна. Стоит прекрасная погода, солнце светит весело и радостно. Всюду свежая зелень, деревья в цвету. И замечает Коля, что солнечные лучи все точно пропущены через трехгранную призму: повсюду играют радуги. Нет обычных цветов, нет обычных солнечных бликов – семицветье заполонило все. Бац! С неба упала громадная льдина. За ней другая, третья! «Вот отчего радуги: пары обледенели в воздухе – гибель неизбежна». Льдины падают одна за другой, чаще и чаще. Они сметают деревья, крушат дома, покрывают землю горами льда, сверкающего семью цветами. И вдруг оглушительный треск хоронит с собой все...

Эти кошмарные сны, в которых апокалиптические катастрофы причудливо перемешивались и чередовались с естественно-научными представлениями, скоро прошли, и Коля обрел полный душевный покой, навсегда отделившись от религиозных фантазий. Но в голове у него толклись самые разноречивые идеи. Незабвенный Козьма Прутков изрекал: «Многие люди подобны колбасам: чем их начиняют, то они и носят в себе». Дети отличаются особым доверием к книге, то все написанное и напечатанное – правда. Афоризмы Талейрана о языке им тоже неизвестны. Немудрено, что и на Колю книги

оказывали решающее воздействие. Когда он их читал, он целиком уходил в мир, куда они его переносили, позабывая обо всем остальном. Начитавшись испанских романов, он преисполнился почтения к благородству рыцарей, и испанские идалго настолько завоевали его симпатии, что во время испано-американской войны он был всецело на стороне испанцев и весьма досадовал, когда государство заатлантического хищника без труда громило флот древней прогнившей католической монархии. После толстых фолиантов Корша Коля жил в мире греко-латинской мифологии и героики, среди золотокудых и пеннорожденных, на агоре, в атриумах, под портиками, посреди статуй, пенатов, лар, урн, в толпе Плутарховых героев, куда он охотно бежал от «костей-бутылок», «шурум-бурума» и мелких забот и ссор повседневности. С другой стороны, он проглотил много томов Мольера и щеголял перед взорными своей осведомленностью в делах рогносцев, любовников, любовниц, пронырливых слуг, Маскарилей, Сганарелей, Тартюфов, смешных жеманниц и добродетельных мешанских резонеров. «Старик, – говорила бабушка. – Посмотрите на него! Ведь он – старик, он все знает, чего ему не полагается». Бабушка и не догадывалась, что такие нападки доставляли Коле истинное удовольствие.

По воскресеньям Коля любил ходить в Третьяковскую галерею. Здесь он бродил целыми часами, переходя из зала в залу и подолгу останавливаясь перед любимыми картинами. Он не мог оторваться от репинского Грозного, с его отчаянием, безумными, сумасшедшими глазами, и от кротких гаршинских очей умирающего сына, и от страшной лужи крови на полу. Суриковская «Казнь стрельцов» заставляла его трепетать. «Боярыня Морозова», ее горящие суровым величием подвига глаза, цепи, нищие, ехидничающий поп с лисьей мордой, бегущий мальчик, боярышни – были для него живыми, и, уходя из галереи, он чувствовал эти картины так, будто видел все в действительности. Поражало его и византийско-русское искусство Виктора Васнецова, грозные пламенные очи ангелов, кроткие большие очи чернобровых богородиц, Сириин и Алконост¹¹, тройка могучих богатырей и поле сечи, где при тусклой вечерней луне над трупами сраженных дерутся степные стервятники. Он стоял как замороженный перед полотном Ге «Что есть истина?», где в коридоре, с полом, залитым светом, упитанный скептик-римлянин Понтий Пилат

¹¹ Две сказочные птицы с человеческим лицом – олицетворение утра и вечера, радости и печали, жизни и смерти. – *Прим. ред.*

вопрошает затравленного и измученного, такого человеческого Христа. Он любовался блестящими портретами Серова, смутно чувствуя изящное благородство серовской манеры и глубокую проникновенность этого крупнейшего мастера. Влюбленный в природу, Коля был влюблен в лирического Левитана, иудея с задумчивыми глазами, который, как никто, передавал русский пейзаж. Его «Золотая осень», «У омута», «Над вечным покоем», его весенние пейзажи с синими тенями на снегу обволакивали мальчика той нежной грустью, в которой растворяется без остатка все человеческое «я». Из более ранних художников Куинджи ему нравился больше суховатого Шишкина, и перед сверкающей солнцем «Березовой рощей» он готов был мечтать без конца... Так бродил он из залы в залу и снова возвращался к излюбленным своим картинам и смотрел на них, как на своих старых знакомых...

В школе Коля с азартом стал заниматься рисованием – карандашом и углем. Он рисовал пирамиды и кубы; рисовал с гипса маски и фигуры, руки, торсы, отдельные части тела. Дома он располагался иногда в столовой, когда она была свободна (комната Петровых была так набита, что повернуться было негде), расстилал листы слоновой бумаги, клал на стол искусно очинённые карандаши, уголь, резинку, снимку, растушевку и усердно рисовал портреты, копии понравившихся картин из каких-нибудь старых журналов или что-нибудь «по памяти». Однажды он нашел у матери старую отличную репродукцию Леонардовой «Тайной вечери» и несколько вечеров подряд просидел над нею; его особенно поразило движение рук, пальцы апостолов, живой их разговор: эти руки точно заменяли молчащие рты. И у Коли «вышло» – по крайней мере, так говорили все окружающие...

В семье между тем полуголодная жизнь текла по-прежнему: по-прежнему Иван Антоныч тщетно хлопотал о месте, и по-прежнему у него ничего не выходило; по-прежнему делили куски и кусочки; по-прежнему вспыхивали мелкие, нехорошие ссоры, и Любовь Ивановна, измученная всей обстановкой, проливала тайные слезы; по-прежнему приходилось спускать старьевщикам все новые и новые вещи, с тою только разницей, что теперь уже продавалось самое необходимое; по-прежнему среди мокрых простынок кричал младенец Андрюша, и отец носил его на руках, убаюкивал и пел стихи Фета на импровизированные мотивы, в каких не было никакого мотива. На дворе стояла такая же ругань и свара. Так же невесело день-деньской работали в прачечной и коробочной, и такими же голосами кричали старьевщики разных сортов и специальностей.

Вот уже прошла зима, и солнце засветило ярче и радостнее. Потоки грязной воды текли по двору, спускались на улицу и журчали быстрыми пенистыми струями вдоль тротуаров. Несчастные кусты акаций набухали почками. В мастерской раскрывались окна, и вечерами Коля подсаживался на подоконник и слушал, как мастеровые пели за работой песни. Песни иногда были на редкость бессмысленные.

Крутится, вертится шар голубой,
Крутится, вертится над головой,
Крутится, вертится, хочет упасть,
Кавалер барышню хочет украсть, –

пелось из окна. Потом вдруг переходили на залихватский мотив:

С вашего желанья
Споем про Маланью.
Маланья моя, лупоглазая!
Босиком домой ходила,
Разудала голова!

Но вот этот жанр наскучивал, и раздавалась популярнейшая песня про буров: «Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне». И уже какой-то смутной жаждой справедливости и надежды звучали ее заключительные строки:

Настал, настал суровый час
Для родины моей.
Молитесь, женщины, за нас,
За наших сыновей!

Буры вообще были чрезвычайно популярны. Имена президента Крюгера, Боты, Деларея и других бурских генералов пользовались широчайшей известностью. Царские политики, которые у себя дома сдирали кожу со всех малых наций, профессиональные погромщики, черные идеологи, святители православной церкви, в пику Англии, «коварному Альбиону», с которым были стародавние счеты, не только не чинили препятствий восхвалению бурских подвигов, действительно изумительных, но и сами вдруг воспылали нежной любовью к свободе. Еще бы! Даже высокопоставленный носитель усов, имевших всемирную славу, многоречивый германский император посылал поздравительную телеграмму президенту Паулю Крюгеру, когда буры победоносно отразили разбойничий налет британского отряда, направляемого могущественнейшей рукой некоронованного короля африканских английских владений, богача, завоевателя, пирата – Сесилия Родса. Но народ вкладывал в

славословия героической борьбе буров свое собственное содержание, крайне далекое от расчетов хитроумной и вышколенной царской дипломатии или от мотивов германского кайзера, который позднее, готовя войну, писал своему канцлеру «Сначала расстрелять социалистов, поотрубить им головы и обезвредить – если понадобится, так посредством кровавой бани, – а затем внешняя война. Но не ранее». Голос народа расценивал буров как своих, мужиков, мелкий люд, который победоносно отражает прекрасно вооруженные войска могущественных богачей. Когда мастеровые, фабричные, мужички рассматривали картинки из англо-бурской войны, они видели бурских генералов, одетых в простые куртки, с широкими шляпами на головах, в высоких простых сапогах, с ружьями на ремешке. Этот штатский вид защитников Трансвааля уже сам по себе внушал такие мысли. И зернышки смутных надежд и стремлений народной массы, дремавшие еще очень глубоко в неосознанном и подспудном, прорастали побегими горячей симпатии к славным подвигам бурских отрядов.

Сынов всех девять у меня –
Двоих уж нет в живых,
А за свободу борются
Шесть юных аасатальных...

В этих словах о свободе, за которую борются юные сыновья старого бура, уже звучали далекие намеки на возможность какой-то иной жизни... Но не пришли еще сроки и не исполнились времена...

Иногда, по праздникам, если мастеровые держались на ногах, Коля играл с ними в бабки. Играли и на деньги, втыкая медные копейки в землю, в одном ряду с бабками – на копейку три «гнезда». Выигранные копейки, исковерканные, ущербленные, со сбитыми блестящими краями, исцарапанные от ударов битами, считались особой ценностью, как медали у старого солдата.

Раз, когда Коля сидел на подоконнике мастерской, один из мастеровых, поковыривая в носу, обратился к нему с вопросом:

– А знаешь, Колька, не склеить ли нам огромный змей?

– А из чего?

– Не изловчишься ты у своей матки рваную простынь свистнуть? Мы ее в момент зашьем, заштопаем, заклеим – да и вся недолга. Такого змея соорудим – все ахнут.

– А на чем мы его запустать будем? Он оборвется.

– Английского шпагату достанем. Ты только простынь раздобудь, останное – наше дело. Идет?

– Ладно.

В сундуке с грязным бельем Коля разыскал маленькую рваную простынку. «Все равно она годится только на тряпки, – утешал он себя, совершая похищение, – да ее и вернуть можно будет. Зато змей какой выйдет у нас!» – думал Коля, заранее предвкушая, как над Бабьим Городком взовьется невиданной величины игрушка.

Утро воскресенья все было посвящено этому змею. Простыню зашили, положили заплатки, наклеили к ней целых шесть отлично отбесанных крепких и толстых дранок, две – крест-накрест по диагоналям и четыре – по краям, сшили их на скрепах суровыми нитками, и основа змея была готова. Теперь нужно было смастерить хвост. Тяжесть хвоста должна была уравнивать при полете самый змей. Достали мочало, соорудили на конце длиннейшего хвоста «маклыжку», привязали шпагат, который откуда-то раздобыл Петруха, и торжественно понесли змей на улицу. «Запустить» такую махину оказалось не совсем просто. Нужно было забираться с ней наверх, чуть ли не до самой Якиманки. Там змей воздел на руках, как поп чудотворную икону, Митька, в то время как Петруха внизу держал противоположный конец бечевы.

– Пускай!

Митька отпустил, Петруха побежал. Змей плавно поднялся высь...

– Петруха, отпускай больше, разматывай! Клубок шпагата стал раскручиваться с невероятной быстротой. Змей уходил в небеса...

– У, черт, как тянет! Все руки обрезал. Колька! Хочешь попробовать?

– Давай!

Коля едва мог удержать бечевку змей рвался все выше и тянул так сильно, что действительно резал бечевкой пальцы. Зато эффект получился среди мальчишек Бабьего Городка поразительный: на змей глазели изо всех дворов. Голубятники смотрели из чердачных окон, качая головами и ахая. Особо восторженные умиленно просили дать им хоть секундочку подержать шпагат, чтоб попробовать, как «тянет». Змей победоносно парил в высоте – и такими жалкими казались обыкновенные змеи и – монахи –, которые висели в воздухе ничтожными, бессильными малышами...

Победа была полная; и Коля, и мастеровые ликовали. Вдруг совершенно неожиданно от хвоста отлетела маклыжка. Змей рванул, качнулся, опрокинулся вниз головой, стремительно описал в воздухе один круг, потом другой и, вертясь через голову, громадным кругом

ринулся наземь и скрылся из глаз за крышами домов. Шпагат бессильно повис...

– Эх, мать его так-то! Пропал, черт его поберит! Давайте пойдём искать, по бечевке...

Но поиски ни к чему не привели. Кто-то где-то, неизвестно кто и неизвестно где, поторопился перерезать бечеву, из которой ребята выручили только часть. Остального не нашли. «Так кончился пир их бедою».

11

Весной Коля превосходно выдержал экзамены и перешел с наградой в последний класс школы. Лето зато было на редкость безрадостно. Ни о какой деревне нельзя было и мечтать, и так-то едва жили. Стояла жара и духота. Камни мостовой были накалены. Асфальтовые тротуарчики размякли, и на них отпечатывались следы сапог и даже пальцы и пятки босоногих ребятишек и нищих. Грязь на дворе превращалась в пыль и обратно в грязь, когда из прачечной выливали синюю мыльную воду. Земля трескалась. В комнатке Петровых царил густой запах мокрых детских пеленок, прокисшего молока, мочи, отрыжки, слюнявчиков, носильного белья. Дети спасались на церковном дворе: там попадались кусочки земли, покрытые зеленой травкой, кое-где рос золотой одуванчик. На трех больших березах грачи свили гнезда и неистово каркали, хлопая крыльями. Иногда, перед вечерней или всенощной, дети забирались по крутой каменной винтовой лесенке на колокольню и упрашивали звонаря, чтобы он позволил им позвонить. Колокола висели в строгом порядке; тут были и маленькие колокольчики, звеневшие радостными звонкими и чистыми серебряными голосами, и более крупные, голос которых звучал уверенно и мужественно, и большой колокол, который гудел мощным медным басом и огромный язык которого бил в его стенки, как таран, – под ним даже страшно было стоять. Звонарь считался великим искусником своего дела. В его руках и ногах были сосредоточены веревки от всех колоколов сразу, и, оперируя своими четырьмя конечностями, приплясывая и притоptyвая ногами и необычайно быстро двигая руками, он разыгрывал целые симфонии. Звуки играли, переливались, выступали то раздельно, то в строгом согласии, и их металлический говор перекрывался вдруг гулом и рокотом большого

колокола, посылавшего в пространство густые могучие волны... С колокольни хорошо видна была вся Москва, широкая, разноцветная, пестрая, как азиатский ковер. Храм Христа Спасителя ярко горел своим огромным золотым куполом, куда ударяли солнечные лучи, отскакивая пламенным сиянием. Вилась лентой Москва-река. Древние соборы Кремля стояли тесной кучей, сверкая главами и крестами. Высился огромный царский дворец и угловые башни кремлевских зубчатых стен с двуглавыми орлами на маковке. Среди домов, домиков и лачуг змеились улицы и кривые узенькие переулочки, из которых вырастали бесчисленные церкви со своими колокольнями. Далеко маячила Сухарева башня. А по другую сторону голубели Воробьевы горы, окаймленные рекой и тусклой зеленью пригородных огородов... На колокольне гнездились голуби и стрижи, весь пол был усыпан птичьим пометом. Стрижи с пронзительным визгом резали черными острыми крыльями ясное небо, пулей влетая в гнездо и снова носясь в воздухе целыми стаями. Высота, ширь, простор... Но все это только на полчаса...

Кроме колокольни и церковного двора, бабок и пускания змея, у ребятшек не было никаких утех. Один раз только удалось Ивану Антонычу сводить детей на Воробьевы горы. Шли через Калужскую площадь, на которой стоял белый пузатый собор Казанской Божьей Матери, мимо Мещанского училища, к Нескучному саду. Дорога была длинная, конки здесь не ходили, по жаре нужно было тащиться несколько верст. Иван Антоныч, поглядывая на дома, поминутно издавал восклицания:

– А это вот дом Сидорова. Здесь жил Иван Петрович.

– Какой Иван Петрович?

– Да Крутиков!

– Какой Крутиков?

– Как, ты не знаешь Крутикова? Да я ему уроки... постой... да, в восемьдесят седьмом году давал.

– Папа, ведь я же тогда и не родился...

– Фу ты, черт, я совсем позабыл... А вот тут Иванов жил... А это, вон направо... видишь?.. Тут мы с мамочкой жили.

Иван Антоныч, старый москвич, знал не только все улицы и переулочки, но и бесчисленное количество домов, с которыми у него были связаны те или другие воспоминания. Но времена, годы, даты он путал самым безбожным образом...

У ребят прошла вся усталость, когда они очутились среди зелени, в лесу, на траве. Крутые Воробьевы горы изрезаны глубокими

рытвинами и оврагами, густо поросшими березой, ольхой, орешником. Красновато-рыжие глинистые их бока сползают к Москве-реке, которая делает в этом месте большой изгиб. Вода течет спокойно, и лес отражается, словно в тихой заводи. Там, где кончается спуск лесистых оврагов, у самого подножия холмов, вросли в землю старые осокори, с большими корявыми стволами и узкими листочками, которые дрожат и серебрятся на солнце, когда ветер гладит их против шерсти, а они точно ерошатся под неуместными его ласками. Между стволов, омывая корни, сочатся черные лесные ручейки. Они то исчезают в яркой густой траве, то пробиваются наружу, булькая по сизым камушкам. Вода в них холодная, ключевая. Отсюда идет гладкая зеленая поляна – вплоть до самой Москвы-реки, где стоят лодки и перевозчик собирает свои медяки.

С холмов открывается бесконечно широкая панорама. Млея в голубоватой дымке, лежит вдаль белокаменная столица. Она вся в нежных акварельных тонах, точно соткана из воздуха, как мираж, как марево. Ближе всего, за рекой и за огородами, усаженными капустой, стоит, как часовой, Новодевичий монастырь, со своими башнями и колокольнями. А дальше – все в перламутровом тумане, в жемчужной вуали воздушных струй.

Солнце садится. В лесу свежеет. Тень падает на реку и медленно ползет дальше. А Москва розовеет тончайшими розовыми и опаловыми тонами, сквозь которые ослепительными огнями горят золотые маковки сорока сороков.

Усталые, возвращаются поздно вечером Петровы домой, в свой Бабий Городок. Стоптанные ноги гудут. Хочется спать. Дети надышались воздухом, уходились, глаза у них уже не смотрят, головы падают на грудь. Наступает сон, в котором тонут все впечатления...

С осенью снова началась школьная жизнь. Она не представляла для Коли ничего тягостного, наоборот, в школе он получал вкусные плюшки, каких не было дома; завтракать ходил к Яблочкиным и, глотая голодную слюну, думал заранее о том, как он воткнет вилку в подрумяненную корочку сочной котлеты. Ученье ему давалось исключительно легко. В школе можно было рисовать с натуры. На всякую же «чепуху», вроде Закона Божия, Коля привык смотреть уже как на необходимую формальность – ответил урок, да и дело с концом. Церковно-славянский язык он усваивал без всякого труда, все выходило как-то само собой, словно играючи. Он пел во время молитв в училищном церковном хоре, читал иногда часослов, но не испытывал уже при этом ни малейшего религиозного чувства; скорее, он ощущал

себя в эти моменты, как чтец-декламатор, выступающий перед публикой.

В один прекрасный день в школе объявили, что учеников поведут на экскурсию в Зоологический сад смотреть приехавших негро-дагомейцев. Построили ребят парами, и малыши зашлепали по тротуарам. В зверинце, недалеко от огромных клеток с обезьянами, где карабкались, выпячивая зады, мартышки и павианы, в огороженном кругу помещались несчастные да-гомейцы, мужчины и женщины с маленькими младенцами. Было еще тепло, и негры стояли и сидели полуодетыми. Их черная кожа блестела жирным блеском, местами отливая почти синевой. Белые, крепкие зубы сверкали из-за толстых чувственных губ. Глаза – большие, навывкате, с яркими белками – смотрели и удивленно и печально. Толпа народа глазела на них, как на зверей: тыкали пальцами, отпускали грубые шуточки, хохотали.

– Ишь, нехристи, – издевалась какая-то чуйка, – словно сажей вымазаны. Язычники проклятые!

– Знамо: раз рожа черная, и душа черная.

– А у них тоже душа есть?

– А кто ж их знает?

– Они не людоеды? Говорят, есть людоеды, что человечину лопают.

– Ну?

– Ей-богу, правда.

– Наверно, людоеды. Ишь, за решеткой не зря, чай, сидят.

– Они не людоеды, а вы дураки! – вмешался Коля в разговор и убежал, пока «дураки» сообразили, как им реагировать на это вмешательство. Колю прорвало помимо желания. Он сам впервые смотрел на живых негров, и вид их его поразил. Но он читал «Хижину дяди Тома», его любимый Гек Финн имел своим приятелем негра Джима; он вспомнил гейневский «Невольничий корабль», и ему вся кровь бросилась в голову, когда он услышал обмен мнений торговцев и лабазников, отпускавших шуточки по поводу чернокожих.

– Петров, ты куда? – изумился учитель, Николай Палыч, сопровождавший ребят: он видел, как Коля побежал в сторону от перил, около которых толпился глазевший на дагомейцев люд.

– Я не хочу больше смотреть на дагомейцев. Они не звери. Позвольте, Николай Палыч, на другое посмотреть.

Учитель вскинул глаза. Он, по-видимому, что-то сообразил.

– Ладно. Ты только не потеряй нас. Мы все потом по саду пройдемся.

Коля пошел бродить по зверинцу. Его потянуло к слону. Огромный индийский слон стоял почти неподвижно на одном месте. Когда он поднимал свою тумбовидную ногу, он гремел тяжелой железной цепью, как старый каторжник. Кожа у него сморщилась и висела складками, точно древняя кора. Изредка он лениво как бы ощупывал воздух хоботом и сейчас же вновь погружался в забытие. Если ему бросали французскую булку или калач, он ловко подхватывал пищу и, изогнув хобот, отправлял ее в рот. Сторож говорил тогда ему:

– Кланяйся, Земба, благодари!

И эта громадина, сын джунглей, становился на колени, громящая цепью...

Рядом в маленьком бассейне с черной грязной водой, едва помещаясь своей тушей, фыркал неуклюжий гиппопотам. В соседнем павильоне, за толстыми железными решетками, содержались крупные хищники. Красавец тигр яростно ходил взад и вперед по клетке, обмахивая себя хвостом. Лев лежал, подложив под голову обе передние лапы, и, зажмурив глаза, дремал. Изящные леопарды и пумы, поджарые и стройные, с гибким телом, разевали свои пасти, точно злобно смеялись или вправляли себе челюсти. Медведи косолопа топтались у решетки, урча и облизывая лапы. Изумрудные глаза зверей смотрели таинственно-загадочно...

Коля пошел в павильон птиц. Здесь стоял оглушительный шум: все пело, свистело, верещало, трещало, чирикало, щебетало на разные лады и разные голоса. Скрипучие резкие крики попугаев слышались ясно сквозь эту невероятную какофонию. Красно-синие ара, с длинными хвостами; нежно-розовые и белые какаду, с подвижными хохлами на голове; умные серые попугаи; маленькие – зеленые, желтые, голубые, точно фарфоровые, – неразлучники, цепляясь за решетку ногами и клювом, переползали с места на место и дико, хрипло и скрипуче орали, как сотни немазанных телег. В больших вольерах порхали крохотные австралийские вьюрки, блестящие скворцы, дрозды всех пород из дупел выглядывали чудовищные носы туканов; чайка-хохотун заливалась злобным хохотом. Важно расхаживали кроншнепы и маленькие кулички – всего было здесь достаточно. Коля мог вздохнуть свободно: ему было на что посмотреть.

Потом он пошел проведать хищных птиц, самых больших, самых могучих. Вот клетка с грифами, царями ледяных просторов; это стервятники, с голыми шеями, – громадные птицы, с неизмеримых

высот спускающиеся на пададь. Они сидят, уныло понутив головы, обгаженные, с опустившимися крыльями, потускневшими глазами, и из этих когда-то могучих крыльев падают на пол истрепанные, рваные перья. Подняв хвосты, они гадят друг на друга. Американский кондор прикорнул, как нищая, скрюченный и скучный. Белохвостые орлы, беркуты, горные орлы, могучие обитатели суровых просторов, превратились здесь в вялых, несчастных, больных. Только одни филины чувствуют себя, по-видимому, недурно и смотрят своими ярко-оранжевыми мистическими глазами...

Сiju за решеткой, в темнице сырой,
Вскормленный в неволе орел молодой, –

вспомнились Коле пушкинские строки... Он обошел почти все клетки и павильоны и возвратился к обезьянам. Обезьяны разных пород – мартышки, павианы, гамадрилы – в различных позах сидели, лежали, лазали и скакали по ветвям сухого дерева и трапециям, подвешенным к потолку. Небольшая мартышка, точно крошечный старичок с розоватым морщинистым личиком, проворно жустрила китайские орешки, перебирая ручками и вскидывая грустноватые глаза на публику. Она внимательно рассматривала орех, прежде чем положить его в рот, совсем как человек, и щелкала его, шевеля челюстями и почесывая за ухом. Другая, бесшумно перебирая четырьмя руками и выгнув хвост вопросительным знаком, слезла по проволочной решетке и, боком скакнув к первой, стала отнимать у нее пищу. Обе завизжали, катаясь в обнимку по полу, и потом, неожиданно отскочив друг от друга, стали степенно разгуливать по веткам, задрав хвосты. Мальчик мог стоять перед обезьянами без конца. Он знал, что «человек происходит от обезьяны», и смотрел во все глаза на этих четвероруких своих родственников, напряженно стараясь проникнуть в тайну их бытия. Что они думают? Что они чувствуют? Какие странные существа!..

– Петров! Вон ты где! А мы тебя по всему саду искали. – Николай Палыч подходил со всем хвостом ребятишек, которые, подпрыгивая и пересмеиваясь, гурьбой шли за своим водителем.

– Стройтесь, ребята, попарно. Так. Айда домой! И взвод ребятишек замаршировал в школу...

В школе в этот год готовились к необычайному празднику. Предстояли пушкинские торжества. Ореол погибшего поэта был настолько велик, что даже царское правительство, один из значительнейших представителей которого, Николай Первый, он же

Николай Палкин, правил и высылал поэта, а его труп под рогожей приказал тайком вывезти с жандармами, било в большие медные литавры. Усиленно пропагандировалась всюду, в том числе и через школу, подловатая, лживая версия льстивого царедворца, автора сентиментальных баллад и певца самодержавного оружия, Жуковского, о трогательном примирении Пушкина с царем и церковью на его смертном кровавом одре. Для детей были изданы книжечки, в которых строптивый гений, озорник и повеса, умница и острослов, ядовитый критик и насмешник, друг декабристов, ронявший стихи:

Народ мы русский позабавим
И у позорного столба
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим, –

был разделан под пай-мальчика, добродетельного и верного слугу властей предрежащих, Державина николаевского режима. Этот официальный елей в лошадиных дозах распространялся по стране. Преследовавшийся при жизни, замалчиваемый после смерти (недаром даже либеральный Иван Сергеевич Тургенев посидел в тюрьме за простой некролог о великом поэте), он стал теперь объектом лицемерных забот, как *notre celebre poete russe*. Самодержавие хотело теперь пройти под руку хотя бы с тенью поэта, который так гигантски вырос – в особенности благодаря Белинскому – в общественном сознании самых широких кругов. Готовились бюсты, памятники, кантаты, речи, славословия. Правда, это уж не было то торжество, когда черный апофеоз Пушкина делался, по-своему мастерски, гениальным реакционером Достоевским, кликушески голосившим на всю Россию: «Смирися, гордый человек!» И Тургенева не было уже в живых. Все измелчало в официальных и полуофициальных кругах. Но зато наверстывали широтой охвата, и даже народные школы получили циркуляры о праздновании памяти поэта.

Стали готовиться к торжеству и в Александро-Мариинском училище. На долю Хруслевского и Коли Петрова досталась тоже работа: им поручили нарисовать два больших портрета Пушкина, которые должны были красоваться в актовом зале во время торжеств.

Коля взялся за эту задачу со священным трепетом. Он и раньше, для себя, корпел над картиной «Дуэль Пушкина», где на снегу чернели фигуры, деревья были покрыты инеем и раненый Пушкин,

лежа на боку, целился в Дантеса. Но то было «для себя», «просто так». А тут нужно было работать для всех.

Работой этой руководил учитель рисования Заикин, добрый, удивительно мягкий человек с кроткими глазами. Он был женат на дочери богатого купца Красавина, имел известный достаток, хорошо обставленную квартиру в доме своего тестя. Заикин и порешил, что ученики будут делать эту работу у него на дому.

Пушкина Коля горячо любил, как и Лермонтова и Гейне. Он знал целые огромные куски из «Евгения Онегина», почти целиком все сказки и массу стихотворений наизусть. Он тайком поплакивал над «Дубровским». Он дрожал мелкой дрожью, читая «Песни западных славян», эти блестящие переводы блестящей подделки Проспера Мериме. Он грустил над замечательными пушкинскими элегиями. Гениальная сложная простота, чеканность слова, меткость образа, простота, в которой нет ничего лишнего, где все стоит на своем месте, где выразительность достигает своей предельной формы, делала Пушкина для него столь понятным, столь родным, что он ощущался частью живой жизни. Такова сила настоящей культуры. И Коля упорно думал над тем, как бы не ударить лицом в грязь, раз уж ему поручили такую работу. Он волновался и не находил себе места. Руки у него холодели. Иногда ему казалось, что нужно от всего этого отказаться, что это ему не по силам, что он обязательно осрамится. И на чем же? На Пушкине! Но потом он снова увлекался перспективой «получше нарисовать», да и стыдно было отказываться.

Наконец оба мальчика очутились на квартире Заикина. Хрусловский был сыном бедной женщины, кормившейся случайной работой, стиркой белья, уборкой; жил в доме, до отказа набитом голью и беднотой. Коля уже видел в жизни кое-что, да и сейчас вел далеко не сытое существование. И когда их прежде всего усадили за стол, подали превкусный горячий шоколад со сливками, то у мальчиков появилось такое ощущение, будто они попали в рай – так далеко было их материальное существование от таких элементарных радостей жизни.

Заикин заготовил для них хорошие чертежные доски, на которых кнопками была приколоты первосортная слоновая бумага, тушевальные карандаши, отличные замшевые растушевки, резинки, снимки и другие аксессуары, а также портреты, с которых они должны были «увеличивать». В комнате было просторно, через большое окно светило солнце, сам Заикин со своей работой (он рисовал акварелью по заказу какие-то рекламные виньетки)

поместился тут же, за столом, чтобы быть ближе к своим ученикам. Работа началась.

Мальчики ходили к Заикину через каждые два дня, и эти посещения были для них истинным праздником: работать там было хорошо, спокойно, весело и уютно, и каждый раз давали им шоколад с печеньем – это тоже чего-нибудь да стоило. В школе между тем шла и другая подготовка к торжествам: разучивали стихи, ставили живые картины, устраивали пробные чтения. Коля должен был прочесть сказку о рыбаке и золотой рыбке и «Клеветникам России» (последнее входило в политические расчеты и должно было выражать соответствие патриотическому «курсу»). Сказку Коля великолепно знал наизусть, «Клеветников» не совсем понимал. Но и это казалось для него интереснее, чем читать во время богослужения: «Камо пойду от духа твоего и от лица твоего камо бегу?», что ему не раз приходилось делать в школе. Наконец портреты были готовы. Конечно, это были ученические работы, но на предварительном осмотре учителя их хвалили. К ним сделали хорошие паспарту: у Коли была овальная рамка, у Хрусловского – четырехугольная.

В день самого торжества ребят повели на празднество, где открывался памятник. Стояли густые толпы народа, было много городских. Но все школьники, затертые в толпе, ровно ничего не видели и не слышали. Они видели одни лишь спины и головы ближе стоящих людей, слышали смутный гул речей и рукоплесканий, слышали, как играла музыка и что-то пели, и, измученные долгим, томительным стоянием, вернулись в школу усталые и разбитые.

Вечером состоялось празднество в школе. Актальный зал, прекрасно освещенный, был убран гирляндами из еловых ветвей; у стен, в тяжелых кадках, стояли пальмы и лавровые деревья. Портреты Пушкина утопали в цветах, взятых напрокат из оранжереи. Собрались все учителя, ученики, родители. Приехал попечитель школы, важный господин в пенсне, в черном сюртуке, с орденами. Коля искоса поглядывал на портрет. Как, ничего? Кажется, ничего. А чей лучше, мой или Хрусловского? У Хрусловского – руки лучше вышли, у меня они какие-то деревянные. А глаза, пожалуй, лучше у меня. Зато у него фон очень хороший – размышлял Коля...

Между тем в зале хор уже пропел кантату и один за другим выступали и учителя, и ученики с чтением стихов. Вот дошла очередь и до Коли: первый раз он должен был читать сказку, а «Клеветники» были последним номером литературной части программы. Он подошел к столу и вдруг оробел. Ему на секунду показалось, что он

позабыл все на свете. Мелькнули лица слушателей, сияние ламп и свечей в люстрах, весь зал, полный народа. А потом провал: ничего не было, ничего нет – полная пустота. Холодный пот выступил у него на лбу, руки дрожали. Но это был лишь момент, миг, хронологическая точка, удлинённая сознанием. Так же внезапно, как все исчезло, все появилось вновь. И когда Коля прочитал первые строки, к нему вернулась полная уверенность в себе, он вошел в роль и уже чувствовал себя то стариком, то привередливой старухой, и уже слышал шум синего моря, и уже мелькала перед ним мудрая золотая рыбка.

Коля видел, как сияет его учитель, Николай Палыч; как тетя Маня, улыбаясь, говорит что-то на ухо попечителю, а тот слушает и кивает одобрительно головой; как светлеют лица родителей – женщин в платочках, простолицых мужчин в пиджаках и рубашках; как мальчишки смотрят на него, раскрывши рот и боясь проронить хоть слово.

Коля кончил. Весь зал захлопал. Он остолбенел – такого он еще не испытывал. Тетя Маня подзывала его пальцем. Но он от смущения и охватившего его волнения убежал к товарищам и стал, тяжело дыша, у стенки, в самом углу. Он уже ничего не воспринимал и очнулся лишь тогда, когда прозвучал голос: ученик третьего класса «Б» Петров прочтет «Клеветникам России».

На этот раз Коля уже не растерялся. Он сразу начал на высоких тонах и не без подъема прочитал стихотворение. Однако успех у публики был гораздо меньший: «витии», «анафемы» не доходили до матерей и отцов, которым вся эта тематика и фразеология были изрядно чуждыми. Зато попечитель школы подошел к нему, когда кончилось чтение, погладил по голове и снисходительно промычал:

– Прекрасно. Молодец...

– Он у нас и рисует, господин попечитель, – хвастался после «Клеветников» Николай Палыч.

– В самом деле?

– Извольте посмотреть. Вот этот портрет – его работа.

– Недурно. Очень недурно. Из тебя, мальчик, выйдет толк. Старайся! Старайся!

Коля не знал, что ему отвечать, и пролепетал что-то нечленораздельное. Попечитель потрепал его по плечу. Школьный доктор, Александр Никитич, с гривой седых волос, бритым лицом и громадным носом с бородавкой, улыбаясь, ударил его покровительственно тросточкой – это было наивысшим знаком его просвещенного внимания. Батюшка, отец Воскресенский, подошел,

грузно волоча свое ожиревшее тело в шелковой рясе, и, держась одной рукой за большой нагрудный крест на толстой серебряной цепочке, проскрипел:

– Зело отлично, чадо мое, отменно продекламировал, особливо «Клеветникам». Воистину великолепно.

И он подержал Колю несколько секунд за подбородок.

После литературной части шли музыкально-вокальные номера и живые картины. Декорации для последних писал другой учитель рисования, Алябьев. Несмотря на то, что во время работы он требовал себе спирта, нужного ему якобы для дела, и изрядно напивался, декорации были очень хороши, и Коля им прямо изумлялся – вот бы мне так нарисовать! Но теперь, когда они были уже в действии, Коля от усталости и пережитого волнения почти ничего уже не воспринимал. У него разболелась голова, он сидел с бледным лицом, полузакрыв глаза.

– Колечка, что с тобой? – спросила Мария Ивановна, увидев побледневшее лицо племянника.

– Голова болит...

Мария Ивановна забеспокоилась.

– Иди к нам, Маня! – позвала она дочку. – Проводи Колю к нам и дай ему фенацетину. Возьми у меня в столике, в правом ящике. Знаешь? Пусть он полежит и потом идет домой...

Так кончился для Коли пушкинский праздник.

Несколько последующих дней Коля жил воспоминаниями. Портрет Пушкина он принес домой. Потом воспоминания потускнели и расплылись. Портрет Пушкина переместился из столовой на комод. Новые очередные маленькие заботы вплыли из будущего в настоящее...

Дома все было по-прежнему, и Иван Антоныч продолжал свои безуспешные мытарства. Любовь Ивановна собиралась скоро вновь рожать и со страхом думала, что же будет дальше. В школе проходили десятичные дроби, на переменах играли в салки и казаки-разбойники. Подходил великий пост. Нужно было «говеть».

В семье у Петровых обычно никаких постов не соблюдалось. Но теперь, когда бабушка держала в руках бразды правления, она проводила эти обряды и правила последовательно и неуклонно. Правда, в «большой семье» на квартире у Евгения Антоныча был и без того постоянный «великий пост» – не шибко жирно питались вообще. Однако приходилось иногда обглодать кость, или намазать кусочек масла на ручку калача, или выпить глоток молока. Теперь – одна картошка с постным маслом, «постный сахар» вместо

настоящего, ни кусочка мяса. Бабушка перед обедом демонстративно молилась, громко шепча и вздыхая, и кидала по сторонам грозные взгляды. С нею молился Федя, копируя ее мимику и жесты. Остальные старались не попадаться ей на глаза и выжидали, пока она закончит свои беседы с Господом Богом.

– Ваня, ты пойдешь к исповеди? – обратилась она к Ивану Антонычу, вопросительно глядя на него своими большими строгими глазами.

– Да что вы это, мамочка?

– Как что? Греховодник ты этакий! Ты сколько лет не говел?

– С гимназии, кажется, – ответил Иван Антоныч, чуть-чуть улыбаясь.

– Ах, Господи-светы! Не гневи Бога! Покайся, пока не поздно, – раздраженным голосом уже почти выкрикивала бабушка.

– Оставьте это, мамочка. Сами знаете, что ни к какой исповеди я не пойду.

– Вот нехристи! То-то Господь тебя и наказывает. С голоду подохнешь. Хоть детей бы пожалел... Любовь Ивановна, вы хоть бы ему сказали, раз он меня не слушает...

– Я не могу его насиловать, Агния Ивановна, – тихо ответила невестка свекрови.

– Ну и дождетесь. Накажет вас Бог праведным своим гневом. Уж не жалуйтесь. Сами виновати (бабушка по-старинному говорила «виновати», а не «виноваты»). Лба никогда не перекрестите... А ты, Женя? – повернулась старуха к младшему сыну.

– Я, мамочка? Да зачем?.. – проговорил он, смотря на нее своими добрыми глазами.

– Как это зачем? Ты православный или нет? – вскипела Агния Ивановна.

– Бросьте это, мамочка. Дайте хоть поесть спокойно. К чему все это? Вы веруете, ну и веруйте – никто вам не мешает. А вы другим не мешайте, – нетерпеливо огрызнулся он.

– Господи праведный! За что покарал ты меня такими детьми! Окаянные, прости Господи! – Бабушка долго не могла успокоиться, ворчала, кричала, вздыхала. Но так как нужно было есть, то техника еды и ее логика в конце концов перекрыли ее возмущение и дело обошлось без большого скандала, какие иногда бушевали в старом доме в Бабьем Городке.

Однако Коля от говенья отвертеться не мог, ибо в школу нужно было предъявить церковное свидетельство, что означенный раб божий «у исповеди был и святых Христовых тайн приобщался». Мать

на это дело ассигновала двугривенный, Коля решил дать из него попу пятачок.

В церкви было тихо и торжественно. Люди стояли в очереди, тянувшейся к отгороженному месту, где священник исповедовал прихожан, отпуская им «пригрешения вольная и невольная». Они передвигались, как тени, молча, с серьезными, бледными лицами, готовясь к покаянию. Некоторые становились на колени и клали земные поклоны, почти стучаясь лбами о холодные серые каменные плиты церковного пола. Другие крестились, тяжело вздыхая, словно им через несколько минут нужно было всходить на эшафот. Пахло розовым маслом, ладаном, воском. В полумраке горели перед иконами разноцветные лампы и тоненькие восковые свечи. Их отсветы играли дрожащими бликами на серебряных и золоченых ризах, на венчиках, на металлических подсвечниках, сверкали и трепетали в драгоценных камнях и в граненом стекле лампад. Черные лики святых, облупившиеся под тысячу тысяч благоговейных поцелуев молящихся, смотрели сурово своими византийскими глазами. В этой тишине, полумраке, каменной прохладе было что-то мертвящее, как могила.

За ширмами, куда скрывались миряне, слышался таинственный шепот, бормотанье. Выходящие оттуда быстро крестились и уходили из церкви. Настала очередь и Коли. Не без трепета шел он за ширму. «Что буду я отвечать ему о Боге, вере, Церкви? Врать напраалую? А если не врать, выгонят из школы. Никакая тетя Маня не выручит!» И, не решив этой задачи (будь что будет), он вошел.

Но священник и не спрашивал его о таких высоких материях. Он накрыл его епитрахилью и, обдавая табачным запахом изо рта, усталым и равнодушным шепотом проговорил:

- Как зовут?
- Николай, батюшка.
- Ругаешься?
- Грешен, батюшка.
- Родителей не слушаешься?
- Грешен.
- Учишься хорошо?
- Хорошо.
- Сахару у матери не крадешь?
- Нет.

– Отпускаются рабу Божию Николаю... – начал бормотать священник и сунул с такой силой крест для целованья, что чуть не разбил Коле нос. Тот положил на тарелку пятачок и быстро вышел,

точно вырвался из склепа. На улице было светло и пахло весной, и небеса голубели, кудрявясь пушистыми, нежными весенними облаками.

На дворе Коля рассказал о том, что на исповеди не было ни капельки страшно, что поп спрашивал чепуху, что он чуть не расквасил ему, Коле, носа крестом и что получил он вместо двугривенного пятак. Рассказ сопровождался посильным богохульством, от которого бабушку, наверное, хватил бы карачун. Но мастеровые были сами с усами, хотя религия у них еще сидела в головах в форме каких-то страхов перед Богом и дьяволом. Коля так разошелся – маленько при этом прихвастывая, – что ребята, мастеровые-коробочники да детвора с соседнего двора, начали его осаживать.

– Колька, ты не очень-то форси! Один такой форсил, а у него во время причастия руку отняло.

– Расскажи это своей бабушке...

– Нет, нет, Колька. Попы – другое дело. А в причастии – там Бог.

– А мы с вами жрем Божье тело, Христову говядину и кровь лакаем? Настоящее божеское и человеческое мясо? Значит, мы хуже людоедов. Стервятники, богоеды... Я бы блевать стал, если бы верил в эти сказки.

– Колька! Молчи! Молчи!

– А на самом деле, – не унимался Коля, – есть там хлеб от просвиры и церковное вино, кагор. Про который в песне поется:

Монашенки собора, Наклюкавшись кагора, Стояли у забора Наклонительно...

И ребята, забыв про спор, вдруг воодушевившись, дружным хором подхватили:

Стояли у забора Наклонительно!..

– Знаете что? – продолжал Коля разговор. – Идем на пари. Я с причастия притащу вам ваше тело Христово. Мы его здесь со всех сторон посмотрим.

– Ну, уж это ты, Колька, брось!

– Ничего не брошу. Что? Струсил?

– Да как же ты его принесешь?

– Очень просто. За языком. Когда будет мне поп его на ложечке в рот пихать, я его цоп за язык и буду придерживать. А потом вам выложу, вот хоть на эту скамейку.

И Коля указал на грязную скамейку в садике.

– Ну что ж? Кто спорит?

Все молчали, переминаясь с ноги на ногу.

– А все же, Колька, ты поосторожнее. Может, и всамделича-то рука отсохла у парня?

– Не беспокойтесь, никакая рука у меня не отсохнет. А тело я вам притащу.

В день причастия Коля пошел в церковь к обедне. Служили торжественную службу. Церковь сияла золотом и серебром. Сквозь высокие окна наверху, под самым куполом, пробивались яркие солнечные лучи и стояли светло-синими столбами в воздухе, наполненном фимиамом кадилниц. Певчие пели звонкими радостными голосами. Победно трезвонили колокола. Толпы верующих ждали величайшего таинства христиан, когда хлеб и вино превращаются в плоть и кровь Христову. Они уже облегчили свои души от тяжести греха, очистились от скверны и радостно ждут общения с Богом, воскресшим Спасителем человечества. Девушки в белых и розовых платьях, с цветами в волосах, умиленные и восторженные; первопричастницы в бантиках, с сияющими личиками; растроганные старушки с морщинистыми лбами и морщинистыми сердцами, с надеждой жаждущие светлой благодати; приодевшиеся мужчины в шелковых ярких рубашках, в сюртуках, мундирах – в зависимости от чинов и орденов земных – все готовятся к великому таинству. Мистерия литургии подходит к своему высшему пункту.

– Горб имем сердца! – призывает верующих жрец-священник, одетый в светлые золотые ризы...

– Имимы ко Господу, – стройно отвечает многоголосый певческий хор; тонкие дискантовые звуки, звеня, забираются высоко-высоко, под самый купол храма, а басы замирают где-то внизу, дрожа сдерживаемым напряжением.

– Приидите, ядите, сие есть тело мое... – торжественно провозглашает священник, обращаясь к верующим, как Христос, агнец, страдалец за людей, распятый и воскресший.

«... А что, если в самом деле рука отнимется?.. Да что за вздор!.. А вдруг?..» – думает Коля, чуть-чуть поддаваясь коллективному торжественному опьянению...

– Пиите от нея вси, сия бо есть кровь моя нового завета, яже за вы и за мнози изливаемая во оставление грехов...

«... Ерунда! Только бы не проглотить, не растеряться... Или незаметно пальцем вытащить: увидят!»

– Причащается раб Божий Федор...

«... Черт! Нужно с ложечки взять ртом тело и кровь... потом вытирают рот антимином... потом дают запивать «теплоты»... крест еще целуют... как бы не поперхнуться...»

– Причащается раба Божия Мария... «... Главное, крепко языком прижать и больше уж не

двигать, пока не проделаю всего...»

– Причащается раб Божий Дмитрий... Причащается раба Божия Варвара...

«... Скоро и до меня дойдет... – мелькает в голове у Коли, – вот только два человека осталось...»

– Как зовут? – слышит он шепот священника.

– Николай...

– Причащается раб Божий Николай...

Коля крепко держит языком «тело Христово»... Нет, милое, не уйдешь!.. «Теплотой» чуть-чуть из-под языка не смыло... Да удержал!

И Коля бежит из церкви домой. За языком – крепко прижатый кусочек просфоры. «Вот я им покажу! «Рука отнимется!» Тоже! Вот дуралей-то!» – проносится у Коли в голове...

Он вихрем подбегает к подоконнику мастерской, мычит и пальцами показывает на рот: готово, мол; за языком обещанная добыча...

Мастера выбегают на двор, кличут соседских. Коля, поблескивая весело глазами, ждет, пока соберутся, – не поодиночке же он будет всем показывать!

Наконец все в сборе. Коля выплевывает на ладонь кусочек просфоры и кладет его на скамейку. Все отскакивают, как от готовой взорваться бомбы...

– Будет вам дурака валять... Ну что, съели? Выкусили? Сказал – принесу, и принес. Да не бойтесь же! Видите, обе руки целы, и даже язык не отсох. Вот видите, просто кусочек просфорки, красноватый – от вина. Можете понюхать – пахнет вином, а не кровью. Видали?

– А как это ты его?..

– Да так, как сказал: за языком. А знаете что? Давайте на церковном дворе индюка причастим!

– Ну уж выдумал!

– Ей-богу, будет здорово!

И ребята побежали посмотреть на небывалое зрелище.

Так, в лето от Рождества Христова 1900-е в первопрестольной столице Государства Российского вместо раба Божия Николая

причастился тела Христова безымянный индейский петух на дворе церкви Иоанна Воина, что на Бабьем Городке...

2

Россия на перевале к XX столетию представляла собою громадный исторический бродильный чан, где бродили великие соки общественной жизни, быстро меняя жизненные старинные уклады, отношения общественных сил, привычки, нормы, идеи и мировоззрения. Еще не так давно красноречивый идеолог российской азиатчины и самодержавно-византийского деспотизма, Константин Леонтьев, выражал надежду, что удастся «подморозить Россию», предохранив ее от путей, по которым развивается «гнилой Запад», неизбежно и неотвратимо идущий к великой социальной катастрофе. Этот красивый барин-аристократ, любивший торжественные обеды на дому, изысканные сигары, породистых борзых и прелестных восточных женщин, долгое время служивший дипломатом в Константинополе и покончивший от сифилиса монахом в знаменитой Оптиной пустыни среди аскетических «старцев», видел в хитрой и коварной Византии и православии «столп и утверждение истины». Еще не так давно помещики-славянофилы, ходившие в истинно русских поддевках и подстригавшие себе волосы в кружок, вели ожесточенные бои с западниками, сторонниками европейской цивилизации, и пугали так называемое общество «язвой пролетариата», на все лады доказывая преимущества патриархальной дворянско-помещичьей опеки над «нашим добрым русским народом». Еще не так давно народники разных толков распинались, что развитие капитализма в России невозможно и что через артели и деревенский «мир» страна перейдет к «народному производству». Еще не так давно гениальный эпилептик, стоявший под расстрелом, а потом перекинувшийся на сторону «православия, самодержавия и народности», Федор Михайлович Достоевский проповедовал идею народа-богоносца, который под верховным водительством православного царя, захватив священный Царьград, колыбель истинной религии, осуществит Царство Божие на земле. И вот гудки заводов и дым фабричных труб положили конец этим утопическим мечтам. «Язва пролетариата» росла с неудержимой силой, вместе с властью денег, вместе с «чумазым», вместе с российским буржуа. Старая родовитая и титулованная аристократия еще помнила екатерининские времена, блестящие балы, гомерические пиршества, роскошь усадебной жизни, золотые и серебряные блюда, несравненные выезды. Она держала в своих руках всю чудовищную государственную машину. Она поставляла офицерский корпус, от

лейб-гвардии его величества до жандармских синих мундиров. Она формировала агентов вышколенной и хитроумной, искусной царской дипломатии. Она заседала в кабинете министров, заполняла ряды высшей чиновной бюрократии, занимая места в Правительствующем Сенате и в Священном Синоде. Она стояла, в лице митрополитов и епископов, во главе белого и черного российского духовенства, с его бесчисленными церквями, монастырями и богатейшими лаврами. Она владела громадным большинством земли необъятного государства, простершего свою кровавую длань не только «от финских хладных скал до пламенной Колхиды», но и на колоссальные пространства Азии. Но эти расшитые золотом люди, в лентах и звездах, в эполетах и без эполет, при шпагах и без шпаг, уже начали переживать самих себя. Они по-прежнему пили, ели, веселились и грабили. Они по-прежнему кутили, расточали свои деревенские доходы на устриц и шампанское, дорогих французских и итальянских кокоток, английских лошадей, игру в рулетку и карты, заграничные увеселительные путешествия. Они по-прежнему удивляли иностранцев своей необузданной роскошью и своим необузданным мотовством. По-прежнему «*grince russe*»¹² был в этом отношении вне конкуренции, и его слава среди заграничных актрис, содержателей игорных домов и притонов была неувядаема. Однако результаты этого мотовства титулованных «широких русских натур» уже сказывались во всем их общественном масштабе. Отовсюду шли крики об оскудении дворянства. Геральдическая знать поистрепалась. Приходилось закладывать и перезакладывать родовые поместья, а то и продавать их с торгов. Приходилось рубить старинные «вишневые сады», расплачиваясь за грехи целых дворянских поколений, – топор истории был безжалостен и не считался с гордыми традициями. Имена уплывали в другие руки, как и дома в Петербурге и Москве, где «львы на воротах и стаи галок на крестах» все больше становились достоянием российского купечества и владельцев фабрик. Эти новые люди действовали методически и без особого шума. Но они уже выросли в большую общественную силу, с которой нужно было считаться: у них была тяжелая мошна, и перед растущей мощью капитала дворянство должно было уже расшаркиваться не ради одной светской вежливости. А за ними мрачной тенью стояли черные массы фабричного люда, где уже зарождались идеи, которые наводили на размышления даже самых оголтелых и самых беззаботных представителей помещичьей самодержавной власти: «крамола» могла принять формы, гораздо более опасные для якобы

¹² Русский князь.

вековечного уклада, чем все до сих пор бывшие формы мятежей и бунтов, ибо тут потенциальная сила революции концентрировалась в самом сердце государственной жизни – это не какие-нибудь ящички казачи у черта на куличках!

Буржуазия уже выдвинула своих людей, крупных капитанов промышленности, которые стремились наверстать упущенные исторические сроки и хотели идти к власти, используя и рабочих, чтоб они таскали для них каштаны из огня. Часть их вышла из низов, и Савва Морозов был одним из ярких представителей этого типа. Упорный, волевой, умный, человек большого размаха и немалых перспектив, он ненавидел императорскую власть и считал ее обреченной, несмотря на все ее внешнее благополучие. У него на фабриках рабочие распевали песенку, где ядовито прохаживались на его счет:

Как наш Саввушка-скотинушка,
В три объёма животинушка,
По три раза в день обедает,
Злой кручинушки не ведаёт.
Обзавёлся гувернантками,
Черномазыми тальянками,
На гроши наши трудовые
Сшил он платья им шелковые.
Они ходят, словно павушки, –
Удовольствие для Саввушки.

Но это не мешало энергичному Морозову давать деньги на революцию и общаться с представителями самых крайних политических течений: они были в его глазах лишь наиболее хорошей, действительно железной, исторической метлой, которая, подобно французским монтаньярам, по-плебейски бесстрашно расправится с дворянской знатью, поотрубает заносчивые и глупые головы аристократам, а затем, сделав свое дело, волею непреложных исторических законов уступит место им, просвещенным буржуа, которые превратят Россию в великую цивилизованную, просвещенную буржуазную страну. Высокий, грузный, слонообразный Мамонтов, делец, организатор, биржевик, крупнейший предприниматель, участник многочисленных акционерных обществ, которые стали расти, как шампиньоны на навозе, был признанным покровителем муз и граций: театр, литература, живопись – все входило в круг его интересов, и самые знаменитые светила этого мира являлись его друзьями. Щупленький,

седеющий, аккуратный Сергей Иванович Щукин устроил у себя в сером двухэтажном особняке со светлыми зеркальными окнами на Знаменском переулке замечательный музей новейшей иностранной живописи – такой коллекции золотых Гогенов и нежнейших голубых Клодов Моне не имелось нигде в Европе. Почти все модные французские импрессионисты, а за ними Сезан, Ван Гог, Дега красовались здесь в самых роскошных своих творениях: Щукину хотелось на иностранной живописи перенять славу Павла Третьякова. Константин Сергеевич Алексеев, отпрыск владельцев золотоканительной фабрики Алексеева и Шамшина, стал, под именем Станиславского, организатором и душой прогремевшего на весь мир Художественного театра. Сытин, вышедший, подобно Морозову, из низов, превратился в крупнейшего в России книгоиздателя и владельца лучших в стране типографий, ставших громадными печатными фабриками, с английскими машинами и тысячами рабочих. Передовые российские буржуа отлично понимали всю необходимость занять для себя важнейшие идеологические позиции.

Но чем более эти передовые буржуа покидали провинциально-российские горизонты и чем более они соприкасались с мировой культурой, уже начинавшей издавать запах гнилой лилии, тем яснее становилось, что они перезрели, не успевши еще созреть. Они стремились нарвать поскорее самых драгоценных цветов европейской культуры, а та, напоенная всеми ядами социальных противоречий, уже издавала ароматы сладкого тлена покойницей. Но и в самой России социальные конфликты учащались, и предчувствие опустошительной для буржуа грозы потрясало глубины их общественного сознания: потоп надвинется, он неизбежен. Россия, втянутая в орбиту мировой культуры, уже танцевала под коварную дудку ее исторической судьбы и с быстротою не гоголевской тройки, а электрической искры неслась к великим историческим катаклизмам.

Пострадавшее молодое поколение этой буржуазной элиты и ее интеллигенция воспарили в эфирное царство символов. Реальность для них была слишком груба, низменна и пошла. Они жаждали иного мира, неземного, имматериального, мира тончайших грез, мира неведомой музыки, мира намеков. Все естественное им казалось низшей формой бытия. Они уже воспевали страшные пороки, углубляя позиции бодлеровских «Цветов зла». Они круто рвали со всеми традициями русского искусства: говорить о каком-нибудь Некрасове или Репине стало среди них признаком варварства, невыносимо дурного тона. «De la musique avant toute chose» – музыки прежде всего! – этот поэтический лозунг нежнейшего Поля Верлена

они сделали своим. Артюр Рембо, талантливый поэт, мальчик-красавец, авантюрист и гомосексуальный друг Верлена, светило французского символизма, стал их кумиром. Безумный талант Эдгара По служил образцом. Они бежали от жизни в облака иллюзий.

В литературе капральскую палку символизма держал в крепких руках сын торговца пробками Валерий Брюсов. Высокий, худой, с угловатым, скуластым лицом, черными волосами, густыми бровями и горящим взглядом, властный, холодный и страстный одновременно, исключительно трудолюбивый и талантливый, Брюсов определял направление и правил рулем. Рядом с ним творила целая плеяда новых поэтов. Андрей Белый, сын чудаковатого профессора математики Бугаева, который действительный мир превращал в абстракции самых абстрактных математических дисциплин, был одним из типичнейших представителей школы. Тонкий как спичка, с нежным девичьим лицом, ясными фарфоровыми голубыми глазами, маленькой головой с пушистыми редкими золотыми волосами, он напоминал собою сомнамбулу, астральное бесплотное тело, случайно попавшее в чужой для него мир живых людей и материальных вещей. Он передвигался как лунатик, как навек заколдованный, – так и чудилось, что он ничего не видит, что вот-вот упадет. Близко к нему стоял его друг и товарищ, тоже профессорский сын, Александр Блок, высокий, статный, красивый, с вьющимися волосами и головой Аполлона, если бы не слишком крупный нос. Его породистая фигура, изящество манер бросались в глаза. Он больше всех был связан с философскими поклонниками Владимира Соловьева, этого странного религиозного мечтателя с глазами ангела и устами порочного дьявола. Лопатин, князя Трубецкие – Сергей и Евгений – были экспозитурой этой идеалистическо-религиозной философии, от которой пахло постным маслом, эротическим культом Мадонны и платоновской мистикой. В музыке эту психологию выражало замечательное в своем роде творчество Скрябина, в живописи – прежде всего большой гений безумного Михаила Врубеля.

Эта идеология новой, буржуазной аристократии являлась, однако, идеологией верхушки. Для широчайших общественных кругов она была и слишком эфирной, и слишком утонченной и безжизненной. Средний образованный буржуа и интеллигент жили Чеховым, Репиным, Михайловским. Но уже выступил на сцену в люмпен-пролетарских опорках Максим Горький, чтобы сменить их впоследствии на высокие пролетарские сапоги и зашагать по дороге своей грядущей славы. А в яснополянской своей усадьбе, как старый

слон-отшельник, мировой громадиной сидел Лев Толстой, чей великий художественный гений подтачивался религиозной моралистикой и трагическими конфликтами с ограниченной матерью его многочисленных детей.

В политике, литературе, науке, философии шло генеральное размежевание направлений, идей, людей. Фабрика породила вместе с пролетариатом русский марксизм. Появились новые люди, которые, используя все нужное из наследства Белинского, Чернышевского и Добролюбова, холодными глазами смотрели на сентиментальные утопии народников и в блистательных – пока литературных – боях одерживали победу за победой. Радикальная разночинная интеллигенция кололась. Старые авторитеты рушились. В то время как духовная аристократия буржуазии вдыхала ароматы экзотических орхидей и хризантем из оранжерей западноевропейского декаданса, новые идеологи пролетариата осваивали сверкающее оружие марксизма, этого высочайшего продукта революционной стороны западноевропейского развития. Здесь все было в движении, все в борьбе, все жизненно, все реально. Фетиши и идолы феодализма, новые идолы буржуазии громились в прах и пыль. Почтенные бородастые народнические дядюшки – Лавров, Михайловский, Воронцов – были взяты в штыки. С изумлением смотрели старцы на новых шумливых, задиристых, энергичных молодых людей, которые не претендовали ни на какую оригинальность и самобытность, открыто считали себя учениками немца Маркса и всюду вносили какой-то раздор и разлад. Там, где все говорили о народе, они говорили о классах; там, где другие проповедовали терпимость, они с резкой беспощадностью и упорством вскрывали противоречия; они смотрели на все веселыми, насмешливыми глазами и издевались над почтенными людьми: заслуги, мол, заслугами, да на старом далеко не уедешь, – поистине для них не было ничего святого. Они возились со Смитом, Рикардо, Кантом, Гегелем, Фейербахом, французскими материалистами. Своего Маркса они знали назубок. Они копались в цифрах земской статистики, в отчетах фабричных инспекторов, в грудях сырого материала. Их энергия и упорство были поразительны. Правда, среди них были более покладистые: рыжебородый Петр Струве; добродушный толстяк с близорукими глазами Туган-Барановский; чернокудрый Бердяев, похожий на испанского монаха, любящего пожить, одержимого тиком, от которого у него высовывался язык; тихий Сергей Булгаков... Это все – легальные марксисты, стоящие в стороне от пожара, дыма и пламени борьбы. Но среди них есть и люди

из другого материала. Особенно Ульянов. Друзья зовут его Стариком за мудрость, хотя он еще молод. У него лысый череп, огромный купол которого говорит о выдающемся уме. Глаза острые, они точно буравят собеседника насквозь. Характер – железо. Энергия – колоссальна. Человек несравненной учености, он следит за всеми, даже самыми мелкими фактами. Любая цифра статистики у него – гнев и ненависть против всего общественного уклада, приговор и меч. Ум у него – как отточенная революционная гильотина. Рука – властная, короткая, крепкая. А сам – невысокого роста, щупленький, с рыжеватой бородкой – коренной русак из Симбирской губернии. Прекрасно знает языки, следит за мировой литературой. Но он метит не на кафедру, нет! Он ведет рабочие кружки. Он – подпольщик. Он составляет зажигательные прокламации, нелегальные брошюры. Он складывает железные когорты, из которых потом вырастает непобедимая армия. Его брата повесили – он идет своим путем. Его ученые статьи, подписанные псевдонимом «В. Ильин», – сплоченная фаланга аргументов, которая разбивает противника в пух и прах. Но он и блестящий стратег, тактик, организатор, практик. Он каждую искру стремится раздуть в пламя. *Esse homo!* (Се человек!)

Народники еще не встречали такого противника. Разве что Плеханов, книга которого о монизме в истории нанесла тяжкие раны всей самобытной субъективной социологии. Однако и у Плеханова нет такой железной, мертвой хватки. Либералы присматриваются: опасный зверь, настоящий революционный тигр. С ним придется посчитаться! А Ильич ухмыляется своей хитрой ухмылкой... Он любит бесить противника, его стихия – борьба. Но он терпеть не может игры в борьбу. Он относится ко всему глубоко серьезно: это дело его жизни, это дело класса, который поведет за собою массы, который опрокинет самодержавие и пойдет дальше, к победоносной коммунистической революции... Это мечта? Да, мечта, но такая, которая опирается на знание, на силу, мечта, которая должна стать действительностью и которая станет ею.

Под ударами марксистов разлагалось старое народничество. Одни превращались в ординарных либералов «трудового» оттенка, почтенных культуртрегеров, отращивавших себе брюшко, успокаивавшихся на лоне земства. Они брызгали слюной против марксизма, продолжали ставить слова «пролетариат» и «капитализм» в иронические кавычки и упрямо отрицали классовую борьбу. Другие усваивали некоторые моменты Марксова учения, не боялись уже говорить о пролетариате, но сварили такую идеологическую кашу из

самых разноречивых продуктов, что от нее за версту несло тошнотворной эклектикой. Наоборот, марксистские ортодоксы с величайшей последовательностью отстаивали стройность, великолепную цельность своего мировоззрения и тотчас били в набат и обнаруживали неистовую нетерпимость, которая у мягкотелых людей считалась за доктринерство и догматизм, как только замечали какие-либо отклонения в сторону. Они наступали тесно сплоченной фалангой и атаковали всех инакомыслящих, ибо за этими «инако» скрывались живые классы, группы, направления. В дискуссиях об абстрактнейших вопросах теории – о рынках, о кризисах, о дифференциации крестьянства – предвосхищались грядущие дискуссии с оружием в руках. Великие вопросы жизни предварительно решались как проблемы теории. И эта живая жизнь трепетала в каждой формуле и каждой цифре.

Марксизм завоевывал одну позицию за другой. В революционном подполье он вербовал себе крепких сторонников в рабочей среде. В легальной печати он явно одерживал все новые победы. Правительство закрывало одни журналы – возникали другие. Правительство арестовывало – в тюрьмах учились. Правительство высылало – в ссылке читали немецкие книжки, изучали иностранные языки, писали ученые работы. Правительство выпускало – становились снова на свои посты и неустанно, систематически, с железной уверенностью продолжали свое дело. Департамент полиции и охранка уж не раз обнаруживали, что во вспыхивавших рабочих забастовках «корни и нити» ведут к социал-демократическим смутьянам. Эти «корни и нити» становились все многочисленнее. Рабочий класс обнаруживал свою природу и уже то там, то сям пошевелевал своим плечом.

В деревне среди либеральных земцев из тех помещиков, что перестраивались на капиталистический лад, и из «третьего элемента» – докторов, учителей, земских статистов – росла фронда. Сермяжная мужицкая Русь размывалась и расслаивалась. Кулаки, прасолы, ростовщики, трактирщики, посредники вносили свою лепту в великое деревенское разорение, помогая помещику и помещицкому государству. В тяжелой жизни рождались правдолюбцы, росли секты – штунда, духоборы, молокане, толстовцы, убежавшие от военной службы, кое-где не платившие налогов и податей. Но уже появлялись изредка и люди, которые обходились без священных текстов, а думали о том, чтоб согнать помещика с земли. Забастовщики из городов и фабричных поселков, высылаемые на родину, сеяли мятежные зерна, и иногда эти зерна давали хорошие ростки. В

Польше, в Грузии, в Прибалтийском крае, в среднеазиатских владениях, на Северном Кавказе, в Финляндии, на Украине стонали угнетенные нации и копился порох недовольства и протеста против тяжких кандалов самодержавия. Сам Николай Романов, самодержец Всероссийский, царь Польский, князь Финляндский и прочая и прочая, рыжеватый, низенький, с прической на косой пробор, был одним из наиболее ограниченных царей дома Романовых; ни ума, ни воли, ни яркой индивидуальности вообще, универсальная посредственность. Русский дипломат, граф Остен-Сакен, не стесняясь говорил про него князю Бюлову: «L'empereur Nicolas a une indifférence qui frise l'heroisme» («Император Николай обладает равнодушием, которое граничит с героизмом»). Он больше всего боялся революции и, пожалуй, своей жены, властной немки, которой очень импонировал сан всемогущей императрицы гигантского государства. Впрочем, он любил жену, не только за страх, но и за совесть. Императрица не прочь была командовать и превыше всего ставила вопросы монархического престижа. Слабовольный и вместе с тем коварный, Николай, как все такого типа люди, готов был идти на авантюры, всего смысла которых он благодаря своей ограниченности охватить не мог. Прикидываясь порой чуть ли не пацифистом (недаром же он созвал Гаагскую конференцию мира), он в то же время не моргнув глазом подписывал смертные приговоры, а во внешней политике мечтал о Константинополе и проливах, о новых завоеваниях на Дальнем Востоке, о прославлении своего царствования победами христоролюбивого воинства державы Российской. Бисмарк, оценивая международную обстановку, еще в восьмидесятых годах сделал характерное замечание. «В русской бочке, – говорил он, – происходит брожение и слышится вызывающий тревогу гул. В один прекрасный день это может привести к взрыву. Для международного мира будет всего лучше, если взрыв последует не в Европе, а в Азии. Тогда нам достаточно будет не становиться прямо перед втулкой, чтобы она не угодила нам в брюхо». Старый волкодав германского империализма имел, однако, здесь заднюю мысль: для его целей было весьма полезно ослабить Россию изрядным кровопусканием на Востоке, оттянув ее силы с западных границ. На европейскую же войну, после опыта Парижской коммуны, он в те поры идти не решался, поговаривая, что за этакую войну придется существованием трех династий. Но придворные круги, бездельничавшие великие князья, занимавшиеся подозрительными денежными операциями, дельцы, вертевшие при дворе, пели золотыми голосами о традициях Петра Великого, о твердой ноге на Тихом океане, о всемирно-

исторической миссии России, о том, что «япошки не осмелятся», о грядущей неувядаемой славе российского оружия. Николай мечтал об этих воинских подвигах, смотрел сквозь пальцы на происки авантюристов, титулованных и нетитулованных, штатских и военных, на восточных границах своего царства и лелеял мысль о том, что ему, Николаю Романову, история преподнесет лавровый венок, как верховному водителю победоносных православных армий. Скорбный главою царь не понимал, что он больше походил на мышь, которая лезет в отлично поставленную мышеловку.

13

В политике, Коля был невинен, как чистый лист белой бумаги. Над ее проблемами он, по малости лет, и думать не мог. Когда ему доводилось читать в «Русских ведомостях» отчеты о заграничных парламентских прениях, с курсивом набранными строками в скобках: «шум на скамьях крайней левой» (а этот «шум» встречался частенько), он даже возмущался, чего это люди всё мешают. Когда в том же почтенном органе ему встречалось упоминание о сторонниках «Капитала», он искренне думал в простоте души, что речь идет о капиталистах. Активная общественная жизнь и ее веяния доходили до его сознания главным образом через так называемую изящную литературу. У Яблочкиных он подтибривал и книжки символистов – за поэзией у Петровых очень следили, это была уж стародавняя традиция Ивана Антоныча, перешедшая по наследству к сыну. Только теперь книг не на что было покупать. Но их все же брали у знакомых, а один старый приятель Ивана Антоныча устроил для него в библиотеке Бессонова даровой абонемент. В числе прочих книг, которые Коля поглощал с обычной прозорливостью, попало ему «Вырождение» Макса Нордау. Книга не из тонких. Однако она произвела на него сильное впечатление именно своей резкостью, издевательством над «декадентами», примерами смысловой бессмыслицы, которая выступала особенно ярко в русском переводе, где в прозе исчезала музыка стихотворной речи. Память у Коли была замечательная, и он повторял наизусть особо поразившие его примеры, вроде таких: «О цветы. И как тяжело бремя старых налогов. Песочные часы, на которые лает собака в мае. И удивительный конверт давно не спавшего негра. Бабушка, которая ела бы апельсины и не могла бы спать. Вон на мосту крокодил, и городской с опухшею щекою машет молчаливо. Два солдата в хлеву и бритва с зазубринами. Но главного выигрыша они не выиграли. А на лампе чернильные пятна». Эта абракадабра напоминала ему детскую песенку, которую он слышал в Тесове от деревенских ребятишек. Они вместо «раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять» припевали:

Энта пента ликадей,
Фукси кендра грамотей,

Ашимброт ашимброт,
Грали срали другиш тот.

Еще поразила его бодлеровская «Падаль» («Une charogne»), приведенная в переводе П. Я. (Якубовича-Мельшина), где из разлагающегося трупа, что, «как распутная женщина», расставлял свои ноги, «текли, как похлебка густая, миллионы червей». Правда, в книге Нордау Коля понимал далеко не все, но основной смысл – вырождение – он усвоил, и эта оценка целой полосы осела в его сознании; под ее влиянием он стал подходить и к модернистам, под детски бравируя, утрируя, озоруя и насмешничая.

Школу он окончил блестяще и на выпускных экзаменах первым решил все задачи; правда, в диктанте он написал: «под узцы», тогда как некоторые учителя считали, что нужно писать: «под уздцы», но на устном испытании по русскому языку он вступил с учителями в спор, доказывая, что «д» может выпадать, как оно выпадает в слове «узы» или «узник», не говоря уже о «взять», «вензель» и других производных. Учителя переглядывались, вопрос остался открытым, и обвинение в единственной ошибке фактически было снято; Коля даже подслушал, как во время спора об «узцах» один из учителей склонился к другому и прошептал ему на ухо: «Ну и фрукт», а тот, улыбаясь, замотал головой... Мальчик получил похвальный лист и несколько томов Пушкина в ярко-голубом переплете с золотыми разводами.

Родители решили отдать его в гимназию, сразу во второй класс. Но для этого ему нужно было подготовиться по латыни. У Любови Ивановны была знакомая, старая учительница, имевшая сына, который только что кончил гимназию первым учеником и который за грошовое вознаграждение согласился на то, чтобы быстро подготовить Колю. Наталья Андреевна (так звали эту учительницу) жила на пенсию. Она была уже стара, тяжело болела водянкой, еле могла передвигать свое грузное, распухшее тело и большей частью сидела в кресле, укутав ноги пледом и читая сквозь очки в железной оправе. Добродушная и приветливая, она встретила Колю, как младшего сына, и первым делом напоила его чаем с сахаром и лимоном. Она занимала вместе со своим Горенкой, высоким, худым, длинноносым юношей с бельмом на одном глазу, маленькую комнатку в одном из домов на Зубовском бульваре. Горенка, робкий, застенчивый и деликатный, достал из сундука свои затрепанные книги – латинскую грамматику Никифорова и хрестоматию Семеновича, и преподавание началось. Для Коли латынь вовсе не

была скучным и мертвым предметом, каким она являлась для многих, почти для всех ребят его возраста. Хоть он не походил нисколько на гейневского мальчика, который пищал, что не будет водиться со своим приятелем, потому что тот не знает, как родительный падеж от mensa, но, начитавшись Корша, он витал в образах греко-римской жизни, и язык римлян, великих римлян, славных римлян, его живо интересовал. При своей памяти он без всякого труда усваивал правила грамматики и латинские слова: он никогда не был зубрилой и все-таки овладевал тем, что ему полагалось знать и даже чего ему знать не полагалось. Он настолько быстро обучился этой премудрости, всяким *ut finale, ut consecutivum, accusativus am cum infinitivo* и прочему, что Горенка решил даже забежать вперед и начал читать с ним записки Цезаря о галльской войне: *CJ. Caesaris commentarii De bello gallico*. Коля был в восторге, когда начал слышать подлинные слова подлинных записок знаменитого полководца римских легионов: *Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt belqi, aliam – aquitani, tertium – qui iprosun lingua celti, nostra galli apellantur* (Вся Галлия разделена на три части, из которых одну населяют белги, другую – аквитанцы, третью – те, кто на их языке называется кельтами, а на нашем – галлами) – так начинались «Записки». И на Колю по-веял исторический дух давно прошедшей эпохи... Но он уж пришел в настоящий раж, когда скромный Горенка, сопя носом, пыхтя, потея и краснея, рассказал ему о другого рода похождениях Цезаря и привел стишки, которые Цезаревы солдаты распевали про своего вождя, занимая чужие города:

Urbani, servate uxores,
Moechum calvum addicimus.
(Горожане, жен берегите,
Развратника лысого мы привели.)

Осенью Коля без всякого труда выдержал все экзамены и был принят во второй класс. При этом удалось для него, как для сына учителя, выхлопотать и стипендию.

Первая Московская гимназия помещалась против храма Христа Спасителя. Ее огромное серое казенное здание не выходило фасадом на улицу: перед ним был маленький садик, через который нужно было пройти, чтобы попасть к парадному крыльцу. Гимназисты ходили через черный ход, с переулка. Здесь они попадали в «сборную» с каменным полом, где было душно и пыльно, стояли калоши, висели форменные шинели и фуражки. В самом четырехэтажном здании

помещалась гимназическая церковь и огромный актовый зал, в «два света», то есть в два соединенных вместе этажа. На стенах висели портреты царей, знаменитостей, кончивших гимназию, и большие мраморные доски с именами питомцев, получивших золотую медаль. В нижнем этаже помещалась мрачная столовая, удивительно напоминавшая трапезную в каком-нибудь захудалом монастыре: сквозь маленькие окна едва пробивался солнечный свет; сводчатые низкие потолки давили своей тяжестью; длинные столы и скамейки стояли рядами, как в казарме, – унылая картина! Остальное помещение занимали классы, спальни для «живущих» (в отличие от «приходящих»), гимнастический зал; плохонький, облезлый, жалко оборудованный старой рухлядью вместо аппаратуры физический кабинет; кухня, квартиры для преподавателей и служащих.

Время было такое, что жесткая система классического образования, наводившая страх и ужас, т. е. тупая зубрежка древних языков, вне всякой связи с историей и культурой греко-римского мира, полное игнорирование естественных наук, не говоря уже о технике и политической экономии, давала трещину. Потребности общественного развития предъявили спрос уже на другого типа людей. Стали расти реальные училища, с совершенно новой программой. Зубры «классицизма», обычно крайние реакционеры, не могли удержать своих позиций, и в самих гимназиях греки и латинисты как-то растерялись – почва уплывала у них из-под ног; они с грустью вспоминали про старые времена и преподавали свои предметы уже спустя рукава; их прежнее грозное величие совершенно испарилось. Они были похожи на ветхих старух, которые бесконечное количество раз брюзжа повторяют, какой золотой век царил, когда они были молоды: все было дешево; люди были гораздо выше и здоровее, богатыри, а не мозгляки; погода значительно лучше; мужчины – красивее; нравы добродетельнее; товары добротнее, и все вообще бесконечно привлекательнее. Их время явно уходило.

Латинистом был сам директор гимназии, чех по происхождению, Иосиф Освальдович Гобза. Высокий, дородный, с выпученными, как при базедовой болезни, глазами, с багровым лицом, покрытым синеватыми пятнами и жилками, с мясистым носом и удивительно яркими красными губами, он напоминал индюка, когда тот предстанет во всей своей красе. Говорил он с пре-комичным акцентом и при этом так страшно вращал белками, что гимназисты едва могли удержаться от душившего их смеха.

– Ви... будете... арестовани... на два часа! – грозно кричал он какому-нибудь провинившемуся. А тот прикрывал рот рукою, чтобы

не расхохотаться ему в лицо. Впрочем, у него не было большого желания казаться строгим, а по существу он не использовал прав и привилегий своей власти.

Инспектор, Федор Семенович Коробкин, отличался маленьким ростом и громаднейшей лысиной; короткие волосики лежали бахромкой лишь около ушей и сзади, у самой шеи. Он имел широкое образование и понимал толк не только в своей специальности, в математике, но и в целом ряде других областей, вплоть до философии. Преподаватель он был замечательный, и самые сухие математические положения умел излагать так живо, так наглядно, что даже ленивые головы слушали его со вниманием. Это не мешало, однако, тому, что про него была сочинена ироническая песенка, которую гимназисты распевали на мотив «Мы – фабричные ребята»; нередко, когда довольно строгий, но учениками уважаемый математик проходил по коридору, он слышал залихватские голоса:

Федя, мальчик наш кудрявый, Федея, маальчик наш кудрявый, Федя, мальчик наш кудрявый, У него мундир дырявый Есть!

Однако он был настолько тактичен, что проходил мимо и не обращал внимания на песню, относившуюся непосредственно к нему.

Оригиналом хотел казаться преподаватель русского языка и словесности Владимир Александрович Соколов, человек очень неглупый, знавший свой предмет, но большой циник, позволявший себе с гимназистами весьма фривольные разговоры. Его отличительным признаком был нос, громадный и глубоко раздвоенный на конце, точно скрывавший в своих недрах целых два носа, стремившихся в разные стороны.

– У меня, господа, нос в византийском стиле, – рекомендовал он сам свою физиономию.

– А это что у тебя за бутон вскочил, красный-рассыпной? – обращался он к какому-нибудь прыщавому мальчику. – Рановато, рановато... нна-нна! нна-нна-нна! – подпевал он и подпрыгивал при этом ногой под кафедрой.

Или:

– Да что это ты, ангел ты мой болотный, на месте все ерзаешь? Или у тебя иголка в... попала? Может, пер...чья жила лопнула? Ха-ха-ха! Нна-нна-нна...

Он часто употреблял такие слова, как «ракалия», «каналство», «сикамбры», и был необычайно охоч до анекдотов. Гимназисты любили его «заговаривать»: когда не знали уроков и боялись, что он будет «вызывать», кто-нибудь рассказывал ему новый анекдот; весь класс ржал, как стоялые жеребцы, а Соколов от смеха плакал, слезы

текли у него по византийскому носу, капали на потертый мундир; он поминутно протирал пенсне платком. И так проходил к обоюдному удовольствию весь час.

Историю преподавал Виталий Осипович Эйнгорн, маленький, толстенький человек, на кривых коротеньких ножках колесом, на которых он семенял, покачиваясь в обе стороны, вразвалочку; он был награжден большим не то армянским, не то еврейским носом, черными реденькими волосами, тщательно прилизанными на косопробор. Звали его «Виташка» или «Каракатица». Преподаватель он был строгий, занимался и сам, имел печатные работы (правда, на казенные темы), следил за исторической наукой, обращался к архивам. Он часто ни к селу, ни к городу произносил слово «кажется», вставляя его в каждую фразу, причем выговаривал его как «кается». Ехидство гимназистов заключалось в том, что, когда им хотелось насолить Виташке, они, с серьезным видом, сами начинали говорить в таком же стиле:

– Виталий Осипович, кается, мы будем, кается, проходить в этом году, кается, о Меролинггах?

И Каракатице приходилось делать вид, что он не замечает издевательства. Эйнгорн только искоса поглядывал на гимназистов, которые иногда не выдерживали и фыркали.

Латинист, как и директор – тоже чех, Иван Федорович Збраславский, прекрасно знал латинский язык, но очень плохо – русский. Латинскую грамматическую форму, известную под названием «греческого винительного» (*accusativus graecus*), выражающую отношение, он так и передавал по-русски, со включением слова «отношение»: «вакханки, волосатые по отношению к груди». Именно о нем ходил в гимназии анекдот, что поговорку: «*Ars longa, vita brevis est*» (Искусство долговечно, жизнь коротка) – бедняга переводил так: «Живот короток, штука длинна».

Гимназического батюшку, отца Стефана, наградили кличкой «Сикердон, жеребец рыжей масти». Он был действительно рыжебородым. Но «жеребца» ему приклеили не по сходству, а по контрасту, ибо он отличался елейной кротостью, читал не только богословские, но и светско-философские книжки и любил, возводя очи горе, толковать о высоком и прекрасном как проявлении божества. Как у Эйнгорна, Каракатицы, на языке постоянно вертелось «кается», так у отца Стефана через каждые три слова повторялось «ну-с». Во время его уроков гимназисты держали между собой пари, гадая, сколько раз батюшка, он же Сикердон, скажет «ну-с» за свой

час. При этом счет производился довольно громко, и из углов, откуда-нибудь с «Камчатки» (так назывались задние парты), ясно слышалось «двадцать три», «двадцать четыре», – и почтенный святой отец неловко ерзал на кафедре.

Из новых языков изучались немецкий и французский. Энергичный немец, Артур Людвигович Плестерер, по прозвищу «Клистир», данному ему по созвучию с фамилией – ибо на клистир он ни с какой стороны не походил, учил превосходно: он на уроках говорил по-немецки, заставляя гимназистов отвечать тоже по-немецки. Результаты у него были превосходные. Зато француз, м-г Корде, милый, добрый человек, большеглазый, черноволосый, кроткий, так снисходительно относился к своим питомцам, что совсем их распустил.

Особое место среди преподавателей занимал очень известный в Москве педагог Дмитрий Дмитриевич Галанин, попросту «Чич Мич», или «Чич», или «Вот так явление». Преподавал он физику. Сам он часто писал в педагогических и специальных физико-математических журналах, был автором многих книг, считался одним из самых передовых и знающих педагогов. Но в философской области он отличался крайним идеализмом, симпатизировал соловьевцам, исповедуя какую-то амальгаму из христианства, либерализма и социализма. Гимназисты его любили. Он был очень гуманен, и в нем нельзя было заметить ровно ничего казенного и бюрократического. Но – увы! – физики у него не знали, ленились, а подтягивать или – паче чаяния – и наказывать он был по натуре своей неспособен. Нередко и у него самого в руках ломался во время опыта какой-нибудь прибор. Тогда на его лице отражалось крайнее изумление, и он, тыча в свой вздернутый нос указательным пальцем, выговаривал, улыбаясь: – Гы! Вот так явление!

Он был очень высокого роста, сильно бородат, в очках. Его сын, учившийся в гимназии, был еще выше его. Такими же размерами отличалась его жена. Про них у гимназистов ходила загадка: «Два Чича, два Ми-ча, посередине дырка». Это должно было означать семейство Галаниных.

У гимназистов имела своя общественность и переходившие из поколения в поколение традиции. Между ними и реалистами было состояние вечной войны: гимназисты дразнили реалистов «яичница с луком», а те обзывали их «синей говядиной», по цвету нашивок и кантам форменной одежды. В старших классах традиции шли и по линии серьезной – лучшие и даровитейшие занимались наукой и политикой, и по линии преданий о различных похождениях и

дебоширствах – это было принадлежностью богатеньких, франтов, которые в университет поставляли кадры так называемых «белоподкладочников». В младших классах процветал постоянно обогащаемый фольклор и апокрифические произведения непристойного содержания: Барков, переделанный «Евгений Онегин» и «Демон», «Фердинанд и Изабелла» и другие аналогичные произведения, в первую очередь знаменитая «Золотая азбука», где начальная строка была вполне прилична, а вторая – категорически нецензурна. Но сама гимназическая жизнь давала пищу для своеобразного творчества. В ходу были прекомичные переводы различных песенок на греческий и латинский языки: гимназисты третьего класса распевали о «трех девицах», которые «шли гулять», на языке древних эллинов («treis parthenoi»); второклассники барабанили украинскую «И шуме, и гуде, дрибен диджидик иде» на безбожно исковерканном языке Овидия и Вергилия:

Et tonat
Et bromat,
Coelum pluvium dat.
Quis me, quis me, iuvenulam,
Usque domum reducat? –

и сочиняли неприличные стихи. Геометрия породила известнейшие «Пифагоровы штаны», с азартом исполнявшиеся в перемену хором:

Пифагоровы штаны
Во все стороны равны.
Число пуговиц известно,
Отчего же Иксу тесно?
Оттого, что Икс велик, –
Отвечает ученик.

Немецкий язык оживлял не только стариннейшую чепуху, типа «Немец-перец-колбаса купил лошадь без хвоста», но и специфически школьные песенки, пародировавшие правила склонений и спряжений. В обычае было заучивать эти правила в стихотворной форме: и латинские грамматики, и грамматики новых языков нередко пестрели этой своеобразной «поэзией», и гимназисты, сидя на партах, раскачиваясь и заткнув уши, зубрили эти грамматические вирши. Зато они брали реванш, популяризируя свои пародии:

Ich bin –
Дубина,

Полено,
Бревно.
Ich war –
Варвар,
Собачье.

В необычайном ходу были бессмысленные переводы, и здесь фантазия мальчишек обнаруживала исключительное богатство: если буквально переводить на французский или немецкий такие истинно русские поговорки, как «Не красна изба углами, а красна пирогами», то получается гомерическая бессмыслица. Широчайшей известностью пользовались, например, такие фразы: «J'aime de baiser les éponges de ma cousine» («Я люблю целовать *губки* своей кузины»), причем по-французски «les éponges», эти губки – не губки как части прелестного ротика, а губки для стирания и мытья); или переводили «среда его заела» на французский фразой: «Mercredi Га mange», где первое слово означает *среда* как день недели. Всякий немец хохотал как безумный, когда ему говорили: «Ach, du, meine Seele, rote Mamselle», что должно было означать: «Ах, душа моя, красна девица». Ухитрились переделать на немецкий «Дайте ножик, дайте вилку, я зарежу свою милку» («Gib mir Gabel, gib mir Messer, ich werde meine Liebste fressen»); загадывали друг другу хитроумные загадки: что такое, например, «trinum et unum, sed non Deus; initium mundi et finis saeculorum» («тройное и единое, но не Бог, начало мира и конец веков»)? Это, оказывается, латинская буква «т» (начало слова «мир», mundus, и конец слова «веков», saeculorum); или предлагали перевести с латинского бессмысленный набор слов: secundum servi vos bibere («по» «рабы» «вы» «пить»), что должно было означать: пора бы выпить. Перелагали известные романсы и песни. «Под вечер осени ненастной» звучало по-гимназически так:

Под вечер осени ненастной
Сидела девица в колбасной
И колбасы кусок ужасный
Держала в трепетных руках.

Словом, исхищрялись на все лады. Таких шуток, загадок, стихотворений, басен, песен, целых поэм, на русском, французском, немецком, латинском, греческом, на смешанном варварском жаргоне, где все языки нарочито замешивались гимназической мутовкой в одно тесто, было великое множество, и новичок бывал прямо ошарашен всей этой премудростью, которая наваливалась на него в первые же дни, когда каждый стремился поделиться с ним своим опытом в

области этого своеобразного просвещения и перещеголять своих товарищей соответствующей эрудицией.

Коля Петров очутился сразу в новой среде: в начальном училище его товарищами были дети мелкого городского люда, плохо одетые и не очень чисто вымытые, которые несли в школу быт и привычки своего семейного круга, а тут были сыновья помещиков, купцов, чиновников, дворян – все чистенькие, аккуратно причесанные, приглаженные, розовые, в хороших костюмчиках, и Коля выделялся среди них своей убогой курточкой, которую купили у старьевщика; своей плохо сшитой шинелью, сделанной матерью из старой офицерской рухляди, приобретенной за гроши таким же путем. За свой рост он тотчас же получил две клички: «Лилипут» и «Маленький». Но его никто не посвящал в общество щипками и тумаками, как это нередко проделывалось с новичками. То ли мальчикам импонировала блестящая сдача экзаменов, то ли ядовитый Колин язычок, то ли физическая ловкость, то ли разные интересные рассказы, которые он умел рассказывать, но к нему не только не приставали, как к чужаку, а быстро «освоили» его с головой и потрохами. Некоторые из трудолюбивых, но малоуспешных учеников сгорали завистью и пускали про него слух, будто он ужасный зубрила. Но Коля никогда не имел даже словарей и перед уроком списывал наскоро у кого-нибудь «слова» и моментально их запоминал. Преподавателей он слушал внимательно, и так как почти все они предварительно рассказывали задаваемые уроки, то он их знал уже загодя. Раз случилось так, что его вызвал учитель латинского языка, когда он только что успел списать в тетрадку «слова» у соседа. Еще не высохли чернила, а он уже шел к кафедре.

– Сегодня Петров влип... – услышал он шепот с парты, где сидели действительные зубрилы.

– Ну-с, Петров! Послушаем, что вы нам рассказывать будете, – поблескивая очками и теребя клочковатую рыжую бороду и бакенбарды, начал Збраславский. – Сперва слова. Как будет «лягушка»?

– Rana.

– Аист?

– Ciconia.

– Пожирать?

– Devorare.

– Третье лицо множественного числа?

– Devorant.

Коля без запинки отвечал на все и с радостью видел, как изумленно раскрывались рты у его завистников. Хорошо «влип», когда получил пятерку! Он с победоносным видом прошел мимо враждебно настроенной парты. Съели?

Строгий немец, после того как Коля рассказал ему по-немецки несложный рассказец, удовлетворенно захлопнул журнал и с гордостью за своего ученика проговорил, обращаясь к классу:

– Was fehlt ihm doch? (Чего же ему недостает?) И сам ответил с важностью:

– Gar nichts!

– Послушай, Лилипут! Чем тебя кормят, что ты все успеваешь? – приставал к нему сын немца, Фриц, про которого ходила песенка:

Fritz, Fritz, Фриц, Фриц,
Willst du griitz? Хочешь кашки?
Nein, Mama, Нет, мама,
Ich will kaka. Хочу кашки.

– Да ничем особенным. Вероятно, той кашкой, от которой ты отказываешься.

И все стали добродушно подтрунивать над Фрицем.

В Колином классе было два ученика, которые оспаривали у него пальму первенства: Матвеев и Соколовский.

Матвеев был крестьянский мальчик, живший на иждивении у московских домовладельцев купцов Федотовых, сын которых учился в том же классе. Матвеев, смирный, послушный, вышколенный купеческим домостроем, жил под постоянной угрозой, что его «благодетели» прекратят свою благотворительность: дома он колот снег на дворе и был на побегушках, как лавочный мальчик; в гимназии он старался изо всех сил одолеть науку, чтобы в его балльнике стояли хорошие отметки и чтобы старик Федотов не мог ерепениться. Он был черноволос, очень смугл, физически силен и вынослив. Ходил он в гимназию вместе с сыном купца; тот был пухлым розовым мальчиком со светлыми волосами, нежным цветом лица, в светло-сером чистеньком мундирчике из лучшего офицерского сукна, всегда в белоснежном воротничке; все на нем выглядело добротнo и первосортно, и это внешнее убранство оттеняло грубое сукно и медную бляху на поясе у Матвеева. Соколовский происходил из дворянско-польской семьи; его мать имела в Москве, в Нижнем Лесном переулке, что близ храма Христа Спасителя, собственный каменный двухэтажный дом; ее сестра была

замужем за старым профессором Московского университета и являлась одной из довольно известных деятельниц либерального женского движения. Отец Соколовского не жил в Москве, служил где-то управляющим большим имением под Варшавой, имел знакомство с радикальными польскими кругами, знал легального польского марксиста Людвиг Крживицкого.

Семья Соколовских была типичной либерально-буржуазной семьей с дворянскими традициями. Здесь царил тот дух «комильфотного» либерализма и культурности, который не любит никаких «эксцессов», сверху вниз смотрит на «чернь», но в то же время осуждает грубое варварство и азиатский деспотизм самодержавия. Парламентаризм, наука, либеральные реформы, чистые скатерти и салфетки, вымытые волосы, «Русские ведомости», карлсбадские воды, превосходное французское произношение сплетались здесь в единый целостный комплекс. Мечик отлично говорил и по-французски и по-немецки, много читал и имел недюжинные способности, учился свободно и легко и не выказывал ни обид, ни огорчений, когда Лилипут оказывался впереди, тогда как Матвеев относился к этому с ревностью, будто «новичок» что-то у него похищал. Впрочем, это последнее обстоятельство целиком объяснялось его боязнью потерять то, что он имел: купец Федотов мог в конце концов перестать за него платить, если он лишится достоинства «первого ученика». Он все-таки его лишился, но катастрофы от этого никакой не произошло.

Среди трех претендентов на первенство у Коли был наиболее живой и общительный нрав, и он быстро наладил хорошие отношения со всем классом. Правда, они отчасти основывались и на не совсем бескорыстных мотивах: Колю любили и за то, что он подсовывал во время письменных задач решения, умел хорошо подсказывать, давал списывать и обнаруживал во всех таких делах изрядную виртуозность. Поэтому вскоре нашлись верзилы, великовозрастные и быкоподобные, которые оказывали ему сугубое покровительство и готовы были уничтожить в прах всякого, кто хотел бы посягнуть на Лилипута.

Одно время в классе было повальное увлечение почтовыми марками, и Коля было поддался этому увлечению, но оно скоро, в тот же год, ему наскучило: мертвое, сухое дело! Он решил, что с таким же основанием можно собирать пуговицы от старых штанов: сколько их, русских и заграничных, европейских и американских, – и все разные! Найдя такую обобщающую отрицательное отношение к маркам

формулу, он уже не покидал ее и всячески дразнил и выводил из себя особо ревностных филателистов, с гордостью раскладывавших свои альбомы с боливийскими и чилийскими марками; они были так влюблены в эти марки, что, кажется, и соответствующие страны представляли себе на манер огромного почтового знака со штемпелем.

Балльник Коли пестрел одними пятерками.

14

После долгих мытарств Иван Антоныч поступил наконец на службу. Ему удалось получить место надзирателя в Комиссаровском техническом училище. Туда же отдан был и Володя, в первый класс. Любовь Ивановна за это время успела родить еще одного сына, названного Петром. Дома было истинное вавилонское столпотворение, и теснота в комнатке стала такая, что люди уж совершенно не влезали в нее и задыхались в грязных простынках, тряпках, оранье младенцев. Во время родов Колю с Володей пришлось развозить по знакомым на временное житье – иначе нельзя было обеспечить роженице хотя бы животный минимум соответствующих условий. Иван Антоныч бегал по квартире, хватался за голову, прислушивался к стонам Любочки, снова бегал. Но все обошлось благополучно... К счастью, вскоре после родов у жены он получил свое убогое место – но и то был хлеб после тяжких лет безработицы и житья нахлебниками на чужой счет, полуголода, огорчений, обид и ссор из-за корки хлеба. Петровы решили выделиться из «большой семьи», освободить Евгения Антоныча от тяжелой обузы; была снята крохотная квартирка в доме Мохова, на Вальной улице, близ Серпуховских ворот. Здесь уж не было ни двора, ни садика. Двор, собственно, был, но это замощенное маленькое пространство не могло иметь для детей никакого значения. В доме помещалась типография, из которой пахло краской и удушливыми газами. Рядом находился маленький химический завод, откуда несло хлором. Но зато в квартире можно было ходить и сидеть и, главное, не чувствовать себя на каком-то вечном осадном положении. В столовой можно было читать. Дверь в спальню, откуда шли крики младенцев, можно было закрывать. Словом, здесь было уже много удобнее, чем в общей квартире на Бабьем Городке.

Первым делом решили приодеть ребят. Иван Антоныч купил у эконома «Комиссаровки» из изношенных пансионеровских костюмов,

которые сбывались старьевщикам, два костюма, для Коли и Володи. Целый вечер мальчики оттирали бензином жирные полосы грязного сала и пота у обшлагов воротника и у прорех штанов; не до брезгливости было дело – куда уж тут! В конце концов, костюмы были готовы, и дети могли облачиться в «новое»...

К весне, когда у учеников и учителей наступают большие летние каникулы, Иван Антоныч сговорился с учителем рисования в «Комиссаровке», Михаилом Самойловичем Келлатом, чтобы тот взял детей к себе в деревню, где он снимал простую крестьянскую избу и бродил с этюдником и красками по окрестным лугам, полям и лесам. Мальчики были на седьмом небе от восторга, в особенности Коля, для которого открывался здесь любимый им, но незнакомый мир настоящего художества, мир красок и цветов. Палитры, кисти, полотно, картон, лаки – все это он знал только понаслышке. А теперь все это он увидит, и – кто знает? – может быть, ему удастся и самому взять в руки кисть...

Михал Самойлыч представлял собою фигуру в высшей степени странную и оригинальную. Уже сама его внешность бросалась в глаза. Длинная голова, с пережабиной посредине черепа, состояла точно из двух сросшихся голов, и обе были лысыми; сзади, к затылку, висели космы темных волос, как подобает художнику; лицо бледное, словно обсыпанное мукой, с припухшими желтоватыми мешочками под глазами. Носил он громадную широкополую шляпу, плащ, в руках у него неизменно была самодельная суковатая палка, с которой художник почти никогда не расставался. В его прошлом было, видно, что-то трагическое, после чего он впал в болезненную религиозность, как Гоголь под конец своей жизни. Он регулярно постился, часто молился, вечно что-то бормотал сухими бескровными губами, и они таинственно шевелились под усами. Говорил он тихим грудным голосом, короткими фразами, и весь был какой-то не от мира сего, чужак, блаженный, почти юродивый, но удивительно добрый, мягкий и кроткий. Он непрестанно курил, набивая сам папиросы из отвратительного дешевого табака. Бродя по лесу, он напевал вполголоса псалмы и неведомые песни. Он боялся женщин и прятался от них, по-видимому считая их исчадием ада, сосудом греха и соблазна. В свое время Михал Самойлыч кончил знаменитое Московское училище живописи, ваяния и зодчества и даже получил за выпускную работу золотую медаль. Но потом он ушел от мира, для заработка служил, но ни с кем компании не водил, жил настоящим монахом-отшельником. Последнее время у него поселился его двоюродный племянник, Саша, учившийся в Промышленном

училище на Миусской площади, живой и умный мальчик с рассеченной заячьей губой, который иногда не прочь был подтронуть над своим дядюшкой. Любил еще Михал Самойлыч удить рыбу и по целым вечерам мог просиживать у тихой заводи, смотря за неподвижным поплавком и слушая замирающие голоса природы.

Наконец настал желанный миг, и дети очутились в деревенской избе. На полу постлали два тюфяка, набитых сеном. Спали все трое рядом, накрывшись одним широким красным одеялом, доставшимся Михал Самойлычу по наследству и пропахшим запахом меди и нафталина. Иголки сена вонзались в тело – но это все было пустяками по сравнению с рекой, лесом, солнцем и... красками. В маленьком закутке, где поселился сам Михал Самойлыч за ситцевой занавеской (он никогда не раздевался при других, точно стыдился своего собственного тела), стоял походный мольберт, большой этюдник и шкатулка с красками. Коля впервые увидел эти тюбики. Новые, полные, они сверкали металлическим радостным блеском. Старые лежали в беспорядке, наполовину выдавленные, скрюченные, перемазанные и перепачканные, часто с потерянными головками и продавленными боками, из которых сочилась густая засыхающая масса. Тут же лежали кисти, круглые и плоские, колонковые и щетинные; некоторые из них были особым образом подстрижены самим Михал Самойлычем по своему вкусу. Палитра обнаруживала неряшливость хозяина: она, очевидно, годами не мылась, хотя Михал Самойлыч любил писать «с керосинцем».

А сколько было этих самых красок! Коля, с разрешения художника, тщательно их изучал, и даже названия казались ему выражением чего-то особого и крайне интересного: кармин, краплак розовый, киноварь, кобальт, прусская синяя, индиго, небесная голубая, ультрамарин, хром желтый лимонный, кадмий светлый, охра, terra-di-сиенна, асфальт, Поль Веронез, изумрудная зелень, зеленая земля, и еще, и еще – чего тут только не было! И, наконец, толстые большие тюбики белил... Все это внушало Коле необычайное почтение. Какая сложность, какое богатство! Это уж не детские акварельки – плиточки в четыре цвета, которыми можно малевать убогие детские картинки, это – «всамделишное», «настоящее», и он, Коля, уже соприкасается с этим настоящим, он не во сне, а наяву трогает руками все это разнообразие!

И вот в один прекрасный день Михал Самойлыч забрал мальчиков, захватил с собой несколько загрунтованных картонов (грунтовал он их сам) и все отправились на этюды в лес. Там выбрали прекрасное местечко у ручья. Кругом свисали лапы елей с огромными

обомшелыми стволами и седыми, зеленоватыми бородами на ветвях. Внизу, среди папоротников, на дне неглубокого оврага, бежал ручеек – видно было его песчаное дно, камни, над которыми зыбко дрожали водяные блики. Солнце играло сквозь густую зелень елок и ольховых деревьев. Зяблики, прохаживаясь степенно по ветвям, время от времени вдруг заливались своей короткой звонкой трелью. Пахло ароматами цветов и трав. Густая растительность местами перевита была стеблями хмеля, который, распуская свои лапчатые листья, взбирался по ветвям деревьев, стремясь в высоту. Свежая прохлада царила здесь и позволяла думать, наслаждаться и работать.

Михал Самойлыч раздал картон и кисти.

– Попробуйте пописать.

Коля едва опомнился от неожиданности. Но Михал Самойлыч уже стал давать самые необходимые указания. И все, даже Володя, принялись за работу.

Сперва у Коли ничего не получалось: углем он сделал набросок контуров, а когда дело дошло до красок, все выходило сухо, не было никакой перспективы, все тонуло в монотонности мертвого зеленого. Он был в замешательстве и не знал, что делать. Михал Самойлыч подошел, улыбнулся, взял кисть и вдруг с необычайной для Коли смелостью стал смешивать краски, которые, казалось, не имели к делу никакого отношения. Несколько мазков – и этюд сразу ожил.

– Смелее, Колюшка. Ты не бойся. Тени бери глубже, синее. Видишь, там, в натуре, какие пятна?

Коля осмелел. Стало выходить лучше.

– А у тебя, Саша?

У Саши смелости было много. Он ляпал крупными густыми мазками, но однотонность была и у него. Михал Самойлыч поправил.

– Володюшка, а ты что?

Володя окончательно запутался в красках. Михал Самойлыч подошел снова к Коле. Поправил ствол ели, подпустил туда лилового, проложил двумя-тремя мазками тени под сучьями – ствол сразу выделился.

– Ты смотри на разнообразие цветов. Видишь, там листва у куста круглится, а у тебя она плоская. Там слева яркая зелень, а справа – посмотри-ка хорошенько – два темных пятна. А у тебя все почти одинаково. Сколько ты ни придельвай веточек, на одном рисунке, без разнообразия цветов, не уедешь. Понимаешь?

– Понимаю, Михал Самойлыч, только у меня ничего не выходит.

– Сегодня не выйдет – завтра выйдет. Ты только внимательно смотри. И не волнуйся, не торопись. Посиди. Подумай. Отойди, чтобы сравнить этюд с натурой. Так оно дело и пойдет.

Долго еще сидели ребята за работой, перепачкались красками, но были страшно довольны.

– На первый раз ничего. Пора обедать. Возьмите керосин и тряпку, помойте палитры и кисти – и домой!.. «От юности моя мнози бо борют мя страсти...» – замурлыкал Михал Самойлыч, шагая впереди в своей шляпе и размахивая палкой.

Так прошел первый урок живописи, на воздухе, совсем как у барбизонцев.

Михал Самойлыч отличался в жизни крайней непрактичностью, хотя считал себя очень практическим человеком. Раз в неделю он уезжал в Москву закупать провизию. Питались обычно весьма скудно: главным образом гречневой кашей с молоком да печеной картошкой в мундире с маслом. Но все это казалось после прогулок на воздухе необычайно вкусным. Агафья (хозяйка избы) притаскивала с погреба две крынки, запотевшие, с капельками воды на поверхности, и наливала в тарелки густое холодное молоко; кашу посыпали крутую солью. Картошка же была – настоящее объеденье! Хорошо жилось ребятам у Михал Самойлыча!

Из города привез он раз целый рогожный кулек.

– Я тут осетринки закупил. Чудесная осетринка... И ветчины...

Осетринка оказалась совершенно тухлой, и запах от нее шел удручающий. Но Михал Самойлыч считал, что она удивительна. Ее сварили, приготовили тушеной капусты и ели, давясь от смеха, когда Михал Самойлыч приговаривал:

– Кушайте, великолепная осетринка...

В еде Михал Самойлыч ничего не понимал. В воскресенье он вытащил привезенную из Москвы ветчинную кость с кожей.

– Колюшка, не хочешь корочки?

«Корочка» была вся в плесени, и Коля, предварительно ошпарив ее под самоваром, насилуя себя, грыз эту корочку, чтоб не обидеть учителя.

Зато, когда ребята остались одни, они злословили целый час и с тех пор часто дразнили друг друга:

– Колюшка, не хочешь корочки?

Когда Михал Самойлыч уезжал на день-другой в Москву, дети были уж совершенно предоставлены самим себе. Они первым делом удирали с деревенскими ребятами в ночное, забирали свое знаменитое одеяло, хозяйка давала им полушубок, и они прекрасно проводили время на лугу, около речки. Звезды сияли в темном небе.

Где-то недалеко фыркали стреноженные лошади. Иногда слышалось, как они подпрыгивают на спутанных ногах. Потом все снова становилось тихо. Ребята разводили костер и сидели вокруг него, скорчившись, с играющими красными бликами на лицах.

– Айда за можжевельником! А то уж тухнет...

Бежали веселой гурьбой в соседнюю рощу за можжевельником. У пастушонка был большой нож – для обороны от волков. Этим ножом нарубали кустарник с колючей хвоей и темно-синими ягодами и волочили добычу к костру. Он сразу вспыхивал, валил густой смолистый и пахучий дым, все трещало, шипело и пело, когда огонь лизал своими огненными языками свежую зелень коренастых можжевеловых кустов.

– Ух, и не любит этого дыму комар, – проговорил светловолосый веснушчатый мальчик.

– Мы всегда и в избе от комарей можжуху палим, – ответил другой.

– На ем тетерь ягоду любит... – внушительно заметил пастушонок, стругая палочку из крепкого можжевелового ствола и вырезая на ней замысловатые витые узоры и вензеля.

– А еще хорошо из его удилица для донок делать, – продолжал первый. – У одного конца оно толстое, у другого – с волосинку, а нипочем не сломается, только гнется. Подходявое удилице.

– А что у вас здесь на донку ловить можно? – спросил Коля, заинтересованный новой информацией.

– Да што хошь. Мы здесь ловим налима ночью, а в озерке – знаешь, за лесом – больно хорошо линь берет на выползка. Агромадные есть лини, широченные,

золотые...

В роще залилась, завывла, заухала сова.

– Надьсь Филька совенка поймал...

– Где? У кого он сейчас? – встрепенулся сразу

Коля.

– Да в роще. Из дупла вытащили. Как в пуху. Чудной. Глазищами хлопает. Ровно как зверь, а не птица. Летать не может, а лазить – лазит. Умора!

– Куда ж вы его дели?

– А Петруха его кнотом моим как хватит, так он и готов.

– Зачем же это вы? Эх, дураки!

– А на кой ляд он нам нужен?.. Они, совы, зайчат маленьких тоже жрут...

– А зайчата у вас есть?

– Таперя нет. А прошлый год у дяди Филиппа зайчонок вырос, большущий русачина был... Лапами передними ловко барабанил.

– Ну а потом что с ним было?

– Известно, что потом. Потом прирезали да и съели. Жирный зайчина.

На небе медным тазом висит луна.

– Колька, а правду бают, что на луне Каин сидит?

– Ерунда...

– А чтой-то за пятна там?

– Горы.

– Это на луне-то горы? Врешь! Мелешь...

Коля пускается в объяснения. Его поддерживает Саша. Деревенские ребята слушают с широко раскрытыми глазами... Костер догорает.

– Колька, давай спать. А то днем будем такие, точно нам клистир из битого стекла с уксусом поставили, – говорит Саша.

– Ладно. Стели полушубок...

И ребята засыпают с лицами, обращенными к небу. Володя свернулся калачиком в комочек. Засыпают и остальные. Только пастушонок сидит у догоревшего костра и плетет себе новые лапти: старые уж износились, пора их выбросить к шаху, монаху на постныщи...

Любили дети без Михал Самойлыча бегать купать лошадей. Однажды удрали они на реку. Стоял жаркий день. И люди и животные томились от нестерпимого зноя, точно прожигавшего кожу колючими лучами. Лошадей мучили оводы и слепни, которые тучами носились вокруг них и беспощадно жалили. Мальчики ловили больших оводов и отрывали им головы, наблюдая, как овод без головы взвивался кверху, а потом падал и цеплялся ножками и даже оправлял задней их парой свои крылышки, поглаживая их сверху, или втыкали им в зад травинку, и эти лошадиные палачи исчезали с ней в голубой выси. Река переливалась ослепительно сверкающим металлом. Вода манила...

Ребята разделись, вскочили на лошадей и с гиканьем, свистом и песнями ринулись в воду. Смех. Брызги. Плесканье...

– Вылезай! Володька, Сашка! На берег!

И Коля, пришпоривая кобылу голыми пятками, погнал ее на берег. Но когда она быстро взбегала наверх, Коля вдруг почувствовал, что сползает по мокрому крупу лошади, и через секунду потерял

сознание: что-то ударило его по голове, в глазах сверкнула молния, и полный, абсолютный мрак покрыл все...

Когда он очнулся, то увидел, что лежит на земле. Около него стоит Володя и, заливаясь слезами, умоляюще вопрошает:

– Колечка! Колечка! Ты жив? Ты не умер? Голова у Коли была вся в крови, и кровь густела,

комьями налипая в волосах. Оказывается, что, когда он съехал с крупа лошади, та, то ли отмахиваясь от слепней, то ли желая отвязаться от опеки наездника, стукнула его по голове кованым копытом и сильно раскро-вятила ее: вздулась огромная шишка с большой сеченой раной посередине. Кровь запеклась на солнце вместе с волосами, вырос волосьяной ком, как колтун.

Когда первые минуты растерянности прошли, ребята стали обсуждать вопрос, как же скрыть этот колтун от Михал Самойлыча, который вечером должен был приехать из Москвы. Что его нужно скрыть, не подлежало сомнению: иначе пропала бы вся вольность, которой они в полной мере наслаждались. Решили, что Коля будет стараться ходить в фуражке, за столом сидеть с такой стороны, чтоб Михал Самойлычу колтун не был виден. А сами дали друг другу чуть не клятву молчать и ни слова не говорить о происшествии. Сашка начал было высказывать соображения насчет необходимости показать рану доктору, но Коля протестовал так бурно, что вопрос был снят с очереди, и все твердо согласилось держать язык за зубами. Это взаимное обещание было выполнено, и добрейший Михал Самойлыч только не мог понять, почему Коля категорически отказывается от стрижки... Но, в конце концов, эта последняя проблема его мало беспокоила.

Михал Самойлыч по-своему очень любил природу и понимал ее. Он бродил по лесу, забирался в самую что ни на есть гущину, ходил по болотинам, выскивая красивые разноцветные мхи, причудливые коряги, громадные труты, срезал с берез уродливые узорчатые и бугристые наплывы, срывал с елок красноватые гирлянды шишек, собирал цветы, папоротники, багряные умирающие листья осины, гроздь рябиновых и калиновых ягод – все это добро тащил в избу, устраивая из него замечательные декорации. Мальчики горячо его в этом поддерживали: здесь было полное взаимопонимание. Но им всем недоставало живого, чтобы двигалось, а не стояло или лежало на месте. Так они мало-помалу пришли к мысли, что нужно обзавестись каким-нибудь зверьем. Решили достать белок. Михал Самойлыч привез из Москвы мелкой металлической сетки, из какой делают для

съестного покрытия от мух, и заказал по своему чертежу две громаднейшие клетки деревенскому столяру. Скоро клетки были готовы. Но как их оборудовали! Глухую их стенку и все деревянные части мальчишки с Михал Самойлычем обили берестой. Внутри прикрепили самые красивые труты, дуплистые коряги, дубовые узловатые сучья. На бересту кое-где наклеили мох, яркие листья – словом, отделали клетки с таким искусством, что этому мог бы позавидовать любой декоратор-специалист, устраивающий вольеры для зоологических садов. Поймать самих белок не удалось. Коля облазил много беличьих гнезд, но все они оказались пустыми. Один раз он залез на высоченную елку, у самого ствола которой виднелось наверху круглое беличье гнездо. Насилу продрался он сквозь сучья; мелкие кусочки коры, труха, сухие иглы усыпали ему всю голову, засорили глаза. Он запустил правую руку в боковые отверстия гнезда и с ужасом выдернул ее: в пустом беличьем гнезде поселились шмели!

Случилось раз согнать белку с дерева, и Коля погнался за ней, когда она, задрвав хвост, бежала по земле к высокой сосне. Коля схватил ее за спину, но она моментально вцепилась ему зубами в палец, и он выпустил ее... Какой был стыд и позор... Белка увильнула и смотрела насмешливо сверху, цокая и подергивая своим пушистым хвостом... Посмотрела-посмотрела, потом, точно одержимая, сорвалась – и исчезла из глаз. Делать было нечего, случай был упущен. Пришлось Михал Самойлычу покупать белок на Трубе. Он и купил целую пару, самку и самца. Когда их пустили в клетку – большую, да еще так хорошо обставленную, – после долгого сидения в маленькой клеточке у торговца, они ополоумели от радости, цокали, дрыгали хвостами, носились по веткам и вскоре с аппетитом принялись за орехи и подсолнухи, часть которых они запрятавали в мох, тщательно хороня и заделывая их своими ловкими передними лапками. Иногда их выпускали из клетки, и они носились по «бревенчатым стенам, срывались, падали и снова взбирались с поразительной быстротой, цепляясь за малейшие уступы и неровности. Скоро они стали совсем ручными, ходили по столу, волнообразно подпрыгивая и подбирая крошки, пробуя и бросая остатки пищи; взбирались на плечи; залезали в карманы, давали себя гладить, жмуря и закрывая глаза и издавая урчаще-стонущие звуки... Потом деревенские ребята притащили зайчишку, и таким образом была населена вторая клетка. Заяц сперва дичился, а потом и он привык. Правда, воздух в комнате не стал от всего этого лучше, но беда

была невелика, так как окна днем держали постоянно открытыми: их закрывали только тогда, когда выпускали белок.

Несколько раз Коля ходил с Михал Самойлычем на этюды, и тот уверял, что дела подвигаются. Но у Коли была страсть выбирать какие-нибудь особые моменты: пурпуровый закат с рдяными краями облаков, ночной пожар, деревня при луне. Он не умел еще обрабатывать элементарные вещи, а уж спешил браться за сложные, гнался за эффектами света и тени и, разумеется, терпел каждый раз крах.

Подступала осень. Желтели листья берез, и среди их золота пламенным багрянцем рдели осины. Михал Самойлыч собрался поехать на Сенежское озеро и решил взять с собой Колю. Забрали краски и удочки, на всякий случай: Михал Самойлыч рассказывал, что там по осени бывает необыкновенный клев. Когда-то он жил в избушке недалеко у озера и прекрасно знал все его окрестности. Туда они и направились.

Коля впервые увидел такую массу воды. Озеро синело широкой полосой, по нему ходили настоящие волны. Оно совсем не было похоже на тихие маленькие речки с бочажками и затонами, в которых, как в зеркале, отражались прибрежные деревья и кустики. Оно простиралось далеко-далеко, и на другом берегу туманно голубел лес. Целые заросли высоких камышей тянулись вдоль берега и сухо шелестели своими листьями – точно волною шел невнятный шепот. Путешественники должны были добраться до деревеньки, в которой жил раньше Михал Самойлыч, чтоб обеспечить себе ночлег. Дорога вела сперва по прибрежной топи, по сваленному камышу, из-под которого, хлюпая, сочилась вода; потом по твердой луговине, за которой начинался дубняк. Дубы были не очень старые, но и не очень молодые, жизни они насчитывали с полвека и, прочно уходя корнями в черную влажную землю, подымали к небу свои еще не совсем зеленые резные раскидистые кроны.

– Ах, батюшки-светы, да откуда же это ты, родимый, к нам завился? – встретила старушка крестьянка Михал Самойлыча, – вот уж не ждала не гадала, прямо как с неба свалился!

– Вот на озеро с Колей приехали, Федосья Степановна, у вас переночевать хотим.

– Милости просим, батюшка. А мальчик-то что ж, сродственник тебе будет?

– Нет, знакомый.

– Вон оно что. Долгонько ли побудете?

– Денька два.

– Что ж так мало? Погостите! Да что я-то, дура, все болтаю, а дела не делаю. Сейчас побегу, самоварчик поставлю, яичек вам сварю...

И старуха заковыляла в другую половину избы.

Вскоре на столе хозяйка разостлала расписную скатерть с бахромой по краям, замурлыкал самовар, появились ржаные лепешки, крынка с красноватым топленным молоком, крутые яйца.

– Кушайте на здоровье! Давненько вы у нас не были, Михал Самойлыч, батюшка. Все, чай, некогда? А я вас частенько тут вспоминаю... Летом ужли в Москве живете?

– Нет, в деревне...

– Что ж не у нас? Забыли? Аль плохо было?

– Все по новым местам брожу, Федосья Степановна.

– Значит, художничаете? Ну, правда, ваше уж дело такое. Да вы кушайте, пожалуйста. Давайте вам чайку налью. Только у нас сахару вот маловато, не обессудьте.

– Спасибо большое. Да нет, тут всего довольно. Колюшка, кушай лепешки. Бабушка их отлично печет...

– Чем богаты, тем ради.

Подкрепившись у гостеприимной Федосьи Степановны, Михал Самойлыч и Коля пошли снова к озеру. Запад весь горел пурпурными мантиями. Башни розовых облаков громоздились исполинскими вершинами, с нежными узорами, оттененными лиловыми и синими тонами. Коля уже думал в красках: здесь краплек розовый и индийская желтая, здесь – кармин и кобальт, в прогалинах – Поль Веронез, чуть-чуть небесно-голубой...

Тюбиков Коля себе отобрал из старых красок Михал Самойлыча и нес с собой в коробке.

Скорей бы схватить эту красоту...

– Михал Самойлыч, давайте остановимся. Вот это так этюд!

– Хорошо. Только тут нужно быстро писать. Темнеть будет, не успеешь и заметить: все меняется по секундам.

Сели. Озеро играло отсветами зари в темнеющих берегах. Коля спешил, едва успевая выдавливать краски. Михал Самойлыч работал уверенно, не суетился и все-таки успевал. Пока Коля мучился, подбирая тона, художник безошибочно находил верный нюанс, ему не нужно было столько раз пробовать и примеривать различные краски – все у него выходило точно само собою; опыт прошлого превратился в верный инстинкт, и рука и глаз схватывали то, что нужно, почти автоматически. Коля не без зависти поглядывал на

учителя: как легко и свободно все у него шло! Он точно играл красками и кистями. Иногда Коле казалось, что Михал Самойлыч клал совсем неверное красочное пятно. Но вот оно окружалось другими цветами и само уже звучало по-иному, как часть одного целого, и великолепие роскошного пурпурного небесного пиршества уже отражалось на полотне художника...

– «Свете тихий, святягы славы небесного отца, святя и блаженного», – тихо подпевал себе под нос Михал Самойлыч. Он поглядывал на небо. В его глазах блестели огни заката...

Коле не хотелось смотреть на свой этюд. Он был в полном отчаянии – какая-то бледная немочь... Весь восторг, который охватил его вначале, испарился. Крылья души бессильно повисли: не выходит, не могу, не умею! – думал он. И ему уж не хотелось дальше работать. А с другой стороны, он торчит перед глазами, этот дурацкий этюд, это жалкое свидетельство бессилия... Нужно, чтоб его не было, – мелькает смутно в Колином уме. И... раз! Он одним взмахом стирает тряпкой всю свою работу...

– Колюшка, что ты делаешь?

– Михал Самойлыч, это такая дрянь, что мне на нее тошно было смотреть... – чуть не плача отозвался Коля.

– Ничего. Это хорошо, что ты так близко к сердцу принимаешь. Скорей научись. Только нужно снова и снова начинать. Не бросать. Не впадать в отчаяние. Ты что ж, захотел, чтоб без опыта у тебя сразу все вышло? Ведь не можешь ты сразу по-гречески заговорить?.. Так и здесь, – утешал Колю Михал Самойлыч, отходя от своего этюда и продолжая смотреть то на него, то на натуру. – Стоит чуть-чуть ошибиться, и уж будет не то; чуть-чуть подправить – и все оживает. Карл Брюллов говорил, что искусство там и начинается, где это самое «чуть-чуть». Брюллов был...

– Да я знаю, Михал Самойлыч: «Последний день Помпеи».

– Он самый. Только он страшный пьяница был и развратник, прости ему, Господи...

– С Кукольником и Глинкой пьянствовали...

– А ты откуда знаешь? – изумился Михал Самойлыч.

– Читал.

– Ишь ты! Пряткий какой! Ну, пора кончать: все равно уж ничего не вижу.

Михал Самойлыч вытер кисти и захлопнул этюдник. Было уже совсем темно, когда они вошли в избу.

– Да что ж вы в этакой тьме египетской делали-то? – всплеснула руками Федосья Степановна. – Идите скорейча: я вам и ужин собрала, селедку почистила, с картофелем; каша есть с молоком. А спать уж на соломе придется – других тюфяков у меня нету.

– Не беспокойтесь, ради Бога.

– Какое беспокойство. Я сама рада гостям. А то все одна да одна, как сова в дупле. Право слово, сова... Сушая сова...

Утром следующего дня Михал Самойлыч разбудил Колю, который разоспался, как сурок.

– Колюшка, вставать пора!

Наскоро умывшись на дворе из глиняного рукомойника и хлебнув горячего чаю, Коля снова отправился с художником на озеро, но уже по другому направлению. Когда они пришли и стали выискивать на берегу местечко поудобнее, по озеру стлался еще туман; извиваясь и клубясь, его белесые массы то сплывались в одну сплошную стену, то разрывались на клочья, среди которых виднелась зеркальная поверхность озера. Вода была спокойна, и ни одна волна не рябила широкой водной глади. Солнце уже взошло. Оно висело красным шаром сквозь туман и сверкало в миллионах бриллиантовых брызг на холодной росистой траве.

– Однако свежо, – проговорил Михал Самойлыч, раскладывая краски и этюдник.

– Да, холодновато.

– День будет, зато хороший. Ты, Колюшка, не садись так прямо на траву, простудишься или ишиас схватишь... Подкати-ка тачку – видишь, там старую тачку кто-то забыл... Да ты не туда смотришь... Направо, у куста...

Коля подвез тяжеленную тачку, на которой, очевидно, возили бульжники, когда чинили береговую дамбу.

– Теперь все в порядке. Ты и удочки размотай. А я пока червей порою. Тут их пропасть. Баночку я захватил.

Михал Самойлыч нарыл полную банку червей, ко-» торые свивались и крутились, высовывая вдоль стенки банки свои красные кольчатые концы. Устроились с красками, вынули кисти, закинули удочки и стали писать... Но не успел Михал Самойлыч сделать двух мазков, как его поплавок стремительно пошел вниз, точно его кто-то стукнул по голове...

– Ага, милый, попался!.. У, какой!.. – умиленно говорил Михал Самойлыч, вытаскивая крючок из большого окуня, который бился, кололся, пучил глаза и разевал красные внутри жабры...

– Коля, не зевай!

У Коли согнулось удилище. Он подсек. На крючке висела зеленая шучка с полфунта.

– Значит, клев хороший... Ну и заглотнул мой окунь – никак не вытасу. Придется ножом резать... – У Михал Самойлыча руки были уже в крови.

– Михалу Самойлычу добро пожаловать! – раздался вдруг чей-то голос. – Я вас по шляпе по вашей опознал.

Из-за кустов подходил старик сторож с сачком.

– Давно пожаловали?

– Вчера приехали.

– Удачно.

– А что?

– Да ноне клев больно богатый. Лет десять такого не было. Вы на червя? А вот на малька попробуйте. Тут его пропасть. Я вам сейчас сачком загребу, да и на тачку. На сухого и то берет сразу. До полдня на две удочки вы с пуд наловите.

– Да, ну?

– Право слово.

Старик кряхтя полез к берегу и в несколько приемов навалил на тачку сотни трепещущих серебристых рыбок. Они подпрыгивали, падали на траву, двигались, потом замирали...

– Это ничего, что высохнут. Окунь и щука все глотает, прямо с налету. Так и рвет. А где ж у вас мешки-то?

– Какие мешки?

– Да для рыбы-то?

– Мы на низку.

– Это не дело. Говорю вам – пуд наловите. Вы закидайте на малька-то, а я вам два мешка опосля притащу. До свиданья покаеда!

Не успели рыболовы закинуть удочки, как клюнуло одновременно на обеих – старые огромные окуни затрепетали в воздухе и брякнулись на землю. Клев был необычайный. Это даже переставало быть похожим на рыбную ловлю. Это была какая-то бойня. Все время нужно было вытаскивать, выдирать, вырезывать крючки. Руки покрылись кровью, слизью, липкой рыбьей чешуей. Ждать не приходилось: рыба с налету брала тотчас же, как только приманка опускалась в воду. Вскоре показался сторож с мешками за плечом.

– Ну что? Правду вам старик сказывал аль нет?

– Правду, дедушка.

– То-то и оно. Вы, чай, у Федосьи ночевали-то?

– Да, а что?

– А я о мешках...

– Мы тебе за мешки да за советы заплатим, вот и все.

– Покорно благодарю. А мешки-то ничего. Их у меня много, кулей-то! Да я завсегда на мельнице достану.

– Вот и хорошо... Коля, да что ж ты зеваешь?

У Коли удочка согнулась в три погибели... Он потянул... Туго, висит большая щука, должно быть.

Коля отпустил, потом снова подтягивал леску, «мучил» рыбу, пока она не устала и, подведя к берегу, вытащил ее сачком. Это была здоровенная озерная черная щука, не очень длинная, но толстая, как бревно; она схватила не малька, а окуня, который проглотил малька, и этот окунь обнаруживал еще признаки жизни!

– Вот это так да! – крикнул сторож. – И до чего прожорлива щука, страсть. И как она его не вырыгнула: должно, в зубах ейных застрял. Это тебе не фунт изюму... Ишь, стерва, как ощерилась... Держите! Держите! А то убеет!

Щука, подпрыгивая по траве, скатывалась все ближе к озеру.

– Ты ее скорейча в мешок, да и дело с концом. Вот так.

Коля упаковал щуку и вместе со сторожем и Михал Самойлычем стал подбирать весь улов. Полмешка уже было.

– А сколько сейчас времени, дедушка?

– Девятый пошел.

– Только-то?

– Сказывал я вам: до полдня посидите – пуд. Мне, одначе, на мельницу надуть. Так мешки-то...

Михал Самойлыч поспешно вынул монеты и расплатился со своим старым знакомым.

– Спасибочка. Почаще приезжайте. Уж больно клев-то хорош. Воскресенье здесь от публики отбою нет. Да к вечеру и по будням московские наезжают... Бог помочь!

– Спасибо, дедушка.

Клевало беспрестанно. Краски были позабыты, о них не было сказано ни слова. То и дело насаживали малька, закидывали, вытаскивали, снимали с крючка, снова закидывали. Казалось уже ненормальным, когда проходило несколько минут без поклевки...

Около полудня Михал Самойлыч, оставив Колю у озера, пошел к Федосье Степановне за лошастью – везти рыбу.

В тот же день рыбаки уехали домой с добычей, половину которой оставили доброй старушке хозяйке.

– А мы вам рыбки привезли... – проговорил Михал Самойлыч, появляясь на пороге своего жилища.

– Осетринки? – ехидно спросил Саша дедушку.

– Нет, щучек и окуньков.

– А корочки?

Но Михал Самойлыч не понял насмешки со стороны своего племянника...

15

У Яблочкиных жизнь шла своим кругом. Старшему сыну, Коле, исполнялось уже пятнадцать лет, и он переходил в шестой класс прогимназии. Родился еще один сын, Вася, прелестный мальчонка с огромными голубыми глазищами, затененными темными длинными ресницами. Он стал общим любимцем, и даже больной и по-прежнему раздражительный Михаил Васильевич иногда брал его на свои кашеевы руки и улыбался, чего с ним вообще почти не случалось, Коля рос дичком, в вечной вражде с отцом, замкнутый, скрытный и озлобленный. Здоровьем он похвастаться не мог: тощий и худой, золотушный, он и сам возился постоянно с банками и склянками, мазями, пилюлями и микстурами, день-деньской в комнате, мало гулял, никакой природы почти не видел и весь ушел в отстаивание своей самостоятельности и в книги. Учился он превосходно, был прилежен до предельной возможности, любил в книгах и тетрадах безусловный порядок: все у него было всегда чисто, без единого чернильного пятнышка, аккуратно, – и гимназические педагоги считали его образцовым учеником. Усидчивость его вызывала изумление, и не раз Марья Ивановна обеспокоенно спрашивала сына:

– Коля, ты бы пошел погулять! Ты солнца совсем не видишь...

– Не хочется.

– Успеешь еще уроки приготовить.

– Мне здесь интереснее.

– Пройдись хоть по садику!

– Не видал я его, что ли?

И мать отступалась. Коля продолжал зубрить уроки, читать, по-стариковски сгорбившись за столом. Он шел первым учеником в классе, поведения был примерного: мальчишеские драки, возня, озорство его ни в малой степени не привлекали; он их сторонился и в душе презирал, да и был к ним просто неспособен по своей

физической конституции и угрюмому характеру. Гимназической похабщины, анекдотов, скабрёзных стишков он терпеть не мог и относился к ним с брезгливостью и отвращением. Он вытянулся, лицом стал походить на исхудавшего еврейского юношу из провинции: длинный нос, черные глаза с чуть красноватыми веками, торчащие лопатки на сгорбленной спине, слегка вьющиеся черные, как уголь, волосы, худые руки с длинными пальцами скрипача. Музыку он любил страстно, но говорил о ней мало, предпочитая наслаждаться наедине, внутри самого себя. Постоянные ссоры с отцом, обиды и унижения рано воспитали в нем известную сухость и черствость характера: многие товарищи звали его «Сухарем», и эта кличка отражала часть действительной его сущности.

Отца он терпеть не мог; школьную среду, с ее мелкими дрызгами, подсиживаниями, подобострастием и узостью интересов он никак не мог считать идеальной. Он рано привык подмечать и нанизывать, как бусинки на нитку, все факты и явления отрицательного характера, и тогдашняя жизнь представлялась ему все более и более похожей на бедлам. Усиленное чтение только способствовало этой всеобщей критике, которая от семьи шла и глубже, и шире. У Колиных товарищей были старшие приятели, которые уже серьезно занимались проблемами общественной жизни, читали толстые книги, а иногда приносили и нелегальщину, отпечатанную на папиросной бумаге, и эти листочки зачитывались до того, что превращались в грязные просаленные ключья. Среди гимназистов старших классов и студенчества уже шли горячие споры между марксистами и народниками, «разгорались страсти; девушки и юноши с пламенеющими лицами обсуждали последние новинки, а часть из них уже жила той жизнью, о которой другие могли лишь догадываться. В самой прогимназии, в Колином классе, возникли довольно невинные кружки: читали Писарева, Добролюбова, Чернышевского, писали рефераты о «смысле жизни», о классическом образовании, о женском вопросе, о материализме. Все больше и больше прорастали побегги критики царизма, и вся русская литература получала вдруг особый смысл и особое значение. Коля Яблочкин сидел над Боклем, над Дрэпером и с восторгом читал Писарева: ему ужасно нравился и «разумный эгоизм», и разгром Пушкина за братство, и защита Базарова, и яростная проповедь бюхнеровского материализма, и то блестящее жесткое презрение, та молодая надменная гордость, с которой Писарев атаковал всех сторонников властей предрежущих, бездельников, филистеров и бар. Это был совсем особый мир, и

Яблочкин погружался в него с тем же вьедливым упорством, с каким он одолевал Тита Ливия, Саллюстия или Гомера. Все это он проделывал с крайней основательностью и шаг за шагом шел дальше и дальше, отгрызая страницы за страницами новых и новых томов. По рукам ходила и легкая оппозиционная литература. Коля притащил как-то в дом «Историю от Гостомысла до наших дней». Они выучили ее с Маней наизусть, и Коля вполне понимал ее заключительные строки:

Ходить бывает склизко По камешкам иным. О том, что очень близко, Мы лучше помолчим.

Зачитывались Щедриним, и «История одного города» вместе с «Историей» Алексея Толстого уже составляли для Коли Яблочкина основной фон всего «Государства Российского», крайне непохожий ни на восторги Карамзина, ни на трезвую рассудительную апологию Сергея Соловьева, ни на Забелина и даже Костомарова. Историей Коля вообще увлекался, и он уже ясно понимал, насколько далека действительная история от той, что на все лады проповедовалась официальными учеными, включая Василия Осиповича Ключевского, талантливейшего профессора, с лицом и фигурой хитрого приказного подьячего старых времен. Другой раз Коля притащил рукописные копии «Евангелия» Льва Толстого. Склонившись над лампой с зеленым стеклянным абажуром, Коля с Маней вычитывали:

«... И стала Мария брюхатой... Иосиф же был человек добрый...»

– Коля, а что такое брюхатая?

– Беременная.

– А отчего? (Маня, несмотря на четырнадцатый год, еще не получила надлежащего образования.)

– Это ты после сама узнаешь.

– Да почему же ты не можешь мне сказать?

– Рано тебе знать...

– Я обижусь...

– Не сердись, сестренка... Давай читать дальше...

И чтение пошло. Коля, конечно, уже давно покончил с религией, да и Маня, под его влиянием, тоже. Однако удивительная простота толстовского труда, безыскусственность языка, изложение всей евангельской легенды в формах привычного быта делали по контрасту с официальной церковной интерпретацией интересным все от начала до конца, и дети с увлечением одолели тетрадки, старательно переписанные чьим-то каллиграфическим почерком.

Присоветовали Коле прочитать «Что делать?» Чернышевского. Но знаменитым романом «великого русского ученого и критика» Яблочкин наслаждался уже один, считая, что Маня еще для этого мала. Он запирался на ключ в своей комнате, зажигал лампу и в два-три приема прочитал книгу, которая раскрыла перед ним целый новый мир. А потом и пошло: чем дальше в лес, тем больше дров. Коля Яблочкин имел уже представление о социализме, знал понаслышке имена Плеханова и Ленина; смутно, как через толстый слой воды, перед ним маячили марксисты, народники, партии, нелегальная работа... Все это влекло своей резкостью, решительностью беспощадной революционной критики, серьезностью, таинственностью и риском. Домой заносил Коля и рассказы о студенческих сходках, и о рабочих кружках; заносил и студенческие песенки, широко распространенные среди молодежи; сидя на диване, Коля с Маней распевали вполголоса:

Как наш Клейгельс ге-не-рал
Всех жан-дар-мов со-би-рал:
Эй, вы, синие мун-ди-ры,
Обы-щи-те все квар-ти-ры!
Все квар-ти-ры о-бо-шлии,
Си-ци-ли-ста не на-шли...

Пели «Есть в столице Москве один шумный квартал» и «Аристотель, Греции мудрый философ», и языковскую «Из страны, страны далекой», и десятки других песен, веселых, насмешливых и задорных, и грустно-печальных, какие распевались студенческой молодежью на вечеринках, когда буйной радостью и жадной борьбой горели сердца и казалось, море было по колено... Так в квартиру Михаила Васильевича, верного слуги царя и отечества, почитателя церкви и ее святынь, вползала крамола, искоренению которой были посвящены главные заботы императорского правительства. Эта крамола гнездилась в «Колиной» комнате, где царил особый мир. Девочки – Маня и Саша – спали в «детской»; у Коли же была «своя» комната, с широким диваном вместо кровати, шкафом, где за стеклом стояли, выпятив корешки переплетов, мудрые книги; тумбочкой, в которой хранились пузырьки и баночки с лекарствами; между двух больших окон с сурового полотна шторами помещался старый, видавший виды стол, на нем лампа, чернильница и аккуратно сложенные стопки книг. Коля эту свою комнату запирали на ключ – ключ был большой, длинный, и его неудобно было носить в кармане. Туда никто, кроме Мани, не решался заходить, и даже сам Михаил

Васильевич, проходя по коридору, бросал исподлобья опасливо-мрачные взгляды на запертую Колину комнату. Казалось, даже воздух был в ней какой-то особый: у Марьи Ивановны пахло духами; в кабинете отца – валерьянкой; в детской – чистыми белыми тканьевыми одеялами; в коридоре – нафталином от громадного бельевого сундука, где хранились шубы и старое платье; в уборной, всегда жарко натопленной, – керосином и тараканами – они бегали по стенам, шевеля усами, огромные, черные, – прислуга говорила, что это – не то «к счастью», не то «к пожару». В Колиной же комнате стоял сложный запах сапог, кожаных книжных переплетов и пыльной старой бумаги, как в архивных кладовых. Коля вечно сидел в ней запершись, как в своей крепости, и появлялся только к столу, где быстро и молча ел с сумрачным видом. От этого постоянного напряжения, когда между отцом и сыном чувствовалась стена взаимной ненависти, молчали и все остальные. Потом он так же быстро исчезал и снова усаживался за свои книги. Редко-редко он выходил – когда не было дома отца – в столовую, чтобы поиграть с сестрами в кегли, которые ставились под подзеркальником, или в бляшки, круглые маленькие разноцветные костяшки: их нужно было нажимать другой, большей, костяшкой, так, чтоб они прыгали в деревянные чашечки на столе. Когда «на парадном» раздавался звонок медного колокольчика, дети выбегали на лестницу смотреть, перегибаясь через перила, кому отворяют внизу дверь. Два персонажа заслуживали особого внимания. Если заявлялась в гости одна дальняя родственница, маленькая, черненькая, необычайно говорливая и любившая позлословить, тетя Липа, то они мчались назад от лестницы с криками: «Липа, Липа-карлица! Липа, Липа-карлица!» Так выражалась их к ней неприязнь. Когда к младшей сестре, Сане, отличавшейся религиозной мечтательностью, приволакивался священник приходской церкви, которому нравилось малолетнее духовное чадо, то Коля с Маней орали во все горло: «Поп, поп!», так что почтенный носитель рясы, слыша эти салюты, воздевал очи горе и, шелестя шелковой одеждой, пробирался, аки тать, в детскую с выражением недурно сделанной скорби на своем крупном, слегка косоглазом лице. Попа они прямо ненавидели и всячески старались сделать его появление невозможным. Но тот упорно ходил и ходил, стараясь только побыстрее проскочить опасную зону...

Изредка забегали к Яблочкиным два гимназических товарища Коли, братья Куницы, Владимир и Лев, белобрысые парни из Белоруссии. Они одно время подкармливались у Яблочкиных, когда им буквально не было что есть. Отца их, управляющего помещичьим именем,

убили ночью в дороге не то мужики, не то разбойники, мать сошла с ума и утопилась в пруду, а детей родственники перевезли в Москву, выхлопотав для них стипендию в гимназии. Мальчишки прошли огонь, воду и медные трубы, знали всю грязную подноготную жизни, отличались веселым и насмешливым цинизмом, не верили ни в Бога, ни в черта и любили перетирать с песочком все на свете, что только им не нравилось и что попадало на их язычок. Были они некрасивы, светловолосы, безбровы, даже ресницы у них были желтые; у старшего, более высокого и довольно хорошо сложенного, все лицо покрывали густо рассыпанные веснушки – точь-в-точь воробьиное яйцо; младший, низенький, горбатился, смотрел узенькими раскосыми, как у китайца, глазками и оттопыривал нижнюю губу, особенно когда ему что-нибудь не нравилось. Вострые на язычок, братья Куницы не привыкли стесняться в выражениях и бравировали своим словесным озорством. Подросши, они все вопросы решали прямолинейно, радикально и в то же время до крайности все упрощая: в этом упрощенстве они видели верх последовательности. В семью Яблочкиных они вносили с собой резкий воздух улицы и уличной жизни. Марья Ивановна их несколько побаивалась. Маня удивлялась им и многого из того, что они говорили, в особенности когда насмешничали и хохотали, не понимала. Коля с ними дружил, но изредка опасливо поглядывал, не выкинут ли они какой-либо непристойности при сестре. В общем, это были веселые ребята, и странно звучал их хохот в квартире Яблочкиных, где все пахло унынием, тишиной, лекарствами, болезнями, семейной неурядицей.

– Ну, Николай! Ты все стул задницей протираешь? Ха-ха-ха! – заливался Володька Куница. – Айда гулять! Поедем на лодке хоть покатаемся...

– Мне нужно еще страниц двадцать прочесть на сегодня.

– «Нужно», «нужно!» – дразнил Володька. – Что тебе, Господь Бог, что ль, определил это «нужно»? Ты заповеди божьи выполняешь?

– Я сам решил...

– Сам решил, сам и отменишь. Машина ты иль человек? – тряс уже Володька Колю за его худые плечи. – Сухарь проклятый! Знаешь, правда, Николай, тебе бы не о социализме думать, а в монастырь идти: сидел бы да и читал «Четьи-Минеи». Плоть веригами бы умерщвлял – из тебя бы хороший старец вышел, сухонький такой, сухопарый, без мяса. Мощи бы отличные получились – нечему было б тухнуть и вонять... А? Не ошибся ли ты, друг сердечный, таракан запечный? Может, ты и в самом деле не в ту дверь лезешь?..

– Будет тебе, Владимир, пустяки болтать...

– Все не пустяки. Гляжу я на тебя, жрешь ты хорошо – только у тебя кишка тонка. Одеваешься чисто. Книг – сколько влезет. Чего ты к рабочему социализму тянешься? Ну какое тебе до него дело? Ты и жизни-то не знаешь – молодой ты старичок, книжный клещ. Разве рабочим такие сухопарые мощи нужны?

– Знаешь, оставь, Владимир, эту болтовню. Seriously обсуждать вопрос ты сейчас неспособен, а тратить время на зубоскальство я не люблю и не умею: предпочитаю более производительные занятия.

– Ох, пошел... пошел... Испугал... Уморил... Какой «сурьезный», какой «вумный»... Брось, Колька! Едем на Воробьевы или не едем? Спрашиваю я тебя: да или нет? И, пожалуйста, брось всякие, диалектические фигли-мигли. А то мы с Левкой пойдем другую компанию подбирать: свет не без добрых людей. А ты сиди, задом работай, только геморроя не наживи.

И старший Куница взялся уже за фуражку и напялил ее себе на затылок, что сразу придало ему забубенно-залихватский вид.

– Ладно, так уж и быть... – нехотя слезая со стула, проговорил Яблочкин.

– Пожалуйста, не воображай, что ты нам одолжение делаешь или жертву приносишь... Не хочешь – не иди. А то пойдешь – ныть будешь, нам это ни к чему. Мы с Левкой не поем в похоронном хоре и панихид не любим... «Погибшая овца а-а-аз есмь...» – передразнил Владимир похоронный напев.

– Маню позови. Чего ей все дома тухнуть?.. – проговорил Лева, до тех пор молчавший.

– Ладно.

Стуча сапогами, все трое выходили из Колиной комнаты.

– Маня, не хочешь на лодке с нами поехать, на Воробьевы?

– Сейчас, только накидку найду.

На стук и говор вышла Марья Ивановна. Узнав о планах, она обратилась к старшему Кунице:

– Владимир Сергеич, вы мне детей не утопите! Я так боюсь...

– Ха-ха-ха! Марья Ивановна! Да мы с Левкой в Белоруссии плоты с малолетства гоняли, дрова крали по рекам, на бревнах ездили. Вернем обратно ваших чадушек в полной неприкосновенности.

– Не шалите на воде, пожалуйста... – продолжала Марья Ивановна.

– Не скули, мама, мы гулять едем, а не на бой кровавый, – проговорил сквозь зубы Коля: ему всегда бывало неприятно, когда

перед товарищами он выступал как опекаемый, как предмет забот и волнений, как неженка и белоручка...

Вчетвером пошли по Полянке, потом по Якиманке и по набережной – к Крымскому мосту. По крутой лесенке спустились к лодкам. Коля и Маня чувствовали себя крайне неловко: они были действительно неприспособлены к воде, и при каждом качании лодки им казалось, что она вот-вот перевернется. Куницы же ходили, как по комнате, уравнивая ногами резкие движения, перелезали друг через друга, вставляя уключины и пробуя весла, брызгались и дурачились с самого момента отчала.

– Право руля!

– Есть право руля...

И под сильными ударами весел лодка помчалась вверх по реке... Налево – завод Бромлея, направо – фабрика Бутикова, пустыри, огороды; беседка Нескучного сада маячит белыми колоннами среди темной зелени, и голубеют покрытые лесом Воробьевы горы. Танцуют сверкающие тарелочки. Пахнет рыбой, тиной. Вода глухо хлопает и хлюпает о борта лодки, рассекаемая носом. У кормы она расходится блестящей винтовой металлической нарезкой, играя и переливаясь, и далеко змеится за лодкой проложенная ею взволнованная дорожка, рябеющая среди невозмутимых зеркальных пространств вечерней Москвы-реки.

– Что вы молчите, как глухонемые?! – закричал Владимир, делая широкий взмах веслами и отгибаясь назад всем своим телом. – Левка, подтягивай!

Вниз по Вооо-лге ре-ке,
С Нииижня Ноо-вго-ро-дааа,
Сна-ря-же-о-оон струуу-жоок,
Как стрелааа леее-тит...

И штопором, звеня высочайшей дрожью, улетал в бирюзовые небеса песенный повтор:

Как стреел *Дитер Улиг и Владислав Хеделлер* ааа
леее-тииит...

Хорошо. Тихо. Чуть-чуть грустно. И потому плохо Куницам, вернее, не плохо, а тоже хорошо, но они должны сделать вид, что все же это не их жанр. И круто оборвав старинную волжскую песню, Володька, постукивая сапогом по дну лодки, запел:

Ехал принц *Дитер Улиг и Владислав Хеделлер*
Оранский

Через речку По,
 О, о-о, о-о,
 Через речку По.
 Бабе астраханской
 Он сказал *bon mot*,
 О, о-о, о-о,
 Он сказал *bon mot*.

И перебрав все куплеты про Аристотеля, римского папу, Цезаря, Илью Пророка и прочих, он грянул недавно присочиненные последние куплеты:

Русское правительство
 издало указ,
 Аз, аз-аз, аз-аз,
 Издало указ,
 Чтобы к месту жительства
 Выселяли нас.
 Ас, ас-ас, ас-ас,
 Выселяли нас.
 Этим-то указом
 Нас не удивишь,
 Ишь, ишь-ишь, ишь-ишь,
 Нас не удивишь.
 Русскому правительству
 Мы покажем шиш,
 Ишь, ишь-ишь, ишь-ишь,
 Мы покажем шиш!

Звуки замерли. Лодка идет вперед, и тихо лепечет и лопочет под нею вода...

– А как ты думаешь, Николай, у нас революция скоро будет?
 – Не знаю. Но знаю, что будет.
 – Кто ж ее продельвать будет, по-твоему? Студенты, что ли?
 – Рабочие и мужики, да и студенты из разночинцев.
 – Ты мужика не знаешь. Он тебе за царя колом голову обтешет. Он тебе такой социализм пропишет, что ты сраку (прости, Маня, пожалуйста, я забыл)... то есть спину, в целости не унесешь. Это вы по барским слюнявым книжечкам судите, охаете и ахаете: ах, народ-душко! ах, страстотерпец! ах, великомученик! А мужик жаден, он – собственник, зверь, пьяница и почитает Бога и царя, как собака, которая кнут лижет. А в стране его большинству». Я все себе голову

на этот счет ломаю. Что народники – сентиментальные дураки, это ясно, как дважды два – четыре. Кающиеся дворянчики, зажигающие лампадки перед страстотерпцем. На этом далеко не уедешь. Вот рабочие – из другого теста. Но их ведь мало – от це заковыка.

– Ты крестьян напрасно всех отдаешь царю. А Французская революция? Что ж, все крестьяне были, что ль, вандейцами? «Царю преданы»? А Разин? А Пугачев? А бунты перед 61-м годом? Мужик поднимается. Но им нужно руководить. И руководить им будет рабочий класс – так, мне кажется, представляют себе дело марксисты. Я кое-что читал, но, по правде сказать, не все понимаю... Столько в их литературе всяких намеков на нелегальные издания, на течения в Западной Европе, что мне не все понятно.

– А ты сам в революцию пойдешь?

– Пойду, когда подучусь.

– И скоро?

– Пойду, когда определюсь. Сейчас у меня все как в тумане. Иногда читаю – один набор слов; надо разобраться до конца.

– Куда тебя тянет-то?

– Да не к либералам, конечно. Про них еще Некрасов прекрасно сказал:

А, глядишь, наш Мирабо Пьяного Гаврилу За измятое жабо
Хлещет в ус и рыло...

Этих господ я не терплю. Народники мне кажутся какими-то староверами. У них больше чувства, чем ума. Ты отчасти прав, когда говоришь: сентиментальные дураки. У них к тому же какое-то славянофильство скрытое есть, а уж этого постного масла я не переношу. Марксисты – народ и последовательный, и ученый, и революционный. Хотя у них тоже теперь какие-то разногласия начались. Но тут я ничегошеньки еще не нюхал даже... Ни-ни... Чего не знаю, того не знаю...

– А мне у Молодцовых Марго говорила, что им попала на руки брошюрка Ильина «Что такое друзья народа?». Говорят, редкая брошюра. Ты не слышал?

– Нет, в первый раз слышу. А что в ней?

– Марго передавала, со слов братьев, что это прямо блестящий разгром народников. Все точки над і будто бы поставлены, не то что в легальной печати.

– Ты бы достал.

– Уже поздно. Они сами только на один день под честное слово получали.

- Эх, вот досада-то какая! Теперь уж уплыло?
- Наверное.
- Поживем – увидим. *Qui vivra – verga*.
- Смотри, Левка! Николай-то уж зафранцузил. Это ты нас, что ли, благо удивить хочешь?
- Да я просто так, к слову пришлось.
- Ты смотри! А то есть такие форсуны: что ни фраза, то «*cacteris paribus*», «*mutatis mutandis*», «*sit venia verbo*», «*feci quod potui*», «*errare humanum est*» и прочее. Мне таким прямо по морде давать хочется...
- За что?
- А вот за то! Говори по-человечески! Еще демократов из себя разыгрывают...
- Коля, – проговорила Маня, – я, знаешь, слушала вас и почти ничего не поняла. Как с брюхатой у Толстого.
- Это что такое? – встрепнулись оба Куницы и впились в Маню глазами...
- Да Коля отказался мне объяснить, откуда бывает беременность.
- Куницы удивленно переглянулись и вдруг принялись неистово хохотать...
- Так ты не знаешь еще, отчего дети рождаются? Ха-ха-ха! Левка! У нас наша Маруська, кажись, в пять лет соображала. А тебе четырнадцать – пятнадцатый? Ничего! Мы тебе, если хочешь, объясним...
- Оставь, Владимир, эту тему, – строго сказал Коля, злобно глядя на Куниц, – и прошу тебя раз навсегда отказаться от идеи просвещать Маню в этом отношении. Я это тебе говорю совершенно серьезно. Более чем серьезно.
- Наступило неловкое молчание. Маня недоуменно посматривала своими кроткими глазами то на брата, то на его приятелей и ясно видела, что тут есть какая-то тайна, которую надо разрешить помимо них.
- Однако становится темно. Нужно поворачивать. Хорошенького понемножку.
- Святой боже по речке плывет, Аллилуйя-то посвистывает, – затянул Владимир, налегая изо всех сил на весла, и лодка понеслась стрелой по течению: лопотанье воды стало частым-частым, берега струнулись с мест и поплыли, исчезая позади...
- Жрать хочется, если говорить по чести...
- Идем к нам.

– Да к вам мы обязаны зайти: я ж обещал Марье Ивановне вас чуть не под расписку сдать.

– Не в том дело...

– А для меня в том. Да ты не дуйся как индюк. Я же шучу. А ты серьезничаешь.

Пришли, усталые и голодные, домой, к Яблочкиным. Весенняя прогулка опьянила и разнуздавала аппетит. Впрочем, Куницы были до еды всегда охочи, и их изголодавшиеся желудки, казалось, не знали никаких границ.

– Вернулись благополучно? – встретила их Марья Ивановна.

– В полной целостности и невредимости. Ничто не утеряно, ничего не разбито, все ручки и ножки целы, – докладывал, взяв под козырек, Владимир.

– Ну, идите ужинать.

– Это мы с удовольствием, Марья Ивановна. Без лицемерия, вульгарно выражаясь: жрать хотим зверски, аки волци; кажется, корову бы съел, с хвостом и рогами.

– Будет, будет вам на себя клеветать. Идите кушать. Да руки вымойте! Потерпите минутку!

Скоро заработали молодые зубы и челюсти. «Кормление зверей» – в шутку называла это Марья Ивановна, радуясь тому, что и Коля с Маней едят, а не сидят понуро за столом.

– Благодарим вас, Марья Ивановна, яко насытили нас земных ваших благ...

– Не кощунствуйте!

– Ни словом, ни помышлением. А чайку вот попрошу. С лимончиком.

– Пожалуйста. Вам покрепче?

– Вы угадали.

– Печенье берите. Вишневое варенье есть. Не стесняйтесь.

– В этом последнем пороке нас, Марья Ивановна, никто еще не обвинял... ха-ха-ха! – грохотал Владимир, опустошая стакан за стаканом.

– Маня, вы сыграете со мной что-нибудь? – обратился к Мане Лева. – Тогда я сбегаю домой, скрипку принесу. Или вы очень устали?

– С удовольствием, Лева. А я пока полежу, отдохну.

Лева стремглав бежит домой за скрипкой. Маня ложится, чтоб отдохнуть.

– Устала, детка?.. – подходит Марья Ивановна. – Тебе нельзя переутомляться. И так ты еле ползаешь, вроде меня...

Сама Марья Ивановна страдала теперь грудной жабой и агорафобией: она боялась улиц, площадей, больших пространств, высоких лестниц; у нее кружилась голова, и она могла упасть среди толпы. Если ей приходилось сделать несколько шагов пешком, она шла, держась за стенку, как это делают слепые. И свои собственные страхи она переносила на детей: ей казалось, что и для них перейти площадь – такое же мучение, как для нее. Оттого она вечно беспокоилась за ребят: ей постоянно мерещились всякие несчастные случаи, и она не знала ни минуты душевного равновесия, когда дети были вне дома. Правда, и дети дрожали за мать: когда она однажды по требованию докторов уехала на лето в Крым, они ждали вестей от нее с трепетом каждый Божий день и были вне себя от радости, когда она приехала живой, здоровой, загоревшей и похорошевшей на южном солнце. У девочек морские раковины, которые она им привезла, считались почти священными предметами, фетишами – так любили они свою «мамочку»...

Лева быстро прибегает. Под мышкой у него скрипка и круглая черная картонная трубка с нотами. Он долго возится в передней, вытаскивает скрипку из футляра, настраивается, искоса поглядывая на себя в зеркало; потом заявляется в столовую (она же гостиная, где стоит пианино), вытирая платком пот на лбу – со лба свисает прядка рыжеватых прямых волос.

– Ну, я, Маня, готов. Что будем играть? Хотите Брамса?

– Что именно? Я его мало знаю.

– Венгерские танцы?

– Хорошо.

Лева стал у пианино, как гномик. Но, как только раздались первые звуки, лицо его преобразилось: щеки запыхали, глаза приобрели какое-то особо одухотворенное выражение, на лбу выступили дробным бисером маленькие капельки пота. Это стал особый человек, который что-то знает, чего не знают другие; что-то чувствует, чего не чувствуют другие; что-то видит и слышит, чего не видят и не слышат другие. Его пальцы и кисть руки двигались с дьявольской быстротой. Он весь сжался, точно им владела неведомая сила, в необузданной власти которой он очутился весь целиком и которая мяла его своими пальцами, потрясала его и играла им. Он то смертельно бледнел, то краснел. Лицо его покрывалось пятнами. Видно было, что он дрожал с ног до головы. А в это время рука двигалась с неистовой силой, и вихрь страстных танцующих звуков вырывался из-под летавшего молнией смычка.

Маня посматривала на него с удивлением. Ее тоже захватила и закрутила музыка, да и волнение Левы передалось ей. Глаза у нее расширились и почернели еще больше. Она изнемогала. Ей казалось, что вампир высасывает из нее всю кровь, но ей не больно, а блаженно, и она готова сейчас же, сию же минуту умереть, превратиться в ничто, раствориться и поплыть в океане звуков. Ей хотелось поцеловать эту рыжую челку на некрасивом лбу Левы – до того ясно видела она его душевный подъем... Звуки оборвались.

– Я больше, Лева, не могу. До смерти устала. Спасибо, Левочка.

И она горячо пожалала ему руку.

На лето Николай Яблочкин уехал репетитором в Воронежскую губернию, Владимир Куница отправился тоже на урок. Лева остался в Москве, только переехал, ради экономии, в другую, еще более мизерабельную комнатку в одном из густо населенных бедной домом. Семейство Яблочкиных поехало на каникулы по обычаю к деду. По-прежнему в предбаннике пахло мятой и березовым листом. По-прежнему густела колючая малина, и ароматные ее ягоды – красные и янтарно-желтые – легко снимались с белых, мягких тычков и таяли во рту... Когда Маня однажды, забравшись в малинник, срывала своими тоненькими ручками эти душистые спелые ягоды, выбирая самые крупные, ее окликнули:

– Барышня, вам письмо.

Письмо, адресованное аккуратным, четким почерком, содержало математически точное описание новой комнаты, где поселился Лева, количество прочитанных им страниц, планы на будущее. С тех пор Маня еженедельно стала получать столь же аккуратные, точные, чистенькие, внешне сухие письма.

А к осени получилось от Льва известие, что Владимир арестован где-то в Полтавской губернии.

16

Когда Коля Петров вместе с братом возвратился от Михал Самойлыча, простившись с красками, Сашей, белками, зайцем, клетками и всей деревенской жизнью, он очутился в третьем классе гимназии, а дома – среди тесноты и детского писка. В гимназии в этот год система классицизма дала уже всем видимую трещину, выросшую в целую пропасть: было отменено обязательное преподавание греческого языка. Но Коля записался в число

желающих, как записался он и на уроки черчения. Первый год факультативное преподавание греческого языка было поручено словеснику, Владимиру Александровичу Соколову. Чтобы приохотить гимназистов к «божественной эллинской речи», Соколов с места в карьер непосредственно за элементарными сведениями из грамматики стал читать с ними «Разговоры богов и мертвых» Лукиана, где, как известно, есть масса двусмысленностей и прямых непристойностей, хотя часто весьма остроумных. Это было вообще излюбленным методом Владимира Александровича: когда он делал экскурс в область западноевропейской литературы, он обязательно цитировал «Римские элегии» Гёте, и притом специально приапическую элегию; когда он давал уроки русской словесности, он от доски прочитывал «Душеньку» Богдановича, с соответствующими комментариями, от которых весь класс покатывался с хохоту. Но все же нужно сказать, что наряду с этим пикантным соусом Соколов вел и систематическое преподавание, и вел неплохо. Правда, хрестоматии были наполнены скучнейшими quasi-эллинскими рассуждениями о «воспитании гражданина», о «добродетели», о «любомудрии» и тому подобных материях, но с этим приходилось считаться как с непреложным фактом. Уроки проходили весьма непринужденно. Коля вытащил при этом из кладовой своей памяти «Энеиду» Котляревского (когда-то в Бессарабии он на чердаке нашел несколько томиков этого украинского писателя) и, при поощрении Соколова, цитировал наизусть:

Энеус, magnus панус
И славный Тројаногум царь,
Шмугляв по морю, як цыганус,
К тебе, о чех, прислал он нас.
Rogamus, Domine latine:
Нехай наш caput не загине!
Dimitte из земли своей:
Хоть за pecuniaе, хоть gratis...

Но особенно нравились гимназистам такие строки:

А Юнона, суча дочка,
Раскудахталась, як квочка, –

и весь класс был в восторге от этого «снижения» мифологического образа.

Хорошим свойством Соколова было то, что он походя сообщал целый ряд сведений из области истории греко-римского мира, и его

рассказы часто давали больше для понимания этого мира, чем официальная часть уроков. Вообще Соколов, своими фривольностями до известной степени развращая питомцев гимназии, в то же время расцарапывал ими мундир официальнойщины и подрывал, сам того не сознавая, строй казенного благочиния, хотя это отнюдь не входило в какие бы то ни было его расчеты.

Пристрастился Коля теперь и к урокам рисования, которые преподавал в гимназии художник Кравков, брат жены известного марксистского литератора В. М. Шулятникова, позднее печально прославившегося своей работой «Оправдание капитализма в западноевропейской философии». Коля мечтал о красках, и краски у него скоро появились: ему Евгений Антоныч подарил как-то золотой, целых пять рублей, и он тотчас же решил приобрести себе основной художественный капитал. В Москве, на Тверской, рядом с знаменитым Английским клубом, воспетым столь многими поэтами, с его массивными колоннами и величественными дворянскими львами на воротах, помещался художественный магазин АМо. Внизу был приделан звонок, и когда открывалась дверь, он дребезжал каким-то печальным разбитым звуком. Нужно было подыматься вверх по узенькой деревянной лестнице, среди стен, сплошь увешанных картинами в тяжелых массивных рамах: тут были и пейзажи, и портреты, и жанровые сцены – все это висело в течение многих лет и тщетно ждало себе покупателей. Вообще над магазином витала какая-то печальная, может быть, мрачная тайна – он точно вырвался из сказочных повестей Гофмана: все было мертво, точно зачаровано. За прилавочком сидел на низком табурете полупарализованный хозяин, по-видимому итальянец, с длинными волосами, большими выпуклыми глазами, крупным жирным носом; он был маленького роста, издавал нечленораздельные мычащие звуки; все тело его, даже когда он обрубком торчал на табурете, ходило ходуном, и тонкие, длинные пальцы паукастых рук тряслись, лицо подергивалось, и весь он плясал болезненной пляской Святого Вита. Продавал товары другой итальянец, высокий, лысый, с бородой, тронутой проседью, с прозрачными глазами и тишайшим голосом; его манеры отличались своеобразной мертвой изысканностью, точно он был выходцем из другого мира, а здесь вежливо выполнял функции, ему, по существу, совершенно несвойственные: ничего торгашеского, ничего крикливого – он ходил, вынимая краски, кисти, шкатулки, раскладывал их на прилавке, и все это делал как печальная тень, с печальным, тихим, замогильным голосом. На магазин этот указал Коле Михал Самойлыч, и мальчику сразу показалось и стало как-то

внутренне понятным, что между тихим художником, распевавшим себе под нос «Свете тихий», и тихим магазином Мо есть какая-то тонкая, неуловимая связь, – связь, чрезвычайно далекая от шума и сутолоки обычной повседневной жизни. Коля по всему своему складу был далек от этой бледной мертвенности. Но ему нравилась атмосфера деликатности и отсутствия всякого торгашества: ему так любезно показывали краски, советовали, что лучше выбрать, точно определяли качество, считались с тем, что он может заплатить, и он стал на ряд лет посетителем странного магазина. Были в Москве и другие художественные магазины: на Арбате «Город Ницца. Продажа картин и рамок», как гласила вывеска (Коля имел привычку вывески читать наоборот и был крайне обрадован, когда крупные слова вывески «Город» и «рамки», прочтенные таким манером, дали фразу «комар дорог»), но в нем не всегда можно было найти, что нужно; на Кузнецком мосту – известные магазины Аванцо и Дациаро, с роскошными витринами, перед которыми постоянно стояла глазееющая, фланирующая франтоватая публика; но они были так богаты, что Коля не решался переступить их порога. Так он и остался верен маленькому магазинчику на Тверской.

Наступила зима. Скучного жалованья надзирателя Петровым не хватало: семья большая, да и нужно было выплачивать долги, в которых Иван Антоныч сидел по уши. И вот родители Коли решили, по примеру других, готовить мальчиков к экзаменам в гимназию и в Комиссаровку и брать к себе на дом своих будущих клиентов. Присоветовали это Ивану Антонычу на месте его работы: он-де отличный преподаватель, и жена его опытная учительница, а ему приходится быть цензором мальчишеских нравов и старшим дворником, наводящим порядок. Директор Комиссаровки сам рекомендовал нескольких учеников. Так оно и было сделано. Сняли на заемные деньги большую квартиру в Проточном переулке, близ Смоленского рынка, облезлую, холодноватую и унылую, переехали туда со всем своим скарбом и поселили у себя трех мальчиков, в том числе одного великовозрастного, бывшего семинариста, которого Иван Антоныч взялся готовить по математике в пятый класс Комиссаровки, Ваню Васенку. Васенко обнюхал все цветы бурсацкой культуры, совершенно в духе «Бурсы» Помяловского. Сам он давно курил, и его изъеденные зубы были покрыты никотиновым налетом, а иногда попивал и водочку, покупая маленькие «шкалики», именуемые «мерзавчиками», причем ловко умел вытаскивать из них пробку, хлопая с размаху ладонью о дно; делал он это обычно после бани, и когда он приходил домой и тщательно расчесывал перед зеркалом свои

еще мокрые волосы, от него попахивало спиртом. Колю он живо обучил ряду премудростей, рассказав о том, что Петр Великий завел в России официальные публичные дома или бардаки; о том, как бурсаки посещали эти заведения; о «темных» и «вселенских смазях»; о знаменитой бурсацкой песне про «поповну», единственной цензурной строфой которой было:

Сидел я с поповной под лестницею,

Кормил я поповну яичницею...

Коля сперва слушал выгаращив глаза, но потом уложил и это в свою схему об обманах жизни, которыми занимаются взрослые люди на сем свете...

По праздникам он стал бегать в библиотеку Рукавишниковского приюта для малолетних преступников. На Сенной площади, близ Смоленского рынка, помещалось мрачное кирпичное здание, где содержались эти «преступники», которых иногда выводили гулять, построив их парами. Стриженные наголо, в шинелеподобных пальто из грубого темно-синего сукна, в нелепо больших, надвинутых на уши картузах с козырьками, бледные, с зеленоватыми лицами и быстро бегавшими подпухшими глазами, они, озираясь, ходили по тротуарам – медленно ползла синяя змея, – словно ожидая со всех сторон колотушек и щипков. В этом приюте имелась общедоступная библиотека, и так как она находилась в пяти минутах ходьбы от петровской квартиры, то Коля пристрастился к ней, в тиши поглощая затрепанные и засаленные страницы Густава Эмара и Фенимора Купера. А о том, что в нее можно ходить, он узнал из вывески на двери, мимо которой ему не раз приходилось бегать.

В Проточном переулке Петровы прожили недолго: квартира оказалась настолько сырой и холодной, что со стен текло, все покрывалось отвратительной мокрой плесенью, зеленоватой слизью; и свои, и чужие могли заболеть. После поисков другого жилья, осмотров, оценок переселились к весне в Большие Грузины, на Георгиевскую площадь, в дом Блохина. Владение купца Блохина состояло из оштукатуренного здания, довольно ветхого и потрескавшегося, выходившего на улицу, и трех деревянных флигелечков, разбросанных по двору. В один из этих флигелечков и переехали Петровы с учениками. Двор был покатый, и деревянный охрой выкрашенный домишко имел с переднего двора один этаж, а с заднего – почти два: под первым был полуподвал. На заднем дворе стояли давно перемонтированные сараи и хлева. Население блохинского владения было самое разнообразное. В главном здании

жило обширное семейство инженера Немцова, у которого было столько детей, что, казалось, он содержит целый пансион. В самом большом флигеле обитали какие-то чиновники, которые уходили рано на службу и которых никогда никто не видел на дворе. В малюсеньком флигельке из одной комнаты с кухней, прилепившемся у забора, жил старый писец градоначальства, Иван Флегонтыч, вечно возившийся в крохотном своем садике, где он в течение чуть ли не двух десятков лет вырастил искусно постриженные, прибранные и подвязанные громадные лозы дикого винограда; клумбы роз, астр, левкоев и всяческих цветов наполняли этот микроскопический садик, который для Ивана Флегонтыча составлял, помимо канцелярии, весь его мир. Старик носил очки в железной оправе и имел лупоглазую седую жену; она носила точно такие же очки, толстенной кубышечкой обегала по двору, развешивая по веревкам мокрое белье, и отличалась необыкновенно тонким визгливым голосом. В тот год, когда Петровы переехали на блохинский двор, она удивила его обитателей, неожиданно на старости лет разродившись ребенком, что составляло в течение долгого времени предмет страстного обсуждения, пересудов, предположений, догадок и старушечьих заключительных реплик, типа: «На все воля Божия».

Полуподвал снимал молочник, скрюченный махонький старичок, с носиком, от которого осталась одна втянутая пуговка, с большими серыми глазами, над которыми нависли целые кусты бровей; с клочковатой бородкой; весь он был какой-то переломанный, перекошенный, кривой: одно плечо выше другого, одна нога короче, чем другая, один глаз – на нас, другой – в Арзамас. Говорил он гуняво, в нос, тихо шевеля сморщенными, заскорузлыми от труда ручками. Выражение лица у него было доброе и печальное: он точно нес тяжкий крест жизни и сознавал свою вечную обреченность. Весь он походил на старый древесный корень, изъеденный червями, или на гнома, вытащенного из-под земли и далее не успевшего отряхнуться. Он целые дни возился с соломой, с навозом, с сеном; вилы, казалось, никогда не оставляли его рук. Содержал он корову в хлеву, эта корова и была кормилицей всей семьи: жил он продажей молока, сбывал еще навоз и навозную жижу да сдавал часть подвала сапожному мастеру. Был он вдов и имел двух дочерей: одна еще числилась в девчонках, другая, курносая, большеглазая, грудастая Аришка, слыла на дворе «гулящей» и «слабой на передок». Дворничиха, прислуги, жены чиновников жадно следили за Аришей; их постоянно мучил вопрос: «гуляет» ли она и с кем.

- Ишь, опять грудастая-то нос напудрила...
- Срамота!
- Чегой-то ее отец за косы не оттаскает?
- Да где ему? Он сам-то еле жив. А она... Вишь как ее распирает...
- Аришка! Подбери-ка грудки, бесстыдница!
- А вам какое до меня дело? Сидите да вшей чешите!
- Ах ты охальница!
- От такой слышу... Брешите, брешите... Собака лает – ветер носит.

И Ариша, проходя сквозь строй колючих, злобных, завистливых глаз, выходила за ворота...

Сапожник Василий, снимавший у молочника часть подвала, сидел с шилом, колодкой и дратвой перед раскрытым летом окном, резал острым, как бритва, сапожным ножом кожу под каблук и пел, склоня свою белокурую кудрявую голову набок. Его впалая, худущая чахоточная грудь исторгала хриплый залиvistый кашель, и он отчаянно харкал и плевался, хватаясь за бока, точно стремясь удержать на месте больные легкие, вот-вот готовые разорваться. Держал он одного подмастерья и мальчика «в ученье». Ученье состояло в том, что мальчишку награждали тумачами, «пришпандоривали», «манатили», посылали за водкой и при всяком случае обзывали самыми скверными словами, а иногда, в пьяном виде, с сердцов так утешили, что время долго не могло смыть синих пятен с его «личности».

– Да за тло тлебя тлак изутлатили? – спрашивала его кума молочника, Марфуша, пожилая рябая полемойка, которая так шепелявила, что ее язык казался не то птичьим, не то мексиканским; все слова у нее звучали, как мексиканские: Попокатепетль, Кветцалькаатль, – и дети Петровы с первого же раза прозвали ее «Тлево-тле-тля».

– Да ни за что. Просто так, – сумрачно отвечал лопоухий Ванька, оказывавшийся виноватым во всех случаях жизни.

– Втлаamtлели?

– Что ж, я брехать, штоль, буду?

– Ну и ироды, как мальчонку изуродовали, – ворчал молочник, но вслух протестовать не решался: все-таки жилец.

Однако и сам Василий удивлялся и сокрушался, как это он мог наставить мальчишке таких синяков. Трезвый он был добрым, совестливым человеком, но когда напивался, не помнил себя и буянил, как помешанный. «Васька у нас больно во хмелю буен», –

говорили про него приятели, что не мешало им подзадоривать его и подбивать на пропой последних денег.

Рядом с домом Блохина стоял дом полковницы Маховой с большим старинным липовым парком. Столетние липы шумели своей листвой, у их корней густо рос колючий шиповник, от когда-то бывших клумб остались бугры, поросшие репейником и крапивой. Заборы все зияли дырами, кое-где торчали уцелевшие редкие доски, утыканые старыми ржавыми гвоздями. Сам дом выходил на улицу и представлял собою странное зрелище. Весь он был обшарпанный, полуразрушенный, мрачный, с почерневшей железной крышей и десятки лет не мытыми окнами, отливающими всеми цветами радуги. А за одним из таких окон сидела разодетая, разрумяненная, с карминными щеками и синим носом, с ярко-красными губами, в кружевном чепце древняя, морщинистая, отвратительная старуха, как карикатурный манекен, как вставшая из гроба и пропыленная пушкинская *princesse Moustache*... Это была сама полковница Махова. Она никогда не выходила из дому, и что делалось внутри его – никому не было ведомо. Жил там еще старик дворник да злая черная собака, огромный полуголодный пес, бросавшийся с громким лаем на мальчишек, лазавших через забор в маховский парк.

По другую сторону от блохинских домов стояла маленькая армянская церковь, за которой тянулся большой сад с оврагом, где росли старые раскидистые ветлы и целая рощица молоденьких осинок трепетала своими листочками. Вдоль армянского сада, с противоположной от улицы стороны, был выстроен каменный забор, за которым расстился громадный медынский пустырь, попросту «Медынка», владенье богатых купцов Медынцевых. Одним боком он стал прорастать хибарками, где жили нищие и воры: карманники, домушники и представители других дробных специальностей... Другой бок Медынки примыкал к маленьким переулочкам и тупичкам Владимиро-Долгоруковской улицы, в просторечии Живодерки. С Живодеркой могла в Москве конкурировать, пожалуй, одна лишь знаменитая Драчевка, сплошь населенная проститутками. На Живодерке же было много лавок; хозяевами их нередко являлись многоопытные скупщики краденого, старьевщики, ветошники, тряпчонники, проститутки, хипесницы, «коты», подозрительные «семейные бани с номерами», лавки со старым платьем, торговцы мылом; трактиры для приезжающих с сеном мужиков; ночные чайные, где в чайниках подают водку, – все это мелькало пестрой кучей; здесь могли – в особенности ночью – обобрать не то что

живую собаку – на шкуру, но и живого человека. Не зря называлась улица Живодеркой. Вечерами выползали на панели из своих прогнивших нор самые несчастные, сношенные, больные, старые проститутки, спившиеся, в синяках, со спутанными волосами, хрипом и сипеньем вместо человеческого голоса, груды больного, полугнилого женского мяса, находившего себе покупателей среди допившихся ломовых извозчиков, нищих, пропивающих свой сбор, или потерявших сознание деревенских мужиков, обработанных в самых грязных вертепах и притонах московского дна. Здесь стояла ругань, кого-то выталкивали, кто-то орал пьяным голосом, горланили песни, тускло светили фонари, пахло прокисшим пивом, блевотиной, земляничным мылом.

Таков был Hinterland Большой Грузинской. На самой Георгиевской площади высилась большая церковь, перед ней был разбит сквер, на сквере сидели кормилицы с младенцами, няни смотрели за карапузами в красном, синем, желтом, которые копались в песке, лепили из него пирожки, строили садики, втыкая зеленые веточки, и не задавались крупными проблемами бытия.

Когда Коля с Володей осмотрелись на новом месте, они возликовали: все предпосылки для ловли птиц были налицо. В маховском парке и в армянском саду прыгали разных пород синицы, на релейнике шелушили колючие головки щеглы и зеленушки, чечетки висели на старых березовых сережках, – словом, пожива здесь была несомненная. И еще чердак: можно было завести голубей, до которых в молодости был большой охотник сам Иван Антоныч. Они соблазнили отца. С Трубы притащили западню, клетки с птицами и целую корзину гонных голубей: турманов, чистых, беляков, галочку, одного монаха. Пошла работа на чердаке: соорудили голубятню, хлопку с сеткой для ловли «чужаков», гнезда. Коля сразу освоил крышу и лазал уже около самого желоба, доводя Любовь Ивановну до слез: ей все время казалось, что он обязательно свалится и расшибется.

– Ну, Колюн, ты доволен? – спрашивает Иван Антоныч, поглядывая снизу на готовую голубятню.

– Доволен, ты сам знаешь.

– А про Холодковского и «Жизнь моря» уже забыл?

– Ничего не позабыл. Только здесь гораздо лучше, чем в Проточном. И сравнить нельзя...

– Конечно. А шеста вот у нас гонного нет.

– Это я достану.

– Откуда?

– У армянского сторожа. Я видел, у него в сарае слега большая зря валяется. Ты дай мне двугривенный, вот и все.

Коля получает двугривенный и скоро бежит уже запыхавшись с огромным шестом. Теперь голубятня оборудована со всеми причиндалами...

– Колястый! – кричит Володя, высовываясь из чердачного окна. – Иди сюда!

Коля лезет на чердак. На чердаке пыльно, сухо. Нужно наклонять голову, чтобы не стукнуться о балки, из которых кое-где торчат гвозди. В голубятне разгуливают, семена ножками, голуби. Они еще не обжились на новом месте, но усердно набивают себе зобы подсевом, перепархивают через балки, жадно пьют чистую воду из поддонника.

– Посмотри, Колька, на этого чистого...

Володя вылавливает голубя, берет его, как истый голубятник, так, что его ножки продеты сквозь пальцы, вертит во все стороны:

– Носик, видишь? А шея? А перо?

– Да, ничего голубок.

– Скоро гонять начнем? Смотри, какая стая... Вон, налево...

В небе, сверкая белыми звездочками, то рассыпаясь, то смыкаясь в кучу, плещется стая чужаков...

– Нельзя торопиться – уйдут на старые места. Давай лучше выдержим, а потом начнем. Ладно?

– Ладно.

Люди и голуби начали обживать новые места...

17

В семействе Петровых не придерживались неомальтузианства, и к лету появилось еще одно чадо – на этот раз девочка, нареченная «во всяком крещении» Екатериной, Катей. Вот со всей этой детской оравой и с несколькими учениками – целый обоз! – перебрались Петровы на каникулы в деревню Легчищево. Собственно, для старших Петровых каникул никаких уж теперь не было: и кормящая Любовь Ивановна, и Иван Антоныч работали теперь сплошь, не зная ни праздников, ни летнего отдыха: как раз на праздниках и летом им и приходилось особенно нажимать на подготовку своих питомцев, и они все время возились с диктантами, задачами, немецким языком и всяческими другими предметами.

Легчищеве, деревню около станции Лопасня, присоветовал им один из учителей Александро-Мариинского училища, большой пьяница, пропыленный, ничем не замечательный средний человек, с уровнем деревенского псаломщика, все остроумие которого исчерпывалось тем, что, например, в школе он говорил в классе вместо «Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатам» – «горшок солдатам» и хихикал при этом дребезжащим хриплым хохотком, мигая мутными заплывшими глазками (в этом он видел верх храбрости и проделывал это в пику другому учителю, который даже в никитинском «Ямщике» во фразе «черта не боится; пролетит – на него облачко дивится» из благочиния слово «черта» заменял словом «никого»), У учителя этого в Легчищеве был родственник, сельский поп; у него Петровы и сняли избу, да еще другую, где поселились ученики. Лето выдалось для Петровых несчастное и злое. Не то что погода была плохая. Нет. Солнце светило ярко и жарило вовсю. Зелень манила, как всегда. Речка играла солнечными бликами. И птицы пели. И ягоды росли в изобилии. И грибов было много. Но с самого начала у петровских детей появился коклюш. Учеников пришлось изолировать. А несчастные ребяташки мучились заливистым воющим кашлем: пойдут Коля или Андрюша с Володей в лес, наедятся там земляники, а потом, глядишь, кто-нибудь закашляется, завоет, стоит с выпученными глазами, на глазах слезы, и его уж рвет, и он еле-еле может отдышаться от мучительного приступа. Все дети были охвачены недугом. Особенно страдала Катя, крошечная, красненькая куколка, которая морщилась, кричала, извивалась и в один далеко не прекрасный день умолкла навсегда. Так и похоронили ее на деревенском кладбище, под рябинкой, у сизого деревянного заборчика. Любовь Ивановна горько плакала по ночам, но крепилась и стойчески занималась с учениками, братья недоуменно поглядывали и не знали, что ж это такое, а сами продолжали кашлять и захлебываться, хватаясь за грудь... Им уж иногда все становилось безразличным: светит ли солнце или идет холодноватый дождь и ветер рвет в клочья тяжелые, серые облака – не все ли равно, когда свет не мил и тебя выворачивает наизнанку, точно все внутренности вылезают через рот и глаза?.. Мир словно помутнел и перекосялся, стал мучительным и нелепым; его ребята воспринимали сквозь слезы и нити рвоты, беспрестанной, непереносной. Коля вспомнил, как в Бессарабии однажды снимали шкуру с убитого зайца: привязали его к двери, а потом тянули шкуру, как чулок с ноги, пока на веревке не осталось висеть окровавленное,

красно-синее тельце со страшными выпученными глазами... Коле казалось теперь, когда его выворачивало, что он и есть этот заяц... И главное, стоило только подумать о приступе, а он тут как тут – когда же этому будет конец? Или, может быть, никогда?..

Под осень приехал неожиданно к одному из учеников его взрослый брат, пьяница и забулдыга, лицом удивительно похожий на Алексея Константиновича Толстого, поэта, только опустившегося и обнахаленного. Он быстро снюхался с учителем и попом, вдребезги напился, буянил, достал откуда-то несколько кружков телеграфной ленты, размотал ее по деревне, палил из ружья по дроздам, приставал к девкам – и ничем его нельзя было унять... Все это только увеличивало впечатление какой-то нелепицы, и Коле казалось, что вместе с ним заболел весь мир и корчится в судорогах...

Лето прошло, как кошмар. Было – и не стало. Смерть Кати позабылась: ее, Катю, ведь не успели и узнать, как и она самое себя... Прошел и коклюш.

Снова очутились все на Большой Грузинской, и началась обычная жизнь: гимназия, голуби, книги, птицы, латынь, математика, парты, ранец – все завертелось по традиционным орбитам. Необыкновенным было только то, что подарили Коле двух сурков, которых он поместил «пока» в кабинете отца, несмотря на его протесты. Случайно на следующий день там ночевал на диване Михал Самойлыч, а утром у него пропали носки. Стали их искать под диваном – сурки их туда и утащили. Носки плавали в не совсем ароматной черно-зеленой лужице. Поднялась суматоха. Один из сурков выскочил. Коля – за ним. Тот пробежал через двор и ринулся на Медынку. Коля – через забор. Он его нагнал, схватил за жирную спину и притащил домой. Но в самую последнюю секунду сурок вывернулся и отхватил ему здоровый кусок мяса на пальце – так и повис этот кусок... Коля взвыл от боли, бросился к отцу. Отец замахал руками – он не мог выносить вида крови – и, давши серебряный рубль, велел бежать к доктору. Коля побежал в соседний дом, оставляя за собой кровавой след, – доктора не застал. Тогда он, замотав палец носовым платком, побежал к Зоологическому саду, где недалеко, при участке, был приемный покой, ворвался туда. Врач сделал ему перевязку, а в журнале было записано:

Профессия: гимназист Первой гимназии. Род болезни: укушение сурком...

И вот уж снова царила зима. На улице мальчишки взбирались на проезжающие розвальни и катались до Зоологического, а то и до Кудрина, пока их не прогоняли спохватившиеся ямщики. Привязав

один конец веревочкой к ноге, они, подпрыгивая и отталкиваясь другой, катались по оледеневшему снегу или с разбега мчались по ледяным дорожкам на тротуаре, очищенном от снежной пыли валенками. На сквере делали огромную снеговую бабу: накатывали комья мягкого снега, который хорошо было мять в холодеющих руках, отогревая их потом в рукаве или продранных варежках с торчащими из них красными пальцами. Вместо глаз втыкали уголья, а иногда приделывали морковный нос, и маленькие дети с няньками, закутанные и завязанные, неповоротливо копошились вокруг, разинув от удивления рты и подымая к бабе ручонки.

– Няня, а няня! А это сто?

– Глазья.

– Всамделисные?

– Из уголекчиков.

– А почему?

– Чтоб похоже было.

– А ты мозес такую сама?

– Могу.

– А почему у нас ты не сделяла?

– Да некогда.

– А я хочу.

– Мало што ты хотишь. А птичьего молока не хотишь?

– Птичьего?

– Да, птичьего.

– Хочу... Хочу птичьего...

– А вот его и нет. Што ты, видал, штоль-ча, штоб у курей молоко было?

– Нет.

– Вот то-то и оно. А ты захотел. Нету его – вот и весь сказ.

– А почему?

– Почему да почему... Много будешь знать – скоро состаришься. Пойдем лучше гулять отселева. Замерз, чай, на одном месте-то...

– Нянька! – кричат мальчуганы, сделавшие бабу. – А как же говорят: говорят, что кур доят, коровы яйца несут?!

– А ну вас, озорники! Пойдем, пойдём, Феденька... Не хочешь пипи?..

– Эй, жулябия! Айда на санки!..

И орава сорванцов устремляется на проезжающие розвальни, бросаясь на них прямо грудью в сено...

– Паашел!..

На переднем двореке ребята Петровы соорудили высокую снежную гору, облили ее водой, чтоб заледенела, и по вечерам катались с нее на салазках и на коньках по всему дворику, с выездом на задний двор, вплоть до самого медынцевского пустыря, – только нужно было искусно заворачивать, чтоб с раскату не расколотить себе голову о забор или косяк Дома. По вечерам они всей гурьбой – Коля, Володя, Андрюша – вместе с учениками выползали на двор и до самой темноты катались, падали, визжали, хохотали, а потом покрасневшие, потные, растерзанные, в снегу врывались в дом, раздевались и шли пить чай, заниматься и спать. По праздникам наступали большие дни птицеводства. В углу армянского сада рос репей, и как раз у этого места в каменном заборе имела заделанная деревянная щелявая калитка: если перелезть через забор и притулиться к этой калитке с другой стороны, репей – в двух шагах, и можно наблюдать всех птиц: щеглов, зеленушек, чечеток, снегирей, синиц, лазоревок, которые, ничего не подозревая, шелушили семена или лазали и прыгали по веточкам кустарника. Сюда ставили западни и силки, а сами, едва дыша, боясь пустить пар сквозь калитку, с бьющимися сердцами, подталкивая друг друга, чтобы поощрить к осторожности, смотрели через дырочки. Вот синица-кузнец села на хлопку. Она хитро поглядывает на коноплю. Сейчас попадется! Нет! Ишь какая хитрая: подсунула черно-синюю головку под палочку, вытащила зерно и упорхнула – сидит на сучке, зажав семя в ножках, и долбит его носом... Снова летит. Хлоп! Задела! Теперь не уйдет: бьется в западне, разбрасывая коноплю и хрипло шипя на подсаженную свою товарку... Ребята – ни гу-гу; взять всегда успеется: рядом с силком ходит вприпрыжку толстый красногрудый красавец снегирь, изредка поскрипывая призывно да шелкая семена. Вспорхнул. Улетит?.. Вот досада, уведет всю стайку... Снова слетел на снег. Что-то подбирает... Какой свежий, чистый, все перышки как на подбор, не то что обтрепанные с «Трубы».

– Смотри, Колька, все ближе... – шепчет Володя.

– Молчи, черт! Спугнешь!.. – с досадой отвечает Коля, делая выразительные знаки рукой: будешь, мол, орать – голову отвинчу.

Снегирь уже сидит на силке. Клюет коноплю, лущит ее – видно, как падают скорлупки. Потом, очевидно, чувствует какую-то неловкость, потягивает ножку. И вдруг, испугавшись, рвется вверх... Не тут-то было! Распластав крылья, он бьется в тщетных усилиях: волосая петля крепко держит его за ножку...

– Скорей! Скорей! Чтоб не вывихнул!

И ребята как полоумные бегут, перелезают через забор и мчатся вдоль него по проложенной собаками и ими самими тропке. А потом с триумфом несут свою добычу домой...

Как-то, придя со службы, Иван Антоныч позвал Колю к себе в кабинет.

– Славянские приехали. Мне в Комиссаровку по телефону звонили.

– Правда, папка? Ты не врешь?

– Зачем же мне врать, дурачина ты этакий! Вот и адрес их.

И Иван Антоныч вытащил из бокового кармана смятую бумажку, на которой карандашом был записан адрес: Арбат, дом № такой-то, квартира 7.

– И Гося приехал?

– И Гося.

– Вот это здорово! Вот это великолепно! Слушай, дорогой мой отчих, едем сейчас к ним? Чего откладывать, а? Милый! Папка! Ну, чего ты думаешь?

И Коля стал теребить отца.

– Но ведь они же, в конце концов, не звали...

– А адрес тебе сказали, чтоб ты Пушкину сообщил? Какой ты стал, папка, церемонный... Это потому, что ль, что надзирателем служишь? Глупости, глупости – сам знаешь... «Едно глупство», как говорят у Соколовских... Да ну же, папка!

Вставай, коня седлай,
Через рощи и поля
Скорее мчися ко дворцу
Дункана-короля, –

продекламировал Коля одно из любимых Иваном Антонычем гейневских стихотворений.

– Дай подумать...

– Да чего ж тут думать? Ты что, дядя Миша, что ли? «Дайте я вас поцелую... Нет, лучше завтра... Нет, сегодня... Нет, пожалуй, завтра...»

– Это что такое? Это еще откуда?

– Ты не знаешь? Так дядя Жорж изображает твоего Мартыгана, когда он объясняется в любви... Впрочем, все это ерунда... Ein Moment... – И Коля убегает.

– А вот это – не ерунда! – Коля притащил пальто и шапку Ивана Антоныча и нахлобучил шапку ему на голову.

– Папа Ваня, одевайся поскорее, ради Бога.

– Фу, ты, черт! Пристал как банный лист к...

– Ergo: я – лист, а ты –? Ха-ха-ха! В Евангелии сказано: Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова. Но где сказано: ж... роди банный лист?

Ты, отец, совсем запутался в генеалогии и не умеешь одеваться... Прикажете одеть-с?

– Нечего делать. Едем... Любочка! Мы с Колькой к Славянским едем!

Любовь Ивановна занимается с учениками. На минутку она выходит:

– Только не застревайте до полуночи, пожалуйста. И от меня кланяться не забудьте. Может, они к нам заедут?

Вышли за ворота.

– Извозчик!

– Куда прикажете?

– Арбат.

– Полтинничек с вашей милости...

– Двугривенный.

– Далеко, господин. Ну, сорок копеек.

– Тридцать, и ни гроша.

– Садитесь... – Извозчик отстегнул полость.

И вот они уже скользят на санках к Славянским. Чудеса в решете, да и только!

Тореадор, У тебя запор, Выйди на двор, Тореа-дор! –

поет Коля от радости гимназическую песенку.

– Перестань дурить, Николай! Ну как тебе не совестно?

– А ты? А ты сам не поешь таких вещей? А кто пел...

– Замолчи, пожалуйста. А то, ей-Богу, вернусь.

– Ладно, папендряс, ведь я шучу. И пошутить нельзя, господин надзиратель. Если ты так будешь и дальше развиваться, я себе другого отца выберу – ха-ха-ха! – дразнит Коля своего любимого «отчика». На душе у него весело: он увидит Тоську, закадычного приятеля... «Чего он. за это время только не перечитал, должно быть? Интересно! Чертовски интересно! Теперь заживем...» – думает Коля и ждет не дождется, когда доедет. Вот проехали Кудрине, Смоленский бульвар, Крытый рынок... А вот и Арбат – булочная Севастьянова на углу. Сюда не раз забегал Коля пирожки есть: «Вам каких: с рисом и с яйцами, с мясом, с вареньем?» – мелькают у него в голове клочки воспоминаний... А сейчас Тося...

– Стой! Приехали. Первые ворота направо. На звонок открыла Наталья Дмитриевна.

– Ах, Иван Антоныч! Коля! Вот хорошо, что вы приехали...

– Это все Колька; пристал, знаете ли, так, что сил моих не было...

– И отлично сделал. Раздевайтесь. Вешалка вот здесь. Вы знаете, мы у брата остановились. Боже мой, Коля как вырос... Ну, пойдем...

Наталья Дмитриевна ввела гостей в комнату, где на диване сидел тоненький худенький мальчик, с фарфоровыми глазами, в очках...

– Тоська! – бросился Коля к нему...

– Я не Тося, вы, Коля, ошиблись... – проговорил тот, подавая слабенькую руку.

– Не городи чепухи, пожалуйста...

– Уверяю вас: я – Тосин брат.

– Брат?.. Да у Тоси никаких братьев не было!.. – уже с некоторым сомнением проговорил Коля. – Он мне никогда про него не рассказывал...

– Из этого нельзя делать вывода, что брата не было. Я все время жил у дяди в Москве, на этой самой квартире, и совсем не знаю вашей Бессарабии. А вот Тося жалеть будет ужасно, что вы его не застали: о вас-то он успел мне кое-что порассказать...

– Да вы... да ты... да ты дурачишь меня, Тоська! Кончай эту игру...

– Мама! – обратился к Наталье Дмитриевне мальчик, улыбаясь и поблескивая очками. – Скажи Коле, что я и Тося – два разных существа, хотя и очень похожие, что, впрочем, неудивительно, если принять во внимание несомненную общность происхождения...

Наталья Дмитриевна усмехнулась и ничего не ответила: она только ласково поглядела сперва на сына, потом на Колю.

Колю одолели сомнения: в самом деле, кто же это? Как будто Тося, хитрец... Но рост действительно не тот и глаза как будто не совсем Тосины... Что за дьявольское наваждение... Пожалуй, и не Тося...

– А Тося скоро придет? – неуверенно спрашивает Коля...

– Ты что-то поглупел в Москве... Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! – заливается Тося...

«... Боже, какой я дурак, в самом деле... Вот стыд! Вот позор... – молнией пронесется в Колиной голове, и даже пот выступает у него под волосами. – Как он меня разыграл, разбойник...»

Коле кажется теперь, что нужно было быть прямо остолопом, чтобы колебаться... Какие же могли быть колебания?..

– Ну и хитер Колька! Как ловко он изображал, что не узнал меня... Вот разыграл так разыграл... – восхищается Тося своим другом.

– Довольно баловаться... Иван Антоныч, вы поможете мне чай устроить, а дети тут пока посидят... Впрочем, от вас помощи в таких делах...

- Да я с удовольствием, Наталья Дмитриевна...
- С какой радости ты меня дурачил? Что это тебе в голову взбрело? А?.. – накинулся Коля на порозовевшего от волнения приятеля.
- А ты меня чего мистифицировал?
- Я? Тебя?.. Да ты с ума сошел!
- И сейчас притворяешься! Ты же отлично меня узнал сразу. А сам такую рожу скорчил... Тебе бы на сцене играть...
- Будет, Тоська... Я в самом деле думал... Но скажи, чего ради ты...
- Стендаля начитался. Он тоже любил мистификации. Ты «Пармскую обитель» читал?
- Нет.
- Увлекательная вещь... Ты теперь в четвертом классе?
- Да. А ты что будешь делать, в гимназию поступишь?
- Нет, я дома занимаюсь. Решили с мамой, что сразу экстерном буду держать на аттестат зрелости. По программе я уж за пять классов прошел...
- Молодец.
- А ты что делал, что читал? Птиц не бросил?
- Да что у меня нового? Птицы есть, приходи – увидишь. Красками стал рисовать. В гимназию хожу...
- А из книг?
- «Выврождение» прочел. Знаешь? Нордау.
- Слышал, но не читал.
- Толстого, Горького, Чехова, Андреева. Poleмику Тимирязева с Данилевским – из научного, ну а раньше я насчет древних литератур – да уж это прошло... Мольера... Скабичевского «Историю русской литературы»... Мне очень Толстой понравился: «Крейцера соната», «Воскресение»... Не упомяну, Тоська, всего.
- Да ведь у Толстого все Бог и Бог, хоть на свой лад...
- С богами я уж давно, как тебе известно, покончил. Здесь я даже мальчишкам раз за языком тело Христово притащил... Как они порхнули во все стороны!..
- И Коля подробно рассказал про свои подвиги. Оба стали смеяться, поощрительно поглядывая друг на друга.
- А у Толстого все же христианская дребедень... Послушай, что я тебе скажу...
- Тося вскочил с дивана и начал торопливо рыться в каких-то толстых клеенчатых тетрадках; раскрыв одну из них, он шепотом прочитал:
- «Социальные принципы христианства проповедают трусость, презрение к самому себе, унижение, покорность, смирение, словом,

все качества каналы; а пролетариат... – то есть рабочие, понимаешь? –... пролетариат, который не хочет позволить, чтобы с ним обращались, как с канальей, нуждается в мужестве, в сознании собственного достоинства, гордости и независимости гораздо больше, чем в хлебе. Социальные принципы христианства отличаются лукавством, а пролетариат – революционностью».

– Это откуда?

– А хорошо? Точно острой пикой в самое сердце христианства. Шашлык из попов.

– Замечательно. Но откуда?

– Это – Маркс. Не тот, что «Нива», конечно.

– Это который «Капитал» написал? Я, знаешь, раньше думал, что его сторонники – капиталисты... ха-ха!.. вот дурак!.. А где ты прочитал? В «Капитале»?

– Нет. Только по секрету... Знаешь, в Кишиневе папе один знакомый принес тайную революционную газету... на тоненькой такой бумажке... «Искру»... А я ее стащил и читал. Там и вычитал... Только ты, пожалуйста, об этом не трезвонь во все колокола и даже маме моей не проболтайся; и так уж мне покою не дают: «Ты слишком много читаешь, развит не по летам, старик, заболеешь, помрешь, с ума сойдешь», – все уши мне прожужжали. А мама расстраивается и смотрит на меня печальными глазами, как на обреченного... А знаешь, Коля, что я тебе скажу?.. – И Тося положил свою горячую тоненькую руку на руку Коли. – Иногда мне кажется, что я на самом деле обреченный, Урод какой-то...

– Брось, Тоська, глупости болтать. Слышишь?

Тося смотрел такими серьезными, грустными глазами, его тоненькие ручки были так трогательны в своей болезненной худобе, весь он был такой хрупкий, неземной, что у Коли заныло тоскливо сердце...

– Что ты мне говоришь «глупости»? Ведь я продукт наследственности. Отца – соплей перешибешь. Я еле ноги волочу... Вы все играете, резвитесь, живете... А я? Я, Колька, калека очкастая... И кажется мне иногда, что недолго я протяну... Я ведь могу кое-что понять... Тебе-то сказать можно... Да, послушай! – вдруг неожиданно встрепенулся Тося. – А альбом жив?

– Какой альбом?

– Бессарабский. Помнишь, который тебе подарила одна барышня в Бельцах... Да ты сам мне рассказывал... Клебонская... Кле...

– Елена Владимировна? Клеванская? Ну да, цел. Почти в полной неприкосновенности... Почему ты вдруг о нем вспомнил?

– Смотрел в тетрадки, вот и вспомнил: кожаный переплет, коричневый, с тиснением.

– Совершенно верно. Так он цел. Только два стихотворения прибавилось. Дядюшка мой их мне написал в назидание.

– Интересно. Тебе, как институтке, в альбом пишут. И как трогательно: родственники...

– Я их наизусть помню.

– А ну-ка?

– Да это пустяки. Право, не стоит. Шутки. Вот на тебе одно:

Коля, милый, дорогой,
Я побью тебя лозой.
Чтобы лозочкой побить,
Надо штаники спустить.

– Ну, это для детей младшего возраста. А другое?

– Другое? Изволь, если тебе так хочется:

Коля, милый! Годы эти Скоро в вечность канут. Их сменяя, дни другие Для тебя настанут. Маяком тебе пусть будет Жизнь твоя былая, А надежнейшая гавань – Верь, любовь святая.

– Скажи твоему дядюшке, что он не Байрон. Не Байрон, да. В особенности нелеп маяк из былой жизни от года до девяти. Или десяти? Маяк сзади! Не Байрон. Меня всегда удивляют люди, которые пишут стихи и не чувствуют, насколько эти стихи слабы...

– Тося! – послышался голос из столовой.

Тося выбегает и приносит два стакана чаю, вазочку с печеньем и два пирожных.

– Я сюда забрал. Пусть отцы между собой болтают, а дети – сами по себе. Ты ничего не имеешь против, друг мой Аркадий?

– Ничего. Кроме того, что ты меня в Аркадии записал.

– Это так, к слову пришлось...

Пока мальчики беседовали, в столовой шел другой разговор.

– Я вас, Иван Антоныч, нарочно вызвала сюда. Хочется о многом порасспросить. Что у вас в столице делается? О чем шумят народные витии?

– Да я, Наташа... Ах, извините...

– Что ж извинять, «возлюбленный Жано»? Помните, как вас Соня называла...

– Да... Удивительная была девушка...

– Ну, вы меня теперь извините, Иван Антоныч, что напомнила вам... Давайте возвратимся к текущему моменту, как говорят политики. Так что ж у вас тут слышно-то?

– Стыдно сказать, я ничегошеньки не знаю. Все время поглощает работа, а раньше без места был, и маялись мы все, как окаянные. Теперь с утра до ночи занят. «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой» – вот и едим в поте лица. Газеты и то не всегда прочитываю. Круг знакомств тоже не из таких людей... Не то что в молодости... Скоро Колька, кажется, меня учить будет.

– Жаль. Мужу передавал один из театральных деятелей, что летом встретил Чехова у Комиссаржевской. Она на гастролях у вас в Москве была. Чехов, говорит, постарел, больной, усталый, сесть стал. Стали его расспрашивать, не пишет ли он чего-нибудь для театра, а он отвечает: пишу, да все не то, теперь другое нужно, пережили мы старую канитель, круто страна повернула. А потом и стал рассказывать: здесь, говорит, у вас в Москве это не так заметно, а на юге волна сильно бьет, в народе повсеместное брожение... Рассказывал, что был он у Толстого; и он то же видит. А он старец прозорливый... Гудит, как улей, Россия... Вот вы посмотрите, что будет года через два-три... Не узнаете России...

– Это вы или Чехов?

– Чехов... Почему вы лимону не берете? Пирожных?

– Мерси.

– Мерси «да» или мерси «нет»?

– Конечно, да.

– Так действуйте, пожалуйста, сами...

– Вы не беспокойтесь, Наталья Дмитриевна. На это я еще способен. Так вы говорите, Чехов рассказывает, что на юге волна сильнее бьет? А вы – только что с юга, заключение ясно.

– Ишь как повернул.

– Мне нечего повертывать. Ниш есмь. Continuez, madame.

– На юге действительно все бродит. После ростовской стачки среди рабочих небывалое оживление. У меня такое впечатление, что пахнет революцией, знаете, по-настоящему. Очень беспокойно. Да и мужички уж не те, со всех мест идут слухи о конфликтах. Пророчества Чернышевского, по-видимому, сбываются...

– А помните, как мы, было, пели: «Выпьем мы за того, кто “Что делать?” писал»?

– То, Иван Антоныч, были мечты. А теперь не «выпьем мы за того», а, кажется, дело начинается. И не шуточное. Я еще сужу по широкому распространению революционной литературы. Вы ее не видели?

– Да откуда же она ко мне попадет?

– А мы в Кишиневе видали. И «Искру», и «Революционную Россию».

– Это что такое? Я ведь совсем неграмотен.

– Да ведь теперь оформленные партии. У марксистов – социал-демократия, у народников – социалисты-революционеры...

– Это Струве? А у народников?

– Боже, как вы отстали! Струве уж отошел. Он в Штутгарте издает свой орган, орган «Союза Освобождения». Он теперь вождь либералов, от марксизма ушел целиком. У него обширная агентура среди земцев. Это их человек. А легальные марксисты уж перестали быть марксистами. А вождями социал-демократов сейчас являются другие люди: Плеханов, Ленин. Плеханов – это Бельтов. А Ленин – Владимир Ильин.

– Экономист?

– Ну да. А у эсеров...

– Что? Это что еще?

– Социалистов-революционеров коротко называют эсерами, социал-демократов – эсдеками, или «серыми» и «седыми», – улыбаясь, ответила Наталья Дмитриевна. – Чернов, знаете, может быть, он под псевдонимом Гарденина писал.

– Встречал, кажется, фамилию... В сборнике, посвященном Михайловскому. «На славном посту»...

– Он самый... Вот... Юг наводнен партийной литературой. Среди студентов успех крайних партий колоссальный. И семена теперь падают не на каменистую почву. Как жаль, что ни Сони, ни Распопина нет уже в живых...

– Да. Они бы кинулись вплавь...

– Эсеры продолжают народолюбческие традиции борьбы. Но, с другой стороны, они шире. А марксисты ужасно непримиримые, в особенности ленинцы. Фанатики и догматики. У них все – в пролетариате. А иногда мне кажется, что за ними какая-то новая правда, что-то свежее и не суздальское. В них ничего нет от Пошехонья. Энергичный и злой народ. А злость тут нужна, без нее не обойдешься. Отчаянные спорщики. Но идут железными фалангами. Какой-то, знаете, новый тип людей: не любят фраз, чаепития,

вечеринок на наш старый манер. Не очень уважают интеллигенцию, издеваются частенько. А среди рабочих имеют несомненный успех, точно для них по мерке сшиты; те так к ним и липнут... Хотите еще чаю?

– Налейте стаканчик. Только, пожалуйста, без сахару... Спасибо.

– Видите, я разболталась.

– И за это спасибо. Мне все внове.

– В Кишиневе у нас очень напряженная атмосфера. Чиновничество и полиция травят жидов и революционеров. Того и гляди разразится еврейский погром... Вы же общую обстановочку бессарабскую хорошо знаете... Только здесь все положение так обострилось, что вы себе, пожалуй, и представить не можете. Мне в последнее время казалось, что мы на углях сидим. Нельзя же навинчивать без конца, когда-нибудь и взорвется... Пускают в ход все, ничем не стесняются, ничем не брезгают. Открыто ведут погромные речи, что жида с ритуальными целями употребляют христианскую кровь, тайно мучают и убивают христиан, точат из них эту кровь; что они против царя, потому что он – православный и за православный народ... Прямо черт знает что такое... Лозунг «бей жидов» стал в Кишиневе почти что официальным лозунгом. Это клич «патриотов». Всем орудует начальник охранки, барон Левендаль, и русский миллионер Пронин, отвратительная фигура. И Крушеван – помните, из патриотического «Знамени»?

– Помню. Как же не помнить?

– Ну вот он. А около – вся стая чиновников, околоточных, сыщиков, городских. Денег у них пропасть, они явно имеют благословение свыше. Шныряют по трактирам и притонам. Готовится, по-моему, какая-то ужасная Варфоломеевская ночь... Не знаю, может, я ошибаюсь, но уж очень похоже на это – даже страшно становится... Государственно организованный полицейский бандитизм...

– Да... Герцен про Россию писал, что это «замороженный ад»... А Тютчев – «вечный полюс». Хорош полюс выходит! Значит, разморозилось все?

– По-видимому, разморозилось... В Москве у вас куда тише... Или мы тут еще не осмотрелись, или действительно южные волны сюда еще не докатились... Докатятся...

Наталья Дмитриевна замолчала. Было тихо. Свет от лампы мягко разливался по скатерти. Пел тоненькими струйками голосов самовар.

– А вы сами-то, Наталья Дмитриевна, участвуете в движении?

– Где ж мне? У меня больной муж. Больной сын. Знаете, я над Тосей дрожу ежеминутно... Да и стара стала...

– Уж и стара! Что вы, на комплименты напрашиваетесь?

– А главное, у меня прочной веры нет. Не могу исповедовать: «Аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе бози инни разве мене». И не знаю хорошенько, куда идти нужно. Кроме самого общего, отрицательного, против этого зверского деспотизма... Вы знаете, что я по происхождению, по крови – еврейка. Но возьмите вопрос с чисто русской точки зрения. Мне иногда кажется, что в обществе даже недооценивают всей антикультурности романовской монархии... Честное слово... Ведь все лучшие головы, цвет нации, срезаются, как машиной. Чуть что пахнет гением и талантом – под топор... Всем известные факты, а если подсчитать? Пушкин – ссылки, запрещения, гибель. Лермонтов – ссылка. Чаадаев, которого сам Шеллинг считал за одного из умнейших людей, – чуть не сумасшедший дом по решению царя. Полежаев – замучен в казарме. Помните, «Песнь пленного ирокезца»?

– «Я умру. На позор палачам беззащитное тело отдам!..»

– Да... Талант огромный был... Чернышевский – каторга. Писарев – пятилетняя Петропавловская крепость. Достоевский – у расстрельного столба, мертвый дом. Тургенев – даже Тургенев – в тюрьме. Герцен – тюрьма и эмиграция. Рылеев – повешен. Радищев – после ссылки отравился... А какой ученый из казенного Кибальчича бы вышел?.. Теперь Толстой – обыски... У мирового гения! А возмутительный недавний инцидент с Горьким?.. Тюрьма подразумевается сама собой... Он сидел не раз.

– Это вы об Академии наук?

– Да... И хороши же академики! Даже Чехов – божья коровка – и то встал на дыбы! Вы читали его письмо президенту, этой высочайшей либеральной кокетке?

– Читал...

– Да... И вот русских гениальных людей систематически уничтожают жандармы из немецких баронов, Бенкендорфы, Дубельты, Левендали, бастарды романовского дома... Скажите, разве может жить нация, которую все время обезглавливают?.. Я уж не говорю о массе, о мужике, о рабочих... Нет, котел взорвется... И скоро...

Наталья Дмитриевна встала и начала возбужденно ходить по комнате. Иван Антоныч молчал.

– Однако, Наталья Дмитриевна, вы все так горячо к сердцу принимаете?

– Да я еще не труп. Но в стороне стою, Иван Антоныч... Вот что-то с Тоськой моим будет... Если выживет, уйдет в революцию, в этом я ни капли не сомневаюсь... Может, тогда искупит мои грехи, обывательщину... И в то же время сама этого боюсь – судьба здесь тоже почти известна... Немногие уцелеют, даже в случае победы...

Иван Антоныч задумался. Он вообще был весьма впечатлительным человеком, и мысли у него вращались очень быстро. Старая приятельница погрузила его в море вопросов, от которых он был далек, не потому, что он не знал их вообще или не понимал их значения, а потому, что он всегда жил непосредственным, близким, тем, что торчало под носом, что окружало его, и интересы этой злобы дня целиком его поглощали – остальное уплывало из сознания, а иногда он отмахивался от других мыслей, как от назойливых мух. А теперь вдруг все придвинулось вплотную, вышло из тумана, приобрело яркие очертания, определенные формы... И в эту минуту обычное, обыденное, мелкое, то, чем была наполнена действительная жизнь Ивана Антоныча, потускнело, отодвинулось, ушло в какую-то даль, точно стало ирреальным. Перспективные отношения в сознании сместились, различные планы и сферы жизни поменялись местами... Оттого и задумался Иван Антоныч...

– Да, а который теперь час?

– Без четверти двенадцать.

– Фу ты, черт! Надо домой... К Любочке... Хорошо, что вспомнил: она просила вам очень кланяться и навестить нас... Адрес вы не знаете? Большая Грузинская, Георгиевская площадь, дом Блохина. Это от Зоологического сада нужно спуститься вниз по Грузинской. Когда войдете в ворота, идите все прямо, упретесь в флигелечек, с палисадником. Это и есть наши Палестины... Нужно позвать Кольку...

– Сейчас. Коля! Тося! Дети вышли.

– Ну, Колюн, пора домой. Прощайся.

– Тоська, так ты обязательно приходи. Слышишь? Я тебя каждый день буду ждать... Наталья Дмитриевна, пожалуйста, сделайте так, чтоб Тося поскорее пришел...

– Коля, ведь и Наталья Дмитриевна к нам обещалась приехать. Экий ты невежа!

– Да я, папочка...

– Оставьте, Иван Антоныч. Это ж вполне естественно, что Коля хочет видеть не меня, а Тосю...

– И вас, и вас...

– Но ради Тоси... Чего ж ты этого стыдишься? Коля растерянно молчал.

– А ты насчет «Искры» не проболтайся, – шепнул Тося на ухо приятелю. И громко: – Як тебе на днях приду. Может, послезавтра...

Но Тося не пришел.

Через два дня Иван Антоныч, приехав со службы на извозчике, сказал сыну:

– Тося скоропостижно умер.

– Как? Что ты говоришь?!

– Да. Менингит, воспаление мозговых оболочек... Я позвонил из училища – почему они не приезжают... Наталья Дмитриевна проговорила только: Тося умер от менингита – и больше ничего не могла выговорить...

– Я туда сейчас побегу...

– Не нужно. Ты только увеличишь страдания матери. Я и так не знаю, как она это переживет...

Коля был поражен, как громом. Ему хотелось плакать, рыдать, биться об стену головой... Он отупело смотрел по сторонам. Ведь он только что говорил с Тосей, он видел его нежный хрупкий лоб, ясные глаза, тоненькие руки. Он слышал его тихий голос... Тоська, неужели тебя уж нет?..

Тося мертвый покоился в гробу, и его нежное личико застыло в бескровную мертвую маску... Наталья Дмитриевна, сжав губы, ухаживала за мужем, который лежал почти без сознания...

18

Романовская монархия шла и к внешней катастрофе. 4 августа 1902 года состоялось в ревельском порту свидание двух императоров, Вильгельма Гогенцоллерна и Николая Романова, которое сильно подтолкнуло назревавшие события.

Императорский спрут уже залез на Дальний Восток своими жадными щупальцами. Россия отхватила у Китая большие куски и принимала посильное участие в поистине разбойничьей экспедиции держав против Срединной империи. Цивилизованные, первоклассно вооруженные их корпуса под предводительством германского фельдмаршала графа Вальдерзее, подавляя боксерское восстание, вызванное захватами китайских территорий, жгли села и города и занимали самую столицу Китая, Пекин. Взятием Пекина, еще до

приезда графа, руководил генерал Линевиц и русские войска, вместе с японцами разграбившие город и разорившие дворец.

Инеречивый германский кайзер, отправляя тогда – в конце июня 1900 года – христианнейшие вымуштрованные и выдрессированные колонны, держал в Бременсгафене, в гавани, с высокого помоста, речь, которая была знаменем борьбы с «желтой опасностью». Высоко подняв кулак правой руки и воинственно выпячивая колесом грудь, он выкрикивал твердым голосом:

– Пощады не давать! Пленных не брать! Подобно тому, как тысячу лет тому назад, при короле Этцеле, гунны оставили по себе память, о своей мощи, до сих пор сохранившуюся в преданиях и сказках, точно так же, благодаря вашим деяниям, имя немцев в Китае должно запомниться на тысячу лет, чтоб никогда китайцы не посмели даже косо смотреть на немцев!..

Христианнейшие державы навязали Китаю постыднейшие договоры, награбили земель, заложили динамитные бочки новых конфликтов, сожгли мимоходом национальное сокровище Китая, древнюю грандиозную энциклопедию, а культурное офицерство – немцы, англичане, французы, русские и другие – вернулось домой, привозя награбленное добро: картины, драгоценные статуи, шелка, фарфор, золото, слоновую кость, разные украшения, старинные безделушки и монеты, полагая, что все эти апостолические деяния никак не относятся к категории воровства. Дома они попивали виски, пиво, красное вино или водку, в зависимости от национальной принадлежности, и, весело похохатывая, обменивались воспоминаниями о маленьких китайских девушках, которых они, между бранными подвигами, дарили своим просвещенным вниманием.

Теперь, через два года, назревал конфликт между Японией и Россией, и Вильгельм, который был одержим манией миродержавия дуумвиров – его, Вильгельма, и «возлюбленного брата», северного царя Никки, спешил со своим военным и дипломатическим штабом, чтоб утрясать перспективные вопросы великой международной политики. Его влекла к российскому самодержавию навязчивая идея совместной борьбы с гидрой революции. Сам он постоянно мечтал о государственном перевороте, о кровавой бане против рабочих, об уничтожении жалкого германского парламентаризма, о роли нового великого цезаря, который, подобно Георгию Победоносцу, сокрушит змия социалистической революции. Еще в 1899 году, во время рабочих стачек в Аугсбурге, он говорил своему другу, Филиппу

Эйленбургу, прославившемуся впоследствии придворным гомосексуализмом:

– Это хорошо... Пускай, пускай! Наступит момент, когда нужно будет действовать... Я тогда ни перед чем не остановлюсь, и даже министерство не удержит меня; оно просто полетит, если не пойдет со мной. Пожалуйста, прочти недавно изданный сборник речей, произнесенных мной со времени восшествия на престол. Ты ясно увидишь, что я сначала по-хорошему, а потом со всей серьезностью обращаю внимание немецкого народа на угрожающие ему опасности... Правительство должно действовать, иначе все пойдет прахом! Если при серьезном внешнем конфликте создастся такое положение, что половина армии будет мобилизована внутри страны вследствие всеобщей забастовки, то мы пропали!.. Я уже осведомился, как далеко распространяются мои полномочия по отношению к конституции. Военный министр мне сказал, что я в любое время могу объявить осадное положение по всей империи. Прежде, чем солдаты не выведут из рейхстага социал-демократических вождей и не расстреляют их, нельзя надеяться на улучшение положения. Нам нужен закон, по которому можно было бы каждого социал-демократа сослать на Каролинские острова... Надо будет произвести очень сильное кровопускание...

И кайзер, потягивая вино, самодовольно разглаживал свои усы...

Теперь он ехал на свидание с российским императором, который ничуть не меньше его боялся революции: толчки ее он уже ощущал непрестанно...

Стояло ясное погожее утро. На море было свежо, легкая рябь бороздила поверхность моря, и небольшие рыже-зеленые волны, отливая блеском бутылочного стекла, хлюпали о берег, разбегаясь мелкими кружевами белой чуть шипящей пены. Пахло водорослями, йодом, свежим запахом морской соленой влаги. Четырнадцать крупных военных судов и пятнадцать миноносцев ждали высоких гостей. «Варяг» и «Ретвизан» ослепительно сияли на солнце своими белыми корпусами. Остальные чернели мрачными громадинами, как воплощение тяжеловесной морской силы империи, и их чудовищные орудия разевали свои жерла. Роскошные царские яхты – «Штандарт» и «Полярная звезда» – выделялись своим внешним изяществом и грациозностью. Несколько парусных судов трепетали парусами, как вспугнутые лебеди... Над броненосцами и крейсерами вились с жалобными криками стаи чаек. Они то взмывали ввысь, то падали в воду, выхватывая из нее добычу, то стояли неподвижно в воздухе, почти не шевеля крылом, точно восковые елочные голуби,

подвешенные на нитке, и их белоснежные перья сверкали в бледном кобальте северного неба. На судах собрались высшие чины императорского балтийского флота. На берегу копошилась громадная толпа народа: всем хотелось посмотреть на невиданное зрелище. Гавань была густо усеяна любопытными: почтенные буржуа, дамы из общества, ремесленники, рабочие, служащие, чиновники – в котелках, кепках, шляпах, картузах; разноцветные платья, зонтики – все мешалось в этой движущейся массе. Между ног шныряли пронырливые мальчишки, высовывая удивленные физиономии и стремясь протиснуться, где повиднее. Городовые осанисто поддерживали порядок и гнали пьяных...

Но вот далеко на горизонте, за островом Наргеном, в нежной голубой вуали показались едва различимые грязноватые дымки немецкой эскадры... Навстречу им помчались императорские яхты, сопровождаемые крейсером «Светлана», и вода запенилась у бортов белыми волнующимися змейками... На всех судах взвилось и затрепетали праздничные флаги, точно стальные плавучие чудовища по мановению волшебной палочки вдруг зацвели разноцветными звездочками ярких цветов, изукрасились, оделись в блестящие праздничные ризы... Через два часа немецкая эскадра и императорские яхты уже подходили к рейду «Принц Генрих», «Нимфа», миноноска «Слейпнер» и кайзерская яхта «Гогенцоллерн», белые как снег, стройно шли к месту встречи... Воздух задрожал от гула канонады: покрываясь облаком порохового дыма, с чудовищной силой грохотали орудия – можно было подумать, что идет грандиозный морской бой. Птицы, махая крыльями, очумело летели в стороны и, оглушенные, садились на воду, чистя в недоумении перышки. На флагманских судах и на яхтах гремели оркестры, и тяжелые медные звуки духовых труб и литавр, звеня, неслись к небу. Немцы играли «Боже, царя храни», русские – гимн германскому кесарю... На капитанских мостиках судов – на броненосцах, на крейсерах – расположились важные разодетые люди, в эполетах, шелковых лентах через плечо, с серебряными аксельбантами, изукрашенные целым иконостасом звезд, орденов, знаков отличия. На верхних палубах, выстроенные во фронт, плечо к плечу, ноги в ниточку, в белоснежной форме с синими воротниками, один к одному, стояли загорелые, с бронзовыми лицами и грудью, матросы: они словно застыли, как статуи на аллее Победы. Другая часть команды облепила ванты и гирляндами человеческих тел висела в воздухе. Задолго разученное «ура!» непрерывными перекатными

волнами, то затихая, то рокоча с новой силой, разрывало смятенный воздух...

На императорской яхте «Штандарт» находились оба властелина. С Вильгельмом приехали в числе других принц Генрих, адмирал фон Тирпиц, самый талантливый из германских моряков, умный, жесткий, с большой бородой и суровым взглядом пронизательных глаз; хитрая дипломатическая лиса, осторожный и вкрадчивый князь Бюлов, в молодости – доброволец-гусар, участник франко-прусской войны, лев дипломатических салонов, блестящий козёр, побывавший и послом в Петербурге, с изящными манерами и отличной литературной речью...

Вильгельм, среднего роста, с военной выправкой, самоуверенный, как всегда, когда не было в действительности ничего непосредственно опасного, с театральной экзальтацией и позой человека, без которого не может быть решен ни один вопрос, любезничал, отпуская комплименты своему возлюбленному кузену. Содержание его речей заранее обдумывалось и даже формулировалось в письменной форме министром иностранных дел. Но болтливый монарх не раз чинил непредвиденные затруднения своим дипломатам. Он увлекался собственным красноречием и, казалось, иногда, как глухарь на току, не видел и не слышал ничего окружающего. Он не любил говорить по шпаргалке. Он терпеть не мог указаний и в свое время на этой почве рассорился с «железным канцлером», Отто фон Бисмарком, подвергнув его опале. Он настолько был проникнут манией величия, что в узких кругах придворной камарильи не раз возникал вопрос о том, нормален ли он, а его августейшая мамаша изрекла однажды пророческие слова: «*Mon fils sera la mine d'Allemagne*» («Мой сын будет причиной гибели Германии»).

Николай был просто бесцветен. Его хорошо определял в разговоре с Горьким купец-раскольник Бугров: «Не горяч уголек. Десяток слов скажет – семь ненужных, а три – не его. Отец тоже не великого ума был, а все-таки – мужик солидный, крепкого запаха, хозяин. А этот – ласков, глаза бабьи... Ох, не велик царек у нас!..»

– Да, возлюбленный кузен! – гипнотизировал Вильгельм царя своими сильными глазами. – Твердость прежде всего. Разве могут отважиться япошки на то, чтоб посягнуть на твою великую монархию? Всемирная миссия лежит на наших плечах. Желтая опасность продолжает угрожать Европе Я давно предупреждал народы: нужно охранять цивилизацию от

этой саранчи...

– Я с тобой, Вилли, совершенно согласен...

– Мы показали китайским варварам, что значит белая раса. Я еще в девятисотом году говорил, что они за свои неслыханные по наглости преступления заслуживают наказания и мести... Теперь, очевидно, очередь за японцами: эти обезьяны воображают, что они вошли в семью цивилизованных народов... А они только подражатели... Я не раз писал моему другу, президенту Рузвельту, что он должен быть начеку... Но эта республика не способна, очевидно, выполнить то, что по плечу только здоровой монархии... Наши интересы, мне кажется, здесь совершенно совпадают...

– И я так думаю...

– Было бы крайне опасно, если бы Франция, с которой ты в союзе, расстроила наши отношения. Франция – угасающая нация, с несомненной тенденцией к упадку; кровь убитого короля и дворян лежит на нации, которую губит атеизм...

– Я тоже думаю, что ссора между нами может пойти только на пользу нашим врагам, – тихо проговорил Николай, и лицо его вдруг выразило какой-то полудетский испуг. – *Ce serait faire le jKu de la revolution* (Это значило бы играть на руку революции). Я думаю, что наши интересы нигде не сталкиваются...

– Конечно, – горячо подхватил Вильгельм, жестикулируя правой рукой (левая у него плохо действовала, и, чтоб скрыть этот свой физический недостаток, он по-наполеоновски закладывал ее за борт мундира, убивая сразу, таким образом, двух зайцев: и недостаток скрывал, и делал жест великого полководца, позабывая при этом об «угасающей нации»). – Нас объединяет наиболее крепкая связь: наша роль в борьбе с революцией. Это главная опасность века. И наш священный долг раздавить ее... Социализм – вот общий враг. И я буду не я, если не сокрушу у себя социал-демократическую банду. Они нуждаются в кровопускании. И церемониться здесь скоро будет нельзя. Быть может, через некоторое время уже поздно. *Periculum in toga*.

– Меня тоже беспокоит эта проблема... Террористы... Рабочие беспорядки... Социал-демократы, масоны, жида наглеют... Но я уверен, что в случае конфликта с Японией все истинно русские люди сплотятся как один человек вокруг моего престола. У моего народа хорошие старые традиции, и в конце концов он разорвет смутьянов. Я не хочу форсировать войны, но если Провидение приведет к ней, я надеюсь, что враг будет, при Божьей помощи, наказан по заслугам.

– Я очень рад, Никики, что у нас такое полное единство взглядов...

– И я тоже. Мне, однако, кажется, я даже уверен, что при твердости со стороны моей страны япошки не отважатся на то, чтоб мериться силами с великим государством. А эта твердость – закон моей политики... – проговорил царь, удивляясь сам себе и боязливо засматривая в глаза собеседнику, верит ли он в эту твердость...

– Итак, дорогой Никки, мы можем прийти к заключению, что ты – the Admiral of the Pacific, а я – the Admiral of the Atlantic... ха-ха-ха! – захохотал Вильгельм довольным хохотом и стал поглаживать свои знаменитые усы.

Употребив эту английскую фразу, Вильгельм играл словами. Pacific по-английски значит «мирный» (Тихий океан – «Мирный океан»). И называя Николая, в предвидении войны, адмиралом «мирного океана», кайзер, который толкал его на военное овладение этим «мирным океаном», обнажал действительный смысл беседы. Николай кисло улыбнулся, но ничего не возразил...

Вильгельму было приятно сознавать, что он что-то внушает Николаю, в такой же степени, как неприятен был всякий намек на то или другое указание ему со стороны кого-либо из ответственных руководителей «его» политики. Сделать своим рупором могущественного императора всея Руси представлялось Вильгельму верхом политических достижений, апогеем его собственного, личного могущества и величия. Он ни в малой степени не сознавал, что сам-то он не что иное, как рупор прусских аграриев, от которых за десять верст несет конюшной и картофельной водкой. Николай ясно видел скрытые пружины вильгельмовских уверений и, соглашаясь, в то же время внутренне испытывал известное чувство сопротивления: ведь риск дальневосточного конфликта ложится в конце концов на его шею, а не на шею кайзера. Но ему импонировали льстивые речи о его великой исторической роли, и он – не без известной осторожности, связанной с неуверенностью в себе, робостью, а отчасти и хитростью, – играл в поддавки.

Расставшись с Вильгельмом, император назначил короткую аудиенцию князю Бюлову.

– Послушайте, князь, как здоровье вашей супруги?.. – спросил Николай, увидя входившего в каюту Бюлова.

– Благодарю, Ваше Величество, сейчас она чувствует себя сносно.

– Садитесь, пожалуйста... Мы поговорили с императором...

Бюлов почтительно молчал, выжидая, что воспоследует после традиционного вопроса о здоровье супруги.

– Меня беспокоит, – медленно, подбирая слова, проговорил царь, – некоторая нервозность моего друга, когда он говорил о Франции...

Интересы России и Германии нигде не сталкиваются... И наши отношения с Францией отнюдь не направлены против Германии... Да к тому же вы, князь, отлично знаете, что не по вине России создалась несколько иная конфигурация... От французского атеизма и республиканства я так же далек, как и ваш высокочтимый монарх... Но было бы прискорбно, если бы создалась щель в отношениях между нами или если бы вообще...

Николай не договорил, испытующе поглядывая на Бюлова, по лицу которого нельзя было обнаружить ни малейшего движения его дипломатической тренированной души.

– Мое мнение, Ваше Величество, вполне совпадает с мнением графа фон Бисмарка, о котором я уже однажды имел честь докладывать Вашему Величеству...

– Будьте добры, напомните... – проговорил Николай, хотя отлично помнил, о чем ему говорил Бюлов: ему хотелось узнать, то ли самое повторит теперь любезный князь и не внесет ли он какого-нибудь нового оттенка из тех политических *imponderabilia*, невесомых величин, которым придавал такое значение Бисмарк.

– Слушаю, государь... Наш великий канцлер говорил, что трудно предсказать исход войны между тремя державами в смысле военной победы, но зато вполне точно можно сказать, что по счетам придется расплачиваться трем монархам...

Император схватил князя Бюлова за руку и долго смотрел на него как будто невидящими меланхолическими глазами...

Наконец он вымолвил:

– Я в этом убежден так же, как и вы...

Через полчаса Вильгельм уже ходил по палубе, веселый и возбужденный то ли морским воздухом, то ли вином, то ли своими политическими подвигами, под руку с Николаем, который в этой паре олицетворял, скорее, женское начало. Увидя Бюлова, Вильгельм, не выпуская своего коллегу, направился к князю и издали громко закричал, так что присутствующие отлично все слышали:

– А знаете, Бернхард, как мы решили именовать себя в дальнейшем? Император Николай отныне будет называть себя *the Admiral of the Pacific*, а я – *the Admiral of the Atlantic*.

При этой шутке Вильгельма лицо царя выразило явное смущение. Он не нашелся сразу, как ему реагировать на нескромную выходку своего не в меру говорливого «друга».

– Меня, Ваше Величество, несколько не удивляет, если монарх, который, несмотря на свое могущество, так высоко ценит

благодееяния, доставленные миром, принял такой эпитет... – последовал быстрый ответ со стороны ловкого и находчивого Бюлова.

Царь сразу оживился, глаза потеряли выражение тусклой немоты, и он невольно кивнул головою в знак своей полной солидарности с ответом фон Бюлова.

Улучив минуту, когда Вильгельм остался один, князь осторожно, с подходцем, ступая словами, как кот мягкими бархатными лапками, стал урезонивать своего повелителя не шутить такими вещами; на разные лады он доказывал ему, что, если эти новые кайзеровские «mots» станут широко известны и попадут в прессу, то они будут учтены как выражение крайней воинственности императора, повредят отношениям с Японией, не говоря уже об Англии, и нанесут существенный урон авторитету священной особы Его Величества... Кайзер выслушивал эти рацеи со снисходительно-скучающим видом и как будто соглашался: в глубине души он сознавал справедливость бюловских доводов. Но за обедом, после холодного французского шампанского из бутылок, лежавших во льду, в массивных серебряных ведрах, он, как капризный ребенок, все время возвращался к этой теме, к явному неудовольствию царя, который чуть-чуть морщился, катая пальцами хлебные шарики...

После обеда, в три часа дня, праздничные флаги были спущены, праздничные мундиры сняты. Российский императорский флот готовился показать германскому кайзеру свое артиллерийское искусство, и плавучие крепости, сбросив цветистые торжественные наряды, предстали в своей прозаической и страшной стальной наготе. Оба императора находились теперь на крейсере «Минин». Тут же был принц Генрих, адмирал Тирпиц, шеф флота великий князь Алексей Александрович, морской министр Тыртов, адмиралы и чины императорских свит. Вильгельм стоял подбоченясь в форме адмирала русского флота. В адмиралы его произвел несколько лет тому назад Николай, перед торжественным обедом в Петербурге. Вильгельм был тогда так обрадован этим назначением, что предложил на радостях царю Киао-чао, а за обедом произнес тост, в котором «клал к его ногам глубоко прочувствованную радостную благодарность за неожиданное назначение», чем немало скандализировал своих министров... Теперь он был в русской форме, с голубой андреевской лентой через плечо, в треугольной морской шляпе и воображал себя действительным командиром. Николай, одетый в немецкую форму, выглядел замухрышкой по сравнению со своим самоуверенным

воинственным собратом, который по-хозяйски раскидывал во все стороны твердыми и жесткими глазами...

Стрельба оказалась очень успешной. Щиты валились один за другим...

Вильгельм поздравил императора:

– Я был бы счастлив, если бы у меня во флоте были такие талантливые адмиралы, как ваш Рождественский...

Царь засиял. Он подошел к великому князю, который на деле служил марионеткой в чужих руках и отличался большим легкомыслием, несмотря на чин генерал-адмирала и почтенный возраст, обнял и расцеловал его, потом Рождественского. А этот большой, массивный, монументальный человек, с широкими плечами, серой бородой и пронизывающими волчьими глазами, вдруг склонился рабски к руке царя и поцеловал ее... Немцы переглянулись...

Вечером матросы пронюхали: щиты ставились так, что падали «от ветра»... Трое суток длилось торжество. Ночью, в густой тьме, среди моря, черного, как чернила, плясали феерические огни иллюминированных кораблей; их отражения змеились и дрожали, дробясь в невидимой морской ряби. На флагмане «Минин» огненными узорами горели вензеля владык, и яркими волшебными звездами сияли над ними императорские короны...

Настал час расставанья. Императоры обнялись и поцеловались поцелуями, которые не исключают ни вражды, ни коварства, ни предательства, которые относятся к необходимому ритуалу, как мундир или отдача чести... Когда «Гогенцоллерн» подходил к Наргену, с него даны были сигналы:

– Адмирал Атлантики желает доброго пути адмиралу Тихого океана.

– До свиданья, – гласил сдержанный ответ. Один из наиболее умных царских деятелей, граф Витте, записывал позднее в своем дневнике:

«Не знаю, влияние ли императора Вильгельма, выразившееся, между прочим, в сказанном сигнале, или нечто другое, но с того времени, а еще более в 1903 году, в депешах, даваемых наместнику Его Величества на Дальнем Востоке, и в других актах неоднократно высказывалась Государем мысль о том, что он желает, чтобы Россия имела доминирующее влияние на Тихом океане».

Гимназия, где учился Коля Петров, готовилась к празднованию своего столетнего юбилея. Поговаривали о том, что в ознаменование столь важного события ей будет высочайше и всемилостивейше дарован титул «Императорской», и некоторые педагоги уже мечтали об «Аннах», «Владимирах» и «Станиславах», которые будут красоваться на их мундирах, – были в гимназии и такие «чинодралы». Во всяком случае, из высоких сфер получилось уведомление, что на торжество приедет московский генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович, и все гимназическое начальство – в том числе и либералы – заранее трепетало. Поговорка «не место красит человека, а человек – место» имеет весьма относительное значение; в действительной жизни «место» весьма «красит» человека, даже когда и человека-то, по существу, нет; но в эту пустоту проникает «место», наполняет ее, и толпа, воспитанная в священном почтении к иерархии, может стоять на коленях перед этой выросшей благодаря месту пустотой. Наследственные фетиши в кастовых застывших иерархиях держатся на такой мощи исторических традиций, глубоко уходящих своими корнями в землю экономического быта.

Московский генерал-губернатор был подобен удельному князю и безгранично хозяйствовал в своей вотчине. Высокий, прямой, как палка, – точно аршин проглотил! – голенастый, он ходил, словно на ходулях, на своих длинных, тонких ногах. От серых, мутноватых, водянистых глаз веяло холодом и безразличием. Вся фигура была подтянута и зашнурована в мундир – князь носил специально изготовленные для него корсеты. Умственные горизонты его были до крайности узки и убоги. Он принадлежал к группе самых крайних ретроградов и изо всех сил старался драконовскими мероприятиями подмораживать Россию. Особое пристрастие он имел к православию и пухленьким розовым мальчикам, главным образом из младших классов кадетских корпусов, что доставляло истинные мучения его жене, Елизавете Федоровне, родной сестре императрицы. Поэтому посещения церквей, монастырей и лавр, наряду с корпусами, где великий князь ястребиным оком обзирал выстроившихся шпалерами кадетов, составляло немаловажную функцию его государственной деятельности. Тайные пороки, ханжески прикрываемые набожностью и церковным культом, приводили к тому, что он окружал себя помощниками, которые правили за него,

потакали ему и, зная его закулисные делишки, держали его в своих руках. Немудрено, что они сами не могли цвести добродетелью. В начале царствования Николая правой рукой великого князя был полицмейстер Власовский, ресторанный завсегдатай, пьяница, кутила, полицейский башибузук, взяточник и держиморда, хитрый и проницательный, один из главных виновников ходынской трагедии, ускользнувший от ответственности за горы трупов только благодаря нечистому и свекорыстному заступничеству Сергея Александровича. Теперь его фаворитом был генерал Трепов, бравый конногвардеец, солдафон от головы до пят, черноволосый, со страшными глазами и лихими усами, из тех, которые, лезя в диктаторы, именуется «честной шпагой», хранитель дворянско-придворных устоев, прямолинейный рубака, мечтавший о том, чтобы одним ударом топора срезать голову поднимающейся революции. Это, впрочем, не мешало ему быть покровителем и одним из главных деятелей полицейского социализма, который он насаждал, с согласия Сергея, при помощи известного Зубатова, настоящего хитроумного отца охранников, строивших рабочие организации, чтоб отвлечь рабочих от революционной крамолы. Он говорил по-солдатски, резкими отрывистыми фразами, точно выпаливая их и бравируя прямою своих суждений. Благодаря своей внешности он пользовался особым расположением великой княгини и в то же время был любимцем великого князя, оказывая ему услуги и в государственных, и в интимных делах.

Сергей имел большое влияние в придворных кругах и был одним из главных советчиков царя: и как дядя, и как муж сестры императрицы, он оказывал на царя в соответствующих случаях нужное, с его точки зрения, давление, и не без успеха. Он числился также одним из главных жидоедов, и нередко нити погромов приводили через полицейские организации к его сиятельным рукам.

И все же в епархии Сергея было уже очень беспокойно. Как ни старались полицейские ищейки покрыть своей сетью недовольных рабочих, это им не удавалось. Девятнадцатого февраля зубатовцы вывели своих птенцов на патриотическую манифестацию у памятника «Царю-Освободителю». Но в тот же самый день социал-демократические рабочие устроили, к ужасу полицейских, вольную революционную демонстрацию на Тверском бульваре. На заводах Гакенталья, Бромлея, До-брово-Набгольца, Гужона шли стачки. Студенты волновались, и власти ударились в массовые аресты, которые лишь расширяли озлобление и ненависть. А тут еще прямо под носом сидели центры дворянско-либеральной и купеческой

фронды: князя Долгоруковы, Трубецкие, Шипов, Головин, Стаховичи, либеральные и либеральствующие земцы, задававшие тон всей земской оппозиции и уже приступившие к организации земских съездов... Сергей бесился, давал директивы «нажимать», «беспощадно истреблять», охранники из кожи лезли вон от усердия, в Гнезниковском переулке, за толстыми стенами, шли непрерывные ночные допросы, Таганка и Бутырки были переполнены, а недовольство росло, у «гидры» отрасли все новые головы...

Гимназисты были выстроены шпалерами вдоль парадной лестницы. Их долго муштровали перед этим. Барон Кистер, учитель гимнастики, хлыщеватый господин с моноклем, из прокутивших свои поместья остзейских дворян, усердно обучал их расставлять ноги, держать руки и кричать в один голос: «Здравия желаем, Ваше Императорское Высочество!» Гимназисты, которым никогда не приходило раньше в голову заботиться о своих конечностях, дрожали в почтительном испуге, а некоторые, из протестантов, не без любопытства поджидали зрелища.

Сергей Александрович явился с женой и, сбросив шинель на руки изогнувшемуся в три погибели швейцару, быстро, едва отвечая на крики приветствия и «ура!», прошел, в сопровождении адъютантов и директора, в актовый зал... Оркестр грянул: «Боже, царя храни!».

Сергей отстоял молебен, потом подошел к красному от напряжения, патриотических чувств, страха и почтительности директору, пожал ему руку и процедил сквозь зубы:

– Эээ... Поздравляю... У вас, кажется, Боголепов учился?

Недавно убитый министр народного просвещения Боголепов действительно кончил Первую гимназию, и его портрет висел на видном месте в актовом зале...

– Точно так, Ваше... Ваше... Императорское Высочество...

– Еще раз поздравляю... Но у вас дух... эээ... не совсем хороший...

Щелкнул шпорами, подал руку, повернулся на каблуках и пошел обратным ходом к лестнице, задрал голову и смотря поверх устремленных на него глаз. За Елизаветой Федоровной струился едва уловимый запах тонких и нежных духов, как-то совсем не гармонизировавший со звяканьем шпор и ярко начищенными сапогами великого князя...

Коля стоял на лестнице в числе прочих, и, когда высочайшая чета проходила мимо него – Сергей на расстоянии всего полуаршина, – у него вдруг пронеслась в мозгу, проколов его, как иголкой, нелепая,

шальная мысль: а что, если я его ущипну? Или дам кулаком по спине? Коля похолодел – так близко показалось ему осуществление этой молниеносной мысли...

Гимназическое начальство было растерянно. Все недоуменно поглядывали друг на друга. У директора совсем отвисла толстая нижняя губа, красная и влажная. На глазах стояли слезы. Инспектор ходил мелкими шажками с серьезной гипсовой маской вместо лица. Ожидавшие милостей кисли. Радикалы иронически улыбались: так, мол, вам и надо, дураки!.. Скоро вся гимназия знала о словах великого князя, и шумная орава гимназистов, очнувшись от гипнотического оцепенения, уже хохотала над несбывшимися надеждами... Вот так «императорская»! Похоронили по первому разряду!

– Эй, Маленький! – кричал Петрову один из одноклассников. – Давай, изобразим!

– Что?

– Похороны.

– Чего?

– Несбывшейся надежды...

Гимназисты сгрудились и шумно стали обсуждать предложение. Потом быстро отвинтили крышки парт, нарисовали на них мелом подобие икон с венчиками, схватили Колю Петрова за руки и за ноги и понесли его по коридорам, как покойника. Впереди шли с «иконами», позади шествовал хор, и, прыская от хохота, мальчишки пели «Вечную память»... Надзиратели, пораженные, не успевали сообразить, в чем дело, и шарахались в сторону, очищая путь театральной шествию... В общем, это был наиболее эффектный номер из всего юбилейного торжества, если не считать его «гвоздья», то есть инцидента с великим князем...

«Дух» в гимназии был теперь, действительно, не такой, каким его желало бы иметь высокое начальство. Все вокруг бродило, и ферменты этого брожения не могли не проникать за толстые казенные стены гимназического здания. Да и у самого гимназического начальства разболтались гайки: педагоги так или иначе были, хотя бы боком, захвачены различными течениями или по крайней мере настроениями. Директор не знал, в сущности, на что ориентироваться, на какой камертон нужно настраивать работу: старая настройка, толстовская, со свирепыми нормами, явно не годилась, а что вместо нее – неизвестно. Среди гимназистов дисциплина падала с каждым днем, и мальчишки – даже в младших классах – начинали буйствовать, самочинно доламывая всякие авторитеты: то запустят во

время богослужения воздушный шар в актовом зале, и он, постукивая по потолку... пум, пум, пум... совершает, легко подпрыгивая, свои передвижения, – нужно приносить лестницы и ловить его, а он все ускользает, озорники хохочут; то выпускают курицу в классе или в коридоре, и она, кудахча и скользя по паркету, растопырив крылья, мечется как угорелая, возбуждая всеобщую веселость; то приколотят к полу гвоздями учительские калоши, засунув в них воробьиные яйца или еще какую-нибудь дрянь, и почтенный педагог в недоумении тычет в них свои ноги и не может сперва понять, в чем дело; то зашьют рукава в директорском пальто, подглядывая, какая будет физиономия у Иосифа Освальдовича, когда он начнет тщетно напяливать его на свою грузную фигуру... А то выдумали еще играть в тотализатор на учителей. Делалось это так. В коридоре висел большой колокол, в который звонили, когда начинался урок. Все педагоги направлялись по классам и должны были обязательно пройти мимо этого колокола. Гимназисты и ставили на того, кто первым «придет» к колоколу, гурьбой, с возбужденными лицами, подсматривая за «лошадью»...

– Смотрите! Смотрите! Сикердон уже на полкорпуса Федю обогнал...

– Каракатица нагоняет! Ну, где твоему Сикердону...

– А ты на Византийский Нос ставил?

– Ребята! Клистир пошел галопом... Чич вышел... Он шагастый... К финишу...

– Ура! Ура! Клистир пришел первым! Вот так немец-перец-колбаса!

– Клистир! Клистир! Клистир! – вбегали сломя голову гимназисты в свои классы и выкрикивали последние новости гимназического «дерби».

Бороться с этим тотализатором было крайне трудно. Педагоги сперва порешили, что будет выходить один инспектор. А за ним, на почтительном расстоянии, шли остальные, как стадо баранов, где каждый жался к соседу, боясь «обогнать» его на полкорпуса. Но это не помогло: сперва стали дружно ставить на Федю, и с песней «Федя – мальчик наш кудрявый!» шумно приветствовали его победы. Потом стали ставить и на других, вспоминая при этом, как однажды директор, разгоняя толпившихся в коридоре гимназистов, поучал их:

– Ви не можете здесь поместиться... Почему ви не можете здесь поместиться?..

И когда они молчали, не зная что ответить, он торжественно, точно изрекая великую, им только что открытую истину, отвечал за них:

– Да по законам фи-зи-ки! Петров не может быть в том же месте, где стоит Иванов...

Вспомнив этот мудрый афоризм, гимназисты учитывали малейшие пространственные передвижки, и тотализатор процветал, возбуждая неистовые страсти, приводившие даже к петушиным дракам в гимназическом клозете, служившем клубом и курилкой, наряду с отправлением своей основной функции.

Среди Колиных одноклассников уже стали определяться различные еще не оформленные и не осознанные до конца течения, вернее, симпатии, имевшие известные центры тяготения. Этот склад настроений захватывал и быт, и сам шел от быта той разнородной среды, в которой вращались мальчики.

Аристократическая группа, одиночки, кучка из сыновей дворян и крупных буржуа – богатых купцов, банкиров, биржевиков, еврейских денежных тузов, усиленно лезших в самые утонченные сферы, – обезьянничали со своей взрослой молодежи, важно играя в дендизм и снобизм. Они носили брюки со штрипками, английские штиблеты с длинными носками, курточки из дорогого светлого сукна, сшитые в талию у известных московских портных, и широкие шикарные кожаные кушаки. Они всегда были в крахмальных воротничках, аккуратно подстрижены, отличались безукоризненными прямыми проборами, и ни один волосок не торчал на их тщательно прилизанных головах. В гимназию они ходили так, точно делали ей великое одолжение. Держались особняком. Часто приносили с собой французские книжки, от Бодлера до Метерлинка и Роденбаха, и с меланхолическим видом, явно показывая, что они живут в мире совсем других измерений, почитывали их под партой. Ходили они расслабленной походкой, любили обмениваться французскими или английскими фразами, говорить об искусстве; были подчеркнута корректны и точно брезгливо брали всю обычную жизнь двумя пальцами, оттопырив мизинец. Щеголяли именами Ницше, Соловьева, но их не нюхали. Иногда притаскивали репродукции с утонченно-порочных изящнейших графических шедевров Обри Бердслея или рисунки Фелисьена Ролса и молитвенным шепотом говорили об Оскаре Уайльде. Из новых русских поэтов признавали только символистов и хвастались друг перед другом, сообщая последние новости из их литературного и личного закулисного быта, переходившие в квалифицированную сплетню.

Антиподом этой группы являлись дети главным образом разночинско-интеллигентских семей. Они под курточками носили

теперь косоворотки, были нарочито вихрасты и часто нечесанны; некоторые, повзрослее, уже начинали отпускать себе волосы. Они за уроками тайком почитывали Писарева, Добролюбова, Щедрина... Увлекались Горьким, который становился их настоящим кумиром, демонстративно плевали на все и всяческие авторитеты, издевались над всякими «китайскими церемониями», высмеивали «белоподкладочников», ехидствуя и над их походкой, и над их идеалами, давали им едкие и довольно меткие прозвища, вроде «астральных трясогузок», и иногда вступали с ними в оживленные дискуссии, обычно на литературные темы. Они смутно чувствовали, что великий поток жизни скоро даст ответ на вопрос: «Когда же придет настоящий день?» Их захватывало каждое проявление смелого протеста, обличительное слово, геройское сопротивление установленным порядкам, и даже озорство имело в их глазах известную ценность – их стихийно влекло к разрушению «устоев», хотя бы и в мелочах. Они были дерзки на язык, не лезли за словом в карман и любили дразнить овцеподобного ближнего своего.

Это были своеобразные «элиты» в классе. Большинство же жило еще как Бог на душу положит: читали то, что полагалось по программе, бедокурили в гимназии, потому что это не всегда влекло за собою кары, – и просто от избытка энергии, и из протеста против скуки... Была еще группа великовозрастных быков: несколько сынков диких помещиков и дылд из семей богатеньких чиновников, большей частью второгодники. Эти уже ходили по публичным домам, вели разговоры о картах, бутылках и «девочках» и хвастались, когда получали «здоровый триппер, с кровью» – это считалось у них признаком особой мужественности.

Коля впервые почувствовал гнет в гимназии вот по какому случаю. Он с Соколовским затеял издавать гимназический журнал, самый невинный, с литературой, критикой, стихами, статьями о гимназической жизни, рисунками (он уже грезил, какую нужно сочинить обложку для журнала, и обложка играла у него почему-то очень большую роль). Они рассказали об этом ряду товарищей – те поддержали. Решили соорудить гектограф, купить бумаги. Собрали денег, что-то около десяти рублей...

На следующий день, незадолго до конца уроков, инспектор, сухо блеснув стеклами пенсне, походя бросил серьезным тоном:

– Вы, Петров, останьтесь в классе после уроков. Я зайду.

Коля остался и сидел в полном недоумении: в чем тут может быть дело?..

Скоро вошел Федор Семенович. Он плотно притворил за собою дверь, поглядел сквозь стекла, нет ли кого в коридоре, и вдруг, насупя брови или, вернее, те места, где должны были бы быть брови, спросил:

– Вы собирали деньги?

– Да.

– На что?

– На журнал, Федор Семенович.

– Это категорически воспрещено... Да знаете ли вы?..

– Помилуйте, Федор Семенович, совсем невинный журнал, гимназический...

– Ни под каким видом...

– Да что ж тут предосудительного?..

– А вы знаете, – инспектор нагнулся к самому уху Коли и шепотом продолжал, – а вы знаете, что за это самое невинное вас... арестовать могут?.. А вы слышали, что великий князь сказал о нашей гимназии? Вы что же, хотите не только себя, но и всю гимназию подвести?

– Да я никак не ожидал, что в таком журнале кто-нибудь может усмотреть...

– А я вам говорю... Это даже не от нас зависит... Поняли?.. Все ликвидируйте! Деньги возвратите... И больше – прошу и требую... слышите, Петров, требую: этого вопроса не подымайте... Если бы вы не были у нас... если бы вы не были таким блестящим учеником, мне бы пришлось с вами не так разговаривать... Я, – инспектор опять нагнулся к Колиному уху, – я надеюсь на вашу сообразительность. Больше ничего не могу прибавить... Поняли?

– Понял, Федор Семеныч.

– Сделаете?

– Сделаю.

Так пришлось расстаться с журналом, и так Коля получил первый основательный предметный урок, заставивший его поразмыслить над проблемами некоторых «свобод»...

Зима проходила невесело. Коля с болью вспоминал о Тосе и иногда задумывался о смерти: а для чего жить, если все равно умрешь? Ведь вот был Тося, такой талантливый, умный... А теперь его нет... Точно муравья раздавили... До чего же это глупо и нелепо устроено!.. Коля по ночам прятался под одеяло и старался представить себе, что он умер: вот он не шевелит ни рукой, ни ногой, ничего не видит, не слышит... Нет, не ничего! Как ни старайся, а все-таки остается какая-то щелка в мир, и сам-то ты за собой наблюдаешь... А во сне? Вот я заснул, а потом проснулся... А что в

промежутке? Точно времени не было... Черт знает как странно... Да ведь было время, когда и меня-то не было?.. А другие были, и деревья, и цветы, и солнце, и земля... Да что ж в конце концов здесь странного?.. Но Тося, Тося! Был совсем недавно живой, а теперь – ничто... Нет, все-таки нельзя с этим примириться! Нельзя! Когда я поступлю в университет, – размышлял Коля под одеялом, – обязательно буду заниматься этим делом.

Ведь живут же полипы сколько влезет, и Размножение делением – не есть ли бессмертие? А у человека половые клетки переходят из поколения в поколение: отдельный человек умирает, а род живет... А почему нельзя сделать, чтоб эти клетки оживляли отдельного человека, чтоб сам он вечно рождался от самого себя?.. Или это вздор зеленый? А почему, в сущности, вздор?.. Что же будет тогда с землей, если никто умирать не будет: набьются люди, как сельди в бочке... Ну, это дело поправимое... Из учения Дарвина вытекает, что все виды живого – родственники. Однодневка и ворон, который живет по сто лет, и слон, и попугай. Значит, есть какие-то условия долголетия в зависимости от устройства тела... Но ведь в «Происхождении видов» – масса примеров, что это устройство можно изменять... Значит, можно изменять организм и так, что он будет долгоднее... А если это удастся, то где же здесь граница?.. Нет, обязательно буду этим заниматься... Это кое-чего да стоит... А все равно, Тоськи уж не вернуть... Это уж потеряно навсегда... А чем объясняется то, что иногда тебе кажется, что ты уже однажды видел и пережил то, что видишь и переживаешь сейчас, во всех подробностях?.. Конечно, учение о переселении душ... религиозная чепуха... суеверие... А чем же это объяснить? Нужно справиться... Почему так долго не могут искусственно создать живого вещества?.. Застряли на мочеvine... Этим тоже нужно будет заняться... Ах, скорей бы в университет поступить!.. А Федор Семеныч, он сам, кажется, тогда напугался, с журналом... Тоже порядочки!.. Слова сказать нельзя... Вот еще интересны сны с продолжением: видишь сон, а через полгода его продолжение... А потом еще... Все места узнаешь... Это что такое? Или полеты во сне... Машешь руками и думаешь – как это легко летать?.. Неужели это воспоминание о временах рукокрылых? О птеродактилях, о далеких предках... Ведь их кровь в нас... Черт знает как это все интересно, не успеешь всего узнать, как умрешь... Как Тося... Недаром он говорил о своей смерти, точно предчувствовал... Впрочем, тут-то как раз все понятно – он такой слабенкий был, сам говорил о наследственности, понимал...

Под одеялом темно и тепло. Коля старается овладеть мыслями, но они набегают одна на другую, потом расплываются, становятся смутными, он уже не может уловить смыслов... Тепло... Хочется спать... Все равно...

И Коля засыпает...

В один из ясных морозных зимних дней на блохинском дворе Петровы с учениками устроили большое катанье. Гора заледенела на славу. Снег на дворе поскрипывал под ногами. Синие тени падали от флигельков. Холодное солнце сияло на голубом небе. Деревья в маховском парке и в армянском саду были покрыты кружевом инея и стояли точно замороженные, не шевеля ни одной веточкой. Стекла домов разукрасились морозными узорчатыми цветами. Захватывало дыхание. Из разгоряченных ртов шел пар. Раскрасневшиеся щеки горели. Руки, мокрые от растаявшего снега, ныли от холода. Но на дворе царил суетня и веселый смех. Подталкивая друг друга, ребята взгромождали тяжелые санки на гору и мчались вниз, ловко правя ногами, чтоб не удариться на повороте об угол дома... По дороге выпихивали кого-нибудь из санок, и тот кубарем, с хохотом валился в снег и вставал, отряхиваясь и прочищая нос, глаза и уши от набившихся снежных кристалликов, которые, тая, стекали по лицу и холодными струйками заползали за ворот. Коля с Андрюшей катались с горы на коньках. Гора была очень крутая, и мальчики мчались с головокружительной быстротой, поддерживая равновесие и балансируя руками. Володя правил на санках...

– Колька, нагоняй!.. – кричал он, отпихиваясь валенками, и санки неслись, скользя по льду и подпрыгивая на буграх. Володя, лежа сзади на животе, растопырив ноги, «рулил». Санки заворачивали за угол и, умеря ход, почти втыкались в забор у медынцевского пустыря... Стоп!

– А вот и я! – И Коля, круто заворачивая на коньках, вцеплялся, чтоб не упасть, в спины ребят.

– Ну, еще разик!

Схватившись за заледеневшую веревочку, награждая по дороге друг друга приятельскими тумачами, ребята вприпрыжку побежали назад к горе. Поднявшись за дом, они увидели, что Андрюша лежит на спине, прямо на льду.

– Андрюшка! Что ты?..

– Упал! – с болью проговорил он. – Здорово треснулся затылком...

Он поднялся, снял коньки...

– Ты бы пошел, полежал...

Андрюшу все любили: и братья, и чужие. Он был милый, необыкновенно способный, приветливый и ласковый мальчик. Несмотря на свои семь лет, он уже мечтал о гимназии, и его звали «Янчик, Янчик, гимназистик Янчик»...

– Андрюшка Кольку перещеголяет, – говорил Иван Антоныч, когда, бывало, на занятиях с учениками Андрюша быстро решал задачи, над которыми тщетно морщили лбы мальчики, вдвое старше его по возрасту...

Андрюша ушел, а потом снова вышел и стал кататься.

– Голова болит... Может, тут пройдет...

И голова у него прошла. Все весело продолжали резвиться и до позднего вечера, с перерывом на обед, играли на дворе, забирались в армянский сад и даже сшибли у сторожа четыреххлопочную зеленую западню... Тот догадался... Но так как эта западня составляла предмет мальчишеских мечтаний, то они купили этот свой трофей за сорок копеек серебром, и дело было улажено к удовольствию обеих сторон.

Вечером шумно возились в комнатах. Андрюша надел себе на шею венский стул. А Коля, подбежав, с разлету сел на него. И вдруг увидел, что глаза Андрюши наполнились слезами...

В это время вошел Иван Антоныч.

– Ты что? – сказал он, заметив слезы.

– Колька сделал мне больно...

– Я ведь не хотел... И больше ничего.

Ночью, когда все спали мирным сном, раздался вдруг страшный, нечеловеческий крик... Андрюша корчился на своей кровати без сознания, и кричал, кричал... Коля подбежал к нему одновременно с матерью... Андрюша кричал... Он обнял маленькое тело братца, теплое, маленькое тельце... Тот кричал, извиваясь... Все повскакали... Все были в суматохе... Без одежды бегали за льдом на улицу... А он все кричал... И вдруг стих... Андрюши не стало.

Наутро он лежал на столе, восковой, с закрытыми глазами, с маленьким орлиным носиком, как мертвая птичка; одна сторона лица была темно-синей к виску...

Коля был близок к безумию...

... А что, если это я виноват, если я его убил?.. Слезы... Но он упал тоже... А слезы... О Боже! Что делать? Что делать?..

Коля не помнил себя. Приходили попы... Маня Яблочкина в котиковой шапочке... Ладан... Гиацинты... Мать плачет... На кладбище вьюга... Могила...

«... Надгробное... рыдаание...» Поют... Сиверко... Ворона качается на ветвях березы... Ветер взвевает снежный порошок, и мелкие колючие иглы сыплются в лицо... «Веечная пааамать...» Опускают гроб... Милый Андрейчик... Я на колени стану перед тобой... Скажи, скажи хоть слово... Голубчик!

Коля беззвучно рыдал. Ночью его душили кошмары. Он видел Андрюшу, он целовал его... Да ведь он жив... То был сон, страшный сон... И вдруг глаза Андрюши наполняются слезами и с невыразимым укором смотрят и смотрят... Коля просыпался в ужасе и смятении...

Прошли недели. Тоска не проходила. Коля таил в себе страшные сомнения и мучился невыразимо.

Отец сидит у окна, глубоко задумавшись... Коля подходит к нему...

– А знаешь, Коля? Вдруг это ты...

Коля с рыданиями бросается к нему на шею и весь трепещет, и лопатки его дергаются...

– Успокойся, Колечка... Это ведь не так... Ты сам понимаешь... – лепечет отец.

– Папа, папочка! Но кто же даст ответ?

На этот вопрос Коле никто и никогда дать ответа уже не мог...

20

На квартире у братьев Молодцовых, товарищей Николая Яблочкина по гимназии в одном из глухих переулочков Арбата, готовилось решительное сражение между социал-демократами и эсерами. В большой комнате все окна были занавешены тяжелыми бордовыми шторами, чтоб с улицы ничего не было видно. На широком кожаном диване сидел Николай, Маня и их приятель Соколов, серьезный юноша с чуть пробивающимися усиками. На стульях расположились гости: гимназист восьмого класса Лебедев, эсер; две девушки, Мара и Сима, тоже эсерки, с восторженными лучистыми глазами Мадонн, и Васильев, студент первого курса, в красной рубашке под тужуркой, с вьющимися русыми волосами и удивительно румяным ртом. Он был надеждой и главной силой эсеров на этом вечере. Братья Молодцовы, Иван и Александр, очень похожие друг на друга, с правильными носами, красивыми лицами и почти одинаковыми золотистыми волосами, стояли у стены. Их сестра, Маргарита, кончавшая гимназию, по прозвищу «Королева Марго», сидела в кресле у большого

письменного стола и машинально перелистывала страницы валявшейся на столе книги.

– Ну что ж? Начинать, что ли? – сумрачно насупившись, сказал Николай...

– Подождем еще... Степанов обещал прийти... – проговорила Марго.

– Ладно. Только нужно какой-нибудь срок назначить. Предлагаю десять минут, – пробурчал Яблочкин, хмыкая носом и покашливая.

– Согласны, товарищи?

– Согласны. Согласны.

Не прошло и двух минут, как в передней раздался дребезжащий звонок, такой неистовый, что все тревожно переглянулись. Марго спокойно, павой, проплыла в переднюю, увешанную пальто и шинелями – вешалка едва выдерживала. Оттуда послышался смех и сопенье, и в комнату ворвался хлопотливый, близорукий Степанов, по прозвищу «Ту-ту-ту».

– Я ту-ту-ту, кажется, запоздал... ту-ту-ту... немного... Мятель, черт... – проговорил он скороговоркой, слегка косноязыча. – Вы уже все в сборе?

– Да, мы только вас ждали...

– Извиняюсь, извиняюсь... – Он вынул какие-то дедовские, толстые серебряные часы, – всего на десять минут... Не прошло еще *akademische Viertelstunde*... Позвольте, а почему Попова нет?

– Позабыли пригласить... Экая досада, – морща лоб, ответил Иван Молодцов. – Как же это ты, Марго, не напомнила?

– Позабыла так же, как и ты...

– Ничего, в следующий раз позовем... Несколько человек почти сразу закурили, и дым кольцами заплывал по комнате...

– Фу, начали... – проворчал Николай, кашляя и задыхаясь, он терпеть не мог табачного дыма и не выносил прокуренных комнат.

– Николай Михайлыч, не сидите таким букой, – улыбаясь, обратилась к нему Марго, – и потом, если я не ошибаюсь, пора уже начинать...

– Послушайте... ту-ту-ту... *Zur Tagesordnung*... Я предлагаю все же для порядка выбрать председателя. И выставляю кандидатуру Марго...

– Королеву? – иронически заметил Васильев.

– Мотивы, – продолжал Степанов, не обращая внимания на Васильева, – она, как известно, женщина...

– Ха-ха-ха!

– Ничего смешного. Мы должны продолжать традиции Чернышевского... К тому же Бебель...

– Короче, – сухо процедил Николай.

– Далее, она тактична, спокойна и достаточно беспристрастна...

– Это другое дело... Ладно. Марго так Марго, – согласились эсеры, переглянувшись.

– Она – интересная девушка, – шепнула одна эсерка другой. Та молча кивнула головой в знак согласия.

– Благодарю за избрание, – проговорила Марго, ничуть не смущаясь. – Ваше слово, Николай Михайлыч.

– Господа! – начал Яблочкин.

– Не господа, а товарищи! – с обидой в голосе проговорила одна из Мадонн.

– Кому товарищи, а кому господа... – огрызнулся Николай.

– Ишь, злюка какая, змея очковая, – прошептала эсерка.

– Во-первых, в области теоретической социалисты-революционеры питаются жалкими крохами с барского стола... Весь международный социализм сейчас колется. Теоретические предпосылки оппортунизма, сформулированные с завидной откровенностью Бернштейном, суть простые перепевы с буржуазной критики марксизма и являются оправданием для реформистской тактики отречения от революции, вхождения в буржуазные министерства, превращения социалистических партий в привесок либеральной буржуазии. В этом споре между марксизмом и ревизионизмом социалисты-революционеры почти целиком стоят – я пока говорю о теории – на стороне ревизионистов...

– Это неправда! Откуда вы это взяли? – запальчиво перебил Николая Васильев.

– Товарищ Васильев, – мягко проговорила Марго, – прошу не перебивать оратора...

– Неправда?.. Хорошо...

Николай полез в боковой карман и вытащил оттуда протертый и полуистрепанный второй номер эсеровского «Вестника русской революции».

– В статье «Мировой рост и кризис социализма» ясно говорится, что из этого спора с бернштейнцами, то есть с либеральными буржуа и мелкобуржуазными политиками в рабочем движении, выучениками буржуазных апологетов (характеристика не наша!), марксизм выходит «поколебленным»... Можете убедиться сами, если вам угодно...

И Николай бросил «Вестник» на стол.

– Но это...

– Ерго, – продолжал сухо Николай, – эсеры, как они ни виляй, стоят на стороне реформистов против революционеров.

– Возмутительно! Что он говорит? Мы, которые с бомбами... – шепчет, покрасневши, как роза, Сима, и глаза ее загораются... Она едва может сдержаться и смотрит вопросительно на Васильева. Тот уткнулся в «Вестник» и не замечает пламенных взоров девушки... Молодцовы улыбаются. Королева Марго сидит как изваяние...

– Во-вторых, социалисты-революционеры, несмотря на весь свой шумливый радикализм, не приемлют, не признают и не понимают основного теоретического и практического принципа революционного социализма, принципа классовой борьбы и диктатуры пролетариата как условия социалистического переворота...

– Мы признаем классовую борьбу. Но...

– Минуточку... Вы признаете ее середка на половинку. Вы признаете ее так, что топите пролетариат, единственно последовательный революционный класс капиталистического общества, во всеобщем понятии народа. Вы ставите его, лишенного собственности, на одну доску с мелкими собственниками, то есть мелкими хозяйчиками, крестьянами, и буржуазно-демократической – хотя и радикальной – интеллигенцией. Вы замазываете здесь противоречия между пролетариатом, лишенным средств производства, и мелкой буржуазией, имеющей так называемую «трудовую собственность». Вы замазываете разницу между продавцами рабочей силы и мелкими товаропроизводителями; между покупателями продуктов сельского хозяйства и продавцами их; между представителями обобществленного труда и труда раздробленного, индивидуального...

– Это мы слышали...

– Возможно. Более того, вы всячески стремитесь, вопреки фактам, не заметить дифференциации крестьянства, классового раскола и классовых противоречий внутри самого крестьянства, объединяя и батраков, и бедноту, и средних, и хозяйственных мужичков в одно целое... Вы стойте на формально-сословной, а не на классовой точке зрения...

– Но разве вы можете отрицать бедность, и страдания, и слезы крестьянства? – вдруг взрывается девушка с пламенными глазами. – Разве вы не знаете, что крестьяне пухнут и мрут с голоду? Что во многих местах они живут хуже рабочих? Как вам не стыдно!..

– Товарищ! – успокоительно звучит грудное контральто Марго. – Запишитесь, пожалуйста, вы получите слово.

– Простите, я просто не могла выдержать...

– Вот это и плохо, – хмыкнул Николай. – Кхе! Кхе! Гы! Кхе... А если б вы подумали головой, то увидели, быть может, что ваши аргументы ни к чему. Бедность и слезы не есть единственный критерий для определения роли класса. Вы извините за резкие примеры: плачут и проигравшиеся в карты обедневшие дворяне, а Герман в «Пиковой даме».

– Это уж нахальство! Какой цинизм... – тихо говорит Сима на ухо своей подруге. Васильев записывает на бумажке тоненьким карандашиком...

– Что иные крестьяне живут хуже рабочих, металлистов например, – это нам превосходно известно. Но скажите, пожалуйста, разве люмпен-пролетариат, герои Горького, «хитрованцы», не живут часто еще хуже? Однако вы не станете утверждать, что они – надежда социализма... Впрочем, некоторые анархисты были близки к этому, да и Бакунин... В античном Риме люмпен-пролетарские массы были орудием цезаризма, а вовсе не социализма... А были бедняки...

– Николай Михайлыч, извините, но вы, кажется, уходите в сторону, – заметила Марго, чуть виновато поглядывая на докладчика.

– Пожалуй, верно... Я суммирую: массы крестьянства пойдут в революцию; но они идут в нее, в эту буржуазную революцию, как мелкие собственники. Это очень важная, громадная сила, но сила вовсе не последовательно-социалистическая, а революционно-демократическая, и кто утверждает иное, тот обманывает и себя, и других. Таким занятием и занимаются социалисты-революционеры, и против них нужно *воевать*...

Продолжаю. В-третьих, отсюда вытекает, что необходимо руководство класса пролетариев над мелкой буржуазией. Разбив царизм, пролетариат, опираясь на деревенскую бедноту, поведет и массы крестьянства по пути к социализму. Но для этого нужно прежде всего отчетливо понимать разницу между пролетариатом и мелкими хозяйчиками, то есть стоять на почве признания классовой борьбы и строить классовую партию пролетариата, а не расплывчатую общенародную партию, в которой все кошки «серы» (извините за каламбур!).

Молодцовы, Маня, Соколов и Степанов улыбнулись, как один. Даже на лице у Марго промелькнуло что-то вроде улыбки – «серыми» звали эсеров.

– В связи с этим стоит и эсеровская программа «социализации земли». Вы сеете утопию аграрного социализма в капиталистическом обществе. Но эта социализация так же похожа на социализм, как мелкий хозяйчик в капиталистическом обществе на пролетария, разгромившего капиталистическое общество. Вы и здесь, вместо того чтоб трезво смотреть в глаза действительности, малюете себе детские райские картинки... Наконец, два слова о терроре как методе борьбы...

– Посмотрим, что он тут скажет, – прошептали Мадонны.

– Теоретической предпосылкой террористической тактики является насквозь буржуазная концепция «героев» и «толпы», критически мыслящих личностей и инертной массы Лаврова-Михайловского. Эти предпосылки Бельтов в своей книге уничтожил...

– Положим! Очень смелое утверждение! – заметил Васильев.

Марго искоса посмотрела на него.

– Да это и не так трудно было сделать. Вам надо бы обратиться к Карлейлю или к Владимиру Соловьеву – там вы тоже нашли бы подходящую себе жвачку...

– Николай Михайлыч, делаю вам замечание, – сказала Марго.

– Это уж с точки зрения института благородных девиц, – недовольно процедил Николай. – Проповедуя террор, социалисты-революционеры проповедуют единоборство героических личностей, отрываясь от массовой подготовки массового восстания. Это – героические детские игрушки, потерпевшие крах методы, оживление которых есть оживление мумий...

– Вы плюете на мучеников! – истерически вскрикнула Мара...

– Это, кажется, предел, – проговорила Сима чуть не со слезами на глазах.

– Ни в кого мы не плюем. Мы признаем героизм народовольцев. Но мы видим их трагедию... И вообще бы пора перестать, – раздраженно, скороговоркой вдруг заговорил Николай, – подменять логику излияниями и аргументы чувством. Мы обсуждаем, как целесообразнее вести борьбу с царизмом, а потом с капитализмом. Це-ле-со-образнее. Понимаете? И здесь не в истериках дело. Единственно серьезным является работа по подготовке масс, по их

просвещению, организации для восстания, которое только и может опрокинуть царизм...

– Но позвольте, разве мы против массовой работы?! Ведь нужно же иметь смелость, товарищ, это отрицать...

– Вы и тут сидите между двух стульев...

– Это неверно!

– Неверно? Ладно...

Николай снова лезет в карман и вытаскивает сложенную прокламацию, выпущенную эсерами по поводу убийства министра внутренних дел Сипягина. Тыкаясь в нее близорукими глазами, он читает:

«Против толпы у самодержавия есть солдаты, против революционных организаций – тайная и явная полиция, но что спасет его от отдельных личностей или небольших кружков, непрерывно, неизвестно даже друг от друга готовящихся к нападению и нападающих?» Недурно? Пожалуйста, – и он протянул Васильеву прокламацию...

– Послушайте, товарищи, да ведь тут прямо, жирным шрифтом, прописано: мы зовем к террору не вместо работы в массах, а именно для этой самой «работы и одновременно с нею»... Посмотрите!

– Знаю. Благими пожеланиями ад вымошен. А что, по-вашему, означает это принижение «толпы» и «революционных организаций», против которых у самодержавия-де есть средства, тогда как против «отдельных личностей» – нет? И это – линия?! Это в лучшем случае неудобоваримый винегрет... я, пожалуй, кончил. Выводы ясны сами собой...

Николай снял пенсне, протер его, потом проговорил, обращаясь к Марго:

– Марго, вы, пожалуйста, проследите, чтоб вся эта литература не забывалась – а то случайно попадет прислуге или еще куда...

Та кивнула головой...

– Товарищ Васильев? Вы хотите?

– Да.

– Пожалуйста.

– Я прежде всего хочу сказать, что, не в пример Николаю Михайловичу, буду называть и его, и других эсдеков товарищами...

– Замечательно благородно. Чувствительно тронут и растроган, – пробубнил Николай, поглядывая на Мадонн... «Однако они хорошенькие, – подумал он, – и откуда это у эсеров столько хорошеньких девиц, и у всех очи к небу...» «Маня, – прошептал он сестре, – правда, Богородицы, а? Не находишь?»

– Будет тебе пустяки болтать... Ты мешаешь. Перестань.

– А как у меня вышло? Ничего? – тихо спросил он снова сестру.

– Ничего. Суховато, как всегда. Но логично. Конец, жаль, скомкал. Но не приставай. Неудобно... Перестань шептаться...

– Итак, товарищи, я должен сделать одно предварительное замечание. Товарищ Яблочкин исходил, как и все марксисты, из схемы. Общая схема капиталистического развития – вот и все. А особенности России? Где они? Их у него не было, они улетучились...

– Самобытники какие! Снова вспомнили!

– Я, товарищи, не заступаюсь за славянофилов, это было бы смешно. Я знаю, что и старое народничество ошибалось. В. В. и прочие, отрицавшие возможность капиталистического развития в России, оказались неправыми перед лицом фактов...

– Слава тебе, Господи! – урчал Николай.

– Товарищи, не мешайте, – строго сказала Марго и выразительно поглядела на Яблочкина.

– Да, они оказались не правы. Но значит ли это, что марксисты оказались правыми во всем? Ничуть. Это было бы величайшим упрощением. У нас налицо самодержавие, которого в Европе нет. У нас в крестьянском быту есть община, мир, которых в Европе нет. У нас есть трудовая, любящая народ интеллигенция, которой в Европе нет. У нас есть литература, стоящая за народ, многострадальная наша великая литература, сознающая свой долг перед народом, литература, какой в Европе нет. Наше студенчество совсем не похоже ни на немецких буршей, со шрамами, рапирами и пивными кружками, ни на оксфордских или кембриджских любителей гребного спорта. Наш рабочий класс...

– Таковой все-таки имеется? И на том спасибо, – не унимался Николай.

– Наш рабочий класс теснейшим образом связан с крестьянством, чего в Европе тоже нет. Обо всем этом товарищ Яблочкин, очевидно, позабыл. Поэтому у него вместо жизни – теоретическая схема. В этом и заключается мертвый догматизм марксистов, которые не видят трепетного сияния великой зари, когда весь народ...

– Ну, пошел теперь чесать... – бормотал Николай. Молодцовы поглядывали на Маню: уйми, мол, брательника...

– Именно потому наш крестьянин не совсем то, что западноевропейский...

– А для Западной Европы кто прав: марксисты или Бернштейн? Вы ведь все списываете у Давида, Герца и другой твари...

– Николай Михайлыч, прошу вас, – умоляюще смотрела Марго.

– Дайте говорить... Мы вас не перебивали, – разом закричали Сима и Мара.

– Извиняюсь и буду нем как рыба...

– Только не как акула, пожалуйста, – добавила Сима.

– А это там посмотрим. *Finis. Silentium*¹³, – отозвался на шутку Николай.

– Во многом критики марксизма правы. Но они делают из совершенно правильных положений неверные тактические выводы. Вот вам ответ... Возвращаюсь к теме. Мы исходим из особых условий развития. Наша мыслящая интеллигенция, которая дала России столько светлых голов и мучеников идеи, которая героически жертвовала жизнью своих лучших сынов, неизвестна Европе. И вы, может быть, знаете, что теперь русифицированное слово «интеллигенция» употребляется в западноевропейской литературе. Это сочетание крестьянской общины, мира, крестьянских наших – я подчеркиваю: наших – традиций с особого типа интеллигенцией и дает триединую формулу: крестьянин – рабочий – трудовая интеллигенция. И Маркс, в письме к Вере Засулич, не исключал возможности другого пути для России... Вы бы его, конечно, зачислили в народники... Но не даром он говорил Лафаргу: я менее всего марксист...

– Очень хорошо! Чудесно! – шептали Сима и Мара. Молодцовы, улыбаясь, переглядывались с Яблочки-ным и Степановым...

– Энгельс писал, что марксизм – не догма. В последних своих письмах он говорил, что и Маркс, и он недооценивали других факторов, кроме экономического, что нужно разрабатывать теорию... А что делаете вы, марксисты? Вы так туго зашнуровали мысль, что стали начетчиками и ничего нового знать не хотите. Вы свою партию превратили в казарму, думаете все, как один, убили всякую свободу критики в своей среде и хотите эту казарму распространить на все и вся. Покорно благодарим, но мы на такие призывы можем ответить только категорическим нет и нет!

– Напугали! – ворчит про себя Николай.

– Да мы вас к себе и не зовем... Нам не такой народ нужен, – не выдержал Иван Молодцов.

– Ваня! Не твое слово, – укоризненно заметила сестра.

– Итак, я полагаю, что все ваши якобы принципиальные инвективы против нашей партии, продолжающей самые героические тенденции русского революционного движения, украшенного сияющими

¹³ Всё. Молчу (*лат.*). – *Прим. ред.*

звездами славных имен, падают. Они продукт сухой догматики, голой схемы, которая не считается с особенностями развития России.

Теперь я перехожу к вопросу о терроре. Но предварительно несколько слов об интеллигенции и «героях». Не ваш ли Ленин в «Что делать?» – к сожалению, у меня нет сейчас брошюры под руками...

– Она у нас есть, – подал реплику Александр Молодцов. – Сейчас найду...

– Тем лучше, можно всегда проверить... Не ваш ли Ленин говорит, что социализм привносится в рабочее движение интеллигенцией? Что без этой интеллигенции рабочее движение погрязает в тред-юнионизме? Так что же вы...

– Пожалуйста, вот вам «Что делать?» – Александр протянул оратору брошюру Ленина.

– Сейчас. – Он стал перелистывать брошюру... – Ага! Нашел... Вот вам: «Мы сказали, – пишет Ленин, – что социал-демократического сознания у рабочих и не могло быть. Оно могло быть принесено только извне». Вы чувствуете всю решительность формулировки? Прямо сказано: только извне... Дальше: «История всех стран свидетельствует, что исключительно своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание тред-юнионистское, то есть убеждение в необходимости объединяться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от правительства издания тех или иных необходимых для рабочих Зс конов и т. п. Учение же социализма выросло из тех философских, исторических, экономических теорий, которые разрабатывались образованными представителями имущих классов, интеллигенцией. Основатели современного научного социализма, Маркс и Энгельс, принадлежали и сами, по своему социальному положению, к буржуазной интеллигенции. Точно так же и в России теоретическое учение социал-демократии возникло совершенно независимо от стихийного роста рабочего движения, возникло – слушайте! – как естественный и неизбежный результат развития мысли у революционно-социалистической интеллигенции...».

Кажется, ясно?

Но вы, именно вы, не сводите концов с концами. Ибо где же в этих строках Ленина ваша пресловутая последовательность классовой точки зрения? Хорош у вас класс, который не может выработать своей идеологии. И хороша классовая точка зрения, по которой выходит, что представители другого класса берут на себя миссию теоретического и практического руководства!

Отсюда вытекает, что, как только вы хотите опереться на факты, вы терпите банкротство. Вы отрицаете роль личности, а создаете культ своего Ленина. Вы мечете громы и молнии против интеллигентских пороков, а возвеличиваете интеллигенцию до небес... Вы говорите о последовательности вашей классовой позиции и разрушаете ее. И вместо того чтобы сделать выводы, т. е. искать более широкой теоретической и практической базы, вы жуете сухие догматические положения...

Но простите, я отошел несколько в сторону. В прокламации, которую здесь цитировал тов. Яблочкин, есть несомненные преувеличения, и наша партия в своем официальном издании, если я не ошибаюсь, отметила это.

– Верно. Это – обычный метод оговорок, – сухо сказал с места Николай. Его уже раздражало то, что эсер перешел от обороны к нападению, и он мобилизовал мысли, чтоб в заключительном слове «набить ему по мордасам».

– Не оговорки, а поправки. Если вы проследите влияние террористических актов, то увидите, что они вызывают то общественное возбуждение, которое форсирует массовое движение и помогает ему. А героические примеры подвигов приучают к тому, чтоб жертвовать жизнь за великое дело освобождения. История не есть фаталистический процесс, как этому учит ваша доктрина.

– Ого! – прохрипел Степанов. – Загнул!

– Она нуждается в подвигах и в жертвах. И наша партия есть та партия, которая поддерживает священный огонь на алтаре Свободы...

Васильев тряхнул кудрями, отер пот со лба рукавом тужурки и сел на стул. Сима пожала ему руку, и глаза ее блеснули... Николай волчком поглядывал на нее: вот дура!

– Кто просит слова? Я думаю, что лучше чередовать ораторов по направлениям. Так будет больше порядка. Хорошо? – спросила Марго, оглядывая всех присутствующих.

– Хорошо, хорошо, – раздалось несколько голосов.

– Тогда я прошу слова, – тихо произнес Александр Молодцов. Он был очень начитанный юноша, занимался усердно древней и средневековой историей и усердно штудировал философию.

– Мне хотелось бы, – начал он, – остановиться на вопросе о классах, и специально о крестьянстве и пролетариате... Что каждая страна имеет особенности развития – это трюизм, и этого не отрицает ни один марксист. Если бы товарищ Васильев внимательно читал «Что делать?», то увидел бы и там, что Ленин необычайно тонко отмечает особенности развития России. Но когда хотят показать, что

тип развития капиталистической России отличается от типа развития других капиталистических стран, то тут уже коренится большая ошибка. Вы, например, – Молодцов сделал жест рукой в сторону Васильева, – утверждаете, что в Западной Европе не было ничего подобного русской интеллигенции... Но это неверно. Возьмем ту же Германию перед 48-м годом. А что такое такие поэты, как Гервег, Шамиссо, Фрейлиграт? Такие писатели-публицисты, как Берне? Такие философы, как Бруно Бауэр? А известно ли вам, что у Бруно Бауэра была, по существу, вся ваша пресловутая концепция о «критических личностях»? Ведь и слова-то те же. Если бы вы знали работу Маркса «Святое семейство», то вы увидели бы, как похожи все эти ваши упражнения на критическую критику Бруно Бауэра. И там – дух и материя, герои и толпа, критические личности и масса. А французская интеллигенция перед и во время великой революции? О ней вы забываете... И здесь очень много сходного и похожего. И здесь вы преувеличиваете самобытность...

Потом... Вы воспеваете самобытность русского крестьянства, наличие общины, «земля – Божья» и так далее. Неужели вы не понимаете, что это все – остатки средневековья, которые наблюдались в свое время повсюду? Неужели вам неизвестны элементарнейшие факты средневековых крестьянских войн, коммунистические крестьянские секты, табориты, катары и другие? Вы ссылаетесь на Марксово письмо к Вере Засулич. Но вы не понимаете смысла этого письма. Там было сказано, что для России можно было бы миновать капитализм и перейти к социализму при условии социалистической революции на Западе. Но ведь вы сами теперь вынуждены признать, что Россия давно вступила на путь капитализма. И теперь она подчиняется уже законам его развития. Эта теоретическая возможность практически уже упущена, и ее уже нет. Так зачем же ссылаться на это?

Александр говорил тихо, спокойно и уверенным голосом. Все внимательно слушали. Никто не перебивал, и для придилок не было поводов.

– Марго, – продолжал он, – пожалуй, напрасно отвлекла Николая от его мыслей по поводу античного люмпен-пролетариата...

Марго покраснела и сделала неопределенный жест рукой... Васильев улыбнулся. Улыбнулись и Мадонны.

– Так вот... Постойте, что я хотел сказать?

Александр на секунду смешался, все мысли выскочили у него разом из головы... Но он быстро поймал их за хвост и продолжал тем же ровным и спокойным голосом:

– Да... Люмпен-пролетариат Рима был беден, жил подачками. Но он не мог быть преобразующей общество силой. Почему? Потому, что не был носителем нового способа производства. Поймите же вы, что современный пролетариат не только беден (кстати, ваши теоретические союзники, бернштейнианцы, отрицают Марксову «теорию обнищания»), но он концентрирован в производстве, он вышколен, организован и объединен самим механизмом капиталистического производства. Все условия его общественного бытия оригинальны. И они вызывают соответствующее общественное сознание...

– А Ленин в «Что делать?»? – едко бросил Васильев и захихикал.

– Я не думал касаться этой темы, но раз вы бросили этот вызов – пожалуйста. Вы просто необычайно плоско поняли Ленина, то есть не поняли его. Пролетариат в капиталистическом обществе – класс, экономически эксплуатируемый, политически угнетенный и культурно придавленный. Поэтому, не выйдя из рамок капиталистического общества, он сам не может овладеть высшими достижениями науки и критически их переработать. Это делают его идеологи, выходцы из других классов...

– Ага!

– Что «ага»? Но они-то переходят на *его* сторону. Они выражают тенденции *его* развития, формулируют их, опираясь на все развитие науки. Они отрываются от своей прежней социальной базы и находят другую социальную базу, а не висят во внеклассовой пустоте. Они – не межклассовая интеллигенция, а выразители классовых интересов пролетариата. Это есть выражение того, что капитализм идет к своей гибели, и это неизбежно видят лучшие умы, у которых капиталистический режим потерял всякий кредит, исторический и моральный, вот и все... Тут нет никакого нарушения классового принципа и никакой трактовки интеллигенции как внеклассового целого. Наоборот...

Позвольте теперь возвратиться к моей теме... Именно потому, что пролетариат, современный пролетариат, воплощает принцип обобществленного, коллективного труда, организованности, солидарности, массового концентрированного действия; именно потому, что он лишен собственности, он и есть единственный последовательно революционный класс. Ничего этого нет и не может быть у крестьянства. Община у нас разъедена – вы этого видеть не хотите. Она стала в значительной мере круговой административной порукой. Крестьянство дифференцируется и пролетаризируется с

поразительной быстротой – вы об этом забываете. Вы хотите заговорить эти процессы, а их заговорить нельзя. У нас будет нечто вроде крестьянской войны против феодалов-помещиков и против их самодержавного государства. Но крестьянство свалит помещика, а не будет им разбито именно потому, что оно найдет себе союзника и руководителя не в Мартинах Лютерах и Гёцах, фон Берлихингенах, а в промышленном пролетариате и его сплоченных батальонах. Не бывало, чтоб деревня вела за собой город.. Город – великий поставщик организующих и руководящих сил. И счастье русского крестьянства состоит в том, что в России вырос – и с каждым часом растет – этот руководитель и союзник. Так нужно ставить вопрос. Я кончил.

– Послушайте, товарищи! Здесь уже сидеть невозможно, так накурили. Я предлагаю сделать перерыв. Вы тут побудьте, я организую чай в столовой, проветрим комнату... А то хоть топор вешай... Да и утомились немного. Идет перерыв? – вставая, спросила Марго: она отлично знала, что у публики уже бурчали желудки...

– Это дело! – весело сказал Васильев, выпуская кольца дыма.

– Не возражаю... Тут действительно черт знает как напакостили... кхе... гы!.. кхе... эти курильщики... – отозвался Николай.

– Пойдем, Марго, я тебе помогу. – И Маня ушла под руку с подружкой.

Через четверть часа в ярко освещенной столовой сидела вся компания, жадно уписывая бутерброды с сыром и колбасой.

– Только чур: здесь не курить, – провозгласила грозно Марго, разливая чай...

– Ну что вам ваш Чернов... «Крестьянин и рабочий, как экономические категории»? Да их всех – и Чернова, и Булгакова, и Давида с компанией Ленин в «Заре» еще расшиб вдребезги... – слышалось на одном конце.

– «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья»? Это вас привлекает в терроре? Но и умирать-то надо с умом, а не за понюшку табаку.

– Материализм – это вообще устарелая концепция... Современная философия стремится преодолеть всякую метафизику, в том числе и материалистическую, – важно проговорил Васильев, жуя калачную ручку. – Подвиньте, пожалуйста, масло... Спасибо... Товарищ Марго, уж дайте мне еще стаканчик...

– Игра терминами. Это у вас тоже отход в буржуазный лагерь. Мода на Канта и агностиков. Пройдет, как и мода на английские штиблеты.

– Нет, что вы ни говорите, а Бельтов с противоречивостью движения...

– Давайте, если хотите, и на эти темы спорить...

– Предлагаю заняться процессом потребления, чтоб скорее перейти на фронт теоретической классовой борьбы... а то уж поздно, – раздался голос Николая.

– Да дайте им отдохнуть немного, – возразила Марго, – а сами-то вы кончили?

– Конечно.

– Возьмите конфет. Вы ведь, кажется, сладкоежка?

– Ошибаетесь. И не курю, и не сладкоежка...

Снова собрались на старое место. Расселись по-прежнему: точно каждый закрепил за собой боевую позицию...

– Уф... черт возьми... какого... ту... ту... ту... холоду напустили, – ворчал Степанов.

– Итак, почтенное собрание продолжается... Кто просит слова? Помните об очередности...

– Позвольте мне, – волнуясь, сделал заявку Лебедев.

– Слово имеет товарищ Лебедев.

– Я хочу взять быка за рога...

– Интересно, заметь, какие у него уши длинные, – зашептал Мане Николай. Та отмахнулась рукой.

– Вы все тут слишком любезничали...

– Вот хорошо! Это мне нравится! – уже громко вскрикнул Николай. – Кхе... Гы! Посмотрим. Послушаем.

– Вот и послушайте... Вы напали, Николай Михайлович, на нас за то, что мы якобы поддерживаем реформистов... Но мы, наша партия, каждым шагом своей борьбы, кровью своей доказываем, что это клевета... Да, самая настоящая клевета... – продолжал юноша, страшно волнуясь. – А судьи кто? Судьи – те люди, которые свою роль видят в том, чтоб подчищать и утрамбовывать дорожки для капитализма, то есть для Колупаевых и Разуваевых, для Морозовых и Четвериковых... Да... да... Именно так... И вы еще смеее бросать нам упреки!

– Горяч паренек. Без узды... ту... ту... ходит.

– А позвольте вас, почтенные марксисты, спросить: куда идут тенденции вашего идейного развития? Кто выступал застрельщиком в атаке со стороны марксистов? Струве, Туган-Барановский, Булгаков, Бердяев и К^о... Где они? Они целиком в лагере буржуазии. Они уже договаривают. Они ставят точки над *i*. Кто писал первый манифест

вашей партии, дорогие оппоненты?.. Вы позабыли?.. Струве, ваш человек, теперешний лидер земцев-конституционалистов, редактор «Освобождения», уже позабывший обо всяком социализме... Марксисты были раньше дворниками капитализма, теперь повысились в чинах, стали из приказчиков хозяевами. Замечательная цена оказалась, цена вашего социализма. И что ж, эта эволюция случайна?

– Чепуху порете, товарищ... ту... ту...

– Брось этого дурака, – зло процедил Николай.

– Нет, не случайна. Раз нужно расчищать пути капитализму, то...

– Это еще Кривенко так возражал!

– То... то и стать в его ряды... то есть... в ряды буржуазии, не зазорно: она ведь прогрессивнее феодализма... А социализм далеко... Вот почему вы и не хотите видеть социалистических моментов общины, мира, кооперации, крестьянства, интеллигенции. Это нарушает вашу схему и... это претит вашему буржуазному нутру... Да... Вот что я хотел сказать...

– Вы кончили?

– Да.

– Кто следующий?

– Пожалуй, я, – сопя и фыркая, скороговоркой ответил Степанов.

– Я... знаете... ту... ту... не блестящий оратор... Но... черт вас подери, какой вы, Лебедев, тут чепухи... ту... ту... наговорили, уши вянут... Что значит расчищать пути?.. Вы об этом не подумали... Должны ли мы бороться... ту... ту... со всеми остатками феодализма или нет?.. Вы даже не понимаете того, что вы сами делаете... Борьба с самодержавием есть борьба с важнейшим феодальным институтом, и свалить самодержавие – значит расчистить пути для развития капитализма, на базе которого и в процессе развития которого наша задача есть задача организации сил для борьбы против капитализма. Ах, как это... ту... ту... мудрено понять! Когда во Франции якобинцы рубили... ту... ту... голову Людовику Шестнадцатому, они воображали, что наступает царство свободы, равенства и братства. Они были полны иллюзий так же, как... ту... ту... и вы. А у нас нет иллюзий... Нам не брильянтовые... ту... ту... фразы... не грезы... нужны, а трезвое дело, не трезвенное, а трезвое – заметьте разницу. Мы царизм свалим наверняка. Но для нас тут-то и начнутся самые... ту... ту... трудные задачи дальнейшей борьбы за социализм... А у вас он точно сам собой явится... О Струве... Кто первый разоблачил Струве? Ленин. Верно или нет? С кем идет сейчас Булгаков? С

Черновым! Все аргументы в его двухтомном «труде» «Капитализм и земледелие» те же, что у Чернова, только пообстоятельнее... Кто ближе к теперешнему Струве? Конечно, вы... Та же фразеология, общенациональная, и общечеловеческая, и общекультурная, и общенародная, и я уже не знаю как...

– Все?

– Да я... ту... ту... хотел... еще... Да ну ладно, довольно. – Степанов махнул рукой и сел.

– Что ж ты так мало? – спросил Николай. – Начал и оборвал?

– Ей-Богу, надоело. Из все равно... ту... ту... не просветишь... Да и на кой ляд они мне нужны? Видишь, что за фрукты... Кончатъ надо...

– Кто еще желает слово? Сима? Мара? Девушки отрицательно покачали головой.

– Тогда, Николай Михайлыч, заключайте!

– Кхе, гы! Кхе... Я не буду... кхе... растекаться мыслию по древу... Тут за меня многое сказал Александр. Постараюсь покороче... Опять накурили... Гы! Кхе...

На первый мой вопрос я не получил вразумительного ответа. Я говорил, что в расколе всего международного социализма на марксистов и реформистов эсеры в общем стоят на позиции Бернштейна, Давида и К°, то есть на позиции Brentana и буржуазных критиков марксизма. Здесь ведь третьего нет. Об анархистах-кропоткинцах или французских синдикалистах эсеры пока не говорят. Что же мне ответил почтенный оппонент? В теории они правы, но выводы делают ложные. Нет уж, простите: у них теория и практика весьма связаны друг с другом. Но как же тогда объяснить, что в России эсеры занимают революционную позицию? Что они ее занимают, я и не думаю отрицать... Объяснение простое. На Западе идет вопрос всерьез о социализме; у нас – пока, до разгрома самодержавия, о буржуазно-демократическом перевороте. Как демократы эсеры революционны. И западноевропейские реформисты весьма сочувствуют буржуазно-демократической революции. А социалистической они боятся. То же и эсеры. Их социализм не революционен. Их революция не социалистична. Верна их характеристика: это – «либералы с бомбой».

Во-вторых... Кхе... Кхе... Оппонент поучал здесь нас насчет оригинальности российского развития. Александр приводил весьма удачные примеры, показывающие всю узость эсеровской аргументации. Я скажу несколько слов о другой стороне дела.

Главная особенность нашего капитализма состоит в том, что он развивается в условиях самодержавной власти помещиков-крепостников и что в поземельной собственности этих крепостников и их государственной власти заключается причина особо тяжелого и болезненного развития. Отсюда – заинтересованность в разгроме самодержавия не только со стороны рабочего класса, но и всего крестьянства и даже буржуазии (которая потом не преминет испугаться рабочего). Эта конфигурация сил и создает иллюзию единого народа. Но мы-то должны понимать его слагаемые, удельный вес и соотношение классовых сил внутри этого «народа». Крестьянин у нас не совсем такой, как на Западе... Верно. Но оппонент ни единым словом не опроверг ни указания на характер мелкого товаропроизводителя, ни указания на его дифференциацию. Здесь ахиллесова пята эсеровской концепции, и здесь, в замазывании классовых противоречий, которые обнажатся со всей силой на другой же день после ликвидации самодержавия и помещиков, и скрыты корни их потенциального реформизма. Когда либералам с бомбой перестанет быть нужна бомба, они станут просто либералами...

– Возмутительно! – вскричал Лебедев.

– Возмутительно, но это будет... Согласен... кхе... кхе... что возмутительно...

– Не то возмутительно...

– Да я вас отлично понимаю... А вы простой иронии не понимаете... О пролетариате и крестьянстве, по существу, основное сказал Александр, о письме Вере Засулич – тоже. Два слова о терроре. Видите ли, у нас сейчас начало 1903 года. За 1902 год я вел подсчеты массовым так называемым беспорядкам. Невредно их огласить...

Николай снова полез в карман и вытащил мелко исписанную маленькую клеенчатую записную книжечку. Уткнувшись носом в ее листочки, он читал:

– «22-го января – демонстрация рабочих и студентов в Киеве, столкновение с полицией. 2–6 февраля – стачка рабочих Брянского завода. 8 февраля – избивание студентов в Народном доме в Питере. 9 февраля – студенческое движение в Москве и массовые аресты. Февраль – беспорядки в Финляндии в связи с призывом. Февраль–март – стачки, демонстрации и столкновения с войсками в Батуме. 19 февраля – демонстрация социал-демократических рабочих в Москве против зубатовцев. 19 февраля – демонстрация в Ростове-на-Дону. 3 марта – демонстрация рабочих и студентов в Петербурге, столкновения с полицией. Конец марта – крестьянские волнения в

Харьковской и Полтавской губерниях. Март – демонстрации во всех крупных городах Финляндии. 26 марта – беспорядки на Боткинском уральском заводе. 18 апреля – демонстрация в Финляндии в связи с новым воинским уставом. Май – первомайские массовые демонстрации в Баку, Сормове, Нижнем, Саратове, Одессе и ряде других городов. 9 мая – беспорядки на ст. Тихорецкой. Летние месяцы – крестьянские волнения в Саратовской, Тамбовской, Новороссийской, Ставропольской губерниях, волнения в Гурии. 23 июля – стачка железнодорожников и рабочих-машиностроителей в Киеве. 13 сентября – стачка в железнодорожных мастерских в Красноярске...».

– Да что вы все это вычитываете? – взорвался Лебедев.

– Читайте, читайте! Очень интересная картина в целом, – закричало несколько голосов.

– Зачем читаю – сейчас увидите. Забавно ваше невнимание к такой «прозе»...

«12 ноября – съезд финнов и резолюции о пассивном сопротивлении; 2–23 ноября – стачка в железнодорожных мастерских Владикавказской железной дороги, стачки на фабриках и заводах в Ростове-на-Дону, массовые митинги, демонстрации, применение правительством вооруженной силы. 17 ноября – избиение рабочих на Тихорецкой. 21 ноября – демонстрация в Тифлисе. 9 декабря – стачка в Батуме...». А теперь, господа, скажу только, что 1903 год дает огромное повышение движения... Для чего я это вычитывал? Сказать по секрету? – Николай весело поблескивает пенсне. – Так и быть, скажу. Знаете ли, только слепой после этого не увидит, в чем сейчас гвоздь революционной политики. Просыпается и развивается громадное массовое движение. Оно требует агитаторов, пропагандистов, организаторов, смелых и последовательных руководителей... Оно растет без всяких эксцитативных терроров, индивидуальных эффектных фейерверков и сенсаций. Это – серьезнейшее и решающее дело, и оно определяет линию. Отвлечение от этой работы в сторону «героического единоборства» есть дезорганизация массового движения, и тут, господа, нужно выбирать, а не сидеть между двумя стульями... Вы теперь поняли, надеюсь, для чего я так долго останавливался на этой, такой скучной для вас, материи?

Одно слово о казарме. Оппонент пугал нас казармой. А я слов ни капли не боюсь. Есть казарма и казарма, как есть солдаты и солдаты. Мы строим нашу партию не как, извините, сброд разнокалиберных лебедей, раков и шук, а как партию единомышленников, и притом как

военную партию. Да, как военную. Ибо революция есть гражданская война, вооруженное восстание есть война. Эту войну надо «готовить», и партия должна быть военной партией. Это вам не нравится, что ж поделать! Значит, вы делу предпочитаете пустомельство. Что же касается суровости нашей, нетерпимости и т. д. в связи с криками о «свободе критики», то позвольте и мне, подражая моему оппоненту, сослаться на ленинское «Что делать?»... Дайте-ка мне, Марго, брошюру... Вот что пишет Ленин о сем предмете:

«Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами и не оступиться в соседнее болото, обитатели которого с самого начала порицали нас за то, что мы выделились в особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь примирения. И вот некоторые из нас принимают кричать: пойдемте в это болото! – а когда их начинают стыдить, они возражают: какие вы отсталые люди! и как вам не совестно отрицать за нами свободу звать вас на лучшую дорогу! – О да, господа, вы свободны не только звать, но и идти куда вам угодно, хотя бы и в болото; мы находим даже, что ваше настоящее место именно в болоте, и мы готовы оказать вам посильное содействие к вашему переселению туда. Но только оставьте тогда наши руки, не хватайтесь за нас и не пачкайте великого слова “свобода”, потому что мы ведь тоже “свободны” идти, куда мы хотим, свободны бороться не только с болотом, но и с теми, кто поворачивает к болоту!»

Сим победишь. Schluss.

– Собрание закрывается... Эсеры поднялись. За ними остальные...

– Товарищи! Не спешите! Расходитесь только поодиночке...

Исключение для девиц...

– Маня, я пойду с Мадоннами. Не возражаешь? – спросил Николай.

– Мне-то что... Но ты, кажется, вырос и в этом отношении? А? – заметила Маня, не без удивления поглядывая на брата...

– В революционные времена год стоит десятилетия, – смеясь, ответил он.

На улице было тихо... Шаги гулко отдавались по переулочку... Шел крупными хлопьями снег... Бесшумно падали, выплывая из тьмы и кружась у фонарей, белые снежинки и покрывали мягким, рыхлым пуховиком тротуары, тумбы, сани и спину полусаснувшего на углу и не совсем трезвого извозчика...

Министр внутренних дел Сипягин был убит 2 апреля 1902 года студентом Балмашовым, который вскоре был казнен по приговору военного суда в мрачной Шлиссельбургской крепости. На место Сипягина царь назначил матерого жандарма с большим полицейским опытом, Вячеслава Константиновича Плеве, еще в восьмидесятых годах специализировавшегося на охоте за народовольцами. Это был старый полицейский волк, «вахмистр по воспитанию и погромщик по убеждению», как его определял впоследствии либеральничавший князь С. Д. Урусов. Карьерист, циник до мозга костей, не стеснявшийся ничем и ни перед чем не останавливавшийся, Плеве обещал царю в три месяца покончить с «гидрой революции», чему царь был немало обрадован: ему импонировала такая решительность и такой волевой напор, – и в момент разговора с фон Плеве он почти верил, что этот чербер перегрызет горло поднимающейся крамоле.

Царь назначил Плеве главным образом под влиянием испуга. Но сознательную форму этому испугу, его оправдание, прикрытое высокими словами о благе России, ответственности перед историей и т. д., придал царский советчик, князь Мещерский, издатель «Гражданина», один из тех нечистоплотных авантюристов, которые всегда выплывали при дворе императора и ловкими закулисными ходами, сплетней, доносом, шантажом, изысканным пресмыкательством и византийской лестью и раболепством сколачивали себе политический капитал. И при Александре III, и при Николае он получал, по прямому распоряжению государя, ежегодно по восьмидесяти тысяч рублей из государственной казны, писал часто этим царям письма со своими политическими советами, получал письма от них, причем самодержцы обращались к нему на «ты», что было особым знаком монаршей милости. У него были избранные объекты сократической любви, которых он называл своими «духовными сынами», начиная от красивого трубача лейб-стрелкового батальона и кончая часто сменявшимися молодыми офицерами, за которых князь ходатайствовал перед различными министрами, а в случае отказа писал о них пасквильные обличительные статьи: найти грехи у любого из бюрократов не представляло большого труда. Многие, даже из придворных кругов, считали его грязным человеком и ненавидели его, но в то же время боялись и трепетали, зная его связи и подозревая, что он чем-то держит в руках и шантажирует весьма высокие сферы. Конечно, этот

поклонник античного эроса был истинным патриотом, что «Гражданин» однажды выразил в такой политической сентенции: «Там, где все думают про представителя власти: он посмеет высечь, – там есть и подчинение власти, и спокойствие».

Так вот именно этому человеку, больше чем кому бы то ни было другому, Плеве был обязан своим продвижением на пост самого сильного министра Российской империи. Плеве был из поляков – поэтому он терпеть не мог никого, кроме русских. Плеве сам не верил ни в Бога, ни в черта: он был не глуп. Но, получив назначение, он тотчас же экстренным поездом отправился из Петербурга в Москву, а из нее – в Троице-Сергиевскую лавру приложиться к мощам великого святителя земли русской, святого угодника Сергия Радонежского, издревле чтимого царями Московии и императорами всея Руси: это должно было понравиться и царю, и царице, и Сергею Александровичу, вочина которого украшалась знаменитою богатой святыней. Приложиться к мощам ему было тем более необходимо, что непосредственным дальнейшим шагом министра являлась поездка в Харьков: ему нужно было там одобрить от имени правительства жестокую порку крестьян, произведенную харьковским губернатором, сиятельным князем Оболенским, а заодно повидать и обнаруживавшего большие полицейские дарования прокурора судебной палаты А. Лопухина. Не так давно по югу России прокатилась волна аграрных беспорядков, «красный петух» лизнул кое-где старые барские усадьбы, мужички, задохавшиеся от малоземелья, заговорили о барской земле... Беспорядки были усмирены, а порядки наводил князь, лично объезжая бунтовавшие деревни и присутствуя при бесчеловечной экзекуции: ему доставляло даже некоторое удовольствие видеть, как из-под задранных рубашек текла красная мужицкая кровь...

– Вы и не того дождетесь, сволочь! Хамы! Бунтовщики! За ребра вешать буду... Благодарите Бога, что одной ж... отделались...

Выпоротые мужики кто лежали пластом на земле, кто стояли молча, с накипевшей лютостью в глазах: отольются кошке мышкены слезки...

Теперь царский министр приехал на место сражения. Он похвалил князя за честную защиту престола и представил его к награде: князь получил звание генерал-адъютанта и должность генерал-губернатора Финляндии.

Сидя в губернаторском доме, за хорошей охраной, Плеве приказал вызвать Лопухина: у него были на него свои виды...

Лопухин происходил из старинного боярского рода. Семейные предания доводили генеалогическую нить до полумифического

былинного касожского князя Редеди. Жена Петра Великого Евдокия, последняя из императриц русской крови, носила фамилию Лопухиных, и, хотя свирепо-неумный муж и сослал ее в монастырь, семейные традиции чтит ее память как представительницы рода. Теперь Лопухины оскудели, прежнего величия не осталось, но все же Алексей Александрович получил по наследству больше тысячи десятин земли. Он кончил университет и быстро стал подвигаться по служебной лестнице. Довольно образованный, отлично владевший языками, с большим самообладанием, тщеславный и честолюбивый, барин и сибарит, он принадлежал к тем молодым карьеристам, перед которыми открывались широкие перспективы, тем более что, служа самодержавию, они были вхожи и в либеральные круги: Лопухин приговаривал мужичков к свирепым карам и в то же время был интимным другом профессора Сергея Трубецкого, либерального князя, одного из столпов земского движения, почитателя Владимира Соловьева и специалиста по Платону и гностикам. Жандармы от него были в восторге, так же как и охранники: он всегда шел на предварительный сговор с ними.

Чистенький, гладко выбритый, волосы ежиком, в пенсне, со слегка раскосыми глазами, он явился перед грозные очи Плеве. Плеве сидел в кабинете, за письменным столом, насупившись, свеся свои густые моржовые жандармские усы и вращая крупными, навывкате белками...

- Чем могу служить, ваше высокопревосходительство?
- Садитесь, Алексей Александрович. Прошу. И потом: без титулов...
- Слушаюсь.
- Вы курите? Пожалуйста...

Щелкнул массивный серебряный с позолотой портсигар... Окно в сад было открыто... Солнечный луч падал на бронзовый подсвечник и теперь пронзал подвижные, тающие кольца дыма, проявив их душистую голубизну... В саду цвели яблони, и легкое дуновение ветерка заносило иногда лепесток, нежный и легкий, который, кружась, падал на гладкий, как зеркало, паркетный пол... Щебетали птицы...

– Так дело вот в чем, Алексей Александрович. Я хотел бы знать ваше мнение по поводу аграрных беспорядков... И притом ваше откровенное мнение...

- Слушаю-с...
- Что князь перепорол бунтовщиков – это превосходно... Безнаказанно таких вещей оставлять нельзя, и твердость была здесь необходима... Не так ли?

Плеве исподлобья взглянул на небольшую фигурку Лопухина...

– Разумеется. Я с вами вполне согласен...

– Но этим дело не исчерпывается... Нужны и предупредительные меры... Я теперь отвечаю за спокойствие и династии, и всей империи... Но профилактика требует и верного диагноза, и верного определения причин болезни... Па... Как это у медиков называется? Позабыл уже... Стареть стал...

– Патогенезиса.

– Вот именно. Так я и хотел просить вас, Алексей Александрович, изложить мне ваши соображения по совокупности этих вопросов... Но только, пожалуйста, без всяких стеснений – иначе для меня все это не будет представлять никакой ценности. Вы же понимаете, что официальным материалом я обладаю в избытке...

И Плеве указал коротким пальцем на лежавший на столе туго набитый, вздувшийся горой кожаный портфель с серебряными застежками и вензелями.

– Само собой разумеется, что наш сегодняшний разговор – строго конфиденциален. Вот и вся моя к вам просьба...

Плеве замолчал и вопросительно уставился на Лопухина.

Лопухин стал быстро соображать: для чего ведет Плеве с ним этот разговор? Что за этим воследует для него, Лопухина?.. Превосходно зная среду, он понимал, что это неспроста; что Плеве его зондирует; что он, Лопухин, ему нужен не только как источник информации... Ведь министр теперь будет сменять штаты: новая метла чисто метет, чьи-то головы полетят, чьи-то вознесутся...

И молодой карьерист почувал, что пахнет жареным, почувал всем своим существом.

Он бросил на Плеве серьезно-преданный взгляд, как будто задумавшись и собираясь с мыслями...

Шмель влетел в окно и, гудя, бился о верхнее стекло, то поднимаясь с густым жужжанием, то бессильно падая вниз...

– Я должен сперва заметить, ваше высокопревосходительство... Вячеслав Константинович... что ваш вопрос до известной степени застал меня врасплох... И потому прошу извинить за несистематичность изложения...

– Это пустяки, – отозвался Плеве.

– Затем, мои критические замечания суть частные замечания, которые не затрагивают коренных основ нашего государственного бытия... Я должен это подчеркнуть во избежание всяких возможных недоразумений...

– По этому поводу вам совершенно нечего беспокоиться, Алексей Александрович...

– Слушаю-с... Мне кажется, что следует признать волнения, имевшие место, отнюдь не случайными, а глубоко симптоматическими. Они являются первыми ласточками большого аграрного движения или, чтоб ставить точки над *i*, стихийной революции... Причины коренятся, насколько я могу судить, в общих условиях нашей жизни; их много, и главными из них, на мой взгляд, являются...

Плеве грузно повернулся в кресле и облокотился рукою на стол. Лопухин приостановился...

– Пожалуйста, продолжайте. Я внимательно вас слушаю...

– Главными патогенными факторами являются: невежество крестьянского населения, невежество и темнота, которые дают достаточную опору всяческим злоумышленникам, мечтающим о лаврах Пугачева и Разина; страшное обнищание крестьянства, разоренье, голодовки, условия материального быта вообще – я бы вам мог дать подробную статистическую картину по ряду наших губерний... полнейший индифферентизм властей к материальным и духовным нуждам крестьянства; наконец, мелочная опека урядников, станowych, земских начальников, исправников, губернаторов и т. д., направленная часто против живых и элементарно необходимых интересов крестьянского двора и личности крестьянина, начиная с интересов его собственности... Местные власти далеко не проникнуты той мыслью, что самодержавная монархия должна в значительной мере опираться на консерватизм и преданность престолу многих миллионов крестьян; что уничтожение этой традиционной веры и преданности династии чревато неисчислимыми последствиями; что, наконец, податное сословие должно развивать свое хозяйство, чтобы платить и иметь возможность платить все больше, ибо потребности государства – я говорю о финансовых потребностях – неизбежно будут расти, это, так сказать, закон природы. Административный наш аппарат не приспособлен к выполнению выросших задач, и здесь, Вячеслав Константинович, нужны известные реформы... Без них...

– Без них – революция неизбежна. Я вполне с вами согласен. Она надвигается и из города, и из деревни, и если городские забастовки соединятся с пугачевским бунтом, то положение может сложиться угрожающее...

– Вот именно...

– А что вы скажете – я вполне разделяю ваш диагноз – об идее создания некоего суррогата конституции? – спросил Плеве, следя за изменением лопухинского лица...

– Я не стою на точке зрения конституционной монархии. Но о какой форме суррогата вы изволите говорить?

– Например, в форме привлечения общественных организаций – земств, дум и т. д. – к работе Государственного совета. Ведь эти крикуны – тоже величина и источник смуты... Если выбросить им кость... Да потом взять в руки дело выборов... Как вы думаете?

– Я думаю, что этот план рационален. Но в то же время необходимо поставить рационально и дело репрессий, подавления смуты... Политическая мудрость уже давно говорила о необходимости кнута и пряника... Это весьма прискорбно, быть может, с точки зрения абстрактного гуманизма и бредней какого-нибудь Толстого... Но нам, ответственным за судьбы страны и монархии-Плеве привскочил с кресла, потом снова опустился...

– Я, Алексей Александрович, крайне рад, что вы первым затронули эту тему. В этом пункте, я опасался, между нами будут разногласия. Теперь я вижу, что вы отлично понимаете всю сложность положения, которое требует от нас комбинированных методов воздействия... Реформы – благоразумные реформы – не исключают, а предполагают беспощадное подавление мятежа и всех проявлений анархического движения...

– Я тоже так думаю...

Наступила минута молчания. Плеве на самом деле вовсе и не помышлял о каких бы то ни было реформах. Но, внимательно следя за перепиской Лопухина и перлюстрируя все его письма, старый жандарм отлично знал о кокетничанье молодого прокурора с либералами-конституционалистами. У него же была давняя привычка использовать таких людей главным образом с точки зрения их связей: что они пойдут далеко навстречу – об этом говорил ему многолетний полицейский опыт. Поэтому он играл с Лопухиным, вполне уверенный, что из этой игры он выйдет победителем. Лопухин со своей стороны рисовал себе картины блестящей карьеры и уже готов был идти на все, лишь бы обеспечить себе твердую позицию в открывающейся для него перспективе. Он насторожился и ждал...

– Тогда позвольте мне, Алексей Александрович, сделать практические выводы из нашей откровенной беседы...

Плеве приподнял голову и посмотрел Лопухину прямо в глаза. Лопухин молчал.

– Я, – продолжал министр, – предлагаю вам пост директора департамента полиции... Как вы смотрите на этот вопрос?

Лопухин быстро соображал... Директор департамента полиции – один шаг до министра внутренних дел... Плеве стар... Да и...

– Я согласен, ваше высокопревосходительство...

– Тогда позвольте вас поздравить... Я очень, очень рад...

Плеве поднялся с кресла и протянул Лопухину руку. Лопухин тоже встал, и рукопожатие скрепило состоявшуюся сделку...

Завербовав себе нового директора департамента, Плеве для видимости затребовал уйму докладных записок о реформах и оставил их дозревать в больших, аккуратно сложенных папках. Свое дело – дело удушения рвущейся вперед жизни – он решил поставить на прочные основы, сосредоточив его в руках любителя и артиста, человека, словно родившегося для полицейского розыска, провокации и застенков, Зубатова. По виду своему Зубатов никак не мог производить впечатления опытного полицейского пса. Скорее он походил на типичного российского интеллигента, и по своему внешнему виду, и по манерам, и даже по привычкам. Небольшая бородка, прямые, зачесанные назад темно-русые волосы, пиджачок – он выглядел белой вороной среди голубых жандармских мундиров, лихо закрученных усов, шпор и эполетов, бритых подбородков и лязга сабель. К этому времени он из мелкого предателя вырос уже в начальника московского охранного отделения. Честолюбивый и властный, он был несколькими головами выше своих дубоватых коллег: под практику палаческого своего дела он подводил идеологию, а как практик претендовал на большой размах. Он был в России настоящим отцом полицейского социализма, в котором удивительно переплелись обрывки западноевропейских идей так называемой социальной монархии, официального славянофильства, тихомировщины и основных традиций Третьего отделения.

Против массового рабочего движения он насаждал полицейские организации из рабочих, поддерживал иногда экономические стачки, культивировал разговоры о бытовых нуждах рабочих, изображая революционную идеологию как злонамеренный продукт, ничего общего не имеющий с действительными интересами рабочих, о которых печется отец народа, самодержавный монарх, кто стоит выше всех классов и сословий... Зубатов привлекал к чтению лекций и профессуру: хромоногий финансист, профессор И. Х. Озеров, на словах даже кокетничавший с Марксом, был одним из деятельных агентов зубатовщины в Москве. В Одессе Зубатов посадил «доктора

философии» Шаевича. В Петербурге у него зацвело, как и в Москве, целое «рабочее» общество, куда навевались и профессора, и жандармы, и генералы, и попы, вдруг восплававшие великою любовью к меньшому брату... Напрасно некоторые капиталисты и бюрократические звезды, вроде Витте, ворчали, предупреждая, что это – игра с огнем, что движение перехлестнет через полицейские рогатки, что затеи охраны обратятся против нее самой, что полиция не может вызывать стачки и руководить ими... Зубатов продолжал свою линию, строя идеал полицейской узды над всем рабочим движением... Одновременно он лихорадочно реформировал полицейскую технику: ввел фотографированье арестованных, таблицы Бертильона с классификацией примет; дактилоскопию, где по отпечаткам пальцев на руках опознавались революционеры, скрывавшиеся под чужими паспортами; создавал кадры обученных филеров и провокаторов. Он самолично инструктировал жандармских офицеров и охранных плутов, разъясняя, как нужно запутывать людей, отводя подозрения от агентов полиции и наводя их на честных. «Вы, господа, – говаривал он, – должны смотреть на сотрудника, как на любимую женщину, с которой вы находитесь в тайной связи. Берегите ее как зеницу ока. Один неосторожный шаг – и вы ее опозорите». Особенно он дорожил провокаторами среди террористов...

Вскоре после убийства Сипягина, по прямому предложению Плеве, во главе боевой организации партии эсеров стал питомец Зубатова, старый провокатор Евно Азеф. Основные фигуры полицейского мира были расставлены на свои посты.

После смерти Андрюши Коля Петров не находил себе места. Он переживал глубокий душевный кризис: казалось ему, что перед ним разверзлась бездонная пропасть и он ходит по самому ее краю. Весь мир потускнел, все краски поблекли, все звуки затихли: на все легла бледная мертвенная пелена, полная тайного ужаса и невыразимой скорби. Колина душа точно опрокинулась на мир, и в его сознании этот мир либо переставал существовать, делаясь незначительным, неважным и незаметным, либо сам казался напоенным до краев страшной отравой и глядел на Колю призрачными мертво-зелеными глазами. Сон, греза, бред, действительность – все сплелось, перепуталось в вихре мучительных образов, вопросов, на которые нет ответа, загадок, которые нельзя отгадать, проблем, которые нельзя решить. Коля осунулся, похудел, стал уединяться. Тоска грызла его ежеминутно. Он уходил один в армянский сад, садился прямо на снег и думал... Выползал на улицу и бесцельно бродил, разговаривая сам с собой, растопыря пальцы и жестикулируя, натываясь на прохожих, которые, спеша, вдруг оглядывались и смотрели, остановившись на секунду, чтобы потом опять бежать по своим делам... Коле все было тогда безразлично: пешеходы, извозчики, оглобли, которые чуть не заезжали ему в лицо, мальчишки, кричавшие ему что-то; он целиком уходил в себя и жил в своем страшном фантастическом мире. Он автоматически ходил в гимназию, автоматически отвечал учителям, автоматически бродил по коридорам, и все окружающее – шум, гам, уроки, учителя, товарищи – доносилось до него, точно сквозь толстый пласт воды.

– Петров у нас словно спятил...

– Эй, Маленький, чего ты, опупел?

– Оставь его. У него брат умер...

– Ааа... Ну, хрен с ним тогда... А не нужно его расшевелить?..

– Пробовали. Ничего не выходит... И Колю оставляли в покое.

А Коля не знал утешения. Всюду ему чудились наполненные слезами, укоряющие Андрюшины глаза...

Господи, да как же вернуть прошлое?.. Коля видел тоненькие ручонки брата, маленький носик, ощущал родную теплоту хрупкого тельца, бесконечно близкую связь... И чем нежнее было ощущение этой связи, чем ярче и непосредственнее чувство близости и почти

плотского единства, тем мучительнее, страшнее, чудовищнее становились терзания... Да стоит ли все остальное одной Андриюшиной слезинки? Что все поступки, добродетели, подвиги, искупления, когда нельзя вернуть прошлого... Милый Андриюшечка! Андрейчик!.. О Боже мой!.. Что бы я отдал, чтоб ты не умирал. Всю жизнь... Без секунды колебания! Чтоб не было укоряющих глаз... Как бы я тебя любил, берег, охранял... обнимал бы твою шейку...

Иногда для Коли все, все ценности мира сосредоточивались в Андриюшиной слезке, и казалось, что здесь таятся последние глубины бытия. Он скорее ощущал это, чем мыслил. Понятия были расплывчаты и туманны, но какое-то непосредственное чувство обволакивало его целиком и пожирало его своей универсальной скорбью... Но как же – вдруг очнувшись, спрашивал он себя, – этого уж нет, оно не существует, то время прошло... пойми, Андриюши нет, и нет уж его слезы... А глаза его стоят передо мною... Что ж это такое? И виноват ли я?.. Ведь узнать нельзя... Какая мука! Нет, так жить нельзя, и ни к чему...

Однажды ночью Коля не спал и, лежа с открытыми глазами, думал... Думал все о том же... Где-то ожесточенно скребла половицу мышь... Луна светила через окно, бледная и холодная. Стенные часы отбивали маятником, словно вопрошая: кто ты? что ты? кто ты? что ты? кто ты? что ты?..

«Кто же я в самом деле? И что я? И для чего я?..»

Коля пробовал уснуть. Невозможно. Мысли налезали, и толпились в голове, и раздирали сердце. Нужно кончать!..

Коля осторожно слез с кровати... Никого... Никакого звука... Все тихо в доме... Только часы назойливо вопрошают: кто ты? что ты?

Коля связал два полотенца, сделал петлю, привязал конец к оконной ручке...

... Нужно ли?.. Нужно... Ах, скорей бы все кончилось... Не видеть... Не слышать... Не знать... Не мучиться... А луна светит...

Кто ты? Что ты? Кто ты? Что ты?.. У Коли бьется сердце, тревожно и тоскливо...

Он сует голову в петлю и откидывается... Точно схватили неумолимыми лапами... Душно!.. И вдруг горячая блаженная молния пронзила сердце, и все померкло...

Коля очнулся на полу: полотенце развязалось у оконной ручки и не додушило его до конца.

Луна по-прежнему светила холодно и бесстрастно. Так же неумолимо ровно тикали часы... Было? Не было? ... Коля вспомнил все и не верил, и верил... Он быстро встал и сел на кровать... На секунду что-то вроде радости, что он жив, промелькнуло у него, и ощущения жизни, своего тела, своего сознания, матраца под собой, лунного луча, звуки часов вдруг наполнили его внезапно прилившей волной какой-то бодрости... А потом его охватила усталость, смертельное утомление: он стал зевать, широко раскрывая рот; ему казалось, что он вывихнет себе челюсти от этих зевков... Какая глупость, – думал он, следя за собой, – смерть была так близка, а теперь я зеваю, зеваю, как животное... Боже, как хочется спать!..

Коля свернулся, чтоб забыться, и уснул как убитый, тяжелым каменным сном.

Наступили дни новых раздумий. Один вывод был ясен Коле: нужно любить людей, беречь их. А то выходит: что имеем – не храним, потерявши – плачем. Коля стал серьезнее, прекратил шутки над товарищами, стал до болезненности чуток, почти до чудачества деликатен. Он боялся обидеть, рассердить – уж не говоря о том, чтобы сделать больно... И в то же время он чувствовал глубокую потребность как-то обобщить разбегающиеся мысли, получить устойчивую уверенность, обрести по-настоящему смысл жизни... Он перебирал клочки разных мировоззрений, которые так или иначе задевали его, и не мог найти ответа своим наивным – сколько людей ими мучилось! – вопросам... «Разумный эгоизм» Писарева? Блестяще, увлекательно... Как будто даже научно... Гордая трезвость... Ну а как же быть с героями, шедшими на смерть, мучениками науки? А Муций Сцевола, а герои Плутарха? Буры?.. Революционеры?.. Уриэль Д'Аоста?.. Нет, тут все-таки чего-то не хватает... Какой же это разумный эгоизм, когда самое его ставится на карту?.. В Евангелии сказано: «Больше сия любви несть, аще кто душу свою положит за други своя...» Конечно, это все ерунда, хотя Христос был Бог. Но он был вождь бедняков в свое время... И разве там нет хороших мыслей... Да, но можно ли любить всех людей? И не изгонял ли бичом сам Христос торгашей и менял, ростовщиков? За что их-то любить, эту сволочь?.. А потом эта проповедь нищенства, отрицание земного... Разве не прав Гейне в «Зимней сказке»? Разве не привела эта проповедь к монашеству, аскетизму, дуракам, вроде Симеона Столпника, к казням ведьм и черт знает к чему?.. А с другой стороны... Почему любить только людей? А животные? Ведь утверждают некоторые ученые, из тех, кто не верит в Бога, что между

европейцем и готтентотом или бушменом больше разницы, чем между бушменом и шимпанзе? Ведь человекообразная обезьяна – двоюродный брат человека... И все живое – родственно... И все родственно... Франциск Ассизский говорит: брат мой ветер, сестра моя ночь... Это, положим, уже чепуха на постном масле: обожествление или очеловечение природы, религия... Черт с ней... А буддисты, которые проповедуют любовь ко всему живому, к зверю, к цветку, к былинке? Где ж тут остановиться? Неужели ухаживать за блохой, бояться раздавить комара, как учат некоторые индусские секты? Или только не есть трупов, мяса, как Толстой?.. Не поймешь... Все так запутанно... Может, атараксия древнегреческих мудрецов? Бесстрашие, равнодушие? Но они похожи на неразумных эгоистов: носятся каждый со своей добродетелью... А другим от этого ни тепло, ни холодно... Это чтоб пальцем на себя указывать: «Ах, какой я хороший! Ах, какой я мудрый! Ах, какой я добродетельный!» Чепуха! Чепуха явная... А не похоже ли это на толстовское непротивление злу? Сиди, зла не твори, но никого тоже не трогай? Коля вдруг вспомнил, что он где-то прочитал, как тургеневская хозяйка-немка сказала раз писателю: «Эх, Иван Сергеич, не надо быть грустный, mann soil nicht traurig sein; жисть – это как мух: пренеприятный наксеком! Что дэлайт! Тэр-пэйт надо!..» Хорош «наксеком»... думал Коля... Это ужас, ад, а не «наксеком»... Нет, именно терпеть нельзя... Нельзя терпеть... Какую цитату из Маркса Тося мне перед смертью приводил!.. Точно колокол... Нужно искать... Читать...

Раз Коля сидел тихо один и читал Достоевского. И вдруг напал на место, которое потрясло его до глубины души. Это было то место из «Подростка», где изображается, как люди будущего, потеряв веру в Бога и бессмертие души, будут чувствовать себя без этой утешающей тысячелетней веры:

«Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее, – читал он, и сердце его сжималось, – они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь одни составляют всё друг для друга! Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее, и весь великий избыток прежней любви к тому, который и был бессмертием, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и в той мере, в какой постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже особенно, уже не прежнюю, любовью. Они стали бы замечать и открыли бы в природе такие явления и тайны, каких и не предполагали прежде, ибо смотрели бы

на природу новыми глазами, взглядом любовника на возлюбленную. Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это – все, что у них остается. Они работали бы друг на друга, и каждый отдавал бы всем все свое состояние и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле – ему как отец и мать. «Пусть завтра последний день мой, – думал бы каждый, смотря на заходящее солнце, – но все равно, я умру, но останутся все они, а после них – дети их» – и эта мысль, что они останутся, все так же любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль о загробной встрече. О, они торопились бы любить, чтоб затушить великую грусть в своих сердцах. Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга, каждый трепетал бы за жизнь и за счастье каждого. Они стали бы нежны друг к другу и не стыдились бы того, как теперь, и ласкали бы друг друга, как дети. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть...».

Коля прочел это место не отрываясь. Голова у него горела... Нашел! И без Бога. Как хорошо и как ярко!..

Достоевский задел тут самые больные Колины струны, и они все запели, и ему уже слышалась чудесная неземная музыка, которая спустится-таки на землю... Но как?.. И снова начались мука и сомнения... Ведь то в будущем, когда люди будут другие... И перед Колей встали сразу Аракчевы, Салтычихи, палачи, грозные цари, безжалостные угнетатели... Нет, еще нужно очистить землю... «Кто не знает печали и гнева, тот не любит отчизны своей...» Разве это не так? И снова вспомнились ему предсмертные Тосины слова... А еще вот говорят все и пишут о Канте... Нужно посмотреть, что это такое...

Коля уже давно не спрашивал у взрослых ни о чем, а сам старался раздобыть ответы. Он лез в Брокгауза и Ефрона в гимназической библиотеке и оттуда черпал всякую премудрость. Но когда он дошел до Канта, он ничего не понял, ну ровно ничего: «трансцендентальный идеализм», «нумены», «феномены», «антиномии», «категории» заплясали у него в голове, как таинственные чудовища... Он что-то ухватил о человеке, как о самоцели, что-то о категорическом императиве... Но категорический императив показался ему холодной кишкой, в которую можно совать все что угодно, – ничего живого, что давало бы живой ответ на живые вопросы... А может, я и этого совсем не понимаю... У меня самого кишка тонка... – с грустью

думал Коля, и страницы книги казались ему мудреным шифром, которого ему никогда не расшифровать...

На рождественские каникулы Коля решил поехать к Георгию Антонычу. Горе разъедало его душу, точно ржа, все напоминало ему о его мучительной тайне. Ему хотелось переменить хоть на время место, отдохнуть, опомниться от страдальческих переживаний. Он выздоравливал, но выздоравливал медленно и чувствовал это...

В гимназии учился с ним Борька Балашин, с матерью которого, в ее доме, жил Георгий Антоныч, не прибегая для сего дела к церковным таинствам, что чрезвычайно нравилось Коле и внушало большое уважение к дядюшке, которого он бешено защищал от нападков добродетельной бабушки Агнии Ивановны, да и от случайно брошенных замечаний своей собственной мамы. Борька был «живущим» в гимназическом пансионе и, как почти все питомцы закрытых казенных учебных заведений, видел особое удальство в специфическом гимназическом разврате, хотя и малого калибра. Вообще же по натуре своей был добрым, не особенно даровитым и не особенно развитым. С ним ехало еще двое гимназистов, сыновей местного обедневшего помещика Глотова. В этой компании и отправился Коля.

По дороге, ночью, гимназисты стали таинственно шушукаться... Коля дремал...

– А стакан есть?

– Есть.

– А штопор?

– Вот штопор, черт возьми, позабыл... Я у кондуктора спрошу...

– Неудобно...

– Чепуха! Дам ему гривенник, и все будет отлично... Ты кто? Барышня? Глуп или из деревни?

– Ладно, ладно, делай как знаешь...

Коля раскрыл глаза... Глотовы разворачивали бутылку водки и бутылку портвейна. Тут же лежала нарезанная колбаса, хлеб, несколько яблок, соленые огурцы...

– А, проснулся?

– Да я не спал...

Борька победоносно возвращался со штопором. В вагоне было почти темно. Кондуктора экономили на свечках, и в единственном фонаре горел толстый маленький огарок, оплывший со всех сторон стеариновыми сталактитами.

Борька лихо выбил пробку из водочной бутылки, в то время как старший Гловот откупоривал штопором портвейн. Пенящуюся пузырями, взболтанную водку цедили в чайный стакан, выпивали одним махом, крякали и закусывали.

– А ты что ж? Колька? Не будешь?

– Не буду водки...

– Вали вина... Он у нас ученый... Как это, Миша, по-французски?..

Насчет того, что надо пить...

– Ааа. Le vin est tiré, il faut le boire.

– Вот-вот... Le vin est tiré, так ты уж не кобенясь.

– Ладно, давайте портвейну...

Коле было стыдно и потому, что выпивали-то все-таки как-то воровато, исподтишка, прячась; и потому, что вообще выпивали; и потому, что у него не хватало достаточной самостоятельности и характера, и он, как щеночек на веревочке, шел на поводу; и, наконец, потому, что эта вороватая выпивка шла вразрез с теми сложными переживаниями, которыми Коля был полон все последнее время... С непривычки голова у него от полстакана портвейна заходила кругом, по телу бежали огненные струйки, клонило ко сну... Вертелся фонарь, Борька... Пахло копотью и водкой... Коля накрылся шинелью с головой, и скоро ему уже снилось, что, махая руками, он летит над лесом, оврагами, полями... В лицо дует ветер... Легко и свободно...

– А, Коля! Здравствуй, здравствуй, – встретил наутро приехавшего Петрова Георгий Антоныч... – Давно тебя не видел... Ну, как дела? Идем чай пить... Как Иванушка? Любовь Ивановна?.. Да ты чего какой кислый? Я тебя прямо не узнаю...

– Не знаю. Я не кислый. Дома сейчас ничего особенного. Вы не очень сердитесь, что я к вам без предупреждения нагрнул?

– Да что ты, помилуй, очень рад! Только мне, к сожалению, бежать нужно.

В столовую вошла Анна Ивановна Балашина, полная блондинка, лет тридцати пяти, с довольно правильными чертами лица, голубоглазая, слегка припудренная.

– Это мой племянник Коля. Анна Ивановна, вы его, пожалуйста, угощайте, а я уж побегу... А Борис где?

– Потом придет. Он лег и заснул, – проговорила Анна Ивановна и вскинула глаза на Колю...

Она оказалась довольно образованной, весьма радикальной по взглядам. Ее радикализм шел в известной степени от тягостей

прошлой ее семейной жизни, с бывшим мужем, офицером, который не хотел давать ей формального развода. От своей матери, очень умной немки, Эмилии Андреевны, она унаследовала большой темперамент и волю, хотя отличалась необузданной вспыльчивостью: в городе поговаривали, что однажды из ревности она даже стреляла в Георгия Ан-тоныча, но промахнулась – пуля пролетела мимо его левого уха и засела в деревянную стену... Об этом слышал и Коля, поэтому он не без любопытства посматривал на нее: ничто таких страстей не выдавало, разве что странно-суровая морщинка у переносья да какая-то сдержанность речи, настороженность во всех повадках, мимике, жестах пухлых розовых рук.

– Если вы кончили, Коля, пойдемте, я покажу вам вашу комнату...

– Хорошо. Спасибо.

Анна Ивановна привела его в светлую, с большим окном комнату, весь пол которой был усыпан грушами. В комнате стоял приятный специфический запах осеннего фруктового сада, листьев, плодов, земли. За окном белел снег, стекла были изурованы морозом, у самого окна виднелась толстая, витая ледяная сосулька, сверкавшая на холодном зимнем солнце, и оттого этот крепкий грушевый запах казался особенно приятным...

– Вы уж извините, Коля, за груши...

– Что вы, что вы! Это даже приятно, ей-Богу... Запах чудесный, да и вкус, вероятно...

Так Коля поселился на праздники у дядюшки. День прошел вяло: клонило ко сну, во всем теле ныла усталость, побаливала голова. Вечером решили с Борисом пойти в цирк. Под цирк было отведено старое каменное здание, не то баян, не то постоялый двор, у самой реки, где гуляли толпы разномастного народа, катались на санках с крутого берега, устраивали кулачные бои на льду, кричали, визжали, сустились и веселились. Мальчишки, взрослые, провинциальный бомонд, дамы, парни и девки, мастеровые, мужички из соседних деревень толклись, бегали, степенно прохаживались, все на свой манер. На углу у здания стоял покосившийся старый деревянный фонарь с керосиновой лампочкой, подслеповато мигавший своим желтым глазом в вечерней синеве. На фонарь была приклеена пестрая зазывная афиша с программой цирка. А у самого входа стоял горластый малый в каком-то необыкновенном наряде, с цилиндром на голове и неистовым голосом орал:

Давай первый звонок. Представление начинается. Сюда! Сюда! Все приглашаются! Стой, прохожий! Остановись! На наше чудо

подивись. Барышни-вертушки, Бабы-болтушки, Старушки-стряпушки, Солдаты служивые, Дедушки ворчливые, Горбатые, плешивые, Косопузые и вшивые, С задних рядов протолкайтесь, К кассе направляйтесь! За гривенник билет купите, Скорее в цирк входите!

– Ишь, едят его мухи с комарами, как его распи-рат-то! – качая головой, замечает овчина.

– А чаво ж яму делать? Знай орет: публику зазывает...

– Федька, дай пяточок, у меня пяточка не хватает – я тебе в воскресенье отдам... хучь шесть копеек... А? – спотыкаясь на бегу, кричит мальчишка приятно.

– Накося, выкуси! Давай семь...

– Жила!

У фонаря стоит мужичонка в тулупе и читает по складам:

– Эж-ви-либ-рист... Это што ж такоича теперь будя?

– А шут ее знат!

– Ко-ми-чес-кое ант... тре... Вот так штуковина... И для кого пишут, сволочи?

– А вы что, плотники будете?

– Плотники... Плотники, да вот ни рожна не пони-мам.

– А ты шубу спроси... Вишь, в очках...

– А ну их к ляду...

– Чево тут народ собрамши?

– Цирк.

– Ишь, людоеды одноглазые, какую бумагу налепили!

Коля с Борисом протискались сквозь толпу и вошли в цирк. Их сразу обдал затхлый запах навоза и лошадиного пота. Люди в зимней одежде сидели и стояли. Представление уже началось, и слышалось хлопанье бичей, пощечины клоунов, визгливые выкрики рыжего. Шпагоглотатели; ученая собака, складывающая числа до десяти; запаршивевшая обезьяна, в очках, с газетой в руках, сающаяся на горшок, возбуждали неподдельную радость и даже восторг зрителей. Публика шумно аплодировала особенно удачным номерам. Было душно, и от этого Коля вдруг с необычайной яркостью вспомнил ту страшную ночь, когда он только случайно выскочил из петли. И вдруг весь цирк – и публика, и клоуны, и дрессированный гусь, и болонка, танцующая на задних лапках, поплыли куда-то вдаль... Мысль Коли ушла далеко-далеко...

– Да ты что, заснул, что ли? Смотри, слушай! – Борис шептал ему прямо в самую ушную раковину...

На сцене стояло двое мужчин: один под француза, другой – не то дворник, не то городской, не то урядник: и форма, и не форма, придраться нельзя, а смысл ясен.

Коля, очнувшись, стал слушать... Циркачи говорили поочередно...

– По-французски – ле савон...

– А по-русски – мыло.

– У французов – миль пардон.

– А у русских – в рыло!

– По-французскому – рояль.

– А у нас – гармошка.

– У французов – этуаль.

– А у нас – Матрешка.

– У французов – все салат.

– А у нас – закуска.

– По-французски – променад.

– А у нас – кутузка...

Публика разразилась хохотом. Раздались аплодисменты...

– По-французски – сосьете.

– А по-русски – шайка.

– У французов – либерте.

– А у нас – нагайка.

Волнение в публике усиливалось. Теперь уже весь «зал» неистово хлопал и орал.

Артисты невозмутимо продолжали:

– У французов – все фромаж.

– А у нас – бутылка.

– По-французски – ле вояж.

– А по-русски – ссылка.

– По-французски – дилетант.

– А у нас – любитель.

– У французов – интендант.

– А у нас – грабитель.

Тут уж все вошли в раж. Вверх полетели картузы, шапки, рукавицы. «Браво!» «Молодцы!» «Здорово загнули!» «Так их, чеши в левую ноздрю!»

К распорядителю подошел полицейский чин и, шепнув ему что-то на ухо, увел его за кулисы. Публика ворчала, но присмирела. Слышались отдельные крики:

– Что за безобразие?! Чего ему нужно?

– Долой селедок! – прокричал чей-то хрипловатый молодой голос.

Через несколько минут вышел бледный как полотно распорядитель.

– Прошу извинить. По не зависящим от нас обстоятельствам представление закрывается... Прошу... Прошу почтенную публику... спокойно расходиться...

– Ироды проклятые... – проворчала баба в шерстяном платке на голове.

– Не понравилось... Правда глаза колет... – откликнулся мастеровой.

– Возмутительный произвол! – сверкнули стеклышки пенсне.

Но публика все же разошлась. На следующий день цирк в полном составе был выслан из города... Зато и толков по этому поводу возникла сразу целая гора, и крылатые словечки о «грабителях», «шайке» и т. д. полетели во все концы. Конечно, «француза» публика не понимала, но зато русские эпитеты усваивала отлично, и этого было вполне достаточно для того, чтобы всколыхнуть сотни людей, которые со злобой потешались над властями предержажими, не доходя, правда, до самых верхов, но уже не чувствуя того священного трепета, какой в былые времена обыватель обнаруживал даже перед простым будочником.

На Колю цирковая сцена произвела весьма сильное впечатление. Он впервые увидел собственными глазами, как «это» делается... «Да, – размышлял он наедине сам с собой, – со всеобщей любовью надо погодить... Не бросаться же с поцелуями на околоточного... Вот сукины дети!..» Колю охватывало уже все более горячее чувство протеста – хотелось что-то делать, куда-то идти. Но что делать? Куда идти?

Пока что они с утра пошли с Борькой в лес, захватив с собой двухстволку. Стоял мягкий пасмурный зимний день. Еловый бор был мрачен. Лыжи плавно скользили по снегу. В лесу было тихо. Только изредка раздавался легкий треск, и вдруг сваливалась с разлапистой еловой ветви груды снега, вливая в девственную белую пелену и обдавая мельчайшей снежной пылью. На снегу следы: вот тут прыгал заяц – два и один, два и один... А тут мышшь-полевка прострочила свои ниточки... А вот ласка или горностаи... «Си-сиси», – пищат крохотные корошки, прыгая по веточкам и трепеща крылышками... Мягко обвалился ком снега с задетого куста, и сразу на белом, дрожа, зачернела ветка... Серенькая пишуха слетела на низ березы, к самому корню, и винтом лезет по стволу, упираясь хвостом и помогая иногда крыльями... Бац!.. Дым... Борис выстрелил... На снегу маленький

серенький комочек... Коля берет убитую птичку. Ее разбило дробью, но этот растерзанный шарик еще сохраняет теплоту исчезнувшей жизни.

– На кой черт ты убил ее?

– А это что?

– Пишуха.

– Да так, в цель стрельнуть хотелось. Пауза.

Коля думает о своем, снова о том же... Какая же разница между пишухой и человеком? Да никакой. Была жизнь – нет жизни. А потомки? А Достоевский?.. Но и люди когда-нибудь погибнут... Погибнет Земля, старая милая планета, и в бесконечных пространствах будет носиться ее труп, на котором угаснет всякая жизнь, пока не ввергнется силой гигантского притяжения в новые сферы и не упадет на огненную грудь какого-нибудь мощного сияющего солнца... Но возникнет из хаоса новая жизнь, как возникала и раньше... Ведь жить бывает и хорошо...

– Колька, ты что, обалдел? Ты на пень наскочишь! И в овраг! Ха-ха-ха! Ты блаженный какой-то стал...

– Будешь блаженным, – буркнул Коля, круто поворачивая лыжи.

Мокрые, вспотевшие, пришли они домой. В комнатах, казалось, было жарко и душно. Расстегнули куртки, прилегли...

– Колька!

– Что?

– Пойдем выпьем...

– Да ну тебя. л

– Пойдеоом!

Борис слезает с постели (они теперь оба для компании поместились в Колиной комнате) и тащит товарища за шиворот в столовую. Там, по старинному обычаю – ведь Рождество! – накрыт стол; на столе графинчики с водками и наливками своего изготовления, вина: портвейн, мадера, херес; большой окорок лежит на блюде; копченые сиги, сардины, шпроты, маринованные грибы разных сортов: белые и березовики с осиновыми; рыжики моченые; грузди со слизью; кулебяка прикрыта салфеткой; маленькие пупыристые нежинские огурчики лежат в судке – радуйся, благодатное чрево!

Борька хлопнул с размаху рюмку зубровки и, запихивая полный рот кулебяки, сунул туда же кусочек икры, прямо пальцами, запел пародию на церковную песнь:

Святися, святися,
Пирог, испекился!

На тебе воссия

Три горшка киселя...

– А ты что? Выпей хоть портвейну... Давай налью!

– Немножечко... Да что ты в стакан льешь?

– Ничего, все влезет... Все там будет... – захохотал Борис, хлопая себя по тощему животу.

Коля выпил сладкого портвейну и повеселел...

– Довольно... Хорошенького понемножку... Пойдем теперь на улицу...

– Опять? Да мы недавно пришли...

– Пойдем...

Они выскочили без шинелей кататься снова на лыжах, на беговых. В голове у Коли чуть-чуть шумело, он дурачился, швырялся снегом, пел, свистал в два пальца, как Соловей-Разбойник, падал навзничь, раскинув руки, чтоб получился вдавленный отпечаток человека, и думал в то же время о том, какое странное существо человек и как он сам, Коля, повеселел от полстакана портвейна, на время выбросив из головы трудные мысли, словно грибы из кошелки.

– Коля! Борис! Вы совсем сумасшедшие! Что это вы без шинелей по морозу бегаєте? Вам жизнь надоела? Так к вашим услугам есть более совершенные методы, чем этот, – набросился на мальчиков Георгий Антоныч, когда они, обвеянные крепким морозным воздухом, гомозились в передней, снимая валенки и отряхивая снег.

– Да мы...

– «Да мы», «да мы»... Марш в столовую! Выпейте горячего чаю с коньяком...

– Это – с удовольствием... С коньяком и с удовольствием, – загрохотал Борька, усаживаясь за стол.

– Плагиат, – усмехнулся Коля, – или вроде того...

– Почему? – спросил Георгий Антоныч, блестя под лампой пенсне и изредка смотря поверх стекол, отчего у него делался необыкновенно серьезный вид. Паф-паф-паф... дымил он папиросой, пуская кольца...

– Потому, что есть, дядя Жорж, такой известный каламбур, что ли: «Шел дождь и два студента; один в пальто, другой – в университет; одного звали Иваном, другого – на именины»...

– Откуда это ты такой премудрости набрался?

– Да у нас в гимназии... А знаете...

И Коля пустился выкладывать, как из мешка, запасы всяческого острословия, до которого «дядя Жорж» был большой любитель... Подошла Анна Ивановна и ее мать, сухонькая маленькая старушка, с большим лбом в морщинах, седой, завязанной узлом косичкой, умными серыми глазами и строгим ртом, который весь точно исчерпывался одной тонкой линией... Все весело смеялись над Колиными рассказами, и он уже несся, как конь без узды: прогулка, выпитое вино, явный успех его разглагольствований так его взвинтили, что он, незаметно для себя, переходил границы традиционных приличий и, чтоб окончательно эпатировать почтенное общество, с пафосом разразился бодлеровской «Падалью»...

– Schrecklich!.. Das ist doch eine Schweinerei... Und Sie... – обратилась Эмилия Андреевна к Коле, – so jung und so verdorben!..

Встала из-за стола и демонстративно ушла...

Наступило неловкое молчание. С Коли мгновенно слетел весь пыл, он сразу осел, и ком подкатил ему к горлу. Он не знал, что делать... Разве ему приходило на ум хоть чем-нибудь обидеть Эмилию Андреевну? Он с ней один раз говорил уже и подивился ее уму и начитанности. А теперь вдруг – трах! И совершенно неожиданно... Ему было очень горько и досадно на самого себя.

КОММЕНТАРИИ

Роман «Времена» печатается по ксерокопии с авторской рукописи, хранящейся в Президентском архиве.

Впервые прочитав роман «Времена», А. М. Ларина написала мне: «Роман автобиографический. Понятно, что Коля Петров и есть Николай Иванович Бухарин.

У отца Н. И. изменено отчество. Он был не Иван Антонович, а Иван Гаврилович. Имя и отчество матери сохранены.

У братьев Ивана Антоновича (Гавриловича) сохранены имена.

Яблочкины – в действительности Лукины.

Мария Ивановна – сестра Любови Ивановны, матери Н. И.

Коля Яблочкин – двоюродный брат Н. И. – будущий академик Лукин Николай Михайлович, специалист по истории Франции.

Надя – старшая дочь Яблочкиных – будущая первая жена Н. И., Надежда Михайловна Лукина-Бухарина.

Бортиянский Дмитрий Степанович (1751–1825) – русский и украинский композитор, мастер хорового письма.

Стр. 24

Сильвестр (?–1566) – московский священник, автор особой редакции «Домостроя» – свода патриархальных житейских правил и наставлений.

Стр. 25

Бурсацкая муштра – по названию бурсы – общежития для студентов при духовных училищах и семинариях.

Стр. 29

«Быстры, как волны...» – песня на стихи «Вино» Андрея Серебрянского (1810–1838). *«Из страны, страны далекой»* – песня композитора А. А. Алябьева на стихи поэта Н. М. Языкова. *«Gaudeamus igitur»* – начало старинной студенческой песни «Будем веселиться, пока мы молоды...» (лат.).

«Глядя на луч пурпурного заката...» – романс АОппеля на стихи Павла Козлова (1841–1891).

Стр. 30

Брэм Альфред Эдмунд (1829–1884) – немецкий зоолог и путешественник, автор популярного шеститомного труда «Жизнь животных».

Кайгородов Дмитрий Никифорович (1846–1924) – естествоиспытатель и популяризатор естествознания, автор научно-популярных книг «Беседы о русском лесе», «Из зеленого царства», «Из царства пернатых» и др.

Стр. 36

Гомилетика – часть риторики, излагающая правила духовного красноречия.

Стр. 40

Коменский Ян Амос (1592–1670) – чешский педагог, мыслитель-гуманист.

Песталоцци Иоганн Генрих (1746–1827) – швейцарский педагог-демократ, основоположник теории начального обучения.

Faire bonne mine au mauvais – делать хорошую мину при плохой игре (франц.).

Mater Dolorosa – Скорбящая Богоматерь (лат.).

«Хижина дяди Тома» – антирасистский роман американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу (1811–1896).

Стр. 41

Холодковский Николай Александрович (1858–1921) – русский зоолог, энтомолог и поэт-переводчик.

Стр. 43

«Дети капитана Гранта» – приключенческий роман французского писателя Жюль Верна (1828–1905).

Стр. 46

Lucis a non lucende – латинское выражение (буквально: светлая, потому что в ней не светло), употребляемое иронически, чтобы забраковать логическую сторону выводов или заключения.

Стр. 47

Грот Яков Карлович (1812–1893) – русский филолог, академик.

Стр. 53

Пауперы – бедные, отсюда пауперизм – нищета трудящихся.

Адон – название верховного финикийского бога.

Стр. 56

Fleurs d'orange – белые цветы померанцевого дерева, принадлежность свадебного убора невесты, символ невинности (франц.).

Стр. 65

En passant – между прочим (франц.). *Фрейд Зигмунд* (1856–1939) – австрийский врач-психиатр, психолог, основатель психоанализа.

Стр. 68

Авакум Петрович (1620–1682) – глава и идеолог русского раскола, протопоп, писатель.

Никита Пустосвят (Добрынин Никита Константинович; ?–1682) – идеолог раскола, писатель; после осуждения собором раскаялся и остался на свободе.

Стр. 69

Carte blanche – чистый лист (*франц.*), употребляется в смысле – полная свобода действий.

Стр. 70

Кибела – фригийская богиня, почитавшаяся в Малой Азии, Греции, с 204 до н. э. ее государственный культ был установлен в Древнем Риме.

Стр. 73

Очи черные, очи ясные – неточная цитата из знаменитого романса на стихи Евгения Гребенки (1812–1848).

Стр. 74

Interieur – внутреннее убранство, интерьер (*франц.*).

Стр. 77

Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сергеев; 1829–1908) – черносотенный церковный деятель, протоиерей Андреевского собора в Кронштадте.

Anno Domini – нашей эры (*лат.*).

Стр. 79

Fades Hippocratica – маска Гиппократы (об изнуренном, мертвенно-бледном лице человека с признаками приближающейся смерти) (*лат.*).

Стр. 81

Boutons d'amour – прыщик любви (*франц.*) – о прыщиках или угрях на лице у молодых людей.

Брет-Гарт Френсис (1836–1902) – американский писатель, автор книг о жизни и приключениях золотоискателей.

«Посредник» – русское просветительское издательство, возникшее в Петербурге в 1884 году по инициативе Л. Толстого; с 1892 года переехало в Москву; книги издательства печатались в типографии И. Д. Сытина; просуществовало до 1935 года.

Эпиктет (ок. 50 – ок. 140) – римский философ-стоик.

Марк Аврелий (121–180) – римский император, автор знаменитой книги «Размышления», представитель позднего стоицизма.

Сакья-Муни (Шакья-Муни) – отшельник из Шакьев, имя Будды.

Лохвицкая Мирра Александровна (1869–1905) – русская поэтесса, автор любовной, эротической лирики.

Стр. 82

Давид (X в. до н. э.) – царь Иудеи, создатель Израильского государства.

Стр. 83

«Вот идет среди трупов...» – из стихотворения Генриха Гейне «Поле битвы при Гастингсе» из книги «Романсеро». В битве при Гастингсе (1066 г.) войско норманнов под началом Вильгельма Завоевателя разбило англосаксов, а их король Гарольд II был убит.

Дон Рамиро отвечает Кларе – из стихотворения Гейне «Дон Рамиро» (вошло в первую книгу стихов Гейне – 1822 г.).

«Рыцарь Олаф» – романс из второй книги Гейне «Новые стихотворения» (1844 г.).

«Невольничий корабль» – из книги Гейне «Стихотворения 1853–1854 годов».

Суперкарго – уполномоченный торговой компании, который сопровождает какой-либо груз и отвечает за его сбыт.

Стр. 84

«Еврейские мелодии» вошли в третью книгу стихов Гейне «Романсеро» (1851 г.).

Алькад (алькальд) – глава городской администрации в Испании, выборный староста в деревне.

«Вицли-пуцли» – стихотворение из сборника Гейне «Романсеро»; искаженное имя Умиллопоцли – бога войны у ацтеков.

Иисус Навин – в библейской мифологии сподвижник пророка Моисея.

Кит Иону проглотил – по Библии, кит проглотил Иону по воле Бога Яхве; пробыв трое суток во чреве кита, невредимый Иона был извергнут им из пасти на берег.

Стр. 85

Немирович-Данченко Василий Иванович (1848/49–1936) – писатель, автор многочисленных романов и этнографических очерков.

Стр. 87

Pour etre belle, il faut souffrir – чтобы быть красивой, нужно страдать (*франц.*).

Стр. 88

Lues – сифилис (*лат.*).

Стр. 92

МП Haut und Haar – целиком, без остатка (*нем.*).

Стр. 96

Уриэль д'Аоста (1585–1640) – еврейский реформатор, жил в Голландии; воспитанный в католицизме, перешел в иудейство, за попытки его реформирования был проклят раввинами; ему посвящена трагедия К. Хуцкова «Уриэль Аоста».

La donna e mobile – женщина изменчива (*итал.*); первая строфа арии Герцога из оперы Верди «Риголетто».

Стр. 99

Couleur local – местная достопримечательность (*франц.*).

Стр. 100

Ходынка – катастрофа на Ходынском поле в Москве 18 мая 1896 года во время раздачи царских подарков по случаю коронации Николая II (по халатности властей произошла давка и погибло более тысячи человек).

Нажим свирепее, чем александровский – имеется в виду режим Александра III.

Соловьевы – последователи русского философа Владимира Соловьева (1853–1900).

Лопатин Лев Михайлович (1855–1920) – русский философ, психолог, редактор журнала «Вопросы философии и психологии».

Стр. 101

Бокль Генри Томас (1821–1862) – английский историк и социолог, представитель географической школы в социологии.

Милль Джон Стюарт (1806–1873) – английский философ, экономист и общественный деятель, последователь О. Конта.

Конт Огюст (1798–1857) – французский философ, основоположник позитивизма.

Кант Иммануил (1724–1804) – немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии.

Façon de parler – манера говорить (*франц.*).

Стр. 106

Россолимо Григорий Иванович (1860–1928) – врач, один из основоположников детской неврологии.

Дрэпер Джон Вильям (1811–1882) – американский популяризатор наук, автор книг «История умственного развития Европы», «Физиология человека, статическая и динамическая», «Природа и жизнь Америки», «Гражданское развитие Америки».

Стр. 107

Adieu – прощай (*франц.*).

«Что за комиссия...» – реплика Фамусова, которой заканчивается первое действие комедии Грибоедова «Горе от ума».

Стр. 108

Чичероне – гид, проводник (шпал.).

Стр. 111

«*Крошка Цахес, по прозванию Циннобер*» – сказка Э. Т. А. Гофмана (1819 г.).

Стр. 114

Не-комбатант – не боец (франц. combattant – боец).

Стр. 115

Tarde venienti busossa – поздно приходящим достаются одни кости (лат.).

Стр. 118

Авгуры – в Древнем Риме коллегия жрецов, толковавших волю богов по наблюдениям за полетом и криком птиц.

Стр. 120

Сесть в бест – здесь: спрятаться; в Иране бест – право убежища на территории священных и неприкосновенных мест, с XIX века – в помещениях иностранных посольств, обладавших правом экстерриториальности.

Стр. 123 *Pro u contra* (pro et contra) – за и против (лат.).

Стр. 127

Ex ungue leonem – по когтям узнают льва (лат.).

Стр. 128

Девриеновские издания – издательство, основанное в Петербурге в 1872 году швейцарцем А.Ф.Девриеном, выпускало книги для юношества и капитальные работы по естествознанию; издания отличались значительной научной ценностью и хорошим внешним исполнением; в 1917 году переехало в Берлин.

Bitte – пожалуйста (нем.).

Pgedo – пожалуйста, прошу вас (итал.).

Стр. 131

Лесажевский доктор Сангредо – персонаж романа французского писателя Алена Рене Лесажа (1668–1747) «Приключения Жиль Блаза из Сантильяны»; в современном издании – Санградо.

Стр. 132

Спенсер Герберт (1820–1903) – английский философ и социолог, автор «Системы синтетической философии».

Стр. 133

«*Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам*» – реплика Гамлета из трагедии В. Шекспира.

Стр. 134

Mors immortal is – бессмертная смерть (лат.).

Стр. 143

Песни Дельвига – самая знаменитая из них «Соловей» на музыку А. А. Алябьева.

Невлинский-Мелецкий Юрий (1752–1829) автор известной песни «Выйду я на реченьку».

Рупин И. – композитор, автор музыки песни «Вот мчится тройка удалая».

Стр. 146

Schon denud! – довольно, хватит (нем.).

Peuple russe – русский народ (франц.).

Стр. 156

Volens nolens – волей-неволей (лат.).

Стр. 164

Пастер Луи (1822–1895) – французский биолог, основоположник современной микробиологии и иммунологии.

Шарко Жан Мартен (1825–1893) – французский врач, один из основоположников невропатологии и психотерапии.

Оппенгейм Герман (1858–1919) – немецкий невролог.

Захарьин Григорий Антонович (1829/30–1897) – русский терапевт, основатель московской клинической школы.

Боткин Сергей Петрович (1832–1869) – русский терапевт, основатель школы русских клиницистов.

Зинин Николай Николаевич (1812–1860) – русский химик-органик.

Стр. 165

Ma parole – честное слово (*франц.*).

Стр. 167

«*Русские ведомости*» – русская газета, издававшаяся в Москве в 1863–1918 годах, имевшая либерально-реформаторское направление.

Катон Старший (234–149 до н. э.) – римский писатель, консул, поборник староримских нравов.

Femme épancîrée – освобожденная (раскрепощенная) женщина (*франц.*).

Стр. 168

Comme il faut – приличный (*франц.*).

Соловьевская пародия «Слоны терпенья и ослы разумения бежали прочь...» – неточная цитата из пародии В. С. Соловьева на русских символистов (у Соловьева: «Ослы терпенья и слоны раздумья»); см.: *Вл. Соловьев*. Стихотворения и шуточные пьесы. – Л.: Сов. писатель, 1974. С. 166.

Стр. 175

«*Русская мысль*» – литературный, научный и политический ежемесячник либерального направления, выходил в Москве в 1880–1918 годах.

«*Художник, варвар...*» – начало стихотворения Пушкина «Возрождение» (1819 г.).

Стр. 179

Корш Валентин Федорович (1828–1883) – русский филолог, историк литературы.

Стр. 180

Эсхатология – учение о загробной жизни, о цели космоса и истории, об их конце.

Стр. 181

Талейран Шарль Морис (1754–1838) – французский дипломат, министр иностранных дел, мастер тонкой дипломатической интриги, утверждавший, что язык нужен дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли.

Испано-американская война – в 1898 году под предлогом помощи восставшим против испанского владычества Кубе и Филиппинам США захватили ряд испанских владений (Кубу, Филиппины, Пуэрто-Рико и остров Гуам).

Фоланты Корша – 15 выпусков «Всеобщей истории литературы» под редакцией В. Ф. Корша (1880–1883 гг.).

Агора – у древних греков народное собрание, а также – площадь, где оно происходило.

Атриум – закрытый внутренний двор дневнеримского жилища с бассейном в центре.

Плутарховы герои – персонажи «Сравнительного жизнеописания выдающихся греков и римлян» древнегреческого писателя и историка Плутарха (ок. 45 – ок. 127).

Стр. 182

Алконост – сказочная птица с человеческим лицом.

Стр. 184

«*Крутится вертится шар голубой...*» – народная городская песня, ставшая широко известной после выхода кинофильма Г. Козинцева и Л. Трауберга «Юность Максима» (1935 г.).

в Трансвааль, Трансвааль, страна моя...» – песня, посвященная англо-бурской войне, автор стихов неизвестен.

Крюгер Пауль (1825–1904) – президент бурской республики Трансвааль.

- Бота Луис* (1862–1919) – первый премьер-министр Южно-Африканского Союза (1910–1919), в период англо-бурской войны главнокомандующий войсками Трансваала.
- Деларей Якоб Герккласс* (1847–?) – генерал армии буров.
- Стр. 191
- Гек Финн* – герой романа «Приключения Гекльберри Финна» американского писателя Марка Твена (1835–1910).
- Стр. 193
- «*Сижу за решеткой...*» – начало стихотворения Пушкина «Узник» (1822 г.).
- Стр. 194
- «*Народ мы русский позабавим...*» – неточная цитата (надо: Мы добрых граждан позабавим...) из распространявшегося в списках и приписываемого Пушкину вольного перевода из Дидро.
- Notre celebre poete russe* – наш знаменитый русский поэт (франц.).
- Стр. 206
- Леонтьев Константин Николаевич* (1831–1891) – русский писатель, публицист, критик-славянофил.
- «Столп и утверждение истины» – одно из основных религиозных сочинений П. А. Флоренского (1914 г.).
- Стр. 207
- «*От финских хладных скал...*» – из стихотворения Пушкина «Клеветникам России» (1831 г.). *Prince russe* – русский князь (франц.).
- Стр. 209
- К. С. Алексеев* – настоящая фамилия Станиславского.
- Стр. 210
- De la musique avant toute chose* – музыка прежде всего (франц.); строка из стихотворения Поля Верлена (1844–1896) «Поэтическое искусство».
- Профессор Бугаев Николай Васильевич* (1837–1903) – математик, отец поэта Андрея Белого.
- Стр. 211
- Трубецкой Сергей <Николаевич>* (1862–1905) – религиозный философ, публицист.
- Трубецкой Евгений <Николаевич>* (1863–1920) – религиозный философ, правовед, общественный деятель.
- Михайловский Николай Константинович* (1842–1904) – социолог, публицист, критик; народник.
- Стр. 212
- Лавров Петр Лаврович* (1823–1900) – философ, социолог, публицист, один из идеологов революционного народничества.
- Воронцов Василий Павлович* (1847–1918) – экономист, публицист, идеолог либерального народничества.
- Смит Адам* (1723–1790) – шотландский экономист и философ, идеолог промышленной буржуазии.
- Рикардо Давид* (1772–1823) – английский экономист, сторонник трудовой теории стоимости.
- Струве Петр Бернгардович* (1870–1944) – русский экономист, философ, историк, публицист, теоретик легального марксизма.
- Туган-Барановский Михаил Иванович* (1865–1919) – экономист, историк, легальный марксист.
- Булгаков Сергей <Николаевич>* (1871–1944) – русский экономист, религиозный философ, теолог.
- Бердяев Николай Александрович* (1874–1948) – русский философ; спору с ним Н. И. Бухарин посвятил значительную часть своего доклада «Основные проблемы современной культуры», с которым он выступил в Париже 3 апреля 1936 года.

Стр. 213

Esse homo! – се человек! (лат.); выражение употребляется в трех смыслах: 1) вот настоящий человек, 2) вот обреченный мукам, 3) изображение главы Христа в терновом венце.

Стр. 215

Бюлов Бернхард, фон (1849–1929) – германский рейхсканцлер в 1900–1909 годах.

Гаагская конференция мира – в 1899 году приняла конвенции о мирном разрешении вооруженных споров, о нейтралитете и защите мирного населения.

Бисмарк Отто (1815–1898) – первый рейхсканцлер Германии.

Стр. 217

Нордау Макс (1849–1923) – немецкий писатель, автор философско-психологических произведений, один из основателей сионизма.

Стр. 218

П. Я. – Якубович Петр Филиппович (псевдоним Л. Мельпин; 1860–1911) – русский поэт, переводчик; революционер-народоволец, автор книги «В мире отверженных. Записки бывшего каторжника».

Стр. 219

Mens – ум (лат.).

Ut finale – для того, чтобы (лат.).

Ut consecutivum – в латинской грамматике союз, вводящий предложение следствия: так... что. *Accusativus* – винительный падеж (лат.).

Стр. 221

Гобза Иосиф Освальдович (1848–1927) – директор Первой московской мужской гимназии.

Стр. 224

Барков Иван Семенович (1732–1768) – русский поэт, автор фривольных сочинений.

Стр. 228

Garments! – вовсе нет (нем.).

Стр. 235

Барбизонцы – группа французских пейзажистов (Т. Руссо и др.), работавшие в Барбизоне близ Парижа в 1830–1860-е годы, сыграли важную роль в развитии реалистического пейзажа.

Стр. 243

Кукольник Нестор Васильевич (1809–1868) – русский писатель.

Стр. 249

Базаров – герой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети».

Бюхнеровский материализм – по имени Людвиг Бюхнера (1824–1899) – немецкого естествоиспытателя, представителя вульгарного материализма и социального дарвинизма.

Тит Ливий (59 до н. э. – 17 н. э.) – римский историк.

Стр. 250

Саллюстий (86 – ок. 35 до н. э.) – римский историк.

Соловьев Сергей <Михайлович> (1820–1879) – русский историк, академик, автор многотомной «Истории России с древнейших времен».

Забелин Иван Егорович (1820–1908/9) – русский историк, руководитель Исторического музея в Москве.

Костомаров Николай Иванович (1817–1885) – русский и украинский историк и писатель.

Ключевский *Василий Осипович* (1841–1911) – русский историк, академик, автор «Курса русской истории».

Стр. 254

Четьи-Минеи – «Чтения ежемесячные», сборники житий святых, составленные по месяцам в соответствии с днями чествования церковью каждого святого.

Стр. 256

Bon mot – острота (франц.).

Стр. 258

Брошюра Ильина «Что такое дружба народа» – сочинение Ленина (1894 г.).

Qui vivra verra – проживем – увидим (франц.).

Saceteris paribus – при прочих равных условиях (лат.).

Mutatis mutandis – сделав соответствующие изменения (лат.).

Sit venia verbo – с позволения сказать (лат.).

Feci quod potui faciant meliora potentes – я сделал, что мог, кто может, пусть сделает лучше (лат.).

Errare humanum est – человеку свойственно ошибаться (лат.).

Стр. 263

Лукиан (ок.120 – ок.190) – древнегреческий писатель-сатирик, автор «Разговоров богов» и «Разговоров в царстве мертвых».

Богданович Ипполит Федорович (1744–1803) – русский поэт; поэма «Душенька»(1778), написанная на античный сюжет, стилизована под русские народные сказки.

Котляревский Иван Петрович (1769–1838) – украинский писатель, автор комической поэмы «Энеида» (1798) из жизни различных слоев украинского общества.

Стр. 264

Magnus – большой, крупный (лат.).

La tine – по-латыни (лат.).

Domine – звательный падеж от Dominus (господин) (лат.).

Caput – глава, раздел (в книге) (лат.).

gratis – бесплатно (лат.).

Pecunia – деньги (лат.).

Шулятников Владимир Михайлович (1872–1912) – литературный критик-марксист.

Стр. 270

Princesse Moustache – усатая княгиня (франц.).

Стр. 271

Hinterland – тыл (глубокий) (нем.).

Стр. 274

Неомальтузианство – современная разновидность мальтузианства (теории Т. Мальтуса, утверждавшего, что бедственное положение народных масс – следствие абсолютного избытка людей), согласно которому именно высокие темпы роста населения в развивающихся странах усиливают их социально-экономическую отсталость.

Стр. 279

«Вставай, коня седлай...» – из стихотворения Гейне «Гонец», вошедшего в его первую книгу «Стихотворения» (1822).

Ein Moment – одну минутку (нем.).

Ergo – следовательно (лат.).

Стр. 282

Тимирязев Климентий Аркадьевич (1843–1920) – русский естествоиспытатель-дарвинист, специалист по физиологии растений, биологическим основам агрономии, популяризатор науки.

Данилевский Александр Яковлевич (1838–1923) – основатель русской научной школы биохимии.

Скабичевский Александр Михайлович (1838– 1910/11) – русский критик, публицист.

Стр. 283

Маркс. Не тот, что «Нива», конечно – то есть Карл Маркс, а не издатель первого русского иллюстрированного еженедельника для семейного чтения «Нива» (1870–1918) А. Ф. Маркс.

Стр. 285

«Друг мой Аркадий» – выражение Базарова из романа Тургенева «Отцы и дети».

Стр. 286

Continuez, madame – продолжайте, мадам (франц.).

Стр. 287

Чернов Виктор Михайлович (1873–1952) – один из основателей партии эсеров, ее теоретик, публицист.

Стр. 288

Крушеван Павел Андреевич (1860–1909) – журналист, основатель антисемитской газеты «Знамя», депутат Думы от Кишинева.

Стр. 289

Кибальчич Николай Иванович (1853–1881) – революционер-народник, участник покушения на Александра II, автор проекта реактивного летательного аппарата.

Бенкендорф Александр Христофорович (1783– 1844) – с 1826 года шеф корпуса жандармов.

Дубельт Леонтий Васильевич (1792–1862) – с 1835 года начальник штаба Отдельного корпуса жандармов и Третьего отделения.

Стр. 292

Вальдерзее Альфред, фон (1832–1904) – прусский генерал, начальник немецкой военной экспедиции, посланной в Китай в 1900 году.

Линевич Николай Петрович (1838–1908) – русский генерал, возглавлял союзные войска, подавившие крестьянское восстание в Китае в 1901 г.

Стр. 295

Тирпиц Альфред, фон (1849–1930) – германский гросс-адмирал, создатель сильного военно-морского флота Германии.

Стр. 296

Рузвельт Теодор (1858–1919) – 26-й президент США.

Стр. 297

Periculum in mora – опасность в промедлении (лат.).

Стр. 300

«*Mots*» – слова (франц.).

Стр. 301

Рожественский Зиновий Петрович (1848–1909) – русский адмирал, участник русско-японской войны; в «Цусиме» Новикова-Прибоя изображен как царский сатрап и самодур.

Стр. 301

Столетие гимназии – отмечалось в 1904 году; к этой дате был выпущен исторический очерк о гимназии И. О. Гобзы с приложением списков всех окончивших гимназический курс, где было их последующее служебное и общественное положение, а также списков служивших в гимназии в течение всех ста лет.

Стр. 304

Сергей Александрович (1857–1905) – великий князь, сын императора Александра II, московский генерал-губернатор в 1891–1905 годах, убит революционером Каляевым.

Трепов Дмитрий Федорович (1855–1906) – московский обер-полицеймейстер.

Зубатов Сергей Васильевич (1864–1917) – жандармский полковник, начальник московского охранного отделения, инициатор политики «полицейского социализма» (зубатовщина), т. е. создания под присмотром полиции рабочих кружков для экономической борьбы.

Стр. 305

Боголепов Николай Павлович (1846–1901) – министр народного просвещения с 1898 года; в мемуарах «Люди, годы, жизнь» Илья Эренбург вспоминал, как директор гимназии Гобза, показывая гимназистам в актовом зале мраморные доски с именами медалистов, окончивших гимназию, подчеркивал, что в стенах гимназии «воспитывался будущий министр народного просвещения Боголепов».

Стр. 309

Меттерних Клеменс (1773–1859) – канцлер Австрии в 1821–1848 годах, противник объединения Германии.

Роденбах Жорж (1855–1898) – бельгийский писатель-символист.

Ницше Фридрих (1844–1900) – немецкий философ и писатель, автор философско-художественной прозы, в которой миф о «сверхчеловеке» сочетался с романтическим идеалом человека будущего.

Бердслей Обри (1872–1898) – английский рисовальщик, существенно определивший черты стиля модерн в графике.

Ротс Фелисьен (1833–1898) – бельгийский художник, сочетавший в своем творчестве реалистические тенденции с мистико-эротическими.

Стр. 317

«Королева Марго» – роман Александра Дюма (1845).

Akademische Viertelstunde – академические четверть часа (нем.).

Zur Tagesordnung – повестка дня (нем.).

Стр. 318

Бернштейн Эдуард (1850–1932) – один из лидеров германской социал-демократии, сторонник реформизма, противник методов пролетарской диктатуры.

Стр. 320

Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) – русский революционер, теоретик анархизма, один из идеологов революционного народничества.

Стр. 321

Карлейль Томас (1795–1881) – английский публицист, историк и философ, выдвинувший концепцию «культы героев», творцов истории.

Стр. 322

Сиягин Дмитрий Сергеевич (1853–1902) – министр внутренних дел России, руководитель жесточких мер против рабочих, крестьянских и студенческих волнений; убит эсером Балмашевым.

Стр. 324

Давид Эдуард (1863–1930) – один из лидеров германской социал-демократии.

Герц Фридрих Отто (1878–?) – австрийский социал-демократ, экономист.

Finis – конец {лат.}

Silentium – безмолвие (лат.).

Засулич Вера Ивановна (1849–1919) – русская революционерка-народница, затем сподвижница Г. В. Плеханова, меньшевичка.

Лафарг Поль (1842–1911) – французский политический деятель, член Первого Интернационала, зять К. Маркса.

Стр. 327

Гервег Георг (1817–1875) – немецкий поэт, публицист революционно-демократического направления.

Шамиссо Адельберг, фон (1781–1838) – немецкий писатель и ученый-естествоиспытатель.

Фрейлиграт Фердинанд (1810–1876) – немецкий поэт, член Союза коммунистов.

Бауэр Бруно (1809–1882) – немецкий философ, критик христианства.

Стр. 330

Лютер Мартин (1483–1546) – деятель Реформации в Германии, основатель лютеранства, перевел на немецкий язык Библию.

Берлихинген Гёц, фон (1480–1562) – немецкий рыцарь, участник Крестьянской войны в Германии 1524–1526 годов против феодального гнета; перед решающим сражением предал крестьян.

Стр. 332

Людовик XVI (1754–1793) – французский король в 1774–1792 годах; свергнут народным восстанием, осужден Конвентом и казнен.

Стр. 336

«*Мы идем тесной кучкой...*» – из работы Ленина «Что делать?», 1902 (ПСС. 5-изд. Т.6. С.9).

Schluss – конец, заключение (нем.).

Стр. 338

Балмашев Степан Валерианович (1881–1902) – студент, эсер, застрелил министра внутренних дел Сипягина; повешен.

Плеве Вячеслав Константинович (1846–1904) – министр внутренних дел, шеф отдельного корпуса жандармов; убит эсером Е. Созоновым.

Урусов Сергей Дмитриевич (1862–?) – губернатор Бессарабии в 1903–1904 годах; в 1905 г. в Думе разоблачил погромную деятельность полиции; после 1917 г. – сов. служащий.

Меццерский Владимир Петрович (1839–1914) – князь, литератор, редактор газеты «Гражданин», проповедовавшей возврат к дореформенным порядкам в России.

Стр. 339

Радонежский Сергей (1314–1392) – основатель Троице-Сергиевой лавры, святой, канонизированный Православной церковью.

Лопухин Алексей Александрович (1864–1928) – директор департамента полиции в 1902–1904 годах; предал гласности материалы о погромной деятельности правительства, за что был предан суду и выслан в Сибирь.

Стр. 340

Редедя – богатырь, князь касогов (т. е. адыгов), в 1022 году был побежден в личном поединке тмутараканским князем Мстиславом Владимировичем.

Лопухина Евдокия Федоровна (1669–1731) – первая жена Петра I, мать царевича Алексея; постриглась в монахини.

Платон (427–347 до н. э.) – древнегреческий философ и писатель.

Стр. 346

Витте Сергей Юльевич (1849–1915) – граф, русский государственный деятель, премьер-министр в 1903–1906 годах, реформатор экономики и политики, автор трехтомных воспоминаний.

Азеф Евно Фишелевич (1869–1918) – провокатор охраны, ставший одним из вождей партии эсеров.

Стр. 349

Цецвола Квинт Муций (140–82 до н. э.) – римский юрист и государственный деятель, положил начало научной разработке гражданского права.

Ego – я (лат.).

Стр. 350

Франциск Ассизский (1181–1226) – итальянский проповедник, автор религиозно-поэтических произведений.

Man soil nicht traurig sein – нельзя печалиться (нем.). Стр. 353

Le vin est tire, il faut le boire – вино откупорено – его надо пить (франц.).

Стр. 361

Schrecklich!.. – Ужас! Все-таки какое свинство!.. И она... Так молода и так испорченна (нем.).

Б. Я. Фрезинский

Н.И. Бухарин

Из

«Томика стихов»

БИОСФЕРА (утро 9–VII–37 г.)

Повсюду жизнь – и жизни сферы.
Бесчисленных живых существ мирьяды
Пронесятся в частичке атмосферы,
И в золотой пыли летят монады,
Что видим лишь в микроскопа глаз.
И в капле дождевой заключены миры,
Сокрытые природою от нас, -
Им микрокосм несет свои дары.
Моря наполнены планктоном,
И каждый кубик океана влаги,
Пропитан, как своим законом,
Всей музыкой чудесной жизни саги.
И в каждой горсточке земли
Кишат и движутся живые точки.
Повсюду и везде – вблизи, вдали -
Живого вещества подвижные комочки.
Земля! Земля! О, малая планета,
От инфузорий жизнью полна
Ты до потомков славного Янета.
И мчишься в космосе, как Творчества волна!

МИР ЭЛЕКТРОНОВ (ночь – утро на 8–VII–37 г.)

Мир, единый из всего, не создан
ником из богов и никем из людей,
а был, есть и будет вечно живым
огнем, закономерно воспламеняю-
щимся и закономерно угасающим.

Гераклит

Великая догадка Демокрита!
От человека глаз что было скрыто,
Науки точной тонкими приборами,
Отважными ума дозорами,
Навеки у природы отвоевано
И в числовые формулы заковано.

И бездна бесконечности раскрылась,
И тайна мира обнажилась
В размахе многомерного пространства,
Вся роскошь Космоса, его убранство,
Все краски и цвета и звуки,
И человечества все муки
Основу бытия и жизни
В безмерной электричества отчизне
Имеют из века в века.

И в пальце дурака,
И в мириадах звезд далеких,
В мозгов извилинах глубоких,
Повсюду мчатся электроны,
И позитроны, и протоны,
И хороводы свои водят,
Одно в другое переходит,
Меняет кожу вещества,
В движеньи вечном естества.

МАСТЕР
(Леонардо да Винчи)
(ночь на 15–VII–37 г.)

Могучий мастер всех времен, Универсальный ум. Средь светлых гениев колонн Изящный многодум, Поклонник тонких инструментов И точных числ и мер, Обдуманых экспериментов Художник-инженер, Он математику кривых И оптики расчеты, Игру сечений золотых Слил с гения полетом, С игрою красок и цветов, Теней и полусветов Своих божественных даров, Фресок и портретов. Всем он играл и все творил, Ему знакомы были И исчисления светил, Летательные крылья, И гениального творца	Ударов твердого резца Над мрамором усилия. Он строил крепости, дворцы, И городские стены И мысли слал во все концы Таинственной Вселенной. Путей нетоптанных искал Он в творчестве своем, Изобретал и наблюдал, Чертил модели, измерял, Природы вещество пытал Железом и огнем. Узоры плесени сырой, Причудливых уродцев Он изучать любил и пил Из знаний всех колодцев. Он чрез века на нас стремится Пытливых взоров зонды И с нами тихо говорит Улыбкою Джоконды.
---	---

ХРАМ СЛАВЫ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
(Л. В. Бетховен)
(16–VII–37 г.)

Вчера, Цмескаль, своими
проповедями ты нагнал на меня
ужасную тоску. Черт бы тебя побрал,
мне не нужна твоя мораль. Сила,
энергия – вот мораль людей,
выделяющихся среди простых
смертных. Это и моя мораль.

Л. В. Бетховен

Льва
Голова.
Сжаты губы,
Воли, энергии зубы.
Глухой
Звуков титан,
Громов повелитель,
Великан,
Ворвавшийся в Рока обитель,
Страшной силы таран
У трагических Фатума стен,
Грозный вулкан,
Певец перемен,
Железных шагов,
Великих побед
И радостных лет.
Буйный
Крушитель оков,

Страсти неистовый пламень,
Твердости камень.
Многоструйный
Творчества водопад,
Звезд золотых каскад,
Планет небесных хорал.
Он созидал
Гимн всемирной Любви величавый,
Бессмертный Храм Славы
Братьев-людей,
Расплавивших звенья цепей
Свободы огненной лавой.
Гремите, Музыки громы!
Сверкайте, молний изломы!
Теките,
Потоки лавы!
Люди! Идите
В Храм Человеческой Славы!

БЕЗУМНЫЙ ПРОРОК
(Ф. Ницше)
(13–VII–37 г.)

Черною манией охваченный пророк
Короны золоченой капитала,
Какой коварный Рок
Из твоего бездумья сотворил начал начала?

Из-под бровей, нависших, как кусты,
Сверкает мрачный взор,
На лбу большом морщин мосты,
Как смертный приговор.

Кровавый бред о «воле к власти»,
Об этике господ,
Звериной белокурой касте,
Смиряющей народ.

О дыме, крови и пожарах
И войнах без конца,
О дионисовых угарах
Хищного самца;

Безумный бред сверхчеловека
О черни и рабах,
Что вновь от века и до века
Под ним целуют прах;

Все Заратуштры афоризмы
И парадоксов новь,
Изящно-тонкие софизмы, –
Все превратилось в кровь.

И не случайно то, что ныне
Разбой, Войну, Порок •
Благословил в своей гордыне
Безумия Пророк.

ГНИЛЫЕ ВОРОТА (20–VII–37 г.)

Еще только воровство может спасти
собственность, только
клятвопреступление – религию, только
прелюбодеяние – семью, только
беспорядок – порядок.

К. Маркс

Ничто не пахнет так мерзко, как
сгнившая лилия.

Шекспир

Среди болот загнивших мира,
Средь дыма черного и вражеских траншей,
Безумных оргий пьяного сатира –
Зловонный урожай червей.
Верлена нежной скрипки пенье,
То тленья смертный аромат,
Мистические озаренья,
Что «Падалью» Бодлера говорят.
И странная экзотика Рэмбо,
И черт у Мережковского серьезный,
И утонченные кошмары По,
То пятна чумные болезни грозной,
То на гнилых стволах роскошные грибы,
Что яд сочат на пиршество судьбы...
А рядом арлекины и шуты,
Ватаги наглых акробатов,
Бездушья сутенеры и коты,
Сосущие отовсюду сок дукатов,
Поодаль истощенные мозги
Академических окаменевших мумий,
Напыщенной и важной мелюзги,
Тщеславия ходячего безумье.
Повсюду гниль и гнили слизь.

Альковное, салонное искусство
С притоном, с кабаком в один клубок сплелись
В бессилии большого чувства
И вот теперь фашист-герой
С пустою тыквой-головой,
Элементарный как полено,
С собой
Приносит перемену:
Жуя жвачку воловью
Болото осушает... новой кровью.

РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (12–VII–37 г.)

На страшном рубеже весь мир стоит сейчас,
И колоссальны будут здесь судьбы решения.
Бьет капиталу смертный без четверти час
На башнях вечного забвенья.

В кровопролитных войнах уж не раз
Могучие сгорали поколенья,
И чрез эпохи донеслись до нас
Пожарищ гарь и запах тленья.

Разрушен, пеплом стал громадный Вавилон,
И Римом скрыт был Карфаген великий,
Тир, Ниневия, Сузы и Сидон –
Задушены в войне кроваво-дикой.

И рушились поздно или рано
Все исполины крови и обмана.
Разбился гордый рах Романа
И Александра Македонца полумир,

И царство грозное монгола Тамерлана,
И все, что покорил персидский Кир,
И Карла древняя железная корона,
И жезл Империи Наполеона.

Напрасно древние мечтали мудрецы
О светлом будущем, гуманности предтечи –
И стоики, и ранних сект отцы:
Тонуло все в крови и шуме сечи.

Космополитов, миротворцев речи
Перед фашизма дьяволом тлетворным –
Что пред волками матерыми крик овечий,
В бою волков сразит лишь меч упорный.

Войне фашистской, зверски-черной
Навстречу будет двинут бой картечи.
Конец их ждет смертельный и позорный,
Венки победы лягут на рабочих плечи.

И черно-золотых богов затменье
В последнем историческом бою
Ознаменует человечества рожденье,
Объединенного в одну семью.

ФАРТУК КУЗНЕЦА
(древнейшая иранская легенда)
(Утро 20–VII–37 г.)

В истоках древности великого Ирана
Жил царь свирепый, именем Зохак.
Кровавою и гнойной раной
Он разъедал страну, как печень рак.
Средь всех царей, коварных свирепейших,
Людей простых топтавших в прах,
Не находилось чудовищ злейших,
Чем страшное чудовище, Зохак.
В дворце роскошном или в храме, на базаре
На коромысле двух своих плечей
Всегда носил он отвратительную пару
Узорчатых гигантских змей.
Те змеи были вовсе не простые,
А слуги верные мучителей-царей
И ели кушанье одно: густые
И свежие мозги удушенных людей.
По всей стране царил безумья ужас,
Но в тишине ночей уж зрел отпор:
Тугой, медлительною мыслью тужась,
Народ готовил острый на царя топор...
На свете жил тогда, среди других людей,
Огромный Кауэ, искуснейший Кузнец,
Могучий богатырь. Семнадцать сыновей
Пожрали змеи у него, как волки двух овец.
И лишь один единственный остался сын,
Но на него точил уж зубы властелин...

Собрал кузнец всех рабочих людей,
С молотками, стамесками, пилами,
Фартук кожаный свой из шкуры зверей
Прикрепил он ручищами сильными
К древку прочному, знаменем сделал
Свободы великого дела.
И пошел он храбро в мятежный поход
Со своим ремесленным людом
И царя разгромил рабочий народ:
От смерти тот спасся лишь чудом
И в страхе к горе Демавенду бежал,
Но здесь его Феридун приковал
К вулкану крепкою цепью.
И весь народ, как дитя ликовал,
Узрев конец лихолетью...

Простой кожаный фартук чтили люди в веках,
Как знамя великой победы.

Но богатые выкрали кожаный стяг,
Чтоб накликасть новые беды...
Они знамя простою покрыли парчей,
Алмазов, сапфиров звездами,
Рубинами, пурпуром и бирюзой,
Тяжелой оправы дарами.
Никто уж поднять тяжелой ноши не мог,
Никто не видел прежних дорог
К простому фартуку кузнеца
За народную долю бойца...
И снова настали лихие года,
И снова царит над страной нужда.
Но время придет, и где-то найдет
Свое знамя Ирана народ?

ТАНЕЦ ГОРИЛЛ (15–VIII–37 г.)

Крики, хрипы, лязг и визги,
Грохот, хохот, барабан,
Дробь и брань, и крови брызги –
У горилл гремит канкан.

Посреди – костер огромный,
Треск и шип, и хруст хрящей,
Кто-то злой и кто-то темный
Дров приносит, груз костей.

Книги бросил на растопку,
Черной гарью дым взвился,
От земли, кроваво-топкой
Пар зловещий поднялся.

Волосатых рук сплетенье,
Топот ног и звоны шпор,
Скрежет, чавканье, сопенье,
Похотливый разговор...

Вот уж звезды догорели,
И костер давно потух,
Ней кричит на мертвом теле
Раскричавшийся петух...

VANITAS VANITATUM
(23–VII–37 г.)

Vanitas vanitatum et. omnia vanitas
(Суета сует и всяческая суета)

Экклезиаст

Считать последним словом мудрости
сознание ничтожности всего, может
быть, и есть на самом деле некая
глубокая жизнь, но это – глубина
пустоты, как она много выступает в
античных комедиях Аристофана.

Гегель, X, II, 48.

Все – суета сует,
Все в мире сем ничтожно:
И счастья привет,
И море злейших бед,
И то, что правильно, и то, что ложно.
Так формулировал премудрый Соломон
Пессимистический канон.
Но с равным правом можно
Все формулировать противоположно
И воспевать миров величье
И бесконечности глубинной безразличье...
Сенека старый утверждал,
Что смерть – предельный идеал,
А Лейбниц, в философии Панглосс,
Пел песнь об этом мире,
Как ученик-портной о короля мундире,
Расшитом золотом по промыслу Творца,
Миров зиждителя и всех минад Отца.
Но пессимизма философского понос
То – паразитов жизнью пресыщенье,
Мозгов усталых Katzenjammer,
Тех импотентов наукоученье,
У коих весь ток жизни замер,
И измеренье мысли высоты

Есть измеренье... Пустоты!

Наивности Панглоссов
Младенческих запросов
Не могут разрешить:
Их только овцам пить...
И радость, и страданье
Застряли в складках бытия...
Не в волнах забытья,
А в пламенном исканье,
В преодолении страданья,
Есть радости высшая Творца,
Активности, не знающей конца.
У жизни в ней самой ее же оправданье.
Не нужно санкций ей иных,
Аргументов наивных и пустых.

(К циклу: Праматерь-природа)
В ТРАВЕ
(4–IX–37 г.)

Целый мир живет в траве,
На зеленой мураве.
Мухи, кузнецы, жучки,
Мотыльки и червячки,
Под травую копошатся,
Спешат жизнью наслаждаться.
На листок куста залез
Толстобрюхий листорез,
По былинке вверх ползет,
Ниткой ножек стежку шьет,
Пяденицы гусеница.
На цветок вспорхнув, садится,
Как на розовый свой трон,
Длиннохвостый махаон.

Через палочку сучка
Тащит муравей жучка,
Суется и бросает,
Снова за ногу хватает
И упорно волочит
Жертвы мертвой черный щит,
Под листочком, полусонный
Травяной кузнец зеленый
На стебле большом сидит,
Усом тихо шевелит.
Шмель, жужжа, вцепился в кашку,
Муха села на ромашку,
В синие колокола
Серая ползет пчела,
И от норки скачет вбок
Черный, как арап, сверчок.
Жирный, словно прежний поп,
Полевой вонючий клоп
В разноцветном колпаке
Очутился на руке.
Я лежу в траве душистой,
Весь овечьей золотистой
Паутиною лучей
И безмолвием речей...

ЦВЕТЫ (28–IX–37 г.)

Цветы! Земли весенней радость,
Краса лугов, садов, полей,
Глаза природы, лета сладость,
Всех красок солнечный ручей!
Вот белый ландыш, нежный, скромный,
В тени росистой у воды,
Забился в угол он укромный;
А вот цвет нежный резеды,
Душистый, тонко-благовонный,
С садовой сорванный гряды.
Во мху, в болоте, незабудки
Глядят своею бирюзой,
Как синеглазые малютки,
Росы покрытые слезой.
Среди весны лугов – нарциссы
Белеют мраморной красой,
И горделивые ирисы
Лиловой высятся главой.
Здесь разноцветные вербены
В венцах из тонких лепестков,
И колокольчики купены,
Под сводом парных групп листов.
Настурций огненные лики,
Пунцовых кроны георгин,
Душистой, томной повилики
Цветы кивают из корзин.

Трепещут царственные розы
Оттенков всех и всех тонов,
И золотой немой мимозы
Несется запах – пыль цветов.
Петуний тонких нежных трубы,
В сияньи лета красный мак,
И орхидей кровавых губы,
И одуряющий табак.
Во ржи простые василечки,
Лилово-синий гелютроп,
И наши скромные цветочки,
В канавках, в поле, где ржи сноп.
Здесь Львиный зев, цветы ромашки,
Иван-да-Марья, зверобой,
Здесь полевые астры, кашки
Качают скромной головой.
Роскошны гроздья у глициний,
По стенам вьются и висят.
Их цвет лиловый, темно-синий
Струит вечерний аромат
Стоит в сознании величья
Прямой и гордый цвет – тюльпан,
И безо всякого отличья
По виду скромный, яд – дурман.
Совсем не схожий с ней, с Мадонной,
Растет на воле яд другой -
Цветочек серый белладонны
Посередине с чернотой.
И много, много вас на свете,
Цветы полей, цветы лесов,
Не счесть мне вас и не примерить,
Всех колокольчиков, венцов,
Лиловых, синих, желтых, алых
И золотых, и расписных,
Больших, душистых, ярких, малых,
Оранжевых и лесных!

ЛИРИЧЕСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО
(ночь на 24–VIII–37 г.)
Tristia.

Per te si va nella citta do-
lente. Per me si va neleterno
dolore Per me si va tra la per-
duta gente.

Данте

Нет тебя, прелестный, нежный друг мой милый
Все умчалось вдаль...
Одинок, скорблю я, сумрачный, унылый
На душе печаль.
Осени туманной нити дождевые
Падают, звеня,
Тягостные мысли, думы роковые
Мучают меня.
Монотонны стуки дробные по крыше
Капель, хладных слез,
Мокрый лист кленовый выше, выше, выше
Хмурый ветер понес.
Голые уроды, два ствола ветвями
Жалобно скрипят,
Это – два скелета мертвыми костями
Трутся и гремят.
Милая, родная! Я к тебе взываю
Приходи скорей,
Моему страданью нет конца и краю,
Сядь и пожалей...

АИРО В XXI ВЕКЕ*

2000

- Ю. А. Рыбалкин.* Операция «Х». Советская военная помощь республиканской Испании. («АИРО – Первая монография»).
- А. Ю. Бахтурина.* Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны. («АИРО – Первая монография»).
- Д.Ю. Гузевич.* Кентавр или к вопросу о бинарности русской культуры. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. темы для XXI века». Вып. 7).
- Е.А. Котеленец.* «Харизматический властный союз». Новейшие исследования о Ленине и его политическом окружении. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. темы для XXI века». Вып. 8).
- Дирк Кречмар.* Искусство и культура России XVIII–XIX в. в свете теории систем Никласа Лумана. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Вып. 9).
- В.Э. Молодяков.* Берлин–Москва–Токио: к истории несостоявшейся «оси». 1939–1941. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Вып. 10).
- Кевин Макдермотт, Джереми Агну.* Коминтерн. История международного коммунизма от Ленина до Сталина («АИРО – Первая публикация в России»).
- О.Г. Буховец.* Постсоветское «великое переселение народов»: Россия, Беларусь, Украина и другие. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Вып. 11).
- Историки России. Послевоенное поколение. Сост. Л. В. Максакова.
- Ф.Ф. Торнау.* Воспоминания кавказского офицера.
- Б. Чижков.* Подмосковные усадьбы сегодня. Путеводитель с картой-схемой.
- Мифы и мифология в современной России /Под редакцией К. Аймермахера и Г. Бордюгова. Предисловие Ф. Бомсдорфа.
- Политика по контролю кризисной смертности в России в переходный период. (Программа развития ООН/Россия).
- Policies for the Control of the Transition's Mortality Crisis in Russia. (Unated Nations Development Programme/Russia).

2001

- Стивен Коэн.* Провал крестового похода. США и трагедия посткоммунистической России. («АИРО – Первая публикация в России»).

* Об изданиях АИРО в 1993–1999 гг. см. подробнее: *Бордюгов Г. А., Ушаков А. И.* Поиск альтернативных структур в исторической науке. АИРО-XX: издательским программам 5 лет. – М., 1998; *Они же.* Развитие альтернативных структур в исторической науке. АИРО-XX: издательским программам и научным проектам 10 лет. – М., 2003.

- Ленарт Самуэльсон.* Красный колосс. Становление военно-промышленного комплекса СССР. 1921–1941 гг. («АИРО – Первая публикация в России»).
- Политическая полиция и политический терроризм в России (вторая половина XIX – начало XX вв.). Сборник документов. («АИРО – Первая публикация»).
- А.П. Ненароков.* Последняя эмиграция Павла Аксельрода. Из цикла «В поисках жанра». («АИРО – Монография»).
- И. Ротарь.* Под зелёным знаменем. Исламские радикалы в России и СНГ. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Вып. 12).
- Новые концепции российских учебников по истории /Сост. К. Аймермахер, Г. Бордюгов, А. Ушаков. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. темы для XXI века». Вып. 13).
- Новый мир истории России. Форум японских и российских исследователей – к 60-летию профессора Харуки Вада /Под редакцией Г. Бордюгова, Н. Исии, Т. Томита.
- Magister vitae. К 80-летию Л.И. Мильграма /Составители М. Я. Шнейдер, Г. А. Бордюгов.
- Элита средств массовой информации. Россия 2001 год. Опрос руководителей и журналистов в электронных и печатных средствах массовой информации.
- Человек и война (Война как явление культуры). Сборник статей /Под редакцией И. В. Нарского и О. Ю. Никоновой.
- С.В. Константинов, А.И. Ушаков.* История после истории. Образы России на постсоветском пространстве.
- А.Г. Макаров, С.Э. Макарова.* Цветок-татарник. В поисках автора «Тихого Дона»: от Михаила Шолохова к Фёдору Крюкову.
- В углу: начало Гражданской войны глазами русских писателей. П. Н. Краснов, Ф. Д. Крюков, И.А. Родионов /Составители А. Г. Макаров, С. Э. Макарова.

2002

- Анна Гейфман.* В сетях террора. Дело Азефа и Русская революция. («АИРО – Первая публикация в России»).
- Беттина Зибер.* «Русская идея» обязывает!? Поиск русской идентичности в общественных дискуссиях конца XX век. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Вып. 14).
- Преодоление прошлого и новые ориентиры его переосмысления. Опыт России и Германии на рубеже веков. Международная конференция. Москва, 15 мая 2001 г. /Под редакцией К. Аймермахера, Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова.
- Промышленность Урала в XIX–XX веках. Сборник научных трудов /Под редакцией В. П. Чернобровина.
- Историки читают учебники истории. Традиционные и новые концепции учебной литературы /Под редакцией К. Аймермахера и Г. Бордюгова.
- Культура и власть в условиях коммуникационной революции XX века. Форум немецких и российских культурологов /Под редакцией К. Аймермахера, Г. Бордюгова, И. Грабовского.

Б.И. Чехонин. Как богатеют, не воруя (по странам и континентам).
Synopsis operandi профессора Аймермахера /Составитель А. И. Ушаков.
С.Б. Веселовский. Подмосковье в древности. Три очерка.
Фёдору Крюкову, певцу Тихого Дона.
Вадим Смиренский. Разбор сюжетов.

2003

Развитие альтернативных структур в исторической науке. АИРО-XX: издательским программам и научным проектам 10 лет /Составители Г. А. Бордюгов, А. И. Ушаков.
Марк Юнге. Страх перед прошлым. Реабилитация Н. И. Бухарина от Хрущёва до Горбачёва. («АИРО – Первая публикация в России»)
И. А. Гордеева. «Забывшие люди». История российского коммуитарного движения. («АИРО – Первая монография»)
Исторические исследования в России-II. Семь лет спустя /Под редакцией Г. А. Бордюгова.
In Memoriam. Г.М. Адибеков, С.В. Константинов, Ю.В. Соколов /Составители Г. А. Бордюгов и А. И. Ушаков.
Мифы и мифология в современной России /Под редакцией К. Аймермахера, Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова. Изд. 2-е, дополн.
Национальные истории в советском и постсоветских государствах /Под редакцией К. Аймермахера, Г. Бордюгова. Предисловие Ф. Бомсдорфа. Изд. 2-е, испр. и дополн.
Богатые и бедные в современной России. Аналитический доклад.
Валерий Брюсов. Мировое состязание. Политические комментарии. 1902–1924 /Составитель В. Э. Молодяков. («АИРО – Первая публикация в России»)
Россия и страны Балтии, Центральной и Восточной Европы, Южного Кавказа, Центральной Азии: старые и новые образы в современных учебниках истории. Научные доклады и сообщения /Под редакцией Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова.
Мегаполисы и провинции в современной России: образы и реальность. Аналитический доклад.
Застольные речи Сталина. Документы и материалы /Сост., введение, коммент. В.А. Невежина.

2004

Д.А. Андреев, Г.А. Бордюгов. Пространство власти от Владимира Святого до Владимира Путина. Краткий курс, X–XXI вв.
Булавинский бунт (1707–1708). Этюд из истории отношений Петра В. к Донским казакам. Неизвестная рукопись из Донского архива Федора Крюкова.
Из старых тетрадей. *С. Б. Веселовский.* Страницы из Дневника. 1917–1923. *В. С. Веселовский.* Встречи с И.А. Буниным в 1917 году. Итог революции и Гражданской войны.

Die Russischen Mittelschichten: Dynamik ihrer Entwicklung (1999–2003). Ein Analytischer Bericht.

Экономическая элита России в зеркале общественного мнения. Аналитический доклад.

Russlands «Oligarchen»: Die Russen und ihre Wirtschaftselite. Ein Analytischer Bericht.

Moskau und die Provinz: Wie groß sind die Gegensätze? Ein Analytischer Bericht.

Василий Молодяков. Бумажный парус. Стихотворения 1988–2000.

Ю. Сигов. Многоликая Малайзия.

А.А. Куреньшиев. Всероссийский крестьянский союз. 1905–1930 гг. Мифы и реальность. («АИРО – Монография»).

Россия: удачи минувшего века / Г. Бордюгов, В. Молодяков, Б. Соколов, а также: В. Есаков, Е. Левина, Л. Мазун, Э. Молодякова, А. Полунов, Л. Федянина, Г. Ульянова.

Россия и Япония: соседи в новом тысячелетии. Сборник статей.

Марк Юнге, Рольф Биннер. Как Террор стал «Большим». Секретный приказ № 00447 и технология его исполнения. («АИРО – Первая публикация в России»).

2005

Никита Дедков. Консервативный либерализм Василия Маклакова. («АИРО – Первая монография»).

Жанат Кундакбаева. «Знаком милости Е. И. В. ...». Россия и народы Северного Прикаспия в XVIII веке. («АИРО – Монография»).

В.Д. Соловей. Русская история: новое прочтение. («АИРО – Монография»).

С.И. Ваянский. Теория информации и образование. Об условиях выживания России. («АИРО – Монография»).

П.Б. Уваров. Дети хаоса: исторический феномен интеллигенции. («АИРО – Монография»).

1917: частные свидетельства о революции в письмах Луначарского и Мартова. («АИРО – Первая публикация» (совместно с Издательством РУДН)) / Под редакцией Г. А. Бордюгова и Е. А. Котеленец, сост. Н. С. Антонова и Л. А. Роговая, введ. Лотара Майера.

Б.Г. Тартаковский. Всё это было... Воспоминания об исчезающем поколении. («АИРО – Первая публикация»).

Б.Г. Тартаковский. Из дневников военных лет. («АИРО – Первая публикация»).

Кацура Таро, Гото Симпэй и Россия. Сборник документов. 1907–1929. («АИРО – Первая публикация»). Публ. В. Э. Молодякова / Под редакцией Г. А. Бордюгова.

Норман Неймарк. Пламя ненависти. Этнические чистки в истории Европы в XX веке. («АИРО – Первая публикация в России»).

Стивен Коэн. Можно ли было реформировать Советскую систему. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Вып. 16.)

Александр Зиновьев, Герман Кант, Бернхард Кьяри, Борис Соколов, Андрей Турков. Великая война: трудный путь к правде. («АИРО – Научные доклады и

- дискуссии. Темы для XXI века». Вып. 17, совм. с журналом «Свободная мысль–XXI»).
- Истребительная война на Востоке. Преступления вермахта. Сб. докладов. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Вып. 18, совм. с Центром «Запад–Восток», Кассельский университет).
- Дмитрий Андреев, Геннадий Бордюгов.* Пространство памяти: Великая Победа и власть. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Вып. 19).
- Прошлое и будущее российско-японских отношений: по следам Кацуро Таро, Гото Симпэй, Нитобо Инадзо. Материалы симпозиума (Москва, 4 октября 2004 г.) /Под ред. Г. Бордюгова и В. Молодякова.
- Россия и тотальная война в XX столетии: взгляд из удаляющейся перспективы. Материалы Международного интернет-семинара.
- Жанат Кундакбаева.* Политика Российской империи в отношении народов Северного Прикаспия в XVIII веке: историография проблемы и источники изучения.
- Владимир Самарин.* Страсти по «Тихому Дону». Заметки на полях романа.
- Борис Соколов.* Моя книга о Владимире Сорокине.
- 60-летие Второй мировой и Великой Отечественной войн: победители и побеждённые в контексте политики, мифологии и памяти. Материалы к Международному Форуму (сентябрь, 2005). Совм. с Фондом Фридриха Науманна.
- Ст. Б. Веселовский.* Из истории Московского государства в XVII веке. Три статьи /Сост. А. Г. Макаров и С. Э. Макарова.
- Рой Медведев.* Социализм в России? Япония 2004–2005. Ежегодник.

2006

- Дмитрий Люшкин.* Вторая русская смута: крестьянское измерение. («АИРО – Первая монография»).
- А.Г. Ложкин.* Право победителей. Правовой отдел СВАГ: история создания и деятельности. 1945–1949. («АИРО – Первая монография»).
- Ф.Г. Куначёва.* Религиозные воззрения абазин (с древнейших времён до наших дней). («АИРО – Первая монография»).
- В.Э. Молодяков.* Эпоха борьбы. Сиратори Тосио (1887–1949) – дипломат, политик, мыслитель. («АИРО – Монография»).
- Агентурная работа политической полиции Российской империи. Сборник документов. 1880–1917. Публ. Е. И. Щербаковой / Под ред. Г. А. Бордюгова. («АИРО – Первая публикация»).
- Молодёжь и политика. Материалы семинара (сентябрь 2005) /Под редакцией Ф. Бомсдорфа и Г. Бордюгова. Библиотека либерального чтения. Вып. 17.
- Назревшая дискуссия. Некоторые итоги обсуждения истории Второй мировой войны. Общественный Форум (Москва, 28 сентября 2005 г.). Стенограмма /Под ред. Ф. Бомсдорфа и Г. Бордюгова. Библиотека либерального чтения. Вып. 18.

- Э. *Саблина*. 150 лет Православия в Японии. История Японской Православной Церкви и её основатель Святитель Николай. («АИРО – Монография»).
- Советская политика в Австрии. 1945–1955 гг. Сборник документов /Под ред. и составление Геннадия Бордюгова, Вольфганга Мюллера, Нормана М. Неймарка, Арнольда Суппана. («АИРО – Первая публикация»).
- Малороссия. Новороссия. Крым. Исторический и этнографический очерк. Сост. А. Г. Макаров и С. А. Макаров.
- Советская Военная Администрация в Германии (СВАГ). Управление пропаганды (информации) и С. И. Тюльпанов. 1945–1949 гг. Сб. документов. /Под ред. Геннадия Бордюгова, Бернда Бонвеча и Нормана Неймарка. («АИРО – Первая публикация»). Изд. 2-е, дополн. и измен.
- Портрет современного японского общества.
- В.Э. *Молодяков*. Гото Симпэй и русско-японские отношения. («АИРО – Монография»).
- Н.А. *Четырина*. Сергиевский посад в конце XVIII – начале XIX вв. (Посад как тип городского поселения). («АИРО – монография»).
- П. *Павленко*. Либерально-демократическая партия в политической системе Японии. 1955–2001.
- Павел *Гвоздев*. Русские на марше: от химеры к тотальной мобилизации.
- Япония. Ежегодник. 2006.
- Сергей *Валянский*. Хронотроника и эволюция социальных систем. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Вып. 20).
- В тени «Тихого Дона». Фёдор Крюков – забытый русский писатель. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Вып. 21).

2007

- Я.В. *Леонтьев*. «Скифы» русской революции. Партия левых эсеров и её литературные попутчики. («АИРО – Монография»).
- Стивен *Коэн*. «Вопрос вопросов»: почему не стало Советского Союза?
- Ирина *Каргина*. Букет бессмертников. Константин Каргин и Михаил Шолохов: неизвестные страницы творческой биографии.
- С. Ф. *Платонов*. Смутное время. Очерк истории внутреннего кризиса и общественной борьбы в Московском государстве XVI и XVII веков.
- А. Г. *Тепляков*. «Непроницаемые недра»: ВЧК-ОГПУ в Сибири. 1918–1929 гг. («АИРО – Первая монография»).
- Р. А. *Гоголев*. «Ангельский доктор» русской истории. Философия истории К. Н. Леонтьева: опыт реконструкции. («АИРО – Первая монография»).
- И. А. *Алексеева*. История всемирного христианского молодёжного движения в России. («АИРО – Первая монография»).

В. И. Колесов. Служил Советскому Союзу... Воспоминания. («АИРО – Первая публикация»).

Фридрих Фирсов. Секретные коды истории Коминтерна. 1919–1943. («АИРО – Первая публикация в России»).

С. И. Валянский. Язык мой – враг мой.

Е. П. Розанова. Друг мой – враг мой, лексика моя.

Владимир Дмитриевич Есаков. Биобиблиографический указатель. Сост. Г. А. Бордюгов, Е. С. Левина /Предисловие А. П. Ненарокова.

Эльгена Васильевна Молодякова. Биобиблиографический указатель. Сост. Г. А. Бордюгов, А. Е. Куланов.

Япония открытая миру. Коллективная монография.

В. Г. Воловников. О необыкновенном годе необыкновенной эпохи (Неизвестная история выставки Пабло Пикассо в СССР в 1956 г.). («АИРО – научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Выпуск 22).

В. Д. Соловей. Смысл, логика и форма русских революций. («АИРО – научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Выпуск 23).

Россия без Советского Союза: что потеряли и приобрели, что впереди? Стенограмма Общественного Форума 19 декабря 2006 г. и материалы дискуссии. Под ред. Фалька Бомсдорфа, Геннадия Бордюгова и Алана Касаева. Библиотека либерального чтения. Выпуск 19.

Александр Рабинович. Большевики у власти. Первый год советской эпохи в Петрограде. («АИРО – первая публикация в России»).

Революционная Россия. 1917 год в письмах А. Луначарского и Ю. Мартова. Под ред. Г. А. Бордюгова и Е. А. Котеленец, сост. Н. С. Антонова и Л. А. Роговая, введ. Л. Майер. – М., 2007. («АИРО – первая публикация»).

Владимир Путин. Рано подводить итоги / Под ред. Г. А. Бордюгова, А. Ч. Касаева (совместно с «АСТ»).

Япония. Ежегодник. 2007.

Николай Андреев. Первые стихи.

Служение России. Торгово-промышленная палата РФ. 1917–2007. Научно-популярное иллюстр. издание-альбом / Под ред. Е. М. Примакова (совместно с ТПП РФ).

2008

Тосио Сиратори. Новое пробуждение Японии / Сост. и вст. ст. В. Э. Молодякова

Ф. Торнау. Воспоминания кавказского офицера / Сост. А. Г. Макаров, С. Э. Макарова, вст. ст. С. Э. Макарова

De Futuro, или история будущего. Сб. статей / Под ред. Д. Андреева и В. Прозорова.

Danke, профессор Аймермахер. 12 писем из России / Сост. Г. А. Бордюгов, Т. М. Горяева.

Харуки Вада – сенсей российской истории / Сост. Г. А. Бордюгов.

Стивен Козн и Советский Союз / Россия. / Сост. Г. А. Бордюгов, Л. Н. Доброхотов.

Узник Лубянки. Тюремные рукописи Н.И. Бухарина / Предисл. С. Бабурина, Введение Ст. Козна, под ред. Г. Бордюгова («АИРО–Первая публикация»)

Леонид Козлов. В диалоге с памятью («АИРО–Первая публикация»)



Подписано в печать с оригинал-макета 17.02.2008.
Формат 60x90 1/16. Бум. офс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 48. Тираж 1000 экз.